



---

ЮРИЙ  
СЛЕПУХИН

---

КИММЕРИЙ-  
СКОЕ  
ЛЕТО

ЮЖНЫЙ  
КРЕСТ

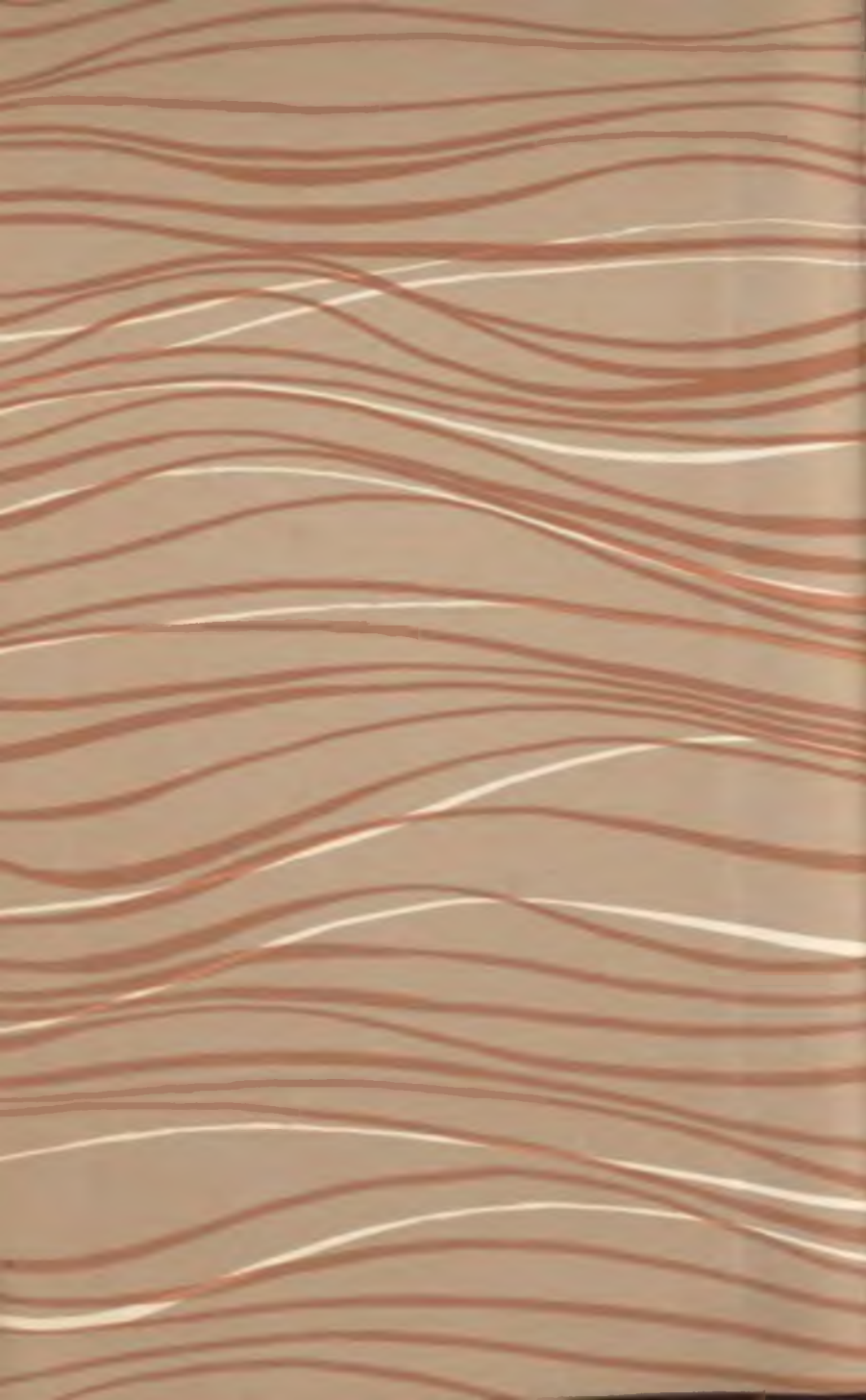
---



ЮРИЙ  
СЛЕПУХИН

Киммерийское  
лето  
ЮЖНЫЙ  
крест









ЮРИЙ СЛЕПУХИН

Киммерийское  
лето

РОМАН

Южный  
крест

РОМАН



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1983

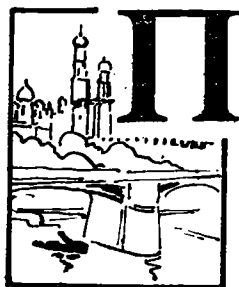
Два романа, составляющие однотомник, дают представление о свойственной творчеству Юрия Слепухина широте как тематического диапазона, так и географии мест действия. Герои «Киммерийского лета» — наши современники, москвичи и ленинградцы, люди разного возраста и разных профессий — в той или иной степени оказываются причастны к давней семейной драме. В «Южном Кресте» автор, сам проживший много лет в Латинской Америке, рассказывает о сложной судьбе русского человека, прошедшего фронт, плен, участие во французском Сопротивлении и силою обстоятельств заброшенного в послевоенные годы далеко на чужбину — чтобы там еще глубже и острее почувствовать весь смысл понятия «Отечество».

*Художники:*  
*ЕЛЕНА САВИНОВА*  
*АЛЕКСАНДР САВИНОВ*

Киммерийское  
лето



Р О М А Н



проснувшись, Ника сразу вспоминает о не выученной накануне физике, и день начинается с ощущения глубокой враждебности всего окружающего. Мать отдергивает штору и распахивает окно настежь, затопив комнату блеском и свежестью солнечного майского утра; однако веселее от этого не делается — всякому понятно, что показное великолепие природы лишь обманчиво прикрывает собою мрачную сущность мироздания. Сущность, которая не может не вызывать решительного протеста.

Протестуя всем своим видом, Ника не спеша бредет в ванную — нарочно не спеша, хотя времени остается не так уж много. Купанье отчасти примиряет ее с действительностью, но потребность в протесте остается. Ника плещется под душем, не заправив в ванну край полиэтиленовой занавески, бросает мыло там, где ему лежать не годится, и оставляет незавинченным тюбик «Поморина» — все это в знак протеста. Она прекрасно знает, что с рук ей это не сойдет, что опять придется выслушивать нотации и рассуждения об упрямстве, неряшливости и иных пороках, и уже заранее возмущается вечными придирками старших.

Одеваясь у себя в комнате, она тоже протестует. Вчера предсказывали переменную облачность с возможным понижением температуры, и сейчас мать напоминает ей об этом, приоткрыв дверь. Ника отвечает громким театральным вздохом, показывая, что терпение ее уже на исходе, и начинает выбирать белье самое легкое и самое нарядное. Потом натягивает самые тонкие чулки — не потому, что ей так уж приятно носить скользкий тугой дедерон, а просто чтобы лишний раз доказать, что в шестнадцать лет человек (обладатель паспорта) имеет право на самоутверждение.

Едва она, самоутвердившись и до шелкового блеска расчесав щеткой рассыпанные по плечам волосы, появляется в столовой с царственным видом и высоко открытыми мини-юбкой ногами, как снова вспыхивает все тот же вечный конфликт



поколений. Кто вообще ходит в таком виде в школу, спрашивает мать, на что Ника отвечает — безукоризненно вежливо, но с убийственным подтекстом, — что все н о р м а л ь н ы е люди именно в таком виде и ходят. Явиться в класс в вечерних чулках, говорит мать, раньше это и в голову бы никому не пришло, но дочь — еще вежливее и еще многозначительнее — возражает, что р а н ь ш е им не приходило в голову слишком многое и еще вопрос, стоит ли этим так уж гордиться. После чего отец, до сих пор не принимавший в конфликте прямого участия, грубовато велит ей помалкивать и заняться завтраком, если она не хочет опоздать.

Стрелки часов, действительно, неумолимо приближаются к восьми, и мать, спохватившись, убегает в кухню — ей уходить на работу позже, но нужно успеть приготовить кое-что к вечерней стряпне. Ника, окончательно обиженная на весь свет, намешивает в чай полбанки сгущенного молока и тянет этот сироп с блюдечка, как всегда делает баба Катя, со страшным шумом и хлопаньем — только для того, чтобы нарваться на очередное замечание и тогда с вызывающим видом возразить: «А что такого, интересно, я делаю?» Но все ее усилия на этот раз пропадают даром: у матери в кухне гудит какая-то техника, а отца, сидящего напротив, подобными штучками не проймешь. Он и сам довольно шумно прихлебывает свой кофе, не отрываясь от бумаг и делая на полях пометки тонким красным фломастером.

— Ну, все, — говорит он без пяти восемь и, собрав бумаги, шелкает массивными замками итальянского «дипломата» крокодиловой кожи. — Давай кончай, Вероника, и спускайся, я пока прогрею. Хороши мы с тобой будем, если аккумулятор сел за ночь. Мамочка, а-у, я пошел!

Ника выносит в кухню поднос с остатками завтрака и снисходительно целует мать. Конфликты конфликтами, но в общем они ладят, — с родителями, надо признать, ей еще повезло, бывают ведь и вовсе ископаемые.

— Ну, беги, беги, — строго говорит мать, втайне любуясь дочерью. — Деньги на обед есть? Ничего не забыла?

— Мамуль, я, кажется, не маленькая...

Чтобы на этот счет не осталось никаких сомнений, Ника, поплотнее прикрыв дверь кухни, успевает еще забежать в спальню родителей и слегка надуться, со знанием дела выбрав на туалетном столике самый запретный из флаконов. Горьковатый аромат «Митсуко» значительно прибавляет ей уверенности в себе, но, увы, ненадолго: в лифте она вспоминает, что помимо физики ее сегодня наверняка вызовут и по географии, что задана была на сегодня экономика пяти стран Латинской Америки, а ее представление об этом экзотическом континенте основывается главным образом на записях мексиканской и бразильской эстрады. Хоть бы и в самом деле сел аккумулятор, думает она с надеждой, троллейбусом в школу, пожалуй, уже и не успеть...

Но аккумулятор не сел, светло-серая «Волга» ждет у подъезда, нетерпеливо урча прогретым двигателем.

— Ты можешь хоть раз в жизни поторопиться? — раздраженно кричит отец. — Каждое утро, понимаешь, одно и то же!

Ника с обиженным видом садится рядом с ним.

Погода великолепна, никакого похолодания, скорее всего, не будет, но уж лучше бы дождь со снегом, чем это лицемерие. Судьба уготовила тебе минимум две двойки, а вокруг все ликует, словно мир и в самом деле устроен как надо...

Подавив вздох, Ника косится на отца, на его руки, так уверенно лежащие на руле. Вот уж кого явно не тревожат мысли о несовершенстве мироздания. Машина проходит под высокой аркой; мягко притормозив, пересекает тротуар и, попетляв по довольно сложной схеме выхода на главную проезжую часть Ленинского проспекта, устремляется с общим потоком движения направо — в сторону Ломоносовского. Здесь она, непрерывно сигналив левой мигалкой, переходит из ряда в ряд, чтобы выскочить на перекресток в крайнем левом; потом, дождавшись зеленой стрелки, взвизгивает покрышками в крутом развороте и, быстро набирая скорость, мчится обратно — к Калужской заставе, к центру.

Спидометр уже показывает семьдесят, серая «Волга» идет у самой кромки разделительной полосы. Занимать крайний левый ряд — даже если все справа свободны — таков стиль езды Ивана Афанасьевича Ратманова. Его маленькая слабость, если хотите, которую он иной раз позволяет себе на державной шири Кутузовского проспекта. А уж здесь-то, дома, где его каждый инспектор знает в лицо... Поезди-ка вот так круглый год ежедневно, в одно и то же время, невольно перезнакомишься со всей районной ГАИ.

Иногда, впрочем, привычный маршрут меняется: на углу Ломоносовского светло-серая «Волга» делает правый поворот, потом еще один перед самым университетом, по проспекту Вернадского взлетает на мост и проносится над излучиной Москвы-реки — мимо гигантской чаши Лужников, пестрых павильончиков ярмарки у Фрунзенского вала, стеклянно-бетонной коробки гостиницы «Юность». Этим путем — по Комсомольскому проспекту, Zubовскому и Смоленскому бульварам — получается несколько ближе, и Иван Афанасьевич ездит так, если очень уж плохая погода или предстоит особо трудный день в министерстве. Обычно же он предпочитает более длинный путь через Калужскую заставу и Замоскворечье — это дает возможность каждое утро побыть с дочерью лишние четверть часа. Глупо, конечно, школу надо было сменить, а не таскаться теперь с Ленинского на Ордынку, но не захотела. Столько лет, мол, там проучилась, не привыкать же к новому классу за два года до аттестата. Из двух, кстати, уже остался один. Эх, время, время. Ладно, пускай ездит, ему только лучше — по вечерам они почти не видятся, а контактов с детьми терять нельзя, в наше время это ни к чему хорошему не приводит...

Контакты, думает он скептически и, оторвав взгляд от стоп-

сигналов идущего впереди «Москвича», поглядывает вправо — на этот надменный девчоночий профиль в обрамлении гладких темных волос, подрезанных на лбу блестящей прямой челкой. Сидит, молчит, о чем-то, наверное, думает... А о чем — поди узнай. О школьных своих делах сама ничего не расскажет, а начнешь спрашивать — один ответ: «Нормально...»

Задумавшись, он едва не выезжает на желтый свет — «Москвич» успел проскочить, а «Волга», резко клюнув носом, замирает у самой пешеходной дорожки.

— Вот так, — говорит Ратманов, доставая сигарету, и вдавли- вает в гнездо кнопку прикуривателя. — С тобой доедзишься.

— А при чем тут я, интересно?..

— Будет у тебя взрослая дочка, тогда поймешь, при чем. Ну- ка, наклонись ко мне... Опять у матери на туалете шуровала?

— И не думала вовсе, это мои. Пап, а американцы действи- тельно собираются этим летом высадиться на Луне?

— Да, если не свернут программу...

— Какую программу?

— «Аполлон», какую же еще...

Красный глаз светофора гаснет, под ним вспыхивает желтый и почти сразу сменяется зеленым. Машина, присев на задних рессорах, хищным прыжком кидается вперед.

Мокрый после поливки асфальт во всю ширь располосован утренними тенями, свежий майский ветер врывается в открытые с обеих сторон окна. Впереди, полыхнув на солнце стеклами и хромировкой, сворачивает к воротам Академии наук черная «Чайка» — величественно, словно швартующийся корабль.

— Келдыш на работу едет, — снисходительно замечает Ника.

Отец удивленно поднимает брови.

— С чего ты взяла, что это Келдыш?

— Не знаю, очень уж торжественно его везут. Бывают жен- щины-академики?

— А почему нет, у нас женщины равноправны.

— Ну, это уж вообще... сдвиг по фазе, как говорит Светка. Всю жизнь учиться! Я думаю, это они от недостатка личной жизни.

— Что-что?

— Понимаешь, я читала про Елизавету Английскую, не тепе- решнюю, а ту, раньше, при Марии Стюарт. У нее было неблагопо- лучно с личной жизнью, и поэтому она всю энергию вкладывала в государственные дела...

На это уже у отца просто не находится что сказать. К счастью, время ежеутреннего контакта с дочерью истекает — они уже почти приехали. Как-то странно неупорядоченная после разли- неенной геометрии новых кварталов Юго-Запада, широко и неожиданно распаивается вокруг Октябрьская площадь; шипя покрывками по мокрому асфальту, машина наискось перечер- кивает ее стремительной параболой и ныряет в пеструю тесноту Якиманки. Все-таки старые названия живучи, да ведь и неудиви- тельно: улицы Димитрова есть и в Софии, и в Ленинграде, а где,

кроме Москвы, можно было найти Балчуг, Козиху, Собачью площадку, Разгуляй...

— Папа,— жалобным вдруг тоном окликает дочь,— можешь ты мне популярно объяснить, что такое дырка?

— Какая еще дырка?

— Ну, в полупроводнике, меня сегодня вызовут...

— А-а. Так тут и объяснять нечего — все проще простого.

Дырка — это... как бы сказать... Ты вот механизм парноэлектронной связи в кристалле представляешь? Хотя бы тот же кремний. В оболочке атома четыре слабосвязанных электрона — раз валентность четыре, верно? — и в кристаллической решетке кремния каждый атом расположен по соседству с четырьмя другими. Эти валентные электроны отщепляются, и за их счет возникает связь внутри каждой пары соседних атомов. Это при низкой температуре. А при повышении кинетической энергии каждого электрона увеличивается, он покидает свою пару и становится свободным...

— Какую пару?

— Ты что, спишь, что ли? Я тебе объясняю: при низкой температуре валентный электрон передвигается только между двумя соседними атомами, он привязан к кристаллической структуре! А когда связь разорвана, он как бы уходит в сторону, и на его месте образуется вот эта самая дырка. Чего тут не понимать?

— Ага, ну спасибо,— говорит Ника таким тоном, будто и в самом деле что-то поняла.— Где ты меня сегодня высадишь?

— Посмотри-ка сзади, там, кажется, гаишник едет.

— Он еще далеко,— говорит Ника, оглянувшись.

— Тогда давай сейчас, вот за этим автобусом...

Дело в том, что по всей улице Димитрова висят красно-синие перечеркнутые накрест круги запрещающих знаков: остановить машину нельзя даже для посадки пассажира. А ближе к мосту, на Полянке, и подавно не остановишься. Иван Афанасьевич еще раз бросает взгляд в зеркало, прикидывая расстояние до идущего сзади патрульного мотоцикла, потом решительно обгоняет неторопливый автобус и под его прикрытием притормаживает у тротуара напротив магазина «Букинист», почти у слияния улицы Димитрова с Большой Полянкой. Дочь торопливо чмокает его в висок, хлопает дверцей, и он успевает отъехать за секунду до того, как из-за автобуса показывается кремовый с сине-красной полосой мотоцикл ГАИ. Опоздали, товарищ инспектор, опоздали...

Грузный пятидесятилетний человек, руководитель главка и вероятный кандидат в замминистры, веселится, как школьник, ухитрившийся провести кондуктора. Прежде чем переключить скорость, он оглядывается: дочь, лениво размахивая портфелем, пересекает Полянку, чтобы скрыться в одном из проходных дворов; отсюда Толмачевским переулком самый короткий путь на Ордынку. Какая, однако, взрослая девица, удивляется он вдруг, словно впервые увидев ее после долгой разлуки. А юбочники эти — просто черт знает что, непонятно даже, как школа такое

разрешает. Ведь, в сущности, вот так, с мелких поблажек, все и начинается...

Но дочь уже скрылась из виду, и мысли Ивана Афанасьевича тотчас переключаются на другое. Завтра ему выступать на коллегии, а часть цифр, которые он намерен выложить как свой главный козырь, нуждается, как вчера выяснилось, в проверке и уточнении; прикидывая в уме, кому из сотрудников поручить сейчас это дело, он выжимает педаль газа почти до полу и уверенным поворотом руля вгоняет «Волгу» в поток машин, летящих на взгорбленный впереди Каменный мост.

А Ника Ратманова продолжает свой путь безо всякой уверенности. Твердо она уверена лишь в одном: двойка по физике ей сегодня обеспечена. Географичка может и не вызвать, это уж как получится, а вот с физикой — тут все железно. Нельзя сказать, что ее так уж страшит плохая оценка сама по себе (слава богу, уж кем-кем, а зубрилкой-пятерочницей она никогда не была), но дома будут разговоры на эту тему — приятного, конечно, мало. Хорошо хоть, успела написать сочинение, а то бы вообще полный завал...

В уютном дворике, солнечно-тенистом от уже зазеленевшей сирени, она присаживается на скамью и достает из портфеля учебник. Перед смертью, говорят, не надыхишься, но все же. «...Число дырок в кристалле равно числу атомов примеси. Такого рода примеси называются акцепторными (принимающими). При наличии электрического поля дырки перемещаются по полю и возникает дырочная проводимость. Полупроводники с преобладанием дырочной проводимости над электронной...» Нет, безнадежно. Ника захлопывает книгу, зажмуривается, пытаясь представить себе перемещающиеся по полю дырки, и зрелище это столь безотрадно, что ей овладевает еще горшее отвращение к физике. Как могла Светка выбрать себе такую специальность?

Спрятав учебник, она достает зеркальце и помаду, слегка подкрашивает губы — чуть-чуть, едва заметно — и сидит, со смешанным чувством зависти и жалости глядя на играющих неподалеку малышей. Беззаботный возраст, но, с другой стороны, у них все еще впереди, да и не только это. В одной полупроводниковой технике сколько появится нового, пока эти несчастные доучатся до последних классов! «Мы были как вы, вы будете как мы». Если не хуже.

Время, однако, идет. К первому уроку она уже опоздала — неважно, явится прямо на физику, тоже неплохо. Но тогда еще рано, можно пока и погулять. Трудно поверить, что есть люди, которым не нравится Замоскворечье, которые предпочитают Арбат или даже какие-нибудь там Черемушки, Фили, Химки-Ховрино; строго говоря, это вообще уже не москвичи, это извращенцы. Настоящий москвич, считает Ника, не может не любить всю эту старину, уютную путаницу тупичков и переулков, дворики и садов, где летом так сладко пахнет липами... Ей вот самой никак не привыкнуть к Ленинскому проспекту, хотя и там, конечно, есть свои преимущества — можно, скажем, подойти к окну и увидеть,

как едут из Внукова космонавты или какая-нибудь правительственная делегация. Но нет, все равно там неуютно — все слишком новое, и многоэтажное, и необжитое. А здесь — здесь сердце Москвы, здесь ты на каждом шагу чувствуешь, что идешь по городу, которому восемьсот лет...

Добравшись до угла Лаврушинского переулка, где неожиданно и как-то инородно торчит унылая девятиэтажная громадина, Ника вдруг сворачивает налево, к галерее. «Вообще не пойду сегодня ни в какую школу, — решает она внезапно, — буду лучше сидеть и смотреть на «Троицу» — по методу Андрея». «Думаешь, ты что-нибудь поймешь с первого взгляда? — сказал он ей как-то. — Нужно сесть напротив и смотреть час, другой, третий, — только тогда начнешь понемногу понимать, что такое Рублев...»

Галерея, к сожалению, открывается только в десять. Ника проходит мимо, пытаясь решить, нравится ей Андрей Болховитинов или не нравится. В общем-то, конечно, из всех мальчишек в классе он самый интересный как человек, да, пожалуй, и внешне. Но что-то в нем есть... трудно даже определить, что именно, но это неопределимое ее отпугивает. Какая-то скрытая... одержимость, что ли, которая при случае может, наверное, обернуться и жестокостью. Хотя почему, казалось бы? Ван-Гог был одержим, и Микеланджело тоже, но разве их назовешь жестокими... А вот Андрей дал ей прочитать «Луну и грош» и сказал, что Стрикленд — это настоящий художник по характеру и что он очень хорошо его понимает. Ей же самой характер Стрикленда показался отвратительным. Неужели Гоген действительно был таким?

В самом начале Лаврушинского переулка, там, где он под прямым углом отходит от набережной, есть маленький зеленый пятачок, каких много в этой части города. Ника садится на горячую от солнца скамейку, запрокидывает голову, прикрыв глаза. Уже можно и позагорать. К остановке подходит кольцевой автобус, кто-то объясняет кому-то, как пройти к Третьяковке, и снова опускается вокруг тишина — особая, здешняя, замоскворецкая. От этой ли тишины, или от солнечного тепла, или от мысли об Андрее, но Нике делается все более и более грустно. Это даже не грусть, а какое-то чувство неудовлетворенности — всем решительно. Начиная от школы, где ее заставляли учить заведомо ненужные вещи, «дают информацию», которая ей никогда в жизни не пригодится, и кончая самой собой. Или, вернее сказать, начиная с самой себя — глупой, бестолковой, не умеющей определить своего места в жизни, не знающей толком, чего от этой жизни хотеть. Действительно, при чем тут школа, при чем тут преподаватели...

Интересно, ощущают ли эту неудовлетворенность другие ее сверстники? Возможно, что ощущают. Не случайно ведь всех тянет к необыдному — к бригантинам, к алым парусам, к сказке; даже в эстрадных песенках сплошь пошли гномы да великаны. Мама говорит, в ее молодости само понятие романтики было иным, мальчишки тогда мечтали о войне, убежали в Испанию... А у нас? Целина давно освоена, в космос пока не убежишь, оста-

ются бригантины, да еще «сбачаем шейк, старуха!». Или вот стали носить мини — для чего? Сначала самой было неловко, чувствовала себя голой, потом привыкла — носят же другие. Противно, конечно: обезьянничаешь, как мартышка, до полного неприличия...

— Девушка, вы не подскажете, к Третьяковке как тут пройти?

Ника встает, объясняет, как пройти к Третьяковке. Уже без четверти десять, и посидеть спокойно теперь не дадут — все будет спрашивать, как пройти, хотя что тут спрашивать, если на стене нарисована стрела с надписью «Третьяковская галерея». Первый урок кончился, сейчас перемена, а потом будет физика. Ника направляется было следом за группой приезжих, которые спрашивали у нее дорогу, но решает, что еще рано — к открытию там всегда толчея, лучше обождать, — и, повернув обратно, переходит через набережную.

Положив портфель на каменную тумбу парапета, она облокачивается на него и долго смотрит на воду, мутную, почти неподвижную; потом поднимает голову и медленно обводит взглядом знакомую панораму Болота. Слева, за мостом, кинотеатр «Ударник», уступчатой надстройкой и двумя высокими трубами немного напоминающий старинный броненосец. Рядом с ним, правее, громоздятся серые конструктивистские корпуса огромного мрачного жилмассива. А прямо впереди, на том месте, где когда-то казнили Пугачева, ярко, в упор освещенный солнцем, зеленеет сад вокруг памятника Репину, и над верхушками деревьев видны вдали кровли Большого Кремлевского дворца.

Первые четыре класса Ника училась на Софийской набережной — вон там, за этим садом. Потом спецшколу оттуда перевели, сейчас она здесь по соседству, в одном из Кадашевских переулков, но тогда находилась рядом с английским посольством. Учиться там ей не нравилось: преподаватели были хорошие, но с одноклассниками она не ладила, поэтому и настояла потом, чтобы перейти в другую школу. Хотя мама была против — та, первая, считалась более престижной. Странно, думает Ника, вроде бы и не так много лет прошло, а детство кончилось...

Приятно, конечно, чувствовать себя взрослой, но если всерьез — иногда вдруг делается и страшновато: а что дальше? Это ведь тоже не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Вернее, вопроса вообще нет, если соглашаться на готовые решения, принятые за тебя другими; а если хочешь решать сама, до всего доходить своим умом?

Вздыхнув, Ника оттягивает рукав коричневого форменного платья, чтобы посмотреть на часы, и тут происходит катастрофа: где-то далеко внизу раздается увесистый всплеск, только что лежавший здесь на тумбе портфель уходит под воду, скользнув по каменному откосу стенки, и всплывает уже поодаль, покачиваясь на волне и взблескивая латунным замочком.

При внезапной беде обычно не сразу осознаешь все ее значе-

ние, голова в первый момент занята скорее побочными, второстепенными обстоятельствами случившегося. Ника разинув рот смотрит на портфель и думает о том, скоро ли он утонет и утонет ли вообще. Вообще-то не должен: книги — ведь это, та же целлюлоза, а дерево плавает и намокшее. И только потом до нее доходит, что запас плавучести портфеля — это сейчас вовсе не главная ее проблема. Вот он удаляется — все-таки уплывает, хотя течение здесь и медленное, — а вместе с ним уплывают учебники, тетради, дневник, переписанное набело сочинение, кошелек с полтинником на обед и обратную дорогу, весь тайный запас косметики и французская четырехцветная «Каравелла»... Ника беспомощно оглядывается — на набережной, как назло, ни одного рыболова — и вдруг еще шире раскрывает глаза, в ужасе прижимает к губам ладошку: ключ-то от квартиры тоже уплыл!

Вот теперь ею овладевает полнейшее спокойствие. Бывают положения, когда человеку можно не опасаться ничего на свете, когда человек буквально неуязвим — по той простой причине, что ему уже нечего терять и все, что могло с ним случиться, уже случилось. Занятия пропущены без уважительной причины, сочинение не сдано, портфель потерян, в квартиру самой не войти — значит, придется ехать к маме на работу. Ну и прекрасно! Она с самого утра знала, что ничем хорошим этот день не кончится. Что ж, лишнее доказательство в пользу неотвратимости судьбы. «И от судеб защиты нет» — это написано еще когда. И кем!

Около полудня, проголодавшись, Ника появляется во дворе по Старомонетному переулку, где прошли первые четырнадцать лет ее жизни. Здесь все по-прежнему: те же раскидистые тенистые тополя, тот же пузатый и подпертый со всех сторон балками двухэтажный флигель, который обещают снести уже который год. Теперь, наверно, уже нет смысла: дешевле подождать, пока развалится сам. Баба Катя, бывшая домработница Ратмановых, сидит на солнышке у своего полуподвального крылечка, чистит картошку в облупленном эмалированном тазу.

— Здравствуйте, баба Катя! — Ника подходит, целует старуху в макушку и усаживается рядом на низкую скамеечку, выставив туго обтянутые дедероном колени.

— А-а, Верунька, это ты, милая. Спасибо, что проведать зашла. Чегой-то так рано сегодня со школы? Другие еще не прибегли. Во вторую смену, что ль, занимаешься теперь?

— Нет, почему же... в первую, как и всегда. Я, баба Катя, не была сегодня в школе. У меня, баба Катя, какой-то ужасный сегодня день. — Голос у Ники начинает дрожать. — В школу я не пошла, портфель потеряла, вообще... Дайте я вам буду помогать!

Она решительно забирает у бабы Кати недочищенную картофелину и ножик, лезвие которого сточено до узкого клинышка.

— Глазкй-то чище выковыривай, — говорит баба Катя, — картошка нынче в овощном сплошь проросшая. Что в школе не была, это ладно, — вам теперь хоть вовсе не ходи, все равно не выгонят. Учительница тут вчерась к Савельевым приходила —



ну вся как есть изревелась. Молоденькая такая. Сил моих, говорит, больше никаких нету. Генку-то ихнего зимой в пэтэу списали, месяца не проучился — опять в школу вернули. Нет, нынче вашему брату жизнь пошла легкая... то-то вы заголясь бегаєте. Перед-ни хотя б возьми, прикройся, мужики по двору ходят...

Ника, смутившись, быстро прикрывает колени передником.

— А портфель-то куда ж девался? — спрашивает баба Катя. — Фулиганы, что ль, отняли? Так вроде давно такого не было. В сорок шестом-то году, помню, у меня на углу хлебные карточки выхватили, и охнуть, милая, не успела, во как...

— Нет, какие там хулиганы, — Ника вздыхает. — Я его сама уронила в реку, понимаете? Засмотрелась, а он упал. Я теперь как погорелец, баба Катя, одолжите мне тридцать копеек. Понимаете, мне нужно хотя бы стакан кофе с пирожком, иначе я умру с голода, — это двадцать четыре копейки, ну и пятак, чтобы доехать к маме на работу. Свой ключ я ведь тоже утопила, мне просто не войти в квартиру...

— Ну-у, девка, плохи твои дела, — сочувственно говорит баба Катя. — Портфель-то вроде новый был? Светленький такой, импортный, помню, помню... Сколько, говоришь, денег-то тебе надо?

— Тридцать копеек. Точнее, двадцать девять, я просто округляю.

— Это значит два девяносто... — Баба Катя погружается в какие-то сложные подсчеты. — Есть у меня, Верунька, деньги, слышь ты, только за свет нужно заплатить, два месяца уж не плочено... Да ты погоди, сейчас все посчитаем...

Баба Катя кряхтя встает, уходит, потом возвращается с очками, кошельком и квитанционной книжкой.

— Сосед вчера выписал по счетчику, — говорит она, разворачивая книжку, — не знаю еще, сколько тут... А ты пока погляди-ка, чего там в кошельке-то осталось...

Ника вытряхивает из кошелька две помятые желтые бумажки, металлический юбилейный рубль и еще какую-то мелочь. Всего оказывается три рубля шестьдесят восемь копеек.

— Видишь, как выходит, — говорит баба Катя. — За свет-то нужно рупь семьдесят. Тебе и двух рублей не наберется...

— Да зачем мне столько, — смеется Ника. — Мне нужно тридцать копеек, баба Катя! Вот смотрите, я беру — видите? А это вам.

— Ты ж сказала — два девяносто! — сердится старуха. — Только путаешь, ну тя к лешему...

— Какие два девяносто! Это вы сказали — два девяносто, вечно вы на старые деньги все переводите — увидите вот, обсчитают вас когда-нибудь.

— Ладно, ладно. Только слышь, Верунька, ты в пирожковую-то эту не ходи, нечего себе желудок смолоду портить, мы вот сейчас картошки сварим да поедим, а ты сбегай покаместь заплатить за свет, сберкасса-то наша помнишь где?

Ника берет квитанционную книжку, два рубля и бежит в

сберкассе. Потом они с бабой Катей обедают — едят картошку, политую пахучим подсолнечным маслом, и пьют из раскаленных эмалированных кружек немного отдающий венником чай. Нике очень хочется поделиться с бабой Катей какими-то своими мыслями, но эти мысли пока не очень ясны ей самой, а баба Катя за последний год стала немного bestолковой.

Странно — вокруг так много взрослых, а поговорить по-настоящему не с кем. Даже с родителями. Даже с мамой! Слишком у этих взрослых все получается ясно и просто, обо всем есть готовое мнение, все разложено по полочкам. Быть троечницей — позор, никакой серьезной любви в школьном возрасте быть не может, человек без высшего образования — вообще не человек. Ну и так далее. Ученье — свет, а Волга впадает в Каспийское море.

— Они мне говорят: в десятом классе уже нужно знать, какую профессию выбрать! — говорит она возмущенно и дует на свою кружку, пытаясь хоть немного остудить край. — А я вот ни малейшего понятия не имею, правда я еще не в десятом... Это еще посмотрим, переведут ли меня, — добавляет она.

— Переведут, куда не денутся. Чего им с тобой еще год возжаться, шутка ли. А за професие ты не переживай, професие в наше время приобрести всякий может. В инженерá пойдешь, нынче что ни девка, то инженер. Конечно, заработок не тот, зато работа чистая, легкая. А еще, глядишь, и за границу куда пошлут, пошлалок мне привезешь мохеровый. Вон, у Петуниных Зинка с делегацией ездила, так там...

— Инженер вряд ли из меня получится, — говорит Ника с сомнением. — По математике: то сплошные тройки. Да и неинтересно мне это...

— Ленивая ты, Верунька, ох ленивая.

— Не знаю, баба Катя, — Ника, подумав, пожимает плечами. — Иногда мне кажется, что я могла бы сделать что угодно, если только почувствовать, что это действительно нужно, а не просто «так принято»...

Забыв о своем чае, она задумчиво смотрит в подслеповатое окошко. На дворе уже пол-летнему солнечно. В дальнем углу Савельев-старший вится со своей вишневой «Явой», наверное готовится к техосмотру; по расчерченному «классами» асфальту суетливо ковыляют раскормленные, сизые с отливом замоскворецкие голуби. Да, скоро каникулы. А потом десятый класс. А потом? Она пытается представить себе это «потом» — безуспешно, жизнь ведь такая странная штука: в чем-то у всех одинакова, а в чем-то совершенно, абсолютно индивидуальна и неповторима, и именно вот это твое, неповторимое, предназначенное только тебе одной, — этого-то и нельзя ни предвидеть, ни представить, ни угадать; можно лишь предчувствовать, и это предчувствие вдруг — на одну лишь секунду — наполняет ее ощущением огромного, невыразимого, беспредельного счастья. Оно взрывается, как вспышка, короткая и ослепительная, и тут же наступает отрезвление — вспоминается утонувший портфель,

предстоящий разговор с мамой и все прочее. Да, попробуй еще доживи до этого блистательного «потом»...

— Я пойду, наверное,— грустно говорит Ника.— Спасибо за обед, баба Катя,— добавляет она совсем уже унылым тоном.

## ГЛАВА 2

Елена Львовна Ратманова всегда умела находить оптимальные решения проблем, которые другим оказывались не под силу. Работники, обладающие таким умением, обычно считаются незаменимыми, и Елена Львовна давно уже приобрела репутацию незаменимого работника, хотя специального образования не имела и занимала в редакции ведомственной газеты довольно скромную должность заведующей секретариатом. Кроме того, ее уже на второй срок избирали председателем месткома. Здесь она действительно была на своем месте — именно на таком посту от человека требуется терпение, такт, хорошее знание людей и, главное, умение сглаживать острые углы и примирять противоречия.

С тем же терпением и тактом она решала свои семейные проблемы. В частности — и этим, пожалуй, Елена Львовна гордилась больше всего, — ей удалось найти и устойчиво сохранять равновесие между двумя полюсами притяжения, которые больше всего влияют на жизнь современной женщины: семьей и работой. Как бы ни поглощали ее редакционные дела, она никогда не забывала о своем долге матери и хозяйки дома. По мере сил способствовала она и успешной карьере мужа: не то чтобы «проталкивала» его, как это делают иные жены, — у Ивана Афанасьевича у самого хватало деловых качеств, — но... Тут ведь очень большую роль играют всякого рода побочные, казалось бы и незначительные на первый взгляд обстоятельства, а именно по части использования обстоятельств Елена Львовна всегда была великая мастерица.

Со старшей дочерью, которая жила в новосибирском Академгородке, у нее были, в общем, прекрасные отношения, хотя и чуточку холодноватые, без тепла и настоящей близости. Возможно, в этом виноват был характер самой Светы, суховатый и слишком рассудочный, — не случайно ее потянуло на физмат, — а может быть, вина была и ее собственная. Света росла в трудные военные и послевоенные годы, когда жизнь была совсем другой, и, может быть, в чем-то она не проявила достаточной заботы, — думая об этом, Елена Львовна испытывала иногда неясное чувство вины. Впрочем, в том, что старшая дочь выросла рационалисткой, она большой беды не видела.

Куда больше тревог и забот уже сейчас доставляла Вероника. В отличие от старшей сестры, которая с первого класса шла на одних пятерках и в университет попала вне конкурса, девочка училась неважно. Очень неважно. И у нее бывали причуды: она вдруг задумывалась, становилась беспричинно раздражительной, грубила. Правда, уходить без разрешения из дому она еще не

осмеливалась, но могла запереться у себя в комнате и целый вечер слушать песни Высоцкого — про тау-китян, про нечисть, про то, как опальный стрелок торговался с королем насчет платы за избавление от чуда-юда. В таких случаях Елена Львовна предпочитала не идти на открытый конфликт и делада вид, что ничего особенного не происходит.

Она утешала себя тем, что пройдет время и дочь переберется. Такой уж возраст, и у разных натур этот перелом проходит по-разному. Так что, строго говоря, и на это жаловаться не приходилось.

В общем, Елена Львовна могла считать себя счастливым человеком. У нее была прочная семья, положение в обществе, интересная работа, материальная обеспеченность. В пятьдесят лет она выглядела не старше сорока пяти, подтянутая, моложавая, всегда безупречно одетая в точном соответствии с возрастом, Елена Львовна еще пользовалась успехом и знала это. Тем приятнее было ей показываться на людях вместе со своей младшей и уже почти взрослой дочерью.

В этот день, незадолго до конца уроков, «почти взрослая» дочь позвонила ей и каким-то особенно несчастным голосом потребовала немедленного свидания.

— Я звоню из автомата, — сказала она, — тут, на углу, рядом с тобой.

— Почему ты не в школе?

— Ну... вот так получилось. Я поднимусь сейчас и все тебе объясню. Ладно, мама?

— Хорошо, приходи, — сказала обеспокоенная Елена Львовна. Положив трубку, она привела в порядок бумаги на своем столе и встала.

— Наташа, голубчик, мне нужно пообщаться с ребенком, у нее очередное чепе. Если будет что-нибудь срочное, позвоните в буфет, я буду там...

В редакционном буфете в этот час былолюдно. Елена Львовна не сразу нашла свободный столик в углу и тут же, обглянувшись, увидела дочь и помахала рукой.

Она смотрела, как Ника идет к ней через зал — как всегда, с немного отрешенным видом, чуточку не от мира сего, словно только что проснувшаяся, двигаясь с какой-то неуклюжей грацией, — и ей опять подумалось, что в чем-то она все же совершенно не знает дочери. В частности, для нее загадка: отдает ли девочка себе отчет в своей стремительно расцветающей женственности? Боже мой, еще год назад это был такой гадкий утенок...

— Здравствуй, мамуль. Ты не угостишь меня черным кофе? — непринужденно спросила Ника, опускаясь в изогнутое пластиковое креслице.

— Потом. Почему ты не в школе, Вероника?

— Понимаешь, я сегодня решила не идти в школу, а просто походить и подумать о своем будущем...

— О чем?

— Ну, о будущем, должна же я что-то для себя решить! Зна-

ешь, мама, я вообще не уверена, что мне стоит доучиваться в десятом классе.

— Великолепная мысль. Чем же ты думаешь заняться?

— Какое-то время я хотела бы пожить просто так. Ну, созерцательной жизнью, понимаешь?

— Милая моя, в наше время созерцательная жизнь называется тунеядством.

— Совсе я не собираюсь быть тунеядкой,— возразила Ника.— Я бы пошла работать.

Елена Львовна вздохнула и покачала головой.

— Куда?— спросила она.— Кем? Кто тебя возьмет, кому ты нужна? Ты не умеешь печатать на машинке, не знаешь основ делопроизводства...

— Господи, при чем тут делопроизводство или машинка?! Я что, собираюсь работать секретаршей? Мне нужна такая работа, чтобы были заняты только руки и можно было бы работать и думать...

— Час от часу не легче. Ты, значит, собралась на завод?

— Лучше на какую-нибудь фабрику — текстильную, кондитерскую, что-нибудь в этом роде. «Рот-Фронт», например,— это совсем недалеко от школы, и туда можно устроиться заворачивать конфеты. В конце концов...

— В конце концов,— перебила ее Елена Львовна,— я не желаю больше обсуждать подобную дичь. Когда ты начнешь уметь?

— Но я уже начала, неужели не заметно? Ведь еще год назад я просто не задумывалась над некоторыми вещами, а теперь задумываюсь. Когда человек над чем-то задумывается, это уже хорошо само по себе, разве нет?

— Вероника,— терпеливо сказала Елена Львовна,— задумываться можно над чем угодно, но у человека есть в мозгу какой-то фильтр, который задерживает ненужные мысли. У нормального человека, я хочу сказать.

— А что такое нормальный человек? И что такое ненужные мысли? Кто может определить, нужны они или не нужны?

Елена Львовна опешила.

— То есть как это — кто? — спросила она после паузы.— Уж не ты ли сама собираешься это решать? Я не понимаю, откуда у тебя этот... цинизм, это полнейшее нежелание признавать авторитет старших!

— Ну мама,— с упреком сказала Ника.— С чего ты взяла, что я не признаю твой авторитет? Я просто...

— Довольно,— отрезала Елена Львовна.— Повторяю, я не хочу больше выслушивать эти глупости. В шестнадцать лет люди не философствуют, а учатся. А ты учиться не хочешь, ты просто начинаешь опускаться. Посмотри на себя!

Ника, поняв последние слова буквально, посмотрелась в оконное стекло: рама, открытая внутрь, отразила ее как в зеркале.

— Да, знаешь, что мне сегодня пришло в голову...— Она от-

вела назад рассыпанные по плечам волосы и собрала их на затылке. — Может быть, лучше как-то так?

— Нет, нет, тебе идут длинные. И не перебивай меня, пожалуйста! Я говорю, посмотри на себя со стороны: взрослая девушка, через год получает аттестат, а ведет себя хуже всякой первоклассницы! Вместо того чтобы идти в школу, таскается по улицам, думает черт знает о чем, — я просто слов не нахожу! Ну хорошо, ты пропустила первый урок. А потом?

— О, я и забыла тебе сказать, — небрежным тоном объявила Ника. — Я ведь потеряла портфель. Так что идти в школу потом было уже просто не с чем. Только ты, пожалуйста, не смотри на меня такими глазами, — портфель упал в воду, я вовсе не виновата. Упал, и все. И поплыл! Не прыгать же было за ним в Москву-реку, согласишься сама...

— Вероника, ты просто издеваешься надо мной, — сказала Елена Львовна ледяным голосом. — Ты что, действительно потеряла портфель?

— Да, и ключ тоже.

— Какой ключ?

— От квартиры, он был в портфеле. Я для этого и пришла, чтобы взять твой.

— И тоже потерять?

— Ну, уж теперь-то нет! Если у тебя найдется веревочка, я могу повесить его на шею.

— Вот-вот, — Елена Львовна горько усмехнулась. — Я говорю, ты даже не первоклассница. Ты где-то на уровне детского сада, Вероника, это в детском саду малыши ходят с ключами на шее.

— Я спрячу его под платье, и все будет прилично. Ты хотела угостить меня кофе?

— Хорошо, поди принеси, — Елена Львовна протянула дочери кошелек. — Мне двойной с лимоном, без сахара.

— Как ты можешь такую гадость, бр-р-р. А себе я возьму эклер, хорошо?

— Какой еще эклер? Не хватает только, чтобы ты за свое прекрасное поведение получала пирожные!

Ника удалилась с обиженным и меланхоличным видом, надрывая материнское сердце. «Может быть, зря я не позволила ей скушать этот несчастный эклер? — подумала Елена Львовна. — Да нет, нужно же как-то воспитывать...»

— Не думай, кстати, что твое наказание ограничится лишением пирожного, — сказала она, когда дочь вернулась, неся две чашечки «эспрессо».

— Дома ты поставишь меня в угол?

— Нет, милая моя, в угол не поставлю. Но если у тебя были запланированы какие-то мероприятия, то теперь можешь их аннулировать. Потому что до конца мая ты из дому не выйдешь. То есть в школу, разумеется, ходить будешь. Но и только!

Она потыкала ложечкой ломтик лимона, поднесла чашку к

губам и только после этого посмотрела на дочь. Та сидела с совершенно несчастным видом.

— Мама, послушай...

— Да?

— Мама, ну ты же помнишь... у Андрея два билета в «Современник», на двадцать шестое. Он пригласил меня еще когда, ты же помнишь...

— Я помню, помню. Но я хочу, чтобы и ты помнила, что тебе уже шестнадцать и что в таком возрасте люди должны отвечать за свои поступки. А Андрею ты скажешь, что плохо себя вела и тебя наказали.

Большие темно-серые глаза дочери начали быстро наполняться слезами.

— Только, пожалуйста, без этого,— непреклонно сказала Елена Львовна.

Тут она действительно была непреклонна, хотя минуту назад испытывала раскаяние, не разрешив дочери полакомиться пирожным. Для того чтобы наложить на девочку еще одно, и гораздо более суровое, взыскание, были особые причины: Дружба Вероники с этим Андреем Болховитиновым нравилась Елене Львовне все меньше и меньше, и, хотя ничего серьезного, судя по всему, между ними не намечалось, лучше было заранее принять меры. Будучи матерью передовой и современной, она не собиралась протестовать против того, чтобы дочь бывала в обществе знакомых мальчиков. Но мальчики вообще — это одно, а один определенный, конкретный мальчик — это уже нечто совсем другое. И об этом «другом» Веронике думать пока рано. Слишком рано.

Она допила кофе, порылась в сумке, достала ключ, деньги, книжечку троллейбусных талонов, уложила все это в портмоне и протянула дочери.

— Бери и поезжай домой. Посмотри, есть ли хлеб,— если нет, сходишь в булочную. Да, и возьми еще молока и две бутылки кефира.

— Хорошо,— отозвалась Ника подчеркнуто покорным голосом. — Ничего больше не нужно?

— Ничего. Если вспомню что-нибудь, куплю сама на обратном пути. И чтобы никуда не заходила, слышишь?

— Да, но в школу-то мне зайти придется, то есть не в школу уже, а просто повидать кого-нибудь...

— Для чего?

— Ну... узнать, что задали, и вообще! Понимаешь, по телефону это бесполезно, все равно перепутают,— убеждающе сказала Ника.

— Зайди, только ненадолго, и сразу домой.

— Хорошо, мама...

К школе Ника подъехала с таким расчетом, чтобы уже не нарваться ни на кого из преподавателей, но еще застать тех, кого ей нужно было увидеть. Издалека, через улицу, она оглядела школьный двор, вернее, ту его часть, что была доступна обозрению с противоположного тротуара. Впереди, слева от ворот, был

разбит чахлый палисадничек, за ним — обнесённый металлической сеткой корт, в этот час уже пустые и тихие. Впрочем, Ника и не рассчитывала увидеть здесь своих приятелей. Компания их, если и оставалась поболтаться вместе после уроков, предпочитала делать это на пяточке у церкви Всех Скорбящих — хоть и рядом со школой, но все же не так на виду.

Происхождение этого пяточка было неизвестно. То ли место так и оставалось почему-то незастроенным, то ли стоявший тут дом сгорел во время войны от немецкой термитной бомбы, но сейчас здесь образовался крошечный тенистый скверик, ничем не огороженный со стороны тротуара и втиснутый между ротондой храма и торцевой стеной четырехэтажного дома по правую руку, со стороны школы.

«Банда» из девятого «А», в хорошую погоду иногда проводившая здесь час-другой, прежде чем разойтись по домам, удивляла многих преподавателей своим составом. Классная руководительница Татьяна Викторовна попыталась выяснить у своего сына, чем, собственно, привлекает его дружба с Ренатой Борташевич, одной из самых пустых и легкомысленных девочек в классе, или тем же Игорем Лукиным, чьей заветной мечтой было купить электрогитару и сшить себе красный сюртук с золотыми пуговицами (о чем он во всеуслышание объявил однажды на комсомольском собрании). Но выяснить ей ничего не удалось: Андрей, по обыкновению, отмалчивался, потом пожал своими в косую сажень плечами и пробасил нехотя, что в каждом человеке можно что-то найти, надо, мол, только уметь видеть. Возразить против этого было трудно, но понять подобную дружбу — еще труднее. Поражало преподавателей то, что в этой же компании оказались Петя Аронсон и Катя Саблина — чуть ли не самые способные пятерочники школы, уже участвовавшие в районных и городских математических олимпиадах.

Сейчас эта примерная пара сидела на скамейке плечо к плечу, читала какой-то затрепанный журнал, сблизив головы, и синхронно давилась смехом. Андрей Болховитинов рисовал, развернув на колене альбомчик, который постоянно таскал с собой, а Игорь рядом с ним копался во внутренностях маленького транзисторного приемничка.

— Привет,— сказала Ника, подходя.— Все живы?

— Если это можно назвать жизнью,— отозвался Игорь.— Ты чего это так рано?

— А, не говори. С утра сплошные неприятности...

— Это, старуха, у всех. У меня вот, видишь, транс накрылся.

Андрей рассеянно глянул на Нику, кивнул и снова занялся рисованием. Он то и дело, шурясь, поглядывал на верхний ярус колокольни и чиркал в альбоме быстрыми угловатыми движениями, держа карандаш под прямым углом к бумаге. Осмотревшись, Ника увидела и Ренату — та, отойдя к церковной ограде, где было больше солнца, с озабоченным видом примеряла очки с огромными — в блюдечко — круглыми сиренево-голубыми стеклами.



— Ренка, с ума сойти! — ахнула Ника. — Где достала? Нука, покажи...

Она завладела очками, и мир сразу сделался каким-то подводным. Вернувшись к скамейке, где сидели мальчишки, она отвела волосы от щеки и слегка подбоченилась, выставив колено и едва касаясь земли острым носком туфельки.

— Что скажете? Андрей, окинь взглядом артиста, идут мне такие?

— Сила, — одобрил Игорь. — Еще тот кадр: их нравы, или мисс Большая Ордынка.

— Нет, сними, — сказал Андрей, на этот раз оглядев Нику более внимательно. — Очки тебе ничего, только лучше узкие, а это вообще маразм — жабыи глаза какие-то.

— Фэ, — сказала Ника, послушно снимая очки. — Удивительно ты умеешь все опошлить. «Жабыи глаза!» Возьми, Ренка, меня не оценили.

Она присела рядом с Андреем и заглянула в альбом.

— Что это ты рисуешь, колокольную? Она тебе кажется красивой?

— А тебе?

Ника до сих пор как-то не задумывалась над вопросом, красива или некрасива круглая трехъярусная колокольная храма Всех Скорбящих; сейчас она пренебрежительно пожала плечами и заявила, что в Москве есть церкви куда лучше.

— Например? — поинтересовался Андрей.

— Да хотя бы та в Зарядье — как ее, «на Кулишках»? Ну, где Дмитрий Донской был...

— Подходящее сравнение — всего пятьсот лет разницы. Таких эрудитов, как ты, можно показывать на вэ-дэ-эн-ха. А все-таки, чем тебе эта не угодила?

— Пропорции не те, — подумав, сказала Ника.

— А-а, ну ясно, — Андрей понимающе покивал. — Где уж было бедняге Баженову разобраться в пропорциях.

— Это разве Баженов строил?

— Представь себе. Так где ты пропадала все утро?

— Ой, я потом расскажу... Физик про меня не спрашивал?

— Спрашивал.

— А географичка?

— Не знаю, я сидел отключившись.

— А что?

— Да так, — Андрей захлопнул альбом и сунул его в портфель. — На предыдущем уроке схлопотал двойку от собственной родительницы и почему-то расстроился.

— Брось, старик, — сказал Игорь, — если еще из-за двоек расстраиваться...

— Нет, двойка по литературе — это действительно неприятно, — возразила Ника. — Да еще перед самым концом года!

— Он-то сегодня действительно ни фига не знал, — вмешалась Рената, — а вот мне на прошлой неделе вlepили совершенно зря, я отвечала минимум на трояк. У математички, видите ли,

было плохое настроение — может, они утром с мужем ругались. Так знаешь, до чего обидно, я обрелась, как крокодил! — Она снова нацепила голубые очки и стала разглядывать себя в зеркальце. — Ник, завтра мне обещали принести ресницы — те самые, помнишь, длинные такие. Примерим, я тебе тоже постараюсь достать...

— Не надо мне ничего, — Ника вздохнула. — Я сегодня портфель утопила, какие уж теперь ресницы.

Рената сделала большие глаза.

— Офонареть, — прошептала она испуганно. — Как это — утопила? Где?

— Не все ли равно где! На Кадашевской набережной, у Лаврушинского. Что за дурацкие расспросы — где, как? Очень просто как — взяла и бросила в воду, он и утонул.

— Ну, ты даешь, — восхитился Игорь. — Что это на тебя, горемычную, накатило?

— Надоело все! От одной физики уже дурно делается...

— Ты что, действительно выбросила портфель? — спросил Андрей.

— Да, вот представь себе, взяла и выбросила!

— Ничего, старуха, держи хвост пистолетом, скоро каникулы, — утешил Игорь, продолжая терзать свой транзистор.

Саблина и Аронсон — или Пит Арон, как стали его называть после культпохода на «Большой приз», — в один голос взвыли от прорвавшегося хохота.

— Что это они читают? — спросила Ника у Игоря.

— Да эту бодягу, как ее... про kota Бегемота.

— Почему «бодяга»? Мне, например, понравилось.

— Можно подумать, ты там что-то поняла, — сказал Андрей.

— Можно подумать, ты понял.

— И я не все, а уж про тебя-то и говорить нечего.

— Ну, не знаю, что там вообще такого особенного нужно понимать, — примирительно сказала Ника. — По-моему, это просто хорошая историческая повесть. Я говорю про те места, где Пилат и этот, ну...

— Иисус из Назарета, — усмехнулся Андрей, — если мне не изменяет память.

— Ну да, но ведь там его называют иначе? Эта часть мне понравилась больше, а про Бегемота или про этот театр дурацкий — смешно, конечно, но это уже совсем другое, непонятно даже, зачем он все так перемешал. А тебе понравилось?

— Старик, дай-ка нож, — попросил Игорь. — У тебя там отвертка есть?

Андрей, откинувшись на спинку скамьи, вытащил нож из заднего кармана джинсов.

— Не знаю, — ответил он не сразу. — Я в этой вещи не до конца еще разобрался. Родительница моя считает ее гениальной — вероятно, ей виднее...

— Ой, мальчики, — воскликнула Рената, — что гениально — так это «Щит и меч»! А фильм какой — обалдеть!

Приемник в руках Игоря хрустнул, и из него что-то выпало.

— Вот плешь,— огорченно сказал тот.— Починил, называется... Двадцать рэ кошке под хвост. Ну надо же!

— Кретин ты,— сказал Андрей.— Ты и мои часы так же чинил — не умеешь, а берешься. Чего тебя понесло его разбирать?  
— Регулятор тембра барахлил... Эй, Пит!

Пит оглянулся и, оставив журнал Кате Саблиной, встал и подошел к скамье, где сидели остальные.

— А, и дитя-цветок уже здесь,— сказал он, увидев Нику.— Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Где это вас носило?

— Ох, слушай, мне уже надоело рассказывать в четвертый раз одно и то же!

— Она портфель выкинула в Москву-реку,— сообщил Игорь, ползая под скамейкой в поисках выпавшей из приемника детали.

— С Кадашевской набережной,— добавила Рената таким тоном, будто эта подробность объясняла все.— Говорит, надоело учить физику.

— Что значит «надоело учить»? — Пит пожал плечами.— Учение надоест не может, надоест может незнание чего-то. Ты просто не знаешь физику, поэтому тебе и кажется, что она тебе надоела. А если бы ты ее знала, ты бы поняла, что нет ничего более интересного. Так что тут с приемником?

— Да вот, понимаешь, вывалилось что-то, не могу найти...

— Ренка, пока я не забыла — покажи, что на дом,— озабоченно сказала Ника.— С учебниками этими не знаю теперь, что будет, где их доставать... Дай листок, я запишу. Много задали?

Раскрыв протянутый Ренатой дневник, она пробежала глазами последнюю запись и горестно присвистнула:

— Кошмар, тут на четыре часа занятий, не меньше! Интересно, что они себе думают...

— А ни фига они не думают,— сказал Игорь.— Какой-то академик решил, что дети могут переварить втрое больше информации. Поэтому с будущего года первачей начнут шпиговать алгеброй по новой программе. Представляешь — алгебру семилетним?

— Да какая там алгебра,— возразил Пит, заворачивая в газету останки приемничка.— Их просто будут приучать к тому, что для облегчения счета цифры можно заменять буквами. Так что не пропадут твои первачи, не бойся.

— Нет, мне их ужасно жалко,— сказала Ника,— я как раз сегодня смотрела и думала: у нас хоть было детство, а что будет у этих?..— Переписав задание на вырванный из тетради листок, она сложила его, сунула в кармашек передника и вернула дневник Ренате.— Ну что ж, я пойду, наверно...

Она нерешительно глянула на Андрея — тот поднялся и взял со скамьи свой портфель. Последнее время он почти каждый день провожал ее до Октябрьской площади, а оттуда возвращался к себе на Добрынинскую; посмотреть со стороны — вроде бы дружба, но тоже какая-то странная. Отношения их сводились в основном к тому, что они непрестанно спорили и ругались по

любому поводу: из-за «Теней забытых предков», которые он нашел гениальными, а она — так себе; из-за второй серии «Войны и мира», когда он встал и вышел на середине сеанса и еще сорок минут ждал ее на страшном морозе только для того, чтобы объявить ее пошлой и безмозглой мешанкой, если ей может нравиться подобное издевательство над искусством...

Ругались они и из-за живописи, хотя в этом она до знакомства с Андреем вообще не разбиралась, а он после школы думал подавать в Строгановку. И все-таки она с ним спорила. Спорила и сама порой удивлялась, что он еще терпит ее и продолжает упрямо водить по воскресеньям то в один музей, то в другой, пытаясь, как он это называл, «сделать из нее человека»; она уже была бы рада не возражать и не спорить, но и соглашаться с ним тоже почему-то не получалось. Ей очень польстило его приглашение в театр, она так ждала этого вечера — и вот пожалуйста, надо же было случиться такой дурацкой истории!

Строго говоря, конечно, еще не все потеряно. Бывало и раньше, что ей что-нибудь запрещали, а потом, если хорошенько понять и разжалобить, запрет отменялся. Но нет, сейчас она ныть не станет, не тот уже возраст. Только вот как объяснить Андрею? Сказать: «Знаешь, меня мама не пускает» — глупо выглядит. Мама не пускает! Однако что-то ведь говорить придется? Вот уж влипла так влипла...

Некоторое время они шли молча, — Андрей, если не спорил, если не рассуждал о Джотто или Феофане Греке (которого Ника упорно путала с Эль Греко), наедине с ней обычно становился молчаливым. А потом вдруг, словно угадав ее мысли, сказал:

— Знаешь, нам здорово повезло с билетами. На этот спектакль, говорят, такое делается...

— Да, я слышала, — отозвалась Ника не сразу и добавила небрежно: — Вообще-то я еще не знаю, пойду или не пойду.

— Как это — не знаешь? — удивленно спросил Андрей. — Мы ведь договорились!

— Ну и что? — Ника отвела от щеки волосы, пожала плечами. — А теперь мне расхотелось. По-моему, «Современник» уже начинает выдыхаться...

Она не смотрела на Андрея, боялась посмотреть, но хорошо представляла себе, какое у него сейчас лицо. Когда он сердится, у него брови сходятся в одну черту, а на скулах появляются красные пятна.

— Что ты чушь несешь, — сказал он со сдержанной яростью. — Не хочешь со мной идти — скажи прямо и честно, а не выдумывай idiotских объяснений!

Ника замерла на месте и рывком обернулась к нему, — они были уже у стилизованных под старину ворот подворья, где помещались реставрационные мастерские.

— Если так, — зловеще сказала Ника, раздувая ноздри, — то могу и прямо: да, не хочу! Не хочу и не пойду!

— Да пожалуйста! Можно подумать, я тебя упрасивал на коленях.

— Можно подумать, я навязывалась!

— Только не надо терять самоконтроль,— сказал Андрей таким тоном, что его совет можно было с полным основанием отнести и к нему самому.— Нет ничего противнее истеричной закомплексованной девчонки.

— Тем лучше, пойдешь в театр с кем-нибудь попроще, без комплексов.— Ника беззаботно улыбнулась, чувствуя, что вот-вот разревется.— Пригласи, например, Галочку.

— Я найду, кого пригласить, уж это-то действительно не твоя забота.

— Ты прав, к моим заботам не хватало только этой! Странно услышать от тебя верную мысль, последнее время я как-то отвыкла. Ну что, мы идем дальше или будем стоять здесь до вечера?

— Мы дальше не идем,— сказал Андрей, сделав ударение на первом слове.— Я вспомнил, что мне нужно повидать здесь одного человека.

Ника улыбнулась еще радостнее.

— Может быть, ты все же проводишь меня хотя бы из вежливости?

— Извини, я не умею быть вежливым лицемерия ради. Всего хорошего...

Андрей толкнул калитку и вошел внутрь. Ника сквозь прорезь в створке ворот видела, как он идет через двор — высокий, широкоплечий, в польских защитного цвета джинсах и черном мешковатом свитере, — смотрела ему вслед и не знала, заплакать или окончательно разозлиться. Решив, что плакать все же не стоит, она разозлилась. Ну и пусть идет с кем хочет! Пускай теперь вообще ходит с кем хочет и куда хочет.

У особняка мавританского посольства ее догнала запыхавшаяся Рената.

— Вы что, поссорились?— спросила она, изнемогая от любопытства.

— С чего это ты взяла,— высокомерно отозвалась Ника.— А где Игорь?

— Да ну их, они пошли чинить этот транзистор. Нет, правда, из-за чего вы ругались? Я ведь видела, как вы там стояли и ссорились.

— Ничего мы не ссорились, отстань!

— До чего ты скрытная, прямо противно... Ты и с Игорем когда под Новый год поссорилась, тоже мне ничего не сказала!

Ника вдруг фыркнула.

— Чего это ты?— спросила Рената подозрительно.

— Ничего... Вкусно пахнет, правда?— Ника подняла голову и принюхалась.— Угадай чем.

— Это с «Рот-Фронта», на Пятницкой еще слышнее, когда ветер с той стороны.

— Знаю, что не с ВАРЗа! А какими конфетами?

— Карамель какая-то.

— По-моему, тоже. Я только названия не помню. Сказать, почему мы тогда с Игорем поссорились? Я его укусила за нос.

— Офонареть,— прошептала Рената.— За нос — Игоря?

— Ну да. Мы как-то сидели в кино, в последнем ряду, народу совсем не было, и он вдруг говорит: «Можно тебя поцеловать?» Ну, я говорю: «Только закрой глаза». Он, дурак, закрыл, а я его взяла и укусила за нос, за самый кончик. Думала, осторожно, но, может, и не рассчитала — он как взвыл да как даст мне по шее! Контролерша, естественно, тут же нас вывела. Я так на него обиделась...

— Дурак, действительно,— сочувственно сказала Рената.

— Правда, он потом извинялся. Мне, говорит, просто очень было больно — нос, говорит, у млекопитающих очень чувствительное место...

Они посмотрели друг на дружку и расхохотались как по команде.

— А с Андреем ты целовалась? — спросила Рената, перестав смеяться.

— Разумеется, нет,— строго ответила Ника.— Еще чего!

### ГЛАВА 3

Дмитрия Павловича Игнатьева мучили автомобильные сны. Они посещали его чуть ли не каждую ночь с постоянством загадочным и необъяснимым, совершенно необъяснимым, если учесть, что он не любил технику и вообще не имел к ней никакого отношения. Собственной машины у него не было, да он никогда и не мечтал о собственной машине, так что сны эти нельзя было объяснить даже по Фрейдю — как прорыв бушующих в подсознании страстей.

Однако они продолжали сниться, и вот сейчас он опять ехал на каком-то нелепом транспортном средстве — очень низком и длинном, вроде раскладушки на колесах, — ехал очень быстро, прямо-таки мчался, и сердце у него замирало от страха, потому что мчался он лежа почему-то на спине и мог видеть лишь мелькающие над ним верхушки деревьев, а что делалось впереди — он и понятия не имел; там могло делаться что угодно. И сознавать это было нестерпимо страшно. Он хотел завопить, что хочет и не может остановиться, но голоса не было, он не мог издать ни одного звука и уже весь сжался в предчувствии неминуемого столкновения с чем-то ужасным, сжался так, что заняли все мускулы, — и от этого проснулся.

Мускулы действительно ныли, потому что одеяло сползло на пол, и, вероятно, уже давно, а форточка была открыта с вечера, комнату чертовски выстудило, и он спал, съездившись от холода. Облегченно вздохнув (пронесло-таки на этот раз!), он нашарил край одеяла, натянул на голову, полежал так с минуту, оттаивая, потом выглянул наружу одним глазом и прислушался. За высоким закругленным сверху окном было серое бесцветное небо. Шума дождя слух не уловил, но проезжающие внизу машины подо-

зрительно шипели покрывками — асфальт на Таврической улице был явно мокрым.

— Та-а-ак,— пробормотал вслух Игнатъев.— Узнаю великолепный Санкт-Питер-бурх!

Он снова спрятался, чтобы не видеть этого великолепия даже одним глазом, но теперь под одеялом стало жарко, и он вынырнул окончательно, повернулся на спину, сунул сплетенные кисти рук под затылок. Да, уж выбрал царь-плотник местечко для своего парадиза...

Как бы ни любить этот город, в больших дозах он переносится с трудом. Впрочем, теперь уже недолго осталось: май на исходе, в середине июня выезжают основные научные силы отряда, а там, следом за практикантами, и он сам. Только таким вот безрадостным, чисто ленинградским утром можно в полную меру оценить близкую перспективу полевого сезона.

А вообще обстановку менять полезно. Осенью, в начале каждого камерального периода, блага городской цивилизации некоторое время радуют — еще бы, асфальт, театры, телефон,— потом их перестаешь замечать, а проходит еще месяц-другой, и от всего этого начинаешь понемногу становиться неврастеником. Телефонные звонки в самую неподходящую минуту, очереди, транспорт в часы пик, отравленный воздух... С начала апреля Игнатъев уже мечтал о поле, как студентка, впервые собирающаяся на практику.

Сейчас он вспомнил, что средства на экспедицию в этом году опять урезали. Режут, лиходеи, из сезона в сезон, хоть караул кричи. Так ведь не поможет, кричали уже.

— Толцые, и отверзется вам,— пробормотал Игнатъев, зевнув, и с привычным отвращением обзрел потолок. Многолетняя пыль, скопившаяся в завитках карниза, вида особенно не портила, напротив, она даже оттеняла рельеф роскошной лепнины, как-то оживляя его. Но сам потолок требовал побелки. А попробуй доберись — пять метров, шутка ли сказать. Ладно, потолок еще потерпит, а вот полки завалиться могут. Игнатъев повернул голову и оценивающе глянул на верхний ряд, плотно уставленный пожелтевшими комплектами «Археологического вестника». Кажется, прогнулось еще больше. Хорошо, если это произойдет днем, когда он на работе...

Рядом пронзительно заверещал будильник.

— Чтоб ты сдох,— сказал Игнатъев и, не глядя, на ощупь нажал кнопку.

Встав, он взялся за гантели, потом долго прыгал и приседал перед открытым окном. Небо оставалось безрадостным, хотя кое-где начинало уже просвечивать, словно до дыр протертая ластиком серая бумага, а над стеклянной пирамидой крыши Таврического дворца даже угадывалось нечто оптимистично-голубоватое. Как знать, вдруг еще и распогодится!

В коридоре, когда он возвращался из ванной, окончательно взбодрившись от ледяного душа, его перехватила старуха Шмерлинг-младшая.

— Митенька, бонжур,— сказала она простуженным басом.— Вы богаты куревом?

— Сейчас принесу!— крикнул он жизнерадостно.

— Не трудитесь, голубчик, я уже забрала ту пачку, что вы оставили давеча на кухне. Просто ежели это у вас единственная, то мы поделимся.

— У меня есть еще, Матильда Генриховна, я обычно покупаю с зайасом.

— Ну благодарствую. А то я в лавку с утра не пойду, а моя Аннет, сумасшедшая старуха, курит еще больше меня. Это в ее-то возрасте. А куда это вы нынче так рано собрались, коли не секрет?

— Помилуйте, какой же секрет,— Игнатъев улыбнулся, подумав, что бедняга становится такой же забывчивой и рассеянной, как и ее старшая восьмидесятилетняя сестра.— В институт собрался, Матильда Генриховна, на Дворцовую набережную.

— А что, разве нынче... как это теперь называют, дай бог памяти, кабалистическое такое выражение... черная суббота?

— Отчего же суббота,— продолжая приятно улыбаться, возразил Игнатъев,— сегодня у нас пятница. И, надеюсь, не черная.

— Опомнитесь, голубчик, какая пятница? Суббота нынче!

— Пятница, Матильда Генриховна,— уже не совсем уверенно сказал он, сам чуя неладное.— Пятница, двадцать третье...

— Ну, Митенька, вы упрямы бываете, как, пардон, настоящий осел,— в сердцах заявила Шмерлинг-младшая.— Точь-в-точь моя Аннет! Нынче у нас суббота, суббота, двадцать четвертое мая!

— Гм, а ведь вы правы,— сконфуженно признал Игнатъев, вспомнив вдруг вчерашнее заседание ученого совета.— Действительно, пятница была вчера. Как же это я...

— То-то же,— сказала Шмерлинг.— Вы уж со мною не спорьте, я еще не выжила из ума, чтобы числа путать. Вам, Митенька, непременно следует жениться.

— Вот еще,— сказал он.— Только этого мне и не хватало.

— Да, да, непременно! Вам скоро тридцать, а холостой мужчина после тридцати начинает деградировать: либо он становится педантом и аккуратистом, а точнее — занудой, как говорят ваши сверстники, либо постепенно превращается в пыльное и рассеянное чучело. Вы пойдите по второму пути; это, конечно, лучше первого, я понимаю, но все же и тут не стоит заходить слишком далеко. Вас, кстати, недавно видели с какой-то весьма эффектной барышней.

— Меня? — удивленно переспросил Игнатъев.

— Вас, голубчик, вас. Третьего дня, возле «Норда».

— А,— сказал он.— Да, это... одна наша лаборантка.

— Понимаю,— высокомерно пробасила Шмерлинг-младшая.— Ну, видите, у вас еще и лаборантки такие обольстительные. Женитесь, голубчик, все равно этого никому не избежать. А за «Беломор» благодарствую. Кофием напоить вас?

— Что? Нет, нет, спасибо, я... позже!

Вернувшись к себе, Игнатъев постоял у дверей, задумчиво оглядывая свое жилище, словно впервые его увидел. У самого



входа, в покоем на альков закоулке, помещался платяной шкаф, столик из польского кухонного гарнитура, белый, с ярко-оранжевой пластиковой крышкой, и белый же всякий шкафчик для посуды. Это было, так сказать, подсобное помещение, дальше шло уже непосредственно жилище, — выгороженное в давние времена из большого зала, оно, благодаря непомерно высоким потолкам, казалось меньше своих истинных размеров, а вообще-то это была отличная, просторная по нынешним масштабам, тридцатиметровая комната; в ней был даже камин — роскошный, резной, из белого когда-то мрамора. Он, правда, давно бездействовал, и в нем явно не хватало каких-то деталей, но каждую осень, возвращаясь из экспедиции, Игнатьев собирался найти специалиста, отремонтировать камин и зимними вечерами предаваться сибаритству. Хорошо бы собаку купить.

Камин украшал левую длинную стену комнаты, а вся правая была на высоту поднятой руки занята книжными стеллажами из некрашенных досок. Прямо напротив двери находилось окно, слева от него, поближе к камину, — столик с радиоприемником, удобное кресло на растопыренных ножках и диван-кровать, которым Игнатьев сам обычно не пользовался, предпочитая более привычную раскладушку. Справа от окна, впритык к стеллажам, стоял огромный старый письменный стол, заваленный книгами и папками, с приколотыми над ним фотографиями раскопов и вскрытых захоронений.

— Воображаю, пусть сюда жену, — пробормотал Игнатьев. — Перевернет все вверх дном, пойдут всякие уборки, натирание паркета. Книги еще начнет переставлять... по цвету корешков! Нет уж, гран мерси, окончательно я еще с ума не сошел.

Он раскрыл шкаф и задумчиво погляделся в зеркало на внутренней стороне дверцы. У англичан, говорят, есть прекрасный обычай — не бриться по воскресеньям. Хорошо бы его перенять и внедрить, распространив заодно и на субботу... целый уик-энд без бритвы, какое блаженство. Но тут, увы, прямые аналогии неуместны; начать с того, что англичанин по воскресеньям торчит дома и читает «Таймс», а ему сейчас нужно идти куда-то завтракать...

Поняв, что настоящего англomана из него не выйдет, Игнатьев все-таки побрился и даже, покряхтивая, растер лицо одеколоном. Когда он кончал одеваться, в недрах квартиры раздался телефонный звонок, в дверь стукнули и Кашеев своим склочным голосом объявил, что звонят ему.

— Спасибо! — крикнул Игнатьев, спешно заканчивая свой туалет. — Бегу, Степан Архипыч...

Оказалось, что звонит сотрудник по институту, некто Лапшин.

— Да, Женя, — отозвался Игнатьев. — Да, я слушаю...

— Извините, Дмитрий Палыч, — церемонно сказал Лапшин. — Надеюсь, я вам не помешал? Скажите, вы сейчас куда не уходите?

— Собираюсь идти завтракать. А что?

— Нет, мне просто хотелось с вами поговорить... посоветоваться тут по одному вопросу...

— Ну, давайте. После одиннадцати буду дома, примерно до пяти. Приходите в любое время.

Лапшин принял в витиевато объяснять, что не хочет, собственно, его беспокоить и отрывать от дел, вопрос у него не столь уж важный и спешный, — в институте, правда, ему не хотелось бы говорить на эту тему, хотя вчера он совсем уж было собрался, но из-за ученого совета...

— Пустяки, Женя, у меня нет никаких неотложных дел, приходите, и поговорим, — прервал Игнатьев.

— А завтракаете вы где?

— Сегодня, по случаю субботы, в пельменной возле Дома искусств.

— На Невском? — удивленно спросил Лапшин.

— Я понимаю, с Таврической это получается за семь верст киселя хлебать, но у них блинчики хорошие. А что, вы хотели бы встретиться там?

— Если не возражаете. Это и вам удобнее, чтобы не терять времени.

— Ну, как хотите, — сказал Игнатьев, посмеиваясь. — Поддавливайте тогда в пельменную. Часиков в десять? Ну, договорились...

К тому времени, когда он вышел из дому, совсем распогодилось, хотя было довольно холодно. Над едва начавшими зеленеть липами Таврического сада бежали клочья разодранных облаков, и солнце то выглядывало, празднично сверкая в лужах на асфальте, то снова пряталось, и тогда все опять становилось тусклым, серым, озябшим. Затяжная питерская весна никак не хотела уступить место лету. И облака-то бежали, к сожалению, с Балтики — рассчитывать на устойчивую хорошую погоду не приходилось.

Свернув на Кирочную, Игнатьев шел вдоль садовой решетки, задумчиво насвистывая сквозь зубы. В принципе Шмөрлинг права: жениться бы неплохо. Но по заказу не женишься, это ведь не квартиру обменять — решил, дал объявление, выбрал подходящий вариант. Все не так просто. Конечно, если предварительно влюбиться... Но Игнатьеву трудно было представить себя влюбленным. В самом деле, дамским угодником он никогда не был, в обществе женщин становился замкнут и молчалив, легкий компанейский треп ему не удавался, а когда его начинали расспрашивать о работе, — «ах, раскопки, это так интересно!» — смущался, мрачнел и начинал бормотать нечто маловразумительное. Его жизнь проходила в совершенно ином плаче, ином измерении, куда не было доступа женщинам; женщины оставались где-то в стороне. Но, конечно, вполне абстрагироваться от них он тоже не мог, не удавалось...

На углу Потемкинской Игнатьева застал дождь. К счастью, троллейбус как раз подходил к остановке, он помчался следом, прыгая через лужи, как кенгуру, влетел в уже закрывающиеся

двери и, очень довольный собственной ловкостью, покатил на Невский завтрак.

Лапшин ждал его в пельменной и даже успел занять столик.

— Под европейца, Женя, работаете, — сказал Игнатъев, разгружая свой поднос. — Назначаете деловое свидание в кафе, словно биржевая акула. Не проще ли было бы у меня?

Лапшин, застенчивый юноша, ужасно смутился.

— Понимаете, я вчера звоню вечером Нейгаузу, узнать ваш телефон, а он говорит: «Вы только домой к нему не ходите, он этого не любит...»

— Большой человек, — Игнатъев пожал плечами. — Откуда, скажите на милость... А впрочем, однажды я действительно принял его не очень любезно... Понимаете, нужно было срочно заканчивать отчет, а он тут является с какой-то своей очередной ахинеей...

— Ну вот видите. — Лапшин смущенно засмеялся. — Поскольку у меня вопрос тоже не из важных...

— Да бросьте, тогда я действительно был в цейтноте. Не знал, что он это так воспринял... нужно будет извиниться хотя бы задним числом.

Игнатъев сокрушенно покачал головой, намазывая вареньем блинчик.

— Но вообще-то я тоже становлюсь немного психопатом, — сказал он доверительно. — Сегодня, например, собрался утром в институт — решил, что пятница. Скажите, вам сны снятся?

Лапшин подумал.

— Недавно снилось, что «Пахтакор» выиграл у «Зенита», — сказал он застенчиво. — Так, знаете ли, приятно было пронуться...

— Правда? А меня все какие-то автомобили идиотские преследуют.

— Это вы мечтаете выиграть «Волгу».

— На кой черт мне «Волга»? У нас Витя Мамай — автолюбитель... правда, платонический. Я бы деньгами взял, — подумав, добавил Игнатъев. — Мне большой ремонт предстоит — потолок к черту потрескался. Так что у вас за вопрос ко мне?

— А я, Дмитрий Палыч, хотел посоветоваться. Вы понимаете, мне Криничников предлагает ехать в Запорожскую область, копать вместе с киевлянами...

— Куда именно?

— Я не знаю точно. Охранные раскопки: там сооружают какую-то гидросистему и некоторые курганы попали в зону затопления.

— Понимаю. И что же вас смущает?

— Да вот не знаю теперь, что делать. С одной стороны, это кажется интересным... Мне не приходилось еще работать с курганами. Но, может быть, нет смысла кидаться от темы к теме? Здесь уже как-то освоился, вошел в курс...

— Вы с Бирман работаете?

— Да, с Бирман и с Сокальским. Конечно, на их работе мой

уход несколько не отразится, поэтому я и счел себя вправе подумывать над предложением Криничникова, — но вот как лучше мне самому?

Игнатьев помолчал, методично уничтожая свои блинчики.

— Я вам хочу задать контрольный вопрос, — сказал он, доев последний. — Вы с работами Арциховского в Новгороде знакомы?

— Да, в общих чертах.

— А с работами Картера в Египте?

— Естественно, — Лапшин недоуменно пожал плечами.

— Как по-вашему, кто больше обогатил историческую науку?

— Ну, как сказать... Конечно, гробница Тутанхамона — это была сенсация, но...

— Но?

— Нет, я хочу сказать, что ее чисто научное значение, пожалуй, не так уж и велико. Собственно, к нашим знаниям о Древнем Египте она мало что прибавила... мне так думается.

— Правильно, Женя, вам думается. Совершенно правильно. Сенсации чаще всего науку не обогащают. Науку обогащает другое: кропотливое собирание фактов. По крохам, по черепкам. Я почему вспомнил Арциховского? Он золотых саркофагов не находил, но его работы помогли нам более детально и во многом по-новому увидеть всю картину общественных отношений в средневековом Новгороде. Возьмите, скажем, традиционное представление о «всенародном вече» новгородцев. Кто только об этом не писал, начиная с Карамзина! А Арциховский сделал простую вещь: определил место, где собирались вечники, измерил площадь и подсчитал, сколько людей могло там поместиться. И оказалось, во всеобщему удивлению, совсем немного; значит, это самое вече вовсе не было общегородской сходкой, где каждый мог кричать что вздумается, а был это, скорее всего, обычный выборный орган, своего рода совет представителей. Понимаете? Вот пример, как должен работать археолог. А кладоискательство — ну что ж, это, конечно, занятие увлекательное...

Он отодвинул пустую тарелку и принялся за кофе.

— В общем, вы считаете, — нерешительно сказал Лапшин, — что мне к этим киевлянам ехать не стоит?

— Я бы не поехал. Чего ради? Оставайтесь лучше с Бирман, она прекрасный научный руководитель, и Кушанское царство — тема интереснейшая, перспективная. Там такой сплав культур! А этих скифов мы уже знаем вдоль и поперек, ну, раскопают еще один Чертомлык — что это даст? В лучшем случае лишнюю коллекцию для музейных фондов...

— Выходит, вы вообще против курганных раскопок?

— Ну, нет, почему же! В кургане всегда может найтись что-нибудь интересное, даже в разграбленном. Они, кстати, почти все и разграблены — в большей или меньшей степени. Но «интересное» — это одно, а вот «ценное для науки» — совсем другое. Это, в общем-то, для археологии пройденный этап, курганы. Она с них начинала, это естественно, но сейчас...

— Я понимаю... Но ведь бывают находки и интересные сами по себе, и ценные для науки?

— Например?

— Ну, Шлиман, Кольдевей...

— Шлиман! — Игнатъев пожал плечами. — Шлимана вы не берите, это чудо, которое вряд ли повторится. Здесь все слишком на грани фантастики, а Кольдевей или там Вулли — ну что ж, они были первопроходцами, в некотором смысле им всегда проще. В археологии, мне кажется, миновало время научных сенсаций. Я подчеркиваю, именно научных. Правда вот, кумранские свитки... Но их, заметьте, нашла коза, а не археолог. Случайности, конечно, никогда не исключены...

Игнатъев допил кофе, помолчал.

— Женя, у вас семья есть? — спросил он неожиданно.

— В смысле — собственная? Нет, своей нет. Я с родителями пока живу, — сказал Лапшин. — А что?

— Да нет, это я так. Просто думал сегодня об этой проблеме. Соседка решила меня женить.

— На себе?

— Нет, ей за шестьдесят. Вообще женить. Вот я и задумался. Что, по-вашему, нужно для счастливого брака?

— А черт его знает, — подумав, сказал Лапшин. — Наверное, везение. Повезет — встретишь хорошую девушку, а не повезет...

— То и не встретишь, — закончил Игнатъев. — Это ценная мысль, Женя. А какую именно вы рассчитываете встретить, если не секрет?

Лапшин опять добросовестно подумал.

— Собственно, у меня нет четкого идеала, — сознался он. — Просто это должна быть... ну, девушка, без которой ты не можешь обойтись. Вот когда это почувствуешь, тогда и нужно жениться. Мне так кажется, во всяком случае.

— Зыбкий критерий, — усмехнулся Игнатъев. — Девушка, без которой не можешь обойтись. Что, собственно, значит, «не можешь»? Человек не может обойтись без воды, пищи и воздуха, без всего прочего он обойтись может... с большей или меньшей степенью комфорта. Женя, вы знаете, для кого были написаны стихи о Прекрасной Даме? Я имею в виду Блока.

— Я догадался, — кивнул Лапшин, не обидевшись. — Блок ведь, кажется, был символистом? Ну, он, очевидно, воспевал свой мистический идеал... символ, так сказать.

— Нет, Женя, вот тут вы ошибаетесь. Блок воспевал никакой не мистический идеал, а совершенно реальную девушку, дочку профессора Менделеева.

— Того самого?! — Лапшин изумился. — С таблицей? Подумайте, этой детали я не знал. И что же?

— А то, что они благополучно сочетались браком, но ничего хорошего из этого не вышло. Как видите, не всегда можно быть счастливым, женившись даже на Прекрасной Даме. А вы говорите!

— Так что, собственно, вы предлагаете взамен? — застенчиво спросил Лапшин.

— Я ничего не предлагаю, потому что сам еще не занимался этим вопросом. Просто, вероятно... к браку нужно подходить как-то иначе. Да и вообще, нужен ли он, а?

— А? — эхом откликнулся Лапшин. — Я тоже не знаю. Но что же делать, если полюбишь? В конце концов, литература дает примеры и счастливых браков...

— Что ж литература, — Игнатъев пожал плечами и встал. — Литература, Женя, это одно, а жизнь — совсем другое. И она не всегда совпадает с литературными канонами. Вы много видите вокруг себя тургеневских девушек? Выйдем вместе, если вы кончили...

Они вышли и не спеша направились к Аничковому мосту.

— Тургеневские девушки... — сказал Лапшин. — Их, конечно, сейчас нет, но я не знаю, такая ли уж это потеря. Есть другие. Просто всему свое время... Каждой эпохе, наверное, соответствует определенный стиль человеческих отношений, разве не правда?

— Боюсь, что да, — согласился Игнатъев. — Пожалуй, это можно сформулировать точнее: именно стилем человеческих отношений и определяется лицо эпохи...

За мостом они расстались. Было уже без десяти одиннадцать, и Лапшин сказал, что подождет здесь, пока откроется Лавка писателей, — скоро должны были выйти мемуары Жукова, и он хотел заранее подъехать к знакомой продавщице. Игнатъев, не испытывавший сегодня никакого желания рыться в книгах, пожелал ему успеха и отправился дальше. А день-то, похоже, будет все-таки ясным! Солнце прорывалось сквозь редешущие облака все чаще и настойчивее, стало совсем тепло, асфальт просыхал. Дойдя до Екатерининского скверика, Игнатъев отыскал сухую скамейку у боковой ограды, напротив входа в Публичку, закурил, вытянул переплетенные ноги.

— Что делать, если полюбишь? — пробормотал он вслух, передразнивая Лапшина, и почувствовал себя опытным, умудренным жизнью циником.

А ты, дурак, не влюбляйся. Любовь, подумаешь! Бред собачий. Впрочем, когда-то это не было бредом... Неважно, существовали ли на самом деле Леандр или Тристан; сам за себя говорит тот факт, что до нас дошли их имена. Срок жизни пустой выдумки не может исчисляться веками. Мы-то еще помним, как влюбленный юноша плыл через Геллеспонт, как умирающий рыцарь вглядывался в море с утесов Пенмарка, отыскивая в волнах запоздалый парус Изольды; но уже наши внуки ничего этого знать не будут. Потому что легенды умирают, когда их смысл перестает волновать современников.

— Туда им и дорога, — решительно объявил Игнатъев и швырнул в урну недокуренную папиросу. И вообще хватит об этом. У него есть работа — это главное. Киммерийского материала хватит еще не на одну кампанию, а там, надо полагать, обрстет пло-

тью доказательств и хрупкий скелетик одной довольно любопытной мыслишки... Впрочем, с этим спешить нечего. За докторскую есть смысл браться, когда полновесная гипотеза упадет тебе на стол как созревшее яблоко. Это будет еще не скоро — каждая наука имеет свои темпы. Всякие там физматики, говорят, становятся докторами через три-четыре года после распределения, — это понятно: у тех все на вспышке, на внезапной догадке, а кропотливые расчеты за них делает, надо полагать, машина. То-то и оно. А наш брат гробокопатель?

Да, главное — работа. Даже если это останется единственным, тоже не беда... ну, идеальным такой вариант не назовешь, но нельзя же иметь все!

Был как-то случай, два года назад, когда Игнатьеву показалось — можно. В Доме ученых его познакомили с аспиранткой кафедры этнографии, она весь вечер говорила о его работе, потом как-то удивительно мило и непринужденно выразила готовность поехать к нему — посмотреть библиотеку. До книг дело не дошло, и дней десять он провел как во сне — непостижимо было, что такая женщина могла обратить на него внимание. А потом она вдруг исчезла — не появлялась, не звонила, поймать ее по телефону никак не удавалось. Через месяц Игнатьев встретил ее на Менделеевской линии в компании каких-то иностранцев, она взглянула на него равнодушно — не узнала...

Хорошо еще, тут как раз подошло время уезжать в поле, его назначили начальником нового феодосийского отряда, и первые же разведочные раскопки на месте дали такой богатый материал, что у него сразу вылетели из головы все питерские мороки и наваждения. Осенью он вернулся совершенно исцеленным, хотя и с новым, весьма настороженным отношением к женщинам: от всех от них, решил он, нужно держаться по возможности подальше...

Витя Мамай, его помощник в отряде и ярый женоненавистник (что, впрочем, не мешало ему ладить даже с собственной тещей), определял его теперь как женоненавистника умеренного — не то чтобы гинофоб, дескать, а скорее так, мизогин. Пожалуй, это было верным определением.

— Во всяком случае, поумнеть я поумнел, — вслух пробормотал Игнатьев. Проводив взглядом девицу в ошеломительной мини-юбке, он закурил новую папиросу и снисходительно добавил: — А уж вот этими штучками фиг вы меня теперь поймаете...

## ГЛАВА 4

В конце мая водолаз ремонтной бригады треста «Мосспецстроймонтаж», проводивший профилактический осмотр опор Нововоспасского моста, обнаружил под водой портфель, зацепившийся ручкой за крюк кабельного кронштейна. Поднявшись на палубу базового катерка, Саша Грибов отдал находку товарищам; пока его раздевали, портфель пошел по рукам, был окачен из шланга, протерт чистыми концами — оказался желтоватенький, из тис-

ненного под кожу поливинила, явно не отечественного производства.

— Слышь, Сань,— сказал моторист, подойдя к моющемуся под шлангом Грибову,— портфельчик-то не наш, оказывается! Может, ты большое дело обнаружил. Что, если его какой шпион с моста кинул?

— Вы погодите раскрывать,— сказал Грибов.— Мало ли... может, в милицию сдадим, а, Петрович?

Бригадир задумчиво повертел портфель в руках.

— Сдать-то можно... а можно и самим вскрыть, чтобы насмешек потом не было. Испугались, скажут, в милицию побегли. Мы ж тут всей бригадой, в случае чего и акт можно составить...

— А может, в нем взрывчатка? — спросил моторист.

Петрович, бывший в войну сапером, с сомнением покачал головой.

— Маловато, ежели на мост рассчитывалось. Что ж тут — кило два, не больше... Да нет, это из пацанов кто-то уронил, из школьников. Портфельчики эти ту осень в «Детском мире» были, я видел, как своему покупал. Я-то, правда, подешевле взял, эти целковых двадцать стоили, как сейчас помню. Я так думаю, пусть он полежит пока, подсохнет, а мы, как пообедаем, откроем. Замок-чек-то тут заклинило, пружинки, видать, прижавели... ну ничего, его сжатым воздухом продуть, а после масла запустим несколько капель, он и заработает. Продуй его, Федя, выгони снутри воду, пускай сохнет...

Из портфеля вытрясли воду, продули сжатым воздухом замок и положили на горячую от солнца крышу рубки. Потом Петрович поглядел на часы и сказал, что пора обедать.

Все сидели на палубе, разложив на газетках батоны и плавленые сырки, расставив бутылки кефира. Поев, закурили, покидали в воду скомканные бумажки, бутылки в авоське спустили за борт — прополаскиваться. Подремали немного, поговорили о положении в Чехословакии, о программе «Аполлон», о том, почему так получилось, что американцы, похоже, прилетят на Луну первыми.

— А по мне, хрен с ними, с этой Луной и с этой Венерой,— сказал Петрович.— На Земле дел невпроворот, а туда же... космос лезут осваивать!

— Чем на Луну летать, лучше б они у себя негритянскую проблему решили,— сказал моторист.

— Я ж про это самое и говорю,— кивнул Петрович и поплевал на зажатый в пальцах окурок.— Так что, Саня, поглядим на твою находку?

Грибов встал, прошлепал по палубе босыми ногами и достал с крыши подсохший снаружи портфель. Моторист принес масленку с веретенным маслом, замочек смазали, и он открылся от легкого нажатия пальцев. Все сдвинулись в круг, вытягивая шеи.

— Ну, точно,— сказал Петрович, вытащив из портфеля раскисшую пачку учебников и школьных тетрадок.— Пацан какой-нибудь и потерял, оголец. Хороши бы мы были в милиции. Бери,



Саня, разбирай добычу... Ты погляди там, может, адрес найдешь — портфельчик вернуть бы надо, новый-то перед концом года покупать не станут. Он что ж, ему от воды ничего не сделалось — синтетика... а замочек потемнел, так это не беда, ты его, Федя, протри порошочком, а после нитролаком покроем, он и будет как новенький...

— В одном только ты, Петрович, ошибся, — сказал Грибов, осторожно отслаивая от пачки верхнюю тетрадку. — Не пацан это потерял, а пацанка, и учится эта растеряха уже аж в девятом классе. Ну, братцы, все..

Кругом засмеялись.

— Вот тебе и запасная невеста, Сань, — крикнул моторист. — А чего, самый раз познакомиться! С полочки подстригешься, станешь на человека похож, сорочка нейлоновая финская у тебя есть. Ты, Сань, не теряйся. Придешь так вежливо, культурненько, скажешь: «Я извиняюсь, вы ничего не теряли в последний отрезок времени?»

— Жанка ему за запасную такой бенц устроит, что ты!

— А ты, Сань, ей не говори. Держи это дело в секрете, понял?

Грибов, отшучиваясь, разложил по крышке рундука мокрые книжки и тетрадки, потом перевернул портфель, потрянул — на палубу шлепнулся коричневый раскисший комок, в котором что-то ярко блеснуло. Под струей воды из шланга комок расплылся — оказалось сгнившее яблоко, кошелечек и губная помада в плоском золоченом футляре.

— Ишь ты, шамлядьва, — ухмыльнулся Грибов, — это в девятом классе, надо же. Небось тайком мажется... — Он отколупнул крышечку, потрогал помаду толстым пальцем и выбросил за борт.

— Не очень-то они теперь и таятся, — сказал слесарь. — Живут у нас в подъезде две соплячки, так это, знаешь, просто страшное дело, чего они вытворяют.

— А ты думал! — подхватил моторист. — Я в армии служил в Кировской области, к нам такие бегали с поселка — лет по шестнадцать, вот чес-слово, не брешу!

— Ладно трепаться-то, — строго сказал Петрович. — Вас послушать, так и молодежи хорошей не осталось... Одну похабель кругом себя видите...

— Так их, шеф, — подмигнул такелажник Юрка, самый молодой член бригады. — Не теми глазами смотрят, паразиты, ничего светлого не замечают.

— Во, еще и самописка тут, — сказал Грибов, пошарив в портфеле и вытащив из внутреннего кармана хромированную шариковую ручку. — На четыре цвета, мощная штука. Федь, ты это продуй тоже, может, еще и сгодится. А в кошельке-то бренчит, слышите? Ну, братцы, будет чем захмелиться сегодня!

Но в кошельке оказалось немногим больше полтинника, и Грибов, притворно сокрушаясь, ссыпал монетки обратно, бросил следом найденный там же маленький плоский ключ от английского замка и положил кошелек возле просыхающих книг.

— Ладно, сдадим это дело по принадлежности. Надо будет через адресный стол узнать, где проживает.

— Фамилия-то там есть? — спросил Петрович.

— Есть, она шариковой писала, не размыло. Ратманова Вероника. Ничего фамилия, прямо как в театре.

— Может, из артистов?

— Ратманов — это музыкант был такой, — сказал моторист.

— Музыкант — Рахманинов, — поправил Грибов, — читал я про него.

— Ратманов? — спросил слесарь. — Я на Урале знал одного парня, тоже звали Ратмановым... Может, путаю? Да нет, точно, Ратманов Славка. Хороший парень, только жизнь у него не сложилась... между прочим, это если вот так рассказать — не пове-ришь...

— Ну ладно, ребята, кончай перекур, — вмешался Петрович. — Пошабашим, тогда травите хоть до ночи, а сейчас надо вкалывать, работа сама не делается...

На другой день найденный портфельчик окончательно привели в порядок, чистили, надраили и покрыли лаком замочек, сложили внутрь просушенные, хотя и безнадежно покоробленные книги, и даже ручку четырехцветную починили, только синий стерженек не хотел выдвигаться, но, может, его задало и раньше. Вечером Саша Грибов завернул все хозяйство в бумагу и унес с собой в общежитие.

Прошла неделя, куда он выбрал наконец время забежать в киоск «Мосгорсправки» и выяснить адрес этой самой растеряхи по имени Вероника. Грибов был человек занятой, учился в вечерней школе и еще готовился к важному делу — женитьбе; они с Жанной уже подали заявление на пятнадцатое июня. А узнать адрес — это нужно потерять полчаса, не меньше. Так он и откладывал это дело со дня на день.

Наконец бланк адресного стола — Ратманова Вероника Ивановна, г. р. 1953, Ленинский проспект, дом такой-то, корпус такой-то, квартира такая-то — оказался у него в руках, но и тогда дело это не намного продвинулось вперед, потому что жил Грибов у Марьиной Рощи, и съездить оттуда на другой конец Москвы было при его теперешней занятости не так-то просто.

А потом, честно говоря, ему уже стало не до того. Пятнадцатого, воскресным утром, такси цвета «белая ночь» с золотыми, словно выломанными из олимпийской эмблемы кольцами доставило Сашу Грибова во Дворец бракосочетания на улице Щепкина, и кончилась, братцы, его холостая водолазная жизнь. Народу во дворец привалило — страшное дело: кроме бригады в полном составе были еще ребята из общежития, и парни и девчата из вечерней школы, и ребята из других бригад, где он работал раньше, и двое оказавшихся проездом в Москве корешей, с которыми он служил на Краснознаменном Северном флоте, и девчата из общежития Жанны, и ее однокурсники по вечернему техникуму, и просто так. Понятно, напастись такси на такую ораву нечего было и думать, поэтому молодые тоже решили из солидарности

идти пешком, и по окончании церемонии вся толпа валом повалила к месту основной гулянки — благо это было тут же рядом, в Безбожном переулке. И гуляли они аж до самой ночи.

Три дня свадебного отпуска молодые провели в одном из подмосковных кемпингов, а потом ему пришлось вернуться в свое общежитие, а ей в свое, и у нее была на носу сессия, а у него шли экзамены в вечерней школе — словом, конец июня так и пролетел. А потом они взяли уже настоящий отпуск и уехали к ее родным в Могилевскую область.

В день отъезда над Москвой собиралась и так и не разразилась гроза, было душно, мрачным желтоватым светом нестерпимо жгло солнце сквозь облачную пелену. Белорусский вокзал был забит уезжающими на лето москвичами, посадку на поезд почему-то долго не объявляли, потом объявили, и началась давка. Грибов с двумя увесистыми чемоданами в руках обливался потом в надетой по случаю намечавшегося дождя болонье и поминутно оглядываясь, боялся потерять жену. Но жена не потерялась, все обошлось благополучно, и они добрались до вагона под нужным номером. Тут уж было посвободнее и поспокойнее.

Протиснувшись в купе, Грибов забросил наверх чемоданы, стащил плащ и сел на диванчик, подмигнув Жанне.

— Ну, Жанчик, все, — сказал он довольным тоном. — Значит, едем! Теперь мы месяц можем про квартиру не думать, ты не расстраивайся. А вернемся — комнату снимем, ясно? Что ж, я на комнату не заработаю, что ли? Эх, пивка бы сейчас холодненького!

— Пиво есть, только за температуру не ручаюсь, — сказала Жанна, развязывая авоську со взятыми в дорогу продуктами.

— Ну, ты у меня молоток, — восхитился Грибов. Он задвинул дверь и торопливо поцеловал жену. — Слышь, как бы это устроить, чтобы к нам никого не посадили, а?

— Ну как ты это устроишь, Сашок. — Жанна вздохнула. — Столько народу едет... У тебя есть чем открыть?

— Есть, есть, сейчас мы это дело...

Он стал рыться по карманам в поисках перочинного ножа, вытащил вместе с ним скомканную бумажку и, развернув, досадливо крикнул и стукнул себя по лбу.

— Ты чего? — спросила жена.

— Да к девчонке этой я не съездил! Портфель-то так в общаге и валяется, шут его совсем забори...

— Ничего, подождет, — сказала Жанна рассудительно. — Другой раз пусть не теряет.

## ГЛАВА 5

Андрей Болховитинов договорился встретиться с отцом в пять часов, но тот запаздывал — было уже двадцать минут шестого. Андрей сидел на перилах ограждения, держа руки в карманах джинсов и зацепившись носками туфель за нижнюю перекладину, и не отрываясь смотрел на бесконечный людской поток, изверга-

ющийся из похожего на гигантский раструб входа в станцию метро.

Ему всегда было интересно наблюдать за толпой. Если вдуматься, это ничуть не менее интересно, чем следить за бегущими облаками, или смотреть ночью на звезды, или, подойдя вплотную к холсту и затаив дыхание, вглядываться в застывшие извивы красок, положенных рукою Ван-Гога. И, наверное, здесь, в Москве, толпа интереснее, чем где бы то ни было. Потому что нигде, пожалуй, нет такой невообразимой мешанины.

Вот идет отставник: китель старого образца украшен радужной колодкой наград и застегнут до самого горла, панамы из синтетической соломки строго надвинута на брови, в руке пачка газет — ездил куда-нибудь проводить политинформацию, старый конь. Отставника обгоняют две строительницы в заляпанных краской комбинезонах, подрисованные к вискам глаза у обеих оттенены синим, ресницы облелены черной тушью, на головах высокие коконообразные прически, по самые брови повязанные, чтобы не растрепать до времени, воздушными капроновыми косыночками; не иначе собрались потвистовать сегодня после работы. Идет с набитыми авоськами приезжий узбек в пиджаке с прямыми плечами, широчайшие брюки заправлены в сапоги, на коричневой от загара голове сидит маленькая четырехугольная шапочка, черная с белым вышитым узором. Какая изумительно вылепленная голова! Нужно будет ее сегодня же нарисовать, а впрочем, такая не забудется. Может быть, Айвазовский прав, что нельзя писать с натуры? Иногда мешают ненужные мелочи, сбивают с толку, искажают цельное, а память — она безошибочно отфильтрует и сохранит самое главное, самое характерное: внутреннюю суть образа... Узбек давно уже пропал в человеческом водовороте, но его лицо стоит перед глазами — непроницаемое, бесстрастное лицо Азии: редкие, точно из конского волоса, усы над тонкогубым ртом, коричневая сухая кожа туго натянута на скулах, косо рассеченные глаза прищурены, словно их навеки ослепило яростное степное солнце...

Да, тут только успевай смотреть. Ника сказала однажды, что жаль, люди в массе так некрасивы; вот уж дурацкий, поистине бабский взгляд. «Красивы», «некрасивы!» Люди прежде всего великолепны своей выразительностью — в большинстве случаев. Нужно только уметь видеть. И даже самое «невыразительное» лицо попадается иной раз такое, что так и просится в альбом: тупость, уродство — все что угодно может быть прекрасным, если правильно смотреть. Ведь вот как хорош этот толстак — выражение лица начальственно-брюзгливое, настолько брюзгливое, что совершенно непонятно, почему он пользуется метро, а не сидит развалившись на переднем сиденье черной «Волги», снисходительно болтая с водителем о футболе или рыбалке; и негр в пиджаке с металлическим отливом, весь тонкий и какой-то немного развинченный, тоже хорош; и подмосковная бабка в платочке и плюшевом жакете, хлопотливо волокущая огромную коробку с кинескопом; и интуристка с круглым вертлявым задом, лихо обтя-

нутым синими когда-то, а теперь вытертыми и вылинявшими до блеклой голубизны джинсами; и двое парней, узколицый и широколицый, оба стрижены коротко, под каторжников, оба в очках, с портфелями и тубусами (сразу видно — не лирики), — все они, калейдоскопически мелькающие перед его жадными глазами, прекрасны в своей неповторимой выразительности, и весь мир вообще прекрасен, если воспринимать его как надо, то есть зрительно, как безграничное по богатству сочетание форм, красок и линий... Однако родителю пора бы уже быть здесь.

Сегодня у них мужское дело — покупка новых часов. Старые Андреевы часы, после того как над ними хорошо потрудились Игорь Лукин, уже не поддавались никакой регулировке; поэтому, когда встал вопрос о подарке к знаменательному дню перехода в десятый класс, он сделал заявку на часы; собственно, придумать что-то другое, оставаясь трезвым реалистом, было трудно. Конечно, неплохо бы иметь дома стереофонический проигрыватель, но это пока не по карману. Вот если летом удастся подзаработать в стройотряде... Андрей рассеянно огляделся, увидел отца и соскочил с парапета.

— Здравствуй, сын, — сказал Болховитинов-старший и коротко потрепал младшего по плечу. — Извини, задержался немного... вернее, меня задержали. Давно ждешь?

— Двадцать пять минут. Ничего, я не скучал, здесь интересное место в смысле наблюдений, — баском ответил Андрей. — Что же, пойдем прямо по магазинам, или ты хочешь закусить? Тут вот, рядом, есть сосисочная.

— Да я, признаться, не думал, — сказал Кирилл Андреевич. — Мама, вероятно, будет ждать с ужином. А ты проголодался?

Андрей вовсе не проголодался, и о сосисочной на углу он сказал лишь потому, что в ней были установлены пивные автоматы. Разумеется, он давно уже мог бы побывать там с кем-нибудь из приятелей, но такого рода эскапада отдавала бы мальчишеством: ничуть не лучше, чем тайком курить в школьной уборной. Вот зайти в пивную с отцом, как мужчина с мужчиной, это было бы здорово, и на это он главным образом и рассчитывал. А вовсе не на сосиски как таковые. Но раз отец не догадывается, придется отложить до более благоприятного момента.

— Нет, — ответил он честно, — я вовсе не проголодался. Просто я думал, что ты...

— Я, признаться, побаиваюсь всех этих сосисок — и так приезжаю из каждой командировки с большим желудком, лучше уж воздержимся. Ты куда хотел пойти, в универмаг какой-нибудь?

— Я думаю, заглянем на Сретенку, там хороший фирменный магазин. Тут недалеко. Кстати, ты сколько ассигнуешь мне на подарок?

— Сколько? — Кирилл Андреевич пожал плечами. — Я не знаю. Ты говорил, кажется, что хорошие часы стоят рублей сорок?

— Да, около этого. А что, если мы сделаем иначе — купим за

тридцать, а десятку ты мне презентуешь наличными? Дело в том, что мне нужны деньги — лишние, понимаешь, сверх обычных карманных. Мы решили отпраздновать в складчину, и не дома у кого-нибудь, а пойти в «Прагу». Ну, не в ресторан, разумеется, а там, внизу. Нас будет человек шесть — значит, платить придется троим... в общем, не хотелось бы подсчитывать в уме каждую копейку!

— Да, это неприятно, — согласился Кирилл Андреевич. — Особенно если ты с девушкой! Ну что ж, ради такой okazji могу снабдить тебя лишней десяткой, а на часах уж экономить не станем.

— Я просто думал, что выходит многовато...

— Ничего, за этот квартал ожидается неплохая премия.

— Спасибо, папа. Между прочим, я хотел у тебя спросить... Ты понимаешь, у меня, кажется, будет возможность записаться в стройотряд...

— Куда записаться?

— Ну, ты знаешь, эти студенческие строительные отряды.

— А какое отношение имеешь к ним ты?

— Школе дали три путевки, по комсомольской линии. Это институт, который над нами шефствует. Я хотел спросить в принципе, не станешь ли ты возражать. Конечно, это еще надо обговорить с мамой, но я хотел выяснить твоё отношение.

Кирилл Андреевич ответил не сразу. У спуска в подземный переход он купил «Вечернюю Москву» и на ходу невнимательно просмотрел заголовки. Они прошли низким широким туннелем, наполненным слитным гулом текущих навстречу друг другу человеческих потоков и разноголосыми зазывными воплями продавцов цветов и лотерейных билетов, и снова поднялись наверх к монументальному portalу «Детского мира», где, как всегда, живописными группами сидели обремененные дневной добычей гости столы. На углу улицы Дзержинского Кирилл Андреевич остановился и задумчиво оглядел площадь.

— Почему, собственно, ты решил ехать с этим отрядом? — спросил он.

— Ну, как тебе сказать, — Андрей пожал плечами. — Прежде всего, там можно что-то заработать, это тоже не лишнее...

— Ну, ехать только ради этого... — скептически хмыкнул отец.

— Ты считаешь, в моем возрасте рано учиться зарабатывать деньги?

— Не то чтобы рано, но... Видишь ли, обычно это получается само собой, и едва ли этому следует «учиться». Просто когда человек начинает работать, он начинает получать вознаграждение за свой труд... так что учиться нужно не зарабатывать, учиться нужно работать — это дело другое. А ты переводишь в несколько иную плоскость. Зря, мне кажется.

— Слушай, тут примерно две остановки — сядем на троллейбус или пешком?

— Я с удовольствием пройду, только не беги. Мы ведь не опаздываем?

— Нет, там до семи. Ты понимаешь, я просто хотел сказать, что иногда бывает приятно почувствовать себя материально независимым... ну, в какой-то степени. Купить себе что-то на деньги, которые сам заработал... Но это не главное, конечно. В основном я решил поехать потому, что чувствую, как мне не хватает знания жизни.

Кирилл Андреевич усмехнулся:

— Не такая уж беда в твоём возрасте.

— Ну, это как сказать,— возразил Андрей.— Через полгода мне восемнадцать лет. А что я видел, кроме Москвы и Энска? Так хоть на целине побываю — все-таки новые впечатления...

— Впечатления — дело другое,— согласился Кирилл Андреевич.— Что ж, я не против. Не знаю, правда, как к этому отнесется мама.

— Ну, родительницу мы как-нибудь уломаем общими усилиями.

— Андрей, я просил тебя не употреблять этого дурацкого выражения, и не один раз. Почему ты не можешь просто сказать «мама»?

— Могу, конечно. Я так и обращаюсь — «мама».

— Да, но за спиной называешь родительницей. Что за чушь!

— Вероятно, привык в школе,— сказал Андрей извиняющимся тоном.— Ты понимаешь... у нас в младших классах — ну, в седьмом, в восьмом — как-то не принято было говорить о родителях «папа», «мама»... считалось таким сюсюканьем, что ли. Ну, словно мы уже из этого выросли. Вообще не принято было упоминать о существовании родителей. А поскольку мне упоминать о маме приходилось в связи с каждым уроком литературы...

— То ты и нашёл отличный выход из положения. Странная вещь: о «материальной независимости» ты заботишься, заботишься совершенно преждевременно, потому что в этом смысле у тебя никаких проблем пока нет. А вот о том, чтобы стать человеком независимым духовно, человеком со своим собственным отношением к жизни,— об этом ты не думаешь.

— Интересно, как бы это я собирался стать художником,— возразил Андрей,— если бы у меня не было своего собственного отношения? Или скажем так — если бы я не понимал, что должен его иметь?

— Мы говорим о разных вещах. Ты хочешь сказать, что художник должен видеть окружающее по-своему, не так, как видят его другие? Я имею в виду не это. Просто, понимаешь ли, человек — неважно, кто он по профессии,— человек может быть внутренне независим, но может и подчиняться среде во всем — во вкусах, в мнениях, ну и так далее. Не скажу, что это такой уж криминал... в конце концов, так живут многие, даже люди вполне порядочные,— но это печально. Очень печально, сын. А начинается всегда с малого...

В фирменном магазине «Часы» их ждало разочарование: выбор мужских наручных часов оказался скудным, водонепрони-

цаемых и противоударных не было вовсе, а продавщица, молоденькая и хорошенькая, пребывала в состоянии мрачайшей меланхолии и едва цедила слова. Кирилл Андреевич поинтересовался, бывают ли вообще в продаже все эти прославленные рекламой шедевры отечественной часовой промышленности — сверхточные, сверхплоские, с автоматическим подзаводом и так далее.

— Бывают, но редко, — ледяным тоном объявила продавщица, глядя мимо него с отвращением.

— Ясно, — сказал Андрей, — их гонят на экспорт. Знаешь, давай не будем строить из себя снобов и купим хотя бы вот эти. В конце концов, от часов требуется одно: показывать время...

Татьяна Викторовна испытывала неловкость, листая альбом. Сын часто показывал ей свои рисунки, но другие, а этот полукарманного формата небольшой альбомчик был у него, вероятно, чем-то вроде записной книжки. Или даже дневника: Поэтому, строго говоря, ей не следовало сюда заглядывать, но она заглянула, увидела отличный, несколькими штрихами набросанный портрет уборщицы тети Вари и уже не могла остановиться.

Все-таки приятно лишний раз убедиться, что у тебя способный сын. Огромный, нелепый и несомненно способный. Может быть, даже талантливый. Она бережно переворачивала страницы, захватанные не очень чистыми пальцами, безжалостно исчищенные то карандашом, то фломастером, с какими-то непонятными, словно зашифрованными, короткими записями среди рисунков.

Рисунки были самые разнообразные. Фрагменты уличных сцен, кошка, подкрадывающаяся к голубю, дог на поводке — его часто можно видеть возле школы. Люди — идущие, сидящие, толкающие перед собой коляски, читающие на ходу. Инвалид на костылях, какой-то фронт возле низкого, приплюснутого к земле автомобиля, еще машины, какие-то приборы и аппараты. Архитектурные мотивы — главным образом Замоскворечья — старая, времен Островского, купеческая усадьба, изящный особняк «Моспроекта» на Пятницкой, церковь святого Григория Кесарийского на Большой Полянке, колокольня церкви Всех Скорбящих, решетка Педагогической библиотеки. И, конечно, девушки — много девушек.

На этих рисунках взгляд Татьяны Викторовны задерживался дольше. Некоторых она узнала — Ратманову, например, не узнать было нельзя, ее головка повторялась на страницах альбома десятки раз. Повернутая то так, то этак, со своей характерной (пожалуй, слишком изысканной для девятиклассницы) прической — челка и рассыпанные по плечам прямые волосы. Не только, впрочем, головка. Веронику Андрей тоже рисовал и стоящей, и идущей, и как угодно.

Не слишком ли часто, подумала Татьяна Викторовна и закрыла альбом. Ратманова, которую она впервые отметила среди своих учениц еще в седьмом классе, ей нравилась — неглупая, достаточно для своего возраста начитанная, с зачатками хоро-



шего литературного вкуса. Иногда слишком замкнутая, словно отгородившаяся от всего мира, а иногда способная на нелепую выходку, какую-нибудь совершенно детскую шалость. Татьяна Викторовна с интересом читала сочинения Ратмановой, любила поручать ей устные разборы той или иной книги, — словом, как ученица Вероника вполне ее устраивала. А вот как возможная подруга Андрея — куда меньше.

Татьяне Викторовне трудно было разобраться в своих чувствах к этой девочке сейчас, когда она лишний раз убедилась, что сын явно ею заинтересован. Обычная материнская ревность? Или что-то другое, более серьезное, более обоснованное логически?

Скорее всего, не столько даже ревность, сколько страх, предощущение возможной опасности. Андрей ведь тоже замкнут, порой наглухо, попробуй добраться до его истинных чувств и переживаний. А если в нем действительно есть задатки художника? Тогда он уже сейчас может чувствовать куда глубже, трагичнее, чем другие его сверстники...

Часы пробили восемь — мужчин все не было. Татьяна Викторовна вышла в кухню, достала сигарету из запытанной в дальнем углу буфета пачки и закурила у раскрытого окна, глядя на вечернее зарево над крышами и думая об этом взрослом уже и отчасти даже незнакомом юноше, в которого как-то постепенно и незаметно превратился ее Андрейка, Андрюшка, Андрюшонок.

Последнее время она все чаще признавалась себе, что не только не знает в чем-то своего сына, но и не понимает его во многом, просто не способна понять. И ей все чаще думалось, что дело тут не в индивидуальном взаимопонимании (или в данном случае его отсутствии), а просто в том факте, что Андрей принадлежит к новому послевоенному поколению. К поколению, которое для нее — после пятнадцати лет работы в школе — все еще остается загадкой. Не просто, очень не просто обстоят дела со сверстниками Андрея. Временами она ловила себя на парадоксальной мысли, что им, выросшим в мире и относительном довольстве, не испытавшим и тысячной доли того, что довелось испытать отцам, — этому «благополучному» поколению шестидесятых годов приходится в чем-то куда труднее, чем приходилось поколению тридцатых...

С лестничной площадки донеслись голоса. Татьяна Викторовна швырнула в окно недокуренную сигарету и замахала руками, пытаясь выгнать туда же предательский дым, потом прислушалась: ложная тревога, голоса отправились выше по лестнице. Но вообще-то и ее повелители должны вот-вот нагрнуть. Она смахнула с подоконника кучку упавшего пепла, достала аэрозольный баллончик и распылила по кухне немного озона, пошла в ванную и тщательно вычистила зубы. Вот так — пусть теперь кто-нибудь докажет, что она курила.

— Знаешь, я сегодня смотрела твой альбом, — сказала Татьяна Викторовна, когда они с сыном занялись после ужина мытьем посуды. — Просто не утерпела — уж очень он соблазнительно лежал, на самом виду.

— Пожалуйста,— пробасил Андрей, как ей показалось, чуть смущенно.— Только там нечего смотреть — ерунда всякая, наброски...

— Это-то и интересно! По-моему, ты делаешь успехи.

Андрей помолчал, осторожно и неуклюже, по-мужски, протирая чашку посудным полотенцем.

— Не знаю,— сказал он.— Иногда мне и самому так кажется, а иногда такое зло берет... Пытаешься что-то сделать — не получается, хоть руки отруби. Не знаю...

— Тебе еще нужно учиться, чтобы все получалось. Ты уж сразу хочешь слишком многого!

— Не знаю,— упрямо повторил Андрей.— Еще вопрос, можно ли этому научиться... Ученье, наверное, дает что-то другое — технику, теоретические знания... А при чем тут техника? Ты видела, как рисуют дети? Ведь самое главное — способность увидеть и передать не сам предмет, он не так важен, а свое видение этого предмета,— этому вряд ли можно научиться. Наверное, все-таки или оно у тебя есть,— от рождения, заложенное в генах, понимаешь? — или его нет. И никогда не будет, сколько бы ни учился...

— Ну, ясно, прежде всего должны быть способности. Но ведь их можно оставить нераскрытыми, а можно развивать, оттачивать. Любой талант, надо думать, нуждается в обработке. Нет, мне твои эскизы понравились. У тебя, кстати, совсем неплохо получаются портретные зарисовки... Вероника Ратманова кое-где очень удачно схвачена. Нравится она тебе?

— Вероника? Да, у нее лицо такое...— Андрей замялся, подыскивая слово.— Гармоничное, что ли.

— Нет, а как человек — нравится? Я не о внешности.

— А-а,— сказал Андрей.— Так она еще не человек.

— Ты думаешь? Не знаю, девушки взрослеют рано.

— Я хочу сказать — неизвестно еще, что из нее получится,— пояснил Андрей, подумав.— Может стать и вторым изданием своей мамашки.

— Ты знаешь ее родителей?

— Видел один раз зимой, когда провожал...

Татьяна Викторовна молча взялась за очередную тарелку. Слова сына удивили ее — мать Вероники, с которой она не раз беседовала на родительских собраниях, производила скорее хорошее впечатление. Хотя бы уже тем, что не восхищалась способностями дочери и была больше озабочена ее недостатками.

— По-твоему, одного взгляда достаточно, чтобы судить о человеке? — спросила она, передавая вымытую тарелку сыну.— Или хотя бы одного разговора?

— Смотря с кем,— отозвался тот не сразу.— Некоторых, конечно, сразу не разгадаешь. А есть такие, что стоит глянуть, и уже все ясно.

— И что же тебе стало ясно при взгляде на Ратмановых?

— Они мне не понравились. Точнее, мать. Отца я видел мельком.

— Но чем именно она тебе не понравилась?

Андрей опять помолчал.

— Как тебе сказать... Какая-то она... слишком благополучная, что ли.

— Благополучная? — переспросила Татьяна Викторовна. — Чем же это плохо? Всякий человек стремится к благополучию... вопрос лишь в том, что под этим понимать. Чистая совесть, например, это ведь тоже благополучие — душевное.

— Да нет, я не о таком. Ну, понимаешь, есть особый вид интеллигентного мещанства, что ли...

— Вот уж чего-чего, а мещанства я в Ратмановых не замечала — ни в дочери, ни в матери.

— В дочери нет, — согласился Андрей. — Я поэтому и говорю, может, она еще и станет человеком. А мать... ты, наверное, встречалась с ней только в школе? В общем-то, конечно, я ничего плохого о ней самой сказать не могу. Но у них дома все настолько... как бы это определить... Ну, все как полагается в их кругу. Понимаешь? По-моему, более точного признака мещанства просто не придумать. — Андрей вдруг усмехнулся, что-то вспоминая. — У них в гостиной несколько неплохих гравюр, девятнадцатый век, а в прихожей — ну, прихожая большая, вроде такого холла, — так вот, у них там висят две африканские маски, кажется подлинные, отец откуда-то привез, а между ними, посерединке, суздальская икона. Старая такая, почти черная покоробленная доска. А ты говоришь — не замечала! Конечно, это не то мещанство, которое проявляется в безвкусной одежде. Если мещанин умеет безошибочно найти цветовое решение интерьера — это куда страшнее... У Ратмановых, кстати, гостиная решена очень здорово: ковер на полу темно-синий, а стены — матовой серой краской, светлой, теплого такого тона. Так что, видишь...

— погоди-ка, Андрей, — сказала Татьяна Викторовна. — Ты сам, будь у нас такая возможность, отказался бы жить в комнате, хорошо отделанной и обставленной по своему вкусу?

— Нет, конечно.

— Почему же тебя возмущает, если так живут другие?

— Ты, мама, вообще, значит, ничего не поняла! — Андрей в сердцах швырнул на стол скомканное полотенце. — Я что, против хорошо обставленных квартир? Я против того, чтобы жизнь сводилась к одной только погоне за модой, пусть самой изысканной...

— Помилуй, да откуда ты знаешь, к чему сводится жизнь тех же Ратмановых? И есть ли у них другие интересы, кроме ковров и гравюр девятнадцатого века?

— Ну, у отца-то наверняка есть, служебные, деловые, — согласился Андрей. — Я про мать говорю. Не знаю, конечно, есть ли у нее другие интересы, да это и неважно. Она слишком довольна своей жизнью, понимаешь? Во мне такие люди вызывают недоверие.

Не так уж это ново, подумала Татьяна Викторовна, подавив вздох. Да, в нем уже начинают проявляться все черты настоящего художника... даже включая этот инстинктивный протест против

всякого благополучия, против всех тех, кто «всегда доволен сам собой, своим обедом и женой»...

— Да,— сказала она вслух.— Бог с ними, впрочем. Я только одно хотела бы тебе сказать, Андрейка... по поводу младшей Ратмановой. Мне понятно твое стремление уберечь ее от мещанства. Но только учти вот что. Она почти твоя ровесница, а девушки, как я уже сказала, становятся взрослыми раньше вас. Поэтому не переоценивай своих сил. Если она действительно выросла в интеллигентно-мещанской среде,— я подчеркиваю — если! — потому что у меня такого представления не сложилось,— то ты, боюсь, ничего уже тут не сделаешь. Поэтому хорошо подумай, стоит ли...

— Стоит ли — что? — спросил Андрей, не дождавшись конца фразы.

— Ну, скажем, брать на себя задачу ее морального перевоспитания.

— Я не собираюсь ее перевоспитывать! Просто, если есть возможность внушить какие-то более правильные взгляды...

— Ты хочешь сказать, что не имеешь права уклоняться? Что ж, в этом ты прав, конечно... Нет, ты не думай, что у меня какие-то возражения вообще против твоей дружбы с Вероникой. Она интересная девочка, не то что эта ваша Рената, с которой я действительно не представляю, о чем можно говорить. Мне просто хотелось тебя предостеречь... вернее, не предостеречь, это не то слово. Ну, скажем проще — посоветовать!

— Я понял...

— Вот и хорошо.

— А чтобы ты на этот счет больше не беспокоилась,— добавил после паузы Андрей,— то могу тебе сказать, что я не из тех, кто может легко потерять голову.

Если бы так, с сомнением подумала Татьяна Викторовна, улыбнувшись сыну. Если бы так! Пускай-ка он и в самом деле поедет с этими студентами — все-таки смена обстановки, новые впечатления...

## ГЛАВА 6

Переход в десятый класс не столько обрадовал, сколько обескуражил Нику. Последнее время она упорно твердила всем, что останется на второй год, сама в это поверила и на успевающих одноклассников уже посматривала с жалостью и чувством тайного превосходства. Еще бы! Им через год предстоят все муки, уготованные абитуриентам, она же будет еще беззаботно порхать по жизни, не думая ни об экзаменах, ни о конкурсах.

Лишний год — это великая вещь, думала она, неизвестно еще, что за этот год произойдет. А произойти в наше эпохальное время может все что угодно — например, отменят высшее образование для девушек. Или, например, сделают его всеобщим — тоже выход...

И все эти сладкие мечты вдруг рассыпались в прах, развея-

лись по ветру. Получив табель, Ника даже не стала звонить родителям — еще начнут поздравлять, чего доброго. Придя домой, она достала из холодильника початую банку сгущенного молока и поставила катушку с записями Клиберна, — сидела на тахте с поджатыми ногами, ела молоко ложкой и слушала музыку, от которой хотелось плакать и в более счастливые времена.

Когда банка опустела, а пленка кончилась, Ника подумала, что вот так кончается в жизни вообще все — и молодость, и любовь. Теперь ей очень хотелось пить, все-таки сгущенки оказалось многовато; она с наслаждением выпила стакан ледяной воды из сифона, добралась обратно до тахты и легла, чувствуя себя объевшейся и несчастной.

А вечером, конечно, было торжество и ликование. Оказалось, что родители все уже давно знали от завуча, только ей не говорили, и с работы явились с подарками: отец принес отличную кожаную папку, взамен того злополучного портфельчика, а мама — рижский кулон ручной работы, кусок неровно отшлифованного янтаря с мушкой внутри, оправленный в темное оксидированное серебро.

Сегодня янтарь произвел на всех большое впечатление, и Ренка немедленно предложила обменять его на свои знаменитые голубые очки. Кулон ходил по рукам, его трогали, терли, царапали вилкой, смотрели на свет и даже брали на зуб.

— Вот паразитство, — задумчиво сказал Игорь, разглядывая мушку. — Лежит, тварь, три миллиона лет, и как живая... А ведь от нас, братья и сестры, через три миллиона лет даже радиоактивного пепла не останется.

— Это произойдет гораздо раньше, — утешил Пит. — У урана не такой уж большой период полураспада.

— Можёт, придумаете что-нибудь повеселее? — спросила Катя Саблина. — Ника, забери у них свой янтарь, он на них плохо действует.

— А на меня тоже, — сказала Ника и отпила глоток терпкого прохладного цинандали. — Мне вот тоже лезут в голову всякие грустные мысли, когда я смотрю на эту муху.

— Ты-то сама не муха, — резонно заметила Рената.

— Ах, никто не знает, кто он такой, — вздохнула Ника. — В смысле — никто не знает сам себя...

— Что это вы сегодня расфилософствовались? — усмехнувшись, сказал Андрей. Он сидел, отодвинувшись от стола, и, положив ногу на ногу, рассеянно оглядывал публику в зале.

— Знаете, мне очень печально, что я перешла в десятый класс, — заявила Ника.

Игорь и Пит переглянулись и, уставившись на нее, как по команде сделали одинаково скорбные лица и одновременно поступали себя по лбу.

— Готова, — сказал Игорь.

— Доучилось наше дитя-цветок, — сказал Пит. — Вот тебе и «науки юношей питают, отраду старцам подают». Правда, там про дев ничего не говорилось.

— А девам науки никогда еще не шли на пользу, — сказал Андрей.

— Вы смеетесь, — вздохнула Ника, — а смешного нет ничего. Это все не так просто, как вам кажется. Хорошо кончать школу, когда знаешь, что дальше...

— Как — что дальше? — изумился Игорь. — Дальше известно что: гранит науки, светлые дали и сияющие вершины. Какого рожна тебе еще надо?

— Я сама не знаю, какого мне нужно рожна, — сказала Ника. — В том-то и дело. Хорошо грызть гранит науки, когда ты знаешь, ради чего стачиваешь зубы...

— Ничего, — утешил Игорь. — Сточишь — поставят новые. Из нержавеющей!

— Это хорошо Андрею, — продолжала Ника, не обращая на него внимания. — Потому что он художник, а они все одержимые. Или тебе, Катрин, — вы с Питом тоже знаете, чего будете добиваться. Всякие там вычислительные устройства, программирование... Если это интересно — конечно, почему же не учиться. Но вот я не знаю. И Рената не знает. И ты, шут гороховый, тоже не знаешь.

— Это кто шут? Я бы попросил!

— Также мне... млекопитающее, — фыркнула Ника. — У тебя ведь тоже нет никаких серьезных интересов!

— Я бы попросил, — повторил Игорь. — Что значит — нет интересов? Я буду подавать во ВГИК. Ясно?

Все застонали хором:

— Во ВГИК!

— Спятил!

— Да тебя там затопчут на дальних подступах!

— Почему знать, — сказал Игорь. — Может, я сам кого-нибудь — под копыто? А?

— Я, например, буду подавать в медицинский, — сказала Рената. — А не пройду — устроюсь манекенщицей.

— Это хоть обдуманная программа, — усмехнулся Андрей, — заранее иметь запасной вариант, на случай «если не пройду». Впрочем, — добавил он, продолжая рисовать, — это нужно только вам, девочки. Для нас запасным вариантом будет армия.

— Точно! — воскликнул Игорь. — Возьму я автомат, надену каску! В защитную покрашенную краску!

— Нас выведут, — предупредила Катя.

— Ударим шаг по улицам горбатым, — немного понизив голос, продолжал Игорь, брэнча на воображаемой гитаре, — как славно быть солдатом, солдатом... Ну что, братья и сестры, дронем?

Он разлил по бокалам остатки вина и посмотрел бутылку на свет.

— Увы, пусто. Как, мужики, скинемся еще на одну?

Пит и Андрей согласились, что скинуться необходимо — бутылка на шестерых это вообще не дело. После этого все дружно

выпили, молча и не чокаясь; кто-то от кого-то слышал, что чокаться теперь не принято. Андрей ободрал апельсин и подал Нике.

— Спасибо,— сказала она.— Половинку. Нет, нет, бери, мне столько не съесть...

— Кстати,— сказал Андрей.— Я читал где-то, что у Евы на самом деле это был апельсин, а не яблоко.

— Ну, тем лучше,— улыбнулась Ника.— Считаю, что я тебя соблазнила.

— Кто, кто кого соблазнил? — не расслышав, заинтересовалась Рената.

— Я соблазнила Андрея,— непринужденно пояснила Ника.

Какой-то пожилой человек, вставший из-за соседнего столика, глянул на нее изумленными глазами, проходя мимо.

— Вы уже совершенно неприлично себя ведете,— сказала Катя.— Дождетесь, что нас действительно выведут.

— А мы ничего не делаем,— возразил Игорь.— С каких это пор компания взрослой молодежи не может посидеть днем в кафе за бутылкой вина?

— Вообще-то нужно было прийти сюда вечером,— с сожалением сказала Рена.— Куда интереснее.

— Вечером нас могли и не пустить...

— Ох, не знаю, а я так ужасно рада, что остался всего этот последний год,— сказала Рена.— Это ж действительно офонареть можно — того нельзя, этого нельзя... Ну ничего,— добавила она угрожающе,— мне летом обещали сшить брючный костюм. Тогда увидим.

— А может, он тебе не пойдет,— сказала Ника.

— Да? — прищурившись, с невыразимо язвительным видом спросила Рената.— Мне не пойдет? Ты так думаешь?

— Я просто предполагаю,— Ника пожала плечами.

— Странные у тебя предположения! Очки, например, почему-то не пошли именно тебе, а мне они, как видишь, прекраснейшим образом идут...

— Ренка, и тебе не идут,— вмешался Игорь.— Ты в них на сову похож... ой! — Он отшатнулся на полсекунды позже, чем следовало, и Ренкин кулак задел его по уху.— Обалдела ты, что ли, на людей кидаться!

— Я тебе покажу «сову», — пообещала Рената.

— А что такого я сказал? Брючный костюм, например, тебе пойдет, этого я не отрицаю. Как видишь, я справедлив. Между прочим, братья и сестры, я тоже шью себе новые брючата. Клеш с разрезами и...

— Цепочками,— подсказала Ника.

— Старуха,— Игорь сожалеюще покачал головой,— нельзя так отставать от моды. Цепочки носили в каменном веке.

— Тогда с бубенчиками!

— Тоже плешь.

— Почему плешь? — спросил Пит.— Женька Карцев пришел себе колокольчики, которые привязывают к удочкам. Можно ку-

пить в «Спорттоварах», полтинник штука. Получилось очень стильно.

— Плешь,— решительно повторил Игорь.— Я сделаю иначе. Только не растреплете? У меня будут лампочки.

Ренка ахнула, за столом стало тихо. Игорь обвел всех взглядом победителя.

— Что, дошло? Обычные лампочки от карманного фонарика. Нашиваются внизу вдоль разреза, а питание от четырех плоских батареек. По две в каждом кармане. Сила? Техника на грани фантастики! Да, кстати! С меня библиотека требует Стругацких, а я их кому-то отдал и не помню кому. Старик, они случайно не у тебя?

— Нет, не у меня,— отозвался Андрей.

Он искоса глянул на Нику и сказал:

— Между прочим, мы, наверное, видимся в последний раз. В смысле — до осени. Недели через две я еду на целину со стройотрядом.

— Вот как,— небрежно сказала Ника и обернулась к Саблиной.— Катрин, покажи-ка сумочку, я хотела посмотреть...

— Тебя берут в стройотряд? — заинтересовался Игорь.— А практика?

— Половину отработаю здесь, а остальное мне зачтут. Не отдыхать же еду.

— А куда это?

— Кажется, в Кустанайскую область куда-то, точно еще неизвестно.

— Эх, черт,— вздохнул Игорь,— я бы тоже не отказался. А то представляешь удовольствие — целый месяц вкалывать здесь на авторемонтном!

— Повкальваете, пижоны, ничего с вами не сделается,— злобно сказала Рената.

— Вас бы самих туда,— огрызнулся Игорь.— Небось сразу бы забыли о маникюрах!

— А мы что, не будем работать? Не знаю еще, что лучше — ваш завод или наше овощехранилище. Целыми днями перебирать картошку!

— Насчет овощехранилища, кстати, еще ничего толком не известно,— сказала Ника.— Геннадий Ильич говорил, что девочек, возможно, пошлют в совхоз. Где-то тут в Подмоскowie. Хорошо бы, правда?

— ...А вся эта фантастика — вот уж бодяга так бодяга,— говорил Пит, очищая апельсин.— У американцев, правда, иногда здорово завинчен сюжет... и мысли бывают интересные — в смысле социального прогнозирования,— только мрачные все, просто читать страшно...

— Стра-а-ашно, аж жуть! — вполголоса пропел Игорь, втянув голову в плечи.

— Именно жуть. У Витьки Звягинцева есть несколько журнальчиков — его предок был в Штатах, привез оттуда,— специально журнал научной фантастики, называется «Аналог»...



маленького такого формата, карманный, с иллюстрациями... ты, кстати, Андрюха, возьми поинтересуйся, графика там потрясная. Так вот, я прочитал несколько рассказиков...

— Ух ты, пиж-жон несчастный,— сказала Рена.— Так это небрежно — «прочитал несколько рассказиков»...

— Ну а чего? Со словарем запросто, не такой уж трудный текст. Так вот я что хотел сказать — мрачняка там совершенно невыносимая, все насчет перенаселения, истощения природных ресурсов, словом в таком плане..

— Наверное, это не так уж и фантастично,— заметил Андрей.

Пит дочистил апельсин, разделил его на дольки и принялся симметрично раскладывать их по столу.

— Да, но у них сгущены краски,— сказал он.— Между прочим, нашу фантастику читать тоже невозможно. Я, например, не могу. У тех одна крайность, у нас другая...

— Литература должна быть бодрой,— сказала Рената,— оптимистической и — какой еще?

— Жизнеутверждающей,— подсказал Игорь.— Ну, дрогнули!

Пит выпил, сжевал дольку апельсина. Андрей, полуотвернувшись, смотрел в окно, за которым непрерывно, словно по обезумевшему конвейеру, летел с Нового Арбата разноцветный поток машин и дальше мерцала на солнце листва тополей Суворовского бульвара, а над всем эти стояло синее безоблачное небо; цветовое состояние начало уже подвергаться неуловимым вначале послеполуденным изменениям. Чем, какими средствами можно передать вот такое? Скопировать нельзя — даже цветная фотография с максимально приближенной колористической гаммой все равно ничего не передаст. Значит, дело не в верности воспроизведения частных составляющих, а в том, чтобы найти, вылучить и показать что-то главное, общее, всеобъемлющее...

— ...Я начинал два раза, да так и бросил,— говорил Пит.— Уж такое всеобщее сю-сю, что просто с души воротит. Такие все талантливые, и красивые, и сверхблагородные — сплошное умиление. И друг к другу, разумеется, все необычайно заботливы, чутки,— да ну их к черту, эти сказочки для детей преклонного возраста. Тоже, литература...

— Послушай, Пит, ну, может быть, когда-нибудь так действительно будет,— нерешительно сказала Ника.— Ведь там отражено очень-очень далекое будущее...

— Никакое будущее там не отражено,— возразил Пит.— Помоему, там отражен только несокрушимый исторический оптимизм автора... причем оптимизм, который целиком высосан из пальца. Я ни одному его слову не верю, когда он рассказывает об этих своих сверхраспрекрасных героях... Еще могу поверить в биполярную математику, со всякими там кохлеарными и репагулярными исчислениями,— ладно, допустим, когда-нибудь разработают и биполярную... А герои, люди все эти,— просто маниловщина самая безответственная.

— Ну, хорошо, — Ника отвела от щеки волосы. — Люди вообще меняются к лучшему?

— Ты, бабка, меняешься только к худшему, — вмешался Игорь. — В смысле — глупеешь не по дням, а по часам.

— Нет, ты скажи, разве вообще люди не становятся лучше, постепенно, пусть хотя бы медленно?

— Не знаю, — сказал Пит. — Представь себе, не знаю! Вероятно, меняются. Но как медленно! Разве что произойдет какой-то внезапный скачок, какой-то перелом, сразу... тогда можно допустить, что они действительно станут когда-нибудь хоть в чем-то похожими на тех. Но рассчитывать на случай — это же ненаучно, детка. Прогноз должен опираться на что-то реальное. Если хочешь, американцы — по методу — более правы: они исходят из того, что уже имеется. Такие явления, как перенаселенность, загрязнение воды и воздуха, — это уже имеется, это уже налицо; вот из этого они и исходят. Кое в чем перехлестывают, это уже дело другое.

— Петька совершенно прав, — сказал Андрей. — Вот вам простой вопрос: за последние пятьдесят лет люди стали лучше или не стали?

— Да ты что, Андрей, — испуганно сказала Катя. — Мы уже в космос летаем, а ты такие вещи дикие спрашиваешь!

— А космос тут совершенно ни при чем, американцы тоже летают. Я говорю, в смысле человеческих качеств — стали мы лучше?

— Ну, ты даешь, старик, — неопределенно высказался Игорь.

— Во всяком случае, — сказал Пит, — до тех, кто делал революцию и кто дрался на гражданской войне, нам далеко. Это я могу сказать совершенно точно...

— На основании собственного опыта, — ехидно закончила Рена.

— Тут собственный опыт не так уж и необходим, — возразил Андрей. — Это безусловный факт, что комсомольцы двадцатых годов были лучше нас. Среди них не было ни тунеядцев, ни этих папенькиных сынков, которые...

— Мешают нам жить, — быстро подсказал Игорь. — И они же позорят наш город. Дурную траву из поля вон. Дрогнем?

На этот раз его никто не поддержал, он выпил сам и закусил конфетой. Пожилая официантка принесла мороженое. Расставляя по столу запотевшие мелхноровые вазочки, она подозрительно оглядела примолкшую компанию.

— Что, молодежь, по домам не пора?

— Ой, тетенька, а можно, мы еще посидим? — пропищал Игорь. — Мы хорошие, вот чес-слово, тетенька!

— Сидите, кто вас гонит, только без озорства. Чего празднуете — аттестаты, что ль, получили?

— Нет, только перешли в десятый, — улыбулась Ника.

— Во-он что! Я-то думала, выпускники. Ну, празднуйте на здоровье...

— Не будем даже говорить о двадцатых годах, — негромко

сказал Андрей, когда официантка отошла. — Возьмем тридцатые или сороковые... Ну, время молодости наших предков...

— А что предки? — перебил Игорь. — Воевали, да? Старик, нам это все известно с первого класса — Чайкина, Матросов, Космодемьянская, — так что можешь не продолжать. Знаешь, мне эти разговоры о «том поколении» сидят уже в самых печенках. Двойку принесу домой, ну или там еще какое-нибудь чепе в том же духе...

— Не знала, что двойка для тебя чепе, — сказала Ника.

— Вот именно, — подхватила Рената. — Помните, он раз пятерку оторвал — это было чепе...

— А ну, тихо! — Игорь несильно постучал по столу кулаком. — Я что хочу сказать? Предки теперь, чуть что не так, начинают предаваться воспоминаниям. Вот вы, дескать, ничего не знаете, ничего не испытали, а мы были не такими, мы верили, мы не сомневались, мы метро построили, мы войну выиграли, — ну прямо зло берет жуткое! Да елки, думаю, палки, а кто ж строил Братскую ГЭС? А кто вот теперь на Доманском дрался, ну? Не наше поколение? И если мне теперь начнут заливать, что Матросов или Космодемьянская не получали двоек и во всем были образцово-показательными — то я в это ни фига не поверю. Потому что показуха есть показуха, а жизнь есть жизнь. И ты, старик, тоже начинаешь теперь крутить ту же волюнку: «время молодости наших предков». Мы-то тут при чем, если на их молодость пришла война, а на нашу не пришла? Те парни с Доманского, пока были дома, тоже наверняка и твистовали, и в стильных брючатах не прочь были прошвырнуться...

— Чего ты ломнешься в открытую дверь? — сказал Андрей. — Кто с тобой на эту тему спорит? Уж нам-то ты можешь не доказывать, что мы не все сплошь стилиаги и тунейдцы. Я хочу сказать другое: если предыдущему поколению нечего особенно перед нами заноситься — по той простой причине, что мы еще ни в чем не проявили себя менее стойкими, чем они, — то и у нас, во всяком случае, нет ровно никаких оснований заноситься перед ними. Ну, или сформулируем так: пусть они не лучше нас, но и мы ничем не лучше их. Люди не стали лучше за эти тридцать лет, а ведь все остальное изменилось черт знает как — и техника, и... вообще все. Вот, в космос стали летать. Тут несоответствие какое-то, понимаете? Поэтому я и говорю, что прав Петька, когда сомневается в таком уж безоблачном будущем для человечества...

— Слушайте, ну вы действительно нашли, о чем беседовать в такой день! — решительно вмешалась Катя. — «Будущее человечества» — просто странно слушать, честное слово! Девочки, ну почему вы молчите?

— А если мне интересно, — сказала Ника.

— Вруша бессовестная, — сказала Рена. — Ей, видите ли, интересно. Ты еще скажи, что ты в этом что-то понимаешь! Я вот, например, не понимаю и понимать не хочу. И вообще, по-моему, пора отсюда умятьвать. Такая погода, а мы сидим в этой духоте,

как шесть кретов. В самом деле, мальчики, кончайте треп, и пошли проветриваться, а?

— Вот разумная мысль, — сказал Андрей. — Здесь и в самом деле душно. Ты, Ника, как на это смотришь?

— Можно, — задумчиво сказала та, глядя в окно.

— Что «можно»?

— Можно пойти. Можно погулять здесь или в Сокольники поехать...

— Сокольники! — Игорь поморщился. — Это не место для белого человека. Но что-нибудь придумаем, поэтому вставайте, братья и сестры, и организованно хляйте к выходу.

— Надо не забыть расплатиться, — напомнила Катя.

— Правда? Ух ты, моя радость, какая же ты у нас сознательная! Пит, можно ее поцеловать?

— А по шее не хочешь? — спросил Пит.

Выйдя из «Праги», компания свернула направо и потащилась по Арбату, лениво обсуждая планы дальнейшего времяпрепровождения; однако, несмотря на оптимизм Игоря, ничего достойного придумать не удалось, и, дотащившись до Смоленской площади, они расстались под сенью МИДовского чертога, пообещав друг другу позванивать и вообще не терять контакта. Рената с Игорем побежали на троллейбусную остановку, Пит с Катей отправились разыскивать в районе Киевского вокзала какую-то комиссионку, где, по непроверенным слухам, были дешевые японские транзисторы, а Ника с Андреем, проводив их до моста, побрели вниз по Ростовской набережной.

— Это правда, что ты уезжаешь с отрядом на целину? — спросила Ника.

— Правда и только правда, ничего кроме правды.

— Странно...

— Что странно?

Ника не ответила, заинтересовавшись вдруг речным трамваем, который медленно отходил от причала «Киевский вокзал».

— Странно, что я узнала об этом только сегодня, — сказала она наконец. — Тебе не кажется, что ты мог бы и раньше поделиться со мной своими летними планами?

— А ты делилась со мной своими?

— А у меня, представь себе, их вообще не было! Все зависело от того, получит ли Светка отпуск, а она не знала, только вчера наконец позвонила: отпуск у них в июле, они с мужем собираются на Юг, спрашивала, будет ли свободна машина. Зовёт меня ехать вместе.

— Поезжай, конечно.

— Разумеется, поеду, но это выяснилось только вчера! А ты когда решил насчет стройотряда?

— Решил давно, но оформили меня тоже вот только что.

— Решил — и молчал?

— Последнюю неделю ты вообще не изволила меня замечать.

— Ах вот что! Но у меня, согласишься, на это были основания.

— Например?

- Не притворяйся, пожалуйста. Ты ходил в театр с Мариной?
- Первой, если помнишь, я пригласил тебя.
- А я не смогла пойти, меня не пустили.
- Не пустили?
- Да, не пустили! За то, что я тогда потеряла портфель и не пошла в школу.
- Первый раз слышу,— сказал Андрей, пожимая плечами.— Мне ты сказала, что сама не хочешь идти.
- Мало ли что я сказала! Ты все равно не должен был приглашать Марину...
- Почему это? Ты отказалась, я предлагал билеты родителям — они в тот вечер были заняты. А Марина давно хотела побывать в «Современнике».
- Все равно,— упрямо повторила Ника.— Я на тебя очень обижена. Ты действительно уже оформился в стройотряд?
- Да, уже. А что?
- Да нет, я просто подумала... Собственно, я могла бы и не ехать со Светкой,— неуверенно сказала Ника.— С ними еще будет какой-то Юркин сотрудник, я его совершенно не знаю...
- Поезжай, что тебе делать летом в Москве.
- Да, наверное, поеду,— вздохнула Ника.— Ты рад, что перешел в десятый класс?
- Я не сомневался в этом, так что радоваться особенно нечему. А вообще, конечно, хорошо — еще всего-навсего один год, и...
- И? — насмешливо переспросила Ника.— В том-то и дело, что ты сам не знаешь!
- В каком смысле?
- А во всех решительно. Со мной вдруг случилось что-то непонятное. Понимаешь... Еще недавно я так хотела поскорее стать взрослой. Так радовалась, когда весной получила паспорт! А сейчас я... сейчас мне... не то чтобы расхотелось стать взрослой — мне вдруг стало страшно...
- Но чего именно?
- Не знаю, не знаю... Вдруг все получится вовсе не так, как ожидаешь, и потом... еще эта ответственность! Я вдруг подумала: какая это ответственность — быть взрослой...
- А чего ты, собственно, ожидаешь от жизни? — спросил после паузы внимательно слушавший Андрей.
- Не знаю, но чего-то... настоящего, наверное.
- Нет, но все-таки — более конкретно?
- Не знаю,— беспомощно повторила Ника.
- Послушай-ка. Ты Чехова любишь?
- Чехова? Нет, не очень, а что?
- Почему не любишь?
- Ника подумала и пожала плечами:
- Ну... мне скучно его читать. Нет, не потому, что он плохо пишет,— пишет он хорошо, но просто... очень уж скучно то, что он описывает.
- Скучно — или страшно?

— Да, пожалуй, и страшно... если задуматься, — согласилась Ника.

— Помнишь рассказ про человека, который всю жизнь мечтал купить усадьбу и есть собственный крыжовник?

— Да, помню. Это действительно очень страшный рассказ...

— Очень страшный, — подтвердил Андрей. — И знаешь чем? Самое страшное в этом рассказе — это то, что такие люди всегда были, есть и будут. Чеховский герой копил деньги на усадьбу, а сегодня такой будет копить на машину — десять лет будет копить, потом получит и будет дрожать над каждой царапиной. Представить себе такую жизнь...

— Да, это страшно. Если нет ничего другого...

— В том-то и дело. Я ведь не против того, чтобы что-то приобретать, если есть возможность, — добавил Андрей. — От машины, например, я бы не отказался, но мечтать о ней считаю ниже своего достоинства.

— Я понимаю... А о чем ты мечтаешь? Поступить в Строгановку?

— Я мечтаю стать художником. Это главное. А Строгановка — это уже деталь. Рано или поздно я туда поступлю, вероятно, но даже если нет... В Ленинграде тоже есть хорошее училище — имени Мухиной, можно будет попытаться туда. Но это все детали, самое главное — хватит ли способностей...

— У тебя есть способности, — твердо сказала Ника.

— В обычном понимании — да. Но мне этого мало, мне нужно другое.

— Талант?

— Да, если хочешь, талант, — с вызовом подтвердил Андрей. — Я считаю, в искусстве нельзя быть средним. Где угодно можно, а в искусстве — нельзя. Понимаешь, средний инженер или средний закройщик — они все равно делают полезное дело, пусть немного хуже, чем получается у других, но все равно. А средний художник, средний композитор, средний писатель — они приносят вред. Понимаешь? Человек не имеет права быть средним, если он хочет заниматься искусством. Первым — или никаким!

— Не могут же все быть первыми, — рассудительно заметила Ника.

— Ты права, я не так выразился. Не первым — в смысле единственным, — но одним из первых. В первом разряде, скажем так.

Ника долго молчала.

— Это, наверное, трудно определить... в каком кто разряде. Ты рассказывал про импрессионистов — их ведь никто не признавал, помнишь? Всем они казались самыми что ни на есть последними...

— Они опередили свою эпоху, в этом все дело. Настоящий художник всегда опережает эпоху, иначе и быть не может.

— Поэтому я и говорю: кто тогда может правильно определить твой «разряд»? Если другие тебя не понимают...

— Другие, конечно, не поймут.

— А ты сам? Помнишь, в «Творчестве», этот художник, ну, главный герой, — он сам был все время недоволен своей работой...

— Да это совсем другое дело! Он был недоволен именно потому, что чувствовал себя в силах писать лучше, понимаешь? Это просто повышенная требовательность к себе...

— А-а, ну ясно. — Ника опять помолчала. — Я, конечно, мало что понимаю, но ты, по-моему, будешь настоящим художником.

— Посмотрим...

— Я уверена. Слушай, если нас не отправят в совхоз на практику... Ты ведь через две недели уезжаешь?

— Приблизительно. А что?

— Нет, я просто подумала... — Щурясь на солнце, Ника отвела от щеки волосы. — Пока ты еще будешь в Москве, мы могли бы куда-нибудь съездить... вместе. В Останкино, например, там неплохой пляж. Конечно, если ты хочешь.

— Можно, — сказал Андрей. — Это неплохая идея.

## ГЛАВА 7

Неистовое солнце полыхнуло ему навстречу, едва он перешагнул выгнутый алюминиевый порог и ступил на площадку трапа и вместо профильтрованного, пахнущего нагретой пластмассой, кофе, духами и еще чем-то синтетическим, нежилого воздуха пассажирского салона полной грудью вдохнул горячий и свежий степной ветер. Ветер дул спереди, вдоль фюзеляжа, и керосиновым чадом тянуло от умолкших турбин — видно было, как над их остывающими черными соплами еще струятся зыбкие потоки раскаленного воздуха, — но еще сильнее над аэродромом чисто и первозданно пахло степью, чебрецом, полынью, пастушьими нагорьями древней Тавриды. Щурясь, он поднял глаза к слепящей бездонной синеве, вспомнил мокрые тротуары Невского, Московские ворота за туманной сеткой мелкого косога дождя — и побежал вниз, радуясь как мальчишка, волоча по ступенькам трапа брезентовую дорожную сумку.

Витенька Мамай появился, когда он получал багаж.

— Привет, командор! — заорал он жизнерадостно, размахивая руками и вытыкиваясь на цыпочках из толпы. — Вы уже здесь! А я вас ищу там!

Он протолкался к Игнатьеву, выхватил чемодан, вскинул на плечо ляжку рюкзака. Толпа медленно понесла их к выходу; Мамай шумно расспрашивал об институтских делах, о погоде в Питере и общих знакомых.

— Ты хоть скажи, что в отряде? — сказал Игнатьев, прерывая своего помощника. — С транспортом удалось что-нибудь придумать?

— С транспортом? — переспросил Витенька. — Ха! Пора бы вам, шеф, знать мои организаторские способности. Машина у нас уже есть — роскошная, легковая. До осени в полном распоряжении! Правда, без шофера, но у меня есть права.

— Кто же это расщедрился?

— Колхоз, колхоз! Сам Денисенко, Роман Трофимович. Я с ним такую тут баталию выдержал — хоть вторую «Илиаду» пиши...

Тут поднажавшая толпа разделила их, и Игнатъев так и не услышал подробностей эпической схватки с председателем колхоза. Выбравшись наружу из душного павильона, он огляделся — Витенька махал ему, тыча рукой куда-то в сторону.

— Сюда, сюда пробивайся! — закричал Мамай. — Вон она, на стоянке, наша красавица! Та, что с краю!

Они подошли к стоянке, и Витенька с гордостью распахнул перед Игнатъевым дверцу самой странной из собравшихся здесь разношерстных машин. Это была облупленная, грязно-фиолетового цвета «Победа» без крыши, на нелепо высоком шасси повышенной проходимости.

— Ну что ж, прекрасный автомобиль, — сказал Игнатъев одобрительно. — Если не ошибаюсь, это почти вездеход. И цвет такой изысканный. А... крыши вообще не будет?

— Вот чего нет, того нет, — признал Витенька. — «Победы» первых выпусков имели вместо жесткой крыши брезентовый тент, но в данном случае он пришел в негодность и был вообще снят. В здешних климатических условиях это, я бы сказал, преимущество. В Америке, например, в южных штатах, все поголовно ездят только в открытых машинах. Там это называется «конвертибель» — машина с опускающейся крышей. Миллионеры других просто не признают!

— Здесь, насколько я понимаю, опускаться нечему, а? Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Меня удивляет одно: в прошлом году мне приходилось встречаться с этим председателем, и у меня сложилось впечатление, что у него снега зимой не выпросишь, не то что машину...

— В прошлом году! — Витенька засмеялся, заталкивая чемодан в багажник. — С прошлого года здесь многое изменилось. Я всегда считал, что руководитель экспедиции должен внимательно читать местные газеты... Ну давай, забирайся. В город заезжать не будем? Ты дверцу только поплотнее захлопни, иногда отскакивает...

Игнатъев уселся на продавленное сиденье, кустарно обтянутое горячим от солнца дерматином, прихлопнул дверцу и подергал ее для верности.

— Что ж, трогай свой «конвертибель». Надеюсь, его не нужно крутить ручкой или толкать?

— Иди к черту, это абсолютно надежная машина, месяц как прошла техосмотр. Через три часа будем в отряде, можешь засечь время.

— Ох, Витя, не искушал бы ты судьбу...

Фиолетовый «конвертибель» заскрежетал, зафыркал, взревел и, круто вывернувшись со стоянки, резво побежал по шоссе, поскрипывая и побрякивая чем-то внутри. Сразу уплотнившись, туго ударил в лицо ветер, перехлестывая через лобовое стекло.



Игнатъев достал из нагрудного кармана ковбойки дымчатые очки, подышал на них и тщательно протер обрывком бумажной салфетки.

— Ну вот, — произнес он удовлетворенно, окидывая взглядом обесцвеченный солнечным маревом горизонт и синевато-сиреневые, словно подернутые дымком, массивы Бабуган-Яйлы на юге, за курящимися в ложбине фабричными трубами Симферополя. — Так расскажи, что произошло с председателем?

— Произошло прежде всего то, что прошлой осенью, уже после нашего отъезда, колхоз этот вышел в передовые. Что-то они там выполнили и перевыполнили. Словом, развознили о них на всю Украину, а председателя объявили маяком и дали ему Героя. Я обо всем этом узнал от аборигенов в первый же день, как только приехали. Ну, и у меня сразу сработало! Я решил бить на тшеславие. Ибо тшеславие, командор, — это незаконное дитя славы. Между прочим, почти афоризм, хотя придумал я сам, только что. Словом, приехал я к Денисенке, добился приема, — между прочим, это теперь не так просто! — ну, и пустил в ход красноречие. Послушайте, говорю, к вам теперь делегации ездят, еще, глядишь, из-за границы навалются, — ну, говорю, овцы и виноград дело хорошее, однако французов каких-нибудь или австралийцев вы этим, пожалуй, не удивите; вам, говорю, о другом пора думать. Культура, говорю, новый быт, стирание граней! Он мне на это — что ж, говорит, мы вон какой Дом культуры отгрохали, еще и кинотеатр широкоэкранный будем строить. Господи, говорю, да где их теперь нет, широкоэкранных... Дворцами культуры и кинотеатрами, говорю я Денисенке, вы теперь никого не поразите. А вот если колхоз вложит свою, так сказать, лепту в научные изыскания — вот это действительно примета нового, да еще какая! Этак и во всесоюзном масштабе можно прославиться...

— Ты что, поддал в тот день для храбрости?

— Циник ты, Димка. Не можешь себе представить вдохновения без поддачи? Я по системе Станиславского работал — вошел в образ, вжился. И вот тебе, пожалуйста, результат, — он нежно погладил растрескавшийся обод руля и победоносно покосился на шефа. — И учти, Денисенко не такой простофиля, чтобы ему можно было легко заморочить голову. Как он спорил! Это была битва титанов, гигантомахия! Когда я сказал о науке, он тут же меня срезал, заявив, что колхоз уже «до биса грошей» всадил в селекционные работы и в изыскания по борьбе с филлоксерой; что ж филлоксера, говорю я ему, она вас по карману бьет, еще бы вы с ней не боролись! Это и на Западе любой дальновидный хозяин вкладывает средства в выгодные для него исследования, нанимает себе ученых. Вы, говорю, пожертвуйте на чистую науку — бескорыстно, понимаете ли, из высоких побуждений... Сидит мой Роман Трофимович, набычился, глаза хитрые, маленькие... А я вам, говорит, не меценат, не Савва Морозов какой-нибудь! Представляешь? Знает же, стервец, тоже читал. Помилуйте, говорю, не о меценатах речь, от меценатов мы, слава тебе господи, еще в семнадцатом году избавились вполне радикально, — но вы, спра-

шиваю, отдаете себе отчет в том, что на территории вашего колхоза может быть скрыт второй Херсонес или еще один Неаполь Скифский?

Он рассмеялся и ловко закурил, придерживая руль коленом.

— Угробишь ты нас,— сказал Игнатъев.— Мне всю зиму снились автомобильные кошмары — начинаю понимать, к чему.

— Не угроблю,— возразил Мамай.— Напротив, командор, я вас спасаю. В смысле — всех нас, весь отряд. Я этого куркуля Денисенку обрабатывал два дня подряд, охрип, честное слово,— тут уж у меня все пошло в ход: и крито-микенская культура, и черные полковники, и хитроумный царь Одиссей, и Микис Теодоракис... Короче, раскололся мой председатель! Денег, правда, не дал — да я на них и не рассчитывал,— но машину предоставил в безвозмездное пользование, продукты распорядился отпускать по себестоимости, словом частично взял нас на свое иждивение. Ничего, мужик он хороший. Второго Херсонеса мы ему, конечно, не раскопаем, но насчет материала в местную прессу можно будет сообразить. Что-нибудь вроде: «Колхозный руководитель нового типа»!

— Все это хорошо, Витя, но ты скоро превратишься в настоящего арапа. Устанавливать контакты и достигать взаимопонимания с местным руководством — дело, конечно, полезное. И все же...

— Что вы хотите, командор, в каждой экспедиции должен быть свой штатный арап! Меня Денисенко спрашивает с подковыркой: «Вон у вас бумаги какие — с печатями Академии наук, так что ж она, ваша Академия, грошей-то не дает на эту самую «чистую науку»?..»

Они замолчали. Игнатъев, пригнувшись от ветра, тоже закурил и спрятал папиросу в кулаке. Впереди, в солнечной дымке, уже угадывались очертания мелового плато над Карасубазаром.

— Да, нашего брата нынче не балуют,— сказал Игнатъев.— Немодная наука, что ты хочешь. Физика, молекулярная биология — это сейчас главное, а кто принимает всерьез историю? Моя бывшая руководительница раскапывала Керкинитиду,— ты в Евпатории бывал? — там часть стены вскрыта прямо в городском парке, возле музея, это получилось удачно; но зато другой раскоп оказался на территории какой-то здравницы, и вот тут пришлось драться за место под солнцем. Понимаешь, это был военный санаторий, Министерства обороны, а полковники медицинской службы народ решительный: налево кругом, марш, и никаких разговоров. Однако та тоже дама упорная, добилась каким-то образом разрешения через Москву и прокопалась весь сезон до победного конца. А на следующую весну возвращается — раскоп засыпан! Ей-богу. Даже, черти, деревца там какие-то посажали, как будто так и было...

— И что же она? — смеясь спросил Витенька.— Снова через Москву действовала?

— Нет, собственными руками повыдергивала древонасаждения и стала копать дальше.

— Правильно, — одобрил Мамай, — зная советской исторической науки следует держать высоко. В Белогорске придется заскочить на станцию. Я, когда туда ехал, не заправился, боялся опоздать к самолету. Ничего, мы это сейчас мигом...

Подкатив к заправочной станции, они убедились, однако, что «мигом» тут ничего не выйдет: семьдесят второго в продаже не было, и к единственной исправной колонке, отпускаявшей шестьдесят шестой, выстроилась длиннейшая очередь. Когда фиолетовый «конвертибль» занял место за надраенной голубой «Волгой» с московским номером и хромированным багажником на крыше, в заднем окне щегольской машины немедленно появились любопытные физиономии.

— Смотрите, завидуйте, — пробормотал Мамай, — это не то что ваше серийное убожество... Димка, ты сумеешь выжать сцепление и воткнуть первую скорость?

— Воткнуть — что и куда? — спросил Игнатъев.

— Ну, вот этот рычаг на себя и вниз. Это чтобы в случае необходимости продвинуться вперед. Я бы тем временем сходил на разведку...

— Лучше не надо, — отказался Игнатъев. — Я еще продвинусь не в ту сторону. Ты сиди тут, а на разведку я схожу сам.

Он выскочил из машины, с удовольствием разминая ноги, и прошел под навес, где, озабоченно пересчитывая талоны, толпились бледнолицые частники в мятых джинсах и пропотевших на спине гавайках, похожие на летчиков-испытателей мотоциклисты со своими столь же замысловато обмундированными подружками и темно-медные от постоянного загара, выдубленные степными ветрами и прокопченные соляжкой водители «ЗИЛов» и «МАЗов». Когда Игнатъев подошел, толпа начала волноваться и выражать даже нечто вроде коллективного протеста, теснясь к окошку, но оттуда послышался пронзительный женский голос, который в неповторимом тембре уроженки Северного Причерноморья стал выпаливать какие-то местные вариации на тему «вас много, а я одна»; потом окошко с треском захлопнулось и за стеклом закачался плакатик неразличимого издали содержания.

— Ну не паразитка? — сказал кто-то рядом с Игнатъевым. — Еще двадцать минут до передачи смены, так она талоны села считать, шоб ей сто чирьев повыскочило на том самом месте! А смену станут передавать — это еще полчаса с гаком. Ну до чего ж поганая баба, шо ты с ней сделаешь... •

Игнатъев вернулся к фиолетовому вездеходу, возле которого трое мальчишек уже спорили — трофейная это машина или самодельная, на конкурс «ТМ-69»; Мамай невозмутимо дремал за рулем, надвинув себе на нос треуголку из «Литературной газеты». Игнатъев подошел, прочитал наполовину срезанное заломом интервью Евгения Сазонова и, посмеиваясь, шелкнул по гребню треуголки. Витенька встрепенулся.

— Что, уже? — спросил он сонным голосом, хватаясь за ключ зажигания.

Игнатъев остановил его руку:

— Не спеши, у нас впереди еще как минимум час времени.

— А что там такое?

— Там, насколько я понял, готовится какая-то пышная церемония — вроде смены караула. А королева бензоколонки приводит в порядок свою отчетность и никому бензина не отпускает.

— На то она и королева, — философски заметил Мамай и, зевнув, добавил: — Туды ее в качель. Знаешь, Димка, больше всего мне бы хотелось воскресить дюжину-другую радетелей за женское равноправие. И погонять их, стервецов, по нашей сфере обслуживания...

— Ну, ты женоненавистник известный, — сказал Игнатъев. — Увидишь, когда-нибудь наши отрядные дамы подсыпят тебе толченого стекла в кашу. Так что, будем ждать или попытаемся доехать до Феодосии?

— Это семьдесят километров, — с сомнением сказал Витенька. Щелкнув ключом зажигания, он пригнулся к приборному щитку и постучал по нему кулаком. — Я бы не рисковал, бензина у нас практически нет. А стоять на обочине, протягивая за подающим канистру, — как-то, знаешь, унижительно.

— Ну что ж, тогда подождем. А пока пошли пить пиво!

— Да, пивка бы сейчас не мешало. Но крымская ГАИ, понимаешь, это такие звери! Нешто рискнуть?

— Ах да, верно, тебе же нельзя! Ну, хоть кваску попьем, если найдется.

— Да нет, иди уж сам, нет хуже самоистязания из солидарности. Чеши, старик, я тут подремлю пока, сегодня чего-то не выпался...

— Так и будешь спать на солнцепеке?

— Ничего, жар костей не ломит. Идите, командор, не терзайте шоферскую душу.

Игнатъев послушно удалился. Он выпил кружку неожиданно хорошего и даже холодного пива, отстояв очередь в душном павильоне, потом купил для сравнения три пачки «Беломора» — ростовской, одесской и симферопольской фабрик. Дальше делать было нечего, он чувствовал себя легко и беззаботно и немного неприкаянно, как школьник, на которого вдруг свалились внеплановые каникулы. У него, правда, никаких каникул не было, напротив, для него сейчас начиналась работа — главная, та самая, ради которой он всю зиму высиживал бесконечные заседания в старом великокняжеском особняке на набережной Невы, проводил дни в читальных залах БАН и Публички, мучился за пишущей машинкой. По идее, камеральный период должен был быть временем творческим, когда осмысливались и приводились в систему вороха полевого материала — сырого, необработанного, зачастую противоречивого; но Игнатъев всегда почему-то ощущал, может быть вопреки здравому смыслу, что истинное творчество начинается именно там, в поле. Возможно, он просто был не из породы теоретиков.

В общем-то, он довольно рано защитил вполне приличную кандидатскую, и у него были уже припасены мысли, которые со

временем могут стать опорными точками для докторской, — так что голова, вероятно, работала у него не хуже, чем у других. Он регулярно печатался, и пишущая машинка была для Игнатьева таким же привычным инструментом, как и лопата. Работа за столом доставляла ему много радостей (и огорчений, понятно, на то и работа), но никогда, пожалуй, придумав наконец точную формулировку и выстукав ее двумя пальцами на своей портативной «Колибри», не испытывал он такого всепоглощающего творческого подъема, как в те минуты, когда, сидя на корточках в жарком, как устье печи, раскопе, он откладывал нож и начинал осторожно, как хирург, прикасающийся к обнаженному сердцу, обстругать кисточкой сыроватую еще землю с зеленого от окислов металла, пролежавшего во мраке двадцать столетий...

Все это ждало его теперь там, впереди, в двух часах езды отсюда, и на целое лето, до осени! Игнатьев сел на камень в тени чахлой акации, закурил папиросу, выбрав для начала симферопольскую, и стал машинально следить за пробегающими по шоссе машинами. Редкая тень почти не давала прохлады на этом знойном ветру, от шоссе несло цементной пылью, но жара казалась Игнатьеву превосходной и очень полезной для здоровья жарой, а пыль-то и вовсе была не помехой! К пыли на раскопках привыкаешь прежде всего, без этого уж нельзя. Работа, как говорят, не денежная, но весьма пыльная...

Он чувствовал себя просто отлично — как блудный сын, завидевший вдали кровлю родного дома. Ни бестолочь на заправочной станции, ни скверная симферопольская папироса не могли сейчас омрачить его благостного мировосприятия. В Питере-то, бывало, подобные штучки изрядно портили ему настроение: газетный киоск, например, закрытый в те самые часы, когда ему — согласно висящей тут же табличке — положено быть открытым, или отсутствие в магазинах хорошей гознаковской бумаги, на которой он привык работать, или обнаруженный в начинке «Беломора» обрезок шпагата... Мелочи, конечно, но очень уж противными кажутся они там, на Севере. Впрочем, Питер это всегда умел — превращать людей в неврастеников.

— Ну, ничего, — бодро сказал Игнатьев и втоптал окуроч в пыль. — Впереди целое лето!

Через полтора часа, оставив позади райские долины Отузы и Карасевки, они были уже на Ак-Монайском перешейке — пороге Керченского полуострова. За Феодосией ландшафт изменился — пошли пологие, бурые от колючки холмы, степь, поля зеленой пшеницы. Здесь начиналась Киммерия. Пробежав по шоссе еще десяток километров, фиолетовая «Победа» свернула на проселок.

— Старик, можешь вылезти из машины и облобызать бетон, — сказал Мамай. — Цивилизации больше не будет, мы въезжаем в рабовладельческую эпоху. В сущности, наш фиолетовый драндулет — это почти машина времени... Во всяком случае,

когда мы захотим проветриться или возникнет надобность обмыться, скажем, какое-нибудь эпохальное открытие — мы всегда сможем погрузиться в нее всей бандой и снова совершить большой скачок через двадцать три века...

— Куда это ты намерен скакать?

— Ну, в ту же Феодосию, там есть заведения. Конечно, просто выпивку можно организовать где угодно, Денисенко распорядился отпускать нам местное молодое вино по полтиннику за литр... Но я говорю, в случае, если мы раскопаем что-нибудь достойное быть отмеченным таким симпозионом в цивилизованных условиях...

— Ты раскопай сначала, — скептически сказал Игнатъев. — Между прочим, Витя, с вином нужно поосторожнее. Учти, в отряде студенты.

— Шеф, я все учел! О том, сколько это вино стоит, знаем только мы с тобой... Но какой стервец Денисенко, хоть бы ухабы велел засыпать...

Машина, скрипя еще жалобнее, медленно ковыляла по выбоинам и колеям, взбираясь на невысокое плоскогорье. В стороне, на буром склоне холма, вроссыпь паслись грязно-серые овцы; неподвижная фигура пастуха, стоящего вверху на гребне с длинной герлыгой на плече, казалась какой-то ненастоящей, поставленной здесь для колорита.

— Библейская идиллия, — улыбнулся Игнатъев. — Витя, ты читал «Иосиф и его братья»?

— Манна? Нет, не успел еще. Стоит?

— Очень стоит. Если можно, пришпорь свой «конвертибль», если ускорение не будет связано с материальным ущербом. Последние километры всегда кажутся мне самыми длинными.

— Не только вам, командор, это все говорят. Ничего, мы уже у цели...

Действительно, не прошло и десяти минут, как с широкого перевала перед ними раскрылась вдаль туманная синева залива, кучка палаток отрядного лагеря на берегу и в стороне темные прямоугольники прошлогодних раскопов.

Когда они подъехали, весь личный состав высыпал им навстречу из большой, с поднятыми боковыми полотнищами, столовой палатки — шестеро практикантов, обладателей коллективного прозвища «лошадиные силы», две практикантки, повариха и единственный, кроме Мамаея и самого Игнатъева, научный сотрудник отряда Лия Самойловна, маленькая застенчивая женщина в очках без оправы, с облупленным от загара носом.

— Ура-а-а! — нестройным хором прокричали «лошадиные силы». — Виват командору! Бхай! бхай!

— Ладно вам, черти, — сказал Игнатъев, выбираясь из машины. Он начал пожимать руки, отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. От кухоньки под навесом пахло дымом и кулешом, и он вдруг почувствовал, что голоден — голоден и счастлив, как давно уже не был там, дома, в Ленинграде...

— Нам сделаны! Прививки! От мыслей! Невеселых! — диким голосом и во все горло распевала Ника в соседней комнате, стараясь перекричать вой электрополотера. — От дурных болезней! И от бешеных! Зверей!

— Вероника! — строго окликнула Елена Львовна. — Поди сюда!

Ника, не слыша и продолжая упиваться своими вокализмами, прокричала еще громче, что теперь ей плевать на взрывы всех сверхновых — на Земле, мол, бывало веселей. Потеряв остатки терпения, Елена Львовна вскочила, распахнула дверь в комнату дочери и выдернула шнур из розетки. Полотер умолк, дочь тоже.

— От каких это «дурных болезней» тебе сделана прививка? — со зловещим спокойствием спросила Елена Львовна.

— Понимаешь, — сказала Ника, подумав, — там могут быть всякие неизвестные нам вирусы. Пит говорит, что американцев, если они вернутся благополучно, — разумеется, неизвестно еще, полетят ли они вообще, — так вот, он говорил, что их будут год держать в карантине. Чтобы не занесли какую-нибудь новую болезнь, понимаешь? Я думаю, об этих дурных болезнях в песне и говорится. Это же про космос, мама. Она так и называется — «Космические негодяи...»

— Сам он негодяй, если сочиняет подобную пошлость. Ты мне не так давно заявила: «Эти песенки — уже пройденный этап, они меня больше не интересуют!» А сама поешь черт знает что! Я сожгу все твои катушки, так и знай, Вероника, сожгу или выкину в мусоропровод, если еще раз услышу от тебя эту мерзость!

— Если посчитать, сколько раз в день ты меня ругаешь и сколько хвалишь, то можно подумать я не знаю что, — печально сказала Ника. — Что я вообще чудовище какое-то. Обло, озорно и вообще. Другие матери просто не налюбуются на своих дочек!

— Другие матери воспитывают из своих дочерей черт знает что, — непреклонно сказала Елена Львовна. — А я хочу воспитать из тебя человека — порядочного, обладающего чувством собственного достоинства, ясно представляющего себе свою жизненную цель и умеющего ее достичь... словом, настоящего советского человека. А ты даже не даешь себе труда задуматься над своим будущим, ведешь себя безобразно, во всеулышание распевашь хулиганские песни. Разве мать может смотреть на это равнодушно?

— Наверно, не может, — согласилась Ника. — Но неужели я действительно такая уж гнусная? Ведь другие этого не считают. Например, Андрей, — только я тебя очень прошу: это ужасный секрет, и ты никому, понимаешь, никому-никому не должна об этом рассказывать! — так вот, Андрей, когда я его провожала, сказал, что ему будет меня не хватать, и когда я спросила, почему это ему будет меня не хватать, что во мне такого особенного, то он сказал, что уважает меня как человека. И еще он сказал, что

такие, как я, встречаются редко. Значит, он совсем ничего во мне не понимает?

Елена Львовна долго молчала, потом спросила:

— Тебе серьезно нравится Андрей?

— Нравится, конечно, только не так, как ты думаешь, — ответила Ника. — Может быть, он нравился бы мне и в этом смысле, но только я все время чувствую, что ему это ни к чему... Ты понимаешь, вот бывают люди, которых в жизни интересует только что-то одно, да? По-моему, Андрей такой и есть. Его интересует только искусство. Наверное, он женится когда-нибудь, но все равно... для него это будет так, где-то в сторонке. Я бы не хотела быть его женой.

— Глупышка, — усмехнулась Елена Львовна и, обняв дочь за плечи, на секунду крепко прижала ее к себе. — Тебе рано об этом думать. Беги, кончай уборку, они скоро придут...

— Иду, мамуль. Послушай, если Светка станет тянуть с отъездом, ты ей особенно не потакай, хорошо? А то начнется беготня по магазинам, хождение по театрам... Нет, ну правда, мамочка, — ехать так ехать, а то ведь и лето не заметишь как пройдет!

— Не беспокойся, вряд ли они станут задерживаться, у них тоже ведь время ограничено, — сказала Елена Львовна.

Минут через сорок — Ника едва успела покончить с уборкой квартиры, принять ванну и одеться — гости наконец явились. В прихожую, пропустив перед собой Светлану, шумно ввалился отец, потом боком, пронося чемоданы, протиснулся Светланин муж, Юрка. За Юркой, нагруженный пакетами и футлярами, появился незнакомый Нике молодой мужчина в спортивной одежде, отдаленно похожий на какого-то киноактера, то ли итальянца, то ли француза.

— Ох, наконец добрались! — кричал Иван Афанасьевич, ставшая пиджак. — Два часа ехали от Домодедова, уму непостижимо! Ну и жарыща сегодня, — Ника, тащи-ка нам пива из холодильника, давай-давай, не помрем, мы народ крепкий! Ну, вы знакомьтесь, кто кого не знает...

— Так рассказывай, как ты тут живешь, — сказала Светлана, войдя к Нике в купальном халате и резиновой шапочке. — Уф, хорошо помылась...

Она опустила на тахту, усталым жестом стащила шапочку и растрепала волосы.

— Жара в Москве невыносимая, я уж отвыкла немного, у нас все-таки чуть попрохладнее... На море хочется — ты себе представить не можешь. Послушай, лягушонок, если не трудно, принеси из столовой меньший чемодан — тот, что на молнии, только не черный, а коричневый.

Ника выскочила в столовую, где мужчины сидели в креслах возле раскрытой на балкон двери, расставив пивные бутылки прямо на полу. Нагнувшись над сложенным в углу багажом



гостей, она искоса глянула на Юркиного приятеля, безуспешно пытаясь вспомнить, на кого же он все-таки похож. Тот обернулся в эту самую секунду и ласково улыбнулся ей, показывая великолепные зубы. Ника вспыхнула — еще подумает, что она подглядывает за ним! — и, выдернув из-под большого чемодана маленький, коричневый, быстро вернулась к себе в комнату.

— Спасибо, роднуля, — сказала Светлана. — Брось на кресло. Ты почему такая красная?

— Ничего подобного, просто я долго стояла вниз головой, и вообще ужасно жарко сегодня...

— Господи, лягушонок, чего это тебе вздумалось стоять вниз головой? — удивилась Светлана. — Ты занимаешься по системе йогов?

Ника отошла к открытому окну, задернула штору и, спрятавшись за нее, легла грудью на подоконник.

— Я не занимаюсь ни по какой системе йогов, — сообщила она. — Доставала твой чемодан, он оказался в самом низу. Слушай, этот... ну, Адамьян, — он на кого-то похож, правда?

— Артур? — Светлана засмеялась. — Он похож на испанца, на тореадора, у нас его называют Дон Артуро. Смотри не влюбись, институтские девчонки бегают за ним как пришитые... Впрочем, он женат. Иди сюда, помоги мне застегнуться.

Ника, помахав перед лицом растопыренными пальцами, чтобы охладить щеки, выбралась из своего укрытия.

— Интересно, чего это я стану в него влюбляться, — пробормотала она, — ты с ума сошла — говорить такие глупости...

— Это еще что за тон со старшей сестрой? — притворно строго спросила Светлана и, поймав Нику за руку, притянула к себе и шлепнула. — Смотри у меня! Застегивай молнию, только осторожно, чтобы не заело... Готово? Ну, спасибо. А ты прехорошенькая стала, лягушонок, откуда что взялось. На свидания бегаешь, признавайся? И платьице миленькое, очень. Шила или готовое?

— Готовое. Это лен с лавсаном, очень прохладное. Только немного колется, если надевать без рубашки...

— Ну, прекрасно. Идем поможем маме, а то мы никогда не сядем обедать, я проголодалась невыносимо.

— Да, сейчас иду, — рассеянно отозвалась Ника. Проводив взглядом старшую сестру, она присела на край тахты и вздохнула. Она почему-то много ждала от встречи со Светланой, а теперь ей уже казалось, что ждала напрасно. Она не знала теперь, получится ли у нее со Светланой долгожданный разговор о самом важном. Конечно, человек устал с дороги, это понятно; но все-таки, что это за манера — спросить: «Как ты поживаешь?» — и тут же перевести разговор на другое: «Ах, какое платьице миленькое. Колется? Ну, прекрасно!» Что, спрашивается, в этом прекрасного? Ника поежилась — платье действительно кололось, — потом, вздохнув еще печальнее, встала и отправилась помогать матери и сестре. Очень важно было, про-

ходя через столовую, постараться как-нибудь не взглянуть ненадолго на этого — ну, как его — Дона Артуро...

За обедом он, как назло, оказался сидящим напротив. Ника ела, не подымая глаз от тарелки, но все время слышала его голос — кажется, он говорил больше всех за столом. Юрка вообще был не из разговорчивых, Светлана казалась то ли усталой, то ли чем-то подавленной, зато Адамян был в ударе, болтал без умолку. О чем только не успел он рассказать за какой-нибудь час — и о своей туристской поездке на Байкал, и о встречах с американскими физиками в Штатах (зимой они с Кострецовым были там в командировке), и об особенностях исполнительской манеры Святослава Рихтера, и как ловят форель, и как однажды ему пришлось выступать в концерте под чужим именем, выручая запяньствовавшего приятеля-пианиста.

Собеседник он, надо сказать, был не из тех, с которыми скучно за столом; но Ника не могла подавить растущего раздражения. «Что же мне прикажете делать, — казалось, говорил Адамян всем своим видом, — если я красив и знаю об этом, потому что вижу, какими глазами смотрят на меня женщины; что же мне прикажете делать, если я талантлив и во всех отношениях незауряден, если я сумел почти одновременно окончить физмат и консерваторию, если я за роялем отдыхал от работы над диссертацией, — что же мне теперь, скромности ради изображать из себя такого серенького иван-иваныча?» Все это было так, Юрка по сравнению с Доном Артуро выглядел вахлаком, и все же этот блестящий и заслуженно упивающийся своим блеском физик-тореедор с модными бачками и обольстительной улыбкой был ей чем-то удивительно неприятен...

Это очень огорчало ее, потому что им предстояло вместе ехать на Юг, пробыть вместе почти полтора месяца. Ника до сих пор никуда не ездила без родителей и автомобильное путешествие этого года предвкушала еще и как первую свою вылазку в заманчивый мир взрослых, обладателей священных прав — ходить в кино когда угодно и вообще располагать собою по своему усмотрению. Разумеется, такую поездку желательно было бы совершить в обществе людей приятных и интересных — таких, во всяком случае, которые бы по меньшей мере не вызывали к себе чувства безотчетной неприязни...

А если говорить об Адамяне, то ее внезапно вспыхнувшая неприязнь к нему была, если разобраться, не такой уж и безотчетной. Перед обедом, когда стол был уже накрыт, а Светлана с мамой еще возились на кухне, отец и Юрка спустились вниз, чтобы взять что-то из машины; Ника, таким образом, осталась наедине с Доном Артуро, который немедленно усадил ее в кресло у балкона, сам сел напротив и принялся расспрашивать о школьных делах, — видно было, что дела эти нужны ему, как кошке гитара, а Ника всегда ужасно глупо себя чувствовала, когда ей приходилось вести с кем-нибудь из взрослых пустой разговор из вежливости.

Но совсем возмутительным оказалось то, что он смотрел на

нее при этом какими-то такими глазами — ну, в общем, так смотрел, что ей сразу стало стыдно сидеть перед ним в своем модном, слишком коротком платье, и она поняла, что он догадывается об этом и это доставляет ему удовольствие. Она не поняла даже, почему ее так смутил его взгляд, — с весны, когда она стала носить мини-юбки, многие посматривали на ее колени, и это не особенно возмущало ее, а иногда было даже приятно. Андрей, например, тот прямо говорил, что у нее красивые ноги, и, когда они накануне его отъезда ездили вдвоем купаться в Останкино, он рисовал ее в купальном костюме, на пляже, и ей тоже было приятно и ни капельки не стыдно. А сейчас, с Адамяном, ей было стыдно и нехорошо.

Вероятно, нужно было просто встать — выйти на балкон, например, или сесть за стол; но Ника знала, что Адамян тотчас же поймет, почему она встала, и получится еще хуже; кроме того, мама не раз говорила ей, что воспитанный человек должен уметь оставаться невозмутимым в самой неловкой ситуации, делая вид, будто ничего не случилось. Скажем, если кто-то в гостях опрокинул на себя тарелку, то нужно держаться так, словно для тебя человек, облитый супом, — самое обычное из зрелищ.

Поэтому Ника и продолжала сидеть с Доном Артуро, делая вид, будто не замечает или не понимает его «раздвѣвающих», как это называлось в старых романах, взглядов, пока не вернулись остальные и стали усаживаться за стол. И вот с таким-то человеком ей предстояло теперь ехать на море — наслаждаться самостоятельностью!

Почти с ненавистью уже слушала она его застольные разглагольствования, его бархатный голос, которому едва уловимый акцент придавал какую-то особенную манерность, и думала о том, как здорово было бы поехать вместе с Андреем. Просто так, совершенно по-товарищески. Она была искренна сегодня, когда сказала матери, что Андрей нравился ей только «просто так»; но, конечно, попутешествовать по Югу с ним вдвоем было бы великолепно. Ника вспомнила, каким взрослым и мужественным выглядел Андрей в форме строительного отряда, похожей на мундир кубинского милисиано, и вздохнула, представив, как на привале варила бы что-нибудь на костре и поддерживала огонь, ожидая его возвращения с охоты...

— Лягушонок, не спи за столом! — повысив голос, сказала Светлана с другого конца стола.

Ника подняла голову и посмотрела на нее долгим отсутствующим взглядом.

— Папа спрашивает, когда мы намерены выезжать.

Ника перевела глаза на отца и рассеянно пожала плечами.

— Не знаю... мне, в общем, все равно, — сказала она. — Можно хоть завтра.

— Я бы лишнего не просидел, — сказал Иван Афанасьевич. — Завидую вам, мне-то раньше осени не вырваться... А у нас еще, понимаете, в министерстве — черти бестолковые — здание заселили, а вентиляция до сих пор не работает. Жарища — сдохнуть

можно. И окна, главное, ведь не открываются! Не предусмотрено, говорят, чтобы не портили вид фасада. А какой там вид... — он не договорил и досадливо махнул рукой.

Начали обсуждать застройку проспекта Калинина, потом новую архитектуру вообще, потом Дон Артуро вспомнил своего дядюшку, архитектора, убитого под Сталинградом. Света сказала что-то о вышедших недавно воспоминаниях одного из видных наших военачальников, Иван Афанасьевич с нею не согласился, Юрка возразил и жене, и тестю. Начался довольно бестолковый спор, который Ника слушала со скукой и недовольством.

— Можно собирать тарелки? — спросила она наконец, решительно поднимаясь из-за стола.

— Собирайте, девочки, — обрадовалась Елена Львовна. — Собирайте, сейчас будем подавать сладкое...

— Лягушонок, похозяйничай сама, я что-то устала, — сказала Светлана, закуривая сигарету из Юркиной пачки. — Ты ведь давно уже бездельничаешь? Вам теперь благодать — никаких экзаменов...

— Ничего себе «бездельничаю», весь июнь перебирала картошку! И вообще, не думай, пожалуйста, у нас тоже есть свои проблемы, — загадочно добавила Ника, принимая тарелку из рук Адамяна и сдерживаясь, чтобы не посмотреть на него.

Она вынесла стопку грязных тарелок на кухню, сложила их в раковину и задумчиво уставилась на кран, из которого капало; очень скоро блеск никеля и равномерные шелчки падающих капель навели на нее какую-то сонную одурь. Подцепив пяткой, Ника выдвинула из-под стола треногий табурет и села, прижавшись считать капли.

За этим занятием и застал ее Дон Артуро, неслышно — как на мягких лапах — вошедший в кухню с новой порцией грязной посуды.

Услышав за спиной вкрадчивое «разрешите», Ника от испуга и неожиданности чуть не свалилась со своего неустойчивого сиденья.

— Как вы меня напугали! — сказала она сердито. — Давайте я поставлю...

— Вы не выдержали больше этого спора, — Адамян улыбнулся. — Понимаю вас, я тоже с трудом переносу такие дискуссии.

— Я не люблю, когда вспоминают войну, — сказала Ника. — И мама, я знаю, совершенно не переносит всяких разговоров о войне, об эвакуации... мой братик умер в эвакуации, ему не было и года. Да и к чему вообще спорить? Как будто это имеет значение теперь, через тридцать лет...

— Ну, может быть, какое-то значение это имеет, — возразил Адамян рассеянным тоном. Вскинув голову и шурясь, он разглядывал стоящую на полочке старинную кофейную мельницу с ярко начищенными медными частями, которую Елена Львовна достала где-то после того, как в моду вошло украшать кухни всякой старой утварью. — Может быть, это и важно... для историков...

но меня не интересуют проблемы такого рода... и еще меньше — споры, в которых ни одна сторона заведомо не переубедит другую. Какая отличная вещь эта мельничка... с вашего позволения?

Не дожидаясь ответа, он снял мельницу с полки и стал разглядывать..

— Прекрасная вещь, сейчас такую не достать... Правда, у меня дома есть настоящая турецкая, ручной работы прошлого века... Но и эта хороша, можно получить очень тонкий помол. Вы пьете турецкий кофе?

Ника понятия не имела о том, что такое турецкий кофе, но призналась в своем невежестве постеснялась.

— Нет, — сказала она. — Терпеть его не могу.

— Жаль, — томно сказал Адамян, глядя на нее полуприкрытыми глазами. — Я мог бы вам погадать... я это умею, у меня была няня-турчанка...

— Как погадать? — спросила Ника, против воли заинтересовавшись.

— Самым древним и самым безошибочным способом — на кофейной гуще...

Секунду-другую Ника смотрела на него большими глазами, потом прыснула от подавленного смеха, как пятиклассница. Физик, пианист, тореадор и вдобавок ко всему еще и гадалка! Она представила себе своего элегантного собеседника укутанным в черную шаль и почему-то сидящим на полу перед разложенным колдовским инвентарем и, не в силах больше сдерживаться, закинула голову и расхохоталась во все горло. Засмеялся и Адамян.

— Какая трогательная, жизнерадостная сценка, — сказала Светлана, появляясь в дверях. Руки у нее были заняты, и зажатая в углу рта дымящаяся сигарета заставляла ее говорить сквозь зубы. — Адамян, если ты вздумаешь рассказывать девочке анекдоты из своего репертуара... Возьми, лягушонок! Куда ты исчезла, мама ведь просила убрать со стола...

— Вообрази, Артур Александрович умеет гадать на кофейной гуще, — все еще со смехом сказала Ника, принимая из рук сестры посуду.

— Артур Александрович много чего умеет, — холодно отозвалась Светлана. — Где у вас чашки для компота?

— Вон там, в правом отделении!

Адамян, полуулыбаясь, перевел взгляд со старшей сестры на младшую, потом обратно.

— Светлана Иванна, разрешите вам помочь, — произнес он нараспев.

Светлана, не ответив ему, вышла из кухни с подносом.

— Она на вас сердита? — с любопытством спросила Ника.

— Не думаю. Просто плохое настроение, усталость.

— Светка очень похудела за то время, что я ее не видела. У нее опасная работа?

— Чепуха... это вы посмотрелись фильмов и начитались книг, — беззаботно ответил Адамян.

Ника помолчала.

— А как вы гадаете на кофейной гуще?

— О, нет ничего проще. Варится крепкий турецкий кофе — лучше в настоящей медной джезве, но можно и просто в кастрюльке, — немного, всего одна чашка... да, и еще чашка должна быть определенной формы... как бы вам объяснить... с внутренней поверхностью, максимально приближенной к полусферической, понимаете?

— Круглая? — Ника распахнула буфет и показала маленькую кофейную чашечку. — Вот такая?

— Да, да, приблизительно такая... лучше чуть побольше. Вы пьете кофе не торопясь, маленькими глотками и думаете о чем хотите. Естественно — о том, что вас в данный момент заботит, беспокоит или, напротив, радует... Затем вы пустую чашку быстро переворачиваете от себя — вот так, непременно левой рукой, это очень важно — и ставите вверх дном на блюдце. И все!

— Как — все? — разочарованно спросила Ника.

— В том смысле, что от вас больше ничего не требуется. Потом начинаю действовать я! Гуща, когда вы переворачиваете чашку, со дна расплескивается на стенки и образует определенный узор, истолковать который и есть дело гадалщика. В этом узоре — в этих коричневых разводах, образованных застывшей кофейной гущей, — мне видна вся ваша судьба...

Ника смотрела на него разинув рот. К сожалению, никаких оккультных тайн узнать больше не удалось, потому что в этот момент их позвали и пришлось вернуться в столовую. Там все уже было мирно, спорщики наконец уgomонились и теперь обсуждали сроки и маршрут поездки.

— У Артура тоже есть права, так что мы можем меняться за рулем, — говорил Юрка. — Я бы ехал без ночевки. Подменяя друг друга, можно запросто отмахать за сутки полторы тысячи километров. Я в прошлом году в одиночку делал девятьсот без особой усталости.

— Зачем лететь сломя голову? — возразила Елена Львовна. — Ну, приедете на море днем позже — не такая уж потеря...

— Правильно, — поддержал Иван Афанасьевич. — Доедете в первый день до Белгорода, заночуете в тамошнем кемпинге, как раз будет полпути. А утром спокойненько, не торопясь двинете дальше, и вечером вы уже в Крыму. Это же опасная штука, ребята, сколько я видел несчастий на дорогах... и сам бился, и видел, как другие бьются... Первую свою машину — отличнейшая была «Татра», восьмицилиндровая, с воздушным охлаждением, — я расшиб вдребезги, в Германии еще дело было. Не знаю, как жив остался... «Татра» эта по автобану давала полтора часа в час без всякой перегрузки — красота, идет, бывало, как зверь, только свист слышен в воздухозаборниках, будто у нее сзади турбина...

— Вы так вкусно рассказываете о скорости, — засмеялся Адамян, — и в то же время уговариваете нас ехать потихоньку...

— Э, сравнили! — Иван Афанасьевич грузно поднялся из-за стола. — Мне тогда терять нечего было: молодой, без семьи... то

есть я хочу сказать, семья была не со мной, — быстро поправился он, на мгновение смешавшись. — Да и оставалась еще этакая, знаете ли, фронтовая лихость — двум смертям не бывать, а одной не миновать, сегодня ты жив, завтра тебя нет, тут уж было не до осторожности. У вас дело другое, я вам обеих дочек своих доверяю!

Он шутливо погрозил пальцем и посмотрел на часы.

Ну, пойду вздремну, вы извините, мне вечером поработать придется. А насчет отъезда решайте уж сами, можете хоть завтра с утра ехать, если все готово...

## ГЛАВА 9

На следующий день старт не состоялся, потому что утром у Светланы начался приступ мигрени — обычно это бывало как минимум на сутки. Родители уехали на работу, Юрка возился с машиной, Светлана лежала в темной комнате с грелкой на голове, Адамян засел за рояль и негромко наигрывал что-то элегическое — возможно, Грига, Ника не была уверена. Самой ей заняться было нечем, а читать не хотелось.

Томясь бездельем, она побродила по комнатам, потом натянула старый тренировочный костюм, спустилась во двор и заползла к Юрке под машину. Здесь было прохладно.

— Тебе помочь чем-нибудь? — спросила она.

— Чем же ты мне поможешь, только измажешься... Ну, хочешь, так подавай инструменты. Не простудись смотри на асфальт — а то подстелила бы, в багажнике есть брезент.

— Ничего, асфальт не холодный...

Некоторое время работали молча. Ника послушно вкладывала в Юркину черную от масла и грязи руку то ключ на четыре-надцать, то ключ на семнадцать, то шприц, то еще что-нибудь такое же грязное и железное. Потом, набравшись храбрости, спросила небрежным тоном:

— Послушай, а тебе нравится Адамян?

Юрка ответил не сразу — ключ в его руке, которым он затягивал какую-то гайку, сорвался в этот момент, с силой ударив в днище; Нике на лицо упал кусочек сухой грязи, что-то посыпалось, едва не запорошив глаза.

— А, ч-черт, — с болезненной гримасой прошипел Юрка и подобрал звякнувший об асфальт ключ. Лишь кончив затягивать гайку и попросив у Ники плоскогубцы, он сказал: — Арт хороший экспериментатор...

Ника подождала продолжения и спросила:

— Нет, а как человек?

— В этом смысле я ведь его не очень знаю, — опять помолчал и как бы нехотя ответил Юрка. — Мы работаем в разных отделах, он в экспериментальном, я в теоретическом... Но вообще-то он парень вполне... Черт, все-таки руку я себе расшиб порядочно. Есть у вас в машине аптечка?

— А что? — испуганно спросила Ника.

Юрка показал ей кровотокающую ссадину на суставе.

— Ой, это же нужно сразу промыть и продезинфицировать — беги быстро домой, я тут все уберу!

— Погоди ты, не мельтешишь. Если есть аптечка, дай мне йод и немного ваты...

Ника торопливо выбралась из-под машины, достала аптечку. Юрка, к ее ужасу, отбер пострадавшую руку тряпкой, намоченной в бензине, потом прижжет ссадины йодом.

— О кэй,— сказал он.— Знаешь, водители-профессионалы уверяют, что бензин — отличный дезинфектант... И ведь в самом деле, никто из них не возит с собой аптечек, а руки они калечат постоянно. Бензинчиком, говорят, промоешь — и заживает как на собаке... А почему он тебя заинтересовал, Адамян?

— Ну, просто... Мы ведь едем вместе, и... просто хочется знать, кто с тобой едет!

— Это Светка решила его пригласить. Пожалуй, идея оказалась удачной, с таким попутчиком не соскучишься,— Юрка коротко улыбнулся ей и стал собирать инструменты.— Ты иди, я тут сам закончу...

— А ты что сейчас собираешься делать?

— Мыться!

— Не-е-ет, а потом?

— Потом? Поваляюсь, почитаю, может и подремлю. А что?

— Да нет, ничего,— Ника мотнула головой, отбрасывая от щеки волосы.— Просто я подумала, что, может быть, стоит организовать какое-нибудь мероприятие... Если, конечно, Светка оживет.

— Честно говоря, я не особенно рвусь,— сказал Юрка, перебирая тряпкой ключи и укладывая их в инструментальный ящик.

— Тогда ты просто байбак! — сказала Ника и показала ему язык.

Юрка сказал, что язычище у нее что надо, собрал свое хозяйство, снял комбинезон, оставшись в шортах и майке, потом хлопнул крышкой багажника и ушел в подъезд, насвистывая «летку-енку».

Нике вдруг захотелось потанцевать, а потом стало грустно. Все было как-то не так. Она забралась в беседку, где по вечерам старички-пенсионеры читали свои газеты, и сидела, раскачиваясь взад-вперед, поджав ноги под скамейку, держась за ее края и без слов мурлыкая тот же привязчивый мотивчик, что свистел Юрка. Возможно, ей стало грустно именно от этой мелодии — несмотря на легкий, беззаботный по первому впечатлению ритмический рисунок, она всегда казалась ей исполненной какой-то пронзительной тоски. Итальянский фильм, где эта безысходно-веселая «летка-енка» проходила как лейтмотив, кончался самоубийством героини, — возможно, именно поэтому праздничная мелодия звучала теперь так тоскливо.

Ника сидела пригорюнившись, перестав даже раскачиваться, и очень жалела себя. Действительно — вся компания развезлась, Андрея вообще унесло за тридевять земель, еще влюбится



в кого-нибудь там на целине. В романах на целине всегда влюбляются. И неизвестно еще, что получится из этого ее путешествия, — может вообще не получиться ровно ничего хорошего.

В нескольких шагах от беседки, за оградой из тоненьких молодых топольков, на игровой площадке возились малышата из соседнего детсада — деловито посыпали друг друга песком, что-то строили, запускали игрушечный красный вертолетик. Если не считать детей и их воспитательницы, дремлющей в сторонке на солнышке, двор — большой озелененный двор благоустроенного микрорайона — был совершенно безлюден. Пенсионеры по утрам прятались по своим квартирам, боялись ультрафиолетового излучения — солнце, говорят, в этом году опять беспокойное. Где-то включили радио, Анна Герман с милым акцентом пела о том, как страшно ходить в лес одной, потом ее сменили задорные «Филипинки», а «Филипинок» — Эдита Пьеха.

Нужно было идти мыться, переодеваться, вообще что-то делать, а вставать не хотелось, не хотелось выходить на солнце из прохладной тени беседки, не хотелось даже шевелиться. «Ленивая я стала до отвращения, — самокритично думала Ника, разглядывая руки, покрывшиеся от бензина белым, словно шелушащимся налетом. — Вот есть же на свете активные, динамичные натуры, а я живу, как австралийская коала. Нельзя так жить, конечно нельзя, я ведь это прекрасно понимаю...»

Повздыхав еще и напомнив себе, что лень — мать всех пороков, она наконец вышла из беседки и направилась к подъезду. «Огромное небо, огромное небо, — рыдающим голосом пела Пьеха, — огромное небо — одно на двоих...» Ника опять вздохнула, посмотрела на небо и тоже нашла его огромным и ярким и вообще очень хорошо приспособленным для того, чтобы стать именно небом на двоих. Вот и Анна Герман пела о том же самом: что одной быть нехорошо.

Из подъезда навстречу ей легкой походкой теннисиста вышел ослепительный Адамян в дымчатых очках.

— А я за вами! — объявил он жизнерадостно. — Поехали куда-нибудь в центр, Вербника, хочу познакомиться с Москвой. Вы сумеете показать мне самое интересное, я уверен, — и он ловким движением подхватил ее под локоток.

Ника высвободила руку, слишком изумленная, чтобы смутиться такой решительной атакой с ходу.

— Да вы что, — сказала она невежливо, — в центр в таком виде?

Она отступила на шаг и слегка расставила руки, словно приглашая разглядеть себя получше. Адамян сделал это очень обстоятельно, даже очки снял.

— Вы изумительны, — сказал он, прикрывая глаза. — Да, да, именно в таком виде! Костюмчик, правда, тесноват, но это лишь подчеркивает совершенство вашей прелестной фигурки. А впрочем, можете и переодеться — вам пойдет все... Словом, я вас жду здесь!

Ника с пылающими щеками скрылась в подъезде. Вот дура

в самом деле, нашла что надеть, он еще решит, что она сделала это нарочно! «Я вас жду здесь» — подумаешь, какая уверенность в себе. Пусть ждет хоть до завтра!

Однако пока лифт вез ее на шестой этаж, она передумала. Собственно, почему бы и не поехать? Он явно хотел ее ошеломить: ах, такой блестящий ученый, ядерщик и все такое — и вдруг милостиво удостаивает своим вниманием какую-то девчонку. Нарочно для того, чтобы она прониклась священным трепетом. А вот и фиг ему! Она примет это как должное, подумаешь, невидаль — ядерщик...

Нарочито не спеша, Ника умылась, подправила ногти, долго расчесывала волосы. Наряжаться не нужно, это ни к чему, можно надеть то же платье, что и вчера. Просто и скромно.

Одевшись, Ника заглянула в спальню родителей, к сестре. Светлана спала — мигрень, видимо, пошла на убыль. Юрка лежал на диване в гостиной с голубым томиком Сименона в руках. Когда Ника заглянула в дверь, он отложил книгу и посмотрел на нее вопросительно.

— Я только выяснить,— сказала она.— Мы сейчас пойдем немного погуляем с Артуром Александровичем, он хочет посмотреть Москву,— как ты думаешь насчет обеда?

— В смысле сроков?

— Ну да. Чтобы знать, когда быть дома.

— А вы когда хотите, тогда и возвращайтесь. Я тут пожую чего-нибудь из холодильника, если проголодаюсь. Светка вряд ли встанет до вечера.

— Ну, тогда... чао!

Юрка подмигнул ей и вернулся к своему Мегре.

Она вышла из подъезда, шурясь от солнца и раскачивая за дужку очки, стараясь казаться спокойной и немного скупающей. Адамян поспешил к ней, уже издали разводя руками в немом восхищении.

— Куда же вы намерены идти?— сказала Ника небрежно, не глядя на него.

Он сказал, что, пожалуй, отказывается от намерения знакомиться с Москвой, потому что настоящая Москва, в общем-то, ограничена бульварным кольцом, а ехать сейчас туда, в центр, в переполненном транспорте или каком-нибудь грязном такси... и вообще, все эти толпы, бодро идущие на приступ разных там ГУМов и ЦУМов... стоит ли? Ника, хотя и слегка задетая слишком уж открыто выраженным пренебрежением к московской толпе, ответила, что, пожалуй, и впрямь ехать в центр сейчас не стоит.

— Сходим на Ленинские горы,— предложила она.— Это совсем близко, а народу там сейчас, наверное, не так уж много. И оттуда хорошо все видно. Где смотровая площадка, знаете?

Адамян сказал, что не знает, но горит желанием узнать, и они медленно пошли по направлению к Университетскому проспекту.

Внешне все было пока вполне нормально — Адамян больше говорил, она больше слушала; они просто шли рядом, и он даже

не пытался снова взять ее под руку, чего она втайне боялась; и все-таки Нику не покидало странное ощущение неослабевающей тревоги — словно между ними неуклонно возрастало какое-то опасное напряжение. Она не могла даже определить сейчас, приятно ей это или неприятно, — она только чувствовала, что с ней происходит что-то никогда еще не происходившее до сих пор...

Потом это как-то прошло. Дойдя до смотровой площадки, они молча постояли у парапета, глядя на подавляющую своими необъятными просторами панораму Москвы — она начиналась у них под ногами, за излучиной реки, за спортивными сооружениями Лужников, и уходила в задымленную зноем даль своим морем крыш, куполами церквей и шпилями высотных зданий.

— Да, столица мира, — проговорил задумчиво Адамян и тронул Нику за локоток.

— Я понимаю, конечно, что это банально, но мне на этом месте всегда вспоминаются пушкинские слова про Москву, — сказала она, в молчании отшагав по аллее сотню шагов. — Все-таки лучше про нее никто не написал... Вы стихи любите?

Адамян пожал плечами.

— Я сам их пишу... когда бывает тяжело на душе.

— Как странно, — сказала Ника, помолчав. — Никогда не могла бы себе представить, что у вас может быть тяжело на душе. Вы производите впечатление такого счастливого человека...

— И счастливому может быть иной раз тяжело, — возразил Адамян, — но я вообще далеко не из счастливых, Вероника, это лишь обманчивое впечатление... Вы знаете, мне почему-то ваше имя хочется произносить с неправильным ударением: Вероника! Так оно звучит совершенно по-итальянски, словно корень этого имени — Верона. Вы ведь знаете, что такое Верона?

— Да, это... город в Италии, — не совсем уверенно сказала Ника.

— А чем он знаменит? Ну-ка?

Ника подумала и пожала плечами.

— Забыли, забыли, — укоризненно сказал Адамян. — А между тем это родина Джульетты...

— А, да, — небрежно сказала Ника, будто и в самом деле вспомнив эту подробность. Ей было неловко вдвойне — за свое невежество, во-первых, и еще потому, что в словах Адамяна ей почудился какой-то намек, нескромный или насмешливый — она не могла разобраться. Чтобы уйти от опасной темы, она спросила:

— Так какие стихи вы пишете? — И добавила, тоже стараясь быть смелой и ироничной: — О любви, надо полагать?

— Конечно, — кивнул Адамян. — О чем же еще писать стихи? Об урегулировании положения на Ближнем Востоке?

— Что ж, почитайте что-нибудь, — небрежно сказала Ника и понюхала сорванную веточку. — Нет, правда, я хочу послушать ваши стихи.

— Хорошо, — согласился Адамян. — Что же вам почитать...

А, знаю. Я вам прочту своего «Вожатого»... впрочем, тут нужно маленькое предисловие. Понимаете, была одна женщина... которая много для меня значила. Потом она внезапно... уехала. Ну, и тут я написал одну вещь... получилось неплохо, причем в очень своеобразной форме — как подражание персидской средневековой лирике. Летит обугленное сердце — за той — что в палаткине — и я кричу — и крик безумца — столп огненный — в пустыне...

Произнося стихи нараспев, Адамян прикрыл глаза, акцент в его голосе слегка усилился. Ника подождала продолжения, потом робко сказала:

— А дальше?

— Ах, стоит ли, — печально сказал Адамян. — А впрочем... Из-за нее — из-за неверной — моя пылает рана — останови своих верблюдов — вожатый каравана! На самом деле, как вы понимаете, никаких верблюдов не было, она вульгарно улетела на «ТУ»... но я вам уже сказал, это подражание староперсидскому, в духе Саади. Ужель она не слышит зова? Не скажет мне ни слова? А впрочем, если скажет слово — она обманет снова... Зачем звенят звонки измены — звонки ее обмана — останови своих верблюдов — вожатый каравана!

— Как прекрасно, — прошептала Ника, когда он умолк. — Какие прекрасные и страшные стихи...

— Великолепные, — охотно согласился Адамян. — К сожалению, не мои.

Ника глянула на него ошеломленно:

— Как — не ваши? А чьи же?

— Есть такой хороший поэт. Вы его, наверно, не знаете.

Ника ускорила шаги. Она побежала бы сейчас, убежала от Адамяна совсем, если бы не боялась показаться смешной. Она не могла простить себе чувства, которое обожгло ее минуту назад, когда она слушала эти прекрасные стихи, думая, что они действительно написаны Адамяном; это была одна лишь вспышка, один миг, но за это краткое мгновение словно ураган пронесся сквозь ее душу, какой-то стихийный, внезапный порыв — что-то сделать, чем-то помочь человеку, который *так* страдал, *так* мучился из-за любви... просто представить себе страшно, сколько нужно было ему пережить, чтобы написать эти строки! И что же — ее тут же взяли и окатили ведром холодной воды.

— Как вам не стыдно, — сказала она дрогнувшим голосом, не оглядываясь на Адамяна.

Тот догнал ее, мягким и властным движением подхватил под руку.

— Не нужно сердиться, Вероника, — проворковал он. — Это была шутка. Я думал, вы знаете эти стихи...

— Никогда их не читала, — после паузы отозвалась Ника. Сердиться, конечно, было глупо; никто не виноват, что она расчувствовалась, как дура. Если бы могла, она с удовольствием надавала бы себе пощечин. Ей вдруг захотелось домой.

— У меня, кажется, голова разболелась, — объявила она. — Сегодня очень уж жарко, лучше вернемся. Вон такси, остановите его...

В машине он сел очень близко к ней. Она отодвинулась, Адамян за нею не последовал, но зато тут же завладел ее левой рукой, повернул вверх ладонью и стал разглядывать.

— Сейчас я вам погадаю, — сказал он. — Хотите? Я ведь умею не только на кофейной гуще. Хиромантия — штука не менее точная, это совершенно доказано...

— Ах, не выдумывайте вы, — сказала Ника с досадой.

Он принял ее уверять, что не выдумывает нисколько. В линиях руки, объяснил он, с момента рождения записана вся судьба человека; ну, естественно, запись эта понятна не всем, она представляет собой, так сказать, закодированную информацию, однако, зная код... Вот, смотрите — эта линия характеризует эмоциональные наклонности человека, способность чувствовать. Вот «линия ума», вот «линия жизни», у некоторых она совсем короткая или раздваивается — это говорит о том, что ее обладателю предстоит когда-то принять очень серьезное решение, способное изменить всю его жизнь...

Он продолжал говорить, щекотно водя пальцем по ее ладошке, но Ника уже совсем перестала воспринимать всю эту хиромантическую премудрость. Адамян сидел справа от нее, и их руки были над ее коленями; он держал ее руку сначала высоко, изучая линии, но потом, словно устав держать на весу, начал опускать ниже, пока его рука не легла к ней на коленку и устроилась там, словно так и полагается. Вот это ощущение чужой руки и мешало Нике сосредоточиться. Ей было неловко и не очень-то приятно. Будь рядом с нею Андрей, подумала она вдруг, все было бы совсем иначе. Когда Андрей касался ее, она тоже испытывала неловкость, но это было совсем-совсем не так...

Однажды, на пляже в Останкине, они затеяли какую-то возню, он в конце концов повалил ее на песок, и она никак не могла высвободить руки из его ставших вдруг неожиданно сильными пальцев, — и эта возня была ей как-то необычно приятна, она пожалела даже, что все кончилось так быстро, и принялась его дразнить, утащила и спрятала за спину фломастер — в надежде, что он кинется отнимать. И была очень разочарована: сначала Андрей действительно завелся, с рычанием схватил ее за волосы, хотел опрокинуть, но вдруг оставил игру и лег ничком на песок, а через минуту вскочил и молча пошел к воде. Ника так ничего и не поняла — за что-то он на нее обиделся, очевидно, хотя потом и отрицал это...

Словом, сейчас она была очень рада, когда они подъехали к дому и гадание кончилось. Машина остановилась, Адамян приоткрыл дверцу и спросил, не трогаясь с места:

— Может быть, все же съездим в центр? Я вспомнил, мне нужно кое-что купить.

— Нет-нет, спасибо, — поспешно сказала Ника, избегая его взгляда.

— Жаль, — Адамян вышел и помог выйти ей. — Что ж, поеду один! Поблизости есть какой-нибудь приличный универмаг?

— Вон рядом «Москва», — сказала Ника, — водитель вам покажет...

У себя в комнате она заперлась на ключ. Здесь было тихо, прохладно, но смятение не проходило. Ника полежала на спине, потом одним прыжком перекинулась на живот и, сунув нос в подушку, тихонько разревелась — зная бы самой отчего.

Поплакав немного, она успокоилась, к тому же ей очень захотелось есть. Юрка в гостиной храпел, прикрыв лицо страницей «Недели», но в кухне Ника нашла сестру, которая пила молоко прямо из бутылки, заедая печеньем.

— Приветик, — сказала Ника. — Как твоя мигрень?

Светлана покивала с набитым ртом — прошла, мол.

— Ужасно ты неуютно питаешься, — сказала Ника. — Хочешь, я сварю кофе?

— А я, в сущности, уже заправилась. Люблю холодное молоко. Вы что, гуляли с Артуром?

— Да, немножко.

— А где же он?

— Отправился в «Москву», хочет купить что-то в дорогу. Между прочим, Светка, как у нас с продуктами?

— В смысле?

— Ну, чтобы готовить в пути. Говорят, есть какие-то консервы, мясные, очень удобные — разогреть, и все. Но их сейчас не достать, туристы расхватывают. Светка, а что, если просто взять с собой картошки, пшена, сала? Папка в прошлом году, когда ездили в Прибалтику, такой вкусный суп варил на костре!

— Роднуля, у тебя сдвиг. Кто это будет варить суп на костре, уж не ты ли?

— Мы с тобой могли бы варить.

— Спасибо, мне именно этого и не хватало для полного счастья. Между прочим, лягушонок...

— Послушай, я тебя миллион раз просила не называть меня лягушонком!

— Да-да, конечно, — закивала Светлана. — Я забыла, что ты уже взрослая и вполне сформировавшаяся лягушка. Царевна Лягушка, скажем так. А ну-ка, поди сюда...

Ника подошла к сестре, та взяла ее за плечи и повернула лицом к окну.

— Ты что, редела недавно?

— Вот еще, с чего бы мне реветь...

— Редела после прогулки с Артуром? Поздравляю. Я, кстати, тебя предупреждала. Уже влюбилась?

Ника задохнулась от возмущения:

— Ты уже второй раз внушаешь мне, что я должна в него влюбиться! Знаешь, это просто... гадко!

— Тише, тише, — улыбнулась Светлана. Наполнив пустую молочную бутылку водой, она поставила ее в мойку и достала из

кармана халатика пачку сигарет.— Ты слишком уж кипятишься, чтобы я могла поверить в твою искренность.

— Ну и не верь! Там в пачке еще осталось печенье?

Ника раскрыла холодильник, достала плавленый сырок и принялась сердито обдирать запотевшую станиолевую обертку. Светлана, закурив, насмешливо поглядывала на сестру.

— Лягушонок,— сказала она,— я тебе говорила: не развешивай уши с этим человеком. И вообще держись от него подальше. Если он заставил тебя реветь после первой же прогулки, то ты глупее, чем я думала. Современные девицы даже в твоём возрасте более огнеупорны.

— Я тебе уже сказала, что ни капельки не влюбилась в твоего Адамяна! И вообще я ревела не из-за него! А просто у меня было плохое настроение...

Очистив сырок, Ника отрезала ломтик, положила на печенье и принялась за еду, запивая водой из-под крана.

— В общем-то, настроение мне испортил Адамян,— призналась она вдруг.— Так что, если хочешь, это действительно из-за него.

— Бедный лягушонок. Чем же это он его испортил?

— Ничем, просто своим присутствием. Он ужасный циник, понимаешь? Когда он на тебя смотрит, чувствуешь себя голой! — возмущенно выпалила Ника.— Думаешь, это очень приятно?

— Не знаю, зависит от обстоятельств,— посмеиваясь, ответила Светлана.— Почему же тогда ты отправилась с ним гулять, скажи на милость?

— Вот потому и отправилась! Потому что идютка. И потом, что это за манера — читать чужие стихи?

— Чужие стихи? — Светлана подняла брови.— То есть? Мне кажется, все читают чужие.

— Да, но он сказал — это его!

— А, вот что. Я не поняла. И ты что же, разоблачила его?

— Нет, он потом сам сказал! Я тебе говорю, он циник.

— Ну при чем тут цинизм, не носи чепухи. Просто он над тобой подшутил, обычный розыгрыш. Почему это тебя так возмутило?

Ника промолчала. Объяснить это было и в самом деле не так просто.

— Ты все равно не поймешь,— вздохнула она.— Ты толстокожая какая-то, вот что. Некоторые вещи до тебя просто не доходят...

— Куда уж мне,— согласилась Светлана.— А вообще ты заблуждаешься насчет Дона Артуро, он не такой уж злодей... если присмотреться.

— Спасибо! — фыркнула Ника.— Очень мне нужно к нему присматриваться. Я и видеть его не хочу.

— Придется, роднуля, раз уж мы едем вместе.

— Да? А я вот насчет этого не уверена,— объявила Ника и тут же почувствовала, что ее действительно вовсе не прельщает

это путешествие в компании Адамяна. Еще секунду назад она об этом не думала, но сейчас решение вдруг пришло. Конечно!

— Как это — ты не уверена? — спросила Светлана.

— А вот так, — отрезала Ника. — Ни на какой Юг я с вами не еду. Так и знай!

— Не дури, — спокойно ответила Светлана. Она подошла к раковине, поймала окурком кашлю воды из-под крана и нажала педаль мусорного ведра. — Тебя никто не заставлял гулять с Доном Артуро, так что нечего теперь устраивать скандал всем на посмешище.

— Какие скандалы? Какое посмешище? И кого это вообще касается? Я достаточно взрослая, чтобы самой решать, в чьем обществе проводить лето!

— Разумеется. Если бы ты месяц назад, получив мое письмо, сказала матери, что не хочешь ехать на Юг в обществе этих зануд — в смысле нас, — то все было бы в порядке. Но еще сегодня утром ты была готова ехать, потом у тебя состоялся таинственный тет-а-тет с Доном Артуро, после чего все твои планы внезапно изменились...

— Что это значит — «таинственный тет-а-тет»? — тихо спросила Ника, раздувая ноздри. — Может быть, ты воздержишься от неприличных намеков?

— Ну до чего ты мне надоела! У меня от тебя снова начнется мигрень. Словом, успокойся и не валяй дурака. Тебе даже полезно побыть в обществе такого Адамяна... чтобы он тебя поучил жизни. И снял избыточную наивность. В общем-то, милая моя сестренка, в шестнадцать лет следовало бы уже иметь на плечах голову, а не украшение, которое можно с успехом выставить в витрине на Столешниковом... Кстати, давай-ка сейчас съездим в «Ванду», мне надавали кучу заказов на польскую косметику...

Сестры съездили в «Ванду» — совершенно безрезультатно, как Ника и предсказывала; еще издали увидев толпу у обоих входов в магазин, они не стали даже узнавать, из-за чего свалка, чтобы не расстраиваться понапрасну. Набегавшись по Петровке и по Кузнецкому, ничего толком не купив да еще попав на обратном пути в самый час пик, истисканные и полузадушенные в троллейбусе, они еще раз ругнулись из-за Адамяна, а дома Светлане подвернулся под горячую руку Юрка — бедняга был опять обнаружен на диване, со сборником «Зарубежный детектив», и тут-то уж схлопотал за все сразу, по совокупности: за нелюбовь к бритью, за лень, за литературные вкусы, достойные снежного человека, и вообще за то, что женился.

— За это я уж давно себя ругаю, — согласился Юрка, благодушно позевывая, чем окончательно испортил Светлане настроение.

— Предлагаю ехать завтра утром, — объявила Ника за обедом. — Иначе мы тут все перебесимся от этой жары. Светка сегодня чуть не выцарапала своему Кострецову глаза, а перед этим еще обругала в магазине продавщицу.



— Обругала,— огрызнулась Светлана.— Эту дрянь надо было убить на месте!

— Ника права, поезжайте завтра,— сказал Иван Афанасьевич.— Вы знаете, мы гостям всегда рады, но сейчас какое же гостеванье — одна нервозотрепка. А на дачу ехать — тоже нет смысла на день-другой. Мы уж с матерью после вашего отъезда переберемся.

— Ну что ж, завтра так завтра,— флегматично согласился Юрка.— Я тогда съезжу вечером на заправку. Кстати, вам воду часто приходится доливать?

— Да вроде нет. А что?

— Помпа подтекает. Боюсь, через сальник.

— Да, если через сальник, то это плохо. А с прокладкой ничего не может быть? Ты затяжку фланцевых болтов не проверял?

— Проверял.

— Самое уязвимое место этот чертов сальник... Хорошо бы купить запасную помпу, в сборе, только вряд ли ее сейчас достанешь, в разгар-то сезона. Можно, конечно, попытаться съездить завтра на Бакунинскую... но это ж пока откроется магазин! Значит, опять задержитесь на сутки, выезжать из Москвы в полдень уже бессмысленно. Слушайте, ребята, а что вам эта течь? Это зимой плохо, если в системе антифриз, а летом — ну, будете подливать водички при каждой заправке...

— Можно,— Юрка пожал плечами.— Хотя, вообще, это риск.

— Брось ты заниматься перестраховкой,— вмешалась Светлана.— Всякая поездка — это риск! Вот Игин со своей секретаршей отправился в прошлом году за грибами — десяти километров не проехали, как грохнулись. Ему потом одни кузовные работы обошлись в четыреста рэ.

— Вообще, поездки с секретаршами порой обходятся значительно дороже предварительной сметы,— заметил, улыбаясь, Адамян и ласково посмотрел на Нику.

— Вам это, несомненно, известно лучше, чем кому-либо,— отозвалась она ледяным тоном.



Мамай нашел потерпевших бедствие у того самого придорожного холмика, где ему нужно было сворачивать на проселок. Затормози они немного дальше, и он повернул бы к лагерю, не обратив внимания на стоящую впереди серую «Волгу». Но она не доехала до поворота и теперь стояла здесь на обочине, извергая из-под капота клубы пара; удивило Мамайа то, что все пассажиры, включая водителя, преспокойно оставались на месте, словно им и дела никакого не было до того, что происходило с машиной.

Витенька свернул на лагерный проселок и, выскочив из «конвертибля», направился к «Волге» неторопливой ковбойской походочкой, вразвалку и держа руки в карманах джинсов — большими пальцами наружу.

С водительского места навстречу ему вылез небритый молодой мужчина в расстегнутой гавайке.

— Привет москвичам! — прокричал Мамай, бросив взгляд на номер «Волги». — Это что же у вас, испытательный пробег? Экспериментальная модель с двигателем системы Ползунова, понимаю. Не слишком ли долго приходится разводить пары?

— Вам смешно, — сказал небритый безнадежным тоном. — А мы с этой стервой намучились уже вот так...

— У меня есть канистра воды, — предложил Мамай.

— Теперь это ей уже как мертвому припарка.

— А что случилось?

— Помпа полетела. Размолото подшипники, ну и сальник, естественно, заклинился. Хлещет прямо струей...

Они подошли, открыли капот. Витенька, отворачивая лицо от пара, взялся за лопасть вентилятора, пошатал взад-вперед и присвистнул.

— Да-а-а, — сказал он уважительно, — это надо уметь...

Из машины тем временем появились еще двое пассажиров — женщина лет тридцати, коротко стриженная, с худощавым нервным лицом, и элегантный брюнет в огромных солнцезащитных очках, похожий на киношника. Четвертая пассажирка осталась

в машине, лица ее Витенька разглядеть не мог — она сидела сзади, безучастно глядя в окно.

— Что ж это вы, друзья-однополчане? — сказал он. — Изредка ведь не мешает вспомнить и о том, что существуют на свете смазочные материалы, а? Сразу видно людей, далеких от техники. Что, небось гуманитарии?

— Анти,— томно произнес брюнет. — Скорее, антигуманитарии.

— Кончай выпендриваться, — раздраженно сказала женщина и обратилась к Мамаю: — Спасибо, что вы ради нас остановились, но тут, пожалуй, ничем не поможешь. Мы подождем встречной машины и попросим взять нас на буксир обратно до Феодосии...

Витенька поскреб в бороде, иронически прищурясь.

— Странное у вас представление о Феодосии, — сказал он. — Вы что же думаете, запчасти там продают на базаре, рядом с солеными бычками? Или вручают бесплатно при въезде в город, как памятки ГАИ на Чонгарском мосту?

Москвичи удрученно молчали. Распахнулась задняя дверца, и на шоссе вышла четвертая пассажирка «Волги» — очень юная, в шортах и мужской рубашке с подвернутыми до локтя рукавами, с длинными черными волосами, свободно рассыпанными по плечам и подрезанными на лбу прямой челкой, как на некоторых древнеегипетских портретах. Небрежным кивком ответив издали на Витенькино приветствие, она отошла в сторону и, сорвав веточку полыни, стала растирать в ладонях.

— Нет, ну есть же там таксисты, — сказал небритый с надеждой. — Обычно у них можно достать что угодно...

— У здешних таксистов? Ха-ха, — сказал Мамай. — Вы никогда не интересовались историей Феодосии, хотя бы в объеме первой главы туристского путеводителя? Так вот запомните: когда-то это был ионийский торговый эмпорий. В Афинах еще не слышали о Перикле, а феодоситы уже умели драться с ближнего себя шкур... причем весьма успешно, если судить по тому, что уже очень скоро заштатная колония сделалась самостоятельным полисом с правом чеканить монету. Страбон, во всяком случае, утверждает, что по грузообороту порт Феодосии не уступал Пантикапею. Эти имена говорят что-нибудь вашим антигуманитарным умам? — Он строго оглядел слушателей и добавил: — Так или иначе, я не советовал бы вам вступать в торговые — и тем более незаконные — отношения с потомками этих античных бизнесменов. Гены, знаете ли, штука устойчивая...

— Спасибо за лекцию, но я не понимаю одного, — сказала женщина и, запустив руку в карман к небритому, достала смятую пачку сигарет. — Я не понимаю, где мы теперь достанем эту проклятую помпу, если ехать за ней в Феодосию нет смысла?

— В Феодосию нет смысла ехать без надежного провожатого, — пояснил Мамай. — Ибо это как раз то место, куда, как говорят испанцы, можно пойти за шерстью и вернуться остриженным.

Поэтому сейчас я отбуксирую вас в лагерь, а в город мы поедem вместе, завтра утром. Мне все равно нужно в банк. И там я сведу вас с человеком, который может достать не только помпу, но и комплект новой ярославской резины.

— Это идея, — сказал небритый, протягивая стриженной зажималку. — А в какой лагерь вы нас потащите? Вы что, дикари?

— От дикаря слышу, — ответил Витенька. — Я имею в виду лагерь Феодосийского отряда Восточно-Крымской экспедиции Института археологии Академии наук СССР. Ленинградского отделения, если уж быть точным до конца. Между прочим, наш институт был головным, пока Москва не узурпировала даже этого...

Черненькая тем временем подошла поближе и посматривала на Мамаю, явно очарованная его бородой.

— И вы тоже археолог? — спросила она его негромко, с выражением застенчивого любопытства.

— Я был им, — сказал Витенька. — Пока меня не растоптала жизнь. Сейчас я уже не археолог, а арап чистой воды, как все завхозы, начснабы и прочие приматы. Плюс ко всему я еще и шофер. Трос хоть с собой возите? Давайте разматывать...

Он пошел к своей машине, запустил мотор и с ревом, в облаках пыли, лихо вылетел на шоссе задним ходом.

— За руль сядете вы? — спросил он небритого, проверив зацепление буксирного троса. — Значит, так: ехать будем медленно, дорога плохая, поэтому следите за камнями и старайтесь не попасть в колею, иначе пробьете картер. Все ясно?

Небритый сказал, что все ясно. Витенька обошел «Волгу» сзади и покачал вверх-вниз, взявшись за бампер.

— Рессоры перегружены, — объявил он строго. — Чтобы вам не пришлось в придачу к помпе покупать еще и коренной лист, советую одному пересесть ко мне. Еще лучше было бы двоим, но у меня, к сожалению, сняты задние сиденья — возил вчера картошку для кухни.

— Можете забирать мою сестрицу, — сказала женщина и обернулась к черненькой: — Лягушонок, ступай-ка в ту машину, ты всю дорогу ныла, что тебе душно. Иди, иди, нечего!

Черненькая пожала плечами и направилась к фиолетовому «конвертиблю» с видом независимым и немного отрешенным. Витенька галантно помог ей забраться на высокое сиденье, прихлопнул дверцу, сел и, тронувшись, стал потихоньку выбирать слабинку троса. Осторожно, избегая рывка, он сдвинул «Волгу» с места, благополучно вывел на проселок, прибавил газу и, переключив скорость, откинулся на спинку сиденья, закуривая.

— Как там ваши, волокутся? — спросил он у спутницы.

Та оглянулась, придерживая у щеки развеваемые ветром волосы. Теперь Мамай видел, что они не совсем черные, а просто очень-очень темные.

— Едут,— ответила она.— Только ужасно переваливаются с боку на бок.

— Такая дорога. Вас бы, Лягушонок, укачало в закрытой машине в два счета...

Скосив глаза, он увидел, что девушка покраснела до ушей.

— Меня зовут не Лягушонок,— сказала она сдержанно после некоторой паузы.— Если вы услышали, как называет меня сестра, это еще не дает вам права...

— А, ну извините,— сказал Витенька.— Я не знал, сейчас ведь бывают самые странные имена. У меня знакомые называли дочку Радяной. Представляете? По мне, так уж лучше Лягушонок...

— Мое имя — Ника.

— А, это хорошо,— одобрил Мамай.— Ника Самофракийская! «Как звук трубы перед боем, клекот орлов над бездной, шум крыльев летящей Ники...» Чьи стихи?

— Если вы скажете, что ваши, я выброшусь из машины,— ответила она, снова покраснев, на этот раз совершенно необъяснимо.

— Да какие же они мои! — воскликнул изумленный Мамай.— Это из «Александрийских песен» Кузмина... был в древности такой поэт, современник Блока. Между прочим, меня зовут Виктор, а по фамилии я — Мамай. Звучит? Кстати, тот самый.

— Какой «тот самый»? — спросила Ника, оборачиваясь к нему.

— Ну, который бежал с Куликова поля. Мой прямой предок. Совершенно точно установлено. И знаете, где похоронен? В Старом Крыму. Вы ехали побережьем или через Белогорск?

— Не знаю, как мы ехали, но Старый Крым мы проезжали, и меня даже не отпустили посмотреть могилу Грина,— сердито сказала Ника.— Я не знала, что там похоронен ваш родственник, но про Грина-то я знаю! А они не пустили, эти психи...

— Кто они, кстати? Эта дама — ваша сестра, я усек. А те двое?

— Высокий, что с вами говорил, Светкин муж. Такой Юрка Кострецов. А другой с ними работает, в одном институте.

— Эмэнэсы, что ли?

— Светка — да, а Юрка уже доктор. И тот, другой, тоже,— добавила Ника с неудовольствием.

— А-а,— уважительно сказал Мамай.— Вы в таком случае, надо полагать, членкор? Или уже действительный?

— Да нет, они правда доктора, честное слово! Юрка защитил докторскую два года назад, что-то связанное с теорией плазмы...

— Ядерщик? Мать честная,— он глянул на нее с ошалелым видом.— Командор повесит меня на воротах лагеря, когда узнает, кого я привез!

— Послушайте,— обеспокоенно сказала Ника,— Виктор... как ваше отчество?

— Николаевич... Да что мне теперь отчество, — он покосился на нее унылым глазом. — Я теперь человек конченный.

— Нет, серьезно, Виктор Николаевич, может быть, это не совсем удобно — ехать в лагерь? Может быть, это не полагается? Этот ваш... командор — он кто? Начальник экспедиции?

— Так в том-то и дело, — похоронным тоном сказал Мамай. — А вы знаете, что такое начальник по экспедиционным законам? Это, как говорили в английском парусном флоте про капитана, «первый после бога». Ясно? Прикажет повесить — и повесят. Совершенно запросто, без разговоров. Что вы хотите, у нас с начала полевого сезона повесили уже двоих. А ведь работать-то еще все лето!

— Ужас какой, — улыбнулась Ника. — За что же их?

— А, так. Один дежурил и опоздал прозвонить побудку, а другая... практиканток, надо сказать, вешают даже чаще, чем практикантов... командор наш, между нами говоря, из закоренелых мизогингов.

— А что это — мизогин?

— То же, что мизантроп, только в отношении женщин.

— Женоненавистник?

— Не совсем. Скорее — презирающий женщин. Так вот, студенточку эту он велел повесить из-за сущего пустяка. Раскапываем, понимаете ли, погребение... обычное такое, стандартное греческое погребение, костяк ориентирован на северо-восток, все как полагается. Ничего интересного, мы таких видели десятки... Это я к тому, что, будь еще что-нибудь уникальное, можно было бы понять. А так — кости как кости. И что же вы думаете, девчонка эта решила поднять череп, не обработав предварительно фиксативом, а он возьми и рассыпся. На глазах у командора.

— Кошмар, — сказала Ника. — И что?

— Что-что... Вздернули тут же, на краю раскопа. Коллектив хотел взять на поруки, так куда там! Повешу, говорит, и местком в полном составе. Я ж говорю — зверь, а не человек. Взгляните, будьте добры, как там ваши ядерщики...

Ника опять оглянулась и, привстав, помахала рукой.

— Еще живы, кажется. Только, знаете, они ведь глотают всю пыль...

— Пусть глотают, — злорадно сказал Мамай. — Это все-таки не тот стронций, который они заставляют глотать всех нас. Вы не врете, они действительно ядерщики?

— Правда, не вру.

— Из Дубны, что ли?

— Нет, они из Новосибирска, там есть такой ИЯФ. А я с родителями живу в Москве, просто они взяли папину машину. Виктор Николаевич, а что вы здесь раскапываете? Что-нибудь интересное?

— По-своему оно все интересное. — Мамай пожал плечами. — Маленькое городище... возможно, поселение, которое входило в хору Феодосии, или один из пограничных городков Боспорского

царства. Вот это мы и пытаемся выяснить. Конечно, ничего сногшибательного вы тут не увидите, это вам не Херсонес. Вы на раскопках Херсонеса были?

— Нигде мы не были,— печально сказала Ника, придерживая рвущиеся волосы.— Мы вчера утром выехали из Москвы и сегодня по плану должны были ночевать под Новороссийском... у них же все расписано по минутам! Я очень рада, что там что-то поломалось.

— Может, это вы совершили диверсию?

— К сожалению, не умею портить машины, иначе давно бы уже испортила! Какие были красивые места на пути, так нет — все скорее, скорее, просто ненормальные какие-то...

— Ну ничего, у нас вы немного отдохнете. Если, конечно, командор будет в хорошем настроении.

— А вообще он может прогнать? — робко спросила Ника.

— Хорошо еще, если просто прогонит...

— Нет, серьезно!

— Не стремитесь заглянуть в будущее,— сказал Мамай зловеще,— оно может оказаться ужасным. Древние говорили, что человек счастлив своим неведением...

Они приехали в лагерь, когда только что кончился рабочий день. Мамай представил гостей Лии Самойловне, которая шла купаться вместе со старшей лаборанткой, и вся компания отправилась к берегу, где уже фыркали и гоготали «лошадиные силы».

— Командор там? — спросил Мамай им вслед.

— Нет, у себя! — крикнула лаборантка.— Из колхоза привезли почту, он разбирает!

Мамай задумчиво поскреб в бороде и пошел к палатке, которую занимал вместе с Игнатьевым. Тот сидел за складным дачным столиком, читая какое-то длинное письмо. Когда тень подошедшего ко входу Мамаева легла на разбросанные по столу газеты, он рассеянно поднял голову.

— А, Витя,— сказал он.— Послушай, ты Лапшина знаешь, того, что работает с Бирман?

— Отдаленно,— сказал Мамай, закуривая.— По-моему, дурак чистой воды.

— Ты думаешь? Но дело не в этом! Лапшин теперь съест меня заживо, прямо хоть в Питер не возвращаясь...

— А что такое?

— Он меня весной спрашивал, ехать ли ему с Криничниковым на Украину копать курганы. Ну, я отсоветовал. А Криничников вместе с киевлянами взял да и откопал совершенно фантастический клад...

— Ну уж и фантастический,— заметил Мамай с сомнением.

— Не знаю, так он пишет... Говорит, со времен Солохи и Куль-Оба не находили ничего подобного: уже извлечено более двухсот предметов из золота и серебра, и еще продолжают

находить. Несомненно, царское погребение... Курган называется,— Игнатъев заглянул в письмо,— «Гайманова могила», где-то под Запорожьем...

— Интересно,— сказал Мамай.— Он что же, был не разграблен?

— Судя по всему, нет. Представляешь? Бедняга Лапшин.

— Ну, что делать. Не всем же быть Картерами! Ты лучше послушай, какая новость у меня. Отложи письмо, ну.

— Да-да, я слушаю,— сказал Игнатъев.

— У нас в лагере гости.

— Гости? — удивился Игнатъев.— Из Керченского отряда?

— Гораздо хуже. Меа кульпа, как говорится, но я привез троих ядерщиков.

— То есть как это — ядерщиков?

— А вот так.

— Где ты их откопал?

— Командор, вы меня, боюсь, не так поняли,— виноватым тоном сказал Мамай. Это *живые* ядерщики, в полном расцвете сил. Супружеская пара примерно наших лет, еще один такого же возраста красавчик доктор и, наконец, совсем юная девица, которую ее старшая сестра-ядерщица почему-то зовет Лягушонком. И я должен вам сказать, командор, это еще тот Лягушонок.

— В каком смысле? — спросил Игнатъев, подумав.

— Во всех,— неопределенно ответил Мамай.

Игнатъев подумал еще.

— Собственно, зачем они к нам пожаловали?

— Необдуманная вспышка человеколюбия с моей стороны. У них сломалась машина, и я предложил им переночевать в лагере, а завтра свезти в Феодосию за запчастью.

— Ну, так, надеюсь, они тут не задержатся...

— Командор,— сказал Мамай, понижая голос, и посмотрел на него многозначительно,— а ведь они могут задержаться здесь очень надолго...

— Не понимаю.

— Поясню! Ты говорил как-то, что физиков надо убивать. Помнишь?

— Ах, вот ты о чем,— покивал Игнатъев.— Верно, но, понимаешь ли, законы гостеприимства...

— Не валяй дурака и подумай об ответственности перед человечеством! Как я уже сказал, все трое молоды, полны сил и — самое ужасное — творческих замыслов. А ты мне толкуешь о законах гостеприимства! Старик, никто не видел, как я брал их на буксир,— зароем тут же в раскопе, все будет шито-крыто. А машину — у них отличная «Волга» — сбавим налево и обеспечим себя деньгами на четыре полевых сезона...

— Да, это мысль,— одобрил Игнатъев.— Но что делать с девушкой?

— Это с Лягушонком-то? А что с ней делать,— пренебрежительно сказал Мамай.— То же, что всегда делали с пленницами.



Можешь взять себе, ссориться из-за нее мы не станем, она все-таки не тянет на Брисенду...

— А ты тянешь на Агамемнона?

— Куда мне! — скромно сказал Мамай. — Агамемнон у нас ты. Водитель народов Атрид! Я вполне удовольствуюсь ролью Ахиллеса, Пелеева сына.

— Этого я представляю себе бритым, — задумчиво сказал Игнатъев, разглядывая своего помощника.

— Чепуха, греки были бородаты, как нынешние модники. Наденьте на меня шлем с гривой — вылитый Ахилл! Только вот нос, черт, не совсем того профиля...

— Да, нос у тебя скорее рязанский, — безжалостно согласился Игнатъев. — Ну что, пойти познакомиться с гостями?

— Не спеши, они пошли купаться вместе с остальными. Воображаю, как там «лошадиные силы» взыграли!

— Из-за ядерщицы?

— Нет, из-за ее сестрички... Ники Самофракийской.

— Только что, если не ошибаюсь, ты назвал ее Лягушонком?

— Да, но Ника — это ее имя.

Игнатъев задумчиво поскреб подбородок.

— М-да... компания, видно, не из приятных. Однако гости есть гости... придется потерпеть.

— Убивать, значит, не будем? — разочарованно спросил Мамай. — Жаль, я уже предвкушал этукую небольшую хорошо организованную резню!

— Да черт с ними, пусть живут. Их, Витя, все равно всех не перебьешь — столько развелось. Вот разве что дуст какой-нибудь придумать, избирательного действия — чтобы только физиков... Ну, хорошо, пойдем посмотрим сегодняшний раскоп, там уже пошел четвертый слой. Я, честно говоря, не предполагал, что здесь будет такая сложная стратиграфия.

— Сложная? В Фанагории этих слоев было четырнадцать!

— При чем тут Фанагория, — возразил Игнатъев, выбираясь из-за столика. — В Пантикапее найдено девятнадцать культурных слоев, но ведь нелепо же сравнивать...

— С чем? Откуда ты знаешь, что лежит у нас под ногами? А если мы раскапываем город, который был больше Пантикапея?

— И о котором не знал Страбон? Тебе бы, Витя, фантастические романы сочинять...

Неожиданный приезд гостей всколыхнул однообразную и не богатую событиями жизнь лагеря. Приезжие, в общем, произвели на весь отряд хорошее впечатление, им даже простили неприличную профессию. Когда за ужином Мамай начал прохаживаться насчет ответственности ученых за нависшую над человечеством ядерную угрозу, Кострецов лаконично заметил, что если бы не эта самая угроза, то от всех нас давно бы уже ничего не осталось. Возразить на это никто не мог.

Утром Кострецов и Адамян, вместе с присоединившейся к ним в последний момент Светланой, уехали искать новую помпу. Ника ехать отказалась, сказав, что Феодосия город скучный, что Айвазовского она не любит и лучше проведет день в лагере и посмотрит, как будут раскапывать четвертый культурный слой городища. Это она сказала сестре; но, оставшись одна, подойти к работающим в раскопе не посмела и до обеда бродила как неприкаянная — купалась в море, потом погуляла немного по степи, даже в сандалиях исколов себе ноги, потом помогала поварихе чистить овощи. Скучно ей не было.

Ей здесь нравилось все — тишина, пустынное море с плохим каменистым пляжем, скудная степная растительность, ветер, пахнувший пылью и гниющими водорослями. И люди были славные, и работа у них такая интересная... Ника издали посматривала на кучи земли у раскопов, одни свежие, другие уже поросшие прошлогодним бурьяном, видела, как неторопливо и ритмично взблескивает на солнце чья-то лопата — самого работающего не было видно за отвалом, — и снова думала о том, как здесь все замечательно и какая это, оказывается, великолепная профессия — археология...

Перед обедом она пошла к машине, чтобы взять из чемодана свежее полотенце; покрытая пылью тысячекилометрового пробега, утратившая столичную элегантность «Волга» заброшенно стояла в стороне от палаток, лобовое стекло ее — кроме двух протертых стеклоочистителями полукружий — было мутным от засохшей грязи, останки множества насекомых неопратно облепили передний скос капота, фары, хромированную решетку радиатора. Когда Ника распахнула дверцу, изнутри пахнуло душным жаром; она подумала, что завтра уже не будет ни этого лагеря, ни этой тишины, а начнется опять то же самое, что было до вчерашнего дня: пролетающие мимо незнакомые места, которые не успеваешь даже разглядеть, гул и рев встречных машин, жара и одуряющая качка рессор, очереди в придорожных закусокных, невкусная еда, грязные столики с размазанными по голубому пластику остатками гречневой каши и липкими кольцами, оставленными донышками пивных бутылок, — словом, опять будет «автотуризм — лучший вид отдыха». Представив себе все это, Ника так расстроилась, что даже забыла, зачем пришла к машине. Так и не вспомнив, она с сердцем захлопнула дверцу и побрела обратно к палаткам, мечтая о том, чтобы во всей Феодосии не нашлось ни одной исправной помпы...

За обедом все были очень очень оживлены и говорили о том, что наконец-то «пошел материал». Ника слушала с завистью, чувствуя себя чужой и никому не нужной; когда кто-то из студентов спросил у нее, не хочется ли ей помочь им немного, она так обрадовалась, что даже покраснела и не нашлась что ответить.

— Дмитрий Палыч, — сказал студент, обращаясь к сидящему во главе стола командору. — Я вот уговариваю девушку поработать с нами. Дадим ей заступ?

Игнатьев посмотрел на Нику, которая смутилась еще больше.

— Зачем же заступ, — сказал он, — в отряде хватает мужских рук. И потом для этого нужно согласие самой девушки... у которой, кстати, есть имя. Как, Вероника? Удалось ему вас уговорить?

— Конечно, я... была бы рада вам помочь, — прошептала Ника.

— Тогда поработайте на разборке вместе с Лией Самойловой. Это не очень утомительно, и заодно увидите, с чем нам тут приходится иметь дело...

Сам раскоп, когда Ника туда спустилась, несколько разочаровал ее: она ожидала увидеть нечто подобное помпейской улице, открытку с видом которой прислал ей однажды отец из Италии, а здесь был просто прямоугольный котлован глубиной метра в полтора, с остатками грубой каменной кладки вдоль одной из длинных сторон. Обе студентки, вместе с командором и высоким студентом-армянином в массивных роговых очках, сидели на корточках в углу раскопа, осторожно ковыряя землю обыкновенными столовыми ножами. Трое других практикантов, в том числе и пригласивший Нику работать, лопатами углубляли котлован с другого конца. Словом, все было очень прозаично.

И уж совсем удивил и разочаровал Нику «материал», кучки которого лежали на чисто размеченной площадке рядом с раскопом. Это оказались самые обыкновенные глиняные черепки, грязные и облепленные землей. Впрочем, такой уж неожиданностью они не были: Ника прочитала в свое время несколько популярных книг по археологии и знала, что черепки — это очень важно; просто она представляла их себе как-то иначе. В ее представлении они были гораздо красивее — покрытые черной или красной глазурью, с фрагментами изображений и орнамента, которые нужно было складывать, как головоломку. Она видела склеенные из таких кусочков вазы и амфоры в музее на Волхонке. Здесь же оказались просто обломки обыкновенных глиняных горшков — ни за что нельзя было сказать, что у них такой почтенный возраст.

— Вот этим мы и займемся, — сказала Лия Самойлова, вручая Нике обыкновенную малярную кисть. — Принесите ведро воды и мойте их хорошенько. Смотрите, некоторые различаются по цвету, иногда по фактуре, старайтесь заодно сортировать их по этим признакам. Если вам встретится черепок с выдавленным узором или частью надписи — ну, вот здесь, посмотрите, ясно видна «сигма», — такие вы передавайте мне, мы их складываем отдельно... Между прочим, вы бы надели юбку, со здешним солнцем лучше не шутить.

— Вы думаете? — неуверенно спросила Ника. Все работающие в раскопе, кроме самой Лии Самойловой, тоже были в шортах; к тому же ей не хотелось сейчас идти к машине, доставать вещи, переодеваться. — А, ничего, я ведь уже тоже немного загорела, еще в Москве...

Сидя на корточках, она погрузила черепок в ведро и благоговейно, осторожными движениями принялась обмывать кистью со всех сторон — выпуклую поверхность, вогнутую поверхность, неровные изломы краев.

— На этом ничего нет, — сказала она разочарованно и, положив вымытый черепок на землю, взяла из кучи следующий.

В два часа приехал Мамай один, без спутников. Оказалось, что помпа будет только завтра, а Кострецовы встретили на базаре отдыхающих в Феодосии знакомых и решили пока в лагерь не возвращаться, чтобы не гонять лишний раз машину туда-сюда.

— Завтра они, как только получают помпу, приедут сюда на такси, — объяснил Мамай Нике. — И этот фазан тоже остался в городе — он, мне кажется, уже подклеился там к одной дамочке. А это вам, Лягушонок!

Он достал с заднего сиденья целую стопку сложенных вместе соломенных сомбреро и бесцеремонно нахлобучил одно ей на голову.

— Эй, «лошадиные силы»!! — заорал он, обернувшись в сторону раскопа. — Дамы и господа! Посмотрите-ка, что я вам привез!

Через минуту отряд стал похож на шайку мексиканских бандитов. Мамай, надев набекрень свое сомбреро, подбоченился и выставил бороду торчком.

— Карамба и кукарача, сеньоры! — крикнул он. — Перед вами блистательный дон Фернандо Родриго де Клопоморро — гроза сильных и защита слабых! За мной, мизерабли!!

Узнав, что Светка с «мальчиками» осталась в городе и что с ремонтом задержка, Ника так обрадовалась, что ей даже стало неловко. «Это из-за Адамяна, — утешила она себя. — Вот уж действительно фазан...»

Кончился рабочий день. Все, как и вчера, пошли купаться, потом отдыхали, ужинали. Быстро, по-южному, стемнело. «Лошадиные силы» затеяли петь под гитару туристские песни, командор писал что-то в своей палатке при свете аккумуляторной лампочки, Лия Самойловна с Никой и практикантками помогли поварихе мыть посуду. Ника едва держалась на ногах от усталости, но была счастлива: хоть на сутки она стала участницей археологической экспедиции!

Плохо было одно — как ей и предсказывали, она действительно сожгла себе ноги выше колен. Кожа, несмотря на обманчивый московский загар, покраснела и воспалилась так, что нельзя было прикоснуться; Ника с ужасом подумала о завтрашнем солнце и о том, что уже теперь-то надеть юбку она просто не сможет и ей, по всей вероятности, придется весь день просидеть в палатке. Когда уже ложились спать, она не выдержала и созналась в своей беде Лии Самойловне. Та, осветив ее ноги фонариком, заохала и засуетилась, принесла одеколон, послала одну из студенток за мазью от ожогов. В ее хлопотах было что-то ма-

теринское: Ника внезапно почувствовала к ней большое доверие.

— Лия Самойловна, я хотела попросить,— сказала она с замирающим сердцем.— Вы не могли бы поговорить с Дмитрием Павловичем... может быть, он разрешит... мне так хотелось бы остаться поработать здесь этот месяц, пока мои не вернутся с Кавказа... Он позволит, как вы думаете? Мне все равно, что делать, хоть на кухне, правда, мне совершенно все равно — ужасно не хочется отсюда уезжать...

## ГЛАВА 2

На другой день, перед обеденным перерывом, Игнатъев пришел на разборочную площадку. Лии Самойловны не было, она понесла фотографировать заинтересовавшее ее горлышко амфоры с хорошо сохранившимся гончарным клеймом, и Ника трудилась в одиночестве.

— Ну, как работается? — спросил он, постояв рядом.

— Спасибо, очень интересно,— ответила Ника из-под своего смбрера, но выглянуть не отважилась.

— Я слышал, вы вчера обгорели?

— О, это ничего, сегодня уже совсем не болит, мне дали мазь...

— Со здешним солнцем нужно быть осторожным, у нас первое время многие ходят в волдырях.

— Да, Лия Самойловна меня предупреждала,— с рассказом в голосе сказала Ника.— Сегодня вот я уже решила надеть платье...

— Правильно,— сказал Игнатъев, подумав, что это так называемое «платье» ненамного длиннее шорт, в которых юная модница щеголяла вчера.— Этот черепок отложите в сторону, он орнаментирован. Мне сказали, что вы хотите поработать в отряде?

У Ники, хотя она и ждала этого вопроса, отчаянно заколотилось сердце.

— Я очень-очень хотела бы,— сказала она едва слышно.

Игнатъев помолчал, разминая в пальцах папиросу.

— Как относится к этому ваша сестра?

— Я ей еще не говорила...

— Она ведь может и не разрешить вам остаться.

— Пусть попробует! — вспыхнула Ника.— Как это она может не разрешить, у меня есть паспорт!

— Дело не в паспорте. Хорошо,— он взглянул на часы,— сейчас будет обед, потом зайдете ко мне в палатку, там и поговорим. Вам, вероятно, хотелось бы решить в принципе этот вопрос до возвращения Светланы Ивановны?

— Ну, конечно, было бы лучше... если бы я уже знала!

— Хорошо. Так я вас жду у себя.

Он ушел, а через минуту от лагеря донесся звон рельса,

которым повариха звала на обед. Из раскопа бодро полезли «лошадиные силы», показалась бандитская борода Витеньки Мамаю — голого по пояс, в джинсах с клеймом на задку и в сомbrero набекрень.

— Пошли рубать, Лягушонок! — заорал он, обернувшись к разборочной площадке. — А то не останется!

«Рубать» Нике вдруг совершенно расхотелось — аппетит пропал от волнения при мысли о предстоящем разговоре с командором. Командор сам по себе был не так уж страшен, разве только немного суховат, — впрочем, может быть, это только так казалось по контрасту с неумным гаерством Мамаю, — но от этого разговора так много зависело, что она сидела за столом сама не своя.

— Что у вас за вид такой, — обеспокоенно спросила Лия Самойловна, — может, вам вообще нельзя быть на солнце?

И еще Ника очень боялась внезапного приезда сестры. Тогда ей пришлось бы уговаривать сразу двоих, а на это может не хватить ни настойчивости, ни аргументов. Вот если бы к моменту возвращения Светки у нее было бы уже принципиальное согласие командора... Она украдкой посмотрела на него, сидящего на другом конце стола, и вдруг прямо столкнулась с его взглядом — внимательным, словно изучающим. Ей панически захотелось провалиться, исчезнуть, вообще перестать быть. «Как я пойду к нему?» — подумала она с отчаянием.

Но идти все равно пришлось. Настал момент, когда оттягивать визит стало уже нельзя, и Ника поплелась к командорской палатке, совершенно не представляя себе, что будет говорить и какими доводами подкрепит свою просьбу, чтобы она не показалась бессмысленной и несерьезной.

Игнатьев сидел за своим дачным столиком, осторожно раскладывая на листе бумаги какие-то бесформенные плоские комки, коряво обросшие ржавчиной. Палатку, одно полотнище которой было поднято с северной стороны, приятно продувало ветром, и угол бумажного листа на столе все время шевелился, словно пытаясь приподняться и улететь.

— Садитесь, — коротко сказал Игнатьев, указав ей на складной стул из алюминиевых трубок, обтянутых брезентом. — Я сейчас, одну минутку.

— Пожалуйста, это совершенно не к спеху... — прошептала Ника.

Командор повозился еще немного с бурыми комочками, бережно перекладывая их так и эдак, словно решая головоломку; потом осторожно, взяв за углы, передвинул лист с ними на край стола и, положив перед собой переплетенные пальцами кисти рук, посмотрел на Нику — опять так же в упор и изучающе, как за столом во время обеда.

— Итак, вы хотите остаться в отряде, — сказал он. — Почему?

— Здесь так хорошо, — пробормотала Ника. — Очень тихо.. Я так хотела побыть где-то, где тихо и где можно... ну, просто сидеть, думать... нигуда не спешить...

— Сидеть, думать. А через неделю вам это занятие надоест, и тогда что прикажете с вами делать? Давать провожатого до Москвы?

— Мне не надоест,— сказала Ника негромко и убежденно. Игнатьев посмотрел на нее, помолчал.

— Вы что, увлекаетесь археологией? — спросил он.— Работали в каком-нибудь кружке? Или просто начитались Керама?

— Керама я читала,— кивнула Ника.— И «Библейские холмы» тоже... не помню автора, тоже немец, по-моему...

— Церен,— подсказал Игнатьев.— Ясно. Вы, значит, решили, что мы тут тоже раскопаем какое-нибудь восьмое чудо света.

— Совсе нет,— Ника покачала головой.— Дмитрий Павлович, я ведь могла бы сейчас сказать что угодно... что с детства увлекалась археологией и все такое. Но я не хочу врать. Эти книжки... мне их было интересно читать, и только. А здесь мне нравится. Я, конечно, понимаю, что это не такие уж важные раскопки... ну, наверное, работать в Египте, или в Мексике где-нибудь, или в Ираке — это ведь, наверное, интереснее, чем раскапывать такие вот маленькие городища, как здесь...

— В принципе — интереснее,— Игнатьев улыбнулся.— Но я должен сказать, что настоящий археолог испытывает одинаковое волнение, какой бы важности объект он ни вскрывал... если относиться к делу серьезно. Однако мы отклонились. Почему вы вдруг решили не продолжать путешествие вместе с сестрой? Вы поссорились в пути?

— Нет, мы не ссорились...

— Что же тогда произошло? Если бы не наш лагерь, вы бы захотели остаться в другом месте при возможности?

— Я не знаю... наверное,— сказала Ника.— Просто... мне не нравится такая манера проводить время. Я люблю, чтобы было тихо... А у них наоборот — чем больше шума, тем им интереснее. Я ведь знаю, они и на Кавказе останутся где-нибудь в самом шумном месте... чтобы побольше народу, чтобы можно было играть в волейбол и все такое...

— Наши ребята тоже играют в волейбол,— заметил Игнатьев.— И у нас тут не так уж тихо, в этом вы могли убедиться.

— Да, но все равно...— Ника помолчала, словно подыскивая слова, и беспомощно пожала плечами.— Я не знаю, как это объяснить... У вас тут все иначе. У вас и работа какая-то... другая. Задумчивая, что ли...

— Ну, думать, вероятно, приходится при всякой работе,— улыбнулся Игнатьев.— Ваши физики, они что ж, не думают?

— Ах, вы меня не понимаете... я не умею объяснить! Конечно, физик думает, но это совсем другое. Этого я совершенно не могу себе представить, понимаете? А вам здесь приходится думать... очень по-человечески. Нужно посидеть вот так с закрытыми глазами — правда? — и попытаться себе представить, как это все было... здесь, на этом самом месте, только давно-давно...

Игнатъев слушал, положив перед собою руки, взглядывая то на лицо девушки, то на обломки ржавчины, разложенные на листе белой бумаги. Перед ним были две загадки, очень разного возраста — одной шестнадцать, другой две тысячи триста. Да, вероятно, это пятый-четвертый века. Но неужели железо... Любопытно, что покажет металлографический анализ. А девочка говорит ужасно путано, — что, их там, в школах теперешних, не учат связно излагать мысли, что ли? — но она, безусловно, искренна. В сущности, нет никаких препятствий к тому, чтобы взять ее на время в отряд. Раз уж ей так этого хочется.

Он слушал ее голос — очень своеобразный, сильный и мягкий, грудной голос, который она все время словно сдерживала, стараясь говорить негромко, — слушал и думал о том, что удовлетворить ее просьбу можно, но лучше бы она с этой просьбой к нему не обращалась. Если бы этой не любящей шума девочке с серыми глазами и древнеегипетской прической вообще не пришло в голову остаться поработать в отряде — было бы куда лучше. Спокойнее, во всяком случае. Намного спокойнее.

— Вы перешли в десятый? — спросил он.

— Да, этой весной, — ответила она своим негромким голосом и тут же снова покраснела, сообразив, что сказала глупость: как будто можно перейти осень!

Игнатъев подумал, что слишком уж часто она вспыхивает и заливается краской до самых ушей. И вот еще что странное было в ее манере разговаривать: то, что она все время понижала голос, словно сдерживая его, придавало ему особую доверительную интонацию. Что бы эта девочка ни говорила, она говорила так, словно делилась тайной.

— Ясно, — сказал он. — Что ж, десятиклассники у нас иногда работали. Мне нужно подумать.

— Если это слишком сложно...

— Да нет, что ж тут сложного. Я подумаю, Ника.

— Мне можно идти?

— Пожалуйста. А впрочем, одну минуту. Вы Гомера читали?

— По-настоящему — нет. У нас есть дома, ну, знаете, в этой «Всемирной библиотеке», — я пробовала почитать, но мне показалась как-то... скучно или трудно, я даже не знаю...

— Понятно, — кивнул Игнатъев. — Но о чем идет речь в «Илиаде», вы приблизительно знаете?

— Да, это... о Троянской войне, да?

— Верно. А как вы считаете, это чистый вымысел или отзвук реальных исторических событий?

Ника подумала, прикусив губу.

— Ну, если нашли саму Трои, — начала она неуверенно, — наверное, что-то было?

— Вероятно, — сказал Игнатъев. — А кто и когда нашел Трои?

— В прошлом веке, кажется, — сказала Ника. — Ее нашел этот немец, банкир... ой, ну как же его... который знал много языков...



— Шлиман его звали. Генрих Шлиман. У вас что, по истории была пятерка?

— Обычно — да.

— А по другим предметам? Вы вообще пятерочница?

— Ой, что вы! По математике одни тройки, — созналась Ника. — Это вот только история, литература... Я даже один раз начала читать Тацита, но тоже не осилила.

— Понятно, — сказал Игнатъев. — Только не Тацит, а Тацит. Публий Корнелий Тацит. Ну хорошо, можете поработать с нами этот месяц, если хотите. Я вас оформлю как помощника ассистента. За вычетом питания получите на руки рублей тридцать. Устраивает?

— Я же не из-за денег, Дмитрий Павлович!

— Понимаю, что не из-за денег. Но работа есть работа, она оплачивается. И учитите, Ника, — если уж вы остаетесь, то оставайтесь до приезда Светланы Ивановны.

— Конечно, — сказала Ника.

— Я хочу сказать, что если вы через неделю передумаете и решите удрать, то я вас не отпущу.

— Нет, я удирать не собираюсь, куда же мне удирать?

— В таком случае договорились.

Они вышли из палатки вместе.

— Мне продолжать работать с Лией Самойловной? — спросила Ника.

— Да, продолжайте пока там...

Когда Игнатъев сказал Мамаю, что разрешил гостю остаться на месяц в отряде, тот выразительно и невежливо постучал согнутым пальцем себя по лбу.

— Сомбреро надо носить, командор, — сказал он. — А то торчите целый день на солнце, вот вам и приходят в голову гениальные идеи.

— А что тут, собственно, такого? — спросила Лия Самойловна. — Я сама порекомендовала Дмитрию Павловичу оставить девочку — она меня об этом просила, и я не вижу в ее просьбе ничего странного.

— Странно не то, что она попросилась, — сказал Мамай. — Странно то, что вы согласны ее оставить. Чего ради? У нас нехватка рабочих рук, мы собирались нанять кого-нибудь из колхоза...

— Денисенко сказал, что ни одного человека больше к нам не отпустит.

— Отпустит как миленький! То есть теперь-то, понятно, не отпустит, потому что просить не будем. Потому что мы этого недостающего человека уже взяли. Нашли, нечего сказать! Московскую стилистку, десятиклассницу с наманикюренными пальчиками! Вы видели, что у нее маникюр?

— Бесцветный, — сказала Лия Самойловна. — Совершенно бесцветный.

— Да хоть всех цветов радуги! Если девочка в таком возрасте делает себе маникюр...

— Что это ты таким ригористом вдруг стал? — улыбнулся Игнатъев.

— Вы, Виктор, не правы, — сказала Лия Самойловна. — Девочка в шестнадцать лет вполне может делать себе маникюр бесцветным лаком, тут нет ничего такого. Кстати, у Ники уже от этого маникюра почти ничего не осталось, она вчера мыла посуду. Так что зря вы волнуетесь.

— А чего, собственно, мне волноваться, — сказал Мамай. — Я ведь не отвечаю за план работ. Я просто считаю, что на эти деньги разумнее было бы нанять настоящего рабочего, а не исполнять каприз какой-то... лягушки-путешественницы!

— Ты же сам привез ее сюда, — напомнил Игнатъев, продолжая улыбаться.

— Совершенно верно, и именно поэтому считаю своим долгом предупредить.

— Спасибо, буду иметь в виду твое предупреждение.

— Да, уж пожалуйста, — сказал Мамай. — Чтобы потом никаких претензий!

— Да чем она вам не угодила, не понимаю? — спросила Лия Самойловна.

— При чем тут угодила она мне или не угодила! Я считаю, что у нас не детский сад... а в общем, как знаете. Неизвестно еще, разрешит ли ей остаться ее сестрица. Та, насколько я мог заметить, дамочка с характером... младшая, впрочем, не лучше. Она только снаружи тихоня, вы в этом еще убедитесь!

— Я всегда говорил, что ты у нас женоненавистник, — сказал Игнатъев.

— Да, женоненавистник! И горжусь этим! — вызывающе заявил Мамай, выставя бороду.

Ядерщики к ужину не вернулись. Помогая убирать и мыть посуду, Ника уже порядочно беспокоилась — Мамай такого наговорил о местных жителях, что можно было ожидать чего угодно. Покончив с хозяйственными делами, она вышла из лагеря и поднялась на пригорок; стоял тихий, безветренный вечер, только с моря, если вслушаться, доносился ровный шум волн, набегающих на галечный пляж. Далеко на юго-западе кучкой рассыпанных по берегу огней сверкала Феодосия; за нею, постепенно уступая место ее электрическому зареву, гасли в небе последние отсветы дня. Ника оглянулась на восток — оттуда, из-за Керчи, через пролив, стремительно падала на Крым непроглядная, вскипающая звездами южная ночь.

— Не хочу, не хочу туда, не поеду, — прошептала Ника упрямо и, снова оборачиваясь лицом к западу, увидела в ночной степи белый колеблющийся свет. Скоро он раздвоился — теперь уже не было никаких сомнений: машина с включенными на полную мощность фарами шла к лагерю по проселку, ныряя на ухабах, отчего лучи то взметывались к небу, то почти гасли, утыкаясь в дорогу.

Перед самым лагерем машина остановилась, погасив огни. Видно было, как зажегся свет внутри, потом снова погас, вспыхнули фары, и машина стала разворачиваться, на секунду ослепив лучом Нику, сбегавшую с пригорка навстречу приехавшим.

— Ой, я уже так беспокоилась! — крикнула она. — Здравствуйте, ну как вы там, все достали?

— Лягушонок? — спросила Светлана, взглядываясь в темноту. — Ты что тут делаешь?

— Как это — что? Я вышла вас встретить...

— Ну, как трогательно. Мы все достали, сейчас мужики возьмутся за работу, чтобы выехать с утра...

— Успеем ли, не знаю, — сказал Юрка. — Радиатор нужно снимать, иначе не доберешься.

— Успеем, — отозвался из темноты голос Адамяна. — Это на два часа работы, в крайнем случае призовем на помощь туземцев...

— Да, вы уж как хотите, но чтобы на рассвете в путь, — сказала Светлана. — Мы уже черт знает как выбились из графика. Ты тут не завела роман за это время, лягушонок?

— Нет, не завела.

— Умница. А то оставила бы позади чье-нибудь разбитое сердце. Вечер сегодня потрясающий...

— Да, вечер хороший, — согласилась Ника. — Света, отстанем немного, мне нужно тебе что-то сказать.

— Что? Случилось что-нибудь?

— Нет, ничего не случилось... нового. Просто, понимаешь... я не поеду с вами, — негромко, но твердо сказала Ника. — Вы потом заедете за мной на обратном пути.

— Умнеешь ты, лягушонок, прямо не по дням, а по часам...

— Света, пожалуйста, без иронии. Это серьезно, понимаешь? Я договорилась с начальником отряда, они берут меня на месяц, и я буду работать здесь до вашего возвращения. Ты помнишь наш разговор в Москве? Насчет Адамяна — помнишь? Ты сказала, что я не должна отказываться от поездки — это выглядело бы странно, — и я тогда согласилась. А сейчас можешь не беспокоиться, никому не покажется странным то, что я здесь остаюсь. И, пожалуйста, не уговаривай меня. Иначе действительно получится скандал. Ты сейчас пойдешь к Дмитрию Павловичу и скажешь ему, что разрешила мне остаться. Понимаешь?

— Вероника, — Светлана, остановившись, взяла ее за плечи и повернула лицом к себе. — Давай-ка без дураков! Что у тебя произошло с Адамяном?

— Да оставь ты меня, что у меня могло с ним произойти! — возмущенно заявила Ника. — Он мне не нравится, понимаешь? И я не хочу быть с ним в одной компании, потому что он лгун и притвора, и вообще... фазан. Мамай очень правильно про него сказал, он именно фазан! Ты не думай, Светка, у меня совершен-

но ничего нет против тебя или Юрки, и вообще Юрка твой очень славный, зря ты постоянно на него рычишь...

— Господи, что ты во всем этом понимаешь, лягушонок, — каким-то очень вдруг усталым голосом сказала Светлана. — Ладно, оставайся, если хочешь... Только от матери тебе здорово влетит за эту самодетельность, вот увидишь.

— Неважно, — сказала Ника упрямо. — Пусть влетает...

Когда они подошли к лагерю, Юрка, Адамян и Мамай уже потрошили «Волгу» при свете подвешенной к поднятому капоту переноски. Светлана отправилась к Игнатьеву, а Ника вошла в женскую палатку. Младшая из практиканток, Рита Гладышева, лежала на раскладушке, пытаясь поймать танцевальную музыку транзисторным приемником; старшая, Зоя, вместе с Лией Самойловой приводили в порядок подзапущенную за последние дни полевую документацию. Когда в палатке появилась Ника, Рита вопросительно глянула на нее и, выключив приемник, сунула под подушку.

— Ну что, приехали твои? — спросила она, зевнув. — С сестрой уже говорила?

— Да, все в порядке, — сказала Ника.

— Дурочка ты, — сказала Рита. — Иметь возможность целый месяц пропутешествовать, и вместо этого засесть тут в этой пылище...

— Если тебе не нравится пылища, — сказала Зоя, — то не нужно было идти на археологическое.

— А кто тебе сказал, что мне вообще не нравится? — возразила Рита. — Мне нравится копать. Только нельзя ж до опупения, верно?

— Риточка, ну что за язык, в самом деле, — укоризненно сказала Лия Самойлова. — Неужели вы думаете, что вульгаризмы делают речь выразительнее?

— Какой же это вульгаризм — «опупеть»? — возразила Рита.

Ника молча сидела на своей раскладушке, щурясь на яркий свет аккумуляторной лампочки над столом. Ей вдруг стало страшновато: все-таки, действительно, оставаться одной среди совершенно чужих людей... Она начала торопливо, почти испуганно перебирать тех, с кем ей предстояло провести эти четыре недели. Самая надежная, конечно, это Лия Самойлова. «Лошадные силы» — ребята как ребята, Мамай симпатичный, но слишком много шутит, — это присущая некоторым людям способность непрерывно шутить и балагурить всегда казалась Нике несколько утомительной. У них в Москве был один такой знакомый, в больших дозах он становился непереносим...

Командор — вот это загадка. В том смысле, что совершенно не знаешь, что про него сказать как про человека. Наверное, ученый он настоящий. А вот человек? Ничего не разглядеть, слишком застегнут на все пуговицы — вот уж полная противоположность Мамаю. В присутствии командора чувствуешь себя такой девчонкой, что душа в пятки уходит. «Почему, собственно,

вы решили остаться в отряде? Вы увлекаетесь археологией? А Гомера вы читали? О чем говорится в «Илиаде»? Кто и когда раскопал Трою?» Бр-р-р...

А ведь этот экзамен она выдержала! Непонятно как, но выдержала. В начале разговора командор явно не знал, брат ее или не брат, а потом сразу согласился. Хотя отвечала она далеко не на пятерку, скажем прямо. Может быть, ему понравилось, что она говорит правду? Тогда это хорошо. Хорошо, если человек любит, когда говорят правду.

— Лия Самойловна, добрый вечер,— сказала Светлана, входя в палатку.— Привет, девочки. Как живете-можете?

Она присела к столу и усталым жестом достала из карманов штормовки сигареты и зажигалку.

— Как вам нравится затея моей сестрички? — спросила она, закуривая.— Хоть бы вы ее отговорили, что ли...

— Зачем же,— сказала Лия Самойловна,— пусть Ника поработает здесь, это ведь действительно интересно. Вы не представляете, сколько молодежи просится ехать с нами каждую весну...

— Да пусть остается, я не возражаю,— сказала Светлана.— Лия Самойловна, к вам персональная просьба: не спускайте с нее глаз. В случае чего надерите хорошенько уши, это иногда помогает.

Ника возмущенно фыркнула в своем углу.

— Надеюсь, обойдемся без этого,— засмеялась Лия Самойловна.— Присматривать мы, разумеется, будем все, но ваша сестра производит впечатление достаточно серьезной девушки.

— Серьезной? — переспросила Светлана.— Господи, вот уж попали пальцем в небо. Она не серьезная, она тихоня, это совсем разные вещи. Никогда не знаешь, что такая тихоня выкинет в следующую секунду, вот в чем беда. Ты чего молчишь, лягушенок? Скажешь, я не права?

— Можешь издеваться сколько угодно,— сказала Ника обиженным тоном,— я уже привыкла.

— Ну вот, пожалуйста,— сказала Светлана.— Сама же пьет мою кровь и при этом еще глубоко убеждена, что над нею издеваются. Ты отдаешь себе отчет, какой крюк нам теперь придется делать на обратном пути, чтобы забрать тебя отсюда? Мы-то обратно думали ехать напрямик — через Ростов и Воронеж!

— А я не прошу меня забирать,— возразила Ника,— я сама могу сесть на поезд в Феодосии и приехать в Новороссийск или куда вам удобнее...

— Я тебе сяду! — пригрозила Светлана.— Я тебе приеду! Заруби себе на носу: я договорилась с Игнатьевым, что тебя из лагеря одну не будут выпускать никуда и ни под каким предлогом. Так что, милая моя царевна-лягушка, если вы потихоньку рассчитывали за этот месяц насладиться свободой, то получили вместо нее блистательную фигу с маком. Ясно?

Утром путешественники решили ехать, не дожидаясь завтрака. Все равно какое-то время придется ждать парома на керченской переправе, объяснил Юрка, вот эту вынужденную остановку они и используют на то, чтобы подзаправиться. Слушая его, Ника опять подумала о том, что человек, садясь за руль, превращается в психа, одержимого бессмысленной манией торопиться — неважно зачем и куда, лишь бы скорее, скорее, без задержек!

— А знаешь, без тебя и в самом деле лучше, — сказала Светлана, устраиваясь на заднем сиденье. — Сейчас я тут раскинусь, как царица Савская, и буду дрыхнуть аж до самой Керчи...

После рукопожатий, напутствий и пожеланий счастливо оставаться одновременно захлопнулись дверцы, «Волга» мягко заурчала отдохнувшим двигателем и пошла, плавно покачиваясь, по выщемуся между холмами проселку. Когда она, в последний раз блеснув на утреннем солнце стеклами правого борта, скрылась в ложбине, Игнатьев посмотрел на часы.

— Завтракать, друзья, и побыстрее, — сказал он. — Сегодня у нас трудный день, а уже половина шестого...

Ника, зевая и дрожа от пронзительной утренней свежести, поплелась вместе с другими к столовой палатке. Огромное алое солнце вставало из моря, неправдоподобно тихого, словно стеклянного, каким увидеть его можно лишь в такой ранний час; пахло росистой травой и — уже почти неощутимо — бензиновым перегаром и пылью, поднятой колесами уехавшей «Волги». Почувствовав на плече руку, Ника обернулась и снизу вверх глянула на командора.

— Ну? — спросил тот улыбаясь. — Почему такой несчастный вид? Уже раскаиваетесь, что не поехали?

— Н-нет, что вы, — поспешила ответить Ника, бодро постукивая зубами. — Просто мне ужасно почему-то холодно... это сейчас пройдет...

— Да, поедите и согреетесь, — сказал Игнатьев и, ободряюще пожав ее плечо, убрал руку. — А через час вообще будет жарко. Кстати, вы боитесь скелетов?

— Скелетов? — Ника даже остановилась. — Не знаю, я их не видела никогда... хотя нет, видела! По анатомии. Нет, они не особенно страшные, по-моему. А что?

— Потом объясню, — сказал Игнатьев и крикнул Мамаю: — Витя! Захвати с собой план третьего раскопа с некрополем!

За столом сначала было тихо, как обычно по утрам, даже буйные «лошадиные силы», не выспавшись, пребывали в состоянии полуанабноза, потом стали оживать. Ника, съев свою тарелку пшенной каши, с наслаждением тянула чай из обжигающей руки и губы эмалированной кружки, чувствуя, как с каждым глотком разливается по телу тепло.

— Лия Самойловна, — сказал Игнатьев, когда завтрак подходил к концу, — вы с Виктором Николаевичем продолжайте

на четвертом, а я сегодня хочу заняться некрополем. Вы сможете пока обойтись без помощницы на разборке?

— Да, какое-то время смогу, главное мы уже просмотрели.

— Прекрасно, тогда я забираю у вас Гладышеву и Ратманову...

Рита подтолкнула локтем сидящую рядом Ника.

— Ну, все, — шепнула она.

— Что? — не поняла Ника.

— ...и еще с нами пойдут... скажем, Осадчий и Краснов, — сказал Игнатьев.

— Есть, командор, — в один голос ответили оба названных.

— Что ты мне хотела сказать? — спросила Ника у Гладышевой, когда все встали из-за стола.

— Да нет, просто нам мертвяков сегодня копать придется, — ответила Рита. — Скукотища — жуть. Раскопаешь его, а потом каждую кость кисточкой обметай, да еще не дай бог чтобы распалась, а они такие бывают: тронь его — одна труха остается... Ну, повезло нам с тобой. Дурочка, катила бы сейчас в своей «Волге», и никаких тебе мертвяков...

### ГЛАВА 3

Жизнь внесла поправки и в летние планы Андрея Болховитинова. Прежде всего, он не попал ни на какую целину; еще в день отправления, в Москве, все думали, что едут в Кустанайскую область, но затем место назначения было изменено, и на вторые сутки пути, за Куйбышевом, отряд высадился на маленькой степной станции, дальше их повезли в машинах куда-то на юг. В общем-то, конечно, это было не так уж и важно — здесь им предстояло строить такое же зернохранилище, какое пришлось бы строить в другом месте, и нужда в их рабочих руках была совершенно одинакова что в Кустанайской области, что в Куйбышевской. Однако здесь все это представлялось Андрею менее романтичным, да и к тому же он рассчитывал на более долгий путь, и соответственно, большой запас новых впечатлений.

Но главная неприятность ждала впереди. Однажды, пробегая по мосткам под внезапно хлынувшим проливным дождем, Андрей поскользнулся на облепленных глиною досках и всей тяжестью упал на левую руку. В первый момент он даже ничего не заметил, просто было очень больно; но через полчаса запястье посинело от глубокого внутреннего кровоизлияния и распухло так, что страшно было смотреть. Пока ребята бегали за машиной, ему показалось, что прошли целые сутки. В районной больнице рентген показал передом сустава; словом, невезение пошло по программе-максимум.

Таким образом, через три недели после торжественного отъезда из Москвы Андрей снова очутился на том же Казанском вокзале — в обмявшейся и уже чуть повыгоревшей на степном

солнце форме строителя, с рукой на перевязи и висящим на одном плече рюкзаком. Он не сразу направился к подземному переходу в метро — стоял на тротуаре, с удовольствием оглядываясь вокруг, словно вернулся из долгого странствия по чужим краям. Москва была хороша даже в такой знойный июльский день, и хороша была Комсомольская площадь с ее просторами, многолюдьем, шумом, с ее хаотической застройкой в немыслимом смешении эпох и стилей: этот вокзал, гигантский караван-сарай, ежедневно пропускающий через себя полстраны; и строгий фасад Ленинградского напротив — безликий, холодный, весь в духе казенного николаевского псевдоампира; и Ярославский, поставленный рядом словно для контраста; и увенчанная шпилем тридцатизэтажная башня высотной гостиницы по левую руку; и убегающая вдаль широкая перспектива Стромынки — по правую; и сгрудившееся перед метро стадо разноцветных такси, и величественно проплывающие туши троллейбусов, и суматошная толпа на тротуарах — все казалось Андрею родным и праздничным, хотя это был самый обычный день, четверг, семнадцатое июля.

Самый обычный день, — утром, в вагоне, Андрей узнал о том, что вчера с космодрома на мысе Кеннеди стартовала первая лунная экспедиция.

Он был первоклассником, когда апрельским днем над планетой прогремело имя Гагарина. Что тогда делалось на улицах! А сейчас — прошло только восемь лет — уже отправление человека на Луну кажется чем-то будничным. Пассажиры в вагоне отнеслись к сообщению довольно спокойно; на многих, пожалуй, большее впечатление произвел не сам факт первого межпланетного путешествия, а то, что его совершили не мы, а американцы. Чудаки, как будто это так уж важно...

Андрей закинул голову и посмотрел в безоблачное небо, пытаясь представить себе за этой обманчивой синевой его истинный вид: бездонную черную пустоту, пылающую косматыми звездами, миллиарды и миллиарды километров пустоты — и тех троих, одетых в белые скафандры и запечатанных в тесном отсеке «Аполлона», их полет сквозь эту черную пустоту со скоростью, в десять раз превышающей начальную скорость артиллерийского снаряда. Да, молодцы ребята. В общем-то, конечно, и в самом деле жаль, что не русская речь звучит сейчас на полпути к Луне; но главное то, что звучит — человеческая речь, черт побери, речь твоих земляков, землян!

Да, а здесь, внизу, все оставалось как всегда — неспешно подплывали троллейбусы, люди толпились возле голубых тележек с мороженым, у пивного ларька жаждущие, предвкушая первый глоток, сдували с кружек легкие хлопья пены, носильщики катили свои мягко постукивающие тележки, ошалело толкались многосемейные транзитные пассажиры. Андрей спустился в подземный переход. Звонить отцу или не звонить? Мама была в доме отдыха, он вообще ничего не сообщил ей о том, что с ним произошло; теперь нужно еще как-то объяснить свое возвраще-



ние в Москву, чтобы это выглядело правдоподобно и не заставило ее волноваться и ломать себе голову. Ладно, это он придумает. Может быть, родитель подкинет идейку.

Из автомата у станции метро он позвонил отцу на работу; ему ответили, что Кирилл Андреевич в командировке, вернется где-то в конце месяца. Андрей присвистнул и осторожно нацепил трубку на рычаг. Вот это да — полная творческая свобода на целых десять дней! Даже как-то страшно.

Первой мыслью, которая тут же пришла Андрею в голову, была мысль — и сожаление — о том, что Ники Ратмановой нет в Москве. Почему именно Ника вспомнилась ему в этот момент, Андрей не понял; вернее, ему показалось лишним задумываться над этим вопросом. Ну, вспомнилась и вспомнилась. Просто ассоциативная связь: в их компании всегда кто-нибудь ныл, что негде собраться, негде провести время. Нет хаты! А тут вдруг хата в полном распоряжении, но собраться некому. Хоть бы этот крет Игорь был на месте, не говоря уж про Пита, — отлично можно было бы пожить такой мужской коммуной. Но тогда уж что-то одно, старик, — либо мужская коммуна с полным исключением женского элемента, вроде Запорожской Сечи, либо Ника Ратманова. Андрей подумал и не смог решить, какой вариант лучше.

Не успел он добраться до дому и войти в прихожую — душную, с нежилым запахом пыли и рассыхающейся мебели, какой обычно появляется летом в обезлюдевших квартирах, — как немедленно, словно только и дожидался его прихода, зазвонил телефон. Андрей швырнул в угол рюкзак, снял трубку.

— Слушаю, — сказал он. — Кто это? А, дядя Сережа, здравствуйте! Откуда вы взялись?

— А ты-то сам откуда, — отозвалась трубка знакомым хрипловатым голосом, — мать вроде писала, ты на целине?

— Я только сейчас вернулся, едва успел войти...

— Что ж это, дезертировал с трудового фронта? — со смешком спросил голос.

— Руку сломал! К счастью, левую.

— Левая — это ничего. Срастется — крепче будет. Где старики-то?

— Мама в дом отдыха уехала, отец в командировке.

— Э, как неудачно...

— Вы в Москве? Надолго?

— Дня на три, от силы на неделю... Ну ладно, Андрюшка, что делать — хоть с тобой пообщаюсь. Лишнее койко-место найдется? Я тогда через час буду, каких-нибудь полуфабрикатов прихвачу по пути. Ты знаешь что? Ты за пивом сбегай, сунь его в холодильник...

— Слушаюсь, товарищ генерал! Разрешите выполнять?

— Действуй!

Андрей положил трубку и, весело насвистывая, отправился действовать.

В угловом «Гастрономе» ему повезло: только что привезли

пиво разных марок и даже любители еще не успели набежать. Вернувшись домой, он пораспахивал настежь все окна, пустив по квартире знойные сквозняки, сделал необходимую приборку, кое-как помылся. С одной рукой это было не так просто, хотя он уже и приобрел некоторый опыт. Ровно в обещанное время у двери коротко тренькнул звонок — дядя Сережа был точен, как и положено военному, да еще в генеральских чинах.

Собственно, этот полноватый и уже седеющий брюнет несколько цыганского обличья не приходился Андрею никаким дядькой; он был старым другом семьи, старым не в смысле возраста — Сергею Даниловичу было под пятьдесят, — а в смысле давности отношений. Мама говорила, что они учились вместе, еще до войны. Во всяком случае, Андрей помнил его с детства и с детства же привык называть «дядей».

— Как же это ты, брат? — Генерал полуобнял его, осторожно похлопывая по спине. — Не вышло, значит, из тебя покорителя целинных земель...

— Да нас и не довели до целины, мы в Куйбышевской области работали.

— Ну, тогда не так обидно. А вырос ты еще больше. Длинный стал, прямо коломенская верста. Куда это вас прет? Мой Борька тоже на полголовы выше меня, а я-то ведь никогда низкорослым себя не считал... в классе, помнится, из пацанов был чуть ли не самым высоким, да и в армии обычно на правом фланге торчал. А вас вон как несет, как на дрожжах...

— Что Борис?

— Да что ему делается, на третий курс перешел. Он же в «моем» институте, — посмеялся Сергей Данилович. — Я до войны собирался в Ленинградский электротехнический... еще с матерью той же думали ехать вместе, она в университет хотела поступать. Почему-то нас именно в Ленинград тянуло! Да, а потом — двадцать второе июня, и пошло все кувырком... Ну ладно, Андрюшка, ты мне лучше скажи, ванная действует?

— В полной боевой!

— Совсем хорошо. Значит, так: я сейчас принимаю душ, а ты тем временем... хотя нет, отставить, тебе, безрукому, и банку теперь не открыть, — идем-ка на кухню, я это вскрою, а ты его на сковородку, понимаешь... Пива-то достал?

— Да и не просто пива, а «Двойного золотого».

— Молодец, знаешь службу! А я какие-то «Почки в томатном соусе» приобрел... не пробовал? Женщины там говорили, что ничего. Разогреть только надо. Ничего другого не было подходящего! Так, давай мне чем открыты, а сам ставь сковородку...

Через двадцать минут, когда Сергей Данилович вышел из ванной в пижаме и шлепанцах, почки в томатном соусе уже шипели на столе в окружении запотелых бутылочек.

— А чего, вполне съедобный харч, — сказал генерал, подцепив вилкой прямо со сковородки. — Положим, с таким пивом

все сойдет. Ну, бывай здоров, брат. Чтобы твой перелом поскорее сросся!

— Срастется,— сказал Андрей.— Почки действительно вкусные.

— Отличные, я ж говорю! И пиво у тебя прямо марочное. В нашем захолустье, брат, такого днем с огнем не достанешь.

— А вы перебирайтесь в Москву, дядя Сережа.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают. И потом, кому-то нужно ведь и по захолустьям торчать.

— Как у вас там сейчас обстановка, после Доманского?

— Сейчас поспокойнее стало. А вообще, издавека это все выглядит несколько не так. Там ведь эти штучки не вчера начались, было время привыкнуть...

— Вы думаете, войны все-таки не будет?

— Какая там война, чепуха все это.— Сергей Данилович прожевал, долил свой стакан пива и с наслаждением выпил.— Ты понимаешь... фанатизм фанатизмом, но ведь там тоже не сумасшедшие сидят, верно? Это хорошо в дацзыбао писать насчет «бумажного тигра»... для поддержания хунвэйбинского духа. А в действительности они не хуже нас с тобой понимают, чем это все может обернуться для них... в ином случае.

— А американцы-то нас обштопали, дядя Сережа,— помолчав, сказал Андрей.

— Не говори,— улыбнулся Сергей Данилович.— Жалко, конечно. Я представляю, какво сейчас нашим ребятам в Звездном городке, а? Но это ведь уже как спорт теперь — идут двое ноздря в ноздю, то один вырвется на полкорпуса, то другой. И потом, программы совершенно разные. Если бы эта «лунная гонка» шла у нас и у них по одной программе, было бы обиднее, а так что ж... Они посылают людей, мы считаем целесообразнее посылать автоматы, вот и вся разница. Между прочим, я тебе электробритву привез — последняя модель, говорят, с какими-то там плавающими ножами, я в этом не разбираюсь...

Андрей смутился.

— Спасибо большое, дядя Сережа, только я ведь еще не бреюсь,— пробасил он.— А вообще, спасибо, пригодится...

— Еще бы не пригодилась! Я, если не путаю, где-то в десятом начал бриться... хотя... я старше был, верно, верно.

— Вы ведь старше мамы?

— Еще бы! На два года.

— А как же... Мне помнится, мама говорила, что вы учились в одном классе.

— Точно,— кивнул Сергей Данилович.— Я должен был кончить школу еще в тридцать девятом, а кончил в сорок первом. Видишь, что значит быть второгодником? Меня два раза оставляли.

— Что ж это вы? — улыбнулся Андрей.— Не хотелось учиться?

— Сначала не хотелось. А потом хотелось, да не тому, чему учили. Я в девятом классе увлекся техникой, понимаешь, решил

стать инженером... ну, а инженеру что нужно? Математика, физика, черчение. Да, и еще, помню, признавал немецкий язык. До войны в школах больше учили немецкий, английского почти нигде не было. Вот так. А остальные предметы решил игнорировать, они для меня перестали существовать. Ну, и сел, естественно, на второй год. Тут-то мы с твоей матерью и познакомились, благодаря этому обстоятельству. Ну что ж, ты подливай себе, пиво не водка.

— Я пью,— отозвался Андрей рассеянно.— Странно представить себе то время. Я вот совершенно не могу. Может быть, потому, что у нас нет ни одной фотографии... Вы понимаете, в других семьях что-то осталось, у нас в классе ребята — почти у каждого в семье что-то сохранилось от довоенных времен... ну, чаще всего снимки. Или довоенные, или военные, фронтовые. А у нас вот так получилось, что отец вообще приехал сюда только после войны...

— Я знаю. А что, собственно, тебе от этого?

— Да нет, ничего,— Андрей пожал плечами.— Просто странное такое иногда ощущение — будто... ну, вы понимаете, будто у нашей семьи нет корней...

— Ну, брат, зарпортовался,— прервал его внимательно слушавший Сергей Данилович.— Мы вот с тобой сходим завтра на Новодевичье, навестить деда... может, это тебе напомнит, какие у тебя корни. Что ты, в самом деле, ахинею какую-то придумал себе! Или у отца твоего, что ли, корней не было в этой земле? Так чего ж он тогда приехал, скажи на милость? Чего б он ехал, если бы не было корней? Они ведь с матерью могли бы и там остаться, верно? Во всяком случае, это им наверняка было бы проще...

— Вы меня не совсем так поняли, дядя Сережа. Вернее, я не так сказал. Я ведь не в смысле неполноценности, что ли, упомянул об отсутствии корней. Ну, согласен, выражение неудачное. Просто мне трудно представить себе то время... ваше время.

— Трудное оно было, Андрюшка,— Сергей Данилович pokrutil головой, разливая пиво по стаканам.— А в чем-то нам было и проще, если подумаешь.

— В чем, например?

Сергей Данилович помолчал.

— Знаешь, я два года назад, когда Борька был на первом курсе, ездил к нему туда, во время зимних каникул. Идем мы раз с ним по Литейному, мимо Дома офицеров, а там афиша — встреча с каким-то писателем; мне он не запомнился, я и не читал его, а Борька знал какие-то из его книг — сходим, говорит, вечером, послушаем. Ну, пошли. Писатель оказался примерно моего возраста, чуть помоложе. И вот, помню, задают ему такой вопрос: скажите, дескать, чем, по-вашему, отличается нынешняя молодежь от прежней? А он, понимаешь, книгу как раз выпустил о том поколении — о нашем то есть, о «поколении сорок первого года». Собственно, об этой книге и шел разговор, одни ругали, другие

хвалили — словом, такая читательская конференция, — и кто-то из выступавших задал этот вопрос насчет разницы поколений. Так он знаешь что ответил? «Если, говорит, попытаться сформулировать очень коротко, то я бы сказал, что нынешняя молодежь стала более рационалистичной; мы, говорит, в девятнадцать лет жили преимущественно сердцем, а сегодня девятнадцатилетние живут рассудком». Борьке моему это страшно понравилось — сразу меня локтем в бок, знай, мол, наших. А я сначала не согласился, чушь, думаю, сказанул людоед, решил блеснуть афоризмом...

— Это не чушь, дядя Сережа, — негромко сказал Андрей.

— Потом-то я сообразил, что это не чушь. А вначале, говорю, не согласился: как же это, думаю, мы «сердцем жили»? Наше ведь поколение тоже не учили разводить сентименты, да и жизнь у нас была суровая, не в пример нынешней. С Борькой мы тогда до двух часов ночи спорили — все-таки он меня убедил, понял я наконец, что этот писатель хотел сказать, и действительно, вижу — ничего не возразишь. Мы ведь и в самом деле над многими вещами не задумывались, принимали все на веру... а вера никогда не идет от рассудка — только от сердца.

— Конечно, — кивнул Андрей.

— Поэтому я и говорю: нам было в чем-то проще. Верить — это ведь всегда путь наименьшего сопротивления... А когда человек хочет до всего дойти своим умом, своим собственным, то ему, естественно, труднее.

— Ничего, дядя Сережа, — улыбнулся Андрей. — «Счастье трудных дорог» — слышали такое выражение?

— Дороги-то, брат, тоже бывают... разные. И кривые, и путаные, и черт-те какие еще...

— Я не знаю, почему так получается, но старшие все время подозревают каждого из нас в ужасном желании вильнуть куда-то не туда...

— Ты считаешь, что с молодежью все обстоит благополучно?

— Нет, не все, — сказал Андрей. — Конечно, не все.

— Ну, вот тебе. А ты говоришь: старшие нас подозревают! Мы, дескать, такие все правильные и хорошие, а нас подозревают! Значит, Андрюшка, подозрения-то эти не всегда неоправданны, верно?

Андрей долго молчал, глядя в открытое окно. Сергей Данилович закурил, откинулся назад вместе со стулом, балансируя на двух задних ножках и поглядывая на сидящего напротив юношу. Теперь это был действительно юноша, завтрашний мужчина; ничего не скажешь, с подарком он угадал почти-почти. Полтора года назад, когда они виделись в последний раз, Андрюшка выглядел еще теленком — настоящим теленком, какими обычно и бывают пятнадцатилетние мальчишки, — нелепый, неуклюжий, весь какой-то лопоухий, расплывчатый, губастый. Теперь от расплывчатости ничего не осталось — лицо нынешнего Андрея Болховитинова было уже настоящим, почти мужским лицом; широколобое, скуластое, с широко расставленными глазами и уп-

рямой линией рта и подбородка, оно сейчас отдаленно — почти неуловимо — напоминало генералу Дежневу другое лицо, снявшееся ему когда-то фронтовыми ночами.

— А ведь ты становишься похожим на мать, — сказал он.

Андрей повернул голову и удивленно поднял брови:

— Я — на маму? Никогда не замечал.

— Про себя никто не может сказать, на кого он похож. У меня братишка был, погиб в финскую войну, — так я только недавно вот, увидев рядом его карточку и свою, понял, что похож на него. А ведь так видишь себя каждый день, когда бреешься, и никакого сходства не замечаешь. Нет, ты на мать похож. Я имею в виду — на мать, какую она была до войны.

— Может быть, — сказал Андрей. — Я не видел ни одного снимка.

— Знаешь, я тебе, пожалуй, пришлю, — подумав, сказал Сергей Данилович. — У меня ведь одна карточка сохранилась. Последний ее довоенный снимок, можешь себе представить. Двадцать первого июня у нас был выпускной вечер, а накануне она снялась. Вот я его тебе и пришлю, и будет у тебя хоть одна довоенная фотография.

— Спасибо, дядя Сережа, я буду очень рад. И маме будет интересно увидеть себя молодой...

— Нет, Андрюшка, ты ей лучше не показывай.

— Почему? — удивленно спросил Андрей.

— Ну... так вот, — ответил Сергей Данилович. — Не нужно ей показывать, это будет наш мужской секрет Договорились?

— Хорошо, дядя Сережа. Как странно, что у вас сохранился этот снимок, — сказал Андрей задумчиво.

— Да, сохранился... вместе со мной. Всю войну Знаешь, Андрюшка... я ведь твою маму любил когда-то.

— Я догадался.

— Давно?

— Нет. Только что. А... мама вас — тоже?

— И она меня — тоже. Ну, а война все это поломала. Вернее, не столько сама война, сколько оккупация. Оставайся она по эту сторону фронта... Хотя кто его знает. Это ведь, Андрюшка, только в книгах так бывает, что люди ждут годами...

— Вы думаете, только в книгах?

Сергей Данилович помолчал.

— Нет, конечно, не только, — сказал он. — Брякнул не подумав, ты извини. Просто, брат, жизнь есть жизнь, и все в ней происходит не по схемам. Или, точнее, эта антисхематичность жизни тоже укладывается в какую-то схему, но в схему слишком сложную, чтобы мы могли в ней разобраться. А схемы простенькие и успокоительные — они к жизни, видимо, неприменимы. Так я тебе карточку пришлю. Как только вернусь.

— Спасибо. Между прочим, дядя Сережа...

— Да?

— Вы сказали, что познакомились с мамой в девятом классе?  
— Первое знакомство состоялось чуть раньше, а по-настоящему в девятом.

— И сразу после десятого вы ушли на фронт...

— Да, в то же лето. А что такое?

— Нет, просто я подумал... Вы тогда сказали: «я любил». Но когда же вы могли — ну, успеть?

— Вот те раз, — изумленно сказал Сергей Данилович. — Это за два года-то?

— Да нет, дело не в сроке. Я понимаю, влюбиться можно и за один день... наверное. Но просто — какая же это любовь, в девятом классе?

— А, ты об этом! Ну, во-первых, я был старше, я же тебе сказал. Я старше был на два года, а это порядочно в таком возрасте. И вообще... это все относительно. Почему не может быть любви в девятом классе? Другой вопрос — насколько она окажется прочной... А по интенсивности чувства она, пожалуй, посильнее будет всех других. Я не понимаю, Андрюшка, — ты извини, но раз уж у нас такой мужской разговор, — ты что, ни разу до сих пор не влюблялся?

Андрей подумал.

— Я не знаю, можно ли это назвать влюбленностью, — сказал он басом. — Просто... ну, есть одна девочка у нас в классе... она мне, в общем, нравится. Во всяком случае, она не вызывает во мне активного протеста.

— Даже так? — сочувственно спросил Сергей Данилович.

— Нет, не вызывает. У нее привлекательная внешность, и потом, она не такая дура, как другие девчонки. Хотя тоже, конечно, в чем-то... ну, неважно. Так я хочу сказать, что мне было приятно с ней бывать, и... она как-то поддается хорошему влиянию.

— Твоему?

— Да, в смысле взглядов. Во всяком случае, мне удалось кое-что в ней исправить. Раньше она в своих вкусах была где-то на уровне ликбеза... Ну, достаточно сказать, что ей нравились передвижники, представляете?

— А мне они тоже нравятся, — сказал Сергей Данилович. — Это что, теперь считается неприличным?

Андрей немного смутился.

— Нет, конечно, но... Тут сказывается, вероятно, разница уровней эстетического воспитания. Я не в обиду вам, дядя Сережа, это вообще относится ко всему старшему поколению. Отец молодость прожил в Париже, а вы думаете, он хоть что-нибудь понимает? Я однажды заговорил с ним о Шагале, он спрашивает: «Это тот сумасшедший, у которого лиловая коза?» Так что взгляды старших меня больше не удивляют. Но когда моя сверстница вдруг говорит, что Репин был великим художником...

— А что, не был? — улыбаясь спросил Сергей Данилович.

— Конечно, не был! Да вы подумайте сами: ведь писать

«Бурлаков» или «Ивана Грозного», когда уже были Врубель, Ван-Гог, наконец Серов, — это или слепота, полная слепота! — или просто непонимание каких-то элементарнейших вещей... ну, хотя бы того, что искусство не может стоять на месте. Понимаете, не может! Оно или идет вперед, или просто начинает отмирать...

— Ну, хорошо, — сказал Сергей Данилович, — ты вот «Ивана Грозного» вспомнил — в том смысле, что не стоило, дескать, его писать. Однако в Третьяковке перед этой картиной всегда толпа!

— Ой, дядя Сережа, ну что вы говорите, — Андрей страдальчески поморщился. — Ведь именно толпа, недаром вы это слово и употребили...

— Я не в пренебрежительном смысле его употребил!

— А получилось в пренебрежительном, и правильно получилось, потому что толпа — она толпа и есть, ей всегда ближе ремесленнические поделки, чем настоящее искусство...

— А искусство, значит, для немногих избранных?

— Разумеется! — закричал Андрей. — Так в этом же и есть его смысл, вы понимаете, — всегда быть впереди толпы, вести за собой, а как же иначе, дядя Сережа? И так не только с искусством получается, а с идеями — с научными, с политическими, с какими хотите! Всегда новая идея обращена к немногим...

— Стоп, — сказал Сергей Данилович. — Вот тут ты заврался! Если ты хочешь сказать, что новая идея не сразу доходит до большинства, а поначалу воспринимается и распространяется передовым меньшинством, это верно. Но идея сама по себе — мы говорим, понятно, об идеях прогрессивных, — она всегда обращена к большинству. Это ты, брат, не путай.

— Ладно, согласен! Искусство в конечном счете тоже обращено к большинству, потому что оно делается для всего человечества. Но поначалу — как вы говорите — всякое настоящее искусство тоже воспринимается меньшинством. А большинство любит Репина. От него, кстати, и поползли все эти герасимовы и лактионовы...

— Тише, тише, — посмеиваясь, сказал Сергей Данилович. — Ты мне лучше вот что объясни — ты-то сам что считаешь настоящим искусством? Только давай на конкретных примерах! Репин тебе не нравится, передвижники для тебя труха...

— Труха самая настоящая, — подтвердил Андрей.

— Тогда кто же не труха? Только те, у кого ничего не поймешь — человек это или ящик?

— Нет, отчего же, — Андрей пожал плечами. — Совсе нет! Есть отличные художники, работавшие во вполне реалистической манере.

— Ну, например?

— Да Петров-Водкин хотя бы! У него все понятно, и человек с ящиком не спутаешь. Или Кончаловский — уж куда более реалист! А натюрморты писал совершенно потрясающие — по композиции, по цвету... Колорит сочный, насыщенный... нет, это настоящая живопись. Да мало ли! У Дейнеки раннего есть отлич-



чные вещи, совершенно чеканного лаконизма, предельно графичные.

— В общем, тебя не поймешь. — Сергей Данилович покрутил головой. — Дейнека ему нравится, Лактионов нет. Но ведь оба они изображали все как есть, без вывертов. Так почему же?

— Дядя Сережа, ну я не знаю, — снисходительно сказал Андрей. — Да просто потому, что один — это художник, вы понимаете, художник! — а другой просто способный ремесленник. А вы смотрите и не видите разницы. И еще хотите, чтобы вам ее объяснили! Да как я вам ее объясню, если вы не умеете смотреть? Значит, у вас слепота какая-то к живописи. Ну, или просто недостаток подготовки, я уж не знаю...

— Верно, — сказал Сергей Данилович. — Насчет слепоты не знаю, а подготовки, конечно, маловато. Все верно. Но ты забываешь, что таких, как я, — сотни миллионов, этих самых слепых и неподготовленных. Практически все человечество. А ты только что признал, что искусство, мол, делается для всего человечества. Признал ведь, а?

— Ну, допустим, признал, — не очень охотно согласился Андрей. — Но что из этого? Для всего человечества — в том смысле, чтобы всякий, даже самый неподготовленный, кто встречается с настоящим явлением искусства, мог... ну, получить что-то для себя от этой встречи. Вы меня понимаете? Настоящее искусство — это ведь всегда откровение... или открытие, что ли, скажем так. Это и есть единственный критерий оценки. Только это! Рембрандт мне *всегда* говорит что-то новое — всякий раз, сколько бы я на него ни смотрел. Да что Рембрандт! У Кончаловского, помните, есть портрет Алексея Толстого — сидит за столом такой барин, написано это летом сорок первого года... совершенно потрясная вещь. Понимаете? А фотография в «Огоньке» мне ничего нового о жизни не скажет, и Лактионов тоже. Как же можно сравнивать?

— Да, мудроно все это, — Сергей Данилович хмыкнул и перевел разговор: — Так что, говоришь, у тебя с той девушкой?

— С какой? — переспросил Андрей. — А, с Ратмановой. Да ничего, собственно. Она мне нравится... в общем.

— Ну, если просто нравится, да еще «в общем», — Сергей Данилович махнул рукой и засмеялся. — Ничего, брат, у тебя еще все впереди. А в одноклассниц лучше не влюбляться, ничего из этого не выходит...

Встав из-за стола, он посмотрел на часы.

— Так, — произнес он задумчиво. — Половина пятого... Ладно, мы вот что сделаем: мы это сейчас все быстро уберем, а потом я завалюсь часа на два: Я, понимаешь, не спал сегодня ни черта.

— А вы ложитесь сейчас, убирать ничего не надо, это я сам все сделаю, — сказал Андрей. — Тут уборки на пять минут, даже с одной рукой. Ложитесь, в той комнате все готово.

— Ну, добро, — согласился генерал. — Слушай, я обычно просыпаюсь в заданный час, но ты на всякий случай шугани меня в девятнадцать ноль-ноль. Договорились?

— Вы лучше поставьте себе будильник, а то вдруг я к тому времени не вернусь.

— Добро. Собрался куда-нибудь?

— Да так, выйду пройтись. Давно по Москве не бродил, я люблю ходить по улицам. Да, вот вам ключи...

— А ты как же?

— Возьму у соседей, мы всегда держим у них запасной ключ, на случай, если кто-нибудь потеряет свой.

Не успел Андрей убрать остатки трапезы, как из другой комнаты уже послышался бодрый генеральский хrap. Он присел к своему столу, полистал альбом — оказалась сплошная Ратманова, даже самому странно. Когда только успел? В профиль, анфас, так и этак, прямо выставка. А вот это он рисовал на пляже — почти обнаженная натура. Хорошо было в Останкине в тот последний день, и Ратманова сама была какой-то другой, не такой, как всегда в школе...

Вздыхнув, Андрей захлопнул альбом и сунул под стопку книг, подальше. Чего ее понесло к этим археологам? Жаль, что предки у нее не очень располагающие, а то можно было бы зайти и толком все разузнать. Из письма он ровно ничего не понял, — видимо, девчонки и в самом деле все какие-то умственно неполноценные, нельзя ведь себе представить, чтобы парень написал такое бестолковое письмо; пытаться выяснить что-то по почте — и думать нечего. В начале августа она все равно вернется, через каких-нибудь две недели...

Без пяти пять Андрей включил приемник, дождался позывных «Маяка» и сигналов точного времени. Диктор объявил, что, согласно сообщениям из Хьюстона, полет «Аполлона-11» проходит успешно; к четырнадцати часам московского времени корабль удалился от Земли на расстояние ста двадцати тысяч километров, бортовые системы в исправности, космонавты Армстронг, Олдрин и Коллинз чувствуют себя хорошо.

— Молодцы, — сказал Андрей и выключил «Спидолу». Теперь до субботы вряд ли будет что-нибудь новое; еще двое суток они будут находиться в свободном полете. А в субботу вечером, когда им нужно будет переходить на селеноцентрическую орбиту, — вот тогда настанет опасный момент. Не работает двигатель — и конец. Впрочем, все это, наверное, проверено и перепроверено...

Он вышел из квартиры, взял у соседей запасной ключ и спустился вниз. На улице было жарко, пахло пылью, нагретым асфальтом, бензином, но Андрей с удовольствием вдыхал эту смесь, привычно пахнущую Москвой. Конечно, в степи воздух лучше, но современному человеку, горожанину, нужно что-то и помимо чистого воздуха. Наверное, плохо, но это так. Просто мы все привыкли в городе, как курильщик привыкает к никотину..

Свернув направо на Большую Полянку, Андрей побрел медленно, с удовольствием поглядывая по сторонам. Прошедшая мимо девушка с высоко открытыми загорелыми ногами заставила его опять вспомнить Ратманову и вообще тот день — останкинский

пляж, рев автобусов на улице Академика Королева, летящее в облаках острие новой телевизионной башни. Они лежали рядом на горячем песке и смотрели на эту исполинскую бетонную иглу, и она все падала и падала, рассекая шпилем легкие июньские облака, а Ратманова вслух раздумывала над тем, долетит самая верхушка до дворца-музея или не долетит, когда башня наконец свалится, — должна же она когда-нибудь свалиться. Пятьсот метров, сказала она, это даже как-то противоестественно; непременно свалится, вот пусть подует какой-нибудь ураган. Ничего противоестественного, возразил он, башня построена из предварительно-напряженного железобетона с колоссальным запасом прочности и отлично работает на изгиб; никуда она не денется, разве что от термояда — но тогда кому будет нужно это телевидение? Никому, согласилась Ратманова.

В тот день она вообще соглашалась со всем, что бы он ни сказал. Она и в самом деле была какой-то другой, не такой, как всегда. Обычно ей нравилось поддразнить его, затеять спор просто так, из вредности, или устроить какой-нибудь розыгрыш; а в тот день, в Останкино, Ратманова была тише травы — прямо паинька. Как будто всем своим поведением хотела показать, какая она хорошая и послушная. Если бы он не уезжал на эту целину, сказала она, ни в какой Крым она бы не поехала, честное слово. Но он-то ведь едет, сказал он, что об этом говорить...

А теперь он вспоминал все это, идя без цели по жаркой, пахнущей бензином и пылью Полянке, и думал, как нескладно все получилось. Ужасно нескладно. Ни целины, ни Ратмановой, и вообще лето пошло к черту. Ладно, с завтрашнего дня он всерьез займется графикой.

#### ГЛАВА 4

Игнатьев еще раз обмел флейцем расчищенный участок вымостки, сметая просохшую землю с поверхности грубо отесанных камней, и распрямился не без труда — спина уже ныла от долгой работы в согнутом положении.

— Пройдитесь-ка еще по щелям, — сказал Гладышевой. — Нет, не этим — возьмите вон ту, узкую. Щели лучше чистить обычной жесткой кистью. А я сейчас принесу аппарат, снимем, пока освещение под нужным углом...

Он направился к лестнице, прислоненной к стенке раскопа, и вдруг увидел в дальнем углу Ратманову — та увлеченно рылась во вскрытой вчера мусорной яме. Нет, это уже переходит всякие границы: куда бы он ее ни отправил, она — не успеешь оглянуться — снова тут как тут...

Выбравшись наверх, он постоял в нерешительности, потом окликнул:

— Ратманова! Можно вас на минутку?

Она вздрогнула и вскинула голову, глядя на него снизу вверх, боязливо — ага, знает кошка, чье мясо съела, — но он уже

отвернулся, быстро зашагал прочь. Хватит церемоний, в самом деле, так от дисциплины в отряде ничего не останется...

Ратманова догнала его возле палатки. Не приглашая ее внутрь, он сухо спросил:

— Куда я послал вас работать сегодня утром?

— На второй раскоп, — отозвалась она робко.

— Почему в таком случае вы работаете на четвертом?

Ратманова всдыхнула, прикусила губу.

— Я... я спросила у Лии Самойловны — она сказала, что там достаточно людей, и...

— Меня не интересует, что вам сказала Лия Самойловна, — прервал Игнатъев. — Людей расставляю я, и я привык, чтобы мои распоряжения исполнялись без самодеятельных поправок. Вы где находитесь — в детском саду?

Ратманова заморгала пушистыми ресницами, глаза ее наполнились слезами — как-то сразу, вдруг.

— Я просто думала...

— Вот если вы еще раз себе это позволите, — продолжал он безжалостно, — то я предоставлю вам возможность думать на кухне. Предупреждаю вас, Ратманова! А сейчас ступайте на второй раскоп.

Он отвернулся и полез в палатку — видеть, как она сейчас расплечется, было слишком даже для него. Но должна же, черт возьми, быть какая-то дисциплина! Сев за столик, он сорвал солнцезащитные очки, побарабанил ими по бумагам, потом взьерошил волосы и уставился на табель-календарь под покрывающим столешницу листом оргстекла. Да, еще две недели, и наваждение кончится. А впрочем, какое там наваждение...

Игнатъев поднял голову — Ратманова удалялась от палатки, всей спиной выражая протест и обиду. И, надо сказать, у нее это получалось. «Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле», — вспомнилось ему почему-то. Она именно шествовала, — кстати, он сам научил ее этому: по здешним колючкам в открытых сандалиях можно ходить только осторожно переступая, как идут по талому снегу, и у Ратмановой выработалась забавная, словно танцующая походка. «Не знаю я, как шествуют богини...» Ника Самофракийская. В русском языке нет ласкательного от Вероники. Уменьшительное есть: Ника. А ласкательного нет. Зато есть в греческом — Никион. Тит Флавий звал так принцессу Беренику, по-гречески: Никион. Моя Никион. Никион Ратманова. «...Но милая ступает по земле...»

— Тьфу, пропасть, — пробормотал вслух Игнатъев. — Только этого не хватало!

Он посидел, стараясь сосредоточиться и вспомнить, зачем вылезал из раскопа, когда увидел свою Никион, увлеченно роющуюся в античной свалке. Ах да, сфотографировать... Он протянул руку, снял с крюка «Зенит». Опять не заряжен. Сколько раз просил не оставлять аппарат без пленки! Пришлось лезть в ящик, доставать черный мешок, пленку, кассеты. Сидя с засунутыми в мешок руками, Игнатъев сделал несколько глубоких

вдох-выдох по системе йогов, потом поднял голову — Ратманова, встретив Мамай на полпути к раскопам, стояла и разговаривала с ним. Жаловалась, надо полагать...

Тоже мне, Ника Самофракийская. Кстати, почему именно Самофракийская — непонятно; у Витеньки привычка мыслить штампами. Если Ника — то непременно из Лувра. Что общего? Титаническая фигура Победы, мощно и неудержимо устремленная вперед, словно идущая на таран... и эта девочка. У той, Самофракийской, тело зрелой женщины. А здесь — воплощенная юность, полет, легкость. Скорее уж та, в Олимпии... «Летающая Победа», изваянная одним из учеников Фидия. Как же его, черт...

— Слушай, Димка! — Мамай, подойдя к палатке, просунул внутрь бороду и сомбреро. — Чего это ты Лягушонка разобидел? Идет, а у самой вот такие слезищи — хоть на экран крупным планом. «Меня, говорит, Дмитрий Павлович из своего раскопа прогнал...»

— Совершенно верно, прогнал. Пусть работает на втором. Витя, ты последний фотографировал? Опять отщелкал всю пленку и оставил аппарат незаряженным. Сколько раз просил! А теперь я по твоей милости должен сидеть как дурак и заниматься этой чертовщиной...

— Командор, не будьте мелочны, — сказал Витенька. — Вы чем-то расстроены, и сейчас вам только полезно посидеть полчаса в палатке, в тени. Здешнее солнце губительно действует на хрупкую нервную систему северян, не забывайте об этом. Вечером отнесу пустые кассеты и запас пленки кому-нибудь из «лошадных сил», и пусть-ка они этим займутся.

— Да, но пока этим занимаюсь я.

— Ладно, не помрешь, — сказал Витенька. — Ты лучше объясни, чего это ты последнее время бегаешь от этого несчастного Лягушонка? Ей действительно нравится работать с тобой, и это естественно, потому что ты умеешь заинтересовать человека. Эдька Багдасаров сказал мне как-то, что, только поработав с тобой в поле, он по-настоящему понял, что такое археология...

— Прекрасно, прекрасно, — нетерпеливо прервал Игнатъев, — я очень рад, что наша гостя заинтересовалась археологией, и я очень рад, что наша гостя заинтересовалась археологией, и я не вижу необходимости углублять ее знания. Все равно она через месяц все забудет! Что у меня, других дел нет, как читать доступные лекции туристам?

— Командор, я в свое время предупреждал вас, — вкрадчиво сказал Мамай. Окончательно вдвинувшись в палатку, он присел на край вьючного ящика и снял сомбреро. — Вы помните тот наш разговор? Я сам был против того, чтобы оставлять здесь туристку. Вы сказали: «А что тут такого? Пусть поживет, поработает, присмотрится. В конце концов, иногда так просыпается призвание» — привожу буквально ваши слова. Помните?

— Помню. Что из этого следует?

— Ничего, кроме вашей непоследовательности. Если она вам так неприятна, не надо было ее оставлять. Не надо было читать ей вдохновенных лекций об античном мире! А то это как-то несерьезно, командор. Так поступают соблазнитель — вскружили девчонке голову, а теперь знать ее не хотите...

— Витя, — сдерживаясь, сказал Игнатъев, — твоё остроумие я всегда ценил, но сейчас оно переходит — прости — в пошлость. Кончим этот разговор, пока не поздно.

— Нет, ты действительно того, — Мамай выразительно пошверлил себе висок указательным пальцем. — Что с тобой, старик? Случилось что-нибудь?

— Ничего не случилось. Пошли, мне надо успеть сделать снимки, пока солнце не высоко...

Мамай крикнул и полез из палатки, нахлобучивая сомбреро. Игнатъев вышел следом.

— А я ведь, кажется, начинаю догадываться, что с тобой происходит, — весело сказал вдруг Мамай, когда они почти дошли до раскопа. — Ну, Димка...

— Только, пожалуйста, держи свои догадки при себе, — оборвал Игнатъев. — Ты не знаешь, когда «Аполлон» переходит на окололунную орбиту?

— Вроде бы вечером, около девяти по московскому. «Лошадиные силы» должны знать, они все время слушают. Так, может быть, прислать все-таки Лягушонка на четвертый?

— Нет, пусть работает там, где я сказал.

— Понятно, понятно, — Мамай ухмыльнулся в свою бандитскую бороду, покрутил головой и повторил загадочно: — Ну, Димка!

— Иди, Витя, иди, пока я тебя не послал...

Витя ушел, унося в бороде двусмысленную ухмылку. Игнатъев спустился в раскоп, заснял с разных точек расчищенный участок вымостки.

— Все, Дмитрий Палыч? — спросила Гладышева, когда он кончил фотографировать. — Давайте тогда я отнесу аппарат Лии Самойловне, она просила, когда освободится.

Он отдал «Зенит» практикантке, но тут же вернул ее.

— Я, пожалуй, сам отнесу, мне надо там посмотреть...

Возможно, он уже действительно стал «того», как предположил Мамай, потому что ему показалось, что в глазах Гладышевой промелькнуло нечто насмешливое — дескать, на что или на кого вам вдруг понадобилось там посмотреть?

— Расчищайте пока дальше, — сказал он строго, — я сейчас вернусь.

Никион сидела у южной стены раскопа, осторожно расчищая медорезкой землю вокруг большого обломка амфоры. Она не подняла головы, когда он проходил мимо, и вся ее поза выражала такую покорность судьбе, что ему захотелось присесть рядом, провести рукой по этим темным блестящим волосам и сказать что-нибудь утешительное. Но ничего утешительного он сказать не мог — ни ей, ни себе. Он отдал аппарат Лии Самойловне,

посмотрел вместе с нею остатки органики, добытые из рыбозасолочной цистерны, и уже собрался уходить, как вдруг вернулся.

— Лия Самойловна, — сказал он, — вы, кажется, хорошо знакомы с раскопками Олимпии?

— Новыми какими-нибудь? — спросила та.

— Нет, с теми, большими, что вел еще Курциус. Вы не помните, там нашли статую «Летящей Победы» — чья это работа?

— «Летящая Победа»... — Лия Самойловна подумала. — Та, что была с орлом? По-моему, это работа Пэония.

— Черт, ну конечно! — Игнатъев хлопнул себя по лбу. — Пэоний, ну конечно же...

— Да, он ее изваял по заказу граждан Мессены, как обетный дар после разгрома спартиатов на Сфактерии...

— Правильно, вспомнил. В четыреста двадцать четвертом году.

— А что?

— Да нет, просто из головы вылетело, — сказал Игнатъев.

Ника не слышала, о чем они говорили. Она прилежно скребла землю, до замирания сердца надеясь, что вдруг медорезка на что-то наткнется... Какая-нибудь уникальная находка, чтобы сам Игнатъев ее похвалил. Но земля снималась легко, слой за слоем, обломки амфоры обнажались все больше, а ничего интересного вокруг так и не обнаруживалось. Камни, галька, кусок ракушки...

Не утерпев, она боязливо повернула голову — Игнатъев, стоя на дальнем краю раскопа, продолжал разговаривать с Лией Самойловной. А мимо нее прошел, не сказав ни слова! В застиранных и потертых джинсах и сомбреро, которое он носил не как Мамай — бубликом, — а завернув поля с боков вверх, Игнатъев, подтянутый и очень загорелый, показался ей вдруг похожим на персонаж американского вестерна. Вот только солнцезащитные очки нарушали образ — ковбои, пожалуй, их не носят. Игнатъев и сам всегда работал в очках, и требовал того же от других; без светофильтров, сказал он однажды Нике, можно не увидеть «пятна» на освещенной солнцем поверхности, а вовремя заметить «пятно» — это очень важно...

Ника вздохнула и снова принялась за работу. Ученый, похожий на ковбоя, как странно.. В ее представлении ученый должен был быть или бородатым академиком в черной шапочке, или — если молодой — рассеянным добродушным увальнем, как Юрка. А вот Игнатъев совсем-совсем другой. Ни рассеянности, ни добродушия. Какое там добродушие! Никогда не повысит голоса, но она за все время своего пребывания в лагере ни разу не видела, чтобы командора кто-нибудь ослушался. Сама она боялась его до дрожи в коленках, хотя иногда он умеет быть удивительно внимательным и заботливым. То есть когда-то умел; в последние дни его словно подменили — таким стал суровым и неприступным. И только по отношению к ней! Почему? Что она такого сделала?

Ника еще ниже опустила голову, выковыривая из земли скрежетнувший под лезвием медорезки камешек, и слеза капнула ей на руку.

За ужином начался обычный субботний разговор насчет планов на завтра.

— Желающим предлагаю смотаться в Судак, — сказал Мамай. — Не все ведь из нас там были, в самом деле — поехали? Лягушонок, хочешь посмотреть генуэзскую крепость?

— Спасибо, Виктор Николаевич, — отозвалась Ника, — мне не хочется никуда ехать, я лучше останусь.

— Зря. В общем, решайте, кто поедет — пять носов, кроме меня.

— ГАИ может придаться, если в машине будет шестеро, — сказал кто-то.

— Ничего, мы одного положим под ноги, никто не увидит. Командор, вы как?

— Под ноги не хочу, а вообще я бы поехал. Но я уже бывал там, поэтому, если желающих окажется много, могу уступить место.

— Место в шлюпке и круг, как поступают настоящие мужчины, — одобрил Мамай. — Итак, кто хочет воспользоваться великодушием командора?

Уступать место, однако, не пришлось — ехать в Судак, кроме Мамаю и Игнатъева, вызвались только трое: Гладышева, Багдасаров и Саша Краснов.

— Ну, тем лучше, — сказал Мамай, — значит, никого не придется прятать от инспекторов. Но вообще я удручен вашей нелюбезностью: неужели никого больше не привлекает такая великолепная экскурсия, да еще даром? Лягушонок, брось хандрить, поехали завтра в Судак!

— Не хочется, честное слово, — отозвалась Ника. — А хандрить я и не собиралась, откуда вы взяли...

— Ладно уж, не оправдывайся, не хочешь ехать — не надо. А мы поедем. Предлагаю с утра, пока прохладно.

— Сразу после завтрака и поедем, — сказал Игнатъев.

В воскресенье, как обычно, лагерная жизнь началась на час позже. За завтраком тоже засиделись — обсуждали последние сообщения с борта «Аполлона», который ночью благополучно вышел на селеноцентрическую орбиту. Солнце поднялось довольно высоко и уже припекало, когда участники экскурсии забралась в фиолетовый «конвертибль»; все были в сборе, кроме Риты Гладышевой, которая в последнюю минуту решила переодеться.

— Подуди ей, Витя, — предложил Игнатъев, посмотрев на часы.

Мамай яростно поквакал сигналом, потом привстал и, обернувшись к женской палатке, заорал в сложенные рупором ладони:

— Ри-и-итка-а-а, какого ты черта-а-а...



— Бежит, — сказал Саша Краснов.

— Это не Гладышева, — сказал Эдик.

Действительно, вместо Гладышевой появилась Ратманова, беззаботно размахивая сумкой.

— Я вместо Риты! — крикнула она, подбегая к машине. — У нее беда — начала надевать платье, второпях разорвала по шву. Теперь ужасно расстроилась, ни в чем другом ехать не хочет. Вообще не хочет ехать. А я вместо нее решила!

Мамай смерил ее уничтожающим взглядом.

— И таким вот дали равноправие, — вздохнул он. — И теперь еще хотят, чтобы все шло как надо. Коммунизм хотят строить! С кем, я спрашиваю? Садись сзади, Лягушонок, и молчи, не напоминай о своем существовании...

Выбравшись на шоссе, машина помчалась в сторону Феодосии. Придерживая рукой волосы, Ника смотрела по сторонам и узнавала места, которыми проезжала две недели назад. Подумать, всего две недели! А кажется, что прошло гораздо больше. Оставшееся время, наверное, пройдет куда быстрее. Еще столько же — и придется уезжать; опять будет Москва, школа, скверик у Всех Скорбящих, Игорь со своими вечными хохмами. Ну и, конечно, Андрей: Модильяни, Леже, японская графика... В общем, все будет по-старому, как всегда.

Но если ничего не изменится, то зачем тогда было все это — то, что машина сломалась именно здесь, и что ей позволили остаться в лагере, и вообще все? Ника давно подозревала, что в жизни ничего не случается просто так и все имеет смысл и цель. Взрослые, разумеется, подняли бы ее на смех, заикнись она об этой своей догадке; но что понимают взрослые! Ведь самое важное, самое главное в жизни от них скрыто, песенка про оранжевое небо вовсе не такой пустячок, как может показаться (взрослому)...

Все было бы прекрасно, если бы не обида командора. И хотя бы знать — за что? Она ведь ничего не сделала; может быть, сказала что-нибудь не подумав? Да нет, ничего такого не вспоминается; но командор обижен совершенно явно — из своего раскопа прогнал, почти не разговаривает, не смотрит. Ужасно все это неприятно. Вот и сейчас — сидит впереди, хоть бы обернулся, сказал что-нибудь из вежливости. Не командор, а статуя командора. А каким хорошим был вначале! Да, взрослые непостоянны, никогда не знаешь, что они выкинут...

На развилке за Феодосией Мамай, притормозив, обернулся к сидящим сзади.

— Решайте, как поедем! — крикнул он. — Можно сейчас влево на Коктебель, через Щebetовку, а можно прямо на Старый Крым...

— А там как же? — спросил Игнатъев.

— В Грушевке нужно будет свернуть. Только это дальше!

Нике хотелось побывать в Старом Крыму — может быть, на этот раз ее отпустят на могилу Грина, — и она только собралась об этом сказать, как все дружно заявили, что лучше

ехать коротким путем. Пропустив обгоняющие машины, Мамай лихо развернулся под голубую стрелу указателя «Планерское — 12 км».

— Что это — Планерское? — спросила Ника.

— Так это и есть Коктебель, — сказал Саша Краснов.

— А почему он теперь Планерское?

— А вот потому! — не оборачиваясь, крикнул Мамай. — Потому что болезнь такая — мания переименования, не слыхала? Есть мания величия, мания преследования, а есть мания переименования — когда кидаются переименовывать все, что ни попадет под руку. Вот Коктебель и попался. Что тут жил и умер Макс Волошин — про это не вспомнили, зато планеристов увековечили на веки веков! Командор, а командор?

— Слушаю, — отозвался Игнатьев.

— Я говорю, надо бы обратиться от имени нашего коллектива с предложением, чтобы вообще переименовали Крым! А то как-то нехорошо: столько трудов положили, каждому аулу придумали имя, и все такие оригинальные, что ни название, то находка — Морское, Приветное, Передовое, Счастливое, Генеральское, Доброе, Лучистое, прямо душа радуется... А сам Крым по недосмотру забыли! Вот я и предлагаю — пусть уж переименуют весь полуостров. Скажем, Солнечный. Или — Пионерский, в честь Артека. Как вы насчет этого, поддерживаете?

Игнатьев ответил что-то негромко, Ника не расслышала. Он был явно не в духе — наверное, сердится, что она поехала с ними. Лучше было не ехать, и она действительно не собиралась в Судак; но сегодня в палатке все вдруг на нее надели — и Лия Самойловна, и Рита, и Зоя... Она всегда теряется и уступает, если ее начинают вдруг уговаривать несколько человек сразу. Так бывало и в школе — какой-нибудь культпоход, например. Или лыжная вылазка. Обязательно уговорят, видимо такая уж у нее уступчивая натура. Вот и сегодня уговорили, а Дмитрий Павлович теперь сердится...

Дорога начала подниматься, но настоящие горы были еще далеко, они синели впереди справа, а здесь мягко круглились по сторонам пологие зеленые холмы предгорий; пейзаж стал более живописным, чем в районе лагеря, за Феодосией. Справа и слева от шоссе потянулись виноградники, бесконечные ряды подвязанных лоз, вдоль которых тут и там неторопливо ползали тракторные опрыскиватели.

— ...Самая трудоемкая культура, — говорил Эдик Багдасаров, — самая древняя, самая доходная и самая трудоемкая. Возьмите хлеб — ухода почти не требуется: посеял, собрал, подготовил почву, вот и весь цикл. А виноград! У моего деда в Колагеране свой виноградник — ну, какой виноградник, два десятка лоз; и вы посмотрите, он все время что-то делает, — виноград нельзя оставить ни на день, стоит не опрыскать его после дождя, и на нем тут же поселяется какая-то пакость...

Ника поддакивала, но слушала невнимательно, щурясь по сторонам и придерживая развеваемые ветром волосы. Нужно

было повязать голову косынкой, как это она не сообразила, ну до чего все неудачно сегодня! По обочинам росли молодые тутовые деревья, осыпанные черными маслянистыми ягодами; Нике хотелось поест шелковицы, но она скорее умерла бы, чем отважилась попросить об остановке...

Потом вдруг открылось море — машина взлетела на пригорок, вблизи развернулась бухта, густо застроенная по берегу и дальше ограниченная высокими обрывистыми скалами.

— Ой, что это! — невольно ахнула Ника.

— Коктебель, — сказал Эдик.

— А за ним — Карадаг! — крикнул Мамай. — Геологическое чудо Крыма! В Коктебеле стоянка полчаса — надо хоть издали показать Лягушонку, где похоронен Волошин...

— Почему издали? — крикнула Ника, отворачивая лицо от ветра.

— Далеко идти! Это надо час карабкаться на гору! Я не любитель пешего хождения!

Через десять минут «Победа» лихо вкатилась на стояночную площадку автопансионата «Приморье». Ника выскочила не очень ловко, забыв о непривычной высоте вездеходного шасси, и едва не растянулась на глазах у полдюжины туристов, ошеломленных появлением фиолетового «конвертибля».

— Скромнее, Лягушонок, без курбетов, — не преминул заявить Мамай во всеуслышание. — Абorigены все равно не оценят. Ну что, объявим ревизию сему сумасшедшему дому?

Автопансионат, территорию которого им пришлось пересечь, чтобы выйти на набережную, и в самом деле произвел на Нику оглушительное впечатление. Может быть, попади она сюда прямо из Москвы, это выглядело бы иначе; но после тихой жизни в лагере ее просто ужаснули эти толпы полуголых, прогуливающих по тесным асфальтированным аллеям, чудовищные очереди перед верандами столовых, полоумное верещание транзисторов, шашлычный чад и вопли детей, снующих под ногами у взрослых, — действительно, настоящий бедлам. Какой же это отдых?

— Чистой воды мазохизм, — сказал Мамай словно в ответ на ее мысли, когда они проходили мимо осажденного толпой киоска «Курортторга». — Это вот так отдыхать — лучше сдохнуть..

— И ведь с каждым годом все больше людей, — заметил Игнатьев. — Помните, мы тут были, когда Зайцев приезжал, года три назад?

— В шестьдесят пятом.

— Ну да, четыре года. Ничего подобного не видели, и комнату можно было найти сравнительно легко.. Не понимаю, неужто нет других мест провести отпуск?

— Мода, командор. Станет модным отдыхать на Таймыре — повалят на Таймыр. А пока в моде Крым. Вот и прут, как лемминги...

— А я люблю Юг, — сказала Ника. — Солнце, море — что вы, как можно сравнивать... Конечно, в такой сутолоке отдыхать не-

приятно, лучше пожить где-нибудь в рыбацком поселке, но вообще так хорошо после нашей зимы попасть сюда...

— Вы уже бывали в этих местах? — спросил Игнатьев.

— Нет, в этих именно — нет... Мы в позапрошлом году были в Ялте, но мне не очень понравилось — все эти кипарисы, олеандры, прямо как на открытке. А курортников еще больше, чем здесь! Нет, эта часть Крыма совсем другая... Греков можно понять, почему они устраивали здесь свои колонии, правда?

Мамай ехидно посмеялся:

— Географию, Лягушонок, плохо изволите знать! Для греков этот Крым — примерно то же, что для нас Кольский полуостров. Вы что же думаете, на Хибины куда-нибудь люди едут потому, что там климат хороший? Работать едут, Лягушонок, деньги зарабатывать. Вот и греки ехали в Киммерию работать — торговать, сеять хлеб, ловить рыбу... а вовсе не на солнышке загорать. Солнца им и дома хватало, в метрополии, а эта земля — «киммерийцев печальная область», как выразился Гомер, — эта земля никогда не представлялась им райским уголком, каким она представляется вам в Москве... а нам тем паче — в наших богом проклятых чухонских болотах. Верно я говорю, командор?

— Да, только на Гомера лучше не ссылаться, — сказал Игнатьев. — Он не эту Киммерию имел в виду.

— Знаю, что не эту! «Одиссею», худо ли, бедно, штудировали, и комментарии к одиннадцатой песне читать тоже приходилось. Но вы никогда не задумывались, почему именно эту землю назвали именем легендарной страны мрака? Да потому и назвали, что эта часть Тавриды тоже была для греков одним из самых дальних пределов их ойкумены. Она их пугала, колонисты страдали от холода — зимой ведь тут тоже не мед, Лягушонок, в январе иной год и море у берегов ледком прихватывает... Недаром у них выражение было — «киммерийское лето» — в смысле этакого, понимаете ли, непостоянства фортуны, делающего бренными земные радости. Слишком все изменчиво, кратковременно, обманчиво даже, если хотите... Сейчас, дескать, солнышко светит, тепло, и рыбка хорошо ловится — а потом вдруг подует холодный борей...

— Да, бедные греки, — беззаботно сказала Ника.

Пока дошли до набережной, оба практиканта куда-то исчезли. Неширокая полоса пляжа внизу за балюстрадой была сплошь покрыта разноцветными телами в разной степени пропеченности и удручающе напоминала лежбище тюленей. К сожалению, шашлычный чад достигал и сюда.

— Ну вот, Лягушонок, — сказал Мамай, — смотри и радуйся. Это и есть знаменитая Коктебельская бухта — вернее, то, что от нее осталось.

— А Волошин где похоронен?

— Вон там, на одном из холмов. А его дом — вон он, посмотри в другую сторону. Вон тот, с башенкой, видишь?

— А вы вообще читали Волошина? — спросил Игнатъев.

Ника покивала, вглядываясь в очертания Карадагских скал.

— Мне давали переписанное... А профиля я не вижу, — сказала она разочарованно. — Кто-то говорил, что там его профиль...

— Почему же, при известной силе воображения... Посмотри-те-ка, вон выступ — видите, словно нос и внизу круглая такая борода... Вроде вашей, Витя. Волошин ведь носил бороду.

— А-а, я не знала, — сказала Ника. — Пожалуй, вы правы, там действительно что-то вроде лица...

Подожли запыхавшиеся Краснов и Багдасаров:

— А мы вас ищем! Уже у дома Волошина были, там все обшарили...

— Ой, смотрите, дельфины! Честное слово, я видела сейчас — так и прыгнул! Еще один!! — завизжала Ника, схватив Игнатъева за руку. — Да смотрите же!

Он послушно обернулся и вместе с другими стал вглядываться в слепящую под утренним солнцем синеву залива, но увидеть ничего не увидел — то ли потому, что не туда смотрел (рядом кто-то кричал: «Во дают, как в цирке!»), то ли просто потому, что она продолжала держать его за руку и это было главным, заслоняющим и гасящим все остальные ощущения. До сих пор он ни разу не касался ее руки — кроме того первого, официального рукопожатия, когда знакомились. Теперь ее прикосновение обожгло и парализовало его.

Это длилось целую секунду, а может быть, даже две, и она вдруг отдернула руку, словно спохватившись, бросив на него испуганный взгляд. Разумеется! Она ведь убеждена, что он сердит на нее. Ему вдруг отчаянно захотелось бросить все к черту, оставить отряд на Лию Самойловну и улететь в Питер, придумать себе какую-нибудь хворь. Как раз недельки на три, пока она не исчезнет. А потом? Что будет потом — без нее?

Саша Краснов говорил ему что-то, он не слышал, потом заставил себя сосредоточиться: ребята, оказывается, встретили здесь знакомую компанию ленинградцев и теперь не хотят ехать в Судак.

— Какие же у меня могут быть возражения? — сказал он. — Договоритесь только с Виктором Николаевичем, где и когда мы вас подберем на обратном пути.

— Ну что ж, часов в пять, — предложил Мамай. — В пять, плюс-минус полчаса, прямо около почты. Договорились? Все, можете катиться. А нам пора ехать, командор. Лягушонок, о чем мечтаешь? Пошли, пошли, нам еще больше тридцати километров...

В машине он велел ей сесть впереди, рядом с Мамаем. Впереди меньше укачивает, объяснил он, а дороги за Щебетовкой пойдут уже настоящие горные, сплошной серпантин. Дело было, конечно, не в дорогах — не такие уж они «горные» в этих местах; просто сейчас, когда она сидела впереди, а на заднем сиденье был он один, он мог смотреть на нее, каждую секунду видеть ее летящие от ветра волосы, узкую руку, которой она то и

дело пытается их удержать, и — когда она говорит что-то Мамаю — нежный абрис щеки, покрытой легким загаром. Уж хотя бы это он мог себе позволить сейчас, когда был как бы наедине с нею. Или наедине с собою — это точнее. Наедине с собою можно было не притворяться.

Совсем еще недавно он, кажется, называл это «собачьим бредом», иронизировал над Лапшиным за его намерение «полюбить по-настоящему». Вот и доиронизировался. Нет, в самом деле — что теперь делать?

Что делать, что делать... Да ничего не делать! Опомнитесь, взять себя в руки, продержаться до ее отъезда. А потом?

— Доиронизировался, дурак,— повторил Игнатьев уже вслух.

— Что вы сказали? — крикнула Ника, оборачиваясь.

— Ничего, ничего,— смутившись, отозвался он.

— Мне послышалось, вы что-то говорили!

— Да ничего я не говорил! — крикнул он с досадой, отчего тон ответа получился излишне резким; в Никиных глазах мелькнули недоумение, мимолетный испуг, обида.

Ну и чудесно, подумал он, когда она отвернулась и снова заговорила с Мамаем. Вот это лучше всего. Обиделись бы вы раз навсегда, драгоценнейшая Никион, и оставили бы вы меня в покое с вашим голосом, с вашими серыми глазами и вашей прелестной древнеегипетской прической. Это в десятом-то классе! Ха, можно себе представить, что будет потом. В его время десятиклассницы носили длинные платья, колени и вообще нижние конечности напоказ не выставляли, а волосы заплетали в косы и подкалывали на затылке двумя встречными полукружиями. Уродливо было, ничего не скажешь, зато как скромно!

Впрочем, некоторые модницы уже тогда начинали шеголять в узких брючках — взамен целомудренных лыжных шаровар эпохи лесонасаждений и бальных танцев. Брючки появились сразу после Московского фестиваля, летом пятьдесят седьмого. Тетку это шокировало. «Дело не в самих брюках,— говорила она,— а в тенденции. Коль скоро девушки поняли, что скромность можно пожертвовать ради возможности продемонстрировать фигурку, то уж ты их, дружок, на этом пути не останавливай...» Тетка ошибалась только в одном: сам он отнюдь не рвался останавливать их на этом гибельном пути. Брючки нравились ему гораздо больше, чем шаровары.

Умным человеком была вообще тетка... Кстати, она — женщина весьма ученая и атеистка — твердо верила в некое своеобразное Провидение и, во всяком случае, была убеждена, что все, что бы ни случилось с человеком, в конечном счете оказывается ему на пользу. Отсюда с железной последовательностью напрашивался вывод: не роптать на судьбу. И тетка в самом деле никогда не роптала (хотя ее личная судьба была очень и очень трудной) и не позволяла роптать ему. Когда он, ее обожаемый Митенька, позорно срезался на вступительных и получил повестку из военкомата, ему очень хотелось воз-

роптать. Но тетка и тут не дала. Университет от него не уйдет, объявила она, а мужчине бегать от армии негоже — баба он, что ли, бояться солдатской жизни? Впрочем, в солдатах ему пришлось походить всего полгода: тетка вскоре слегла, и его «по семейной льготе» демобилизовали. Осенью он со второго захода поступил на истфак.

...Да, видно, никогда нельзя жалеть, что жизнь пошла так, а не иначе. Она пошла так, как было нужно, единственно правильным для тебя путем. Так в крупном, и так же, надо полагать, в малом. Если бы сегодня утром ему предложили ехать на эту прогулку только вдвоем, он бы отказался наотрез; однако случайные обстоятельства перехитрили его, в результате он все-таки едет, и несколько не жалеет об этом. Потому что это дает ему сейчас немыслимую в лагере возможность сидеть совсем близко от нее — и смотреть, смотреть...

Игнатъев смотрел так увлеченно, что не заметил, как они миновали окраины Судака и свернули на дорогу, ведущую в Новый Свет; когда он наконец опомнился, впереди на буром гребне холма уже виднелись знакомые прямоугольные очертания генуэзских башен. Промелькнул мимо дорожный указатель — «Уютное». Притормозив у фонтана, Мамай лихо сделал левый поворот и с ревом вогнал машину в переулок, ведущий к крепостным воротам.

— Ну, вот и приехали. С чем вас и поздравляю, — сказал он, — потому что запросто могли не доехать. А ну-ка, командор, наострите ваш музыкальный слух: или я ошибаюсь, или у нас что-то неладное с трансмиссией...

Игнатъев добросовестно прислушался, но разобрать ничего не смог: Мамай, остановив машину, так газанул на холостых оборотах, что Ника заткнула уши, а из-за соседнего забора с воплями и хлопаньем крыльев посыпались перепуганные куры. Потом Мамай выключил мотор и обернулся к Игнатъеву:

— Да, дело плохо...

— Что-нибудь не так? Я, признаться, ничего не расслышал.

— У тебя нет практики. Трансмиссия, жиклеры, — озабоченно бормотал Мамай, — подозреваю, что и бобина тоже накрылась. Да, придется мне пошачить...

— Мы вам поможем! — объявила Ника.

— Во-во, только тебя там не хватало. Достань-ка лучше брезент из багажника.

Ника послушно выпрыгнула из машины и отправилась доставать брезент.

— Нет, в самом деле, Витя, — сказал Игнатъев, — зачем тебе одному? Сделаем это вместе, ты только проинструктируй меня в общих чертах...

— Знаете, командор! Чем инструктировать *вас*, проще перебрать двигатель голыми руками. — Мамай вылез, достал из багажника инструменты и принялся вместе с Никой расстилать брезент под машиной.

— Нет, но все-таки... — нерешительно сказал Игнатъев.

— Иди, не стой над душой, я этого не люблю! Начинайте осматривать крепость без меня, я подойду потом... если справлюсь. Уводи его, Лягушонок, он тебе все покажет. Черт возьми, ты можешь наконец осознать себя дамой, имеющей право на элементарное мужское внимание? Я уж не говорю «преклонение», черт меня поberi!

— Хорошо, хорошо,— поспешно сказал Игнатъев, чувствуя, что Витенькино красноречие хлынуло по опасному руслу.— Идемте, Ратманова, я вам покажу Солдайю.

— Вот так-то лучше,— проворчал Мамай, заползая под брюхо фиолетового «конвертибля».— Тоже мне, помощнички нашлись...

## ГЛАВА 5

Чувствуя себя очень глупо, Игнатъев молчал до самого входа в крепость. Там, остановившись под аркой, соединяющей две воротные башни, он кашлянул и сказал ненатуральным голосом:

— Ну, вот. Это, так сказать, главные ворота.

— Я вижу,— тихо отозвалась Ника.— Какие огромные...

— Да, они довольно... большие. За ними начинается территория непосредственно Солдайи. Это старое название города, генуэзское. В разные периоды он именовался по-разному — Сугдея, Сидагиос. Наши летописи называли его Суружем. «Слово», кстати, тоже.

— Какое слово? — не поняла Ника.

— «Слово о полку Игореве». Ну что ж, идемте дальше.

Они пошли дальше. За воротами, окинув взглядом пустой, поросший полынью и ковылем склон поднимающегося к югу холма, Ника спросила удивленно:

— Здесь был город? Даже следов никаких не сохранилось...

— Их просто не раскопали: Все это было застроено, и очень плотно. Как правило, средневековые города отличались плотной застройкой... относительно безопасное место внутри стен ценилось дорого.

— Значит, эти стены и были границей города? Но он же совершенно крошечный!

— По масштабам пятнадцатого века? Как сказать. Здесь площадь — около тридцати гектаров; Орлеан занимал лишь немногим больше, что-то около сорока. Кстати, при Жанне д'Арк в нем было пятнадцать тысяч жителей, сегодня это население средней кубанской станицы. Ну, что вам еще показать? Впереди на гребне находится непосредственно крепость — вон те башни, видите? Это и есть Консульский замок, цитадель, то, что в русских городах называли детинцем или кремлем.

— Почему Консульский? — спросила Ника, из-под ладони пытаясь разглядеть против солнца очертания массивных квадратных башен.

— Он служил резиденцией консулу Солдайи, наместнику.



Кстати, все башни наружной оборонительной стены названы именами консулов, при которых они строились или подвергались реконструкции. Башня Бальди, башня Джудиче, башня Джованни Марионе... я уже их всех не помню, где какая. Можно уточнить: в каждую вделана плита с соответствующей надписью.

— По-итальянски?

— Разумеется, нет. В средневековой Европе официальным языком была латынь.

— Как интересно... Я почему спросила — как-то странно слышать все эти имена здесь, у нас. Правда? Как будто переносишься в Италию... А можно посмотреть ближе, где жили все эти консулы?

— Можно. Правда, там сейчас мало интересного — пустые стены. А по ту сторону ничего нет, просто обрыв к морю. С юга Солдайя была совершенно неприступной... Есть легенда, что последним защитникам крепости — когда ее взяли турки — удалось спуститься вниз и бежать на корабле. Сомнительно, впрочем. Турки, несомненно, должны были блокировать подступы с моря...

Он говорил очень сухо, словно давал пояснения непонятливой студентке, и Ника чувствовала себя все хуже и хуже. Ему совершенно неинтересно таскаться с нею по этой крепости, что-то объяснять, что-то рассказывать... Мамаю он достаточно ясно дал понять, что предпочел бы остаться ремонтировать машину и потом пойти в крепость втроем, но бородатый псих ничего не понял. А с этими своими шуточками он вообще теряет всякое чувство меры...

Они поднялись на гребень холма; с южной стороны он обрывался вниз почти отвесной скалой, далеко внизу лежало огромное, синее, затуманенное к горизонту море. Здесь, на солнечной стороне стены, сухо и горячо пахло полынью, нагретым камнем. Командор продолжал давать объяснения тем же бесстрастным и деловитым тоном, словно экскурсовод. Эта башня называется Георгиевская, в нижнем этаже, вероятно, помещалась замковая капелла, и в таком случае эта фреска — вон, в нише, присмотритесь, она еще различима — была чем-то вроде запрестольного образа; а на этой плите вверху еще в прошлом веке можно было увидеть барельеф с изображением Георгия Победоносца. Ника послушно карабкалась по шатким камням, пыталась разобрать что-то в едва различимых остатках фресковых росписей, заглядывала в проломы, откуда тянуло тленом и холодом, и слушала объяснения. Здесь был склад оружия; а вот это помещение служило, вероятно, для хранения запасов воды на случай осады. «Я понимаю, — говорила она. — Я понимаю». Но понимала она очень мало. В частности, ей было совершенно непонятно, как могли люди жить в этих тесных каменных конурах.

— Это все как-то ужасно мрачно, — сказала она наконец. — Давайте просто посидим и посмотрим на море. Хорошо, правда? По-моему, на море можно смотреть часами, — вот кажется, что ничего нет, пусто, и все равно — смотришь, смотришь...

— Если уж смотреть, то сверху,— сказал Игнатъев.— Вы не очень устали? Тогда слезаем в Дозорную башню, это самая высокая точка крепости.

Подниматься пришлось по самому гребню скалы, нащупывая ногой вырубленные в камне ступени. А наверху действительно оказалось хорошо,— у Ники закружилась голова, когда она остановилась у подножия полуразрушенной башни и, держась за чудом выросшие здесь на камне кусты, окинула взглядом бескрайне раскинувшиеся на север и на запад горные гряды: серые скалы, густозеленые леса по склонам, бурые складки выжженных солнцем травянистых холмов; а потом они зашли за угол обвалившейся стены и снова увидели море, обрывистые скалы Нового Света и синеватый далеко на востоке мыс Меганом. С юга сильно и ровно дул свежий ветер, пахнувший эвксинскими просторами.

— Не зря я вас сюда притащил?— спросил Игнатъев.— Теперь можно сесть и отдохнуть по-настоящему. Вы устали?

— Нет, не очень...

— Не жалеете, что поехали?— спросил он, отвернувшись от ветра, чтобы закурить.

— Нет, что вы...

У нее вдруг ужасно заколотилось сердце: вот сейчас они посидят, отдохнут, и он предложит возвращаться. И возможность поговорить с ним, выяснить наконец, за что он на нее сердится,— возможность, о которой она впервые подумала, когда Мамай сказал, что остается чинить машину,— эта единственная возможность будет упущена.

— Дмитрий Павлович,— сказала она, вся сжавшись, точно ей предстояло сейчас прыгнуть отсюда в эту синюю бездну под ногами.— Дмитрий Павлович, я совсем не жалею, что поехала и что мы с вами оказались вот так... совсем одни. Я давно хотела поговорить с вами...

— Пожалуйста,— сказал он вежливо, но таким тоном, что у Ники пропало всякое желание объясняться. Однако замолчать теперь было бы глупо.

— Я понимаю, вы можете и не ответить мне... и я вообще не имею права спрашивать об этом, но... просто вы так стали ко мне относиться последнее время, что...— Она запнулась и беспомощно пожала плечами.— Ну, вы понимаете, можно подумать, что я сделала что-нибудь некрасивое или вела себя не так, как нужно. Просто, наверное, лучше было бы, если бы вы сказали мне... в чем дело... иначе это... выглядит...

Она выговорила все это замирающим голосом, который становился все тише и тише, и Игнатъев так и не узнал, как это выглядит. Впрочем, он и сам прекрасно понимал, что выглядит это плохо и Ника была вправе поставить вопрос так, как она его поставила. Но что он мог ей ответить?

— Не понимаю, с чего вы это взяли,— проникаясь отвращением к себе, сказал он фальшивым тоном.— В конце концов, вы не так долго находитесь в отряде, чтобы мое отношение к вам могло перемениться...

Что за чушь — тотчас же промелькнуло у него в голове, нельзя же отвечать таким образом, лучше вообще молчать, если не хватает смелости сказать правду. А почему, собственно, он должен бояться сказать эту правду ей в глаза — вот сейчас, когда они вдвоем и ни одна живая душа не слышит их разговора? Она ведь не ребенок, она все поймет. Смешно в самом деле — в шестнадцать лет выходят замуж, а он не решается сказать такую простую вещь...

— Однако оно переменялось, Дмитрий Павлович, — сказала она упрямо, — я ведь вижу, и две недели — это не так мало... Вы понимаете, если я тут ни при чем — ну вдруг у вас просто свои неприятности или настроение плохое и вам не хочется ни с кем общаться, — то это, конечно, меня не касается; но я все время думаю, что виновата в чем-то, что именно по моей вине вы стали относиться ко мне гораздо хуже, чем раньше, — я понимаю, это назойливость, но...

— Я не стал относиться к вам хуже, — перебил он ее, не отрывая прищуренных глаз от туманного морского горизонта. — Всегда нет. Вы ничего не понимаете... Ника. Я стал относиться к вам иначе, это верно. Но не хуже. Просто — совершенно по-другому. Вы понимаете меня?

— Нет, — робко ответила Ника.

— Я полюбил вас. Так понятнее?

— Ой, ну что вы, — прошептала она совсем уже перепуганно. — Это вам, наверное, показалось, что вы!

— К сожалению, не показалось. Такие вещи не кажутся.

— Дмитрий Павлович, но ведь это же... нелепо!

— Прекрасно знаю, что нелепо. Именно поэтому я старался быть от вас подальше и сам никогда не начал бы этого разговора, — хмуро сказал Игнатъев. — Если бы не вы! Вы начали добиваться ответа — что да почему. Ну вот, теперь знаете. Я надеялся, это пройдет незамеченным. В конце концов, через две недели вам уезжать...

— Но это было бы ужасно, — сказала Ника, делая большие глаза, — если бы я уехала, ничего не узнав!

— Теперь знаете, — повторил Игнатъев. — Раз уж так получилось... Ну, идемте вниз.

— Нет, что вы, — быстро сказала Ника, — я не хочу вниз! Дмитрий Павлович, вы совсем не так меня поняли... Я сказала «нелепо» вовсе не в том смысле, что это нелепо вообще! Я сказала «нелепо», потому что о себе подумала, — вы понимаете? О себе, а не о вас! Если вы действительно, ну... полюбили меня, — выговорила она с запинкой и покраснела, — то именно это и нелепо — почему меня? Ну, вы понимаете, в смысле — за что?

— Не знаю, не задумывался над этим, — сказал он. — Да и не все ли равно, за что вас любят? Что за любопытство, в самом деле!

— Нет, но ведь все-таки интересно, — произнесла Ника задумчиво. — Я спрашиваю просто потому, что не могу осознать...

то, что вы мне сказали. И вообще... я никогда не читала, чтобы в любви объяснялись так сердито.

— Уж как умею,— сказал Игнатьев.— Поймите, Ника... Будь вы старше, все было бы проще. А так это нелепо, вы правы. Теперь, когда вы получили ответ на свой вопрос, будем считать, что никаких объяснений между нами не происходило и все остается по-прежнему....

— Как это — не происходило?— вопрос прозвучал почти обиженно.— Вы сказали, что любите меня! А теперь?

— И теперь тоже,— сказал он терпеливо.— Но внешне наши отношения... Ну, словом, в этом смысле для нас ничего не изменилось.

— Почему?

— Хотя бы потому, что со стороны это выглядит нелепо,— объяснил он.— Но это еще черт с ним. Главное то, что наше объяснение было односторонним. Ни на что другое я, впрочем, не рассчитывал,— добавил он быстро.

— Я понимаю... Дмитрий Павлович! Мне ужасно жалко, что я... ну, не могу ответить на вашу любовь...

— Я знаю, Ника,— мягко сказал он.

— Да, но мне так хотелось бы!

— Чего?

— Ответить на вашу любовь!

Он посмотрел на нее — впервые с того момента, как начался этот разговор. И постарался улыбнуться.

— Ничего,— сказал он бодрым голосом.— У вас еще все впереди. Не всегда же вам будут объясняться в столь нелепых обстоятельствах....

— Почему нелепых?

— Ника, но вы же сами сказали!

— Да ведь не в этом смысле, честное слово, совсем не в этом!

— Неважно, в каком. Я много старше вас, понимаете?

— Ну и что?— Ника смотрела на него задумчиво. Странно: за эти несколько минут с нею что-то случилось. Какое-то волшебное превращение, как в сказке. Только что она была ничем не примечательной девчонкой, а сейчас — она сама не заметила, как это произошло,— ей вдруг прибавилось и возраста, и ума...

Много старше? Действительно, не так давно он был много старше. Но сейчас? Ника уже не была в этом уверена. Точнее, возраст переставал играть роль. При чем тут возраст? Только что она была девчонкой, десятиклассницей, а он — Взрослым. Но потом прозвучало заклинание — самое древнее и самое могучее, насколько можно судить хотя бы по литературе, — и все преобразилось. Она уже не была девчонкой — она была Любимой. Она вошла в бессмертный Орден Любимых — на равных правах с Джульеттой, Лаурой и Беатриче. При чем тут теперь ее возраст? Джульетта — та и вовсе была пигалица, какая-то ничтожная семиклассница, по сегодняшним понятиям...

— Я, во всяком случае, не чувствую себя много моложе вас,—

объявила она Игнатьеву и добавила с оттенком снисходительности в голосе: — Я думаю, теперь вы можете говорить мне «ты».

Он глянул на нее ошалело и встал с камня, на котором сидел.

— Идемте-ка вниз, Ника, — решительно сказал он.

— Не пойду, я же сказала! Что мы там будем делать? Все равно в Коктебель нам раньше пяти ехать нет смысла — Мамай договорился с мальчишками на пять. Вы будете называть меня на «ты»?

— Не знаю, — сказал он.

— А кто же знает? — резонно спросила Ника. — Мне, например, было бы очень приятно говорить вам «ты», но я этого не могу.

— Не можете?

— Нет, я еще не освоилась с новым положением. Но ведь у вас, наверное, было время привыкнуть к тому, что вы меня любите?

— Было, — согласился он. — Конечно, я с радостью звал бы вас на «ты», если бы не боялся, что это вас обидит.

— Но ведь я вам разрешила, — сказала она с большим достоинством.

Игнатьев постоял в нерешительности, потом подошел и сел на край обвалившейся каменной кладки рядом с Никой.

— Послушай, — сказал он. — Договоримся: наедине мы будем говорить друг другу «ты».

— И я тоже? — спросила она испуганно.

— Да, если это тебе приятно. Ты ведь сказала, что тебе это было бы приятно, но ты боишься. А чего бояться?

— Ты, — сказала Ника. Повернув голову и глядя ему в глаза, она повторила несколько раз, негромко и торжественно, как заклинание: — Ты, ты, ты!

— Ну? — улыбнулся он. — Это так страшно?

— Нет... — Она медленно покачала головой и отвела от щеки волосы. — Это очень приятно, и мне сразу стало легче и проще... с тобой. У меня такое ощущение... будто я сразу выросла, что ли... я не знаю, как это объяснить...

— Я понимаю тебя. Думаю, что понимаю. — Продолжая улыбаться, он взял ее руку в свои и осторожно поднес к губам. — Я тебя люблю, Ника, и буду любить независимо от того, как все сложится. Что сложится может по-разному — я на этот счет не обманываюсь. Но знаешь, Ника, просто любить — даже на расстоянии — это уже большое счастье...

Ника, не отнимая руки, смотрела на него как загипнотизированная.

— Мне все кажется, что я сейчас проснусь, — медленно проговорила она. — Потому что это не может быть на самом деле, так... вдруг! Я всегда думала, что это приходит постепенно... и ты видишь и чувствуешь, как оно приближается. А я еще сегодня утром была уверена, что ты терпеть меня не можешь...

— Мне было очень трудно, Ника.

— А теперь?

— Теперь легче.

— Легче или совсем-совсем легко?

— Нет, еще не «совсем-совсем», — улынулся Игнатьев.

Ника подумала и кивнула.

— Да, я понимаю. Но если бы я сказала: «Я тоже тебя люблю» — то тогда тебе было бы совсем хорошо, да?

— Не будем об этом говорить. — Игнатьев засмеялся немного принужденно. — Мне и так хорошо, поверь.

— Я верю, но я хотела бы, чтобы тебе было еще лучше... Между прочим, определить, любишь уже или не любишь — это очень трудно.

— Совсе нет. Если трудно определить, то это значит, что не любишь. Когда полюбишь, сомнений не остается.

— Правда? Тогда просто. Я немедленно напишу тебе, как только у меня не останется сомнений. Я хочу сказать — в том случае, если они еще будут к моменту моего отъезда... Ой, что это?

Они прислушались. Ветер стих, и снизу отчетливо слышался суматошный гомон голосов.

— Вот и кончилось наше уединение, — сказал Игнатьев. — Погоди-ка, я посмотрю.

— Это экскурсия, — сказала Ника упавшим голосом. — Нечего и смотреть, нужно просто уходить...

Они выбрались на северную сторону утеса — внизу действительно изготавливалась к штурму Дозорной башни какая-то лихая банда с рюкзаками и гитарами. Но даже это зрелище не могло сейчас омрачить для Ники ее нового блистающего мира; легко опираясь на руку Игнатьева, она сходила по вырубленным в скале ступеням, как сходят с Олимпа.

Не успели они спуститься, как в ворота с ревом ворвался авангард второй экскурсии. Ника и Игнатьев переглянулись и рассмеялись.

— Ничего, — сказал он, — здесь все-таки тридцать гектаров!

И в самом деле, места хватило для всех. Туристы облепили Консульский замок, полезли к Дозорной башне, а Игнатьев с Никой бродили внизу вдоль полуразрушенных стен, слушали стрекотание кузнечиков в сухой траве, переходили от башни к башне, разглядывая вмурованные в грубую кладку белокаменные резные плиты с гербами генуэзских патрициев. Иногда Игнатьев переводил вслух какую-нибудь лучше других сохранившуюся надпись: «В лето господа нашего тысяча четыреста девятое, в первый день августа, завершена постройка сия повелением благородного и могущественного мужа Лукини де Флиско Лавани, графа и достопочтенного консула и коменданта Солдаини, и Бартоломео Иллоне, капитана...»

Ника вдруг сделалась молчаливой. Первое, охватившее ее там наверху, неповторимое и сказочное ощущение происшедшей с нею метаморфозы теперь прошло, уступив место пугающему чувству тоже совершенно новой для нее, неясной еще ответственности — за что и перед кем, она еще не знала, но понимала уже,

что теперь изменилось все и что посвящение в сестры Ордена обязывает ее к чему-то. Но к чему?

Просто у меня сегодня кончилось детство, думала она. Сегодня я стала взрослой. Я вошла в мир взрослых, и взрослый объяснился мне в любви. Кстати, как *его* называть? Когда говоришь «ты», смешно обращаться по имени-отчеству; но не могу же я называть *его* по имени, словно он мой ровесник, словно мы учимся в одном классе...

Но это, конечно, не главное. Можно пока никак не называть, не обращаться, потом это устроится. В конце концов, сказать впервые «ты» было тоже очень трудно и страшно. Дело не в этом. Самое главное — что теперь должна делать я? Ведь глупо, наверное, выслушать объяснение в любви и ничего не сказать в ответ. Вдруг он ждет какого-то ответа?

— Я, наверное, очень глупая,— сказала она, набравшись храбрости.— Наверное, это вопрос ума или такта, но я действительно не знаю, должна ли я была ответить что-нибудь определенное, когда ты сказал, что... ну, что любишь меня. Ты ждал от меня ответа?

— Нет,— сказал он.— Ты ведь помнишь, я вообще не хотел говорить, это ты заставила меня сказать.

— Ты жалеешь?— спросила она быстро.

— Нет, разумеется.

— Но ответа от меня ты не ждал?

— Нет, но я боялся, что тебе станет смешно.

— Ну что ты, как ты мог подумать,— сказала она с нежным упреком.— Мне стало страшно, это правда. И еще — я не поверила в первый момент. Но чтобы смешно? Что ты!

— Я просто боялся,— сказал он.— Я и сейчас боюсь, Ника.

— Боишься?— Она изумленно подняла брови.— Чего?

Игнатьев не ответил. Он сидел на камне в тени, а она стояла перед ним, обмахиваясь пушистой метелочкой ковыля,— обычная, всегдашняя, такая, какую он видел ее каждый день на раскопках, в защитных шортах и клетчатой рубашке, в запылившихся сандалиях и с наклепленной на колене не очень чистой полоской лейкопластыря. Юная, невообразимо юная. Он посмотрел на эти ее исцарапанные загорелые колени со следами подживающих ссадин, и у него сжалось сердце. Станный вопрос — чего он боится: боится ее потерять, вот чего. Но ведь не скажешь же ей этого!

Он с трудом заставил себя улыбнуться и даже изобразил что-то вроде подмигивания.

— Нет-нет,— сказал он.— Это я так, не обращай внимания. Понимаешь, я думал о другом.

— О другом!— воскликнула она с обидой.— Почему же ты думал о другом, когда мы говорим о таких важных вещах?

— Это не совсем другое,— сказал он.— Вернее, другое, но имеющее отношение к тому, о чем мы говорим.

— А-а,— сказала она и села на землю, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками

— Который час?— спросила она, помолчав.

— Уже половина второго. Тебе надоело здесь?

— Что ты! Наоборот, я подумала, что уже, может быть, поздно, а мы еще ни о чем не поговорили. Мы ведь не сможем поговорить в лагере?

— Почему же, — улыбнулся он. — Смотря о чем!

— Да я понимаю! Но ведь об этом мы говорить не сможем, правда? А мы смогли бы уехать из лагеря вдвоем в следующее воскресенье? Это не будет выглядеть подозрительно?

— Я думаю, что нет, но тогда нам придется идти пешком до шоссе. Впрочем, можно заранее узнать, не будет ли попутной машины в колхозе.

— Я предпочла бы пешком. Ты любишь ходить пешком?

— Да. Но это довольно далеко, ты помнишь?

— Неважно! Жаль, что ты не умеешь водить машину, могли бы опять приехать сюда... Но тем лучше, мы просто погуляем — вдвоем, как хорошо, правда? Ой, мне так много нужно о тебе узнать...

— Что именно?

— Ну все, все решительно! Ты ведь знаешь обо мне гораздо больше, чем я о тебе, да, в общем-то, обо мне и нечего знать... Между прочим, я должна рассказать тебе свое прошлое, правда ведь?

— Ну, видишь ли, — сказал он, с трудом сдерживая улыбку, — это не обязательно, но я, конечно, был бы рад узнать все, чем ты захочешь со мной поделиться...

— В настоящем у меня ты, — сказала Ника. — А в прошлом я... ну, понимаешь, у меня был роман с одним мальчиком. Я с ним даже целовалась.

Она подумала, нужно ли рассказать и про нос, но решила не рассказывать. Нос — это было несолидно; мало ли какие глупости делаешь в детстве! Его, например, она бы за нос не укусила.

— Ну вот, теперь ты знаешь обо мне более или менее все, — добавила она. — Никаких тайн между нами быть не должно.

— Да-а-а, — протянул Игнатъев. — Я вижу, у тебя и в самом деле бурное прошлое. Ну, а что же этот мальчик?

— О, он такой дурак, — надменно сказала Ника. — Это была моя ошибка. Впрочем, по-настоящему он мне даже не нравился. Ну, просто хороший товарищ. Веселый такой! Мне нравился другой мальчик, Андрей, он как раз наоборот — ужасно умный. Я его так старалась соблазнить, изо всех сил, а он не обращал на меня никакого внимания. Вернее, обращал, но только для того, чтобы потащить в кино или музей. Он помешан на искусстве, будущий художник. А можно спросить у тебя одну вещь?

— Конечно.

— Скажи, в твоей жизни тоже были другие женщины?

— Да, были, — Игнатъев помолчал. — Два года назад мне даже показалось, что я влюбился...

Ника ждала продолжения, глядя на него круглыми от любо-



пытства глазами. Поняв наконец, что дальше он рассказывать не собирается, она поинтересовалась небрежным тоном:

— Эта женщина была красива?

— Да...

Ника ощутила острый укол ревности.

— И чем это кончилось? — спросила она так же небрежно.

— Ровно ничем, — Игнатъев усмехнулся. — Все оказалось ерундой! Мы встречались несколько дней, потом она порвала со мной. Она была права, и я не жалел о нашем разрыве.

— Она была плохая, эта женщина?

— Да как тебе сказать, — он пожал плечами. — Вероятно, не столько плохая, сколько очень уж современная... в плохом смысле.

— Это ужасно, — с облегчением сказала Ника. — Вот так вдруг разочароваться — я бы, наверное, не пережила. А что значит — современная в плохом смысле?

— Безответственная, пожалуй.

— Ты считаешь, что нынешняя молодежь безответственна?

— Вероятно, не следует обобщать... но, в общем, в известной степени — да. С одной стороны, мы иногда слишком рационалистичны, а с другой... какая-то инфантильность, не знаю, а вместе с ней и безответственность — нежелание задумываться над последствиями своих поступков. Ну, или неумение над ними задуматься...

Ника помолчала.

— Как странно, — сказала она. — Вы с моим папой совсем разные люди, а в этом сходитесь. Он тоже считает, что молодежь растет ужасно безответственная... Почему, говорит, такая масса разводов? Потому что выскакивают замуж, ни о чем не думая.

— Разводы не только поэтому, и безответственностью грешит не только молодежь...

— Конечно, — согласилась Ника. — Это папа так считает. Дело в том, что он немножко реакционер, как все родители... Скажи, а твои родители живы?

— Нет, — сказал Игнатъев. — У меня не осталось никого. Отец погиб на фронте, а мама умерла в блокаду.

— А-а, — сказала Ника сочувственно. — Ужас какой... А ты тоже там был?

— Да. Потом уже меня эвакуировали, мне было пять лет. В эвакуации меня разыскала тетка, в Питер мы вернулись вместе. Мы и жили вместе, она умерла, когда я поступил в университет.

Ника долго молчала, потом спросила:

— Твой папа тоже был археологом?

— Нет, он преподавал математику. Археология мне досталась от тетки — она была историком и вообще большим знатоком античности. От нее и пошло. А чем занимаются твои родители?

— У мамы, собственно, нет никакой специальности, она из-за войны не смогла ничего окончить, она просто работает в одной ведомственной газете. Очень скудно. А папа — инженер, в основном по турбинам.

— На электростанции?

— Нет, он сейчас... в министерстве. Министерство энергетического машиностроения, кажется так.

— Ясно, ясно... У тебя есть братья?

Ника покачала головой.

— У меня был братик, только он умер в войну. Совсем маленьким, грудным. Сейчас ему было бы уже... двадцать шесть лет.

— Да,— сказал Игнатъев, помолчав.— А ты посмотри-ка, нас скоро прогонят и отсюда...

Ника оглянулась — действительно, положение их за это время стало угрожающим. Судя по всему, силы обеих экскурсий соединились и, оставив небольшие гарнизоны на Дозорном утесе и в Консульском замке, готовились теперь со всей мощью неистраченного наступательного порыва штурмовать одну за другой все четырнадцать башен наружной оборонительной стены.

— Да, я думаю, нам лучше убраться самим,— сказала Ника. Пойдем, в самом деле, нужно же посмотреть, что с Мамаем, а то неудобно...

Игнатъев встал и, протянув руку, помог Нике подняться с земли; она вскочила на ноги быстрым гибким движением, но его пальцы не разжались. Так, рука в руке, они и побрели к выходу из крепости. В воротах Ника оглянулась и потянула Игнатъева за руку. Он остановился.

— Ты не брал с собою аппарата? — спросила она, прищуренными от солнца глазами глядя на утес с прилепившейся наверху Дозорной башней.— Жаль. А впрочем, нет! Я все равно запомню это на всю жизнь, а фотография — что-то неживое... Мы еще приедем сюда когда-нибудь?

— Наверное,— сказал он.— Конечно, приедем, Никион.

— Как ты меня назвал? Никион?

Игнатъев смутился.

— Это я как-то думал... по-русски твое имя не имеет ласкательной формы. Мне тогда вспомнилась греческая форма — Никион, от Береники...

— Вероника по-гречески «Береника»?

— Береника — имя древнееврейское, но было распространено в античном мире. По-гречески — Никион...

— Ужасно не хочется уходить,— вздохнула она и еще раз обвела взглядом бурый травянистый холм, неровную линию полуразрушенных стен, тяжелые очертания Консульского замка. Туристы уже овладели мечетью и бесчинствовали на ее плоском куполе.

— Идем,— сказала Ника и опять вздохнула.

Подходя к машине, они еще издали увидели лежащего под нею Мамаю и переглянулись с виноватым видом, но потом фигура мученика техники показалась им странно неподвижной. Действительно, при ближайшем рассмотрении она оказалась спящей.

— Странно,— сказал Игнатъев, посмотрев на нетронутую сумку с инструментами.— По-моему, он и не брался ни за какой ремонт...

Вечером четвертого, около девяти, Андрей позвонил Ратмановым — безрезультатно, к телефону никто не подошел. По понедельникам люди обычно бывают дома, так что безлюдность ратмановской квартиры скорее всего объяснялась тем, что предки героически сидят в Малаховке, не обращая внимания на не поавгустовски собачью погоду. На даче у них, кажется, тоже был телефон, но Андрей не знал номера.

Оставалось ждать. В конце концов, теперь Ника должна была приехать со дня на день, ведь ее спутники связаны сроками своего отпуска. Надо полагать, она позвонит.

Прошло еще три дня, никто не звонил, погода оставалась такой же гнусной, работаться не работалось. Андрей дошел до того, что даже приближающееся начало учебного года стало казаться ему счастливым событием, которого ждешь не дождешься; офонареть можно, как выражается это чудо интеллекта — мисс Борташевич. Кстати, куда они все к черту запропастились? Он всячески старался убедить себя, что возвращения Ники ждет с ничуть не большим нетерпением, чем остальных членов банды, Пита, скажем, или крета Игоря.

В довершение всего он вдруг перестал понимать что-нибудь в искусстве. Зачем оно вообще? Говорят — для того, чтобы приносить радость. Чувь собачья. Кому оно приносит радость? Разве что немногим эстетам; ради них одних нет, в сущности, никакого смысла работать. Большинству людей — подавляющему большинству — оно не дает ровно ничего. Последнее время в музеях он смотрел не столько на самую экспозицию, сколько на лица посетителей. Поучительное зрелище! Вот достать по знакомству бонлоновый джемпер — это их обрадовало бы, а скажи им завтра, что случилась какая-то катастрофа и в мире нет больше ни «Троицы», ни «Граждан Кале», ни Пергамского алтаря, — они и ухом не поведут. Ну, нет так нет!

Так что, если не считать кучки эстетов, искусство доставляет радость только самому творцу, в момент творчества. Но это «радость», от которой иные вешались, стрелялись, сходили с ума. Каторга, самая настоящая каторга. И оттого, что без нее жить еще невыносимее, она легче не становится, именно от этого она еще страшнее. С обычной каторги можно хоть убежать или по меньшей мере надеяться на то, что убежишь рано или поздно. А тут надеяться не на что.

Искусство — и двадцатый век! Рублев, например, тот знал, для чего и ради чего пишет. Тогда это было подвигом. Служением. Человек постился и молился перед началом работы. А для чего — ради чего — пишут сейчас? Воспитательное действие искусства, видите ли: люди увидят новую картину или прочитают новую книгу — и вдруг ахнут, поняв, какими они до сих пор были бьяками. Дезактивируют боеголовки, выпустят политических заключенных, перестанут ненавидеть всех тех, у кого иной цвет кожи или иной образ мыслей... В это, что ли, прикажете верить? Уж скорее

можно понять откровенного стяжателя, который, не мудрствуя лукаво, кистью или пером выколачивает себе кооперативную квартиру, машину, дачу... Перед таким, во всяком случае, не встанет вопрос — а ради чего?

Что ж, если быть честным, то приходится признать: работаешь ты для себя. Только для себя! Потому что эта работа доставляет тебе радость, а ощущение радости творчества отодвигает на задний план все другие соображения — в том числе и вопрос пользы. Но где же тогда общественная функция искусства? Тогда лучше кирпичи класть, это куда проще и честнее.

И не обязательно кирпичи — ведь сколько на свете отличных профессий, интересных и нужных, приносящих людям реальную пользу. Но все они не для тебя. Потому что, чем бы ты ни занимался в жизни, всегда искусство будет стоять между тобой и твоим делом, всегда будет мучить мысль, что ты изменил Призванию. Будь оно проклято!

Что-то мешало Андрею говорить об этом с родителями. Они просто не поняли бы его, стали бы произносить общеизвестные истины — вроде того, что от искусства нельзя ждать мгновенного воздействия на общественное сознание. Родители всегда говорят правильные вещи, которые почему-то никого не убеждают. Несмотря на всю их неоспоримую правильность. Да и потом, это вопрос сугубо специальный, не так просто в нем разобраться человеку, далекому от искусства. Вот если бы познакомиться с кем-нибудь из настоящих художников, — неужели у них нет никаких сомнений? Да нет, едва ли. Какое же это искусство, если нет никаких сомнений и все ясно, и просто, и понятно, как в учебнике арифметики; если есть что-то совершенно противоположанное искусству, так это самодовольная уверенность в собственной правоте — не какой-то частной правоте в данный момент, а вообще, раз и навсегда, априорно. Во всяком случае, большие художники всегда сомневались и мучились — может быть, это и сделало их большими...

Он встретил Нику в воскресенье семнадцатого, недалеко от ее дома, возле магазина «Изотопы». В этот день он собирался поехать на Выставку посмотреть новые машины, но с утра опять пошел дождь, и ему вдруг расхотелось тащиться в такую даль. Последнее время его настроения и планы сделались вдруг подверженными частым и совершенно внезапным переменам под влиянием любого пустяка — например, погоды. Раньше этого не было. До обеда он проторчал дома, ничего не делая, если не считать безуспешной попытки починить электрический тостер, в котором отказала автоматика. «Хоть бы почитал, что ли, — сказала мама, — я вчера притащила из библиотеки кучу книг, ты даже не поинтересовался...» Он ответил в том смысле, что книги — это заменитель жизни и, как все суррогаты, ни к чему хорошему привести не могут, за что был обозван чудовищем и троглодитом. «Я где-то слышала, что самые антиинтеллектуальные люди —

это художники,— добавила она.— Ну, и скульпторы, словом деятели изобразительного искусства, ваш брат. Паоло Трубецкой вообще ничего не читал. Даже работая над головой Данте, не удосужился прочитать «Божественную комедию».— «И правильно,— сказал Андрей.— Данте у него вышел совсем не плохо, может быть именно поэтому. Что ты вообще понимаешь в этих вещах?» Мама почему-то обиделась, и тут уж ему не оставалось ничего другого, как пойти бродить по улицам, благо дождь к этому времени почти перестал.

Он увидел Нику и в первую секунду даже не поверил своим глазам, так это получилось неожиданно. Но это действительно была она, очень загорелая и то ли похудевшая немного, то ли просто вытянувшаяся еще больше за это лето. Она была в расстегнутой легкой штормовке с подвернутыми до локтей рукавами, с непокрытой головой, и дождевой бисер блестел в ее волосах, немного выгоревших и порыжевших от солнца и морской воды. Он сразу, мгновенно охватил и словно вобрал в себя одним взглядом все эти детали, которые вдруг показались исполненными для него таким огромным и ему самому не до конца еще понятным смыслом; все, составляющее сейчас ее облик, стало вдруг необыкновенно важным, любая мелочь — и подживающая царапина повыше запястья, и золотисто-смуглый тон загара на ее ногах, и полуоторвавшаяся пряжка на туфле, и хозяйственная сумка, из которой торчал пучок зеленого лука и выглядывали углы бумажных пирамидок с молоком. Его сердце замерло в первый момент от непонятого испуга — замерло и оборвалось, и лишь в следующую секунду он понял, что это был испуг перед возможностью ошибки, случайного сходства. И тут же, когда он понял это и убедился, что ошибки не произошло и что это действительно Ника, он почувствовал огромное облегчение, радость, покой. Это была действительно она. Наконец-то!

— Хэлло,— сказал он как можно более равнодушным тоном.— Ника? Вот так встреча.

Она, в свою очередь увидев его, просияла и подняла свободную руку.

— Андрей! — закричала она радостно.— Привет! А я все собираюсь тебе позвонить.

Что-то сжалось у него внутри от этих слов, но он усмехнулся и небрежно сказал:

— Да уж ты прособиралась бы до первого сентября. Когда приехала?

— В среду. Ой, слушай, погода такая мерзкая, прямо обидно. Сперва приятно было — после тамшнего солнца, представляешь? А сейчас я уже начинаю смотреть на это довольно мрачно — все хорошо в меру... Ну, как ты?

В среду, подумал он. Тринадцатого она была уже в Москве. А сегодня семнадцатое. Четыре дня, и она все «собиралась»...

— Я? — Он пожал плечами.— Да так, ничего. В пределах. А ты как?

— Очень хорошо,— сказала Ника, излучая сияние.— Я себя чувствую просто фантастически!

— Рад за тебя. Ты хоть расскажи про эту твою экспедицию,— сказал Андрей.

— Ох, ну разве про это расскажешь,— возразила она мечтательно.— Это было просто...

— Ты не жалеешь, что просидела там столько времени?

— Ну что ты...

Он помолчал. Первая радость прошла, теперь все становилось каким-то тягостным, как в нелепом сне.

— Ты могла бы позвонить мне еще в среду,— сказал он

— Знаешь, я такой усталой вернулась, и потом, мы приехали поздно вечером... Но все эти дни я собиралась, честно собиралась, просто закрутилась как-то — ну, ты представляешь себе, тысяча разных дел...

— Каких? — спросил он спокойно и настойчиво, хотя понимал уже, что этими расспросами ставит себя в глупое положение.

— Ой, ну самых разных! Завтра, например, мне нужно ехать в Марьину Рощу за портфелем...

— За каким портфелем?

— А помнишь, я потеряла весной — уронила в Москву-реку? Так вообрази, его нашли, и этот человек даже приходил к нам, пока никого не было. Родители ведь жили на даче, так он оставил записку в почтовом ящике. Прямо чудо, правда? Ну, теперь придется поехать, — портфель, конечно, никуда уже не годится, но хоть поблагодарить за любезность... Так что, Андрей, я действительно ужасно занята все это время, ты не обижайся!

— О' кэй, это все пустяки,— сказал он и забрал сумку у нее из рук.— Ты сейчас домой? Я тебя провожу. Или нельзя?

— Ну что ты говоришь! — запротестовала Ника с преувеличенным, как ему показалось, жаром.— И вообще, ты должен к нам зайти, мы как раз будем обедать, я не отпущу тебя, так и знай, и слушать ничего не хочу...

— Исключено, я уже обедал.

— Ну, знаешь, это просто свинство! Ты ходишь в гости только когда голоден?

— Я не воспринял это как приглашение в гости,— отпарировал Андрей.— Когда приглашают, не говорят «и вообще, ты должен зайти»...

— Придира какой, ужас,— вздохнула Ника.— Что с тобой? Какая муха тебя укусила? И даже не муха, а, наверное, что-то большое и ядовитое. Овод! Слушай, ну не будь злоюй, пойдем. Ты обиделся, что я тебе не позвонила? Я ведь собиралась, честное слово!

— Ничего я не обиделся,— сказал Андрей, пожимая плечами

Снова начал сеяться дождь, мелкий, почти осенний. Разумеется, идти к Ратмановым не следовало, ее предки никогда не были ему особенно симпатичны, и это приглашение, несмотря на все Никины старания убедить его в обратном, прозвучало слишком случайно, так приглашают человека, от которого уже

все равно не отделаться; и сама Ника была какая-то не такая, он сразу это заметил: она не то чтобы скрывала от него что-то — просто в ее душе появилась теперь какая-то запретная для посторонних зона. Для посторонних — и для него в том числе. Потому что теперь он тоже был для нее посторонним.

Он понял это и почувствовал холод и пустоту, почувствовал совершенно отчетливо и безошибочно, и это удивило его, потому что так может чувствовать только влюбленный, узнав вдруг, что его не любят. Но ведь он-то не был влюблен в Нику! Или все-таки был? Был и просто не понимал этого, не понимал до того момента, когда внезапно увидел ее перед собой и его сердце замерло сначала от испуга, а потом от счастья, и он понял вдруг, что это и есть то самое главное, что *этого* не может заменить мужчине ничто — ни творчество, ни признание, ни слава, — что вообще нет в мире такого, чего он не отдал бы в этот миг за право упасть перед нею на колени, и обнять ее ноги, и прижаться к ним лицом...

Вот еще, страдания целомудренного Вертера, подумал он, пытаясь насмешкой заслониться от чего-то грозного, неведомого, которое шло на него, как идет на берег рожденное во мраке океанских глубин цунами. Все объясняется очень просто, сказал он себе, и нечего возводить это в разряд высоких переживаний... Он снисходительно — сверху вниз — покосился на идущую рядом Нику, увидел ее профиль, и сердце его снова сжалось тревожно и непривычно.

Она шла рядом и не умолкая рассказывала что-то о Крыме, о каких-то дорожных происшествиях, о том, как они в последний день путешествия чуть не сыграли в кювет где-то под Орлом; он слушал и почти ничего не понимал, — он воспринимал только ее голос, сам звук голоса, его неповторимый тембр. Наверное, лучше было не слушать, это уже было ни к чему, так же как ни к чему было принимать ее приглашение и идти к ней домой, — нужно было просто попрощаться и уйти, как только он все понял. Наверное, так поступил бы настоящий мужчина. Андрей понимал это. Но сейчас для него побыть лишний час в обществе Ники было важнее, чем чувствовать себя «настоящим мужчиной».

Он презирал себя за это, не деляя никаких скидок. Единственным утешением было то, что встреча была последней, — он уже решил это для себя: В школе как-нибудь выдержит, на людях и смерть красна; а эти таскания по улицам всей бандой вообще пора прекратить, в десятом классе найдутся занятия и по-серьезнее. Так что видеться они будут не так уж часто, в смысле — наедине. И вообще, все это типичная плешь. Пройдет. Такие вещи проходят, и нечего придавать им излишнее значение. Зря только он тащится на этот идиотский обед...

— У вас там будет кто-нибудь? — угрюмо спросил он в лифте, не глядя на Нику.

— Какие-то папины знакомые с женами, я их почти не знаю. Ну, и Светка с мужем. Да, и еще этот, что с нами ездил...

— Кто?

— А, такой Дон Артуро, Юркин сотрудник. Тоже физик.

Все это было сказано каким-то слишком уж небрежным тоном; Андрей внутренне усмехнулся. Что ж, вот, вероятно, и разгадка. Неудивительно — физик! Модная профессия. Когда-то девы сходили с ума по гусарам. Ах, душка ядерщик...

Через минуту, увидев его самого, Андрей окончательно утвердился в своей догадке.

— Что ж, старуха, я тебя понимаю,— сказал он Нике, вызвавшись помочь ей принести что-то из кухни,— не влюбиться в такого было бы даже пошло.

Ника раскрыла рот и сделала большие глаза.

— Влюбиться — в Дона Артуро? — спросила она шепотом и подавилась от смеха.— Ты спятил, я бы скорее повесилась! С чего это ты взял?

Андрей пожал плечами и ничего не ответил.

Когда они вернулись, гости уже рассаживались вокруг раздвинутого во всю длину полированного стола. Стол был без скатерти, только под каждым прибором лежал небольшой прямоугольник какой-то грубой экзотической ткани. «Как в лучших домах Филадельфии», — усмехнулся про себя Андрей, садясь между Никой и ее сестрой. Ратмановская столовая могла служить наглядным пособием по новейшей истории интерьера — здесь было представлено все ставшее особенно модным за последние годы: и чешская люстра со спиралевидными хрустальными ветвями, и гравюры на гладких светло-серых стенах, и два таллинских канделябра кованого железа, и зеленые конические свечи — каждая вещь представляла очередной «последний крик». «Впрочем, хоть со вкусом», — подумал Андрей примирительно и огляделся. Все вокруг переговаривалось шумно и беспорядочно.

— ...Нет, почему, они теперь тоже строят мощные реакторы,— говорил сидящий напротив длинный парень в очках, которого Ника представила ему как мужа сестры.— В Алабаме нас возили на одну строящуюся АЭС, недалеко от Хантсвилла... как раз шел монтаж первого блока на миллион киловатт. В семьдесят втором, когда вступят в строй все три реактора, станция даст проектную мощность порядка трех миллионов киловатт. Даже свыше трех, там мощность одного блока несколько больше миллиона...

— На «Броунс Ферри»? Миллион шестьдесят пять тысяч,— подсказал душка с другого конца стола, блеснув ослепительными зубами.

— Ну, вот. В сумме почти три миллиона двести, это уже рентабельно. На «Эдисоне» в этом году вводят в строй два новых реактора по семьсот пятнадцать тысяч. Американцы вообще думают к восьмидесятому году перевести на атом двадцать пять процентов своей энергетики, а к двухтысячному — половину...

Обед тянулся томительно долго. Елена Львовна вежливо



спросила Андрея, как тот провел лето, вежливо поахала, узнав о происшествии с рукой, и тут же перенесла внимание на других, к его большому облегчению. Он сидел с угрюмым видом, нехотя ковыряя вилкой в своей тарелке, не глядя на сидящую рядом Нику. Та, после нескольких безуспешных попыток втянуть его в общий разговор, тоже замолчала, наверное обиделась. Тем лучше, подумал он, в другой раз не пригласит.

Он уже дважды бывал здесь — первый раз этой зимой, потом еще в июне, незадолго до отъезда. И оба раза ему не понравились Никины родители, хотя, казалось бы, их нельзя было упрекнуть ни в чем определенном, кроме, пожалуй, того духа буржуазного благополучия, которым был пропитан воздух этой просторной, отлично обставленной квартиры. Слишком уж образцово-показательным выглядело все в ратмановской семье, и очень уж чувствовалось, что Никины родители сознают эту свою «образцовость» и гордятся ею.

Кроме Ники и, пожалуй, длинного Кострецова, Андрею были сейчас неприятны все собравшиеся за этим столом. Неприятны без конкретной причины, просто так, если не считать причиной то, что все это были те же довольные собой и знающие себе цену, благополучные и преуспевающие люди. Его раздражала их манера держаться, снисходительно-уверенная у мужчин и искусственно, не по возрасту экзальтированная — у дам. Дамы держались особенно раздражающе. О чем бы они ни болтали, заходила ли речь у них о новом спектакле на Таганке, или о нашумевшей повести в «Новом мире», или о модах, или о каком-то происшествии с общим знакомым во время прошлогоднего круиза — все это обсуждалось с таким ненатуральным оживлением, словно дело происходило на сцене плохого театра. Курицы, подумал Андрей с растущим раздражением, типичные великосветские курицы. Сливки общества! Неужели и Ника станет такою же, как и эти дуры?

Сестра ее, правда, не стала. Кострецова Андрею не то чтобы понравилась — он не любил злых и насмешливых женщин, — но она была хоть, по крайней мере, не дура. За столом она больше молчала и курила, раз или два подмигнула Андрею ободряюще, но с таким видом, что он сразу понял: она тоже не в восторге от собравшегося за столом общества. И муж ее совершенно явно томился, зато красавчик — тот чувствовал себя как рыба в воде...

Андрей почти ничего не ел, только потягивал из своего фужера, и ему становилось все грустнее. Еще и вино, как нарочно, оказалось то самое, что они пили тогда в «Праге», терпкое холодное цинандали, и его вкус и запах мучительно напоминали ему тот день. Впрочем, в конце лета всегда печально вспоминать, как оно начиналось. Сейчас предложить бы Нике удрать отсюда и просто побродить вместе по улицам, несмотря на дождь; но это неосуществимо, из разговоров он понял, что Кострецовы и их приятель улетают в Новосибирск сегодня вечером и Ника поедет их провожать. Да и не пойдет она теперь бродить с ним под дождем...

Он все-таки спросил ее, спросил с вызовом, словно желая

окончательно убедиться в том, что было ясно и так. Ника сделала гримасу сожаления и отрицательно покачала головой, пожав плечами и покосившись на сидящих за столом. «Ты сам видишь,— говорил ее взгляд,— как же мне уйти?»

— Не обязательно сегодня,— сказал Андрей упрямо.— Я спросил вообще. Мне хотелось бы о многом с тобой поговорить. Можно завтра или в первый погожий день, если ты предпочитаешь. Хочешь, съездим в Останкино?

— Может быть,— ответила она уклончиво.— Ты позвони мне на днях, хорошо?

— Хорошо,— усмехнулся Андрей.— Я обязательно позвоню тебе на днях. А вообще-то занятия начинаются через две недели, можно и не спешить — все равно в школе увидимся.

— Да, действительно, через две недели,— рассеянно сказала Ника.— Кто-нибудь из банды уже вернулся?

— Говорят, видели где-то Ренку. Слушай, я не знаю, удобно ли это, но мне пора идти...

— Я понимаю,— с готовностью кивнула Ника.— Ты посиди еще минут десять, а потом, когда будут вставать из-за стола, мы незаметно ускользнем. Я тебя провожу немного... только недалеко, нам ведь скоро в Шереметьево. А у Светки еще не все собрано, я обещала помочь...

Андрей глянул на Кострецова, подумал о том, как завтра этот длинный молчаливый парень вернется к своей «Огре», или «Токамаку», или как они еще там называются, все эти их фазотроны и стеллараторы, и ему стало вдруг ясно, что он просто завидует. Завидует не только Кострецову, который с самого начала казался ему симпатичным, но и самовлюбленному красавцу Дону Артуро, и Никиному отцу, и его важным коллегам. Всех этих очень разных людей объединяло в его глазах одно: у каждого была четкая, конкретная цель, все они знали, чего желать от жизни, и умели брать это желаемое. Оба физика, едва ли старше тридцати, были уже докторами; а эти начальственные манеры Ратманова и его сослуживцев — они ведь свидетельствовали прежде всего о том, что люди эти действительно были начальниками, и, надо полагать, не такими уж плохими...

Это неожиданное открытие — что он может завидовать чужому успеху — неприятно удивило Андрея. Он никогда не был завистником. Не только в классе, но и в художественной студии, где он одно время занимался, его совершенно не волновало, как учатся или рисуют другие; важно было, как делает это он сам,— всегда ведь найдется кто-то способнее или талантливее тебя, глупо из-за этого портить себе нервы. И уж, конечно, вовсе нелепой была эта зависть юнца к преуспевающим деловым людям. Впрочем, он понимал, что завидует не их успеху,— зависть вызывал в нем сейчас весь этот прочный, надежный мир, в котором живут счастливы, не имеющие отношения к искусству...

— О чем ты думаешь? — спросила Ника.

— Я? Да так... практически ни о чем.

— Ужасно ты какой-то сегодня мрачный,— сказала она с упреком.— У тебя плохое настроение?

— Ну, что ты,— Андрей усмехнулся.— Настроение просто великолепное!

Вообще-то, конечно, сидеть таким бирюком было не очень прилично; он попытался прислушаться к тому, что говорилось за столом, но общего разговора уже не было, дамы трещали о каких-то туристских поездках, мужчины обсуждали свои служебные дела, Никина сестра издевалась над мужем за неумение подбирать сотрудников.

— ...Это же феноменальная идиотка,— громко говорила она, не вынимая изо рта сигареты и морщась от дыма.— Я не понимаю, как ее можно вообще принимать всерьез. На втором курсе она считала клистрон неприличным словом, очевидно подозревая в нем этимологическую связь с клистиром.

— Да нет, ну это ты зря,— лениво возражал длинный.— Не такая уж она, как ты изображаешь... ну, работает и работает, чего уж. Как это там — «считает свои дробя»...

— Ты, Кострецов, молчи! Тебе дай волю, ты бы устроил из института богадельню, добрячок...

— ...И вообразите,— тараторила маленькая дама с зелеными веками и волосами цвета красного дерева,— не проходит и часа — звонит Элла Сидоровна из райкома: милочка, говорит, приезжайте немедленно, есть путевка в Сирию и Ливан, вам тут же все оформят, только поторопитесь, до обеда я ее задержу...

— ...И опять, стервец, начинает свою волюнку. Я в десятый раз все выслушал,— поймите, говорю, дорогой Терентий Александрович, не один ваш завод в таком положении, я твердо обещаю вам поставить этот вопрос на ближайшей коллегии министерства...

— Ну, если ты считаешь, что коллегия сможет решить...

— Минуточку! А что я ему мог сказать в тот момент? В конце концов, я на себя брать такую ответственность не намерен, зачем мне это надо?

— ...Из Парижа, совершенно изумительная вещь, но помилуйте, ей все-таки за шестьдесят, как ни вертись, и одеваться под двадцатилетнюю...

— Нет, я больше не могу,— сказал Андрей и поднялся из-за стола.— Ты не провожай меня, это и в самом деле неудобно. Сиди, сиди...

Перехватив взгляд хозяйки, он извиняющимся жестом показал на часы и, сделав неловкий общий поклон, вышел из столовой. В прихожую следом за ним выскочила Ника.

— Слушай, мне ужасно неловко, действительно как-то так получилось, мы даже не поговорили, ничего... Ты понимаешь, если бы они сегодня не улетали...

— Да я понимаю,— сказал он, натягивая плащ.— Чепуха это все, не расстраивайся. Я позвоню тебе. Чао!

На улице, дойдя до первого автомата, он позвонил домой, ска-

зал, чтобы не беспокоились, он задержался у Ратмановых и хочет еще немного побродить.

— У Ратмановых? — удивленно спросила мама. — Разве Ника вернулась?

— Вернулась, — сказал он, и горло у него перехватило. — Еще в среду. Ну, пока...

Он быстро шел, держа руки в карманах расстегнутого плаща, не обращая внимания на усилившийся дождь. Люди, столпившиеся под козырьком входа в универмаг, озабоченно поглядывали на небо. Андрей вспомнил вдруг, как два месяца назад был здесь с Никой — она искала себе на лето какие-то сандалии, они побывали в нескольких магазинах в центре и наконец приехали сюда, в «Москву». Было очень жарко, они несколько раз ели мороженое, и Ника наконец призналась, что у нее, кажется, болит горло. «Зачем же ты столько ела», — сказал он ей, а она заявила, что он должен был вовремя ее остановить, на то он и мужчина... Каким счастливым, беспечальным вспоминался сейчас Андрею этот далекий день!

Дойдя до троллейбусной остановки, он перебежал на другую сторону и вскочил в отходящую «четверку». Дверь прищемила ему плащ, он выдернул полу из резиновых тисков и прижался лбом к холодному стеклу заднего окна. Троллейбус шел быстро, пол то проваливался, то упруго нажимал на подошвы, за окном убегала вдаль залитая дождем и уже сумеречная перспектива Ленинского проспекта; вдалеке, на крыше «Изотопов», зловещий атомный символ тускло рдел раскаленными аргоновыми эллипсами. «Хватит, — подумал Андрей, — для меня теперь Москва кончается у Калужской заставы. Ноги моей здесь больше не будет, на этом великолепном Юго-Западе. Хватит!»

Лайнер был весь в огнях, его длинное тело просвечивало изнутри круглыми дырочками иллюминаторов, яркий изумрудный фонарь горел на конце крыла, еще какие-то фары сияли внизу под брюхом, освещая полированный алюминий и черные, туго лоснящиеся шины счетверенных колес, и все это зеркально отражалось в залитом дождем бетоне; как пароход, входящий в ночной порт, лайнер разворачивался медленно и величественно, выруливая к взлетной полосе, и его грузное, неуклюжее движение странно не соответствовало ураганному вою и свисту турбин. Но эта неуклюжесть была обманчивой — он скользил быстрее и быстрее, сверкнул острым стреловидным килем, на минуту исчез, заслоненный низко сидящей тушей американского «боинга», потом появился снова — уже далеко на дорожке, превратившись в вертикальную серебряную черточку и два опущенных к земле крыла с зеленым и красным огоньками на концах. Дальше смотреть не было смысла, да и рука устала махать платком. Ника сунула его в карман и стала протискиваться от барьера.

На стоянке она не без труда разыскала машину. Внутри горел свет, Василий Семенович — пожилой таксист, уже несколько лет

по совместительству подрабатывавший у Ратмановых,— читал «Неделю», развернув ее на руле. Ника полезла на заднее сиденье, шмыгая носом.

— Ну что, проводила? — спросил шофер, сворачивая газету и зевая.

— Ага,— сказала она тонким голосом.— Василий Семенович, если вам все равно, поедем по кольцевой, я не хочу через центр..:

Сзади она села, чтобы поплакать без помех. Не то чтобы она так уж горевала по уехавшим гостям,— в конце концов, со Светкой они никогда не были очень близки, а Юрка — он славный, но не проливать же по нем слезы, и уж тем паче по Дону Артуро! Сейчас Ника плакала просто потому, что с отъездом недавних попутчиков для нее бесповоротно кончилось это волшебное лето — может быть, последнее в ее жизни, почем знать. Ей было очень жалко саму себя. Через две недели начинались занятия в школе, и впереди были осень и бесконечная зима, и было совершенно неизвестно, удастся ли ей в одни из каникул хотя бы на день съездить в Ленинград и сможет ли он побывать в Москве, как собирался...

«У меня не осталось ничего, кроме воспоминаний»,— подумала Ника вычитанной где-то фразой. Почему, ну почему так быстро всегда кончается все хорошее? Лето промчалось, впереди ничего светлого. «Я умру без него, мне просто не пережить этой зимы»,— подумала она убежденно и в отчаянии укусила себя за ладошку, чтобы не зареветь в голос...

От отчаяния к надежде, от пьянящей радости к убийственному сознанию, что для нее все кончилось,— временами Нику словно раскачивало на каких-то качелях, как бывает в бреду. Это началось с отъездом из экспедиции, а эти последние четыре дня в Москве она и вовсе не знала ни минуты покоя. Ее пугал предстоящий разговор с матерью, почему-то пугал, хотя она привыкла быть с матерью откровенной; да и сейчас она боялась не откровенности, а чего-то совершенно другого. Скорее всего, она просто боялась услышать от матери вопрос: «И что же теперь?»

Беда была в том, что она и сама понятия не имела — что же теперь. Себе она этого вопроса никогда не задавала. Она знала лишь, что ее любят и что любит она сама; последнее стало для нее совершенно ясно в тот момент, когда они прощались и когда уже ничего нельзя было сказать вслух, потому что вокруг них были люди, и даже в глаза нельзя было посмотреть — ведь это было бы то же самое, что сказать обо всем вслух, при всех, громко и во всеулышание; поэтому вблизи Ника не посмела взглянуть ему в глаза, хотя чувствовала, что он ждет этого, и понимала, что будет потом казнить себя за трусость, за малодушие в такой момент. Она просто подала руку, как и всем другим, пробормотала что-то непослушными губами и пошла к машине, но потом все-таки не выдержала и оглянулась, и посмотрела уже с безопасного расстояния, безмолвно прокричав все, что хотела и должна была сказать...

Утро было таким же, как и за месяц до этого, когда Кострецовы уезжали на Кавказ: такой же резкий рассветный холодок, и маслянистая, чуть колышущаяся поверхность спящего моря, и громадное солнце над горизонтом — только теперь оно было ниже, оно вставало теперь почти на час позже, чем тогда, в начале июля. А в остальном все было одинаково, и такой же дымок шел от кухонного навеса, где повариха растапливала плиту. Все было как прежде, и все должно было таким и остаться, и только ей уже не было здесь места. Тогда — в тот раз — она оставалась, и все было еще впереди; а теперь ей приходилось уезжать. Она шла к машине, спотыкаясь и оглядываясь на каждом шагу, словно надеясь, что в самый последний момент ее окликнут и предложат остаться...

Но остаться ей не предложили. И она совершенно не знала, понял ли он, почему она оглядывалась и что хотела сказать. Может быть, и не понял. Если бы она посмотрела тогда, стоя рядом...

Конечно, сейчас ей следовало просто написать все это в письме. Тогда, в крепости, она обещала, что напишет, как только у нее не останется никаких сомнений относительно своего чувства. Теперь сомнений не было уже давно, какие уж тут сомнения, но написать было не так-то просто. Вообще, очень не просто написать ему первое письмо; взять хотя бы такую штуку, как обращение. Как она может к нему обратиться, ну вот как? По имени-отчеству — как-то немножко странно обращаться по имени-отчеству к человеку, с которым давно перешла на «ты», да еще при таких обстоятельствах... Если как-нибудь шутливо: «дорогой товарищ Игнатьев» или «дорогой командор» — глупо, не к месту. А по имени или, проще и лучше всего, «мой любимый» — страшно, невысказанно страшно, рука не поднимется написать такое на бумаге...

Впрочем, это было не так уж важно. Рано или поздно это получится. Важно было то, что она теперь ежечасно и ежеминутно ощущала себя по-новому: любящей и любимой. Ей хотелось петь на улице, и улыбаться прохожим, и играть со встречными детьми; в таком состоянии встретила она сегодня беднягу Андрея. Но потом вдруг — качели продолжали раскачиваться — перед Никой вставал тот же вопрос: а дальше? Что будет с ними дальше?

Когда люди любят друг друга, они женятся. Чаще всего это бывает именно так. Но если ей только шестнадцать? Как минимум нужно ждать до окончания школы. Это целый год. И то в самом-самом лучшем случае. А мало ли что может случиться за год...

Нике стало вдруг жарко. Наверное, Василий Семенович опять включил отопление, чудак. Она стащила плащ, опустила стекло, в машину ворвалась сырая осенняя ночь, с брызгами дождя, с шумом проносющихся во мраке деревьев; невозможно представить, что в эту самую минуту там по-прежнему тепло, и светят над холмами крупные южные звезды, и портовые огни мерцают на той стороне залива, и засыпающий ветер продует палатку запахами трав и свежеразрытой земли; дикой показалась ей

мысль, что там все осталось по-старому теперь, когда так горестно изменилось все для нее самой!

— Гляди не застудишь,— сказал не оборачиваясь Василий Семенович.— Сквозняком прохватит, долго ли...

— Ничего,— отозвалась Ника и немного приподняла стекло, взглядываясь в темноту.— Где это мы?

— Боровское уже проехали, сейчас наше будет...

Через несколько минут в свете фар замелькали указатели, просиял и канул в темноту огромный голубой щит: «До поворота — 200 м»; машина, сбросив скорость, съехала вправо и покатилась вниз по узкому полукружью «клеверного листа» на развязке Киевского шоссе.

— Ну, тут уж мы, считай, дома,— сказал Василий Семенович.— Ты не слыхала, Иван Афанасьевич едут завтра куда?

Ника посмотрела на него, не сразу сообразив, о чем ее спрашивают.

— Завтра? Не знаю,— сказала она наконец.— На работу наверное, как обычно. А что?

— Да я думал машиной подзаняться, клапана бы подрегулировать... отгул у меня завтра. А то вы подтрепали ее порядком за лето. И глушитель вон стучит, как бы не оторвался...

— У нас в дороге поломалась водяная помпа,— помолчав, сообщила Ника.

— Да уж слыхал,— неодобрительно отозвался Василий Семенович.— Очень нехорошо получилось, несерьезно. Кто же так в дорогу пускается, тут ведь все надо проверить, а как же иначе... Главное, что я был в отпуску. Если бы в Москве был, так неужто я бы не подготовил...

Какое счастье, что его не было в Москве перед их отъездом: разумеется, он своевременно заменил бы неисправную помпу, и тогда... даже представить себе страшно, что бы тогда было. Было бы то, что у них за Чонгаром не начал бы греться мотор, а после Симферополя вода не стала бы закипать через каждые двадцать километров, и они в тот день промчались бы через Крым не останавливаясь, и поворот к экспедиционному лагерю промелькнул бы мимо незамеченным, как мелькали до этого тысячи других безымянных проселков и перекрестков... Какое необычайное, неповторимое чудо — сколько совпадений должны были зацепиться одно за другое только для того, чтобы встретились двое, предназначенные друг для друга! Ведь стоило этим подшипникам продержаться еще несколько тысяч оборотов или стоило Мамаю проехать там на несколько минут раньше — и ничего бы не было. Ничего! Ника представила себе это и похолодела.

Но нет, все получилось как надо. Подшипники развалились именно там и именно тогда, где и когда это было нужно — у самого поворота, за пять минут до появления бородача в лиловой открытой машине. Светка еще съязвила по своему обыкновению: «Это еще что за дитя природы, местная вариация на тему хиппи?» Если бы она догадывалась, что перед ними в тот момент предстал сам Меркурий, хотя и с цыганской бородой и в джинсах!

— Василий Семенович, если можно, остановите на минутку, я выйду подышать, — попросила она и добавила притворно слабым, умирающим голосом: — Меня немного укачало, просто ужасно...

— Подыши, раз такое дело, — согласился тот, сбрасывая газ. Зря позади-то сидишь, там укачивает.

Распахнув дверцу, Ника выскочила на мокрую обочину и отошла в сторону. Было тихо, дождь едва слышно шелестел в деревьях, впереди над Москвой стояло огромное мутное зарево. Какой тогда ливень был в Феодосии! — бешеный, она никогда не видела ничего подобного, совершенно какой-то тропический, он неистово грохотал по крышам, ревел в водосточных трубах, и мчался по набережной мутными клокочущими потоками, унося обломанные ветки акаций, обрывки газет, картонные стаканчики из-под мороженого, крутящуюся соломенную шляпу. Они в тот день собирались в картинную галерею, посмотреть Волошина и Богаевского, но галерея оказалась закрыта, и они пошли обедать, и там-то, в невыносимо душном ресторане на набережной, их и застал этот чудовищный ливень. В ресторане сразу стало сумрачно, в открытые окна повеяло свежестью. А когда вышли, пообедав, — снова светило солнце и пар поднимался над асфальтом, усталым мокрыми листьями, и какой-то феодосит в вечернем костюме пробирался через гигантскую лужу на перекрестке, закатав до колен черные брюки, балансируя букетом в одной руке и модными остроносими туфлями — в другой...

Мелочи — случайные и на первый взгляд незначительные — играли теперь огромную роль в ее воспоминаниях; она не всегда могла точно вспомнить, что и когда он говорил, а какие-то мелочи, детали окружавшего их мира остро врезались в память. Ей сейчас трудно было бы дословно воспроизвести их разговор там, в Дозорной башне, — гораздо отчетливее запомнилось другое: как верещали ласточки, носившиеся вокруг утеса, как блестели среди камней осколки разбитой бутылки. Мелочи выделялись ярко и отчетливо, а от главного осталось лишь общее, радужно переливающееся и оттого неясное ощущение счастья...

Две машины, обгоняя одна другую, проревели мимо, ослепив фарами и окатив вихрями брызг, и с затихающим пением покрышек унеслись в сторону Внукова. Кто-то торопился к самолету — может быть, симферопольскому. Ника вздохнула и побрела к светящимся в темноте рубиновым огонькам. Что толку вспоминать, от этого ведь еще хуже. Вообще все плохо. Так плохо, что дальше некуда. С Андреем получилось сегодня очень нехорошо... но что она могла? Наверное, он ждал, что она предложит ему поехать в Марьину Рощу вместе; но теперь она ведь не может по-приятельски разгуливать с ним... С Игорем, или Питом, или кем угодно — пожалуйста, а с Андреем нельзя. Но жалко его очень, просто ужасно жалко. Она вдруг поймала себя на том, что думает об Андрее как о младшем, как еще никогда не думала о своих сверстниках. Она стала старше за этот месяц, неизмеримо старше.



— Ну как, полегчало? — спросил Василий Семенович, когда она забралась обратно в машину.

— Да-да, спасибо,— Ника не сразу сообразила, в чем дело.— Извините, я вас задержала...

Через полчаса она была дома. Родители еще не спали, она рассеянно сообщила им, что высокие гости отбыли благополучно, что Дон Артуро еще раз просил поблагодарить за гостеприимство, что дать телеграмму Светка вроде обещала, если не забудет.

— Мамуленька, если не трудно, пусти воду в ванной, я умираю от усталости! — крикнула она уже из своей комнаты, стаскивая чулки.

Когда через десять минут Елена Львовна вошла к дочери, та дремала в кресле, положив ноги на письменный стол.

— Вероника, это что за поза! Сядь прилично, ты уже не в экспедиции. И можешь идти, я все приготовила.

— Спасибо,— Ника зевнула с обиженным видом.— Странное у тебя представление об экспедиции, в самом деле...

— Ну, не знаю. Здесь тебя, во всяком случае, таким позам не учили. И послушай, я хотела спросить — ты что, намерена хранить дома всю эту гадость, которой набит был твой чемодан?

— Во-первых, он не набит, там их всего десяток. И потом, какая же это гадость, мама?

— Какие-то битые горшки. Зачем они тебе?

— Не горшки, а обломки античных амфор! Я не понимаю, неужели тебе не приятно взять в руки такую вещь?

Ника потянулась к ящику стола и, выдвинув его, бережно достала выгнутый черепок.

— Видишь, это была ручка амфоры,— пояснила она, нежно проводя пальцем по его поверхности.— Ей примерно две с половиной тысячи лет. Между прочим, датировка керамики — вещь трудная. Как ты сама догадываешься, тут неприменим радиоуглеродный метод, потому что цэ-четыренадцать накапливается только в органических остатках...

— Вероника, иди купаться,— сказала Елена Львовна,— иди, я тебе постелю.

— Сейчас, мама. Так вот! Керамику можно датировать двумя способами: палеомагнитным и термолюминесцентным. В чем заключается первый? Когда вот этот черепок обжигали, он намагнитился в соответствии с магнитным полем земли, понимаешь?

— Не понимаю и не хочу понимать. Ты ждешь, чтобы я рассердилась?

— Иду, иду, вот сейчас встану и пойду. Мамуль, мне нужно рассказать тебе что-то очень-очень важное...

— Хорошо, завтра расскажешь,— Елена Львовна распахнула шкаф и начала вынимать постельное белье.— Где твоя простыня?

— Не знаю, должна быть где-то там, внизу... сегодня утром постели убирала Светка. Между прочим, мамуль, нужно срочно что-то придумать: я не хочу больше носить мини-юбки.

— Не хочешь носить мини?! — Елена Львовна изумленно

установилась на дочь. — Весной ты устраивала истерики, чтобы тебе разрешили!

— С тех пор я поумнела, — Ника пожалла плечами. — Тем более сейчас уже начинают носить макси!

— Ну, милая моя, ты еще не кинозвезда, чтобы сломя голову менять туалеты по последней моде. Походишь и так.

— Но, мама! — умоляюще сказала Ника. — Неужели ты считаешь, что женщина в мини-юбке может рассчитывать на уважение окружающих?

— Ох, Вероника, до чего ты мне надоела! Ты пойдешь купаться или нет?

— Ну ладно, ладно, иду...

## ГЛАВА 7

Ника стала замечать, что катастрофически умнеет — прямо не по дням, а по часам. Это ее даже немного испугало: неужели уходит молодость? Рановато, казалось бы, в шестнадцать лет; но, почему знать, не даром ведь считают, что в наше время темп жизни ускорился чуть ли не вдвое...

В пятницу двадцать девятого прибежала Ренка, ужасно расстроенная: через три дня идти в школу, а брючный костюм не готов, вообще неизвестно, что будет. Одно только утешение: она наконец выменяла у какой-то девчонки известный всей школе талисман, который уже не первый год переходил из рук в руки, — большую медную медаль, всю побитую и исцарапанную, с надписью: «НА ТЯ ГОСПОДИ УПОВАХОМЪ ДА НЕ ПОСТЫДИМ-СЯ ВО ВЪКИ».

Последней своей обладательнице талисман принес пугающий даже успех: она не только сдала выпускные, но и успела уже пройти по конкурсу в какой-то очень труднодоступный институт. Спокойная отныне за свою дальнейшую судьбу, она великодушно уступила чудотворное сокровище Ренке в обмен на знаменитые голубые очки-блюдечки и три пары лучших английских ресниц. Цена, конечно, была непомерной, но Ренка не жалела: за полным отсутствием знаний ей теперь только то и оставалось, что уповать на господа.

Ника слушала приятельницу снисходительно. Медали она, правда, немножко позавидовала, но лишь потому, что та хорошо смотрелась как украшение, — сейчас в моде всякие бляхи под старину. Ренкины же страдания по поводу недошитого брючного костюма ее нисколько не тронули.

— Между прочим, я первого приду в форме, — объявила она вдруг, сама только что приняв это смелое решение.

Ренка испуганно разинула рот:

— Как это — в форме?

— А вот так. Надену обычную школьную форму и приду.

— Ну, это уж вообще! — сказала Ренка. — Я, знаешь, терпимо отношусь к родителям, но если бы меня попытались заставить надеть форму...

— А меня никто и не заставляет,— возразила Ника,— я это сама решила.

— Да ты офонарела! На тебя пальцами будут показывать. Ну кто носит форму в десятом классе?

— А почему это я должна быть как все? И потом, я вовсе не говорю, что буду всегда носить форму. Я ее решила надевать по торжественным случаям — ну, вот, например, первый день года Дурочка, ты ничего не понимаешь! Надеть брючный костюм или еще что-нибудь модное ты сможешь всегда. А школьная форма — это уже в последний раз...

— Ах, нашла о чем жалеть.— Ренка заглянула в зеркало и поправила ресницы.— Странная ты какая-то, честное слово!

«Ну и пусть я буду странная,— сказала себе Ника, вспомнив эти слова уже после Ренкиного ухода.— Плохо быть как все, а если тебя считают странной — это не беда...»

Коричневое форменное платье, сшитое в прошлом году, и сейчас оказалось впору. В груди, правда, было чуть тесновато, но это Нике даже понравилось; а длина — как раз, из-за этой длины сколько было переживаний в девятом классе! Мама категорически запретила укорачивать, а Ника год назад была горячей поклонницей мини-моды. Сейчас она решила даже немного отпустить подол, благо запас был.

За этим делом и застала ее вернувшаяся домой Елена Львовна. Очень удивившись, она поинтересовалась, что это вдруг дочь решила заняться шитьем. Никин ответ удивил ее еще больше.

— Я всегда говорила, что твои поступки не поддаются никакому прогнозированию,— сказала она.— Год назад ты утверждала, что форму в старших классах носят только зануды пятерочки.

— Ну, с возрастом люди умнеют,— снисходительно отозвалась Ника и перекусила нитку.— Ты разве против?

— Нет-нет, что ты! Просто я потеряла надежду, что это правило применимо и к тебе. А насчет формы одобряю, по-моему, это очень мило... Я, правда, купила тебе костюм джерси, специально к первому.

— Где же он? — живо спросила Ника.

— Я еще не взяла, это Надежде Захаровне привезли из-за границы. Думала поехать за ним завтра.

— Ну, специально ехать не стоит, привезешь в понедельник. Позвони ей, чтобы захватила на работу. Какого цвета?

— Терракота, тебе пойдет. Она его приносила показывать на прошлой неделе, Полина хотела купить, но потом отказалась, и я сегодня сказала, что беру. Размеры у вас с Полиной ведь одинаковые.

— Спасибо большущее, мамочка, это ты отлично придумала. Я же не буду ходить в форме всегда, а только по торжественным дням... Скажи, у тебя в молодости был момент, когда ты увидела, что умнеешь?

— Вероятно.

— А тебе было грустно?

— Почему мне должно было быть грустно?

— Нет, ну просто... это ведь как первый седой волос, правда? Послушай, ты мне это потом застрочишь на машинке? У меня шов получится кривой. Я решила отпустить, а то очень коротко.

— Между прочим, я сегодня видела двух иностранок в такси — все-таки это чудовищно.

— Да, ужасные какие-то балахоны, мне тоже совсем не нравится. Лучше вот так — чуть ниже колена. Мамуль...

— Да, Вероника?

— Я тебе должна рассказать одну вещь, только по секрету.

— Хорошо, — Елена Львовна улыбнулась, — обещаю не разболтать. Что же это за секрет?

— Понимаешь... мне очень нравится один человек. Я думаю, наверное, я в него влюблена, — сказала Ника очень решительно.

Елена Львовна помолчала.

— Ты имеешь в виду Андрея?

— Андрея? — удивленно переспросила Ника. — Нет, что ты! Это там, в Крыму... ну, в этой экспедиции.

— А-а. Кто-нибудь из студентов?

— Вообще нет! Он уже совсем взрослый и вообще... настоящий мужчина.

Елена Львовна приподняла брови.

— Собственно, что ты понимаешь под этими словами?

— Ну... он большой ученый, кандидат исторических наук. В общем, мамочка, это начальник экспедиции, такой Игнатьев Дмитрий Павлович.

— О-о, — с уважением сказала Елена Львовна, подавив улыбку. — Светлана мне о нем рассказывала. И что же он?

— Мне кажется, — осторожно сказала Ника, — я ему тоже немножко нравлюсь. Тебя это удивляет?

— Да нет, пожалуй. В твоем возрасте мне тоже всюду мерещилась любовь, это естественно. Ты лучше подумай о том, Вероника, что перед тобой решающий год...

Ника вздохнула. Вот так всегда с этими родителями — ничего не понимают, ни о чем не могут догадаться. Не могла же она рассказать маме все как есть — и о разговоре в Дозорной башне, и о всем прочем...

— Хорошо, — сказала она покорно. — Я буду думать о том, что передо мной решающий год. Так ты прострочишь мне этот шов?

Вечером, когда родители уже легли, она отомкнула шкапулку и перечитала полученное вчера письмо:

«Симферополь, 24. 8. 69

Здравствуй, солнышко!

Прости, что долго не отвечал на Твое последнее письмо, такое длинное и милое, но оно несколько дней пролежало на почте в Приморском — некому было туда поехать, т. к. у нас полным ходом шел пред-

отъездный аврал. Можешь представить себе, что это такое — все собрать, упаковать, погрузить и т. д. К счастью, все это позади, и я пишу эти несколько строчек в аэропорту, в ожидании, пока объявят наш самолет. Так что отныне мой адрес — Ленинград С-15, Таврическая, 35, кв. 99. Впрочем, он ведь записан в Твоей книжечке, вместе с телефонами — домашним и институтским. Удобно ли будет, если я позвоню Тебе?

Времени остается в обрез, из Питера напишу более обстоятельно, а пока лишь относительно Твоего вопроса. Да, я действительно считаю историю одной из важнейших наук — может быть, даже самой важной. Видишь ли, физик может знать все о строении материи, биолог — о жизни и т. д. Но только изучение истории может дать нам настоящее знание человека. Я говорю сейчас не о том «знании», которым обладает врач (даже психиатр); я говорю о главном: о ясном понимании законов, определяющих поведение человека как существа общественного, без чего никто из нас не мог бы отчетливо разбираться в том, что происходит в мире. Понимаешь? Мне это представляется несравненно более важным и интересным, чем знание законов генетики, или теории плазмы, или технологии производства полимеров. В самом деле, к чему все это, если мы не знаем главного: закономерностей развития общества, в котором живем мы сами и в котором жить нашим детям? А закономерности постигаются наблюдением. Именно история (как наука) вооружает нас умением наблюдать и делать выводы: из прошлого — для будущего.

Вот — очень приблизительно и наспех — то, что я могу пока ответить на Твой вопрос. Вообще же это серьезный разговор, и я надеюсь, мы вернемся к нему еще не раз. А пока целую Тебя, моя радость, и — до скорого свидания, хотя бы по телефону. Мне трудно без Тебя, Никион. Обещай позвонить в ближайшие дни, слышишь? Каждый вечер после 10. 00 я обычно дома — удобно ли Тебе это время? Можно звонить и днем в институт, но там часто занято. Словом, если почему-либо не сможешь, напиши, удобно ли, чтобы я звонил Тебе. И в какие часы?

До свидания, люблю, целую.

Дм. Игн.»

Уже лежа в постели, Ника немного поплакала. Ей хотелось уехать в Ленинград и было обидно, что мама ничего не поняла и не отнеслась серьезно к ее признанию, и еще одолевали всякие страхи. Он ведь ее просто забудет там, в этом своем Ленинграде! Человек с такой большой и интересной работой, изучающий закономерности развития общества, не сможет долго помнить о какой-

то девчонке; он ведь сам говорил, что десятиклассники часто работали у них летом. И десятиклассницы, наверное, тоже! Ясно, она для него будет лишь одной из этих многих. Может быть, мама права и ей просто мерещится?

Она поплакала, потом успокоилась: все-таки, может быть, и не мерещится вовсе. А уж забыть-то она ему не даст! Только вот откуда звонить... после десяти он дома, но по вечерам дома и родители, разве что уйдут куда-нибудь. Нужно будет посоветовать маме вести более светский образ жизни. А звонить днем в институт — опасно, там могут быть параллельные телефоны, снимет кто-нибудь отводную трубку и начнет слушать, — нет-нет, в институт нельзя! Можно было бы ходить вечерами на переговорную, здесь недалеко, но под каким предлогом? В кино на вечерние сеансы ее не пускают, выйти просто погулять — тем более... Ах, занимайся их класс во вторую смену, как было бы все просто! Всегда можно сказать, что после уроков зашла к подруге готовить вместе домашние задания...

От всех этих мыслей у Ники окончательно пропал сон. Она включила бра над изголовьем, был уже третий час. Туристская схема «По дорогам Крыма», купленная несколько дней назад в магазине карт на Кузнецком, висела над письменным столиком, полуостров был изображен на ней в виде ярко раскрашенного рельефного макета. Ника приподнялась на локте и принялась рассматривать Крым сквозь просвет в кулаке — наверное, так это выглядит через иллюминатор орбитальной станции. Вон она, главная дуга Феодосийского залива... где-то здесь, возле Приморского, их лагерь... А пониже Феодосии вытянутым пальцем вдается в море Киик-Атлама — в Коктебеле его называют «мыс Хамелеон»: при набегающих облаках он все время меняет цвет, кажется то серым, то светло-желтым...

...Они были в Коктебеле двадцать седьмого — неделю спустя после поездки в Солдайю, за пять дней до возвращения Кострецовых с Кавказа. Сначала они обедали в Феодосии, где попали под тот знаменитый ливень, а потом Мамай отвез их в Коктебель, пообещав вернуться за ними вечером. Оказалось, что в Коктебеле не упало ни капли дождя, было сухо и безветренно, по двору автопансионата бродили сонные от зноя павлины, волоча длинные обшорханные об асфальт хвосты. Нике запомнился один, который в полном оцепенении замер у чьей-то надраенной «Волги», зачарованно разглядывая себя в выпуклом зеркале хромированного колесного колпака. Палило солнце, и они с Игнатьевым сразу побежали на пляж, купались, собирали камешки, потом поднялись к могиле Волошина, куда Ника благоговейно возложила лучшую из своих находок — розовый, крупный, великолепно отшлифованный Понтом сердолик. Потом сидели на каменной скамье, вырубленной, по преданию, самим поэтом. Бухта лежала у них под ногами — бурые холмы справа, дача Юнга, длинные склады каких-то бочек, палатки «диких» автотуристов, белые среди зелени корпуса пансионата, башня волошинского дома, изогнутая полоса пляжа и за всем этим — вздыбленные утесы

Карадага, похожие на гравюру Доре. Иногда Ника видела все это, а иногда — нет, когда закрывала глаза, положив голову на плечо Игнатьева. Ей было так хорошо, что даже не очень хотелось, чтобы он ее поцеловал, — хотя она и не совсем понимала, почему он этого не делает. Просто ее голова лежала на его плече, а ее руки — в его руках, и ей хотелось одного: чтобы так было всегда, чтобы это длилось, чтобы это никогда не кончалось...

Но это все-таки кончилось, потому что солнце упало за хребет Карадага и вдруг стало холодно, а на ней не было ничего, кроме купальника и легкого платица. Почувствовав, что она дрожит, он сказал, что пора спускаться вниз, но она только отрицательно качнула головой, не открывая глаз, и тогда он встал и поднял ее на руки.

Вспомнив это сейчас, Ника снова обмерла от того странного, томительного головокружения, которое овладело ею в ту минуту, когда она лежала у него на руках, обняв его шею и прижавшись щекой к его плечу, а он осторожно спускался по склону холма, поросшего жесткой, сухо шуршащей под ногами травой. Это, наверно, и было то, что называют блаженством, и вот это уже не могло, не должно было длиться, она очень ясно почувствовала тогда всю неопозволительность продления, — это должно было так и остаться: слепящим мигом, молнией, невыносимой яркости вспышкой. Она не знала, не представляла себе, что могло бы произойти в противном случае, но ей вдруг стало страшно — страшно именно за это еще неведомое, что не должно, не может иметь протяженности во времени; и еще ей стало неловко: она только сейчас заметила, что лежит в его руках чуть ли не нагишом, что ее и без того минимальное платице вообще съехало неведомо куда и его левая рука крепко и бережно обнимает ее обнаженные ноги.

Она уже не помнила сейчас, сказала ли тогда что-то или просто сделала какое-то испуганное движение, но он сразу понял, сразу отпустил ее, осторожно поставив на землю, и дальше они шли молча, даже не держась за руки. И только там, внизу, среди толпы на асфальтированных аллеях пансионата, она осмелилась взглянуть на него и встретила его глаза — и ей снова стало с ним просто и легко. Уже включились фонари, перед кассой летнего кино толпились желающие попасть на единственный восьмичасовой сеанс, время от времени где-то пронзительно вскрикивали засыпающие павлины. И невесомый, весь дымно-голубой луч прожектора с пограничного поста горизонтально ударил вдруг над набережной и крышами корпусов и зажег огромный, ослепительно изумрудный овал света на лесистом склоне горы перед Карадагом...

И они в тот вечер любовались этим то вспыхивающим, то гаснущим волшебным лучом, и слушали море, и ели, проголодавшись, шашлыки на гофрированных по краю тарелочках из звонко хрустящей алюминиевой фольги, а потом пили коктейли у kiosка рядом со «зверинцем» — несколькими клетками, где неизвестно зачем содержались хомяки и еще какая-то, спящая

уже, мелкая живность. И Нике казалось, что никогда в жизни не ела она ничего вкуснее этих не совсем прожаренных шашлыков и не пила ничего вкуснее этого коктейля — он значился в прейскуранте под романтичным наименованием «Лунный», она даже переписала рецепт: черный кофе, взбитый с коньяком и мороженым. Ника тогда решила, что будет пить такой коктейль каждого двадцать седьмого числа — в память о том дне; действительно, приготовить его ничего не стоило, миксер на кухне был, в серванте всегда хранился запас отцовского коньяка, но позавчера она так и не решилась это сделать. Пить «Лунный» в одиночестве, без Игнатьева, показалось ей кощунством.

Двадцатое и двадцать седьмое июля — вот два лучших дня ее жизни. И они никогда уже не повторятся. Возможно, будут еще более радостные, более праздничные — но уже совсем-совсем по-иному. Те, кстати, вовсе не вспоминались как праздник. Это было что-то другое. Счастье, может быть... но какое-то слишком смятенное, затаенное, слишком глубоко запрятанное, чтобы воспринимать его в тот момент именно так.

Утром первого сентября, засовывая в новую папку отобранные с вечера учебники, Ника опять вспомнила о злополучном портфеле-утопленнике. Так она и не выбралась в Марьину Рощу к этому неизвестному благодетелю! Свинство, конечно, мама совершенно права: человек специально приезжал, оставил записку, а она так и не удосужилась. Может, теперь уже и не стоит ехать? В такую даль — из-за старой рухляди. Можно себе представить, на что он теперь похож, после купания. А впрочем, нет, поехать все равно придется — хотя бы поблагодарить...

Отец, как обычно, высадил ее на Якиманке. Настроение у Ники было отличное: яркое солнечное утро, взволнованные мамы ведут первоклашек с огрдомными букетами, не спеша шагают принаряженные старшеклассники, поглядывая на нее с одобрительным любопытством. Ей было только ужасно обидно, что Игнатьев не видит ее сейчас в этой удлиненной форме, которая так хорошо сидит и так ей идет, в белоснежном капроновом переднике и с такой шикарной «взрослой» папкой.

Из банды, впрочем, Никина форма встретила одобрение у одного только Андрея, да и то довольно сдержанное. Сам Андрей явился в подчеркнуто будничном виде — в джинсах и обычном своем свитере. Пит пришел в новом импортном костюме, который в сочетании с очками придавал ему солидный вид молодого аспиранта, на Ренке было крошечное мини-платьице, а чудотворный талисман висел у нее на узорчатой тяжелой цепи, похожий на орден Золотого Руна. Андрей с Питом немедленно исследовали медаль и определили, что это, по всей вероятности, награда за Крымскую войну: на обратной стороне обнаружился вензель Николая I и Александра II и даты — 1853-1854-1855-1856. Ренка была разочарована, она ожидала чего-то более черно-книжного.



Зато уж кто поразил всех своим костюмом, так это Игорь. Он появился с небольшим и хорошо рассчитанным опозданием, когда торжественная линейка была уже построена и директор только что начал свою речь. Он поздравил первоклассников с тем, что их первый учебный год совпадает с величайшей датой истории — столетием со дня рождения Владимира Ильича. Учителя и родители дружно похлопали, директор собрался было продолжать, но тут случайно глянул в сторону и загнулся, все тоже оглянулись — и увидели великолепного денди в гранатовом сюртуке с золотыми пуговицами, с кудрями до плеч и какой-то сверкающей бижутерией на сорочке с рюшами, который скромно пристраивался к шеренге десятиклассников.

— Офонареть! — громко прошептала Рената и толкнула Нику локтем. — Во дает, я его даже не сразу узнала...

— Совершенно с ума сошел, — отозвалась Ника, искоса глядя на Игоря. — В школу — в таком виде; да еще первого сентября... Ему же за это влетит!

И действительно, шеголю влетело незамедлительно. Едва директор закончил свою речь, к Игорю подошли завуч и секретарь комсомольской организации, негромко пообщались и тут же куда-то повлекли — только его и видели. Раскатился первый звонок, первоклашки с букетами попарно потянулись в двери, а Игоря все не было. Появился он лишь на переменке перед вторым уроком, одетый уже по-человечески и даже умеренно подстриженный.

— Обыватели! — объявил он, пожав плечами. — Не имело смысла с ними спорить. Муслим Магомаев в таком же костюме выступал в Сопоте и его показывали по интервидению... а, кретины! Все равно на новогодний бал я оденусь так же, вот увидите. А что, братья и сестры, как это вообще смотрелось?

Ренка сказала, что смотрелось совершенно потрясающе, Ника с сомнением пожала плечами — сам по себе костюм красив, но подходит ли он для школы? Катя Саблина категорически высказалась, что не подходит.

— Послушай, старик, — сказал Андрей, — а тебе не было стыдно? В смысле — идти в таком виде по улицам?

— С чего бы это? — агрессивно спросил Игорь. — Кроме меня, никто не носит сюртуков? Сходи разок к «Метрополю», просветись.

— Про иностранцев я не говорю, и Магомаева ты тоже оставь в покое, эстрада есть эстрада. А ты вот можешь себе представить парня, занимающегося серьезным делом, — ну, скажем, физика, — который напялил бы красный сюртук среди бела дня? Да еще и кудри распустил по плечам, крет несчастный.

— Нашел с кого брать пример — с физиков! На фи́га они мне нужны, я ведь все равно не буду ученым...

— Положим, оно и без сюртука видно, — согласился Андрей и одобряюще похлопал Игоря по плечу. — Валяй, старик, выражай и дальше свою сущность так же зримо...

Первый школьный день пролетел быстро. «Воспитательский

час», математика, физика, литература, английский. После уроков вышли в скверик посидеть и потрепаться по старой традиции, но Ренка скоро ушла — ей нужно было идти на примерку. Следом разбрелись и остальные. Ника осталась вдвоем с Андреем.

— Ну, как ты вообще? — спросил он небрежным тоном.

Ника пожала плечами.

— Так себе, — сказала она. — Жалко, что лето кончилось. Мне раньше первого сентября всегда было очень весело, а в этом году нет. Я вот подумала — а ведь это в последний раз...

— Да, я тоже об этом думал.

— Я сегодня даже первоклассникам позавидовала, такая дура.

— Им, пожалуй, завидовать не стоит. Школа ведь, в сущности, не такой уж интересный период в жизни. Разве что старшие классы.

— Я почему-то вспомнила сейчас прошлую зиму, — задумчиво сказала Ника, чертя туфелькой по песку. — Как мы с тобой ходили по музеям... потом поругались на «Войне и мире»...

— Я прошу тебя никогда мне об этом не напоминать, — жестким вдруг тоном прервал Андрей.

Ника удивленно взглянула на него и, закусив губу, покраснела.

— Извини, я действительно дура, — сказала она тихо.

— Можно задать тебе один вопрос?

— Ну конечно, Андрей, какой угодно...

— Ты правда не влюблена в этого ядерщика?

— В Дона Артуро? Нет, конечно, я же тебе говорила...

— Тогда в кого?

Ника долго молчала, не подымая глаз, и Андрею стало стыдно.

— Ты прости, я не должен был этого спрашивать, — пробормотал он.

— Нет, Андрей, у тебя есть на это право, — так же тихо возразила Ника. — И я обязана сказать тебе правду. Понимаешь... в общем, я действительно влюбилась в одного человека там, в экспедиции. Я даже думаю, что я его... люблю.

У Андрея пересохло в горле, он понимал, что должен сейчас сказать что-то очень мужское, очень хемингуэевское, но сказать ничего не удавалось, он ощущал в себе какую-то пустоту — без слов, без мыслей, даже без особой боли. Он знал, что боль придет потом, но пока ее еще не было. Была только огромная пустота внутри.

— Поэтому я думаю, Андрей, — продолжала Ника, не глядя на него, — ты не обижайся, пожалуйста, но, наверное, лучше, чтобы ты меня теперь не провожал...

— Разумеется, — сказал он деревянным голосом. — Поверь, я и сам бы догадался... об этом.

— Андрюша, мне очень-очень жаль...

— Пустяки, старуха. Нашла о чем жалеть, — Андрей улыбнулся через силу. — Говорят, это отличная штука — когда полюбишь. Теоретически так оно и должно быть, во всяком случае.

— Я ничего не знаю,— прошептала Ника,— как будет... на практике...

— Не бойся, все будет как надо. Ну что ж, мне пора. До завтра!

## ГЛАВА 8

— Знаешь, мне, кажется, удастся получить отпуск с первого числа,— весело говорит Елена Львовна, входя в прихожую.— Ты что, нездорова?

— Нет, ничего,— отзывается Ника.— Жарко сегодня...

— Да, лето опять вернулось.

— Ты поедешь вместе с папой?

— Если удастся достать вторую путевку. Впрочем, Георгий Александрович обещал. Что в школе?

— По математике четверка, по истории тоже...

— Чудесно,— Елена Львовна быстро поправляет прическу перед вделанным в вешалку зеркалом и идет в ванную.— Четверка по истории! Твой любимый предмет, если не ошибаюсь?

— Не всякая,— не сразу отвечает Ника, пожимая плечами.— Мне больше нравится древняя...

— Не забудь сказать об этом на экзаменах! — говорит Елена Львовна из-за двери, повышая голос над шумом бегущей из кранов воды.

— Ну, до экзаменов еще далеко...

Потом они обедают, вдвоем (отец позвонил, что задерживается и будет поздно), но при полном параде: за большим столом, без скатерти и с салфеточкой под каждым прибором — так же, как при гостях. Проще и удобнее было бы на кухне, где завтракают по утрам, но насчет обедов Елена Львовна неумолима. «В конце концов, это вопрос самодисциплины,— объяснила она дочери, когда та начала однажды протестовать против такого снобизма.— Тот англичанин у Моэма, который ежедневно передевался к обеду в смокинг, хотя был единственным европейцем в округе, не такой дурак, как может показаться на первый взгляд». Тонкости сервировки Ника освоила уже давно, а последние две недели, к удивлению матери, усиленно осваивает кулинарию, правда в основном на полуфабрикатах из домашней кухни. Но и это уже достижение.

— Как суп? — спрашивает она озабоченно.

— Чуть пересолен, но не беда, можно добавить немного воды.

— Ладно, дольку из чайника. Я сюда положила бульонных кубиков — это правильно?

— Кубиков? То-то у него странный вкус, я не могла понять. Нет, ничего. А на второе?

— Пельмени, я взяла два пакета.

— Пельмени в пакетах... Боюсь, отец не станет их есть. Впрочем, я ему сделаю яичницу. У нас есть яйца?

— Кажется, осталось несколько штук.

— Ну, прекрасно. Твой поклонник пишет тебе?

Ника вспыхивает.

— Разумеется, пишет, — отвечает она и, поколебавшись, добавляет: — Я вчера говорила с ним по телефону, он уже в Ленинграде.

— Вот как? — удивленно говорит Елена Львовна. — Он тебе позвонил?

— Нет, я ему позвонила.

Елена Львовна кладет ложку и смотрит на дочь.

— Вероника, тебе не кажется, что это начинает заходить слишком далеко?

— Нет, почему же. Он просил меня позвонить и еще спрашивал, удобно ли будет, если он сам позвонит мне сюда. Конечно, если бы я стала звонить по своей инициативе, это было бы как-то... — Ника пожимает плечами. — Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю?

— Ах, кто тебя знает, что ты понимаешь и чего не понимаешь, — со вздохом говорит Елена Львовна. — Во всяком случае, мы должны познакомиться с этим Игнатьевым... Я не могу допустить, чтобы моя дочь переписывалась неизвестно с кем.

— Твоя дочь переписывается с человеком, который ее любит, — гордо заявляет Ника. — А насчет знакомства — он сам хочет этого, я же тебе говорила. Только ему нужно выбраться в Москву, это не так просто при его занятости. Давай свою тарелку, я буду подавать второе...

Они съедают пельмени, которые оказываются слишком разваренными снаружи и недоваренными внутри.

— Ты слишком рано разморозила, — говорит Елена Львовна, — их нужно держать в морозильнике до последней минуты.

Потом Ника убирает и это, мать достает из серванта маленькую венгерскую кофеварку, режет лимон крошечным фруктовым ножиком.

— Посмотри-ка, — говорит Ника, появляясь из своей комнаты с портфелем в поднятой руке. — Узнаешь?

— Тот самый? — Елена Львовна поднимает брови. — Подумаешь, совсем не пострадал. Прекрасно, ты проходишь с ним еще целый год, а новую папку советую оставить для института. Ты наконец побывала у этого водолаза?

— Да, он очень славный. Саша Грибов. Огромный, как медведь, и добродушный, а жена у него маленькая и ужасно строгая. По-моему, он ее боится — все «Жанчик, Жанчик». Ее зовут Жанной, представляешь? Но вообще они любящая пара. Очень странно, они поженились этим летом, а у нее уже вот такое пузо...

— Вероника!

— Ну а что такого? Даже в том фильме с Мastroянни так пели: «Аделина, Аделина, пузо, пузо у нее!» Послушай, а на каком месяце становится заметной беременность?

— По-разному, на шестом, на седьмом. Вероника, я не ханжа и никогда не пыталась убедить тебя, что детей приносят аисты, но

в шестнадцать лет все-таки следовало бы поменьше интересоваться такими вещами. Понимаешь?

— Как раз в этом возрасте и интересуются. И вообще, за границей все это проходят в старших классах.

— Слава богу, мы не за границей.

— Ты просто старомодна. Посмотри, мамуля,— говорит Ника, роясь в портфеле,— даже ключ нашелся, и моя четырехцветная ручка... А сколько ты меня из-за портфеля ругала, вспомнить страшно!

— Дело не в самом портфеле, возмутительна твоя безответственность. Тебе с лимоном?

— Нет, я себе возьму сгущенки... Между прочим, у меня ведь здесь была помада, а теперь нет,— странно, не растворилась же она. Не иначе, утащил Жанчик...

— Какая помада?

— Очень хорошая, польская, «Лехия», тон пятый.

— Ты сошла с ума, Вероника. Кто тебе позволил красить губы?

— А я уже давно не крашу! Я красила в девятом классе, и то недолго — пришла к выводу, что мне не идет косметика. Ренка приносила ресницы — у нее очень красивые, английские, — и мне они тоже оказались плохо...

— Хорошенькими делами вы там занимаетесь!

— Господи, ну что такого! Мы ведь не маленькие. Грибов даже сделал мне комплимент: «Вон ты, говорит, какая взрослая, я-то думал — пацанка». Он такой чудак — сразу со мной на «ты», как будто мы знакомы сто лет. Но вообще они с Жанной славные, я у них просидела долго и пила чай. Ой, мамочка, он мне рассказал такую историю — у меня прямо до сих пор осталось ужасно тяжелое впечатление. Просто вот, как вспомню...

— Какая история? Не открывай банку здесь, поцарапаешь стол. Такие вещи нужно делать на кухне.

— Ой, ну из-за этого идти на кухню! Я лучше на подоконнике, и подложу «Огонек»... Так вот, слушай, это история совершенно ужасная! И мне еще как-то особенно неприятно стало оттого, что этот человек — наш однофамилец... ну, вот тот, с которым это случилось. Грибову рассказывал его приятель, они вместе работают, и вот он — этот приятель — он сам знал этого Ратманова. Он просто вспомнил из-за фамилии, когда вытащили портфель и посмотрели дневник, понимаешь? В общем, он этого человека — Ратманова — знал когда-то на Урале, тот воспитывался в детском доме, его туда сдали во время войны как сироту. А потом, когда он получил паспорт, он все-таки начал разыскивать родных, думал, что, может быть, кто-нибудь отыщется, и, можешь себе представить, оказалось, что его родители живы и что просто мать сдала его совсем маленьким в детдом, потому что это был ребенок не от ее мужа...

Продолжая оживленно говорить, Ника поворачивается к столу со вскрытой банкой сгущенного молока в руках и вдруг умолкает, увидев лицо матери. В первую секунду она даже не узнает,

чье это лицо или чья это маска — белая, безжизненная, в один миг постаревшая на несколько лет; в следующую секунду банка с глухим стуком падает на ковер, а Ника пронзительно вскрикивает и бросается к матери.

— Что с тобой, мамочка, плохо с сердцем? Скажи, что тебе дать, или я вызову «скорую», — мама, ну что же с тобой!!

— Ничего, ничего, — с трудом произносит мать и пытается улыбнуться. — Не волнуйся, Ника, мне ничего не нужно. Мне просто стало вдруг... как-то нехорошо. Сейчас пройдет... не волнуйся.

— Ох, мамочка! — Ника, приложив руку к груди, сама обесиленно опускается на стул. — Ну как ты меня напугала... я чуть не умерла!

— Да-да, прости меня, девочка, — сбивчиво и торопливо, с каким-то странным, словно умоляющим выражением говорит Елена Львовна. — Прости, я сама не знаю, что это со мной вдруг... Знаешь, я, пожалуй, прилягу, а впрочем, не знаю, я обещала позвонить Софье Сергеевне насчет билетов, может быть, я тогда сначала позвоню...

Она говорит еще что-то, обычные, казалось бы, вещи, но необычным тоном, — Ника никогда еще не видела мать в таком состоянии, — и руки ее тоже ведут себя как-то странно: словно сами по себе они хватаются то за одно, то за другое, судорожно помешивают остывающий в чашечке кофе, вертят золоченый фруктовый ножничек, разглаживают край салфетки. Впрочем, постепенно Елена Львовна овладевает собой, успокаивается сама, успокаивает дочь.

— Ты посмотри, что мы наделали! — говорит она и показывает на медленно расплзающуюся по ковру лужу сгущенного молока. — Надо сказать, это очень красиво — кремовое на темно-синем, — но все равно нужно убрать, Ника, пока не засохло. Собери ножом, а потом придется замыть теплой водой... Действительно, переполах!

Она пытается улыбаться. Ника провожает мать в спальню, потом возвращается в столовую с мусорным ведром и чайником теплой воды. Она опускается на колени, подбирает банку и бросает ее в ведро, потом садится на пятки и долго сидит так, закусив губу, глядя на лужу, такую красивую — кремовую на темно-синем.

Через две недели родители уехали. Планы их в последний момент изменились — вместо слишком жаркого даже в бархатный сезон Сухуми они решили предпринять трехнедельное путешествие по Волге и Дону, до Ростова и обратно. Четвертого октября Ника провожала их на Северном речном вокзале, был холодный солнечный день с резким ветром; в маленькой лакированной каютке как-то особенно, по-пароходному, пахло эмалевой краской и горячими трубами. В стенках сипело и пощелкивало, за приоткрытым иллюминатором палубные динамики во всю глотку орали о том, что пароходы провожают совсем не так, как поезда,

Елена Львовна в третий или четвертый раз повторяла Нике инструкции — не питаться по закусочным, быть по возможности разумной в тратах, в кино только на дневные сеансы, и прежде всего слушаться Дину Николаевну. Ника терпеливо кивала: смешно, в самом деле, — можно подумать, что она только и ждет отъезда родителей, чтобы предаться разгулу. Прекрасно прожила бы и сама, без надзора этой нуднейшей Дины Николаевны Тоже, обзавелась дуэньей!

Отец посмотрел на часы и вышел, сказав, что покурит сна-ружи.

— Здесь и в самом деле душно, — немедленно сказала Елена Львовна, — может быть, и нам выйти?

Ника упрямо мотнула головой, глядя мимо матери на чаек, ныряющих к темно-синей, как перед грозой, воде. Это было уже не в первый раз: после того страшного случая — страшного не только своей необъяснимостью — она уже несколько раз чувствовала вдруг, что мать избегает оставаться с нею наедине. Сейчас она заставила себя отвести взгляд от иллюминатора и посмотреть матери в глаза — та тотчас же стала рыться в дорожной сумке, жалуясь на то, что в спешке все уложено не так, как нужно. «Случилось что-то непоправимое», — впервые с ужасающей отчетливостью подумала Ника.

Ни страха, ни недоверия никогда не было у них в семье, Ника просто не представляла себе, как можно жить, боясь чего-то или что-то скрывая; но сейчас она видела, что от нее что-то скрывают, прячут, словно она стала вдруг чужой и враждебной собственным родителям. Ей вспомнился кошмар, который преследовал ее уже несколько лет, время от времени повторяясь почти без изменений; сон этот был ужасен, хотя в нем не происходило ровно ничего страшного, казалось бы. В нем вообще ничего не происходило. Она просто просыпалась глубокой ночью — видела во сне, что просыпается, — в какой-то незнакомой комнате, слабо освещенной отблеском уличного фонаря или светом, пробивающимся сквозь щель неплотно прикрытой двери. Часов она не видела, но знала почему-то, что это самое глухое время ночи, задолго до рассвета; в комнате никого не было, хотя она знала, что рядом — за стеной, а иногда почему-то этажом ниже — находятся ее родные; во сне это не всегда были родители, но просто какие-то родные ей люди. Они спали, а она не спала, и весь ужас заключался именно в этом безысходном ночном одиночестве. Она не спала потому, что у нее было какое-то горе или ей грозила неотвратимая опасность — во сне это никогда не уточнялось, — и она была оставлена всеми, брошена наедине со своей смертной тоской, а все спали, никому не было до нее дела, и она не могла — или не смела, или не должна была — разбудить их и пожаловаться на то, как ей невыносимо одной в этом спящем безмолвном доме. И это было всегда так страшно, так невыносимо страшно, что после такого сна она просыпалась — уже на самом деле — иногда от собственного крика, с лихорадочно колотящимся сердцем и мокрым от слез лицом...

Да, до сих пор она всегда просыпалась. А сейчас, в этой уютной, ярко освещенной солнцем, лакированной каюте, Нику вдруг на секунду охватило отвратительное и ужасное ощущение того же кошмара, переживаемого на этот раз наяву.

— Мама, — сказала она громко, почти выкрикнула, и вскопчила с диванчика. — Послушай, мама, я давно хочу спросить...

— Да-да, — сказала Елена Львовна. — Я тебя слушаю! Ты не видела папиного несессера? Странно, я ведь совершенно уверена, что клала его в эту сумку... — Она посмотрела на ручные часики и вдруг заторопилась: — О, да тебе уже сейчас уходить... будь добра, выгляни в коридор и позови папу, он должен быть где-то там...

Ника молча посмотрела на нее и рванула дверь.

— Папа! — крикнула она. — Я уйду!

Последнее ощущение контакта с родителями было каким-то неодошевленным, скорее обонятельно-осозательным: шероховатый кримплен мамино костюма, ее духи, колючий, грубой вязки, отцовский свитер и сложная смесь табака, бритвенного крема, коньяка и лосьона. Все это осталось там, на палубе, и белый многоэтажный теплоход отходил от причала, весь ослепительно освещенный негреющим осенним солнцем, и чайки, тоскливо крича, падали к темно-синей, даже на вид студеной воде Химкинского водохранилища. А потом Ника стояла на шоссе у входа в метро и смотрела на машины, которые мчались в Ленинград. В сущности, так просто — перейти на ту сторону, стать на обочине, поднять руку...

Режущий ветер дул вдоль Ленинградского шоссе. Ника сегодня впервые оделась почти по-зимнему — сапожки, брюки, теплая, на овчинке, куртка, — но все равно ей казалось, что она замерзает, ледяный холод прохватывал ее до самого сердца. Родители уплывали все дальше и дальше, «вода качается и плещет, — кричали в ее ушах нечеловеческие голоса уже давно неслышных динамиков, — и разделяет нас вода», — тяжелая, словно маслянистая от холода вода густо-синего цвета, какой можно видеть на реках Средней России только в такие вот ясные дни поздней осени, — и этой воды становилось все больше и больше, непреодолимое расстояние увеличивалось с каждым оборотом винтов теплохода, который сейчас, наверное, уже подходил к воротам канала; а она стояла здесь на жгучем ветру, высушивающем на ее щеках ледяные слезы, — одна, совершенно одна, как в своем страшном сне.

В метро ей стало легче — было тепло, вокруг толпились люди, и, хотя она стояла лицом к дверному стеклу, чувствовать их рядом было приятно. За стеклом, грохоча, струилась серая вогнутая поверхность бетона, текли черные жгуты кабелей, внезапно распахивались светлые просторы станций — Войковская, Сокол, Аэропорт, Динамо, — за спиной у нее толкались, кто-то расспрашивал, как проехать в Фили, кого-то ругали за то, что он заставил чемоданами проход, — и снова поезд проваливался в гремющую темноту туннеля. На Белорусской Ника вышла, сама не зная



зачем, перешла на кольцевую линию и доехала до Комсомольской. Там она долго ходила по переходам, разглядывала старинные керамические панно на стенах, где древние люди — строители первых очередей метро, как однажды объяснил ей отец, — трудились ломами и лопатами и катили странного вида тележки. Древние были одни в громоздких негнущихся одеждах, другие — налегке, в майках, девушки в красных косынках, могучие, в буграх мускулов, но веселые и явно жизнерадостные. Ника позавидовала им — жизнь у них была простой и счастливой...

— Приветик!

Ника оглянулась — перед нею стояла Ренка, покрашенная больше обычного.

— Вот где я тебя поймала! Ты чего это не в школе сегодня?

— Я провожала своих. Вообще, мама собиралась позвонить, если только не забыла. А что, спрашивали про меня?

— Не знаю, при мне никто не спрашивал, ой, слушай, где ты достала такую дубленку? — Ренка ахнула и сделала большие глаза.

— Папа привез из Будапешта. Что ты тут делаешь?

— А сейчас Игорь должен подойти... ой, слушай, пошли с нами, правда, пошли, повеселимся, а?

— Куда?

— Такой Вадик, я с ним познакомилась у Женьки Карцева. У него сегодня свободная хата. Между прочим, твою ведь надолго укатали?

— Да, но если ты рассчитываешь на квартиру, то напрасно, — сказала Ника. — Мне уже подыскали дуэньку.

— Кого, кого? — подозрительно спросила Ренка.

— Надзирательницу, кого!

— Кислое дело, — Ренка с сожалением покачала головой. — Ну хоть сейчас-то ты свободна? Поехали вместе, правда!

— Можно, — безразлично согласилась Ника. Она сейчас была готова поехать куда угодно, лишь бы не возвращаться домой, в пустоту и одиночество. — А кто там будет?

— Ну, из наших — Игорь, Женька вроде не может, а вообще там соберется целая компания.

— Не знаю только, я в таком виде...

— Ну и что? Это ж не дипломатический прием, верно? Там такие битники припрутся, увидишь... А, вот и он. И-и-го-о-орь! — завопила Ренка так пронзительно, что на нее оглянулись сразу несколько человек. — Игорь, мы зде-е-есь!!

— Салют, бабки, — сказал, подходя, Игорь. — Как дела, прогульщица? Знаешь, лучшее качество в тебе — это полное отсутствие трудового энтузиазма. Именно за это я тебя и люблю.

— Я провожала родителей в Химках.

— Правильно, старуха, родителей следует провожать как можно чаще и надолго. Дублон у тебя потрясный. Насколько я понимаю, ты с нами? Тогда пошли. «Как хорошо быть генералом, — запел он, — как хорошо быть генералом! Лучше работы! Я вам, синьора! Не назову!»

На стоянке такси Игорь с ходу устроил скандал и свалку, стал божиться, что занимал за теми, которые только что уехали, и уверять граждан в крайней важности и спешности своих дел.

— И вообще с детьми пускают без очереди! А у меня их вон двое! — орал он, забыв всякий стыд, и показывал на хохочущую Ренату и Нику, которая стояла в хвосте, старательно глядя в другую сторону. — Неужто вам не жаль таких крошек, граждане!

Угомонился он только после того, как кто-то мрачно посоветовал позвать дружинников, а Ника, потеряв терпение, крикнула, что немедленно уйдет, если он не прекратит балаган. И оказалось, что хлопотать было не из-за чего, машины подкапывали одна за другой, — не прошло и десяти минут, как Игорь усадил девушек в новенькую голубую «Волгу» и сам важно развалился рядом с водителем.

— Шеф, вам знакома Большая Черкизовская? — спросил он, закуривая. — Не откажите в любезности доставить нас в тот район. К кинотеатру «Севастополь», если уж быть точным до конца.

— Платить-то найдется чем? — поинтересовался таксист. — Я вас по проходным дворам ловить не собираюсь.

— Шеф, — укоризненно сказал Игорь. — Такие разговоры при дамах. В хорошем обществе не принято говорить о деньгах!

— Болтаешь много, — сказал таксист неодобрительно. — А между прочим, молоко на губах еще не обсохло.

Игорь переждал, пока проезжали оживленный перекресток, потом заявил:

— А может, это у меня такая профессия — болтать. Может, я, шеф, идеологический диверсант.

Таксист вдруг озлился:

— Я вот сейчас всех вас повыкидаю с машины к чертовой матери! Тоже, Аркадий Райкин нашелся!

Игорь обиженно замолчал.

— Не везет сегодня, — заметил он с меланхоличным видом, когда они вышли у «Севастополя». — Граждане все попадаются какие-то жутко сознательные... и, главное, без малейшего чувства юмора.

— Юмор у тебя безобразный, в этом все и дело, — сказала Ника. — Как у тау-китян...

Квартира, куда они пришли, встретила их музыкой. В большой, увешанной старыми картинами комнате магнитофон гнусаво и неразборчиво выпевал что-то томное, непонятно на каком языке. Две пары медленно танцевали, одна из танцующих была босиком, с длинными прямыми — под Анука Эме — волосами, опоясанная золоченой цепью с большими, в ладонь, круглыми звеньями; еще одна пара сидела в маленьком атласном креслице, она у него на коленях, а на тахте трое бородачей смотрели какой-то альбом, сблизив одинаковые лохматые головы. Задвинутый в угол стол был сервирован а-ля фуршет, причем довольно скромно и без большого количества выпивки — это успокоило Нику, в послед-

ний момент она вдруг испугалась, что попадет на какую-нибудь пьяную оргию. А тут все было, в общем, вполне прилично. Большинство из присутствующих — Ника насчитала человек десять-двенадцать, свободно разгуливавших по квартире, — имело, как ей объяснил один из бородачей, то или иное отношение к искусству. ВГИК, ГИТИС, какие-то студии — Ника их все равно не знала.

Она нехотя станцевала один чарльстон, потом бородач принес ей немного бренди на доннышке пузатой рюмки, микроскопический бутербродик с килькой, кусочек сыра и маслину — все на крошечных пластмассовых вилочках, красной, желтой и зеленой. Пить Ника не стала, а кильку, сыр и маслину съела в том порядке, в каком это было предложено. Она вдруг почувствовала, что очень голодна.

Появилось новое лицо — блондинка, тоже с длинными, прямыми, расчесанными на пробор волосами. «Все стали носить длинные волосы, — обеспокоенно подумала Ника, — впрочем, у меня не пробор, а челка, это все-таки не совсем то...» Вновь пришедшая имела вид высокомерный и вызывающий; судя по шумным изъявлениям восторга, которыми был встречен ее приход, она явно играла в этом кружке некую звездную роль. Через несколько минут хозяин квартиры Вадик, не понравившийся Нике мальчишка с нагловатым взглядом, зачем-то подвел блондинку к ней знакомиться. Оказалось, что ту зовут Эрика, это тоже было очень противно. Чтобы что-то сказать, Ника вежливо похвалила серебряную, под старину, бляху, которая на тяжелой цепи висела у Эрики где-то пониже груди.

— Подлинник, — небрежно сказала Эрика, — из раскопок. Греческая работа.

Ника подняла брови.

— Подлинник, из раскопок? — спросила она. — Странно. Это не греческая работа, судя по стилю...

— Ах, да? — высокомерно протянула Эрика. — Спасибо за поправку, но знаете, я все-таки искусствовед... если уж на то пошло!

— Тогда вы сами должны видеть, — Ника пожалала плечами. — Это звериный стиль, типичный для скифских украшений. Я уж не говорю о том, что это никакой не подлинник. Вы когда-нибудь видели вещь, вынутую из раскопа?

Эрика смерила ее презрительным взглядом:

— Что вы вообще в этом понимаете?

— Я этим летом копала в Крыму, — небрежно сказала Ника и взяла еще один бутербродик. — Одно из греческих поселений Боспора. Вместе с Игнатьевым.

— С кем? — ошеломленно спросила Эрика.

— С Игнатьевым, учеником Гайдукевича...

Эрика тут же выпала в осадок, а Ника, с сожалением дожевывая мини-бутерброд, двинулась вдоль стены, окидывая взглядом картины. Они были неинтересны — средняя жанровая живопись конца прошлого века; на видном месте висели два Клевера, обыч-

ные зимние закаты того типа, что можно найти в любом комиссионном.

Ей вдруг стало невыносимо скучно. Что, собственно, она здесь делает, в этой чужой квартире, среди незнакомых и ненужных ей людей? Вокруг опять танцевали. Ника поискала взглядом Ренку и, сделав прощальный жест, ускользнула в прихожую, оделась и вышла.

Едва она вернулась домой, позвонил Игорь.

— Ну, старуха, ты просто блеск! — заорал он. — У тебя что, предчувствие было?

— О чем ты? — удивленно спросила Ника. — Какое предчувствие?

— Там ведь потом такое началось! Понимаешь, этот подонок Вадик стал клеиться к Ренке, та — в рев, пришлось мне вмешаться. Ох, я ж ему и врезал! — ликующе кричал Игорь. — Старуха, это надо было видеть!

— Вы что, действительно подрались?

— Подрались — это не то слово! Он пролетел по воздуху три метра, когда я его двинул хуком! Фантомас разбушевался!

— Вы все дураки, — сказала Ника сердито. — Какого черта вам пришло в голову туда тащиться? Еще и меня, ослицу, уговорили...

А ведь мама как в воду глядела, подумала она, вешая трубку. В первый день самостоятельной жизни — такая дурацкая история, надо же. А если бы она не ушла вовремя? «Буду теперь сидеть дома, — решила Ника, — хватит с меня подобных развлечений...»

Сидеть дома — наедине со своими мыслями, своими догадками оказалось не так легко. Если бы только она могла с кем-то поделиться, посоветоваться! Но об этом нечего было и думать, о своей страшной проблеме она не могла даже написать в Ленинград. Тут ей не мог помочь никто.

Ежевечернее присутствие Дины Николаевны, маминой дальней родственницы, согласившейся пожить у них эти три недели, в общем-то немного помогало Нике в том смысле, что хотя бы по вечерам ей некогда было думать. У старой дуэньки было три любимых занятия: рассказывать случаи из своей комсомольской юности, слушать чтение выдающихся произведений русской классики и рассуждать о том, чем и почему нынешний комсомол не похож на довоенный. Поэтому каждый вечер Ника либо слушала, пока не засыпала тут же за столом, либо читала вслух «Записки охотника», отрывки из «Накануне» и рассказы Горького, пока не начинал заплетаться язык. А днем была школа, уроки, неизбежное хождение по магазинам.

Зато в те часы, когда Ника оставалась одна, ничем не занятая, ею всякий раз снова овладевали прежние мысли и прежний страх, неопределенный и от этого, может быть, еще более мучительный. Впрочем, теперь он с каждым разом все более и более облекался в форму одной догадки, вернее одного предположения — дикого, немислимого, совершенно чудовищного, — которое, однако, не-

заметно все глубже и глубже укоренялось в ее сознании по мере того, как одно за другим отпадали все другие возможные объяснения.

## ГЛАВА 9

В этот день сдвоенный урок литературы был последним. Татьяна Викторовна, ставшая в этом году их классным руководителем, проверила присутствие по классному журналу и сказала:

— Борташевич, Лукин, Ратманова, зайдите после звонка в учительскую, мне нужно с вами поговорить.

Трое названных переглянулись. Ренка обморочно закатила глаза и потрогала висящий на груди амулет.

— Татьяна Викторовна, мне после уроков на тренировку, — голосом пай-мальчика сказал Игорь. — Меня из секции выгонят, Татьяна Викторовна...

— Не волнуйтесь, я вам дам записку для тренера, — непреклонно сказала преподавательница. — Итак, сегодня у нас сочинение. Тема: «Ранний Маяковский и причины его разрыва с футуристами»...

Ника встретила вызов в учительскую совершенно спокойно. Она догадалась, что это связано с их приключением в прошлую субботу, но ей было все равно. Творческие метания молодого Маяковского волновали ее сейчас еще меньше. Как и все, она развернула тетрадь на чистой странице, аккуратно проставила в верхнем правом углу дату — 10 октября 1969 — и начала быстро писать: «Здравствуй, здравствуй, здравствуй! Не сердись, я была очень занята последнее время, и телефон у нас не работает уже несколько дней, что-то с кабелем, его все время чинят и чинят...»

— Я ничего не сделала, — сказала она учительнице, когда за пять минут до звонка все сдавали готовые сочинения.

Татьяна Викторовна подняла брови:

— Но хоть что-нибудь? Я видела, вы писали.

— Это было письмо, — холодно объяснила Ника, глядя ей в глаза.

— На уроке, вместо сочинения?

— Совершенно верно — на уроке, вместо сочинения.

Татьяна Викторовна не сразу нашлась что сказать, так ошеломила ее грубость всегда безупречно вежливой Ратмановой.

— Очень жаль, придется поставить вам двойку. И не забудьте зайти в учительскую...

Раскатился звонок, Ника не спеша собрала книги. Проклятый портфель, подумала она с привычным равнодушным отчаянием, это все из-за него. В коридоре к ней подскочила трепещущая Ренка.

— Ты с ума сошла, почему ты не написала сочинения? Она теперь еще больше на тебя злится! Ой, я не могу, не могу, ну что мы будем говорить, а?

— То, что было! — отрезала Ника. — Или у тебя есть лучшая версия?

У двери учительской их ждал пригорюнившийся Игорь.

— Ну что, бабки, пошли на расправу,— сказал он и жалостно шмыгнул носом.— Давайте я уж первый...

Он исчез за дверью и — не прошло и минуты — появился снова, в сопровождении Татьяны Викторовны.

— Идемте в Ленинскую комнату,— сказала она,— там никого нет сейчас...

В Ленинской комнате она без предисловий спросила их, где они были в субботу после школы и что там произошло.

— Мы были в гостях,— невинным голосом сообщила Ренка,— у одного мальчика.

— У кого именно?

Ренка беспомощно оглянулась на Игоря.

— У такого Вадика, Татьяна Викторовна,— уточнил тот.— Он живет на Большой Черкизовской, возле «Севастополя»...

— Честное слово, можно подумать, что я разговариваю с воспитанниками детского сада! «Были в гостях у Вадика» — великолепно. Кто этот Вадик? Как его фамилия? Чем он занимается?

Игорь и Ренка опять недоуменно переглянулись.

— Великолепно! — повторила Татьяна Викторовна.— Значит, вы отправились в гости к человеку, про которого ровно ничего не знаете. И что там произошло? Вы, Ратманова, если не ошибаюсь, тоже там были. Может быть, вы мне расскажете?

— Я не хочу себя выгораживать, Татьяна Викторовна,— негромко сказала Ника,— но я ушла рано, и при мне там ничего не происходило.

— Вы там много выпили?

— Мы вообще не пили, никто! — поспешила заявить Ренка.

— Нет, ну я, как мужчина, выпил там... ну, с полстакана...

— Помолчите, Лукин,— обрезала Татьяна Викторовна.— Мы еще поговорим о вашем... мужском поведении!

Она снова обернулась к Ренке.

— Так объясните мне наконец членораздельно, что произошло после ухода Ратмановой.

Ренка умоляюще посмотрела на нее, вздохнула, но так ничего и не сказала.

— Дело в том, что этот крет стал к ней клеиться,— объяснил Игорь.

— Я спрашиваю не вас! И воздержитесь от идиотского жаргона хотя бы в разговоре с преподавателем... который уже пять лет безуспешно пытается научить вас изъясняться на человеческом языке. Так что же, Борташевич, насколько я понимаю, этот Вадик к вам приставал?

— Да,— сказала Ренка после долгой паузы.

— И это вас возмутило. Я понимаю. Вы ожидали, что он будет вести себя более корректно. А почему, собственно, вы этого ожидали? У вас было право ожидать к себе уважительного отношения?

Ренка молчала, закусив губу.

— Не хотите говорить? — сказала Татьяна Викторовна, так и

не дождавшись ответа.— Хорошо, в таком случае я вам скажу! У вас, Борташевич, этого права не было. У вас, Ратманова, тоже. Как вы думаете, какими глазами молодые люди определенного сорта должны смотреть на девушек, которые являются в незнакомую квартиру, чтобы повеселиться?

Ренка жалостно захлопала крашенными ресницами:

— Татьяна Викторовна, я думала...

— К сожалению, Борташевич, этого вы никогда не умели. Так вот, Лукин! Вы только что провозгласили себя мужчиной, но тогда уж запомните одну вещь: когда мужчина идет куда-нибудь с девушкой, он отвечает за нее головой. Скажите, вам хоть понаслышке знакомо чувство мужской ответственности?

— Ну... знакомо.

— Ничего подобного, вы и понятия о нем не имеете. Стыдитесь, Лукин! Вы приводите свою одноклассницу черт знает куда и даже не умеете оградить ее от оскорблений!

— Я ему знаете как дал! — обиженно возразил Игорь.

— Знаю! Его мамаша заявила, что у него выбито два зуба. За это я готова простить половину вашей вины, но половина все равно остается, и самая важная. Вам, Лукин, просто повезло, понимаете? Если бы этот мерзавец оказался сильнее, он бы вас избил и выкинул вон. И вы ровно ничем не смогли бы помочь своей спутнице, что бы с нею потом ни произошло. Вам не приходила в голову такая возможность? Убирайтесь, Лукин, видеть вас не хочу. Также, мужчина!

Игорь с неестественной быстротой исчез за дверью. Татьяна Викторовна прошла по комнате, машинально поправила висевший косо щит с наклеенными фотографиями космонавтов и села за стол.

— Меня иногда охватывает отчаяние, — сказала она усталым голосом, не глядя на стоящих рядом преступниц. — Просто отчаяние. Месяц за месяцем, год за годом, на протяжении всей вашей школьной жизни вам пытаются вдолбить в голову какие-то самые элементарные понятия о девичьей чести, о девичьей гордости, о девичьем достоинстве... Об этом вам говорят родители, педагоги, об этом вы читаете... И вот! — Она постучала по столу согнутыми пальцами. — Как горох об стенку! Доживет такой оболтус в юбке до шестнадцати лет, уже воображает себя взрослой и умной, и вдруг откальвает такое, что просто диву даешься! Я тут ругала Лукина, но это уж так, из воспитательных соображений... Он-то виноват меньше вас обеих, уже потому хотя бы, что мальчишка. Вы старше его, понимаете вы это или нет?

Она посмотрела на Нику, потом на Ренату.

— Борташевич, кто из ваших родителей сейчас в Москве?

— Мама прилетает в воскресенье, — жалким голосом пролепетала та. — Вчера пришла телеграмма...

— Вот и прекрасно. Скажите своей маме, что в понедельник я ее хочу видеть.

— Татьяна Викторовна!

— Пусть пойдет к концу рабочего дня, я буду в школе часов до шести.

— Татьяна Викторовна, ну миленькая, — умоляюще затараторила Ренка, — ну не надо, ну зачем ее сразу так огорчать, она ведь полгода была в экспедиции...

— Вот этого я тоже не могу понять, зачем вам понадобилось встретить ее таким подарком. Можете идти. А вы останьтесь, Ратманова.

Выждав, пока закроется дверь, Татьяна Викторовна встала, подошла к Нике и взяла ее за плечо.

— Ну? — спросила она. — Что с тобой происходит?

Ника быстро взглянула ей в глаза и снова отвела взгляд.

— Ничего, — ответила она негромко после паузы.

— Неправда, я ведь вижу. Ника, пойми — в юности мы иногда склонны преувеличивать масштабы своих бед, но в то же время самонадеянно думаем, что можем справиться в психологически шестнадцатилетних, и парадокс довольно опасный... Давай-ка сядем и поговорим как следует, я наконец хочу разобраться. Я вижу, с тобой последнее время неладно. Меня очень обеспокоила субботняя история. Когда директор сказал мне, что к нему поступила жалоба на двоих наших десятиклассников, я отнеслась к этому довольно спокойно... такие жалобы, к сожалению, не редкость. Но когда я узнала, что и ты «развлекалась» там вместе с ними...

Она сделала паузу и взглянула на Нику искоса. Та сидела по обыкновению очень прямо, сложив руки на коленях, и смотрела перед собой безучастным взглядом.

— Игорь меня не удивляет, — помолчав, продолжала Татьяна Викторовна. — Мальчишка, шалопай, что с него взять. Рената, к сожалению, тоже... Тут можно лишь удивляться, как она до сих пор не попала в какую-нибудь историю похуже. А вот ты, Ника, ты меня... испугала! Что же это такое, думаю, — если такая девочка, если даже она смогла оказаться в подобной компании, то чего ждать от других? Но потом я поняла, что тебя за эту дикую выходку нельзя судить так строго, как следовало бы — по первому впечатлению. Наверное, то, что я говорю это тебе, не очень педагогично... но мне сейчас хочется совершенно откровенно представить тебе ход своих мыслей — в надежде, не скрою, на ответную откровенность! Так вот, я уверена, что в нормальном состоянии ты не пошла бы на эту идиотскую вечеринку в незнакомый дом. Ведь не пошла бы, правда? С тобой что-то происходит, Ника, я это заметила уже давно; и меня, признаться, удивило, что твоя мама уехала в отпуск именно сейчас. Впрочем, тут есть и моя вина, мне следовало с ней поговорить...

Она встала и отошла к окну. За окном была осень — мокрый асфальт внизу, голые деревья в палисадничке за пустым кортом, мокрые крыши старого купеческого Замоскворечья и — дальше, правее — острая звонница, купола и филигранные кресты Вознесения в Кадашах. В воротах школьного двора, очевидно поджи-



дая Нику, топталась все та же разношерстная компания — Андрей, Катюша Саблина со своим Питом, Игорь в какой-то радужной куртке и Рената, азартно размахивающая руками. Нет, с сыновьями все-таки проще...

— Когда твои возвращаются? — спросила Татьяна Викторовна, глядя в окно.

Ответа не последовало, она подняла брови и оглянулась. Ника сидела на том же месте, но теперь извернувшись боком, положив руки на спинку стула и уткнувшись в них лицом, вся сотрясаясь от судорожных и беззвучных рыданий. Татьяна Викторовна постояла секунду, потом подошла к двери, заперла ее и, вздохнув, села рядом с Никой.

— Ну? — спросила она, помолчав, и осторожно провела ладонью по ее спине. — Так что же все-таки случилось? Сердечные какие-нибудь неурядицы?

Ника отрицательно мотнула головой.

— Что-нибудь дома?

Ника заплакала сильнее, теперь уже навзрыд. А потом вдруг начала говорить — сбивчиво, торопливо, несвязно, захлебываясь слезами и сморкаясь. Татьяна Викторовна терпеливо слушала, не перебивая и не переспрашивая.

— Я все-таки не совсем поняла, — сказала она осторожно, когда Ника умолкла. — У твоей мамы и раньше бывали такие приступы?

— Да нет же! — с отчаянием выкрикнула Ника, отбрасывая прилипшую к мокрой от слез щеке прядь волос. — Никогда, вы понимаете, никогда ничего подобного!

— Да, но... ты же понимаешь, Ника... всякая болезнь когда-то проявляется в первый раз, не правда ли? Особенно сердце — это, как правило, всегда внезапно.

— Но почему именно тогда? Почему именно при том разговоре? Почему мама с тех пор всегда избегает ос... оставаться со мной на... нае...

Так и не сумев договорить, Ника опять прижалась щекой к своим стиснутым на спинке стула пальцам и заплакала еще громче. Татьяна Викторовна пошла в учительскую, достала из аптечки валерьянку, накапала в стакан двадцать капель, потом подумала и добавила еще полпипетки, без счета.

— Что, до валерьяночки дошло дело? — жизнерадостно закричала вошедшая в учительскую следом за ней молоденькая преподавательница химии. — Правильно! Это они, паразиты, могут. У меня сегодня в химкабинете такую содому подняли — ну, думаю, сейчас всё!

— Леночка, не стоит называть учеников паразитами, — сказала Татьяна Викторовна, закрывая аптечку. — Если они это услышат, вам придется еще труднее. Кстати, поднимают обычно содом, окончание мужского рода. Содомы — это итальянский художник, современник Рафаэля...

— А, ну точно! — закричала Леночка еще жизнерадостней. — Который Сикстинку нарисовал? Точно!

Когда Татьяна Викторовна вернулась в Ленинскую комнату, Ника уже не плакала. Она послушно выпила валерьянку, утерла глаза скомканным платочком.

— Ника,— сказала Татьяна Викторовна, помолчав.— А что, собственно, так пугает тебя во всей этой истории? Ты... думаешь, что родители скрывают от тебя что-то?

— Да.

— Ну... допустим. Ника, у взрослых людей могут быть какие-то свои... тайные воспоминания, подчас очень тяжелые, которыми они предпочитают не делиться с детьми. Не забывай, ты еще очень-очень молода, для матери ты еще ребенок самый настоящий... родители ведь не всегда улавливают эту очень неопределенную возрастную грань, за которой их сын или дочь вдруг перестают быть детьми. Может быть, твоя мама просто считает, что еще рано посвящать тебя в какие-то свои дела...

— Она боится,— сказала Ника каким-то угасшим голосом.— Это совсем другое дело.

— Если боится, то — согласна — другое. Но, видишь ли..

— Татьяна Викторовна...

— Да?

— Я должна сказать это вам. Сначала я думала, что не смогу сказать этого никому и никогда. Но сейчас я просто боюсь сойти с ума, если... не скажу. Потому что я думаю об этом все время и... в общем...

Она помолчала, глядя в тусклое от непогоды окно, потом снова заговорила тем же невыразительным и неестественно спокойным голосом:

— Вы помните, я когда была у вас в прошлом году... еще мы с Андреем ходили в музей, а вечером собирались в театр... я вам тогда рассказывала о своей семье и сказала, что... у меня был братик. Его звали Славиком. Он умер... совсем маленьким, в эвакуации. Он и родился там. Мама со Светкой долго жили на Урале, почти всю войну, они вернулись уже только после войны. Так вот, мне всегда говорили, что Славик умер там в сорок третьем году. А я думаю, что вот этот человек — о котором рассказал водолаз — это и есть мой брат. Что он совсем не умер тогда. И что это мама сдала его тогда в детдом.

Тут уж Татьяна Викторовна испугалась по-настоящему.

— Ника, опомнись,— сказала она негромко.— Опомнись, что ты выдумываешь...

— Я не выдумываю... И пожалуйста, не надо со мной так. Я уже три недели хочу опомниться и не могу — не могу, понимаете, не могу! Я вообще не могу так больше! Я просто пойду и найду того человека, который рассказывал Грибову, и спрошу — как звали его приятеля там, на Урале. Этого... Ратманова! И я вам сразу хочу сказать, Татьяна Викторовна: если окажется, что это действительно мой брат, то я покончу с собой.

Татьяна Викторовна долго молчала.

— Ника, послушай,— сказала она наконец.— Я начала говорить с тобой как со взрослой девушкой. Будем продолжать разго-

вор на этом же уровне, хорошо? Так вот, я знаю, что бывают положения, когда мысль о самоубийстве как о единственно возможном выходе может прийти в голову даже психически здоровому человеку. Но для этого, видишь ли, нужны... очень серьезные мотивы. По-настоящему серьезные. Скажи, почему эта мысль пришла в голову тебе?

— Вот потому!

— Ника, это не ответ.

— Потому что для чего тогда жить, если нельзя никому верить и если вообще может быть такое...

— Что именно — «такое»?

— Вот такое. Ложь, жестокость... Понимаете?

— Нет, не понимаю. Ты что же, не знала до сих пор — хотя бы из книг, — что в жизни есть и ложь, и жестокость, и еще более страшные вещи? Или все дело в том, что до сих пор они не касались тебя лично?

— Вас, Татьяна Викторовна, они тоже не коснулись, иначе вы не говорили бы об этом так... так спокойно! Ах, подумаешь, в жизни есть и еще более страшные вещи! Это у вас теоретические рассуждения. Вообще, в принципе!

— О, нет, — Татьяна Викторовна покачала головой. — Я, Ника, принадлежу к поколению, чье знакомство со страшной стороной жизни никак не назовешь теоретическим. Я в своем возрасте попала в оккупацию — одна, без старших — и последний год войны провела в Германии, в концлагерях. Так что, поверь, кое-что и меня «коснулось». И я вот что хочу тебе сказать: отчаяться в жизни оттого только, что в мире есть зло, — глупо. Просто глупо, понимаешь? Зло всегда было, есть и будет, и от этого никуда не деться. А отчаяться и опустить руки при встрече с частным, конкретным проявлением зла — это трусость, Ника. И... предательство, если хочешь... потому что в трусости всегда есть элемент предательства. При встрече со злом человек просто не имеет права прятаться... даже в собственную смерть. Понимаешь?

— Это все опять... рассуждения. И вообще, при чем тут концлагери — это же совсем другое! Мы с мамой были такими друзьями, я так ей верила...

— Ника, послушай, — терпеливо сказала Татьяна Викторовна. — Прежде всего, я уверена, — я совершенно уверена! — что все не так плохо и что многое тут следует отнести за счет твоих расстроенных нервов. Но предположим — ты права, в вашей семье действительно произошла когда-то эта трагедия и твоей маме пришлось отдать ребенка. Почему она это сделала? Ты ведь не знаешь обстоятельств, а они могли быть какими угодно... особенно в то время! Постарайся их выяснить — это первый совет, который я могу тебе дать. Поговори с мамой, Ника. Возьми и поговори с ней прямо и открыто — ты ведь уже действительно взрослая. А к этому человеку, который тебе рассказал, ходить пока не нужно. Не предпринимай ничего до приезда родителей — наберись терпения, в конце концов это еще каких-нибудь две

недели. И чем выяснять что-то окольными путями, спроси просто у мамы. Поверь, Ника, так будет лучше. Одно дело — узнать голый факт, а другое — увидеть его, так сказать, в контексте, со всеми сопутствовавшими ему обстоятельствами. Понимаешь?

— Да,— ответила Ника безучастно.— Мне можно идти, Татьяна Викторовна?

— Ступай, конечно, уже поздно. Поезжай домой и постарайся поменьше думать обо всем этом до маминого приезда. Да, одну минутку! С этим сочинением. Можешь написать его дома и сдать завтра, договорились? Ты же понимаешь, как это опасно — двойка в завершающем году! Весной будешь жалеть, что не исправила ее вовремя...

Господи, весной, думает Ника, спускаясь по лестнице. Нет у нее других забот — думать о том, что будет весной. Все-таки они удивительный народ, взрослые. «Постарайся поменьше думать до маминого приезда», какое мудрое цэу. Господи, хоть бы умереть в самом деле...

На улице мелкий ледяной дождь, четыре часа, по кривым переулкам Замоскворечья начинают расплзаться хмурые октябрьские сумерки. Ника идет не разбирая дороги, сворачивает за угол — кажется, это Климентовский. У церкви ее догоняют торопливые шаги.

— Извини, я за тобой шел от школы,— говорит Андрей.— У тебя было такое лицо, когда ты вышла...

— Нет, ничего,— отзывается она, не глядя на него.

— Ника... у тебя какие-нибудь неприятности? Дело в том, что... мама спрашивала меня на прошлой неделе, не знаю ли я, что с тобой...

— Ох, слушай, не начинай еще и ты! — обрывает она, едва сдерживаясь.

— Я ничего не начинаю. Просто хотел спросить, не могу ли чем-нибудь тебе помочь...

— Нет! Ты мне ничем не можешь помочь, и не провожай меня, и вообще оставьте вы меня все в покое! Оставьте — меня — в покое!!

Какая-то прохожая в плаще с капюшоном оглядывается на Нику, та ускоряет шаги, почти бежит. У станции метро она поворачивает обратно. Впрочем, бежать незачем, ее никто не преследует. Туман в переулках еще плотнее, тускло тлеют первые фонари, наступил час пик, и троллейбусы на Полянке едва ползут, осевшие до самого асфальта и разбухшие от пассажиров, которые гроздьями торчат из незакрывающихся дверей. У Ники от голода и усталости подгибаются ноги, она входит в полуподвальную закусную — низкую, душную, пропитанную запахами мокрых плащей и скверной еды,— берет два стакана кофе с какими-то пирожками и ест стоя у шаткого мраморного столика. Нужно что-то решать, но голова совершенно не работает, совершенно, и думается все время о всякой ерунде, лезут глупые вопросы — например, произойдет ли короткое замыкание, если троллейбус осядет еще больше и коснется земли своим железным кузовом;

или откуда взялась десятка, которую она обнаружила в кошельке, когда платила за кофе. Впрочем, с десяткой все ясно — это на покупки, Дина Николаевна поручала что-то купить, даже записывала на бумажке. А вот как с троллейбусом? В Марьину Рошу идет тринадцатый, от «Детского мира». Нет, все-таки, наверное, не замкнет, у него ведь сверху два контакта; да, но у трамвая один, и не замыкает, значит с двумя должен замкнуть? Непонятно как-то. И что она скажет, когда приедет? Как она объяснит, зачем ей сведения о том Ратманове?

Ника мучительно пытается припомнить весь разговор с Грибовым. Беда в том, что начало ей не запомнилось; история заинтересовала ее не сразу, и очень может быть, что она пропустила мимо ушей что-то очень важное, что было сказано вначале. Этот мальчик начал разыскивать родных, получив паспорт. Примерно десять лет назад, в пятьдесят девятом или шестидесятом. Сама она еще не ходила в школу, Светка училась в университете — постой... Что он сказал, Грибов? Родителей мальчик нашел, но при этом вскрылась история его «сиротства», и он отказался вернуться. Да-да, это было именно так. Но если в семье случилось такое, то Светка не могла не знать — не услышать чего-то, не догадаться...

Нет, Светка знала, думает Ника, холодея. От этой новой мысли голова тоже становится холодной и ясной, начинает работать с пугающей отчетливостью. Память, словно электронный компьютер, безошибочно отбирающий нужную информацию из огромного потока ненужной, начинает услужливо выдавать ей факт за фактом, вернее это даже не факты, а только какие-то их обломки; но она-то знает, как безошибочно можно восстановить амфору из черепков, целое — из фрагментов, истину — из намеков... У них в семье всегда старательно избегали разговоров о войне, особенно об эвакуации, — просто потому, что это тяжелая тема? Да, но с войной у всех связаны тяжелые воспоминания, почти у всех погиб кто-то из близких, и однако все вспоминают! У бабы Кати погибли на фронте муж, оба брата и трое сыновей, однако она о них говорит, постоянно вспоминает, и это естественно... А почему у них не сохранилось ни одной вещички Славика — ни чепчика, ни распашонки? Даша из «Хождения по мукам» чуть не сошла с ума, когда умер ее ребенок, но хранила чепчик, да и все что-то хранят как память... И то, как мама однажды прикрикнула на нее, когда она начала приставать с расспросами об умершем братике; и то, как однажды папа, подвыпив с гостями, шутливо жаловался на то, что у него «одни девки», и те его странные слова за столом в день приезда Светки, когда он вспомнил, как гонял по Германии на машине, не думая об опасности, — «терять было нечего, молодой, без семьи», — но ведь дома его ждали жена и дочь? Или у него в сорок пятом году были какие-то основания не считать их своей семьей? Да, все это мелочи, казалось бы, черепки, но сейчас они громоздятся стеной, замыкая вокруг нее кольцо страшной очевидности...

Ника выходит из закуской, долго стоит на троллейбусной

остановке и, пропустив две переполненные, забирается наконец в относительно свободную «восьмерку». Через четверть часа ей, полузадушенной и с оттоптанymi ногами, удается выдаться из троллейбуса у Консерватории; дальше она идет по тихой улице Станкевича, сворачивает на Горького, доходит до Моссовета и решительно поворачивает обратно — к светящемуся сквозь туман глобусу Центрального телеграфа. Сначала она звонит домой предупредить дуэнью, что задержится. Потом идет в главный зал и заказывает срочный разговор с Новосибирском.

Возвращается она поздно. Дина Николаевна уже начала было волноваться, однако успокоилась, узнав, что Ника выполнила важное общественное поручение по комсомольской линии.

— Ложись скорее спать, — говорит она, — у тебя ужасно утомленный вид. Впрочем, я в твои годы вообще не спала. Помню, когда начиналась сплошная коллективизация, нас однажды всех вызывают ночью в райком и...

— Извините, Дина Николаевна, — вежливо говорит Ника. — Я чуть не забыла — мы едем на картошку, дней на десять.

— На картошку — сейчас?

— Д-да, кажется, ее нужно... перебирать, что ли, я не совсем поняла.

— Как странно! Ну что ж, раз посылают, значит надо. Когда ты едешь?

— Наверное, завтра, то есть определенно завтра, да. Сразу после школы. И вот я не знаю, стоит ли вам беспокоиться, приезжать сюда вечером...

— Да нет, зачем же, — задумчиво говорит Дина Николаевна. — Зачем же мне в такую даль, я ведь каждый день после работы еду навестить кота — соседи-то его кормят, но все равно ему без меня тоскливо, — так я уж тогда завтра дома и останусь. Ну, а ты позвонишь мне, если что-нибудь изменится.

— Разумеется, Дина Николаевна, я вам тотчас же позвоню.

Потом она долго лежит без сна, перебирая в памяти разговор со Светкой. Она сейчас удивительно спокойна, только вот почему-то не спится; даже странно, что несколько часов назад она могла истерически рыдать перед преподавательницей, могла накинуться на ни в чем не повинного Андрея. Ну да, тогда она еще волновалась, потому что еще ничего не было известно толком, а теперь что ж волноваться... теперь все предельно ясно. В один миг она потеряла все — все решительно. Мать, сестру, любимого. Его она тоже потеряла, потому что она не может ни рассказать ему *тако* о своей матери, ни скрыть этого. Лгать умолчанием, как лгали все эти годы ей?

Светка, конечно, смотрит на это иначе. Когда она спросила, знает ли Юрка, в трубке раздался смешок. «Лягушонок милый, это не из тех фамильных преданий, которыми супруги могут уютно обмениваться у камина, тебе не кажется?» Откуда у нее этот цинизм, эта жестокость... Впрочем, гены. «Где он сейчас?

Надо полагать, работает в этом своем Новоуральске,— я, признаться, последнее время не интересовалась...» Она не интересовалась! Еще бы, зачем интересоваться жизнью брата, когда вокруг столько приятного — поездки на конгрессы, диссертация...

Она лежит без сна, в комнате тихо, где-то в стене негромко урчит водопроводная труба, по потолку изредка уже пробегают отсветы фар, запоздалые машины спешат куда-то — может быть, во Внуково, может быть, к симферопольскому самолету. Хотя вряд ли есть такие поздние рейсы — среди ночи. Да и кто сейчас полетит в Крым... там теперь тоже пусто и холодно, как и во всем мире.

Просыпается она очень рано, невыспавшаяся, с тяжелой головой, заставляет себя принять холодный душ и сесть за работу. Нужно написать это сочинение, раз уж она обещала; ей самой совершенно безразлично, но если Татьяна Викторовна хочет... Впрочем, работается ей, против ожидания, легко: тема живая, Маяковский все-таки, к тому же под рукой есть четвертый том Литературной энциклопедии. Закончив, Ника выключает настольную лампу и раздергивает шторы — над Ленинским проспектом встает ледяной туманный рассвет. Суббота, одиннадцатое октября.

Только войдя в класс, Ника вспоминает, что не приготовила ни одного урока, но это ее не волнует. На большой перемене она отдает Татьяне Викторовне сочинение; благополучно сходит и с неприготовленными уроками — никто ее в этот день не спрашивает, только на химии случается казус. К химии в десятом «А» относятся легко, это любимый предмет, особенно у мальчишек, потому что жизнерадостная молодая химичка по прозвищу Ленка-Енка прочно удерживает школьный рекорд по мини-юбкам.

— Так что, Ратманова,— бодро спрашивает рекордсменка,— отвечать будем?

— Не думаю,— говорит Ника, не вставая (на уроках Ленки-Енки это не принято).

— У меня вопрос,— басит Женька Карцев.— Лен-Иванна, что это за мода, говорят, новая появилась на Западе, макси?

— А ты, знаешь, поменьше насчет моды интересуйся,— парирует Ленка-Енка.— На тройках еле вылазишь, а туда же!

— Лен-Иванна! — взывает кто-то с задних парт.— А у кого пятерки, можно интересоваться модами?

— Ну, хватит! — кричит Ленка-Енка, стуча по столу карандашом.— Давай, Ратманова, давай, не тяни резину! На сегодня были ароматические углеводороды. Чего ты о них знаешь, выкладывай быстренько!

— Я о них совершенно ничего не знаю,— говорит Ника очень спокойно.— Духи какие-нибудь?

— Ты чего, не учила, что ли?

— Да, не учила.

— Понятно,— говорит Ленка-Енка почти с восхищением.—

Ты что же это себе воображаешь, Ратманова, органику за тебя на выпускных кто сдавать будет, Менделеев?

— Едва ли.

— Вот и я тоже думаю, что едва ли он за тебя будет сдавать. Значит, так, Ратманова: оценку я тебе выставлю сейчас не буду, в общем-то мне из-за вас в двоечниках ходить тоже неохота, поэтому я тебя не спрашивала и ты мне не отвечала, ясно? А к следующему уроку выдашь мне все это как из пушки. Вот так!

— Ладно,— рассеянно говорит Ника, продолжая листать «Курьер».

На большой перемене, в буфете, она подходит к Питу.

— Послушай, ты после уроков занят?

— После пятого у меня факультатив по математике, а потом ничего. А что такое?

— Пит, приезжай, когда освободишься, вытащи мне магнитофон. Помнишь, ты в прошлом году вмонтировал его в ящик письменного стола...

— Помню, конечно. А зачем вытаскивать — поломался, что ли?

— Я его хочу продать, Пит, только ты, пожалуйста, никому не говори. Понимаешь?

Пит смотрит на нее удивленно.

— Что, у тебя... случилось что-нибудь?

— Пит, ну, это долго рассказывать, и вообще я не могу сейчас об этом. Мне нужно срочно продать магнитофон, поэтому, если можешь, приди и вытащи его из этого ящика.

— Ну, хорошо... я-то вытащу, это минутное дело... А куда ты его хочешь, в комиссионку?

— Наверное, куда же еще можно...

— погоди, погоди... Слушай, у тебя же, помнится, какой-то фантастический маг — «Филипс», да?

— «Грундиг».

— Точно, это у Витьки Звягинцева «Филипс»... Знаешь, Ник, тебя ведь в комиссионке обдерут. У меня есть парень, который купит с ходу. Сколько ты за него хочешь?

— Понятия не имею, я ведь его не покупала.

— Вот что,— решительно говорит Пит,— я приду часам к пяти и приведу этого парня. Он даст настоящую цену. Только ты молчи, а договариваться буду я...

Они беседуют, продвигаясь вместе с очередью вдоль стеклянного прилавка, потом Ника берет свой завтрак и оглядывается с тарелкой в руках. Андрей сидит в дальнем углу, рядом с ним за столиком никого нет. Она подходит и садится на пружинящий алюминиевый стул.

— Андрей, я должна извиниться перед тобой,— говорит она, не поднимая глаз от голубого пластика столешницы.— Пожалуйста, прости меня...

— Я не сержусь,— отвечает он.— Я понимаю, что на тебя нельзя сердиться... сейчас. С тобой ведь что-то происходит, я тоже вижу. Поэтому я и хотел вчера...



— Мне очень жаль, Андрей, что я не... не смогла ответить тебе иначе.

— Не нужно об этом,— говорит он твердым мужским голо- сом.

Из школы она едет в центр. Оказывается, купить билет на поезд не так просто, в городских кассах в здании «Метрополя» давка, очереди, и вообще выясняется, что здесь только предварительная продажа. Нужно ехать на Ярославский вокзал. Там тоже очереди и тоже давка, окошек много, ничего нельзя понять, к справочной протолкаться еще труднее, чем к билетной кассе. Но в конце концов что-то проясняется, Нике указывают нужную очередь, она терпеливо стоит и наконец оказывается перед полукруглым вырезом в стеклянной стенке кассы.

— Пожалуйста, один билет на сто сорок второй поезд, до Новоуральска,— говорит она робко, просовывая в окошечко деньги.

— На сто сорок второй только плацкартные.

— Да-да, пожалуйста, все равно...

Кассирша шелестит бумажками, лязгает ножницами, что-то пишет. Качнувшись, мягко щелкает компостер.

— Сдачу возьмите,— говорит кассирша.— Билет. Посадочный. А это за постельное белье. Отправление в ноль пятьдесят. Следующий!

Ника едва успевает вернуться домой к пяти часам, почти следом за нею приезжает Пит с каким-то незнакомцем в импортном нейлоновом пальто. Пит вытаскивает магнитофон, они долго возьются с ним в столовой, пробуют запись, воспроизведение, о чем-то спорят; Ника тем временем сидит в своей комнате, не в силах ни за что взяться, охваченная страшной, обморочной слабостью. Нужно собираться, решать, что брать с собой, но как можно собраться за несколько часов, если уезжаешь на всю жизнь...

— Ник, послушай,— огорченным шепотом говорит Пит, войдя в комнату.— Он не дает больше трехсот пятидесяти, я не знаю, что делать...

— Продавай, разумеется!

— Понимаешь, я был уверен, что возьму четыреста...

— Чепуха, Пит, триста пятьдесят — это отлично. Только, пожалуйста, пусть он поскорее уходит, я себя плохо чувствую...

— Да-да, мы сейчас, Ник,— говорит Пит почти испуганно.

Они наконец уходят. Ника сидит, смотрит на лежащие на столе деньги — семь зеленых пятидесятирублевых бумажек — и не знает, что делать, с чего начинать сборы. Потом достает со шкафа чемодан — тот самый, с которым ездила в Крым, — красивый немецкий чемодан, черный, округло-плоский, опоясанный широкой хромированной полосой со скрытыми в ней потайными замками и удобной, словно отлитой по ладони ручкой. Ника раскрывает его, проводит рукой по темно-зеленому шелку внутри, под пальцами у нее песок. Еще тот, крымский. А чемодан они

купили с мамой в июне, незадолго до отъезда, зашли однажды в ГУМ — в отдел чемоданов в переулочке за главным корпусом, — и этот так ей понравился, что она упросила купить...

Ника опять садится и плачет, долго и беззвучно, но бой часов в столовой напоминает ей о времени. Она раскрывает шкаф, берет что-то с полок, швыряет в раскрытый чемодан — почти наугад, что попадает под руку. Потом стоит перед выдвинутыми ящиками письменного стола — нечего и думать разобрать все это, взять нужное... Это невозможно, тут каждая вещь или бесценна, или не имеет ровно никакой цены, в зависимости от того, как посмотреть. Старая тетрадка стихов, какие-то записки, коробочка с янтарным кулоном, подаренным к окончанию девятого класса, несколько рисунков Андрея, театральные программки, проспекты международных выставок — словом, целая жизнь, которой больше нет. Зачем ей теперь все это?

Из черепков, разложенных в ряд за стеклом книжной полки, она решает взять один — тот единственный, что увезла без разрешения, попросту украла. На этом небольшом треугольном черепке темной глины глубоко оттиснуты шесть очень четких букв — дельта, эpsilon, мю, эpsilon, тау, ро. Дальше идет отлом, слово не окончено; возможно, это часть посвячительной надписи богине Деметре. Но она предпочитает видеть в нем имя Дмитрия. Разве не могли звать так гончара — Деметриос?

Она осторожно заворачивает черепок в папиросную бумагу, прячет его в шкатулочку, где письма, шелкает крошечным ключиком. Вместе со шкатулкой в чемодан отправляется пачка открыток с видами Феодосии, туристская схема Крыма, подаренный Мамаем план «Как проехать по Ленинграду», потрепанный и истертый на сгибах, и «Античная полевая археология» Блаватского, которую Дима купил ей в тот день, когда они попали под ливень. Потом она долго ходит по квартире, пытаюсь что-то вспомнить, заставляет себя поесть, перекрывает газовый кран, проверяет, выключен ли свет в ванной и туалете. Удивительное спокойствие овладевает ею теперь. Она пишет короткую записку Татьяне Викторовне, находит конверт, надписывает и запечатывает. Потом берет еще один лист почтовой бумаги и пишет крупными буквами: «Мама! Я все узнала насчет Славика. Жить с вами я не могу. Пожалуйста, не надо меня разыскивать, я все равно не вернусь. Вероника».

Она кладет лист посреди стола, придавив угол таллинским канделябром. Потом, уже одетая, в овчинковой куртке, брюках и сапожках, она еще раз возвращается в столовую, чтобы положить ключи от квартиры поверх записки. На лестничной площадке она секунду медлит, сердце у нее колотится, во рту сухо и горько, ей вдруг с пугающей несомненностью становится ясно, что в некоторых случаях смерть — это действительно самый простой выход. Сильным рывком на себя Ника намертво захлопывает тяжелую дверь и с чемоданом в руке идет к лифту.

А на вокзале оказывается, что еще очень рано — до отхода поезда остается полтора часа. Чемодан получился тяжелым,

Ника сдает его в камеру хранения, выходит на площадь, смотрит в последний раз на ночную Москву. Дождь перестал, сильно похолодало, и, если присмотреться, на небе можно различить мелкие озябшие звезды. Нику начинает трясти. В буфете Ленинградского вокзала она, чтобы согреться, выпивает стакан кофе, не отрываясь смотрит на проходящих к перронам пассажиров. Не нужно было сюда идти, она понимает это, но все-таки идет следом за всеми. «Стрела» стоит у шестой платформы, отражения тележек носильщиков плывут, изламываясь, в вишневом лаке вагонов, какие-то беспечные люди курят за зеркальными стеклами. Завтра в половине девятого они будут в Ленинграде.

Ника медленно идет вдоль вишневого состава, оцепенев от непереносимой боли, судорожно стиснув в кармане куртки кошелек с жетоном камеры хранения и билетом до Новоуральска. На сигнальном табло горят цифры, последняя меняется каждую минуту — 23.44, 23.45, 23.46, 23.47... Еще несколько минут, и экспресс тронется, всю ночь он будет лететь с ураганным грохотом по самой прямой в мире дороге, чтобы в половине девятого утра бесшумно подплыть к ленинградскому перрону. А там, чтобы попасть на Таврическую, нужно просто сесть в троллейбус, пятый или седьмой, и по Суворовскому проспекту доехать до улицы Салтыкова-Щедрина, которую каждый уважающий себя ленинградец называет только Кирочной. О, как она знает этот коротенький маршрут, на память, наизусть, всем сердцем, как она благодарна Мамаю за его шуточный прощальный подарок — потрепанную схему «Как проехать по Ленинграду»...

23.53, 23.54, 23.55 — и лакированный вагон вишневого цвета беззвучно трогается и уже плывет вдоль перрона. Проплывает щеголеватая проводница в открытой двери, литые гербы и буквы, зеркальные стекла мелькают все быстрее и быстрее, они уже летят, сливаясь в сверкающую полосу, потом все это великолепие вдруг обрывается — вспышка красных фонарей — и перрон пуст.

Ника добегает до стеклянной кабинки автоматической междугородной связи, лихорадочно роется в кошельке — слава богу, кажется мелочи хватит... Дрожащими пальцами, закусив губу, она сует монеты в щель, набирает цифры по инструкции, слишком много цифр, не может быть, чтобы это действительно соединилось, это просто чудо какое-то было бы... И чудо происходит — в трубке слышатся далекие гудки, долго никто не подходит, потом старушечий голос спрашивает: «Вам кого?»

— Пожалуйста, — говорит Ника задыхаясь, — попросите Дмитрия Павловича, я очень вас прошу...

Пробурчав что-то, старушка уходит, — конечно, уже ведь полночь, кто же звонит в такое время; впрочем, он-то не спит, конечно, лишь бы был дома... И чудо продолжается!

— Да, я слушаю, — звучит в трубке. — Кто это?

— Дима... Это я, Дима!

— Ника? Здравствуй, солнышко, ты что так поздно? Послушай, я уже успокоился — что с тобой, почему ты молчишь, что вообще случилось? Ника!

— Да, Дима. Я... слушай, Дима, я уезжаю из Москвы...  
— Уезжаешь? Ничего не понимаю. Ника! Куда ты уезжаешь?  
В чем дело? Откуда ты звонишь?

— С вокзала, Дима. Я сейчас на Ленинградском вокзале...  
— На Ленинградском? Ты едешь в Ленинград? Ника, ну ты просто молодец, как это тебе удалось, — послушай, ты с родителями или тебя встречать? И каким поездом?

— Дима, — говорит она, кусая губы и захлебываясь слезами. — Дима, я тебе потом все объясню, я не могу сейчас. Я еду не в Ленинград, ты понимаешь, я вообще уезжаю из Москвы, насовсем, я тебе напишу потом...

— Ника, послушай, я ничего не понимаю, погоди — куда ты едешь? Ника! Что случилось?

— У меня большое несчастье, Дима. Я не могу больше жить в Москве, понимаешь, я уезжаю отсюда, насовсем, я обещаю потом тебе написать...

— Ника! — кричит он уже в панике. — Не смей никуда ехать — ты слышишь? У тебя есть карандаш? Я продиктую адрес своих друзей, поезжай немедленно к ним, — ты слышишь? — а утром я приеду, тут есть, кажется, какой-то поезд около часа — я сейчас прямо на вокзал, время еще есть, утром буду в Москве...

— Нет, Дима, — говорит она твердо. — Не нужно, я тебе объясню потом, ты ведь ничего не знаешь...

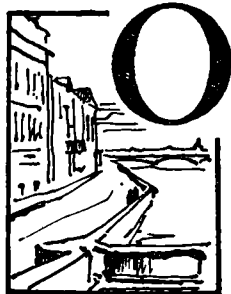
— Ника, я тебе запрещаю, ты слышишь!!

— Дима, прощай, я не могу больше...

Зажмурившись, Ника дергает книзу рычаг — так, наверное, спускают курок, когда дуло у виска. Она долго стоит на площади, без мыслей, без чувств, совершенно пустая и легкая, потом возвращается на Ярославский вокзал, забирает чемодан из камеры, идет на перрон. Вот и поезд «Москва — Владивосток», зеленый, бесконечно длинный. В тускло освещенном вагоне она растерянно задерживается в дверях — здесь почему-то нет ни купе, ни коридора, просто полки и отовсюду торчат ноги. Душно, отвратительный спертый воздух, за боковым столиком трое, раздевшись до маек, шумно пьют водку. Сзади Нике наподдают чемоданом, она подхватывает свой и торопливо пробирается вперед, уклоняясь по возможности от торчащих на уровне лица чужих ног. Разыскав свое место, она вскарабкивается наверх и сидит там, съежившись, испуганная, совершенно оглушенная. Как здесь раздеваются, если нет перегородок? Видимо, никак; придется спать в одежде, но эта невыносимая духота, и вообще...

На нижние полки Ника предпочитает даже не заглядывать — там очень шумно и многолюдно и, кажется, тоже пьют. Судя по всему, она попала в какой-то особый вагон для пьющих, но теперь уж ничего не поделаешь... Она с трудом стаскивает куртку, сапожки, начинает кое-как умищаться на узкой и жесткой полке — и вдруг чуть не слетает вниз от резкого рывка.

— Поехали, стало быть, — удовлетворенно басит кто-то за стенкой. — Чего ж, нагостевались в Белокаменной, пора и за дело браться...



Он позвонил, прислушался, позвонил еще раз. Дверь, добротной обитая черным дерматином, с поблескивающей на ней хромированной табличкой «И. А. Ратманов», продолжала молчать. Шепотом выругавшись, Игнатьев кинулся звонить в соседнюю квартиру.

— Прошу прощения,— сказал он, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал спокойно.— Не знаете ли, есть кто-нибудь дома у ваших соседей?

— У Ратмановых? Понятия не имею.— Выглянувшая из двери толстуха в халате и бигуди пожалала плечами.— Сами они в отъезде, но Ника должна быть дома... если не вышла куда-нибудь!

— Вы видели ее сегодня? — спросил он со внезапно вспыхнувшей надеждой.

Но женщина отрицательно покачала головой:

— Сегодня? Нет, сегодня не видела, я только что встала,— ответила она уже удивленно.— А что, собственно, случилось?

— Да ничего не случилось, просто я хотел повидать... Вы случайно не знаете, в какой школе Ника учится?

— Точно не знаю, но только не в нашем районе. Елена Львовна жаловалась как-то, что девочке приходится далеко ездить — кажется, на Ордынку куда-то, да-да, совершенно верно, она обычно возвращается тридцать третьим троллейбусом, с Октябрьской площади...

Ордынка, ну конечно же, вспомнил Игнатьев, сбегая по лестнице; в тот день в Феодосии, когда они попали под ливень, Ника рассказывала ему о своей школе — это тот же район, где они жили раньше, в Замоскворечье, такой настоящий уголок старой Москвы... Да, и вот еще что: недалеко от их школы, говорила Ника, есть действующая церковь — совсем близко, через несколько домов,— а рядом с церковью что-то вроде маленького сквера... Это уже примета, подумал он, на Ордынке, надо полагать, не так уж много действующих церквей!

Бедка в том, что сегодня школа наверняка закрыта; разве что какое-нибудь воскресное мероприятие? В его время — ког-

да он учился — по выходным иногда устраивались утренники. Впрочем, нет, едва ли, обычно это бывало в связи с тем или другим праздником... Но все равно, попытка не пытка.

На углу у «Изотопов» Игнатъев удачно перехватил такси.

— На Ордынку, пожалуйста. Вы не знаете, есть там какая-нибудь действующая церковь?

— Действующая, говорите? — водитель включил счетчик, подумал. — Вообще-то есть, точно, я одну бабку туда возил. Желтая такая церквушка, круглая.

— Вот туда и давайте!

— Только это с того конца придется заезжать, от набережной. По Ордынке одностороннее движение.

— Как вам удобнее...

Через двадцать минут он вышел из такси у церкви. Там действительно шла служба, и остальные приметы совпадали — рядом был крошечный разгороженный скверик. Игнатъев постоял, осматриваясь, спросил у подвернувшегося мальчишки, где тут школа.

— А вот она, — мальчишка показал в ту сторону, откуда Игнатъев приехал. — Через улицу, там дом семнадцать, это за ним сразу — во дворе... Белые столбы у ворот — видите?

Школа, как и следовало ожидать, оказалась запертой. Ну что ж, завтра, сказал себе Игнатъев. Может быть, Ника никуда еще и не уехала, может быть завтра он найдет ее здесь. А если нет, то поговорит хотя бы с этой преподавательницей, Болховитиновой. Как удачно, что он знает ее фамилию! В лагере однажды Ника сказала, перелистывая затрепанную «лошадиными силами» «Науку и жизнь»: «Как интересно, здесь главный редактор — Болховитинов, а у нас в классе Болховитинова преподает литературу...» И еще добавила, что это мать того самого мальчишки, ее одноклассника, который увлекается искусством. Это ему хорошо запомнилось, потому что ему уже тогда запоминалось все, хоть отдаленно связанное с Никой...

Вот и прекрасно, завтра он с ней поговорит. Она не может не знать — хотя бы в самых общих чертах, — что случилось с ее ученицей, да еще приятельницей сына.

Жаль, что он не знает ее имени-отчества, иначе можно было обратиться в адресный стол и побывать сегодня же у нее дома. Ждать еще сутки? Но ничего другого не остается — только ждать. И пока не думать, не строить никаких предположений. За эту бессонную ночь в купе, под храп верхнего соседа и неумолчный рокот колес под полом, он уже все передумал, перебрал все возможные варианты случившегося с Никой и так и не додумался ни до чего определенного. Что могло вынудить ее к этому бегству? Будь дома родители, самое простое было бы предположить какую-нибудь бурную домашнюю ссору — может быть, даже из-за него, из-за их переписки; кто знает, в конце концов, как они к этому отнеслись...

Но Ника неделю назад писала ему, что родители уезжают

в отпуск, то же подтвердила сегодня и соседка. Значит, дело не в родителях. Но в чем тогда?

Нет, сейчас бессмысленно ломать голову над этим вопросом, если он хочет сохранить ее ясной и способной к трезвым размышлениям. Нужно просто взять себя в руки и дожидаться завтрашнего утра.

Взять себя в руки оказалось не так просто. Внешне Игнатъев был спокоен — он не налетал на прохожих, не разговаривал сам с собой; расспросив дорогу, вышел переулками к станции метро, приехал в центр, зашел побриться, позавтракал, позвонил приятелю и договорился о ночлеге. Потом просто бродил по улицам, прикуривая сигарету от сигареты. Лавки букинистов были закрыты, он посмотрел в маленьком душном кинотеатрике совершенно идиотский фильм, снова ходил, пока ноги не налились чугунной усталостью, и наконец, пообедав в какой-то забегаловке, поехал в Лефортово к Сашке Демидову. Утро вечера мудренее.

И действительно, утром он узнал если не все, то, во всяком случае, самое существенное. Ники, правда, в школе не было, зато Татьяне Викторовне Болховитиновой объяснять ничего не пришлось.

— Я догадываюсь, — сказала она, когда Игнатъев представился и начал было излагать цель своего прихода. — Это вы руководили экспедицией, где Вероника работала летом?

— Отрядом, — уточнил он машинально. — Только отрядом.

— Да, да. Я о вас слышала от нее. Вы, вероятно, приехали узнать...

— Да, я... Ника мне позвонила — позавчера вечером, но ничего толком...

— Вчера я получила ее письмо, она отправила его в субботу, перед отъездом.

— Значит, она действительно... уехала? — охрипшим вдруг голосом спросил Игнатъев. — Но почему? И куда?

— Куда — я еще не знаю, но это можно выяснить, — сказала преподавательница. — А вот что касается «почему»... как бы вам сказать. Ну, в общем, Ника уехала по семейным делам.

— Татьяна Викторовна, — помолчав, сказал Игнатъев. — Я понимаю, вы не можете быть слишком откровенны с незнакомым человеком... тем более когда речь идет о чужих семейных делах. Но поверьте, что все, касающееся Ники Ратмановой, для меня важно.

— Я понимаю, но... Словом, пока могу сказать вам только одно. У Ники есть старший брат, который живет отдельно от семьи. К нему она и уехала.

— Без ведома родителей?

— Да. Но родителям я уже сообщила.

Игнатъев помолчал, разглядывая пластиковое покрытие пола.

— Вы можете мне показать ее письмо? — спросил он.

— Я оставила его дома. Оно совсем короткое: Ника пишет,

что накануне говорила по телефону с сестрой, которая живет в Новосибирске, и та дала ей адрес брата...

— Ч-черт! — воскликнул Игнатъев, ударив себя по лбу.— Ведь у меня же есть ее телефон! Разумеется, она должна быть в курсе всего!

— Вы знаете сестру Вероники?

— Ну да, они же вместе были в Крыму... Но какой идиот — уже вчера утром мог позвонить в Новосибирск, ведь я сутки болтаюсь в Москве...

— Позвоните сегодня. Ну, а что вы намерены делать дальше?

— Как — что? Узнаю адрес и поеду туда.

— Прямо сразу? — подумав, спросила Татьяна Викторовна.

— Конечно! А вы считаете...

— Я бы, пожалуй... выждала день-другой. Мне кажется, так будет лучше, Дмитрий Павлович. Девочке нужно дать время в чем-то разобраться самой... вы понимаете? Тем более, если уж говорить откровенно, вряд ли ей будет приятно ваше присутствие там... хотя бы в эти первые дни. Насколько я догадываюсь, у Ники отношение к вам не просто дружеское... а в таких случаях, Дмитрий Павлович, потребность в душевной откровенности часто сочетается с повышенной ранимостью и... ну, условно назовем это стыдливостью. Вы понимаете, что я хочу сказать? Выждите еще день-другой, а потом поезжайте. С родителями Ники вы уже знакомы?

— Нет.

— Отложите и это. Сейчас, как вы понимаете, просто не время. Что вы должны сделать в первую очередь, так это позвонить в Новосибирск. Вот если бы ее сестра смогла немедленно вылететь к ней... Или пусть хотя бы попытается связаться по телефону.

Когда они вышли из пустого директорского кабинета, где происходил разговор, оглушительный звонок возвестил перемену. Захлопали двери, коридор наполнился школьниками всех возрастов. Татьяна Викторовна сделала кому-то замечание строгим учительским голосом, перехватила какую-то старшеклассницу и напомнила ей о сегодняшнем факультативе. У одной из дверей, откуда только что начали выходить великовозрастные акселераты, она обернулась к Игнатъеву.

— А вот и мои питомцы — Вероникин класс...

Эти шли несколько более чинно, — один парнишка, правда, помодному длинноволосый и даже едва ли не подвитой, дал вдруг козла и понесся по коридору. Другой, белокурый, в черном свитере, проходя мимо них, бросил внимательный, на секунду задержавшийся взгляд. «Не сын ли, — подумал Игнатъев, — что-то есть общее...» Он покосился на Татьяну Викторовну — та ничего не сказала, юноша в свитере прошел дальше с независимым видом. Да, пожалуй... И если это он, то можно понять, почему Ника так усердно его «соблазняла»: интересный юноша — высокий, широкоплечий, с умным и уже волевым лицом. А сходство определенно есть — короткий прямой нос, широко расставленные глаза. Болховитинова — он дал бы ей лет сорок пять, не больше, — была



еще хороша собой, несмотря на утомленный вид и довольно заметную уже седину в каштановых, бронзового отлива волосах. Ранняя седина, впрочем, многим идет, если ее не пытаются замаскировать.

— Да,— сказал он,— взрослые у вас питомцы. Интересно, наверное, с такими работать?

— Интересно,— согласилась Татьяна Викторовна и добавила, подавив вздох: — Но как иногда бывает трудно...

Андрей тоже с первого взгляда догадался, кто этот загорелый незнакомец, стоящий рядом с матерью у дверей класса. Догадался сразу, по какому-то наитию. Впрочем, не совсем наитие: помогла наблюдательность. Загар! Такой загар может быть только у человека, который много времени проводит на солнце, и не здесь, в умеренных широтах, а где-нибудь там... в Крыму, скажем. На раскопках.

Он прошел мимо — мать не сочла нужным их познакомиться, ей виднее. Да и права она. К чему? Подумаешь, радость. Но любопытно, чего это он примчался...

Из-за Ники — это понятно. Что все-таки случилось? Вчера, когда он вынул из почтового ящика конверт, надписанный знакомым почерком, его сразу, как током, ударило неосознанной тревогой. Почему Ника пишет матери, если завтра они увидятся в школе?

— Тебе,— сказал он матери, протягивая конверт.— Если не ошибаюсь, от Ратмановой.

Не проявляя больше интереса к письму, он вышел в коридор и занялся полкой, которую давно обещал закончить. Но, проработав несколько минут, не выдержал и вернулся в комнату — мать стояла у окна с расстроенным, испуганным даже, как ему показалось, лицом. Порывшись для вида в ящике письменного стола, где держал инструменты, Андрей, не оборачиваясь, спросил:

— Да, так о чем она — если не секрет?

— Что? — не сразу отозвалась мать.— А, ты о письме... Вероника некоторое время не будет ходить в школу. Ей пришлось уехать... ненадолго.

— Уехать? Как — уехать? Куда?

— По семейным делам, насколько я поняла...

Больше он ничего не узнал. Действительно ли Ника в своем письме не назвала причин внезапного отъезда, или просто мать не сочла нужным о них сказать — он больше не расспрашивал, делая вид, что вся эта история его не интересует. Позже, входя в комнату, Андрей услышал, как мать негромко говорила отцу: «...Позвоню завтра же с утра — там должны знать, каким теплом ходом они уехали,— если дать радиogramму...» При его появлении они заговорили о другом, он обиделся, но чувство обиды тут же заглушилось страхом — страхом за Нику. Что случилось, если нужно сообщать родителям? И что это за «семейные дела», о которых они не знают?

А теперь появился этот. Он сразу догадался, когда увидел. «Я действительно влюбилась в одного человека там, в экспедиции, я даже думаю, что я его люблю...» Неужели она уехала к нему — но тогда почему он здесь? А что, если... Приехала, а ему это и не нужно, теперь явился сюда — просить повлиять, уговорить... Или еще хуже — но что? Да что угодно!

Мать с загорелым археологом уже ушли, Андрей клял себя, что не подошел, не заговорил, не спросил прямо. Дурак, тряпка, не нашелся сразу! Если он... если он что-нибудь себе позволил... если Ника из-за него... Тогда он его убьет. Приедет в Ленинград, разыщет этот его проклятый институт и убьет его, убьет как собаку, такие мерзавцы не должны жить... Но чего он ждал сейчас? Ехать в Ленинград, когда он только что стоял здесь, перед ним?

Андрей бросился вниз по лестнице, прыгая через три ступени, едва не сбив с ног какую-то мелюзгу. В коридоре второго этажа ему навстречу вышла мать.

— Где он? — спросил Андрей сдавленным голосом. — Это он был? Ника из-за него... уехала?

— Андрей, опомнись, — негромко сказала Татьяна Викторовна. — Как ты себя ведешь!

— Ты должна мне сказать — я не мальчишка уже, чтобы от меня скрывали...

— От тебя ничего не скрывают, — мягче сказала мать и устало улыбнулась. — Не выдумывай себе бог знает чего, дурачок. Дмитрий Павлович приезжал узнать о Веронике, понимаешь? Она звонила ему, сообщила о своем отъезде... и он, естественно, тоже волнуется. А ты решил, что... он в чем-то виноват перед ней? Дурачок, — повторила она, вздохнув с той же усталой улыбкой. — Это совсем не то, что ты думаешь. Ступай, Андрей, сейчас будет звонок...

## ГЛАВА 2

А здесь была зима — прочная, обложная, установившаяся, как видно, всерьез, с легким даже морозцем, непривычно ранним, по московским понятиям, для середины октября. Ника уже минут двадцать одиноко топталась на стоянке такси, оглядывая привокзальную площадь и наблюдая, как на другой ее стороне аборигены штурмуют подкатывающие автобусы — не хуже, чем где-нибудь на Садовом кольце в час пик. Такси так и не было.

Толпа на автобусной остановке между тем поредела. «Да пропади оно пропадом, это дурацкое такси», — с отчаянием подумала Ника и, подхватив чемодан, побежала через площадь. Очередной автобус, и даже почти пустой, как раз показался из-за угла.

— Извините, — немного задыхаясь от бега, спросила она у дремлющего на остановке гражданина. — На каком номере я доеду до улицы Новаторов, вы не скажете?

— Ч-чего? — мрачно переспросил гражданин откуда-то из воротника. — А, Новаторов. До Новаторов доедешь, а как же. На

каком хошь, на том и доедешь. Они туды... все. Как мост будет, так сразу и на выход. Раньше-то «тройка» через Соцгородок ходила, а теперь шоссею снова перекопали, так они все туды... через мост. Там увидишь, панельные дома, по праву руку.

Автобус подкатил, дребезжа и поскрипывая, но кондукторша пронзительно закричала: «В парк!» — и, выпустив через переднюю дверь троих пассажиров, так и не открыла заднюю. Сунувшийся было на посадку гражданин, пошатавшись и восстановив равновесие, забубнил что-то насчет стервей кондукторш и насчет шоссейки, которую перекапывают уже седьмой раз, и все под зиму, все под зиму, туды их родительницу...

Он придвинулся ближе и, видимо, настроился обличать местные нравы долго и обстоятельно, но тут подвалила новая компания, и через пять минут началась посадка — это было почище, чем в Москве. Ника и охнуть не успела, как ноги ее отделились от земли и, уцепившись за чемодан, как за спасательный круг, она оказалась наконец в автобусе. Ехать, к счастью, было недалеко. Услышав под колесами гул мостового настила, Ника протолкалась поближе к двери, на первой же остановке вывалилась наружу и действительно увидела по правую руку новый район, застроенный типовыми пятиэтажными домами. Она вытащила из кармана записную книжечку, еще раз прочитала адрес — и почувствовала вдруг, что не может сделать шагу от страха и волнения.

Было уже темно, двумя параллельными цепочками огней сияли фонари на мосту, слева было разлито в небе тусклое красноватое зарево, и оттуда, если прислушаться, доносился ровный, непрерывный гул, вероятно, там был расположен большой завод. А широкие окна новых домов светились приветливо и разноцветно, и весь этот район ничем не отличался на первый взгляд от какого-нибудь Тридцать седьмого квартала, но сходство было лишь кажущимся, обманным; больше двух тысяч километров пришлось ей проехать, чтобы стоять теперь здесь, на улице захолустного городка, где-то между Свердловском и Тюменью. Кругом была ночь, и Азия, и Сибирь, и плоский элегантный чемоданчик сиротливо чернел у ее ног на этом азиатском, сибирском снегу, а еще недавно он пылился в продутой горячим ветром палатке на берегу Феодосийского залива. Зачем она здесь? Что она здесь будет делать? Что она вообще наделала?

Она медленно поднялась на четвертый этаж, останавливаясь на каждой площадке, прислушиваясь к самой себе, осматриваясь вокруг боязливо и настороженно. Дом был сравнительно новый, но в плохом состоянии — с побитыми метлахскими плитками на площадках, с погнутыми перилами, с исчерканной детскими каракулями штукатуркой. На двери под номером, который был в книжечке, отсутствовала звонковая кнопка, вместо нее торчало из дырки два провода с оголенными концами. Ника опустила чемодан на пол, нерешительно взялась за провода кончиками пальцев, стараясь не коснуться меди, и тронула одной жилкой другую, вызвав к жизни слабенькую голубую искру и оглушительный

трезвон за дверью; оттуда послышались голоса, ребячий топот, перебранка, и наконец дверь распахнулась.

— Кого надо? — крикнула маленькая костлявая женщина, почему-то подозрительно глядя на Нику.

— Простите, пожалуйста, — отозвалась та робко. — Здесь живет Ярослав Иванович Ратманов?

— Ну, — согласилась женщина, не приглашая гостью войти.

— Мне хотелось бы его видеть, — еще тише сказала Ника.

— А его нету! Жена придет скоро, за дитем в ясли пошла.

— Как, — сказала Ника растерянно, — он разве женат?

— А чего ж это ему, интересно, не быть женатому, — воинственно заявила женщина и улыбнулась очень ехидно. — Небось не признался, а? Так вас и ловят, доверчивых-то...

Ника непонимающе приоткрыла рот, потом ей вдруг стало жарко от негодования.

— Меня мало интересуют ваши... двусмысленные догадки, — заявила она, раздувая ноздри. — Однако вы все-таки пропустите меня, или я должна ждать своего брата на лестнице?

Женщина, опешив, посторонилась. Ника вошла и с независимым видом обвела взглядом тесно заставленный хозяйственной утварью коридорчик.

— Покажите мне его комнату, — сказала она высокомерно.

— А чего показывать-то? Вон она, запертая стоит. Говорю, нет никого дома! А хочешь ждать, так ступай на кухню и жди, — уже более миролюбиво предложила соседка. — Галина вот-вот подойдет. Ты что ж это, сестра ему?

— Да, совершенно верно. Сестра!

— Интересно получается. Сроду не было никаких сестер, а тут вот вам, нате. То-то вы с ним такие похожие, — опять ехидным тоном заметила женщина. — Ну, мне-то до этого всего дела мало, разбирайтесь там меж собой, дело ваше. А покудова посиди тут, куды тебя еще девать...

— Спасибо, — независимо сказала Ника, усаживаясь на табурет в углу.

В кухне было жарко, на газовой плите кипела огромная кастрюля, какие-то тряпки висели на протянутой наискось веревке, возле раковины урчала и плескалась включенная стиральная машина. Ника расстегнула дубленку, потом совсем сняла и положила на колени. Она чувствовала себя немного оглушенной. Значит, Ярослав женат; странно, что эта возможность ни разу не пришла ей в голову, хотя по возрасту ему, конечно, полагалось быть женатым. Ни один из бесчисленных вариантов встречи с братом, которые она мысленно представляла себе в дороге, не предусматривал такой простой вещи — присутствия третьего лица. А сейчас и вовсе плохо — брата нет и встреча произойдет только с его женой. Что она ей скажет? Как объяснит свой приезд?

Ею овладела внезапная слепая паника. Убежать отсюда, пока не поздно, пока не вернулась эта неизвестно откуда взявшаяся и никому не нужная Галина; поймать такси и прямо в Свердловск,

денег ей хватит, у нее ведь куча денег, она в дороге почти ничего не истратила из своих трехсот пятидесяти рублей, — а в Свердловске прямо в аэропорт. Утром она будет в Ленинграде, подумать только — снова там, дома, в Европе, вдали от этого снега и мороза, от всей этой Азии... в Ленинграде сейчас обычная осень, дождь, в мокром асфальте отражаются разноцветные огни...

Она порывисто вскочила, словно и в самом деле собиралась бежать. Женщина у плиты, отворачивая лицо от пара, глянула на нее вопросительно.

— Простите, а... Ярослав когда возвращается с работы? — спросила Ника.

— Ну, с работы-то они приходят рано, сейчас он в техникум пошел. На вечернем учится. Ты чего ж это — говоришь, сестрой ему доводишься, а знать ничего не знаешь? Техникум-то он уж скоро кончает, и женат скоро пятый год...

— Мы просто... давно не виделись, и вообще... Скажите, а этот его техникум — это далеко?

— Не, недалёко, тут до угла дойдешь — и направо, в самый конец, где площадь. Ну, десять минут от силы.

— Вы знаете, я пойду туда, — заторопилась Ника, не попадая в рукава куртки. — Я все равно не знакома с его женой, так что лучше я там... Чемодан вам здесь не помешает? Большое спасибо, простите за беспокойство...

Она вылетела на площадку, прострекотала каблучками по всем восьми лестничным маршам и, застегиваясь, выбежала на улицу.

Найти техникум оказалось совсем легко, и в канцелярии Ника без труда получила все нужные сведения — молоденькая секретарша, почти Никина ровесница, подробно объяснила ей, в какой группе учится Ратманов, в каком кабинете занимается сегодня эта группа, на каком этаже расположен кабинет и через сколько минут кончится лекция...

Ника стояла в коридоре, обмирая от страха, то и дело поглядывая на часы и ужасалась стремительному бегу секундной стрелки. Когда не нужно, как оно тянется, это время! А сейчас — хоть бы оно остановилось на полчаса, чтобы дать ей возможность немного собраться с мыслями. Что она скажет ему? А если он не захочет вообще с нею разговаривать? Собственно, зачем она ему нужна... и кому она теперь нужна, это ведь тоже вопрос, — со своим прошлым она покончила, корабли все сожжены, родителей у нее нет, сестра оказалась циничной и бессердечной, Дмитрий никогда не простит ей того прерванного ею разговора. Еще так недавно у нее было все — и вдруг все рассыпалось в прах. Все — и вдруг ничего. Ужасно. Может быть, в конце концов, не так уж не правы были все эти отшельники и пустынноики и вообще все эти... ну, монахи. Просто они более трезво смотрели на жизнь, потому что...

Ника не успела додумать этой мысли — двери кабинета вдруг распахнулись безо всякого звонка, и студенты толпою повалили мимо нее. Она всматривалась, привстав на цыпочки и закусив

губу, но ни в одном лице не могла обнаружить ни капли фамильного сходства. В самом деле, как ей распознать брата? Да и здесь ли он, может быть секретарша напутала, назвала не ту группу? С отчаянно заколотившимся сердцем Ника шагнула вперед и остановила одну из студентов.

— Пожалуйста, извините, вы не могли бы мне сказать, Ратманов сегодня здесь? — спросила она едва слышно, так как голоса вдруг не стало.

— Ратманов? — спрошенная вытянула шею, оглядываясь, и указала на кого-то рукой. — Да вон он стоит! Славка, тебя спрашивают!

Студентка убежала, а Ника осталась стоять на ватных ногах, не в силах двинуться с места. Наверное, она тоже убежала бы, если бы не эти обессилевшие вдруг ноги, убежала бы без оглядки, потому что вместо *брата* увидела перед собой совершенно чужого мужчину — самого обыкновенного, такого, какие тысячами ходят по улицам, молодого мужчину лет под тридцать, среднего роста, коренастого, с довольно светлыми волосами, мужчину, в котором не было ничего не только родного, но и просто... хоть капельку знакомого!

— Вы меня спрашивали? — осведомился он, подойдя ближе и глядя на нее вопросительно, но без особого интереса.

Ника сделала судорожное усилие и кивнула.

— Вы — Ярослав Иванович Ратманов? — спросила она строго.

— Он самый, — подтвердил он. — А вы кто же будете?

— А я буду ваша сестра, — сказала Ника ледяным тоном, вдруг почему-то ужасно разозлившись на брата, который явно не принимал ее всерьез и уж, во всяком случае, не догадывался, что с нею происходит.

— Во как, — чуть озадаченно сказал Ярослав, очевидно не зная, как отнестись к неожиданному заявлению незнакомки. — Это какая же такая... сестра?

— Самая обыкновенная. Младшая. Из Москвы. Разве Светлана не говорила вам, что у вас есть еще одна сестра?

— Постой, постой, — он приблизился и осторожно взял ее за плечо, поворачивая лицом к свету. — Так ты что, действительно Вероника, что ли?

Ника собралась было ответить ему еще более независимо, но тут силы ее наконец иссякли и она, закрыв лицо руками, внезапно расплакалась навзрыд.

— Э, э, ты чего это, — забеспокоился Ярослав, — ну, вот еще! Ты погоди, Вероника, слышь? Ты давай не плачь и давай объясняй все толком. Вот так. Во, молодцом. Ты когда приехала-то? Дома была? Галину видела?

Ника, еще всхлипывая и утирая остатки слез, отрицательно помотала головой.

— Не видела, нет, я только пришла, и там... какая-то женщина, соседка ваша, что ли, начала мне говорить какие-то ужасные вещи, а потом говорит: «Посиди, сейчас его жена придет», а я тог-

да не стала ждать и решила прийти сюда, просто чтобы... ну как вы не понимаете, я ведь вас сначала хотела увидеть!

— Да я понимаю,— озадаченно сказал он.— Понимаю. Вот оно что... так как же нам это теперь сообразить, погоди-ка... Ты знаешь, Вероника, ты тут пока посиди, а я пойду скажу, что уйду с лекции сегодня, ради такого дела...

Он убежал и очень скоро вернулся, сказав Нике, что все улажено. Они молча спустились вниз, к раздевалке, оделись, молча вышли на улицу.

— Какая у вас ранняя зима,— кашлянув, сказала Ника тонким голосом.

— Сибирь,— извиняющимся тоном отозвался Ярослав.— Вообще-то рановато в этом году. А так климат суровый, это верно. В Москве тепло?

— Не тепло, конечно... но там осень еще. Дожди...

— Долго ехала?

— Почти двое суток...

— Владивостокским?

— Да...

Они опять замолчали. Проходя мимо «Гастронома», Ярослав вдруг извинился и сказал, что на минутку заскочит. Ника опять испытала чувство неловкости, не зная, что полагается делать в таких случаях: видимо, он решил купить чего-нибудь, чтобы отпраздновать ее приезд,— должна ли она была протестовать или войти вместе с ним и в свою очередь купить хотя бы коробку конфет для этой самой Галины? Похоже, что живут они скромно, да иначе и быть не может, а теперь из-за нее непредвиденные расходы...

Она раздумывала над этим, казнясь сознанием собственной несообразительности. Господи, она ведь сама писала Дмитрию о ранних браках в прошлом веке; ей скоро семнадцать, а она не умеет сделать ни одного самостоятельного шага, сразу теряется в непривычной обстановке,— действительно, только замуж не хватает такой дуры никчемной...

У дверей «Гастронома» двое, уже порядком навеселе, долго пересчитывали в ладонях мелочь, потом один приблизился к Нике и в изысканных выражениях осведомился, не желает ли девушка скинуться на полбанки. Ника испуганно отказалась; тут, на ее счастье, вернулся Ярослав. Сразу оценив обстановку, он подошел к Никиному собеседнику и легонько тряхнул его за плечо.

— Давай, Леша,— сказал он дружелюбно.— Давай сыпь отсюда, пока не набузовался...

— Славка, др-р-уг! — радостно взревел тот.— Слышь, Славка, познакомься вот с девушкой — ты глянь, симпатичная какая, ну?

— А мы, Леша, знакомы. Пошли, Вероника,— сказал Ярослав, взяв ее за локоть.— Не замерзла, пока ждала?

— Нет, вовсе не замерзла. По-моему, потеплело немного, вам не кажется? — светским тоном спросила Ника.

Они отошли от «Гастронома», когда сзади послышался обиженный вопль:

— Славка, пар-р-разит, ты что ж это делаешь — ребятам сказал, что в техникум, а сам вон куда рванул! И еще бутылка в кармане! Н-ну, погоди, хитрован, мы тебя укоротим — завтра все чисто Галке расскажем! А вы не ходите с ним, слышите, девушка, — он, змей, женатый давно!!

— Вы его знаете? — небрежно спросила Ника.

— Вместе работаем. Хороший парень, но принять любит, беда... А чего это ты мне все «вы» да «вы»? Вроде не по-родственному получается... а, сестренка? Или мне тебя тоже на «вы» называть нужно?

— Что вы... Просто — вы понимаете... ну, ты... понимаешь, это ведь трудно — так сразу!

— Ну, чего тут трудного. Привыкнешь! Да-а, значит, вон у меня еще какая сестренка объявилась, ты смотри. Свету-то я видел года три назад. А ты что ж, выходит... не знала про меня ничего?

— Нет, ничего совершенно.

— Так-так... ну, ничего, вот познакомились. Это хорошо, что приехала навестить, с Галиной еще познакомишься, она у меня хорошая. Петька тоже — заводной такой пацаненок, жалко только, что в садик приходится таскать. Болеют они там часто. А ты, значит, в этом году школу кончила... Понятно. С институтом что ж, не получилось пока?

— Что ты, я еще в десятом, — удивленно сказала Ника. — Еще целый год впереди!

— Вон как. Я подумал — кончила ты... сейчас-то ведь каникул нет?

— Нет, какие же теперь каникулы. Понимаешь, Ярослав, я... ну, я совсем уехала из Москвы. И вообще... я с прошлым решила порвать совершенно, вот. Мне нужно начинать жить заново. Понимаешь?

— Что-то, сестренка, не доходит, — признался он. — Как это «порвать с прошлым»? Какое же оно у тебя такое... это прошлое? Ну ладно, сейчас дома все и расскажешь. А то я чего-то не очень соображаю...

— Погоди! — сказала Ника, схватив его за рукав. — Ты спешишь домой?

— Да нет, Галина меня раньше одиннадцати не ждет. А что?

— Давай тогда походим немного, нам лучше поговорить сначала наедине, тебе не кажется? Я тебе сказала уже, что ничего не знала о... ну, о том, как это все тогда с тобой получилось. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю, сестренка. Сыпь дальше.

— Я узнала случайно, не от родителей. Буквально вот... месяц назад. Ты понимаешь? Они лгали мне всю жизнь и продолжали бы лгать и дальше, если бы не... не эта...

— Да ты погоди, ты не плачь, опять ты за свое! Нельзя ж так, Вероника... а то смотри, будешь плакать — отведу сейчас домой



и говорить с тобой ни о чем не стану. Может, давай лучше завтра потолкуем? Успокоишься пока, отдохнешь, а?

— Нет-нет, ничего, я... я совсем не устала, и я не волнуюсь сейчас нисколько, просто... ну, мне трудно об этом! Ты не представляешь, что это такое — вдруг, вот так, потерять все совершенно!

— Так уж и все, — хмыкнул Ярослав.

— Во всяком случае — главное. Самое страшное, ты знаешь, это когда пропадает вера в людей... правда? Скажи, Ярослав, вот ты, когда узнал, — у тебя ведь появилось такое чувство, что в мире вообще никому нельзя верить?

— Да нет, — сказал Ярослав, подумав, — такого не было... И зря ты, по-моему, говоришь «вообще». Неверно это. Люди, они ведь разные... Допустим, кто-то тебя предал — а другой и поможет, и поддержит. Нет, всех под одну гребенку нельзя.

— Я тебя понимаю! Не думай, что я решительно *всех* людей считаю способными на предательство, — горячо запротестовала Ника. — Нет, конечно! Но просто... появляется какое-то недоверие. Я так верила родителям! Я их считала образцом, понимаешь? Особенно маму. А оказывается...

Голос ее снова задрожал и оборвался.

— Ты что ж, значит, решила от них... уйти? — спросил после затянувшейся паузы Ярослав.

— Я от них уже ушла! Я не могу с ними жить после этого. Ярослав опять долго молчал.

— Не дело это, сестренка, — сказал он наконец тихо.

Ника остановилась, обернула к нему лицо.

— Как? — В голосе ее было недоумение, почти испуг. — Ты считаешь, их можно... простить? Простить их поступок?

— Не так ставишь вопрос. Я, может, и сам не сумею сейчас объяснить... Но ты все-таки постарайся понять, Вероника. Кончать пора эту историю, понимаешь?

— Нет, не понимаю. Я не понимаю тебя, Ярослав. Что нужно кончать?

— Да вот... всю эту бодягу. Я ведь сам, когда узнал... ладно, думаю, нужны вы мне! Жил до сих пор без вас — и дальше проживу. После приезда ко мне Иван Афанасьич... отец твой... ну, поговорили мы с ним. Откровенно поговорили. Он мне сказал: виноваты мы перед тобой, на всю жизнь виноваты, но теперь что ж делать — давай хоть сейчас исправлять что можно. Приезжай, мол, в Москву, будем жить вместе...

— А где они были раньше?! — воскликнула Ника. — Шестнадцать лет ждали, пока дело не дошло до милиции!

— Погоди, погоди. В общем, я отказался. Мне тогда в армию было скоро идти, этим и отговорился. Отслужу, говорю, а там видно будет. Ну, а после демобилизации написал, что возвращаюсь в Новоуральск, буду жить здесь...

— Ты совершенно правильно поступил!

— Наверное. Но только я не со зла так поступил, ты вот это пойми. Зла у меня тогда уже не было. Я просто подумал, что ни к

чему это — семья-то, в общем, чужая, чувствовали бы себя неловко. А злости я на них уже не держал, хочешь — верь, хочешь — не верь.

— Злость — это не то слово, — помолчав, сказала Ника. — У меня тоже нет злости к родителям. Тут другое, Слава... Я не знаю — ну, непримиримость, что ли. Непримиримость к тому, что они сделали, непримиримость к тому, что позволило им жить все эти годы спокойно, как ни в чем не бывало...

— А ты не знаешь, так ли уж они спокойно жили, — возразил Ярослав. — Ну, жили, конечно, что ж было делать! Света росла, потом ты родилась... А ведь что у матери на душе делалось, про это никто не знает. Не думаю я, чтобы ей это тоже так легко обошлось. Я, Вероника, вот что хочу сказать, ты пойми меня, — нельзя, понимаешь, чтоб это тянулось и тянулось. А то ведь... нет, ну смотри сама — то они со мной нехорошо сделали, то ты им теперь мстить начинаешь...

— Да не мечь это! Что ты все слова какие-то выбираешь — «злость», «месть»! Я совершенно не собираюсь мстить, ты тоже меня пойми...

— Ладно, — перебил Ярослав, — слова дело десятое, можно как хочешь сказать. Не о словах сейчас речь. А речь вот о чем: ты вот ушла, бросила стариков одних. Света — та отрезанный ломоть, ты у них одна оставалась. Подумала ты об этом? Не подумала, вижу. А ведь об этом не думать нельзя. Как же они теперь одни будут? Нехорошо, сестренка, получается. Не знаю... тебя, конечно, тоже можно понять — погорячилась, ладно, с кем не бывает...

— Погорячилась? Ты, значит, действительно ничего не понял!

— Да я все понимаю. Однако казнить человека за то, что он когда-то ошибся, что-то не так сделал...

— Выходит, — усмехнулась Ника, — простить за истечением срока давности?

— Да при чем тут срок... Ты вот другое себе представь: ну, хорошо, проходит еще двадцать лет, подрастает у тебя сын. И вдруг спросит — а чего это, мол, я никогда дедушку с бабушкой не видел? Что ты ему скажешь?

— Если спросит в том возрасте, когда уже сможет понять, — скажу правду. Уверена, что он меня не осудит.

— Это если будет думать так же, как ты. А если — как я? Ну, допустим, хорошо, не осудит. Допустим, решит, что так и надо, что можно бросить родителей, если у них что-то было не в ажуре... Храбрая ты, однако, сестренка. Я бы своего Петьку побоялся такому учить.

— Ну, знаешь...

— Да нет, ты погоди, в жизни ведь всякое бывает. Что ж тогда? Так оно и будет цепляться одно за другое? Я поэтому и говорю, сестренка, — кончать это надо, точку ставить...

Они помолчали, Ярослав полуобнял Нику за плечо, на миг прижал к себе.

— Ладно, — сказал он уже другим тоном, веселее, — время у

тебя еще будет над всем подумать, а сейчас идем-ка домой. После еще потолкуем. Только ты, знаешь, ты при Галке не говори пока, что родителей решила бросить. Там как оно еще получится... Скажи просто — навестить, мол, приехала. И давай, сестренка, держи хвост пистолетом, слышь? Ты, я вижу, из-за меня все это затеяла — вроде моральную поддержку решила мне оказать, так зря это. Я, пожалуй, и сам еще могу тебя поддержать, а? Ну, пошли домой, вот Галку-то сейчас удивим...

### ГЛАВА 3

Елена Львовна никогда не верила в судьбу и считала суеверием всякие разговоры о возмездии, якобы постигающем человека за дурные поступки. Верить в какое-то сведение счетов «там», как верит, например, баба Катя, — вообще примитив; что же касается реального возмездия здесь, то жизненный опыт Елены Львовны не давал пока никаких оснований всерьез предполагать такую возможность. Конечно, она знала случаи, когда кому-то приходилось расплачиваться за что-то самым неожиданным образом, но это была чистая случайность. Точно с той же степенью вероятности другим сходило с рук решительно все.

Когда, десять лет назад, всплыла давняя история со Славой, Елена Львовна была потрясена, настолько не укладывалось случившееся в привычную для нее схему взаимоотношений человека с тем, что можно весьма приблизительно и условно назвать «роком». Значит, все-таки он рано или поздно настигает свою жертву — медлит, выжидает, а потом наносит удар? И неужели ей придется теперь платить?

Но платить не пришлось. Тогда — десять лет назад — рок смиловился, отпустил свою жертву (так кот играет с мышью, думалось ей теперь). Все улеглось, успокоилось, от шестилетней Ники случившееся, естественно, скрыли, Света — она была тогда на втором курсе — отнеслась к семейному чепе вполне разумно. Жизнь Ратмановых снова вошла в привычную колею, и колея эта стала для Елены Львовны еще глаже, еще накатаннее...

До этого — особенно первые годы (со временем, конечно, это смягчилось) — ее мучила мысль о сыне. Ребенок — даже нелюбимый, ненужный, живое напоминание о страшной ошибке — это все-таки ребенок. Она не столько тосковала по нем, сколько испытывала угрызения совести, жалость — он-то ни в чем не виноват. Но ведь и жить с отчимом... И когда сын нашелся, когда прошло первое смятение, страх, когда стало ясно, что никаких особо неприятных последствий не будет, — она окончательно уже убедилась, что была права.

Конечно, — кто станет это оспаривать? — отдать грудного ребенка в детдом было жестокостью. Но, увы, как часто приходится в жизни быть жестоким — и в малом, и в крупном. Жестокость, как и другие моральные категории, нельзя осуждать безоговорочно, априорно, вне связи с обстоятельствами. Прежде, когда господствовала абстрактная христианская мораль, жестокость — на

словах, по крайней мере, — осуждалась безоговорочно. Достоевский, помнится, писал что-то о непозволительности строить рай на слезах одного-единственного ребенка. Но ведь Достоевский нам уже не указ, старая обветшалая мораль давно уступила место новой, опирающейся не на слезливую заоблачную «добродетель», а на суровую целесообразность истинного гуманизма. Мы трезво отдаем себе отчет, как часто — к сожалению — приходится жертвовать благом одного во имя блага многих; неужели была хоть капля целесообразности в том, чтобы вместо одного страдали трое, даже четверо?

И сама жизнь — тогда, десять лет назад, — подтвердила правоту Елены Львовны, как бы оправдав задним числом ее вынужденную жестокость. Как оказалось, в конечном итоге никто особенно не пострадал оттого, что Славе пришлось провести детство без семьи; и Слава, хотя его и не усыновили, вырос вполне благополучно, и семья сохранилась. Муж, ездивший к нему в Новоруральск (сама Елена Львовна на это не отважилась), вернулся довольный и успокоенный. «Ну, видишь, — сказал он, — ничего страшного, отличный вырос парень — толковый, самостоятельный, уже имеет профессию и намерен учиться дальше. Государство о нем позаботилось, а как же иначе? У нас человек не пропадет, это ведь не Запад какой-нибудь, где человек человеку волк...»

Жить вместе, правда, Слава отказался наотрез. Узнать об этом Елене Львовне было, конечно, неприятно. Хотя, с другой стороны... неизвестно, как сложилась бы у них совместная жизнь. Да и вообще много возникло бы сложностей — пришлось бы всем как-то объяснять, пошли бы разные догадки и кривотолки... Нет, Слава проявил благоразумие, даже в этом показав себя человеком вполне зрелым, сложившимся.

И Елена Львовна прожила последние десять лет в мире с собой и всем окружающим, окончательно уверившись в правильности — даже, пожалуй, праведности — избранного пути. В конце концов, не была же она законченной эгоисткой! Уже давно жизнь ее была подчинена одной цели: благополучию семьи, причем благополучию не только материальному — Елена Львовна не была вульгарной стяжательницей; семейное благополучие, как она его понимала, должно быть гармоничным и всесторонним — комплексным, как теперь принято выражаться.

Упорно, терпеливо создавала она это благополучие. В меру способствовала карьере мужа, воспитывала дочерей, и воспитывала не так, как «воспитывают» сегодня иные матери. Следила за их чтением, развивала вкус, старалась привить определенные нравственные принципы. Тактично, ненавязчиво, умно. Нет, по совести — ее давно уже ни в чем нельзя было упрекнуть. И судьба, словно в награду (хотя в воздаяние за добрые дела. Елена Львовна не верила точно так же, как и в возмездие за дурные), судьба была с нею щедрой. Раньше или позже, но ей неизменно удавалось достичь всего желаемого. Муж продвигался вверх по служебной лестнице, удачно вышел замуж старшая дочь (Елене Львовне, правда, до сих пор было не совсем ясно, лю-

бит ли Света своего Кострецова, но Кострецов-то ее явно любит — это куда важнее); младшая тоже не давала пока особых поводов для беспокойства. В том, что и Вероника — с ее внешностью и другими данными — сможет найти себе достойного мужа, можно было не сомневаться. Словом, жизнь семьи Ратмановых катилась по хорошо смазанному рельсам. И все это время — все эти последние десять лет — безостановочно и неумолимо отсчитывал дни невидимый, неосязаемый, но от этого не менее действенный механизм возмездия.

Судьба была не только щедра с Еленой Львовной — она до поры была к ней милостива, отняв у нее дар предчувствия. Да и какое могло тут быть предчувствие? Что может предчувствовать человек в заминированном доме, если он не слышит, как где-то в фундаменте тикают колесики и рычажки взрывателя? Он ничего не слышит, ни о чем не догадывается, и смысл случившегося доходит до него слишком поздно — когда начинают рушиться стены, за миг до того казавшиеся такими прочными, такими надежными...

Мир Елены Львовны, заминированный четверть века назад, стал рушиться неожиданно для нее, внезапно и катастрофически. Лишь в тот день, когда Ника, еще в наивном неведении, рассказала дошедшую до нее стороной, через невообразимый лабиринт совпадений, историю Ярослава Ратманова, — лишь в тот день впервые поняла Елена Львовна, какую страшную шутку сыграла с нею щедрая и милостивая к ней судьба.

То, что возмездие избрало своим орудием именно Нику — младшую, любимую дочь, вдобавок не имеющую к той давней истории никакого отношения, — делало случившееся особенно страшным для Елены Львовны, словно бросая на всех зловещую тень нависшего над ними рока. Пусть бы страдала она сама, ей есть за что платить, но Ника?

Впрочем, Елена Львовна, вопреки очевидности, все еще цеплялась за какую-то надежду, моля неизвестно кого, чтобы дочь ни о чем не догадалась, чтобы хоть ей не пришлось страдать. Но надеяться было глупо, она уже и сама это понимала.

Настало время платить, и платить сполна. А за что? Она еще пыталась — в трагически запоздалом споре с собственной совестью — искать какие-то оправдания своему поступку, какие-то доводы, способные подтвердить правильность ее тогдашнего решения. Но доводов уже не находилось, оправданий не было. Никаких оправданий.

Не было их тогда, в сорок пятом году. Ей лишь казалось, что они были: любовь к мужу, страх потерять его, стремление сохранить отца хотя бы для Светы. Все это пустое. Есть вещи, которых нельзя оправдать даже любовью; она не должна была — просто не имела права — продолжать любить человека, хладнокровно поставившего ее перед таким страшным выбором. А вот она любила, продолжала любить; сама низость ее измены, бессмысленной, случайной, вдвойне мерзкой именно потому, что муж в это время был на фронте, усугубляла в ней чувство вины, желание как-то

искупить, что-то поправить... Господи, как будто еще оставалось что поправлять!

Нет, не было у нее никаких оправданий, ни тогда, ни теперь, и не было права надеяться на эту милость, на снисхождение. Однако Елена Львовна надеялась — уже вопреки очевидности. В тот день Ника действительно ничего не заподозрила, поверила в сердечный приступ, но скоро с ней начало твориться неладное — она стала молчаливой, рассеянной, то часами не выходила из своей комнаты, то, напротив, увязывалась за матерью, куда бы та ни пошла, словно желая и не решаясь о чем-то заговорить. Иногда Елена Львовна ловила на себе ее взгляд — и всякий раз Ника поспешно, словно уличенная в чем-то, отводила глаза...

Елена Львовна считала дни, оставшиеся до отпуска. Лучше ей сейчас уехать, думала она, за этот месяц Ника может успокоиться, забыть о своих подозрениях, и все обойдется...

Но не обошлось. В понедельник тринадцатого им вручили радиogramму от Болховитиновой: «С Вероникой неблагоприятно, желательна ваша присутствие». В тот же день они вылетели из Куйбышева самолетом.

Когда Елена Львовна говорила с Болховитиновой, та сказала, что давно заметила в Нике признаки глубокого стресса, и выразила удивление, что она, мать, могла уехать в отпуск, не попытавшись выяснить, что происходит с дочерью. Елена Львовна промолчала. Не могла же она сказать, что фактически бежала от дочери, не в силах больше выносить этот молчаливый поединок.

То, что Ника поделилась с преподавательницей всеми своими подозрениями, потрясло Елену Львовну едва ли не больше, чем оставленная дома записка. Записку девочка могла написать сгоряча, не подумав; но до какой степени нужно было потерять доверие — и уважение — к матери, чтобы, не сказав ей ни слова, прийти со своей бедой к учительнице, чужому, в сущности, человеку...

Именно тогда, во время этого трудного разговора с Татьяной Викторовной, впервые посетило ее странное, никогда ранее не испытанное чувство предельной пустоты и ненужности всего решительно. Сначала это было лишь мимолетное ощущение, но затем оно стало возвращаться все чаще, все продолжительнее. Жизнь блекла, обесцвечивалась, теряла вкус и запах. Она попросту теряла смысл. Ради чего ей теперь жить? Ради чего и для кого?

Все это она сделала когда-то ради любви к мужу, но любви давно уже не было — да и какая любовь могла бы оправдать подобную жертву? Света, которой она тогда хотела сохранить отца, выросла чужой. Ей и в голову не придет осудить мать за поступок со Славой, настолько они ей безразличны. Оба — и мать, и брат. А Нике — не безразличны. И осудила ее именно Ника. Именно Ника — младшая, любимая — судит ее теперь, судит, и выносит приговор, и казнит...

Леденящую пустоту ощущала Елена Львовна в своей душе, и пусто было вокруг, она словно оказалась в каком-то вакууме. С мужем они почти не разговаривали, потому что говорить с ним

о главном было выше ее сил, а все остальное не имело больше никакого значения; конечно, они обменивались какими-то словами, но говорить им было не о чем. Иван Афанасевич сразу вернулся на работу — сказал сотрудникам, что поездка оказалась неудачной, жена простудилась, да и самому надоело бездельничать, — и пропал в министерстве до позднего вечера. Наверное, ей тоже лучше было бы выйти на работу, не дожидаясь окончания отпуска, но она знала, что это вызовет недоумение, догадки, сплетни. Очень может быть, там уже и так о чем-то догадываются, — Болховитинова звонила в редакцию, чтобы узнать, на какой теплоход у них была путевка. Можно себе представить, какие пошли пересуды: звонят из школы, не иначе с дочерью челе...

Боясь встретить знакомых, Елена Львовна никуда не выходила, только за самыми необходимыми покупками. Она готовила, убирала и без того сверкающие чистотой комнаты, смахивала невидимую пыль с полированных поверхностей, продирала ворс ковров утробно воющим хоботом пылесоса. А чаще всего просто сидела в опустевшей комнате Ники — и вспоминала, вспоминала, вспоминала...

Однажды утром, возвращаясь из булочной, уже в подъезде Елена Львовна услышала за собой торопливые мужские шаги. Она не оглянулась и не стала задерживаться, даже поторопиться было задвинуть дверь лифта, но незнакомец воскликнул: «Виноват!» — и с подозрительной ловкостью очутился рядом с нею.

— Вам на какой этаж? — спросил он, лягнув дверь и поднимая руку к панели управления.

— Шестой, пожалуйста, — ответила Елена Львовна. Она надеялась, что он скажет: «Я выхожу раньше», но незнакомец кивнул и нажал кнопку с шестеркой. Елена Львовна отвернулась. Что-то в облике незнакомца показалось ей странным, но что именно — определить было трудно. Не выдержав, она еще раз бросила на него взгляд — человек как человек, лет под тридцать, в коротком непромокаемом пальто с поднятым воротником и довольно лихо сдвинутой на бровь модной тирольской шляпчонке с полями в два пальца шириной. Она снова отвернулась и только потом сообразила, что придает этому подозрительному типу такой необычный вид. Загар, конечно. Прочный, профессиональный загар, какого не приобретешь за месяц отпуска.

На шестом этаже Елена Львовна вышла и уже с тревогой увидела, что загорелый последовал ее примеру. Когда же она убедилась, что он идет за нею по пятам, ей попросту стало страшно.

— Виноват, — снова сказал он и, когда она оглянулась, посмотрел на нее с удивлением. — Вы — в эту квартиру?

— Разумеется, — сухо сказала она, — я здесь живу. А в чем дело?

— Елена Львовна, я не ошибаюсь?

Она кивнула, глядя на него с недоумением.

— Очень рад,— сказал он, поклонившись коротко и неуклюже.— Я Игнатьев, вы, может быть, слышали... от Ники.

— Конечно,— шепнула Елена Львовна.— Конечно! Вы... были у нее?

— У Ники? Нет, еще не был.

— Да, но... ее учительница говорила мне, что вы собирались поехать?

— Совершенно верно. Но мы с нею решили, что пока лучше повременить, и я вернулся в Ленинград, чтобы уладить вопрос с отпуском. А там меня задержали...

— Я понимаю,— потерянно сказала Елена Львовна и вдруг спохватилась, начала шарить в сумке, отыскивая ключи.— Однако что ж мы стоим, зайдемте... жаль, что вы не познакомитесь с мужем, он сейчас на работе...

Они вошли. От завтрака Игнатьев отказался, но сказал, что чашку кофе выпьет. Елена Львовна торопливо вышла на кухню, поставила на газ кофейник и замерла, зябко обхватив себя за локти. Итак, это он. Признаться, она представляла его себе несколько старше... вероятно, поэтому все это казалось ей таким несерьезным. На самом же деле... Сколько ему — около тридцати? Каких-нибудь тринадцать лет разницы... Что ж, может быть, он и прекрасный человек, и любит Нику, если нашел чем заинтересоваться в таком ребенке, в таком несмышленише... Но ведь первая реакция всякой матери в подобном случае — это страх и чувство обиды: вот пришел кто-то отнять у тебя самое дорогое, а ты не в силах уже ничему воспрепятствовать...

Она вернулась к действительности и вспомнила, что в ее-то положении все это выглядит несколько иначе, представила себе Нику рядом с Игнатьевым — и задохнулась от нестерпимого сознания, что теперь дочь действительно потеряна для нее, безвозвратно и навсегда...

— Мне следовало побывать у вас раньше,— сказал Игнатьев, когда она вернулась в гостиную.— Не сейчас, я хочу сказать, а вообще...

— Да, мы с мужем ждали этого,— светским тоном отозвалась Елена Львовна.— Признаться, Дмитрий... Павлович? Признаться, я была несколько... удивлена, что ли, когда Ника рассказала мне о своем новом знакомстве, дав понять, что это не простое знакомство, а нечто более... значительное для нее. Должна сказать, я просто не приняла этого всерьез. Вы почему-то представлялись мне гораздо... солиднее.

— Мне скоро тридцать,— успокоил ее Игнатьев.

— Да? Нике скоро семнадцать. Впрочем, что ж... главное не возраст. Мне, разумеется, трудно заставить себя поверить в то, что моя дочь может уже вызывать... ну, более или менее серьезные чувства.

— У меня Ника вызвала очень серьезное чувство. Иначе я не продолжал бы этого знакомства, Елена Львовна. Я ведь тоже отдаю себе отчет в том, как это выглядит со стороны — тридцать и семнадцать.



— Ах, разве в этом дело... — Елена Львовна помолчала, потом сказала, разглядывая ложечку: — Мне очень жаль, Дмитрий Павлович, что нам пришлось познакомиться при таких обстоятельствах. Вы, вероятно, пришли за объяснениями?

— Вовсе нет, — сказал Игнатъев. — Я пришел познакомиться, потому что давно считал своим долгом это сделать. А если вы имеете в виду объяснения, касающиеся причин Никиного отъезда, то я и не думал... Мне Татьяна Викторовна сказала, что Нике пришлось уехать по семейным обстоятельствам, и это объяснение меня вполне удовлетворяет... я не столь любопытен, чтобы совать нос в чужие семейные дела.

— Дмитрий Павлович... Если ваше чувство к Нике действительно серьезно, то ее семейные дела для вас не совсем чужие, мне думается. Раз вы поедете к ней, какое-то объяснение между вами неизбежно... уж что-то, а вопрос: «Почему ты уехала?» — вы ей зададите. Я хочу избавить дочь от тяжелого для нее разговора. Вы понимаете? Будет лучше — ей будет легче и лучше, — если вы скажете: «Ничего не объясняй, я уже все знаю». Вы хотите знать, почему Ника уехала из Москвы? Я сейчас покажу записку, которую она оставила перед отъездом...

Елена Львовна вышла и через минуту вернулась с листом бумаги, который положила на стол перед Игнатъевым.

— Да, — сказал он через минуту и кашлянул. — Действительно, это...

Елена Львовна, стоя у окна, не оглянулась.

— Слава — мой сын, — сказала она. — Он родился в сорок четвертом, и случилось так, что через год мне пришлось отдать его в детский дом. Как сироту, у которого якобы погибли родители. Впрочем, что уж тут умалчивать... Дело в том, что это был ребенок не моего мужа. Словом, я избавилась от него, чтобы сохранить семью. И шестнадцать лет спустя, когда Слава получил паспорт и на всякий случай решил навести справки о своих пропавших родителях, все это выплыло наружу. Ну... сын мой отказался вернуться в семью, как вы догадываетесь. А Ника ничего об этом не знала. Она с детства считала, что когда-то во время войны у нее был брат, который умер совсем маленьким... Я ведь именно так объяснила старшей дочери исчезновение ребенка. Ей было тогда пять лет, и она могла бы заинтересоваться. Вот так. А недавно Ника узнала всю эту историю в подробностях... совершенно случайно и от постороннего человека.

Не глядя на Игнатъева, Елена Львовна подошла к серванту и достала из шкатулочки сигарету.

— Вот так, — повторила она, закуривая, и добавила с нервным смешком: — А мы с такой убежденностью отрицаем сверхъестественное. Древние, Дмитрий Павлович, были, пожалуй, не так уж глупы, придумывая свою Мойру... так, кажется, звалась у них богиня судьбы? Была ведь такая?

— Мойра? — рассеянно переспросил Игнатъев. — Была, как же. И не одна, а целых три. Клото, Лахэзис и Атропос...

Он крепко потер подбородок, глядя на лежащее перед ним Никино письмо.

— М-да... так вот оно что, оказывается, — пробормотал он, помолчав. — Ну, это, конечно, написано в состоянии аффекта. Можно понять. Шестнадцать лет, что вы хотите... В таком возрасте трудно прощать... ошибки. Особенно тем, кого любишь. Вот как будет дальше...

— А так и будет. — Елена Львовна нервным движением стряхнула пепел в хрустальную вазочку. — В шестнадцать лет не прощают, вы правы.

— Вообще-то, всякий аффект — штука преходящая. Позже, я уверен... Ника успокоится, захочет сама во всем разобраться. Но пока... Вы понимаете, я-то думал, что просто съезжу в этот... Новоуральск и уговорю Нику вернуться...

— Сомневаюсь, что вам это удастся, — Елена Львовна усмехнулась. — Я свою дочь немножко знаю.

— Да, теперь я тоже... не уверен. Я ведь не знал обстоятельства, а они, действительно... усложняют дело. Но все равно — мне думается, оно в конечном счете поправимо. Вопрос лишь в сроках. Я бы, пожалуй... на вашем месте... не стал форсировать события.

— Мы не можем их форсировать, даже если бы и захотели.

— Правильно, и не надо. Вы понимаете, нельзя сейчас сказать Нике — пустяки, дескать, возвращайся домой, ничего особенного не произошло... Произошло, к несчастью, очень многое, и Ника понимает это, что бы ей ни говорили. Ей понадобится время, Елена Львовна, какое-то время, чтобы все переосмыслить...

— Вы думаете, что когда-нибудь она сможет меня простить? — спросила Елена Львовна с той же горькой усмешкой; усмешка эта почему-то раздражала Игнатьева, казалась ему театральной, чуть ли не отработанной перед зеркалом.

— Дело же не в том, чтобы прощать, — сказал он с досадой. — При чем тут прощение! Я хочу сказать, что это, — он хлопнул ладонью по Никиной записке, — это же момент, взрыв, это не имеет протяженности во времени, понимаете?

Елена Львовна неопределенно передернула плечами. Игнатьев посидел, помолчал, потом глянул на часы и решительно поднялся.

— К сожалению, должен откланяться, — сказал он. — Мне еще нужно позаботиться о билете, я думаю вылететь сегодня же.

— Дмитрий Павлович, — сказала Елена Львовна, тоже вставая. — Позвоните мне, когда ваши планы выяснятся. Если самолет вылетает поздно, вы могли бы поужинать у нас и познакомиться с мужем. Я тем временем созвонюсь с ним и попрошу не задерживаться вечером. Вы не имеете ничего против?

— Да н-нет, в общем, — не совсем уверенно сказал Игнатьев. — Мне трудно пока сказать, когда я освобожусь... у меня еще дела здесь, не знаю, успею ли.

Никаких особенных дел у него не было, но ему не хотелось именно сегодня знакомиться еще и с Никиным отцом; мать ему определенно не понравилась. Впрочем, кто знает, отец может оказаться совсем другим человеком. Да и не совсем удобно уехать, не повидавшись.

— Впрочем, ничего, — сказал он. — Это неплохой вариант, я в самом деле позволю вам часа через два и, если Иван Афанасьевич вечером будет дома, приеду. Договорились. Ну, а если он окажется занят, отложим знакомство до другого раза...

Вечером он снова позвонил у знакомой уже двери с сияющей на черном хромированной именной табличкой. Дверь тотчас же широко распахнулась, и благополучного вида пожилой мужчина радушным жестом пригласил его входить.

Пожалуй, именно этим — каким-то особым излучением благополучия — несколько ошеломил Игнатьева Никин отец в первую минуту знакомства. Таким же он оставался и в течение всего вечера. Мужчина должен держать себя в руках, это понятно, но по виду Ивана Афанасьевича вообще никак нельзя было догадаться, что в семье у этого человека происходит драма; Игнатьеву пришла даже в голову нелепая мысль, что Елена Львовна ни словом не обмолвилась мужу об их утреннем разговоре и тот считает его — Игнатьева — ничего не знающим и ни о чем не догадывающимся. Он вел себя любезно и непринужденно, расспрашивал о летних раскопках, упомянул о посещении Помпеи во время последней итальянской командировки — его посылали вести переговоры с фирмой «Ансальдо» — и, когда Елена Львовна вышла из комнаты, сказал, понизив голос и посмеиваясь, что некоторые помпейские изображенца... это просто черт знает что, а еще говорят о безнравственности двадцатого века... любопытства ради стоило бы привезти домой несколько снимков — ему предлагали отличные цветные диапозитивы, — но он просто не рискнул, все-таки в доме подрастающая дочь...

— Да, — сказал он тут, вдруг посерьезнев, и подлил коньяку Игнатьеву и себе. — Жаль, Дмитрий Палыч, что познакомиться нам пришлось в такой неудачный момент... жена мне сказала, что вы в курсе нашей... семейной проблемы.

— Да, — коротко сказал Игнатьев. — Это жаль.

— Дети, дети, — побряхтел Иван Афанасьевич. — Вроде ведь и живешь только для них, а они вот тебе... возьмет вдруг пигалица да такого даст дрозда, что только за голову схватишься.

Игнатьев, согревая в руке рюмку и взбалтывая коньяк круговыми движениями, подумал, что в данном случае дрозда дали скорее родители, а по отцу никак не скажешь, что его тянет хвататься за голову.

— Ну, видите ли, — сказал он, — к поступку Ники это, мне кажется, не совсем подходит. Она ведь не из озорства уехала.

— Да я понимаю, понимаю, — поспешно согласился Ратманов. — Но возраст есть возраст, никуда от этого не деться. Будь она постарше, поумнее...

Из кухни с подносом в руках вернулась Елена Львовна, и он

не окончил фразу, заговорив после короткой паузы о чем-то другом. Супруги явно не хотели говорить с ним на эту тему в присутствии друг друга, и, когда за столом находились все трое, разговор шел о вещах посторонних. Это создавало для Игнатьева какую-то особую, напряженную и фальшивую обстановку, и он уже ругал себя за то, что принял приглашение Елены Львовны. Впрочем, познакомиться так или иначе было необходимо.

К счастью, он с самого начала предупредил хозяев, что должен будет уйти не позже половины десятого — чтобы успеть к автобусу «Аэрофлота». Когда подошло время, Ратманов сказал, что выйдет вместе с ним — проветриться перед сном.

— Боюсь, такси сейчас не поймать, — сказал он, когда они вышли из дома. — А сам я теперь за руль после рюмки не сажусь — недавно чуть не попал в плохую историю, еле вывернулся...

— Ну что вы, — сказал Игнатьев. — Зачем же вам беспокоиться, я отлично доберусь. Тут ведь должно быть метро?

— Это идея, — одобрил Ратманов. — Станция «Университет» тут недалеко, Кировско-Фрунзенская линия — прямо в центр, без всяких пересадок. Прогуляемся, в самом деле, время у вас еще есть... Кстати, и побеседуем без помех, а то вечер просидели, а поговорить не поговорили...

— Да, — сказал Игнатьев, — я иначе представлял себе нашу встречу. Сегодня у меня сложилось впечатление, что вы и Елена Львовна просто избегали говорить со мной о Нике, хотя естественно было говорить именно о ней... раз уж так все случилось.

— Вы должны понять, Дмитрий Палыч. Просто понять! Нам с женой трудно говорить об этом в присутствии друг друга... Тут и подход у каждого свой, и какие-то взаимные обиды, что ли... каждый считает другого более виновным в том, что случилось, все этим и объясняется. Жена только сказала мне, что говорила уже с вами на эту тему... ну, а при мне продолжать разговора не захотела. А я тоже не хотел при ней. Вот так, Дмитрий Палыч, получается иной раз между супругами... дело житейское, что уж тут. Вы этого не знаете... не были еще женаты?

— Нет.

— Так-так... А вообще подумываете? В принципе?

— В принципе я был бы счастлив, если бы Ника когда-нибудь согласилась стать моей женой.

Они только что свернули за угол, укрывшись от ветра; здесь было тихо, безлюдный Ломоносовский проспект пустынно раскинулся перед ними, и последние слова Игнатьева прозвучали в этой тишине так громко и вызывающе, что он испугался, словно услышал их со стороны и только теперь оценил весь их кощунственный смысл.

— Именно когда-нибудь, — буркнул он торопливо. — Прошу понять меня правильно. Я прекрасно знаю, что десятиклассницы замуж не выходят.

— Выходят, еще как выходят, — заверил Ратманов. — Деся-

тиклассницей ей, кстати, не так уж долго осталось и быть. Вы извините за прямоту, Дмитрий Палыч, я ведь по-отцовски. Просто, понимаете, когда Ника вернулась этим летом из Крыма и призналась матери, что встретила там кого-то... мы с женой значения сперва не придали. Ну, встретила и встретила, мало ли что девочке в голову взбредет... Тем более она так вас аттестовала — крупный ученый, кандидат наук, — почему-то нам с женой представлялся товарищ более солидный, ха-ха-ха, вы понимаете, солидный именно по возрасту, не в каком-нибудь другом смысле. И мы, естественно, допустить и мысли не могли, что может возникнуть что-то серьезное между таким солидным товарищем и нашей, понимаете ли, телегалицей. А потом, смотрим, переписка продолжается, да еще телефонные разговоры пошли — нет, думаю, тут дело серьезнее... В общем, я все это к тому, Дмитрий Палыч, что особенно приятно мне было сегодня с вами познакомиться. Конечно, я понимаю, с одного раза человека вроде бы и не узнать, но есть люди, понимаете ли, антипатичные, а есть... располагающие. И на людей, я должен сказать, у меня глаз наметан, — все-таки руководящая работа вырабатывает одно ценнейшее качество, понимаете ли, а именно — умение оценивать человека чуть ли не с первого взгляда. Какая-то, понимаете ли, интуиция особенная появляется на этот счет! И я вот сегодня как отец испытываю просто... как бы это выразиться поточнее... ну, просто это-кое душевное успокоение!

Игнатъев пробормотал что-то в том смысле, что ему-то это весьма лестно; на самом деле ему было не столько лестно, сколько неловко, потому что и сейчас, как и тогда за столом, его не покидало ощущение какой-то фальши. Ощущение это было вполне определенным, хотя и не основывалось ни на чем конкретном. Так, штришки какие-то. Может быть, конечно, тут он был несправедлив; дело в том, что Никины родители ему определенно не понравились. Ни отец, ни мать — впрочем, та, по крайней мере, вызывала если не симпатию, то хотя бы жалость.

— ...И я вам скажу попросту, честно и открыто, как привык, — продолжал Ратманов. — Дело, как говорится, ваше с Никой личное, но если оно у вас сладится к тому времени — заранее даю «добро». Вы, понятно, человек еще молодой, про дочку мою и говорить нечего, так что — в принципе — у каждого из вас есть еще впереди время искать свой, понимаете ли, идеал... да только ведь, Дмитрий Палыч, от добра, как говорится, добра не ищут. Раз уж так получилось, что встретились, понравились друг другу...

— Видите ли, — сказал Игнатъев решительно, — мы ни разу не говорили об этом с Никой так... конкретно. Боюсь, этот разговор несколько лишен смысла сейчас, в ее отсутствие. И в данной ситуации.

— Понимаю, понимаю! Мы ведь и не собираемся ничего решать, можно просто... парафировать для себя какие-то пункты принципиального соглашения. А что касается ситуации, Дмитрий Палыч, то она, на мой взгляд, не только не исключает возмож-

ность такого разговора, а напротив, делает его как раз очень своевременным...

Тон Ратманова почти неуловимо изменился: теперь, когда он произнес эти слова, из него почти исчезли нотки добродушно-отеческой, чуть хмельной умиленности и на смену им появился оттенок деловитый и весьма трезвый, почувствовалась какая-то внезапная и целеустремленная настойчивость.

— Я слушаю вас,— сдержанно сказал Игнатъев.

— Поясню свою мысль. Ситуация сложилась необычная, скандальная, если хотите, но для меня она еще и трагическая, Дмитрий Палыч, потому что я — отец. Вы меня понимаете? Дочь ушла из семьи, ушла решительно, хлопнув, так сказать, дверью и решив больше не возвращаться. Естественно, что тут, помимо обиды и... ну, и других прочих эмоций, возникает чувство тревоги — ну, а как она будет дальше? Дочь-то — что она будет делать? Вернуть ее силой — нельзя по закону, да и смысла нет, что бы это была за жизнь, посудите сами. А оставить одну, предоставить, так сказать, воле судьбы... согласитесь, не всякий отец на это пойдет! В таком случае естественно, мне кажется, обрадоваться тому, что у дочери нашелся друг, близкий человек, который сможет... ну, попросту позаботиться о ней!

Тоже верно, подумал Игнатъев. Все-таки он просто несправедлив к старику, конкретно ничего плохого в нем нет... пожалуй.

— Я вас понимаю, Иван Афанасьевич,— сказал он уже теплее.

— А я и не сомневался, что вы меня поймете. Я ведь не то что хочу вас... поймать, что ли, заставить жениться с ходу. Просто нам с женой легче будет, если мы будем знать, что Нике есть к кому притулиться... Как у вас со временем?

Игнатъев посмотрел на часы.

— У меня еще сорок минут до отхода автобуса, иначе придется ловить такси в Шереметьево...

— А, так вы успеете. Вон оно — метро, а ехать отсюда до Охотного ровно двадцать минут. Словом, я вам вот что скажу. Ради Никиного блага и нашего родительского покоя — не оставляйте ее в этом чертовом Новоуральске. Как хотите и куда хотите, но заберите ее оттуда. Прежде всего, постарайтесь убедить вернуться сюда; никто ей слова не скажет, будем считать, что ничего не случилось, и точка. Ну — нервный срыв, кризис, с кем не бывает! Сам на работе иной раз так, понимаете ли, психанешь — потом своим же подчиненным стыдно в глаза смотреть. Словом, пускай возвращается, как говорят, к пенатам. А не захочет — мой вам совет, Дмитрий Палыч, не тяните и давайте договаривайтесь с Никой касательно совместных планов на будущее. Провентилируйте хорошенько этот вопрос, тут, если разобраться, нет ничего сложного. Кончит школу, получит аттестат, и с богом. Школу она ведь, кстати, и в Ленинграде смогла бы кончить... если уж в Москву наотрез не захочет. Только чтобы там не вздумала остаться, слышите?

— Я постараюсь убедить Нику вернуться в Москву,— ска-

зал Игнатъев. — Но если она захочет пожить некоторое время у брата...

— Не соглашайтесь ни в коем случае, употребите все свое влияние, уговоры, силу, все что угодно. Я ничего дурного не скажу про Ярослава, но у него своя семья, и Нике там тереться нечего. А жить самой — это сумасшествие, ей же семнадцать еще нет, как она там устроится? Поэтому я и говорю — любыми средствами, вплоть до умыкания...

— Даже так, — сдержанно посмеялся Игнатъев и, перекинув дорожную сумку в левую руку, протянул правую. — Ну, мне пора, Иван Афанасьевич.

— Да-да, до свидания, счастливого пути и — ни пуха вам ни пера! А насчет умыкания я серьезно: если не останется других способов — можете увозить ее в Ленинград, заранее имеете мое «добро». Ни пуха ни пера!

— К черту, — от души ответил Игнатъев. — К черту!

#### ГЛАВА 4

Самолет приземлился перед рассветом. Двигаться дальше в такую рань не имело смысла; Игнатъев прошел в зал ожидания, наполненный храпом транзитных пассажиров, отыскал свободное кресло и простал до утра, успев даже увидеть очередной автомобильный сон. На этот раз приснился фиолетовый «конвертибль».

Без четверти десять он был уже в Новоуральске. Таксист ему попался общительный и разговорчивый, за час пути из Свердловска он расспросил Игнатъева о его работе, рассказал о своих планах жениться и закончить без отрыва какой-нибудь вечерний институт или техникум. Подкатив к единственной в Новоуральске гостинице «Дружба», таксист уже протянул руку, чтобы выключить счетчик, и вдруг спросил:

— У вас забронировано тут?

— Да нет, — сказал Игнатъев, — я так, наугад. На худой конец поговорю с кем-нибудь из горничных, авось дадут адрес...

— Минутку, — перебил таксист. — Наугад и спрашивать нечего, я вам точно говорю. Можно, конечно, у частника снять койку, так ведь это еще к кому попадешь. Вы как, десяткой лишний располагаете?

— Располагаю. А что, есть возможность?

— Давайте ее сюда, а сами обождите в машине. Если только Клавка сегодня дежурит...

На его счастье, Клавка дежурила. Минут через пятнадцать таксист вышел из подъезда, сел за руль, выключил счетчик и отдал Игнатъеву бланк регистрационного листка и ключ с деревянной биркой.

— Ясно? — спросил он, подмигнув. — Значит, так: вы сейчас прямиком на третий этаж, спокойненько, будто уже неделю там проживаете. А после в номере листок этот заполните и — без верхней одежды — вниз, к администратору. Скажете, срок, мол, истек, плачу за следующие сутки...

Проходя деловым шагом через гостиничный холл, Игнатьев чувствовал себя положительно прохиндеем и очень боялся встретиться взглядом с кем-нибудь из страстотерпцев, толпившихся у окошечка дежурного администратора и уныло сидевших в раскоряченных современных креслицах под пестрыми плакатами «Интуриста». На третьем этаже он так же деловито, помахивая ключом, прошел мимо коридорной, нашел и отпер свой номер — маленький, жарко натопленный, пахнувший свежей масляной краской и мастикой для натирания полов.

Он разделся, посидел у письменного столика, глядя в окно и барабанив пальцами по телефонной трубке, потом поднял ее

— Виноват,— сказал он, когда отозвалась телефонистка.— Девушка, мне нужна справка, может быть вы поможете. Где здесь улица Новаторов? Это далеко от гостиницы?

— Ой нет, что вы,— певуче отозвалась та.— Вы с номера звоните? У вас куда окошко — на площадь или во двор?

— На площадь. Я вот сейчас на нее смотрю.

— Ну, так улица Новаторов перед вами и есть! Там вон дом с колоннами напротив,— видите, где реклама Госстраха на крыше? — а влево улица уходит, дома в пять этажей, крупнопанельные — видите? Это и будет Новаторов...

Он осторожно опустил трубку и взялся за подбородок. Цель оказалась слишком близко, к этому он был как-то... не подготовлен. Вдруг так, сразу — через площадь и влево. Да, совершенно верно — стандартные пятиэтажные дома, точно такие, как где-нибудь на Новоизмайловском проспекте. Или на Охте. Совсем близко. Тут и с мыслями не успеешь собраться...

Правда, он тотчас же с облегчением вспомнил, что есть еще неотложные дела — пойти заплатить за номер, потом побриться. Или, пожалуй, наоборот.

Он вытащил из сумки футляр со «Спутником», завел пружину, критически оглядывая себя в зеркало. Вид, конечно, еще тот — как по заказу. А что удивительного? Третью ночь приходится спать урывками, и все снятся эти проклятые машины. Ника небось не приснится. А машины — просто проклятье какое-то, еще и эта фиолетовая пакость сегодня, пришлося ее куда-то прятать, словом — бред. Вот нет у нас в Союзе психоаналитиков... пришел бы, полежал бы на кушетке с закрытыми глазами, рассказал бы все как на духу — может, и докопались бы, откуда это берется. В самом деле — почему ни разу не приснилась Ника?

Да, а родитель-то у нее... Что угодно, говорит, вплоть до умыкания. Полный карт-бланш. Но откуда у таких родителей такая дочь? Загадки наследственности. Умыкайте, говорит, доучиваться может в Питере. Ай да папа.

Внизу, у дежурного администратора, все сошло благополучно. Дождавшись, пока у окошка кончит ругаться получивший отказ, Игнатьев небрежно назвал номер комнаты и сказал, что хочет уплатить еще за трое суток.

— Семь рублей пятьдесят копеек,— громко сказала дежур-



ная, переславшая копирками квитанционную книжку, и спросила вполголоса: — Листок заполнили? Паспорт с вами?

— Все в порядке,— сказал Игнатъев.

— Отдайте дежурной по этажу вместе с этой квитанцией...

Через десять минут, выйдя из гостиницы и не успев еще пересечь площадь, он увидел Нику.

Он узнал ее не сразу, и вообще не узнал бы, вероятно, если бы она не оглянулась. Он шел через разбитый посреди площади чахлый молодой скверик, а перед ним молодая женщина вела за ручку ребенка лет четырех. Женщина была в коричневой дубленой курточке с поднятым капюшоном, в коротких сапожках и узких черных брюках, и он обратил на нее внимание только потому, что походка ее и вся манера держаться показались вдруг ему странно знакомыми. В сущности, только присутствие ребенка создавало своеобразный психологический барьер, помешавший Игнатъеву сразу узнать эту походку.

Они были шагах в двадцати перед ним, когда ребенок закапризничал, стал упираться и, выдернув ручонку, остался стоять посреди дорожки. Мать прошла немного вперед, потом оглянулась и, собравшись было позвать своего взбунтовавшегося отпрыска, увидела почти поравнявшегося с ним Игнатъева.

Тот, увидев ее, остолбенел и тоже остановился. Впрочем, он тут же опомнился и понял, что все это не игра воображения и что в самой встрече нет ничего сверхъестественного, если эта самая улица совсем рядом. Правда, младенец оставался загадкой, но сейчас ему было не до младенцев. Не отрывая глаз от испуганного, с приоткрытым ртом лица Ники, он поднял руку и с какой-то безобразной игровостью помахал перчаткой.

— Алло,— сказал он ненатуральным голосом.— Ты совсем как жена Лота... неужели я так уж страшен?

Он подошел к ней вплотную и взял за руки.

— Ну, здравствуй,— сказал он тихо и добавил еще тише: — Любимая!

— Здравствуй,— едва шевельнув губами, шепнула Ника.— Как ты... здесь очутился?

— Очень просто, сел в самолет и прилетел.

— Зачем ты это сделал?

— Вот так вопрос! А что я должен был делать?

Она помолчала, закусив губу.

— Если бы я хотела, чтоб ты был здесь, я написала бы тебе об этом...

— Иными словами, ты хочешь, чтобы меня здесь не было?

Ника ничего не ответила. Забытый в стороне ребенок вдруг оглушительно заревел и, когда Ника кинулась к нему, объявил, что хочет пипи.

— Господи,— растерянно сказала Ника,— если бы я знала, как это делается... я сегодня первый раз вышла с ним погулять, обычно он в садике...

— Это твой племянник?

— Племянник... Но что мне теперь с ним делать?

— А ты его посади,— подумав, сказал Игнатъев.— Их как-то держат на руках, я видел...

— Да, но на нем столько накутано... Ты думаешь, он не простудится?

— Вряд ли. Это минутное дело. Давай-ка попробуем его раскутать прежде всего.

Они присели около племянника на корточки и начали, мешая друг другу, возиться с его одежками.

— Действительно, ничего не понять,— озабоченно сказал Игнатъев.

— Это его соседка одевала, она всегда так кутает...

— Тетя Ника, а мне узе не нузно,— важно объявил вдруг племянник.— Я узе в станы наделал.

— Ну, Петька! — огорченно ахнула Ника, удостоверившись в том, что так оно и есть.— Ну поросенок же ты, как теперь будешь гулять с мокрыми штанами? Теперь пойдем в садик, ничего не поделаешь, пусть там тебя переодевают... Дима, я тогда отведу его сейчас, ты меня подожди.

— Это далеко?

— Нет, ты жди здесь, это близко, я скоро вернусь...

Ника взяла оскандалившегося Петьку за руку и ушла не оглядываясь. Игнатъев посмотрел на часы, прошелся по всем дорожкам скверика, потом обошел площадь вокруг, рассеянно поглядывая на витрины. Ника появилась через двадцать пять минут, сдержанная и какая-то отчужденная.

— Ты давно завтракала? — спросил Игнатъев.

— Давно, но есть я не хочу.

— Тогда мы пообедаем часа в два, если не возражаешь. А сейчас, я думаю, нам нужно просто сесть и поговорить.

— Хорошо,— безучастно согласилась Ника.— Где, здесь?

— Нет, здесь ты простудишься, пойдем ко мне в гостиницу.

— Ты думаешь, это прилично? Ах, впрочем, не все ли равно. Хорошо, идем к тебе. Ты остановился в «Дружбе»? Тебе повезло, я тоже хотела снять здесь номер, но мне сказали, что мест нет и не будет...

— Сейчас ты у брата?

— Да... они очень милые, но я их стесняю — одна комнатка, это не очень-то удобно...

— Слушай, а ведь здесь совсем зима.

— Сейчас еще ничего,— сказала Ника.— Когда я приехала, было холоднее...

Войдя в холл, где за эти полчаса стало еще более людно, Ника приостановилась и робко глянула на Игнатъева.

— Вдруг меня не пустят? — шепнула она.— Я слышала, в гостиницы посторонних не пускают...

— Только после определенного часа.— Игнатъев улыбнулся.— Ты видела «Твой современник»?

— Нет, мне кто-то из ребят говорил, что скучища.

— Взор, отличный фильм...

— А что?

— Да нет, просто вспомнилось... там забавный разговор на эту тему. Ну, смелей...

Войдя в номер, Ника нерешительно огляделась.

— С тобой здесь еще кто-нибудь?

— Нет, к счастью. Просто это двухместный номер, считается «люкс»... хотя без ванной почему-то. Ну, раздевайся, снимай свои меха, здесь жарко. Ты знаешь, я ведь не узнал тебя, хотя шел за тобой в двадцати шагах. Пока ты не оглянулась.

— Просто ты никогда не видел меня в этом...

— Ну да, в Крыму ты была одета несколько легче, — улыбнулся он. — Загар сошел?

— Почти. В Москве, когда мы вернулись, мне ужасно не хотелось купаться, боялась стереть загар... Ох, ты сегодня такой нарядный — я ведь тебя тоже никогда не видела иначе как в джинсах и ковбойке... А вот у тебя загар не сошел...

— Он у меня хронический, — сказал Игнатьев, крепко потерев щеку. — Даже бритва не берет. Ну что, мы так и будем стоять?

Ника нерешительно, бочком, присела к письменному столу. Игнатьев сел на кровать напротив.

— Так вот, Ника, — сказал он, уперев локти в колени, соединив концами растопыренные пальцы и внимательно их разглядывая. — Я знаю почти все... во всяком случае, все самое существенное... поэтому ты можешь мне ничего не объяснять и ничего не рассказывать. Вчера я провел вечер с твоими родителями...

— Они уже вернулись? — тихо спросила Ника.

— Да, на прошлой неделе. Их вызвала твоя учительница, которой ты послала письмо перед отъездом. С нею я тоже виделся. Словом, я вполне в курсе дела. А сюда я приехал для того, чтобы предложить тебе вместе решить — как быть дальше. Если тебе это не нужно, если ты хочешь действовать без советов и подсказок — скажи, я не обижусь. Мне просто кажется, что посоветоваться и подумать вместе никогда не мешает. Конечное решение так или иначе остается ведь за тобой, я не собираюсь тебе ничего навязывать...

— Я знаю...

— Ника, послушай.

— Да?

— Ты считаешь, что тебе необходимо оставаться именно здесь, рядом с братом?

Ника беспомощно пожала плечами, глядя в окно.

— Не знаю, Дима... Я так думала, но... это получается как-то не совсем реально, что ли. Я не знала, что у него жена, ребенок... И он вообще не совсем такой, как я воображала. Он... гораздо сильнее, понимаешь? Я думала, он нуждается в помощи... какой-то такой поддержке, поэтому я и приехала сюда. Но с самого начала так получилось, что они с Галочкой обхаживают меня как больную, утешают, нянчатся со мной как с маленькой... глупо как-то ужасно.

— Глупого-то тут ничего нет... пока. Ну, а дальше?

Ника нервным движением отвела от щеки прядь волос и ничего не ответила. Помолчав, она сказала сдавленным голосом:

— Дима, я должна сразу сказать тебе две вещи, очень серьезные. Во-первых, к родителям я не вернусь. Если ты приехал меня уговаривать, то зря. Я не вернусь, понимаешь?

— Понимаю, Ника. Уговаривать тебя я не стану. А во-вторых?

— Во-вторых, я тебе не верю.

— Прости, не понял,— озадаченно сказал Игнатъев.— Чему ты не веришь? Что я не собираюсь тебя уговаривать?

— Нет. Не этому. А вообще. Я теперь не верю тебе вообще Ни в чем. Понимаешь?

— Хоть убей, нет. Разве я тебя в чем-то обманул?

— Еще нет.

— Хорошенькое дело — еще нет! Ты соображаешь, что говоришь?

— Прекрасно соображаю.

— Нет, не соображаешь!

— Нет, соображаю!

— Ну хорошо, хорошо! — Игнатъев вскочил и пробежался по диагонали, пнув по пути завернувшийся угол ковра.— Допустим, это я ничего не соображаю. Допустим! В таком случае будь добра объяснить мне толково и членораздельно — почему ты считаешь меня потенциальным обманщиком. Я жду!

— Дима, не сердись,— сказала Ника с упреком.

— Я вовсе не сержусь, что ты. Я тронут и доволен. Я счастлив! Я ведь только за этим сюда и летел...

— Дима, ну успокойся, ну ведь ты же меня понял совершенно не так!

— Прекрасно, объясни в таком случае, как я должен был тебя понять.

— Ну, я сказала... в обобщенном смысле.

— Что это значит?

— Я тебе не могу верить не потому, что ты — это ты, а вообще. Я теперь не верю никому. Даже себе и то не верю. Понимаешь... я сегодня все утро думала: почему я все это сделала? Действительно ли потому, что иначе не могла, или просто чтобы покрасоваться перед собою...

— И к какому же выводу ты пришла?

— А ни к какому. Вот мне кажется, что я это сделала ну совсем-совсем искренне — но как проверишь? Все равно ведь за этим может сидеть малюсенькое такое желание покрасоваться... понимаешь? Когда я ехала сюда, Дима, мне ужасно плохо было, ты себе представить не можешь, как плохо... еще и после разговора с тобой, — я была уверена, что ты мне никогда этого не простишь, ну и вообще... И вот я ночью вышла в тамбур — постоять просто немного, у меня голова ужасно болела, в вагоне было нечем дышать. И знаешь, меня такое отчаяние охватило вдруг, — представь себе, пустой прокуренный тамбур, освещение какое-то тусклое, холод ужасный, и эти колеса под полом грохочут, будто

погоня... А главное — что ночь и никого-никого вокруг... Ты понимаешь, Дима, рассказать этого нельзя, когда рассказываешь — просто смешно получается со стороны, но меня тогда ужасное охватило отчаяние, и я тогда подумала — ну, может, просто ухватила за эту мысль, чтобы немного легче стало... Только ты не будешь смеяться, обещаешь?

— Обещаю, Ника.

— Ну вот, я просто подумала, что именно этим путем, может быть, ехали когда-то жены декабристов, им ведь тоже было все страшно и непривычно, но просто они иначе не могли и поэтому выбрали себе такую судьбу. Я, конечно, не то чтобы сравнила себя с ними, не такая уж я дура, поверь, — но просто мне подумалось, что я ведь тоже выбрала это добровольно — иначе было бы бесчестье... И тогда мне стало немного легче. Ну, это меня утешило как-то в тот момент. А потом вспоминать было очень стыдно, потому что я ведь понимаю, что одной этой мыслью все перечеркнула...

— Ты не права, — решительно перебил он. — Ты просто перегибаешь палку. Понимаешь, Ника, самолюбование — штука скверная, это понятно. Но если человек берет на себя какую-то тяжелую обязанность и выполняет ее во имя долга, то мне кажется, что в особенно трудную минуту он вправе подбодрить себя именно этим — мыслью о том, что он выполняет свой долг. Если ты поступила так, как тебе велела совесть, то нет ничего дурного в том, чтобы немного утешить себя этим сознанием... оно ведь и в самом деле утешительно. Но мы уклонились от главного. Ты сказала, что никому больше не веришь...

— Просто не могу верить, — подтвердила Ника.

— Ну, а брату? А его жене? Ты говоришь, они с тобой нячтятся. Ты что же, подозреваешь их в корыстных замыслах?

— Как тебе не совестно!

— Почему же? Вполне логичное предположение. Если никому не верить...

— Нельзя понимать все так буквально!

— А как же я должен это понимать?

— А так, — объявила Ника, раздувая ноздри, — что никакой любви на свете нет! Это все выдумки! Я именно это имела в виду! Теперь тебе понятно?

— Не кричи, услышат в соседнем номере, — поморщившись, сказал Игнатъев и сел на прежнее место. — Ты, Ника, прости меня, повторяешь старую и бородастую пошлость... и почему-то всегда она преподносится как откровение. Это что ж, вы в своем десятом «А» пришли к выводу, что любви нет?

Ника вскочила, побледнев, и отшвырнула волосы от щеки.

— Вы... вы... еще с вашей иронией — я вас ненавижу! Мне... противно на вас смотреть!

— Представьте, мне тоже, — любезно сказал Игнатъев. — Никогда не любил ведьм, даже таких молоденьких. Куда это вы?

— Не ваше дело!

— Э, нет, — Игнатъев быстро встал и перехватил за руку Нику, которая кинулась за своей дубленкой. — Я сейчас куда

вас отсюда не пушу... иначе на улице вас раздавит первый же грузовик и вы погибнете во цвете лет, и, главное, нераскаившейся грешницей. Гнев считался одним из семи смертных грехов...

— Пус-с-тите меня, слышите...

— Спокойно! — Держа за руки, Игнатъев заставил Нику пятиться, пока она не натолкнулась на край кровати и с размаху села, потеряв равновесие. Он отпустил ее, она упала боком и расплакалась, уткнув лицо в одеяло.

— Вот и прекрасно, — сказал Игнатъев, возвращаясь на место. — Теперь скоро все пройдет.

Ника плакала минут пять, потом затихла, но лежала не шевелясь, в той же позе. Игнатъев встал, поглядел на нее задумчиво, надел пальто и достал из кармана ключ.

— Ника, послушай, — сказал он. — Я выйду пройтись, а ты побудь тут еще, успокойся. Когда будешь уходить, не забудь отдать ключ. А потом позвонишь мне, когда захочешь, запиши только номер комнаты. Если до завтрашнего вечера звонка не будет, я улетаю обратно. Ну, пока!

Он вышел, снова пересек площадь, свернул на улицу Новаторов, прошел по ней до самого конца. Дальше была река, над стылой черной водой стоял туман, колонна исполинских самосвалов медленно шла через мост, сотрясая набережную. Игнатъев постоял, посмотрел и, почувствовав, что зябнет, побрел обратно.

— Вешать таких родителей, — сказал он вслух негромко и убежденно.

С родителями все было ясно. А с Никой? Теперь он и вовсе понятия никакого не имел, что делать. Оставить ее здесь нельзя, вернуть к родным пёнатам — тоже. Действительно, что ли, останется Питер?

Когда он вернулся в гостиницу, ключа у дежурной не оказалось. Он подошел к двери номера, осторожно стукнул, вошел.

— Ты еще здесь?

— Да, но... ты же сказал, что в два мы пойдем обедать, — робко отозвалась Ника. — Я сидела и ждала, сейчас уже третий...

— Я совсем забыл, — сказал Игнатъев, снимая пальто. — Идем, это внизу, здесь же.

— Ресторан?

— Вечером, по-видимому, да. Днем просто столовая. А что?

— Нет, просто... я так одета, — Ника развела руками. — Ты думаешь, туда можно в брюках и свитере?

— Я не думаю, чтобы в Новоуральске было принято переодеваться к обеду, — Игнатъев улыбнулся. — Пошли, авось пустят...

Они спустились на первый этаж. В зале, по-современному отделанном диким камнем, народу оказалось совсем мало. Официанток, впрочем, тоже не было видно. Наконец появилась одна, приняла заказ и так же не спеша удалилась.

— А здесь довольно мило, — сказала Ника, разглядывая полуабстрактное, алюминиевой чеканки декоративное панно над эстрадой. — Тебе нравится камень в интерьере?

— Я, признаться, в архитектуре не знаток. По-моему, немного

нарочито. А вообще нет, ничего. Модерново, во всяком случае. Все-таки, прогресс свое берет — заметила, у меня в номере висят два эстампа? Я ведь помню времена, когда в гостиницах нельзя было увидеть ничего, кроме мишек и богатырей... А тебя что, интересует архитектура?

— Да нет, не особенно. Просто я нахvatалась от Андрея — ты его не знаешь, это один мальчик из нашей класса. Хотя я о нем тебе рассказывала!

— Это которого ты безуспешно соблазняла? Я, по-моему, его видел.

— Андрея? — изумленно спросила Ника. — Где ты мог его видеть?

— В школе, где же еще. Я ведь тогда в понедельник первым делом пошел в школу — надеялся узнать что-то от твоей преподавательницы литературы...

— Ты говорил с Татьяной Викторовной?

— Да, но она мне ничего толком не объяснила. Сказала только, что ты уехала по семейным делам. В общем, мы стояли в коридоре, а тут началась перемена, и я его увидел — думаю, это был твой Андрей. Я еще обратил внимание, что он похож на мать.

— Она вас не познакомила?

— Нет.

— Да, это было бы, наверное, бестактно, — сказала Ника, подумав. — Дело в том, что он после моего возвращения — в августе — стал вдруг как-то совершенно по-другому ко мне относиться... Ну, в общем, мы поменялись ролями, понимаешь? Нет, он ничем прямо не проявил, но я почувствовала сразу. Это ведь сразу чувствуешь. И если Татьяна Викторовна тоже заметила — конечно, она не стала бы вас знакомить...

— Вон оно что, — сказал Игнатъев. — То-то он так на меня посмотрел.

— Ты думаешь, догадался?

— Скорее всего.

— Да, бедный Андрей, — Ника вздохнула. — А впрочем, вряд ли это у него всерьез.

— Как знать. Я его видел только мельком, но он не производит впечатления легкомысленного парня.

— Нет, конечно. Просто я хочу сказать, что для него ничего, кроме искусства, вообще не существует. По-моему, он просто фанатик или одержимый — вроде Ван-Гога или Микеланджело.

— Ну, если так... Отец у него тоже художник?

— Нет, почему? Самый обыкновенный инженер. Только он, кажется, не то родился где-то за границей, не то долго там жил. С мамой Андрея — ну, вот с этой нашей Татьяной Викторовной — он познакомился во время войны, они в Германии были вместе в лагере.

— Ты смотри, — сказал Игнатъев, — прямо сюжет для романа...

Принесли первое, Ника с аппетитом принялась за еду. Быстро опорожнив тарелку, она глянула на Игнатъева и покраснела.

— Это очень неприлично — так торопиться?

— Не знаю, — улыбнулся он. — Я, когда голоден, ем еще быстрее.

— Нет, вообще-то это не полагается, просто я привыкла сейчас: брат с женой вечно спешат куда-то, утром опаздывают, потом Славе нужно в техникум, — словом, едим наперегонки. Мама говорила всегда, что это неприлично...

— Ничего страшного, — быстро сказал Игнатъев. — В каком техникуме учишься твой брат?

— В химико-технологическом, — не сразу ответила Ника, словно оторвавшись от посторонних мыслей. — Вон, напротив, здание с колоннами.

— Так он, значит, химик?

— Кто, Слава? Да, он работает на химкомбинате. Дима... ты можешь ответить мне на один вопрос — только честно?

— Надеюсь, что могу, — сказал Игнатъев.

Ника, на миг встретившись с ним взглядом, опустила глаза.

— Тебе мои родители понравились? — спросила она негромко.

— Нет, — помолчав, ответил Игнатъев. — Прости, отвечаю честно, как ты и просила.

— Да, спасибо... я поняла. И это... все, что ты можешь о них сказать? И о маме... тоже? Просто не понравились — и все?

— Нет, конечно. На тот вопрос, который ты мне задала, нужно было ответить коротко — да или нет. А добавить к этому можно многое.

— Например? — с трудом выговорила она.

Игнатъев помолчал.

— Может быть... не стоит об этом здесь? — спросил он немного повода.

— Почему же... здесь нам никто не мешает, говори.

— Ну, хорошо. Понимаешь, Ника. Они очень разные... и мне, в общем, их как-то жаль. Теперь — обоим. Раньше мне было жаль только Елену Львовну, потому что... ну, ты понимаешь. Ей ведь это действительно... непереносимо тяжело. Ну, а... Иван Афанасьевич произвел на меня впечатление совсем другое. Пожалуй, что я заметил в нем прежде всего — это страх. Ты понимаешь? Он панически боится, чтобы вся эта история... с твоим отъездом, я имею в виду... чтобы она не получила огласки...

Ника усмехнулась, судорожно кроша кусочки хлеба.

— Чтобы не дошло до партийной организации, — сказала она тем же напряженным, сдавленным голосом. — Вот чего он... боится. Знаешь что, принеси немного вина, только сухого.

— Ника, ну зачем это?

— Успокойся, я не собираюсь напиться, мне только нужно выпить несколько глотков, иначе...

— Я тебе говорил, не нужно было начинать здесь этого разговора...

— Ну хорошо, ты говорил, ты опять прав. Так что теперь?

Игнатъев молча встал, вышел в соседний зал, где был буфет, и вернулся с откупоренной бутылкой «Гурджаани». Едва он на-



полнил Никин фужер, она схватила его и, не отрываясь, выпила до дна.

— Я не буду больше, — сказала она виноватым тоном, — остальное ты пей сам, мне просто хотелось немного успокоиться и вообще выпить за твой приезд. Так ты сказал, что отца тебе тоже жалко. Почему? Ты знаешь, что это он потребовал от мамы отдать Славу в детдом?

— Нет; Ника, этого я не знал.

— Ну вот, теперь знаешь. Между прочим, не думай, что я маму как-то... оправдываю. Потребовал он, но сделала-то это все-таки она. Так как же мне теперь жить — зная такое о родителях? Ну как, скажи?

— Так или иначе, но жить все равно нужно, вот что самое главное.

— Правильно, — усмехнулась Ника. — «Так или иначе». Вот и Слава с женой тоже... все утешают. Да как вы все можете! — воскликнула она вдруг, подавшись к Игнатьеву через стол. — Как вам не стыдно! Вы просто привыкли все, понимаешь, привыкли мириться с чем угодно — с любой ложью, с любой подлостью самой страшной! Я и про себя говорю, я тоже не обращала внимания, — у нас все ребята в школе к этому так и относятся: прочитают что-нибудь — «а, трепотня», только посмеиваются; показуха эта с успеваемостью — «три пишем, два в уме», — тоже все знают, посмеиваются; а когда в младших классах макулатуру или металлолом собирают? Один класс соберет, сдаст, потом из этой же кучи снова тянут взвешивать, — зато школа выходит на первое место в районе, — и все смеются... погоди, не перебивай, я знаю, что ты хочешь сказать, — я ведь говорю тебе: я тоже смеялась, я ничуть не лучше других, но просто должны же когда-то у человека открыться глаза, Дима! Ты вот обиделся, когда я сказала тебе, что не верю больше никому, — но как я могу верить, ну скажи? Вот ты говоришь — любовь; а у нас в классе у половины родители или развелись, или разводятся, или вообще как-то так... Ну, ты знаешь, девочки любят посплетничать друг о друге. Я до сих пор думала, что вот какая у меня хорошая семья, — а что оказалось? Так кому я теперь могу верить, ну скажи?

— Ника, послушай. Я тебя совершенно не призываю мириться с мерзостями. Но реагировать на них можно по-разному, ты же понимаешь. Можно просто сидеть и скулить — «ах, до чего все вокруг мерзко», — это, кстати, легче. Но ведь оттого, что ты, я и все, у кого «открылись глаза», будут сидеть и скулить, лучше-то вокруг не станет — ты согласишься? А может быть, все-таки лучше не скулить, а что-то делать?

— Например?

— То, что в твоих силах. Ты вот говорила о неблагополучных семьях; действительно, таких много. Но ты делаешь из этого вывод, что настоящей любви вообще нет, а мне думается другое: просто люди не дают себе труда любить по-настоящему.

— Странно ты рассуждаешь, — фыркнула Ника. — Как будто любовь — это труд.

— Во всяком случае, это большая ответственность. Ладно, Ника, довольно пока об этом. Ты вот что скажи — мне бы очень хотелось познакомиться с твоим братом и его женой. Учитывая их стесненные условия, навалиться к ним в гости будет, пожалуй, не совсем удобно. А что, если мы пригласим их сюда, вечером?

— Принять в ресторане? Не знаю, — Ника неуверенно пожала плечами. — Так вообще делается?

— Почему же нет?

— Знаешь, я боюсь, это их смутит...

— Есть и другой вариант: устроить застолье в моем номере. Я просто закажу ужин, и нам принесут прямо туда, — вчетвером, я думаю, поместимся? Пожалуй, так будет даже лучше. Подомашнему, верно? А то я ресторанный эту обстановку не очень люблю, особенно шум. Как ты насчет такого варианта?

— Я им передам. Не знаю только, может, они испугаются...

— Испугаются? Чего?

— Знакомства с тобой, понимаешь... Я им тут рассказывала о тебе немного — ну, что ты такой ученый, и вообще...

— А я и есть «ученый и вообще», — сказал Игнатьев. — Но только убей, не пойму, почему из-за этого нужно меня бояться.

— Ну, может, они решили, что ты вроде академика.

— Ты их успокой на этот счет. Ага, вон и второе нам несут! Так, значит, Ника, договорись с ними — на сегодня или на завтра, как им будет удобнее. Устроим такой семейный совет, нужно же в конце концов решать, что делать...

Вопреки Никиным сомнениям, перспектива знакомства с «академиком» Ратмановых-младших нисколько не испугала. Галина только решительно воспротивилась тому, чтобы идти ужинать в гостиницу.

— Придумали тоже, — объявила она. — Все ж таки мы люди семейные — у себя, что ли, принять не можем? Послезавтра суббота нерабочая, вот и пускай приходит твой Дмитрий Палыч. А мы тогда с тобой съездим с утра на рынок, пельменей наготовим — хоть разок поедите наших сибирских, настоящих...

Так и сделали. В субботу до самого вечера, помогая Гале по хозяйству, Ника очень тревожилась — как все выйдет и понравятся ли друг другу Игнатьев и ее новообетенные родственники.

Он пришел точно в назначенный час, нагруженный свертками и бутылками. Галя чинно поздоровалась, поблагодарила за торт и, оставив мужчин в комнате (Петька был уложен спать у соседей), вышла на кухню, где Ника спешно доделывала винегрет.

— Упьются ведь мужики-то, — сказала она озабоченно. — Славка вчера две «столичные» взял, в угловом «Гастрономе» к праздникам выбросили, а теперь и твой еще чего-то приволок. Он вообще как насчет этого?

— Я никогда не видела, чтобы он пил водку, — ответила Ника, заливаясь краской от этого неожиданно приятного «твой». — Правда, в экспедиции никто не пил, иногда только вина немного...

— А то смотри, это ведь нет хуже — с пьющим связаться... Ну, пить-то они все пьют, теперь такого, верно, и не сыщешь, чтобы вообще непьющий. Важно, чтобы меру свою знал.

— По-моему, если мужчина никогда не пьет ни капли, это даже как-то противно, — сказала Ника. — Галочка, попробуй — мне кажется, я уже пересолила.

— Не; ничего, в самый раз. Только ты зря с этим возишься, я тебе говорила — не станут они есть, сейчас как на пельмени навалятся — какие тут винегреты!

— А мы его подадим как закуску, а пельмени потом. Кто же начинает с горячего?

— Ну, гляди, — согласилась Галя. — У нас-то иначе делается.

Они немного задержались с последними приготовлениями, и, когда все наконец уселись за стол, оказалось, что Слава с Игнатьевым уже перешли на «ты», даже не успев выпить по первой рюмке. Нику это приятно удивило: в экспедиции, насколько помнится, он всем говорил только «вы», даже Вите Мамаю. Из-за этой своей манеры он долго казался ей суховатым, слишком «застегнутым на все пуговицы».

— Ну, что ж, — сказал Игнатьев, когда рюмки были наполнены, — за здоровье хозяйки?

— Погоди, — возразил Слава, — первую положено за встречу выпить, за знакомство — чтобы, как говорится, не в последний раз...

Выпили за встречу и за знакомство, потом за хозяйку. Ника пила портвейн — сухого вина в Новоуральске не оказалось, не было даже в ресторане, — и от двух рюмок у нее уже немного закружилась голова. Когда Слава предложил тост за нее — «давай теперь за тебя, сестренка, чтобы у тебя, как говорится, все поскорее пришло в норму», — она поблагодарила его кивком и рассеянной улыбкой и прямо, никого не стесняясь, посмотрела на сидящего напротив Игнатьева.

— В каком смысле — в норму? — спросила она и со страхом почувствовала, что уже непозволительно опьянела и может сейчас заявить или сделать что угодно.

— Во всех, сестренка, это уж ты понимай как хочешь, — сказал Слава, а Игнатьев улыбнулся ей ободряюще.

— Ничего, все будет хорошо, — сказал он.

Ника вдруг разозлилась. Все ее считают маленькой, принимают за дурочку какую-то, которую можно утешить сюсюканьем. Просто противно!

— Еще бы, — сказала она громко. — И жить хорошо, и жизнь хороша. Великолепный жизнеутверждающий оптимизм.

— Ну зачем ты так, — упрекнул Игнатьев.

Слава, который сидел рядом с нею, легонько похлопал ее по плечу.

— Ничего, сестренка, — сказал он. — Все образуется. Между прочим, мы тут говорили о тебе с Митей... куда вы с Галей на кухне хозяйничали. Я, в общем, тоже так считаю, что нужно тебе

ехать в Москву. Поживи здесь до праздников, а после — чего ж тянуть-то...

Ника усмехнулась.

— Значит, вы считаете, — спросила она, стараясь выговаривать слова очень отчетливо, — что мне нужно вернуться к родителям?

— Вы погодите, — вмешалась Галя. — Верочка, идем-ка, пельмени поможешь мне принести...

— Ты знаешь, ты лучше не пей больше, — сказала она вполголоса, когда они с Никой вышли в коридор. — Гадость такая этот «три семерки», я его терпеть не выношу, и голова после болит... А насчет того, что Славка сказал, так он прав, знаешь... Ты только не подумай, что мы это из-за того, что у нас жилплощадь маленькая, нам-то что — и в общежитии приходилось...

На кухне, подождав, пока ушла соседка, Ника сказала:

— Галочка, я прекрасно знаю, что вы не из корыстных соображений советуете мне возвращаться. Этого ты мне можешь не объяснять. Я другого не понимаю — ты вот сама, ты могла бы вернуться, если бы узнала такое о своей матери?

— А чего? — Галя пожала плечами. — Вернулась бы, ясно. Ну, может, не сразу... А ты сразу и не возвращайся — в Москву приедешь, поживи где у подруги, или комнату можно снять на месяц-другой. А за месяц все, глядишь, и перемелется. Мать это все ж таки мать, чего бы ты про нее ни узнала...

— Вот с этим я не могу согласиться, — возразила Ника упрямо. — Есть вещи, которые забыть невозможно!

— Славка же забыл? А ему-то было больнее.

— Жить с нами, однако, он не захотел. Или ты считаешь, что он должен был приехать и жить как ни в чем не бывало?

— Нет, тогда он не мог, ясно. Это я сейчас говорю — «забыл», а тогда-то иначе было! Я когда узнала все это дело — мы со Славкой познакомились, он уже с армии пришел, — я тоже ох и злая была на Елену Львовну! Поверишь, в «Комсомолку» даже хотела написать, чтобы все узнали, какие бывают матери... ну, спасибо, девчата с общежития отсоветовали. Чего, говорят, ее теперь добивать... она уже тем наказанная, что сын с ней и повидаться не захотел. Тоже верно, а скажешь, нет? Главное дело, Верочка, не нам ее судить, понимаешь...

— «Не судите, да не судимы»?.. Я и не собираюсь никого судить. Но того, как мама поступила тогда со Славой, забыть нельзя. В Москву я, вероятно, вернусь, это другое дело. А этих рассуждений — «не нам судить» — этого я никогда не понимала!

— Ты молоденькая еще, — примирительно сказала Галя. — Поймешь после...

## ГЛАВА 5

На другой день, в воскресенье, она провожала Игнатьева в Свердловском аэропорту. Погода была скверная, пуржило, московский рейс задерживался почти на два часа; Ника сперва обра-

довалась возможности побыть вместе лишнее время, но потом ей стало так тяжело, что она уже хотела, чтобы Игнатъев поскорее улетел, не мучил ее больше своим присутствием. Хотя и понимала, что будет тосковать, вспоминать каждую из этих минут, как только он улетит...

— Тебе обязательно быть на работе завтра? — спросила она, не глядя на него, машинально помешивая остывший кофе. — Успеешь?

— Думаю, что да. Мне бы добраться до Москвы часам к восьми — побываю у твоих и сразу на вокзал...

— Дима, — сказала она, помолчав. — Ты скажи... там... чтобы не было никаких разговоров. Понимаешь? Я ничего не хочу выяснять, и вообще... Если они начнут на эту тему, я просто не вынесу...

Она подумала, что неизвестно еще, вынесет ли жизнь дома и без всяких разговоров, она не совсем представляла себе, как это теперь будет — не касаться этой темы, делать вид, что ничего не случилось... Она знала, что это будет мучительно, но другого выхода не было. Вот разве что... разве что он предложил бы ей ехать с ним в Ленинград? Если бы он догадался...

А он сидел напротив, курил, смотрел сквозь стеклянную стену на затянутое белесой мглой летное поле, на ползающие по нему снегоуборочные машины и думал о том же, что и Ника. Он думал, что жить дома ей будет невыносимо, но другого выхода нет — разве что... Нет, этот выход казался невозможным. Хотя именно такой вариант подсказал ему сам Ратманов и хотя Ника, возможно, согласилась бы, предложи он ей. Согласилась бы, потому что сейчас это было бы действительно выходом. Но вправе ли он...

... Если бы он догадался, думала Ника, это было бы так просто, пока хотя бы — ну, как это называется — фиктивный брак? Пока они не присмотрятся друг к другу (если еще не присмотрелись), не узнают друг друга по-настоящему... Ведь ей много не надо, — он говорил, у него большая комната, очень большая, можно было бы отделить занавесом какой-то уголок, поставить раскладушку...

... Вправе ли он воспользоваться тем, что она в таком состоянии, растеряна, не знает, что делать?.. Это было бы нечестно, такие вещи так не делаются, да и откуда он знает, какие у нее сейчас чувства — и есть ли они? В конце концов, если бы она этого хотела... действительно хотела...

Игнатъев раздавил в пепельнице сигарету, искоса глянул на Нику — та сидела отрешенно, с погасшим лицом, ей сейчас не до него, это совершенно ясно, безумием было бы сейчас заводить разговоры о будущем, какое там будущее.

Объявили посадку на московский рейс. Ника посмотрела на Игнатъева отчаянным взглядом, губы ее дрожали, точно она хотела и не могла что-то выговорить.

— Ну вот, — сказал он бодро. — Пора, на шею паруса сидит уж ветер... как говаривал старина Шекспир. Если моя каравелла не грохнется где-нибудь над Уралом...

— Как ты можешь! — почти выкрикнула она, бледнея.

— Да ну, не принимай всерьез. И держи себя в руках. Твоим я все скажу. Ты когда думаешь?..

— После праздников.

— Хорошо. Сразу после праздников жду твоего звонка. А пока пиши, хорошо? Попрощаемся здесь, Никон...

Она видела, как он вместе с другими пассажирами вышел на летное поле, как обернулся, помахал рукой. Наугад, наверное, не видя ее. Она тоже помахала, прижимаясь носом к холодному стеклу. Темная цепочка людей на снегу растянулась, удаляясь по направлению к едва различимому вдали самолету, потом отдельные фигуры тоже стали неразличимы, начали расплываться, туманиться. Если бы только он догадался! Как он мог — в такую минуту! — ничего не понять, не сообразить, не догадаться...

Охваченная смертным отчаянием, ослепнув от слез, Ника повернулась и пошла к выходу.

Она вернулась в Москву, как и обещала, сразу после Ноябрьских праздников, тем же владивостокским поездом. Лететь самолетом не захотела — спешить было некуда, ничего веселого не ждало ее дома.

На Ярославском вокзале ее встретил Андрей, она дала ему телеграмму с дороги — хотелось узнать, как восприняли в школе ее побег и были ли какие-нибудь разговоры. Оказалось, разговоров не было, Татьяна Викторовна сказала в классе, что она поехала навестить заболевшую тетку, — поудивлялись немного и успокоились. Больше всех удивлялась Ренка — офонареть надо, говорила она, какому нормальному человеку придет в голову навещать заболевших теток, впрочем Ратманова всегда была с приветом...

— Но ты знаешь, почему я уезжала? — спросила Ника, когда они вышли из метро на станции «Университет».

— Я же сказал — навестить тетку.

— Разве... Татьяна Викторовна ничего тебе не говорила?

— Ты считаешь, мать могла это сделать?

— Прости, я не хотела сказать ничего обидного, — почему она должна была скрывать это от тебя? Мы ведь достаточно близкие друзья. Я сама не сказала тебе тогда, потому что мне было не до того...

— Я вовсе не в претензии.

— Но сейчас ты должен знать.

— Может быть, не стоит? Я догадываюсь, что у тебя что-то случилось... в семье. Расскажешь потом, когда пройдет.

— Пройдет? Что пройдет? Это пройти не может. Понимаешь, дело вот в чем...

Она сама не знала, что заставило ее рассказать обо всем Андрею — сейчас, немедленно, здесь, на этом широком, многолюдном, сыкотном от мокрого снега Ломоносовском проспекте. Ей нужно было выговориться, и она говорила, говорила. Андрей

молча шел рядом, не задавая вопросов, время от времени перекидывая из одной руки в другую ее чемодан.

— Что ты обо всем этом думаешь? — спросила она, закончив свой рассказ, долгий и сбивчивый. — Впрочем, извини, вопрос, наверное, глупый.

— Да, я предпочел бы не говорить... что я об этом думаю, — отозвался Андрей не сразу. — Ты ведь и сама знаешь, что можно об этом думать. А брат — он хорошо тебя встретил?

— Да, очень.

— Он у вас так ни разу и не был?

— Нет, ни разу.

— Тебе трудно будет... дома, я хочу сказать.

— Трудно, конечно. Ты считаешь, я не должна была возвращаться?

— Не знаю. Я бы, наверное, не смог. А тебе не лучше было бы уехать в Ленинград?

— Лучше, вероятно, — помолчав, тихо отозвалась Ника. Она больше всего боялась, чтобы Андрей не задал сейчас следующего вопроса, и он его не задал, точно обо всем догадался, все понял.

До самого Ленинского проспекта они молчали. Молча свернули за угол, прошли под высокой аркой, двор показался Нике непривычно огромным. В подъезде Андрей помедлил, потом вошел следом за ней, вызвал лифт, опустил на пол чемодан.

— В общем, ты посмотри, как и что, — сказал он, протягивая руку. — Если будет очень тяжело — придумаем что-нибудь. Может быть... ну, ладно. Мы на эту тему поговорим. Счастливо!

Дома ее встретили без «разговоров» — Игнатьев сумел, видимо, объяснить ситуацию. И ни о чем не расспрашивали, словно она вернулась от подруги, живущей в соседнем доме. Не спросила ни о чем и Ника. Она была благодарна родителям за эту игру, но игра есть игра — отношения в семье Ратмановых приобрели теперь неестественный, искусственный характер, стали вымученными и лживыми, словно в плохой пьесе. Встречаясь за столом, родители и Ника вели какие-то пустые, натянутые разговоры — о погоде, о школьных или служебных делах, о никому не интересных общих знакомых. А чаще молчали, занятые каждый своими мыслями. Молчать было легче теперь, когда каждое сказанное вслух слово окрашивалось ложью умолчания.

Они начали постепенно избегать друг друга, стараясь бывать дома вместе как можно меньше. Елена Львовна уходила куда-нибудь почти каждый вечер, Иван Афанасьевич возвращался с работы поздно, и большую часть времени Ника оставалась в квартире одна. Ей уходить было некуда, разве что в кино или в театр; бывать в обществе одноклассников она поначалу избегала, боясь расспросов, и ограничивалась неизбежным общением в школе, убегая сразу после уроков. Ренка пыталась выведать у нее правду, ничего не выведала и страшно обиделась, заявив, что раз так, раз она, Ника, не доверяет своей лучшей подруге, то между ними все кончено. «Ты очень ошибаешься, если думаешь, что я этого не переживу», — равнодушно ответила Ника.

Ей теперь иногда казалось, что после случившегося она и в самом деле может пережить все что угодно. Хватает же у нее сил продолжать эту игру с родителями, ходить в школу, делать уроки, писать Игнатъеву и читать его письма...

Эта переписка, единственная ее радость, тоже становилась все более мучительной. Потому что в письмах тоже приходилось умалчивать о главном, писать какие-то совсем не те слова. Она сообщала, что у нее все благополучно, отношения с родителями — конечно, довольно натянутые — пришли в норму, в общем все налаживается; а ей хотелось написать совсем другое: я не могу больше, я не знаю, надолго ли меня хватит, заberi меня отсюда, возьми меня к себе, я больше не могу...

Но она *могла*. Человек многое может, когда поймет, что другого выхода нет, что ему ничего не остается как терпеть. И она терпела, начиная постепенно черпать какие-то силы в своем собственном терпении. Она только боялась говорить с Игнатъевым по телефону, — позвонила однажды, а потом написала, что звонить пока нельзя, не объясняя причин. Она боялась, что не выдержит, снова услышав его голос, что потеряет так трудно доставшийся ей самоконтроль, что у нее вырвется то, чего она не смогла сказать ему там, в Свердловске, в аэропорту, когда он ничего не понял и ни о чем не догадался. Писать было безопаснее — всегда можно перечитать написанное, подумать, исправить...

А время шло. В начале декабря зима добралась наконец и до Москвы, выпал обильный снег, дни стояли мглистые, безветренные, с легким морозцем. Такая погода всегда действовала на Нику успокаивающе. Иногда, прямо после школы, она садилась на сто сорок четвертый автобус и ехала до конца — почти до самой кольцевой дороги, бродила там по тихим заснеженным перелескам. Потом возвращалась домой и садилась за уроки. В этом году она не могла позволить себе роскошь учиться кое-как: без сплошных пятерок в аттестате нечего было и думать выдержать убийственный конкурс на истфак Ленинградского университета. А это было теперь главной ее мечтой и единственно приемлемым для нее выходом из тупика. Что она будет делать, если не попадет осенью в университет, Ника совершенно не представляла.

Она не очень отчетливо представляла себе и другое: как сложатся дальше ее отношения с Игнатъевым.

Тогда, в октябре, был момент, когда она потеряла веру даже в свои собственные чувства, не говоря уже о чувствах другого человека. Но это прошло, — Игнатъев оказался прав, когда говорил, что это пройдет, как болезнь; она снова верила ему, верила в прочность и силу своей любви. Однако в ней уже не было прежней окрыленной радости, не было того света, что на всю жизнь озарил для нее пребывание в Крыму, особенно последние две недели ее короткого киммерийского лета...

Ника сама не понимала, что с нею происходит. Хорошо, если это просто депрессия, вызванная тяжелой обстановкой дома. А



если нет? Вдруг у нее в душе что-то надломилось и она теперь вообще не сможет любить?

Она несколько раз собиралась написать об этом Игнатьеву, но на бумаге все это выглядело как-то иначе, вероятно нужно быть писательницей, чтобы уметь точно выразить состояние души, — во всяком случае, Никиных способностей на это не хватало. Впрочем, не то что выразить в письме — даже самой разобраться в этом состоянии было ей не под силу, она лишь отмечала какие-то внешние симптомы, подчас не улавливая между ними никакой связи.

Если бы они могли встретиться, поговорить обо всем, попробовать разобраться вместе... Она уже готова была попросить его приехать на воскресенье, но потом ей пришла в голову лучшая мысль: она сама съездит в Ленинград, как только начнутся зимние каникулы. Тетя Зина давно звала ее, она сможет провести там хоть целую неделю, так будет лучше, а до Нового года потерпит, осталось уже недолго...

Прошло еще несколько дней. Хорошо обдумав свой план, Ника довела его до сведения родителей. Она не спрашивала разрешения, просто поставила их в известность: она хочет встретить Новый год с Игнатьевым. Как и следовало ожидать, никаких возражений не последовало; ей показалось даже, что они восприняли это с каким-то облегчением. Вероятно, подумала она, им с нею тоже не очень теперь легко.

— Разумеется, девочка, поезжай, — сказала Елена Львовна. — Я сама хотела тебе это предложить. Поезжай, остановишься у Зинаиды, она будет рада.

— Она-то будет, — засмеялся Иван Афанасьевич, — а насчет Ники не уверен. Старуха, между нами говоря, довольно занудливая. Чего тебе с ней связываться? Я завтра же позвоню, тебе бронируют номер в «Европейской».

— Не говори глупостей, Иван, — возразила Елена Львовна. — Никаких гостиниц, этого еще не хватало.

Ника поспешила согласиться.

— Конечно, — сказала она примирительно. — Как это я явлюсь в гостиницу? Да и перед тетей Зиной было бы просто неудобно.

Тетушка эта, двоюродная сестра Елены Львовны, была старая ленинградка, — поселиться у нее значило обречь себя на многочасовые прогулки по городу, посещения музеев; но днем, подумала Ника, Дима все равно на работе, нужно будет только выговорить себе свободные вечера. Никаких театров, во всяком случае.

Игнатьеву Ника решила о своем приезде заранее не сообщать. Пришлось бегать по магазинам в поисках подарка. Она совершенно не знала, что подается дарить ученым. Книги, очевидно; но какие именно? Никины сомнения рассеялись, когда в четвертом или пятом по счету букинистическом магазине ей попался небольшой томик, плотно переплетенный в коричневую потертую кожу, — «Ядро Российской Истории, сочиненное ближним столь-

ником и бывшим в Швеции резидентом, князь Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу Российского Юношества, и для всех о Российской Истории краткое понятие иметь желающих». Томик был напечатан в 1799 году в Москве, «в Университетской типографии, у Ридигера и Клаудия», и его стоило купить уже ради одного этого, — не так часто держишь в руках книгу, которой сто семьдесят лет от роду; но Ника потому и обратила на нее внимание, что Дима однажды рассказывал ей про этого Хилкова — дипломата, посланного Петром в Стокгольм накануне Северной войны, посаженного шведами в крепость сразу после начала военных действий и написавшего там, в плену, свою «Историю».

Ника купила «Ядро» и тут же увидела еще одну книгу, достойную, как ей показалось, быть подаренной археологу, — «Квинта Курция историю о Александре Великом, царе Македонском», переведенную с латыни Степаном Крашенинниковым, «Академии Наук Профессором», и изданную «пятым тиснением» в Санкт-Петербурге, десятью годами позже книги Хилкова. Квинт Курций, тоже в отличном состоянии, оказался в двух томах; с таким подарком, решила Ника, ехать уже можно.

Каждый вечер, отрывая листок календаря, она пересчитывала остающиеся — их делалось все меньше и меньше, неужели она и в самом деле скоро окажется в Ленинграде, увидит Диму, неужели у нее наконец найдется с кем поговорить обо всем, ничего не тая, ни о чем не умалчивая... О том, что родители останутся на праздник одни, ей подумалось лишь однажды, — она пожалела их, но отвлеченно, как жалеют чужих. Человек, сознательно причинивший зло другому, теряет право на сострадание, как бы плохо ему потом ни пришлось. Славе, во всяком случае, было хуже, когда он проводил в детдоме свои сиротские праздники...

В субботу двадцать седьмого декабря Ника была так поглощена мыслями о Ленинграде, что схватила сразу две тройки — по химии и по биологии. Последняя не очень ее огорчила, на большее она и не рассчитывала — настолько загадочным процессом представлялся ей биосинтез белка; но все касающееся фенола она честно выучила — и немедленно забыла, как это выяснилось у доски, куда безжалостная Ленка-Енка вызвала ее на расправу. Расстроилась Ника ужасно: так хорошо заканчивала четверть, подтянула хвосты даже по математике, и вот, пожалуйста! В самый последний день такой сюрприз, и главное, от кого? От Ленки-Енки, которую вообще никто не принимает всерьез.

— А ты, знаешь, наплюй, — утешала ее потом Рената, — это ведь все судьба, куда от нее денешься. Я теперь такой стала фаталисткой! Если тебе написано на роду получить высшее образование, то уж ты его получишь, как ни вертись. Даже через не хочу! Я вот, например, чувствую, что медицинского института мне просто не избежать, хотя нужен он мне, как ты сама понимаешь что. Когда я чувствую — ну вот чувствую, понимаешь, — что мое призвание быть манекенщицей...

Рената вся как-то изогнулась при этих словах, гордо повернула голову и поглядела на свое отражение в дверном стекле.

— Воображаю удовольствие,— вздохнула она,— лечить всяких инвалидов!

— Ну так и не лечи,— сказала Ника.— Кто тебя заставляет подавать в медицинский?

— Мама, кто же еще! Прочла Юрия Германа и чокнулась. Благородное, говорит, призвание.

— Но ведь призвания-то у тебя как раз и нет? Вот так и скажи.

— «Скажи», «скажи»,— передразнила Рената.— Будто я не говорила! Она теперь к моему мнению не прислушивается. Ты, говорит, совершенно от рук отбилась, теперь я начну тебя воспитывать... Это все после той истории — ну, помнишь, мы у Вадика были? — Ренка оглянулась, нет ли рядом мальчишек, и зашептала таинственно: — Я ведь тебе не рассказывала, она меня тогда ремнем отлупила...

— Ну, это уж вообще! — ахнула Ника, делая большие глаза.

— Не то чтобы очень больно, конечно, я ведь не давалась, так что по-настоящему попало раза два-три, но просто обидно. Представляешь? Как будто я маленькая. И главное, она ведь только накануне вернулась с Камчатки, я, говорит, тобой горжусь, ты так похорошела, напоминаешь Марину Влади в ранних фильмах,— в общем, прямо не нарадуется. А в понедельник приходит из школы — помнишь, Татьяна ее вызывала? — и сразу за ремень. Терпение мое кончилось, говорит, у тебя сейчас выпорю. Представляешь? И действительно выпорол.

— Кошмар,— сочувственно сказала Ника.— Я бы умерла.

— Родители,— вздохнула Рената.— Интересно, где они были раньше, когда я «от рук отбивалась»? Один плавает, другая вечно в экспедициях... А теперь мне, видите ли, нельзя даже выбрать себе профессию по вкусу! Подавай, говорит, в медицинский и попробуй мне только завалить вступительные,— как это тебе нравится, а?

На шестом уроке — черчении — с передней парты сунули записку: «ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ!!! У Карцева свободная хата, предлагается массовое культмероприятие, всем желающим собраться в сквере сразу после уроков».

— Пойдем? — шепнула Ника, передавая листок Ренке.

Та прочитала, вздохнула.

— Вообще-то, понимаешь, мама велела сразу домой,— громко зашептала она,— но ведь завтра уже каникулы, верно? А, ладно, совру что-нибудь...

— Борташевич, не мешайте соседке,— сказал преподаватель, постукав по столу карандашом.

— А я ничего, Георгий Степанович,— смиренно отозвалась Ренка.— Я только спросила, какой там радиус закругления — ну, вот, где переход к фланцу,— а то мне не видно отсюда...

— Восемьдесят шесть миллиметров,— сказал чертежник, взглянув на доску.

Ренка, воспользовавшись этим, быстро передала записку на заднюю парту.

Идти к Женьке Карцеву согласилась почти половина класса. Собравшись у Всех Скорбящих, они помитинговали, обсудили программу, сложились наличным капиталом; Женька с Игорем сбежали в «Гастроном» и притащили в авоськах двадцать бутылок лимонада. Бутылки роздали всем мальчишкам: «Чтобы из каждого кармана торчало по горлышку, — объявил Игорь, — пока-зуха так показуха!» — а освободившиеся авоськи наполнили по пути пирожками, забрав у уличной продавщицы сразу половину ее товара.

В однокомнатную квартиру Карцевых орава ворвалась с абордажными воплями, в передней на полу выросла гора пальто и портфелей, Женька сразу запустил на полную катушку самодельный маг, который выглядел как куча металлолома, но орал не хуже «Орбиты». Несколько пар тут же кинулись танцевать, однако веселье довольно скоро угасло. Рассевшись кто где мог, послушали записи Тома Джонса и Рафаэля, потом магнитофон вообще выключили. Почему-то вдруг надоел.

— Не вижу энтузиазма, братья и сестры, — сказал Игорь. — Чего это мы сегодня как на собственных поминках?

Вопрос был праздный — Игорь прекрасно знал, что происходит с «братьями и сестрами». Это же самое происходило и с ним и вообще, пожалуй, со всеми десятиклассниками начиная примерно с Ноябрьских праздников, когда они вдруг впервые осознали, что окончилась четверть их последнего учебного года и теперь с каждым днем невозвратно уходит что-то, чему уже *никогда* больше не повториться.

В восьмом, девятом классах они мечтали о независимой после-школьной жизни; теперь же, когда считанные месяцы отделяли их от осуществления давней мечты, ими овладела вдруг какая-то странная робость. И, как это часто бывает с воспоминаниями о прошлом, школьное прошлое все ярче окрашивалось в светлые, чистые и радостные тона.

Какими пустячными казались им теперь все бывшие «горести» — ранние вставания темными зимними утрами, невыученные уроки, двойки в дневниках и домашние сцены по этому поводу... Все это было, верно. Были и слезы, и обиды на учителей и жестокосердые родителей, заставлявших учить уроки, когда так хотелось поиграть во дворе или дочитать интересную книжку; но все это было не главным. Главным, как они теперь начинали понимать, было совсем другое: залитый солнцем класс и неповторимый запах заново отлакированных парт первого сентября, чистые — страшно тронуть! — страницы учебника, утренники и экскурсия, радость от посещения цирка, предвкушение каникул, музыка и кружащиеся вокруг фонарей снежинки над исчерченным коньками льдом, сборы в театр на первый «взрослый» — вечерний — спектакль, первая настоящая дружба и первая влюбленность — все то, что называлось детством и чего не будет больше никогда в жизни...

В классе прекратились ссоры. Раньше, бывало, ссорились — мальчишки реже, девочки чаще — то по серьезному поводу, то

вовсе из-за пустяка; теперь все стали относиться друг к другу с какой-то особой предупредительностью. Раньше они дружили отдельными маленькими группками, теперь их все чаще тянуло собраться вместе — предчувствие близкой разлуки объединяло завтрашних абитуриентов чувством запоздалого раскаяния.

Изменилось их отношение не только друг к другу, но и к преподавателям. Успеваемость стала гораздо выше, и не только потому, что каждому нужно было набрать побольше пятерок к аттестату; просто многие теперь поняли, что плохо выученный урок — это оскорбление для учителя, который все эти годы отдавал тебе свои знания и свое здоровье, не получая взамен ни признанности, ни благодарности...

Сознавать все это было грустно, и грусть накладывала свой отпечаток на их встречи, где все чаще преобладали теперь минорные настроения. Так было и в этот раз. Танцы прекратились, все сидели, тихо переговариваясь, а то и просто молчали. Собравшиеся в углу девочки негромко запели «В семнадцатый раз зацветает апрель», но песня тоже не получилась, не пошла дальше первого куплета, хотя Витька Звягинцев с Игорем немедленно подхватили припев. Без особого вокального блеска, зато очень убежденно проголосили они о том, что влюбляться девочкам пора в мальчишек нашего двора, пора, пора, — но даже этот заманчивый призыв не нашел отклика. Веселья решительно не получалось. Хорошо еще, пирожки оказались вкусными — с рисом и грибами, оголодавшая компания быстро расправилась с ними, запивая лимонадом из бутылок.

— Мы допустили тактическую ошибку, — сказал Игорь. — Нужно было на эти деньги купить пару литров «гамзы» — глядишь, и настроение поднялось бы хоть на градус. А то сидят все как ипохондрики. Давайте хоть сбцаем что-нибудь этакое, а? Пошли, Катрин!

— Не хочется, — отказалась Катя Саблина. — Танцуй соло, мы полюбуемся.

— Чего мне танцевать соло, когда вокруг такой цветник, — галантно возразил Игорь. — А ты как, Натали? Не составишь компанию?

Наташа Григоренко, высокая, полная, не по летам развитая девушка, лениво покачала головой. Тогда Игорь уцепился за Ренату и решительно потащил ее с подоконника.

— Уж ты-то, старая боевая лошадь, мне не откажешь! Идем, идем, нечего!

— Слушай, да отклейся ты! — крикнула та, отбиваясь. — Уйди, а то разревусь!

В голосе ее действительно послышались слезы. Игорь, удивленный, отступил:

— Старуха, ты чего это?

— Не знаю! — Ренка шмыгнула носом. — Просто настроение такое, понимаешь? Жена, поставь ту пленку, где «Лайла»...

Карцев порылся в бобинах и снова включил магнитофон, прикрутив регулятор громкости.

— Мне тоже как-то ужасно грустно сегодня,— сказала Ника, не оборачиваясь к сидящему рядом Андрею.

— Ерунда,— сказал тот.— Просто мы все расчувствовались как дураки.

— И ты тоже?

— Я? Ничего подобного. Откуда ты взяла?

— Ты же сказал «мы»... «Лайла, Лайла, Ла-а-айла»,— пропела она вполголоса, вторя Джонсу.

Рука Андрея, словно невзначай, легла на ее руку — Ника замерла, чувствуя, как приливает к щекам кровь, потом шевельнула пальцами, пытаясь их высвободить.

— Не нужно,— шепнула она едва слышно.

Андрей резким движением убрал руку и, встав, вышел из комнаты. Ника вздохнула, — не нужно было вообще сюда идти, куда разумнее было бы вернуться прямо из школы домой и написать письмо Славе, за которое она не может взяться уже несколько дней.

Впрочем, она знала, что потом стала бы жалеть, если бы не пошла вместе с другими. Не так уж много их осталось, таких сборищ. Странное дело: ей были теперь симпатичны все ее одноклассники, даже те, с которыми она никогда не дружила; и в то же время она испытывала в их компании странную отчужденность, чувствуя себя намного старше, умнее других. Даже не просто старше, не просто умнее — она иногда казалась самой себе старой и мудрой, как змея. А другие — кроме, конечно, Андрея — были в ее глазах такими еще детьми...

Том Джонс умолк, какой-то южноамериканский ансамбль — бандонеон и гитары — исполнял теперь надрывное, резко синкопированное аргентинское танго.

— Ну, уж эту-то классику мы с тобой станцуем,— сказал подошедший к Нике Витька Звягинцев,— разрешите, синьорина?

Ника покорно встала, положила руку ему на плечо, но тут же, словно спохватившись, пробормотала какое-то извинение и выбежала в коридор. Дверь в ванную была открыта настежь, Андрей умывался, согнувшись над раковиной; не зная, зачем она это делает, в безотчетном повиновении какому-то странному, мгновенному порыву, Ника подошла и остановилась на пороге.

— Послушай,— робко сказала она.— Андрей...

Он выпрямился, крутнул кран и рывком дернул с вешалки полотенце.

— Андрей, я ведь не хотела тебя обидеть, честное слово, не хотела...

— Я и не думал обижаться,— сказал он, не глядя на нее.

— Нет, ты обиделся, я вижу. Мне ужасно жалко, но... Андрюша, ну так нельзя, ты понимаешь...

— Я не такой уж болван, чтобы не понимать простых вещей! — Он швырнул полотенце и обернулся к Нике, губы его дрожали, но голос звучал почти спокойно, холодно и иронически: — Я на тебя не обижен, повторяю еще раз. А теперь уходи отсюда!

Наверное, так и нужно было сделать, но Ника, машинально притворив за собою дверь, шагнула к Андрею, который продолжал стоять возле раковины, и несмело коснулась его локтя.

— Андрюша, я очень-очень виновата перед тобой...

— Уходи, — повторил он сквозь зубы. — Ни в чем ты передо мной не виновата, только, пожалуйста, уйди!

Выкрикнув последние слова, он схватил Нику за плечи, словно собираясь вышвырнуть вон, но вместо этого рванул к себе и так стиснул в объятиях, что она только слабо ахнула. Он прижался щекой к ее затылку, колючая шерсть его свитера царапала ей лицо, и где-то совсем близко она слышала неистовое биение его сердца. Ошеломленная и испуганная, Ника замерла, но потом начала отчаянно вырываться — в этот момент в коридоре простучали шаги, дверь распахнулась и голос кого-то из мальчишек воскликнул дурашливо: «О! Пардон, пардон...» Андрей отпустил Нику, и она шарахнулась от него, ударившись спиной о дверь.

— Извини, — глухо сказал Андрей.

— Ничего, — пролепетала Ника, задыхаясь, нашаривая за собою дверную ручку.

— Погоди, — Андрей отстранил ее от двери и легонько подтолкнул к зеркалу, достал из кармана джинсов гребенку. — Возьми, причешишься, не выходи так... Не бойся, я уйду!

Когда Ника вернулась наконец в комнату, там все хохотали. В первый момент она даже подумала, что свидетель сцены в ванной уже успел все растрепать, но оказалось, что здесь просто рассказывают анекдоты. Рената, визжа от восторга и складываясь пополам, едва не валилась с подоконника. Ника обвела комнату потерянными глазами — Андрея не было, выглянула в коридор — его портфель и куртка исчезли. «Все у меня получается как-то по-дурацки, что бы ни сделала», — подумала она с острым чувством стыда и раскаяния.

## ГЛАВА 6

«...Результаты изучения погребального обряда и состава инвентаря некрополя позволяют с уверенностью говорить о ярко выраженном греческом характере описываемого поселения. Отметим прежде всего восточную и северо-восточную ориентировку костяков (как известно, для меотских могильников III—II вв. до н. э. характерна исключительно южная ориентировка, для сарматских — южная или западная), а также...»

Печатал Игнатъев не спеша, двумя пальцами. Достучав страницу, удовлетворенно потянулся, закурил. Потом вынул лист из каретки, заправил новый и аккуратно уравниал края.

«...Наличие в составе инвентаря, — продолжал он печатать, — большого количества привозной греческой керамики: туалетных сосудов, светильников и т. п., что свидетельствует об обширных экономических связях с метрополией. Кроме того, в...»

Тут телефон на соседнем столе залился таким оглушительным звонком, что Игнатъев подскочил.

— А, чтоб ты сдох, — сказал он. — Слушаю вас! Алло!

— Пожалуйста, попросите Дмитрия Павловича, — негромко прозвучал в трубке голос — нежный, мягкого тембра и с такой доверительной интонацией, словно сообщал тайный пароль. Игнатьев обмер.

— Ника? — спросил он, не веря своим ушам. — Никион, это я! Откуда ты звонишь?

— Ой, Дима, здравствуй, я тебя не узнала, ты так сердито закричал. У тебя совещание какое-нибудь? А я в Ленинграде.

— Как — в Ленинграде? Почему ты в Ленинграде? Ника! Ты что, опять сбежала?

— Не-ет, что ты! Я просто приехала к тебе в гости, — нежно сказала Ника. — То есть не то чтобы к тебе, я остановилась у тети Зины, но я приехала, чтобы встретиться с тобой Новый год. Когда ты кончаешь работу, Дима?

— Господи, какая теперь работа! Когда ты приехала?

— Сегодня утром, «стрелой». Просто я не хотела звонить сразу. Вообще-то, я хотела позвонить вечером, но не утерпела.

— Где ты сейчас?

— На Невском, где угловой вход в Гостинный двор. Помоему, тут рядом Садовая — по Садовой ходят трамваи? А напротив...

— Ясно, ясно, — перебил он ее и посмотрел на часы. — Значит так, Ника, слушай внимательно! Сейчас ты выйдешь на Садовую — не переходя Невского! — и сядешь на трамвай, номера второй или третий, запомнишь? Ехать нужно до Марсова поля, это близко...

— Я знаю Марсово поле, — сказала Ника, — тетя Зина живет рядом, на улице Пестеля.

— А, ну прекрасно! Тогда ты видела, что там рядом есть памятник Суворову, перед Кировским мостом, — так вот, выйдешь к памятнику, повернешь по набережной влево — перед мостом — и иди прямо, пока не увидишь дом с часами. Поняла? Там над парадным такой навес, и есть часы, они висят на кронштейне перпендикулярно фасаду, так что ты увидишь издали. Это и есть наш институт, я тебя буду ждать у входа.

— От моста по набережной влево, — повторила Ника. — А если я увижу другие часы?

— Других здесь нет, наши единственные. Никион! Я ужасно рад, что ты приехала. Ты надолго?

— На все каникулы! И погода сегодня какая чудесная, а еще говорят, что в Ленинграде мало солнца... Если бы ты знал, как я по тебе соскучилась!

— А вот я так нисколько. Ты скоро?

— Я скоро, — сказала Ника и добавила шепотом: — Целую!

Игнатьев положил трубку и остался сидеть с отсутствующим видом. Через минуту, потрясая пачкой фотографий, в комнату ворвался Мамай.

— Слушай, так больше нельзя! — заорал он. — Я отказываюсь работать, если не будут приняты меры! Эти приматы



из лаборатории окончательно потеряли совесть! Ты посмотри, как они тут напортачили: когда я им специально говорил печатать только на глянцевой бумаге повышенной контрастности...

— Спокойно, Витя,— сказал Игнатъев и протянул руку.— Покажи.

Отпечатки выглядели действительно неважно. Бегло просмотрев их, Игнатъев пожал плечами.

— Что ж, пусть перепечатают на нужной бумаге

— Так ведь не хотят, мизерабли!

— Ничего, я позвоню, захотят.— Игнатъев собрал фотографии в пачку и вернул Мамаю.— А сейчас я исчезаю

— Куда?

— По личным делам, Витя. По сугубо личным Вероника приехала, только что звонила сюда.

— Да ну,— Мамай ухмыльнулся и поскреб в бороде.— Пряткий, однако, Лягушонок. Так-таки взяла и приехала?

— Так-таки и приехала. Если будут меня спрашивать — придумай что-нибудь. Скажи, что я в БАНе.

— Скажу, не волнуйся. Лягушонка от моего имени поцеловать не хочешь?

— От твоего — нет.

— Ну, тогда от своего. И не забудь позвонить в лабораторию, накрутить хвоста этим микроцефалам...

Когда Игнатъев спустился в подъезд, Ники еще не было. Он перешел на другую сторону набережной, закурил. Его охватило смятение — вдруг Ника захочет сегодня же побывать у него дома, а комната в страшном виде! Он застонал потихоньку и даже зажмурился, а потом снова открыл глаза и на противоположном тротуаре увидел Нику, уже почти поравнявшуюся с телефонной будкой.

Он наискосок перебежал набережную, едва увернувшись от завизжавшей тормозами «Волги», — водитель распахнул дверцу и крикнул ему вслед срывающимся голосом: «Ты что, озверел, дура лопухая, под колеса кидаться!» Игнатъев, обернувшись, успокаивающе помахал рукой и подбежал к Нике — та стояла с белым лицом, приоткрыв рот и прижав ладони к груди.

— Ты с ума сошел,— сказала она,— тебя ведь чуть не задавили... я так испугалась!

— Пустяки, все обошлось,— Игнатъев счастливо рассмеялся.

— Шофер обозвал меня лопухой дурой — хорошо, правда? Здравствуй, родная...

Он поцеловал ее в прохладную, пахнущую морозом щеку, снял с ее рук перчатки и стал целовать теплые ладошки, пальцы, запястья.

— Пусти, пусти,— в панике зашептала Ника, отнимая руки,— Дима, ну на нас же смотрят...

— Не на нас, а на тебя,— возразил он,— и правильно делают — я бы тоже смотрел. В Питере не часто можно увидеть такой румянец. А минуту назад ты была совсем бледная.

— Это от испуга... я ведь так испугалась,— повторила Ника.— У меня до сих пор коленки дрожат. Ты что, не видел машину.

— Я видел тебя,— объяснил Игнатъев.— Ты не представляешь, что это значит — вдруг вот так взять и увидеть.

— Почему же не представляю... я ведь тоже увидела тебя вдруг. Ой, Дима, я так рада, что мы вместе! Но я не оторвала тебя от чего-нибудь важного?

— Оторвала, и хорошо сделала. Третий день сижу над статьей, будь она проклята...

— О чем?

— Да вот об этом нашем поселении... Знаешь, я все-таки совершенно убежден, что оно чисто греческое.

— Я в этом никогда и не сомневалась,— важно сказала Ника.— Интересно, что мы найдем этим летом...

— А ничего не найдем, нам отказали в деньгах на будущий полевой сезон.

Ника ахнула.

— Как, совсем? Значит, в этом году не будет никаких экспедиций?

— Почему же, будут. Русисты, например, начинают раскапывать Копорье... здесь, под Ленинградом.

— А нам туда нельзя?

Игнатъев рассмеялся:

— Милая моя, я ведь античник, что мне делать в средневековой крепости? А тебя в этом году я бы не взял даже в Феодосию.

— Почему? — обиженно спросила Ника.— Я что-нибудь напортила там?

— Да нет, просто тебе нужно будет готовиться к экзаменам. Не хочу пугать, но в прошлом году чуть ли не восемьдесят человек подавало документы на археологическое отделение, а приняли всего пятерых.

— Ужас,— сказала Ника беззаботно.— Так это и есть ваш институт? Красивое здание. И какое большое!

— Тут ведь три института — мы, востоковеды и еще какие-то электрики... О, смотри-ка, кто появился,— узнаешь?

— Мамай! — радостно закричала Ника.— Виктор Никола-а-а-ич! Здравствуйте!

Вышедший из подъезда Мамай, со своей бородой и в боярской шапке похожий на купца Калашникова, оглянувшись, помахал рукой и степенно направился к ним.

— Приветствую вас на берегах Невы, Лягушонок, — он церемонно поцеловал Нике руку и повернулся к Игнатъеву.— Командор, побойтесь вы бога! Я всем говорю, что вы в БАНе, а у вас не нашлось лучшего места, чем торчать под окнами! Меня бы не подводили, если уж вам наплевать на собственную репутацию...

— Кто же ходит в баню среди рабочего дня? — изумилась Ника.

— Да не в баню, — улыбнулся Игнатъев. — БАН — это библиотека Академии наук. Исчезаем, Витя, ты прав...

— Так что, Лягушонок, — подмигнул Мамай, — ухнули наши планы купаться в Черном море?

— Да, Дмитрий Павлович мне уже сказал, — Ника вздохнула. — Ужасно жалко, в самом деле!

— А вы небось уже и купальничек какой-нибудь сверхмодный приготовили? Ну ничего, будете загорать у стен Петропавловки, тут тоже неплохо.

— Ника решила ехать в Копорье, — сказал Игнатъев.

— А что, это мысль — сплавить ее к Овчинникову. У него в отряде такие подбираются мальчишки!

На углу Мамай торжественным жестом приподнял свою боярскую шапку и распрощался, сказав, что идет обедать к теще.

— Поздравляю с наступающим, Лягушонок! Встречать-то как будете, сепаратно?

— Сепаратно, — сказал Игнатъев.

— Откальваетеесь, значит, от коллектива. Тогда давайте хоть на Рождество соберемся, встретим масленицу по-православному. Хорошо бы всем феодосийским отрядом, а? Лия Самойловна, правда, хворает, но «лошадиные силы» я организую — пригону табуном...

— Ну, а у тебя какая программа? — спросил Игнатъев, когда Мамай скрылся за углом Запорожского переулка.

— Сейчас мы тоже пойдем обедать, к моей тетушке.

Игнатъев задумался.

— А она что, ждет нас вдвоем?

— Я сказала, что, может быть, придем вместе — если удастся тебя вытащить. Я ведь не знала, сможешь ли ты уйти.

— Это хорошо. Потому что, видишь ли, я, наверное, не смогу...

— Ну, Димочка!

— Правда, Никион. У меня куча дел...

— Каких дел?

— Всяких, — ответил он уклончиво. Не мог же он ей сказать, что нужно спешить приводить в порядок берлогу, да и к встрече Нового года нужно подготовиться, хотя бы купить елку. — Неужели ты думаешь, что я отказался бы, если бы мог? Просто ты застала меня врасплох — в самом деле, могла бы хоть телеграмму...

— Я хотела сделать тебе сюрприз, — жалобным голосом сказала Ника. — Глупо, конечно, я понимаю, нужно было предупредить...

— Нет, ты отлично придумала, но... В общем, ты сейчас иди обедать, а вечером мы увидимся.

— Вечером не выйдет, Дима, я обещала тетушке. Ты понимаешь, она и так обиделась, что я Новый год буду встречать не с ней, — ну, это я сумела объяснить. Но сегодня я обещала. Так что увидимся мы только завтра вечером, хорошо? А сейчас ты

меня проводи. У меня еще есть время, пойдем через Летний сад, я его ни разу не видела зимой...

Они перешли на другую сторону набережной и не спеша направились к площади Суворова. Ника была в восторге, зимний Ленинград покорила ее за эти полдня, она с наслаждением вдыхала чистый морозный воздух, пахнувший совсем иначе, чем пахнет воздух в Москве, с наслаждением шурилась от солнечных блистков на покрытой торосами Неве, с наслаждением касалась перчаткой заиндевелого парапета и шагала по неровным от древности — одна выше, другая ниже — гранитным плитам набережной. «А над Невой — посольства полумира, — пело у нее в голове, — Адмиралтейство, солнце, тишина...» Она поминутно оглядывалась, сыпала вопросами. Вон те две башни с завитушками, там сзади, — это и есть Ростральные колонны? А что, собственно, значит «ростральная»? А что выше — шпиль Петропавловской крепости или Адмиралтейский? Что это за учреждение — «Регистр Союза ССР»? А шпиль действительно покрыт настоящим золотом? Почему дворец называется «Мраморным»? А правда, что Екатерина построила его в подарок Потемкину?

Они вошли в Летний сад — безлюдный, торжественно-тихий, весь в сверкающем инее, точно заколдованное царство. Ника почувствовала вдруг, как изменилось все для нее с приездом сюда, особенно после встречи с Игнатъевым. Ее московские страхи, тревога, неуверенность в будущем — все отошло, представлялось теперь надуманным и пустым. Ненужным сделался и разговор, ради которого она, собственно, и решила на эту поездку: теперь, когда они опять вместе, у нее не было в душе ни смятения, ни тревоги, она чувствовала себя успокоенной, надежно защищенной от всего на свете. Наверное, это и есть настоящая любовь, подумала она с благодарностью...

Выйдя к Инженерному замку, они распрощались. Ника повернула налево, на улицу Пестеля, а Игнатъев помчался на Садовую, чтобы перехватить какой-нибудь транспорт к Гостинному двору. Он только сейчас с ужасом сообразил, что у него нет ни одной елочной игрушки. Не было и елки, и он совершенно не представлял себе, где и как ее можно достать, — судя по разговорам семейных сотрудников, это было не так просто. Тем более тридцатого! Другие запаслись заранее, Мамай вообще был заядлым порубщиком-браконьером — уезжал куда-то к черту на кулички, чуть ли не к Приозерску, и вез свою добычу с ухищрениями, достойными детективного романа. Перед каждым Новым годом в институте заключались пари — заметут Витю на этот раз или не заметут.

Через три часа Игнатъев вернулся домой, нагруженный пакетами, но без елки. Елок не было нигде, хотя на Сенной ему сказали, что завтра должны привезти, и он решил навеститься туда утром. Пока же нужно было привести в порядок берлогу. Он развел в тазике стиральный порошок и капровой щеткой драил камин до тех пор, пока тот не засиял во всем своем беломраморном великолепии; потом рассовал по полкам валяющиеся где

попало книги, натер мастикой паркет. Шмерлинг-младшая, к которой он отправился просить полотер, спросила с изумлением:

— Что это вы, Митенька, мечетесь, как, пардон, угорелый кот?

— У меня, Матильда Генриховна, гости завтра будут, — туманно ответил Игнатьев.

— Гости или гостья? Когда к вам коллеги приходят, вы не очень-то для них стараетесь.

— Ну, гостья...

— Вот это другое дело, — не унималась любопытная старуха. — Кто-нибудь из сотрудниц?

— Да, то есть не совсем, она работала в нашей экспедиции летом. Спасибо, Матильда Генриховна, я скоро верну...

— Погодите, погодите. Это уж не та ли девица, о которой мне этот ваш бородатый коллега рассказывал — как его, Кучум?

— Мамай, наверное.

— Ну да, я помню, что-то связанное с историей. Так это та москвичка?

— Та самая. Конечно, та, какая же может быть еще?

— А, ну тогда поздравляю, голубчик. Я вам давно советовала взяться за ум. Мсье Мамай, кстати, отзывался о ней восторженно. И сколько же, Митенька, лет вашей избраннице?

— Ей... восемнадцать вот будет.

— А-а, — пробасила Шмерлинг снисходительно. — Что ж, я сама венчалась семнадцати лет от роду — в мое время девиц выдавали рано. И ежели здраво рассудить, оно и разумнее.

— Вы думаете? — нерешительно спросил Игнатьев.

— А с чего бы это мне, Митенька, душою перед вами кривить? Натурально, я так думаю. Для юной женщины супруг — опора, советчик, руководитель по жизни. А вы что, предпочли бы жениться на своей ровеснице — на одной из этих эмансипированных и самостоятельных ученых дам, которая каждый ваш добрый совет будет принимать как посягательство на свои права? Да боже вас упаси, лучше уж оставаться в холостяках...

Вечером, когда он уже кончал приборку, позвонила Ника.

— Димочка, добрый вечер, — пропела она в трубку. — Ты чем занимаешься? А, все с этой статьей, бе-е-едный... Брось ты ее пока, ведь уже праздник. Слушай, я тебе звоню, во-первых, чтобы сказать, что я ужасно по тебе соскучилась...

— Я тоже! А ведь еще целые сутки.

— Да, но потом мы сможем побыть вместе подольше. А еще я хочу сказать, чтобы ты ничего не готовил — ну, всякую еду, понимаешь? Я просто забыла тебе сказать раньше, я все приготовлю и привезу с собой. Нет, правда, Дима, мне так хочется, — я не знаю, хорошо ли выйдет, но я постараюсь. Ты только купи вина, хорошо?

— Хорошо. Никион...

— Да?

— Я тебя люблю.

— Я тоже... милый! Я только сегодня поняла, как сильно.

Я вот сейчас с тобой разговариваю, и у меня сердце колотится. — я из автомата звоню, а то у тети Зины телефон в коридоре и полно соседей. Дима! Просто удвительно, что я звоню тебе не за семьсот километров, а через несколько кварталов, мне все время кажется, что это неправда. Сколько кварталов между нами?

— Ну, вот считай — если идти от меня — Таврический сад, Потемкинская, Чернышевского, Литейный, Моховая — совсем близко! Ты действительно сегодня занята?

— Правда, Димочка! Я тете Зине сказала сейчас, что выйду подышать воздухом — до Фонтанки и обратно, — соврала, что у меня голова разболелась. Она говорит, только никуда не сворачивать в переулки, тут рядом есть какое-то училище, имени Штирлица, что ли, так она ужасно боится, эти бородатые молодые люди, говорит, способны на все решительно. Что это за училище такое страшное? Разведшкола? А то я как раз недавно прочла «Семнадцать мгновений»...

— Что ты выдумываешь, Никнон, это Мухинское, бывшее барона Штиглица. Вроде вашего Строгановского, так что ничего опасного, но ты одна вечером все-таки не разгуливай. Слышишь?

— Да, Дима, я сейчас же возвращаюсь, я ведь дошла только до ближайшего автомата. Покойной ночи, милый, утром я тебе позвоню.

— Нет, утром меня не будет — побегу за елкой. Дай мне свой телефон, я позвоню сам...

На следующий день ему начало везти с самого утра: он поехал на Сенную и действительно, отстояв в очереди всего какой-нибудь час, купил отличную елку, не очень высокую, метра в полтора, но пушистую. В «елисеевском», куда он зашел купить вина, оказались марокканские апельсины. Едва он занял очередь на оставшке такси, как машины стали подкатывать одна за другой. Уходящий год словно задабривал ленинградцев на прощание — чтобы не поминали лихом...

К трем часам дня все у Игнатьева было готово. Натертый паркет сиял, непривычно чистая комната празднично благоухала хвоей и апельсинами. Елка стояла в углу на письменном столе, убирать ее Игнатьев не стал, решив, что делает это вместе с Никой. У нее, наверное, получится лучше.

Времени было еще много — он договорился приехать за Никой к десяти. Наспех перекусив, он взял с подоконника свою «колибри», заправил в нее недописанную вчера страницу и уселся на диван. Уже давно, с тех пор как завалы книг и папок на письменном столе сделали его практически непригодным для использования по назначению, он привык работать так — на диване, держа машинку на коленях и разложив вокруг весь нужный материал. Но сейчас из работы ничего не получалось — проклятая статья не шла, точно заколдованная.

Промучившись с полчаса, Игнатьев почувствовал вдруг глубочайшее безразличие и к срокам сдачи сборника, и к проблеме установления границ ионийской колонизации в Киммерии, и ко всей античной археологии в целом. Не вставая, он сунул машинку

обратно на подоконник, пошвырял туда же книжки полевых дневников и лег, закинув руки под голову. Через каких-нибудь четыре часа в эту комнату войдет Ника — вот что было важно. Все прочее не имело сейчас ровно никакого значения.

Там, в Крыму, он не мог до конца поверить в реальность случившегося. Ведь их объяснение в Дозорной башне произошло совершенно случайно: не начини она тогда допытываться, почему он ее избегает, сам он ничего бы ей не сказал. Просто она начала разговор, и он решил, что глупо продолжать играть в прятки...

Но даже и после объяснения мало что изменилось. Невозможно было до конца поверить, что она и в самом деле могла его полюбить; что ей было с ним приятно — он это видел, что ей льстила его любовь — тоже. Возможно даже, она и сама в известной степени им увлеклась. Но как мог он, оставаясь в здравом рассудке, надеяться на большее?

А потом они встретились уже в Новоуральске, когда было не до разговоров о чувствах, когда все было заслонено Никиной семейной драмой; и именно там, как ни странно, он впервые понял, что все случившееся с ним — это всерьез и по-настоящему, что отныне он и никто другой отвечает за Нику, за ее счастье, за ее судьбу, за всю ее жизнь. И там же, тогда, он впервые до конца поверил, что и для нее это — всерьез, навсегда.

Когда-то он был для нее платоническим поклонником. Потом — просто старшим товарищем, который приехал помочь, выручить из беды. А сейчас — впервые — он ждал ее, как ожидают любимую...

Это, кстати, оказалось куда труднее, чем можно было предположить. Зная, что время обладает свойством замедляться, когда то и дело смотришь на часы, Игнатьев снял их и спрятал в ящик письменного стола; посидел, задумчиво насвистывая и поглядывая на выцветшие фотографии старых раскопов, потом решительно встал и переставил будильник подальше — за стопку книг. Когда, не вытерпев, он снова достал его оттуда, оказалось, что минутная стрелка не сделала и четверти оборота.

— Да что за чертовщина, — пробормотал он вслух и подкрутил кнопку с надписью «ход». Та едва подалась, будильник был исправно заведен.

Поняв, что так недолго и рехнуться, Игнатьев все-таки заставил себя засесть за статью и проработал до восьми. В девять вышел из дому, — к ночи погода ухудшилась, косо летел сухой снег, в Таврическом саду поскрипывали и гудели на ветру деревья. Игнатьеву продолжало везти: он тут же, не успев дойти до Потемкинской, поймал такси, и шофер оказался покладистый, согласный даже на то, чтобы подождать сколько понадобится. «Только на Пестеля стоять нельзя, — сказал он, — там всюду знаки поразвешаны, я сверну в Соляной, там обожду». Когда машина тронулась, он включил лежавший рядом на сиденье транзисторный приемничек, и Игнатьев услышал вдруг незамысловатую мелодию песенки, которая преследовала их летом в Феодосии, когда они приезжали туда с Никой. «Подставляйте

ладони, я насыплю вам солнца», — слабеньким, наивным каким-то голоском старательно выводила певица, и у него вдруг перехватило горло, остро защипало в глазах...

Ника уже надевала пальто, когда он приехал. Родственницы ее не было дома — уехала встречать Новый год к знакомым, объяснила Ника, наверное все-таки немножко обиделась. «Бери это, и пошли, — сказала она, вручая Игнатьеву нагруженную хозяйственную сумку, — только осторожно, не урони, а то нам нечего будет есть...» В машине они сидели, прижавшись друг к другу, держась за руки, и молчали. Игнатьеву очень хотелось поцеловать ее, но он боялся, что она сочтет его пошляком. Конечно, в такси это и в самом деле...

Дом, в котором жил Игнатьев, восхитил Нику — такой старый, благородной архитектуры, настоящий питерский дом. И двор тоже, хотя в нем не было ничего особенного, колодец как колодец. И даже лестница. На площадке шестого этажа, когда Игнатьев поставил на пол сумку и полез за ключами, она с любопытством огляделась.

— А кто этот Шмерлинг? — спросила она, потрогав табличку с указаниями, кому сколько раз звонить. — И еще какой-то Кашеев, ну и фамилия...

— По шерсти кличка, — шепотом сообщил Игнатьев, вставляя ключ. — Тип, конечно, совершенно крокодильский... старый склочник на пенсии, можешь себе представить, как это выглядит. Хорошо еще, его как-то привыкли воспринимать с юмором... Старухи Шмерлинг — те славные...

Они вошли в переднюю, Игнатьев открыл еще одну дверь, пропустил Нику вперед и, протянув руку через ее плечо, щелкнул выключателем.

— Ну, вот тебе, так сказать, мой мегарон...<sup>1</sup> Входи, раздевайся, — я сейчас. Если нужно зеркало, открой шкаф...

Ника робко переступила порог и замерла, обводя комнату взглядом. Димин «мегарон» показался ей довольно захламленным, хотя и видно было, что в нем спешно наводили порядок, — спешность эта чувствовалась хотя бы по тому, как были рассованы всюду пачки книг, — но он тоже привел ее в восхищение, иначе она и не представляла себе жилища настоящего ученого. И потолки такие высокие — не то что в этих новых квартирах на Юго-Западе. А камин! А окно — огромное, закругленное сверху, как во дворце. Сняв пальто, она подошла к письменному столу, потрогала и понюхала елочку, опасливо покосилась на прогнувшиеся книжные полки. Еще, чего доброго, завалятся... Увидев в окне свое отражение, Ника достала из сумочки гребенку, причесалась, вплотную приблизила нос к холодному стеклу. За окном темнел большой парк — летом, наверное, здесь хорошо...

Игнатьев успел тем временем побывать у Шмерлинг, поздравил старух с наступающим и разжился двумя фужерами. Вручая их, Матильда Генриховна так многозначительно пожелала ему

<sup>1</sup> Мегарон — в древнегреческом жилище зал с очагом.



счастья в Новом году, что он совсем заробел и теперь, возвращаясь по коридору, терзался сомнениями и убеждал себя, что ничего хорошего из этого не выйдет. Подойдя к своей двери, он потоптался, потом постучал ногтем. «Да-да!» — крикнула Ника, и он вошел, и тут разом кончились все его страхи и все сомнения. Все шло как надо, он сразу понял это, едва увидел Никию в своей комнате — она стояла у письменного стола в длинной черной юбке и белой блузочке с наглухо застегнутым высоким воротничком и узкими, обтягивающими руку до кисти, рукавами, и волосы лились ей на плечи гладкой, упруго изогнутой волной, а глаза, распахнутые широко, как-то по-детски, смотрели ему навстречу с радостным и тревожным ожиданием.

— Ну, как тебе тут? — спросил он, поставив фужеры на стол, и Ника, шагнув к нему, только хотела сказать, что ей тут очень хорошо, но не успела, потому что очутилась вдруг в его объятиях и повисла в воздухе, — у нее не стало ни голоса, ни дыхания, ни мыслей в голове, только страшно заколотилось сердце в каком-то блаженном ужасе. Прошла вечность, а может, и две, прежде чем его руки разжались и отпустили ее. Ника перевела дыхание, испытывая внезапную обморочную слабость, раскрыла глаза и увидела такой же испуг на его лице.

— Прости, — сказал он совсем тихо. — Я не хотел...

— Нет, нет, — шепнула она торопливо и, привстав на цыпочки, еще раз мимолетно коснулась губами его губ. — Я совсем не обиделась, что ты...

Она отступила к столу, отвернулась, замерла, глядя на приклепленную к стене фотографию какого-то раскопа. Игнатьев за ее спиной несмело кашлянул.

— Там... эта сумка, — сказал он, явно чтобы что-то сказать. — Ее, наверное, разобрать нужно?

— Да, конечно, — ответила она, не оборачиваясь. — Выложи все куда-нибудь, я сейчас... Только пакет в голубой бумаге не трогай, там секрет.

Постояв так без единой мысли в голове, она подняла руку, и осторожно, кончиками пальцев, тронула губы. Странно, они остались такими же, как и были. Первый поцелуй. Настоящий — первый. Она целовалась и раньше, но хотя бы тогда с Игорем, когда укусила его за нос. Но ведь то было ненастоящее, понорошку. А теперь... «Я не буду умываться ни завтра утром, ни вечером, ни послезавтра», — решила Ника, снова зажмурившись в сладком ужасе...

Где-то за стеной прозвучали позывные «Маяка». Она опомнилась, посмотрела на часы.

— Дима, мы ничего не успеем, — ахнула она, — мне ведь еще нужно все это разогреть, покажи мне, где кухня...

— Можно здесь, на электроплитке, — у меня большая, на две конфорки. Иди, я тебе все покажу.

Накрыть они решили на низком предиванном столике, сняв на пол приемник. За четверть часа до полуночи была украшена и елка. Игнатьев зажег свечи, выключил свет и достал из-за фор-

точки сетку с шампанским и бутылкой болгарского «ризлинга».

— Ну что ж, Никион, проводим незабываемый шестьдесят девятый, — сказал он, ввинчивая штопор.

Ника подставила свой фужер.

— Да будет ему земля пухом, — провозгласила она торжественно и, не отрываясь, стала маленькими глотками пить ледяное кислотовато-терпкое вино. — Дима, какой странный был год...

Она взяла что-то с тарелки, пожевала рассеянно и подперла щеку рукой, шурясь на колеблющиеся огоньки елочных свечей.

— Странный — это не то слово, — сказал Игнатъев. — Он дал мне тебя.

— А тебя — мне... Скажи, почему в жизни всегда все так перемешано? Хорошее — с плохим, горькое — с радостным...

— Наверное, иначе бы мы не отличали одно от другого?

— Не знаю, — Ника задумчиво покачала головой. — По моему, хорошее — это всегда хорошее.

— Да, но иногда его просто не замечаешь. Ну, вот как здоровье — пока не заболеешь, не поймешь, что значит быть здоровым.

— Может быть. Странно все-таки, что именно в тот год, когда я тебя встретила, у меня случилось такое... дома... Найти тебя, потерять родителей...

— Не нужно так, Никион, ты их не потеряла.

— Ладно, Дима, не будем сегодня об этом говорить. Знаешь, у меня есть для тебя один подарок, только я не знаю, понравится ли, так трудно было тебе что-то найти...

— Понравится, заранее знаю. У меня для тебя тоже есть.

— Правда? Но вот я не знаю, когда это полагается вручать — сейчас или потом, когда будут бить часы?

— А они, возможно, уже бьют. Сейчас включу приемник.

— Ну хорошо, мы тогда поздравим друг друга, а потом обменяемся подарками... Дима, ты только ешь, пожалуйста, я ведь специально готовила. Разве не вкусно?

— Очень вкусно, что ты, но ты и сама ничего не ешь.

— Я буду, не думай, я ужасно прожорливая — помнишь, я в отряде всегда просила добавки?

Когда приемник прогрелся и заработал, диктор дочитывал последние слова правительственного поздравления. Игнатъев ободрал фольгу и стал раскручивать проволочку, Ника поставила рядышком оба фужера. Пробка выстрелила одновременно с первым ударом курантов.

— Какая синхронность, — одобрительно сказала Ника. — Мне побольше пены, я ее ужасно люблю...

— Ну, с Новым годом, моя Никион, с новым счастьем...

— И тебя тоже... милый, — прошептала Ника.

Допив, она взяла лежащий рядом на диване пакет в голубой бумаге и протянула Игнатъеву:

— Это тебе мой подарок!

— Ну, ты просто молодец, — просиял он, развернув книги. —

Квинта Курция у меня нет, а Хилков есть, но в очень плохом состоянии,— смотри, это ведь совсем как новый! Ну, спасибо...— Он обнял Нику за плечи, крепко прижал к себе.— А я для тебя тоже приготовил одну штуку... Это прабабкино, что ли, а мне досталось от тетки. Помнишь, я тебе рассказывал, тетка-историк, которая меня воспитывала. Она мне его как-то дала — это, говорит, для твоей будущей жены. Так что вот...

Он взял ее руку и надел на палец тяжелый золотой перстень с темным камнем.

— Ой, спасибо...— испуганно прошептала Ника.— Такой подарок, мне даже неловко... А что это за камень?

— Я не помню, она мне называла. Он меняет цвет — вечером кажется красным, видишь, как темное вино, а на солнце такой сине-зеленый. Нравится?

— Конечно, нравится, как ты можешь спрашивать,— зачарованно отозвалась Ника, пытаясь поймать камнем отсвет елочных огоньков.— Дима, а ты заметил, что ты сейчас сказал?

— Что именно?

— Ты сказал, что это кольцо для твоей будущей жены.

— Ну, конечно. А что?

Ника помолчала, опустив глаза.

— Я просто... не совсем тебя поняла, ты действительно хочешь, чтобы я... стала твоей женой?

— А кем же я могу хотеть чтобы ты стала! — изумленно воскликнул Игнатьев.

— Да, но...

— Никион, я не понимаю тебя,— сказал он, не дождавшись продолжения.

— Нет, просто... Ты ведь мне никогда не говорил... об этом,— отозвалась она едва слышно.

— Вот те раз! А о чем же я тебе говорил в Солдае?

— Ты сказал, что... любишь меня, но насчет того, чтобы мне выйти за тебя замуж... Наверное, все-таки полагается спросить?

— Разумеется, но я просто считал, что это само собой понятно! — Он подсел ближе и взял ее за руки.— Никион, ты согласна стать моей женой?

Она встретилась с его глазами, подняв наконец свои, цепenea от непонятного страха и чувствуя, как с каждым ударом сильнее и тревожнее начинает колотиться сердце.

— Да,— шепнула она.— Да, да, я согласна!

— Когда?

Нике стало еще страшнее. Что она должна была сказать? В каком-нибудь романе героиня на ее месте, вероятно, ответила бы «сейчас, сию минуту»; но она вовсе не была героиней, ей было очень страшно — страшно самой ступить за какую-то запретную черту и еще страшнее сделать или сказать что-то не так. Что она должна была сказать?

— Когда ты захочешь,— прошептала она наконец еще тише, уже на грани обморока.

— Давай, знаешь...— Игнатъев набрался храбрости: — Через год!

Ника помолчала, подумала и ничего не поняла.

— Но почему через год? — спросила она удивленно и немного обиженно.

— Я все-таки хотел бы, чтобы ты поступила в университет в этом году.

— Прекрасно, я тоже. Но при чем тут...

— Помешает,— лаконично сказал он.

— Ты думаешь?

— Безусловно.

— Ну... может быть. Но я ведь могу и не поступить?

— Тогда мы поженимся раньше,— сказал Игнатъев и пояснил: — Как только провалишься, понимаешь?

Ника подумала, что уж что-то, а это устроить будет совсем не трудно.

— Хорошо,— согласилась она и добавила мечтательно: — Если провалюсь, пойду в дворничихи. Тебя не шокирует жениться на дворничихе?

— В дворничихи — зачем? — спросил он оторопело.

— А иначе ведь не пропишут в Ленинграде,— объяснила Ника.

— Ну да,— возразил он,— чего это тебя не пропишут к мужу?

— Ох, верно, я и забыла, что ты будешь моим мужем.— Ника счастливо засмеялась.— Ужасно тебя люблю, Дима!

Он долго смотрел на нее, словно видя впервые. Каким простым, каким легким и радостным оказалось то, чего он так боялся! Боялся подсознательно, пряча свой страх и от самого себя, и от Ники, которая там, в Свердловском аэропорту (он ведь это видел), напрасно ждала, чтобы он повел себя как мужчина...

— Иди ко мне,— шепнул он, и она очутилась в его руках так же легко, и просто, и естественно, словно иначе и быть не могло, словно каждый из них жил до сих пор только ради этой минуты. Ника замерла, прижавшись лицом к его груди, как притаившаяся зверушка или ребенок, он чувствовал тепло ее легкого быстрого дыхания, и ему страшно было пошевелиться, чтобы не спугнуть счастье, прильнувшее к нему с такой доверчивой готовностью.

А Ника тоже боялась шевельнуться. Она испытывала сейчас нечто подобное тому, что уже испытала однажды в Коктебеле, когда он нес ее на руках и она вдруг почувствовала себя во власти какого-то нового, совершенно неведомого ей ощущения, непереносимого по своей остроте и напряженности. Тогда, испугавшись, она поняла, что должна немедленно что-то сделать — вырваться, отойти, нарушить этот мучительно блаженный контакт... А сейчас, испытывая почти то же, Ника, напротив, боялась шевельнуться.

Для нее перестало существовать все окружающее, не осталось ничего — ни времени, ни пространства,— в мире были только они

двое. Он и она, взнесенные на головокружительную высоту, от ощущения которой у нее замирало сердце, и на этой высоте они словно находились в состоянии едва устойчивого равновесия, такого ненадежного, что достаточно было одного жеста, одного слова, одного движения, может быть даже только мысли... «А мне все равно не страшно,— подумала Ника,— я теперь ничего уже не боюсь и не буду бояться, что бы ни произошло...»

## ГЛАВА 7

Если Иван Афанасьевич Ратманов и не считал себя добрым человеком, то лишь потому, что ему никогда не приходило в голову взглянуть на себя в таком разрезе; хотя в принципе он был самокритичен и беспристрастно оценивал собственные достоинства и недостатки.

Он без ложной скромности сознавал, что является хорошим руководящим работником, умеющим найти правильных людей и поставить их на правильные места, умеющим держаться с подчиненными без панибратства или высокомерия, а с начальством — без дерзости или угодничества. Он хорошо знал свое дело и чувствовал в себе достаточно сил, чтобы занять со временем еще более ответственный пост — вплоть, может быть, и до министерского, чем черт не шутит!

Тут, правда, могло возникнуть — в связи со всеми этими новомодными веяниями — одно препятствие: ему порой не хватало смелости, инициативы; этакой дерзновенности мысли. Иван Афанасьевич начинал как бы несколько отставать от жизни и сам это чувствовал. А во всем прочем считал себя вполне отвечающим — суммарно, так сказать, — всем известным ему заповедям.

Ну, а что касается доброты, то этим вопросом он никогда не задавался. Он, вероятно, очень удивился бы, если бы его спросили, считает ли он себя добрым; возможно, он даже обиделся бы, как обиделись бы многие из людей его возраста, его взглядов и его, так сказать, удельного веса в обществе. Он с самой ранней юности был твердо убежден, что эпоха великих преобразований не может не изменить самым коренным образом всю старую систему человеческих взаимоотношений, упраздняя, в частности, такие мелкобуржуазные и вредные по существу понятия, как милосердие и жалость. Подлинный классовый гуманизм, считал он, должен быть суровым. Ивану Афанасьевичу надолго запомнилось одно стихотворение, случайно прочитанное где-то в газете году в тридцать третьем или тридцать четвертом. Стихами он никогда не интересовался, но эти прочитал дважды, дал читать ребятам в общежитии и даже потом процитировал как-то раз, выступая на комсомольском собрании. Герой стихотворения, встретив просящего на хлеб старика, вспомнил «мудрость церковных книг» и уже полез в карман за мелочью, но вовремя одумался, сообразив, что старик этот запросто мог быть кулаком, бежавшим в Москву после поджога колхозного стога, или хотя бы просто бывшим лабазником. Так или иначе, это был несомненно

враг, и — в силу железных законов классовой борьбы — поданная ему милостыня вольно или невольно становилась актом измены делу социализма, мелкое, субъективное добро оборачивалось объективным злом...

Да и что значит «жалко»? Жалеть врага — преступление. Жалеть товарища — ошибка; сам Горький писал, что жалость оскорбительна для человека. Помочь товарищу в беде — дело другое, это закон; но без слюнявой жалости, безо всей этой поповской бузы насчет ближнего, которого нужно «возлюбить»...

Так, без колебаний и излишней жалости, и получилось в сорок пятом году со Славой. Решение пришло сразу, само собой, без ошибочное и логичное. Предложив жене отдать ребенка, Иван Афанасьевич и не думал о том, чтобы этим наказать ее за неверность; сам по себе факт измены не так уж его ошеломил, он трезво смотрел на эти вещи и считал, что верные жены чаще встречаются в романах, чем в жизни. «Я, в общем, тебя и не очень-то виню, — сказал он, — мне за войну тоже приходилось спать с чужими бабами, так что считай, что мы квиты; я только не хочу, чтобы у меня напоминание постоянно было перед глазами». Предоставив ей думать и выбирать, он вернулся тогда в Германию, почти уверенный, что семьи у него больше нет, но все равно ни на минуту не усомнившись в правильности того, что сделал. А что же ему — из «жалости» растить чужого ребенка вместе со своей Светкой?

Его отношение к этому вопросу было трезвым, жизненно оправданным, и совесть чиста. Он ведь не требовал ничего от жены, он просто предложил ей выбор. Когда та потом написала ему, что вопрос улажен и они со Светочкой ждут его дома, он окончательно успокоился — прочно и надолго. И когда, шестнадцать лет спустя, его пригласили в паспортный стол Москворецкого РОМ и дали прочитать заявление с просьбой о розыске родителей, подписанное воспитанником Н-ского детдома Ратмановым Ярославом Ивановичем, г. р. 1944, Иван Афанасьевич несколько не смутился. Он внимательно изучил тетрадный — в клеточку — листок, испещренный на полях служебными пометками разных инстанций, снял очки и, протирая носовым платком и без того чистые стекла, изложил обстоятельства дела исчерпывающе и немногословно, как человек, привыкший выступать на деловых совещаниях. Потом он слетал в Новоуральск, повидался с самим Ярославом; парнишка произвел на него хорошее впечатление, отчасти и тем, что наотрез отказался от предложения переехать в Москву и жить вместе. Иван Афанасьевич спросил Ярослава, не нужна ли материальная помощь, и обещал сильное содействие, если тот решит поступать в какой-нибудь из столичных вузов. Выполнив таким образом свой долг, он вернулся в Москву, еще более уверенный в собственной правоте.

А теперь он сам не понимал, что с ним происходит. Не было больше этой завидной уверенности, вот в чем дело. Поступок Ники поначалу не очень его обеспокоил — дочка всегда была немного с придурью, перебесится и вернется; все оно тако-

во, это нынешнее поколение, уже не знающее, какой фортель выкинуть от безделья и избалованности. Ничего себе, вырастили смену!

Но так было только на первых порах. Потом он почувствовал, что это все не так просто, неизвестно еще, перебесится или не перебесится. Может и не перебесится. И вообще неизвестно, чем кончится для него вся эта история, когда она рано или поздно всплывет наружу, на всеобщее обозрение. В своей служебной карьере он достигал уже тех верхних горизонтов, где человек слишком на виду и должен быть чист как стеклышко во всех отношениях. А тут вдруг такое чепе — дочка сбежала из дому! Чепе, правда, вроде бы сугубо личного, домашнего порядка; но, опять же, на этих верхних горизонтах личное перестает быть личным.

Проще всего можно было замазать случившееся, в темпе выдав Нику за этого ее археолога. Какое-то время Ивану Афанасьевичу казалось, что это и будет отличным выходом; потом он, однако, понял: дело-то не только в этом. Прошло какое-то время, Ника вернулась в Москву, школу посещала регулярно, словом никакого нежелательного резонанса вся эта история не получила. А все равно было тяжко. Муторно как-то стало у него на душе. И чем дальше, тем хуже.

Конечно, тут прежде всего было отцовское чувство — как-никак дочь, да еще младшая, любимая. Светка, та давно уже была сама по себе, отрезанный ломоть, они почти и не переписывались — обоим было достаточно открыток с поздравлениями, личные контакты удавались слабее. Характерец-то у старшей дай боже, да еще и идей всяких поднабралась в своем Академгородке — они ведь там все шибко передовые, соль земли. Нет, с Никой было совсем иначе. Иван Афанасьевич не зря, к удивлению сослуживцев, всю зиму гонял свою «Волгу» и в снег, и в гололед, за вычетом разве что самых морозных дней, когда даже установленный в багажнике танковый аккумулятор не мог провернуть намертво застывший двигатель; чего бы он сейчас не отдал, чтобы вернуть эти короткие утренние поездки вдвоем!

Ника перестала ездить с ним еще тогда, вернувшись из Новоральска. В первое же утро она встала из-за стола, когда Иван Афанасьевич еще не успел доесть своей яичницы, и пошла одеваться. Он посоветовал ей не торопиться, времени еще много, и Ника вежливо и безразлично отозвалась из передней: «Спасибо, я еду троллейбусом». Вот так, безо всяких объяснений. Нет, и точка. Сначала это ему даже понравилось — принципиальная, черт возьми, растет девка, никакого слюнтяйства. Другая бы стала вилять, подыскивать обтекаемую форму, чтобы не обидеть, а эта резанула наотмашь и ухом не повела. Все-таки, видно, в отца характер...

Но постепенно от Никиной «принципиальности» у него стало все чаще посасывать под ложечкой. Дочь ведь как-никак! Видит же, что мать переживает, — ну, поговорила бы, в конце концов, нужно же когда-то кончать эту волынку. Так нет — молчит, замкнулась точно в броню, живет дома как квартирантка...

С родителями, впрочем, Ника была неизменно вежлива, проявляла даже предупредительность — к их приходу всегда все приберет, посуду перемоеет, квартира как напоказ. Что-то не замечалось в ней раньше такого трудолюбия, а теперь старается, словно отработывает за стол и жилье...

На зимние каникулы дочь уехала в Ленинград. Уезжая, даже не поздравила с Новым годом, сделала это только вечером первого — позвонила по междугородному. И лучше бы вообще не звонила, после этого «поздравления». Иван Афанасьевич принимал валокордин. Она даже не поинтересовалась, как они себя с матерью чувствуют, как встретили Новый год. А встречали они одни, вдвоем, впервые за много лет Ратмановы никого не пригласили к себе в этот день...

Вернулась Ника еще более отчужденная и независимая. Она как-то неувовимо повзрослела за десять дней, на руке у нее красовался теперь большой, явно старинный перстень с квадратной огранки александритом, — о происхождении его Ника умолчала, впрочем тут не нужно было быть особенно догадливым.

Не выдержав, Иван Афанасьевич однажды за ужином спросил, как там поживает Дмитрий Палыч.

— Хорошо, спасибо, — вежливо ответила Ника. Потом, помолчав, добавила: — Кстати, давно хотела вам сказать: я выхожу за него замуж.

Над столом нависло молчание. Елена Львовна глянула на дочь и опустила голову, ничего не сказав. Через минуту она встала и быстро вышла из комнаты.

— Что ж, — Иван Афанасьевич солидно откашлялся. — Дело доброе. Семья, как говорится, ячейка общества. Когда же бракосочетание?

— Мы решили — осенью, после вступительных.

— Ты куда собираешься подавать?

— В университет, на истфак.

— В Ленинграде?

— Конечно.

— Так-так... — Иван Афанасьевич, забыв о своем чае, барабанил пальцами по столу. — Могла бы, Вероника, и раньше об этом сказать... все-таки мы тебе не чужие.

Ника пожала плечами, не глядя на него.

— Вы не спрашивали, я и не говорила.

Иван Афанасьевич опять помолчал.

— Ну, а если заставишь вступительные?

— Буду работать, а на следующий год опять подам. Я и не очень рассчитываю поступить с первого раза, там ужасный конкурс, а на археологическое отделение принимают всего несколько человек.

— Где же ты собираешься работать?

— Ну... там же. Дима попытается устроить меня лаборанткой в своем институте.

— У них разве есть лаборатории, у археологов?



— Да, для камеральной обработки материалов. Всякие анализы.

— Ясно. Что ж, программа разумная...

На этом разговор кончился. После ужина Ника ушла, сказав, что идет в кино с Ренатой Борташевич; Иван Афанасьевич включил телевизор и тут же снова выключил, не дождавись, пока прогреется кинескоп. Достал из серванта початую бутылку коньяку, выпил рюмку залпом, как пьют водку, и, тяжело ступая, прошел в спальню. Елена Львовна лежала, неподвижно глядя в потолок.

Иван Афанасьевич присел на край постели, сгорбился, зажав ладони коленями.

— Не понимаю,— прерывающимся голосом сказала Елена Львовна,— откуда в ней столько жестокости... бессердечия... Впрочем, она твоя дочь...

— Ну, конечно,— буркнул он.— Я во всем виноват.

— Да нет, Иван... оба мы хороши.

— Ладно, нечего сейчас об этом. Ты верно сказала — оба мы оказались хороши, вот на этой мысли и покончим. Я о другом сейчас думаю... с Вероникой надо что-то делать, нельзя так дальше.

— Что ты предлагаешь?

— Ну... я не знаю! Поговорить как-то, объясниться. Думаю, лучше это сделать тебе.

Елена Львовна долго молчала, потом проговорила безжизненным голосом:

— Ника со мной говорить не станет и не захочет выслушивать мои объяснения. Ты помнишь, что говорил Дмитрий Павлович? Она поставила это условием — чтобы не было никаких объяснений.

— Это когда было... почти три месяца прошло. Мы, по-моему, и не лезли выяснять отношения. Но ведь когда-то нужно это сделать? Или так и будем играть в молчанку?

— Не знаю, Иван... У меня просто не хватит решимости на такой разговор — во всяком случае, самой его начать. Если бы Ника сама захотела...

— Она захочет, жди! — мрачно посулил Иван Афанасьевич.

Нет, рассчитывать на жену не приходилось. Да и трудно ей было бы, в самом деле, говорить с дочерью на такую тему; тут, пожалуй, скорее ему — отцу, мужчине — следовало взять на себя трудную задачу восстановления семейного мира.

Он обдумывал это день, другой. А потом вдруг понял, что тоже боится разговора с дочерью; ему с беспощадной отчетливостью стало ясно, что он ничего не сможет ей сказать...

Это было страшное открытие. Чего же тогда стоят все его убеждения — логичные, жизненно оправданные и опирающиеся на долгий реальный опыт, — если он не решается теперь изложить их честно и открыто, заранее капитулируя перед шестнадцатилетней, не нюхавшей жизни девчонкой? Впрочем, он не хотел сдаваться так скоро, убеждал себя, что это не капитуляция,

а просто трезвый подход к делу; в самом деле, смешно думать, что дочка его поймет. Нужно не один пуд соли съесть, чтобы начать разбираться в жизни и человеческих поступках, а когда тебя растили в бархатной коробочке — черта с два что-нибудь поймешь. Ничего, поумнеет! Но уверенности все равно не было — ни в себе, ни в том, что дочь «поумнеет» так, как ему бы хотелось.

И он, всегда уверенный в себе, в правоте своих взглядов и поступков, в правильности избранного пути, впервые в жизни растерялся, словно в его душе внезапно вышел из строя какой-то вестибулярный аппарат и душа потеряла ориентацию.

А время между тем шло, уже близился к концу январь. Иван Афанасьевич оставил наконец в покое машину и стал ездить в министерство троллейбусом, благо «четверка» доставляла его без пересадок почти до места. Освободившись от руля, он теперь чуть ли не каждый вечер заходил в Дом журналиста и пил в баре коньяк — это помогало переждать часы пик и заодно оттянуть постылый момент возвращения домой. Скоро у него нашелся постоянный собутыльник из внештатных литсотрудников, который угощался за его счет и в ответ угощал всякими случаями из своей богатой журналистской практики, делился фронтовыми воспоминаниями и жаловался на подлый характер какой-то тра-вестюшки из ТЮЗа.

Однажды, это было уже в середине февраля, к Ратмановым явилась вечером нежданная гостя — баба Катя. Ее усадили пить чай, она выложила на стол пирог собственной выпечки, но сама есть не стала: уже начался великий пост, а тесто было сдобное, скоромное. Чай баба Катя пила по старинке — вприкуску, с принесенным с собою фруктовым сахаром, шумно прихлебывая с блюдечка, которое ловко держала на трех растопыренных пальцах. Чаевничая, она поинтересовалась Никиными школьными делами, похвалила синий ковер, спросила, почем плочено за занавески и скоро ли выйдет в министры Иван Афанасьевич.

— Хорошо у вас, прямо живи и радуйся, — одобрила она. — Только слышь, Львовна, ты не обижайся, а вот образ нехорошо висит — в прихожей, и еще нечистики рядом...

Елена Львовна улыбулась:

— Это, Екатерина Егоровна, маски такие, африканские. А икона — ну, видите ли, мы ее воспринимаем скорее как декоративный элемент.

— Да уж там алимент не алимент, а только образа положено в горнице держать, в красном углу, — непреклонно возразила баба Катя. Допив чай, она поставила на блюдце опрокинутую вверх донышком чашку и отодвинула к середине стола. — Ну, благодарствую, почайпила. А у меня, Верунька, слышь, просьба к тебе...

— Ко мне, баба Катя?

— К тебе, милая. Я чего хотела спросить — может, ты по ночевала б у меня недельку-другую? Мне, вишь, к племяннице бы надо съездить, в Калинин у меня племянница, а нынче в больницу ее положили, так я поехала б, внуков-то проведать. А ком-

нату как бросишь? Без меня ить и цветы никто не польет, и кенаря не покормят,— соседи-то там, сама знаешь, чистые аспиды, про- сти господи...

Елена Львовна хотела было сказать, что зачем же Нике ночевать с аспидами — цветы она может зайти полить раз в неделю, а кенаря привезти сюда, пусть поживет,— но дочь ее опередила.

— Я с удовольствием, баба Катя,— объявила она.— Я просто переселюсь к вам на это время, так даже удобнее — от школы близко, у меня будет больше времени на занятия...

Через три дня она и переселилась. Вернувшись с работы, Елена Львовна нашла записку:

«Мама! Баба Катя заходила сегодня в школу — она уезжает вечером, так что сегодня я уже буду ночевать в Старомонетном. Я взяла простыни, пододеяльник и маленькую подушку, а одеяло у нее есть, теплое. Если что-нибудь еще понадобится, я приеду. Баба Катя обещала долго не задерживаться, самое большее дней десять. До свидания — В.»

Десять дней, подумала Елена Львовна. Ника, наверное, с удовольствием жила бы там до самого лета, пока можно будет уехать в Ленинград...

Иван Афанасьевич воспринял новость скорее с оптимизмом.

— Вот и ладно,— сказал он,— пусть поживет недельку одна, поразмыслит там на досуге. А я к ней потом съезжу, поговорю.

— Смелый ты человек,— заметила Елена Львовна.— Если у тебя есть что сказать дочери, почему ты не сделал этого раньше, а уговаривал меня?

— Я думал, тебе удобнее, как матери...

В следующую субботу, рассчитав время большой перемены, он позвонил в школу и попросил вызвать Ратманову из десятого «А». После долгого ожидания в трубке прозвучал встревоженный Никин голос:

— Я слушаю! Папа, это ты? Что-нибудь случилось?

— Нет-нет, ничего не случилось,— заторопился Иван Афанасьевич.— Завтра домой не собираешься?

— Завтра? Нет, завтра не смогу, наверное, у меня масса уроков.

— Ну, понятно. Слушай, я тогда хотел бы к тебе заехать. Ты не против?

— Нет, почему же,— помолчав немного, сказала Ника.— Приезжай, конечно. Ты... один хочешь приехать или с мамой?

— Один, один, мать ничего не знает. Я ей пока не говорил. Так я с утра, часикам к одиннадцати?..

В эту ночь он долго не мог заснуть, обдумывая предстоящий разговор, и встал невыспавшийся и разбитый. В зеркале, когда он брился, отразилось лицо старика — одутловатое, обесцвеченное нездоровой кабинетной бледностью, с набрякшими подглазьями. «А ведь осталось-то не так уж и много,— подумал вдруг он с какой-то равнодушной жалостью к себе, с сожалением о всей своей такой удачливой и такой неудавшейся жизни.— Что ни говори, а пятьдесят пять для нашего брата — это если не пото-

лок, то где-то совсем близко...» Он вспомнил своего отца, в шестьдесят семь лет подавшегося на Магнитострой и еще успевшего там походить в ударника; вспомнил деда, который году в двадцать пятом рассказывал о том, как слушал на сходке манифест об отмене крепостного права. И как рассказывал — живо, образно, с прибаутками! Да, а по статистике мы теперь живем дольше — хоть это утешение...

— Я сейчас к Веронике поеду, вчера с ней договорился, — неожиданно для самого себя сказал он вдруг жене за завтраком.

— Ты, значит, все-таки решил выяснить отношения.

— Да, решил!

Елена Львовна долго молчала, катая хлебные крошки, потом, не глядя на мужа, сказала:

— Иван, я боюсь этой вашей встречи, не нужно...

— Нет, нужно.

— Послушайся меня, Иван, у женщин есть интуиция...

— Да, да, — нетерпеливо, уже повышая голос, прервал Иван Афанасьевич, — слышал, знаю! Жена Цезаря уговаривала его не идти в сенат — ей приснился плохой сон. Что ты предлагаешь — терпеть такое и дальше?

— Лучше терпеть, — негромко, упрямо сказала Елена Львовна, — чем услышать то, что Ника тебе скажет.

— Ну, а я предпочитаю услышать! — Иван Афанасьевич швырнул салфетку и встал, резко отодвинув стул. Стул упал, зацепившись за ворс ковра, Иван Афанасьевич не поднял его и вышел, хлопнув дверью.

По пути он заехал в кондитерскую, взял торт — большой, шоколадный, какие обычно покупал Нике на дни ее рождения. Через полчаса, держа на отлете громоздкую квадратную коробку, он пересек знакомый двор в Старомонетном и позвонил у двери, обитой драной клеенкой. Из-под клеенки неопрятными лохмами торчал войлок, и он подумал, что комната Егоровны — он никогда в ней не бывал — тоже должна быть такая же убогая. «А Вероника торчит тут уже целую неделю, — подумал он, брезгливо оглядывая дверь. — Тоже своего рода демонстрация...»

Он старался настроить себя агрессивно, заряжаясь отеческой строгостью; но когда гнусная дверь распахнулась и он увидел перед собой Нику — вся его агрессивность вдруг улетучилась, и он снова почувствовал себя очень старым и очень усталым.

— Ну, как ты тут? — бодро и фальшиво сказал он и шагнул через порог, протягивая Нике коробку с тортом. — Это гостинец тебе, держи...

— Спасибо, папа, — тихо отозвалась Ника и — после секундного колебания, как ему показалось, — поцеловала его в щеку. Он уже протянул руку, чтобы обнять ее и прижать к себе, как обычно делал, возвращаясь из очередной командировки, но не решился и коротким, почти боязливым движением коснулся ее плеча.

Войдя в комнату, он огляделся, — жилище Егоровны оказалось лучше, чем он ожидал, тут было даже по-своему уютно. Пестрый лоскутный коврик на стене у постели, кухонный шкаф-

чик вместо стола и высокий (такие выпускались мебельной промышленностью до войны) буфет с отстающей местами фанеровой напомнили Ивану Афанасьевичу что-то бесконечно далекое, связанное с его юностью.

— Обстановочка историческая, — сказал он, — интерьер начала тридцатых годов, хоть фильм снимай.

— Ничего, здесь тихо — хорошо заниматься, а соседи мне совсем не мешают...

Ника, явно нервничая, развязала коробку с тортом, спросила, не хочет ли он выпить чаю, и принялась суетливо накрывать на стол.

— Ты смотри, и лампадка у тебя тут, — сказал Иван Афанасьевич, заметив теплившийся в рубиновом стекле огонек в углу перед иконами. — Совсем старосветская помещица.

— Да, баба Катя просила подливать масло... там фитилек плавает...

Собрав на стол, Ника вышла и скоро вернулась с чайником.

— Садись, папа. — Пальцем она смазала с торта завитушку крема и отправила ее в рот. — М-м, вкусно. Бери нож, папа, разрежай...

Иван Афанасьевич разрезал торт, отвалил огромный кусок Нике на тарелку. Пока пили чай, он расспросил дочь о ее школьных делах, похвалил за пятерки, сказал, что десятый класс решающий и нужно постараться закончить его как можно лучше. Ника согласилась, что нужно. А потом разговор как-то иссяк.

— Вероника, я, собственно, вот с каким делом к тебе пришел, — сказал наконец Иван Афанасьевич, собравшись с духом. — Хочу, понимаешь, поговорить с тобой... ну, о наших отношениях. Игнатьев передавал твою просьбу, мы с матерью учли. Сама знаешь, не лезли, отношений не выясняли... Но, в конце концов, так тоже нельзя...

— Папа, не нужно пока об этом, — тихо сказала Ника.

— Ты погоди, не перебивай. Я что хочу сказать — ну ладно, имеет место конфликт. Что в основе? Отсутствие взаимопонимания, как во всяких конфликтах. Значит, надо объясниться, попытаться как-то... понять друг друга!

— Я никогда не смогу понять ни тебя, ни маму, — упрямо сказала Ника, не поднимая глаз от клеенки. — Маму особенно. Я много думала, и...

— Думала, думала! — Иван Афанасьевич повысил голос. — Что ты могла «думать»? Ты еще... молода слишком!

— Тогда к чему этот разговор?

— Я для того и пришел, чтобы помочь тебе разобраться, — сказал он спокойнее, сдерживая себя. — Я все-таки твой отец, Вероника... старше тебя, опытнее... В жизни не все так просто, как кажется в шестнадцать лет. Ты ведь пойми, для чего мы это сделали, я и мать... мы ведь семью хотели сохранить — понимаешь, Вероника, семью! Ну, тебя еще не было, была Света — все равно семья уже была, а тут вдруг такое. Я, если бы твою мать меньше любил, наверное, ничего бы не сказал, мало ли было после

войны незаконных детей, не маленькая ты уже, сама все понимаешь. А я не мог так, Вероника, я мать любил... ну, и она меня, надо полагать... любила. А Слава был бы напоминанием постоянным, понимаешь? Ни черта бы из этого не вышло, Вероника, не склеилась бы у нас жизнь...

— Так вы, значит, решили «склеить», — звенящим голосом сказала Ника, и он отвел глаза, не выдержав ее взгляда. — Слезами ребенка, да? Вы хоть раз потом подумали, как он там, в этом детдоме, один совершенно, маленький — ему два года исполнилось, три, четыре, он уже все понимать начал, потом пошел в первый класс — и все ждал, что родители найдутся, ждал, по ночам плакал, а вы тем временем «семью склеивали»? Вот и получайте теперь свою семью!!

Выкрикнув со слезами последние слова, она сорвалась с места и отошла к окну. Иван Афанасьевич долго сидел, опустив голову, потом сказал глухо:

— Все верно, Вероника. Все верно. Я оправдываться и не пытаюсь. Ты только одно еще должна понять... война шла, понимаешь, страшная война, и люди очерствели на ней, может и потеряли в себе что-то... человеческое...

— Не говори о других! — оборвала Ника, не оборачиваясь. — Баба Катя во время войны взяла на воспитание сироту, она в себе человеческое не потеряла. И другие не теряли — наоборот, становились в тысячу раз человечнее! А вот для чего воевал ты — этого я вообще не понимаю, потому что такое, как вы сделали со Славиком, мог сделать любой фашист!

За ее спиной было тихо. Потом Иван Афанасьевич произнес сдавленным голосом:

— Ладно, Вероника, поговорили. Хорошо поговорили, по душам. А я ведь... прощения пришел у тебя просить, за Славу. Ладно, коли так. Я только одного не понимаю — неужели у тебя к нам простой нету...

Он не договорил, осекся. Ника слышала, как он встал и вышел из комнаты, потом хлопнула дверь в коридоре. Потом она увидела, как он идет через заснеженный двор, идет согнувшись, неверными шагами, как ходят больные или пьяные; и что-то словно лопнуло вдруг у нее в душе — какая-то кора, оболочка, сковывавшая ее столько месяцев, не дававшая ей понять то совершенно простое и понятное, о чем говорили Игнатъев, Ярослав, Галя, — простое, древнее и вечное, стоящее выше логики, выше справедливости. Не помня себя от нестерпимой, рвущей сердце жалости, Ника дернула забухшую форточку, высунулась в сырой февральский ветер и закричала:

— Папа-а! Папа, подожди меня — не уходи! Я сейчас!

## ГЛАВА 8

Елена Львовна не помнила отчетливо, почему, собственно, она в свое время не рискнула принимать предписанный ей барбамил и предпочла обычный ноксирон. Вероятно, просто из осто-

рожности, — в аптеке, когда она получала лекарство по рецепту с круглой печатью, ее предупредили об опасности превышения доз приема. Так или иначе, она тогда сунула нераспечатанный тюбик на дно шкатулки и забыла о нем на несколько месяцев.

Она нашла его теперь — через час после того, как муж ушел говорить с дочерью. Большую часть этого времени Елена Львовна продержалась совсем неплохо, непрерывным усилием воли заставляя себя думать о вещах посторонних и незначительных. Но потом — вдруг, внезапно, как всегда происходят такие вещи, — она почувствовала, что держаться больше не может. Не может и — главное — не хочет.

Она вообще ничего больше не хотела, — она, чья жизнь всегда заключалась в том, чтобы хотеть, достигать, получать в руки. Не в смысле вульгарного стяжательства, отнюдь нет.

Когда-то она хотела многого, и многое получила, многого достигла. И все достигнутое просыпалось у нее меж пальцев, как сухой песок, как пепел, как прах. Теперь она ничего больше не хотела, кроме одного: чтобы муж не встретился сегодня с дочерью, чтобы та забыла о вчерашней договоренности или попросту ушла бы в кино или к подруге, не дождавшись отца...

Елена Львовна надеялась на это, если только могла еще всерьез на что-то надеяться, и знала в то же время, что и эта надежда обманет. Как бы ни относилась теперь Ника к своим родителям, она достаточно хорошо воспитана, чтобы не заставить отца ехать напрасно. Никуда она не уйдет, и они встретятся сегодня. Точнее — уже встретились.

Елена Львовна совершенно уверена, что ничего хорошего из этого разговора не получится. Она знала обоих — и мужа, и дочь; им никогда не договориться, они никогда не поймут друг друга! Что Ника уже вынесла свой приговор — нет никакого сомнения. У нее было достаточно времени все обдумать, спокойно и не спеша, поговорить об этом деле со Славой, очень может быть — и со Светой, наверняка со своим Игнатьевым. Елена Львовна не заблуждалась относительно Никиного телефонного звонка из Ленинграда; это была, несомненно, идея Игнатьева, — видимо, он просто убедил девочку, что нужно исполнить долг вежливости. Она тогда поняла это сразу. Ну, или не совсем сразу — на какой-то миг надежда вспыхнула и ей вообразилось, что судьба помиловала ее, но только в самый первый момент. После нескольких реплик мужа ей стало ясно, что это не так. И действительно, когда она сама взяла потом трубку, Никин голос звучал сдержанно и отчужденно — так разговаривают по делу с чужим и не очень симпатичным человеком...

Нет, разумеется, без подсказки Игнатьева Ника не позвонила бы в тот вечер. Игнатьев ведь считал, что все должно уладиться, и, вероятно, пытался воздействовать на Нику в этом смысле. Выходит, не сумел, если звонок по телефону оказался пределом Никиных уступок. Чем же сможет теперь переубедить ее отец?

Двенадцатый час. Он ушел в одиннадцатом. Да, они уже встретились. Возможно, он уже ушел от нее. Через полчаса или

через час он вернется — мрачный, молчаливый. И не нужно будет ни о чем спрашивать. Достаточно будет только посмотреть на него, чтобы угас последний огонек надежды, который, может быть, еще теплится где-то у нее в душе. Наверное, теплится, надежды ведь вообще живучи, они долго живут в состоянии анабиоза, такого глубокого, что кажется — надежда мертва. Вот если надежда умрет по-настоящему — тогда ты это почувствуешь...

Но он может и не прийти через час. Возможно, он не захочет идти домой после неудавшейся попытки примирения; скорее всего, что не захочет. Последнее время его часто видели в баре Дома журналистов. Он может просидеть там до вечера, и до вечера будет длиться для нее эта пытка ожиданием — потому что она ведь будет ждать и надеяться вопреки очевидности, против собственной воли придумывая все новые и новые, самые невероятные варианты случившегося; в принципе, такой серьезный разговор может длиться и не один час, а потом они помиряются и поедут домой, но по пути Нике нужно будет заехать куда-нибудь по своим делам, — звонить сюда они не захотят, решив сделать ей сюрприз... или Ника, помирившись с отцом, начнет просто собирать и укладывать свои вещи, это ведь быстро не делается, а он пойдет за такси, и такси долго не будет, ведь сегодня воскресенье...

Елене Львовне мучительно было представить себе скорое возвращение мужа, потерпевшего неудачу в своей попытке вернуть дочь. Еще мучительнее было представить себе долгие часы предстоящего ожидания. Но только когда она, в жалкой попытке спрятаться от действительности, представила себе вдруг, как открывается дверь и в комнату входит Ника — когда она представила это себе ясно и до конца, — она поняла вдруг, что значит, когда человеку действительно становится вдруг невыносимо жить.

Потому что именно этот последний, фантастический вариант и был самым страшным из всего, что могло ее ожидать. Встретиться с дочерью один на один и посмотреть ей в глаза — это было бы действительно *невыносимо* в точном, порою забываемом нами значении этого слова. Елена Львовна могла теперь, кажется, вынести все, кроме встречи с дочерью, кроме необходимости что-то ей говорить, объяснять, оправдываться...

И когда она поняла это до конца, ей стало ясно, что жить больше незачем. Мысль эта пришла как утешение, как долгожданный выход из темного лабиринта; и таинственный механизм памяти именно в эту минуту напомнил Елене Львовне о спрятанном тюбике барбамила.

С отрадным чувством внезапной глубокой успокоенности смотрела Елена Львовна на стеклянную трубочку с маленькими, безобидными на вид таблетками. Как просто, в самом деле! Стоило мучиться так долго, когда можно было давно от всего избавиться. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Она подумала, что у нее не так много времени. А впрочем, времени для чего? Никаких дел ведь не осталось, да и будь у нее



какие-то неоконченные дела, она все равно не стала бы ими заниматься. Все сделают потом, уже без нее. Впрочем, оставалось что-то нужное, что-то совершенно необходимое, но она не могла вспомнить, что именно. Она вообще не могла сосредоточиться, мысли ее блуждали, легко перескакивая с одного на другое, и все это было уже неважным, не имеющим больше ровно никакого значения, и даже то, что в такой момент она не могла собрать эти разбегающиеся мысли и подумать о том, что ей предстояло сделать, тоже само по себе не имело уже ровно никакого значения. Разум все равно не участвовал в этом так внезапно принятом ею решении, его продиктовало сердце. Душа, как говорили когда-то.

Потом она вспомнила вдруг, что ей необходимо еще сделать, вошла в Никину комнату и присела к столику, раскрыв коробку с почтовой бумагой. В коробке оставался один конверт с пестрой красно-синей каймой. Елена Львовна взяла его и написала: «Свердловская обл. — Гор. Новоуральск — ул. Новаторов...» Номер дома она забыла, нужно будет посмотреть в записной книжке, но это не к спеху. Сейчас важно написать главное. Она взяла тонкий полупрозрачный листок и стала писать своим ровным почерком, сама немного удивляясь тому, что рука выводит буквы так же четко и аккуратно, как обычно:

«Москва, 15 февраля, 1970

Славик,

меня уже не будет в живых, когда это письмо дойдет до тебя. Не буду ничего объяснять, ты уже взрослый мужчина. Две мои последние просьбы к тебе, сынок. Первое — прости мне то, что я сделала. Ты видишь, как дорого я за это плачú. И второе — будь Нике настоящим братом, на ней ведь нет никакой вины, даже косвенной, как на Светлане. Прощайте все и будьте счастливы.

Твоя мама».

Перечитав написанное, Елена Львовна подумала и разорвала листок пополам, потом еще раз и еще. Обрывки она медленно скомкала. Ни к чему. Теперь ты просишь прощения и подписываешься «твоя мама». Мамой — если ты хотела ею быть — нужно было остаться в свое время. И эти сентиментальные нравоучения тоже ни к чему. «Будь Нике настоящим братом!» Он будет им и без твоих советов, а ты давно потеряла право читать мораль своим детям...

— Ну что ж, — сказала она вслух. Больше у нее действительно не оставалось никаких дел. Кроме самого легкого, самого простого. Она могла сделать это в любую минуту, но почему-то медлила, страшная тяжесть навалилась на нее, не давая двинуться с места. Она сидела за Никиным письменным столиком, на котором не было уже ни книг, ни тетрадей, ничего, кроме нескольких плохо отмытых чернильных пятен; сидела и непо-

движно смотрела в окно, где косо летели по ветру редкие снежинки. Потом она наконец заставила себя встать и вышла из этой комнаты, не оглянувшись.

Теперь уже ничего не осталось от чувства облегчения, от той успокоенности, что на несколько коротких минут обманчиво охватила ее при первой мысли о возможности покончить с собой. Это страшное решение не казалось ей больше таким легким и удобным выходом из тупика, — но ведь другого нет и не будет. И сознавать это было страшнее с каждой минутой...

В спальне остаток воли покинул Елену Львовну. Расплескивая воду, она поставила на тумбочку принесенный стакан и бесильно опустилась на еще не убранную с утра постель. Скоро она заметила, что дрожит. В спальне было невыносимо холодно, Елена Львовна не могла понять, откуда этот ледяной холод в теплой квартире. Ей было холодно и одиноко и очень жалко самое себя; она словно смотрела на себя со стороны, смотрела отрешенно и беспристрастно, и пыталась беспристрастно оценить — так ли уж велика вина этой жалкой женщины и соответствует ли вине тяжесть наказания. Уж такого-то она, пожалуй, все-таки не заслужила. А может, и заслужила; может быть, она заслужила и еще горшего; может быть, сейчас она просто не могла быть беспристрастна к самой себе — и сама это понимала...

Она, в сущности, ни о чем уже не думала. Она только сознавала, что ей сейчас плохо, холодно и одиноко и что никого нет рядом с нею в эту минуту. Ее обдало порывом совершенно уже ледяного холода, и она обернулась: все дело было, оказывается, в открытом окне, следовало бы встать и закрыть, сырой февральский ветер дул ей прямо в спину — верная простуда. Но это, впрочем, не имело уже ровно никакого значения. Ее взгляд безучастно обошел комнату — просторную, со вкусом обставленную солидными дорогими вещами, которые приобретались обдуманно, без спешки, в расчете на долгую и благополучную жизнь. Сейчас все это казалось ненужным, нелепым, глупо претенциозным — и пушистый розовый ковер на полу, и пестрый кожаный пуфик египетской работы у низкого, с большим зеркалом туалетного столика, уставленного флаконами и коробочками золотистого богемского хрусталя, и все, все остальное. Ради этого, ради всей этой «благополучной жизни» она в свое время предала сына. Что ж, все совершенно закономерно — каждый, в конечном итоге, получает по заслугам...

В столовой начали бить часы. Насчитав двенадцать ударов, Елена Львовна вдруг испугалась — действительно, теперь муж мог вернуться каждую минуту. Достав из кармана стеклянную трубочку, она торопливо, ломая ногти, раскупирила ее и стала вытряхивать таблетки на дрожащую ладонь.

Ника, к счастью, далеко не сразу поняла, что, собственно, произошло. Когда они с отцом вышли из троллейбуса, Иван Афанасьевич сказал, что пойдет вперед — чтобы подготовить мать,

сказал он, а то слишком неожиданно получится. Ника согласилась, что так будет лучше. Она задержалась перед газетным стендом, попыталась прочесть что-то, но не поняла ни слова и направилась домой; не спеша прошла через двор, вошла в подъезд, вызвала лифт. Она почти не волновалась или делала вид, что не волнуется; хотя, в общем-то, довольно плохо представляла себе, что скажет маме и как произойдет их встреча...

А потом она увидела необычно приоткрытую дверь их квартиры и услышала голос отца — он кричал что-то по телефону, она еще не разобрала ни одного слова, но ее уже, как током, ударило ощущение внезапной беды. Она вбежала в переднюю, когда отец только что положил трубку, и, когда она увидела его серое трясущееся лицо, ей захотелось зажмуриться и закричать от страха; отец схватил ее за плечи, преграждая дорогу в комнаты, и повторял, что с мамой ничего страшного, просто стало нехорошо, он уже вызвал «скорую помощь», все будет в порядке, нужно только сбежать к врачу, который живет этажом ниже, — сегодня воскресенье, он может быть дома — пусть тогда немедленно поднимется...

Дальше она почти ничего не помнила. Врач с нижнего этажа оказался дома, он бросился наверх, не дослушав Нику, а сама она осталась почему-то в его квартире — только потом она узнала, что ей стало плохо и жена врача отпаивала ее валерианой. Наверное, это продолжалось не очень долго, во всяком случае она еще застала маму, когда поднялась наконец к себе, — двое в белых халатах выносили ее на носилках, по самое горло укутанную серым одеялом, спящую или без сознания — Ника не поняла. На какой-то страшный миг ей даже подумалось, что мама умерла, но она тут же вспомнила, что мертвым закрывают лицо; она посторонилась, пропуская санитаров с их страшной ношей, и осталась стоять, остолбенев, словно ее не касалось все это, словно кого-то чужого уносили люди в пахнущих больницей белых халатах...

Этот больничный запах был, пожалуй, последним ее четким ощущением перед очередным провалом в памяти, а после этого запомнился покрашенный в светлую масляную краску коридор, холод и тот же самый запах, только еще более сильный, пропитывающий все вокруг. И еще был запах табака, когда отец возвращался к ней; он то и дело уходил покурить, и она оставалась сидеть на холодной белой скамье, и ждать, и надеяться, и молиться — горячо и неумело, безуспешно пытаюсь вспомнить древние непривычные слова, которым когда-то учила ее баба Катя.

Там, в больнице, она не знала еще, что случилось. Она несколько раз начинала расспрашивать об этом отца, но тот объяснял путано и непонятно, видимо и сам ничего толком не знал. Вероятно, от него можно было добиться в конце концов более вразумительного объяснения, но что-то удерживало Нику, какой-то не совсем еще понятный страх. Страх, а может быть, и просто сознание собственной непростительной вины. Что было для нее

совершенно определенным уже тогда, в больнице,— это убийственное сознание собственной виновности во всем случившемся.

Они вернулись домой уже вечером, после того как им сказали, что особенных оснований для беспокойства нет и, похоже, все кончится благополучно. Ника еще ничего не понимала. Отец сказал, что мама по ошибке приняла слишком большую дозу снотворного; но она никогда не спала днем, да и вообще — с чего ей вздумалось принимать снотворное именно сейчас, она ведь знала, куда пошел отец, и, вероятно, ждала результатов этого свидания? Все это было совершенно непонятно или просто казалось непонятным в ее теперешнем состоянии, — сейчас, когда прошел первый шок и уже не было непосредственной опасности, у нее наступила реакция и она не только не могла сколько-либо связно о чем-то думать, но и чувствовать. Ее охватило отупение, какое-то безразличие ко всему. Квартира — с затоптанными полами, выстуженная через оставшееся открытым окно в спальне — казалась чужой, нежилой, брошенной; Ника попыталась навести какой-то порядок, протерла паркет в передней, нашла в кухне баночку растворимого кофе и поставила на газ чайник. Ее всю трясло — от холода, от усталости, от злости на соседок, которые одна за другой являлись поахать, поутешать, выразить сочувствие и предложить какую-нибудь помощь. Соседки-то приходили с самыми добрыми намерениями, она прекрасно это понимала, но все равно ничего не могла с собой поделать. Когда отец вошел в кухню и сказал, что Римма Ильинична зовет их поужинать, Ника не выдержала и истерично закричала, что не пойдет ни к каким риммам ильиничнам, и не нуждается ни в каких ужинах, и как он вообще может думать сейчас о еде! «Ну хорошо, дочка, хорошо, — ошеломленно пробормотал отец, — мы никому не пойдём, но поесть нужно, ты ведь ничего не ела целый день...» Он ретировался, осторожно притворив за собой дверь. Забурлил чайник, стуча крышкой и выплескивая кипяток на плиту; Ника выключила газ и снова присела к заставленному немойтой посудой кухонному столу, опустив голову в ладони.

Римма Ильинична все-таки накормила их своим ужином, она просто принесла все с собой, накрыла стол и вытащила Нику из кухни. «Садись-ка есть, — строго сказала она, — нечего отца мучить, мало ему еще забот. Поешь и ложись спать, и не думай ни о чем, — раз сказали, что опасности нет, значит, нет, значит, все в порядке: Что ж врачи, врать тебе станут?..» Она усадила ее за стол и ушла, сказав Ивану Афанасьевичу, чтобы не стеснялся зайти в любое время, если что понадобится; а Ника, через силу проглотив первую ложку супа, почувствовала вдруг нестерпимый голод. Действительно, ведь за весь день только и съела, что кусок торта...

Она проснулась среди ночи — одетая, на незастеленной тахте, — и сразу вспомнила все в первую же секунду после пробуждения. Охваченная ужасом, она вскочила, нащупала кнопку лампочки на ночном столике и прислушалась, затаив дыхание. Все было тихо, часы показывали половину пятого. Ника опять

почувствовала себя в той кошмарной атмосфере своего давнишнего сна — глухая ночь, одиночество, разрывающая сердце тревога. Она выбежала из комнаты, включила большую люстру в столовой, торшер, оба настенных бра в передней, потом ворвалась в спальню и растолкала отца.

— Папа, мне страшно, позвони сейчас же в больницу — сейчас уже почти пять, там, наверное, должен быть ночной дежурный, — вдруг маме стало хуже!

Отец вскопчил перепуганный, ничего не понимая, потом наконец понял и, зевая, успокаивающе потрепал ее по руке.

— Не паникуй, дочка, утром все узнаем, ночью ведь справочная не работает. Я оставил там наш телефон, они бы позвонили, если что...

Продолжая позевывать, он встал, сунул ноги в шлепанцы и вышел с Никой в столовую.

— Давай-ка мы сейчас выпьем с тобой, — сказал он, доставая из серванта бутылку и две рюмки. — Как это я не сообразил, нужно было тебе сразу вкатить хорошую дозу — проспала бы до утра спокойно. Ну, давай — за материно здоровье, чтобы скорее поправилась...

Ника храбро глотнула, коньяк обжег ей горло, попал куда-то не туда, она поперхнулась, закашлялась, но все-таки заставила себя допить рюмку.

— А ты чего, не раздевалась, что ли?

— Не помню, — она покачала головой. — Я, наверное, просто прилегла на минутку и сразу заснула.

— Поди разденься. А то опять одетой уснешь. Иди, я пока кофе пойду поставлю — все равно уж спать сегодня не буду...

Ника вошла к себе в комнату, включила верхний свет и увидела на столе конверт с надписанным маминой рукой адресом Ярослава.

Она похолодела при виде этого конверта. Неясное подозрение, догадка, которая едва померещилась ей вчера в какой-то момент, когда она пыталась понять, зачем маме было принимать снотворное среди дня, и именно тогда, когда отец пошел к ней мириться, — эта страшная догадка снова всплыла в ней сейчас, не подвластная никаким доводам разума. Впрочем, сейчас доводы молчали.

Конверт оказался пустым, но Ника уже увидела рядом комочек смятой бумаги. Она, помедлив, развернула его онемевшими пальцами, разгладила клочки и сложила их на столе один к одному — как когда-то в детстве складывала картинки из кубиков. Отец позвал ее из столовой, она не шевельнулась.

— Посмотри, — сказала она, когда он вошел в комнату. — Я так и думала, мама сделала это нарочно...

— Что сделала нарочно? — деланно удивился отец. Он наклонился над ее плечом, посапывая, долго читал разорванное на восемь частей письмо, потом осторожно собрал обрывки и обнял Нику за плечи.

— Пойдем, выпьем кофе, — сказал он, поднимая ее со стула. — Да, вот так получилось, видишь...

— Господи, — сказала Ника со стоном, закрывая лицо ладонями. — Господи, если бы только я знала... Ведь говорили мне все, давно уже говорили, а я просто не могла, папа, ты понимаешь, у меня здесь как будто какой-то вдруг камень оказался, — я не могла заставить себя через что-то переступить, — я ведь сама давно поняла, что нельзя, чтобы это продолжалось... Господи! Господи, если бы догадалась сама, хотя бы на один день раньше! Что я наделала!! — закричала она, захлебываясь рыданиями.

## ГЛАВА 9

Елена Львовна выписалась из больницы в середине марта, пролежав почти месяц из-за воспаления легких, справиться с которым оказалось сложнее, чем нейтрализовать барбитуратное отравление. В день выписки Ника с утра съездила на рынок, купила большой букет тюльпанов, сготовила праздничный обед, Иван Афанасьевич достал где-то бутылку редкого коллекционного вина. Внешне все было так, как всегда бывало у них в доме в дни семейных праздников, отмечаемых в своем кругу, без приглашенных. Семья опять была вместе, между ними не оставалось больше ничего недосказанного, ничего скрытого; снова наступил мир. Но это был уже не тот, прежний мир, и Ника чувствовала, что прежний он никогда не станет...

Она завидовала сейчас отцу, который явно этого не понимал. А впрочем, может быть, он только делал вид? Трудно сказать — отец в чем-то оставался для нее загадкой. За столом он говорил без умолку, ухаживал за женой и дочерью, подливал им вина, бегал даже в кухню. «Будем считать, дороге женщины, что сегодня еще восьмое, — объявил он. — Три дня разницы дела не меняют. Ты пей, Вероника, на мать не смотри — ей пока нельзя...»

Ника не заставляла себя упрашивать. В этот день ей захотелось вдруг напиться и в самом деле, чтобы ни о чем не думать, чтобы хотя бы на время забыть тот ужас, избавление от которого они праздновали сегодня и леденящая тень которого продолжала витать над их праздничным столом.

Если бы только тень. Тогда хоть можно было бы рассчитывать на избавление — позже, со временем... Тени рано или поздно рассеиваются, исчезают, а это, она знала, будет теперь с нею всегда. До конца дней.

И самым страшным было то, что этого никто не видел, никто не понимал. Никто ни в чем ее не винил, она была наедине со своим преступлением — вот что было страшнее всего...

Мать тоже ничего не поняла. Ника так ждала ее приезда! Свидания в больнице были короткими, да и не поговоришь обо всем при посторонних, там нужно было держать себя в руках, разыгрывать благополучие. Ника даже ни разу не заплакала там, сама потом удивлялась собственной выдержке; поговорим дома, думала она.

Но дома разговора тоже не получилось. «Бог с тобой, девочка,— сказала Елена Львовна,— о чем ты говоришь, за что мне тебя прощать, я сама бесконечно виновата перед всеми вами...» — «Но я не должна была,— твердила Ника,— я просто не имела права, пойми, как я теперь могу...» — «Успокойся, успокойся»,— повторяла Елена Львовна, стирая слезы с ее щек. Как будто она могла теперь «успокоиться»!

Ее никто ни в чем не обвинял, все относились к ней по-прежнему — а она была преступницей, она довела мать до самоубийства. То, что оно лишь по счастливой случайности осталось попыткой, дела не меняло. Ее вина не становилась от этого менее очевидной. А для всех окружающих она — преступница — была прежней Никой Ратмановой, ее даже жалели, когда узнали, что мать лежит в больнице в тяжелом состоянии...

Ей казалось, что было бы легче, если бы правду знали все — соседи, учителя, одноклассники. Если бы от нее все отвернулись, если бы о ней говорили с ужасом и отвращением — было бы легче. Она, конечно, страдала бы, но страдала иначе, хотя бы частично искупая этим свою вину. А так никакого искупления не было. Во всяком случае, пока.

Возможно, оно придет позже, когда обо всем случившемся узнает Дима. Даже не возможно, а наверное. Он ведь ее предупредил, говорил с нею... И сколько раз! Последний разговор на эту тему был в день ее отъезда из Ленинграда, десятого января. Дима тогда спросил ее, как она все-таки думает дальше строить свои отношения с родителями. Она пожала плечами — пока никак. Он нахмурился, долго молчал, потом сказал, что она ведет себя совершенно неправильно — по существу проявляет сейчас не меньшую жестокость, чем та, за которую так безоговорочно осудила родителей. «Ты тоже, как Слава,— усмехнулась Ника,— он, когда меня провожал, тоже все уговаривал помириться...» Дима сказал, что она должна понять простую вещь: нельзя отвечать злом на зло, тогда получится замкнутый круг, из которого нет выхода. Ника спросила: он что же, считает, что не мириться со злом — значит самому совершать зло? Не нужно впадать в крайности, сказал он, мириться со злом — это одно, а помириться с родителями — совсем другое. Можно со всей категоричностью осуждать поступок человека, но сам человек — особенно столько лет спустя — заслуживает, наверное, и снисхождения, и, наконец, простой жалости...

А у нее ничего этого не нашлось для матери — ни жалости, ни снисхождения... Она не могла вспомнить, по какому поводу (кажется, еще там, в Крыму) Дима однажды назвал ее рационалисткой. Она тогда удивилась — чего-чего, а рассудочности никогда за собой не замечала. Рационалист, казалось ей, должен быть человеком сухим, размеренным, неспособным на порывы; типичной рационалисткой была, пожалуй, Света. Себя Ника считала совершенно непохожей на старшую сестру. Но, может быть, со стороны виднее?

Да, все-таки было у них, вероятно, что-то общее, несмотря

на всю несхожесть характеров, — недаром обе они так по-разному и так одинаково проявили себя в этой истории. Света давно знала про Славу — и оставалась равнодушной. Она же, Ника, узнав, довела мать до попытки самоубийства. Казалось бы, что общего? А общим оказалось бессердечие...

Пятого марта Нике исполнилось семнадцать лет. Утром поздравил Игнатьев, потом её поздравляли другие — отец, одноклассники в школе, вечером принесли телеграмму из Новоуральска. Да, семнадцать — это действительно рубеж. Ника уже давно в мечтах видела себя семнадцатилетней: в этом возрасте она должна была окончить школу, поступить в университет, стать наконец самостоятельным человеком, студенткой... И какая жестокая ирония — именно сейчас, на пороге желанного семнадцатилетия, ей суждено было не выдержать главного экзамена...

«15 марта 1970 г.

Здравствуйте, Галочка и Слава!

Не обижайтесь, что я не сразу ответила на вашу телеграмму и не поблагодарила за поздравления и добрые пожелания. Я была очень занята и не очень хорошо себя чувствовала. Я вообще не писала вам больше месяца, очень себя за это ругаю. Но дело в том, что мама была очень больна, у нее было воспаление легких в тяжелой форме, так что даже пришлось положить в больницу. Она пролежала там долго и вернулась домой только в среду. Иначе я, конечно, написала бы вам раньше.

Славик, я много думала за это время над тем, что вы с Галей мне говорили, и я теперь вижу, как вы были правы. Если бы ты знал, что мне пришлось пережить за это время. Страшно, что взрослый человек (а я уже взрослая вполне и не могу оправдываться возрастом) может в трудный момент оказаться таким ничего не понимающим и таким слепым. Или таким бессердечным. От этого страшно становится жить, ты понимаешь? Если бы ты знал, Слава, как мне сейчас трудно.

Славик, ты не рассердишься, если я скажу тебе одну вещь? По-моему, тебе нужно было бы написать маме письмо. Ты не удивляйся, пожалуйста, и не говори сразу да или нет, а просто подумай хорошо-хорошо. Ты мне сам говорил, чтобы я помирилась, помнишь? И что нельзя все время жить в обиде. Мне и Д. тоже об этом говорил. Ты сказал, что уже относишься к маме совсем не так, как раньше. Ты ведь не для того это говорил, чтобы меня утешить? Славик, я тебя прошу — если ты *действительно* не сердишься больше на маму, то напиши ей. Не об этом, об этом



писать не нужно, она сама все поймет. И не пиши о том, что, дескать, раньше никогда не писал, а теперь вдруг решил написать.. Напиши просто так, как будто вы всегда переписывались. Ты ведь меня понимаешь? Напиши, что ты узнал, что она болела воспалением легких и была в больнице, и хочешь знать, как она сейчас себя чувствует. И расскажи хотя бы коротко о своей жизни, о Галочке, о Пете. Ты не представляешь, что для нее значило бы получить такое письмо. Мама ведь тоже много пережила за это время, поверь мне.

Крепко целую вас всех.

Твоя сестра — Н и к а Р.»

Отправив письмо брату, Ника почувствовала облегчение. Если Слава последует ее совету, то все-таки у нее на счету окажется хоть одно доброе дело. Не то чтобы она рассчитывала искупить этим хотя бы ничтожную долю своей вины; об этом Ника не думала, ей просто было хорошо от сознания, что наконец-то и она сможет что-то сделать.

Облегчение было еще и оттого, что до этого Ника долго ломала себе голову — как быть со Славой. Рассказать ему правду было нельзя, оставить в полном неведении — тоже. Теперь же, как ей казалось, она нашла какой-то выход.

Предстоял еще разговор с Димой, уж ем-то Ника должна была рассказать все как есть. Она легко представляла себе его реакцию, но странно — мысль о неизбежном разрыве не пугала ее.

Раньше у нее было столько планов, столько замыслов — иногда серьезных, иногда ребяческих; в своем воображении она решала (под Диминым руководством) какую-нибудь важнейшую историческую проблему, раскапывала вместе с ним столицу неизвестного царства, обдумывала, какого цвета обоями окленть «мегарон», чем украсить каминную полку, как лучше провести их первый отпуск вдвоем... Теперь все опустело, потеряло смысл и содержание.

И не только потому, что Ника не верила больше в осуществимость своей мечты. В конце концов, если Дима по-настоящему ее любит, он и в самом деле может простить ей то, что она сделала. Он может найти для нее тысячу оправданий — молодость, неопытность, мало ли что еще. И что тогда?

Даже если он сможет перечеркнуть случившееся (со стороны все это кажется проще), то ей это не удастся. Как можно начинать новую жизнь, чувствуя себя преступницей?

Вот если бы только знать, насколько обоснованно это чувство... Ведь до сих пор она так и не нашла ответа на вопрос — а что же ей было делать, как следовало себя вести в этом случае? Да, у нее было ощущение непростительной своей вины, была убежденность в том, что оправдания нет и быть не может. Но, возможно, эта убежденность и это ощущение были все же ошибоч-

ными, ведь прямого — подкрепленного точными доводами разума — подтверждения своей вины Ника тоже не находила! То, что тогда сказал ей Дима — что нельзя отвечать злом на зло,— было хотя и по-человечески верно (недаром жизнь так страшно подтвердила его правоту), но с точки зрения логики далеко не безупречно. Правда, тот же Игнатьев, вероятно, сказал бы, что логика тут совершенно ни при чем...

В пятницу двадцатого марта, на последнем уроке, Нику вызвала преподавательница литературы:

— Пожалуйста, Ратманова, к доске. Что было на сегодня?

— Образ Петра в романе Алексея Толстого «Петр Первый»...

— Хорошо. Что вы можете сказать об этом образе?

Ника помолчала, глядя в окно, за которым густо летел мокрый снег. О Петре они говорили с Димой в отряде, накануне ее отъезда...

— Он мне не понравился,— сказала она наконец.

— Чем?

— Слишком идеализирован, по-моему.

— Это относится скорее к области истории, а не литературы.

Вам не кажется?

— Нет.

— Почему?

— Литература должна говорить правду, иначе это плохая литература. Даже если книга хорошо написана.

Татьяна Викторовна поправила очки и внимательно посмотрела на Нику.

— Что ж, продолжайте,— сказала она после паузы.

— У Ключевского Петр выглядит иначе. Он пишет, что Петр многое делал наобум, не зная, что из этого выйдет. А у Толстого получается, что Петр все знал заранее и никогда не ошибался.

— А вы считаете, ошибался?

— По-моему, да...

— В чем?

— Петровские реформы расслоили русское общество.

— По-вашему, в допетровской России не было классового расслоения?

— Было, конечно. Но потом к нему прибавилась еще и... культурная рознь. Дворянство начало воспринимать европейскую культуру, а для народа она оставалась чуждой и непонятной.

— Ах вот вы о чем. Ну, это вопрос спорный, Ратманова. На примере Пушкина мы видели, какие блистательные результаты может дать синтез культур, органичное слияние двух совершенно разных культурных начал. Есть национальные культуры, и есть единая общечеловеческая культура, которая развивается в процессе их взаимооплодотворения. Это одно. Второе — культура искусственно изолированная, самодовлеющая и замкнутая в себе рано или поздно приходит в упадок. Вы не допускаете, что Петр,

при всех его ошибках, все же понимал это и именно от этого хотел уберечь русскую национальную культуру?

— Да, может быть. Хотя...

— Что?

— Не знаю... Петра, по-моему, мало беспокоила судьба культуры. Скорее торговля, промышленность... Ну, и наука, конечно.

— А наука и культура — это не одно и то же?

Ника подумала, помолчала. В классе было очень тихо — все смотрели на нее, кто с недоумением, кто с интересом.

— По-моему, это не всегда одно и то же, — сказала Ника.

— Например?

— Ну... я не знаю, в гитлеровской Германии, например, наука стояла достаточно высоко. Не всякая, конечно, там было много мракобесия, но я хочу сказать — техническая наука. Химия, машиностроение... Но ведь культуры там не было?

— Культуры не было, вы правы. Что касается науки, то попробуем разобраться в этом вопросе. — Татьяна Викторовна обвела класс взглядом. — Кто хочет добавить что-нибудь к тому, что сказала Ратманова?

Ученики переглядывались, пожимали плечами. Игорь Лукин скорчил Нике одобрительную гримасу и постучал пальцем по лбу — молодец, мол, старуха, ты у нас гигант мысли...

— Карцев, вы хотите что-то сказать?

Женька Карцев неуклюже взгромоздился над столом, поправил очки.

— Это ерунда, по-моему, — забасил он, — что в Германии высоко стояла наука, ну конечно, некоторые отрасли действительно развивались довольно успешно, а в целом... Гитлер даже физику разогнал, я уж не говорю про общественные науки. Антропология тоже — где-то на уровне бреда. Поэтому, наверное, и культуры настоящей не было. Вот.

— Совершенно верно, — кивнула Татьяна Викторовна. — Наука как единое целое в гитлеровской Германии подавлялась, отсюда и упадок культуры. Садитесь, Карцев. Вы, Ратманова, тоже можете идти на место. Не знаю, какую оценку выставил бы за ваши рассуждения историк, но я вам ставлю пять. Кое в чем вы ошибаетесь, но лучше думать и ошибаться, чем не думать вовсе. Да, кстати...

Ника, уже отойдя от доски, остановилась и вопросительно глянула на преподавательницу.

— Еще один вопрос, — сказала Татьяна Викторовна. — Роман «Петр Первый», как известно, остался недописанным. В той части текста, которой мы располагаем, есть места, подтверждающие вашу мысль о непонимании, неприятии народом — в то время, подчеркиваю, — именно вот этой чуждой, иноземной культуры, которую решил насаждать Петр. Вам не кажется, что у автора могло быть намерение развить дальше эту мысль, показав противоречивый характер некоторых петровских начинаний?

— Не знаю, — сказала Ника. — Нет, не думаю, чтобы было.

— Не думаете? Ох, Ратманова, Ратманова... Садитесь, пока я не переправила вашу пятерку на что-нибудь другое...

После звонка Ника подождала преподавательницу в коридоре.

— Татьяна Викторовна, мне нужно с вами поговорить...

— О Толстом? — Болховитнинова улыбнулась. — Ты, кстати, не совсем к нему справедлива — художник это был большой...

— Нет, Татьяна Викторовна, у меня... личный вопрос.

— Ах вот что. Ну, давай поговорим. Ты хочешь сейчас?

— Нет-нет, я, если можно... Я бы лучше пришла к вам, если вы позволите. Завтра или в воскресенье.

— Хорошо, приходи завтра. Прямо после школы, у меня завтра нет уроков.

— Только, Татьяна Викторовна... я бы хотела, чтобы мы были одни, вы понимаете...

— Разумеется, мы будем одни. Договорились. Завтра около трех я тебя жду.

— Спасибо, Татьяна Викторовна...

На следующий день последним уроком было черчение, но никто ничего не чертил: в классе шептались, пересаживались с места на место, торопливо писали записочки — готовилось какое-то крупное мероприятие по случаю начинающих завтра весенних каникул. Нику спросили, пойдет ли она, она сослалась на нездоровье. После звонка весь класс словно сорвался с цепи — вылетели с воплями в коридор, табуном прогрохотали по лестницам, устроили бедлам внизу, в вестибюле. Галдели, спорили, девчонки толпились перед зеркалом, Ренка Борташевич, вытягиваясь на цыпочках из-за чьего-то плеча, смелыми мазками накладывала себе на веки трупную синеву. «Девчонки! — пронзительно верещала она. — У кого есть польская помада номер пять?..»

Ника протолкалась к вешалкам, оделась, ни на кого не глядя. Как она завидовала сейчас своим одноклассникам, их беззаботному дурашливому веселью, их непричастности к тому, что делается с нею самой. Сейчас они выйдут отсюда, галдящей — во весь тротуар — кучей повалят по Ордынке, потом набьются в чью-нибудь квартиру, будут танцевать под магнитофонные вопли... Как тогда у Карцева, перед новогодними каникулами. Тогда она еще была с ними, была такую же, как они все. Ей тоже было грустно в тот день, но по-другому. Глупая, она не знала, что ей предстоит еще прожить десять самых счастливых дней ее жизни...

Нике казалось, что у нее вот-вот ручьями хлынут слезы. Но она не заплакала, она не плакала уже давно — разучилась, наверное. С трудом проглотив подступивший к горлу комок, она пробралась к дверям, вышла наружу, под слепящее мартовское солнце. Вчера еще шел снег, а сегодня уже совсем тепло. Весна. Как страшно жить на свете, и как странно, что никто этого не замечает. Ты на минуту задерживаешься перед витриной — иходишь к перекрестку как раз в ту секунду, когда туда вылетает

пьяный водитель. Или ты чего-то вовремя не понимаешь, на что-то не обращаешь внимания, делаешь что-то не так — и вся жизнь рушится. Именно из-за этого. Прислушайся она тогда к словам Димы или Славы, попытайся понять — и все сложилось бы по-другому, не было бы этого кошмара, в котором она живет уже полтора месяца... Завтра она могла бы уехать в Ленинград, снова оказаться в «мегароне» на Таврической. Тогда, в январе, они договорились, что на весенние каникулы она приедет. Теперь, правда, Дима ее не ждет — пятого, когда поздравлял по телефону, она сказала, что приехать не сможет, потому что мама тяжело больна и неизвестно, когда ее выпишут.

Он звонил и потом, не один раз, говорил, что сам может приехать на воскресенье в Москву, но Ника сказала, что пока не нужно, нельзя, субботы и воскресенья она проводит в больнице. Вряд ли он поверил. А впрочем, какое это имеет теперь значение...

На Добрынинскую Ника пришла ровно в три. Поднимаясь на пятый этаж, сама удивилась своему спокойствию — как будто идет поболтать к подруге. У двери, прежде чем нажать кнопку звонка, она все же помедлила, попыталась как-то обдумать предстоящий разговор. Да нет, что тут обдумывать.

— А, Ратманова, — сказала Татьяна Викторовна, распахнув дверь. — Ты точно, как королева. Входи! И говори сразу — голодна?

— Нет, спасибо...

— Смотри, а то я могу покормить. Обедаем мы позже, но хоть яичницу зажарить?

— Нет, спасибо, Татьяна Викторовна, я правда не хочу.

— Тогда выпьем кофе. Раздевайся, проходи в комнату, я сейчас...

Ника вошла, поправляя волосы, скользнула взглядом по развешенным над письменным столом Андреевым рисункам и остановилась возле окна. Форточка была распахнута, пахло солнцем, весной, капелью. Как ждала она этой весны...

За ее спиной скрипнула дверь, послышалось звяканье посуды. Ника обернулась:

— Помочь вам, Татьяна Викторовна?

— Нет, я все принесла. Сейчас включим это, и все... Садись, Ника, рассказывай. Как у тебя дома?

— Я об этом и хотела... — Несмотря на все спокойствие, голос ее прервался.

— Я слушаю, — встревоженно сказала Татьяна Викторовна. — Иди сюда, Ника, садись...

Ника села, помолчала, глядя в сторону.

— Я сейчас... извините, Татьяна Викторовна. Я вам говорила, мама лежала в больнице. С воспалением легких...

— Да, я знаю.

— Это не совсем так. То есть воспаление легких тоже было, но... Дело в том, что...

Овладев собой, Ника говорила теперь негромко, спокойно, словно пересказывала прочитанную книгу. Странно, ей думалось,

что придется говорить долго, а на самом деле рассказ оказался совсем коротким. Когда она кончила, Татьяна Викторовна глянула на нее, словно ожидая продолжения, потом встала, прошлась по комнате и остановилась у окна, держась за локти.

— Боже, какая идиотка! — воскликнула она потрясенно.

— Я знаю, — прошептала Ника, опустив голову.

— Что? Да я не про тебя. Себе никогда этого не прощу! Но почему ты не пришла, не поговорила, не посоветовалась? Ника! Как можно было? Ах, впрочем, при чем тут ты! Я, я должна была поговорить — сразу после твоего возвращения оттуда, из Сибири. И ведь думала, собиралась... Это Андрей сбил меня с толку — не нужно пока, подожди, ей сейчас трудно говорить на эту тему, пусть отойдет, успокоится... Может быть, поговори я с тобой вовремя...

— Ну что вы, Татьяна Викторовна. Вы думаете, со мной не говорили, не советовали? И Слава говорил, и мой... — У нее чуть не вырвалось «жених», она запнулась и быстро договорила: — Мой знакомый, ну, Игнатъев, вы с ним виделись... Они мне говорили, что нельзя так, что я преступление делаю. Я просто не понимала. Я и сейчас не понимаю. Я ничего не понимаю, Татьяна Викторовна. Поэтому я и пришла к вам... мне нужно было рассказать об этом. Никто ведь не знает, что я... фактически убийца.

— Ника, ну что ты плетешь...

— А разве нет? Я довела маму до этого. Не моя заслуга, если ее случайно спасли. Но что я должна была делать? Как я должна была к этому отнестись? Поймите, ведь то, что сделали с моим братом, это — объективно — было преступлением? Да или нет?

— Ника, погоди...

— Вы не ответили на мой вопрос!

— Хорошо, отвечаю — да.

— А человек может отнестись к преступлению равнодушно — только потому, что оно совершено давно или совершено кем-то из его близких?

— Ну, это уже казуистика! — Татьяна Викторовна снова прошлась от окна к столу, выключила гейзер, который давно уже клокотал, наполнила комнату ароматом кофе. — Погоди-ка, ты меня совершенно запутала. Давай разберемся по порядку. Ты себя обвиняешь в том, что своей... нечуткостью, что ли, своей жестокостью довела мать до... этого отчаянного поступка. В то же время ты считаешь, что не могла вести себя иначе, потому что преступление есть преступление и к нему нельзя относиться равнодушно...

— Я сама запуталась, Татьяна Викторовна.

— Еще бы! Так вот, мне думается, дело не только в тебе. Тут другое было — чувство вины, раскаяние... Позднее раскаяние, вероятно, особенно мучительно. Я не говорю, что конфликт с тобой не сыграл роли, но это уже был, скорее всего, лишь последний толчок...

— Почему «последний»? Ведь до этого-то ничего не было! Если бы я не узнала совершенно случайно о Славе...

— Хорошо, согласна. Но тогда, Ника, взгляни на это с другой стороны! Допустим, ты права; допустим, твоя мама, не случись этого конфликта с тобой, так и не испытала бы никакого раскаяния и продолжала бы жить как прежде — благополучно. Я, кстати, в этом не уверена. Если у человека такой груз на совести, он рано или поздно его почувствует. Но, допустим, почувствовать заставила именно твоя непримиримость. Ты знаешь, что такое катарсис?

— Нет.

— Это старый философский термин — очищение души через страдание. Если человек страдает и искренне раскаивается, в нем начинается процесс внутренней перестройки. Он становится лучше, понимаешь? И если ты — вольно или невольно — заставила маму увидеть ее давний поступок в совершенно ином свете, заставила ее понять свою вину, то... хотя не знаю! Честно говоря — не знаю. Ты вот спрашиваешь, как должна была поступить. Ты говоришь: «Я запуталась!» Вероника, человечество уже две тысячи лет «лутается» в этом вопросе — как поступать, встречаясь со злом. Будем называть вещи своими именами: то, что сделали когда-то твои родители, действительно было злом. Это было преступление, хотя, может быть, и не наказуемое уголовно. Так вот, я хочу сказать — именно вопрос о методах борьбы со злом всегда был самым трудным, над ним ломали себе головы люди куда более умные и опытные, чем ты. На него действительно не так просто ответить. Ясно одно — метод «клин клином» здесь неприменим...

— Мне это говорили, — сказала Ника задумчиво. — Но какой же тогда?

— Вероятно, все-таки один: не пускать зло в свою душу, не поддаваться ему, не уподобляться его носителям. Другого способа, Вероника, я не знаю...

Они помолчали. Татьяна Викторовна вздохнула, придвинула к себе кофейник и чашки.

— Ты прямо из школы? Нет, все-таки я тебя хоть чем-то покормлю — сходи-ка на кухню, там на столе хлебница, и достань из холодильника масло и сыр.

Ника послушно поднялась.

— Я руки помою, можно?

— Не можно, а должно. Ванная знаешь где? Полотенце возьми клетчатое, которое висят справа...

Ника обогнула стол, двигаясь со своей сдержанной кошачьей грацией, и вышла. Татьяна Викторовна проводила ее взглядом, вздохнула. Да, поистине нет в мире совершенства... Казалось бы, у девочки есть все, что нужно для счастья, а ведь счастливой она не будет. Такие счастливыми не бывают. Для счастья нужно быть... Она задумалась, подыскивая слово. Проще. Да, именно проще — во всех отношениях проще и сердечнее. Откуда эта рассудочность? Вот и Андрей... иногда кажется, что у него лед в душе, а ведь ребенком был совершенно другим. В чем дело? Не могла же на него так повлиять прошлогодняя неудачная влюб-

ленность в Нику. Впрочем, как знать. А если это была вовсе не влюбленность, и не прошлогодняя?

На миг Татьяне Викторовне стало страшно. Такие натуры, как Ратманова, не только бывают несчастны сами — они делают несчастными других. Тут же она опомнилась: что за вздор, видеть в девочке какою-то «инфернальницу»! Но смутное ощущение тревоги все же осталось; когда Ника снова вошла в комнату, она глянула на нее пронизывающе, изучающе — по-женски. Словно сфотографировала. Да, к сожалению, у Андрея это может быть серьезнее, чем она предполагала; художник, пожалуй, не может остаться равнодушным к такой внешности. И если бы только внешность... Мало ли в школе хороших — та же Борташевич, например. В Нике другое, в ней видна незаурядная натура. Это стало особенно заметным за последнее время. Если раньше обычное ее выражение отрешенности производило немного забавное впечатление — так и хотелось ее растормошить, разбудить, — то теперь за ним угадывалось что-то очень серьезное: напряженная работа мысли, предельная самоуглубленность человека, живущего интенсивной духовной жизнью и не испытывающего никакой потребности пускать других к себе в душу...

Странно, в общем. Даже при такой откровенности, как сегодня, Ника во многом осталась для Татьяны Викторовны загадкой. Что-то в ней ускользало от понимания. Совершенно непонятно, например, с чего это ее в последнее время так потянуло наряжаться. То ходила всю зиму в обычной коричневой форме (чуть ли не единственная в классе), а то вдруг стала менять туалеты почаще своей подружки Ренаты. Сейчас пришла в костюме джерси терракотового цвета, в белых лакированных сапогах выше колен. И это — при всех переживаниях, о которых только что рассказывала...

— Садись, делай себе бутерброды, — сказала Татьяна Викторовна, вздохнув. — Тебе черного или с молоком?

— Черного, пожалуйста, если можно...

— Напрасно, не приучалась бы с такого возраста. Так я, Вероника, вот что хочу тебе сказать... То, что ты сейчас мучаешься сознанием своей вины, — это естественно. Но не нужно ее преувеличивать. Во-первых, это опасно, потому что может привести тебя к душевной травме, а во-вторых — это просто... неверно. Вина твоя, если разобраться, не так уж и велика, постарайся это понять. Тебе, действительно, пришлось столкнуться с труднейшей нравственной проблемой... Перед таким вопросом и взрослый станет в тупик, а уж в семнадцать-то лет...

— Благодарю вас, — сказала Ника, принимая чашку из ее рук. — Семнадцать лет, Татьяна Викторовна, это много.

— Сегодня — нет. Когда-то семнадцатилетние и в самом деле были взрослыми людьми. А вы еще дети. Я не знаю, что происходит с вашим поколением. Никто из педагогов не знает. Акселерация плюс инфантильность — это еще не главный парадокс... его, вероятно, можно объяснить чисто физиологически. Меня поражает другое. Откуда в вас эта рассудительность, умственность,



порой даже черствость — не сердца, пойми меня правильно, а именно черствость ума, — какой-то неприятный рационализм, при том, что вы непростительно долго остаетесь в то же время сущими детьми. Вот это сочетание мне действительно непонятно.

Ника помолчала, потом спросила:

— А вы... ну, в смысле... ваше поколение — вы были другими?

— Мне кажется — да. Конечно, трудно сравнивать хотя бы уже потому, что совершенно несравнимы условия, в каких пришлось формироваться моему поколению и в каких формируется ваше. Но, по-моему, мы выросли раньше. И не потому, что были умнее или располагали, как сейчас принято выражаться, большим объемом информации. Как раз информации было куда меньше, и ума — тоже. Но нам сердце подсказывало.

— Сердце? — Ника приподняла брови. — Я вас не совсем понимаю, Татьяна Викторовна. По-моему, сердце может подсказывать только в одном вопросе... А вы говорите — вообще?

— Да, Вероника, вообще, во всем. Вот видишь, как получается... иногда нам действительно трудно понять друг друга. Я не только о тебе — у нас и с Андреем бывали подобные разговоры. Печально это, дружок. Но что делать... Так дома у вас отношения наладились?

— Да, Татьяна Викторовна, сейчас нормально...

— В конечном счете все это, может быть, окажется и к лучшему. Кризисы иногда бывают — ну, как разрядка, что ли... Налить тебе еще кофе?

— Да, пожалуйста.

— И ешь, не заставляй себя упрасивать. Послушай, давно хотела спросить — почему ты вдруг перестала носить форму?

— В десятом почти никто не носит...

— Ты, по-моему, никогда не стремилась быть как все.

Ника слегка покраснела.

— Вы понимаете... — сказала она, помолчав, — этот костюм, например, мне подарила мама... другие вещи тоже. Я думала, ей будет приятно...

— А-а, — Татьяна Викторовна тоже смутилась. — Прости, я не знала. Вот тебе, кстати, пример того, что сердце может подсказывать не только «в одном вопросе»...

Наступила пауза.

— Татьяна Викторовна, — сказала Ника негромко, — вы находите меня инфантильной?

— Почему именно тебя? Я говорила об инфантильности вашего поколения вообще, в целом.

— Но вы считаете, что я действительно не могу разбираться в жизни?

— Ника, даже взрослые не всегда могут в ней разобраться. Конечно, в твоём возрасте это трудно.

— В моем возрасте... другие уже выходят замуж.

— Да, я знаю, сейчас это модно — прямо из школы во Дворец бракосочетаний. А еще через полгода — в суд. Вы торопитесь жить, словно вас что-то подстегивает...

— Но раньше тоже выходили замуж совсем молодыми.

— Ты ошибаешься, в мое время это было редкостью.

— Нет, я имею в виду — еще раньше...

— А, ну конечно! Нина Чавчавадзе стала женой Грибоедова в пятнадцать лет. Но, видишь ли, девушек тогда и воспитывали совершенно иначе, их готовили к подчиненному положению, к безоговорочному признанию авторитета мужа во всем...

— Вы считаете, это было лучше?

Татьяна Викторовна пожала плечами:

— Для женщины — хуже, для семьи в целом — вероятно, лучше. Трудно сказать, Ника. Семья, во всяком случае, была прочнее. Правда, она держалась еще и церковным браком, это тоже нужно учитывать.

Ника долго молчала.

— Сейчас, наверное, многие выходят замуж без любви,— сказала она, не поднимая глаз.— Наверное, потому... так много разводов.

— Без любви? Сейчас как раз по любви-то и выходят. Кого сейчас могут выдать замуж против воли? Конечно, случаются браки по расчету — ради прописки, ради положения... но я не знаю, так ли уж их много. Большинство все-таки женится и выходит замуж по любви. Другой вопрос — всегда ли это настоящая любовь или только заменитель... Страсть, например. Чаше всего ошибаются именно в этом. Особенно если оба молоды и неопытны. Пей, у тебя кофе остынет. Или налить горячего?

— Нет, спасибо...— Ника взялась за чашку, но руки ее так дрожали, что она быстро спрятала их под стол.— Вы говорите — «молоды, неопытны»... Но ведь... все начинают молодыми и неопытными, и вообще — откуда этот опыт возьмется, пока не узнаешь все сама? И не проверишь себя — ну, хотя бы в браке...

— В браке? Слишком опасная проверка, дружок. И потом, видишь ли... можно рисковать собой, если хочется. Рисковать счастьем другого — это хуже... непростительно.

— Я понимаю,— сказала Ника совсем тихо.

— В брак можно вступать, когда чувствуешь себя к этому готовой. Когда уверена, что не сорвешься на первой трудности, не надеешься такого, что потом жизни не хватит исправить... Когда есть чувство ответственности, понимаешь, и когда ты убеждена, что эта ответственность тебе по силам.

— Да, вы правы... наверное. Татьяна Викторовна, я пойду сейчас, мне пора. Извините, что отняла у вас столько времени.

— Я была рада с тобой поговорить, Ника, и очень жалею, что это не случилось раньше. Но скажи честно, тебе этот разговор что-нибудь дал? Ты поняла, что я хотела тебе сказать?

— Конечно, Татьяна Викторовна, я поняла... главное.

Они вышли в переднюю, Ника оделась, нерешительно взялась за портфель.

— Можно, я оставлю пока у вас? Я не еду сейчас домой, мне тут еще нужно... Я зайду за ним потом — или сегодня вечером, или на этих днях.

— Конечно, оставь. Вероника... послушай...

— Да, Татьяна Викторовна?

— Тебе ни о чем больше не хотелось со мной поговорить? Может быть... посоветоваться о чем-нибудь?

Ника, медленно натягивая перчатки, посмотрела на нее невидящим, словно обращенным внутрь взглядом.

— Нет, о чем же... До свиданья, Татьяна Викторовна, спасибо вам.

— Не за что, Ника.— Татьяна Викторовна обняла ее и поцеловала в лоб.— Звони, приходи, если что-нибудь...

— Конечно. Да, вот еще... как, вы сказали, это называется — ну, очищение страданием...

— Катарсис?

— Да, катарсис. Я просто забыла слово. Благодарю вас...

Она снова прошла в обратном направлении всю Ордынку, потом долго стояла на мосту, облокотившись на перила, глядя на золотые главы Кремля. Она пыталась припомнить, где здесь ближайшее почтовое отделение. Можно, конечно, дойти до Центрального телеграфа. Сейчас шесть часов. Если телеграмма не задержится, Дима получит ее около десяти и может успеть на какой-нибудь последний поезд. Есть, кажется, около часа ночи или даже позже. Завтра утром он будет здесь. Он позвонит, они договорятся о встрече — в десять, в одиннадцать...

Нет, это слишком скоро. Тянуть нельзя, она больше не имеет права тянуть, но и так скоро — нет. Хотя бы еще день, два...

К вечеру снова подморозило, снизу от реки тянуло промозглой сыростью, но Нику трясло не от холода. Нервная дрожь, которую она все время пыталась унять там, у Болховитиновой, овладела ею, едва она очутилась на улице. И даже ходьба не помогла, сейчас у нее дрожали руки, дрожали колени, даже в голове что-то дрожало. И при этом она чувствовала себя странно спокойной. Во всяком случае, теперь для нее все стало ясным. Или почти все. Она теперь понимала, откуда был этот страх, эта пустота при мыслях о будущем. Просто его уже не было — будущего. Такого, каким она по инерции продолжала себе его рисовать. Будущего вместе.

Нет, телеграмму она не отправит. Еще раз пережить завтра такой разговор, опять обо всем рассказывать? Этого она не выдержит. Лучше письмом. Письмо можно писать не спеша, обдумывая. Можно сказать в письме все до конца, и никто не будет перебивать тебя возражениями или уговорами. Потом, при встрече, все это, конечно, будет, но тогда уже все будет сказано. А письмо она напишет сегодня. Вернется домой и напишет. Сейчас. Только вот постоит здесь еще немного — пока еще ничего не сказано и не написано, — представит себе, что ничего не было, что сейчас декабрь, что у нее уже куплен билет на «стрелу»...

Письмо она отправила в воскресенье вечером. А в среду, двадцать пятого, позвонил Игнатъев. Ника ждала этого звонка уже накануне — ждала и боялась; она понимала, что не ответить на такое письмо он не может, но лучше бы написал, а звонить — к чему, она ведь просила, нарочно просила не звонить, услышать теперь его голос казалось ей непереносимым. Но она знала, что он позвонит, и знала даже, когда это случится. Во вторник вечером он не позвонил — значит, письмо придет завтра, а среда была у Игнатъева «библиотечным днем». Иногда он уходил в БАН, но чаще работал дома. Скорее всего, позвонит утром, как только принесут почту...

Когда около половины десятого раздался знакомый сигнал междугородного вызова, Ника схватилась за трубку почти с облегчением — что угодно, лишь бы кончилась эта пытка ожиданием!

— Алло, — сказала она негромко. — Дима?

— Здравствуй, родная! Никион, послушай, твое письмо пришло только вчера, я хотел позвонить вечером, но потом — понимаешь, не сразу разобрался, нужно было подумывать...

— Я понимаю.

— Ты меня хорошо слышишь?

— Да, я слышу тебя.

— А то мне показалось... В общем, Ника, нам нужно увидеться.

— Я не могу приехать. И вообще — зачем?

— Нет-нет, Никион, я понимаю, что ты не можешь; я хочу сказать — сам приеду в Москву...

— Зачем? — повторила Ника.

— Нужно! Пойми, Никион, так нельзя...

— Что — нельзя? — спросила она уже через силу. — Дима, перечитай письмо еще раз. Там все сказано, больше я все равно не могу сказать ни слова. Неужели не понимаешь?

— погоди! Я ведь не собираюсь требовать объяснений, Никион. Как ты могла подумать? Я просто хочу сказать — нельзя, чтобы мы расстались в этом письме...

— Дима. Важно, что мы расстаемся, понимаешь? А на чем и как — это совершенно все равно...

— Нет, Никион, нет, это не все равно, — терпеливо сказал Игнатъев. — В общем, это не телефонный разговор; ты разрешаешь мне приехать?

Ника долго молчала, закусив губу, слушая, как тоскливым комариным звоном поют под током семьсот тысяч метров провода, связывающего сейчас эту комнату со старой квартирой на Таврической.

— Хорошо, — сказала она наконец.

— Не слышу! — закричал Игнатъев. — Алло! Куда ты пропала?

— Я говорю — хорошо, приезжай... Когда ты будешь в Москве, в субботу?

— В какую субботу? Я буду завтра. Завтра — слышишь? Я приеду каким-нибудь из утренних поездов — в половине девятого, в девять. Где мы увидимся? Ника! Алло!

— Да-да, я слышу, дай мне сообразить...

...Родителей завтра дома не будет, можно было бы здесь, но... нет, здесь нельзя, здесь она может не выдержать. Где-то в городе. Чтобы люди были вокруг. Чтобы ни одного лишнего слова, ни одного движения, иначе не выдержит...

— Дима, у памятника Пушкину, в одиннадцать.

— Почему в одиннадцать? Я могу раньше, я прямо с вокзала туда приеду! В десять сможешь?

— Хорошо, в десять...

— Я, наверное, буду там раньше. Я не знаю, каким поездом приеду, но прямо с вокзала — туда.

— Хорошо, я приду раньше.

— Договорились. Но, Никион, послушай...

— Дима, не нужно, прошу тебя. Поговорим завтра. Я... не могу больше...

Она положила трубку и долго сидела неподвижно, глядя на свое отражение в стекле серванта. Почему это должно было случиться именно с нею? Нет, не то, что сейчас. То, что сейчас, — это закономерно, заслуженно, что бы там ни говорила Татьяна Викторовна. Это, наверное, и есть катарсис. Но — вообще все? Почему судьба привела ее к этому? И для чего? Чтобы стать лучше, пройдя «процесс внутренней перестройки»? Неужели нельзя упорядочить мир так, чтобы человек становился хорошим сразу, с самого начала, чтобы ему не приходилось «перестраиваться» такой ценой...

Сейчас, как и в прошлый свой приход, она тоже не знала, что будет говорить, но на этот раз не медлила у двери, не пыталась ничего обдумать — просто протянула руку и позвонила.

Дверь щелкнула и распахнулась. Увидев перед собой Андрея, Ника оторопела: она совершенно не ожидала застать его дома в это время. Хотя почему? Только сейчас — задним числом — она сообразила всю странность этого своего внезапного посещения. Все-таки, конечно, нужно было договориться сначала по телефону...

— Привет; — сказал Андрей, не проявляя, впрочем, удивления. — Заходи...

Ника со смущенным видом вошла в переднюю.

— А... Татьяна Викторовна дома?

— Чего ради она будет дома в рабочее время. Раздевайся...

— Ты чем-нибудь занят?

— Да нет... так, болтаюсь. Деда вот решил перечитать...

Ника, поправляя волосы, подошла к дивану, подняла лежавшую вверх переплетом раскрытую книгу серии «Военные мемуары» — А. С. Николаев, «Записки солдата».

— Твой дедушка? — Она перевела взгляд на висящую над сервантом увеличенную фотографию худощавого старика с лицом, изрубцованным страшными шрамами. На портрете в книге этот же человек выглядел моложе и был в мундире с четырьмя звездами на погонах и большим количеством орденов, советских и иностранных. — Он был ранен... в лицо?

— Дед был ранен не один раз, а это у него от ожогов. Он горел в танке, в сорок первом году.

— Кошмар какой... И после этого продолжал еще воевать?

— Его армия брала Берлин. Тут есть снимок — дай-ка... Видишь, это он с Коневым, командующим фронтом. В апреле сорок пятого года.

Ника листала книгу, невнимательно скользя взглядом по фотографиям молодых офицеров в старинной форме, перекрещенной ремнями, с широкими погонами, которые жестко топорщились на плечах, точно дощечки. А некоторые были без погон, в гимнастерках с отложными воротничками, украшенными какими-то квадратиками, треугольниками, ромбиками. На одном снимке, нечетком, словно засвеченном, группа военных в комбинезонах стояла возле входа в юрту.

— В Монголии, — пояснил Андрей, — во время боев под Халхин-Голом... А вот это уже Финляндия, линия Маннергейма...

Юрты. Песчаные холмы, верблюды и танки. Торчащие из-под снега обломки каких-то взорванных сооружений, танки, окрашенные в белое. Снова танки, уже другого вида. На берегу широкой реки, на заваленной битым кирпичом улице с косо упавшим фонарным столбом и надписью колючими немецкими буквами на уцелевшей части продырявленного фасада. Дым, развалины, танки...

— Как могли люди пережить это? — сказала Ника негромко, словно думая вслух. — Пережить, выстоять... Мы этого и представить себе не можем...

— Мы потому и живем, что они выстояли... прости за банальную мысль. Но ты права: поверить, до конца осознать — это действительно трудно. Поэтому вот я иногда и перечитываю.

Ника, вздохнув, отложила книгу.

— Ты своего дедушку хорошо помнишь? — спросила она, помолчав.

— Разумеется. Он умер, когда я заканчивал первый класс, весной шестьдесят первого года.

— Слушай, а почему Александр Семенович? — Ника посмотрела на подпись под портретом на фронтисписе. — Он ведь твой дедушка по материнской линии?

— Не родной. Это, фактически, мамин дядя, но он заменил ей отца. Отец ее погиб еще до войны, а дед взял ее к себе. Он тогда на Украине служил.

— А-а, вон что. Наверное, он был очень хороший человек, — подумав, сказала Ника. — У него глаза такие...

— Человек он был настоящий.

— У тебя вообще хорошая семья. Тебе очень повезло, Андрей.

— В этом смысле — да.

Наступила долгая пауза.

— Я тебе не мешаю? — спросила Ника.

— Ты — мне?

— Я почему-то думала, что застану дома только Татьяну Викторовну...

— Я понимаю, что ты пришла не ко мне. Но ничего страшного. В конце концов, мы встречаемся и в школе.

— Собственно, я пришла за портфелем.

— Вон он, у меня на столе. Я просто мог бы захватить его с собой первого.

— Ну зачем же...

— А то еще опять утопишь или забудешь где-нибудь.

У Ники задрожали губы. Зачем он это говорит? Впрочем, вряд ли он помнит, что все началось именно с утонувшего портфеля. Не вздумай она в то утро прогулять первый урок...

— Что с тобой? — спросил Андрей.

— Да нет, ничего...

Он встал с дивана, отошел к столу, бесцельно переложил с места на место несколько книг, крутнул пальцем диск проигрывателя с лежащей на нем пластинкой. Потом отодвинул стул, сел. Он сам не знал, что заставило его переменить место: то ли боязнь оставаться рядом с ней, то ли желание видеть ее перед собой. Пожалуй, все-таки первое. Она сидела в углу дивана, опустив глаза, машинально водя пальцем по переплету «Записок солдата»; словно почувствовав его взгляд, она повернула голову и встретилась с ним глазами.

— Я хотела спросить, — сказала она негромко, снова опустив ресницы, будто отгородившись. — Помнишь, когда ты меня встречал... в ноябре... Я тебе все рассказала, когда мы вышли из метро, и потом спросила — думаешь ли ты, что мне не нужно было возвращаться домой. Ты сказал, что, наверное, не смог бы вернуться. Помнишь?

— Помню.

— Ты и сейчас так считаешь?

— Мне сейчас трудно представить себя на твоём месте, — сказал Андрей и лишь секундой позже понял всю жестокость своих слов, точно услышав их со стороны. — То есть я хочу сказать...

— Не надо, — с трудом проговорила Ника, не поднимая глаз. — Я поняла.

Жестокость, подумал он. А может ли правда не быть жестокой? Должна, наверное, но это не всегда получается. Только настоящее искусство умеет говорить правду, оставаясь милосердным. Нужно быть Микеланджело, чтобы создать такую вещь, как «Пьета», — безжалостно правдивую и в то же время бесконечно милосердную. Простым смертным это не под силу. В лучшем случае — полуправда «Герники». И если сплошь и рядом оказывается бессильным язык искусства, то что можно сказать на обычном человеческом языке...

— Тебе сейчас очень трудно?

— Плохо мне, Андрей,— не сразу отозвалась она.— Так плохо мне еще не было никогда в жизни...

Что ж, это же самое он мог сказать и о себе. По другим причинам, вероятно, но ему последнее время тоже было трудно и плохо. Очень плохо, всю эту зиму. Тогда — после памятного мероприятия у Женьки Карцева в последний день перед новогодними каникулами — он решил даже перейти в другую школу, но это, конечно, было неосуществимо. Никто не стал бы переводить его в середине последнего учебного года, да и потом он сам — из гордости — отказался от этой мысли. Понадеялся на свои силы. И вся третья четверть оказалась для него сплошным мучением, он никогда не думал, что это будет так трудно — видеть ее каждый день...

К этому прибавилось и другое: полнейшая неопределенность в отношении своего будущего. За зиму он ближе познакомился с некоторыми художниками, бывал у них в мастерских, прислушиваясь к спорам. Перспективы вырисовывались, мягко говоря, не обнадеживающие. Можно было, конечно, плюнуть на все и пойти — от греха подальше — в какой-нибудь технический вуз; не сразу, а потом, после армии. Как ни странно, мысль о службе не пугала его, наоборот, он все чаще ловил себя на нежелании вообще подавать в этом году куда бы то ни было. Сначала отслужить, это даже необходимо, — что он знает о настоящей жизни? Попросился бы в бронетанковые, как-никак семейная традиция... А там будет видно. Но и это ведь, как ни верти, тоже лишь временная отсрочка.

Он чувствовал себя заблудившимся, потерявшим ориентацию. Самое скверное — сомневаться в своем призвании и в то же время чувствовать, что уже никуда от него не денешься. Сомнения, которые впервые появились у него прошлым летом, возвращались все чаще и все настойчивее.

Он не мог заставить себя поговорить на эту тему с родителями, поговорить всерьез. Они просто не поняли бы его, он был в этом уверен, они сочли бы все это блажью, проявлением модной инфантильности. Хорошенькая «инфантильность»...

С родителями он не хотел обсуждать свое будущее еще и потому, что жизнь нужно познать своими силами, без подсказок, изучить ее во всей широте спектра и всеми методами познания. Включая литературу и музыку. Некоторые книги — такие, как вот эти дедовы мемуары, — лежали в красной полосе, цвета огня и крови; а в ультрафиолетовой, почти за пределами восприятия, были Перголези и Пахельбель, Бах, Гендель, Фрескобалди. Прикосновение к этим двум полюсам придавало сил, словно заряжало новой энергией. Именно благодаря крайней полярности. Между «Stabat Mater» и сухим, точным, по-солдатски лаконичным отчетом о том, как Седьмая гвардейская танковая армия протаранила ворота «крепости Берлин» на Тельтов-канале, лежат не только два века европейской истории, нашей общей; между ними, во всеобъемлющем единстве противоположностей, лежит как раз то,



что мы коротко называем «жизнь». И без этого обрамления ее просто не было бы. Вместо нее было бы существование.

— Я пойду уже,— негромко сказала Ника.

— Погоди. Я тебе хочу сказать одну вещь, только ты... вдумайся и постарайся понять как надо. Ничего не сравнивая — потому что какие тут могут быть сравнения, у каждого ведь свое,— я только хочу сказать, что... ну, понимаешь, всем нам трудно. В большей или меньшей степени. Так вот... Скажи, у тебя никогда не появлялась мысль, что человек тоже может переходить с одного уровня на другой? Ну, вот как электроны перескакивают с орбиты на орбиту?

Она бледно улыбнулась.

— Никогда не могла представить себе, как они ухитряются.

— Этого и нельзя представить образно, однако это происходит. Конечно, аналогия грубая и очень приблизительная, но для наглядности... Вернее, дело даже не в том, что человек способен переходить с одного уровня на другой, а просто в том, что эти различные уровни существуют одновременно. Хотя... — Он помолчал, не глядя на Нику.— В общем, если поймешь, что они есть, то перейти уже не проблема. Вот послушай-ка...

Он подошел к своему столу и, перевернув пластинку, включил проигрыватель.

— ...Может быть, тебе станет понятнее, что я хочу сказать. Это Бах, один из хоралов Органной мессы...

Взяв билет, Игнатъев позвонил в институт и спросил Мамаю.

— Витя,— сказал он,— завтра меня на работе не будет, подумай там что-нибудь, если спросят.

— Куда это ты намылился?

— В Москву, ненадолго.

— Какая к черту Москва! — заорал Витя.— У тебя в пятницу доклад! Ты что, совсем уже спятил?!

— Успокойся, к пятнице вернусь.

— Погоди, Дим,— сказал Мамай уже встревоженно,— ты всерьез, что ли? Случилось что-нибудь?

— Да, случилось,— ответил Игнатъев и повесил трубку.

Он вышел на площадь, пересек Лиговку. Северо-западный ветер гнал по Невскому мокрый снег, дворничихи широкими дюралевыми лопатами скребли тротуары, сбрасывая грязную жижу под колеса троллейбусов. А черт с ним, с докладом, в крайнем случае пусть переносят — скажет, что заболел...

Снег перестал, пока Игнатъев дошел до Публички. Или все же зайти в институт, попытаться поработать там? Дома не получится, нечего и думать. Можно, впрочем, и здесь... Он ошупал карман — читательский билет был на месте. Стоя в подъезде, он с трудом раскурил папиросу — ветер врывается и сюда, каким-то завихрением, что ли,— отшвырнул после нескольких затяжек. Во рту было горько. «Случилось что-нибудь?» Да, случилось!

А ведь он понял это не сразу. Вначале, прочитав письмо

в первый раз, он подумал, что все не так серьезно, все поправимо, стоит лишь ему приехать, поговорить, успокоить... Но потом он перечитывал эти странно ровные, выведенные аккуратным ученическим почерком строчки, перечитывал дважды, трижды, и всякий раз ему открывался новый смысл и оставалось меньше надежды. Нет, теперь это уже непоправимо.

Ветер свирепо ударил в лицо, когда он вышел из-за угла библиотеки, сворачивая на Садовую. К остановке подплыл трамвай. Вагон был новой модели, светлый, весь в широких стеклах, точно аквариум. Игнатьев опустился на легкое, слегка спружинившее под ним сиденье, обтянутое бирюзового цвета пластиком, протер рукавом окно. Непоправимо, непоправимо. Может быть, лучше было бы вообще не ехать — зачем? Что он может ей сказать? Уговаривать, утешать, произносить какие-то пустые слова? Или если не «вообще», то хотя бы сейчас; наверное, благоразумнее было бы пока воздержаться от встречи, дать ей время... Но для чего — время? А благоразумия с него хватит, в Свердловске он уже проявил себя таким «благоразумным» — дальше некуда...

Трамвай шел вдоль Лебяжьей канавки, слева медленной каруселью вращались заснеженные просторы Марсова поля, потом под полом стал гудеть и погромыхивать мостовой настил. Опять начался снегопад, сквозь мельтешение белых хлопьев едва угадывались грузные очертания бастионов — низких, придавленных непомерной тяжестью одевшего их гранита. Если бы там, в аэропорту, он не умствовал, не взвешивал — «разумно» или «неразумно», — все могло бы обернуться иначе. А теперь случилось непоправимое.

— Может быть, — сказала Ника. — Может быть, ты и прав, и с высоты того уровня все, что происходит здесь, кажется мелким и незначительным. Но тебя это утешает?

— В какой-то степени — да, — сказал Андрей, хмуро разглядывая свои руки.

— А меня — нет. Наверное, я так устроена. Я читала где-то, что женщины вообще ближе к земле. Что мне твой верхний уровень? Я-то живу здесь, внизу!

— Мы все живем внизу. Как и животные, кстати. Но те не знают, что есть верхний уровень, а мы знаем. Должны знать, во всяком случае. А вообще ты права, я иногда и сам думал, почему женщины так мало сделали в искусстве, в творчестве. Практически — ничего. Вот тут, видно, и сказывается разница. Писательниц было сколько угодно, но ведь это самая примитивная форма творчества, а высшие — музыка и живопись — доступны только мужчинам. Вот и делай вывод.

— Просто, наверное, нам нужно что-то другое, — сказала Ника, подумав.

— Конечно! И это другое вам подавай по первому требованию, иначе вам жизнь не в жизнь...

— Глупый ты, — Ника вздохнула. — Не понимаю, как можно быть таким умным и таким глупым при этом.

— ...Вам кажется, что вы требуете от жизни самого простого, самого обыденного, — не слушая ее, продолжал Андрей, — но это ошибка, потому что как раз здесь очень многое не зависит от наших способностей. Любой внешний фактор, совершенно случайный, может поломать все твои планы. А то, чего ты достиг на верхнем уровне, это уже твое — навсегда, что бы ни случилось. Только там человек становится настоящим человеком, — понимаешь, человеком; а не гуманоидом, который умеет только есть, пить и рожать детей...

Игнатьев вышел из трамвая на кольцо, город здесь кончился, Приморский проспект переходил в шоссе, которое убегало дальше — на Лахту, Лисий Нос, Сестрорецк. По правую руку тянулись пустыри, среди голых деревьев торчали кое-где покинутые жильцами деревянные покосившиеся домишки, облезлые, с выбитыми окнами, явно предназначенные к сносу. Еще один район будущих новостроек. А слева от шоссе стоял на холмике какой-то небольшой обеляск, дальше тянулся глухой дощатый забор, за которым, в конце огороженного участка, виднелось нелепое строение, узкое и высокое, в три этажа, покрашенное в грязно-желтую охру и с виду тоже необитаемое.

Он прошел по шоссе километра два-три, потом повернул обратно

Как внезапно и непоправимо покатилося все под откос. Внезапно, как поезд, у которого вылетел из-под колес кусок лопнувшего рельса. Случайность, чей-то недосмотр — и все летит к черту. Почему это должно было случиться именно с ними? И не найти виновных. Вернее, виноваты все — как всегда в тех случаях, когда на первый взгляд не виновен никто. Донн прав: нет человека, который был бы сам по себе, как остров, каждый из нас является частью материка, неотъемлемой частью единого целого, насквозь пронизанного немыслимо сложной системой динамических взаимодействий, которые связывают между собой всех нас, хотим мы этого или не хотим. И поэтому, когда рядом случается беда, не спрашивай, кто в ней виноват. В ней виноват ты.

Иначе, совсем иначе нужно было ему вести себя с Никой, тверже и решительнее. Он обязан был в полной мере осознать свою ответственность за нее, за каждый ее поступок, каждое ее решение. А он только советовал, осторожно сохраняя дистанцию, оставаясь как бы в стороне. В конце концов, может быть, и не так еще все непоправимо, иногда понять — это уже наполовину исправить...

Он опять прошел мимо желтого дома за глухим забором, снова подивился его мрачному виду — странное сооружение, какой-нибудь карантинный изолятор, что ли. Болезнь, подумал он. В сущности, Ника сейчас больна, у нее что-то вроде шокового состояния, это понятно. Но ведь из шока рано или поздно выходят...

Пустая «двойка», словно дожидаясь его, стояла на кольце трамвайной станции. Он посидел в вагоне, отогрелся немного, потом снова вышел наружу и успел выкурить папиросу, прежде чем появилась вагоновожатая. Опять потянулась, разматываясь в обратном направлении, бесконечная улица Савушкина. На автостоянке у Елагина мостика, рядом с буддийским храмом, какой-то сумасшедший мыл светло-серую «Волгу» — такую же точно, как та, что однажды июльским вечером появилась в отрядном лагере, притащенная на буксире Витенькиным «конвертиблём».

Интересно, если бы в тот день ему предсказали все, что будет потом, все — вплоть до сегодняшнего письма? Тогда он, наверное, испугался бы. А сейчас? Если бы сейчас ему предложили переиграть прошлое, начиная с того момента? Нет. Несмотря ни на что — нет!

По-настоящему, без оговорок и полностью, он был счастлив с Никой только один день: то воскресенье, что они провели вдвоем в Коктебеле, неделей позже поездки в Солдайю. Конечно, для него было счастливым все время ее пребывания в лагере, особенно последние дни. И он продолжал оставаться счастливым после ее отъезда — вплоть до того ночного звонка в октябре. Но все это были другие разновидности счастья, а настоящее — полное — длилось один день. В Коктебеле, когда собирали камешки, ходили на могилу Волошина, следили за прожекторным лучом и слушали, как орут павлины... Новогодний вечер тоже был для него счастливым, но уже как-то совсем по-другому, — слишком многое успело вторгнуться в их судьбы к тому времени; даже услышав Никино «да», он не мог избавиться от какого-то странного то ли привкуса горечи, то ли предчувствия беды...

Но дело ведь не в числе белых и черных камешков, дело вовсе не в том, как часто и насколько хорошо бывало за это время ему самому. Дело в том, что он стал нужен Нике, стал ей необходим, как бы ни старалась она сейчас убедить себя в обратном. А кому он был необходим раньше?

Когда Ника ушла, Андрей снова поставил ту же пластинку, лег на диван и закрыл глаза. Ему было трудно дышать, а сердце сжимало вполне реальной, вполне физической болью, отнюдь не в переносном смысле. Он зажмурился еще крепче, боясь, что заплачет, и презирая себя до глубины души: ничтожество, так переживать из-за девчонки, которая не понимает тебя и которой ты не нужен. И еще берешься рассуждать о «верхних уровнях».

Он содрогнулся и стиснул зубы, услышав начало музыкальной фразы, которая всегда потрясала его в этом хорале. Он не знал, как толкуют музыковеды этот раздел мессы, и не интересовался их толкованием, хотя мог бы почитать специальную литературу, о Бахе ведь столько написано. Он понимал это место по-своему, да музыку и нельзя понимать иначе; ему пение органных труб рассказывало о самом главном — о Человеке, о его слабостях,

о его силе, о безграничных возможностях его духа. Именно здесь, как пересекающиеся плоскости, смыкались оба уровня бытия — верхний и нижний; и переход становился не только возможным, он был естественным, неизбежным. Но, может быть, права по-своему и Ника, полностью нам не оторваться от нижнего уровня. Бетховен, вероятно, хорошо это чувствовал, когда писал Лунную сонату.

Нет, не так все просто. В жизни вообще нет ничего простого, она проста и понятна лишь гуманоидам. В этом, наверное, их счастье. И это справедливо: нужна ведь какая-то компенсация, они тоже не виноваты, что родились слепыми. А у кого открыты глаза, тому трудно.

На обратном пути Ника зашла в «Гастроном» и, вернувшись домой, занялась приготовлением ужина. Она мыла и резала мясо, чистила овощи — с отвращением, через силу, — ей не хотелось ничего делать, никого видеть, ей хотелось одного: исчезнуть, перестать быть...

Конечно, Андрею легко, он действительно живет в каком-то другом мире, но ведь по желанию туда не переселишься. Это нужно таким родиться. Она родилась другой, и до сих пор ее мир — ее уровень — в общем ее устраивал. А теперь? Андрей прав в том, что здесь все слишком зависит от случайностей, от ошибок, чужих или своих собственных. На том, верхнем, уровне этого, наверное, не случается.

Наступил вечер, вернулись с работы родители — вместе, отец теперь заезжал за мамой на работу, ждал в машине, если она задерживалась. Сегодня он был в отличном настроении, за ужином рассказывал, как ловко срезал на коллеги какого-то деятеля, который вздумал было покатить бочку на их ведомство, и как — судя по некоторым признакам — остался доволен замминистра.

— Между прочим, — сказал он, понижая голос, — нашего Тихона Кондратьевича, похоже, собираются взять наверх. Так что, — он поднял палец, — в ближайшее время возможны некоторые перемещения!

— Тебе что-нибудь говорили? — спросила Елена Львовна.

— Не то чтобы говорили, о таких вещах прямо не говорят. Но — намекнули в некотором роде. Вопрос вентилируется уже давно, и, похоже, в принципе есть благоприятное решение. Так что, дорогие товарищи женщины...

— Ты еще в министром станешь, — сказала Ника. — Смотри, папка, зазнаешься.

— Нет, министром не стану, — благодушно сказал Иван Афанасьевич. — На министров готовят кого помоложе, поперспективнее. Ты, дочка, завтра дома будешь или идешь куда?

— Мне нужно будет пойти, с утра. А что?

— Тут Василий Семенович должен зайти за ключами, машину взять. Пусть начинает готовиться к техосмотру, пока есть время,

а то апрель проскочит — оглянуться не успеешь. Так с утра, говоришь, тебя не будет. А после обеда?

— Пусть лучше вечером, я не знаю точно, когда вернусь.

— А что у тебя завтра? — спросила Елена Львовна.

— Да так, просто договорились собраться, может быть за город куда-нибудь съездим...

— Ты мне что-то не нравишься, Ника, — сказала мать озабоченно. — Смотри не расхворайся. Как ты себя чувствуешь?

— Нормально, мамочка. Просто иногда усталость какая-то.

— Весенний авитаминоз, — объявил Иван Афанасьевич. — Это у всех сейчас. Завтра скажу, чтобы мне апельсинов взяли в буфете, я там сегодня отличные видел — во такие!

— Папка, ты просто прелесть, — улыбнулась Ника. — Только апельсинов мне и не хватает. Ну что, можно убирать?

— Да, убирай, я сейчас приду — помою.

— Сиди, мамочка, я без тебя все сделаю.

— Говорят, посудомойки в продаже появились, — сказал Иван Афанасьевич, — надо будет купить. Я такие в Америке видел, отличная вещь.

— Павлиновы купили и очень недовольны, — сказала Елена Львовна. — Только жир размазывает, а толку никакого, приходится домывать руками.

— Может, им дефектная попалась, в конце месяца выпущена. — Иван Афанасьевич закурил, поднялся из-за стола, взял с телевизора программу. — Ну-ка, что тут сегодня на голубом экране...

## ГЛАВА 11

Игнатьев вышел из вагона, слегка одуревший от элениума, но выспавшийся и относительно отдохнувший. Над Москвой стояло солнечное весеннее утро, было тепло, и он подумал, что хорошо сделал, не надев пуловера. Днем, вероятно, станет совсем жарко. Он спустился к автоматическим камерам хранения, отыскал свободную ячейку, запер портфель и аккуратно записал шифр и номер, сам удивляясь разумности своих действий.

На улице Горького было уже совсем по-весеннему сухо и солнечно, шумели машины и двигалась нарядная толпа, табунками шествовали иностранки с непокрытыми головами, в сиреневых и голубых очках-блюдечках и долгополых макси-тулупах, в похожих на шинели наполеоновских времен двубортных пальто с огромными пуговицами и широкими лацканами. Почти у всех волосы были такие, как у Ники, — прямые, рассыпанные по плечам; всякий раз, когда навстречу попадалась брюнетка, у Игнатьева вздрагивало сердце...

Он постоял у витрин «Березки», закурил, стараясь успокоиться, взять себя в руки. Время еще есть, но даже если он и опоздает на минуту-другую, это не беда. Перед Никой он должен предстать совершенно спокойным, как будто решительно ничего не случилось. Нужно, чтобы она поняла именно это: что не

случилось ничего страшного, ничего непоправимого. Ошибка — да, и не одна, куча ошибок, но почти все ошибки в конечном счете поправимы. А если говорить о вине, то она и в самом деле общая. Нет человека, который был бы сам по себе, как остров.

Они подошли к памятнику одновременно — Игнатъев с улицы Горького, Ника от кинотеатра «Россия» — и одновременно увидели друг друга. Игнатъеву показалось, что Ника замерла на секунду, он ускорил шаги, испугавшись, что она сейчас повернется и побежит прочь. Но Ника не убежала.

— Здравствуй... — сказала она тихо, когда он подошел. — Как ты доехал?

— Ника! — Он обнял ее за плечи, прижал к себе. Она, чуть отвернувшись, подставила щеку — сдержанно, отчужденно. Ее щека пахла весной. Игнатъеву вспомнилась их прошлая встреча три месяца назад — на Дворцовой набережной...

— Здравствуй, Никион. У вас тут совсем уже весна...

— А в Ленинграде?

— Дождь со снегом, что еще может быть в нашем парадизе. Пойдем, сядем где-нибудь...

В этот утренний час возле памятника было еще безлюдно, они выбрали скамью на солнечной стороне, сели.

— Как Елена Львовна? — спросил Игнатъев, помолчав.

— Спасибо, сейчас ничего... Мама уже работает.

Сняв перчатки, Ника скручивала их жгутом, разглаживала на колене, опять скручивала.

— Ты сердисься, что я приехал?

— Я не сержусь, — не сразу ответила она. — Но мне тяжело с тобой. Ты мог бы просто... написать...

— Нет, — Игнатъев решительно покачал головой.

— Мне тяжело с тобой говорить, пойми...

— И не говори, Никион. Ты права, к твоему письму ничего уже не добавить. И не нужно. Я ведь не объясняюсь приехал. Не говори ничего, только выслушай меня — хорошо? Я ведь все понимаю, Никион. И что с тобой сейчас происходит, и почему ты написала это письмо, и почему не хотела встречи. Я только одного хочу — чтобы ты поняла себя... свое состояние... так же хорошо, как понимаю я. Поэтому я и попросил разрешения приехать.

— Дима, я прекрасно понимаю свое состояние.

— Не уверен, родная. Но подожди минутку, ладно? Дай мне сказать. Конечно, ты понимаешь свое состояние, — кто же спорит! — но ты не понимаешь, насколько оно временное. И это тоже естественно, Ника. Когда у человека болит зуб, его не утешает мысль о том, что через месяц он уже и вспоминать не будет об этой боли. Для него в данный момент нет будущего времени — есть только настоящее, и в этом настоящем все сводится к одному-единственному ощущению. Понимаешь? Для тебя сейчас единственная реальность в мире — твоя боль; но все в жизни проходит. Это банально звучит, но это так.

— Ты ведь только что сам сказал, что эта мысль никого не утешает.

— Ника, я и не утешаю тебя! Вернее сказать, я не рассчитываю на то, что тебе от моих слов станет легче — сейчас. Сейчас легче не станет, потому что все заслонено болью. Разумеется! Но я хочу сказать другое: рано или поздно боль утихнет, и тогда ты опять увидишь вокруг себя обычную жизнь. Так всегда бывает, пойми, ты ведь нормальный человек с нормальными человеческими реакциями...

— Да нет у меня сейчас никаких реакций!

— Почему же нет? Они есть, Ника, но ты сейчас реагируешь только на одно — на свое сознание вины...

— И ты считаешь, это может пройти, как зубная боль? Если бы ты хоть немного понимал, что со мной происходит, тебе и в голову не пришло бы такое сравнение!

— Хорошо, согласен — может, оно и не очень удачное. Я ведь только в том смысле сказал, что, когда человека что-то мучает — неважно, физическая это боль или душевная, — он не способен трезво воспринимать окружающее, не способен рассуждать, а ты пытаешься это делать. Ты вот пишешь...

— Да не рассуждаю я ни о чем! — опять перебила Ника, уже повышая голос. — Ну как ты не понимаешь, Дима! Я просто написала тебе, что во мне ничего не осталось, что я... опустошенная какая-то, не знаю, — словно во мне все выжжено, пойми!

— Понимаю. Но тогда к чему эти разговоры о своей вине? Ты сейчас — именно сейчас, в твоём теперешнем состоянии — не можешь здраво судить ни себя, ни других. Какая вина? В чем? Что ты оказалась бессердечной? Да будь ты по-настоящему бессердечна, разве ты так повела бы себя, узнав историю Ярослава? Где же тут бессердечие? Ошибка — да. С матерью ты вела себя неправильно. А кто из нас не ошибается? Я не ошибся, расставшись с тобой в Свердловском аэропорту? Я ведь тогда все видел, Ника! И забери я тебя с собой в Ленинград — ничего бы этого не было. А кто не ошибается? Впрочем, я тебе скажу кто! Светлана — вот кто никогда в жизни не ошибется, потому что ей ни до кого и ни до чего нет дела...

Игнатьев тут же спохватился — не нужно было этого говорить, все-таки сестра... И вообще свидание пошло совсем не так, как он хотел, к чему этот спор — он ведь твердо решил ничего не доказывать, ни о чем не спорить... Он покосился на Нику — та сидела в напряженной позе, глядя прямо перед собой сухо блестящими глазами, — и стал закуривать, ломая спички.

— Прости, — он сделал несколько жадных затяжек и швырнул сигарету в урну. — О Светлане я сказал не подумав.

— Нет, ты прав, — тихо отозвалась Ника. — Она действительно оказалась... именно такая. Никогда не думала. Впрочем, я и о себе думала иначе...

Они опять замолчали. Слитно и вразной урчали голуби у подножия памятника, по улице Горького то и дело взрывались дружным ревом машины, стартующие на зеленый свет. На соседнюю скамью присел пенсионер с транзистором, включил его —



послышались позывные «Маяка». Игнатьев машинально посмотрел на часы, было половина одиннадцатого.

— Я просто дурак, — сказал он. — Я ведь не для того приехал, Никион, чтобы с тобой спорить. Я приехал сказать, что люблю тебя и буду любить всегда. А ждать я могу долго. Я понимаю, тебе сейчас не до меня. Но ты просто знай, что я тебя люблю, мне этого достаточно...

— Спасибо, Дима...

— Не благодари, это я должен тебя благодарить. Никион, ты не знаешь, чем ты стала для меня за этот год. Даже меньше — года еще нет, а я за это время словно прожил вторую жизнь. Я ведь и раньше жил только для того, чтобы тебя встретить. Я просто этого не знал, понимаешь? Странно — жил, как живут все... учился, сдавал экзамены, зачеты, писал диссертацию, рылся в земле, и все это для того, оказывается, чтобы встретить тебя. И действительно — встретил. Что же, ты думаешь, я смогу теперь жить, как до тебя? Поздно, Никион. Для меня это теперь — на всю жизнь. И как бы все ни сложилось... я имею в виду — потом, в будущем... мне достаточно сознания, что ты есть, что мы с тобой дышим одним воздухом, ходим по одной земле. Только это я и хотел сказать... любимая. Только это.

Ника шевельнула губами, словно пытаюсь что-то сказать, и ничего не сказала. Она сидела так же прямо, не глядя на Игнатьева.

— Я не буду ни звонить, ни писать, раз ты не хочешь, — продолжал он негромко. — Наверное, ты права — сейчас лучше не надо. Но ждать — твоего звонка, твоего письма — я буду все время, а ждать я умею долго, я уже сказал. Если я ждал тебя столько лет, не зная даже, как тебя зовут и какого цвета у тебя глаза, — неужели ты думаешь, что смог бы перестать ждать теперь, когда я тебя знаю?

— Дима...

— Да, Никион?

— Ты только не обижайся, прошу тебя... Пойми и не обижайся, но... ты лучше уйди, хорошо? Потому что я... не могу больше...

— Я понимаю, родная. Я сейчас уйду, мне еще нужно взять билет...

— Ты едешь сегодня вечером?

— Я еду сейчас, Никион. Дело в том, что завтра у меня доклад на ученом совете — хочу еще поработать ночью. Попытаюсь достать билет на «Юность», она уходит около двух, а не достану — махну самолетом.

— Лучше не надо самолетом. Дима... прошу тебя! — сказала она, быстро оборачиваясь к нему.

— Я думаю, достану на поезд.

— Тогда ты беги, чтобы успеть...

— Успею, еще почти три часа. Ну что ж...

Ему о многом хотелось ее спросить — о планах на лето, о том, куда она теперь думает подавать документы, — но он увидел ее глаза и понял, что уже ни о чем нельзя спрашивать, ничего

нельзя больше говорить, нельзя больше здесь оставаться. Он поднялся, Ника тоже встала. Он взял ее руки, прижал к лицу. Прохладные пальцы замерли, потом робко распрямились, лаской коснулись его щек, снова затихли. Он отвел их, зажмурившись, поцеловал одну ладошку, другую и, резко повернувшись, молча пошел прочь.

Ника смотрела, пока он не скрылся в толпе. Потом отошла к памятнику, обогнула его, направилась к кинотеатру. В кассах она долго стояла перед таблицей с расписанием сеансов, ничего не в силах сообразить, наконец спросила у кассирши, когда начинается ближайший.

— Одиннадцатичасовой только начался, — сказала та, — сейчас журнал идет. Пустят вас еще, пустят, успеете...

Войдя в зал, Ника села в кресло с краю, закрыла глаза — и тут у нее хлынули слезы. Впервые за много дней.

Хорошо, что соседние места пустовали, зрителей на этом утреннем сеансе было немного. Впрочем, она плакала совсем тихо, слезы текли и текли по ее щекам — все слезы, которые копились так долго. Платочек уже промок насквозь, Ника закрыла глаза, но слез было не удержать.

Когда они наконец иссякли, Ника почувствовала себя какой-то опустошенной, слабой, безразличной ко всему на свете. Гремела музыка, на экране двигались, говорили и смеялись какие-то люди; Ника, ничего не воспринимая, сидела в своем кресле без мыслей, без ощущений. Потом музыка умолкла, зажегся свет. Она встала и пошла к выходу. На улице ее ослепило солнце — глаза сразу опять наполнились слезами. Какая-то женщина спросила удивленно: «Что, плохо кончается? А говорили — веселая...» Ника кивнула — да, очень веселая, веселее не бывает...

Она долго стояла у витрин с фотостендами АПН, делая вид, что рассматривает снимки, побродила по бульвару. Откуда-то донеслись сигналы проверки времени — был час дня. Нике не хотелось ни ехать домой, ни ходить по улицам, ей вообще не хотелось жить.

На Пушкинской ей навстречу блеснул зеленый огонек такси. Она увидела его издали — он был какой-то особенно яркий, крошечная изумрудная звездочка, — и ей равнодушно подумалось, что вот всегда так: когда нужно — не увидишь ни одного свободного, а сейчас — пожалуйста...

Но почему не нужно сейчас, — вспыхнула вдруг неожиданная мысль, первая отчетливая мысль с того момента, как они расстались у памятника Пушкину, — именно сейчас и нужно! Именно сейчас!

Уже выбегая на середину улицы, Ника бросила взгляд на часы, замахала руками перед самой машиной — та послушно притормозила, сворачивая к тротуару. Ника и не сомневалась, что водитель остановится, оно просто не имело права проехать мимо, это такси, посланное за ней, как Золушкина карета из тыквы...

— Пожалуйста, на Ленинградский вокзал, — выпалила она, забираясь внутрь. — Только скорее, если можно, мне обязательно нужно успеть к «Юности»...

— Поспеем, — добродушно заверил ее водитель и, нагнувшись, шелкнул счетчиком. — К «Юности» поспеем, очень даже свободно.

Они успели едва-едва. Когда Ника добежала до платформ дальнего следования, посадка на ленинградский экспресс уже закончилась и провожающие выходили из вагонов. Если бы только знать, в каком он! Она заглядывала в каждое окно, понимая, что не успеет дойти и до середины, как поезд тронется. Свободных кресел было много, это успокоило ее — Дима, значит, смог взять билет, он здесь, лишь бы только оказался где-нибудь не очень далеко, чтобы она смогла хотя бы его увидеть...

И она увидела его. В четвертом вагоне он сидел в дальнем ряду, у окна, Ника увидела его затылок над откинутой спинкой кресла, его светлые волосы, увидела знакомые портфель и шляпу в багажной сетке. Она отчаянно застучала по толстому стеклу, надеясь привлечь внимание сидящей с этой стороны пассажирки, попросить позвать, — но в этот же момент поезд тронулся плавно и бесшумно, Ника застучала еще сильнее, занятая разговором пассажирка наконец оглянулась, но тут же ее скрыл край оконной рамы. Ника ускорила шаги — но уже было не догнать, окно уплывало, уплывал все скорее и скорее вагон, уплывал в своем кресле так и не оглянувшийся Дима. Ника бежала, все еще на что-то надеясь, голубые вагоны обгоняли ее, прошли пятый, шестой, наконец пролетел последний, обдав ее на прощанье несильным еще вихорьком закрученного движением воздуха.

Она наконец остановилась, прижав руки к груди — так колотилось сердце, — глядя вслед поезду, который уже превратился в темное прямоугольное пятнышко, стремительно уменьшающееся в размерах, словно тающее в солнечном блеске, в путанице рельсов, опор контактной сети, сигналов и переходов...

Вот и все, подумала она потерянно. Зачем же тогда было это такси? Он так и не оглянулся. Но ведь — вспомни — ты хотела только увидеть его, только увидеть еще раз. Да, но мне этого мало. А как же дальше? Не знаю, не знаю, но я просто не могу без него — и не могу с ним — я не знаю, что делать, может быть позже, со временем...

Она медленно шла вдоль опустевшего перрона, чувствуя какую-то странную, нереальную до головокружения невесомость, облегченность всего тела, как после долгой болезни. И на сердце у нее тоже было легко, отрешенно, пусто.

Опять ей подумалось, что никогда не следует обижаться на случай, потому что в конечном счете, наверное, все — или почти все — случается в жизни именно так, как надо. И то, что Дима не обернулся и не увидел ее, — тоже, наверное, к лучшему...

Когда принимаешь решение, нужно все-таки постараться его выполнить. Особенно если оно обошлось так дорого. В сущности, это было нелепо — бежать на вокзал после того, как сама сказа-

ла: уйди, я не могу больше, я не выдержу... И действительно, не выдержала бы. Так что же, теперь легче? '

Наверное, он все-таки прав. Все в жизни проходит, пройдет и это. Нужно только время.

Время... Он сказал: я умею ждать долго. Конечно, он сумел бы — сколько угодно. Только зачем? Сейчас она посмотрит в расписании, когда «Юность» приходит в Ленинград. С вокзала на Таврическую Дима доберется, ну, скажем, за полчаса. Вот и прекрасно, она рассчитает время и встретит его звонком. Разумеется, не для каких-нибудь объяснений! Просто — чтобы спросить, как доехал. И пожелать успеха на завтрашнем ученом совете...

*Всеволожск, 1969—1971*

*Памяти Валентины Ивановны  
Беденко-Слепухиной — матери,  
друга и незаменимого помощника*

# Южный крест



Р О М А Н



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**В**ремя не гасило воспоминаний. Оно уплотняло их, сжимая в цепочку образов, и каждый такой образ постепенно разрастался, вбирал в себя все сопутствующее, становился символом.

Так образом-символом Ленинграда стала картина белой ночи. Не какой-то одной, определенной, — ночей вообще, многих, слившихся в его памяти в одну: безлюдная набережная, широкие воды за низким гранитом парапета и мостовой пролет, исполненным крылом взнесенный в пустое, прозрачное, обесцвеченное близким рассветом небо.

В июне того года ему пришлось много работать — уже началась сессия, а еще нужно было дописать курсовую, оставались хвосты по зачетам, лабораторные отработки; он возвращался поздно и дома еще просиживал до часу, до двух. Дни так и мелькали, пронеслась неделя, другая, третья, и — жизнь со всего разгону вылетела в иное измерение. Двадцать третьего, вернувшись из военкомата, чтобы собрать вещи, он с недоумением окинул взглядом заваленный книгами стол — странно, еще сутки назад все это представлялось таким важным...

А что было затем? Запахи казармы, ритмичный топот сотен сапог на асфальтированном дворе, «на первый-второй ра-а-асчитайсь!», соломенные чучела и деревянная винтовка с отточенным стальным прутом вместо штыка; потом затемненные перроны Витебского вокзала, ляг буфетов и тоскливые крики маневровых паровозов, синие фонари, неумолчный грохот колес под полком, зарева по ночам. Он завидовал ополченцам — их бросили под Лугу, а Юго-Западный фронт оказался так далеко от

Ленинграда; под Белой Церковью были еще леса, роскошные лиственные дубравы, а потом степи, уже в начале августа, и именно эта украинская степь стала для него образом-символом войны — давящий зной, необрушенная пшеница в выгоревших пепельно-черных проплешинах, свирепое солнце сквозь тучи пыли над бесконечными дорогами. Он долго не видел вблизи ни одного немца, только издали — сквозь прорезь прицела над подсыхающим на бруствере черноземом, — зеленоватые фигурки бежали рядом с танками, а танки казались неподвижными, серые угловатые формы медленно вырастали из дымной мглы, и эта кажущаяся медлительность их движения странно не согласовывалась с торопливым бегом взблескивающих на солнце гусениц...

Первого немца рядом с собой он увидел позже, уже в лагере. Увидел — и не удивился, приняв это за продолжение бреда. Сознание возвращалось медленно, он потерял много крови, и смысл случившегося дошел до него не сразу, а как бы амортизированным. Другим амортизатором была на первое время твердая уверенность, что он все равно скоро умрет — и более крепкие гибли сотнями и тысячами; с его осколочным ранением в грудь шанс выжить в тех условиях практически равнялся нулю. Эта мысль примиряла с окружающим, была лишь горечь, мальчишеская обида на судьбу — все могло кончиться там же, в окопе, среди своих, стоило лишь проклятому осколку пройти чуть глубже, рванув своим бритвенно-зазубренным краем какую-нибудь аорту или что там еще находится в этом месте...

Но он выжил. Через полгода ему уже стыдно было вспомнить, что не так давно ждал смерти как избавления. Если и было что-то, чего он мог стыдиться, то это не сам факт плена — в этом не было его вины; вина была в том недолгом периоде малодушия, когда ему хотелось умереть, сдаться еще раз — теперь уже добровольно.

К счастью, это прошло скоро. Те, кого каждое утро выволакивали из барака и поленицей громоздили поодаль, в снегу, — они были уже бессильны, им было уже не рассчитывать во веки веков. Счет вели живые. И этот страшный счет рос с каждым днем, с каждой поверкой на «апель-плаце», где вьюга шатала шеренги живых скелетов в обрывках летнего обмундирования. Наверное, они только потому и оставались живыми, что кому-то ведь нужно было видеть, запоминать; кто-то должен был рано или поздно рассчитывать — сполна и за все...

И он тоже смотрел, запоминал, ждал своего часа. Шли месяцы, закончился сорок второй год, после силезских копей было какое-то подземное строительство в Мекленбурге, удушливый от постоянной утечки газов цех гигантского химического комбината «Буна», бараки, бараки, нескончаемые километры колючей проволоки, пулеметные вышки, лай овчарок... Вести о ходе войны доходили с опозданием, но все же доходили; пленные знали о Севастополе, о Сталинграде, о Курске. После Курска немцы особенно свирепствовали — вероятно, это была их последняя ставка, она оказалась битой.

Двумя месяцами позже он на очередной селекции попал в новую «арбайтскоманду», которую той же ночью загнали в эшелон. Ехали долго, — судя по солнцу, а также по названиям некоторых станций, которые иногда удавалось разглядеть через щель в стенке вагона, их везли дальше на запад. Эшелон подолгу простаивал на запасных путях, выли сирены, остервенело били зенитки, и, сотрясая землю, слитными волнами раскатывался обвалный грохот фугасок; по ночам щели светились красным — будто горела вся Германия, окровавив небо Европы исполинскими заревами своих пожаров.

На шестой день пути эшелон пересек какую-то большую реку, вероятно это был Рейн. А потом опять пошли угрюмые шахтерские края — дождливая равнина, терриконы под серым небом, медленно вращающиеся на вышках колеса подъемников. Названия станций были уже не немецкими, пленных привезли то ли в Бельгию, то ли в Северную Францию. Но кончились и терриконы, вокруг стало позеленее. На глухом полустанке, когда наконец стали выгонять из вагонов, кто-то успел перекинуться словом с оказавшимся рядом железнодорожником из местных — тот сказал: «Франс, Норманди...»

Нормандия, ставшая для него землей свободы и мщения! Это случилось в ноябре — из лагеря их на грузовиках возили ремонтировать железнодорожное полотно, засыпать воронки, менять порванные бомбами рельсы; в один из вечеров, на обратном пути в лагерь, колонну обстреляли с двух сторон, из-за зеленых изгородей. Все произошло так быстро, что охрана даже не успела открыть ответный огонь. Он стоял в кузове у заднего борта, рядом с солдатом; все попадали друг на друга, когда машину занесло и развернуло поперек дороги от резкого торможения, и он так и не узнал, сам ли задушил этого немца, или его добились другие, но автомат оказался у него в руках — он прыгнул с высокого борта и, в упор полоснув очередь по кабине заднего «бюссинга», бросился напролом через колючий, мокрый от дождя кустарник...

Дино Фалаччи оборвал художественный свист, которым безуспешно пытался привлечь внимание сен-бориты, скучавшей за соседним столиком, и вопросительно глянул на Полунина.

— Чего это ты вздыхаешь?

— Не всем же быть свистунами...

— Ты прав, для этого нужно призвание. Но все-таки — что случилось?

— Да ничего не случилось, — Полунин пожал плечами и допил пиво. — Просто предчувствия одолевают. Знаешь, какой я сегодня сон видел? Будто вы с Филиппом набили мне морду и возвращаетесь в Европу.

— Э, ерунда, — подумав, сказал Дино. — Бабка моя уверяла, что сны нужно понимать наоборот, а уж она-то в этих делах разбиралась. Она была ведьма, Микеле, я тебе не рассказывал?



Ведьма, клянусь спасением души. И какая! Впрочем, в Лигурии что ни женщина, то ведьма.— Синьор Фалаччи поплевал через плечо и потыкал вокруг себя рогами из пальцев, отгоняя нечистую силу.— Инквизиции в наших краях не было, соображаешь? Попробуй сегодня найти ведьму в той же Испании...

— Не было разве? — рассеянно спросил Полунин.

— Ну, была формально, но рвения особого не проявляла. А за что мы тебе были морду?

— Да все за то же, — сказал Полунин. — За всю эту затею.

— Брось, опять ты принимаешься каркать. Лично я убежден, что мы разыщем сукиного сына. Главное было установить, что он здесь, согласен? Прекрасно! Это установлено. Разумеется, снимок в газете мог ввести в заблуждение, поди там разгляди, кто есть кто, но когда тебе удалось раздобыть негатив — сомнений больше не осталось, верно?

— Не ори. Ты когда-нибудь научишься держать язык за зубами?

— Э, да кто здесь понимает по-французски, — возразил Дино, но голос понизил почти до шепота. — Так вот, я хочу сказать — этот тип здесь, и вряд ли он будет так уж рваться обратно в Европу...

Полунин усмехнулся.

— А ты представляешь себе размеры этого «здесь»? Южная Америка, старина, это семнадцать миллионов квадратных километров. И сто с чем-то миллионов населения.

— Найдем, — уверенно сказал Дино.

— Ну да, ты же у нас всегда ходил в оптимистах...

Ветер гнал по тротуару листья платанов, они сухо шуршали под ногами, стайками взвихривались за пролетающими машинами. Намело и сюда, на открытую террасу кафе. Осень, подумал Полунин, настоящая уже осень, как у нас в начале сентября. А ведь по календарю — апрель. Странно, но к этой путанице времен года привыкнуть труднее всего. Постепенно привыкаешь к чужим звездам, к чужим городам, к чужой речи вокруг, — а вот к жаре на Новый год привыкнуть трудно. Или к тому, что листья облетают в апреле.

Щурясь, он посмотрел вдоль залитой ослепительным осенним солнцем авениды и надел защитные очки, словно отгораживаясь от опостылевшей экзотики. Настроение сегодня поганое, и неизвестно даже почему. Так, по совокупности. Воспоминания следует держать под замком, сколько раз себе говорил. А тут еще утром — не успел выйти из отеля — встретила женщина, издали похожая на Дуняшу. Волосы, походка — Полунин решил даже, вопреки здравому смыслу, что Евдокия вдруг действительно взяла и прикатила. Глупости, конечно, что ей делать в Монте-видео? А уверенности в обратном все равно не было, пока он не оказался ближе и не убедился в ошибке; за эти несколько секунд чего только не передумалось! Нелепо ведь все до предела — глупо, неустроенно, и с этим призрачным «треугольником» тоже одна нервотрепка. Особенно для нее, можно себе представить.

Поди вообще разберись, действительно ли это треугольник. А если прямая между двумя точками? Дуняша однажды сказала: «Знаешь, у католиков есть учение о мистическом браке — ну, они имеют в виду церковь и Христа,— так вот, конечно c'est un sacrilège,<sup>1</sup> я понимаю, но — бог меня прости — этот мой Ладушка, в сущности, тоже вполне мистический супруг, хотела бы я в конце концов знать, где его черти носят...»

Хорошо бы вызвать ее сюда. Хотя бы на день-другой. Увидев ту женщину, он понял, до чего стосковался по Дуняше. По ее голосу, болтовне, по ее забавному русско-французскому жаргону. По ее телу. Зайти на ближайший телеграф и написать на бланке — «приезжай, люблю». А по-испански будет совсем хорошо, у них ведь «любить» и «хотеть» — синонимы. Смелый, не боящийся прямоты язык. «Хочу тебя, приезжай»... И утром он мог бы встречать ее в речном порту. Сюда ведь из Буэнос-Айреса всего одна ночь пути — все равно что из Москвы в Питер. Размечтался, дурак...

— Когда он обещал прийти? — спросил Полунин, глянув на часы.

— В десять, мамма миа! А уже без четверти одиннадцать. Таковы французы. Помнишь ту историю с конвоем? Леблан должен был быть со своим отрядом ровно в два пополудни — ждали этих рогоносцев чуть ли не до рассвета. Хорошо еще, не сорвалась вся операция.

— Немцы тогда тоже опоздали.

— Только это нас и спасло! Нет, я тебе говорю — иметь дело с французом...

Дино допил свое пиво и, свистнув официанту, жестом попросил повторить.

— Ладно,— сказал Полунин,— вы в этом смысле тоже хороши.

— Мы! — Фалаччи даже привскочил от возмущения.— Римляне еще в древности были самым организованным народом,— мы дали миру администрацию, право...

— Знаешь, это было так давно,— Полунин зевнул.

— О, да! Твои предки, Микеле, и предки мсье Филиппа еще бегали по своим лесам в волчьих шкурах. Ха-ха!

— Осторожно с историей, римлянин. А то ведь можно вспомнить кое-что и поближе, тебе не кажется?

— Вот тут ты меня поймел,— согласился Дино.

Официант принес две запотевшие бутылки и разлил пиво, заменив картонные кружкы-подставки новыми. Дино с наслаждением отхлебнул из своего стакана, облизал с губ пену.

— Единственное, что меня примиряет с этим чертовым Уругваем,— сказал он,— это пиво. Пиво здесь хорошее.

— В Буэнос-Айресе лучше,— заметил Полунин.— «Кильмес-Кристалль», например.

— А помнишь сидр в Нормандии?

---

<sup>1</sup> Это кощунство (фр.).

— Не говори. У меня после него всегда голова трещала.  
— Э, вот и наш Филипп, — сказал Дино, оглянувшись. — Да еще с женщиной, мамма миа, это уже что-то новое...

Полунин тоже оглянулся.

— По-моему, с ним какой-то парень?

— Иди ты! Такой же парень, как я — римский папа. Не спорь, итальянец распознает женщину на любом расстоянии, у нас глаз наметан... Ну, что я тебе говорил?

— Ты прав. Издали я принял ее за мальчишку.

— Да все они теперь такие, чего ты хочешь, — заметил Дино, не сводя глаз с приближающейся пары. — Кстати, не местная, держу пари...

Девушка, которая шла рядом с Филиппом, оживленно говорила что-то, размахивая пляжной сумкой. Коротко стриженная рыжеватая блондинка в очках без оправы, она показалась Полунину похожей на типичную студентку из Штатов, каких он много видел в Буэнос-Айресе. Пара поднялась по ступенькам террасы и подошла к столу.

— Салют, дети мои, — сказал Филипп. — Извините за опоздание и позвольте представить вам нового сотрудника экспедиции — мадемуазель Астрид ван Стеенховен...

Фалаччи и Полунин молча посмотрели на блондинку, потом на Филиппа. Дино опомнился первым и, вскочив, придвинул для девушки кресло.

— Несколько неожиданно, но тем более приятно, — пробормотал он и показал в широкой улыбке свои ослепительные зубы.

— Знакомьтесь, — продолжал Филипп. — Дино Фалаччи, научный руководитель. Мишель Полунин, технический эксперт.

— Очень рада, — девушка тоже улыбнулась, протягивая руку, — очень рада... Но я не знаю... мсье Маду, вы меня уже представили вашим друзьям как коллегу, а ведь мы еще ничего не решили...

— В принципе решили, — возразил Филипп, — детали обсудим позже. Мадемуазель любезно согласилась выполнять у нас обязанности переводчицы, — пояснил он, выразительно глянув на каждого из приятелей.

— Да, но... — Дино посмотрел на него с еще большим недоумением. — Мишель ведь владеет испанским?

— Заткнись и слушай. Не обращайтесь внимания, мадемуазель, мы с доктором Фалаччи старые друзья. Так вот — дело в том, что мадемуазель владеет немецким.

— А, — сказал Полунин. — Ясно. И в каком объеме вы им владеете?

— В самом полном. Гимназию я кончала в Федеративной Республике.

— Ваше имя, простите? — спросил Дино.

— Астрид, — ответила девушка.

— Шведское, — кивнул тот. — Хотя фамилия — голландская.

А вы сами?

— Бельгийка, — улыбнулась Астрид. — Точнее, бывшая.

— С расспросами потом,— вмешался Филипп.— У мадемуазель сейчас мало времени, я только привел ее познакомиться. Что вы пьете, Астрид?

— Пожалуй, я тоже выпью пива. Но мне все-таки до сих пор не совсем понятны задачи вашей экспедиции.— Девушка, непринужденно усевшись в плетеном кресле, обвела взглядом всех трюков.— Мсье Маду толком ничего не объяснил...

— Видите ли,— сказал Филипп, соединяя концы растопыренных пальцев.— Мсье Маду, или ваш покорный слуга, является, так сказать, административным главой экспедиции, не более. Мсье Полунин ведает технической стороной дела — аппаратурой звукозаписи и тому подобным. А вот наш научный руководитель, как этнограф, сумеет изложить все это гораздо понятнее...

Дино бросил на него свирепый взгляд и, повернувшись к Астрид вместе со своим креслом, заулыбался еще обольстительнее.

— Ну, в двух словах это... как бы вам сказать... экспедиция по изучению особенностей быта и... м-м-м... культуры, я бы добавил... некоторых малоизученных до сих пор индейских племен бассейна Ла-Платы. Племен, нужно иметь это в виду, почти вымерших и... по существу, реликтовых — если позволительно применить в данном случае такое определение.

— По-моему, не очень,— сказала Астрид.

— Что «не очень»? — несколько опешив, спросил Дино.

— Не очень позволительно применять к племени слово «реликтовое», — пояснила Астрид.— Мне так кажется.

— Вообще-то вы правы,— согласился научный руководитель. Подумав немного, он осторожно спросил: — Вы что изучали, кроме языков?

— Я занимаюсь антропологией, в Брюссельском университете.

Дино долго молчал. Потом он полез в карман за платком, промокнул виски и, глянув искоса на Филиппа, издал ненатуральный смешок.

— Хе-хе, да вы для нас просто находка,— сказал он.— Переводчик с дипломом антрополога... Можно поздравить мсье Маду, я прямо готов задушить его в объятиях...

— Да нет, какой у меня диплом,— Астрид пожалла плечами.— Я ушла со второго курса, так что это оказалось просто потерянное время. А какие именно племена вы собираетесь изучать? Я даже не знала, что в бассейне Параны сохранились индейцы...

— Вообще-то практически не сохранились,— поспешил согласиться Дино.— В массе они, можно считать, вымерли. Но кое-кто остался, о да! Немного, правда, но зато... очень колоритные. Ну, скажем... аймары. Или гуарани!

— Аймары и гуарани? Любопытно,— Астрид улыбнулась.— Так вы, значит, намерены бродить по сельве?

— Д-да, отчасти. Но не только! В конце концов, многие индейцы уже ведут более цивилизованный образ жизни — работают

на плантациях мате<sup>1</sup>, живут в поселках... сохраняя, впрочем, некоторые черты племенного быта. Ну, и в сельве тоже.

— Очень любопытно, — повторила Астрид. — Я только не совсем понимаю, зачем вам в таком случае мое знание немецкого?

— А-а... они часто не понимают другого языка...

— Кто — индейцы?!

— Ну да, если живут и работают на немецких плантациях, — пояснил Дино непринужденно.

— Подумать только. Германоязычные индейцы, надо же! И что, они охотно позволяют себя фотографировать, записывать?

— Да как когда, знаете ли. Иной раз приходится применять специальное оборудование.

— Телеобъективы? Это я понимаю. Со звукозаписью, наверное, сложнее?

— О, это вам куда лучше объяснит Мишель, — с видимым облегчением объявил Дино. — Он у нас большой мастер по всяким таким штукам...

— Ну что тут объяснять, — нехотя сказал Полунин, когда Астрид повернулась к нему с вопросительным выражением. — Дело в повышенной чувствительности воспринимающих устройств... если вы понимаете, что это такое. Есть, например, такой микрофон — узконаправленного действия, как мы его называем. Вы нацеливаете эту штуку... ну вот хотя бы на то окно напротив — видите, открытое окно на четвертом этаже? — и пишете на пленку все, о чем говорят люди в той комнате. Даже если они беседуют вполголоса.

— Невероятно, — сказала Астрид. — А посторонние звуки не мешают разве? Улица-то довольно шумная.

— Нет, все паразитные шумы потом отфильтровываются.

— Да-а... Воображаю, во что обошлось снаряжение экспедиции. Вы сказали, — Астрид обернулась к Филиппу, — вас финансирует какая-то газета?

— «Эко де Прованс». Знаете, сейчас это модно — поднимает тираж, так что в конечном итоге затраты окупаются.

— Еще бы! Шутка сказать — собственная экспедиция в джунглях южноамериканской сельвы. А кайманов вы не боитесь? Вообще там полно всякой нечисти, мне говорили. Эти ужасные рыбки, которые накидываются стаями, и змеи, и вампиры... а одни пауки чего стоят! — Астрид поежилась. — С детства боюсь пауков, наверное предчувствие: мне суждено помереть от укуса какого-нибудь птицееда. И именно в Парагвае! Что ж, это хоть романтично. В самом деле поехать, что ли?

— От паука-птицееда не помирают, — заметил Полунин.

— Здравсьте! — воскликнула Астрид. — Да я сама читала!

— Вранье, значит, читали.

— Ну, не знаю... Вы говорите с такой уверенностью, будто испытали на себе. Можно подумать, птицеед вас кусал!

— Кусал, — лаконично подтвердил Полунин.

---

<sup>1</sup> Mate — парагвайский чай (исп.).

— Ничего себе! — Астрид по-мальчишески присвистнула. — И как?

— Жив, как видите.

— Ну, не знаю, — повторила она, глядя на него с сомнением. — И куда он вас укусил? А, ну ясно — в руку, это что. Вот если бы в голову...

— Если вы решитесь ехать, мадемуазель, от пауков мы вас будем оберегать, — торжественно заверил Филипп.

— Да, вероятно, я поеду, — кивнула Астрид. — Делать мне сейчас все равно нечего, так что...

Она посмотрела на часы и встала.

— Позвоните мне в отель завтра утром, мсье Маду, — сказала она. — Запишите телефон: восемь, пятьдесят семь, шестьдесят два. Это «Монсеррат», на Рио Бранко. Позвоните или зайдите сами, до двенадцати я никуда не выхожу... — Все трое проводили ее взглядами, пока она сбегала по ступенькам террасы. На тротуаре, прежде чем затеряться в толпе, Астрид обернулась и помахала поднятой рукой, — издали, в своих вылинявших синих джинсах и рубашке цвета хаки, она действительно была похожа на мальчишку-подростка.

— Это называется женщина, — вздохнул Дино, кривясь, точно разжевал лимон. — Откуда и на кой черт ты ее выкопал, этого антрополога? Тебя что, солнечный удар хватил?

— Она нам пригодится.

— Ну, если только знанием немецкого, — с сомнением сказал Полунин.

— Не только. Я вам потом расскажу о ней, это довольно своеобразная штучка. Но сейчас меня в первую очередь интересует то, что она связана с политическими эмигрантами из Аргентины...

— Вот что, — прервал негромко Полунин. — Я все-таки предлагаю не обсуждать это во всеулышание. Здесь гораздо больше народу знает французский, чем вы думаете. Пошли ко мне в гостиницу, там и поговорим...

Своего приятеля Лагартиху Астрид нашла на Пляж-Капурро в обычное время и на обычном месте. Пляж был безлюден — купальный сезон кончился, в апреле здесь уже почти никто не купается, — и на пустынном берегу особенно патетически выглядела тощая долговязая фигура со скрещенными на груди руками, стоящая лицом к воде. Кроме патетики фигура излучала еще и меланхолию — Астрид ощутила это издали.

— Очнитесь, сеньор изгнанник, — окликнула она вкрадчиво, подойдя к Лагартихе сзади. — Впрочем, вы неплохо смотрите, прямо хоть пиши с вас эпическое полотно. Этакий «Сан Мартэн в Булони»!

Лагартиха, не оборачиваясь, раздраженно дернул плечом, словно отгоняя москита.

— Сан Мартин, — поправил он. — Сан Мартин, а не Сан

Мартэн, я тебе уже сто раз объяснял. И вообще мне надоели эти вечные подшучивания над вещами выше твоего понимания...

Астрид обошла его и заглянула спереди, но тот продолжал непреклонно смотреть вдаль. Она бросила на песок сумку, стряхнула с ног сандалии и стала стаскивать джинсы.

— Понимаешь, Освальдо, — сказала она, — когда человек воспринимает жизнь слишком всерьез, как это делаешь ты, он неизбежно становится в чем-то немножко смешным. Не обижайся, но это так. Ты не хочешь меня поцеловать?

— Нет, — отрезал Лагартиха.

— Я просто хотела доставить тебе удовольствие, — пояснила Астрид. — Не вздумай понять как-нибудь иначе. Чего это ты сегодня такой мрачный?

— А ты часто видишь меня веселым?

— Верно, — согласилась Астрид. — Но только сегодня ты особенно противный.

— Ты обедала? — неожиданно поинтересовался Лагартиха.

— Да, поела немного, у меня от жары нет аппетита. А что?

— А то, что я вот, например, не обедал, — объявил Лагартиха очень язвительно. — И не потому, что нет аппетита.

— Ты опять на мели, — понимающе сказала Астрид. — Бедняга, ну и сказал бы сразу! У меня в сумке есть сэндвичи...

— С чем?

— Господи, он еще выбирает. С колбасой, кажется, и еще с сыром. Я взяла на двоих. Хочешь?

— Давай, — мрачно согласился Лагартиха. — Понимаешь, эта сволочь Ретондаро опять не прислал денег. Я ходил в речной порт, встретил пароход из Буэнос-Айреса, разыскал связного. Я тебе рассказывал, он там стюардом. «Ликург, — спрашиваю, — передавал что-нибудь для меня?» Ликург — это подпольная кличка Пико Ретондаро, я тебе, кажется, говорил...

Он запустил зубы в сэндвич, отхватил половину и стал сосредоточенно жевать, сохраняя при этом меланхолическое выражение.

— Между прочим, Освальдо, — сказала Астрид, — ты всем своим приятельницам выкладываешь эту информацию — ну, на счет связных, кличек и тому подобное?

Лагартиха, продолжая жевать, покосился на нее с недоумением.

— Какие у меня здесь «приятельницы»? — сказал он, проглотив кусок. — Ты вот единственная.

— Здесь! А дома, небось, трепался направо и налево.

— Чего ради, — он пожал плечами. — Наши девушки настолько далеки от политики, что никому и в голову не придет трепаться с ними на эту тему...

— Что, аргентинки вообще не интересуются политикой? Подумать только. Помню, у нас в ЮЛБ<sup>1</sup> самыми остервенелыми

<sup>1</sup> Сокр. от Université Libre de Bruxelles (фр.) — Брюссельский университет.

активистками были первокурсницы, ни одна драка без них не обходилась.

— Нет, здесь не так. Есть, конечно, исключения, но это не типично. — Лагартиха доел сэндвичи и ухмыльнулся. — Пико Ретондаро, та самая рептилия, что должна прислать деньги, решил как-то привлечь одну девочку. Позапрошлым летом, я еще был дома, на легальном положении. Он входил в группу профессора Альв...неважно, назовем его просто «профессор А.». Так вот, у этого профессора есть дочка. Пико однажды мне говорит: «Держим пари, Доритой я овладею — сделаю ее женщиной, а потом революционеркой». И чем, ты думаешь, это кончилось?

— Надо полагать, он выполнил первую часть программы и пренебрег второй.

— Как бы не так! Полное фиаско с самого начала. Эта А., должен тебе сказать, жуткая ломака — этакая, знаешь ли, «ах-не-тронь-меня»; Пико решил сломить ее сопротивление, подавив эрудицией, и начал при каждой встрече читать лекции по политэкономии...

— Ошибочная тактика, — заметила Астрид. — Уж чем-чем, а эрудицией нашу сестру не прошибешь. Другой нужен инструмент.

— В том-то и дело. Та покорно слушала, хлопала глазами, а потом звонит ему одна знакомая: «Слушай, говорит, что ты там вытворяешь с этой малышкой? Я ее недавно приглашаю, а она говорит: только, если будет Пико, я не приду, — он совершенно помешался на политике, а меня от нее тошнит...»

— Бедняга, — сказала Астрид. — Не вышло, значит, заполучить тестя-профессора. Он что, богат?

— Кто, А.? Беден как церковная мышь! Этакий, знаешь, нищий идальго... ездит на «форде» выпуска тридцать третьего года. Отличный старик, но Пико вовсе и не собирался жениться на Дорите, у него давно есть невеста. Кстати, твоя компатриотка... если судить по тому, что фамилия тоже начинается словечком «ван».

— Господи, — сказала Астрид. — Добрая старая Фландрия, никуда от нее не смоешься. Ну хоть невесту-то свою он революционеркой сделал?

— Нет, там и пытаться нечего... буржуа до мозга костей. Вот они действительно состоятельная семья.

— Ну, положим, ты тоже не из люмпенов, скажем прямо...

— При чем тут я? Во-первых, я со своей социальной средой порвал. Во-вторых, я мужчина. Женщинам вообще нечего делать в революции, это дело мужское.

— Ты давай лопай, революционер, — сказала Астрид. — Ужасно стал тощий, этак ведь и до революции не доживешь.

— Я не тощий, я сухощавый, — с достоинством возразил Лагартиха, так же быстро управившись со вторым сэндвичем. — Сплошные мускулы. То, что называется — атлетическое сложение.

— Скажите, какая скромность, — Астрид сделала гримас-



ку.— Ну что, супермен, идем купаться? Или ты еще не восстановил свои увядшие силы?

— Я тебе покажу «увядшие силы»,— сказал Лагартиха. Схватив Астрид в охапку, он крутнул ее в воздухе и, перекинув через плечо, бодрой рысью побежал по песку.

— Только не здесь, rog Dios<sup>1</sup>! — в панике закричала она, колотя его по спине кулаками.— Освальдо, нас ведь посадят, а тебя выдадут Аргентине — кто тогда будет свергать тирана... Ай! Я больше не буду, не буду!

Наградив насмешницу еще парой увесистых шлепков, он бросил ее в воду, потом вернулся к тому месту, где лежала их одежда, и съел третий сэндвич. Поплавав немного — вода действительно оказалась холодной,— вернулась и Астрид.

— С дамами так не обращаются,— сказала она,— хотя я и не в обиде — понимаю, что заработала. Слушай, но как, оказывается, легко пробудить в человеке первобытные инстинкты! Всего-навсего два сэндвича, надо же. А если скормить тебе хороший ростбиф, да еще с кровью, а? Страшно подумать.

— Уж не хочешь ли ты сказать...— угрожающе начал Лагартиха.

Астрид на всякий случай быстро отодвинулась и молитвенно сложила руки.

— Нет-нет, что ты, вовсе нет! Ты ведь знаешь, нам всегда было так хорошо вместе.

Что-то в ее тоне заставило Лагартиху насторожиться.

— Было? Что значит — «было»? При чем здесь прошедшее время?

— Ну... просто так. Впрочем, дело в том, что я, наверное, скоро уеду.

Лагартиха приподнялся на локте.

— Ты — уедешь? В Европу, что ли?

— Нет, нет, не так далеко. Просто я нашла работу, переводчицей, и это будет связано с поездками. Не знаю, надолго ли.

— Переводчицей? А в какой фирме?

— Самое интересное, что я и понятия об этом не имею,— Астрид засмеялась.— По-моему, это просто компания жуликов. Какие-то международные аферисты.

— Послушай, я тебя серьезно спрашиваю!

— На этот раз я не шучу, Освальдо, ну правда же. Они называют себя этнографической экспедицией; шеф у них француз, совершенно шикарный тип, потом один итальянец и один не то поляк, не то югослав, в общем откуда-то оттуда. Очень сдержанный, молчаливый и большой специалист по всяким шпионским штучкам. Представляешь — такой микрофон, ты его нацеливаешь на определенного человека и за сто метров прекрасно слышишь, что он говорит шепотом. У них вообще всякое оборудование, им занимается поляк. А итальянец — Маду мне его представил как этнографа, но если он этнограф, то я — Софи Лорен...

<sup>1</sup> Бога ради! (исп.)

Просто трепло. Ужасно испугался, когда узнал, что я занималась антропологией. Я спрашиваю, кого они собираются изучать, а он говорит: аймаров и гуарани. Представляешь? Я чуть не сдохла! Так и хотелось сказать, что прихватили бы уж заодно и папуасов...

— И ты что, всерьез собралась с ними ехать?

— А почему бы и нет. Знаешь, что они еще сказали? Что здесь есть германоязычные индейцы, которые ни бум-бум по-испански...

— Они-то жулики, это ясно. А вот ты — дура.

— Вероятно, — охотно согласилась Астрид. — Но дуракам жить веселее, ты не согласен? Разве тебе не веселее свергать тиранов, чем зубрить римское право?

На этот раз Лагартиха не обиделся.

— Все-таки не понимаю, что это тебя потянуло к каким-то проходимцам.

— Предельно просто: меня заинтересовал их шеф. Мсье Филипп Маду! Ах, Освальдо, если бы ты его видел...

— Ты сейчас опять получишь.

— Ну, милый, нельзя же злоупотреблять физическим превосходством, все-таки я женщина. Стыдитесь, кабальеро! И потом ты зря подозреваешь меня в дурных намерениях.

— Нечего и подозревать, ты их провозгласила достаточно ясно.

— О, ты не так понял! А впрочем, тебе-то что?

— Хорошенькое дело! Кому же, если не мне?

— Да никому! Я достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки... и вести себя так, как считаю нужным.

— Ну и веди, черт с тобой, — сказал Лагартиха притворно равнодушным тоном. — Можешь ехать куда угодно и с кем угодно.

— Нет, это мне нравится! — воскликнула Астрид. — Кабальеро устраивает сцену ревности! Освальдо, милый, в каком веке ты живешь? Или ты, может, решил на мне жениться?

— Бог меня не допустит до подобного безумия, — Лагартиха истово перекрестился и поцеловал ноготь большого пальца.

— Тогда почему тебя беспокоит моя нравственность?

— Твоя безопасность, идиотка! Ехать в сельву с какой-то бандой, это же надо додуматься.

— Ну, видишь ли, не нужно понимать так уж буквально. Может, они и жулики, но не того типа, который ты имеешь в виду. Во всяком случае, не думаю, чтобы у них были планы продать меня в бордель. На мне много не заработаешь, дудки. Видишь, у тебя даже не возникло мысли сделать мне предложение.

— Тут совсем другие причины, — возразил Лагартиха. — Ты мне нравишься, и прекрасно это знаешь. А жениться я вообще пока не намерен, мое призвание — политика.

— Вот и спал бы с нею, — ехидно посоветовала Астрид. — Со своей роскошной политикой!

— Предпочитаю с тобой.

— Прекрасно, я ничего не имею против. Но мы с самого нача-

ла договорились, что это будет честная игра. Ты не стесняешь меня, я не стесняю тебя, и уж ревновать тут глупо. Согласен? Доедай сэндвичи, они все равно пропадут. Тебе нужны деньги?

— Спасибо, я постараюсь разжиться у кого-нибудь из ребят. Если повезет, приглашаю в «Копакабану», — нужно же отпраздновать твое новое знакомство.

— Отличная мысль. Если не удастся достать денег, возьмешь у меня.

— Еще этого не хватало!

— Да займы, займы, чего кипятиться, — Астрид сняла темные очки и перевернулась на живот. — А пока я посплю. Ты еще будешь купаться?

— Пожалуй, разок окупусь.

— Ну, проваливай.

Лагартиха пошел купаться. Вернувшись, он растянулся рядом с Астрид и как бы невзначай положил руку ей на поясницу.

— Кабальеро, — сказала девушка сонным голосом, — вы на общественном пляже...

— Но это вполне целомудренное объятие, — возразил он, придвигаясь поближе. — Именно так Дафнис мог обнимать Хлою.

— Скажешь это полицейским... и проследи, чтобы фраза попала в протокол. Послушай, убери руку! Тебе что, голову напекло?

Лагартиха неохотно повиновался.

— Сколько еще в тебе мелкобуржуазных предрассудков, — вздохнул он. — И подумать, что вы — вообще все европейцы — считаете нас отсталыми...

— Плевать на предрассудки, я не хочу фигурировать в скандальной хронике. Не можешь ты, что ли, потерпеть до вечера?

— Еще как могу. Вообще должен сказать, что женщины занимают в моей жизни весьма второстепенное место.

— Оно и видно, мой Дафнис.

— Да, именно второстепенное, представь себе. Это просто как необходимая разрядка, понимаешь? Так мы идем вечером в «Копакабану»?

— Я же сказала, что приглашение приняла с благодарностью: И даже предлагаю финансировать это дело!

— Не беспокойся, я выколочу что-нибудь из своих ребят. Менендес Каррильо, например, он ведь мне должен почти триста национальных. А сам ездит в Пириаполис играть в рулетку, ну не сволочь?

— Просто гад, — сочувственно сказала Астрид. — Может, он проданся тирану?

— Нет, этого я не думаю, провокаторы ведут себя осторожнее. Просто никакого чувства ответственности. Однажды проиграл деньги из партийной кассы, представляешь?

— Представляю. Вы его предайте суду тайного трибу-

нала — за растрату сумм, предназначенных для революции. Заочный приговор, потом удар кинжалом в темном переулке, это же так романтично. А я могу сыграть роль приманки — назначу ему свидание...

— Опять идиотские шуточки, — с неудовольствием сказал Лагартиха.

— Какие шуточки, милый, речь идет о жизни человека. Даже если это роконосец, не платящий долгов и проигрывающий партийные деньги. Нет, мне его жалко, может у него нет в жизни других радостей? Не нужно убивать, пусть себе играет в рулетку, ты просто выцарапай у него сотню пиастров на сегодняшнюю оргию.

— А потом ко мне?

— Да уж куда от тебя денешься...

— И все-таки я не очень представляю себе, как мы сможем ее использовать, — сказал Полунин. — И будет ли от нее вообще польза. Что будет опасность — это точно.

— Конкретно? — спросил Филипп. Он отошел от окна и посмотрел на Полунина, лежащего на кровати. Тот на ощупь нашел на полу пепельницу, раздавил окурочок и сцепил кисти рук под затылком.

— Что — конкретно? Ты ведь не можешь поручиться, что она не разболтает всем своим приятелям. Нам не хватает только широкого паблисити!

— По-моему, она не такая дура, это во-первых...

— В постели всякая женщина становится дурой, — сказал Дино. — И обычно — дурой болтливой. Тут Мишель прав.

— ...во-вторых, — упрямо продолжал Филипп, — она не знает главного. Хорошо, допустим, она разболтает. Но что? Что мы собираем материал о нацистских колониях? Да черт побери, таких охотников за сенсациями тут уже побывала не одна сотня. Кого они беспокоят? Колонии так засекречены, что к ним не подобраться, — боши рассчитывают именно на это. А что мировая общественность в принципе знает о существовании этих осинных гнезд — им наплевать.

— Согласен, но за каждым нашим шагом будут следить.

— Мы должны учитывать и такую возможность.

— Учитывать возможность — это одно, а самим подставлять голову... — Полунин пожал плечами. — Не знаю, я бы, пожалуй, воздержался. Впрочем, что теперь говорить, — если твой шаг был ошибкой, то она уже все равно сделана.

— Да, теперь обсуждать поздно, — сказал Дино. — Будем надеяться, что ошибаемся мы с Мишелем. Но она хоть действительно не любит этих вшивых наци? Нынешняя молодежь к подобным вопросам скорее равнодушна.

— Она их ненавидит. Иначе почему бы она бросила семью? Ее отец всю оккупацию делал деньги, поставлял что-то для люфтваффе. Летом сорок четвертого установил контакт

с бельгийскими макизарами<sup>1</sup>, там в Арденнах действовало несколько отрядов. Помогал продуктами, медикаментами, даже один раз достал для них небольшую партию оружия. Представляете? Девчонка все видела — четыре года у них в доме толклись бошские офицеры. Потом родитель исчез, а в день освобождения Антверпена подкатил к дому на английском джипе, с автоматом, с трехцветной повязкой на рукаве, словом герой Сопrotивления... Все равно у них потом чуть ли не каждую ночь били окна, а на стенах рисовали свастики.

— Сколько ей тогда было? — спросил Полунин.

— В сорок четвертом? Лет двенадцать, — сейчас ей двадцать три, посчитай сам. Короче, когда начались процессы над коллаборационистами, папа ван Стеенховен решил смотать удочки и срочно раздобыл себе какой-то пост в бельгийской оккупационной администрации в Германии...

— Беднягу неужеримо влекло к колбасникам, — melancholично заметил Дино.

— Просто там было легче дожидаться более спокойных времен. И потом точный политический расчет: обвинить в сотрудничестве с врагом представителя короны — это уже скандал, вы ведь понимаете... Все это, повторяю, происходило на глазах у Астрид, а в молодости подобных штук не прощают. Потом у нее еще была какая-то история в университете, — она поступила туда, вернувшись из Германии, я толком не знаю, что случилось, расспрашивать было неудобно. Возможно, кто-нибудь напомнил ей о папочкиных делах во время оккупации. После этого она порвала с семьей, — как видите, у нее достаточно оснований не любить бошей.

— Ну а этот ее аргентинец? — спросил Полунин.

— Вот он-то и есть самое интересное! Собственно, я ведь ради него с нею и познакомился...

— Где у черта ты ее вообще откопал? — спросил Дино.

— Терпение, парни, терпение. Не перебивайте на каждом слове, иначе никогда не кончу! Дело было так. Звонит мне вчера некий Гренье, он здесь от «Франс суар», я его немного знаю еще по Парижу... Ну, встретились, посидели, выпили, я стал расспрашивать о местных делах. Он здесь уже второй год, неплохо ориентируется. Когда зашел разговор об Аргентине, он рассказал любопытную вещь... Скажи-ка, Мишель, ты там слышал что-нибудь о так называемом «Национальном антикоммунистическом командовании»?

— Есть такое, — подумав, сказал Полунин. — Что-то вроде гестапо на общественных началах.

— На общественных? Гренье считает, что это организация правительственная.

— А черт ее знает. Выступает она под маркой общественности, а какие там у нее на самом деле связи с Розовым домом...

---

<sup>1</sup> Maquisard — партизан, участник Сопrotивления (фр.).

— Ладно, это несущественно. Важно вот что: можно ли считать, что вокруг этого «командования» гнездятся аргентинские нацисты?

— Да уж наверняка не без этого, — сказал Полунин. — Их, правда, скорее можно назвать фашистами, поскольку они не враждуют с католической церковью.

— Тем лучше. Теперь слушайте дальше! Здесь живет некий Морено — аргентинец, очень богатый человек, адвокат, скотопромышленник, закулисный политический деятель, словом фигура довольно своеобразная... Из Аргентины он сюда перебрался еще до войны, а в тридцать девятом году занял твердую просоюзническую позицию. Особенно, впрочем, ее не афишируя. Здесь в то время действовала довольно активная группа: некоторые депутаты парламента, один профессор — этого я даже знаю, Артур, Артюс, что-то в этом роде, — мне попадалась его книга «Нацистский спрут»... Они били во все колокола, уверяя, что здесь не сегодня-завтра начнут высаживаться немецкие десанты, что местные немцы давно уже создали тайную боевую организацию и ждут только сигнала, чтобы взяться за оружие, — словом, в таком роде. Во всем этом, конечно, много было паникерства, едва ли Гитлер даже в то время мог всерьез нацеливаться на Южную Америку...

— Ну, пятая колонна здесь была, — заметил Полунин, — и довольно активная.

— Да, пятая колонна действовала, и в этом смысле поднятый ими шум оказался полезным. До этого здесь к нацизму относились — в массе — довольно благодушно, как к чему-то слишком далекому, чтобы представлять серьезную опасность. Так вот, я почему об этом вспомнил, — Морено, говорят, был одним из закулисных организаторов всей этой антинацистской кампании. А дальше начинается этакая «комедия ошибок». У Морено, когда он еще жил в Буэнос-Айресе, был в приятелях какой-то ирландец, ярый англофоб и не менее ярый поклонник Гитлера. Как уж они ухитрились ладить, понятия не имею; но только вскоре после войны приезжает сюда к Морено его сын...

— Чей сын, Морено? — спросил Дино.

— Какого Морено? Ирландца, черт побери! Сын этого несостоявшегося квислинга, — Морено его знал еще мальчишкой. Так вот, приезжает этот тип и начинает обращаться старика в свою веру: Германия, дескать, проиграла лишь первую фазу войны, но будут еще другие, а на этом континенте есть силы, которые ждут своего часа, — ну и так далее... Я опять-таки не знаю, почему Морено сразу его не выставил и почему он вообще счел нужным скрывать свои политические симпатии. Короче, ирландец — отца его, кажется, уже нет в живых — стал навеваться регулярно. А с год назад, когда здесь было уже порядочно эмигрантов-антиперонистов из Аргентины, он спросил у Морено, не согласится ли тот давать время от времени информацию об этих людях. И сказал, что занимает довольно ответственный пост в «Национальном антикоммунистическом командовании»...

— А, вот оно что, — пробормотал Полунин.

— Теперь догадываетесь, что к чему? В общем, Морено решил продолжить розыгрыш, предложение этого сукиного сына принял и с тех пор время от времени подкидывает в Буэнос-Айрес какие-нибудь «сведения»... похитрее составленные, чтобы и самому не засыпаться, и там никого не подвести. Подозреваю, что для старика это просто развлечение, вроде шахмат...

— Что ж, — сказал Дино, — всякий развлекается по-своему, ты прав. Я знаю в Турине одного весьма почтенного комендатора, который всю неделю ловит мышей — только для того, чтобы в воскресенье принести в церковь и по одной выпускать во время мессы. Но меня другое удивляет. Это все твой приятель тебе рассказал?

— Да, Гренье.

— Хорошо, подумай сам: если человек ведет двойную игру, неужели он будет делать это так, чтобы об этом все знали?

— Далеко не все, — возразил Филипп. — Гренье всегда славился талантом вынюхивать подробности, которых не знает никто. Это уж просто он со мной поделился как с коллегой, а вообще я не думаю, чтобы эта история была так уж широко известна.

— Да и потом, — вмешался Полунин, — в Латинской Америке к таким вещам подходят иначе, и конспирация здесь — это совсем не то, что мы привыкли понимать под этим словом в Европе...

— Как бы то ни было, — сказал Дино, — и как бы облегченно ни относиться к понятию конспирации, ни один человек в здравом уме не станет хвастать, как ловко ему удается водить за нос секретную политическую полицию...

— А чем, строго говоря, он рискует? Ну, даже дойдут слухи до этого ирландца... так что же он, убийца к нему подошел? Если Морено и в самом деле так влиятелен, как рассказали Филиппу, это уже гарантия... В такие дела опасно ввязываться мелкой сошке, а сильные мира сего в любом случае выходят сухими из воды. Нет, мне эта история представляется вполне правдоподобной — при всей ее очевидной нелепости, тут я с Дино согласен. Но я все-таки еще не улавливаю, при чем тут Астрид со своим аргентинцем?

— Сейчас, сейчас объясню! Мне сразу подумалось, нельзя ли это каким-то образом использовать; спросил у Гренье — просит под видом профессионального любопытства — можно ли познакомиться с этим Морено, оригинальный, мол, тип, хорошо бы о нем что-то написать... Ну, он сказал, что к самому старику не подобраться — человек он занятой и нашего брата недолюбливает, — но есть один молодой аргентинец из политических эмигрантов, который к Морено вхож; он, Гренье, хорошо знает подружку этого парня и вот с ней-то может меня познакомиться в любое время, благо она переспала уже чуть ли не с половиной корреспондентского корпуса Монтевидео. Это он, положим, сохрал — я наводил справки. Но когда я вдобавок узнал, что эта бельгийка владеет немецким и испанским, мне подумалось, что она может нам пригодиться еще и по этой линии...

— По этой линии все ясно,— перебил Полунин,— но каким образом аргентинец...

— Но, старина, это же как дважды два четыре! Астрид знакомит нас с аргентинцем, тот открывает нам дорогу к Морено.

— А дальше? Что конкретно ты надеешься получить от Морено?

— Да не от него! От ирландца, понимаете? Чутье мне подсказывает, что ирландец может оказаться полезным. Дело в том, что... если вокруг «командования» группируются аргентинские ультра, у него наверняка есть связь с немецкой колонией и, возможно, какие-то сведения...

— Да, и ты думаешь, они станут делиться этими сведениями с кем попало?

— С кем попало — нет,— Филипп помолчал.— Но если бы к ним пришел не «кто попало»... Не знаю, парни, не знаю. Ручаться тут ни за что нельзя, это ясно. Но, во всяком случае, продумать этот вариант не мешает...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Буэнос-Айрес, федеральная столица Аргентинской Республики и самый большой город южного полушария, встретил пассажиров холодным не по сезону дождем. Выйдя из таможни, Полунин огляделся по сторонам: такси, как водится, не было, на автобусной остановке мокла под зонтами терпеливая очередь; он чертыхнулся вполголоса и, подняв воротник плаща, отправился пешком. На авените Уэрго удалось вскочить в троллейбус, идущий к площади Конституции.

В метро охватила влажная, как в бане, гнетущая духота. Стиснутый со всех сторон, он стоял, держась за кожаную петлю, и с отвращением чувствовал, как по спине сбегает щекочущая струйка пота. И ведь это уже апрель, на улице даже прохладно; страшно вспомнить, что тут делается в январе. Протиснувшись к выходу на станции «Трибуналес», Полунин немного отдышался, постояв на перроне, и поднялся наверх. После подземной парилки даже отравленный тетраэтилом воздух центра казался чистым озоном. Ветер, впрочем, дул со стороны сквера, так что в некотором количестве кислород и впрямь присутствовал.

Жил Полунин на улице Талькауано, рядом с Дворцом правосудия, снимал комнату у одного судового механика-шведа, старого холостяка и пьяницы. Если не считать периодических загулов в промежутках между рейсами, Свенсон этот был самым удобным из квартирных хозяев — отсутствовал по два-три месяца, никогда не напоминал о плате; получив деньги, совал их в карман, не пересчитав, и предлагал выпить.

Из-за него, правда, Полунину однажды страшно досталось от Дуняши. Прошлой зимой они были в театре, потом он предложил зайти к нему выпить кофе, а Свенсона угораздило вернуться из плавания в тот самый день,— Полунин, уйдя из дому утром, этого еще не знал. Услышав их голоса в прихожей, механик вы-



двинулся из своей комнаты, держась за притолоку, одобрительно оглядел Дуняшу и, подмигнув Полунину, объявил заплетающимся языком, что это отличная идея, черт побери, и что он — Свенсон — тоже пойдет сейчас за девочкой. Дуняша ахнула и вылетела обратно на лестницу, Полунин догнал ее этажом ниже, вот тут-то все и началось. «Грязный распутник! — кричала она в слезах. — Если ты сам предпочитаешь жить в борделе — в конце концов, у всякого свой вкус, но как у тебя хватило бесстыдства привести сюда м е н я?» Усадив ее наконец в такси — проводить себя она так и не позволила, — Полунин вернулся с твердым намерением набить морду проклятому пьянице, но Свенсон уже храпел на всю квартиру. А утром онпил «алка-зельцер», тихо постанывал, держась за виски, и говорил умирающим голосом, что ничего не помнит — пусть его утопят в луже, — но готов поверить всему, признать собственное свинство и принести фрекен любые извинения. «Да на кой черт они ей теперь нужны», — сказал Полунин. Больше приглашать к себе Дуняшу он не отваживался.

Эта нелепая история вспомнилась ему сейчас, пока он поднимался в шатком и поскрипывающем лифте, неприязненно поглядывая на исцарапанные зеркала, красный потертый плюш и облезлую позолоту проплывающих мимо решеток. Если сама квартира и не оправдывала брошенного Дуняшей определения (по крайней мере, в отсутствие Свенсона), то кабинка лифта выглядела и в самом деле подозрительно. Почему знать — может, в этом доме и впрямь было одно из тех заведений, которыми славился некогда «южноамериканский Париж»?

В прихожей на полу валялись пыльные конверты — счета за электричество, газ, телефон. Изучив штемпели, Полунин понял, что Свенсон за это время дома не появлялся. Он с облегчением стащил мокрый плащ, прошел в ванную, зажег утробно взревший каледон и открыл краны, чтобы дать стечь ржавой воде. В его комнате все было, как он оставил три месяца назад, — брошенные у двери альпартаты на веревочной подошве, пожелтевший номер «Критики» на койке, заваленный радиодетальми стол в углу. Пахло пылью и запустением. Оставляя на скрипучем паркете мокрые следы, он прошел через комнату, рванул настежь набухшую дверь на балкон и сел в калачку, закрыв глаза. Пять лет уже торчит он в этой опостылевшей берлоге. А Свенсон, кажется, тридцать. Страшно подумать...

После горячего душа Полунин почувствовал себя бодрее. Позвонил Дуняше — дома ее не оказалось, и неизвестно было, когда вернется, — потом вышел пообедать. Дождь тем временем перестал, потеплело, душная сырая мгла висела над городом. Только в сквере перед Дворцом правосудия дышалось легче, Полунин ослабил узел галстука, расстегнул воротничок. Вышагивая с заложенными за спину руками по мокрым песчаным дорожкам под низко разросшимися вязами, он снова и снова взвешивал в уме все «за» и «против» неожиданного плана, который пришел ему в голову ночью, на пароходе. Жаль, что не раньше, можно

было бы посоветоваться с ребятами. Впрочем, вряд ли они могли бы дать ему толковый совет именно в таком деле...

Вернувшись к себе, он еще раз позвонил Дуняше, опять ее не застал и лег отдохнуть, поставив будильник на семь часов.

В девять вечера Полунин не спеша поднимался по лестнице Русского клуба на улице Карлос Кальво. Уверенности, что сегодня удастся встретить кого-нибудь из нужных людей, у него не было — в апреле клубный сезон только начинается, к тому же воскресенье, канун рабочего дня. Наверху, впрочем, слышалось какое-то веселье, и довольно шумное.

Первым, кого он увидел, войдя в буфетную, был Кока Агеев со своими крашеными сединами и сморщенным шутовским личиком сатира на пенсии. Маленький, тощий, но не по годам жизнерадостный старец был завсегдатаем двух самых популярных эмигрантских клубов — «Общества колонистов» в Бальестере и этого, на Карлос Кальво (хотя оба враждовали непримиримо); без Коки, само собой, не обходился в Буэнос-Айресе ни один русский бал — ни общевоинский, ни морской, ни инвалидный. Особенно охотно посещал он скаутские балы, где можно было приволочнуться за какой-нибудь «юной разведчицей». В колонии его так и называли — «Кока Агеев, развратный старик»; сам он этой аттестацией немало гордился и всячески старался оправдать ее в меру своих ограниченных уже возможностей.

— Ба, кого я вижу! — закричал Кока, простирая объятия. — Знакомые все лица! Где это вы пропадали, мон шер?

— В Уругвай съездил, по делам... Здравствуйте, Агеев. Кстати, вы ведь меня не знаете.

— Позвольте!

— Вот вам и «позвольте». Ну как меня зовут?

— А, тут я пас. Зрительная память у меня превосходная, — с достоинством ответил Кока, изысканно грассируя, — а имен не запоминаю. Помилуйте, я даже любовниц своих называю невлопад! Но готов поклясться, лицо ваше мне знакомо.

— Еще бы, за семь лет все мы тут намозолили друг другу глаза. Как у них сегодня водка?

— Отвратная. Но что делать? За неимением гербовой пишут на простой.

— Мудрые слова. Вы со мной поужинаете?

— Не могу, дорогой, некогда! Рюмку водки выпью, в честь вашего благополучного возвращения, а от ужина увольте...

— У вас, конечно, опять свидание, ох, Агеев, — рассеянно сказал Полунин и, оглянувшись, подозвал официантку. Из-за закрытых дверей расположенной рядом «красной гостиной» донесся взрыв хохота и аплодисменты. — Не знаете, что там за торжество?

— Банкет! — Кока многозначительно поднял палец. — Его превосходительство генерал Хольмстон со своими боевыми соратниками.

— Вот как? — Полунин заинтересовался. — А по какому поводу?

— Вы поручика Кривенко знаете?

— Кто же его не знает...

— Так он, да будет вам известно, уже не поручик — сегодня празднуется его производство. Ну, и вообще. Так сказать, бойцы вспоминают минувшие дни.

— Любопытно, любопытно... — Полунин повернулся к подошедшей официантке. — Любочка, мое почтение. Как насчет ужина?

— Даже не знаю, на кухне сегодня такое делается... Я говорю, одна головная боль с этими банкетам. Может, биф вам зажарить?

— Прекрасно. Агеев, вы действительно не соблазнитесь?

— Не могу, дорогой, пароль д'онёр<sup>1</sup> — некогда.

— Тогда один. Потолще, пожалуйста, и не очень прожаренный. А мы пока водки выпьем.

— Биф один, водка, — кивнула Любочка и сделала пометку в блокноте. — Закуску какую подать?

— На ваше усмотрение. Винегрет есть?

— Не рекомендую, асейта<sup>2</sup> оказалась не очень свежая. Селедочки не желаете? Селедка хорошая, от Брусилковского.

— Это мысль, давайте сюда селедку...

Закуска и в самом деле оказалась хорошей, и они с легкомысленным старцем быстро усидели графинчик водки; попутно Полунин оказался в курсе всех событий, происшедших в колонии за это лето. Строительная фирма «Сан-Андрес лимитада», собиравшая среди эмигрантов деньги на постройку «недорогих и комфортабельных коттеджей», неожиданно обанкротилась, деньги исчезли неведомо куда, глава фирмы — тоже; его помощника ввергли в узилище, но что толку? Старая княгиня Р. перестала ездить в церковь на улице Облигадо и сделалась прихожанкой Пуэйрредона: на Облигадо, объявила она, нет больше истинной благодати. Ужасно перегрызлись между собой солидаристы — один из них (чуть ли не член «руководящего круга») опубликовал в «Новом русском слове» две статьи — «Крушение одной концепции» и «НТС 1955». Сам Кока этих статей не читал, но слышал, что злее не могли бы написать и в Москве. Не исключено, впрочем, что это и есть «рука Москвы». А у скаутов тоже скандал: молодой А. соблазнил шестнадцатилетнюю красавицу Б. Правда, он с перепугу тут же на ней женился, но все равно — шуму было много. Мать Б., говорят, до сих пор не может прийти в себя.

— Ей-то что, — сказал Полунин. — Дочь замужем, а этот А., кажется, парень как парень.

— Все так, — покивал Кока и налил себе еще. — Но мезальянс

<sup>1</sup> Parole d'honneur — честное слово (фр.).

<sup>2</sup> Aceite — растительное масло (исп.)

остаётся мезальянсом. Он ведь из купцов, а Б.— старый дворянский род, записан в «Бархатной книге»...

— Ну, если в «Бархатной», тогда конечно,— согласился Полунин.— Агеев, вы с Кривенко в хороших отношениях?

— Как со всеми; плохих отношений я избегаю принципиально. А в чем дело?

— Вы уже поздравили его с четвертой звездочкой?

— Нет,— сокрушенно сказал Кока,— этого я, признаться, сделать еще не успел.

— А вы сделайте сейчас. Удобно будет, как по-вашему? Просто войти туда и пожать его честную солдатскую руку.

— Почему же нет, батенька? — Кока прищурился и хитро глянул на него одним глазом, по-попугайски.— Но вам-то это для чего?

— Я бы хотел тоже его поздравить, но не при всех. Когда вы будете пожимать поручику — виноват, капитану — его честную руку, скажите, что, если он улучит минуту, пусть выйдет в буфет — там, мол, сидит Полунин...

— Полунин! — воскликнул Кока и схватился за лоб.— Ну конечно же! Полунин... минутку, минутку... Михаил Сергеевич?

— Он самый.

— Дорогой мой! — Кока через столик полез лобызать его, словно обрел блудного сына, Полунин едва успел отодвинуть графин.— Проклятый склероз, я же помню, что нас знакомили... Миша, дорогой! Ну как за это не выпить?

Они выпили, потом Кока встал и, утвердившись на ногах, направился в «красную гостиную».

Отсутствовал он довольно долго. Полунина принесли бифштекс, и он принялся за еду, обдумывая неожиданно возникший вариант. Кривенко так Кривенко, какая разница. Может, он и окажется самым подходящим материалом...

К тому времени, когда вернулся его посланец, Полунин успел уже мысленно прикинуть схему предстоящего разговора.

— Значит, обстановка такова,— сказал Кока и прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться.— Генерал сейчас отбывает. Один. Поскольку Кривенко сегодня вроде бы именинник, его превосходительство решил обойтись без адъютанта. Так что он к тебе подойдет — проводит генерала и подойдет. Знаешь, он был оч-чень рад, когда услышал твое имя. Вы приятели?

— Да как сказать,— неопределенно ответил Полунин.— Скорее, просто знакомые. Ну спасибо, Агеев.

— Не за что, мон шер, не за что! А сейчас я... упархиваю. И так уже опоздал безбожно, дамы ведь ждать не любят, хе-хе...

Едва ушел Кока, к столику подсел Володька Костылев, суетливый дальневосточник из харбинцев. Он был трезв, озабочен, грыз ногти и поминутно оглядывался, кого-то искал.

— Скажи, Майкл, ты этих братьев-разбойников знаешь, из

Берриссо, они еще по субконтракту монтировали подстанции на рефинерии<sup>1</sup> «Эва Перон», — Драбниковы, что ли?

— Слыхал, но не знаком.

— Черт, я думал, ты видел... мне говорили, кто-то из них сегодня должен быть здесь. Слушай, а ты сам сейчас работаешь?

— Работаю, конечно. А что случилось?

— Впрочем, да, ты же все равно радист, — Костылев досадливо хмыкнул. — Понимаешь, позарез нужна хорошая бригада — человек десять, механики, слесари... Я такой контракт наколол, с ума сойти. Золотое дно!

— На выезд?

— В том-то и дело, что нет! Здесь, полчаса ходу от Констительюшн Плейс... Здоровенная кондитерская фабрика — да ты знаешь наверняка, «Нозль» — шоколад, фруктовые консервы, всякая такая хреновина... Извини, я на минутку!

Сорвавшись с места, он отошел к одному из дальних столиков, поговорил там, потом вернулся и сел, нервно барабаня пальцами.

— Год дэм! Начинать нужно срочно, работы непочатый край, там половину оборудования надо менять к едреной матери... а людей нет!

— Я спрашиваю у ребят, — сказал Полуниин. — Как плата?

— Плата будет о'кэй, — заверил Костылев, жадно оглядывая группу вновь вошедших. — Двенадцать тугриков в час! И работать хоть по двадцать часов — дело аккордное, — ни один синдикат не пригребется... Слушай, Майкл, ты им скажи, год дэм, это же золотой заработок, каждый будет иметь верных полторы тыщи в кинсену<sup>2</sup>. А работа большая, примерно на год, не меньше...

— Хорошо, если увижу кого-нибудь.

— На вот, раздашь им мои карточки, тут телефон, пусть звонят хоть среди ночи...

— А что, Володька, не слишком это хлопотное дело — иметь собственный бизнес?

Костылев ухмыльнулся самодовольно.

— А что ты предлагаешь? Ишачить на чужого дядю? Не моя линия, Майкл. Хлопот выше головы, ты прав, но зато сам себе хозяин: лет пять еще повкальваю тут, загребу мани и — в Штаты. А уж там-то я развернусь, будь спок...

В буфетной становилось все многолюднее, Костылев увидел кого-то из знакомых и снова исчез. Рад небось, что признали бизнесменом, — вроде бы и в шутку сказано, а все же. Полуниину подумалось вдруг, что жалкое какое-то впечатление производят эти эмигрантские «дельцы», из кожи вон лезущие — хоть отдаленно уподобиться здешним, настоящим, издавна<sup>3</sup> и надежно укорененным, никогда не носившим клейма беженства и бездомности. «Уж там-то я развернусь!» — будто он один об этом мечтает, каждый ведь спит и видит рано или поздно сколотить собст-

<sup>1</sup> Refineria — нефтеперегонный завод (исп.)

<sup>2</sup> Quincena — пятнадцатидневка (исп.)

венную фирму и обзавестись капиталом, правдами и неправдами втереться в местные деловые круги, слиться наконец с этим блистательным миром банков, импортно-экспортных компаний, обществ с ограниченной ответственностью, трестов и консорциумов, — миром таким близким — вот, вот он, совсем рядом! — и таким недосягаемым... Все ведь они, скорее всего, в глубине души отлично понимают, что он им действительно не по зубам, что мечта так и останется мечтой, что никому из них не заседать в каком-нибудь административном совете, не ездить в лимузине с шофером в фирменной livрее, не встречаться за картами в Жюккее-клубе с директором «Банко Насьональ» или управляющим «Бунхе и Борн». И что весь «бизнес» так и останется шакалей погоней за объедками — бросовые контракты, субподряды, мелкое маклерство. Словом, игра в деловую жизнь. Как и все другие эмигрантские игры — в политику, в журналистику, в армию...

В самом деле, разве одни только «бизнесмены» вроде Костылева производят жалкое впечатление? Нисколько не лучше и другие — те, что устраивают съезды и конгрессы, издают на пожертвования еженедельные четырехполосные газетки тиражом в две-три тысячи экземпляров, глубококомысленно обсуждают (до сих пор!) причины поражения Врангеля и «легитимность прав» того или иного претендента на российский престол, производят поручиков в капитаны. Такое же убогое лицедейство, подделка под настоящее. Чтобы все было как у людей — как у аргентинцев, у французов, у американцев... Ведь вот тот же Володька, — мужику, слава богу, чуть ли не под сорок, и не такой уж от природы дурак, а ведет себя как мальчишка: жевательная резинка, галстуки с голыми бабами, отечественная матерщина вперемешку с американским сленгом, нахватанным у морских пехотинцев где-нибудь на Филиппинах; даже походка, медлительная и вразвалочку (если не суетится, как сегодня), и та скопирована с какого-нибудь шерифа или ковбоя в плохом вестерне...

За дверьми «красной гостиной» еще громче зашумели, закричали, послышался взрыв аплодисментов. Потом задвигали стульями. Двери распахнулись, и показался сам его превосходительство в сопровождении адъютанта, виновника сегодняшнего торжества.

Генерал Смысловский-Регенау-Хольмстон, бывший денкинский контрразведчик и один из руководителей гестаповского «Зондерштаба Р» в оккупированной Варшаве, внешность имел самую заурядную. Плотный, среднего роста мужчина лет под шестьдесят, вида властного и уверенного в себе, — но не больше; встретив на улице этого господина в немодном двубортном костюме, всякий принял бы его за обычного дельца средней руки. Бог, вопреки известному правилу, явно не пожелал метить эту незаурядную шельму, словно облегчая ей профессиональный камуфляж.

Зато уж про адъютанта сказать этого было нельзя. Глянув на него, Полуниин снова подумал, что такой богомерзкой рожой ему видеть не приходилось даже у охранников в шталагах.

Он был, вероятно, его ровесником — лет тридцати пяти; высокий, спортивного сложения, с большими мосластыми руками, поросшими рыжеватым пухом. На голове у Кривенко тоже произрастал какой-то пух — то ли волосы были слишком редки, то ли он их слишком коротко стриг, но впечатление создавалось чего-то голого и неоперившегося; впечатление неясное, потому что при первой же попытке внимательнее присмотреться к внешности генеральского адъютанта любопытный встречался с его глазами — и тут же терял всякое желание изучать волосистой покров.

Собственно, у Кривенко были не глаза, а смотровые щели, глубоко упрятанные под массивным лобовым скосом; ниже помещалась еще одна щель — рот, безгубый, широкий от природы и еще больше растянутый в улыбке, потому что адъютант всегда улыбался, и притом любезно; а посредине — нос, расплющенный и сломанный, как у боксера. Эта всегдашняя улыбочка и делала лицо Кривенко особенно страшным.

Проходя с генералом через буфетную, новоиспеченный капитан огляделся, увидел Полунина и, заулыбавшись еще шире, сделал успокаивающий знак — сейчас, мол, одну минутку...

Чего Полунин никогда не мог понять, так это дружелюбия, которое Кривенко всегда проявлял в отношении к нему. За все эти годы он едва ли обменялся с адъютантом Хольмстона и дюжиной фраз, раза два-три они случайно оказывались вместе в какой-нибудь компании, обычно же встречались, как все, — в клубе, на балу. И всякий раз поручик словно напрашивался на дружбу. Какая-то симпатия с первого взгляда, что ли, черт его знает. Бывает ведь, и паук привяжется к человеку.

Проводив начальство, Кривенко вернулся и прошел прямо к его столу. Полунин, не вставая, лениво протянул руку.

— Ну что, гауптман,<sup>1</sup> поздравляю. Солдат, как говорится, спит, а служба идет? И чины набегают. Так, гляди, и до генерала дослужишься...

Кривенко горячо ответил на рукопожатие, даже в порыве чувств обхватил его ладонь обеими руками.

— Спасибо, Полунин, спасибо... мне очень приятно!

— Садись, выпьем.

— Водка? — Кривенко взял графин, понюхал. — Здешняя? Брось, это же моча, у меня там горячее классом выше... Федорчук! — гаркнул он, не оборачиваясь.

— Не надо, — сказал Полунин, — предпочитаю не смешивать.

Капитан мановением руки отпустил подскочившего ординарца и сел за столик. Они допили водку, поговорили о том о сем.

— Давай-ка выйдем на воздух, — предложил Полунин. — Накурено — дышать нечем.

Они прошли через темный танцевальный зал, вышли на балкон. Вечер был теплым, но в воздухе уже пахло осенью, шел мелкий дождь, и внизу, под фонарем, мокро поблескивали листья, словно вырезанные из желтой лакированной клеенки и расклеен-

<sup>1</sup> Hauptmann — капитан (нем.).

ные по асфальту. Полуниин сел на перила, зацепившись носками туфель, откинулся назад, ловя лицом дождевую прохладу.

— Свалишься, осторожно, — сказал капитан. — Ты что, перебрал?

Полуниин выпрямился.

— Кривенко, — сказал он неожиданно протрезвившим голосом, — знаешь ты такую контору — ЦНА? <sup>1</sup>

— ЦНА, — неуверенно повторил тот. — Это по-испански, что ли?

— По-испански. А по-русски — «Национальное антикоммунистическое командование».

— Ах, зо-о-о, — протянул Кривенко. — Да, я о них слышал. Стороной, правда. Они что, имеют отношение к «Альянсе»? <sup>2</sup>

— Это и есть «Альянса». Ее, так сказать, второе лицо. Скажи, капитан, тебе никогда не приходило в голову, что этот ваш знаменитый генерал просто старая задница?

Адъютант долго молчал.

— Слушай, Полуниин, — сказал он наконец. — Я к тебе очень хорошо отношусь, не знаю даже почему. Ну, просто ты мне всегда казался стоящим мужиком, понимаешь? Так вот, я хочу предупредить, во избежание разных потом недоразумений: генерала ты мне не трожь. Ферштейн?

— А на хрен мне, пардон, твой генерал? Я его трогать не собираюсь, а мнение свое о нем высказал и могу повторить. Старая задница, понимаешь? Вы уже сколько лет в Аргентине? Пять, почти шесть, да? Великолепно! А дальше что, господин капитан? Никто из вас над этим простым вопросом не задумывался? Между прочим, Кривенко, ты скажи — если тебе этот разговор неприятен, я не настаиваю...

— Да нет, что ты, я же не в этом смысле! Давай уж поговорим, раз начали. Ты к чему насчет этой «Альянсы» спросил?

— Так, вспомнил просто, — Полуниин пожал плечами и достал сигареты. Кривенко предупредительно щелкнул зажигалкой. — Я, в общем-то, не совсем понимаю вашего брата... Какая ни есть, а организация у вас налицо — кадры, руководство, дисциплина, все, как полагается. Ну а дальше что, я спрашиваю? Генерал ориентируется на американцев?

— Ну... скажем так, — неопределенно ответил Кривенко. На балконе, затененном от света уличных фонарей не совсем еще облетевшей кроной платана, было темно, но Полуниин видел, что собеседник буквально сверлит его своими прищуренными гляделками.

— Да, он не так глуп, ваш старик. Что ему, в конце-то концов? Деньги у него есть, а активная политика уже потеряла прив-

---

<sup>1</sup> «Comando Nacional Anticomunista» — «Национальное антикоммунистическое командование» (исп.).

<sup>2</sup> «Alianza Libertadora Nacionalista» (исп.) — «Националистический освободительный союз» — ультраправая террористическая организация в Аргентине, созданная в 1919 году для борьбы с рабочим движением.



лекательность — ею он тоже сыт по горло... Тебе никогда не приходило в голову, что он и в Аргентину приехал просто для того, чтобы уйти на покой?

— Плохо ты его знаешь...

— Допустим, — согласился Полунин. — Не спорю, тем более что он никогда меня особенно и не интересовал, этот ваш Регенау. Меня больше интересуют такие люди, как ты.

— А именно?

— Тебе-то на покой рановато, а? Или решил жениться на аргентинке и открыть алмасен?<sup>1</sup> А что, тоже идея. Из аргентинков, говорят, получают хорошие жены. Знаешь, Кривенко, мне сейчас кажется, что ты просто трус, с адъютантами это бывает... можно сказать, профессиональное заболевание.

— Слушай, не надо так, — вкрадчиво сказал Кривенко, — некоторые шутки действуют мне на нервы...

— Нервы, брат, полагается лечить вовремя, — посоветовал Полунин и зевнул. — А то станешь импотентом, это тебе еще не по званию. — Потянувшись, он развел руки и снова откинулся назад, запрокинув голову и держась носками туфель за балконную решетку. — Смотри-ка, дождь перестал!

— Сядь ты как человек, еще свалишься. Не хватает, чтобы меня потом подозревали в убийстве, хе-хе-хе...

— Тебе это будет в новинку? — Полунин засмеялся, но с перил слез. — Так вот что, капитан. Я мог бы поговорить с его превосходительством, но у меня есть одна странность: не люблю генералов. Поэтому я говорю с тобой, а ты уж можешь потом о нашем разговоре доложить или не докладывать, как угодно. Каждый, как говорится, использует обстановку в меру своих умственных способностей. Ваша организация могла бы сотрудничать с ЦНА?

— В каком плане?

— Детали потом. Сейчас я хочу знать, возможно ли такое сотрудничество в принципе? Можем ли мы рассчитывать, что вы с ними сконтактируетесь?

— Слушай, ты кого представляешь? — быстро и негромко спросил Кривенко.

— Считай, что никого. Считай, что я просто наблюдатель... со стороны.

— Но с какой, Полунин? — спросил Кривенко почти умоляюще.

— Что я не из Москвы, это ты, вероятно, и сам давно усек. А в остальные детали вдаваться не будем.

— Ты вот сказал — «можем ли мы рассчитывать». Как это понимать, «мы»?

— Да никакие не «мы», я просто оговорился. Не мы, а я! Я как частное лицо. Можешь ты ответить на мой вопрос?

— Как частному лицу? — переспросил Кривенко с ухмылкой.

---

<sup>1</sup> Алмасен — бакалейная лавка (исп.)

— Именно. И не тяни резину, ты же военный человек, едрена мать!

— Так ведь, понимаешь... Вопрос-то сложный, тут с кондачка не ответишь...

— А я не заставляю тебя что-то обещать или заранее на что-то соглашаться, — Полунин пожал плечами. — Меня пока твое мнение интересует. Тебе самому такое сотрудничество кажется перспективным?

— Я бы, вообще, не прочь... но не думаю, чтоб генерал на это пошел. Видишь ли, он считает, что нам лучше пока не вмешиваться во внутренние дела Аргентины...

— Вот оно что! Умен его превосходительство, ничего не скажешь, умен, — Полунин покачал головой. — Ну а ты, Кривенко, ты тоже считаешь, что борьба с коммунизмом — это всего лишь «внутреннее дело» той страны, где ты в данный момент находишься?

В его голосе прозвучала ирония, от которой капитану стало не по себе.

— Да нет, что ты, — торопливо заговорил он, — в этом смысле — нет, конечно, я все понимаю! Тут другое... это ведь нас может связать в какой-то степени, и если потом вдруг...

— Если вдруг явится фельдъегерь из Пентагона и вручит генералу пакет за пятью печатями? Успокойся, Кривенко, не явится. Не вручит. Ты хоть немного знаком с американской системой подготовки спецкадров?

Ответа на этот вопрос не последовало, Полунин тоже помолчал и закурил новую сигарету — опять от капитанской зажигалки, молниеносно вылетевшей из кармана.

— Для твоей же пользы, Кривенко, — заговорил он негромко, — я хочу, чтобы ты понял простую вещь: американцам вы и ваш генерал нужны, как хорошая дырка в голове. Ты думаешь, почему вас загнали в Аргентину? Да просто потому, что дальше было некуда. Других-то они перевезли к себе в Штаты, чтобы иметь под рукой... разных там поляков, эстонцев и прочих. А вас — сюда! И еще скажи спасибо, что не в Патагонию, не на Огненную Землю... Нет, Кривенко, на американцев вам рассчитывать не приходится, вы ведь для них, скажем прямо, тоже не подарок. Знаешь, с кем они сейчас предпочитают иметь дело? С теми, кто во время войны — хотя бы формально — был на стороне союзников. Скажем, поляки-андерсовцы — что против них скажешь? Герои Монте-Кассино, солдаты демократии; вот они и сейчас «за демократию». Все последовательно. Или какие-нибудь там прибалты, или четники Драже Михайловича, — формально они все чисты, тут к ним не придерешься, это тебе не усташи какие-нибудь. А вы, Кривенко, дело совсем другое; вы — это «Зондерштаб Р», гестапо, СС. Да американцы просто побоятся иметь дело с вашим генералом, хоть он себе и придумал третью фамилию, английскую...

— Я что-то не пойму, к чему ты это все...

— К тому, что не надо быть лопухами, господин капитан. Вам

и вашим людям посчастливилось не только уцелеть после поражения, но и попасть в страну, которая всю войну тайно помогала Германии, а сейчас числится среди союзников-победителей. Это редчайшая ситуация, капитай, но ни у кого из вас не хватает ума ее использовать. Действительно, вы все лопухи в этом вашем... «Суворовском союзе», или как там вы себя называете.

— Ну а если ближе к делу?

— Я тебе это и предлагаю, елки зеленые! Так ведь ты, адъютант, без его превосходительства и шагу не смеешь ступить... видите ли, «генерал не согласится», «генерал на это не пойдет», — да у тебя, черт возьми, своя голова есть или нет? Брось ты равняться на генерала, — я тебе сказал уже, генерал свое взял от жизни, чего ему еще теперь надо? Живет в спокойной стране, счет в банке есть, женат на красивой молодой бабе... его уже никаким риском не соблазнишь. Но ты-то — дело другое! Тебе нужно думать о своем будущем или нет? Или так и собираешься всю жизнь холуйствовать в адъютантах, покупки носить за пани Иреной? Ну, смотри, дело вкуса...

— Айн момент, — сказал Кривенко. — Ты, Полунин, не путай разные вещи. Я тебе сказал насчет генерала, когда ты спросил про организацию. Ты спросил, может ли «Суворовский союз» сотрудничать с этими аргентинцами, верно? На это я тебе ответил, что я не глава Союза и не могу решать такие вопросы. Если же ты говоришь обо мне лично... ну, или там о какой-то группе моих — лично моих — ребят, то это дело совсем другое. Тут мне не обязательно согласовывать это с генералом.

— Слава богу, разродился, — грубо сказал Полунин. — Именно это я и хотел знать, а как там вы будете решать между собой и что у тебя считается «организацией», а что — «группой лично твоих ребят», это меня меньше всего интересует. В общем, если хочешь, я тебя на днях сведу с одним человеком.

— Можно, — не очень решительно согласился Кривенко.

— Только ты вот что: будешь с ним говорить, не хмыкай и не пожимай плечами, там этого не любят. И вообще им нужны люди, способные действовать, а не ковырять в носу. Понял?

— Понял, так точно! — отчеканил адъютант.

— Запиши телефон, позвонишь мне завтра, часов в одиннадцать вечера...

Тяжелая, бронированная изнутри дверь штаб-квартиры «Национального антикоммунистического командования» явно была рассчитана и на психологический эффект. Этой же цели служила, по-видимому, и красная лампочка где-то сбоку, которая начала лихорадочно мигать, как только дверь захлопнулась за Полуниним. Верзила в голубой рубашке, с кольцом в расстегнутой кобуре, вырос перед ним, преграждая путь:

— Вам кто нужен?

— Мне? Мне нужен сеньор Гийермо Келли. Есть у вас такой?

— По какому вопросу?

Полунин подмигнул:

— Сожалею, дружище, государственный секрет! Вы лучше звякните там по своему интеркому, что к дону Гийермо прибыл человек из Монтевидео...

Охранник скрылся в телефонной будке, рядом с Полуниним тут же оказался другой, такого же роста.

— Солидная штука, — сказал Полунин, одобрительно разглядывая дверь. — Прямо как в Национальном банке. И часто вам тут приходится выдерживать осады?

— Выдержим, когда понадобится, — мрачно заверил верзила.

Его напарник вышел из кабины, глядя на Полунина подозрительно.

— Оружие есть?

— Не имею привычки носить с собой, даже в разобранном виде.

— Все равно придется вас обыскать, таково правило.

— Что ж, не могу отказать в этом удовольствии, только чтобы без щекотки — иначе, ребята, я за себя не ручаюсь...

Он балагурил, пытаясь заглушить ощущение опасности и замаскировать неуверенность, которая овладевала им все сильнее; по правде сказать, он уже почти жалел, что ввязался в эту авантюру. Там, в безопасном Монтевидео, все казалось просто; сценарий был одобрен не только шалопутным Лагартихой (тот и сам готов лезть на рожон против чего угодно), но и доктором Морено, человеком солидным и рассудительным... Впрочем, что Морено? Он-то остается в стороне, Филипп правильно заметил: для старика это развлечение, своего рода шахматы; но каково быть пешкой? Да ведь его, в случае чего, отсюда и не выпустят — вон мордороты какие, придушат и глазом не моргнут...

— Послушайте, — сказал он, подставляя охраннику другой бок, — а вот такой у меня вопрос: неужто вы и дамочек так же? Райская у вас тут жизнь, че, прямо хоть самому сюда просись... Или дамы избегают вас посещать?

Не удостоив его ответом, охранник закончил поверхностный обыск, отошел к столу и нажал кнопку. Лампочка перестала мигать, а по лестнице спустился еще один синерубашечник.

— Проводи к соратнику Келли, — сказал тот, что обыскивал. — Вы, ступайте с ним! По пути не задерживаться, по сторонам не глазеть, ясно?

— Амиго, вы отстали от века, — доверительно отозвался Полунин. — У меня в каждой пуговице кинокамера кругового обзора. И все заряжены инфракрасной пленкой!

Весело насвистывая, он в сопровождении стража поднялся на третий этаж, миновал коридор с окрашенными в бурый цвет стенами, маленькую комнатку, где один синерубашечник крутил ручку ротатора, а другой пересчитывал пачки увязанных брошюр; потом еще коридор. У одной из дверей охранник велел Полунину остановиться и поправил пояс с кобурой. Постучав-

шись и получив ответ, он распахнул дверь и вскинул руку в фашистском приветствии:

— Бог и Родина! Соратник, к вам человек с первого поста!

— Пусть войдет, — послышалось изнутри.

Охранник постороился, и Полунин вошел в небольшой кабинет. За письменным столом, спиной к окну, сидел худощавый, его возраста, человек, скорее европейского обличья — с бритым лицом и светлыми, расчесанными на косой пробор волосами.

— Очень рад — Келли, — представился блондин, протягивая руку Полунину. — Сеньор?..

— Мигель. Из Монтевидео, от доктора.

— Да-да, я понял... Прошу садиться, прошу. Курите?

— Спасибо...

Полунин сел, чуть отодвинув кресло от стола, закинул ногу на ногу и неторопливо закурил, разыгрывая этакого супермена. Самообладание, впрочем, и в самом деле вернулось; он даже удивился, заметив, что пальцы совершенно тверды, и не откавал себе в мальчишеском удовольствии продемонстрировать это хозяину кабинета, протянув зажигалку и ему. Так же бывало в маки — в последний момент, как бы перед тем ни волновался, всегда удавалось зажать нервы в кулак. Пустив к потолку длинную струю дыма, он огляделся с непринужденным видом. Широкое, ничем не занавешенное окно выходило на крыши с телевизионными антеннами, у одной стены стоял большой книжный шкаф, другую украшали три портрета: в центре — Пий XII в белой камилавке, а по сторонам — чуть ниже — Адольф Гитлер и Хуан Доминго Перон. Обстановка была подчеркнута спартанской.

Келли позвонил, из боковой двери тотчас же появилась кукольно хорошенькая девушка в очень тесной юбке и голубой, как и у охранников, форменной рубашке с белым галстуком и серебряным изображением распростершего крылья кондора — символом «Альянсы». Сам Келли был в обычном темном костюме, обязанность носить форму на руководство явно не распространялась.

— Пожалуйста, соратница, кофе, — сказал он. — И покрепче!

— Какая приятная неожиданность, — Полунин, улыбаясь, подмигнул в сторону двери, за которой скрылась соблазнительная синерубашечница. — Я думал, в ваш орден нет доступа женщинам... Представлял себе вас чем-то вроде тамплиеров, ха-ха-ха!

— Ошибка! — Келли тоже улыбнулся и предостерегающе поднял палец. — Это Морено говорил вам об ордене? Умный человек, но некоторые вещи от него ускользают. Орден, дон Мигель, это всегда нечто эзотерическое, замкнутое в узком кругу; мы же представляем собой движение. Движение, которое рано или поздно — я в это верю — объединит всех аргентинцев, независимо от их общественного положения, — всех, кому не безразлична судьба нации. Зачем же исключать женщин из этого числа? Сегодняшняя аргентинка, смею вас уверить, не хуже нас с вами понимает необходимость защищать вечные ценности христианской культуры, которым грозит все большая опасность как со стороны откровенно атеистического марксизма, так и со стороны растлен-

ной и лицемерной плутократии доллара. Кстати, учтите вот еще что: именно женщина — как воплощение консервативно-охранительного материнского начала — особенно болезненно ощущает малейшее неблагополучие в этой сфере... Ведь кто в первую очередь страдает от современного падения нравов, от алкоголизма и наркомании, от распада семейных связей? Опять же они, женщины. Нет-нет, дон Мигель, не следует недооценивать их политического потенциала, вспомните хотя бы историю... В принципе, любая из наших подруг может стать Жанной д'Арк — если судьба призовет...

Не прошло и пяти минут, как потенциальная Жанна д'Арк появилась снова, теперь уже с подносом в руках. Разлив кофе, соратница дона Гийермо Келли кокетливо улыбнулась Полунину и вышла, цокая острыми каблучками и раскачивая бедрами, как Мэрилин Монро в «Ниагаре».

— Итак, что нового за рубежом? — осведомился Келли небрежным тоном.

— Мне поручено передать вам, что в тамошней аргентинской колонии появилось несколько новых лиц, — сказал Полуниин. — В основном студенты, из университетов Кордовы, Буэнос-Айреса и Ла-Платы.

— Такая информация должна скорее интересовать органы федеральной полиции, — заметил Келли. — Не понимаю, почему Морено направил вас ко мне.

— Это не просто эмигранты, — возразил Полуниин и отпил из своей чашечки. — Соратница умеет варить кофе, поздравляю.

— Спасибо. Дело еще и в сорте — настоящий «Оуро Верде», мне его присылают прямо из Сан-Паулу. Что вы хотите сказать, «не просто эмигранты»?

— Видите ли... Морено считает, что это первый случай появления коммунистов в среде студенческой оппозиции. До сих пор там преобладали католики справа и анархо-синдикалисты слева... если не считать троцкистов.

Келли молча допил кофе и налил себе еще.

— Будьте как дома, дон Мигель, наливайте себе сами. Почему Морено считает, что теперь коммунисты действительно появились?

— Это установлено.

— Кем?

— Ну... — Полуниин пожал плечами. — Скажем, мною!

Келли опять помолчал.

— А если расшифровать? — спросил он, улыбаясь.

Полуниин тоже улыбнулся.

— Не надо пока... расшифровывать, — сказал он убеждающе.

Они сидели, смотрели друг на друга через стол и широко улыбались — словно два старых приятеля, которые встретились после долгой разлуки и еще не нашли слов, чтобы выразить радость этой встречи. Потом Келли начал смеяться, все громче и громче; словно заразившись смехом, захохотал наконец и Полуниин.

— Довольно! — заорал вдруг Келли и грохнул кулаком по

стола; случайно или нарочно, рука его сдвинула при этом беспорядочно нагроможденные бумаги, и из-под них высунулось черное рыльце кольта. — Вы что, загадки сюда пришли загадывать?

Полунин перестал смеяться не сразу.

— Спокойно, спокойно, — сказал он, утирая глаза платком. — Не хотите мне верить — не надо. Я не настаиваю! Только послушайте совета: не держите на столе эту дрянь, если у вас не в порядке нервы. Пистолет не новый, вон, на конце ствола даже воронение стерто, — значит, до вас он мог побывать во многих руках; вы уверены, что у него не подпилено шептало? Некоторые идиоты подпиливают, особый гангстерский шик — чтобы спуск срабатывал от легчайшего прикосновения. Я вот помню случай с одним неврастеником — тоже так стукнул кулаком по столу, а пистолет от сотрясения выстрелил. Зачем рисковать?

Келли выгреб из-под бумаг кольт и сунул его в ящик.

— Он был на предохранителе. Извините, я погорячился, но так разговор не пойдет — я должен знать, с кем имею дело.

Полунин, глянув на него изумленно, допил кофе.

— Дело? Мы с вами никаких дел не имеем и, надо полагать, иметь не будем. Я пришел передать вам информацию, которую мы с Морено сочли нужным довести до вашего сведения. Что я, прошусь к вам на службу? Или жду денежного вознаграждения? Очень жаль, сеньор Келли, но так, пожалуй, разговор действительно не пойдет.

— Хорошо, я же сказал — я погорячился, — повторил Келли и снова наполнил его чашку.

Но теперь горячиться начал Полунин:

— Какого черта, в самом деле! Там, внизу, меня лапает какой-то кретин, ищет оружие, дает идиотские указания: «не задерживайтесь, не смотрите по сторонам», — на чем воспитываются ваши кадры, хотел бы я знать, на комиксах? А здесь вы начинаете на меня орать, стучать по столу... Да будь я трижды проклят! Единственное, что меня примиряет с увиденным здесь, это ваша секретарша. Можно ее телефон?

Келли опять заулыбался, видя, что инцидент исчерпан.

— Сожалею, дон Мигель. Она, как бы это сказать, zaangażована.

— Надолго?

— В общем, да. Итак, дон Мигель, продолжим, если вы не возражаете. Так что там с этими коммунистами? Чем они заняты?

— Налаживают контакты. Собственно, доктора это и беспокоит. Вы ведь понимаете, что, если здешние красные решат — и сумеют — всерьез сконтактироваться с католиками, сеньору президенту останется только упаковывать чемоданы...

— Не нужно смотреть так мрачно.

— Смотреть нужно трезво. Католики — это вооруженные силы, прежде всего флот и авиация. Ну а коммунисты — это, как вам известно, народ.

— Не всякие. Коммунисты из аудиторий не имеют с народом

ничего общего, — возразил Келли. — Вы когда-нибудь видели студента из рабочей семьи? Или из семьи арендатора?

— Тут вы правы, — кивнул Полунин. — Я ведь не случайно сказал: если они решат сконтактироваться всерьез; пока это не серьезно. Но это уже симптом, и довольно тревожный.

— Допустим. Что предлагает Морено?

— Держать глаза хорошо открытыми. Разумеется, никаких акций... чтобы не спугнуть птичек раньше времени. Это первое. Второе — доктор считает, что в свете того, о чем мы сейчас говорили, хорошо бы немного придержать ваших ребят.

— Что он имеет в виду?

— Ну, все эти мелкие акции, — пренебрежительно сказал Полунин, снова закуривая. — Газеты в Монтевидео пишут об этом чуть ли не каждый день... раздувая, естественно, антиаргентинскую истерику еще больше. То избиение какого-то синдикального делегата<sup>1</sup>, то налет на помещение ячейки, словом в этом роде. Доктор не уверен, что это целесообразно. Булавочные уколы, которые приводят только к озлоблению...

— Понимаю его мысль, — прервал Келли. — Но не забывайте, нам приходится думать и о практической тренировке наших кадров. Если они будут сидеть сложа руки, толку от них не дождешься. В конце концов СА в Германии тоже начинали с уличных драк.

— Возможно, вы правы, — сказал Полунин. — Просто доктор Морено считает, что вряд ли есть смысл обострять отношения с рабочими, когда обстановка в стране и без того достаточно напряжена.

— Понимаю, понимаю, — повторил Келли. — Что ж, я доведу его мнение до сведения руководства. Итак, эти красные там, в Монтевидео, — кто это, конкретно? У вас есть имена?

Полунин поднял два пальца.

— Наиболее активные, — сказал он, — Освальдо Лагартиха и Рамон Беренгер. Тот и другой — студенты.

— Юристы, надо полагать? — поинтересовался Келли, записывая имена в настольном блокноте.

— Да, оба. То ли с третьего курса, то ли с четвертого.

Келли усмехнулся.

— Вам не приходилось, дон Мигель, видеть в рабочих пригородах на стенах старые лозунги: «Будь патриотом — убей студента»? Я недавно видел, в Нуэва Чикаго. Старый, краска совсем выцвела, это писали в конце сороковых. Конечно, экстремизм, но нельзя отрицать, что тут есть здоровое зерно. Боюсь, они нам еще доставят немало хлопот, все эти леворадикальные сеньоритос... которых не устраивает капитализм, но очень устраивают чековые книжки папочек-капиталистов. Знаете, дон Мигель, когда о мировой революции говорит рабочий, мне это понятно; более того, даже когда он не говорит, а действует, когда он становится моим активным врагом — я могу понять логику его поступков, могу

---

<sup>1</sup> Синдикатами в Аргентине называют профсоюзы. Делегат в данном случае — представитель профсоюза на предприятии.



испытывать к нему известное уважение. Если понадобится, я буду в него стрелять, так же как и он в меня, тут все просто и честно. Но вот эта мразь... которая приезжает на митинг в собственном «кадиллаке» — причем предусмотрительно оставляет его подальше за углом! — а потом взбирается на трибуну и начинает орать о несправедливости буржуазного общества, это вообще не человек. Это взбесившаяся вошь, которую надо давить. И самое смешное, что этим рано или поздно займутся сами рабочие, вот увидите... Ладно, мы проверим местные связи ваших студиозов.

— Кстати, по этому поводу, — сказал Полунин. — Доктор настоятельно рекомендует осторожность. Дело в том, что Лагартиха периодически появляется в Буэнос-Айресе...

— Он что, курьер?

— Вряд ли. Я думаю, его функции шире. Как бы то ни было, он может снова очутиться здесь в любой момент. Мы, естественно, постараемся вовремя вас предупредить: тогда можно будет хотя бы засечь его здешние контакты, выявить явки, адреса. Но если поднять тревогу преждевременно, нить может оборваться. Тут важно не спугнуть птичек.

— Уж это-то я понимаю, — буркнул Келли. — Никто не собирается вламываться с обысками к их родным... Речь пойдет только о наблюдении. Передайте Морено, что мне нужны фотографии.

— О! Чуть не забыл...

Полунин достал бумажник, порылся в нем и протянул Келли отрезок восьмимиллиметровой киноплёнки.

— Они здесь оба, порознь и вместе. Лагартиха — это который повыше.

Келли разыскал среди бумаг большую лупу и, повернувшись со своим вращающимся креслом к окну, принялся изучать кадры.

— Обратите внимание на тот, что снят перед Паласио Сальво, — сказал Полунин. — Шестой, если не ошибаюсь. Лагартиха там с девушкой...

— Шестой сверху или шестой снизу? А-а, вижу. Сальво есть, но девушки пока... Вы хотите сказать — рядом с ним?

— Да, просто она в брюках.

— Ах, вот что... поди тут разбери. Тоже из их компании?

— Нет, это наша. Ее посадили к Лагартихе.

— Подсадили? — Келли усмехнулся, вглядываясь внимательнее. — В таких случаях, амиго, обычно подкладывают.

— Ну, знаете, это уж ее дело — выбирать тактику. Я не стал бы связываться с агентом, который нуждается в подобного рода подсказках...

— Кто она, если не секрет?

— Немка, баронесса фон Штейнхауфен. В Уругвае с бельгийским паспортом... фамилию пришлось слегка подправить, получилось «ван Стеенховен».

— Морено, я вижу, времени даром не теряет. Умный старик, хотя и не без заскоков... — Келли повернулся к столу, нажал кнопку. Когда вошла «соратница», он протянул ей пленку. — В фотолабораторию, пожалуйста. Обычные отпечатки для архива, а пор-

треты пусть сделают шесть на девять — экземпляров по двадцать. Скажите, чтобы хорошо подобрали бумагу, мне нужна предельная четкость изображения.

— Немка, говорите, — задумчиво сказал он, когда секретарша вышла. — Гм... интересно, где он ее раздобыл. Представить себе Морено с немцами...

Горячо, подумал Полунин. Совсем горячо! А, была не была...

— Ну, баронессу-то раздобыли мы, — сказал он. — К доктору она отношения не имеет, это наши особые каналы. Но почему вы считаете, что у него не может быть контактов с немцами?

— Деловые контакты у него есть, в Западной Германии. А здешних немцев он ненавидит как чуму... И не без оснований, будем уж откровенны, — добавил Келли. — Но, конечно, личные наши симпатии...

Полунин, заинтересованный еще больше, подождал конца фразы — и не дождался.

— В том-то и дело, — сказал он осторожно. — Иногда для пользы дела с кем только не приходится... Поэтому я не удивился бы, узнав, что доктор решил поближе познакомиться с немецкой колонией, последнее время его заметно беспокоит проблема иностранцев.

— Что вы имеете в виду?

— Посудите сами — кого только не понаехало сюда за десять послевоенных лет...

— Наша традиционная политика, — Келли пожал плечами. — Не забывайте, Аргентина создана иммигрантами. Они и до войны ехали.

— Верно, и все же есть существенная разница. До войны ехали в поисках работы, в поисках свободной земли для колонизации, эти иммигранты хлопот не доставляли. А после сорок пятого года сюда хлынули политические беженцы, или, скажем точнее, люди, ставшие беженцами в силу политических факторов. Это насколько меняет картину, вы согласны? Мы тут как-то говорили с доктором о русских... Я ведь, кстати, и сам русский...

— Вот как, — в голосе Келли прозвучало замешательство. — Я-то сразу понял, что вы не местный уроженец, но... Белый русский, надо полагать?

— Не красный же, каррамба!

— Разумеется, разумеется... Так что вы начали говорить о русской колонии?

— Ну, это как пример. Дело не только в русских, есть еще поляки, прибалты, балканцы — огромное количество выходцев из Восточной Европы, людей совершенно загадочных, о которых никто ничего толком не знает. Доктор считает это серьезным упущением — оставлять их без надлежащего контроля. Особенно, конечно, русских... по вполне понятным причинам. Не мешало бы, скажем, иметь хотя бы приблизительную картину их настроений, новизностей политической ориентации, ну и так далее.

— В принципе он прав, — согласился Келли. — Но это не так просто осуществить.

— Простите, не вижу никакой проблемы. Несколько хороших информаторов, и вы всегда будете в курсе.

— Да, но... Хорошие информаторы, дон Мигель, на улице не валяются.

— Вероятно, дон Гийермо, вы их просто не искали.

Келли помолчал, поиграл лупой, переложил на столе бумаги.

— Хотите предложить свои услуги? — спросил он поскучневшим голосом.

— Кто, я? — Полуниа от души рассмеялся.

— А почему бы и нет, собственно? Я понимаю, что вы не станете сами бегать и вынюхивать по углам, — речь идет о создании агентуры...

— Увольте, амиго, — Полуниа допил остывший кофе и снова закурил, непринужденно откинувшись на спинку кресла. — Я работаю в несколько ином плане... И в иных масштабах, если уж быть откровенным до конца.

— Ну, знаете, насчет откровенности...

— Что делать, дон Гийермо; в нашей профессии есть свои правила игры. Я ведь тоже знаю о вас далеко не все, а односторонняя откровенность здесь неуместна. Впрочем, некоторую информацию обо мне — в разумных границах, естественно, — вы можете в любой момент получить от доктора. Вы ведь, кажется, время от времени посещаете Монтевидео?

— Да, посещаю, — рассеянно отозвался Келли. — Вернее, посещал. Последнее время приходится избегать мест, где слишком много наших эмигрантов... вроде вот этих двоих. Скажите, а вы вообще живете в Уругвае или здесь?

— Здесь.

— Давно?

— Почти восемь лет — с весны сорок седьмого.

— Все время в федеральной столице?

— Да, большей частью.

— И... чем же вы здесь занимаетесь?

— Я специалист по радиоаппаратуре и некоторым видам телефонии. Словом, слаботочная электротехника.

— Работаете в какой-нибудь фирме?

— Да я их уж много переменял — «Панасоник», «Радио Сплендид», «Вебстер Архентина». Одно время имел маленькую собственную мастерскую по ремонту приемников.

— Почему «имели»?

— Продал, ну ее к черту. Слишком хлопотно.

— Зато какое надежное прикрытие! Да, жаль, дон Мигель, что вы не хотите нам помочь...

— Почему не хочу? — Полуниа пожал плечами. — Я сказал, что не могу снабжать вас нужной информацией, и этого я действительно не могу. Но я, если хотите, могу познакомить вас с человеком, который вполне годится для такой работы.

Келли помолчал, глядя на него задумчиво.

— Он вполне надежен?

— Вполне надежных людей нет, дон Гийермо, уж вы-то должны это знать. Но человек, о котором я говорю, служил в войсках СС.

— О, даже так... И он тоже русский?

— Во всяком случае, носит русскую фамилию и разговаривает по-русски.

— Великолепно. В делах колонии ориентируется?

— Надо полагать... если живет в ней. К тому же он не один, с ним тут группа единомышленников... соратников, если хотите. Слушают его, как новобранцы капрала. Впрочем, там и в самом деле сохранилась еще немецкая армейская дисциплина.

— Слушайте, да это прямо находка,— недоверчиво сказал Келли.— И вы уверены, что он согласится работать с нами?

— Да, если я ему... посоветую.

— Непременно, непременно... посоветуйте, ха-ха! Пусть приходит прямо сюда. Надеюсь, он говорит по-кастильски?

— Во всяком случае, вы друг друга поймете. Хорошо, я его к вам пришлю...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В среду Полунин встретился с Кривенко и дал ему окончательные инструкции. С делами было закончено, обратный билет в Монтевидео он взял на воскресный вечерний рейс; остаток недели он мог провести с Дуняшей.

Жила она в небольшом немецком пансионе на улице Крамер, в Бельграно. Пока электричка с грохотом пересчитывала мосты, проносясь по виадукам мимо парка Палермо, он снова попытался разобраться в их отношениях, и снова из этого ничего не вышло. Впрочем, может, тут и разбираться было нечего; вся эта история могла выглядеть и очень сложной и очень простой — все зависело от точки зрения.

Вероятно, они все-таки по-настоящему любили друг друга, во всяком случае им было хорошо вместе, и даже ссоры — а ссориться Дуняша умела — обычно не приводили к долгим размолвкам. В то же время, надо полагать, она продолжала любить и своего «мистического супруга», хотя иногда под настроение ругала его на трех языках и кричала, что не пустит и на порог, пусть только посмеет теперь явиться, крапюль<sup>1</sup>. Но что будет, если злосчастный крапюль вернется и в самом деле, Полунин представить себе не мог совершенно.

Судя по тому, что она о нем рассказывала, Ладушка Новосильцев был действительно человеком без царя в голове. Родившийся, как и Дуняша, во Франции, он кое-как доучился до бакалавра, безуспешно пытался поступать в разные институты и наконец окончил какие-то коммерческие курсы, где готовили то ли коммивояжеров высшего класса, то ли специалистов по изучению рынка, то ли просто шарлатанов. Получив диплом, Ладушка по-

<sup>1</sup> Старпюле — негодяй (фр.).

чувствовал себя таким конкистадором, немедленно женился на своей бывшей однокласснице и, прихватив юную супругу, ринулся завоевывать Южную Америку.

Какой-то умник рассказал им в Париже, что на аргентинцев безотказно действует внешний блеск, — если, мол, человек там хочет добиться успеха, он должен уметь пускать пыль в глаза. Чего-чего, а этого уменья Ладушке было не занимать. Обобрав родственников, он одел жену как картинку, сшил себе два модных костюма, купил дюжину итальянских галстуков натурального шелка; по прибытии в Буэнос-Айрес они сняли двухкомнатный люкс в «Альвеар-Паласе». Ровно через неделю им пришлось перебраться в дешевый пансион возле самого порта, а еще через десять дней Дуняша продала свои парижские туалеты и пошла работать на кондитерскую фабрику. Супруг ее сидел тем временем дома и вел телефонные переговоры с разными фирмами.

В конце концов, правда, он тоже пошел работать, но и это получилось у него не по-людски. Единственное, что он умел делать действительно хорошо, это водить машину; поработав несколько месяцев на грузовике, Ладушка впал в меланхолию и стал говорить о загубленной жизни. И тут ему в одном баре встретился какой-то местный прохиндей, набравший добровольцев в труппу «адских водителей» для гонок с опасными трюками. С этим прохиндеем Ладушка и исчез из жизни своей супруги. Впрочем, год спустя он написал ей откуда-то из Эквадора, что труппа распалась, а сам он «уже почти создал» фирму по экспорту бальсовой древесины, и скоро все будет хорошо. Это письмо было последним.

А сама Дуняша на фабрике не задержалась. Скоро ее устроили в художественную мастерскую — разрисовывать абажуры; потом она занималась росписью тканей, потом познакомилась с одной русской из Вены — та была художником-дизайнером, создавала модели ювелирных изделий. Увидев Дуняшины рисунки, венка взяла ее к себе в ученицы. Теперь, вот уже больше года, Дуняша работала самостоятельно. Полуниин в этом ничего не понимал, но ее фантазии были красивы и необычны. Он думал иногда, что эта странная, словно выдуманная профессия подходит ей как нельзя лучше — Дуняша ведь и сама была какая-то немного приснившаяся...

Здание пансиона стояло в глубине большого сада, вороха желтых шуршащих листьев заваляли дорожку. День был ясный, солнечный, но прохладный и весь словно притихший. «Нужно куда-нибудь уехать до воскресенья», — решил Полуниин, идя к дому.

Фрау Глокнер, хозяйка, встретила его в холле подозрительным взглядом и нехотя ответила, что да, фрау Новозильцефф у себя в комнате, аبع... Что «но», Полуниин дослушивать не стал; скорее всего, старая ведьма опять стала бы напоминать ему о репутации своего заведения.

Когда он вошел, Дуняша не повернула головы. Она сидела за своим рабочим столом, у окна, в халатике и непричесанная, как-то ужасно по-бабьи подперев ладонью щеку.

— Здравствуй,— сказала она, не оборачиваясь, своим низковатым певучим голосом.— Это ведь ты, да? Я по шагам узнала. Ты меня поцелуй куда-нибудь, ну хоть в макушку, только в лицо не заглядывай, я нехороша нынче. И извини, что голая сижу, лень одеваться...

Полунин подошел, поцеловал, как было велено, и положил руки ей на плечи.

— Может быть, все-таки загляну?

— Ох нет, правда, не нужно. Ну, или смотри, только я глаза закрою...'

Он посмотрел и поцеловал в нос, потом в крепко зажмуренные глаза.

— Выдумываешь, Евдокия,— сказал он,— такая же ты, как всегда.

— Не выдумываю вовсе, просто ты в глаза мне не посмотрел, ну и слава богу. Ты когда вернулся?

— В воскресенье. А что у тебя с глазами?

— Все-таки ты монстр, один настоящий монстр, приехал в воскресенье и до сих пор таилс! А с глазами ничего, просто у меня настроение скверное, и я не хочу, чтобы ты видел.

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, так просто...

— Я в воскресенье тебе звонил, несколько раз.

— Правда? А я в Оливос ездила, к Тамарцевым. У них такое делается! Получили аффидэйвит<sup>1</sup> из Штатов и теперь не знают, как быть. Серж говорит — из Аргентины надо уезжать, скоро здесь будет революция, а Мари не хочет. Здесь, говорит, я хоть за детей спокойна, а там из них сделают гангстеров. Показывала «Новое русское слово» — действительно, один страх! Убивают прямо среди бела дня. В общем, расстроилась я ужасно. И вообще все как-то плохо. Осень вот, видишь...

— Ну и что? Отличный день, можно куда-нибудь поехать.

— Да, но в Париже сейчас весна,— сказала она с упреком, словно он нес за это личную ответственность.— Я осень люблю, но мне от нее грустно. И потом я имею два неосуществимых желания.

— Каких?

— Во-первых, плюнуть на голову мадам Глокнёр...

— За что? — спросил он озадаченно.

— Просто так. Уверена, она там у себя в Германии была содержательницей борделя. Ненавижу!

— Но что она тебе сделала?

— Что сделала, что сделала! — Дуняша пожалла плечиками.— Как будто обязательно нужно, чтобы тебе что-то сделали. Она смотрит на меня такими глазами... словно подозревает в семи смертных грехах.

— На меня она посмотрела так же,— успокоил Полунин.

---

<sup>1</sup> Affidavit — поручительство, дающее право на въезд в страну (англ.).

— Вот видишь! И ты не плюнул ей на голову? Ну конечно, где тебе, ты слишком рациональный!

— Вероятно. А второе желание?

— Второе... да нет, ты будешь смеяться. Ты ведь просто не поймешь, я знаю! Ты хоть когда-нибудь меня понимал?

— Нет, но все-таки?

— Ну, хорошо, пожалуйста, могу сказать. Я бы хотела сделаться обезьяной, voilà.

Полунин немного помолчал, — Дуняшины желания иной раз и в самом деле было трудно предвидеть, и на человека неподготовленного они действовали сильно.

— Но почему именно обезьяной? — спросил он наконец.

— Понимаешь, собакой — это не очень-то эстетично, а обезьяны, они живут на деревьях, и вообще...

— Думаешь, они очень эстетичны?

— Ну, я не говорю про тех, у кого фиолетовые попки. Есть же приличные меховые обезьяны, у которых все прикрыто? Просто, понимаешь, животные гораздо лучше людей. Я в то воскресенье с батюшкой ужасно поругалась — специально после обедни к нему подошла, чтобы поговорить насчет бессмертной души у животных. Он мне потом говорит: «Недаром вас в алтарь не пускают». Тоже логика, правда? Все-таки попы ужасными бывают обскурантами, Вольтер был прав.

— А что, у животных есть бессмертная душа?

— Именно это я и хотела выяснить! Сент-Огюстен считал, что есть — коллективная. Не представляю, как они устраиваются на том свете. Что-нибудь вроде колхоза? А может, это и не Огюстен говорил, а Тертюллиан или Орижен, их было столько, этих отцов церкви, разве упомянешь. В коллеже для меня уроки религии были не обязательны, я числилась как схизматичка...

— Схизматичка?

— Ну да, православные для них все схизматики. Очень было удобно. Dis-donc<sup>1</sup>, а что ты там делаешь, в этом Уругвае?

— А я, видишь ли, поступил работать в одну экспедицию. Сейчас она перебазирована в Парагвай, а я вот сюда вырвался... купить кое-какое оборудование.

— Они ищут каучук?

— Да нет, это этнографы, изучают жизнь индейских племен. Дуняша изумленно выгнула брови.

— Но при чем тут ты?

— У них много звукозаписывающей аппаратуры, довольно сложной.

— А-а. Кстати, ты и меня мог бы когда-нибудь записать, все-таки интересно. Ты уже позавтракал?

— Да, мне нужно было встретиться с одним типом. Между прочим, Дуня...

— Да?

Полунин подумал.

<sup>1</sup> Скажи-ка (фр.).

— Слушай, тут одно довольно деликатное дело. Среди твоих знакомых в колонии есть сплетницы?

— Ба! Все решительно. Особенно княгиня. А что?

— Ты знаешь Кривенко, адъютанта Хольмстона?

— Еще бы! — Дуняша сделала гримаску. — Абсолютно отвратный тип. По-русски так говорится?

— Как?

— Отвратный!

— Лучше сказать — отвратительный. Так вот, понимаешь, этот Кривенко связан с аргентинской политической полицией...

— О! В каком смысле — связан? Он что, мушар?

— Он просто доносчик и шпион.

— Ну да, я ж и говорю. Но какая сволочь, а? И что ты хочешь, чтобы я сделала?

— Об этом надо намекнуть двум-трем сплетницам, и люди начнут его сторониться.

— Его и так сторонятся, — пренебрежительно сказала Дуняша. — Но я могу намекнуть, мне-то что.

— Только учти — это не должно исходить от меня.

— Почему?

— А иначе Кривенко перестанет мне доверять. Сейчас-то он не догадывается, что я знаю о его работе в полиции.

— Тебе так нужно доверие этого salaud<sup>1</sup>?

— Конечно, — сказал Полунин. — Неужели не понимаешь? Он думает, что за всеми следит, а на самом деле я буду следить за ним, — ловко? Ты бы хоть причесалась, Евдокия.

— Тебе не нравится? — Она откинулась назад вместе со стулом, балансируя на задних ножках, и, повернув голову, посмотрелась в туалетное зеркало. — Да, верно, я совсем ведьма, ужасно хлопотно с этими волосами. Хорошо бы остричься, сейчас некоторые начинают носить совсем коротко — прямо одна зависть...

Дуняша вздохнула, поднялась из-за стола и направилась к зеркалу. Полунин взял ее за плечи, повернул к себе.

— Скучала?

— Немножко. Глупый, как ты можешь спрашивать такие вещи? Обними меня по-настоящему...

Полунин так и сделал. Волною жара окатило его, когда он ощутил в ладонях ее гибкое литое тело, когда почувствовал, как под пальцами скользнула по коже тонкая ткань халатика.

— А ты скучал по мне?

— Еще как...

— Всегда, всегда? Очень-очень?

— Очень, но не всегда. У меня не всегда было время скучать, даже по тебе...

Он прижал ее крепче, ее треугольное большеглазое личико запрокинулось, стало бледнеть. Рука его отстегнула пуговку, другую, нетерпеливо смяла легкую ткань. Дуняша зябко поежилась и дрогнула, когда его пальцы медленно спустились по ложбинке

<sup>1</sup> Подонка (фр.).



вдоль позвоночника, щекотной лаской тронули выгнувшуюся под их прикосновением поясницу.

— Опомнись, что ты делаешь,— шепнула она с закрытыми глазами.— Вдруг кто-нибудь в окно... Ужасно у тебя ладони приятные, холодные такие... ох, милый...

— А ты вся словно отполированная и теплая. Только местами вдруг прохладная... Настоящая репка.

— Что, что?

— Я говорю, совсем как свежая репка, понимаешь, круглая и прохладная...

— Бесстыдник,— нараспев сказала она с нежным упреком.— Слушай, я тогда ответила «немножко», но это неправда, я по тебе ужасно-ужасно соскучилась — мы ведь так давно не были вместе! Ты вот меня сейчас только погладил, и у меня уже в голове все кружится, а послушай, что с сердцем...

— Дуня...— шепнул он.

— Да, милый...

— Я запру дверь, хорошо?

— Нет! — испуганно закричала Дуняша.— Нет-нет, ради бога, не нужно меня сейчас соблазнять, здесь нам нельзя ни в коем случае, абсолютно исключено...

— Но почему?

— Ах, это все эта ужасная мадам Глокнёр — я ведь непременно вспомню о ней в самый неподходящий момент! И потом уже все время будет казаться, что эта мегера подслушивает под дверью... что за удовольствие, если боишься шевельнуться! А если поехать куда-нибудь?

— Знаешь, я и сам об этом думал — до воскресенья мне здесь делать нечего. Ты как?

— О, с этим я никогда не имею проблемы, тем более что сейчас у меня нет ничего срочного. В понедельник обещала сдать один рисунок для Гутмана, но он уже почти готов. Правда, поедем. Хочу в пампасы!

— Куда именно?

— Куда угодно, ты же знаешь, я обожаю степь. В какой-нибудь маленький-маленький городок, только чтобы был отель и номер с большой-большой кроватью... Ох, слушай, ну что ты делаешь, пожалей меня, я ведь тоже не из дерева... убери свои руки, я тебя умоляю, иначе я просто не знаю, что будет!

— А я вот знаю,— шепнул он ей на ухо и куснул краешек маленькой розовой мочки.

Дуняша обморочно ахнула, тело ее на мгновение отяжелело в его руках, словно у нее подломились колени; но тут же она замотала головой и стала вырываться, упираясь ладонями ему в грудь.

— Пусти, пусти, ты просто с ума сошел... ну как ты не понимаешь, неужели ты думаешь, что мне и самой не хочется... Знаешь, я лучше оденусь. Иди сядь за стол, можешь любоваться моими новыми бижу, только не оглядывайся...

Он вздохнул и покорно отошел. Дуняшин рабочий стол был,

как всегда, в диком беспорядке — книги с обрывками бумажек между страницами, кисти, карандаши, выдавленные и непечатые тюбики темперы, фарфоровые блюдечки с засохшей краской, небольшие — размером с открытку — листки угольно-черного ватмана, какие-то проволочные модельки, похожие на латунных и алюминиевых паучков.

— Не понимаю, Евдокия, как можно работать в таком ералаше,— сказал Полунин.— Ты хоть иногда здесь убираешь?

— Ах, это совершенно бесполезно, я уже убедилась...

Он взял черный листок, на котором тонким белым карандашом была вычерчена причудливая паутинная конструкция, напоминающая схему галактической спирали, повертел так и этак, пытаюсь определить верх или низ.

— Что это? — спросил он, не оборачиваясь, и показал рисунок через плечо.

— Не вижу... А-а! Это будет такой клипс — платина и мелкие бриллианты. Но какие есть дуры! Вчера приходит одна, я ей показываю этот кроки, так она говорит, ах, как мило, это нужно решать в золоте. Ты представляешь?

— А что, в золоте нельзя?

— Mais поп! <sup>1</sup> Ведь это понятно всякому — здесь не должно быть никакого цвета, кроме натуральной игры камней. А золото — желтый, один самый интенсивный цвет, он убил бы весь замысел, — это же чистая абстракция, ты видишь! Здесь может быть только белый металл, абсолютно холодный, как это скатать — бесстрастный. Платина или палладий.

— Да, целая премудрость, — Полунин покачал головой. — Сколько может стоить такая штука?

— Понятия не имею. Сто тысяч? Это ведь зависит от размера, от веса, от качества камней... У меня произвольный масштаб, в металле эти штуки можно увеличивать или уменьшать как угодно.

— Уменьшать, Евдокия.

— Прости?

— Я говорю — «уменьшать», а не «уменьшивать».

— А-а... спасибо тебе, ты такой ужасно внимательный. Самое смешное, что я не видела в металле ни одной своей работы, представляешь?

— Почему, разве их не выставляют на витринах?

— На витринах? — Дуняша рассмеялась. — Мишель, ты ужасный чудак. Я ведь делаю эксклюзивные модели, а не прототипы для серии! Понимаешь, какая-нибудь мадам миллионерша приезжает в магазин, ей показывают рисунки, она выбирает. И эта штука выполняется для нее в одном-единственном экземпляре! А рисунок ей потом присылают вместе с готовой вещью...

Полунин рассмеялся:

— Ведь перед этим его можно сфотографировать?

— Если фирме плевать на свою репутацию — конечно, но та-

---

<sup>1</sup> Да-нет же! (фр.).

ких фирм не бывает. Мишель, поди сюда, застегни мне на спине, опять эта молния... Мерси... нет-нет, пожалуйста, я же просила... Скажи, у вас в экспедиции есть женщины?

— Одна недавно появилась, переводчица.

— Молодая?

— Твоего возраста или чуть моложе. Лет двадцать.

— О, пожалуйста, можешь не флаттировать<sup>1</sup>, мой дорогой!

Мне уже двадцать пять, и я этого не скрываю... как некоторые. Она что, интересная?

— Кто? — рассеянно переспросил Полунин.

— Ну, эта твоя переводчица!

— Ничего особенного. Обычная современная девица, скорее мальчишеского вида, коротко остриженная, в очках.

— Ненавижу короткие прически, — решительно объявила Дуняша. — И еще очки? Ха-ха, воображаю. Отвратительная драная кошка!

— Да нет, почему же драная?

— Еще бы ты ее не защищал. Еще бы! Воображаю, как она там ходит вокруг тебя на задних лапах, одна такая тварь... Как ее зовут, кстати?

— Астрид, она бельгийка. И вокруг меня она ни на каких лапах не ходит, ни на задних, ни на передних, потому что она с первого дня положила глаз на нашего шефа.

— Это меня не удивляет, они все такие...

Расчесав волосы, Дуняша свернула их на затылке свободным узлом, задумчиво погляделась в зеркало и слегка тронула губы помадой.

— Ярче не буду, — объявила она решительно, — пусть хоть считают голой! Это у меня недавно был случай: принесла рисунки в «Мэппин энд Уэбб», сижу, жду. А пришла я с ненакрашенными губами — ужасно торбила, забыла. И вдруг одна их служащая приглашает меня в дамскую комнату, подводит к зеркалу и дает rouge<sup>2</sup>. «Мадемуазель, — говорит, — вы иностранка, не правда ли? Я вам должна дать совет: здесь у нас женщине неприлично появляться в общественном месте без макияжа, это все равно, как если бы вы вышли на улицу дезабилье...» Воображаешь? Я покраснела ужасно, готова была провалиться через все этажи, прямо в погреб — или что там у них внизу...

— Вообще-то тебе лучше не краситься, — заметил Полунин.

— Что делать, если так принято. Конечно, у нас во Франции тоже красятся, но больше пожилые, а в моем возрасте...

Дуняша передернула плечиками с видом собственного превосходства, распахнула шкаф и стала швырять вещи в дорожную сумку.

— Астрид! — фыркнула она. — Отвратительное имя. Такое претенциозное, просто гадко.

<sup>1</sup> Лстить (от фр. flatter).

<sup>2</sup> Губную помаду (фр.).

Полунин улыбнулся.

— Не она же его выбрала, согласись. Кажется, это была какая-то бельгийская королева, вот родители и назвали в ее честь.

— Я же и говорю! Назвать дочь в честь королевы, какой снобизм. Меня, например, мама назвала в честь своей няни. И я очень рада!

— Конечно, — согласился он. — Евдокия красивое имя.

— Вообще-то я Авдотья, — гордо заметила она. — Ну что, кажется, ничего не забыла...

Она подошла к тахте, сняла висевший в изголовье маленький медный с финифтью складень, приложила к нему, торопливо перекрестившись, и небрежно сунула в сумку.

— Бери сак и ступай, — сказала она, вручая сумку Полунину. — Иди прямо к станции, а на Хураменто свернешь за угол и подождешь меня, я мигом...

Дойдя до угла улицы Хураменто, он поставил сумку на цоколь решетчатой ограды и закурил, приготовившись к терпеливому ожиданию. Дуняша, однако, появилась гораздо раньше, чем можно было предполагать. Глядя, как она идет своей легкой быстрой походкой, одетая с какой-то особой элегантно-небрежностью — это резко отличало ее от аргентинок, всегда очень чопорных во всем, касающемся туалета, — Полунин опять подумал, что это, в сущности, едва ли не самая обаятельная женщина из всех, кого он когда-либо знал; и женой она была бы доброй и верной (нельзя же сейчас винить ее за то, что она махнула рукой на своего сгинувшего неведомо куда шалопая); и что при всем этом она продолжает оставаться в чем-то странно чужой, неуловимой, безнадежно отдаленной от него, — прелестное, но способное исчезнуть в любой момент без следа, загадочное существо из иного мира...

Дуняша шла, держа руки в карманах небрежно перетянутого поясом плаща, поглядывая по сторонам и расшвыривая ногами устилающие тротуар сухие листья, — так тоже никогда не станешь вести себя на улице аргентинка, вышедшая из школьного возраста...

— Боже, какой день! — воскликнула она, подходя ближе. — Просто плакать хочется. Что может быть лучше осени, вот такой золотой, когда листья всюду, и солнце, и небо синее-синее, — одно такое настоящее бабское лето...

— Бабы, Дуня, а не бабское. Тебя не обижает, что я поправлю?

— Нет, конечно, но только я ведь потом опять забуду... нужно будет книжечку завести, записывать. О, у меня идея! — Дуняша, взяв его под руку, по-девичьи подскочила, чтобы попасть в ногу. — Ты иногда спрашиваешь — ну, когда праздник какой-нибудь, день рождения, именины, — что мне подарить. Так вот, когда у тебя появится охота сделать мне подарок, купи мне бальный карна, знаешь? Это такая книжечка, куда записывают претендентов на танец. Купи самую простую, а то они бывают очень дорогие. И я буду записывать русские идиомы.

— Непременно куплю,— Полунин улыбнулся,— ты только скажи, где они продаются.

— О, это можно иметь в любой хорошей папелерии<sup>1</sup>. Пеузер, например, или Тэйлхэд. Или у Тамбурины — знаешь, на авеню де Майо, огромный такой магазин. Спроси в том отделе, где альбомы и всякие штуки для подарков. А *gragos*<sup>2</sup>, куда же мы едем?

— Давай вот что сделаем,— Полунин крепче прижал к себе ее руку.— Давай поедем в электричке до конечной станции, а там пересядем на первый же поезд дальнего следования — первый, какой остановится. И сойдем, где ты скажешь...

С пересадкой им неожиданно повезло, и уже в пятом часу полудни они вышли из душного, битком набитого вагона в каком-то приглянувшемся Дуняше поселке, в полутораста километрах от столицы. Крошечная платформа была пустынна, вышедший к поезду дежурный с провинциальным любопытством поглядывал на приезжих. Когда рассеялся запах паровозного дыма и перестали гудеть рельсы, кругом воцарилась огромная первозданная тишина, пахнущая пылью, сухим бурьяном и степью.

— Боже, как хорошо,— сказала Дуняша, закрыв глаза.— Поди спроси у него, есть ли тут отель...

Как ни странно, в поселке действительно оказалась гостиница, совсем новая, выстроенная в прошлом году каким-то местным оптимистом,— непонятно, сказал дежурный, на кого он рассчитывал, этот дон Тибурсио, здесь никто никогда не останавливается...

— Звучит заманчиво,— болтала Дуняша, пока они шли по единственной асфальтированной улице поселка,— если отель новый, то, может, там есть хоть какой-нибудь комфорт, хотя бы самый элементарный? Хочу ванную с горячей водой, и чтобы в номере была громадная кровать. Все-таки второй класс — это ужасно. Не сиденье, а какое-то орудие пытки, я себе отсидела все решительно. Признаюсь, пока мы ехали, я даже помолилась именно о кровати. *Evidemment*<sup>3</sup>, это молитва кошунственная... хотя в тот момент я думала лишь о том, чтобы отдохнуть. Вообще, может быть, мне это было послано нарочно, как *mortification du chair*. Как это говорится по-русски — умертвление плоти?

— Ты о чем, Дуня?

— Ну об этом кошмарном сиденье в вагоне, с прямой спинкой. Когда поедем обратно, нужно будет любым способом попытаться купить первый класс. Еще и какая-то планка резала ноги, прямо под коленками.

— Странно, у меня никакой планки не было. Тебе нужно было просто сказать, поменялись бы местами...

— Нет, я сразу поняла, что к этому следует отнести мисти-

<sup>1</sup> *Papelegia* — магазин канцелярских принадлежностей (исп.).

<sup>2</sup> Кстати (фр.).

<sup>3</sup> Конечно (фр.).

чески, — возразила Дуняша. — Как к посланному свыше испытанию, понимаешь?

Хозяин гостиницы, толстый, усатый и меланхоличный, встретил их равнодушно; видимо, он давно уже понял, что никакая случайная пара постояльцев ничего не изменит, и относился к этому со стоическим спокойствием.

— Выбирайте любую комнату, — сказал он, — хоть на первом этаже, хоть на втором. Идите лучше наверх, больше воздуха. Ужинать будете здесь? Скажите тогда кухарке, что приготовить.

— А ключ? — спросила Дуняша, для наглядности повертев пальцами, словно отпирая замок.

— Идите, там не заперто, — меланхолично ответил дон Тибурсио, — ключ торчит в каждой двери.

Войдя в номер, Дуняша всплеснула руками.

— Теперь ты сам видишь, — сказала она с благоговением, — что даже самая нечестивая молитва может что-то дать, если она от души. Бог мой, на такой кровати можно кувыркаться!

Номер был небольшой, очень чистенький, пахнувший свежей краской и мебельным нитролаком; за широким окном — здание стояло на самом краю поселка — лежала открытая до горизонта пампа. Дуняша заглянула в выложенную малахитовыми изразцами ванную, отвернула краны — из никелированного раструба хлынула ржавая струя, потом постепенно просветлела, стала чистой. Над ванной был укреплен электрический калефон, Дуняша нажала пусковую кнопку, на белой эмали загорелась рубиновая сигнальная лампочка.

— Просто чудо, сколько тут всякой цивилизации, — сказала она, вернувшись в номер. — Кажется, даже горячая вода будет. Ты голоден?

— Да нет, пожалуй.

— Тогда знаешь что? Я сейчас помоюсь, переоденусь, и пойдем погуляем до ужина.

— Ты же мечтала о кровати?

— Да, вот с этим маленькая complication, — Дуняша вздохнула. — Понимаешь, когда я вошла сюда и убедилась, что моя молитва была услышана, я сразу поняла, что тут без ответного жеста не обойтись. Не обижайся, пожалуйста, но я дала обет целомудрия.

— Дуня, послушай. Я в воскресенье уезжаю...

— Дай мне договорить. Это элементарная благодарность! Никаких сроков я не уточняла, но хотя бы до вечера придется потерпеть. В конце концов, человек не должен быть рабом своих воледелений.

— Ну, разве что, — сказал Полуниин без особого восторга. — Ладно, ты тогда мойся, а я пойду насчет ужина. Что заказать?

— А, придумай там что-нибудь, мне все равно.

— Часов на восемь?

— Да-да, пожалуйста, — церемонно отозвалась Дуняша, выкладывая из сумки свои вещи.

Когда они вышли из гостиницы, солнце уже висело довольно

низко. Было тепло и безветренно, теплее, чем утром в Буэнос-Ай-ресе. Пройдя с километр по пыльной проселочной дороге, они увидели вдали холм с геодезическим знаком, перелезли через ограду из нескольких рядов толстой проволоки, туго натянутой на столбах из кебрачо<sup>1</sup>, и пошли наискось через заброшенное пастбище. Подобранным на дороге прутом Дуняша сбивала головки полусохшего уже чертополоха. В мокасынах на низком каблуке, в брюках и свитере, она выглядела сейчас совсем девчонкой.

— Забавно, как мужской костюм молодой женщину, — сказал Полуниин. — Эта наша переводчица тоже все время ходит в брюках, но однажды я увидел ее в платье и...

— Довольно! — крикнула Дуняша, резко обернувшись к нему. — Меня совершенно не интересует, сколько раз ты видел ее в платье и сколько без платья! Ты можешь хоть на минуту забыть об этой омерзительной особе? Иначе я сейчас же возвращаюсь в отель, так и знай! И учти, там полно свободных номеров!

— Слушай, ну не говори ты ерунды, — возразил он кротко, — вовсе я о ней не думаю, и прекрасно ты это знаешь, просто я тебя увидел сейчас в брюках и вспомнил...

— ...прелести мадемуазель Астрид, — закончила она язвительным тоном. — Ха! Воображаю этого монстра — очки как у одной мартышки, и еще коротко острижена. И вообще, что такое бельгийцы? Не народ, а какая-то *pêle-mêle*<sup>2</sup>. Ненавижу!

— Не понимаю, что тебе сделали бельгийцы...

— Они даже по-французски толком не говорят! А кто в сороковом сдался немцам? Твой роскошный Леопольд, *le Roi des Belges*<sup>3</sup>.

— ...и какая вообще муха тебя укусила? Чего ты злишься?

— Вот и злюсь, и злюсь, и еще буду злиться! А тебе-то что? Что я вообще для тебя? Ничто! Абсолютный нуль! Ты даже не видишь во мне женщину!

— Евдокия, да побойся ты бога, — изумленно сказал Полуниин.

— Конечно!! — кричала та чуть ли уже не со слезами. — Там в пансионе ты лицемерно требовал — «я запрю дверь, я запрю дверь!». Изображал *une passion ardente*<sup>4</sup>, чуть мне ухо не откусил! А здесь в отеле мы были одни на всём этаже, и ты преспокойно сидел, как один тараканский идол! А потом ужин отправился заказывать! Чудовище!

— Во-первых, Евдокия, идол был тьмутараканский, — терпеливо поправил Полуниин. — Во-вторых, ты сама сказала, что хочешь идти гулять. Я уж не говорю про этот твой обет...

— Ах, мсье испугался моего обета! Какое неожиданное благочестие! Какое тебе дело до обетов, ты ведь атей, хуже всякого язычника! Да если бы ты был настоящим мужчиной, ты

<sup>1</sup> Quebracho — дерево твердой породы (исп.).

<sup>2</sup> Мешанина (фр.).

<sup>3</sup> Король бельгийцев (фр.).

<sup>4</sup> Пламенную страсть (фр.).

бы возмутился, ты бы заставил меня нарушить этот обет! А я, кстати, была бы вовсе не виновата, потому что когда уступаешь грубой силе — это прощительно. Даже со святыми бывали такие случаи! Но тебе, конечно, все равно — гулять так гулять...

— Ну давай вернемся,— предложил он, с трудом удерживаясь от смеха.— Вернемся, и я заставлю тебя нарушить обет.

— Шиш я теперь вернусь! Залезу на тот холм и буду сидеть до самой ночи!

Он благородно промолчал. Когда на Дуняшу накатывало, лучше было не спорить; ее «кризы», как она это называла, обычно бывали непродолжительны.

И действительно, пока они дошли до холма, агрессивная фаза сменилась покаянной. Здесь наверху как-то еще полнее ощущалась окружившая их пустыньность,— железная дорога и поселок остались за спиной, до самого горизонта впереди лежала ровная, точно застывшее травяное море, бурая осенняя степь. Полунин бросил пиджак на сухой растрескавшийся суглинок, они сели. Несколько минут Дуняша молчала, обхватив руками колени и неподвижно глядя на закат, потом виноватым движением потерлась головой о плечо Полунина.

— Не сердись,— шепнула она.— Пожалуйста, прости меня... Я знаю, что гадкая и что тебя мучаю, но ты не обращай внимания, а просто в следующий раз, как только я начну опять беситься, возьми и отшлепай меня хорошенько. Правда, так и сделай...

Он повернул голову и с удивлением увидел поблескивающую дорожку слезы на ее щеке.

— Да что ты, Дуня, я не сержусь вовсе, откуда ты взяла! Ты из-за этого плачешь?

Она отрицательно замотала головой, утирая глаза тыльной стороной руки.

— Нет, нет, это так... глупости. Вообще я степь не могу видеть без того, чтобы не разреветься... как дура. Я сейчас... успокоюсь, погоди...

Она помолчала еще, потом спросила:

— Ты Буннина стихи любишь?

— Стихи? — Полунин подумал.— Знаешь, я их, пожалуй, и не читал. Основная давала мне «Жизнь Арсеньева», это понравилось, а стихов его я не знаю.

— А мне вот сейчас вспомнилось... «Ненастный день. Дорога прихотливо уходит вдаль. Кругом все степь да степь. Шумит трава дремотно и лениво, немых могил сторожевая цепь среди хлебов загадочно синее, кричат орлы, пустынный ветер веет в задумчивых, тоскующих полях, да тень от туч кочующих темнеет...» Ты знаешь, для меня нет ничего прекраснее — даже у Пушкина...

— Да, это хорошие стихи. Бунин ведь где-то у вас живет?

— Жил! Он в позапрошлом году умер, а вообще жил в Париже. Боже мой, кем нужно быть, чтобы суметь написать такое — «кричат орлы... пустынный ветер веет... в задумчивых, тоскующих полях...» Странно, океан меня не трогает совершенно, и горы тоже, но в степи я себя чувствую как в церкви,— негромко гово-



рила Дуняша.— Не знаю почему... Хотя я ведь на четверть татарка, я тебе говорила?

— Нет, впервые слышу. Татарка?

— Ага. Бабушка была самая настоящая, откуда-то из-под Казани... Я видела старое фото — красавица феноменальная, grand-père<sup>1</sup> влюбился без памяти и украл ее из этого — как это называют — улус, что ли? Воображаешь, скандал, он был там вторым человеком после губернатора...

Полунин взял в ладони ее голову и повернул к себе.

— А знаешь, в тебе и впрямь есть что-то татарское, — он улыбнулся.— Раньше я не замечал. Да, конечно, скулы, и разрез глаз такой удлинённый... Салям, Евдокия-ханум!

Дуняша мигом скрестила ноги по-турецки.

— Салям, эфенди, салям,— ответила она, кланяясь и прикладывая ладонь ко лбу и груди.— Только не говори больше этого слова: оно слишком похоже на «салями», а я уже хочу есть как одна каннибалка. Между прочим, Аргентину я полюбила именно из-за пампы. Во Франции разве такое увидишь! Конечно, там всё — как это сказать — живописно, да? Но настоящей натюр там нет. Впрочем, ты же видел Францию!

— Да,— Полунин кивнул.— Кое-что видел.

— Я не говорю о Париже,— продолжала она,— это вне всякого... Ты ведь в Париже был? Я думаю, нет ни одного туриста, который не побывал бы в Париже...

Полунин молча улыбнулся. Как обстоит дело с туристами, он не знал,— ему самому, как и другим бойцам отряда «Бертран Дюгеклен», довелось ворваться в Париж вместе с танкистами Леклерка, когда еще не капитулировал немецкий гарнизон и снайперы постреливали с крыш в самом центре — на авеню Клебер, на бульваре Осман... Впечатление, надо сказать, осталось довольно сумбурное: августовский зной, бензиново-пороховой чад, то пустая улица, выметенная пулеметными очередями, то — сразу за углом — беснующаяся от восторга толпа, трехцветные флаги из окон, растрепанные девчонки на капотах джипов...

Собственно, из всей Франции лучше всего запомнилась ему Нормандия, ее сырые пастбища, изгороди, яблоневые сады. Отряд маки, отбивший у немцев небольшую группу советских военнопленных, действовал южнее Руана, в районе Лувьер — Лизьё; летом сорок четвертого года, после высадки союзников, макизарты стали отходить в глубь страны. Пересечь линию фронта, хотя в строгом смысле слова ее не существовало, им так и не удалось, а позднее командование ФФИ поставило всем отрядам задачу — по возможности оставаться в немецких тылах, уничтожая связь и действуя на линиях коммуникаций. Так они и делали — резали провода, рвали, где удавалось, мосты, нападали на отдельные колонны. По-настоящему больших дел не было, но все-таки... Только под Шартром их наконец догнали танки с белой звездой и лотарингским крестом — эмблемой «Сражающейся Франции»; оттуда

<sup>1</sup> Дед (фр.).

они и рванули вместе на Париж — через Эпернон, Рамбуйе, Версаль...

— ...впрочем, должна сказать,— продолжала болтать Дуняша,— что, хотя я там и родилась, сердцу он ничего не говорит. Мне, по крайней мере. О, это все прекрасно — история на каждом шагу и все такое, но это все слишком... далекое для нас, понимаешь? Что мне их Ключи или Сент-Шапель, это прекрасно, но это не трогает. А вот простая степь меня трогает. Там, где ты родился, хорошая степь?

— Нет, я из Ленинграда, там степей нет...

— Странно. Я думала, Россия — это сплошная степь!

— Ну что ты. У нас только южная часть степная.

— Но ты там был, да? Ты видел настоящую-настоящую степь?

Полунин помолчал, грызя травинку.

— Я там воевал, в сорок первом,— ответил он нехотя.

— Это там тебя ранили?

— Да, там...

— Бедный,— пропела Дуняша. Она расстегнула его рубашку и, быстро нагнувшись, поцеловала неровно стянутый багровый рубец шрама.— Бедный мой, как тебя неаккуратно зашили.

Он похлопал ее по плечу, отстранил от себя и застегнулся.

— Меня, Дуня, зашивали в лагере. Штопальной иглой, там было не до аккуратности шва. А сейчас хватит об этом, лучше почитай стихи.

— Какие?

— Какие хочешь. Что вспомнится, то и почитай.

Дуняша помолчала.

— Вот слушай: «Девятый век у Северной земли... стоит печаль о мире и свободе. И лебеди не плещут. И вдали... княгиня безутешная не бродит. О Днепр, о солнце, кто вас позовет... по вечера кукушкою печальной... теперь, когда голубоватый лед все затянул, и рог не слышен дальний... И только ветер над зубцами стен... взметает снег и стонет на просторе. Как будто Игорь вспоминает плен... у синего... разбойничьего моря...»<sup>1</sup> Господи, что это сегодня... со мной...

— Успокойся, Дуня, не надо...

— Не буду, милый, прости,— Дуняша шмыгнула носом.— «Княгиня безутешная» — это про Ярославну, знаешь?

— Да, я понял.

— Почему я не могла быть твоей Ярославной, когда ты лежал там раненный, в сорок первом? Впрочем, я все равно опоздала, мне тогда было всего одиннадцать...

Полунин осторожно прижал ее к груди и стал гладить по голове, шурясь на закат, где громоздились тяжкие раскаленные громады облаков.

— Пойдем уж, наверное,— сказал он, кашлянув.

— Да-да, идем, милый...

---

<sup>1</sup> Стихи Георгия Адамовича.

Следующие трое суток пролетели для них как-то незаметно. С погодой повезло — дни стояли тихие, безветренные и удивительно теплые для этого времени года; Дуняша говорила, что нагулялась на несколько месяцев вперед, даже соскучилась немного по асфальту.

В воскресенье утром Полуниин проснулся первым, привычно потянулся к часам — те стояли, видимо не заведенные накануне. Осторожно, чтобы не разбудить Дуняшу, он встал, подошел к окну, отдернул штору. Было еще очень рано, обильная седая роса лежала на траве, и только одинокое облачко над пампой розовело в лучах невидимого еще солнца. Со странным предчувствием утраты — что, собственно, ему до этих мест? — смотрел он на уходящую к горизонту степь, на изрытую колеями дорогу между проволочными изгородями, на далекий холмик, где они сидели тогда в первый вечер. «Этого в моей жизни никогда больше не будет», — подумал он вдруг и снова удивился — так ждалось сердце. Мало, что ли, было в его жизни этих «никогда больше»?

Пытаясь стряхнуть странное наваждение, он стал думать о делах. Поезд проходит здесь в десять тридцать пять; к часу дня они будут в Буэнос-Айресе, пообедают, потом он отвезет Дуняшу в пансион. К этой проклятой фрау Глокнер. Да — сразу по приезде первым делом позвонить Кривенко, договориться о встрече. Нужно же узнать, как они там поладили. А вечером — в порт. Дуняша, пожалуй, захочет проводить, но этого нельзя ни в коем случае. Черт возьми, Келли все-таки остается загадкой; — действительно ли проглотил наживку, или оба они разыгрывали комедию друг перед другом?

Он снова бросил взгляд на облачко — оно уплыло к самому краю окна и разгорелось еще ярче. Часов шесть, вероятно, — можно еще поспать часа полтора. Потом они встанут, позавтракают, Дуняша побросает в сумку свои вещички. И все это кончится, чтобы никогда больше не повториться.

Он отошел от окна, не задернув шторы. Скомканная ночная сорочка валялась в ногах постели, он взял ее — скользкий нейлон и жесткое кружево, странная какая мода, ведь это, наверное, царапает, — встряхнул и перекинул через спинку стула. Дуняша, лежа на правом боку, пробормотала что-то сквозь сон, обняла подушку, потерлась щекой и носом, перевернулась на живот. Укрывавшая ее простыня, чересчур жестко накрахмаленная, от этого быстрого движения соскользнула на пол.

Полуниин поднял простыню, чтобы снова укрыть Дуняшу, но так и остался стоять с простыней в руках, потом обошел кровать и осторожно присел на край с другой стороны, не в силах оторвать глаз. Как и в тот момент, когда он следил из окна за медленным полетом розового облака, им снова овладело щемящее чувство неповторимости — ощущение «последнего раза».

В предчувствия он не верил, ему не было сейчас ни страшно, ни тревожно. Просто грустно. Так же, как скрылось проплывшее над пампой облачко, уйдет из его жизни Дуняша Новосильцева — непонятное и неуловимое существо, неведомо чья жена,

выросшая на чужбине русская татарочка, в грохочущих поездах парижского метро вытвердившая наизусть горькие, как ледяное похмелье, стихи о полях далекой своей отчизны, о крике орлов над пустынной степью, о плачущей по Игорю Ярославне...

Да, но пока она была здесь. С ним, в этой комнате, в этой постели. Рассыпанные по подушке черные волосы, девически узкая спина, длинные, стройно сомкнутые, как у летящей в воду ныряльщицы, загорелые ноги — все это пока в какой-то степени принадлежало ему. И плавный изгиб бедра, так чудесно уравновесивший крутую впадину поясницы, и теплый, розовато-молочный блик света на нежной округлости, не тронутой загаром и напоминающей своей белизной трогательную беззащитность детской невинной наготы — все это было чудом, великим чудом земной человеческой прелести, и чудо принадлежало ему — не все ли равно, на какой срок? — его ладони касались этого чуда, касались и могли прикоснуться вновь. Чего еще мог он просить у судьбы? Мгновение — это уже так много...

Полунин поднялся, обошел кровать и осторожно, чтобы не разбудить, укрыл спящую женщину. Дуняша не шевельнулась. Он еще постоял немного, сердце его готово было разорваться — не от желания, нет, просто от нежности, — потом вернулся на свою сторону, лег и мгновенно уснул.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Замызганный пароходошко с громким названием «Сьюдад-де-Ла-Плата» принимал пассажиров долго и бестолково, потом стали с великим шумом и грохотом грузить на палубу какие-то ящики. Полунин лежал в душной двухместной каютке и ждал гудка к отплытию, надеясь, что хоть потом помещение немного продует и можно будет заснуть.

Наконец отчалили, но тут что-то начало равномерно тарыхтеть и постукивать у самого изголовья, сосед храпел все громче и забористее, набирая силу. Прохладнее не становилось — то ли каюта была расположена по подветренному борту, то ли вообще не было сегодня никакого ветра.

Сон в конце концов пришел, но ненадолго. Проснувшись среди ночи, Полунин послушал мощный храп соседа, непрекращающееся тарыхтенье за переборкой и понял, что поспать не удастся. Посмотрев на часы — было около половины четвертого, — он оделся, вышел на палубу, отыскал скамейку посуше. Вокруг висел непроглядный туман, но суденышко уверенно, хотя и не спеша, ползло своим проторенным курсом, наискось пересекая устье Ла-Платы.

Позевывая, он закурил и тут же бросил отсыревшую невкусную сигарету. Думать о делах не хотелось — что уж теперь думать, с Келли или вышло, или не вышло, теперь не переиграешь. Ладно, будущее покажет. Он пожалел, что не уговорил Дуняшу задержаться в Таларе еще хотя бы на денек-другой; в общем-то, с возвращением в Монтевидео можно было не спешить, параг-

вайские визы вряд ли уже пришли, а отчитаться в результатах поездки он успеет. Да и какие там результаты? Пока — никаких, пока можно лишь строить предположения...

А с другой стороны — что бы это дало, даже и пробудь они там вместе хоть неделю? Все так и осталось бы в том же дурацком взвешенном состоянии. Ни то ни се. Строго говоря, он должен был бы давно заставить ее начать развод, но... Ага, в том-то и дело, что сразу возникает «но». Куда ему, в самом деле, жениться? Женитьба предполагает какую-то определенность, оседлость. А что он может предложить — какую перспективу, какие планы на будущее?

Если задуматься, то, как ни парадоксально это выглядит, даже шалопай Ладушка, не умеющий прокормить жену, больше подходил к роли мужа: в нем хоть была какая-то определенность, пусть с обратным знаком, в данном случае это несущественно. При всех своих недостатках, Ладушка вписывался в окружающее, составлял часть целого. Не лучшую, но все же часть. А вот он сам никуда не вписывался и никакой части не составляет. Что из того, что он смог бы быть кормильцем жены и детей? Как говорится, ведь не хлебом единым...

Ему опять вспомнилась вдруг французская столица — та, тогдашняя, в августе сорок четвертого, с еще неразобранными баррикадами Медона и Бийянкура, обезумевшая, хмельная от свободы. Дорого обошелся ему тот хмель...

Возможно, тут просто сыграл роль возраст — как раз в дни боев на подступах к восставшему Парижу ему исполнилось двадцать три. Другие ребята из освобожденной нормандскими макидарами «арбайтскоманды» — их только четверо и осталось в живых к началу августа, — те были постарше, каждого ждали дома жены и дети; у Сашка, правда, семья жила в оккупации, где-то на Полтавщине, и он с начала войны ничего о своих не знал, Федя был москвич, а самый старший, Петрович, — сибиряк. Тогда именно это и показалось ему решающим: он просто считал, что семейные люди не могут рассуждать иначе. А рассуждали они просто: пора кончать это дело, говорил Федя, рука об руку с союзниками мы повоевали, сделали что могли, а теперь надо дожидаться здесь нашей миссии и просить, чтобы поскорее отправили на свой фронт, домой.

Наверное, и он сам рассудил бы так же, будь жив отец. Но отец умер за полтора года до войны, мать и того раньше, в Ленинграде его никто не ждал. А война продолжалась — на всех фронтах.

Однажды вечером — им в тот день вручили медали Сопротивления — Филипп повел его, Дино и еще кого-то из дюгекленовцев в ресторан возле площади Оперá. Они сидели там в новенькой американской форме, с новенькими медалями на груди, но непривычно безоружные, — после освобождения Парижа отряды ФФИ сдали оружие по приказу генерала Кенига. «Старина, послушай, — сказал Филипп, когда все уже были порядком навеселе, — я, конечно, понимаю, тебе хочется поскорее домой: лары, пенаты

и всякая такая лирика... Но ты учти, репатриация — дело долгое, на этот счет лучше не заблуждаться, к самой Германии мы ведь только подступили — и Айк, и даже ваш Жуков, — а по воздуху вас никто перебрасывать не станет. Через Африку и Иран, что ли? Взгляни на карту! Вот я и говорю: чем кислее здесь до конца всего этого спектакля, можно было бы успеть здорово всыпать фридолинам, по-настоящему мы ведь до сих пор и не дрались...»

Да, он тоже считал, что до сих пор не дрался по-настоящему. Его счет к «фридолинам», открытый еще там, на Украине, где их называли «фрицами», оставался неоплаченным. Поэтому на другой же день, ничего не сказав соотечественникам, он вместе с Филиппом явился на вербовочный пункт и выложил перед писарем сработанное одним подпольщиком-гравером еще в Руане удостоверение личности на имя Мишеля Баруа, уроженца деревни Бевиль в департаменте Приморской Сены (место рождения подсказал Филипп — архив бевильской мэрии благополучно сгорел еще в 1940 году). Их тут же препроводили в казармы Мон-Сени; а оттуда — неделей позже — в расположенный в Вогежах учебно-тренировочный лагерь Пятой бронетанковой дивизии.

Вчерашние макизары приуныли: возможность «подраться по-настоящему» откладывалась на неопределенный срок. Вместо этого пришлось зубрить уставы, изучать матчасть, заниматься шагистикой и учиться отдавать честь — непривычно для Полунина вскидывая локоть и выворачивая руку ладонью вперед. «Грязные верблюды, — сорванным голосом хрипел капрал, — когда я наконец сделаю из вас солдат Франции, побей вас всех гром небесный...» Только после Рождества в дивизию начали наконец поступать новенькие, только что полученные из-за океана, еще покрытые густой консервационной смазкой танки М4 «Шерман», модификация АЗ. Все думали, что Пятую бронетанковую пошлют в Арденны, но ее бросили на Кольмарский выступ, перед которым уже давно без всякого толку топтались алжирская и марокканская дивизии генерала де Монсабера...

Вот там-то Полунин опять увидел, что такое современная механизированная война. Немцы, удерживающие позиции вокруг Кольмара, стояли насмерть: за их спиной был Рейн, священная граница фатерланда, отсюда открывался прямой путь на Фрайбург, Ульм, Мюнхен. Свирепо дрались и сменившие алжирцев французы: Эльзас был для них не просто последним куском родной земли, еще не очищенным от захватчиков, — это был еще и давний, со времен Бисмарка, символ национального унижения. Взять Кольмар без помощи американцев становилось вопросом чести, но сделать это было не так просто, танки десятками гибли на минных полях, под ураганным огнем зениток, бьющих с нулевого угла возвышения; даже закругленная лобовая броня «шерманов» не выдерживала прямого удара 88-миллиметрового снаряда с начальной скоростью 1000 метров в секунду.

Тридцатого января в дивизию прибыл командующий Первой французской армией. В сопровождении свиты штабных он обхо-

дил строй экипажей,— худощавый, со спортивной выправкой и внимательно-ироничным взглядом из-под козырька высокого генеральского кепи, Жан Делатр де Тассиньи казался моложе своих лет. Потом он выступил с короткой речью. Почти никто из солдат ничего не услышал — ветер относил слова, рвал квадратные полотнища полковых штандартов. Полуниин стоял навытяжку у своего танка,— странно было подумать, что завтра ему снова придется идти в бой под этим знаменем, цвета которого реяли когда-то перед Шевардинским редутом... Он позавидовал стоявшему рядом Филиппу — ни тому, ни другим трем членам их экипажа исторические реминисценции не угрожали.

Вскоре после смотра стало известно, что на подходе три американские дивизии; развязав себе наконец руки в Арденнах, Эйзенхауэр приказал Деверсу усилить правый фланг частями Двадцать первого корпуса. Французы всполошились: опять, как и в августе прошлого года перед Парижем, встал вопрос — кто кого опередит. Второго февраля к вечеру Пятая бронетанковая вломилась в Кольмар. В бою у вокзала Филипп сделал неловкий маневр и подставил борт под прицел спрятавшегося за грудой щебня панцерфаустника; танк вспыхнул сразу — «шерманы» вообще горели как порох,— но они все успели выскочить и даже вытащили раненого командира. Неделей позже, когда дивизия остановилась на левом берегу Рейна, водитель Маду и стрелок-радиост Баруа получили по «Военному кресту» второй степени...

А потом снова наступило затишье — почти на два месяца. Что и говорить, союзники не спешили даже весной сорок пятого. Дивизию отвели на отдых, доукомплектовали и перебросили в Лотарингию, под Страсбург. Там она и простояла весь март. Форсирование Рейна началось только в конце месяца; американцы, правда, еще седьмого захватили мост в Ремагене и создали крошечный плацдарм на правом берегу, но основные силы Западного фронта вторглись в Германию двумя неделями позже. Двадцать второго марта переправились через Рейн танкисты лихого «генерала-ковбоя» Джорджа Паттона, в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое их примеру последовали канадцы и англичане; четыремя днями позже передовые части Союзных экспедиционных сил уже вели бои на правом берегу по всему фронту от Везеля до Мангейма. Первая французская армия форсировала Рейн лишь первого апреля, нанося удар севернее Карлсруэ. Дальше была уже прогулка — через сказочно живописный Шварцвальд, к швейцарской границе и дальше, по Южной Баварии, на Инсбрук...

Он так и просидел на палубе до рассвета. На подходе к Монтевидео туман рассеялся, солнце ярко золотило торчащие из воды ржавые исковерканные надстройки немецкого рейдера «Адмирал граф Шпее», шестнадцать лет назад — в конце тридцать девятого года — выбросившегося здесь на камни после боя с англий-

ской эскадрой. Событие это так потрясло не видавших войны южноамериканцев, что открытки с изображением горящего «Адмирала» — именно горящего, снимок был сделан сразу, — до сих пор продавались в каждом журнальном киоске Буэнос-Айреса.

Полунин, сдерживая зевоту, проводил взглядом медленно проплывающие вдали останки «карманного линкора» и подумал о том, что Редер был человеком явно не суеверным, если рискнул послать в Южную Атлантику корабль с таким именем. Ведь сам-то Шпее, насколько помнится, в пятнадцатом или шестнадцатом году погиб со своей эскадрой именно в этих местах — где-то у побережья Аргентины. Вот и не верь после этого в приметы!

Суденышко сбавило ход, начали появляться пассажиры, заспанные и небритые матросы палубной команды, стюарды с чемоданами. Полунин спустился в каюту, наспех ополоснул лицо ржавой водой из неисправного умывальника, разбудил продолжавшего храпеть соседа и взял с койки свой портфель.

Встречающих в речном порту оказалось немного, пристань была почти безлюдна, и Полунин сразу увидел сидящего на кнехте Филиппа.

— Салют, — сказал он, выбравшись из толпы пассажиров. — Ну как вы тут?

— Мы-то ничего, твои как дела?

— А черт его знает, если бы я сам мог это сказать. С нашими визами ничего нового?

— Пришли, как ни странно! Мне позвонили из консульства еще в пятницу.

— Вот как? Это уже один-ноль в нашу пользу. Какой счет у меня с Келли — сказать труднее... Кстати, он звонил Морено?

— Звонил, а как же. Но ты расскажи все толком, идем сейчас ко мне, — позже подойдут Астрид с этой унылой ящерницей, выдашь им официальную версию...

Филипп жил недалеко от порта, — на всякий случай они решили поселиться отдельно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Пока дошли, Полунин пересказал основную часть своего разговора с Келли.

— Ну что ж, — сказал Филипп, взяв ключ у дежурного портье. — Для начала, пожалуй, не так уж и плохо. Во всяком случае, первый раунд сыгран...

— Да, знать бы только, с каким результатом.

Поднимаясь следом за Филиппом на второй этаж, Полунин с неожиданно сжавшимся сердцем вспомнил пустой, тихий, пахнущий свежей краской отель дона Тибурсио. Неужели только вчера?

— Итак, продолжим, — сказал Филипп, запирая изнутри дверь номера. — Что этот Келли собой представляет?

— Зауряднейший тип, — Полунин пожал плечами. — Примерно нашего с тобой возраста. Вид неглупый, а вел себя временами как плохой актер. Не исключено, что нарочито.

— Прощупывал, наверное.



— Скорее всего. Когда он звонил Морено?

— В понедельник, ровно в одиннадцать тридцать.

— Смотри ты, — Полунин усмехнулся. — Я от него ушел в четверть двенадцатого. Видно, не терпелось проверить.

— Судя по всему, ты на него произвел впечатление. Лагартиха говорит, что он все допытывался: «Нет, но между нами, доктор, — черт возьми, мы же старые друзья! — на какую, собственно, фирму он работает?»

— Да, это вопрос существенный, — озабоченно сказал Полунин. — Мне он тоже был задан. Я-то мог не ответить, это естественно. Но не менее естественно, что Морено от ответа долго уклоняться не сможет...

— А он и не уклонился. Знаешь, что он ему ответил? Помолчал, поспел в трубку, а потом внушительно так говорит: «Послушай, Гийермо, я считал тебя умнее. Не суй нос слишком высоко, если не хочешь, чтобы тебе его отщепили. Дон Мигель работает в очень серьезной фирме — гораздо более серьезной, чем все те, с которыми тебе до сих пор приходилось иметь дело». Передаю со слов Лагартихи, он при этом разговоре присутствовал. Каково?

— Расчет на дурака, но не исключено, что с ними именно так и нужно. Если Келли верил ему до сих пор...

— До сих пор, похоже, верил. Так чем же закончилась ваша беседа?

— Да, вот об этом я как раз и хотел рассказать. Видишь ли, мне в последний момент пришла в голову одна мысль... в дополнение к нашему плану. Это возникло экспромтом, я жалел, что не успел обсудить вместе, но не возвращаться же мне было из-за этого. Я подумал, что помимо той приманки, которую мы договорились придумать через Морено — имею в виду Лагартиху и Беренгера — хорошо было бы приготовить еще одну. В прошлом году один русский рассказывал мне, как альянсисты пытались его завербовать...

— Прости, кто пытался?

— Альянсисты! Я тебе объяснял — ЦНА входит в «Альянсу» как одно из подразделений.

— А, ясно. И что же они предлагали твоему компатриоту?

— Быть их осведомителем в русской колонии. Обычных полицейских мушаров там наверняка хватает, но «Альянсе» захотелось иметь еще и своего человека. Ну, с тем парнем не вышло — прикинулся дурачком, словом как-то открутился. Вот я и подумал: если они до сих пор никого не внедрили, то не исключено, что Келли предложит это мне...

— Ну, знаешь, от этого-то отказаться несложно.

— Не перебивай. Знаю, что отказаться несложно! Но важно не вызвать лишних подозрений, верно? В общем, я на всякий случай подобрал одну кандидатуру. Есть там у нас одна группка мерзавцев... из бывших карателей, люди вполне годные для такой работенки. И что ты думаешь — Келли в самом деле спросил, не смогу ли я периодически информировать его о настроениях

в русской колонии. Естественно, я отказался с большим достоинством... дав понять, что мы такими мелочами не занимаемся. Но тут же добавил, что могу найти ему подходящего человека.

— Так,— заинтересованно сказал Филипп.— И что же?

— Келли сказал, что будет рад познакомиться. И на следующий день к нему с моей рекомендацией явился один из тех эсэсовцев. Насколько известно, они вполне поладили.

— Гм...— Филипп помолчал.— Остроумно, конечно. Но, пожалуй, ты зашел слишком далеко, а?

— Не думаю. Почему ты так считаешь?

— Помилуй, помогать внедрению агенты...

— А, брось, какая там «агентура»! Агент опасен, пока он замаскирован. А этих подонков знает вся колония и соответственно к ним относится. С такими людьми не откровенничают. Я к тому же через одну свою приятельницу пустил слух, что тако-го-то нужно остерегаться, работает на тайную полицию...

— Допустим. Но если он не оправдает себя как информатор, Келли поймет, что ему подсунули пустой номер.

— На здоровье! Когда это случится? Засылая агента, никто не ожидает немедленной отдачи, это обычно делается с дальним прицелом. А каковы будут наши отношения с Келли через год — плевать в высочайшей степени. Нам нужно, чтобы он поверил сейчас, сегодня! Кроме того, откуда мы знаем, что этот тип — я имею в виду русского эсэсовца — не окажется вдруг полезным в каком-то совершенно другом плане? Извини, я пойду помоюсь...

— Да, да, иди. Можно звонить Лагартихе?

— Звони, пусть приходят,— Полунин снял пиджак и начал расстегивать сорочку.— Самое забавное, что этот эсэсовец тоже считает, что я работаю на какую-то весьма серьезную «фирму»...

Астрид и Лагартиха явились через полчаса.

— Итак, вернулся Великий Провокатор! — закричала бельгийка.— Мсье Маду, а может, он уже успел продаться и сам? Как знать, как знать!

— Нет, я не продавался, я продавал,— сказал Полунин, пожимая руку унылому Лагартихе.— Всех, оптом и в розницу.

— Начали с меня? — спросил тот.

— Да, с вас и вашего приятеля.

— И в какой упаковке вы нас продали?

— В красной, как и договаривались.

— Правильно, это только запутает следы...

— Послушайте, Освальдо,— сказал Филипп.— Вы действительно уверены, что это не повредит вашим близким? Или семье Беренгера?

— У Рамона никого нет, а моего старика голыми руками не возьмешь, он заседает в Коммерческой палате. Нет, тут все продумано, пусть это вас не беспокоит. Как в Буэнос-Айресе погода, дон Мигель?

— В день моего приезда шел дождь, а потом было хорошо. Как здесь.

— Ну что вы, — вздохнул Лагартиха. — Как можно сравнивать. Здесь ведь даже солнце совсем не такое...

— Ладно, не скули, — перебила Астрид, — вернешься еще в свою несравненную Аргентину, поторопитесь вот только с революцией. Обо мне, мсье Мишель, разговора не было?

— Был, почему же. Вы — наш агент, подсаженный к коммунистическому эмиссару Лагартихе. Кстати, имейте в виду: вы теперь немка, баронесса фон Штейнхауфен...

Астрид, не успев раскурить сигарету, поперхнулась дымом и раскашлялась.

— Вы дали ему те снимки? — спросил Лагартиха.

— Да, он их оценил...

— Но почему немка, ради всего святого? — воскликнула Астрид. — Да еще баронесса!

— Почему немка, я вам объясню потом, — сказал Филипп. — А насчет баронессы, Мишель, это ты сам придумал?

— Очень уж соблазнительно показалось переделать частицу «ван» в «фон». А титул на некоторых действует.

— Разумно, — одобрил Филипп и обернулся к Астрид. — Надеюсь, вы не против?

— Какого черта! Всю жизнь мечтала попасть в Готский альманах. Но, господи, раз уж вы меня анноблировали, я вынуждена намякнуть на явное несоответствие моих средств минимальным нуждам представительства. Согласитесь сами, высокородной баронессе фон Штейнхауфен не очень-то пристало ходить в единственных джинсах. Которые, замечу в скобках, не сегодня-завтра протрутса на самом заметном месте!

— Тебе купят новые, — успокоил Лагартиха. — Кстати, советую взять на номер больше, будет куда приличнее.

— Мсье Тартюф! — взвизгнула в восторге Астрид. — Вас что, уже шокирует мой зад? Но с каких это пор?

— Мадемуазель... — укоризненно сказал Филипп.

— Пардон, — Астрид сделала невинные глаза. — Я что-нибудь сказала не так? Тогда прошу меня простить. Ах, этот разрыв между поколениями!

Зазвонил телефон, Филипп снял трубку.

— Я слушаю... А, это ты. Да, вернулся. Нормально, насколько можно судить... Как у тебя? Что? А, паспорт. Хорошо, Астрид привезет, она сейчас здесь... Договорились. Да, записываю... Улица Сантьяго... Тысяча триста четыре. Ясно. Да, она сейчас выезжает. Договорились.

— Астрид, — сказал он, положив трубку, — вам сейчас придется съездить в парагвайское консульство — отвезти паспорт Мишеля. Визы уже готовы, так что все в порядке.

— Парагвайские визы вам было бы проще получить в Буэнос-Айресе, — заметил Лагартиха.

— Да, но для этого нужно было сначала обзавестись аргентинскими, — возразил Филипп. — Поезжайте, Астрид, Фалаччи вас ждет. Запишите адрес: Сантьяго-де-Чили, тысяча триста четыре. И поторопитесь, у них прием только до обеда.

— Лечу, лечу...

— Итак, скоро вы в путь, — сказал Лагартиха, когда Астрид ушла. — Почему, собственно, решили начать с Парагвая?

— Там особенно много немцев, — ответил Филипп. — А страна маленькая, ее легче прочесать.

— Потом думаете заняться Аргентиной?

— Трудно пока сказать. Конечно, Аргентина — это тоже заманчиво... Но я не уверен, что у нас хватит средств. Проклятые пиастры текут, как песок сквозь пальцы, — озабоченно добавил Филипп, обращаясь к Полунину. — Я уже посылал кабло в Ним, но издатель ответил советом сократить расходы: чертов рогиносец думает, наверное, что мы тут не вылезаем из казино...

— Да, деньги — это всегда проблема, — согласился Лагартиха. — Я, пожалуй, поговорю с Морено, может он что придумает. Кстати, дон Мигель...

— Да?

— Доктор хотел бы с вами встретиться. О вашем свидании с Келли он знает — тот звонил, но его интересуют подробности.

— Я готов, — сказал Полунин. — Скажите ему, пусть назначит время.

— Сегодня вечером вас устроит?

— Почему же нет. Филипп, у нас на вечер никаких дел?

— Никаких, поезжай к Морено, этого не стоит откладывать...

— Прекрасно, — Лагартиха посмотрел на часы и встал. — Так я сообщу вам, дон Мигель?

— Да, позвоните часов в шесть-семь, я буду у себя...

Лагартиха приветственным жестом вскинул руку, приоткрыл дверь, конспиративно выглянул и исчез.

— Комичный тип, — улыбнулся Филипп. — Ты заметил, как у него отдувается пиджак под левой рукой?

— Пистолет, что ли?

— Кольт, сорок пятого калибра. Он уже мне показал, не утерпел. Живым, говорит, меня не возьмут. Слушай, неужели все они такие, эти здешние «революционеры»?

— Более или менее. Играют в политику, что ты хочешь. Ладно, старик, я тоже пойду, — меня, признаться, до сих пор качает. Дино ты проинформируй. В случае чего — я до вечера никуда не выхожу. Ну, пока!

Пройдя квартал, Полунин увидел витрину большого писчебумажного магазина. За зеркальным стеклом поблескивали пишущие машинки всех систем и размеров, красовались разложенные радужным веером авторучки, громоздились альбомы, готовальни, почтовые наборы, логарифмические линейки. Как, говорила Дуняша, называется эта штука?.. Магазин был уже открыт. Поколебавшись, он толкнул вращающуюся дверь и вошел внутрь.

Немедленно к нему подлетела хорошенькая, профессионально улыбкающая продавщица.

— Кабальеро, доброе утро, — прошептала она, — я счастли-

ва приветствовать нашего первого покупателя. Желаете что-нибудь выбрать?

— М-да, мне нужно... посоветоваться. Сеньорита, бывают такие книжечки, как их называют... Бальные карнэ?

— О, разумеется! — продавщица улыбнулась еще ослепительнее. — У нас есть большой выбор, это будет прекрасный подарок вашей невесте. Прошу вас, кабальеро!

Он совершенно растерялся, когда перед ним очутился на прилавке целый ворох этих «карнэ» — переплетенные в кожу, в парчу, в шелк, в чеканное серебро, в слоновую кость. Действительно, какой выбрать? Правильно истолковав его замешательство, продавщица пришла на помощь.

— Да, знаете ли, девушке не так просто угодить, — сказала она. — Может быть, я могла бы помочь советом?

— Да, посоветуйте, пожалуйста... Мне нужно что-нибудь не очень дорогое, но хорошего вкуса, вы понимаете? Это для художницы, она разбирается в таких вещах...

— О-о! — с уважением сказала продавщица. — Художница, еще бы! Вы действительно задали мне задачу, кабальеро...

Она задумалась, приложив к губам наманикюренный палец, и потом решительно протянула из вороха темно-зеленую, узкого формата книжечку.

— По-моему, это то, что вам нужно. Обратите внимание: настоящий марокканский сафьян, а бумага японская, ручной выделки... И стоит всего восемнадцать песо.

Полунину понравилась и бумага и переплет, все кроме цены — восемнадцать уругвайских песо, почти двести аргентинских (он постоянно путался с этими пересчетами). Но что делать?

— Хорошо, я беру эту, — сказал он.

— Упаковать для подарка?

— Да, пожалуйста... впрочем, один момент...

Он раскрыл карнэ — продавщица деликатно отвернулась, убирая остальные, — и написал на первой страничке: «Дуняшеханум от тараканского идола — с любовью». Потом покупка была вложена в плоскую коробочку, перевязана цветным шнурком и запечатана золоченой облаткой с фирменным знаком.

Провожая его к выходу, продавщица лукаво улыбнулась:

— Если кабальеро понадобится заказать карточки с оповещением о свадьбе — милости прошу, эти заказы мы выполняем в течение суток, любым шрифтом и на любой бумаге...

— Спасибо, спасибо, непременно, — пробормотал он, выскакивая через вертящуюся дверь.

Последние слова продавщицы его расстроили гораздо больше, чем можно было ожидать. И чем следовало бы. Он зашел на почту, отправил подарок экспресс-бандеролью и, мрачный, поехал к себе в гостиницу — отсыпаться до вечера.

Лагартиха позвонил ему в восьмом часу.

— Дон Мигель? Это я...

— Да, я понял.

— Ну что ж, я говорил с доктором. Ваши планы на сегодня не изменились?

— Нет, нет. Встретимся там же, где и прошлый раз?

— Это не совсем удобно. За вами пришлют машину — в десять она будет у подъезда. «Понтиак» синего цвета, правое переднее крыло помято.

— Ясно. Вы будете тоже?

— К сожалению, не смогу, у меня срочные дела...

Полунин прошел в ванную и долго стоял под относительно холодным душем, пытаясь прогнать оставшуюся от дневного сна одурь. Потом не спеша побрился, надел свежую сорочку. Времени оставалось много, но надо было пойти поужинать, рассчитывать на стол доктора Морено не приходилось. Местные обычаи были ему достаточно знакомы: если тебя не приглашают специально к обеду (дома) или к ужину (как правило, в ресторане), то угощение обычно ограничивается выпивкой без всякой закуски или, в лучшем случае, с какими-нибудь сухими бисквитами.

Выйдя из гостиницы, он долго бродил без цели, разглядывая витрины; потом зашел в итальянский рестораник и поел жареной мелкой рыбы, запивая ее кислым кьянти. Когда он снова вышел на улицу, стал накрапывать редкий, вкрадчивый какой-то, нерешительный дождик. Посвежело, западный ветер доносил из порта запахи каменноугольного дыма, нефти, тухлой рыбы, гниющих водорослей, мокрых пеньковых канатов, и особый, неповторимый воздух Ла-Платы — запах огромных водных пространств, лишенный присущих океану ароматов йода и соли, — странная смесь свежести с какой-то болотной гнильцой. Интересно, какая погода сейчас там, в Буэнос-Айресе. Такая же, вероятно. Только там западный ветер пахнет пампой. Их пампой. Дуняша, вероятно, вернулась уже от Гутмана — сидит на тахте, поджавши ноги, обложившись книгами, или гнет свои проволочные модельки, или, то и дело задумываясь и грызя белый карандаш, вычерчивает какую-нибудь очередную фантазию. Задумываясь — о чем? Вспоминается ли ей отель дона Тибурсио, пыльная трава пампы, запах краски в их необжитом номере, скользкие от крахмала и шуршавшие, как бумага, простыни?

Когда Полунин вернулся к гостинице, синий «понтиак» с помятым крылом уже стоял у подъезда. Он открыл дверцу, сел, шофер молча запустил двигатель. Когда машина тронулась, Полунин закрыл глаза, чтобы не видеть раздражающего мелькания стекающих по капоту цветных рекламных огней.

Минут через сорок быстрой езды, уже где-то за городом, молчаливый шофер сбросил газ и осторожно свел «понтиак» с асфальта, делая правый поворот. Машину колыхнуло, под шинами захрустел гравий, фары осветили щит с надписью «Camino Privado»<sup>1</sup>, глухую аллею из эвкалиптов; потом впереди ослепительной белизной засияла низкая белая решетка.

---

<sup>1</sup> Дорога, идущая через частное владение (исп.)

Полунин почувствовал тревогу. А точно ли это был голос Лагартихи? Вдруг ловушка — очень ведь просто, такие дебри — делай что хочешь, никто не услышит и не увидит... И водитель какой-то подозрительный, за все время слова не проронил, типичный матон<sup>1</sup>...

Перед самыми воротами машина затормозила. Он настороженно покосился на «матона», готовый при первом подозрительном движении рвануть дверцу и выбраться наружу — благо кругом хоть глаз выколи. Но молчаливый водитель только протянул руку и коснулся какой-то кнопки на приборном щите, и сияющая белизной решетка плавно поехала в сторону, открывая проезд. Полунину стало и вовсе не по себе. Фокус-то, в общем, простенький, вроде детской радиоуправляемой модели — посылка сигнала, прием, усиление, подача команды на исполняющее устройство, — но уж очень все это похоже на шпионский фильм. Ночь, загородная вила, автоматически открывающиеся ворота... Он с сожалением подумал о своем «люгере», оставшемся в чемодане; хотя от оружия в таких случаях толку мало, это ведь только в тех же фильмах герой всегда успевает выхватить его в нужный момент...

Машина проехала, ворота за нею закрылись так же плавно и бесшумно. Почти одновременно из-за поворота, ранее скрытый густым декоративным кустарником, показался освещенный подъезд.

Дон Хосе Игнасио Морено встретил гостя в просторном пустом холле, отделанном под андалузский патио: грубый мозаичный пол, кованое кружево решеток, закрывающих сводчатые дверные проемы, в простенках — несколько высоких майоликовых сосудов, расписанных примитивным синим орнаментом. Хозяин был одет с тем пренебрежением к этикету, какое здесь позволяют себе только очень богатые люди: на нем были широкие, вроде запорожских, шаровары, заправленные в желтые сапоги в гармошку, и клетчатая рубаша того типа, что продаются для пеонов в любой деревенской лавке. Пожимая ему руку, Полунин попытался вспомнить, кого из знаменитых путешественников прошлого века напоминают ему эти густые моржовые усы...

В кабинете ярко пылал камин. Морено указал гостю на кресло, сам сел в другое, придвинул поближе низкий на колесиках столик, на котором поблескивали графины с разноцветным содержимым и лежала раскрытая коробка громадных кубинских сигар.

— Что вы предпочитаете? — спросил он. — Виски? Джин? Бренди? Лично я обычно ограничиваюсь вином. Советую попробовать этого чилийского — лучшего я не пил и во Франции...

Полунин подавил улыбку. Хорош он был бы, не поужинав в городе! Что ж, в чужой монастырь со своим уставом не лезут.

— Дон Мигель, — сказал доктор после того, как они отдали дань чилийскому вину, действительно превосходному. — Надеюсь, я не очень нарушил своим приглашением ваши планы, но мне

---

<sup>1</sup> Матон — наемный убийца (исп.).

хотелось бы кое-что выяснить, а в ближайшие дни я улетаю в Бразилию и, надо полагать, здесь вас уже не застану...

— Да, мы и так задержались. Лагартиха сказал, что вас интересуют подробности моей встречи с Келли?

— Нет, меня интересует другое. Каковы цели вашей экспедиции?

Полунин посмотрел на него удивленно.

— Официально — изучение индейских племен, на самом деле — сбор материала о нацистских колониях. Я думал, Лагартиха сказал вам об этом.

— Да, сказал, но эта версия меня не убеждает.

— Почему?

— Ну хотя бы потому, что перед вами старый, прожженный адвокат, которого, скажем прямо, не так-то просто обвести вокруг пальца. Зачем вам понадобился контакт с Келли? Вы что же, ожидали, что он выложит перед вами списки и адреса? Неубедительная версия, амиго. Очень неубедительная!

Полунин медленно допил вино. Такой оборот дела они предусмотрели, и линия поведения с Морено была разработана уже давно — еще до первой с ним встречи.

— Жаль, — сказал он, — нам она казалась вполне правдоподобной. Дело в том, что... вы совершенно правы. Наша истинная цель лежит еще глубже.

Морено подмигнул очень по-простецки:

— Э, сынок! Знали бы вы, какие дела приходилось мне распутывать, — он с довольным видом поднял палец. — Иной раз только на интуиции, на одной-единственной догадке!

— Так вот. Я вам расскажу, в чем дело...

Полунин нагнулся к огню, опираясь локтями на колени, и соединил концы расставленных пальцев.

— Мы не просто собираем материал об укрывающихся здесь нацистах, — сказал он негромко. — Мы ищем одного определенного нациста.

— Надеюсь, не Бормана?

— Нет, зачем же. Так высоко нам не достать. Человек, которого мы ищем, был мелкой сошкой... но из-за него погибли люди. И даже не это главное. В конце концов, шла война, погибли многие... Но эти погибли не в бою — их предали, и предали так, что был заподозрен другой человек: Честный, ни в чем не повинный, активный участник Резистанса. Все улики были против него, он так и не смог тогда ничего доказать. В общем, он застрелился.

— М-да, — сказал Морено. — Одна из бесчисленных маленьких трагедий войны. Скажите... вы вот сейчас употребили слово «резистанс» — именно «резистанс», а не «ресистенсия». Хотя разговор идет по-кастильски. Насколько я понимаю, дело было во Франции?

— Да.

— А вы как там оказались?

— Бежал из плена.

— Понятно. И еще один вопрос. Значит, кто-то из участников



подполья оказался предателем. Но ведь вы, если не ошибаюсь, ищете немца, а не француза?

— Этот немец проник к нам под видом перебежчика-антифашиста.

— Даже так? Это уже совсем гнусно. И этот тип, вы думаете, сейчас где-то здесь...

— По некоторым сведениям, здесь.

— Что ж, в этом случае Келли действительно может оказаться вам полезным. Да. Но с ним необходима осторожность, Гийермо человек недоверчивый...

— Судя по вашим с ним отношениям, этого не скажешь, — возразил Полунин. — Тут он скорее проявляет трудно объяснимую доверчивость.

— Почему же, она вполне объяснима. Когда-то я придерживался весьма правых взглядов, и это было как раз в тот период, когда мы близко общались семьями. Во время войны я многое начал видеть в ином свете, но тогда мы уже встречались редко; да и просто перестали как-то говорить на политические темы... Оба Келли — и отец и сын — так ненавидели англичан, что готовы были аплодировать каждой бомбе, упавшей на Лондон... Кстати, Патрисю — это отец — участвовал в Дублинском восстании шестнадцатого года, бежал сюда из английской тюрьмы. Короче, мы поспорили раз-другой, поняли, что не переубедим друг друга, и стали избегать политических разговоров. Думаю, Гийермо и сейчас не догадывается, насколько изменились за это время мои взгляды. И потом тут другое: он — типичный фанатик, человек с догматическим складом мышления, склонный классифицировать людей по самой примитивной схеме. Для него всякий бедняк — непременно за коммунистов, всякий богатый — непременно против. Обратная ситуация просто не укладывается в его голове, поэтому он до сих пор продолжает видеть во мне априорного противника «красных». Ну и, естественно, доверяет...

— Ваша рекомендация, в таком случае, должна иметь вес?

— Да, но до известной степени! Он может верить лично мне и не очень доверять моим знакомым. Это уж как вам повезет. Во всяком случае, повторяю, будьте осторожны. Если Келли догадается, что вы ведете с ним двойную игру...

— Понимаю, доктор. Спасибо за предупреждение, но у нас уже есть некоторый опыт двойной игры... и с более опасным противником. «Альянса», в конце концов, только плохая копия гестапо.

— Верно, но и они кое-чему успели научиться. Ну что ж... я вам от души желаю успеха. В наших краях действительно развелось слишком уж много этих сукиных сынов, и чем скорее их повыловят, тем лучше. Даже если будут ловить вот так, по одному. Кропотливая, впрочем, работа...

Морено тяжело поднялся из кресла и, по-стариковски шаркая сапогами, отошел в дальний угол, к письменному столу. Полунин посмотрел на часы — было уже поздно — и обвел взглядом кабинет. Здесь, как и в холле, все свидетельствовало о тщатель-

ной продуманности стиля: темный резной дуб, кованые железные канделябры, несколько старинных деревянных скульптур в искусно подсвеченных нишах между открытыми книжными полками, занимающими до потолка три стены. Четвертую, в которой была прорезана дверь, украшала коллекция холодного оружия — скрещенные алебарды, кастильская шпага времен конкисты, огромный двуручный меч-фламберга с извилистым клинком; такие же, вспомнилось Полунину, видел он когда-то в Эрмитаже, в любимом своем «рыцарском зале»...

Дон Хосе Игнасио вернулся, протягивая ему узкий голубоватый листок:

— Освальдо говорил, у вас затруднения с деньгами. Возьмите, это на организационные и текущие расходы...

Полунин нерешительно взял жестко похрустывающую бумажку, увидел четко выписанные цифры — десять тысяч песо Уругвайских, надо полагать? Но тогда это огромная сумма, больше ста тысяч аргентинских...

— Спасибо, доктор, — пробормотал он в замешательстве. — Деньги нам, конечно, пригодятся, но...

— Никаких «но», — отмахнулся Морено. — Депонируйте чек завтра же... только постарайтесь не потерять, он выписан на предъявителя. Счет советую открыть, ну, скажем, хотя бы в «Фёрст Нэйшнл» — этот банк имеет отделения и в Буэнос-Айресе, и в Асунсьоне. Где бы вы ни очутились, деньги всегда под рукой. А деньги вам понадобятся. И сколько! Вы не представляете, какое в Парагвае взяточничество, тамошние чиновники — это просто акулы какие-то, амиго, просто акулы... Как у вас с транспортом?

— Да никак...

— Ну, видите. Не пешком же будете бродить по сельве! Вам нужно взять напрокат хороший вездеход, лучше закрытый «лендровер», или хотя бы простой джип с тентом, но без двух ведущих мостов и не думайте трогаться в путь. Я-то знаю, что такое парагвайские дороги!

— Вы ведете там какие-нибудь дела? — спросил Полунин

— Сейчас — нет! У меня были интересы в Парагвае... и довольно значительные... Но я все ликвидировал, как только там к власти пришла эта нацистская вонючка герр Стресснер.

— Он что, не поощряет иностранные инвестиции?

— Я бы не сказал. Скорее напротив, он в них заинтересован.. Как и Перон, кстати, который на словах ратует за экономическую автаркию, а на деле распродает страну оптом и в розницу. Нет, парагвайские свои дела я ликвидировал сам, просто из принципа. Конечно, деньги не пахнут, первым это заметил еще Веспасиан Флавий... когда обложил налогом общественные нужники. Но, понимаете, есть все же какие-то границы! Словом, деловых связей с Парагваем у меня не осталось, и в этом смысле я вам ничем не могу быть полезным. Но вот такую помощь, — он указал на чек, который Полунин продолжал держать в руке, словно не зная, что

с ним делать, — такую помощь я вам оказать могу. Деньги, слава богу, для меня пока не проблема.

Морено налил еще вина Полунину и себе, наклонился к камину и кочергой разворошил догорающие поленья.

— У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? — спросил он, не оборачиваясь.

Полунин отпил из своего стакана, подумал.

— Есть, — решил он наконец. — Один вопрос у меня давно вертится на языке, но я, пожалуй, не задал бы его, если бы не... этот ваш чек.

— То есть?

— Ну, если уж мы принимаем от вас такую... существенную помощь, то... хотелось бы яснее представить себе ваши мотивы.

— А-а, понимаю. Вас удивляет моя позиция?

— Не то что удивляет, нет... Мы ведь уже кое-что о вас знали, еще до личного знакомства. Иначе оно, пожалуй, просто не состоялось бы. Маду, например, слышал от одного журналиста о вашей деятельности в начале войны, когда здесь была разоблачена немецкая пятая колонна...

Морено погладил усы с явно польщенным видом.

— Недаром я боюсь газетчиков, — сказал он. — Все вынюхивают и ничего не забывают! И ведь самое забавное, дон Мигель, что я всячески старался быть в тени... Вы имеете в виду «Комитет Брена», в сороковом? Да, я его поддерживал, верно. Между нами говоря, — он подмигнул, — никакой особо серьезной пятой колонны тут не было, это уж мы немного нагнали страху... Благо подвернулся отличный случай: у одного немца из местных нашли при обыске детальный план оккупации Уругвая...

— Оккупации Уругвая? — переспросил Полунин.

— Ни больше ни меньше, амиго! И даже с подробной дислокацией потребных для этого частей: один полк СС — сюда, два батальона — туда... Болван явно развлекался на досуге, но использовать его опус мы не преминули. Важно было настроить общественное мнение, понимаете?

— Что ж, это была полезная работа. Поэтому-то мы к вам и обратились, доктор. Как к антифашисту. Но все-таки, я хочу сказать, ваша позиция в этом вопросе... для меня не совсем объяснима. Другое дело, будь вы коммунистом...

Морено поднял палец предостерегающим жестом:

— Нет, нет, я вовсе не коммунист!

— Знаю, Лагартиха считает вас скорее правым.

— Тоже не совсем точно! Правые, со своей стороны, считают меня левым. Разумеется, вся эта спектрография условна... — Доктор жадно допил свой стакан, словно у него пересохло в горле, и разгладил усы. — А что касается наших вшивых наци, то отношение к ним определяется у каждого нормального человека отнюдь не его политической ориентацией — налево или направо, — а просто чувством элементарной чистоплотности. Вы не согласны?

— Вероятно, это должно быть так. Но, мне кажется, нельзя

забывать и — как это говорится? — историю вопроса. Нацизм все-таки был порождением правого лагеря. И не случайно именно правые политические круги здесь, в Америке, продолжают если не оправдывать практику нацизма, то, во всяком случае, во многом разделять нацистскую систему идей.

— Да, если вы говорите о наших ультра. Но о них говорить не стоит, кретины есть в любом лагере. Думаете, в левом их меньше? Как бы не так. А, повторяю, нормальный человек, какими бы ни были его политические взгляды, сторонится нацизма так же инстинктивно, как вы постараетесь обойти стороной лежащую на дороге кучу дерьма. Нацизм, амиго, это то же дерьмо, экскремент новейшей политической истории... Конечно, извергнул его именно наш лагерь, вы правы, но тут сказалась политическая недалководидность, продиктованная страхом. Что, вы думаете, побудило Круппа и Тиссена финансировать нацистскую партию? Только страх перед коммунистами. А страх, как известно, плохой советчик.

— У вас, доктор, нет страха перед коммунистами? — поинтересовался Полунин.

— У меня? Нет! Если хотите знать мое мнение, я считаю присутствие коммунизма в мире скорее положительным фактором. Коммунизма как оппозиции — и в масштабе одной стороны, и в глобальном масштабе. Понимаете, если бы завтра в Уругвае возникла угроза захвата власти коммунистами, я боролся бы против них всеми законными способами. Но пока коммунисты действуют в качестве оппозиционной партии, я приветствую их деятельность. То же относится и к миру в целом: мир, управляемый коммунистами, для меня, вероятно, был бы неприемлем; но мир, уравновешенный двумя системами, — это лучшее, что можно придумать. Вам понятна моя мысль?

— Не совсем, — признался Полунин.

— Хорошо, постараюсь ее развить. Я капиталист. Довольно крупный капиталист, если говорить откровенно. Как таковой, я, естественно, заинтересован в жизнеспособности капиталистической системы общества, в ее внутренней стабильности. Попросту говоря, я не хочу жить на вулкане. Логично?

— Логично.

— Теперь слушайте дальше. Люди моего поколения — а мне шестьдесят три года, сеньор, я начал заниматься делами в пятнадцатом году, ровно сорок лет назад, — так вот, люди моего поколения обычно вспоминают времена нашей молодости как золотой век капитализма: любой предприниматель чувствовал себя таким феодальным бароном. Но это было благоденствием на вулкане — внизу накапливался огромный заряд недовольства тех, кто был лишен элементарных человеческих прав. И знаете, почему этот вулкан не взорвался? Потому что в семнадцатом году в мире возник новый фактор...

Морено налил себе еще вина, жестом пригласив Полунина следовать его примеру, и спросил:

— Я не утомляю вас своей болтовней? Мы, южноамериканцы,

вообще любим поговорить, а у меня вдобавок это еще и профессиональное — как у адвоката — и возрастное. Старики спешат наговориться перед очень долгим молчанием.

— Я слушаю вас с большим интересом,— заверил Полунин.

— Но вы пейте, пейте, у нас не принято беседовать всухомятку. Так о чем я? А, да! Так вот — семнадцатый год. Точнее, не совсем семнадцатый, чуть позже,— дело в том, что вначале никто не поверил в успех Ленина. Ну, думали, случайность... А вот уже в двадцатом, в двадцать первом, когда большевики сумели не только свалить империю, но и выиграть гражданскую войну,— вот тут мы призадумались! Вот тут мы поняли, чем это грозит всем нам. Конечно, реакция была двойкой. Дураки, испугавшись, решили противопоставить угрозе силу и сделали ставку на фашизм Муссолини, на национал-социализм Гитлера. Другие, кто поумнее, поняли, что нужно срочно перестраиваться, что куда выгоднее добровольно отказаться от части, нежели потерять все. Первым предупреждением была ваша революция, вторым — Великий кризис двадцать девятого года, а третьего уже не понадобилось: капитализм начал поворачивать на новый курс...

— Вы имеете в виду «Новый курс» Рузвельта?

— Нет, я беру шире! Я имею в виду общий процесс омолаживания капитализма, но, пожалуй, начался он именно с «Нового курса» Рузвельта — каких-нибудь двадцать лет, и каковы результаты! Минутку, я предвижу, что вы хотите сказать, но позвольте кончить. Я далек от мысли, что мы живем в «обществе всеобщего благоденствия» или что у нас нет больше никаких проблем. Проблем более чем достаточно, и благоденствие весьма относительно, но мы сумели преодолеть главную опасность: нам больше не грозит мировая революция. Как бы вы ни относились к сегодняшнему капитализму, вы не можете не признать, что он уже не то, чем был капитализм девятнадцатого века — одряхлевший, пресыщенный золотом и кровью, безрассудно упивающийся своей мнимой мощью. Мы стали умнее, осторожнее, мы обрели второе дыхание. Ценою многих уступок — да, несомненно! Моего отца — да покоится его душа в мире,— вероятно, хватил бы удар, если бы ему предложили сесть за один стол с профсоюзными делегатами. Или если бы от него потребовали отчислять определенный процент прибыли в фонд социальных мероприятий. А я строю для своих рабочих жилища, оплачиваю им медицинскую помощь, я регулярно встречаюсь с их делегатами, и мы торгуемся из-за каждого песо прибавки, которую они от меня требуют. Торгуемся, черт возьми, как равные: они отстаивают свои интересы, я — свои. И в конце концов приходим к какому-то приемлемому для обеих сторон решению. Поверьте, меня это ни сколько не унижает! В этом году у меня в течение месяца bastовало шесть тысяч человек, я понес большие убытки, очень большие, и вынужден был уступить. Мой отец считал, что с «бунтовщиками» можно говорить только на языке полицейских винтовок,— что же, это значит, что он был сильнее? Напротив, это лишь свидетельствовало о его слабости, о его неумении решать

проблемы, которые для меня вообще не являются проблемами. Именно в этом, если хотите, основная разница между капитализмом вчерашним и капитализмом сегодняшним. К чему я все это начал говорить... А! Вы спросили о моем отношении к коммунизму. Так вот, я считаю, что именно появление на мировой арене коммунизма — как противодействующей силы — создало те условия, в которых капитализм неизбежно должен был измениться к лучшему. А всякое изменение к лучшему — укрепляет. Э? Согласны?

— Не знаю, — помолчав, ответил Полуниин. — Во многом вы, несомненно, правы, — капитализм действительно приспосабливается. Становится ли он лучше... Тут у нас, боюсь, разные углы зрения: вы смотрите сверху, я — снизу, и мы, естественно, видим разные вещи...

— Но позвольте, амиго! Давайте уж уточним, что именно видите вы. Случалось вам видеть детей у ткацких станков, как в Англии сто лет назад? А чтобы полиция открывала огонь по пикетам забастовщиков, охраняющим фабрику от штрейкбрехеров, вы видели? Думаю, что нет! А я видел, и не сто лет назад, я еще не так стар, а всего тридцать. В двадцать пятом году!

— Однако активистов рабочего движения продолжают убивать и в пятьдесят пятом, — возразил Полуниин. — Сеньор Келли мог бы вам кое-что рассказать по этому поводу.

— Нынешнее положение в Аргентине нельзя считать нормальным!

— Вы можете поручиться, что такое положение не сложится завтра в Уругвае, если здесь придет к власти другое правительство?

— Нет, не поручусь! В Южной Америке, амиго, ручаться нельзя ни за что, — Морено, улыбаясь, покачал головой. — Но о сегодняшнем капитализме не стоит судить по тем формам, которые он подчас принимает в этих странах — отсталых индустриально и крайне нестабильных политически. В этом смысле более типичны те отношения между рабочими и предпринимателями, которые мы видим в большинстве стран Западной Европы — в Англии, во Франции, в Швеции. Насколько мне известно, там профсоюзные активисты ничем особенно не рискуют, а рабочие устраивают забастовки без всяких помех. Чаще всего, кстати, они добиваются своего.

— Да, обычно добиваются, — согласился Полуниин. — И это, пожалуй, подсказывает мне главный аргумент против вашей теории «омоложенного капитализма».

— Любопытно, — сказал Морено. — Наливайте себе вина. — Спасибо... Дело вот в чем: нынешний капитализм, как вы сами признаете, удерживается на плаву только ценой постоянных уступок. Вы в этом видите признак силы, — согласен, это свидетельствует об известной... ну, ловкости, назовем это так.

— А точнее — жизнеспособности, — подсказал Морено.

— Не уверен. Ну хорошо, поставим вопрос иначе: вы считаете, что все эти уступки — только на время?

— В каком смысле?

— Да вот взять хотя бы то же право на забастовку. Когда-то рабочие этого права не имели, теперь они его получили. Допускаете ли вы — в принципе — возможность того, что оно когда-нибудь будет аннулировано?

— Разумеется, нет. Правда, — Морено поднял палец, — то или иное правительство может в чрезвычайных случаях ограничить право на забастовку особым законодательством. Сравнительно недавний прецедент — закон Тафта-Хартли в Штатах

— Однако заводы «Вестингауза» бастуют уже который месяц?

— Да, и больше пятидесяти тысяч человек. Я понимаю вашу мысль, Мигель, вы хотите сказать, что...

— Позвольте, я сформулирую сам. Мне кажется, что все это признаки не «второй молодости» капитализма, а, напротив, его упадка. Конечно, иногда уступки и в самом деле не ослабляют, — но это в том случае, если рассчитываешь рано или поздно вернуть все потерянное. Но когда сдаешь позицию за позицией, прекрасно зная, что никогда больше сюда не вернешься, — это уже не тактический маневр, это бегство, отступление... причем отступление стратегическое. Пожалуй, именно таким отступлением и представляется мне «новый курс капитализма». Нет, в самом деле, доктор, вы не задумывались, как далеко он продлится и куда в конечном итоге приведет?

Морено засмеялся и, взяв кочергу, снова наклонился к камину. Перегоревшее полено упало с решетки, взметнув рой золотых искр в черное жерло дымохода, и рассыпалось на быстро тускнеющие угли. Дон Хосе кочергой подгрел их под решетку и задумчиво сказал, глядя в огонь:

— Футурология, дон Мигель, не мой конек... А вообще-то, конечно, я об этом думал. Готов признать, что мы и в самом деле сдаем позиции. Мои наследники, возможно, утратят даже ту ограниченную независимость в делах, которой я пока пользуюсь, — государство будет осуществлять еще более жесткий контроль над действиями предпринимателей, будет забирать себе еще большую часть их прибылей и так далее. Я даже допускаю, что рано или поздно оно вообще приберет к рукам все мои предприятия. Ну что ж, если таков общий ход событий... и если это будет делаться постепенно, в каких-то законных формах... ничего не имею против! В конце концов, Франция уже национализировала более двадцати процентов своей промышленности, — мир от этого не перевернулся...

— Он не перевернулся и после того, как у нас национализировали все сто, — с улыбкой вставил Полуин.

— Ну это для кого как, — хмыкнул Морено. — Видел я в свое время в Париже ваших эмигрантов... жалкое зрелище. Вот чего я не хочу своим детям, понимаете? Чтобы их не выкинули завтра хорошим пинком в зад, пусть уж лучше я буду ладить со своими рабочими сегодня. И если когда-нибудь депутаты этих рабочих сумеют провести в парламенте закон о всеобщей национализа-

ции — пожалуйста! Я, скорее всего, буду голосовать против, но если пройдет их предложение — пожалуйста! По закону — не имею ничего против!

— В общем, — продолжая улыбаться, сказал Полунин, — вы не реакционер, необходимость переустройства мира вы признаете, но предпочитаете, чтобы это делалось эволюционным путем.

— Да, да! Именно так, — с энтузиазмом подтвердил Морено. — И знаете почему? Будущее, как я вам уже сказал, меня не интересует, а вот прошлое — очень. Да, сеньор! Когда есть время, я читаю исторические труды. Почти все, что вы здесь видите, — он повернулся в кресле и обвел жестом книжные полки, — это история. И не только ибероамериканская, — вообще история человечества. Особенно, конечно, Европы... со всеми ее курбетами. Поэтому кое-что мне известно...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

— Французы? Scheisse<sup>1</sup>. Все до единого. Воевать не воевали, — Гудериан прошел сквозь Францию, как топор сквозь масло, — зато потом начал свинячить. Исподтишка, по-бандитски, как и положено неполноценной расе.

— Удивительно, что в первую мировую войну они еще как-то дрались...

— Что? В первую? Не говори глупостей, Карльхен!

— Виноват, герр оберст. Мне казалось...

— Тебе казалось, тебе казалось! Что ты знаешь о первой войне? Столько же, сколько и об этой...

— В этой я воевал, герр оберст, — обидчиво возразил Карльхен.

— Воевал! Ха! Три дня, если не ошибаюсь? Один выстрел из панцерфауста — и то промах. Промазать по «шерману» с дистанции в десять метров! Позор! Итак, по поводу французов. В первую войну они дрались только потому, что не оставалось ничего другого. В Вердене боялись высунуть нос из-под земли; будь Дуомон и другие форты связаны с тылом подземными коммуникациями — не осталось бы ни одного солдата. На Марне Клемансо ставил сзади заградительные отряды из сенегальцев. Ясно? А эта война с самого начала приняла маневренный характер — они и побежали. Нет, французы — дерьмо. И женщины не лучше. Шлюхи все до единой. Но какие!

Сеньор Энрике Нобле, он же Гейнрих Кнобльмайер, бывший полковник вермахта, а ныне владелец автозаправочной станции, задумчиво покачал головой, придаваясь воспоминаниям — трудно сказать, горестным или приятным.

— А другой, говоришь, итальянец? — спросил он после паузы. — Ничего себе — итальянец, русский, француз. Невообразимо мерзкая компания! Итальянцы еще хуже французов — предатели

<sup>1</sup> Дерьмо (нем.).



по натуре. Это у них в крови. Роковая ошибка фюрера — поверил толстому борову Музолини. Где только не предавали нас эти пожиратели макарон! Северная Африка! Эритрея! Сталинград! Сицилия! Неаполь! Нет, нет, об итальянцах не хочу и думать — повышается давление. Русские, представь себе, дело другое. Русские для нас — враг номер один, это верно; но — заметь, Карльхен, — это враг, которого можно уважать, ибо он умеет драться. О! Что верно, то верно — всыпали нам так, как еще никто и никогда. Тебе повезло, что ты свои три дня фронтовой жизни провел под Аахеном, а не на Одере. Там бы тебя, мой милый, не хватило и на три минуты! Я скажу одно: никто из тех, кто провел всю войну на Западном фронте, не знает, что такое вторая мировая война.

— А таких, наверное, и не было, — заметил Карльхен, расставляя по полкам желтые банки моторного масла. — Командование их все время перебрасывало туда-сюда.

— Некоторым удалось отсидеться! Исключительные случаи, конечно. Я тебе говорю, только мы, солдаты Восточного фронта, видели истинный лик Беллоны. Поэтому к русским у меня отношение особое. Разумеется — как к врагам, это не требует уточнений! Впрочем, этот русский, может быть, и не враг. Ты говоришь, живет в Аргентине? Возможно, из тех, кто воевал на нашей стороне. Или из белогвардейцев. Да, Карльхен, русских мы недооценили... как противников, я хочу сказать. Тоже фатальная ошибка фюрера.

— Вас послушать, так фюрер только и делал что ошибался.

— Фюрер был человек, Карльхен, не больше. Нельзя было так слепо ему доверять: простой ефрейтор, никакого представления о стратегии, — возмутительно...

Тяжелый грузовик с двумя прицепами свернул с шоссе, направляясь к станции. Герр оберст оживился: наконец-то хоть один клиент за все утро.

— Если в баках у него пусто, такой возьмет не меньше трехсот литров, — сказал он, подойдя к окну и наблюдая, как автопоезд вырывается к заправочным колонкам. — Ты ему намеки, Карльхен, что дизельного топлива он дальше не найдет до самого Каакупэ. И обрати внимание — правая верхняя мигалка у него не горит. Скажи, что у нас гарантированные лампочки фирмы «Бош»!

К сожалению, клиент оказался не из выгодных — газойля взял всего девяносто литров, от предложения заменить лампочку в верхней мигалке отказался, заявив, что нижняя, мол, мигает, и ладно. Зато проклятый индеец-унтерменш не упустил случая попользоваться всем тем, что входило в даровой сервис: долил воды в радиатор, под самую пробку заполнил запасные водяные баки, подкачал воздух в нескольких скатах; компрессор работал не меньше десяти минут — опять же прямой убыток.

— Мерзость, — энергично сказал герр оберст. — Чернозадые должны жить в резервациях! Немедленно свяжись с ближайшим постом жандармерии, скажи, что у сукиного сына не работает

верхний сигнал правого поворота, пусть ему воткнут хороший штраф...

Несколько минут он сидел молча, барабанил пальцами по столу нечто вроде Баденвейлеровского марша и уныло глядя в окно, из которого открывался тот же осточертевший вид: заправочные колонки — желтая «Шелл», зеленая «Тексако», голубая «ИПФ», пустынное шоссе, гнусная тропическая зелень. По шоссе на ржавом велосипеде с вихляющимся передним колесом медленно ехала толстая индианка с сигарой во рту и огромным тюком поклажи на голове. Герр оберст зажмурился от глубочайшего отворачивания.

— Непонятно, — сказал он Карльхену. — Какого черта притащила сюда эта так называемая «экспедиция»? И, главное, что делает немка в столь омерзительной компании? Ты уверен, что это действительно немка?

— Разумеется, герр оберст, я ведь с ней разговаривал.

— И что выяснил?

— Они тут что-то изучают. Народные обычаи, что ли, я не очень хорошо понял. А девушка — настоящая немка, герр оберст.

Плохо скрытое воодушевление, прозвучавшее в последней фразе Карльхена, заставило Кнобльмайера поинтересоваться:

— Хороша собой?

— По-моему, да, герр оберст. Впрочем, после местных любая европейская женщина кажется нам красавицей, — рассудительно добавил молодой немец.

— Ты прав! И заметь странную вещь: немка, которая родилась здесь, не идет ни в какое сравнение с уроженкой фатерланда. Во время войны я не понимал этого деления — «народные немцы», «нимперские немцы», — какая разница, если те и другие принадлежат к одной расе? Разумеется, я имел в виду чистое потомство, не тех, кто смешал свою кровь с туземцами. Теперь вижу — ошибался. Возьми здешних немок, хотя бы в Колонии Гарай, — все они неполноценные, даже самые молоденькие. А ведь от хороших родителей! Помню, у нас дома девушка в шестнадцать-семнадцать лет — кровь с молоком, кругленькая вся, здоровая — не ущипнешь... А эти какие-то худосочные. Климат, надо полагать, или здешние продукты. Так эта, говоришь, хороша? Да, давно я не видел настоящей германской девушки — с хорошим цветом лица, с косами...

— У этой, герр оберст, кос тоже нету. Прическа у нее короткая совсем, и еще очки.

Кнобльмайер разочарованно фыркнул:

— Ну какая же это немка — без кос! Проклятые янки со своими модами добрались, видно, и до нашей молодежи, Граубе в прошлом году летал в Федеративную Республику — не узнать, говорит, старой доброй Германии, всюду кока-кола, гангстерские фильмы, молодежь одета, как цирковые обезьяны... Проклятое время! Ничего, человечество еще поймет, что оно потеряло, позволив жидам и большевикам раздавить нас, последний оплот

европейской культуры... Карльхен, внимание, новый «бьюик», этот будет управляться суперэкстрой...

Низкая открытая машина величественно развернулась и замерла у колонки, качнувшись на рессорах. Карльхен кинулся к двери, надевая полосатое кепи с эмблемой «Эссо».

— Прислушай мотор! — крикнул ему вслед Кнобльмайер. — Скажи, свечи ни к черту, нужно сменить как минимум половину!

Карльхен вставил конец шланга в горловину бака и, пока урчащая помпа перекачивала высокооктановый бензин в ненадытную утробу трехотсильного конвертибля, успел протереть замшей ветровое стекло и проверить давление во всех шинах, включая и запасную. Хозяин «бьюика» свечи менять не захотел, сказав, что нет времени, но согласился взять про запас и купил всю коробку — комплект восемь штук, самой дорогой марки «Чемпион».

— Вот это клиент! — удовлетворенно сказал герр оберст, убирая выручку в кассу. — Надо полагать, из Азунциона. Машина стоит не меньше четырехсот тысяч.

— Если не больше, по новому курсу. Доллар дошел уже до семидесяти гуарани<sup>1</sup>. А девочка с ним была ничего, правда, герр оберст? Ничего, хотя и метиска.

— От метисок меня уже с души воротит. Видеть не могу. Мерзость! Нужно будет, чтобы ты познакомил меня с этой немкой из экспедиции. Она молодая?

— Лет двадцать, я думаю...

— Да, мне уже не по зубам. Впрочем, не имел в виду ничего серьезного — просто поболтать с соотечественницей. Давно она из Германии?

— Сразу после войны. Жила где-то не то в Голландии, не то в Бельгии, я не разобрал. Герр оберст, я, пожалуй, прокачаю тормоза в вашей машине — педаль начинает пружинить, мне это не нравится.

— Согласен, можешь выполнять!

Карл вышел и начал звать запропастившегося куда-то мальчишку-помощника. Герр Кнобльмайер, поигрывая сцепленными за спиной пальцами и выставив круглый живот, прошелся по комнате, постоял перед рекламными плакатами, вдумчиво сравнивая двух голых красоток, блондинку и брюнетку, потом строго оглядел полку с расставленными Карльхеном банками. Вид строя ему чрезвычайно не понравился. Из парня никогда не будет толку — не умеет сделать даже такой простой вещи. Ведь сколько раз объяснял: банки должны стоять совершенно ровной шеренгой — ganz genau!<sup>2</sup> — и каждая повернута лицевой стороной вперед, дабы фирменная марка была видна точно на середине каждого цилиндра, подобно кокарде на лбу солдата. А это что такое? Невиданное свинство, просто невиданное!

<sup>1</sup> В данном случае — денежная единица в Парагвае.

<sup>2</sup> Совершенно точно (нем.).

Пыхтя от возмущения, герр оберст принялся поворачивать и двигать банки, время от времени проверяя результат своих трудов при помощи деревянной рейки. Наконец банки выстроились как надо — положенная вплотную рейка прикасалась к каждой и была строго параллельна краю полки. И фирменные знаки с надписями тоже выровнялись в безукоризненную шеренгу: «ШЕЛЛ Мотор-Ойл», «ШЕЛЛ Мотор-Ойл», «ШЕЛЛ Мотор-Ойл!» ШЕЛЛ! Мотор-Ойл! Первый! Второй! Первый! Второй! Первый! Второй!

Выставив обтянутый комбинезоном зад, полковник Кноблмайер приложился щекой к полке и зажмурил левый глаз. Да, теперь строй был безупречен. Довольный собой, полковник еще раз строго оглядел банки и упругим строевым шагом, наигрывая губами Баденвейлер-марш, отправился распекать Карльхена.

— «...Парагвай, таким образом, это единственная в Латинской Америке страна, где население говорит на двух языках. Хотя официальным является испанский, не менее восьмидесяти процентов парагвайцев пользуются в повседневной жизни мелодичным языком своих предков...»

— Своих кого? — переспросила Астрид, не поднимая головы от машинки.

— Предков, — повторил Филипп. — Не потомков же!

Астрид допечатала слово и, повернувшись к Филиппу, пальцем поправила съехавшие на нос очки.

— Откуда вы взяли этот процент — восемьдесят?

— Неважно откуда. Дальше! Абзац. «Гуарани — язык со странной и трагической судьбой. Обязанный своим происхождением древнему праязыку тупи — этому санскриту Южной Америки...»

Астрид, продолжая печатать, хихикнула и покрутила головой.

— Что вам еще не нравится? — вздохнул Филипп.

— Мэтр, я подавлена вашей эрудицией... И подумать, что все это надергано из путеводителей... «санскриту Южной Америки»... дальше?

— Вы меня сбиваете с мысли, — сердито сказал Филипп. Он диктовал, расхаживая по комнате из угла в угол и то и дело поглядывая на дорожную маленькую «оливетти», которую Астрид по своему дурацкому обыкновению держала на коленях. Печатала она быстро, машинка стрекотала и раскачивалась, в конце каждой строчки выдвинувшаяся до отказа каретка перевешивала и кренила ее так, что Астрид всякий раз приходилось спасать равновесие, чуть приподнимая левое колено перед тем, как потянуть пальцем за рычажок интервала.

— Послушайте, — сказал вдруг Филипп, — неужели нельзя держать машинку на столе, как делают нормальные люди?

Астрид отрицательно мотнула головой.

— Так удобнее, — сказала она. — На столе слишком высоко. «С середины тридцатых годов»... дальше?

— «...Пьесы на гуарани прочно завоевывают себе место в репертуаре парагвайских театров. Наиболее интересным автором является, пожалуй, Хулио Корреа, глубокий знаток народного быта, как немногие понимающий душу простого парагвайца. Пьесы Корреа «Иби-Яра» («Кровопийца») и «Карай Эулохио» («Господин Эулохио») до сих пор исполняются бродячими труппами в самых глухих углах страны...»

— Погодите,— сказала Астрид.— Я тут, кажется, что-то напутала...

Пока она перечитывала лист, придерживая его за верхний край, Филипп задумчиво смотрел на ее колени. Конечно, вот что все время отвлекало его, а вовсе не машинка. Круглые и загорелые колени мадемуазель ван Стеенховен были первым интересным открытием, которое экспедиция сделала в этой стране.

Филипп, например, раньше и не подозревал об их существовании, постоянно видя Астрид в одних и тех же вытертых до голубизны джинсах. Ее костюм никого не удивлял ни в Монтевидео, ни на аргентинском экскурсионном пароходике, где многие туристки тоже были в брюках. Но уже на пристани в Асунсьоне стало ясно, что переводчице придется срочно менять свой гардероб — на нее так глязели, что Филипп не знал куда деваться. Сама-то она, конечно, и ухом не повела — ну, смотрят и пускай смотрят. Может, аборигены просто в восторге?

В гостинице разразился скандал. Портье сделал ей замечание, Астрид стала кричать, что не намерена жертвовать своими привычками в угоду провинциальному ханжеству, что весь цивилизованный мир давно носит джинсы и что у нее, наконец, просто нет ничего другого — в бикини, что ли, разгуливать!

Решили поймать ее на слове. Дино, всегда хвалившийся безошибочным глазомером, побывав в магазине готового платья, и наутро, когда ничего не подозревавшая Астрид прошествовала по коридору в купальном халате, из ее номера были изъяты джинсы и заменены обновками. К сожалению, хваленый глазомер Дино оказался не таким уж точным. Когда Астрид вышла наконец к завтраку, члены экспедиции молча переглянулись. «Ты просто идиот,— сказал потом Филипп итальянцу,— где ты это покупал, в магазине «Все для малюток», что ли?» — «Э, какая разница,— отмахнулся тот,— зато ты видишь теперь, какие у нее ноги? Кто мог подумать, мама миа...»

— Да,— вздохнула Астрид,— тут и в самом деле пропущена часть фразы... Ну-ка, Филипп, попытайтесь вспомнить — насчет Роа Бастоса, я вам прочту начало... Филипп, вы слышите?

— Что? Да-да, я слушаю, читайте...

Они проработали еще с полчаса, пока наконец не дотянули очерк до нужного объема. «В нашем следующем «Письме из сельвы»,— отстрекотала Астрид с пулеметной скоростью,— мы расскажем вам, дорогие читатели...»

— Так о чем же мы будем рассказывать в следующем письме вашим легковерным гартаренам, мсье Маду?— спросила она.—

Давайте про гигантских тарантулов! Вчера один сидел у меня на оконной сетке. Я прямо, как увидела...

— Мы все-таки этнографы, а не энтомологи. Напишите... м-м-м, ну хотя бы... о ритуальных танцах племени тупиру́.

— А оно действительно существует? Потому что если вы имеете в виду тапиров, то это не совсем то,— ехидно сказала Астрид.

— Идите к черту,— огрызнулся Филипп, но все же задумался.— Нет, мне где-то попадалось это название... именно «тупиру́», не мог же я спутать? Но проверить не мешает, вы правы. Поезжайте-ка на следующей неделе в Асунсьон и побывайте в двух музеях: «Историко Насьональ», это в парке Кабальеро, и еще в «Сьенсиас Натуралес» — в Ботаническом саду. Возьмите с собой блокнот и подробно запишите все, что сможете узнать о местных племенах.

— Чтоб мне лопнуть,— сказала Астрид.— Ничего себе задание! А может, нам съездить вместе? Мсье Маду, дама вас приглашает...

— Нет, вы поедете сами,— непреклонно сказал Филипп.

Надувшись, Астрид достучала одним пальцем заманчивое обещание рассказать о танцах тупиру, потом отпечатала подпись: «Ф. Маду, ваш специальный корреспондент в Южной Америке». Выдернув лист, она бросила его на стол, к уже отпечатанному, и сунула машинку в футляр.

— Ну что ж,— сказал Филипп, пробегая глазами последнюю страницу очерка.— По-моему, на этот раз получилось вполне убедительно... Я сейчас посмотрю, готовы ли у Дино отпечатки, и вы тогда собирайтесь-ка сейчас на почту, хорошо?

— Только если дадите джип, на велосипеде я туда больше не поеду...

— Хорошо, поезжайте на джипе,— нехотя согласился Филипп. Этот старый вездеход, который они смогли взять напрокат благодаря щедрости доктора Морено, был теперь для него постоянным источником дополнительных забот и тревог. Особенно с тех пор, как выяснилось, что и у Астрид, как у Дино, тоже есть международные водительские права. Водила она хотя и довольно лихо, но как-то очень уж по-любительски.

— И не забудьте переодеться,— добавил он.— Если я еще раз увижу, что вы пытаетесь вскарабкаться за руль в этой вашей юбчонке...

— Великолепная мужская логика! — Астрид даже взвизгнула от восторга.— Насколько помню, наше прибытие сюда ознаменовалось великой Битвой за Джинсы, вы же сами тогда влетели ко мне в номер и закричали страшным голосом: «Как шеф экспедиции — я требую — чтобы вы, мадемуазель, — немедленно сняли эти проклятые штаны!» Я была ошеломлена, и не удивительно, мсье, поставьте себя на мое место! О нет, я не хочу сказать, что меня так уж шокировало само требование, поймите правильно,— но, думаю, боже мой, при чем тут «как шеф экспедиции»? Если бы...

— Ну хватит, хватит, — прервал Филипп, — умерьте свою порочную фантазию, Астрид. Я вовсе не кричал на вас «страшным голосом». И уж, конечно, мое совершенно разумное требование уважать местные обычаи не могло быть выражено в такой... м-м-м... двусмысленной форме.

— Двусмысленной!! Ничего себе! Ворваться к беззащитной девушке с криком «снимай штаны» — это, по-вашему, двусмысленность?

— Мадемуазель, вы забываетесь, — сказал Филипп ледяным тоном.

— С вами забудешься... — Астрид выразительно вздохнула. — Не тот случай, мсье! Ладно, идите готовьте пакет, я сейчас еду.

На почте, как всегда, она провела много времени. Служащий за барьером долго разглядывал плотный конверт из желтой манильской бумаги, читал и перечитывал адрес, потом со старанием алхимика взвешивал пакет на старинных весах, при помощи пинцета уравнивая его крохотными аптечными гирьками. Потом оклеивал со всех сторон дюжиной роскошных парагвайских марок, разглаживая каждую пальцем, чтобы ни один зубчик не отставал. Потом с грохотом колотил штемпелем на длинной деревянной ручке, похожим на томагавк. Потом еще выбирал из стоечки какие-то штампы, любовно дышал на них и прикладывал с торжественным видом канцлера, скрепляющего большой государственной печатью договор между двумя великими державами.

Прошлый раз эта церемония довела Астрид чуть ли не до истерики, но сейчас торопиться было некуда, и она наблюдала за действиями почтового служащего даже с интересом. Сколько удовольствия можно, оказывается, извлекать из выполнения самых скромных обязанностей... Получив наконец свою квитанцию, Астрид не отошла от прилавка — благо больше в почтовой конторе никого не было.

— Скажите, у вас можно купить столичные газеты? — спросила она.

— Конечно, сеньорита, почему же нет. Если желаете, я могу оставить для вас каждый день, все три.

— Три, вы сказали?

— Ну да, все — вот вам, пожалуйста, — почтмейстер выложил газеты на прилавок. — «Ла Трибуна», «Эль Паис», «Патриа». Аргентинских мы здесь, к сожалению, не получаем.

Астрид подняла брови: в столице всего три газеты? В Монтевидео их выходит не меньше пятнадцати... шесть или семь вечерних, а утренних еще больше. Какая удивительная страна!

— Как продвигается работа вашей ученой экспедиции? — осведомился почтмейстер. — Мы все здесь очень гордимся, сеньорита, что нас посетили такие почтенные и знаменитые люди науки, и еще из самой Европы...

В голосе бедняги было столько самого искреннего почтения, что Астрид покраснела.

— Сеньор, вы очень любезны,— пробормотала она,— я непременно передам ваши доброжелательные слова... тем, к кому они могут относиться. Потому что сама я, видите ли, не имею к науке никакого отношения. Это крайне любезно с вашей стороны, благодарю вас...

В придачу к газетам она накупила еще кучу открыток с парагвайскими видами, плохо отпечатанных, в грубых, кричащих красках. Открытки были ей совершенно ни к чему, но она подумала, что этим доставит почтмейстеру удовольствие. За три недели, прожитых в Парагвае, она успела полюбить эту удивительную страну и этот еще более удивительный народ. Такой нищеты, как в Парагвае, Астрид не видела еще нигде и никогда; но здесь люди относились к ней как-то совершенно иначе, чем относятся к бедности жители более цивилизованных стран. Здесь она не принимала отталкивающих форм, не вызвала ни горечи, ни озлобления. Так, во всяком случае, это выглядело для постороннего наблюдателя...

Вскарабкавшись в джип, она помахала вышедшему ее проводить почтмейстеру и выехала на дорогу — грунтовую; кирпично-красного цвета, изрытую глубокими колеями. Пыли не было, утром прошел небольшой дождь. Как выяснилось, в Парагвай они попали в самое удачное время: осенью и в начале зимы здесь стоит мягкая, теплая и очень ровная погода. Летом, надо полагать, в этих субтропиках им пришлось бы несладко,— даже местные жители жалуются на ливни и невыносимую жару в январе-феврале...

А сейчас здесь было чудесно. В четырех километрах от почты начался лес диких апельсинов,— дорога вбежала в него, как в зеленый туннель. Впрочем, лес был не особенно густ, ничего похожего на южноамериканскую сельву, как ее обычно представляет себе европеец. Солнце пестрило красную дорогу, иногда по тонким ветвям пронесился порыв легкого ветра, хорошо пахло свежестью и особым, терпким ароматом цитрусовых деревьев. Астрид совсем сбавила ход и теперь едва прикасалась к педали — только чтобы не заглох мотор. Джип лениво катился по дороге, поскрипывая и переваливаясь на рывках; это было похоже скорее на поездку в старом шарабане, чем на автомобильную езду. Обычно Астрид любила скорость, а сейчас именно такая неспешная езда по узкой лесной дороге доставляла ей особую, никогда не испытанную до сих пор радость. Все-таки удивительная страна, просто удивительная... Такая природа, и безлюдье, и полное отсутствие цивилизации — это же великолепно! И как сами парагвайцы этого не понимают? Асунсьон — единственная в мире столица, где нет ни канализации, ни водопровода; но это же прекрасно, где еще увидишь такое, чтобы в столичном отеле нужно было идти умываться в особую комнату, где тебя ждет служанка с тазом и кувшином воды, а ванну наполняют ведрами. И люди все такие ласковые, приветливые, добродушные...



Мотор наконец заглох. Астрид уже потянулась к стартерной кнопке, но раздумала. Ехать дальше не хотелось. Она выпрыгнула из машины, подошла к молодому деревцу и тряхнула его. Несколько капель влаги, еще не просохшей после утреннего дождя, упали ей на запрокинутое лицо. Она рассмеялась и стала ярости тонкий стволник сильнее. Эти деревья совсем не походили на те, что она видела в апельсиновых садах Южной Италии. Там они невысокие, крепкие, густые, сплошь усыпанные золотыми плодами; здесь — какие-то растрепанные, беспорядочно разросшиеся, довольно редкие; апельсинов на них не так много. Лишь кое-где висят на длинных плодоножках большие желтовато-зеленые шары.

Она увидела один под соседним деревом, подняла — оказался совсем крепкий, видно только что свалился. Запах был великолепный, но есть апельсин оказалось невозможно — горько-кислый, он сразу обжег ей губы едким соком.

Астрид с сожалением выбросила несъедобное лакомство. Ей вдруг пришла в голову странная мысль: здесь, в Парагвае, она могла бы остаться надолго. Навсегда, может быть. Именно здесь — не в шумном, по-американски деловитом, громадном Буэнос-Айресе, не в уютном, кокетливо-вылощенном Монтевидео, а здесь. Не одной, конечно... Интересно, почувствовал ли Филипп это странное, необъяснимое очарование дикой страны?

И тут же — как только она подумала о Филиппе — какая-то иголочка тревожно кольнула в сердце. Он, кажется, всерьез обиделся сегодня на нее за этот треп насчет джинсов. Но почему, скажите на милость, что такого она сказала? Нет, этот мсье Маду просто великоколен в своей гугенотской добродетели, — черт возьми, в каком веке он живет? Послушать бы ему разговорчики на любой студенческой вечеринке, в том же Брюсселе! В прошлом году они с рыжей ван Эйкенс с медицинского идут как-то по авеню де Насьон, а навстречу шаркает профессор Грооте, Клер и говорит: «Сейчас проверим, как у старика с миокардом», — и выдала ему анекдот — даже она, Астрид, не решилась бы рассказать такое среди подружек. И что бы вы думали? Старый козел мгновенно сориентировался — преподнес в ответ еще похлеще, подмигнул и поплелся себе как ни в чем не бывало...

А ведь Филипп вдвое моложе Грооте. И такой ханжа! Она назвала Лагартиху Тартюфом, — какое там! Сравнить с Филиппом, так этот Лагартиха — Гелиогабал да и только.

Вообще надо сказать, что со спутниками ей не очень повезло. Дино — отличный парень, но не вызывает ровно никаких эмоций. От Мишеля тянет таким холодком, что иной раз зуб на зуб не попадает. Филипп был бы, конечно, шикарным типом... если бы не эта его проклятая добродетель. Поистине, как говорил Лис Маленькому Принцу, нет в мире совершенства...

А может быть, все дело просто в том, что он на нее не реагирует — так же, как она на Дино? Конечно, возможно и такое, в жизни обычно все получается шиворот-навыворот — если ты кого-то хочешь, тебя не хотят. И наоборот.

Побродив по лесу, Астрид уже возвращалась к дороге, когда до ее слуха донесся отдаленный шум мотора. Она остановилась, прислушалась — шум приближался. Когда она вышла к своему джипу, из-за поворота впереди показалась небольшая черная машина.

Подъехав ближе, старый, довоенного выпуска «форд-8» резко затормозил. На дорогу вышли двое. Одного Астрид узнала сразу — молодой немец с заправочной станции, с которым она познакомилась несколько дней назад.

— Фройляйн Армгард! — крикнул Карл. — Вы что тут делаете? У вас авария?

— Добрый день, Карл, у меня все в порядке, спасибо. Я ездила на почту, просто остановилась подышать воздухом...

— Фройляйн, это господин Кнобльмайер, владелец станции, я ему о вас говорил.

Краснолицый толстяк с усиками а-ля Гитлер, только пшеничного цвета, приблизился к Астрид и шелкнул каблуками сапог.

— Фройляйн! — рявкнул он квакающим прусским голосом. — Чрезвычайно рад! Увидеть соотечественницу здесь — гнуснейшие места, слово солдата, — неслыханная удача. Полковник Кнобльмайер, ваш слуга!

Астрид, подавив улыбку, протянула ему руку и уже собралась было сделать добрый старогерманский книксен, но вовремя вспомнила о своем костюме.

— Ах, mein lieber Oberst, <sup>1</sup> — пролепетала она, — после всех этих лет услышать настоящий берлинский акцент! Я удачливее вас, дорогой господин полковник. Ведь вы здесь не единственный немец, nicht wahr? <sup>2</sup> Я хочу сказать — вы и господин Карл, вы ведь здесь не одни? Я слышала, в этих местах живет много немцев.

— О, да! Разумеется! Есть целая колония — изгнанники — старые бойцы — чрезвычайно печальная судьба!

— Увы, господин Кнобльмайер, я ведь тоже изгнанница. Разумеется, я не хочу сравнивать... вы понимаете... ваше изгнание можно считать своего рода почетным, — во всяком случае могу утверждать, что именно так о вас вспоминают в фатерланде...

Эти ее слова произвели действие самое неожиданное: сжатые губы толстяка оберста под пшеничными усиками вдруг стали как-то странно кривиться, а лицо покраснело еще больше. Быстро заморгав, Кнобльмайер выхватил из кармана бриджей платок и промокнул один глаз, потом другой.

— Прошу прощения! Мы, немцы, чувствительны — национальная слабость, если о таковой можно говорить. К тому же нервы — три года на Восточном фронте — до самого конца — кончил воевать на Эльбе, едва прорвался к американцам с остатками своего батальона — прошу прощения!

<sup>1</sup> Мой милый полковник (нем.).

<sup>2</sup> Не правда ли? (нем.)

— Ах, что вы, это я виновата, я не должна была вызывать эти тяжелые воспоминания, — право, я такая бестактная... Но вы должны извинить меня, милый господин полковник, — когда девушка так долго живет среди всяких иностранцев, это не может не сказаться на ее воспитании... также и на акценте. Вы ведь заметили, как ужасно я говорю?

— Нисколько! Нисколько! Чувствуется, правда, влияние нижнерейнского диалекта — у меня были солдаты из округа Клеве, — но, за исключением этого, с языком у вас все в порядке, фройляйн! Вы, я слышал, после войны жили в Голландии?

— В Бельгии, господин полковник. Ужасная страна! Понимаете, мой отец пропал без вести на Западном фронте... в конце войны, — печально сказала Астрид. — Я поехала, надеясь что-нибудь узнать... и застряла. Знаете, все эти оккупационные власти... — Она сделала паузу, пытаясь вспомнить, что рассказывала Карлхену неделю назад, — черт побери, с этим бесконечным враньем запутаешься в два счета. — Какое-то разрешение оказалось просроченным или выданным не по форме, я уже не помню. Так я и застряла в Антверпене...

— И ничего не узнали про отца? — сочувственно поинтересовался Кнобльмайер.

— Ничего совершенно. Собственно, в эту экспедицию я поступила только для того, чтобы получить возможность поехать по странам, где много немецких эмигрантов. — Астрид почувствовала настоящее вдохновение, врать так врать! — Вдруг, подумала, встречу случайно кого-нибудь из папиных сослуживцев...

— Разумно, — одобрил полковник. — Весьма разумно! Экспедиция пробудет здесь еще долго?

— Трудно сказать, господин Кнобльмайер, это ведь зависит от шефа.

— Если не ошибаюсь, француз?

— Увы! Впрочем, — добавила Астрид, решив не переигрывать, — он вполне приличный человек... как ни странно.

— Ха-ха-ха, — благодушно проквакал Кнобльмайер. — Это действительно странно, вы правы! Более чем странно! Чем, собственно, они вообще занимаются?

— Ах, боже мой, вы просто не поверите — такими глупостями! — Астрид сделала пренебрежительную гримаску. — Фотографируют разных дикарей, записывают их пение... Не понимаю, кому это надо — изучать этих унтерменшей.

— Таким же унтерменшам и надо, ха-ха-ха! Что касается вашего отца, фройляйн... прошу прощения...

— Армгард, — представилась она, на этот раз не удержавшись от книксена. — Армгард фон Штейнхауфен, к вашим услугам.

— Что касается вашего отца, фройляйн Армгард, то мы на ведем справки, — здесь, в Южной Америке, у нас есть связь друг с другом. Но я хотел бы познакомить вас с соотечественниками, представить вас некоторым господам из нашей местной колонии

Избранный круг — за это вы можете быть абсолютно спокойны — только избранный!

— Такая честь для меня, милый господин полковник, я ее, конечно, не заслуживаю, но возможность познакомиться с соотечественниками на чужбине — слишком большая радость, чтобы я могла отказаться. А сейчас мне придется вас покинуть, тем более что одета я совершенно неприлично, за это вы тоже должны меня простить, — я понимаю, германские девушки так не одеваются, но я ведь на работе, а в этой машине нельзя ездить иначе как в брюках...

— Ни слова больше — какие могут быть извинения? Дорогая фройляйн Армгард, на станции всегда кто-то есть — либо Карльхен, либо я сам. Приезжайте в любой момент или хотя бы просто пришлите записочку, я всегда к вашим услугам. Фройляйн Армгард — честь имею!

— До свиданья, мой милый полковник, — проворковала она, забираясь в джип.

Остаток пути Астрид гнала на полном газу, сбавила скорость только подъезжая к остерии, чтобы не рассердить Филиппа еще и этим.

— Послушайте! — закричала она, влетая в комнату. — Вы не поверите, какая у меня удача!

Помещение, которое занимали мужчины, было типичным для этих старых построек колониальной эпохи — пол из красных выщербленных плиток, небольшие зарешеченные окошки в нишах необычайной глубины (глинобитные стены были толщиной в метр), источенный термитами дощатый потолок, с которого сыпалась какая-то труха. Три казарменные койки, покосившийся шкаф и стол посредине составляли всю обстановку, если не считать нескольких стульев с плетеными из камыша сиденьями. В углу громоздился экспедиционный багаж, лежали запасные покрывки к джипу и висели три карабина в промасленных брезентовых чехлах.

Филипп лежал на своей койке, читая путеводитель. Когда влетела Астрид, он сбросил ноги на пол и сел. Полуниин, который работал за столом, отложил паяльник, взяв с пепельницы дымящуюся сигарету и тоже вопросительно посмотрел на девушку.

— А где Дино? — спросила Астрид.

— Пошел рыбачить. Что у вас случилось?

— О, Филипп, вы должны меня поцеловать, честное слово! Сами увидите, я это заслужила. Я сейчас познакомилась с одним мофом<sup>1</sup> и так его очаровала, что он собирается ввести меня в избранный круг изгнанников. Ничего не выдумываю, повторяю его собственные слова. Слушайте, но какой я оказалась актрисой! Мишель, если бы вы меня видели, — что там ваш хваленый Большой театр!

— Я всегда отдавал должное вашим талантам, — сказал Полуниин и снова взялся за паяльник.

<sup>1</sup> Презрительная кличка немцев во Фландрии во время войны.

— Рассказывайте скорее, рассказывайте, — нетерпеливо перебил Филипп.

Астрид передала весь разговор с Кнобльмайером, стараясь не пропустить ни одной детали. Оживленно рассказывая, она расхаживала по комнате, жестикулировала, потом как бы невзначай очутилась возле койки Филиппа и села рядом с ним.

— ...Ну, и после этого я уехала, — закончила Астрид. — И помчалась прямо сюда. Что скажете? Мсье, я жду награды... — Она прижалась к нему плечом и, закрыв глаза, подставила щеку. — Целуйте хоть сюда, на большее не рассчитываю...

Филипп засмеялся, шутливо обнял ее и, поцеловав в щеку, встал.

— Браво, Астрид, вы действительно молодец...

«Чего никак нельзя сказать о вас», — со вздохом подумала она и от души пожелала недогадливому Мишелю провалиться как можно глубже со своим паяльником и своей вонючей канифолью. Работал бы, черт побери, где-нибудь под навесом, на свежем воздухе!

— Ладно, и на том спасибо, — Астрид встала. — Пойду тогда мыться и переодеваться, я вся пропылилась. Обед скоро?

— Узнайте, пожалуйста, у хозяйки. Дино, наверное, сейчас придет.

Когда Астрид удалилась с разочарованным видом, Полунин выдернул вилку паяльника из висящей над столом розетки и стал собирать свое хозяйство в большую коробку из-под сигар.

— А ты ведь, пожалуй, был прав тогда, — сказал он задумчиво. — Как ни странно, она и в самом деле может оказаться полезной...

— Что? — переспросил Филипп.

Сказанного приятелем он не расслышал — мысли его, точнее ощущения, были заняты другим. На его губах держался еще вкус этого шутливого поцелуя, мимолетного прикосновения теплой упругой щеки, от которой пахло солнцем, дорожной пылью и немного бензином. Этаким неугомонный чертенок... И ведь, в сущности, хорошенькая — если приглядеться. А распушенность, которой она так щеголяет, это наполовину напускное... как у всей этой послевоенной молодежи. Во что бы то ни стало хотят выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Но странно, почему он не пригляделся раньше...

— Я говорю, это ее знакомство, — продолжал Полунин, — может, и в самом деле как-то использовать?

— А как ты его используешь...

— Ну, если он действительно пригласил ее в местную колонию...

— Ты считаешь, ей следует поехать? — спросил Филипп.

— Ехать-то, может, и не следует, но...

Но Филипп уже увлекся идеей.

— А, собственно, почему бы и нет? По-немецки она шпарит так, что ее и в самом деле не заподозишь, а легенда насчет пропавшего папочки вполне правдоподобна и многое объясняет.

И более того! — Филипп шелкнул пальцами. — Эта легенда расчитана именно на немецкую сентиментальность! Они не смогут не расчувствоваться, ты понимаешь? Черт побери, молоденькая соотечественница, дочь солдата...

— Понимаю, — сказал после паузы Полунин. — Это-то мне как раз не очень нравится...

— Но почему, старина? — изумленно спросил Филипп.

— Не знаю, как-то это... Что-то в этом есть не очень хорошее. Спекуляция на таких вещах...

— Да брось ты, в самом деле! В данном случае цель оправдывает средства, мы ведь не ради личной выгоды. Нет, это ты зря, Мишель.

— Может быть, — неуверенно согласился Полунин. — Вообще-то, конечно, мысль неплохая... Надо только хорошо все взвесить. Тут ведь может оказаться и так, что немцы затеяли это приглашение, чтобы выведать о нас... Справится ли Астрид? Вдруг еще ляпнет что-нибудь. Ладно, придет Дино, посоветуемся. Конечно, если бы ей удалось разыскать хотя бы одного из служивших с Дитмаром...

— Еще бы! — подхватил Филипп. — В том-то и дело! Ей нужно только назвать номер дивизии, — у этих бошей культ «фронтowego товарищества», ты же знаешь, все сослуживцы держатся друг друга. Тут только зацепить, найти хотя бы одного человека, а дальше ниточка потянется...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кнобльмайер приехал за Астрид в субботу перед вечером Филипп и Дино как раз в это время вышли покурить на воздух и стояли на веранде, когда надраенный до зеркального блеска «форд-В» подкатил к остерии и замер точно напротив крыльца. Молодой светловолосый водитель выскочил из-за руля и распахнул заднюю дверцу, откуда не спеша появился и ступил на землю высокий немецкий офицерский сапог — такой же блестящий, как вся машина, — и следом за сапогом выбрался его обладатель. Поднявшись на крыльцо, Кнобльмайер сдержанно поздоровался, сказал что-то насчет жаркой погоды.

— Армгард сейчас выйдет, — сказал Филипп, — вероятно, еще одевается.

— Спасибо, я подожду, — отрывисто буркнул немец. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии итальянца и француза. — постоял в нерешительности, потом сцепил пальцы за спиной и принялся вышагивать по веранде взад и вперед. На нем были бриджи офицерского покроя, сшитые из тропикаля песочного цвета, того же материала пиджак с узенькой черно-белокрасной ленточкой «Железного креста» в петлице, галстук бабочкой и темно-зеленая тирольская шляпа с узкими полями, украшенная фазаньим перышком.

Астрид тем временем получала в своей комнате последний инструктаж.

— Предположим, — говорил Полунин, — вас спросят: откуда

вы знаете, что ваш отец был в Нормандии летом сорок четвертого года?

— Как это откуда! Из писем, последнее было отправлено из Руана.

— Опять ошибка. На письмах полевой почты обратный адрес не указывался, а все географические названия в тексте вымарывала цензура. Дислокацию части вы могли узнать из письма только в том случае, если оно было доставлено не по почте. Понимаете? Это очень важная деталь. Ну, скажем, кто-то ехал в отпуск — ваш отец мог попросить зайти, передать посылочку, письмо...

— Это вариант правдоподобный?

— Вполне. Так делали многие, и, если человек доверял посланцу, он мог писать совершенно откровенно.

— Ладно, так и скажу — приезжал кто-то из папиных сослуживцев.

— Номер дивизии хорошо помните?

— Так точно, Семьсот девятая пехотная! — отчеканила

Астрид.

— Верно. Воинское звание отца?

— Увы, всего-навсего лейтенант. Повыше нельзя?

— Нет, не нужно. Лейтенанту легче было пройти незамеченным. Бывают ведь самые нелепые случайности — вдруг вы там же нарветесь на кого-нибудь, кто служил в этой именно дивизии? Полковники, майоры — они все-таки больше на виду, даже капитаны, — а лейтенанты на передовой менялись так часто, что теперь уже никто и не вспомнит, действительно ли был там этот Штейнхауфен, или такого в списках не значилось. Тем более что ни номера батальона, ни даже номера полка вы не знаете, а дивизия — хозяйство обширное, там за каждым не уследишь.

— Ну хорошо. Предположим, мне назовут кого-нибудь, кто там служил?

— Вы очень обрадуетесь, запишете адрес и скажете, что непременно с ним повидаетесь или спишетесь, чтобы расспросить о судьбе отца.

— И больше ничего?

— Больше ничего. А вообще держите глаза и уши хорошо открытыми. Если зайдет разговор о других колониях — постарайтесь запомнить, где они расположены.

— Ну, если полагаться на мою память... — Астрид еще раз внимательно оглядела себя в зеркале, взялась было за губную помаду. — Черт! Совсем забыла, что скромной германской девушке краситься не пристало... Слушайте, Мишель, а если потихоньку записывать на салфетке?

— Вы с ума сошли.

Шучу, шучу. Не такая уж я дура, в самом деле! Как мой туалет?

— Сойдет, по-моему

— Нет, все-таки вы, русские, потрясающая нация — даже комплимента сделать не умеете... Ну, я побежала. Благословите

меня, падре! В самом деле, я уже почти слышу голоса: «Ступай, дочь моя, тебя ждет великая миссия...» Хотя я по некоторым параметрам явно не подхожу к роли Орлеанской девственницы, сделаю что могу.

— Желаю успеха, Астрид. Главное, не волнуйтесь и держите себя естественно. Пить, надеюсь, не будете?

— Ах, что вы, — пролепетала Астрид, — ну разве что глоточек доброго старого рейнвейна...

На веранде ей вдруг стало страшно — когда она небрежным кивком простилась с Филиппом и Фалаччи и в сопровождении восторженно пыхтящего Кнобльмайера направилась к машине. Отвыкнув от высоких стiletных каблуков, она шла мелкими неуверенными шажками, покачивая шуршащими фалдами широкой юбки из тафты, и мысли ее были так же нетверды. Собственно, она свалила дурака, согласившись ехать к этим мофам. Тоже, разведчица нашла, так все спокойно было в Монтевидео — черт ее понес...

Ей хотелось оглянуться, хотя бы мельком увидеть еще раз стоящего на веранде Филиппа, но Кнобльмайер уже распахнул перед ней дверцу, и она не могла теперь позволить себе ни единого жеста, выпадавшего из роли.

«Форд» бесшумно тронулся. Астрид сидела рядом с толстым оберстом, что-то говорила, отвечала на какие-то вопросы, и страх овладевал ею все сильнее. А вдруг это просто ловушка? Похищали же так нацисты своих политических противников... вот и ее решили похитить, очень просто. Схватят, бросят в подвал, будут стегать плеткой — «рассказывай, что это у вас тут за экспедиция!» Она представила себе Кнобльмайера с плеткой, и тут ей стало страшно до дурноты, она готова была уже крикнуть шоферу, чтобы тот остановился немедленно, ей нужно выйти, — как вдруг страх так же внезапно сменился стыдом. Не далее как вчера Филипп предсказывал именно это — что у нее не хватит духу разыграть фридолинов, — и она обиделась, накричала на него, заявила, что это просто непорядочно — подозревать в трусости человека только потому, что он принадлежит к другому полу... И теперь так осрамиться? Филипп и без того не принимает ее всерьез. Как и все остальные, впрочем. Конечно! Единственный, кто ее принимал всерьез и кому она действительно была нужна, — это Лагартиха, бедный, брошенный ею Лагартиха. А этим конспираторам она не нужна нисколько. Впрочем, на тех двоих она не в претензии: Дино каждую неделю получает нежные письма от своей женушки и так же регулярно изменяет ей с любой более или менее смазливой девчонкой, а у Мишеля — кто бы подумал! — есть какая-то аргентинка. От нее тоже пришло письмо. И какое! Узкий жемчужно-серый конверт, стилизованный под готику почерк, весь какой-то ломаный, с хвостами и росчерками, как на актах шестнадцатого века, — противно взять в руки, так и представляешь себе эту претенциозную дуру. Но почему Филипп? В Монтевидео, судя по всему, жил монах монахом, здесь и подавно, — не внух же он, в самом деле! Непонятно, совершенно



непонятно. Для нее, в конце концов, это уже вопрос чести, но что делать? Еще и эта проклятая остерия! Будь у них у каждого своя комната — о-ля-ля, уж она бы пробралась к нему не через дверь, так через окно... никакие бы решетки не помешали, ventre de Saint-Gris, как говаривал галантный король Наварры. Да нет, Филиппа нужно завоевывать иначе...

— Что это вы, Армгард, так притихли? — спросил Кнобльмайер. — Плохое настроение?

— Ах, я такая дуручка, — вздохнула она. — Вспомнила вдруг наш старый Рейн... как в нем отражается звездное небо... Вы помните это, — она доверительно положила руку на рукав оберста и пропела тихонько: — «Твои, о Родина, звезды...»

— Ничего... ничего, — успокаивающе запыхтел толстяк. — Мы их еще увидим, слово солдата... Пока не потеряно мужество — ничто не потеряно!

Когда они приехали в Колонию Гарай, страхи Астрид улетучились без остатка — так хорошо прошел ее первый выход на сцену. Войдя в зал, она сразу почувствовала себя предметом общего любопытства, но это не испугало ее теперь, а словно подхлестнуло. И она повела свою роль уверенно и спокойно, тем более что ничего зловещего не оказалось в окружающей ее обстановке. Никто не произносил речей о реванше, никто не хвастал числом повешенных собственноручно партизан; в общем разговоре то и дело проскальзывали воспоминания военных лет, но скорее анекдотического плана — как некий Гельмут, раненный в неудобосказуемое место, пытался приударить за стражей в фельдлазарете, как толстяк Фритци, получив отпуск, вез домой запретного поросенка, или как один полоумный зондерфюрер добивался приема у рейхсмаршала, уверяя, что изобрел новое оружие колоссальной мощи. Словом, обычные немецкие застольные разговоры, каких она немало наслушалась на семейных приемах за последний год своей жизни в Германии.

Хорошо было и то, что ее не особенно мучили расспросами. Во всяком случае, за столом Астрид уже не была центром внимания, — с нею иногда заговаривали то справа, то слева, как с любой из присутствующих здесь дам, нисколько не выделяя из других.

Она позволила сидящему рядом Кнобльмайеру налить ей второй фужер сухого аргентинского вина, сказав в свое оправдание, что оно так похоже на иоханнисбергер... и тут же спохватилась: скромной, истинно германской девушке не очень-то пристало разбираться в винах, — ей показалось даже, что «милый господин полковник» как-то странно глянул на нее своими рачьиими голубыми глазами. Она уже спешно стала придумывать спасительный рассказ о фамильных виноградниках, но тут Кнобльмайера позвали с другого конца стола. Полковник извинился и встал.

Человек, позвавший Кнобльмайера, с самого начала ужина обратил на себя внимание Астрид. Он был несколько старше остальных и отличался надменным выражением лица и свисаю-

щими, как у старого бульдога, щеками; возможно, это и в самом деле был какой-нибудь экс-генерал, потому что долгая привычка приказывать сказывалась у него даже здесь, за столом. Вот и сейчас он негромко говорил что-то, едва повернув голову к левому плечу, за которым в почтительном полупоклоне стоял Кнобльмайер. Какое-то шестое чувство подсказало Астрид, что получаемые полковником инструкции касаются ее. Обе догадки немедленно подтвердились, как только Кнобльмайер вернулся на свое место. Господин генерал, сказал он, хотел бы поговорить с фройляйн, — позвольте, когда встанут из-за стола, не сможет ли она присоединиться к мужчинам в курительной комнате?

— Ну разумеется, милый господин полковник, — улыбнулась Астрид, — буду рада. Я ведь вам говорила однажды — помните? — мне хотелось бы посоветоваться по одному важному для меня делу...

Теперь она с трудом могла дожидаться этого разговора. Она понимала, что ее ждет экзамен, но страха не испытывала, чувствуя себя во власти спортивного азарта. Ужин наконец кончился, хозяйка объявила, что кофе будет подан на террасе, вставшие из-за стола начали разбиваться на группки. В курительной комнате, куда Кнобльмайер привел Астрид, собралось человек шесть — около половины сидевших за столом мужчин.

— Милая э-э... Армгард, — сказал генерал-бульдог, усадив ее на диванчик рядом с собой. — Вы не сердитесь, что мы вас оторвали от более молодого общества?

— Ах нет, что вы, — возразила Астрид, потупив глаза.

— Ну, прекрасно. Есть один вопрос, по поводу которого господа хотели бы услышать ваше мнение, но предварительно я просил бы вас удовлетворить мое персональное любопытство. Мое хобби, знаете ли, это генеалогия... германская, естественно. И мне не совсем ясно, к какой ветви фон Штейнхауфенов вы принадлежите? Потому что есть одни в Вестфалии, имение у них, если не ошибаюсь, недалеко от Падерборна, и есть другие — франконские фон Штейнхауфены, которые...

Говорил он не спеша и довольно тихо, в манере человека, привыкшего к тому, что ему не нужно повышать голос: и так не слушаются. А может быть, подумалось Астрид, это он нарочно так мямлит и тянет слова, желая ее помучить. Наверное ведь, уже по ее виду все поняли, что она засыпалась...

— Боюсь, я тут ничем не могу вам помочь, — призналась она, с растерянным видом выслушав обстоятельную характеристику своих родственников из Франконии. — Обстоятельства моего детства...

Бульдог слегка задрал левую бровь.

— Понимаю, дорогое дитя, но... что-то вы должны же были знать о своей семье?

— О родственниках моего отца, хотите вы сказать?

— Ну, да.

Астрид помолчала, пытаясь нащупать точку опоры.

— Видите ли... насколько мне известно, отец не ладил с род-

стенниками, — сказала она неуверенно. — Из-за своей жень-бы, вы понимаете. Это был в некотором роде мезальянс, и...

— Ах, так. Что ж, это бывает. Иными словами, родственные отношения не поддерживались?

— Нет, насколько мне известно. Впрочем, я же говорю... меня просто не посвящали в эти дела. Возможно, тема считалась как бы запретной в нашем доме, — волнуясь, продолжала Астрид. — Будь я немного старше, мама, вероятно, сочла бы нужным посвятить меня... в историю этой фамильной распри, но мне было всего девять лет, когда от папы пришло последнее письмо. Откуда-то из Франции, кажется...

— Скажите, моя милая Армгард, а где служил ваш отец? — после недолгой паузы спросил бульдог.

— Он... он служил в Семьсот девятой пехотной дивизии, в чине обер-лейтенанта, — быстро ответила Астрид.

Бульдог повернулся к одному из присутствующих при допросе:

— Семьсот девятая пехотная?

— Семьдесят четвертый армейский корпус генерала Маркса, — почтительно ответил спрошенный.

— А-а. Тот что был дислоцирован в Нормандии?

— Так точно, экселенц!

— Припоминаю, припоминаю... — Бульдог снова поглядел на Астрид, на этот раз с подобием улыбки. — Что ж, дитя мое, я рад, что вы запомнили хоть это. Что вам известно о судьбе отца?

— Ничего, экселенц, абсолютно ничего, — заторопилась Астрид, — я уже говорила господину Кнобльмайеру, может быть, удалось бы разыскать кого-либо из его сослуживцев...

— Печальный случай, — сказал бульдог, — но, увы, не единичный... далеко не единичный. Корпус Маркса был в тяжелых оборонительных боях с первого дня вторжения и, естественно, потери... вы сами понимаете. Теперь другой вопрос, э-э... более актуального характера. Что это за экспедиция, Армгард, с которой вы сюда прибыли?

Астрид снова почувствовала опасность. Но, если пронесло с генеалогией... Помолчав, словно собираясь с мыслями, она повторила то же, что уже рассказывала Кнобльмайеру, но только более подробно. Сейчас ей важно было выиграть время. Инквизиторы слушали внимательно, не задавая вопросов.

— Ну, ясно, — сказал генерал, когда она замолчала. — Дело в следующем, Армгард... Экспедиция сама по себе нас несколько не интересует, вы должны понимать. Настораживают лишь два момента. Первое — ее состав: француз, русский, итальянец — странный какой-то э-э... конгломерат. Но и не это главное. Важнее второе, Армгард. Вы прибыли в страну через Асунсьон, не так ли?

— Да, мы ехали пароходом, — настороженно ответила Астрид. — Из Монтевидео, с пересадкой в Буэнос-Айресе.

— Это неважно, — генерал сделал отстраняющий жест. — Важно то, что в Асунсьоне, — он произносил это слово как

«Азунцион», — на второй день после прибытия, если не ошибаюсь, шеф вашей экспедиции — господин Маду, не так ли? — в одном из пивных локалей расспрашивал случайного собеседника о состоянии дорог в Парагвае, специально интересуясь несколькими определенными районами. Любопытно то, моя милая... э-э... Армгард, что все интересующие господина Маду населенные пункты являются центрами сосредоточения немецких колонистов...

Идиот, подумала Астрид. Боже, какой идиот! Все время твердить об осторожности — и сделать такой ляп! Ну, мсье Филипп...

— Это я виновата, экселенц, — сказала она быстро. — Я только сейчас с ужасом поняла, насколько была неосторожна, но...

Она беспомощно пожала плечами и посмотрела на генерала умоляюще. Тот ответил ей взглядом недоуменным.

— Не понимаю, — сказал он. — Вы работаете у них переводчицей, разве в ваши обязанности входит разработка маршрута?

— Нет, разумеется, но просто Маду со мной советовался, еще в Монтевидео, и я нарочно назвала эти районы. Конечно, я заслуживаю наказания, экселенц, но вы тоже должны понять — где, если не в наших колониях, могла я надеяться разыскать хоть какой-то след?

— Это было неосторожно, Армгард, — помолчав, строго изрек генерал. — Крайне неосторожно.

— Я чувствую себя бесконечно виноватой! — воскликнула Астрид.

— Вы должны были бы и сами сообразить, что... Армгард, слушайте меня внимательно.

— Да, экселенц?

— Мы постараемся оказать посильную помощь в розысках вашего отца. Не обещаю ничего конкретного, но некоторые возможности у нас есть. Вы же должны обещать мне самым определенным образом, что маршрут экспедиции будет изменен...

— Да, но если с моим мнением не...

— Один момент! — Бульдог уставился на нее еще строже. — Неприлично возражать старшим, Армгард. А перебивать их — тем более. Итак, я повторяю. Экспедиция, маршрут которой был, как вы сами признали, составлен при вашем участии и даже по вашим указаниям, должна от этого маршрута отказаться. Немедленно. Вы меня поняли?

— Так точно, экселенц...

— Вот и хорошо. Индейцев в Парагвае значительно больше, чем наших соотечественников, и господин Маду может записывать их песни и снимать их танцы где угодно, но только не у нас под носом. Вы сейчас присоединитесь к остальным гостям, Армгард, а мы тут подумаем, что можно сделать в смысле розысков вашего отца...

Астрид немедленно поднялась.

— Я вам буду так благодарна!

— Не за что, это долг каждого немца. Словом, мы еще пого-

ворим сегодня до вашего отъезда, и я составлю для вас перечень населенных пунктов, а также некоторых зон, впредь строжайше запретных для этого любопытного французского господина.

Когда гости начали разъезжаться, генерал вручил Астрид листок с выписанными в столбик географическими названиями.

— Вот пункты, где мы не хотели бы видеть экспедицию. Что касается вашего отца, то здесь, кажется, есть один офицер из Семьсот девятой, мы уточним этот вопрос в ближайшие дни. Кнобльмайер передаст вам адрес, вы сможете съездить туда и поговорить с этим человеком. Возможно, он что-либо знает. И помните о нашей договоренности, Армгард, — он отечески потрепал ее по щечке. — Желаю успеха, моя милая...

Она вернулась в оsterию во втором часу ночи. В комнате мужчин, несмотря на раскрытые окна, было накурено до синевы, на столе валялись разбросанные карты. Все трое встретили девушку вопросительными взглядами.

— Хороши, — сказала Астрид. — Отправили беззащитное создание в львиную яму, а сами предаются разгулу. Тоже мне, сильный пол! Фил, дайте мне коньяку, я его честно заработала...

— Дадим, вы только скажите, как дела.

— Плохо! Экспедицию придется свернуть.

— Что, серьезно? — помолчав, спросил Филипп.

— Ja, ja, — сказала Астрид. — Фи есть польшой турак, герр Мату. Какого тшорта фи распускаль в Азунцион сфой глинный болтливый язык? Надо было поменьше делать бла-бла-бла... Дайте же мне коньяку, черт возьми, я должна смыть с языка этот проклятый акцент!

Мужчины ошеломленно переглянулись. Полунин встал, подошел к шкафу и достал бутылку. Астрид залпом выпила полстаканчика и, откинувшись на спинку стула, блаженно закрыла глаза.

— Послушайте, Ри, — сказал Филипп. — Они что, и в самом деле что-то пронюхали?

— Не буду же я вас разыгрывать! Я вам говорю: тот человек в Асунсьоне, которого вы расспрашивали о дорогах, обо всем сообщил куда надо. Правда, я по этому поводу сочинила целую историю, но все равно дела уже не поправишь. Из Парагвая нужно сматываться, тем более что список мест расселения немцев я получила. Насколько я понимаю, это именно то, чего вы добились...

— Не совсем, — сказал Полунин. — Хорошо, расскажите все по порядку.

Астрид стала рассказывать. Рассказывала она долго, время от времени подбадривая себя коньяком, так что под конец у нее даже стал заплетаться язык.

— Вот и все, более... более-менее... — Она сделала не совсем удачную попытку встать из-за стола. — Может, завтра еще вспомню. А сейчас я хочу спать. Guten Nacht, meine Herrschaft-

ten<sup>1</sup>. Фил, проводите меня, иначе я ошибусь номером и еще.. чего доброго... окажусь в чужой постели, этого я бы не пережила, сами понимаете...

Филипп проводил ее. У себя в комнате Астрид лихо зашвырнула туфли — одну в угол, другую на шкаф, — потом повернулась спиной к Филиппу и подняла руки:

— Расстегните эти проклятые молнии и помогите снять платье, мне самой не справиться...

Филипп исполнил и эту просьбу.

— Как у вас ловко получилось, — одобрила Астрид, выпутывая руки из шуршащей тафты. — Валийте дальше.

— Простите?

— Я что, по-вашему, должна спать во всей этой сбруе?

— Ну зачем же. Переоденьтесь в пижаму, так будет удобнее. Покойной ночи, Ри.

— Скажите, мсье Маду, — светским тоном спросила Астрид, отстегивая чулок, — ваши предки были, по всей вероятности, гугенотами?

— Понятия не имею, а что?

— Да нет, просто я начинаю понимать Гизов. Проваливайте, пока я вам тут не устроила Варфоломеевскую ночь...

На следующее утро Астрид встала поздно, когда мужчины уже кончали завтракать. Хозяйка принесла второй кофейник, поставила перед ней глиняное блюдо «чипа» — местных лепешек из сыра и маниоковой муки.

— Смотри, девочка, чтобы ничего не осталось.

— Куда мне столько, — ужаснулась Астрид, — я безобразно растолстею тут у вас, няя Поча...

— Тебе и надо толстеть, — сказала хозяйка, наливая ей кофе. — А то ведь мужчины любят, чтобы было за что взяться. Я вон в твоём возрасте на стуле не помещалась, так ни один не мог мимо пройти.

— Ах, сеньора, вам повезло — вокруг вас были мужчины, — сказала Астрид. — У меня, насколько я понимаю, тоже есть за что взяться... по европейским стандартам, во всяком случае. Так что проблема вовсе не в этом.

— Ну ничего, — засмеялась няя Поча. — У тебя еще много времени впереди!

— Только эта мысль меня и поддерживает...

Допив кофе, Полунин и Фалаччи взяли удочки и отправились рыбачить. Филипп остался сидеть за столом, и его молчание не сулило ничего доброго.

— Давайте, давайте, — пробормотала Астрид с набитым ртом. — Я уже знаю, что вы хотите сказать...

— Тем лучше. Тогда я ограничусь тем, что попрошу вас впредь вести себя приличнее.

— Успокойтесь, мсье Маду, я и не думала покушаться на вашу невинность. Или вас обидело упоминание о гугенотах?

<sup>1</sup> Господа, доброй ночи (нем.).

— При чем тут гугеноты, я говорю не о вчерашней сцене в вашей комнате... не считайте меня настолько уж лишенным чувства юмора. Я говорю о том, что вы болтали сейчас, здесь. Я принял вас в экспедицию, мадемуазель, и я не хочу краснеть за вас перед моими друзьями...

— Да пошли вы все! — крикнула Астрид, вскакивая из-за стола.— В жизни не видела худшего сборища зануд, чем эта ваша богом проклятая экспедиция!

Промчавшись по коридору и едва не сбив с ног испуганно ахнувшую хозяйку, она заперлась у себя в комнате, выкурила сигарету и, немного успокоившись, вышла в сад и устроилась в гамаке. В саду было тихо, только шелестела под легким ветром жесткая листва апельсиновых деревьев и резкими скрипучими голосами перекликались вдали какие-то местные пичуги. Потом послышался глухой ритмичный перестук деревянного песта — служанка на кухне принялась толочь в ступе маис.

Пришел Филипп, которому понадобился полученный от генерала список мест расселения немцев. Астрид молча выбралась из гамака, пошла в свою комнату и, достав из сумки листок, протянула шефу.

— Все еще дуетесь? — спросил тот.

— Да нет, в общем,— Астрид пожала плечами.— Наверное, вы и в самом деле правы... просто я не люблю, когда мне читают нотации.

— Не давайте к ним повода,— посоветовал Филипп.

«Нет, его действительно ничем не проймешь»,— подумала Астрид.

— Главный моф требует, чтобы наш новый маршрут не затрагивал ни одного из этих районов,— сказала она, заглядывая в список из-за плеча Филиппа.— По-моему, это наглость. Вы думаете, нам следует подчиниться?

— Я думаю, нам не стоит вступать с ними в лишние конфликты. В конце концов, от намеченного маршрута можно потом и отойти... если понадобится.— Филипп спрятал листок в карман и подмигнул, давая понять, что мир окончательно восстановлен.

В понедельник они вчетвером обложились путеводителями и крупномасштабными картами северной части Парагвая и, просидев над ними полдня, наметили несколько не вызывающих подозрения и относительно доступных районов вдоль бразильской границы — по верхнему течению Рио-Парагуай, на восточной окраине лесного массива Чако и, наконец, в предгорьях — там, где протянувшийся вдоль двадцать четвертой параллели хребет Маракаю под углом сворачивает на север, смыкаясь с горной цепью Сьерра-де-Амамбаи.

— Придется поездить для отвода глаз,— сказал Филипп.— В общем-то, страну посмотреть стоит, раз уж мы здесь. Вряд ли придется еще когда-нибудь побывать в этих краях...

Слова эти ужасно расстроили Астрид. Вечером она раньше обычного ушла в свою комнату, попыталась почитать, но купленная в Асунсьоне книжка Саган оказалась ей ужасно нудной.

Из попытки заснуть тоже ничего не вышло, спать совершенно не хотелось. Чего по-настоящему хотелось, так это поплакать, но плакать было глупо, плакать Астрид считала ниже своего достоинства, и вообще — из-за чего, скажите на милость?

«Вряд ли придется еще побывать в этих краях». Ну и что? Естественно — все в жизни рано или поздно кончается. Кончится и эта экспедиция, Дино улетит в Милан, отдыхать от побед над американками в добродетельных объятиях истомившейся донны Маддалены, Мишель вернется в Буэнос-Айрес, где его тоже ждет не дожидаясь эта аргентинка, такая же выломанная и фальшивая, надо полагать, как ее почерк на шикарных конвертах. И Филипп тоже уедет. Если экспедиция наделает шуму, мсье Маду — «герой сельвы» — станет знаменит, и тогда уж его не упустит взять на бордаж какая-нибудь арлезианка...

Да черт с ним, пусть хоть гарем себе заведет — ей-то что? Не хватает, чтобы она портила себе нервы из-за человека, который не обращает на нее внимания. Ну и прекрасно, что не обращает! Очень он ей нужен! И вообще, на кой ей все эти охотники за сенсациями? Она свое дело сделала, с нее хватит. Они хотели использовать ее в роли немки, в чем и преуспели, раздобыв с ее помощью список районов, где прячутся недобитые наци. Так что цель достигнута, и если им хочется еще сидеть здесь, чтобы не вызвать подозрения поспешным отъездом, то ее это ни в коей мере не касается. Она может хоть завтра распрощаться со всей бандой и уехать в Асунсьон. Через три дня будет в Буэнос-Айресе, а еще через день — в Монтевидео. Лагартихе, по крайней мере, она действительно была нужна! Как человек, как женщина, а не как марионетка, которую можно использовать только в политических целях...

Астрид представила себе, как завтра начнет собирать свои пожитки, потом вспомнила, как они в Асунсьоне ходили по магазинам, покупая карты и путеводители, и от этого воспоминания ей стало так больно, что она вдруг и в самом деле разревелась — да как! Хорошо еще, успела вовремя сунуться лицом в подушку, иначе услышали бы в соседней комнате. Несмотря на циклопическую толщину стен, внутренние перегородки в остерии были совсем тонкими.

Наутро она уже собралась с духом, чтобы сообщить о своем отъезде, но тут ей принесли записочку от Кнобльмайера — оказывается, когда она еще спала, приезжал Карльхен. В записке было приглашение побывать сегодня на станции в любое удобное для нее время. «Ладно, — подумала Астрид, — съезжу сразу после завтрака, а потом скажу...» Отсрочка порадовала ее немного.

— Что вы сегодня такая? — спросил за завтраком Филипп. — Можно подумать, получили дурные известия.

— Просто так, — не сразу отозвалась Астрид. — Плохо спала, и вообще...

— Так не езжайте тогда к своему фридолину. Съездите вечером, а можно и завтра, — время терпит, нечего вам лететь по первому требованию.



— Нет, я уж съезжу.

— По-моему, нам давно пора встряхнуться,— предложил Дино.— Давайте-ка закатимся денюшка на два в Асунсьон, поселимся в хорошем отеле, посидим вечерок в баре, потанцуем. Э, Астрид? Тряхнем стариной?

— Не хочу я ни в какие бары,— отозвалась она сдавленным голосом, еще ниже наклоняясь над тарелкой.

Кнобльмайер встретил ее очень любезно и тоже спросил, что с ней такое — бледная, под глазами синяки и вообще вид нехороший.

— Этот ужасный климат,— пожаловалась Астрид,— я просто не могу больше. Вам удалось что-нибудь узнать, господин полковник?

— Разумеется, разумеется — всегда держим слово! — торжественно объявил тот.— Сейчас расскажу, но пока не забыл — господин генерал просил узнать, как с маршрутом?

— С чем? — Астрид подняла брови.— А-а, с маршрутом экспедиции! Да, все улажено. Кстати, я привезла план — можете показать генералу, здесь не затронут ни один из названных им районов...

Кнобльмайер стал внимательно изучать вырванную из путеводителя дорожную схему Парагвая, на которой синим карандашом были заштрихованы намеченные для исследования зоны.

— Так... так,— бормотал он, водя пальцем.— Куругуатй... Ипе-Ю... Капитан Бадо... да, здесь можно, Пуэрто Пинаско — Рохас Сильва... хорошо, правильно. Пуэрто Гуарани — форт Генераль Диас... это все можно. Это хорошо, я скажу его превосходительству, что новый маршрут вполне чист. Как они к этому отнеслись?

— К изменению маршрута? Нормально,— Астрид пожала плечами.— Им-то все равно... тем более, я сказала, что здесь лучше дороги и вообще эти места в этнографическом отношении более интересны.

— Прекрасно, прекрасно,— одобрил герр Кнобльмайер.— Известная доля нордической хитрости вполне допустима, если имеешь дело с врагом. Итак, фройляйн Армгард, мы нашли одного из сослуживцев вашего отца. К сожалению, он живет далеко — в Чако Бореаль, труднодоступная зона, но на вашем вездеходе добраться можно...

Астрид открыла уже рот, чтобы поблагодарить и сказать, что едва ли сможет туда поехать, так как климат ее совершенно измотал и она вынуждена вернуться в Европу, но вовремя сообразила, что сказать так — значило бы подтвердить возможные подозрения на свой счет и поставить под удар остающуюся экспедицию. Нет, видно, ей пока не суждено было уехать.

— ... служил в Семьсот девятой дивизии в чине гауптмана,— говорил Кнобльмайер.— К сожалению, как я слышал, сейчас сильно пьет — естественно — шесть лет войны, поражение,

изгнание — не всякий выдержит. Но вы все-таки поезжайте, поговорите с ним. Достаньте еще раз свою карту... Смотрите, это примерно здесь — нужно ехать до Марискаль Эстигарривиа, а оттуда пробираться через джунгли на северо-восток. До этих пор — видите — дорога есть, дальше будет труднее. Возьмите с собой своих иностранцев, скажите им, что в Чако много интересного...

— Конечно, одной ведь мне не добраться, — сказала Астрид и спросила: — Но для них этот район не запрещен?

— Нет, нет, можете ехать спокойно. Там нет наших соотечественников, кроме менонитов. Но те не в счет — старожилы, давно опарагванлись, многие женаты на туземках — мерзость. Что касается гауптмана Лернера, он служит на одной из лесоразработок компании «Ла Форесталь Норэсте».

Астрид задумалась, приложив палец к подбородку.

— Господин Кнобльмайер, а станет ли он вообще со мной разговаривать? Я ведь так мало знаю о своем отце... боюсь, мне трудно будет убедить его, что у меня нет никаких тайных целей. Вы сами говорили, что живущие здесь немцы довольно подозрительно относятся ко всяким расспросам...

— Правильно! Разумная мысль, фройляйн Армгард, весьма разумная. Я поговорю с господином генералом — надеюсь, он не откажет — небольшое рекомендательное письмо — Лернеру будет достаточно.

— О, я была бы вам так благодарна...

— Не за что, не за что. Я повидею его сегодня. Когда вы думаете ехать?

— Ну, мне еще надо уговорить своих спутников.

— Да, без спутников вам ехать нельзя, и я боюсь, что тут мы ничем не можем помочь. Люди все заняты — работа — не так просто вырваться. А поездка займет не менее десяти дней.

— Нет-нет, господин Кнобльмайер, я уверена, что смогу упростить господина Маду. Это действительно плохие места?

— Чако Бореаль? Гнуснейшие! Джунгли и безводная пустыня — нелепое сочетание — возможно лишь в этой мерзкой стране. Нужно везти с собой все — запас воды, продовольствие, инструменты, запчасти. Если машина выйдет из строя, помочь никому. Словом, вот адрес — если это можно назвать адресом, ха-ха-ха! — и желаю успеха. Завтра, я думаю, Карльхен привезет вам письмо для гауптмана Лернера..

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Погода начала портиться, едва они отъехали от Марискаля. Барометр угрожающе быстро падал уже с утра, но дорога была пока вполне приличной, и джип с подключенным передним мостом довольно уверенно преодолевал подъем за подъемом; поэтому первые капли дождя никого не испугали. Тем более что возвращаться и пережидать непогоду было бессмысленно: никто не знал, сколько она может продлиться. Полуниин и Филипп спрыгнули со своих мест на груде уложенного сзади багажа,

быстро подняли тент и полезли обратно, успев уже порядочно промокнуть — дождь, начинавшийся довольно нерешительно, хлынул вдруг настоящим тропическим ливнем.

— Это ненадолго, — со своим всегдашним оптимизмом объявил Дино, лихо вытгая скорость. — В низких широтах температур распространяется даже на атмосферные явления... бам, бам — и готово!

— Ради вашей мамы, держитесь вы за руль хотя бы одной рукой! — взмолилась сидящая рядом с ним Астрид.

— Э, при чем руки! Не видишь — я его придерживаю коленом?

Вопреки предсказанию Дино, ливень и не думал стихать. Небо, насколько можно было видеть, когда джип выезжал на более открытые места, сплошь затянулось низкими тучами; тусклая завеса дождя, мешаясь с парным туманом, скоро ограничила видимость несколькими метрами, а дорога между тем становилась все хуже и хуже. В сущности, это была теперь извилистая и полузаросшая тропа, по которой джип буквально продирался, ломая еще ниже пригнувшиеся под ливнем ветви и обрывая лианы. Дино то и дело посматривал то на часы, то на счетчик спидометра, ругаясь все более трагическим шепотом, — за час они не проехали и десять миль; весь экипаж джипа успел уже вымокнуть от залетающих под брезент водяных брызг. Тент, самого простого устройства, как и все в этой предельно утилитарной машине, не имел боковых полотнищ, а отсутствие дверок — их заменяли полукруглые вырезы в бортах — делало особенно неудобным положение водителя; что касается Астрид, то она давно уже перебралась со своего промокшего сиденья в задний отсек и устроилась на тюке со спальными мешками.

— Слушай, Дино! — крикнул Полунин, пытаясь перекричать рев ливня и надсадный вой задыхающегося мотора. — Бросай к черту ставить рекорды! Это же бессмысленно, — переждем, пока стихнет!

— Я уж и сам думал! — отозвался Фалаччи. — Сейчас, только найду место повыше!

Вскрабкавшись на очередной увал, он вывернул джип под какое-то растение вроде высокого банана, широкие пальмовые листья которого представляли некоторую защиту от низвергающихся сверху водопадов. Когда умолк мотор, ураганный шум дождя показался еще более устрашающим. Дино перелез через спинку своего сиденья и принялся вместе с Филиппом устраивать дополнительные боковые прикрытия из чехлов и палаток. Когда задняя часть машины превратилась в подобие цыганской кибитки, путешественники почувствовали себя лучше. Астрид разрыла багаж и извлекла термос с кофе и запаянную жестянку сигарет.

— Все-таки пригодилась тропическая упаковка, — сказал Филипп, вскрывая банку. — Помните, парни, мы такое впервые увидели у американцев в сорок четвертом... еще удивлялись — консервированное куруво! Оказывается, это делали для Тихоокеанского фронта.

— Гнусная штука тропики,— заметил Дино.— Человек чувствует себя ничтожеством, самой последней из букашек...

— Правда? — подхватила Астрид.— У меня еще вчера появилось это ощущение. По-моему тоже, в тропической природе есть что-то подавляющее... Я теперь понимаю, почему служащие колониальной администрации в конце концов спиваются, рано или поздно.

— Есть еще и такая штука, как ностальгия,— заметил Полунин.

— А, глупости! — возразила Астрид.— Никогда не испытывала этой дурацкой ностальгии, да и не видела, чтобы другие от нее страдали. Сколько англичан живет в Уругвае,— англичан, французов, испанцев, кого угодно... И никакой ностальгии не испытывают! А посадите любого из них куда-нибудь в Суринам или на Борнео — сопьется в два счета. И ведь не от одиночества — европейцы в колониях обычно живут сеттльментами, денег куча, так что в любой момент можно слетать в гости хоть на другое полушарие... Нет, это тропики. Особый тропический психоз, мне рассказывали. Я знала одного парня, голландца, он долго служил в Индонезии. А теперь и сама вижу, что это такое...

Она задумалась, держа в ладонях пластмассовую кружку с кофе и глядя на дорогу — кипящий под ливнем глинистого цвета ручей, по которому неслись сломанные ветки и листья.

— Вообще, мы сделали ужасную глупость, что потащились к этому пьянице Лернеру,— добавила Астрид.— Действительно, ничего глупее нельзя было придумать!

Дино и Филипп молча курили, Полунин пытался настроить коротковолновый приемник, но не мог извлечь из него ничего, кроме свиста и треска. Астрид допила свой кофе и тоже потянулась за сигаретой. Ливень, казалось, начал немного стихать.

— Как это мы, в самом деле, не додумались,— продолжала Астрид, прикурив от сигареты Филиппа.— Можно ведь было мне заболеть, тем более что в последний раз Кнобльмайер сам спросил, почему я так плохо выгляжу... Заболела бы, а Лернеру послала письмо — и могла бы уехать со спокойной совестью, никого не подводя... А теперь изволь таскаться по этому проклятому Чако Бореаль только для того, чтобы приехать и услышать «нет, не знаю»!

— А если приедете и услышите «да, знаю»? — усмехнувшись, спросил Филипп.

Астрид уставилась на него изумленно:

— Что вы хотите сказать?

— То, что свидание с Лернером может оказаться вовсе не таким уж пустым, как вам кажется.

— Великолепно! — Астрид рассмеялась.— Слушайте, Фил, вы мне напоминаете лжеца из восточной притчи, который надул сам себя. Не знаете эту историю? Тогда я вам расскажу. У нас был студент-пакистанец, я от него и услышала. Когда-то в одном восточном городе жил лжец; и это был такой гнусный лжец —

да не помилует его аллах! — что он не мог прожить дня без того, чтобы кого-нибудь не обмануть. Однажды негодай сидел на кровле своего дома и увидел проходящего по улице соседа. «Сосед! — закричал лжец. — Ты разве не слышал новый фирман нашего повелителя? Отныне каждую пятницу на площади перед медресе будут бесплатно раздавать кускус всем, кто пожелает, нужно только явиться туда до полудня». А это как раз была пятница, и сосед забежал к себе домой, схватил блюдо и помчался к медресе, а за ним поспешил и сосед соседа, и еще другие соседи, и все бежали с блюдами и кричали каждому встречному, что на площади всем правоверным раздают сочный и ароматный кускус и не берут за это ни сантима, — в общем, началось черт знает что. А негодай смотрел с кровли своего дома и посмеивался, потом задумался, потом стал беспокоиться; а кончилось тем, что лжец — да осквернит дикие ослы могилу его деда — тоже схватил блюдо и помчался за даровым кускусом...

Все посмеялись.

— Так же будет и с вами, — продолжала Астрид, — скоро вы и сами поверите в то, что меня зовут Армгард фон Штейнхауфен и что я разыскиваю своего бедного пропавшего без вести фатти...

Полунин обернулся к Филиппу:

— Ты ей разве еще не рассказал?

— Нет еще, — сказал Филипп.

— О чем? — удивленно спросила Астрид, посмотрев на одного и на другого.

— Этот Филиппо — осторожный человек, — подмигнул Дино. — Я давно говорил, что тебя нужно посвятить во все, но у него свои соображения...

— Брось трепаться, — резко перебил Филипп. — До сих пор мы считали, что рассказывать Астрид обо всем пока ни к чему, а рассказать решили только перед самым отъездом. Ну а тут как-то не получилось еще...

Астрид, ничего не понимая, кроме того, что от нее что-то скрывали и продолжают скрывать, пожала плечами.

— Пожалуйста, — обиженно сказала она, — не думайте, что я так уж рвусь проникнуть в ваши... элевзинские таинства. Мне давно ясно, что вы посвящаете меня в свои дела лишь постольку, поскольку это нужно для успеха очередного задания, которое мне предстоит выполнить...

— Не нужно обижаться, Ри, — сказал Филипп, — это ведь закон конспирации. Когда мы были в маки, никто из нас не знал того, что знало руководство, и для нас это было благом. А вы сейчас вместе с нами тоже занимаетесь конспиративными делами, и делами довольно опасными, так что обиды здесь неуместны. Очень может быть, вы потому и сумели так естественно провести свою роль в этой немецкой колонии, что не знали главного. Понимаете... знай вы всё — вы бы неизбежно нервничали, боялись. А когда человек боится, ему куда труднее владеть собой. Я это по собственному опыту знаю, — в маки, вы думаете, нам не случалось трустить? Поэтому главного вам и не сказали.

— Спасибо, — насмешливо сказала Астрид, — я понимаю, вы заботились обо мне...

— Мы заботились о том, чтоб вы не провалились сами и не провалили порученного вам дела. А сейчас вам поручается другое: побывать у капитана Лернера и выяснить, не известно ли ему теперешнее местопребывание одного из его сослуживцев по Семьсот девятой дивизии, обер-лейтенанта...

— Фон Штейнхауфена, знаю, моего бедного папочки.

— Нет, обер-лейтенанта Густава Дитмара.

— Кого? — изумленно спросила Астрид, поворачиваясь к Филиппу. — Что это еще за Густав Дитмар?

— А это тот самый человек, ради которого мы и таскаемся по Южной Америке, — объяснил Филипп. — Человек, которого нам нужно выследить и взять живым.

С минуту Астрид молчала, потом глянула поочередно на каждого из своих спутников, открыла уже рот, чтобы что-то сказать, и снова умолкла.

— Ну знаете! — объявила она наконец. — Это уж слишком! Да пошли вы все к черту с вашими тайными судилищами и вашими беглыми кригсфербрехерами!<sup>1</sup> Что это такое, в конце концов? Сначала меня приглашают на работу в мирную этнографическую экспедицию; тут же выясняется, что вся эта этнография — липа высочайшей пробы и господа ученые интересуются мофами, а вовсе никакими не индейцами; потом из меня спешно делают шпионку...

— Простите — разведчицу, — поправил Филипп.

— ... а теперь я, ни больше ни меньше, должна еще принимать участие в людокрадстве! — продолжала кричать Астрид. — Да вы что, в самом деле, взбесились? Не знаю, как тут, а в Штатах за такие штучки сажают на электрический стул, — так я на нем сидеть не желаю, понятно вам? Не желаю! Отвезите меня обратно в Марискаль, оттуда я уж как-нибудь выберусь без вашей помощи, а сами можете и дальше гоняться за своими лернерами и дитмарами! И счастливой вам охоты!

— Тише, тише, — сказал Полуниин. — Астрид, вас никто ни к чему не принуждает. Если хотите, мы вас отвезем не только в Марискаль, а прямо в Асунсьон и посадим на первый же аргентинский пароход. Но только после того, как вы побываете у Лернера.

— Я сказала — не поеду! Хватит с меня!

— Э, послушай, — примирительно сказал Дино, — не нужно сейчас спорить, у тебя истерика, нервы. Подожди, дождь скоро кончится и все тебе покажется в другом свете...

— Да при чем тут ваш чертов дождь!

— Ри, послушайте, — сказал Филипп. — Мишель прав, мы не собираемся вас удерживать, если вы решите уехать. Но сейчас это сделать просто нельзя. Кто, кроме вас, может поговорить с Лернером? В конце концов, согласитесь, вы ведь нас тоже

<sup>1</sup> Der Kriegsverbrecher — военный преступник (нем.).

отчасти подвели: откажись вы сразу, мы бы придумали какой-нибудь другой вариант, а теперь выходит ерунда — то вы едете, то бросаете все на полпути...

— Но вы мне ничего не говорили о похищении!

— Минутку. Во-первых, еще неизвестно, придется ли нам кого-то похищать. Во-вторых, даже если и придется, вы в этом участвовать не будете. Не такие уж мы идиоты, в самом деле. От вас сейчас требуется одно: поговорить с Лернером и выяснить, что он знает. Очень может быть, что он не знает ровно ничего; в таком случае мы будем продолжать поиски — с вами или без вас, это уж как вы сами решите. Поймите только одно: ваше участие предусматривалось только в этой, предварительной фазе операции. С остальным мы уж как-нибудь и сами справимся. Как там, кофе еще остался?

Астрид молча разлила по кружкам остатки из термоса. Ливень действительно шел на убыль, теперь это уже был обычный сильный дождь, какие бывают и в Европе. Кругом посветлело. Пока допили полуостывший кофе, совсем распогодилось, только запоздалые капли скатывались еще с широких пальмовидных листьев приютившего их дерева. Дино с Полуниным принялись разбирать брезентовую кибитку.

— Ладно, — объявила вдруг Астрид, — Лернера я беру на себя, черт с ним. Но только договоримся сразу! Или вы мне доверяете во всем, или я в игре не участвую, — следовательно, чтобы никаких больше секретов. Принято?

— Принято, — ответил Филипп.

— Еще бы вам не принять, ха-ха. Вы, милые мои джентльмены удачи, у меня теперь все вот здесь! — Астрид показала сжатый кулак и обвела своих спутников торжествующим взглядом. — Вздумайте только пикнуть. И вообще, это сафари с нынешнего дня получает кодовое наименование «Операция Южный Крест».

— Какой еще крест, — испуганно закричал Дино, — ты что, хочешь погубить нас всех?!

— Успокойтесь, синьор Фалаччи, я имею в виду созвездие!

Дино, уже нацелившийся в нее рогами из пальцев, тут же успокоился.

— Созвездие — это ничего, — признал он. — Но вообще с такими вещами лучше не шутить.

— А я и не думаю шутить. Вы поняли, почему я выбрала именно Южный Крест? Там четыре звезды — одна наверху и три пониже. Улавливаете аллегорию?

— Я думаю, — сказал Филипп, — никто из нас не откажется уступить пальму первенства представительнице прекрасного пола.

— Вот вам типичный француз, — вздохнула Астрид. — Комплименты выскакивают мгновенно, как шоколадки из автомата. И так же равнодушно. А вот наш Великий Молчальник опять чем-то недоволен. Что, не нравится название?

— Да нет, почему же, — отозвался Полунин. — Как кодо-

вое — сойдет. Даже остроумно, в вашем истолковании. Просто мне само это созвездие не очень по душе.

— А, ну еще бы! Вам подавай Медведиц, да побольше...

Подождав еще с полчаса, чтобы иссяк текущий по дороге ручей, они собрались уже трогаться дальше, как вдруг Дино насторожился и стал прислушиваться.

— По-моему, собаки где-то лают...

Остальные тоже услышали в отдалении собачий лай.

— Это жильё,— сказал Дино.— Надо сходить узнать, что-то я не уверен в этой дороге, очень уж она выглядит заброшенной. Может, сходим, Микеле? По-моему, тут недалеко.

— Куда вы потащитесь через мокрые заросли? — возразила Астрид.— Поедем дальше, куда-то эта дорога нас приведет.

— Она может привести в такое место, откуда потом не выберешься,— сказал Полуниин.— Что ж, давай сходим, вымокнуть мы уж и так вымокли. Ты тогда оставайся здесь с Астрид, Филипп, там все равно понадобится знание испанского.

— Э, хотел бы я быть в этом уверен,— с сомнением сказал Дино.— Местные индейцы, по-моему, говорят только на гуарани. Однако попытаться стоит, ничего не поделаешь. Филипп, достань там пару мачёт!

Филипп попросил Астрид пересечь и, отвалив в сторону тук со спальными мешками, вытащил два длинных тесака со слегка изогнутыми лезвиями. Без этого универсального орудия, заменяющего жителю Южной Америки косу и топор, в сельве нельзя сделать ни шагу; не говоря уже о необходимости прорубать себе дорогу в густом подлеске и рассекать то и дело преграждающие путь лианы, именно мачёт с его острым и тяжелым клинком шириной в три и длиной в двадцать дюймов наиболее удобен как надежное оружие против змей — главной опасности этих мест.

Едва Дино и Полуниин успели скрыться в зарослях, как проглянуло солнце. Мокрая зелень ослепительно засверкала, туман стал подниматься от быстро просыхающей земли; воздух, ненадолго очищенный ливнем, снова насыщался тяжелыми гнилостными испарениями.

— Проклятый климат,— упавшим голосом сказала Астрид,— настоящая турецкая баня. Фил, можно попросить вас исчезнуть минут на десять...

— Исчезаю,— кивнул Филипп и спрыгнул в грязь.— Я отойду, а вы посигнальте, когда будете готовы.

Переодевшись во все сухое, Астрид почувствовала себя лучше — но только физически. Ей было стыдно за недавнюю истерику. Что он теперь о ней подумает? Взбалмошная девчонка, дура, и к тому же трусиха. То говорила, как ненавидит нацистов, а то вдруг впадает в панику оттого только, что ее попросили помочь обезвредить одного из них. Должна бы радоваться, что ей дали возможность сделать в жизни хоть что-то полезное...

Вдоволь натерзавшись такими мыслями, она нерешительно выглянула из-под брезента. Филипп стоял на дороге метрах



в сорока от джипа, запрокинув голову, и разглядывал что-то в ветвях. Астрид выбралась наружу и пошла к Филиппу, с трудом вытаскивая из грязи резиновые сапоги.

— Что вы там увидели, Фил? — крикнула она, подойдя ближе. — Гнездо какое-нибудь?

Филипп обернулся.

— Обезьяны, — сказал он негромко. — Идите скорее, их тут целый выводок...

— Где, где? — заторопилась Астрид. — Покажите!

— Смотрите вон туда, вон, где толстая лиана, видите? Чуть выше и левее...

Он полубоялся ее и нагнулся к ее щеке, показывая на какой-то просвет в мокрой зелени. Астрид честно попыталась что-то разглядеть, но оказалась так близко от Филиппа, что ей уже было не до обезьян. Постояв так с неистово колотящимся сердцем, она закусила губы и отодвинулась.

— Действительно, очень интересно, — сказала она светским тоном.

— Видели, да? По-моему, это ревуны... черт, хорошо бы их сейчас телеобъективом...

— Принести камеру?

— Не надо, чувствительности пленки все равно не хватит. Там слишком темно. Бедняги, они совсем мокрые...

— Фил, — сказала Астрид.

— Да?

— Раз уж я остаюсь с вами, расскажите мне про этого немца, которого вы ловите.

— Да в общем, в этой истории нет ничего исключительного. В начале сорок четвертого года у нас в отряде появился перебежчик. Ну, естественно, полного доверия к нему сначала не было... но со временем он прошел все проверки и стал полноправным бойцом. Он по-настоящему дрался, этот Дитмар, никогда не отказывался от опасных заданий, словом придраться было не к чему. А потом выдал всю сеть. Не только отрядные базы, но вообще всё решительно — всё, что успел выведать, вплоть до системы явок среди гражданского населения...

— Кошмар... — прошептала Астрид. — Так он был специально заслан?

— Разумеется. Дню утверждал это с самого начала — ему не верили... Нельзя же, мол, подозревать человека только потому, что он родился в Германии! А как же тогда Тельман, Буш и другие? Да он и в самом деле не давал поводов для подозрений... пока не оказалось слишком поздно. Что ж, надо признать — сработал он ловко. Правда, ядро отряда пострадало не так уж сильно, но вся наша гражданская сеть погибла... связные, система явок... В общем, в результате этого предательства немцы расстреляли в Руане и его окрестностях около ста человек. К тому же Дитмару удалось провести свою операцию таким образом, что в предательстве был заподозрен мэр одного из маленьких городков... человек, который сделал для Резистанса больше, чем любой

из нас. И улики были настолько серьезны, что этот человек так и умер под подозрением, не сумев оправдаться в глазах всех окружающих. Точнее, он покончил с собой... вскоре после войны. Именно из-за этого.

Астрид долго молчала.

— Действительно, ужасная история, — сказала она наконец. — Но, Фил, я не совсем понимаю... если даже после войны улики против этого мэра не были опровергнуты — откуда же вы знаете, что...

— Что он не был виновен? Потому что Фонтену я верил, как самому себе. Это был мой учитель, Ри, и я просто *знаю*, что он не был способен на предательство. Кроме того, его дочь слышала разговор с Дитмаром — последний их разговор, это было как раз накануне разгрома, — из которого поняла, что отец раскусил немца. Ну, свидетельству дочери значения не придали... это тоже в какой-то степени было понятно, особенно в то время...

— А сам Дитмар?

— А Дитмара один наш бывший макизар видел уже год спустя, весной сорок пятого. Этот тип спокойно жил в лагере для пленных немецких офицеров, причем даже фамилию не потрудились изменить. Наш парень поднял шум, начал требовать у американцев, чтобы того передали французским властям, но американцы с такими делами спешить не любили. Пока все это ходило по инстанциям — Дитмара в лагере не оказалось. То ли бежал, то ли был куда-то переведен, никто этого не знал.

— Да-а, — протянула Астрид. — Действительно, история... Но показания этого человека, который его видел, — почему их не приняли во внимание? Ведь если Дитмар после всей этой истории оставался в вермахте — значит, он никак не мог быть настоящим перебежчиком...

— Как сказать — не приняли, — Филипп пожал плечами. — Фонтен не был ведь осужден формально, и именно потому, что прямых доказательств его измены все-таки не нашлось... но и оправдать его не оправдали. Дело было прекращено за недостатком улик, а это, в общем, формулировка страшная своей двусмысленностью. Она-то Фонтена и убила. А насчет встречи в Мюлузе... ну, многие склонны были считать, что парень просто ошибся. Прояснить всю эту историю могло только появление в зале суда самого Дитмара, но Дитмар-то как раз и исчез. Исчез и пропадал до тех пор, пока Мишель не обнаружил, что он перебрался в Аргентину...

— Каким образом?

— Да просто случайно: в старом журнале увидел снимок группы только что прибывших из Европы иммигрантов и там красовался наш Дитмар. У него характерная морда — со шрамом во всю щеку.

— Нет, но какое совпадение! Просто чудо...

Продолжая разговаривать, они вернулись к машине. Филипп опустил тент и перегнал джип на открытое место, чтобы солнце

высушило сиденья. Прошел уже почти час, как ушли Дино с Полунным.

— Пора бы им возвращаться,— заметил Филипп, посмотрев на часы.— Неизвестно, сколько еще ехать... боюсь, нам сегодня придется спать в палатках.

— Это даже интересно,— сказала Астрид.— Ночлег в палатке в глубине парагвайской сельвы — такое не часто бывает

— Лиха беда началом... Хорошо, если Лернер знает что-нибудь о Дитмаре, а если нет — ума не приложу, где его еще искать.

— Должен знать, вероятно,— сказала Астрид.— Наверное, после той истории он стал известной фигурой, по крайней мере среди сослуживцев.

— На это-то мы и рассчитываем. Но захочет ли Лернер сказать, вот вопрос...

Было уже около полудня, тяжелый влажный зной становился нестерпимым. Вокруг стояла особенная тишина сельвы, наполненная — если прислушаться — мириадами звуков, в большинстве своем совершенно непонятных, загадочных и поэтому пугающих. Астрид испытывала какое-то странное беспокойство, настроение ее становилось все более подавленным — и не только из-за этой рассказанной Филиппом истории с предательством. Скорее, дело было в самом Филиппе, — у Астрид была достаточно трезвая голова, чтобы безошибочно разбираться в причинах своих настроений. Как жаль, подумалось ей, вот уж об этой причине было бы куда приятнее не догадываться...

Как просто и хорошо чувствовала она себя с Филиппом еще две-три недели назад! Тогда это была просто привычная и забавляющая ее игра, старая как свет, игра в соблазнительницу и соблазняемого; игра, в которую — сознательно или бессознательно — спокон веку играет всякая молодая и свободная женщина, заполучив более или менее подходящего партнера. Астрид всегда считала, что в этом вопросе она ничуть не лучше и не хуже других, и вела себя так, как было принято в ее кругу. Впрочем, некоторых вещей она себе никогда не позволяла: например, отбить друга у приятельницы или соблазнить женатого приятеля. Секс был для нее спортом, и она придерживалась правил честной игры — развлекайся сколько угодно, но не порти жизнь другим.

Взять, например, ее последний роман — с Лагартихой. Они чудесно провели время, целое лето прожили почти как муж и жена, разве что на разных квартирах, и расстались вполне мирно. Ну, конечно, Освальдо устроил сцену, на то он и аргентинец: тряс ее за плечи, швырнул на постель, угрожал громадным пистолетом — все это ей очень понравилось, она впервые испытывала на себе знаменитые южноамериканские страсти; впрочем, отвергнутый любовник скоро успокоился, пистолет спрятал, а ее попросил перепечатать в пяти экземплярах полученное из Буэнос-Айреса циркулярное письмо.

Примерно так же представлялся ей с самого начала и будущий роман с шефом. То, что Филипп был явно не бабник, делало

предстоящий матч еще более интересным; невелика заслуга, скажем, забраться в постель к тому же Дино — тот и сам не пропускает ни одной юбки. Филипп же был дичью, достойной охотника.

Так что игра обещала быть интересной. Но игры не получилось, получилось что-то совсем другое. Насколько другое — Астрид предпочитала не думать, несмотря на всю трезвость своего ума. Пока еще это ей удавалось.

Но с Филиппом ей теперь было трудно. Она могла навязаться в любовницы — это было привычно, забавно; навязываться же в любимые ей до сих пор просто не приходилось, и она меньше всего хотела учиться этому теперь.

— О чем задумались, Ри? — спросил Филипп.

— Да так... просто, — Астрид вздохнула. — Обо всей этой истории, что вы рассказали. Вообще, конечно, гнусная штука... Хорошо бы вы сумели разыскать этого Дитмана.

— Дитмар, а не Дитман. Не ошибитесь, когда будете говорить с Лернером.

— Нет, я запомню... Фил, а как вам удалось организовать экспедицию? Ведь это, наверное, не так просто было — достать деньги, разрешения...

— Случай помог. Я когда приехал в Ним, «Эко де Прованс» была при последнем издыхании — штат бездарный, подписчиков с каждым месяцем все меньше и меньше, в редакции сонная одурь... Ну, я, как человек новый, пытался там что-то сделать, частично мы дела поправили, но нужен был какой-то гвоздь, понимаете? Мы с главным ломали голову и так и сяк, а тут вдруг приходит это письмо от Мишеля. Я тут же позвонил Дино, он приехал. Обсудили мы это дело, видим — нужно ехать. А на какие средства? Дино говорит: «Я на первое время могу кое-что подкинуть, но все равно — нужна прочная финансовая основа...»

— Фалаччи состоятельный человек? — спросила Астрид.

— Я бы не сказал. У него маленькая рекламная фирма — сводит концы с концами, не больше. Мы тогда так ничего и не придумали, а на другой день он мне звонит: «Слушай, у меня идея: попробуй заинтересовать свою газету мыслью об экспедиции, по-моему, это единственный выход и для нее, и для нас». Представляете? Странно, что мне, журналисту, не пришло это в голову. Я поговорил с главным, потом с издателем, они в принципе заинтересовались. Начали рекламную кампанию. «Эко де Прованс» посылает собственную экспедицию в глубину южноамериканской сельвы! Тайны погибших цивилизаций! Загадка гибели полковника Фосетта! Кровавые обряды древних жрецов! Читайте в ближайшее время леденящие душу сообщения нашего специального корреспондента» — ну и так далее, в том же роде. Вы вот смеетесь, а ведь число подписчиков сразу увеличилось...

— Еще бы, — кивнула Астрид. — Можно представить, как заволновались местные тартарены! Ним, кстати, это недалеко от Тараскона?

— Да, в тех краях... — Филипп поднял голову и прислу-

шался. — Кажется, наконец возвращаются. Словом, вот так и родилась наша экспедиция.

— Синьор Фалаччи, оказывается, умеет не только бегать за женщинами...

— Что вы! Дино производит обманчивое впечатление. Это человек умный. Я вам говорил — первым Дитмара раскусил именно он. С самого начала утверждал, что его к нам послали...

Из зарослей выбрался Фалаччи, за ним Полуниин. Мокрые с головы до ног, обсыпанные зеленым крошечком, в изодранных колготками штормовках, они подошли к джипу и стали жадно пить.

— Видели кого-нибудь? — спросил Филипп.

— Да, все в порядке, — тяжело переводя дыхание, сказал Полуниин. — Дорога правильная, а ехать еще часов двенадцать — так они говорят.

— Мама миа! — Дино врубил свой мачете в искривленный ствол жакаранды. — Да я согласен не вылезать из-за руля все двадцать, только бы не таскаться пешком по этой сельве. Хуже, чем в Африке! Микеле, сколько мы прошли в один конец — километра три, не больше? Я под Тобруком так не уставал, а мы там однажды делали марш-бросок в полном снаряжении, э! Сорок километров, и я был как огурчик. А сорок километров по пустыне — это, знаете...

— Сидел бы дома, легионер, — подмигнул Филипп. — Чего тебя туда носило — не давали покоя лавры Сципиона Африканского?

— Это все Бенито, — не обижаясь, объяснил Дино и озабоченно потрогал свежий волдырь на ладони. — Это ему, рогносцу, не давали покоя лавры цезарей. Слушайте, сейчас уже третий час — может, сразу и пообедаем, чтобы потом не останавливаться? Пообедаем и тронемся...

— Можно, — согласился Полуниин. — Заодно попросим Астрид вооружиться иголкой и немного привести нас в порядок, — он показал выдранный колючкой треугольный клочок рукава штормовки. — Чтобы не являться к Лернеру бродягами.

— Да уж вижу, — сказала Астрид. — Шить, готовить, на что еще годится прекрасный пол. Фил, помогите мне достать плитку и продовольственный ящик — опять их засунули куда-то к черту под самый низ...

Через час, после стандартного обеда из консервов, они снова погрузили в машину свои пожитки и двинулись дальше. На десятом километре сельва кончилась сразу, словно обрезанная ножом; дорога, проложенная, видимо, во время парагвайско-болливийской войны, шла дальше по невысокой насыпи, слева и справа раскинулись огромные пустые пространства, залитые водой, с торчащими тут и там редкими одиночными пальмами. Потом, ближе к вечеру, местность начала подниматься, пошли пологие песчаные холмы. Начинаясь пустынная часть Чако. Уже в темноте, выбрав при свете фар подходящее для ночлега место,

они остановились и принялись готовить ужин и разбивать палатки.

Ночью было очень холодно, Астрид даже заоченела в своем спальном мешке.

Фактория «Ла Форесталь Норозте», до которой они добрались уже после полудня, состояла из нескольких барачков, крытых изъеденным ржавчиной гофрированным железом, длинного навеса — цеха, где были установлены пилорамы, и сборного из щитов домика конторы. Здесь кругом опять были заросли — теперь уже в основном «железного дерева», кебрачо. Джип въехал во двор, покрытый многолетним слоем слежавшихся опилок. Стояла тишина — фактория была явно недействующей, и давно, судя по всему. Полунин пошел выяснять обстановку. В одном из барачков, оказавшемся кухней, нашелся старый полуглухой индеец; кое-как они объяснились. Индеец сказал, что фактория и в самом деле не работает, — весной, может быть, начнут снова валить лес, но пока не валят. Рабочие отсюда ушли, остались только трое, если не считать его, повара, и еще управляющий, сеньор Алеман.

— Алеман? — переспросил Полунин. — Разве управляющего зовут не Лернер?

— Да, да, — закивал индеец. — Лерна, да. Алеман<sup>1</sup>.

— А, ну конечно! — Он только сейчас сообразил, что «фамилия» управляющего означает просто его национальность. — Так где же он, этот сеньор?

— Спит, — объявил индеец. — Сеньор пить много чича.

— Пожалуй, придется его разбудить.

Старик отрицательно покачал головой.

— Разбудить, когда солнце там, — он показала скрюченным пальцем на верхушку высокой араукарии. — Сейчас будить нельзя.

— А вы все-таки попробуйте! Скажите, к нему приехала гостья, сеньорита алемана.

Индеец подумал и нерешительно направился к хижине. Из джипа выбралась Астрид, подошла к Полунину.

— Похоже, мы приехали напрасно?

— Нет, почему, ваш Лернер здесь. Отсыпается после попойки, старик попробует его разбудить...

Через несколько минут индеец вышел и сказал, что сеньор уже встал.

— Ну, желаю удачи, — сказал Полунин. — Нам, пожалуй, представляться ему не нужно, разве что сам захочет. Вы поняли, как с ним говорить?

— Я все запомнила. Сначала спрошу насчет «отца», — Астрид начала загибать пальцы, — потом он, вероятно, спросит, не знаю ли я кого-нибудь еще из этой дивизии, кто служил с ним вместе, и тогда я назову Дитмара. Скажу, что отец однажды о нем писал и мне запомнилась фамилия.

<sup>1</sup> Aleman — немец (исп.).

— Правильно. Действуйте, Астрид,— Полунин потрепал ее по локтю и пошел к джипу. Оглянувшись на полпути, он увидел, как на крыльце конторы показалась живописная бородатая фигура в шортах и расстегнутой до пупа рубашке. Сеньор алеман был взъерошен, как дикобраз, но поклонился Астрид без ловкости и даже, кажется, попытался щелкнуть босыми пятками — за неизменением подкованных каблуков.

Филипп отогнал джип под навес пилорамы, они вылезли, разостлали на опилках брезент и улеглись, приготовившись к долгому ожиданию.

— По-моему, ни черта не выйдет,— заметил Дино.

— Увидим,— отозвался Филипп.— Может, что и получится.

— Вряд ли,— с сомнением сказал Полунин.— Похоже этот тип спился до потери человеческого облика...

Не прошло и получаса, как из конторы вышла Астрид. Она огляделась, заслоняя глаза от солнца, и вприпрыжку побежала к навесу. Филипп вскопил на ноги.

— Ну, что? — крикнул он.

Астрид молча показала поднятый большой палец.

— Неужели узнали что-нибудь? — спросил Филипп, когда она подбежала ближе.

Астрид бросилась на брезент и закрыла глаза с блаженным видом.

— Мальчики, это потрясающе,— сказала она и поболтала в воздухе ногами.— Такое везение бывает только в сказках...— Она запустила руку в карман и вытащила смятый грязный конверт.— Держите крепче, дарю вам вашего Дитмара! Фил, я уж и не знаю, чем вы теперь со мной будете расплачиваться. Во всяком случае, поцелуем в щечку не отдаетесь.

— Насчет платы столкнемся,— заявил Дино.— За мной не пропадет, но ты рассказывай, рассказывай!

— Да тут и рассказывать нечего! Я все выудила из него за десять минут, а потом просто посидела из приличия, чтобы не уходить сразу. В общем, когда я назвала Дитмара, он сказал, что этого припоминает и что даже, насколько ему известно, Дитмар сейчас тоже в Южной Америке, в Аргентине где-то. «Мне, говорит, о нем недавно писал один камрад из Кордовы». Я попросила адрес, он стал рыться в бумагах — беспорядок у него чудовищный, просто берлога какая-то! — и нашел вот это письмо. «Можете, говорит, взять с собой, мне оно не нужно...»

— Прекрасно,— сказал Филипп.— Вы прочитайте-ка это письмо сейчас, на всякий случай. Он ведь мог спяну и перепутать?

— Нет, мы смотрели вместе,— Астрид приподнялась на локте и вытащила из конверта листок почтовой бумаги.— Вот здесь... ага: «...а также небезызвестный тебе Дитмар, у него электро-монтажная фирма, довольно процветающая». Собственно, вот и все — адреса, как такового, нет.

— Адрес — это мелочь,— сказал Полунин,— адрес мы узнаем. Важно, что он в Кордове.

— Ну что ж,— медленно сказал Филипп.— Собственно, поиски подходят к концу. А, парни?

— Мы теперь прямо в Аргентину? — поинтересовалась Астрид.

— Нет,— сказал Полуниин.— В Аргентину поеду пока я один, а вам придется еще с месяц потаскаться по Парагваю.

— Да, внезапный отъезд всей экспедиции выглядел бы подозрительно,— Дино зевнул и потянулся.— Лично я ничего против Парагвая не имею...

— Я думаю,— ехидно сказала Астрид.— Уж в Аргентине вам такого раздолья не будет, синьор павиан! Знаете, какой там процент женщин?

— Нами Лернер не интересовался? — спросил Филипп.

— Нет, даже не спросил, с кем я приехала. Он, правда, извинился, что не может выйти поздороваться, так как «чувствует себя не в форме».

— Ну, это мы переживем. Тогда, я думаю, больше нас здесь ничто не задерживает? Ри, сходите-ка вы к этому старику, может он нас покормит чем-нибудь неконсервированным, а если у него ничего нет, возьмите инициативу на себя. Пообедаем и тронемся обратно, пока не начала портиться погода...

На следующее утро маленький двухместный вертолет приземлился на поляне возле фактории. Когда полозья коснулись травы, из-под круглого плексигласового колпака с трудом вылез толстяк Кнобльмайер и, пыхтя и оглядываясь, двинулся по тропинке к конторе.

Лернер, с утра еще трезвый, принял гостя с вежливым равнодушием. Кнобльмайер объяснил, что был по делам здесь неподалеку, в менонитских колониях, и, узнав, что есть возможность воспользоваться вертолетом, решил навестить камрада; хотя они и не служили вместе, все-таки фронтовое товарищество обязывает. Они поговорили о том о сем, потом Кнобльмайер упомянул о генерале и поинтересовался, не приезжала ли к нему, Лернеру, некая фройляйн с письмом от его превосходительства.

— Была, вчера,— кивнул Лернер.— Хотела узнать насчет пропавшего без вести отца, но я его не знал. Вообще не помню такой фамилии у нас в дивизии.

— Так, так,— Кнобльмайер задумался.— Весьма странно, весьма. Уверяет, что отец служил в Семьсот девятой. Вы не заметили ничего подозрительного?

— А что я должен был замечать? Приятная девочка, с которой я охотно переспал бы, если бы еще был на это способен.

— Мне она подозрительна. По-моему, все это выдумка — насчет отца. Цель, впрочем, непонятна.

— Ну, не совсем выдумка,— возразил Лернер.— Отца ее я не помню, это верно, но в дивизии было много обер-лейтенантов, и неизвестно, сколько времени прослужил у нас этот Штейн... как его там. Может, ухлопали через неделю после прибытия. А одного из его сослуживцев, имя которого девочка назвала, я знал лично.



Так что это уже не выдумка. И совпадения быть не может, она говорит, что отец писал что-то о шраме, а у Бандита морда действительно располосована...

— Почему «бандита»?

— А это мы Дитмара так называли. Он побывал у французов, в маки, с особым заданием. После этого кличка и приклеилась.

Кнобльмайер насторожился.

— С особым заданием, говорите? Какого рода?

— Инфильтрация. Он проник к партизанам и раскрыл целую сеть на территории Руанской комендатуры.

— Так, так... И что же она спросила о нем?

— Спросила, не знаю ли я, где он сейчас живет.

Кнобльмайер нахмурился, лицо его стало еще более озабоченным. В Колонии Гарай Армгард ни о каком Дитмаре не упоминала, хотя упомянуть было бы естественно...

— Скажите, Лернер, она что-нибудь рассказывала вам о себе? А о своих спутниках?

Лернер пожал плечами.

— А я ни о чем не спрашивал. Генерал ее рекомендует, что мне еще? Да и рекомендация была ни к чему — черт возьми, девчонка разыскивает отца, что тут такого...

...Подозрительно, чертовски подозрительно. Там она ничего не спросила о Дитмаре, потому что там знали об экспедиции. Здесь она об экспедиции умалчивает — и спрашивает о Дитмаре. Логично. Весьма логично. Французская экспедиция — Дитмар в свое время выдал французских партизан — странное «совпадение»...

— Так, так. И что же вы ответили ей касательно Дитмара?

— Просто дал адрес, и все.

— Чей адрес? — Кнобльмайер побагровел, вытаращивая глаза.

— Дитмара, чей же еще. Она сказала, что попытается с ним связаться.

— Лернер, вы сошли с ума. Дайте мне этот адрес, быстро!

— По-моему, это вы спятили, Кнобльмайер. Я вам только что сказал, что отдал его девчонке! Вы что, немецкого языка уже не понимаете?

— Отдали и не оставили себе?

— Да, он был в письме. На кой черт мне его адрес? Переписываться я с ним не собираюсь. Дитмар, между нами говоря, всегда был порядочным дерьмом.

— Лернер, вы идиот!! — заорал Кнобльмайер. — Вы соображаете, что наделали!

— Ну, ну, потише. И не орите на меня, ясно? Тут вам не ваш вшивый вермахт, кончились золотые деньки Аранхуэса. Вот так-то. Чичи хотите?

— Я этой индейской мерзости не пью. Лернер, но вы все же попытайтесь вспомнить — может быть, у вас остался где-то записанным...

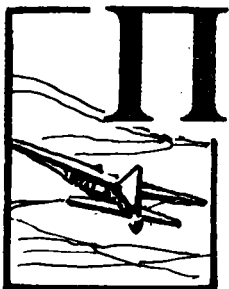
— Слушайте, идите вы к черту с вашим Дитмаром! Нет у меня больше его адреса, и конечно...

Лернер нагнулся, достал из-под стола бутылку, заткнутую кукурузным початком, и отпил прямо из горлышка.

— Вы не немец, вы грязная спившаяся свинья! — в бешенстве пролаял Кнобльмайер.— Я подам рапорт его превосходительству!

Лернер вытер губы тыльной стороной руки, не спеша заткнул горлышко початком и снова спрятал бутылку под стол.

— Его превосходительство может поцеловать меня в зад,— сказал он непринужденно.— Вы также, оберст. Не желаете? Тогда не откажите в любезности встать и сделать поворот налево кругом. И если вякнете еще одно слово — я вам разнесу череп из моего винчестера, не успеете вы сделать по двору и десяти шагов. Марш отсюда, жирный ублюдок!



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

И лошадь перед высоким серебристым павильоном, над которым развевались красные и бело-голубые флаги, была плотно запружена народом, и им пришлось прождать не менее часа, прежде чем медленное движение людского потока всосало их внутрь. У самого входа Дуняшу так притиснули, что она чуть не обмерла, но на ее счастье давка кончилась — внутри павильона стало свободнее, посетителей пускали сюда группами.

— Слава тебе господи, — сказала она, — было бы так печально погибнуть на пороге рая. Между прочим, княгиня, моя так называемая тетка, предсказывала тут всякие ужасы... Большевики, говорит, вечно похищают людей на этих своих выставках, хотелось бы знать — зачем?

— Вот у самой княгини и выяснила бы, — посоветовал Полунин, оглядываясь вокруг и думая, к какому отделу выставки двинуться. — Она, вероятно, в курсе дела, если так хорошо осведомлена...

Дуняша сделала пренебрежительную гримаску.

— Что она знает, старая черепаха! Бог меня прости, но это не женщина, а Гран-Гиньоль<sup>1</sup>... Подберутся, говорит, в толпе, сделают укол незаметно — ты даже ничего и почувствовать не успеешь. Продержат до конца выставки взаперти, а потом вывезут потихоньку в ящике из-под экспоната. И не думай, говорит, что твой Мишель тебя защитит... Послушай, я думаю, вместе нам тут будет не очень интересно — ты, наверное, пойдешь смотреть что-нибудь техническое, а для меня все это ужасная борода. Я вон вижу там стенд с мехами, это уже интереснее. Договоримся встретиться у выхода — ну что, через час?

— За час нам всего не осмотреть, пожалуй.

— Прекрасно, я тебя не собираюсь утаскивать, мы просто встретимся и договоримся, как быть дальше.

— Смотри, чтобы тебе не сделали укола...

— О, я буду вся на страже! Но вообще-то, если говорить

<sup>1</sup> Парижский «театр ужасов».

честно, меня это не так уж и пугает — быть покраденной. Такая захватывающая авантюра, что ты! Вообрази только — просыпаясь где-нибудь в подвале на Лубянке, вокруг чекисты...

— Нет слов,— сказал Полунин.— Только не «покраденной», а «украденной». Запиши себе в книжечку, если еще есть место...

Ему очень хотелось побывать на выставке именно с ней, с Дуняшей; но, пожалуй, первый раз следовало все-таки прийти без нее. Сейчас он был рад тому, что они осматривали павильон не вместе. Дуняша мешала бы ему сейчас своей болтовней, своими наивными расспросами; сейчас ему хотелось быть одному.

Это посещение выставки было для него свиданием с родной — первым за много лет. Газеты, доходившие сюда с месячным опозданием, сухо информировали о событиях дома, но о главном приходилось только догадываться, пытаясь разглядеть живой быт за стереотипными, шаблонными словами, не меняющимися уже который год. Он давно уже не видел людей «оттуда», несколько раз собирался побывать на каком-нибудь советском пароходе, но всегда что-то останавливало...

Суда под нашим флагом приходили в Буэнос-Айрес не так уж часто, но все же бывали — «Ушаков», «Сухона», в прошлом году довольно долго стоял лесовоз из Мурманска. Посетителей пускали беспрепятственно, и по воскресеньям начиналось настоящее паломничество. «Визитанты» толпились на мостике и выглядывали из иллюминаторов, по судовой трансляционной сети гремело «Широка страна моя родная», «Землянка», «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат»; на палубе отплясывали с моряками девчата из аргентинско-советского клуба. Полунин тоже приходил на пирс — сидел поодаль на чугунном кнехте, смотрел, покурявал, слушал. Музыка из громкоговорителей на полную мощность, этого ведь нигде больше не услышишь. Когда врубали что-нибудь довоенное, можно было закрыть глаза и оказаться в сороковом году, где-нибудь на Кировских островах. В ЦПКиО жаркими летними вечерами, когда ветерок дует с «Маркизовой лужи», тоже пахнет так вот своеобразно — морем не морем, рекой не рекой...

А подняться на борт так ни разу и не решился. Скорее всего, это была просто его дурацкая мнительность, но избавиться от нее он не мог. Почем знать, как там теперь относятся к перемещенным? Еще не так давно в каждой повести о кознях американской разведки непременно фигурировал какой-нибудь завербованный подонок из «дипи»<sup>1</sup>, как правило — с мутными глазами убийцы. Чем нарваться на недоверие (или в лучшем случае прочитать во взгляде соотечественника снисходительную жалость), лучше уж поглядеть со стороны...

Дуняша несколько раз уговаривала его побывать на советском судне вдвоем, однажды они даже поссорились из-за этого. «Но ты просто совершенно ненормальный,— кричала она,— понавыдумывал себе разные идиотические комплексы и носишься с ними, как один Иванушка-дурачок со своей расписной торбой!»

<sup>1</sup> Сокр. от displaced persons (англ.) — перемещенные лица

Возможно, она была права. Но сводить все к этим пресловутым «комплексам» тоже значило бы упрощать проблему. Идти на парокход с Дуняшей ему не хотелось еще и потому, что он очень живо представлял себе, как неуместно и нелепо выглядела бы она там — со своими французскими словечками и своей манерой выбалтывать вслух все, что ни придет в голову...

Он и сейчас был рад, что они не вместе. Тут крылось какое-то маленькое предательство, Полунин понимал это и чувствовал себя виноватым перед нею.

Впрочем, скоро он забыл о Дуняше. Он ходил от стенда к стенду, молча слушал пояснения гидов, разглядывал станки и приборы, придирчиво обращая внимание на любую мелочь, позволяющую судить об уровне технологии. Некоторые экспонаты вызывали досаду: один станок был явно устаревшей конструкции, да еще и покрасили его, как нарочно, в какой-то дикий ядовито-зеленый цвет. Не очень благополучно по части дизайна обстояло дело с бытовой радиоаппаратурой, приемники классом повыше были громоздки, отделаны с купеческой аляповатостью. Но это ерунда, мелочь, сказал себе Полунин, в целом этот отдел выставки был на высоте. Неплохая оптика, современные металлорежущие станки, измерительная аппаратура — нет, в самом деле, такое не стыдно было бы показать и в Штатах, не говоря уж об Аргентине...

Про уговор встретиться через час он, конечно, и не вспомнил. Дуняша сама разыскала его в толпе возле макета шагающего экскаватора и подергала за рукав. Полунин очень удивился.

— Что, уже время? Скажи на милость, а я думал, прошло минут двадцать... Тебя, я вижу, не похитили.

— Увы, не польстились! Ужасно обидно — я уж размечталась, была готова к худшему. Вот так всегда бывает, когда слишком много о себе воображаешь. Отец Николай вообще считает, что я преисполнена гордыни. Вам, говорит, недостает христианского смирения, — но, боже мой, посмотрела бы я, какое смирение было у него самого, если бы к нему приставали на улицах так, как пристаю ко мне! Ты же знаешь этих безумных аргентинцев. А вот большевики не оценили. Может быть, в следующий раз?

— Главное, — сказал Полунин, — не терять надежду. Ну а как твои впечатления?

— Знаешь, это интересно... Я, в общем, не думала, — не сразу ответила Дуняша. — Мне даже сейчас трудно что-нибудь сказать, впечатлений действительно слишком много... Меха великолепные, хотя мутон здесь обрабатывают лучше, есть неплохие ткани... А моды — как бы это сказать — немножко в прошлом, хотя это не удивительно, Россия всегда была *un peu demodée*<sup>1</sup>, не зря наши бабушки ездили одеваться в Париж...

— Моя, боюсь, не ездила, — улыбнулся Полунин.

— Нет, ну я говорю фигурально... Ты, конечно, еще здесь побудешь? Оставайся, а я тебя покину, у меня голова уже разболе-

<sup>1</sup> Слегка отстающей от моды (фр.).

лась от всей этой бrouhaha <sup>1</sup> — нет-нет, ты оставайся, я ведь вижу, что тебе не хочется уходить! Я бы сама еще посмотрела, но боюсь, начнется мигрень. Жаль, что не экспонировали ювелирную промышленность, — кстати, ты думаешь, она там вообще есть?

— Есть, вероятно.

— Надо было спросить у барышни — ужасно милая там была барышня, такая любезная, я ее спросила, откуда она знает испанский, и она сказала, что учила в университете, — кто бы мог подумать, что большевики учат кастельяно! Так я побежала, милый. Ты когда будешь дома?

— Точно не знаю, Дуня...

— Я только в том смысле, чтобы знать, когда обед. В пять не очень рано?

— Хорошо, давай в пять...

Они вместе вышли на площадь за павильоном, где стояла крупногабаритная техника; Дуняша направилась к выходу. Полунин посмотрел ей вслед, она тоже оглянулась и, приподняв руку к плечу, пошевелила пальцами, и каким-то странным, чужеродным, не вписывающимся в окружающее показался вдруг ему весь ее облик, — здесь, среди машин, рядом с самоходной буровой установкой, эта кукольная женщина в нарядном манто, с модной прической и на острых стiletных каблучках выглядела как-то... Полунин даже не мог сразу определить — как. В общем, она сюда не вписывалась, и это ощущение поразило его. Вокруг толпились праздные, хорошо одетые люди, но они не вызвали в нем этого тревожного чувства. Это были просто посетители, многие зашли сюда так же, как могли зайти в соседний Луна-парк или в Ретиро — от скуки, от лобопытства. До них ему не было никакого дела. Тогда как Дуняша...

Полунин почувствовал вдруг внезапную усталость. Приподнятое настроение, с каким он шел сюда, рассеялось без остатка, в голову полезли мрачные мысли. Ничего определенного, впрочем, так, подавленность какая-то — вроде шумового фона в наушниках, нечто унылое и бессмысленное. Сутулясь и держа руки за спиной, он обошел экспозиционную площадку, поглядывая на грузовики, тракторы, комбайны. Легковых машин было всего три — крошечный «москвич», длинный черный «ЗИМ», похожий на «бьюик» сороковых годов, бежевого цвета «победа». Вдалеке возвышался над толпой ребристый кузов громадного самосвала, — нет, всего сразу не осмотришь, да и впечатлений многовато для первого раза...

Уже две недели — с тех пор как Полунин вернулся из Парагвая, — они жили «своим домом»: Дуняшина подруга, француженка, уехавшая по делам в Европу, на время уступила ей квартиру на улице Сармьенто. Место, правда, было очень шумным, и прямо за окном всю ночь то вспыхивала, то гасла какая-то иднотская

<sup>1</sup> Кутерьмы (фр.).

реклама, но зато эти две комнатки давали им иллюзию своего очага. А главное, как говорила Дуняша, не было рядом никакой мадам Глокнер...

Полунин вернулся домой к пяти, как и обещал. С выставки он ушел гораздо раньше, но потом еще часа два провел в порту — просто ходил по причалам, читал имена судов и названия портов приписки, дышал океанским ветром. Ветер был северо-восточный — крепкий, свежий, продутый сквозь исполинские фильтры семи тысяч миль Южной Атлантики. От этого ветра резало в груди и слезились глаза, и Полунин думал, что зря не пошел тогда судовым радистом, как советовал Свенсон, — если уж скитаться, то скитаться, стать настоящим бродягой, забыть даже имя...

Мысли эти были несерьезны, он понимал это, тут было больше всего какой-то глупой мальчишеской бравады; словно этими нелепыми иллюзиями «абсолютной свободы» мог он заслониться от того мертвящего чувства собственной ненужности, непричастности, что с такой силой охватило его там, в серебристом павильоне на площади Ретиро. Он почувствовал это, увидев Дуняшу; но дело было не в ней, дело было в нем самом. Так же, как не вписывалась в окружающее она, не вписывался и он сам. Но ей-то, как говорится, и бог велел. — родилась в Париже, Россию знает по книгам, по семейным преданиям... а он?

— У меня есть один сюрприз, — объявила Дуняша, когда он вернулся домой. — Спасибо, что не опоздал, иди мойся и за стол, а я тебе сейчас что-то покажу...

Полунин послушно вымыл руки, сел за стол. На кухне хлопнула дверца холодильника, и Дуняша вошла с торжествующим видом, держа что-то за спиной.

— Угадай что?

— Просто и не знаю, что сказать, — признался он. — Вероятно, что-нибудь съестное?

— Скорее питьевое, — засмеялась она и поставила перед ним заиндевелую бутылку. — Ну как?

Полунин даже не сразу сообразил, что буквы на белой с красной каймой этикетке — русские.

— «Столичная», — прочел он с изумлением. — Откуда, Евдокия? Там что, разве продавали?

— А ты и не заметил! Держу пари, ты вообще не был в том отделе. — Дуняша, вся сияя, достала из-за спины другую руку и положила рядом с бутылкой небольшую баночку. — А это русский кавьяр!

— Слушай, это просто здорово, — сказал Полунин. — Но когда ты успела?

— Угадай! Я ведь нарочно ушла раньше, а потом вернулась незаметно туда, где продавали. *Bon Dieu*<sup>1</sup>, что там делалось! Мне помогла эта барышня-большевичка, я тебе говорила про нее, ужасно милая. Между прочим, ее зовут Жанна, — ты можешь себе представить? Я ее спрашиваю: «Вы француженка наполо-

<sup>1</sup> Боже (фр.).

вину?» — так она ужасно удивилась. Я говорю: «А меня зовут Авдотья». Она удивилась еще больше, какое, говорит, книжное имя... И потом знаешь что? Потом я еще успела съездить к Брусиловскому и достала у него ржаного хлеба. Так что сейчас у нас будет русский пир! Ты правда доволен?

Полунин, не вставая, обнял ее, притянул к себе.

— Эх ты, Авдотья... Будем, значит, утешаться по-русски — водкой?

— Будем! Ужасно хочу выпить. Помнишь, в том романе — Фадеева, да? — голландский бизнесмен говорит: «Налейте мне рюмку окаянной русской водки!»

— Это у Федина...

Дуняша кончила хлопотать, накрывая на стол, уселась напротив. Полунин разлил водку — рюмки сразу запотели.

— Ну что ж, выпьем, — сказал он. — Как говорится, за свидание с родиной...

Дуняша выпила лихо, задохнулась и стала жевать тартинку с икрой.

— Хорошо, — сказала она, переводя дыхание. — Только ужасно крепкая. Послушай, Мишель, мне там, на выставке, пришла в голову одна мысль. А что, если нам с тобой взять и уехать? Я хочу сказать — в Россию.

— Правильно, Евдокия. Удивительно, как это я сам не догадался, — сказал Полунин. — Поехали, за чем дело стало.

— Пожалуйста, не смейся, я совершенно серьезно! Ну, ты понимаешь, до сих пор Россия была для меня вроде сказки, а теперь вдруг смотрю — страна как страна, обычные люди, делают самые обычные вещи... что-то лучше, что-то хуже, но в общем как всюду. Вот я и подумала: может быть, мы все, эмигранты, просто сами усложняем себе жизнь? Таскаемся по разным аргентинам и австралиям, скулим над какой-нибудь деревянной ложкой, поем «Замело тебя снегом, Россия...». А ее ничуть не замело — они там все такие... как это сказать... бодрые? Так сильно работают, какое же это «замело снегом». Серьезно, Мишель, я с наслаждением жила бы где-нибудь в степи и донла лошадей...

Полунин поперхнулся второй рюмкой:

— Каких лошадей? Зачем тебе доить лошадей?

— Боже мой, из лошадиного молока делают кумыс, ты не знал?

— Ах, кумыс...

— Ну да! Ты не представляешь, как это прекрасно — степь, костры, лошади... — Дуняша мечтательно подперла кулаком подбородок, глядя в окно, за которым крутилась рекламная шина «Данлоп» и с механической резвостью вскидывалась и опускалась женская нога в чулке «Парис».

— У тебя, Евдокия, несколько блоковское представление о нашей стране, — заметил Полунин. — Лебеди над Непрядвой и всякая такая штука. Все там совершенно иначе... и во времена Блока было иначе, просто он был поэт, видел по-своему. А вообще-то...



— Что «вообще»? — заинтересованно спросила Дуняша, не дождавшись продолжения.

— Вообще давай пить окаянную русскую водку. А что, тебя всерьез потянуло вдруг в Россию?

— Это мне нравится, — обиделась она. — «Вдруг потянуло!» Меня тянуло всегда!

— Ну да, как может тянуть к сказке. Но вот так, всерьез? Принимаешь, Дуня, твоё доение лошадей — это не очень-то серьезно. А если без дураков?

— Без каких, прости?

— В смысле — говоря серьезно. Ты бы поехала?

— *Mais bien sûr* <sup>1</sup>! Даже обидно, что ты спрашиваешь такие вещи. Вот только кто меня пустит? Ты — дело другое, ты там родился, ты имеешь право. Но я? — Дуняша подумала и пожалала плечами.

— Если мы поженимся, ты получишь такое же право.

— Это следует понимать как предложение? Я ужасно трону-та, милый, но ты забыл одну маленькую деталь: я уже замужем.

— Замужем, — скептически хмыкнул Полунин. — Это твоё так называемое замужество...

— Понимаю, что не идеал, — согласилась Дуняша, — отнюдь. Все-таки совершенно фантастический тип мсье Новосильцев. Хоть бы написал для приличия! Так куда там — молчит, где-то затаился, словно его и нет... Отслужить, что ли, панихиду?

— Ну, это уж, наверное, слишком. А если он жив?

— Вот тогда и объявится! Ты разве не знаешь? Но это самое верное средство! Когда ничего не знаешь о человеке, надо пойти в церковь и заказать по нем панихиду; тогда он скоро даст о себе знать. Если жив, натурально, — добавила Дуняша. — А если не объявится, то, значит, его уже нет в живых, и тогда панихида, ты сам понимаешь, окажется как нельзя более кстати.

Полунин так смеялся, что она даже обиделась.

— Разумеется, тебе все равно, куда девался мой супруг! А каково мне? Ведь если он жив, то я самая настоящая прелюбодейка.

— Не твоя вина, что так получилось. Да и какое это прелюбодейание, если мы любим друг друга?

— Вот те раз! — воскликнула Дуняша. — Какая удобная аргументация! К сожалению, все это не так просто; любишь или не любишь — грех остается грехом. Хорошо еще, батюшка у нас теперь такой толерантный, — того, прежнего, услали в Канаду, я тебе говорила?

— Не помню. Чего это его в такую даль?

— О, тут такое делалось! Перегрызлись они ужасно. За бороды, говорят, друг дружку таскали, — с этими попами и смех и грех, не знаю, впрочем, чего больше. Так вот, я хочу сказать — на Пасху я говела, пошла к исповеди. «Отец Николай, говорю, я грешна делом и помышлением, никак мне с собой не сладить. Даже

---

<sup>1</sup> Ну разумеется! (фр.)

сама попросила наложить на меня какую-нибудь епитимью пострее. А он мне говорит тогда: «Что ж, чадо, в вашем возрасте с грешными помыслами бороться трудно, да и соблазнов вокруг несть числа, я понимаю, но все же вы постарайтесь...» Ну, я, конечно, сказала, что постараюсь, ты все равно был в этом своем Парагвае или где там еще тебя носило. А проpros, Мишель, эта ваша экспедиция еще надолго?

— Да трудно пока сказать, — ответил Полунин. — Задержки там всякие...

Это не было отговоркой — он и в самом деле потерял всякое представление о реальных перспективах погони за Дитмаром. Скоро третья неделя, как он сидит здесь, дожидаясь возвращения Келли, но Келли нет, а продолжать дело без свидания с ним рискованно — так они решили после поездки в Чако Бореаль. Таким образом, Филипп с Астрид таскаются по парагвайским дебрям в бессмысленных «этнографических изысканиях» — ради отвода глаз; Дино вылетел в Италию, где дела фирмы потребовали его присутствия; а сам он, заваривший всю эту кутерьму, без толку сидит здесь. Наслаждается, так сказать, медовым месяцем (с чужой женой). Хорошо!

— Мне самому, Дуня, все это начинает действовать на нервы, — добавил он. — Но дело нужно довести до конца.

— Это что-нибудь даст тебе — в смысле денег?

— Какие там деньги... Мне только расходы оплачивают, до рогу...

— Ты, кстати, не беспокойся на этот счет, я сейчас могу заработать практически сколько угодно. Без шуток, у меня сейчас берут даже те старые рисунки, на которые в прошлом году никто не хотел смотреть! Так что я спрашиваю вовсе не в этом смысле, просто мне не совсем понятно, чего ради ты с ними связался. Я думаю, может, это что-то принесет потом?

— В смысле заработка — нет. Тут, Евдокия, совсем другое...

— Чистая наука? — понимающе спросила она.

— Да, скорее это.

— Прекрасно, я считаю, что за науку необходимо выпить!

Они выпили и за науку, и за его коллег; в порыве великодушия и женской солидарности Дуняша предложила даже тост за здоровье мадемуазель ван Стеенховен; бутылка «столичной» опустела очень скоро, а Дуняша объявила себя пьяной.

— Нет, ноги меня и в самом деле не... слушают, — сказала она с некоторым усилием, безуспешно попытавшись встать из-за стола. — Знаешь, я сейчас буду спать. Ты меня возьми и отнеси... В постель, — пояснила она. — Только не подумай, что я тебя... что я тебе делаю гнусное предложение...

— А если бы и так?

— Ничего не получится, я действительно ужасно хочу спать. Целый день была на ногах, бегала, бегала, а тут еще выставка — все эти большевики... милые, впрочем, люди. Правда, отнеси меня! А то я засну сейчас за столом, перед пустой бутылкой... как один пьяный бурлак в трактире.

Полунин отнес ее в постель, и она действительно мгновенно уснула, едва успев сбросить туфельки. Сам он тоже устал за день, но выпитая водка подействовала на него возбуждающе; Дуняше что, она может спать сколько угодно и когда угодно...

Стемнело. Полунин сидел, не зажигая света, глядя на бегущие по стене разноцветные отсветы неона, потом оделся и вышел, осторожно — чтобы не разбудить Дуняшу — притворив за собою дверь. В лифте он вспомнил, что забыл взять ключи.

На улице было холодно, ветер усилился. Полунин поднял воротник пальто, пожалел, что без шляпы. «Знойное небо Аргентины», будь она неладна... и ведь только начало зимы, впереди еще июль, август — самые холодные месяцы. А в Питере сейчас белые ночи. Он посмотрел на часы, было четверть девятого. Это что ж, третий полнолуночи? Пожалуй, какие-то мосты уже развели. Он начал вспоминать, в котором часу разводят Литейный, Дворцовый, Кировский; картина стояла в памяти четко, словно он видел это только вчера: негаснущая заря над Петропавловкой, мокрый пустой асфальт, широкая, того же цвета, что и небо, розоватая гладь реки...

Ровно четырнадцать лет назад он в это время дописывал курсовую работу. Сроки поджимали, работать приходилось по ночам. Когда он наконец выключал настольную лампу (она была старая, простого конторского типа — тонконогий гриб под абажуром толстого двухслойного стекла, зеленого снаружи и молочно-белого изнутри; тогда уже появились в магазинах лампы новой конструкции — черной пластмассы, на обтекаемых аэродинамических форм подставке и шарнирной, лекально-выгнутой стойке, они выглядели такими элегантными и современными! Он несколько раз намекал отцу, что лампу пора бы сменить, но отец, верно, слишком привык к старой, а после его смерти выбросить ее уже казалось кощунством), — когда он выключал наконец эту лампу, комната погружалась в синеватый сумрак, а за окном — над крышей старого Конюшенного двора, над люковками Спасана-Крови — светлело предрассветное небо. Он раскрывал оба окна — одно выходило на Мойку, а другое в Мошков переулок — и осторожно, чтобы не разбудить соседей, пробирался длинным коммунальным коридором, заставленным сундуками и увешанными лыжами и велосипедами...

О, эта тишина спящего города, призрачный, без теней, свет, запах воды и гранита... Набережная была изогнута, площадь распахивалась перед ним не сразу — только уже с Певческого моста, — но зато как распахивалась! Наверное, только в июне, ночью, можно по-настоящему понять Ленинград, Питер, этот державный Санкт-Петербург, понять и увидеть в нем больше, чем было задумано строителями... Он в то время не особенно интересовался историей и плохо ее знал; но как часто — это запомнилось! — он во время ночных своих прогулок вдруг останавливался и подолгу стоял на месте, охваченный странным ощущением вневременности окружающего. Огромная асфальтовая плоскость, гениально подчеркнутая вертикалью Александровского

монолита, и застывшая над аркой колесница Победы, и тяжкий, невесомо реющий вдали купол Исаакия — все это было вечным, как земля, как воздух, как неиссякаемое стремление невыхских вод... А до войны оставалось тогда меньше двух недель — меньше и меньше с каждой такой ночью.

Он вышел на шумную, полыхающую рекламными огнями авениду Коррьентес, мальчишки-газетчики осипшими голосами выкрикивали заголовки вечерних выпусков, у огороженного перилами спуска в метро пожилой человек с обмотанным вокруг шеи небольшим смиренным удавом соблазнял прохожих какой-то галантереей, из дверей рестораничек и закусокных вырывались разноголосые клочья музыки, тянуло кухонным чадом. Светло-синий «линкольн» стал выбираться из шеренги тесно припаркованных вдоль тротуара машин; он уже выдвинулся наискосок на проезжую часть улицы, когда мимо проревело нечто длинное и черное — раздался трескучий удар, скрежет раздираемого металла, и передний бампер «линкольна» с лязгом полетел по асфальту, крутясь, как огромный хромированный бумеранг. Белая машина, мчавшаяся за черной, едва успела увернуться лихим виражом, пронзительно вереща покрывками. Владелец «линкольна» выскочил из-за руля.

— Трижды рогоносец!! — вскричал он, потрясая кулаками вслед обидчику. — Ты мне за это ответишь! Вернись, если ты мужчина!

Движение остановилось, вдоль авениды визжали тормоза, истерично вопили разноголосые сигналы; полицейский в белых нарукавниках уже пробирался между столпившимися машинами, волоча злополучный бампер.

— Заберите это, сеньор, — крикнул он владельцу синего «линкольна», — берите и уезжайте, ради пречистой девы, вы создаете аварийную ситуацию! Прочь отсюда, иначе я вызову патруль! А вы чего стали?! Проезжайте! Э, сеньора, стыдно быть такой любопытной в вашем почтенном возрасте! Проезжайте, каррамба, проезжайте!

«Сумасшедший дом какой-то», — подумал Полунин. На перекрестке он долго выжидал относительно безопасного момента для перебежки. Светофоров в Буэнос-Айресе нет — в прошлом году попытались кое-где установить, разразился чуть ли не бунт: посягательство на индивидуальную свободу, видите ли. Мне, гражданину и демократу, какие-то мигающие лампочки будут приказывать — идти или стоять! А вот этого не хотите?

Очутившись наконец на другой стороне, Полунин пересек аристократическую Флориду, залитую белым светом витрин, во всю ширину заполненную фланирующей толпой (слава богу, хоть сюда нет доступа машинам). Соседняя Сан-Мартин — улица банков, здешний Уолл-стрит — была, напротив, безлюдна. Редкие магазины, торгующие в основном канцелярскими товарами, уже закрылись, прохожих не было, лишь у банковских подъездов тут и там маячили вооруженные автоматами полицейские.

Здесь было теплее — узкая улица, ориентированная с юга на

север, вдоль береговой линии, была защищена от дующего с реки ветра, он врывается сюда лишь на перекрестках. Полуниин шагал по середине проезжей части, держа руки в карманах пальто, рассеянно наблюдая за своей тенью, — она возникала под ногами, короткая и угольно-черная, вытягиваясь и бледнея с каждым шагом, чтобы совсем исчезнуть у следующего фонаря.

Здорово было бы — вдруг взять и не увидеть ее больше. Оказаться человеком без тени. Этаким призраком. Пожалуй, хорошо вписалось бы во все окружающее, во весь этот абсурд, которым стала его жизнь...

А почему, собственно, абсурд? Нет, в самом деле, если трезво задуматься... Трезво, правда, сейчас не выйдет, но попробовать можно. И так — чем, собственно, так уж абсурдна его жизнь? Тем, что приходится жить далеко от родины? Но ведь многие так живут, — мало ли здесь итальянцев, французов, англичан. Живут, работают, занимаются своим делом. И он тоже работает, занимается тем же, чем занимался бы и дома, радиотехникой. Там, правда, он был бы инженером, но это и здесь возможно, — не так уж трудно окончить «Отто Краузе», получить диплом, устроиться в хорошую фирму. Просто нет смысла. В самом деле — зачем? Заработка хватает и так, много ли ему надо...

А все-таки, наверно, много. Нет, не в смысле заработка. В другом, главном смысле. Потому что всего этого — работы, материальной обеспеченности, даже семейного счастья (Дуняша в конце концов сама поймет, что комедию с Ладушкой пора кончать) — всего этого ему никогда не хватит, чтобы сделать жизнь полной. Потому что всегда будет не хватать главного: чувства принадлежности к месту, где ты живешь, чувства укорененности в этой земле. А иначе ведь жить нельзя, иначе человек превращается в перекати-поле. Нельзя жить без корней, нельзя жить одними воспоминаниями — этим сладким ядом, который медленно разъедает душу. Поэтому-то ты и не позволяешь себе вспоминать наяву; но ведь память не выключишь, не отсецешь, отогнанные воспоминания возвращаются во сне — это еще хуже...

Да и «семейное счастье» здесь — штука, в общем-то, довольно проблематичная. Как и всюду, впрочем, но в этих условиях особенно. Ведь вот той же Дуняше рано или поздно захочется иметь ребенка, сначала все будет хорошо, но потом он пойдет в школу. И появится в семье маленький аргентинец, со своими интересами, далекими от родительских, с таким же далеким внутренним миром. Здесь детям не преподают политграмоту, но очень хорошо умеют переделывать сознание на свой лад. Рецепт самый простой: в аргентинской школе день начинается с церемонии подъема флага. Как на военном корабле. И все вместе — учащиеся и преподаватели — поют гимн. «Oid mortales el grito sagrado»<sup>1</sup> — каждое утро, месяц за месяцем, год за годом, все двенадцать лет. Просто и эффективно. Уже в четвертом, пятом

<sup>1</sup> «Внемлите, смертные, священному кличу» (исп.) — начало аргентинского государственного гимна.

классах мальчишка начинает чувствовать себя аргентинцем, терпеливо разъясняет дома: «Ну как ты не понимаешь, папа, русский это ты, и мама тоже русская, но я аргентинец, я ведь родился здесь...»

По-своему ребенок прав. В школе ему сказали: в Европе при определении национальности новорожденного действует «закон крови», а у нас — «закон территории». Важно, где ты родился; кто твои родители — испанцы или поляки, русские или арабы — не имеет больше никакого значения, ты родился здесь, и поэтому ты аргентинец. Коротко и ясно — попробуй переубедить.

Вот так-то, Михаил Сергеевич, уважаемый дон Мигель. Довольно зыбкой оказывается при ближайшем рассмотрении ваша утешительная теория «нормальной жизни». Можно, конечно, лишний раз напомнить себе, что перед родиной ты чист — не изменял, не дезертировал, даже повестки не дожидался — сам пошел в военкомат; и что ни в малейшей степени не зависели от тебя все те обстоятельства, в силу которых ты оказался перемещенным за четырнадцать тысяч километров от дома, в эмигрантскую колонию Буэнос-Айреса. Можно, выстроив себе этакое персональное убежище из вполне логичных доводов, жить здесь и дальше, как живут другие. Но вот будет ли эта жизнь нормальной — это вопрос. Какая же она, к черту, нормальная, если ты даже детей своих не сможешь воспитать, как считаешь правильным...

И нечего оглядываться на других. Испанцам, французам — тем легче, они более космополитичны. А впрочем, трудно сказать, в чем тут дело. Чужая душа — потемки. Возможно, у них меньше национального своеобразия, и это помогает им приспосабливаться к чужим условиям, или патриотизм у них какого-то другого вида... Нет, не то чтобы его было меньше. Вовсе нет! Просто он какой-то другой: человек любит свою родину, в случае нужды готов отдать за нее жизнь, но жить предпочитает в чужой стране. Потому ли, что климат лучше или заработки выше, да мало ли еще почему...

Полунину вспомнился англичанин, с которым они вместе работали на телефонной станции. Парень вырос в Буэнос-Айресе — его привезли сюда ребенком — выглядел заправским портеньо<sup>1</sup> — женат был на аргентинке и дома говорил по-испански. Однажды, когда Полунин упомянул в разговоре какой-то городок в Нормандии, Хайме сказал, что знает эти места, их там в августе сорок четвертого уложили чуть ли не всю роту... Полунин удивился, ему как-то и в голову не приходило, что Хайме мог воевать. «А как же, — подтвердил тот, — уехал отсюда в сороковом. Сразу после Дюнкерка, помнишь? Тогда все ждали вторжения в Англию, вот я и поперся. Ничего не поделаешь, думаю, надо помочь старухе. Все пять лет и отбарабанил — начал в Тобруке, а кончил знаешь где? Фленсбург, на границе с Данией, ни больше ни меньше...» Полунин спросил, зачем же он в таком случае вернулся после демобилизации в Аргентину — жены ведь вроде у него еще не было.

<sup>1</sup> Porteño — уроженец Буэнос-Айреса (исп.).

Хайме изумленно вытаращил глаза: «А что я должен был делать — оставаться жить в Англии? Ты спятил, че! Да я этого удовольствия худшему своему врагу не пожелаю...»

Сейчас, вспоминая разговор с Хайме Хиггинсом, он испытывал такое же недоумение, как и тогда. Да, нам этого просто не понять, мы иначе устроены. Есть, видишь, какая-то обратная зависимость между способностью народа растворять в себе чужаков и самому растворяться в чужой среде. А уж растворять Россия умела... Пожалуй, ни одну другую страну так не поносили европейцы — и так в нее не стремились. Большинство, конечно, ехало просто в надежде разбогатеть, но интересно другое: уже во втором поколении почти все они приживались, прорастали корнями в русскую почву, всем сердцем прикипали к России...

А обратного движения не было. Это удивительный факт, над ним просто не задумывались, — а задуматься стоит. Жить в России никогда не было легко, но никогда русский человек не покидал свою землю ради лучшей жизни, а вынужденная эмиграция всегда оборачивалась для него бедой. Самый близкий пример — судьба бывших «белых». Люди покинули родину не из соображений личной выгоды, а сохраняя верность определенным убеждениям; уже одно это, казалось бы, должно служить моральной поддержкой. А вот не служит! Ведь трагедия белой эмиграции не в том, что бывшим кавалергардам пришлось водить такси, а известным писателям — довольствоваться сотрудничеством в грошовых еженедельных листках; ее трагедия в том, что русские люди потеряли Россию. В конце концов все они так или иначе устроились, некоторые совсем неплохо, если говорить о материальном достатке. И что же — легче им от этого?

Полунин вдруг вспомнил, что давно не был в русской библиотеке, — ее владелица, Надежда Аркадьевна Основская, всегда откладывала для него новинки. Обижается уже, наверное, нужно будет заглянуть на этих днях. Вот тоже судьба — никому не пожелаешь...

Впрочем, не стоит обобщать, сказал он себе. Таких, как она, среди здешних старожилов не так уж много, большинство прижилось и о России слышать не хочет. Аргентина, надо признать, тоже растворяет... Но здесь это получается как-то по-другому. Во всяком случае, вряд ли кто из «аргентинизированных» русских сможет когда-либо отблагодарить приютившую его страну так, как отблагодарил Россию женатый на немке датчанин Иоганн Даль — отец составителя «Толкового словаря»...

Улица кончилась, Полунин вышел в сквер на площади Сан-Мартин. Широкий газон, ядовито-зеленый под газоразрядными фонарями, полого сбегал к проспекту Леандро Алем, на площади перед вокзалами каруселью разворачивались вокруг Британской башни игрушечные троллейбусы, а еще дальше — на фоне черного неба и мерцающей россыпи огней Нового порта — огромным брусом льда снял в свете прожекторов серебряный павильон с пламенеющими на ветру алыми стягами над порталом. Северо-восточный ветер дул в лицо сильно и ровно, донося обрывки музы-

ки из парка Ретиро, слитный шум движения на привокзальной площади и гудки маневровых локомотивов. Он дул прямо оттуда — со стороны павильона, и если продолжить эту линию...дальше, еще дальше, огибая выпуклость земного шара...

Полуин стоял и смотрел, пока не стали слезиться глаза, потом отошел к фонарю, выпростал из рукава запястье. Четверть десятого. Собственно, еще не поздно, — вечер свободен, Дуню все равно не добудишься... Еще раз оглянувшись на павильон, он подавил вздох и направился к станции метро.

Надежда Аркадьевна никогда не считала «Хождение по мукам» шедевром русской литературы; но к первой книге трилогии — к «Сестрам» — у нее было особое отношение. Все в этом романе — его душная предгрозовая атмосфера, слепая беззаботность людей-мотыльков, пляшущих в эйфорическом предвкушении близкой катастрофы, отрекшихся от прошлого и (к счастью для себя!) не знающих будущего, — все ведь это было о ней, это была ее собственная прошлая жизнь, ее далекая молодость. И с Дашей Булавиной они были почти ровесницы: гимназию Надежда Аркадьевна окончила в тысяча девятьсот пятнадцатом.

Теперь она давно уже не могла перечитывать «Сестер» так просто, на сон грядущий, как перечитывают полюбившуюся книгу. Она ее боялась. Не тот возраст, не те нервы, чтобы позволять себе подобные экскурсии в прошлое. А ведь было время привыкнуть, забыть, успокоиться. Успокоились же другие? Нет, слава богу, с нею этого не случилось. Надежда Аркадьевна была бесконечно благодарна не очень-то милосердной своей судьбе за эту грозную милость — дар неувядающей памяти.

...Москва виделась ей всегда зимняя, словно и не было тогда других времен года. Лето обычно проводили на даче под Тарусой или в Крыму, а осени и весны почему-то не запомнились. Зато зимы, эти сказочные московские зимы — крещенские морозы в сахарно-крупитчатом инее, в ледяном пылании малинового низкого солнца, хрусткий скрип снега под ботинками, запах духов и меха, стремительный визг санных полозьев по Тверской, очереди на Шалапина и нестройное «Гаудеамус игитур» в Татьянин день; или мгlistые, укутанные в туман великопостные мартовские деньки, приглушенный ростепельной сыростью звон трамвайчиков на Арбате, бесшумное мельтешенье галок над зубцами Китайгородской стены — ведь было все это, было, этого не могли отнять у нее никакие войны, никакие революции, это все оставалось с нею сейчас, спустя сорок лет, и останется до самой смерти...

Да, она вспоминала себя, читая о петербургской жизни юной Даши Булавиной, и ей было немного жаль Дашу — все-таки Петербург не Москва, не совсем даже Россия... Но еще больше было ей жаль самое себя, потому что слишком скоро и слишком страшно кончилось сходство их судеб. Может быть, встретить она тогда своего Телегина...



Но Телегин — умный, спокойный, знающий, что делать, — ей не встретился, а встретился Саша Основский, бывший папин студент, которому тот предсказывал блестящую научную будущность. Как многие папины предсказания, не сбылось и это, не получился из Саши медиевиста. Получился поручик Добровольческой армии — в мятом картузе с крошечным козырьком, в намертво вшитых в шинельное сукно защитных погонах, с глазами, уже тронутыми безумием двух лет гражданской войны; таким она увидела его в Ростове осенью девятнадцатого года, когда уже не было ничего — ни просторной профессорской квартиры на Моховой, ни Москвы, ни России. И папы с мамой тоже не было.

А сама она такого натерпелась и насмотрелась за эти два года, что уже считала себя окаменелой, недоступной никакому человеческому чувству, — поэтому так страшно, на разрыв души потрясла ее эта неожиданная встреча с человеком из прошлого, и она разрыдалась прямо там, на залузганной семечками Садовой, где грубо накрашенные проститутки приставали к казачьим есаулам и подмигивала тусклыми лампочками вывеска синемаатографа с Верой Холодной...

Потом они сидели в каком-то подвальчике, пропахшем спиртом и шашлыками, за соседним столиком мрачно пил в одиночку молодой полковник с пустыми глазами кокаиниста и трехцветным шевроном на рукаве. На крошечную эстраду вышел человек в потрепанной визитке, низенький и волосатый, и стал читать подывая: «Разгулялись, расплясались бесы по России вдоль и поперек, рвет и крутит снежные завесы выстуженный северо-восток...» Саша все расспрашивала ее, и она рассказывала, плакала и рассказывала снова, и словно ледяная корка трескалась и таяла на ее сердце. «Нам ли взвесить замысел Господний? Все пойдем, все вытерпим, любя, — возглашал декламатор, — жгучий ветер полярной преисподней — Божий бич — приветствую тебя!»<sup>1</sup> Обессиленно прикрыв глаза, он качнулся в поклоне, за столиками немного похлопали, а соседний полковник вдруг поднялся, смახнув на пол стакан, и потянул из деревянной кобуры длинный вороненый маузер. «Приветствуешь, значит, — сказал он неожиданно трезвым голосом, со скукой, — вот я тебя сейчас поприветствую, жидовская сволочь...» Саша бросился к нему вместе с другими офицерами, в короткой свалке оглушающе бабахнул выстрел, под потолком разлетелась лампочка, завизжали женщины. «Идемте, Надежда Аркадьевна, — сказал Саша, когда буяна утихомирили, — простите, не предполагал, здесь обычно без скандалов...»

Через неделю они обвенчались в холодной, ободранной церкви. Страшной весной двадцатого года, получив известие, что муж убит под Екатеринодаром, Надежда Аркадьевна родила мертвого ребенка. Известие оказалось ошибкой, Саша вернулся, но врачи сказали, что детей больше не будет. А потом — Крым, Севастополь, заваленная беженским скарбом палуба грязного французского пакетбота, Галлиполи... Как все это получилось, она до сих

<sup>1</sup> Стихи Максимилиана Волошина.

пор не понимала. Что ж, Саша и в самом деле не походил на Телегина. Знаток прошлого, он заблудился в настоящем, он потерянно метался между рыцарской вѣрностью «белой идее» и традиционным либерализмом российского интеллигента, между презрением к реставраторам самодержавия и страхом перед некой всеенской жакерией. Ему бы тогда подсказать, направить, — но это хорошо говорить теперь, а тогда... тогда все было по-иному. Если бы молодость знала...

В Праге он махнул рукой на историю и поступил в институт гражданских инженеров. «Кого они теперь интересуют, мои альбигойцы, — сказал он однажды. — А строить будут всегда, при любом режиме...» Но в Европе строилось в те годы не так уж много, работы не было, и в начале тридцатых они приехали сюда, в Аргентину. Приехали «делать Америку».

Что ж, хоть в этом муж не ошибся. На первых порах — пока еще свирепствовал кризис — было трудно, но потом все наладилось, пришел достаток, сытая, покойная жизнь. Шеф строительной фирмы благоволил к молодому «инженеро русо», тот начал продвигаться, делать карьеру. И потянулись годы...

Наверное, это кощунственное сравнение, но страшное начало войны осталось в памяти Надежды Аркадьевны как свежий порыв грозового ветра, как пора внезапно вспыхнувших надежд на сопричастность происходящему в России. В июне сорок первого года Александр Александрович послал в советское посольство в Мексике (Аргентина не имела тогда дипломатических отношений с СССР) прошение — разрешить ему вернуться на родину в качестве рядового красноармейца; такие же прошения послали одновременно с ним еще несколько их знакомых, бывших офицеров Добровольческой армии. Каждому ответили персонально — поблагодарили за патриотический порыв и выразили надежду, что дела их будут рассмотрены по возможности безотлагательно, хотя и дали понять, что может случиться некоторая задержка.

Задержка оказалась долгой. Они ждали — месяц за месяцем, и в сорок втором году, и в сорок третьем. После Курской битвы Александру Александровичу стало ясно, что ждать больше нечего. Родина не приняла их в трудное время, а сейчас что ж — приехать к концу войны, к шапочному разбору? Не станешь же обьяснять каждому, что ждал этого с июня сорок первого, что подал прошение в тот момент, когда американские газеты считали дни до окончательного разгрома красной России...

Через год после окончания войны Аргентина установила дипломатические отношения с Советским Союзом. Как только при посольстве был открыт консульский отдел, Основные подали прошение о советском гражданстве и возвращении на родину. В гражданстве их восстановили и красные паспорта выдали — но без въездной визы. Скоро все они — небольшая группа несостоявшихся «возвращенцев» — оказались в изоляции. Знакомые перестали бывать у Основских и приглашать их к себе, а одна давнишняя, еще по Праге, приятельница демонстративно не поздоровала

лась с Надеждой Аркадьевной на ежегодном благотворительном балу. На службе у Александра Александровича тоже начинало попахивать неприятностями: шеф однажды пригласил его в кабинет и не очень довольным тоном сообщил, что им интересовался какой-то тип из политического отдела федеральной полиции. «На вашем месте, дон Алехандро, — сказал шеф, — я вел бы себя гораздо разумнее. Вообще, говоря откровенно, не совсем понимаю, зачем это вам понадобилось — принимать подданство государства, которое отнюдь не жаждет раскрыть вам свои объятия...»

Словом, все стало еще хуже, как всегда бывает после пробы обманчивой надежды. А тут еще стали прибывать транспорты с перемещенными лицами — «дипи», как называли их на американский манер. Это уж было и вовсе ни с чем не сообразно. Лишний раз убедившись, что умом Россию не понять, Надежда Аркадьевна еще больше полюбила книги, они становились для нее чем-то единственно надежным, не грозящим никакими новыми разочарованиями. У Основских была едва ли не лучшая русская библиотека в Буэнос-Айресе, и во время войны Надежда Аркадьевна сделала ее публичной, — тогда был большой спрос на советскую литературу, — временами на абонементе оказывалось до двухсот читателей. Потом волна спала — бойкот начинал уже действовать, да и новых поступлений не было за все время войны.

Возможность выписывать книги из Советского Союза появилась снова в сорок шестом году, когда в Штатах начала действовать международная книготорговая фирма. Каким праздником был для Надежды Аркадьевны день, когда пришла первая бандероль и на ее стол легли новенькие — прямо *оттуда!* — «Далеко от Москвы», «В стране поверженных», «Непокоренные», «Радуга», томик стихов Симонова. Книги были отпечатаны на скверной газетной бумаге, в дешевых картонных обложках, но она брала их в руки с благоговением, словно прикасаясь к святым реликвиям. Книги оттуда! Книги, созданные в дни великого подвига, уже хотя бы поэтому отмеченные печатью бессмертия! Она обзвонила всех знакомых, на новинки немедленно установилась очередь, и Надежда Аркадьевна в тот же день отправила еще один срочный заказ, на вдвое большую сумму.

Что ж, это было уже что-то. Если не удалось вернуться на родину, то она хоть может вести здесь какую-то полезную работу, открывать людям глаза, рассеивать заблуждения и опровергать клевету. Библиотечное дело захватило ее целиком, тем более что и читателей теперь стало опять порядочно — за счет приезжих из Европы. Не «дипи», нет, от этого судьба Надежду Аркадьевну пока хранила, — в Буэнос-Айресе появилось много старых эмигрантов из Франции, Бельгии, с Балкан. А упорный бойкот местных «непримиримых» имел и свою хорошую сторону: по крайней мере в библиотеку на улице Виамонте никогда не приходили люди, чьи политические взгляды и высказывания могли бы шокировать хозяйку...

Книги, библиотека, возможность поговорить с понимающим человеком о Паустовском или Тынянове оставались теперь един-

ственной ее отрадой. С мужем отношения начали незаметно портиться, — вся эта история с бесплодным ожиданием не прошла даром для Александра Александровича, да и бойкот он воспринял, к удивлению Надежды Аркадьевны, гораздо болезненнее, нежели она. Впрочем, для него это и в самом деле было труднее, она-то могла отсиживаться в библиотеке, но ему приходилось волей-неволей встречаться по службе с разными людьми. Он как-то опустился, стал ко многому безразличен. Новые советские книги, которыми она так восторгалась, он иногда бросал на середине. И совершенно перестал делиться с нею своими мыслями по поводу прочитанного.

Как ни странно, едва ли не единственным человеком, с которым она могла говорить откровенно и обо всем, встречая если и не всегда согласие, то во всяком случае понимание, был теперь для Надежды Аркадьевны один из ее читателей; и самую язвительную насмешку судьбы склонна она была видеть в том, что он оказался одним из тех самых перемещенных, которых она в свое время поклялась не пускать и на порог.

Впрочем, защищать библиотеку от «дипи» нужды не было — они и сами не приходили. А вот Михаил Сергеевич пришел. Это случилось в ее отсутствие, муж был дома; когда она вернулась, он не без ехидства поздравил ее с новым читателем: приходил один незнакомец, абонировался на год и взял «Бесов» и «Дневник писателя»...

— Кстати, этот господин — некто Полуниин — из новых эмигрантов, — добавил он как бы между прочим.

Надежда Аркадьевна была поражена и напугана. Что понадобилось этому субъекту? А вдруг провокатор? Но делать было нечего, интеллигентская деликатность не позволила ей закрыть абонемент новому читателю, да и деньги, уплаченные им вперед, пришлось к стати — ведь кроме поступлений с абонемента у нее не было других средств для покупки новинок. А книги стоили все дороже и дороже — расплачиваться приходилось по курсу доллара, а в стране шла инфляция, стоимость песо неудержимо падала с каждым месяцем...

Так и остался полуниинский формуляр в картотеке Надежды Аркадьевны. Первое время она относилась к своему новому читателю настороженно: шел пятидесятый год, холодная война была в разгаре, даже Аргентину с ее официально провозглашенной политикой «третьей силы» то и дело сотрясали судороги антикоммунистической истерии, — как знать, не подослан ли в «красную библиотеку» на Виамонте этот молчаливый и замкнутый незнакомец? Потом подозрения как-то рассеялись, ею начало овладевать любопытство. Однажды выяснилось, что Полуниин знает французский. «Я некоторое время жил во Франции, — объяснил он по обыкновению сдержанно, — бежал там из плена, потом был немцем в маки...» Надежда Аркадьевна почему-то поверила (хотя, в принципе, это могло быть полицейской «легендой»), и тут новый читатель стал в ее глазах личностью вовсе уж загадочной. С такой биографией — почему он здесь, почему не репатри-

ировался, что заставило его приехать в эту кошмарную Америку?

Впрочем, ледок недоверия и замкнутости скоро растаял, Полунин стал засиживаться в библиотеке. Александр Александрович, если и оказывался дома, в этих беседах обычно участия не принимал — здоровался, равнодушно спрашивал, как идут дела, и скрывался в своем кабинете. Зато Надежда Аркадьевна не могла наговориться. Она расспрашивала Полунина жадно и обо всем, — как-никак это был для нее первый человек «оттуда», живой свидетель и участник того, о чем ей приходилось узнавать лишь из книг. В его рассказах не было предвзятости, и это делало их особенно ценными. Они часто спорили, иногда убеждая друг друга, иногда нет; в этих спорах если и не всегда рождалась истина, то, во всяком случае, приходило взаимопонимание. А по нынешним временам и это уже не мало.

Постепенно разговоры с Полуниным сделались для Надежды Аркадьевны потребностью. Он был усердным читателем и появлялся в библиотеке каждую субботу. Если же исчезал — его работа была иногда связана с разъездами, — она с нетерпением ждала, откладывая для него интересные новинки, прятала газетные вырезки, по поводу которых можно было поспорить. Муж иногда подтрунивал: уж не влюбилась ли на старости лет? «Что за пошлые шутки, — вспыхивала негодуяще Надежда Аркадьевна. — Как ты не понимаешь, это первый по-настоящему интересный человек в нашем эмигрантском болоте!» — «Ничего, дай срок, засосет и его», — утешал Александр Александрович, шурша газетой.

Полунин не спеша поднялся на третий этаж, дом был старый, без лифта, резные деревянные перила широкой лестницы и цветные витражи на площадках напомнили ему нормандский шато, где они однажды ночевали с отрядом, выгнав оттуда какую-то немецкую хозяйственную часть. Обозники драпанули без единого выстрела, бросив машину, груженную бочками сидра; кое-кто из ребят здорово упился в ту ночь, — пьянку в компании дочек привратника организовал Дино, которого за это чуть не расстрелял командир. Командир у них был строгий, из старых кадровиков, участник обороны Сомюра в мае сорокового...

Он позвонил, с минуту было тихо, потом слышались шаги и дверь распахнулась. Пожилая дама — пенсне делало ее похожей на учительницу, а высокая старомодная прическа — на какую-то известную актрису прошлого — радостно просияла, увидев Полунина:

— Здравствуйте, голубчик, наконец-то! Где это вы все пропадаете?

Он ответил, что недавно вернулся из Парагвая, извинился за поздний визит, спросил, не помешал ли.

— Ну что вы, — запротестовала Надежда Аркадьевна, — вы же знаете, я вам всегда рада...

Полунин прошел за нею по коридору, приглаживая волосы.

В комнате библиотеки, слабо освещенной зеленой настольной лампой, привычно пахло старыми книгами и натертым паркетом. Сидя в знакомом кресле, глубоком и продавленном, он обстоятельно отвечал на расспросы об экспедиции, стараясь не запутаться в собственном вранье. Врать Основской было неловко, с таким участием и интересом она обо всем расспрашивала. Странно, подумалось вдруг ему, Дуне он может гордиться что угодно без зазрения совести, — потому, может быть, что ее не очень-то интересует его нынешняя работа. Любопытно — а если бы узнала правду?

— Долго вы еще думаете здесь пробыть? — спросила Надежда Аркадьевна.

— Не знаю точно. Надо дождаться одного человека, он в отъезде. А что?

— Хотите хорошую книгу? Только ненадолго, на нее уже очередь...

Основская выдвинула ящик письменного стола и протянула Полунину плотный том в светло-зеленом переплете.

— «Русский лес»? Что-то я об этой вещи слышал... — Он раскрыл книгу, глянул на титульный лист. — Смотрите-ка, пятьдесят четвертого года, совсем новинка...

— Да, это из последнего поступления.

— И действительно хорошо?

— Плохого бы я вам не посоветовала! Это, голубчик... настоящая литература. Я, правда, не знаю, как вы вообще относитесь к Леонову... писатель своеобразный, к его языку нужно привыкнуть. Понимаете, будто не пером пишет, а на коклюшках вывязывает... Некоторых это раздражает, и я согласна — иногда есть даже некоторая нарочитость. Ну, и в сюжете... мне показалось, например, что вся линия Грацианского — прочитаете, есть там такой архизлодей, — проще как-то можно было, естественнее! Но бог с ним, большому таланту и промахи простительны, а это такой талантище... И вся книга, это... как гимн, понимаете, как песнь — о России, о людях русских, о русской природе... Завидую вам сейчас, голубчик, первое знакомство с такой книгой — это праздник. Вы без портфеля нынче? Тогда я заверну...

Надежда Аркадьевна заботливо упаковала «Русский лес» в плотную бумагу и крест-накрест обвязала шпагатом.

— Спасибо, — сказал Полунин. — Постараюсь не задержать.

— Да, если можно. Впрочем, только начните — сами не оторветесь. На выставке были уже?

— Да, сегодня.

— Правда? Я по воскресеньям не хожу туда, еще ненароком придавят. В будни там попросторнее. Первый раз нынче были?

— Да... все как-то не мог выбраться. Да и Евдокия занята была всю неделю.

— Ах, вы были вместе. Ну, и... что она?

— Да ничего, — Полунин усмехнулся. — Поедем, говорит, домой.

— Даже так? — Надежда Аркадьевна приподняла брови, помолчала, симметрично раскладывая по столу остро заточенные карандаши. — Скажите на милость... И вы думаете, всерьез?

Полунин пожал плечами.

— В смысле — обдуманно? Нет, конечно. Искренне — да, но не больше. Да и что мог бы обдумать человек, не имеющий ни малейшего представления... Поедем, говорит, я буду доить лошадей!

— Что ж, здесь все зависит от вас, — еще помолчав, сказала Основская. — Евдокия Георгиевна, в сущности, ребенок еще... Чаю хотите?

— Спасибо, нет. Я вот закурил бы, с вашего позволения.

— Курите на здоровье, меня все читатели обкуривают. Да... Я всякий раз, когда уйду оттуда, даю зарок. Все, говорю себе, хватит, последний раз! А назавтра снова тянет. Наверное, с пьянчужками так бывает, с настоящими, которым уже не остановиться. Больно это, голубчик. Сознать себя отстраненной — больно, а увидеть, соприкоснуться — еще больнее...

— Приходилось вам разговаривать с кем-нибудь из персонала? — спросил после паузы Полунин.

— О, я там уже почти со всеми перезнакомилась. Боже мой, обычные русские люди — приветливые, доброжелательные... Конечно, масса перемен, я все понимаю, но главное — Россия, русский человек — это не меняется, нет, я верю, этого не изменить никому...

В комнате опять повисло молчанье. Полунин, опустив голову, машинально покручивал пальцем рекламную пепельницу в виде автомобильного колеса с надетой на него крышечкой марки «Пирелли».

— Надежда Аркадьевна, — сказал он вдруг, и вдруг понял, что именно ради этого пришел сегодня в библиотеку и что уже несколько часов — и там, в порту, и позже, бродя по улицам, — он знал, что придет сюда и заговорит именно об этом. — Вы, помните, как-то говорили об одном товарище... ну, из нашего консульского отдела, если не ошибаюсь...

— Да, — отозвалась Основская тотчас же, — я его как раз недавно видела. Алексей Иванович Балмашев, он был на открытии выставки. А что?

— Так, вспомнилось просто... — Полунин снял с пепельницы игрушечную автокрышку, это была точная модель-копия, с филигранным рисунком протектора и отштампованным по боковинкам названием фирмы; катнув по столу, он снова надел ее на стеклянный обод. — Вы, вообще, встречаетесь с ним... регулярно?

— У меня советский паспорт, — естественно, что мне приходится иногда бывать в консульстве, и к Алексею Ивановичу заглядываю при случае.

— Дело вот в чем... Я просто сейчас подумал — вы, кажется, говорили, что он человек... располагающий? Я подумал, что если при случае... это не к спеху, разумеется, но... спросите у него, если не забудете, — не будет ли он против, если я когда-нибудь к нему зайду познакомиться.

— Помилуйте, а с чего бы это сотруднику посольства отказаться от знакомства с соотечественником?

— Ну, не знаю, все-таки я перемещенное лицо, — возразил Полуниин с наигранной шутливостью. — А вдруг это козни мирового империализма? Нет, серьезно, Надежда Аркадьевна, вы постарайтесь выяснить. Почему знать, какие у них теперь на этот счет правила... еще чтобы не поставить человека в неловкое положение...

— Я понимаю, голубчик, — задумчиво сказала Основская. — Я понимаю... Нет, то есть я совершенно уверена, что опасения ваши напрасны! Но я непременно выясню, если так вам будет спокойнее.

— Да, так будет лучше. Расскажите ему обо мне, что знаете. А знаете вы практически все.

— Почти, скажем так, — Основская улыбнулась. — Хорошо, я завтра же побываю у Алексея Ивановича. Дело в том, что он, я слышала, в июле собирается в отпуск, — хорошо бы вам успеть...

— О нет, нет, это совершенно не к спеху, — быстро сказал Полуниин. — Я ведь сейчас на работе, меня в любой момент могут вызвать обратно в Парагвай. Вы договоритесь, а я не смогу прийти, получится глупо — спросился, мол, на встречу, а сам исчез. Поэтому не будем пока ничего уточнять, вы просто позондируйте предварительно почву...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Проводив улетевшего в Италию Дино, Филипп рассчитывал отдохнуть от конспирации и привести в порядок свои заметки о Парагвае, — их уже столько поднакопилось у него к этому времени, что грех было бы поленился, не свести воедино всю эту богатейшую информацию. Любопытная получится книжка; Дитмар Дитмаром, но почему не сочетать полезное с приятным? «Письма из сельвы», которые он аккуратно отсылал в редакцию каждые две недели, были откровенной халтурой, рассчитанной на невзыскательный вкус среднего подписчика «Эко де Прованс» — фермера, коммерсанта, мелкого чиновника. Такому читателю нужна экзотика, а не социология. К тому же очерки публиковались сразу, и их несомненно прочитывали в парагвайском посольстве в Париже; стоило хотя бы в одном появиться серьезному материалу, проливающему свет на истинное положение дел в этой стране, и экспедицию незамедлительно выдворили бы из Парагвая. Когда они отсюда уедут — дело другое, тогда руки у него будут развязаны. А пока можно продолжать собирать материал.

Он поделился своими планами с Астрид, и та с энтузиазмом включилась в работу — делала вырезки из газет, целыми днями просиживала в Национальной библиотеке (после возвращения из Чако они поселились в Асунсьоне), выискивая те или иные сведения по истории страны. Филипп научил ее фотографировать и да-



же доверял теперь свой драгоценный «Хассельблад», которым дорожил как зеницей ока.

В начале июня они уехали из столицы, чтобы осмотреть некоторые наиболее крупные — по парагвайским масштабам — города: Пилар, Коронель-Овьедо, Вильярика, Консепсьон, где в эпоху иезуитского владычества находилась резиденция главы ордена. На обратном пути Астрид захотела остановиться в Каакупэ — месте паломничества к чудотворной статуе Голубой Девы. И здесь начались неприятности.

Наутро после приезда к Филиппу явился какой-то местный «хефе полисиаль» и потребовал предъявить все экспедиционные бумаги; он долго изучал разрешения, таможенные и карантинные свидетельства, завизированные министерством внутренних дел крупномасштабные карты районов обследования, наконец сложил все это в портфель и унес с собой. Протесты не помогли — «хефе» загадочно сослался на указания свыше.

Филипп с Астрид помчались в Асунсьон, езды до столицы было немногим более часу, но на полпути у них заглох мотор. Не пытаясь обнаружить поблизости механика, Филипп принялся сам искать неисправность, проверил зажигание, систему бензоподачи, карбюратор — все было вроде бы в порядке, однако двигатель не заводился. Когда он наконец соизволил заработать — так же неожиданно и необъяснимо, — было уже полчетвертого; пока доехали до Асунсьона, рабочий день в государственных учреждениях кончился. Филипп оставил джип в первой попавшейся мастерской и отправился с Астрид в гостиницу.

На другой день оказалось, что поездка была напрасной. В министерстве внутренних дел выяснить ничего не удалось, чиновника, который в свое время подписал разрешение на работу экспедиции, на месте не было, другие ничего не знали, пожимали плечами и советовали выяснить дело на месте — с начальником полиции в Каакупэ...

Так ничего и не добившись, Филипп и Астрид пообедали в самом мрачном настроении, забрали из мастерской джип (неисправность оказалась пустячной: плохой контакт в цепи прерывателя) и поехали обратно. Вернувшись в Каакупэ, они обнаружили, что в номере Филиппа за время их отсутствия побывали гости: дверь была взломана, а все магнитофонные катушки с записями индейского фольклора исчезли.

Сама по себе потеря была невелика, поскольку большинство песен переписывалось с аргентинских пластинок, привезенных Мишелем из Буэнос-Айреса; но два происшествия сразу не могли не насторожить. До сих пор власти не чинили экспедиции никаких препятствий — что же изменилось теперь?

— Неужели боши что-то пронюхали? — озабоченно сказал Филипп. — Чертовски не нравится мне вся эта история... Знаете, Ри, вы все-таки сходите в полицию! Скажите, что нас то ли обыскивали, то ли обокрали, и заодно попытайтесь еще раз выяснить насчет изъятых бумаг...

Астрид побывала в полиции. Начальника не было, ее принял

дежурный офицер, который сказал, что о бумагах беспокоиться нечего, это обычная проверка, а заявление о краже записал в книгу и пообещал прислать следователя.

Следователь и в самом деле не замедлил явиться. Первым делом он наорал на хозяйку и поклялся бросить ее на съедение кайманам, если она, шлюха и отродье шлюхи, не научится вести дело так, чтобы ее уважаемые постояльцы могли чувствовать себя в безопасности. Хозяйка вопила, что никогда в ее гостинице не случилось ничего подобного — даже в первую неделю декабря, когда в городе полно паломников и воришки чувствуют себя особенно вольготно. Следователь затопал ногами, прогнал ее вон и, мгновенно успокоившись, принялся с глубокомысленным видом обследовать место преступления. Осмотрев дверь, он объявил, что имел место взлом при помощи инструмента, на воровском жаргоне именуемого «копытце» или «чертов зуб»; потом с лупой в руке долго обнюхивал подоконник, пинцетом подобрал какие-то крошки и бережно спрятал в пробирку. Проникнув через дверь, продолжал он свои объяснения, злоумышленники покинули помещение через окно. В целом картина преступления вполне ясна: речь идет о типичной краже со взломом, совершенной в корыстных целях.

Ничего глупее нельзя было придумать. В номере лежали действительно ценные вещи — портативные магнитофоны, оружие, кинокамера, два фотоаппарата, — все это осталось нетронутым. А катушки исчезли.

— Спросите, почему они не взяли хотя бы этого? — Филипп выдернул из чехла малокалиберный карабин — десятизарядный полуавтомат «Алькон» аргентинского производства. — Да черт меня побери, любой здешний охотник душу продаст за такую вещь! А они унесли бобины! С каких это пор злоумышленники интересуются магнитофонными записями?

Астрид перевела. Следователь подумал и сказал, что оружие не так легко продать — есть номера, они зарегистрированы. На дорогую оптику тоже не сразу найдешь покупателя, даже в столице. А коробки с бобинами воры забрали по невежеству — наверное, просто не знали, что там внутри, а посмотреть не успели, торопились. Индейцы, дикий народ, что вы хотите.

— «Индейцы», черта с два, — сказал Филипп, когда следователь ушел, заверив их, что полиция приложит все усилия к скорейшему возвращению похищенного. — Тут сработано со знанием дела! А взломанная дверь — это для отвода глаз, чтобы обыск выглядел ограблением. Боюсь, мы и в самом деле допустили какую-то оплошность... Ладно, идите спать, уже поздно. Думать будем завтра.

Астрид вздохнула, пожелала ему покойной ночи и нехотя удалилась. Филипп лег, но сна не было и в помине, совет «думать завтра» легче было дать, чем выполнить самому. Он попытался читать, но скоро бросил книгу и закурил. Действительно ли это местные полицейские штучки, или Кнобльмайер и К<sup>0</sup> что-то заподозрили и теперь проверяют их реакцию? Потому что реакция может быть двойкой: если экспедиции нечего скрывать, то она останется

на месте и будет настаивать, чтобы власти разобрались с кражей бобин и вернули бумаги. В противном же случае ее сотрудники немедленно удерут не только из Каакупе, но и вообще из Парагвая...

Возможно, расчет был именно на это. И, пожалуй, именно уехать сейчас и было бы самым разумным — в интересах собственной безопасности. А в интересах дела? Бегством они выдадут себя с головой, и уж тогда-то за ними будет немедленно установлена такая слежка, такой хвост потянут они за собой в Аргентину, что шансы подобраться к Дитмару станут практически равны нулю...

Он лежал без сна и курил, пытаясь что-то придумать, как вдруг в дверь поскреблись, и она открылась, тихонько скрипнув. Вошла Астрид, кутаясь в долгополый халат.

— Не сердитесь, Фил,— сказала она жалобно,— я проходила мимо и увидела у вас свет, а я тоже не могу заснуть, и вообще мне страшно...

— Чего это вам страшно? — спросил Филипп не очень любезным тоном.

— Ах, меня украдут сегодня ночью, непременно украдут, я это чувствую,— я теперь понимаю, что все провалила еще в немецкой колонии, только они тогда не подали виду, и я даже думаю, что...

— Послушайте,— Филипп повысил голос,— не валяйте вы дурака. Примите снотворное и ложитесь, завтра вы сами будете смеяться над своими страхами!

— Завтра, завтра! Почем знать, где я буду завтра,— обиженно возразила Астрид.— Завтра я уже буду сидеть в каком-нибудь подвале, связанная по рукам и ногам. Вы думаете, мне простят, что я их обманывала?

— Да вы просто психопатка! Начитались какой-нибудь дрянной «Черной серии», вот вам и мерещится. Отправляйтесь спать!

— Я боюсь идти в комнату, под окном кто-то все время ходит — я сама слышала, неужели вы мне не верите? — У Астрид даже голос задрожал.— Пусть какой-нибудь сонный газ, а потом вынесут через окно, никто и не услышит...

— Нет, это просто черт знает что. Мне, что ли, стеречь до утра в вашей комнате, чтобы не украли такое сокровище?.

Астрид приблизилась к кровати и скромно села на краешек, глядя в сторону.

— Никогда не думала, что вы такой бессердечный человек,— продолжала она тем же вздрагивающим голосом.— Я к вам пришла, чтобы вы меня утешили, успокоили, а вы...

— Ладно, не скулите, сейчас я вас успокою,— сказал Филипп.— Тут у меня в шкафу была бутылка коньяку, если только его не свистнули вместе с бобинами...

Он уже готов был встать, как вдруг Астрид перегнулась через него гибким движением и протянула руку к лампе на ночном столике.

— Идите вы со своим коньяком,— услышал он в темноте быстрый шепот.— Ах, Фил, ну что вы за идиот...

На другой день он действительно чувствовал себя идиотом. Ничего страшного, конечно, не случилось, но... После своего неудачного брака Филипп побаивался женщин и не очень им доверял. И вообще, решил он, хватит с меня этих историй... Ну, разве что встретится некто Единственная, Неповторимая. И кто же встретился? Веснушчатый чертенок, хулиган в обманчивом женском облике — и даже не таком уж обольстительном, говоря по правде. Нужно еще выяснить ее намерения...

— Ты что, замуж за меня собралась? — поинтересовался он за завтраком.

Астрид, с набитым ртом, отрицательно помотала головой.

— Что ты, — сказала она, прожевав. — Рано! Я еще хочу порезвиться.

— Хорошенькое дело, — Филипп, неожиданно для себя, обиделся. — Только тогда уж договоримся: резвится впредь со своими сверстниками, а взрослых оставь в покое...

— Тебе было со мной не очень хорошо? — участливо спросила она. — Странно, а мне показалось...

— Я не об этом. Боюсь, мы с тобой очень уж по-разному смотрим на некоторые вещи. Сегодня тебе захотелось порезвиться со мной, а завтра вернется Дино — кстати, может быть, ты и с ним уже?..

— Не говори глупостей! — воскликнула Астрид, заливаясь краской.

— А что? — Филипп пожал плечами, намазывая маслом булочку. — Если подходить к этому как к развлечению, то почему бы и нет? Завтра Дино, послезавтра Мишель, потом опять я...

Астрид швырнула салфетку и выбежала из комнаты.

Правда, через полчаса они встретились как ни в чем не бывало — состряпали очередное «Письмо из сельвы», отобрали фотографии. Астрид села перепечатывать очерк набело. Она была в отличнейшем настроении, казалось вот-вот замурлычет. «Фил, ты, конечно, сказал мне ужасную гадость, — объявила она снисходительно, — но я на тебя не сержусь. Понимаю, что у тебя были некоторые основания думать обо мне так, но поверь — ты ошибаешься...» Филипп почувствовал себя скотиной. После снесты она сказала, что ходит в полицию: лучше делать вид, что они поверили версии с грабителями и теперь, естественно, интересуются ходом расследования. Филипп предложил пойти вместе, она возразила: это было бы не очень солидно, глава экспедиции не станет общаться со всякими там полицейскими, послать секретаршу — дело другое. «А ведь деловая девчонка», — подумал он с некоторым удивлением, когда она ушла, очень уверенная в себе, точь-в-точь кошка с распушенным от гордости хвостом.

Через час Астрид вернулась, еще более довольная собой. Никаких воров, сказала она, до сих пор не поймали, но зато она сделала интереснейшее открытие: пусть-ка он, Маду, попробует догадаться, кто здесь начальником полиции?

Филипп подумал и честно ответил, что не знает.

— Опять немец! — Астрид даже взвизгнула от восторга. — И какой! Вот уж это моф так моф!

Филипп даже застонал, выругавшись сквозь зубы.

— Все, с меня хватит, — объявил он. — Давай укладываться, я сейчас же звоню и заказываю билеты до Монтевидео! На этом проклятом Парагвае можно уже приколотить вывеску «Nur für Deutsche»<sup>1</sup>...

— Ты с ума сошел — удирать именно сейчас! Наоборот, завтра я поеду навестить своего доброго старого приятеля Кнобльмайера...

Филипп изумленно уставился на нее, а потом высказал не очень лестное для собеседницы соображение о влиянии известного рода излишеств на умственные способности.

— Уж не с тобой ли я им предавалась, этим излишествами? — фыркнула Астрид. — Хорош мужчина, которого надо обхаживать два месяца! Знаешь, когда на меня кинулся Освальдо? Через два часа после того, как нас познакомили...

— Прибереги эту деталь для своих будущих мемуаров. Могу уже сейчас подкинуть название — «Из постели в постель, или Мужчины в моей жизни». Звучит?

— Если хочешь знать, не так-то уж их было много, — мирно возразила Астрид. — А Освальдо в тот вечер схлопотал от меня по физиономии, бедняжка. Да как! Но ты все-таки послушай, что мне пришло в голову.

— Ну?

— Смотри, Фил, ведь это может быть проверкой. Я все-таки не думаю, что Лернер разыгрывал комедию, — не может быть, чтобы они туда нарочно прислали такого хорошего актера. По моему, Лернер сказал правду, и никакая это была не ловушка, но просто Кнобльмайер меня подозревает — а если меня, то, значит, и вообще всех нас, — и они решили проверить свои подозрения...

— Кражей?

— Да, а сначала проверкой бумаг!

— Не знаю, — Филипп пожал плечами. — Если ты уверена, что Лернер тебя не разыгрывал...

— Совершенно уверена!

— ... и если предположить, что кто-нибудь из них не побывал там после нашего визита...

— Где, у Лернера? Ну, вряд ли кто потащится в такую даль, — сказала Астрид. — Да и что они могут у него узнать? Я действительно спрашивала про своего пропавшего фатера, — Лернер, надо полагать, вспомнит это, если у него еще сохранилась хоть капля рассудка...

— Он может вспомнить и то, что дал тебе адрес Дитмара, — задумчиво заметил Филипп. — И если они знают, кто такой Дитмар... и чем он занимался во Франции, — а экспедиция-то французская, не даром это их сразу насторожило уже там, в колонии... Ну, хорошо, продолжай. Зачем тебе ехать к оберсту?

<sup>1</sup> Только для немцев (нем.).

— Но, Фил, это же элементарно! Допустим, у них есть определенное подозрение; они тогда устраивают все эти штучки — сначала настораживающая нас проверка бумаг, затем изъятие бочин...

— Изъятие, — ухмыльнулся Филипп. — У тебя уже появился профессиональный жаргон. Дальше!

— Все очень просто! Если мы не те, за кого себя выдаем, то какой должна быть наша реакция? Та самая, что предложил ты: немедленно смотаться. А если мы действительно чисты и невинны? Тогда мы вопим, скандалим, требуем разыскать и вернуть похищенное. Я считаю, именно так мы и должны действовать, если не хотим потащить за собой в Аргентину вот такой хвост...

Филипп подумал.

— Что ж, в этом есть резон. И ты хочешь начать скандал у Кнобльмайера?

— Ну, у него я скандалить не буду, наоборот, я приду умолять о помощи — как доброго соотечественника...

— Тебе-то, немке, какое дело до интересов французской экспедиции?

— Ну как же, ведь благодаря вам я получаю возможность искать папочку!

— Да, но теперь, когда ты встретила соотечественников, логичнее ожидать помощи от них, а не от нас.

— Тоже верно, — признала Астрид. — Но ты думаешь, женщины так уж часто опираются на логику? Иногда некоторая нелогичность поведения как раз и говорит об искренности... а если все слишком уж логично — это тоже настораживает. Я вовсе не уверена, что вариант с Кнобльмайером окажется успешным, но убеждена, что твой гораздо опаснее.

— Не спорю. Смыться — это, конечно, не лучший выход... Просто мне осточертела эта парагвайская экзотика, ты понимаешь.

— Фил, ты великолепен, — Астрид рассмеялась. — Хорошо, что у меня достаточно чувства юмора!

Филипп смутился.

— Прости, я вовсе не имел в виду наши с тобой...

— Да ладно уж, не оправдывайся, я не обижена. И вообще я за откровенность в таких делах. Было бы гораздо хуже, если бы ты из галантности начал изображать из себя этакого Тристана... я-то ведь тоже далеко не Изольда! Будем относиться ко всему этому проще, не заглядывая в будущее... Кстати, я подумала — мне, пожалуй, лучше перебраться к тебе, зачем платить за лишний номер?

— Можно и так, — согласился Филипп без особого энтузиазма.

Утром Астрид взяла машину и отправилась умолять о помощи своего доброго соотечественника.

На заправочную станцию она приехала около полудня, измученная двухчасовой тряской по отвратительной дороге, плохо

представляя себе, о чем конкретно будет говорить с Кнобльмайером. Линию этого разговора они в общих чертах наметили совместно с Филиппом, но сейчас ею владела странная неуверенность, Астрид уже почти жалела о своей затее. По дороге она несколько раз пыталась заставить себя сосредоточиться, еще раз хорошо все обдумать, чтобы не попасть в просак, если герр оберст начнет ее прощупывать. Но сосредоточиться не удалось, вероятно ей лучше было бы не спешить с этой поездкой; она то и дело возвращалась мыслями к тому, что произошло у нее с Филиппом, и ей становилось все яснее, что получилось нехорошо и ненужно — совсем не так, как представлялось ранее...

Кнобльмайер встретил ее с обычной своей любезностью, даже поцеловал в щеку на правах такого старого дядюшки.

— Рад снова увидеть, чрезвычайно, — пыхтел он, не отпуская ее рук, — в колонии часто вас вспоминают — произвели прекрасное впечатление...

— Ах, вы все так добры ко мне, милый господин оберст, я просто не знаю, что бы я здесь без вас делала...

— Пустяки, не о чем говорить. Помочь соотечественнице — священный долг. Как ваши дела, Армгард? Экспедиция еще действует? Да, кстати, вам удалось повидать этого... как его... Лернера?

Небрежный тон, каким была произнесена эта последняя фраза, показался Астрид чуточку нарочитым, — впрочем, может быть, она в данном случае сама чрезмерно подозрительна.

— О да, мы туда ездили, — ответила она так же небрежно, — мне было ужасно неловко перед шефом — заставить всех тащиться в такую даль по своему личному делу... там к тому же такое бездорожье! Но самое печальное, что господин Лернер не знал моего отца и ничем не смог мне помочь...

— Да, да, — Кнобльмайер сочувственно покивал. — Что ж, это неудивительно, в дивизии было много офицеров, все не могли знать друг друга... Карльхен! Поставь-ка нам кофе!

— Яволь! — отозвался тот откуда-то из мастерской.

— Хорошо снимает усталость — у вас утомленный вид, — объяснил Кнобльмайер. — Позже отвезу вас пообедать. А вечером, может быть, в колонию?

— Я бы с огромным удовольствием, но шеф просил к вечеру вернуться в Каакупе, — у нас там неприятности, мое присутствие может понадобиться...

— Что ж, понимаю! Служба есть служба. Но мы пообедаем вместе?

— Благодарю вас, милый господин Кнобльмайер, я буду рада.

— Прекрасно. Карльхен тем временем займется вашей машиной. Вы сказали, экспедиция сейчас в Каакупе?

— Да... вернее, мы с шефом — вдвоем. Фалаччи уехал в Италию, в Милане сейчас проходит антропологический конгресс, а радиста отправили в Буэнос-Айрес за какими-то приборами.

Так что у нас пока вроде каникул. Я и сама думала отпроситься на недельку, но тут началась эта история...

— Да, вы говорили о неприятностях. А что у вас там происходит?

— Я бы сама хотела это знать, господин оберст! Собственно, я для этого и приехала — посоветоваться с вами...

— Польщен, рад буду оказаться полезным! Выкладывайте смелее!

Астрид выложила факты, потом сказала нерешительно:

— Не знаю, удобно ли... но я хотела попросить вас, милый господин оберст... если вас не затруднит, разумеется...

— Нисколько, нисколько. Всегда рад помочь вам — если смогу.

— О, я уверена, для вас это не составит труда! Дело в том, что начальник полиции Каакупе — наш соотечественник...

— Да, я его знаю. Превосходный человек — работал в имперской службе безопасности, огромный опыт. И что же?

— Может быть, вы могли бы ему написать? Во-первых, попросить поскорее расследовать дело с ограблением, и потом... не знаю, конечно, насколько это зависит от него — эта проверка экспедиционных бумаг...

— В принципе, это мог быть приказ из Азунциона.

— Разумеется, я понимаю... Но все же начальник полиции — фигура достаточно влиятельная, и если бы он захотел...

— Я напишу ему, Армгард, — сказал Кнобльмайер и ободриительно похлопал ее по коленке. — Напишу сегодня же, и вы увезете письмо с собой.

— Ах, я вам так благодарна! — воскликнула Астрид.

Вошел с подносом Карльхен, успевший уже отмыть руки и переодеться в белую куртку, поставил перед Астрид и Кнобльмайером чашечки и разлил кофе со сноровкой хорошо вышколенного денщика. Астрид поблагодарила его улыбкой. Молодой фридолин, вероятно ее ровесник, был скорее симпатичен; судя по тому, как он исподтишка на нее таранился, для нее не составило бы труда заручиться если не его содействием, то хотя бы сочувствием — на всякий случай. Впрочем, об этом нужно было подумать раньше...

Дождавшись, пока Карльхен вышел, она сказала:

— Вас может удивить, господин берст, что я сейчас защищаю интересы этой дурацкой экспедиции... Признаться, я и сама колебалась, стоит ли это делать. Но, видите ли... начать хотя бы с того, что я работаю у них и получаю от них жалованье, а меня всегда учили, что служащий должен охранять интересы работодателя. Не так ли? И потом, честно говоря, мне бы не хотелось быть в долгу: они ведь тогда поехали со мной к Лернеру, поехали по моей просьбе, хотя могли этого и не делать...

— Да, да, я вас понимаю, — отрывисто сказал Кнобльмайер. — Германское чувство верности — всегда этим отличались — даже в ущерб себе. Не то что проклятые макаронники!



Жаль, что поездка оказалась напрасной. Лернер, значит, так вам ничего и не сообщил?

— Нет,— Астрид покачала головой и отпила из своей чашки.— Он сказал только, что в Аргентине есть несколько офицеров из Семьсот девятой дивизии, ему писали об этом.

— Ну, это уже что-то. Имена он называл?

— Нет, имен он не помнит...

— Ни одного?

— Ни одного, и вообще он...— Астрид пожала плечами.— Может быть, он это все придумал. Я должна сказать, господин Лернер произвел на меня странное впечатление... никогда не думала, что офицер вермахта может позволить себе так...

— Опуститься?

— Да, именно это я хотела сказать. Очень печально, господин оберст.

— Да, да. Не все выдерживают испытание. К сожалению! Когда-то был неплохим офицером этот Лернер. Пьет?

— Боюсь, что да...

— Но вы все-таки должны были попытаться получить от него хотя бы один адрес, Армгард. Аргентина — большая страна.

— Ах, он был в таком состоянии,— машинально отозвалась Астрид и тут же с опозданием ощутила укол тревоги: тон Кнобльмайера опять показался ей каким-то необычным. Пожалуй, она допустила промах, сказав, что Лернер не назвал ни одного имени. Почему жирный моф так упорно об этом спрашивает? Неужели они успели связаться с Лернером...

Эта мысль привела ее в смятение. Может быть, еще не поздно переиграть, «вспомнить» про письмо с адресом Дитмара? Нет, поздно, она уже трижды подтвердила, что Лернер никого не называл, теперь это выглядело бы совсем подозрительно. Не следовало бросаться сюда очертя голову, нужно было спокойно все обдумать, перебрать разные варианты. Впрочем, насчет письма все — Филипп, Дино, Мишель — все согласились, что упоминать о нем не следует. Ах, какая ошибка!

Ужасно расстроенная, она с трудом допила кофе, чувствуя, что вот-вот разревется — из-за всего сразу, по совокупности. Эта дурацкая поездка (и еще два часа обратного пути!), сознание допущенной ошибки, наконец история с Филиппом — тут впору не то что разреваться, попросту взвыть...

— Что с вами, Армгард? — участливо спросил Кнобльмайер.

— Извините,— ответила она с усилием.— Просто мне сейчас вспомнилось... я так надеялась узнать что-нибудь о папочке — была совершенно уверена... Когда мне сказали, что в Парагвае много соотечественников...

— Ничего... ничего... не нужно терять надежды! Важно, что есть офицеры, которые служили с ним в одной дивизии. Не может быть, чтобы никто ничего не знал!

Если бы не обещанное письмо к начальнику полиции, Астрид

уехала бы немедленно — так ей захотелось поскорее увидеть Филиппа и поделиться с ним своей тревогой. Но уехать было нельзя. На ее счастье, к станции подвезли на буксире пострадавшую в аварии машину, и Кнобльмайер ушел договариваться с владельцем о стоимости ремонта, извинившись перед Астрид и предложив ей пока отдохнуть.

Лежа в гамаке в тени развесистой сейбы, она слушала усыпляющий шелест листвы, резкие крики какой-то местной пернатой живности, и все это вдруг показалось ей каким-то ненастоящим. И ее пребывание здесь, в Южной Америке, и странная экспедиция, членом которой она стала совершенно случайно, — честное слово, можно подумать, что приснилось. Единственной реальностью во всем этом был Филипп... но опять-таки — почему именно он, почему не Лагартиха, почему никто из других, там, раньше? Приятелей у нее всегда, в общем-то, хватало; одни нравились ей лишь постольку-поскольку, с ними можно было подурчиться, не заходя слишком далеко, а другие заинтересовывали больше, и тут уж она не ставила себе заранее никаких границ — как получалось, так и получалось...

Именно так, случайно, начался у нее роман с Лагартихой. Казалось бы, ничего серьезного, но с Лагартихой ей было хорошо, по-настоящему хорошо. И она была уверена, что с Филиппом будет еще лучше. Однако с Филиппом получилось плохо, она сразу поняла, что делать этого не следовало. Можно было легко сойтись с Освальдо, можно было бы шутки ради соблазнить Дино; но она не должна была, не имела права играть в эту игру с Филиппом, потому что он уже стал значить для нее слишком много.

Еще больше расстроенная всеми этими мыслями, Астрид пообедала с Кнобльмайером, получила от него обещанное письмо к начальнику полиции и тронулась в обратный путь на своем джипе, смазанном и вымытом старательным Карльхеном.

В Каакупе она приехала уже вечером, в сумерках. Филипп ждал ее, сидя на каменной скамье в садике перед отелем; увидя подъехавший джип, он подошел, помог ей сойти и очень нежно поцеловал в щеку; Астрид при этом почувствовала себя такой дрянью, что едва не разревелась.

— Как съездила? Успешно или не очень?

— Я думаю, да, — ответила она уклончиво. — Письмо он написал, и вообще был любезен... как всегда. Пожалуй, они все-таки ни о чем не догадываются...

Астрид была уже почти уверена в обратном, но решила не делиться своими опасениями с Филиппом — мало ему еще забот. Просто сама она будет смотреть в оба. Если мофы их и заподозрили, то по каким-то своим соображениям это скрывают; вот и прекрасно, она догадывается, что оказалась под подозрением, но тоже не будет показывать вида. Совсем как в шпионском фильме! А Филиппу она скажет только, если возникнет реальная опасность.

Они поужинали в полупустом зале отельного ресторана, поднялись в номер. Астрид начала собирать свои вещи.

— Ты что это? — удивленно спросил Филипп.

— Знаешь, я лучше вернусь в свою комнату, все-таки так приличнее, — отозвалась она, не глядя на него. — Хозяйка знает, что мы не женаты, в провинции на такие вещи смотрят не очень-то одобрительно...

— Вот те раз! С каких это пор стала ты обращать внимание на условности?

— Лучше поздно, чем никогда...

— Послушай, Ри, — сказал он уже обеспокоенно. — Я чем-нибудь... обидел тебя?

— Ну что ты, Фил! Ничего подобного, просто... так будет лучше, понимаешь? Покойной ночи, милый, я пойду уже, я сегодня действительно устала...

— Покойной ночи, — отозвался он машинально, безуспешно пытаясь сообразить, что это вдруг на нее нашло. Вероятно, она все же обиделась на него за что-то, — но за что? Может быть, за эту его вчерашнюю грубую шутку насчет мемуаров? Но ведь мало ли какие вещи привыкли они говорить друг другу, по-приятельски не стесняясь в выражениях...

Он подошел к окну и распахнул его, погасив свет, чтобы не налетели москиты. Ночь была прохладной, звезды затянуло тучами, пахло близким дождем. «Барометр падал весь день, — подумал Филипп, — мне всегда не по себе, когда резко меняется давление...» Но сейчас дело было вовсе не в атмосферном давлении, он прекрасно это понимал.

В эту самую минуту полковник Кнобльмайер посигналил фарами у ворот генеральской виллы в Колонии Гарай. Вышедший из сторожки привратник осветил машину лучом фонарика и, узнав гостя, вскинул руку.

— Проезжайте, господин оберст, его превосходительство вас ждет, — сказал он почтительно, откатывая решетку.

У дверей кабинета Кнобльмайер одернул пиджак, подтянул живот и деликатно постучался. «Входите», — послышалось изнутри. Кнобльмайер вошел, щелкнул каблуками, четко выбросил правую руку.

— Хайль Дойчланд! — рявкнул он строевым голосом.

— Хайль, — согласился его превосходительство, небрежно приподняв к плечу ладонь. — Садитесь, оберст, и рассказывайте, что у вас там случилось. По телефону, должен сказать, ваш голос звучал весьма... взволнованно. Сигару?

— Благодарю, экселенц! — Кнобльмайер присел в кресло и кончиком пальцев взял из протянутого ящика толстую «короону». — Прошу извинить за столь поздний визит, — не смел бы нарушить покой вашего превосходительства, но дело представляется неотложным...

— Я догадался, оберст. Ничего, я ложусь поздно, привык

работать по ночам. Кстати, могу вам сообщить, что одно аргентинское издательство заинтересовалось моей книгой... «Ассандри», в Кордове, в позапрошлом году они издали Руделя. Так что очень может быть, что мои воспоминания выйдут одновременно и дома, и здесь — на испанском. Сегодня у меня был переводчик Руделя, некто Хильдебранд... Впрочем, я вас слушаю, оберст.

— Экселенц,— Кнобльмайер кашлянул, глядя на свою незажженную сигару.— Я чрезвычайно сожалею, но боюсь, что оказался прав в вопросе этой французской экспедиции.

— Узнали что-нибудь новое?

— Так точно, экселенц. Сегодня у меня была эта девчонка — Армгард, как она себя называет,— весьма подозрительная особа, подтвердила худшие мои подозрения.

— Чем именно, оберст? Можете курить, если хотите.

— Благодарю, экселенц, позже. Что касается Армгард, то она,— ваше превосходительство помнит мой рапорт о посещении гауптмана Лернера? — она начисто отрицает, что получила от него какой бы то ни было адрес. Я нарочно переспросил, экселенц, сделал это дважды. Упорно отрицает! Чудовищная испорченность, экселенц,— столь юное существо — непостижимо уму! Немка, сотрудничающая с врагами Германии,— возмутительно!

— Она, кстати, не немка,— заметил генерал, окутываясь клубами сигарного дыма.— Она бельгийка.

— Так точно, по паспорту.

— И в действительности. Паспорт у нее настоящий.

Генерал выдвинул ящик стола и достал конверт.

— Дело в том, что я писал в Бельгию, просил выяснить. Это оказалось несложно. Отец этой особы — довольно крупный антверпенский промышленник, человек порядочный, во время войны честно сотрудничал с имперскими экономическими органами. Его дочь, Астрид, порвала с семьей около трех лет назад, скорее всего из-за своих левых убеждений. По слухам, находится сейчас в Южной Америке. А вот и фотография этой самой девицы...

Кнобльмайер долго разглядывал снимок. Армгард — или Астрид, черт их теперь разберет,— была изображена с другой прической, без очков, и все же сомнения не было.

— Но ведь это ужасно, экселенц,— сказал он слабым голосом, возвращая фотографию.— Они теперь все здесь разнюхали, кретин Лернер выдал им адрес этого человека в Кордове, через него они нащупают всю нашу аргентинскую сеть...

— Спокойно, оберст, спокойно, обстановка не так опасна. Постарайтесь взглянуть на нее с военной точки зрения. Мы не только раскрыли оперативный план противника, но и можем уже в общих чертах представить себе его, так сказать, стратегический замысел. Противник между тем явно ни о чем не догадывается. В этом наше преимущество, Кнобльмайер. Хотя, не скрою, мы

имеем дело с сильным противником. Следует подумать, как быть дальше...

— Экселенц, наша военная доктрина всегда была наступательной. Смею думать, это применимо и к данной ситуации. Банду нужно обезвредить немедленно, одним ударом!

Генерал отрицательно покачал головой.

— Ошибка, оберст. Опасная ошибка! Вас ничто не удивляет в этой истории?

Кнобльмайер подумал и пожал плечами.

— Скорее возмущает, экселенц, — неслыханная наглость — коварство — впрочем, наши противники всегда этим отличались.

— Не спорю, Кнобльмайер, не спорю. Но все-таки? К нам засылают агента, причем эта операция выглядит на редкость так топорно: агент является под своим настоящим именем, со своими подлинными бумагами, заявляя в то же время, что они подложны. И вообще несет невообразимую чушь. Вы знаете, у разведчиков есть такой термин — «легенда»; обычно она продумывается самым тщательным образом, хорошая легенда должна выдержать любую проверку. А здесь? С какой легендой явилась к нам эта... Стеенховен? С нагромождением лжи, которое развалилось при первом прикосновении. Ведь, чтобы разоблачить ее, хватило одного-единственного запроса! Все это подозрительно, Кнобльмайер, весьма подозрительно...

— Что предполагает ваше превосходительство? — спросил оберст после недолгого молчания.

— Тут можно предполагать что угодно. Для меня ясно одно: противник, засылая к нам свою разведчицу с такой нелепой легендой, не мог не предусмотреть нашего ответного хода — то есть проверки. Говоря иными словами, расчет был построен именно на разоблачении. Я склонен думать, что они ждут с нашей стороны именно тех действий, которые вы только что предложили, то есть ответного удара. Для чего? Для чего угодно, дорогой Кнобльмайер. Для чего угодно! Хотя бы для того, чтобы поднять шумиху в так называемой «прогрессивной» печати. Маду действительно связан с «Эко де Прованс», но это, естественно, только лишь прикрытие, камуфляж. Откуда мы знаем, кто стоит за его спиной? Это может быть кто угодно, оберст, кто угодно! Страшно даже подумать, к каким последствиям может повести малейший необдуманный шаг с нашей стороны...

На это Кнобльмайер не нашелся что сказать. С полминуты генерал смотрел на него испытующе, потом взял с пепельницы свою сигару и снова запыхтел, окутываясь клубами синеватого дыма.

— Итак, повторяю: никаких опрометчивых шагов. Акции с проверкой бумаг и изъятием магнитофонных записей пока достаточно. Завтра же позвоните Хагеману, пусть все вернут.

— Я написал ему сегодня письмо, девчонка приезжала просить именно об этом...

— Правильно сделали. Пусть ничего не подозревают! Завтра еще позвоните — в дополнение к письму. Получив назад бумаги

и бобины, они придут в замешательство,— вы меня понимаете? Они ждут от нас какого-то удара, рассчитывают на это, тут все очень не случайно — даже то, что группа вдруг разделилась, оставив здесь одного Маду с девчонкой. Тут дьявольский план, Кнобльмайер, поверьте чутью старого солдата...

Его слова прервал осторожный стук в дверь. Генерал обернулся и раздраженно крикнул: «Войдите!» На пороге вытянулся адъютант.

— Экселенц, прошу прощения, есть важные новости. Монтевидео сообщает о попытке военного переворота в Буэнос-Айресе...

— А! — крикнул генерал и хлопнул по столу ладонью.— Теперь вы поняли? Радио, Вебер!

Адъютант метнулся к стоящему в углу большому консольному аппарату. Генерал встал, вскочил со своего места и Кнобльмайер. С минуту приемник шипел и потрескивал, потом забормотал что-то неразборчивое; Вебер повернул ручку настройки, и сквозь шипение прорезался торопливый голос:

— ... жертвы среди гражданского населения. Связь страны с внешним миром прервана, отменены все вылеты из международного аэропорта Пистарини. Судя по официальным сообщениям, положение в федеральной столице полностью контролируется правительством, о положении в провинциях достоверных сведений пока нет. Как нам только что сообщили, в Буэнос-Айресе толпа сторонников президента разгромила и подожгла здание дипломатического представительства Ватикана. В связи с попыткой переворота называют имена некоторых высших офицеров военно-морских сил Аргентины, в том числе вице-адмиралов Оливьери и Кальдерона, судьба которых неизвестна. Говорит радио Монтевидео, Уругвай. Мы будем информировать наших слушателей по мере поступления дальнейших сообщений из Аргентины...

Голос умолк, послышалась музыка. Генерал остановился посреди кабинета, широко расставив ноги и уперев руки в бока с таким воинственным видом, словно на нем вместо бархатной домашней тужурки был сейчас серо-зеленый китель со всеми регалиями.

— Что я вам говорил! — крикнул он торжествуя.— Теперь вы видите, Кнобльмайер? Видите, как все сходится? Попробуйте сказать, что это простое совпадение — приезд к вам этой особы именно сегодня!

— Внимание, друзья радиослушатели,— опять раздался голос диктора.— Говорит радио Монтевидео, Уругвай. Повторяем наше экстренное сообщение. Сегодня, шестнадцатого июня, в столице Аргентины была произведена попытка государственного переворота. Около полудня по местному времени самолеты морской авиации сбросили бомбы на центральные кварталы Буэнос-Айреса, президентский дворец и здание военного министерства. Имеются жертвы среди гражданского населения. Связь страны с внешним миром прервана, отменены все вылеты...

— Выключите, дальше мы уже слышали,— сказал генерал.— Если будет что-нибудь новое до часу ночи, немедленно сообщите

мне. Организуйте посменное дежурство, используйте три приемника — слушать одновременно Буэнос-Айрес, Монтевидео и Вашингтон, все сообщения записывать на пленку. Утром дадите мне сводку — не позже восьми ноль-ноль.

— Слушаюсь, экселенц!

Адъютант вышел. Генерал обернулся к оберсту и смерил его торжествующим взглядом.

— Ну, что скажете, Кнобльмайер? Все-таки эта голова что-то соображает, а? — Он постучал себя по лбу. — Хороши мы сейчас были бы, поддавшись на провокацию этих бандитов! Итак, проанализируем ситуацию. События в Аргентине — при любом исходе — очень серьезно подрывают положение Штрёсснера. Это не нуждается в пояснениях. Даже если Перон удержится на этот раз, его дни сочтены, а Штрёсснер ориентируется на Аргентину. Не сегодня-завтра он окажется в политической изоляции, и тогда уже ему будет не до нас. В свете всего этого, Кнобльмайер, какая линия поведения представляется вам наиболее разумной?

— Я думаю... сидеть тихо, экселенц!

— Именно. Вы правы, Кнобльмайер. Именно — сидеть тихо! Занять гибкую оборону и не поддаваться на провокации!

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Полуннина события шестнадцатого июня застали в Кордове. Накануне он уехал из Буэнос-Айреса, так и не дождавшись Келли, — тот таскался по северным провинциям, то ли инспектируя деятельность тамошних «соратников», то ли попросту спасаясь от промозглой буэнос-айресской зимы в благодатном климате Тукумана. Ждать его дольше не имело смысла. Тем более что, прежде чем выводить ЦНА на Дитмара, разумнее было самому удостовериться, действительно ли тот в Кордове. В конце концов, сведения Лернера могли быть и ошибочными.

Отдохнуть в поезде не удалось, и Полуннин, сняв комнату в первом попавшемся отеле, завалился спать. Проспал недолго, каких-нибудь два часа; разбуженный непонятным шумом и выстрелами, он вышел из номера, спросил у коридорного, что случилось. Тот ответил, что внизу празднуют революцию.

— Какую еще революцию? — ничего не понимая, переспросил Полуннин.

— Государственный переворот, че! — пояснил коридорный. — Вы разве еще не знаете? Только что передавали — столицу бомбят с моря и с воздуха, тысячи жертв, Перон бежал на подводной лодке!

— Вы шутите!

— Хороши шутки — пойдите послушайте радио, если не верите!

— А где стреляли, на улице?

— Нет, в баре. Один сеньор на радостях расстрелял люстру...

Полуннин сбежал вниз, со страхом и запоздалым раскаянием

вспоминая Дуняшину просьбу взять ее с собой в Кордову. Даже если во всем этом три четверти домысла, все равно плохо. Очень плохо. Тысячи не тысячи, но без жертв не обошлось наверняка — американские «революции» проходят шумно. В Боготе, когда убили Хорхе Гаитана, резня на улицах шла несколько дней. В Ла-Пасе дрались дважды — и когда выбросили из окна труп президента Вильяроэля, и когда потом вернулся к власти Пас Эстенсоро. Здешним только дай пострелять, не остановишь. А что теперь будет с Дитмаром? Если действительно произошел переворот, все их планы полетят к черту...

В ресторанном зале посетители толпились вокруг приемника, включенного на полную мощность. Полуниин прослушал очередное сообщение радио Монтевидео — о бомбежке с воздуха действительно говорилось — и спросил пробегавшего мимо официанта, можно ли позвонить отсюда в Буэнос-Айрес. «Сеньор, бесполезно пытаться, — воскликнул тот, — связи нет с полудня!»

Правительственный передатчик ЛРА-5 время от времени — вперемежку с классической музыкой — повторял короткое официальное коммюнике о неудавшейся попытке военного переворота, не приводя никаких подробностей. Иностранские радиостанции противоречили друг другу, и представить себе четкую картину положения было трудно. Все, впрочем, признавали, что путч можно считать уже ликвидированным.

Разочарованные слушатели постепенно разошлись, осталась лишь кучка заядлых спорщиков, до хрипоты обсуждавших события политической жизни Аргентины за последние двадцать лет и перспективы на ближайшее будущее; спорили с таким жаром, что Полуниин стал уже опасаться, не дойдет ли опять дело до стрельбы — хорошо еще, если по люстрам. Он рассеянно прислушивался к темпераментной аргументации, думая о Дуняше, о том, как может повлиять случившееся на поиски Дитмара, и еще о том, что в такие вот моменты особенно остро ощущаешь нелепость эмигрантского существования, этой проклятой «жизни в гостях». Покуда вокруг все спокойно, ты живешь как и другие — с теми же заботами, приблизительно теми же интересами; но когда в стране что-то происходит — вот тут сразу и обнаруживается разница между тобой и окружающими. Забастовки, политические демонстрации, предвыборная борьба, даже просто газетная полемика вокруг какого-нибудь наболевшего вопроса — все это кровно касается их, но не касается тебя, и ты сразу начинаешь чувствовать себя чужим, непричастным к жизни общества, ненужным ему...

Телефонная связь с Буэнос-Айресом восстановилась лишь на следующий день, к вечеру; на переговорных пунктах образовались такие очереди, что Полуниин смог дозвониться лишь около полуночи.

— Евдокия! — закричал он обрадованно, услышав наконец ее сонный голос. — Это я! Как ты там?! У тебя все благополучно?!

— Ну да, — отозвалась она, — а что такое? Почему ты так поздно?



— Хорошенькое дело — поздно! Я сижу на телефоне с восьми часов! Что у вас там делается? Где ты была вчера?

— Вчера? Дай сообразить... О, конечно,— вчера я была за городом, меня пригласили на асадо<sup>1</sup>,— беззаботно сообщила Дуняша.— А что у тебя?

— У меня все в порядке, только я очень беспокоился вчера, когда узнал! Я боялся, ты попадешь в какую-нибудь историю...

— Нет, я никуда не попала, я была с Синеоковой в Сан-Исидро, она меня знакомила с родителями своей будущей belle-fille. Вообрази, ее сын женится на аргентинке! Приятная, впрочем, девушка, хоть и глупа на вид. Хорошо, если поглупела от любви, а иначе... Хотя, между нами, молодой Синеоков тоже ведь не блещет. Сплетницей я стала ужасной, не хуже княгини... Ой, я ведь совсем забыла — можешь себе представить, пока мы там прохлаждались, здесь без меня произошла революция. Представляешь? То есть она не произошла, ее только хотели сделать — прилетели авионы и стали бросать бомбы на Плас-де-Майо, вообрази — среди бела дня! Говорят, там все вверх дном. Я сама не видела, туда не пускают, да и не такой уж это приятный спектакль, согласись сам. Летом сорок четвертого года я однажды поехала к подруге в Бийянкур — там главная парижская гар-де-триаж<sup>2</sup>, не знаю как это по-русски,— все забито немецким военным материалом, пушки, камионы<sup>3</sup>, танки и всякое такое — они уже бежали, это было за месяц до либерасьон,— и вдруг, вообрази, налетают американцы и начинают бросать свои бомбы куда попало. Кошмар! Я потом видела один такой кратер — в него поместилась бы вся Тур Эйфель, не веришь?

— Насчет Эйфелевой башни ты, конечно, загнула, но вообще воронки от американских фугасок бывали здоровенные.

— Фантастические! То есть я в тот день — в Бийянкуре — осталась жива просто за счет чуда, но напугалась ужасно. Поэтому, как ты догадываешься, у меня нет ровно никакого желания идти смотреть, как выглядит сегодня Плас-де-Майо. А курию сожгли!

— Какую курию?

— Апостолическую курию, это вроде амбассады Ватикана, не знаю. Ее сожгла толпа, потому что, говорят, все это безобразие устроили иезуиты — ну, в смысле бомбардировки. Странно, правда? Никогда не думала, что попы летают на авионах,— но, разумеется, от этих жезюитов можно ждать всего решительно. Кошмарная публика, недаром их отовсюду повыгоняли. Ну, а как там ты? Я сегодня читала газету, про Кордову ничего не сообщают, значит у вас спокойно. Ты вообще скоро думаешь вернуться?

Полунин сказал, что скоро, пожелал ей покойной ночи и повесил трубку — в стекло кабины уже нетерпеливо постукивали.

Успокоенный насчет Дуняши, он мог теперь заняться делами, но впереди, как назло, было три нерабочих дня: суббота, воскре-

<sup>1</sup> Asado — вид шашлыка (исп.).

<sup>2</sup> Gare de triage — сортировочная станция (фр.).

<sup>3</sup> Camion — грузовик (фр.).

сенье и понедельник — двадцатого июня аргентинцы празднуют День флага. Единственное, что можно было сделать до вторника, это выписать из телефонной книги все имеющиеся в Кордове электромонтажные фирмы. Список получился довольно длинный.

Во вторник с утра Полунин засел за телефон. Он набирал номер, спрашивал, выслушивал ответ: «Простите, вы, вероятно, ошиблись, этот сеньор у нас не работает» — и вычеркивал еще одну строчку в своем списке. Вычеркнув уже шесть, он набрал очередной номер.

— «Консэлек лимитада», добрый день,— отозвалась телефонистка,— чем могу служить?

— Пожалуйста, соедините меня с сеньором Дитмаром,— произнес Полунин в седьмой раз и, уже приготовившись зачеркнуть «Консэлек», вдруг услышал:

— Очень сожалею, но сеньора Дитмара сейчас нет в конторе, он будет после обеда. Что ему передать?

— Нет-нет, спасибо... я зайду сам,— не сразу оправившись от неожиданности, сказал Полунин и осторожно, словно боясь спугнуть удачу, опустил трубку на рычаги. Вскочив, он постоял, снова сел и с размаху влепил кулак в раскрытую левую ладонь. Есть, черт возьми! Наконец-то! Но тут же им овладела неуверенность: слишком уж легко все получилось,— а что, если Лернеру писали про какого-нибудь совершенно другого Дитмара, однофамильца?

Он снова набрал номер и, услышав знакомый голос, сказал:

— Простите, сеньорита, это опять я. В котором часу должен вернуться дон Густаво, вы сказали?

— Обещал приехать к трем,— ответила телефонистка,— но вы лучше зайдите пораньше, в половине третьего...

Полунин переписал в книжку адрес «Консэлек лимитада», а остальной список сжег над пепельницей. Потом задумался, глядя в окно на плоские крыши-асотен с развешанным на веревках бельем, косую штриховку телевизионных антенн и туманно синеющие вдаль мягкие очертания окрестных гор. Действительно, что ли, есть на свете какая-то высшая справедливость, или просто сработал его величество случай? Встретиться здесь, на другом краю земли, через столько лет...

А все произошло потому, что в тот день — два года назад — шел проливной дождь, а портативная «Электра», которую надо было отнести клиенту, не лезла в портфель. Он упаковал приемник в газету, но сообразил, что газета размокнет, пока он добежит до станции метро, и в поисках более плотной бумаги полез в стеной шкаф в прихожей, куда Свенсон бросал старые журналы. Вытащив наугад один, он развернул его, прикидывая на глаз, хватит ли для упаковки, и на крупной — вполстраницы — фотографии увидел Дитмара.

Он даже не понял сразу, кто это такой. Просто что-то очень знакомое показалось ему в этом человеке, сфотографированном в очереди. Все были с чемоданами, многие в длинных пальто европейского покроя — явно иммигранты. Этот, привлечший его вни-

мание, тоже стоял с чемоданом в руке и, повернув голову, смотрел прямо в объектив. Полунин прочитал подпись под снимком, она гласила: «Через час-другой, покончив с таможенными формальностями, эти новые аргентинцы окажутся на улицах гостеприимного, но чужого им Буэнос-Айреса. Что ждет здесь этих людей, покинувших разоренный войной Старый Свет?» И только потом, не веря еще своим глазам, он понял, кто этот, улыбающийся фоторепортеру, «новый аргентинец»...

Был уже второй час. Полунин спустился в ресторан, пообедал и вышел на улицу, доказывая себе, что попытаться увидеть Дитмара — по меньшей мере неосторожно. Кто знает, хорошая ли у того память на лица? Мог, конечно, и не запомнить, но если узнает, это плохо. Нет, идти к нему нельзя. Разве что взглянуть издали...

День был солнечный, но холодный, почти морозный, по аргентинским понятиям. Градуса три-четыре выше нуля, пожалуй, не больше. Жители Буэнос-Айреса при такой температуре мерзнут до костей, в сухом климате Кордовы зима переносится легче — если нет ветра. Сегодня ветра не было, и Полунин даже без шляпы не чувствовал холода. Впрочем, возможно, ему было жарко от возбуждения.

Прохожий объяснил, как пройти на улицу Доррего, это оказалось совсем близко. Контора Дитмара помещалась в новом пятиэтажном здании, между кафе и магазином готового платья; среди дюжины металлических, мраморных и стеклянных дощечек с названиями разместившихся здесь фирм Полунин сразу увидел нужную ему — залитый чернью крупный курсив «КОНСЭЛЕК ЛТДА» резко выделялся на зеркально надраенной латуни. Ниже, мелкими буквами, было указано: «3-й эт. ком. 85».

Войдя в кафе, Полунин сел за столик у крайнего окна. Если Дитмар подойдет с этой стороны, можно успеть заметить его среди прохожих; шансов не так много, но ведь не прогуливаться же по тротуару. А если тот будет идти оттуда, мимо магазина? Да, место для наблюдения не самое лучшее. Проще было бы приехать на такси к концу рабочего дня и подождать на той стороне улицы — тогда все выходящие из дверей будут ему видны. Впрочем, узнает ли он Дитмара на таком расстоянии...

Официант принес заказанное — кофе и двойную рюмку граппы. В помещении было тепло, тихо, бармен за стойкой шелестел газетой, изредка переговариваясь вполголоса с кем-то из посетителей. Прошло около получаса, Полунин спросил еще кофе и пачку сигарет, ожидание начинало казаться ему бессмысленным. Он сидел боком к окну — так, чтобы видеть в лицо прохожих, идущих по направлению ко входу в конторское здание. К счастью, их было не так много, и следить было не утомительно; но ведь в самом деле Дитмар мог подойти сзади — со стороны магазина...

Он приехал на машине, — этого Полунин почему-то не предусмотрел и за подъезжавшими машинами не следил. Затормозивший у самого кафе новенький светло-серый пикап ИКА-«Раст-

лом, пусть они и ведут за ним наблюдение — пока. А что касается экспедиции, то ты прав, пора ее сворачивать. Только без спешки, чтобы это не выглядело бегством. И побольше шума, понимаешь? Ты как-то говорил насчет пресс-конференции, — сейчас, пожалуй, самое время... А как это вообще делается?

— Ну как, собираешь журналистов, говоришь им то, что хочешь сказать, отвечаешь на вопросы... Ты прав, конференция была бы кстати... — Филипп задумался, потом сказал решительно: — Вызову-ка я Астрид обратно! Без переводчицы мне не обойтись, а в смысле опасности — сейчас, думаю, она не так уж и велика. Шестнадцатого я, признаться, струхнул. Стресснер ведь так тесно связан с вашим Пероном, что переворот в Аргентине мог бы создать кризисную ситуацию здесь, вплоть до беспорядков, и уж тогда-то боши не упустили бы случая свести счеты и с нами — если они действительно нас расшифровали. Поэтому-то я и прогнал ее в Монтевидео... хотя она, надо сказать, отбрыкивалась до последнего. А сейчас положение, судя по всему, более или менее стабилизировалось.

— Боюсь, ненадолго.

— Скажи, а как настроения в Буэнос-Айресе?

— В политическом смысле? Я, признаться, не особенно интересовался, да и времени не было. Из Кордовы я вернулся только двадцать второго, что это было — среда? Ну, правильно. Что можно узнать за три дня? Вот поговорю завтра с Келли, уж он-то должен чувствовать обстановку. Но мне кажется, эта стабилизация ненадолго, — повторил Полуниин. — Похоже на то, что шестнадцатого была только первая попытка.

— Некоторые обозреватели считают, что падение Перона — вопрос месяцев, — сказал Филипп. — Я тут все время слушаю радио. Когда это случится, боши побегут из Аргентины, как крысы. И вот тогда мы действительно можем потерять след.

— Да, это опасность реальная. Но действовать прямо сейчас мы не можем, ты согласен? Словом, вызывай Астрид, ликвидируйте экспедиционные дела и уезжайте отсюда. Это время вам лучше побыть в Монтевидео, пока я все подготовлю.

— Мне придется слетать домой, — сказал Филипп, — иногда нужно все-таки отчитываться перед начальством.

— Тем лучше, езжай во Францию. Где-нибудь, скажем, до сентября-октября... Кстати, чуть не забыл: мне нужно расписание рейсов «Лярошели».

— Какое расписание, старина? Они работают по тайм-чартеру. Тут все зависит от фрахта — сегодня в Бразилию, завтра в Австралию. Конечно, примерный план у них есть, все-таки судно обычно фрахтуется заранее, а не в самую последнюю минуту, но все очень неопределенно. Керуак говорил мне, что у них предполагаются осенью два-три рейса в Аргентину, но когда... — Филипп не договорил и развел руками.

— Вот как... — Полуниин задумался. — Неудобство, понимаешь, в том, что Дитмара придется где-то прятать, если случится задержка.

— Ничего, это ему засчитают как срок предварительного заключения! Нет у нас других проблем?

— Ну, эта тоже не из самых простых. Дино когда собирался приехать?

— Сказал, что вернется в любой момент, как только понадобится.

— Пусть пока сидит там. Чем меньше вы будете здесь на виду, тем лучше. Прилетите вместе, когда все будет готово. Теперь вот еще что нужно решить: из денег Морено на нашем банковском счету осталось сейчас около двадцати тысяч аргентинских песо. Может случиться так, что какую-то сумму придется потратить, чтобы прицепить Дитмару хвост,— мне тут пришла в голову одна мысль. Ты, в принципе, не возражаешь?

— Старина, это решать тебе! Раз уж ты остаешься здесь руководить завершающей фазой операции, то сам и решай, как и на что тратить деньги. В крайнем случае, можно опять обратиться к Морено.

— Ну, это уж не совсем удобно...

— Почему? Таких, как он, надо доить, и доить энергично. Я, кстати, уже поручил Астрид поговорить на эту тему с Лагартихой, если тот еще в Монтевидео. Думаю, они сумеют заставить старика раскошелиться еще раз.

— Ты думаешь? Что ж, это, конечно, было бы здорово. Денег может понадобится много, особенно на последнем этапе.

— Решай сам,— повторил Филипп.— Если надо — тратить все до последнего сантима, пусть это тебя не волнует. Что-нибудь придумаем. Меня куда больше беспокоят сроки, тут ведь смотри что получается: с одной стороны, надо дать Дитмару время, чтобы он успокоился, с другой — затягивать это дело опасно из-за неустойчивой политической обстановки в Аргентине, и наконец, момент действия должен быть согласован по времени с прибытием «Лярошели» в порт Буэнос-Айреса. Попробуй тут все это согласовать!

— Ну, каких-нибудь полгода Перон еще продержится, я думаю,— сказал Полунин.— После провалившейся попытки не так просто собраться с силами. А нам этого срока хватит. Давай вот как сделаем: ты все-таки свяжись еще раз с этим своим капитаном и попытайся уточнить, когда он предполагает быть здесь. Исходя из этого и будем планировать свои действия.

— Договорились. С Керуаком я этот вопрос выясню, а пока вызываю Астрид, ликвидируем здесь все экспедиционные дела и отбываем во Францию.

— Вместе?

— Конечно, а что ей здесь делать?

Полунин помолчал.

— У тебя что... серьезно с ней?

— Пожалуй, да. А что?

— Да нет, ничего. Только договоримся: когда я вас вызову, ты ее с собой не бери.

— Думаешь, помешает?

— Дело не в этом. Просто женщине в такое соваться нечего.  
— Я понимаю, — задумчиво сказал Филипп. — Слушай, а как она тебе вообще?

— Ничего, — Полунин пожал плечами. — Она славная девчонка. Дурь, надо полагать, пройдет со временем, а так что ж...

— Без энтузиазма говоришь, старина.

— Я пытаюсь как можно честнее ответить на твой вопрос, — сказал Полунин и добавил, помолчав: — Меня одно в ней беспокоит. Не знаю, может быть, это тоже временное, но эти ее таскания по свету... есть в этом что-то...

— Что же все-таки? — спросил Филипп, не дождавшись продолжения.

— Не знаю, — повторил Полунин. — Фальшь какая-то... Понимаешь, меня всегда раздражали эти разговоры о «потерянном поколении». После каждой большой войны появляется куча здоровых молодых бездельников, которые считают своим гражданским долгом ездить из страны в страну — как можно дальше от своей — и предаваться мировой скорби в каждом попутном кабаке. Я понимаю, что они недовольны окружающим, — вполне доволен, вероятно, может быть только дурак. Но, черт меня побери, разве нельзя что-то делать? Та же Астрид — какого дьявола ей не сидится дома?

— Я ведь рассказывал, что у нее за дом.

— Да я не о доме в этом смысле, не о семье! То, что она поврала со своей семьей, понятно и оправданно. Я говорю о стране. Неужели в той же Бельгии честный человек не может заняться чем-то полезным? Ты бы ей напомнил, что во время войны далеко не все бельгийцы сотрудничали с оккупантами, как ее родитель...

— Поверь, она и сама это знает.

— ...и что были другие люди, совсем другие, были макизары в Арденнах, которые умирали за свою землю — неужели для того, чтобы их дети потом пожимали плечами при слове «родина»?

— Старина, — сказал Филипп, воспользовавшись паузой, когда Полунин стал закуривать, ломая мягкие восковые спички, — ты излишне драматизируешь проблему. Или, еще точнее, возводишь в ранг проблемы самое обыденное явление.

— Обыденное? Ты просто слепой! Ты называешь это явление обыденным — и не понимаешь, что именно поэтому оно уже стало проблемой, именно в силу своей обыденности, привычности! Разве стоило бы об этом говорить, будь дело в одной Астрид? В том-то и беда, что таких становится все больше и больше! Я вот недавно видел в Буэнос-Айресе французских битников, — ты послушай, это эпизод весьма характерный. Помнишь, где находится ваше Бюро туризма — Санта-Фе, угол Либертад? Так вот, иду я, и как раз навстречу — твои компатриоты, человек десять, парни и девчонки, грязные, с гитарами, в каких-то овчинах. Проходят мимо Бюро — ну, знаешь, там эти витрины с плакатами — «Посетите Бретань», «Две тысячи лет Парижу» и тому подобное. И огромная, во всю витрину, карта Франции. Эти типы подходят, один кричит: «Э, да тут что-то знакомое, гляньте-ка!» А какая-то дев-

чонка ему в ответ — да громко так, знаешь, во весь голос: «Ладно, кончай, можешь себе это знакомство заткнуть...» — и четко поясняет, куда именно, под общий жизнерадостный хохот...

Филипп тоже рассмеялся.

— Ты находишь это смешным? — спросил Полунин. — Не знаю, наверное я лишен такого чувства юмора. Я не француз, и не мою страну оскорбили, но я в тот момент просто вспомнил ребят из нашего отряда и...

— Прости, я тебя перебыю, — сказал Филипп. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но что делать, старина, эти вещи всегда уживались бок о бок. Я, кстати, не считаю битников — любых битников, наших или американских, — типичными представителями сегодняшней молодежи...

— Что значит — типичными, не типичными? Пусть в крайней форме, но они выражают определенную систему мысли, более или менее общую для большинства. Это ты признаешь?

— С оговорками. Если в крайней, то это уже не типично. Согласен, известное разочарование присуще сегодня всей молодежи, — разочарование во всем, даже в идее патриотизма. Но я вот еще что хочу тебе сказать: мы во Франции всегда относились к этой идее несколько... ну, иронически, что ли. На словах, пойми правильно. Мы любим свою страну, но француз скорее отпустит по этому поводу какую-нибудь шуточку... И не думай, что это свойственно нашим пятидесятым годам, я вспоминаю тридцатые, канун войны, — Марианна в своем фригийском колпачке была излюбленным персонажем всех карикатуристов, кто только не упражнялся в остроумии на ее счет...

— И ты думаешь, это не сыграло своей роли в мае сорокового?

— А по-твоему, юмористы из редакции «Канар аншене» виноваты в том, что Петен дошел до предательства?

— Не упрощай, Филипп, ты ведь хорошо знаешь, что дело не только в Петене, — возразил Полунин. — А если случилось так, что судьба страны оказалась в руках одного рамолика, — это тоже говорит о многом.

— О чем же это говорит?

— О том, что остальным французам не было до нее дела, вот о чем! Правильно, потом все стало иначе, уж мне-то ты этого можешь не говорить, я видел совсем другую Францию в сорок третьем и сорок четвертом. Тогда это уже была драка не на жизнь, а на смерть. Но вспомни: вы почти год развлекались карикатурами, и только в мае вам стало не до смеха. Но уже было слишком поздно, понимаешь? Ваша милая манера над всем подшучивать и ничего не принимать всерьез, эта ваша всегдашняя ироничность сыграла с вами дурную шутку, Филипп. Потому что есть вещи, над которыми нельзя смеяться, к которым нельзя относиться легко, и к этим вещам прежде всего относится понятие родины...

Филипп улыбнулся — немного, пожалуй, натянуто.

— Прости, но ты слегка помешан на этом вопросе. Или это у вас, русских, в национальном характере?

— Может быть, не знаю. Всякий характер, в том числе и национальный, со стороны виден лучше. А что касается моего «помешательства»... знаешь, у нас есть одна поговорка: кто сыт, не может понять голодного. Это именно тот случай. Но мы отвлеклись,— ты меня спрашивал про Астрид? Единственное, что меня в ней настораживает, это ее склонность бродяжничать. А в остальном, что ж, она показала себя хорошим товарищем...

Он посмотрел на часы и встал.

— Мне пора, Филипп. Так мы обо всем договорились?

— Договорились.

— Ну и прекрасно. Слушай, меня тут просили купить...— Он полистал записную книжку.— Есть такие индейские кружева, называются «ньяндутí», не слыхал?

— Понятия не имею. Надо спросить в какой-нибудь галантерейной лавке, они, наверное, знают.

— Поблизости есть?

— Рядом, на улице Пальма, я тебя провожу.

— Не надо, нам лучше не таскаться вместе по улицам. На всякий случай. Ты мне просто объясни, как туда пройти.

— Сейчас свернешь за угол налево, и через три квартала будет Пальма. Она идет прямо к порту. Ну что ж, тогда попрощаемся...

Времени до отлета было еще много. Полуниин прошелся по магазинам, купил заказанное Дуняшей кружево, потом долго сидел в зале ожидания гидроаэропорта, глядя, как багровое распухшее солнце опускается в темные заросли за широкой, маслянистой, переливающейся красными отблесками гладью Рио-Парагуай. Было уже темно, когда пассажиров усадили в катер и подвезли к высокому клепаному борту старой, возможно еще военных лет, «каталины». Внутри было душно и едко пахло спирто-касторовой смесью, как будто прорвало гидросистему. Стюардесса с певучим коррентинским выговором, забавно растягивая гласные, подтвердила, что да, была небольшая утечка, но теперь все в порядке, сеньоры могут не беспокоиться, а запах уйдет, как только включат вентиляцию. Стали раскручиваться двигатели, самолет выл и звенел всеми своими переборками, словно дюралевая бочка, которую сверлят двумя огромными дрелями одновременно. Полуниин не заметил, как сдвинулись и поплыли назад береговые огни в иллюминаторе, «каталина» начала разгоняться, грохоча и сотрясаясь, будто волокла днище по булыжнику, потом оторвалась от воды и, полого набирая высоту, легла курсом на юг. Когда погасла надпись «No smoking — Prohibido fumar»<sup>1</sup>, Полуниин вытянул ноги и закурил.

Разговор с Филиппом оставил неприятный осадок, как всегда после бесцельного спора, когда оба остаются при своем мнении. Глупо вышло — не к месту разоткровенничался, ударился в пате-

<sup>1</sup> Не курить (англ., исп.).



тику. Филипп, во всяком случае, уж точно воспринял это именно так. Теперь небось посмеивается, вспоминая. В самом деле, кто тянул дурака за язык, насчет Астрид можно было ответить совсем по-другому — настаивает, дескать, вот эта ее богомность поведения. И ничего больше. Что ему до остального? Если сам Филипп считает нормальным, что девчонка объявляет себя «бывшей бельгийкой» и предпочитает колесить по свету, это в конце концов его дело. Патриотизм каждый понимает по-своему...

А ведь странно, в сущности. У них с Филиппом старая дружба, солдатская — уж куда надежнее и прочнее; а настоящего, до конца, взаимопонимания все-таки нет. И пожалуй, быть не может. Для этого еще недостаточно провоевать вместе полтора года и одинаково ненавидеть фашистов, — для этого нужно одинаково любить одни и те же песни, помнить одни и те же сказки и — главное — говорить на одном языке, одинаково родном для обоих. Язык — это важно. Это невероятно важно. Можно свободно владеть двумя, тремя чужими языками — и все равно, если ты не можешь пользоваться своим, всегда будет ощущение какой-то своей неполноценности, полунемоты-полукосноязычия. Тогда уж и думать надо научиться не по-русски, так, наверное, проше...

В салоне стало прохладно, включенная вентиляция вытянула резкий запах гидравлической жидкости, но теперь что-то не ладилось с обогревом. Пассажиры доставали из чемоданов шарфы и свитеры. Полуниг тоже встал, надел пальто, протер рукавом запотевший плексиглас иллюминатора — снаружи была непроглядная тьма, «каталина» летела над лесами южного Парагвая.

Его вдруг пробрало ознобом — не столько от холода в тускло освещенном пассажирском салоне, сколько от внезапно представившейся картины этих пространств там внизу, всех этих бескрайних чужих земель, населенных чужими людьми, которых он никогда — даже прожив среди них всю жизнь — не сможет узреть и понять хотя бы приблизительно. И останется таким же чужим и непонятым среди них.

Он достал из портфеля бутылку парагвайской «каньи» — официальный подарок Филиппа, — отвинтил пробку и отхлебнул из горлышка. Огненная жидкость обожгла рот и стала разливаться по телу приятным теплом. Нет, Филипп все-таки друг, хотя и с обговорками. Ну, и Дино. А еще кто? А больше никого, хоть шаром покати. Евдокия не в счет, это другое. Друзей же — настоящих, из соотечественников — друзей-мужчин нет. Хотя он здесь уже восемь лет, пора бы и обзавестись. Ладно, проживем... Он еще раз приложился к бутылке, аккуратно завинтил и сунул в карман. Может быть, Дуня все же согласится приехать? Самолет прилетает около полуночи, еще не поздно — если он позвонит сразу из порта... «Их» квартирки на Сармьенто уже не было, подруга вернулась из Европы раньше, чем думали, и Дуне пришлось снова перебраться к своей фрау Глокнер. Туда ему, конечно, и думать нечего; но представить только, какой сейчас холод у него в комнате...

Да, друзьями в русской колонии не разживешься. Странно —

все более или менее знакомы между собой, всюду одни и те же примелькавшиеся лица, а ведь никто ни о ком толком ничего не знает. Перемещенные лица — народ осторожный, кем только не пуганный и не ловленный, откровенничать в этой среде не принято. Ничего не рассказывать о себе и никогда не пытаться выяснить чужую биографию — это уже стало принятой нормой поведения, правилом хорошего тона. Последнее время Полуниин вообще мало с кем общался, но в первые два года после приезда — тогда еще не было ни одного клуба и местом еженедельных встреч служила для всех старая посольская церковь на улице Брасиль — он каждое воскресенье проводил время в компании холостяков, своего возраста или несколько моложе. Заваливались в ресторанчик попроще, сдвигали вместе два-три столика, брали несколько бутылок приторного муската — он до сих пор не мог вспоминать его вкус без отвращения — и начинался беспредметный треп. Травили анекдоты, обсуждали знакомых женщин, говорили о работе — тот устроился хорошо, а тому не везет, меняет уже третье место, и все что-то не то. Подвыпив, начинали петь хором, тут уж все шло вперемежку — «Землянка» и «Хороша страна Болгария», «Эрика» и «Лили Марлен». Настораживало то, что многие так хорошо знают немецкие строевые песни, но опять же — мало ли кто их пел в те годы, могли и в лагерях подцепить...

Это уже потом пришло ему как-то в голову, что, встречаясь еженедельно, он ничего не знает ни о ком из своих собутыльников. Был там один высокий молчаливый парень со странной привычкой — кивать в знак отрицания и, наоборот, покачивать головой, отвечая «да». Говорил, что он из Болгарий, и, действительно, в Аргентину приехал со своими довольно богатыми родичами — дядька, из денкинских офицеров, был в Софии представителем какой-то американской фирмы. Потом случайно выяснилось, что насчет дядьки все верно, племянник же — одесит чистой воды и до сорок третьего года никуда дальше Больших фонтанов оттуда не выезжал...

Таких загадочных типов среди перемещенных было пруд пруди. Одно время околачивался в той же компании некто со странной фамилией Ивановас — из Каунаса якобы, сын русской и литовца. Этого разоблачили на вечере в Литовском клубе — оказалось, что он не только не знает языка, но и не может припомнить ни одной каунасской улицы. «А чего, меня пацаном оттуда увезли», — буркнул он в свое оправдание. Над ним потом все смеялись: «Задница ты, Ивановас, родной город тоже надо с умом выбирать...»

Позднее Полуниин сам удивлялся, чем могла привлекать его в то время подобная компания. Скорее всего, просто тем, что это были соотечественники и с ними можно было хоть раз в неделю поговорить по-русски. После трех лет во французских казармах Буэнос-Айрес с его русской колонией показался ему чуть ли не уголком родины...

Транспорты из Европы прибывали тогда почти каждый месяц,

колония росла как на дрожжах, была освящена еще одна православная церковь — на Облигадо; перемещенные перекочевали туда, не успевшие найти квартиру даже жили там некоторое время, разбив палатки в углу двора. Открылся первый клуб, начала выходить первая еженедельная газета на русском языке — ее издавали католики «восточного обряда», прибывшие в Аргентину со своим пастырем, французским иезуитом отцом де Режи. И вся эта многотысячная масса людей одной национальности оставалась раздробленной, разобщенной, поделенной на множество мелочно враждующих между собой групп и группировок. Мышинная грызня происходила внутри каждого слоя, а сами слои вообще не смешивались, хотя и соприкасались, — как масло и вода, слитые вместе. Перемещенные советские граждане вперемжку со старыми эмигрантами из Европы — один слой, местные старожилы-белоземляки — другой, украинцы и белорусы из Польши — третий; старожилы делились в свою очередь на «красных» и «непримиримых», — те и другие к новой эмиграции относились одинаково враждебно, считая ее кто сплошь власовцами, кто сплошь советскими шпионами...

Полунин незаметно задремал и проспал все три часа полета. Его разбудила стюардесса, сказала, что корабль идет на посадку, и попросила пристегнуть пояс. Снова вспыхнуло табло с запретом курить, голос Гарделя из динамика гнусавил старое приторное танго — «Буэнос-Айрес, земля моя родная...», в иллюминаторах правого борта наплывало и разворачивалось море огней.

Внизу оказалось холодно, почти морозно, черная ледяная вода неподвижно стыла в бассейне Нового порта. Из первого же автомата Полунин позвонил в пансион фрау Глокнер. Дуня долго не шла, видимо не сразу ее добудились, — наконец спросила сонным голосом:

— Алло, кто это?

— Я, я это, — сказал Полунин, — здравствуй, Евдокия...

— О, Мишель, это ты. Уже прилетел? Здравствуй, я ужасно рада. Как там, в Парагвае, все по-старому?

— Да что там может измениться...

— Ну, почему знать. Обезьян видел?

— Кого?

— Обезьян. В Асунсьоне они, говорят, ходят по улицам, как люди. Я так хотела бы посмотреть!

— Нет там никаких обезьян, вот козу видел...

— О, как мило! Настоящая коза? Обожаю коз — у них глаза... как это сказать... такие сатанические. Мишель, а ты не забыл купить кружева?

— Купил, купил. Послушай, Дуня...

— Правда? — перебила она обрадованно. — Настоящее няндутй?

— Ну, я не очень в этом разбираюсь, сказали, что настоящее. Дуня, поехали сейчас ко мне, а? Я поймаю такси, а ты пока собери вещички, хорошо?

— Погоди, я не могу сообразить... Куда к тебе?

— На Талькауано, куда же еще! Я по тебе соскучился, Евдокия.

— Я тоже, но...— Дуняша вздохнула.— К тебе я не могу, ты же знаешь...

— Да почему не можешь?! — закричал Полунин.— Из-за Свенсона, что ли? Не валяй дурака, он только что ушел в рейс. Ты меня слышишь? Дуня!

— Слышу, слышу, пожалуйста, не нужно орать, как один слон. Дело в том... Ну, ты понимаешь, Мишель! Как это я вдруг поеду к тебе — все-таки замужняя женщина...

— Да побойся ты бога, при чем тут твое «замужество»! Дуня,— позвал он жалобно,— тут холод собачий, у меня уже ноги мерзнут, я сдуру в тонких туфлях поехал. При чем тут замужняя ты или незамужняя?

— Вот это мне нравится, «при чем»...

— Да ведь ты же не возражала, когда мы жили вместе на Сарменто?

— Нет, ты все-таки ужасно какой-то не тонкий, прямо один варвар! Там ты был у меня, понимаешь, у меня! Потому что Колетт уступила квартиру мне, а не тебе. Одно дело, если женщина принимает у себя своего друга, и совсем другое — если она отправляется к нему. Ты знаешь, я никогда не была ипокриткой, но есть границы... Ну правда, Мишель, не сердись...

— Я не сержусь, я просто не понимаю, что за логика...

— Нет, серднисься, серднисься, я по голосу слышу. Хочешь, я тебе почитаю одни стихи?

— Что почитаешь?

— Стихи!

— Читай,— согласился он уныло и переступил с ноги на ногу — цементный пол кабины и в самом деле обжигал холодом сквозь тонкие подошвы.

— «Оттого и томит меня шорох травы,— нараспев произнесла Дуняша,— что трава пожелтеет, и роза увянет, и твое драгоценное тело, увы», — понимаешь, вообще-то это «он» обращается к «ней», а когда женщина читает это мужчине, слова о драгоценном теле несколько эпатируют, не правда ли?

— Ничего, я понял. Валяй дальше.

— «И твое драгоценное тело, увы, полевыми цветами и глиною станет. Даже память исчезнет о нас — и тогда оживет под искусными пальцами глина, и, звеня, ключевая польется вода в золотое, широкое горло кувшина. И другую, быть может, обнимет другой на закате, в условленный час, у колодца. И с плеча обнаженного прах дорогой соскользнет и, звеня, на куски разобьется». Хорошо, а?

— Главное, кстати,— сказал Полунин.— Ты, Евдокия, удивительно умеешь утешить. Чьи стихи?

— Не знаю, какой-то Г. Иванов, я нашла в старой тетрадке Ты завтра мне позвонишь? Мы сможем вместе пообедать.

— Нет, в обед у меня свидание с одним типом, я позвоню позже. Ну что ж, покойной ночи и извини, что разбудил...

На следующий день, когда Полунин пришел в «Шортхорн Грилл», Келли уже ждал его за столиком.

— Я думал, вы вообще не явитесь, — ворчливо сказал он и, обернувшись к официанту, сделал знак подавать. — Присаживайтесь, дон Мигель, давно вас не видел. Как жизнь?

— Веселого мало. У вас, кстати, тоже довольно усталый вид.

— Есть отчего...

Явно не в духе, он хмуро молчал, пока им накрывали на стол, потом так же молча принялся за еду. Полунин с аппетитом последовал его примеру — «Шортхорн» славился своим мясом, а он не ел с утра и успел порядком проголодаться.

— Да, — сказал он, разрезая толстый бифштекс, — во всей этой истории вы, скажем прямо, оказались не на высоте...

— При чем тут мы? — огрызнулся Келли.

— В том-то и дело, что ни при чем. А почему, собственно? Организация, подобная вашей, должна быть политической опорой режима.

— Кроме нас есть еще полицейский аппарат, есть федеральное бюро координации...

— Знаю, — перебил Полунин. — Налейте-ка мне еще этого «тинто».

Он подставил бокал, долил содовой из запотевшего сифона. Темное, почти черное вино вспенилось под шипящей струей и приобрело рубиновую прозрачность.

— Так вот, насчет полицейского аппарата. В Германии, в тридцать третьем году, все это хозяйство пришлось переделать сверху донизу... Переделать и приспособить к новым требованиям, а параллельно создать новый уже полностью *свой* аппарат. Вам не кажется, тут можно провести некоторые аналогии?

— Они и были проведены, в общих чертах.

— Да, в слишком общих. А как быть с частностями? С тем, что вы вели слежку за студентами и профсоюзными делегатами и проморгали разговор в морском командовании? И вы, кстати, уверены, что дело ограничилось флотом?

Келли, продолжая жевать, пожал плечами.

— Трудно сказать. Армия пока сохраняет лояльность.

— Пока! — выразительно повторил Полунин и тоже занялся едой.

— Самое любопытное, — сказал он через минуту, — что именно ваш «враг номер один» — коммунисты — на этот раз оказались в стороне. Может, вы не за теми гонялись?

— Красные по обыкновению хитрят, — отозвался Келли. — Старый метод, дон Мигель, — заставить других таскать каштаны из огня.

— Не знаю, — Полунин с сомнением покачал головой. — Что-то это не очень на них похоже. Да и некоторые сведения, которыми мы располагаем, говорят о другом.

— Например?

— Коммунисты придерживаются строгого нейтралитета. Почему они сейчас не выступают за Перона, вы и сами понимаете. И

почему они никогда не выступят против него — тоже понятно. Как бы там ни было, хустисиализм<sup>1</sup> много дал аргентинскому рабочему, а Эвиту до сих пор боготворят в бедных кварталах. Это, разумеется, не может не приниматься в расчет партией, которая объявляет себя авангардом пролетариата.

— Хустисиализм как доктрина не имеет ничего общего с марксизмом, — возразил Келли.

— Дело не в доктринальных разногласиях... Когда правительство проводит какую-то реформу, народу важен практический результат, а вовсе не то, на какой теории она построена. И коммунисты — независимо от того, разделяют они или не разделяют идеи нашего лидера, — коммунисты, во всяком случае, никогда не противодействовали осуществлению его социальной программы... В отличие от других идейных противников перонизма.

— Они просто умнее, — возразил Келли. — И действуют исподтишка.

— Не знаю, — повторил Полунин. — Я боюсь, вы слишком уж механически переносите в аргентинские условия некоторые тезисы чисто европейского происхождения... Это все-таки не совсем одно и то же. Поймите, если гестапо беспощадно преследовало коммунистов, то это потому, что для нацистского режима они действительно были врагом номер один. Уж что-что, а чувствовать источник реальной опасности люди Гимmlера умели. В этом смысле вам действительно стоило бы внимательнее изучить опыт немецких коллег.

— Которые в конечном счете оказались в дерьме по самые уши, — желчно заметил Келли. — Вы говорите, мы проморгали Кальдерона. А они, ваши хваленые немцы, не проморгали Роммеля? Вицлебена? Ключе?

— Вы имеете в виду «генеральский заговор»? Э-э, дон Гийермо, вот тут вы ошибаетесь! — возразил Полунин. — Поверьте, гестапо с самого начала было в курсе всех деталей. Гимmlер выжидал, понимаете? Если бы после взрыва в Растенбурге власть перешла в руки путчистов, он немедленно объявил бы себя спасителем Германии: знал, дескать, обо всем, но ничего не предпринял, не препятствовал покушению, хотя и мог бы. Поэтому, выходит, фактически Гитлера убрал именно он, рейхсфюрер СС. Ну, а когда все повернулось по-другому, то и он по-другому объяснил свое бездействие: выжидал, мол, чтобы прихлопнуть всех заговорщиков разом.

Келли скептически усмехнулся.

— Вам, конечно, виднее, — сказал он, — я не столь подробно осведомлен об интригах покойного рейхсфюрера. Возможно, он был гениальным политиком. Но те немцы, с которыми приходилось — и, к сожалению, приходится — иметь дело мне, это в большинстве своем просто напыщенные болваны, которые склонны

---

<sup>1</sup> Хустисиализм (от исп. Justicia — справедливость) — официальная доктрина правящей перонистской партии в Аргентине описываемого периода.

всех поучать, но страшно не любят, когда им указывают на их собственные промахи. А их обидчивость — это просто что-то патологическое. Я сам столкнулся с этим года два назад, когда речь зашла о проверке лояльности некоторых иммигрантов из Западной Германии. Местные встали на дыбы — увидели в этом чуть ли не оскорбление расы! Как это, мол, так — проверять истинных арийцев? Конечно, в принципе я готов согласиться, что немецкая колония — особенно та ее часть, что прибыла сюда после катастрофы сорок пятого года, — представляет собой как бы самоочищающуюся среду, однако...

— Тоже не совсем верно, — перебил Полунин. Он отодвинул тарелку, закурил, Келли смотрел на него выжидающе. — Что значит «самоочищающаяся среда»? Таких не бывает, строго говоря. История разведки достаточно убедительно доказывает, что опытного агента можно внедрить в любую среду... какой бы стерильной она ни казалась. А уж говорить о «стерильности» здешних иммигрантских колоний — сейчас, когда Аргентина стала проходным двором всего континента... Мы, помнится, касались уже с вами этой темы. А, кстати, тот парень, что я вам тогда сосватал, — как он, ничего?

— Позвольте... Ах да, русский, который служил в СС? Знаете, не сказал бы, что это такое уж приобретение.

— Правда? — Полунин горестно удивился. — Подумайте, а ведь мне его аттестовали с самой лучшей стороны. Я все больше убеждаюсь, что решительно никому нельзя верить. Что же он, недостаточно усерден?

— Да нет, усердия хоть отбавляй, — Келли оглянулся, подозвал официанта и велел подавать кофе. — Результатов пока не видно, сообщает всякую чушь. Вдруг, вообразите, приносит такой рапорт: «Вчера, там-то, в моем присутствии, такой-то произнес по адресу сеньора президента Республики русское национальное ругательство из трех слов». Можете себе представить подобный уровень информации! Что это еще, кстати, за «национальное ругательство»?

— Ну, есть такое. Перевести я затрудняюсь, — это скорее идиома, и довольно грубая.

— Нашел чем удивить, — сказал Келли. — Сеньора президента сейчас кроют все кому не лень... причем едва ли ограничиваясь тремя словами, уж в бранных-то эпитетах кастильский язык недостатка не испытывает. А что касается иммигрантских колоний, то вы правы — это наверняка рассадники всяческой инфекции, какая тут, к черту, стерильность. Вот чего не хотят понимать наши идиоты немцы.

— Сами они, к слову сказать, развели у себя такой бордель, что волосы дыбом встают. Скажу вам откровенно: я избегаю всяких контактов с немцами, просто боюсь, ну их к черту, с ними можно так нарваться... Да вот вам пример, не угодно ли? В сорок четвертом году, во Франции, в одной из партизанских банд подвизался на должности комиссара некто Густав Дитмар. Да, немец, как ни странно. Впрочем, «странность» эта объясняется до-

вольно легко: Дитмар, как мне сказали, старый функционер КПГ, лично знал Тельмана, а карьеру военного комиссара начинал еще в Испании, в одной из Интернациональных бригад — помните, были такие?

— Помню, конечно. Вернее, знаю. И что же?

— А то, что этот Дитмар сейчас здесь. Вот вам, пожалуйста, немецкая «самоочищающаяся среда».

— Любопытно. Здесь — это значит в столице?

— Нет, он поселился в Кордове.

— Под каким же именем он там поселился?

— Под своим собственным, представьте. Хотите адрес его фирмы? «Консэлек лимитада», улица Доррего, восемьсот двадцать шесть.

— Очень любопытно, — повторил Келли. — Не совсем обычный прием, а?

— Как сказать, — Полуниин усмехнулся. — Один из лучших советских разведчиков, Рикардо Зорге, тоже не утруждал себя придумыванием псевдонимов.

— Если не ошибаюсь, японцы его повесили? Уж лучше бы утруждал. А он действительно работал под своим настоящим именем?

— Да, все время. Понимаете, это особый психологический прием: когда от тебя ждут лжи, скажи правду — и ее пропустят мимо ушей. Я помню забавный случай: один террорист вез чемодан с брикетами ТНТ, на станции его остановили — проверка документов, дело было во время войны. Документы подозрения не вызвали, а потом полицейский спрашивает: «Что у вас в чемодане?» Тот отвечает: «Ничего, кроме взрывчатки». Полицейский рассмеялся и пропустил его на выход. Понимаете? Тут та же схема поведения.

— Так, так... — Келли протянул руку к сахарнице и задумчиво пощелкал клапаном на конической серебряной крышке. — Чем именно занимается в Кордове этот... Дитмар, вы сказали? — Он опрокинул сахарницу над своей чашкой и вытряхнул в кофе струйку песка. — И зачем ему вообще понадобилось сюда приезжать?

— Ну знаете, — Полуниин улыбнулся, — вы слишком многого от меня хотите! Осторожно, вы уже сыпали себе сахар...

Келли поставил сахарницу. Попробовав кофе, он поморщился и долил свежим из кофейника.

— О Дитмаре я знаю только то, что вы сейчас услышали, — продолжал Полуниин. — Меня эта личность не особенно интересует... Тем более что я, как уже сказал, вообще предпочитаю держаться от тевтонов подальше. Я просто вспомнил про этого типа в связи с нашим разговором о вражеской агентуре. Что Дитмар может делать в Кордове? Да что угодно. Он там открыл электро-монтажную фирму, причем с довольно специфическим, я бы сказал, уклоном. «Консэлек» интересуется главным образом промышленными объектами, а подряды на электрооборудование обычных жилых домов берет неохотно. Хотя всякий специалист вам



скажет, что квартирная проводка куда выгоднее, чем промышленный монтаж. И если вспомнить, что именно в Кордове расположены заводы ИАМЕ... где, кстати, скоро будет запущен в серию первый в Латинской Америке реактивный боевой самолет отечественной конструкции...

— Вы это про наш пресловутый «Пулькí-1»? Между нами говоря, до серийного выпуска еще далеко, пока проще и дешевле покупать у англичан их старые «глостеры»... Но вообще это интересно, вашего немца стоило бы прошупать. Безусловно. Но вот как это сделать... Если я опять скажу этим болванам, что у них не все благополучно...

— Ну и черт с ними, — сказал Полунин, посмотрев на часы. — В конце концов, есть соответствующие органы, пусть они им и занимаются. Уж они-то okazji не упустят, эта публика любит снимать сливки... и зарабатывать престиж на такого рода сенсационных разоблачениях.

Келли долго молчал.

— Вопрос приоритета меня не волнует, — сказал он наконец. — Плохо другое... Там ведь тоже сидят кретины, которые не переносят советов, а сами заваливают дело за делом. В этом случае нужна гибкость, — профессионалы, как правило, ею не отличаются.

— Ну уж, наверное, среди ваших... соратников, или как вы их там называете... найдется какой-нибудь немец, которому можно поручить подобраться к Дитмару? Я понимаю, аргентинец здесь не годится.

— Немцы есть, — кивнул Келли. — Куда больше, чем мне бы хотелось, и отношения у меня с ними весьма натянутые. Меня тут вообще некоторые считают чуть ли не антинацистом, представляете? Это меня, который еще до войны больше сделал для пропаганды гитлеровских идей в Южной Америке, чем любой из этих...

— Подумайте, — сочувственно сказал Полунин. — В самом деле, ведь ваша неприязнь к немцам на самого Гитлера не распространяется? У вас, помнится, в кабинете висит его портрет...

— Гитлер был действительно великий человек, а окружали его пигмен, жалкие ничтожества, — именно в этом трагедия нацизма.

— Вот оно что, — сказал Полунин. — Теперь я понимаю, почему у вас такие натянутые отношения с местными немцами. Если вы так же откровенно высказываете перед ними свои взгляды...

— А почему я должен их скрывать? Я, кстати, не скрываю от немцев и своего кредо. А кредо у меня простое: Аргентина — для аргентинцев. Мы страна гостеприимная, но это вовсе не значит, что мы готовы позволить нашим гостям нами командовать. Немцы же даже здесь продолжают считать себя «расой господ» и соответствующим образом себя ведут. А меня это не устраивает! Какого черта, здесь им, в конце концов, не Европа...

— Да, сложный переплет... — Полунин опять глянул на

часы.— Ну что ж, дон Гийермо... Приятно было с вами поговорить, а сейчас мне пора.

— Да, идите.

Келли подозвал официанта и жестом остановил Полунина, который полез было за бумажником.

— Ну погодка,— с отвращением проворчал он, когда они вышли на улицу, в промозглую сырость зимних сумерек.— Вам в какую сторону? Идите, я вас провожу до метро, мне тоже туда. В Европе сейчас лето?

— Да, самый разгар...

— Как вы вообще переносите наш климат?

— Приспособился уже. Вначале все не мог привыкнуть к тому, что на Новый год — жара.

— Представляю. Это, наверное, трудно— все шиворот-навыворот. А мне вот странно думать, что в январе может быть холодно. Я читал записки одного испанца — был в России с дивизией Муньоса Гранде. Пишет, что зимой термометр показывал сорок ниже нуля. Неужели правда?

— Вполне. Впрочем, сорок — не совсем обычная температура даже для тех мест. «Голубая дивизия», если не ошибаюсь, дрались под Псковом? Но минус двадцать пять, тридцать — это сколько угодно.

— Чудовишно! — Келли поежился.— Да, не удивительно, что немцы проиграли русскую кампанию. С такими морозами...

— При чем тут морозы? Битва на Курском выступе шла летом, в самую жару. Кстати, о немцах, дон Гийермо... Мне сейчас пришло в голову: если вы все-таки захотите сами заняться делом Дитмара, подумайте об этом варне из СС... ну, который информмирует вас, кто и как ругает сеньора президента. Здесь, видно, от этого дурака действительно мало толку, а в Кордове он мог бы пригодиться. Немцы обычно симпатизируют иностранцам, которые у них служили, и охотно приближают их к себе...

Келли ничего не ответил. Они дошли до станции метро, остановились у чугунного парапета, ограждающего спуск.

— В самом деле, подумайте над этим вариантом,— снова заговорил Полунин.— Я не к тому, конечно, чтобы поручить ему всю разработку Дитмара, для этого он, боюсь, глуповат. Но просто покрутиться рядом, наблюдать, выяснить окружение, контакты... почему бы и нет?

— Это, пожалуй, мысль,— равнодушно согласился Келли.— Я подумаю...

Выждав несколько дней, Полунин позвонил Кривенко и назначил ему встречу. Тот послушно явился минута в минуту, со своей всегдашней улыбочкой и преданностью во взоре.

— Ну что, капитан,— небрежно спросил Полунин,— жизнью вы довольны? Чего еще не хватает вам для полного счастья?

— Хе-хе,— посмеялся тот.— А оно бывает, полное-то?

— Ты смотри,— Полунин покачал головой,— тебя, я вижу, на философию уже потянуло. Опасный признак, капитан. Пани Ирэна не будет по вас скучать?

- А чего ей скучать...
- Ну, не знаю... Генеральши иногда привязываются к адъютантам. Ты, кстати, когда едешь?
- Куда?
- В Кордову, куда еще ездят зимой порядочные люди.
- А-а, в Кордову...
- Слушай, Кривенко. Ты «Тараса Бульбу» читал?
- Ну... проходили в школе,— уклончиво отозвался тот.
- Ясно. Не помнишь, значит, ни хрена. И что однажды Тарас Андрию сказал, тоже не помнишь? А сказал он ему вот что: я, говорит, тебя породил, я же тебя и убью. Ты не боишься, что наша с тобой идиллия может в один прекрасный день завершиться именно таким образом?
- Зря ты так, Полунин,— с чувством сказал Кривенко.— Можно подумать, я и сам не понимаю...
- А понимаешь, так отвечай, когда тебя спрашивают, едрена мать! Ты виделся с Келли?
- Виделся, да, еще три дня назад.
- Про Густава Дитмара он тебе что-нибудь говорил?
- Так точно, говорил!
- Так. Теперь слушай, что скажу я. Разработку Дитмара будешь вести по двум линиям одновременно: для Келли и для меня. Келли об этом знать не должен. Если, не дай бог, узнает — zapomни, Кривенко, я тебя и под землей достану...
- Ну вот еще,— обиделся тот,— ты уже думаешь, я совсем...
- Я ничего не думаю, я предупреждаю. Значит, по той линии будешь действовать согласно его инструкциям, что уж он тебе скажет делать. А мне нужно вот что: я должен быть в курсе всех перемещений Дитмара и всех его контактов — где, когда, с кем. Но главное — перемещений! Куда бы и на сколько бы времени он ни собрался, об этом я должен знать заранее. Если вдруг внезапно уедет — ну что ж, придется проследить, узнать... Для этого, конечно, тебе надо устроиться в его фирму, хоть подсобником.
- Зачем подсобником, я и монтером могу — с гордостью сказал адъютант.— Келли говорил, он по электрической части? Вот я и устроюсь как электрик.
- Ты что, действительно работал электриком?
- Я кем угодно работал. Кусать-то надо!
- Тогда совсем хорошо. Только ведь, наверное, монтер из тебя... Со скрытой проводкой приходилось иметь дело — когда трубы в стенах замурованы?
- Да господи! Я этих проводов тыщу километров проложил.
- И как же ты их прокладывал, в трубах-то?
- А лента такая есть,— стал объяснять Кривенко.— Узенькая, стальная, а на конце шарик. Ее пхаешь, она где угодно пролезет, а после к другому концу привязываешь провода, сколько там надо, и тащи. Только надо тальком присыпать, а то застревают, паразиты.
- Верно,— подтвердил Полунин.— И в самом деле кумекаешь кой-чего. Так что давай тогда оформляйся в «Консэлек» и

постарайся для начала зарекомендовать себя хорошим работником. Немцы это ценят прежде всего. Ну, а дальше будешь действовать по обстоятельствам. Как говорится, применяясь к местности. Патрону при случае о себе расскажешь, поделишься фронтовыми воспоминаниями... Ты, кстати, в каких был чинах?

— Войну кончил шарфюрером, — сказал Кривенко скромно, но с достоинством.

— Да-а, небогато. Но что делать, не всем же быть генералами. Татуировка осталась?

— Осталась, — Кривенко осклабился. — В сорок пятом я из-за нее чуть не погорел — нарвался в Мюнхене на одного «эмпи», верно из американских жидов...

— Дитмару обязательно продемонстрируешь, как бы невзначай. Скоро потеплеет, работать можно будет налегке, без рубашки...

— Понятно, — Кривенко покивал, потом задумался. — Тут только одно... — сказал он медленно. — Ты вот говоришь: показать татуировку, фронтовыми воспоминаниями поделиться... На счет себя, значит, можно ему все чисто выложить?

— Можно, раз я советую.

— Выходит, он что же, этот Дитмар... Понимаешь, когда Келли со мной говорил, я вроде так понял, что это тип подозрительный и за ним надо следить. А теперь по-другому получается. Вот тут я что-то не совсем...

— Дитмар — нужный мне человек, и ты должен не спускать с него глаз. Понял? Если инструкции, которые ты получаешь от Келли, в этом смысле разойдутся с моими, ты должен немедленно сообщить мне и ничего не предпринимать без моего ведома. Ну, например, он скажет: Дитмара будем брать. Или: Дитмара нужно ликвидировать. Боже тебя упаси! Короче говоря — сначала я, потом Келли. Ясно?

— Ясно...

— Что ж, тогда вот — держи, это аванс...

Он достал из портфеля тугую пачку новеньких сотенных купюр, крест-накрест опечатанную банковскими бандеролями с жирно оттиснутой цифрой «5.000». Кривенко протянул было руку к деньгам, но не взял и осторожно зыркнул на Полунина своими похожими на смотровые щели гляделками.

— Вроде бы не за что еще, а? — спросил он вкрадчиво.

— Значит, есть, если пришло время ставить тебя на довольствие. Сумма не подотчетная, никто твоих трат проверять не станет, но учти: если ты завтра спустишь все на баб, а через неделю тебе не на что будет купить секретарше Дитмара коробку конфет, выкручивайся как знаешь.

— Что ты, что ты, — заторопился Кривенко, засовывая пачку в карман. — Ну, спасибо, Полунин, приятно иметь дело с солидной фирмой. Расписочку на чье имя?

— На хрен мне твоя расписка. Звонить будешь по тому же телефону, каждый понедельник и четверг от двадцати трех ноль-

ноль до полуночи. Только имен никаких не называй, Дитмар пусть будет... ну хотя бы «дед». А Келли называй Колей, легче запомнить. С ним как связь договорились поддерживать?

— Велел сообщать в письменной форме, по мере накопления разведанных.

— Вот и хорошо, будешь согласовывать свои рапорты со мной. Ну, все запомнил? Ладно, давай тогда действуй, Кривенко, оправдывай доверие...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Однажды утром Полуниин нашел в почтовом ящике бандероль, оклеенную пестрыми парагвайскими марками, с недельной давности номером «Эль Паис». Развернув газету, он увидел на третьей ей полосе обведенную красным карандашом заметку:

### «Пресс-конференция в клубе журналистов

Асунсьон, 11 июля (от нашего корр.) Интересная пресс-конференция, устроенная выдающимся французским этнографом, состоялась вчера в столичном Клубе журналистов. Доктор Фелипе Маду, продолжительное время руководивший в нашей стране работами экспедиции по изучению быта и фольклора индейских племен, выразил горячую благодарность парагвайским властям и лично его превосходительству Президенту республики генералу Альфредо Стресснеру за неоценимую помощь и содействие исследованиям французских ученых. «Наш опыт,— сказал в заключение Ф. Маду,— несомненно послужит делу дальнейшего расширения франко-парагвайских культурных контактов и углубит дружбу и взаимопонимание между двумя великими народами». Собравшиеся тепло напутствовали д-ра Маду, а также его очаровательную секретаршу и переводчицу, молодую бельгийскую журналистку Астреа В. Эстенховен.

— Вот и конец нашей экспедиции,— сказал он, передав газету Дуняше.— На, почитай, ты все интересовалась, чем я там занимаюсь...

Дуняша прочитала и фыркнула.

— Я вижу, «очаровательная секретарша» уже переделалась в Астрею? Мало ей было королевского имени, идиотке.

— Да это в газете переврали, вечно путают иностранные имена. Фамилию тоже, на самом деле она Стеенховен.

— Мне-то что! Она действительно очаровательна?

— Не в моем вкусе. И потом, у нее роман с Маду.

— Еще бы, она ведь секретарша. Значит, ты теперь без работы?

— Выходит, так,— согласился Полуниин.

— Ну и прекрасно, хватит тебе ездить по всяким джунглям. Ты должен отдохнуть, Мишель, ужасно стал нехорош — один

нос торчит, и спишь плохо... Они хоть выплатили тебе индемнизацию<sup>1</sup>?

— Да, я все получил, как положено.

— Вот и не смей никуда ангажироваться. Читай книги, гуляй, походи еще на эту свою выставку — ее скоро закроют...

Разговор происходил за завтраком. Они опять жили по-семейному, — поскольку Дуняша так и не согласилась переехать в квартиру Свенсона, Полуниин нашел ей меблированную гарсоньерку неподалеку, на площади Либертад, и почти насильно перевез из пансиона фрау Глокнер. Теперь он обычно ночевал здесь, за исключением тех вечеров, когда ему приходилось сидеть у себя, ожидая звонка из Кордовы.

— Посмотрим, — сказал он неопределенно. — Без работы тоже взбесишься... Да и от чего мне отдыхать? Я уже и так сколько времени без дела околачиваюсь.

— Ты только три недели назад вернулся из Парагвая, а до этого был в Кордове, — возразила Дуняша. — И вообще, ты весь какой-то замученный. Окалачиваться — это от слова «калач»? Прости, но ты на калач нисколько не походишь, скорее уж сухарь.

— При чем тут калач? Это от слова «колотить» — там «о», а не «а».

— Колотить? А это при чем? Кто тебя колотит? Нет, все-таки язык у нас совершенно фантастический, с ума можно свихнуться. Слушай, Мишель, а если тебе съездить поиграть в казино? Говорят, это хорошо встряхивает. Поезжай, правда!

— У тебя, Дуня, идеи — одна другой лучше...

— А что, играл же Достоевский, — Дуняша пожала плечами, допила свой кофе и посмотрела на часы. — О-ля-ля, я опять опаздываю! В одиннадцать у меня свидание с Рикарди... кстати, он, по-моему, хочет предложить мне быть у них штатным дизайнером. Ты как считаешь?

— Что я могу посоветовать? Понятия не имею, Дуня, смотри, как тебе лучше.

— Вот я и не знаю. Конечно, это... как сказать... лестно, такая фирма! Но я ведь буду связана? Не знаю, не знаю. О, я тебе не показывала? Мне вчера прислали новые визитные карточки, по моему рисунку...

Полуниин изумленно взял карточку — таких ему еще видеть не приходилось: на бархатно-черном ватмане с неровно обрезанными краями была оттиснута выпуклая золотая корона, под которой — тоже золотым рельефом — сверкали стилизованные под готы буквы «Eudoxie de Novosilzeff». Профессия владелицы — «художественный дизайн» — адрес и номер телефона были напечатаны красным.

— Черная-то она почему?

— А почему ей быть белой? У всех белые, а у меня будет чер-

---

<sup>1</sup> Пособие при увольнении.

ная, и потом, это ведь точно такая бумага, на которой я рисую. Понимаешь? В этом что-то есть, — глубокомысленно пояснила Дуняша, любуясь карточкой.

— Ты, Евдокия, просто Хлестаков в юбке, — Полуниин покачал головой, — на кой тебе шут эта корона? И еще частицу «де» присвоила...

— Что значит «присвоила»? — возмутилась Дуняша. — Милый мой, Новосильцевы ведут свою генеалогию от четырнадцатого века, это тебе не «мадам де Курдюков»... А корона — ну просто орнамент, и потом, аргентинцам такое импонирует. Должна же я думать и о рекламе, не так ли?

— Реклама-то ладно, но ведь ты не урожденная Новосильцева?

Дуняша, уже встав из-за стола, посмотрела на Полунина надменно, сверху вниз.

— Я урожденная Ухтомская, сударь. А князья Ухтомские, если уж на то пошло, — прямые Рюриковичи. Хотя сама я не княжна, у нас боковая ветвь, но все равно — Ухтомская есть Ухтомская. Даже учитывая мою татарскую бабушку, во мне хватит голубой крови на дюжину Новосильцевых!

— Хорошо, хорошо, — сказал Полуниин, подавив улыбку, — прости, Авдотья свет Рюриковна, не знал твоей родословной. Ты когда вернешься?

— Это зависит. У меня нынче масса дел, и потом, если Рикарди начнет строить мне куры — это я не от самомнения, куры он строит всем решительно! — если он, скажем, пригласит меня пообедать...

— Ох, смотри, Евдокия, доиграешься.

— Но боже мой, у меня и в мыслях нет с ним играть, этот Рикарди нужен мне, как кошке аккордеон, — но когда ведешь деловую жизнь... Словом, не знаю! Ну, я побежала, милый, не скучай...

Легко сказать — «не скучай». Последнее время Полуниин не знал, чем заняться, чтобы заполнить мучительную пустоту ожидания. Книги валились из рук, он не мог сосредоточиться, постоянно возвращаясь мыслями к одному и тому же. Выставка была изучена до последнего экспоната, да и не очень разумно было бы крититься там каждый день...

А ждать предстояло еще долго. Два месяца, три, а может, и еще дольше: чем больше успокоится Дитмар (если его и в самом деле предупредили из Парагвая), тем легче будет его взять. Нужно только хорошо организовать наблюдение, а вот с этим дело обстоит неважно. Кривенко аккуратно звонил из Кордовы в условленные дни около полуночи — в это время легче было дозвониться, обычно междугородные линии бывали перегружены, — но ничего интересного не сообщал. Устроиться монтером бывшему адъютанту удалось без труда, но личные контакты с «дедом» пока не налаживались.

Пятнадцатого июля Филипп и Астрид отплыли из Монтевидео на «Конте Бьянкамано», чтобы в Генуе пересечь на французский

пароход до Марселя. Дино сообщил, что имеет аргентинскую туристскую визу, действительную до тридцать первого декабря; Филипп должен был получить такую же. Оставалось ждать — и это было для Полунина самым трудным...

Он стоял у окна, глядя на залитую зимним солнцем площадь внизу. В просвете между пальмами показалась Дуняша. Дойдя до квадратного бассейна посередине, она оглянулась, подняв голову, помахала ему, послала воздушный поцелуй и, взглянув на часы, пустилась бежать, размахивая сумкой. Полунин смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом улицы Чáркас, потом вздохнул и стал убирать со стола остатки завтрака.

Иногда он ловил себя на мысли, что все было бы куда проще, будь она другой, обычной женщиной. Тогда он хоть знал бы точно, любит ее или не любит. А сейчас он этого не знал. Находясь в отлучке, он иногда не вспоминал о ней неделями, а иногда тосковал страшно, мучительно, до сердцебиения и сухости во рту, как можно тосковать по женщине, с которой был близок и которую помнишь не только сердцем — губами, ладонями, всей кожей. Казалось бы, страстью проще всего было назвать такое отношение — если бы не было в нем ничего другого; но и другое было, была рвущая душу нежность, какую можно испытывать лишь к ребенку, было изумленное любованье, с каким можно смотреть на только что раскрывшийся цветок, на алмазный спектр в капле росы под солнцем, на готовую вспорхнуть бабочку.

Да, в его отношении к Дуняше было все, из чего составляется любовь, — и страсть, и нежность, и уважение как к человеку, потому что она была хорошим товарищем, на нее — он знал — можно положиться в трудную минуту. И все же, наверное, это еще не было любовью. Потому что любовь — это что-то такое, без чего уже нельзя, что становится вдруг необходимым, как воздух, как хлеб для голодного, как вода для умирающего от жажды. А может ли стать необходимой бабочка или капля росы? Может ли придать сил любованье цветком? Впрочем, японцы считают — может...

Он подошел к ее рабочему столу, перебрал разбросанные рисунки, открыл коробку с новыми визитными карточками, вынул одну и долго рассматривал, морщась от лезущего в глаза сигаретного дыма. Красиво, конечно... на то и художница. И, надо полагать, как реклама задумано совсем неплохо — попробуй такое не заметить. И все-таки нормальный человек до подобного не додумается. Даже как-то зловеще — золото на черном, и еще эти красные букочки внизу... Эх, Дуня, Дуня, ребенка бы тебе самого обыкновенного...

В передней заверещал телефон, Полунин вышел, снял трубку.

— Ола, кто это? — спросил он по-испански, думая, что звонят Дуняше.

— Михаил Сергеевич, здравствуйте, — ответил ему голос Основской. — Наконец-то вы нашлись! Звонила уже два раза к вам на Талькауано, а потом вспомнила, что вы однажды дали мне но-



мер второго телефона, и решила попытать счастья здесь. Я вот почему вас разыскиваю — скажите, вы нынче не заняты?

— Нет, сегодня я совершенно свободен. А что?

— Да дело в том, что я наконец смогла выполнить вашу просьбу относительно Алексея Ивановича...

— Алексея Ивановича? — не поняв, переспросил Полуниин.

— Ну да! Это... то лицо, с которым вы просили меня поговорить — ну, помните, месяца полтора назад...

— Ах, вот кто! А я просто не мог сразу сообразить, о ком идет речь... Так вы с ним виделись?

— Да, и он сказал, что охотно с вами познакомится. Как я и думала, все ваши опасения и колебания оказались совершенно напрасны! Я сказала ему, что попытаюсь вас разыскать, и если вы не заняты, то сегодня же туда и придете...

Полуниин досадливо прикусил губу. Черт возьми, перестаралась Надежда Аркадьевна... Единственное, чего сейчас не хватает, это чтобы Келли пронюхал о его контактах с советским дипломатом!

— Вы меня слышите? Михаил Сергеевич, алло...

— Да-да, вот теперь слышно, — что-то пропал звук...

...А отказаться от встречи неудобно, сам ведь напросился; не пойти сейчас — второй раз уже не попросишь... Да черт с ним, с Келли и его «соратниками»; может и не так уж следят сейчас за его контактами, а в крайнем случае как-нибудь отбредется. Семь бед, один ответ. Полуниин чувствовал, что еще больше запутывается в собственной лжи, но выбираться теперь из этой паутины было уже поздно. На худой конец, Келли можно и самому — так сказать, превентивно — намекнуть на некий источник информации, близкий к дипломатическим кругам...

— Ну, спасибо вам, Надежда Аркадьевна, — сказал он, мгновенно прокрутив в голове все эти соображения. — Я сегодня же и побываю у вашего знакомого.

— Вот и отлично. Адрес-то знаете? Это не там, где посольство, а...

— Да-да, я знаю, — прервал Полуниин.

— Отлично, — повторила Основская. — Спросите там, где его найти, вам скажут. Ну, бог вам в помощь, голубчик...

— Михаил Сергеевич? Очень приятно... — Человек средних лет, в аккуратном сером костюме, с неприметным лицом и гладко зачесанными назад светлыми волосами встретил его в дверях, энергично пожал руку и указал на кресло возле низкого круглого столика с журналами. — Присаживайтесь... И извините, я вас на пять минут оставлю. Полистайте пока, тут, кажется, есть относительно свежие...

Бегло улынувшись ему, Балмашев вышел. Полуниин взял «Огонек», рассеянно просмотрел фоторепортаж о визите нашей правительственной делегации в Индию, очерк о трудовых подвигах покорителей целины. Обо всем этом он уже читал, — в книж-

ном магазине братьев Лашкевич на проспекте Леандро Алем всегда можно было купить некоторые советские газеты. «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» приходили с опозданием на месяц и довольно нерегулярно; политика властей в этом отношении была совершенно непредсказуема: иногда газеты и журналы из СССР пропускали, иногда задерживали, причем явно вне всякой связи с характером публикуемого материала. С книгами, кстати, делалось то же самое: Основная жаловалась, что чаще всего изымают почему-то техническую литературу — учебники, справочники...

Положив журнал на место, Полунин обвел взглядом комнату. Было в ней что-то не совсем обычное, не здешнее, он даже не сразу сообразил, что именно. Потом вдруг понял — дорожка! Малиновая ковровая дорожка, окаймленная светло-зеленым, делила комнату надвое, пересекая ее от одной двери к другой, — точно такая, вспомнилось ему, лежала у них в институте, в приемной деканата... Поразительно, как удерживаются в памяти такие мелочи, сейчас вот стоило увидеть — и сразу вспомнил. Здесь, в Аргентине, он, пожалуй, ни разу не видел в служебных помещениях ничего подобного, здесь это не принято. Поэтому-то дорожка сразу обратила на себя внимание: воспринимается как нечто нездешнее, экзотическое. Но о чем, конкретно, будет он говорить с этим Алексеем Ивановичем Балмашевым?

Полунин снова мысленно ругнул Надежду Аркадьевну за поспешность, а заодно и себя: точнее надо было сформулировать просьбу. Сказать, чтобы только позондировала возможности, но ни в коем случае не договаривалась бы пока о встрече. Или тогда уж отказаться сегодня, придумать какую-нибудь причину — но что придумаешь, если уже сказал, что ничем не занят весь день... А сейчас положение глупее глупого. Сейчас вот он вернется и скажет: «Я вас слушаю»... В самом деле, припереться к занятому человеку, в разгар рабочего дня, — просто так, чтобы познакомиться? Черт, как глупо вышло, если бы хоть за сутки предупредить — обдумать, подготовиться к разговору...

— Еще раз прошу меня извинить, — еще с порога заговорил, входя в комнату, Балмашев, — нужно было закончить там с одним товарищем. День сегодня, понимаете, сумасшедший какой-то... С самого утра то одно, то другое...

— Я, выходит, не очень кстати, — сказал Полунин, по-мальчишески обрадовавшись предложению удрать. — Тогда, может быть, в другой раз? У меня-то ведь, собственно, срочного ничего...

— Да нет, нет, я уже освободился! — Балмашев сел в соседнее кресло, извлек из-под журналов пепельницу — тяжелую, под граненый хрусталь, тоже, как и малиновая дорожка на полу, очень какую-то нездешнюю. — Напротив, Михал Сергеевич, я рад... что нашли время взглянуть, мне Надежда Аркадьевна много о вас говорила... Непременно, думаю, надо бы познакомиться с товарищем. Нам ведь, по правде сказать, общаться с проживающими здесь советскими гражданами приходится не так уж

часто... Я имею в виду тех, кто после войны сюда приехал. Курите?

Он выложил на столик пачку «Беломора».

— Спасибо, я привык к более крепким. А впрочем...

Полунин взял папиросу, осторожно прикурил от протянутой Балмашевым зажималки. Дым был непривычно слабый, странного, почти забытого вкуса.

— Кстати, ваши, ленинградские,— улыбнулся Балмашев, тоже закуривая.— Вы ведь, если не ошибаюсь, ленинградец?

— Да.

— И воевали на Ленинградском?

— Нет, на Юго-Западном... в сорок первом. А потом на Западном — не на нашем, а там... во Франции. Но это уж под занавес.

— Да, мне Надежда Аркадьевна говорила, что вы были в маки.

— И в маки, и в регулярных. Войну я закончил под Инсбруком, в Первой французской армии.

Балмашев присвистнул.

— Во-о-о оно что,— протянул он.— Да-а... Покидало вас, я вижу, по свету.

— Если б меня одного,— усмехнулся Полунин.

— Тоже верно. Сейчас, впрочем, обратное намечается движение... Все-таки тянет людей домой, никуда от этого не деться. Да, любопытно... Вы что же, во французской армии были как советский гражданин?

— Нет, разумеется. Там я был французом — Мишелем Баруа. Документы на это имя мне еще в сорок третьем году выковали...

— Выковали?

— Виноват, это, кажется, галлицизм. Словом, бумаги были липовые.

— Французский там освоили или раньше?

— Я его еще в школе когда-то учил,— странное такое совпадение, в большинстве школ был немецкий... Ну, а в отряде напрактиковался,— в армии уже никто ничего не замечал. Конечно, на отвлеченные темы беседовать не приходилось, а для обычных солдатских разговоров словарного запаса хватало. Потом, правда, читал много.

— Смотрите... Значит, у вас способности лингвиста! В каких местах пришлось партизанить?

— Нормандия, Иль-де-Франс. После освобождения Парижа все отряды влились в регулярную армию, я попал в Первую — к Делатру. Она действовала на правом фланге американцев, в Эльзасе.

— Тяжелые были бои?

— Под Кольмаром — да. Позже, когда пошли за Рейн, боев практически не было.

— Ну, понятно. А потом, значит, решили посмотреть Южную Америку...

— Да, вот так получилось.

— Понятно, — задумчиво повторил Балмашев. — Служили-то в каком роде войск?

— Дома — в пехоте, а у французов попал в бронетанковые. Был стрелком-радиостом на «шермане».

— А я до Берлина с матушкой пехотой дотопал, — улыбнулся Балмашев. — Перед войной только успел закончить истфак, годик попреподавал, собирался было в аспирантуру... Кстати, Михал Сергеич, вы где учились?

— В Ленинградском электротехническом институте связи — ЛЭИС имени Бонч-Бруевича. Два курса.

— Ну, вы еще человек молодой... Живы остались — это главное, остальное все поправимо. Как вам Аргентина, в общем-то?

Полунин пожал плечами.

— Страна как страна, бывают хуже. Во Франции, скажем, я бы жить не хотел.

— Не любите французов?

— Да нет, против французов ничего не имею, у меня лучший друг, кстати, француз... И дружба у нас не на словах, а проверена еще тогда... в сорок четвертом. Да и не он один... и в отряде, и позже, в армии, я отличных знал ребят. Но в целом, понимаете... не знаю даже, как это объяснить. Во всяком случае, я вполне согласен с тем, что мне приходилось читать о Франции у наших прежних писателей. Хотя бы у Блока в письмах, помните?

— Блоку претило мещанство французской мелкобуржуазной среды. Вы это имеете в виду?

— Да, пожалуй.

— А здесь, по-вашему, этого нет? — спросил Балмашев.

— Есть, наверное, только не так шибает в глаза. Нет этого самодовольства, что ли. Аргентинцы вообще больше на нас похожи. Странно, правда?

— Нет, это объяснимо. Здесь все-таки преобладает культурное наследие Испании, а испанский национальный характер ближе к русскому, чем любой другой западноевропейский.

— Пожалуй... Вы думаете, здесь сыграла роль техническая отсталость в прошлом?

— Не столько это, сколько сходство исторических судеб. Испанцы триста лет служили буфером между двумя соударяющимися культурами — Востока и Запада. Мы, на другом конце Европы, были примерно в таком же положении — и даже примерно тот же срок.

Полунин помолчал.

— Занятно, — произнес он. — Я как-то никогда в таком разрезе об этом не думал. Вообще, наверное, вы правы... Тут только одно можно возразить: в Испании действительно столкнулись две культуры, а перед нами что стояло? Дикая орда...

— Мы ведь говорим о сходстве, а не о тождестве ситуаций. Прямые аналогии тут, естественно, не годятся. И потом, видите ли, дело не в объективном значении двух данных куль-

тур, а скорее в степени их несоизмеримости. В разности потенциалов, скажем так. Представьте себе две железные стены, подключенные к разным полюсам динамо-машины; если вы оказались между этими двумя стенами, то чем выше напряжение, тем сильнее вы это почувствуете, не правда ли?

— Еще как почувствуете.

— Вот об этом и речь. И мы, и испанцы слишком долго находились под током — или в слишком сильном магнитном поле... если это грамотное сравнение, — тут я, как гуманитарий, могу и ошибиться. Так с аргентинцами, говорите, вы особой розни не ощущаете?

— Ну, иностранец есть иностранец, какая-то рознь всегда чувствуется... но с этими проще. Это смешно звучит, но даже их недостатки некоторые нас сближают.

— Например?

— Да хотя бы безалаберность. Аргентинец если назначит тебе встречу, то или опоздает на час, или вообще забудет. А это их проклятое «маньяна»?

— В смысле «завтра»? — Балмашев улыбнулся.

— Да, в этом самом. Вы, наверное, и сами уже сталкивались: звонишь ему по какому-нибудь самому ерундовому делу, которое и решить-то можно тут же, за минуту, — нет, он непременно ответит, что сегодня ничего сделать нельзя, но завтра он всецело к вашим услугам...

— Это точно, — рассмеялся Балмашев. — А назавтра повторяется то же самое!

— И назавтра, и напослезавтра... Причем, заметьте, это даже не назовешь бюрократизмом, — уж таких бюрократов, как в той же Франции, вообще свет не видал, — но там, понимаете, бюрократ убежденный, своего рода служитель культа. И на любого посетителя, кстати, французский чиновник смотрит враждебно. А здешний «эмплеадо» — он просто разгильдяй, и разгильдяй скорее добродушный, он вас не со зла будет муржить целую неделю, прежде чем выдаст какую-нибудь чепуховую справку. Он просто не понимает, почему нужно сегодня сделать то, что можно отложить на завтра... Но я что хочу сказать: злишься, конечно, когда с таким сталкиваешься, но нам это где-то понятнее, чем, скажем, немецкая машинная пунктуальность. Или рабочих возьмите: мне вот в Германии в плену, до побега еще, — а бежал я во Франции, нас макизары отбили, — так вот, до побега мне там пришлось поищачить на одном заводе, и я наблюдал, как немцы работают. Честное слово, не люди — машины какие-то. А здесь бесконечные перекуры, треп... словом, скорее по-нашему. Работать-то они умеют, если надо — вкалывают дай боже. Но культа «порядка», как у немцев, у этих нет. Короче говоря, все это здесь как-то человечнее — по нашим понятиям...

— Да, любопытно, любопытно, — сказал Балмашев. — Хорошо, конечно, вот так узнать чужую страну... Я здесь уже два года, а представление все-таки поверхностное. Язык вот уже почти освоил. Что бы вы, кстати, посоветовали мне почитать из

современной аргентинской литературы — в познавательном смысле?

Полунин задумался, недоуменно пожал плечами.

— А я ведь ее и не знаю, честно говоря. Вот вы сейчас спросили, и я сообразил, что за все эти годы, пожалуй, ни одной аргентинской книги не прочел... Впрочем, нет, один исторический роман читал — «Амалия», Хосе Мармоля. Из эпохи Росаса, был здесь такой деятель в прошлом веке...

— Знаю. Вообще не читаете по-испански?

— Нет, почему же. Но больше переводное, — Хемингуэя вот отличную вещь о гражданской войне в Испании, «Пор кьен доблан лас кампанас» — как же это по-русски будет? — «Для кого бьют колокола»... Хорошая книга — честная, мужественная такая. Вы понимаете, французов я могу читать в оригинале, а вот итальянцев, англичан — приходится по-испански. Так что до аргентинцев уже просто руки не доходят... Все-таки в основном-то к русской книге тянет. Спасибо Надежде Аркадьевне, без нее просто не знаю, что бы делал.

— В Буэнос-Айресе есть ведь и другие русские библиотеки, если не ошибаюсь?

— А, — Полунин махнул рукой. — Есть, например, у отца Изразцова на Брасиль. Но, во-первых, плохая, укомплектована всяким старьем рижского издания... Краснов там, Солоневич и тому подобное...

— А что, — усмехнулся Балмашев, — тоже ведь, наверное, не лишено интереса.

— В познавательном смысле? — тоже улыбнулся Полунин. — Конечно. Кое-что я читал, а больше не тянет. Слишком уж... густософо. Да и потом, народ там такой... я уж предпочитаю эту. Благо, не все еще перечитано. А насчет аргентинской литературы... Конечно, это упущение, я понимаю. Потом, наверное, и сам буду жалеть, но...

— Потом? Когда — потом?

— Ну, — Полунин пожал плечами, — не собираюсь же я проторчать здесь всю жизнь...

— Да, всю жизнь было бы... трудноато, пожалуй, — согласился Балмашев. — Русскому человеку не так просто пустить корни в чужой земле, всегда что-то мешает.

— Мешает, вы правы. И даже не определишь, что именно, — сказал Полунин. — Я сам как-то думал... почему иностранцы этого не испытывают? Ну а если и испытывают, то ведь не в такой же степени. Живут, куда судьба забросит, и в ус не дуют. Возьмите англичанина — да ему один черт, что Англия, что Кения какая-нибудь...

— Ну, тут уж другие факторы начинают действовать, — заметил Балмашев. — В ту же Кению, скажем, англичанин ехал как колонизатор, и преимущество такого положения перекрывало в его глазах известные неудобства... в том числе ностальгию. Тут факторов много. Одни ехали в колонии, чтобы обогатиться, другие считали, что исполняют долг перед империей... а были и такие,

вероятно, что искренне верили в свою цивилизаторскую миссию. «Бремя белого человека» — помните? Киплинг-то сам наверняка в это верил. Так что как раз англичане — пример не из типичных... Хотя вообще вы это верно подметили. Ностальгия — слово не наше, но обозначаемое им чувство мне тоже представляется преимущественно свойственным именно русскому характеру... Ну, или согласимся на том, что мы ему подвержены более других. Вы вот Хемингуэя упомянули, — читал я о нем недавно: американский писатель, а проживает постоянно на Кубе. Или англичанин Сомерсет Моэм — тот поселился во Франции. И живут себе, ничего. У нас, если не считать Тургенева, таких примеров вообще не было, для русского писателя это немыслимо, наверное... Да что о писателях говорить! Обычному человеку и то трудно, тут вон одиннадцать месяцев на загранслужбе просидишь, потом приезжаешь в отпуск домой — так, ей-богу, от одного воздуха московского слезы на глаза наворачиваются. У нас ведь и асфальт как-то по-другому пахнет, и бензин не тот, — Балмашев опять коротко улыбнулся своей беглой улыбкой. — Вы, кажется, подданства аргентинского не принимали?

— Нет, числюсь в бесподданных. Апатрид, как здесь говорят.

— Да-да, апатрид... Слово-то, между прочим, нехорошее, а? Мы его переводим как «бесподданный», а ведь точное значение хуже — «не имеющий отечества»... Ничего, Михаил Сергеевич, я скажу еще раз: все в жизни поправимо. На подошвах сапог отечество унести нельзя, это Дантон довольно точно сформулировал, а вот в сердце — можно. Хотя, конечно, и это вариант не из лучших...

Дверь приоткрылась, некто в очках просунул голову, глянул озабоченно на Балмашева, на Полунина, снова на Балмашева.

— Алексей Иванович, извиняюсь, такой вопросик: перевод документа с испанского на русский как мы обычно заверяем?

— Ну как, подпись присяжного переводчика должна быть заверена аргентинским нотариусом, а подпись и печать нотариуса — нами. По-моему, таков порядок, но вы на всякий случай уточните у Тамары Степановны.

— Да ее, понимаете, сейчас нет, а там...

— Хорошо, я подойду, — сказал Балмашев.

— Ясенько...

Дверь медленно закрылась. Полунин посмотрел на часы и встал.

— Ну что ж, Алексей Иванович... Мне пора, пожалуй.

— Не смею задерживать, — Балмашев тоже поднялся. — Рад был познакомиться и надеюсь, что это у нас не последняя встреча. Дорогу, как говорится, вы теперь к нам знаете...

— Непременно, — заверил Полунин, — непременно. Я тоже рассчитываю встретиться еще не раз, но только... позже. У меня, понимаете, такая сейчас работа, что... ну, было бы нежелательно, если бы узнали, что я бываю в советском консульстве.

— Смотрите, это уж вам виднее, — сдержанно сказал Балмашев.

— Да дело тут не во мне, а... Ладно, потом объясню! А пока лучше мне здесь не бывать. Скажем, месяца два-три. Вот телефон ваш я бы записал, если можно...

Балмашев протянул ему визитную карточку, проводил до выхода и крепко пожал руку, повторив, что рад знакомству.

Выходя на улицу, Полунин задержался в подъезде — сделал вид, будто испортилась зажигалка, и долго щелкал ею, поглядывая по сторонам. С конспирацией этой идиотской совсем к черту помешаешься, а не принимать мер предосторожности тоже нельзя. Хотя всего ведь и не предусмотреть — любого выходящего отсюда можно в принципе сфотографировать с помощью телеобъектива хотя бы вон из того дома напротив...

Сейчас, впрочем, Полунину было не до Келли, не до возможных соглашения; об опасности подумалось скорее машинально, в силу привычки. Странное дело — за то недолгое время, что он пробыл в консульстве, все здешнее как бы отдалилось от него, уменьшилось в масштабе, словно он смотрел теперь в перевернутый бинокль. Все то же самое, но уже мелкое, удаленное... Вообще же разобраться в ощущениях было трудно, слишком их оказалось много. А если попытаться выделить что-то главное — главным было, пожалуй, ощущение какой-то новизны... или чего-то, может быть, не такого уж нового, но, во всяком случае, давно им не испытанного. Чего-то почти забытого...

Возможность взаимопонимания — вот, пожалуй, что это такое. Живя на чужбине, от взаимопонимания отвыкаешь очень скоро. И дело вовсе не в том, что нет приятелей. Приятелей можно найти где угодно и сколько угодно. Друзья, конечно, дело другое, но ведь встретить настоящего друга не так-то просто и у себя дома. Здесь и подавно. Тот же Филипп — казалось бы, друг, во всяком случае в общепринятом смысле; но полного взаимопонимания между ними никогда не было и быть не может. К друзьям можно причислить Надежду Аркадьевну, однако и с ней они на очень многое смотрят совершенно по-разному...

А вот Балмашев — что он ему? — случайный собеседник, не провели вместе и двух часов; но это первый за многие годы встреченный им человек, с которым они говорили действительно на одном языке. Им вовсе не обязательно быть единомышленниками, не обязательно во всем соглашаться, с таким человеком можно и спорить; но они всегда друг друга поймут, вот что важно! Они могут по-разному отвечать на тот или иной вопрос, но подойдут к нему с общих позиций, одинаково понимая его суть и оценивая его значение. Короче говоря, они просто люди одного мира.

В этом, пожалуй, и содержится ответ на тот вопрос, который давно его занимал: почему мы не можем адаптироваться там, где так легко адаптируются другие? Дело не в разности культур, традиций и тому подобного. Конечно, испанцу или французу проще освоиться в стране романской культуры, чем, скажем, славянину; но ведь здесь так же быстро осваиваются и выходцы с Ближнего Востока. Почему коммерсант из Бейрута чувствует себя в Буэнос-Айресе как дома, хотя его предки со времен кресто-



вых походов воспитывались в презрении к «гяурским собакам», — а наш интеллигент, с детства зачитывавшийся Гюго и Сервантесом, постоянно ощущает вокруг себя словно какой-то вакуум?

Все-таки, вероятно, у нас какие-то принципиально разные системы отсчета — политические, моральные, какие угодно. Сводить все к политическим — тоже упрощение; социальный строй, при котором жили до революции русские эмигранты, не так уж отличался от того, при котором они живут здесь. Но и этого фактора не сбросишь со счетов, — между советскими гражданами и бывшими «белыми» полного взаимопонимания что-то не наблюдается...

Как бы то ни было, но только сейчас, разговаривая с Балмашевым, Полуниин словно почувствовал наконец себя в каком-то своем, привычном и родном мире. И это открытие — хотя оно пока и не сулило никаких конкретных перемен в его жизни — странным образом изменило вдруг для него все его восприятие окружающего.

Подумав, что Надежда Аркадьевна будет с нетерпением ждать его отчета о визите в консульство, он вышел из метро на станции «Кальяо». Этот буржуазный, респектабельный район, застроенный в стиле конца века и хорошо озелененный, напоминающий чем-то некоторые кварталы Парижа, выложенной своей ухоженностью обычно вызывал у Полунина какое-то подспудное, неподвластное рассудку осуждение. Рассудок-то понимал, что глупо винить страну за счастливое сочетание геополитических факторов, удержавших ее в стороне от двух мировых побойщ; но чувство восставало при мысли, что все те страшные годы — и в сорок первом, и в сорок втором, и в сорок третьем — здесь так же пеклись о своем комфорте, занимались коммерцией и любовью, наживали и проматывали деньги, сочиняли эпигонские стихи и по воскресеньям ездили в Палермо играть в теннис. А корреспонденции из-под Сталинграда и Курска прочитывались за утренним кофе ничуть не более заинтересованно, чем биржевой бюллетень или рецензия на премьеру в театре «Майпо»...

А сейчас, свернув с проспекта на улицу Виамонте, Полуниин шагал по вымытому мылом и щетками мозаичному тротуару, поглядывал на дубовые двери подъездов с протертым замшей зеркальным стеклом за кованым узором решеток и ярко надрабенными бронзовыми ручками, на все эти выставленные напоказ атрибуты самодовольного благополучия, сытой, покойной и бесконечно чужой жизни, — и не ощущал ничего, кроме растущего чувства отчужденности. Что ему до этого буржуазного Буэнос-Айреса? Он и в самом деле человек другого мира, и ничто не связывает его с этим городом... кроме временных обстоятельств.

Однако товарищ Балмашев и в самом деле настоящий дипломат — главный-то вопрос тактично обошел молчанием. «Решили, значит, посмотреть Южную Америку» — и ни слова больше, будто и говорить тут не о чем. Ждал, возможно, что сам расскажет? А он в ответ пробурчал нечто невразумительное — так, мол, получилось...

Да, плохо тогда получилось. Плохо и непредвиденно. Наверное, демобилизуясь он сразу после войны, как и рассчитывал, все было бы иначе; худо-бедно, но ведь возвращались же люди и тогда... Его, однако, не демобилизовали, — начали со старших возрастов, стали увольнять в запас семейных, а у него в солдатской книжке стояло: «холост, близких родственников нет». Двадцать четыре года к тому же, идеальный возраст для солдата, да и послужной список был неплох — медаль Сопrotивления, «Военный крест», нашивки...

Слишком многого он не учел, слишком многого не предвидел, когда решил пойти с Филиппом на вербовочный пункт. Не учел того, что уставшие от войны французы отнюдь не склонны будут разделять мечты де Голля о возвращении Франции в ряд великих держав и предпочтут мирный труд проблематичной чести служить под знаменами Четвертой республики; не учел того, что — вследствие этого — новая французская армия будет остро нуждаться в имеющих боевой опыт кадрах; и уж никак не мог он предвидеть тех событий, которые вскоре после окончания второй мировой войны разыграются в далеком Индокитае.

А эти события, как оказалось, повлияли на его судьбу самым непосредственным образом. В августе, как только капитулировала Япония, в Ханое вспыхнуло восстание. Хотя Франция и признала Вьетнам независимым государством, ее руководители явно не склонны были примириться с потерей бывшей колонии. До начала открытых военных действий оставалось еще больше года, но подготовка к ним уже шла.

Филипп, которому тогда исполнилось тридцать, все-таки успел демобилизоваться в начале сорок шестого. Уезжая, он пообещал принять меры, похлопотать, но главным козырем — национальностью мнимого Мишеля Баруа — ходить было уже опасно: липовые документы могли сойти во время войны, когда в армию брали, как в Иностранной легион, любого желающего и практически без проверки. Чиновники мирного времени наверняка отнеслись бы к открывшемуся подлогу куда серьезнее. Словом, пришлось служить дальше, продолжая тянуть ляжку в осточертевших уже казармах Рейнской оккупационной армии.

А обстановка в мире менялась между тем самым угрожающим образом — начиналась «холодная война», Черчилль выступил в Фултоне со своей знаменитой речью. В общем-то, наверное, можно отчасти и понять тех товарищей на рю Гренель<sup>1</sup>, куда он наконец явился, получив отпуск в Париж, — эдакий кондотьер в мундире американского образца, с французскими боевыми наградами и фальшивыми документами в кармане. Но, с другой стороны, и им следовало бы постараться понять его. Как бы фантастично ни выглядела его история, он рассказал ее подробно и откровенно, ничего не скрывая — ни фактов, ни мотивов. Мотивы, как скоро выяснилось, никого не интересовали, а факты выглядели подозрительно, особенно факт пребывания в плену.

---

<sup>1</sup> На рю Гренель помещалось советское посольство.

Что поделаешь, в сорок седьмом году на любую подобную биографию неизбежно накладывались обстоятельства, ни в малейшей степени не зависевшие ни от него самого, ни от тех людей, с которыми ему тогда пришлось иметь дело...

Ладно, недоверие он бы еще понять мог. Нельзя было понять другого: безоговорочного и огульного осуждения тех, кто, как выразился один из его собеседников, «отсиживались в плену», — разум противился этому чудовищному отождествлению всякого военнопленного с изменником. Разумеется, были и изменники, были и сдавшиеся добровольно, — но такие, кстати сказать, в лагерях не задерживались, они довольно скоро уходили оттуда в разведшколы, в «национальные легионы», в РОА. А те, для кого воинская присяга не была пустым словом, оставались умирать несломленными. И согласиться — хотя бы молчаливо — с тем, как судил о них его собеседник, значило бы для Полунина предать мертвых, самому стать предателем.

Поэтому разговор на рю Гренель кончился плохо. Настолько плохо, что нечего было и думать прийти сюда еще раз; он просто не мог бы заставить себя снова слушать эти разговоры об «отсижившихся», отвечать на вежливые расспросы — когда, почему, при каких обстоятельствах...

Повидать Филиппа не удалось, тот был в командировке. Париж на этот раз оказался мерзким: инфляция, черный рынок, разряженные по новой заокеанской моде профитёры<sup>1</sup> в широких пиджаках с вислыми плечами, в коротковатых брючатах и туфлях на белом каучуке в два пальца толщиной... Неужто ради этой мрази горели танки на кольмарских холмах, гибли в ночных перестрелках парни из «Дюгеклена»? Полунин за неделю пропил отпускные, подрался в последний вечер с какими-то подонками в заведении на пляс Пигаль и вернулся в Германию с пустыми карманами и подбитым глазом. И совершенно не представляя себе — как жить дальше.

«Дома», в казарме, его встретили слухи о скорой якобы отправке на Дальний Восток — война в Индокитае шла уже полным ходом. Это уж был какой-то бред; Полунин долго отказывался верить, думал — обойдется. Нет, не обошлось. Однажды ночью, в марте, полк подняли по тревоге, посадили в десантные «дугласы» и отправили в Тулон. Там, к счастью, случилась задержка: до погрузки на корабль еще предстояло получить новую технику — танки Т-47 и бронетранспортеры М-39, специально приспособленные для действий в болотистых джунглях.

Он дезертировал на второй день, едва дождавшись увольнительной в город, ушел налегке, взяв с собой только медаль Сопrotивления и трофейный парабеллум, который за ним не числился (он просто утаил пистолет в августе сорок четвертого года, когда макизарам приказали сдать оружие). Планов не было никаких, кроме одного — не воевать в Индокитае; может быть, думал он,

---

<sup>1</sup> Profiteur — делец, спекулянт (фр.).

удастся пробраться в Италию, разыскать Дино — тот всегда был мастером находить выходы из безвыходных положений...

Впрочем, действовал он довольно обдуманно. Купив на «блосином рынке» старый плащ, пиджак, фуфайку и потертые вельветовые брюки, Полуниин внимательно изучил на автобусной станции план окрестностей и взял билет до Санари — маленького курортного местечка в четырнадцати километрах от Тулона, по дороге на Марсель. Там, найдя укромный пляж (купающихся, по счастью, не было; холодный мистраль валит с ног), он переоделся, аккуратно сложенный мундир со всеми документами в кармане оставил на песке, прикрыв развернутым номером «Пари суар» и положив сверху камень и бутылку «пастиса», из которой предварительно вылил в море три четверти содержимого. Потом, выйдя на шоссе, остановил попутный грузовик и через полтора часа был уже в Марселе.

Несколько дней он околичивался по всяким притонам в районе Старого Порта, надеясь найти какого-нибудь контрабандиста. Трудно было сказать, сработала ли инсценировка в Санари; выглядело это довольно правдоподобно: человек, вылакавший почти бутылку спиртного, запросто мог утонуть, купаясь в такой холодной воде. Но почему знать! В газетах, во всяком случае, о трагической гибели сержанта Баруа не сообщалось, хотя полицейскую рубрику он внимательно прочитывал каждый день. Контрабандиста, готового переправить его в Италию, тоже не находилось. Далековато, конечно; лучше было из Тулона уехать в Ниццу — там ближе. Этого он просто не сообразил.

А потом произошло одно из тех маленьких чудес, которые в жизни случаются гораздо чаще, чем можно предполагать.

К концу первой недели пребывания в Марселе некая Мирей привела его к себе на ночь. Утром, проснувшись, он увидел, что она вертит в руках его «люгер». Полуниин с размаха огрел приятельницу по задку и отобрал пистолет. «Я искала сигареты, — обьяснила Мирей, потирая ушибленное место. — Чего это ты таскаешь с собой пушку?» — «Память о маки, какого черта», — сердито сказал Полуниин. Мирей понимающе покивала и похвасталась, что знает еще одного бывшего макизара — есть тут некий Жожо, арап каких мало, чем только не занимается, — так вот, он тоже партизанил где-то на севере, а сюда вернулся сразу после освобождения... «Жожо? — переспросил Полуниин. — Погоди-ка, это не такой случайно — шепелявит и нос до подбородка?» Был у них в отряде один носатый балагур, его все так и называли — «Жожо-марселец»... «Точно, — удивилась Мирей, — так ты его тоже знаешь!»

«Марсельца» она разыскала очень скоро, тот обрадовался Полуниину, как брату, стал расспрашивать. Полуниин выложил все начистоту, терять было уже нечего, а в то, что бывший дюгекленовец побежит доносить, как-то не верилось. К тому же, если верить Мирей, у него и у самого были основания держаться от фликов подальше. Жожо выслушал с сочувственным вниманием, спросил, есть ли у него деньги, и обещал подумать.

Когда они встретились в следующий раз, он сказал, что может устроить вполне надежные — само Сюртэ женераль ничего не заподозрит — бумаги апатрида. «В наше время, малыш, лучше всего быть бесподанным,— добавил он.— По крайней мере гарантия, что никому не призовут...»

Полунин согласился — выбирать не приходилось. Жожо деловито пересчитал пухлую пачку франков и спросил, на какую фамилию делать документы. Полунин назвал свою, настоящую. Если уж скитаться, то хоть не под чужой кличкой...

Совет Жожо оказался дельным. Апатридами из числа перемещенных лиц, которых к тому времени развелось во Франции видимо-невидимо, не только никто не интересовался,— от них старались избавиться, сбрызнуть с глаз долой как можно скорее и как можно дальше. В частности, их особенно охотно отправляли за океан, в страны, нуждавшиеся в рабочей силе и выразившие готовность принять всю эту ораву. Зарегистрировавшись в полиции и получив временный вид на жительство, Полунин подал заявления одновременно в канадское, аргентинское и австралийское консульства. Ему было все равно, куда ехать. Один черт, не пойдешь же снова на рю Гренель — здрасьте, мол, я опять к вам, теперь уже не только как изменник Родины, но еще и дезертир, разыскиваемый французской полицией...

А его вполне могли разыскивать,— попытка изобразить собой утопленника теперь, задним числом, казалась наивной. Если и разыскивали, действительно, то не так уж старательно, коль скоро выдали новые документы... Но на всякий случай он все же уехал из Марселя, забрался в самую глушь, в Савойю, нанялся там к одному фермеру пасти коз (долго потом снились ему эти своенравные твари!). Адрес знал один Жожо,— через полгода он сообщил, что получена аргентинская виза. Перед отплытием Полунин поручил ему разыскать Филиппа, который давно уже не давал о себе знать, и чтобы тот писал на Буэнос-Айрес, до востребования. Жожо исправно выполнил и это поручение — через месяц после прибытия Полунин получил письмо из Парижа. «Ты правильно сделал, старина,— писал Филипп,— я бы поступил так же, если бы эти сволочи послали меня убивать аннамитов. Что делать, мир оказался не совсем таким, как мы мечтали во время войны...»

Да, интересно, что скажет Балмашев, когда узнает все эти красочные подробности. Может, лучше было рассказать сразу? Да нет, для первого знакомства получилось бы многовато. Это уж потом можно будет продолжать разговор, когда он «рассекретится». Если, конечно, с Дитмаром все сойдет благополучно.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Зима шла к концу без особых происшествий. Советская выставка закрылась, «непримиримые» хотели было устроить под занавес какое-то шумное мероприятие с битьем стекол, но на них

заранее цыкнули, — Перону сейчас не хватало только осложнений по линии МИДа. Жизнь русской колонии снова вошла в привычную колею.

В середине августа Полунин с Дуняшей поехали на ежегодный скаутский бал в «Обществе колонистов». Начало торжества омрачилось небольшим скандалом: во время выступления хора Кока Агеев решил потрянуть стариной и пустился канканировать со своей очередной дамой, бойкой пронзительноглазой одесситкой по прозвищу Кобра, знаменитой тем, что была, по ее словам, любовницей трех генералов, двух немецких и одного румынского. Выходка Коки была тем более непристойной, что именно в этот момент в соседнем зале хор юных разведчиков проникновенно исполнял «Коль славен наш Господь в Сионе». Развратного старца вывели вместе с его Коброй, и скаутмайстер Лукин поклялся впредь не пускать его ни на одно мероприятие ОРЮР. Если не считать этого, бал прошел как обычно: Дуняша отплясывала без отдыха, Полунин сидел за столиком в одиночестве, попивал крюшон и от нечего делать высматривал знакомых. К нему подсел некто Андрущенко, ядовитый молодой скептик, бывший воспитанник русского кадетского корпуса в Югославии, женатый на аргентинке и делающий карьеру в аргентинской журналистике.

— Как жизнь, Полунин? — спросил он, прищуренными глазами обводя танцующих.

— Как обычно. Ты с женой?

— Еще чего! Жены должны сидеть дома, штопать носки или вышивать.

— Тебе, я вижу, повезло, — не всякая согласится штопать носки, пока муж развлекается.

— Во-первых, на «всякой» я не женился бы. Во-вторых, моя прекрасно знает, что я не развлекаюсь. Ты считаешь это развлечением — наблюдать подобную кунсткамеру? — спросил Андрущенко, обводя зал широким жестом. — Взгляни хотя бы на этого кретина Лукина... Вырос, слава те господи, с коломенскую версту — и до сих пор верит, что умение вязать морские узлы и петь хором спасет этих мальчиков и девочек от денационализации..

— А что можешь предложить ты?

— Не предложил бы, даже если бы и знал. Чем скорее денационализируются, тем лучше. По крайней мере не будут болтаться, как цветок в проруби... Или вон, посмотри, тот усатый, с раздвоенным подбородком, — ну вон, около буфета...

— Кто это?

— Некто Мавраки, из брюссельцев. Переводил Достоевского на французский, а сейчас сколачивает новую монархическую организацию — «Государево служилое земство». Честное слово, не выдумываю. Во главе предусматривается собор, члены которого будут именоваться думными боярами. Нет, это и в самом деле кунсткамера... Я тебе говорю, Полунин, если мой сын

---

<sup>1</sup> Организация российских юных разведчиков (скаутов).

когда-нибудь скажет слово по-русски — выпорю как сидорову козу.

— Врешь ведь.

— Верно, вру, — согласился Андрущенко. — Язык я его, пожалуй, выучить заставлю — это пригодится. Но русским он у меня расти не будет. Ты знаешь, почему я никогда не прихожу сюда с женой? Мне перед ней стыдно было бы. Не то чтобы она поняла, чего тут нужно стыдиться, — она для этого слишком глупа, глупа вдвойне — и как женщина, и как аргентинка. Ей, пожалуй, все это даже понравилось бы — еще бы, ручки дамам целуют, портенчо может увидеть это только в кино... Но мне все равно было бы стыдно. Эмиграция, Полунин, вообще не имеет права на существование, я давно это понял. Я имею в виду такую вот эмиграцию, — он повторил свой всеобъемлющий жест.

— Бывают разве другие?

— А почему нет? Бывают нормальные, здоровые эмиграции, когда люди едут зарабатывать деньги или просто потому, что дома слишком тесно. Возьми итальянцев, японцев... таких людей я уважаю — за трезвость, за предприимчивость. А политическая эмиграция — это нонсенс, какой-то собачий бред. Она оправдана — теоретически — только в том случае, когда эмигрант уверен, что за границей получит реальную возможность влиять на положение дел на родине. Такой возможности на практике не получает никто. Никто! Ты просто вспомни историю, — Андрущенко, подавшись вперед, принялся загибать перед лицом Полунина свои худые длинные пальцы. — Французская эмиграция времен террора; польская времен восстаний; наша, вот эта самая; немецкая при Гитлере...

— Что-то ты слишком уж всех в одну кучу, — заметил Пблунин.

— А это нарочно, для наглядности. Я сейчас не разбираю, кто и почему эмигрировал, кто был прав, а кто нет; я что хочу сказать: политическая деятельность эмигранта всегда бесплодна, никакой возможности влиять на положение дел дома он не имеет, от своего народа отрывается все дальше и дальше... Лучшее, на что он может рассчитывать, это место в обозе какой-нибудь иностранной армии. Вот реальные перспективы политической эмиграции — любой, какую ни возьми. Хотя бы немцев-антифашистов... это, заметь кстати, еще самая благополучная эмиграция, потому что большая ее часть в конце концов вернулась домой победителями. Но дело-то в том, что победили Гитлера вовсе не они: если бы не наш Иван, сидели бы они до сих пор по своим калифорниям — и Томас Манн, и Фейхтвангер, и все прочие... писали бы призывы и обличения, и никто бы их уже не читал...

— Что же, по-твоему, Фейхтвангеру нужно было остаться в Германии?

— Да не-е-ет, — Андрущенко поморщился, словно досадуя на непонятливость собеседника. — Конечно, ему нужно было драться! Когда человеку угрожает смерть, он бежит — это натурально. Но тогда и называй себя точно и без прикрас: просто

беженцем. Беженцев я понимаю, сам бежал от усталей, — я не понимаю, как можно смыться, спасая свою шкуру, и потом считать себя политическим эмигрантом. А главное, я не понимаю, как можно жить в одной стране и вопить о своей любви к другой...

— Ты никогда не испытывал любви к России?

— Я не могу любить то, чего не знаю. А о России я не знаю ничего. Родитель мой рассказывал, как там было хорошо при государе императоре и как мужики обожали помещиков — в чем я сильно сомневаюсь, поскольку родился в Загребе, а не в Смоленске. Как-то это, понимаешь, не согласуется.

— Да, не очень, — улыбнулся Полунин.

— Вот я и говорю. Поэтому так называемая «земля отцов» для меня — терра инкогнита, Полунин, абстрактное понятие. Страна, где я родился, Югославия, тоже не вызывает во мне сыновних чувств... хорваты нас ненавидели, сербы относились неплохо, но все равно мы были для них чужими. А здесь я равноправен, здесь я — аргентинец, как и все прочие. Правда, я «архентино натуралисадо»<sup>1</sup>, но уже сын мой — настоящий, коренной аргентинец, который вырастет нормальным человеком без комплексов, получит хорошее образование и будет заниматься полезным делом... а не пить водку по таким вот кабакам и проклипать большевиков. Почему я и говорю, что Лукин со своим «национальным воспитанием» — болван и кретин, и родители должны были бы прятать от него своих детей, как от чумы, чтобы он не заставлял их зубрить хронологию дома Романовых и петь «Взвейтесь, соколы, орлами»... Никуда они не взвоятся, и никто из этих скаутов никогда не вернется в Россию, потому что она им не нужна и они там никому не нужны, так пусть бы лучше учились понимать и любить страну, в которой живут. Тьфу, черт, даже горло пересохло — разораторствовался...

Он бесцеремонно взял Дуняшин стакан, допил крошон и налил из графина еще.

— Что, не прав я?

— Вероятно, прав... по-своему, — задумчиво отозвался Полунин. — Во всяком случае, ты смотришь на вещи реально...

— Просто я умный человек, — сказал Андрущенко с довольным видом, он очень любил, когда признавали его правоту. — Говоря без ложной скромности, я действительно самый умный человек во всей колонии. О тебе не говорю — временами ты тоже кажешься умным...

— А временами наоборот?

— Временами наоборот. Судя по тому, каким тоном ты меня спросил о любви к России, ты эту любовь испытываешь?

— Я ведь там родился.

— И все-таки сидишь тут? Тогда ты и в самом деле «наоборот». Знаешь, что я бы сделал на твоём месте? Пошел бы в советское посольство, — если не знаешь адреса, могу сказать: Посадас,

---

<sup>1</sup> Argentino naturalizado — иммигрант, принявший аргентинское подданство (исп.).



шестнадцать шестьдесят три,— бухнулся бы на колени и сказал бы: «Вяжите, православные, я старуху убил». Как Раскольников, помнишь?

— Раскольников сказал не совсем так, но неважно. А если я никаких старух не убивал?

— Тогда вообще пёс тебя знает, что ты тут делаешь...

Оркестр, который тем временем наяривал какую-то последнюю новинку сезона, оглушительно взорвался литаврами и испустил дух. К столику подошла раздумывавшаяся Дуняша.

— О, Игóр, здравствуйте, давно вас нигде не видно, совсем стали эрмитом<sup>1</sup>...

— Не знаю, что такое «эрмит»,— сварливо сказал Андрущенко,— но я человек серьезный, трудолюбивый, к тому же отец семейства. А вы все хорошеете, прямо до неприличия. Я, оказывается, ваш стакан схватил?

— Ничего,— Дуняша рассмеялась,— зато вы теперь узнаете все мои мысли... Мишель, налей мне, пожалуйста, ужасно жарко...

— Да что там узнавать,— сказал Андрущенко,— у женщин не бывает мыслей, одни ощущения. Этот тип, с которым вы сейчас танцевали, он не из «Суворовского союза»?

— Не имею понятия, Игор, а что?

— Он ничего вам не говорил?

— Говорил, что у меня хорошо получается «рок»,— вообще его мало кто умеет, акробатический такой танец...

— Понимаешь,— сказал Андрущенко Полунину, не дослушав Дуняшу,— у этих идиотов «суворовцев», говорят, страшнейший скандал: исчез личный адъютант самого Хольмстона...

— А, верь ты им,— Полунин подавил зевок.— Куда он мог исчезнуть... Окружают себя таинственностью — все какая ни есть, а реклама.

— В том-то и дело, что нет. Сами они на этот счет ни гу-гу, делают вид, что ничего не случилось. Я стороной узнал.

— Кто, кто исчез? — заинтересовалась Дуняша.

— Адъютант генерала Хольмстона,— сказал Андрущенко,— какой-то Клименко, что ли.

— Кривенко?! — воскликнула она:— Боже, как интересно! Уверена, что его убили и бросили в Ла-Плату, он ведь был шпионом...

— Ну что ты городишь, Дуня,— сказал Полунин.

— Я тебя уверяю, мне говорили совершенно точно, только не помню кто, Кривенко был полицейским шпионом. Во всяком случае, это мерзкий тип. Увидите, его найдут всего объеденного, бр-р-р...

— Погодите, погодите,— Андрущенко весь подался вперед,— адъютант Хольмстона служил в полиции, вы говорите?

— Ну, так мне сказали... Мишель, помнишь, я еще тогда же рассказала тебе,— но кто мне мог сказать, в самом деле...

— Надо полагать, твоя княгиня, которая всегда все знает.

---

<sup>1</sup> Ermite — отшельник (фр.).

— Ты думаешь? Вообще, да, может быть, — согласилась Дуняша. — Она ужасная сплетница...

Они вернулись домой уже под утро, Полуниин проспал до полудня и, проснувшись, тотчас вспомнил разговор с журналистом. Сейчас, на свежую голову, новость об «исчезновении» Кривенко представилась ему чреватой неприятностями, — вчера он воспринял ее не так серьезно. Выйдя на кухню, он сварил себе кофе и выпил его, стоя у окна и поглядывая на безлюдный по-воскресному сквер. Он мысленно обругал дурака Кривенко, а заодно и себя за то, что не предусмотрел этой дури; не хватало только, чтобы Хольмстон кинулся разыскивать своего пропавшего адъютанта и обнаружил его в Кордове...

Так ведь всего, черт возьми, не предусмотреть! Но, с другой стороны, не лезь вообще в подобные дела, если не умеешь предвидеть на десять ходов вперед. А теперь все через пень колоду: немцы в Парагвае явно что-то пронюхали, может уже и с Келли связались по своим каналам... единственное, на что остается надеяться, это его репутация германофоба (вряд ли захотят делиться подозрениями именно с ним). Кривенко же не сегодня-завтра таких наломает дров, что хоть караул кричи...

«Черт меня дернул, в самом деле, — подумал Полуниин. — Вообразил себя великим конспиратором, таким рыцарем плаща и кинжала. Понадеялся на опыт подполья? Так ведь в маки все было совершенно иначе. Нет, это просто чудо будет, если удастся благополучно из всего этого выбраться...»

Полуниин с трудом дождался вечера понедельника. В одиннадцать он уже сидел в своей комнате на улице Тальяуано, копаясь во внутренностях полуразобранного магнитофона, — последнее время он снова стал брать на дом работу в знакомой мастерской по ремонту радиоаппаратуры. Это давало некоторый заработок, — не мог же он, в самом деле, сидеть у Дуни на иждивении, — а главное, помогало коротать время. Сейчас Полуниин так увлекся поисками неисправности в схеме выходного каскада, что даже вздрогнул от неожиданности, когда телефон залился знакомым сигналом междугородного вызова.

— Слушаю! — крикнул он по-русски, сорвав трубку. — Это ты? Ну, здорово...

— Салют, патрон, — жизнерадостно пропищал голос Кривенко. — Что это вы такой сердитый, настроение хреновое?

— Я его и тебе сейчас подпорчу. Ты, когда уезжал, сказал что-нибудь своему генералу?

— Нет, а чего я должен был ему говорить? Вроде же договорились, чтобы не посвящать...

— Во что не посвящать, лопух? Договорились, что ему незачем знать о твоих новых связях, но по поводу отъезда можно же было придумать какую-то версию?

— А что случилось? — спросил Кривенко уже встревоженно

— Случилось то, что по всей колонии идет треп о твоём бегстве. Исчез, мол, а куда — неизвестно. Некоторые вообще говорят, что ты умотал за Занавес...

— Да вы что, смеетесь?

— Мне не до смеха! Работать надо чисто или вообще не работать — если извилин не хватает. Ты что, первый раз замужем? Чему тебя учили? Ей-богу, сам уже жалею, что связался. Словом, давай исправляй это дело, пока не поздно. Завтра же дай о себе знать — придумай что-нибудь, скажи, что с бабой уехал, что ли. Поверит?

— А чего? Вполне, — подумав, сказал Кривенко. — Он меня за это сколько раз грозился разжаловать. Кдбель ты, говорит, а не русский офицер.

— Ну вот и оправдывай репутацию. Чтобы завтра же написал рапорт! С «дедом» как дела?

— С «дедом», патрон, все тип-топ — вожу я его теперь.

— Куда возишь? — не понял Полунин.

— А куда скажет. За баранку он меня посадил, понятно?

— Слушай, это здорово! А ты что, и машину водить умеешь?

— Так я ж говорил, я все умею, — Кривенко загоготал, довольный, что начальство заговорило другим тоном. — Вы вот сказали, в доверие, мол, надо войти, а уж куда больше доверия — личный шофер, а?

— Молодец, хвалю. Как же это тебе удалось?

— А из-за татуировочки! Он приезжает раз, а я аккурат дюймовую трубу гнул, — ну, скинул рубаху, вроде жарко. Он как заметил, сразу заулыбался и по-немецки со мной: где, мол, служил, как, что... Я ему сказал, что под конец войны возил одного штурмфюрера, он и говорит: вот хорошо, теперь меня будешь возить. В общем, он теперь без меня прямо ни на шаг: чуть что — давай, говорит, Алекс, поехали...

— Он разве сам не водит машину?

— Не любит он сам водить. Я его и на стройки, и домой за ним утром заезжаю, и если он к приятелям куда — тоже я за баранкой...

— Адреса запоминаешь?

— А как же, все до единого!

— Давай...

Полунин выслушал очередную сводку о передвижениях и встречах Дитмара, кое-что записывая на всякий случай, потом еще раз похвалил Кривенко за службу и пообещал подкинуть денжат.

— Вот это не мешало бы, — обрадовался тот. — Я, конечно, не жалуюсь, но траты большие. Мы ж с ним как в бар зайдем, каждый за себя плóтит, по-немецки, а соответствовать приходится. Я бы, может, простой грапы дернул — так вроде неудобно, сам-то он виски заказывает, а цены тут...

— Все понял. Не волнуйся, за мной не пропадет. Насчет рапорта не забудь, слышишь?

— Яволь, завтра же напишу!

Полунин не успел отойти от телефона, как тот снова залился трезвоном. Удивившись, кто может звонить ему в такое время, он снова снял трубку.

— Дона Мигеля, пожалуйста, — сказал по-испански приглушенный голос, чем-то вроде знакомый.

— Он самый. Кто говорит?

— Вам привет от доктора...

— А! — догадался Полунин. — Это вы, Ос...

— Прошу без имен, — строго прервал голос. — Вы одни?

— Один.

— И никого не ждете?

— И никого не жду. Наоборот, сам собираюсь уходить.

— Если можно, задержитесь на полчаса.

— Сколько угодно. Вы откуда звоните?

— Здесь рядом, из бара. Буду у вас через пять минут...

Полунин, посмеиваясь, повесил трубку. Веселое занятие — эти латиноамериканские «революции», толку чуть, зато сколько удовольствия для таких вот, как Лагартиха. Астрид однажды верно заметила: они уходят в подполье, чтобы не корпеть над зачетами...

Звонок в прихожей коротко тренькнул. Полунин распахнул дверь, на площадке стояла фигура, от которой за квартал разлило конспирацией: плащ с поднятым воротником, нахлобученная на глаза шляпа. Остававшаяся на виду нижняя половина физиономии, бесспорно Лагартихиной, была на этот раз украшена щегольскими усиками.

— Приклеенные? — поинтересовался Полунин.

— Нет, пришлось отрастить... Салют, дон Мигель!

Гость поздоровался по-аргентински — обнял и энергично похлопал между лопатками, словно выколачивая пыль. Хозяин ответил тем же.

— Не опасно вам было приехать именно сейчас?

— Ничего не поделаешь! Но живым меня не возьмут, — Лагартиха распахнул пиджак — под левой рукой висел в плечевой кобуре автоматический «кольт» какого-то гигантского калибра.

— Прямо базука, — с уважением сказал Полунин, — хоть по танкам стреляй. Кофе хотите, тираноборец?

— Да, и если можно — чего-нибудь покрепче, я замерз как собака. Ветер, впрочем, переменялся, днем было холоднее...

Полунин вышел в кухню, поставил на газ кофейник, нашел полбутылки джина, недопитого Свенсоном в последний приезд. Не очень-то это ему сейчас кстати — якшаться с местными конспираторами. Но ничего не поделаешь, назвался груздем...

— Ну вот, сейчас погреемся, — сказал он, вернувшись с подносом в комнату. — Садитесь к столу, Освальдо, и не обращайтесь на технику — я здесь работал немного... Как дела в Монтевидео?

— Ничего нового, здесь теперь интереснее. Кстати, сеньор Маду просил меня поговорить с доктором Морено насчет денег, но я так и не смог с ним повидаться. Он тогда был в Бразилии, а оттуда улетел в Европу...

— Неважно, сейчас это не актуально.

— ...но я оставил письмо,— доктор вернется, ему передадут.

— Неважно,— повторил Полуниин,— но за хлопоты все равно спасибо. Значит, вы говорите, здесь теперь интереснее... Революционный процесс, я вижу, вступил в завершающую фазу?

— Да,— кивнул Лагартиха, прихлебывая кофе.— Эра хустисиализма кончена.

— Так, так... Но первую вашу попытку, скажем прямо, удачной не назовешь.

Лагартиха чуть не поперхнулся от возмущения.

— Что значит «наша»? К событиям шестнадцатого июня мы не имеем никакого отношения, это дело католических ультра! Бог свидетель,— он перекрестился и поцеловал ноготь большого пальца,— я сам католик, но нельзя же быть идиотом. Кальдерон поднял в воздух свои бомбардировщики, как только стало известно, что Ватикан отлучил Перона от церкви. Разве так делается революция?

— Вы правы,— согласился Полуниин,— революция делается совсем не так.

— Мы были просто возмущены. Оставляя в стороне все прочее, это же вопиющая глупость! Начать переворот с подобного побоища — значит, совершить политическое самоубийство, это понятно всякому. В Аргентине народ и без того уже относится к военным без особой симпатии.

— Симпатии народа здесь мало кого интересуют. У вас что же, в этом движении, есть разные фракции?

— Конечно.

— Если обобщить — гражданская и военная?

— Грубо говоря, да. Впрочем, каждая из них тоже неоднородна.

— Понятно... Наливайте себе, Освальдо. А скажите такую вещь... допустим, завтра вам действительно удастся сбросить правительство. В этом случае не начнется ли между фракциями борьба за власть?

— Еще какая начнется.

— И кто же, вы думаете, одержит верх?

Лагартиха пожал плечами.

— Праздный вопрос, дон Мигель. В Латинской Америке верх всегда одерживают военные.

— Вот и мне так кажется. Хунта, по-вашему, будет лучше, чем теперешнее правительство?

— Поживем — увидим. Всякое насильственное политическое изменение — это риск. Однако люди шли на этот риск, идут на него сегодня и будут идти всегда. В нашем конкретном случае хунта — даже самая реакционная — это все-таки не более чем вероятность, а теперешняя тирания — это реальность, которую страна больше терпеть не хочет.

— Ну, страну-то вы не спрашивали,— возразил Полуниин.— Народ, насколько можно судить, относится к Перону вполне терпимо. Поругивает, конечно... но кого из правителей не поругивают?

— Вы, вероятно, понимаете слово «народ» по-марксистски. Но народ в этом смысле — как численное большинство населения — в нашей стране политически инертен и останется инертным еще много лет. В Аргентине нет сильной коммунистической партии, как в Италии или хотя бы во Франции, поэтому наш народ не раскачать. И именно поэтому кто-то — пусть это будет меньшинство — должен взять на себя роль детонатора...

— Неудачное сравнение, Освальдо. Детонатору безразлично, что взрывать, но человек обязан предвидеть последствия своих действий.

— А если их невозможно предвидеть?

— Тогда разумнее воздержаться от действия.

— Ну, знаете! Это ведь еще и вопрос общественного темперамента, — настоящий мужчина не всегда может сидеть сложа руки...

Полунин помолчал, побарабанил пальцами по краю стола.

— Настоящий мужчина, — сказал он жестко, — должен уметь жить, стиснув зубы... годы, если нужно. А истеричность поступков — качество скорее женское... Вы надолго в Буэнос-Айрес?

— Нет, дня на два-три. И я должен, наконец, объяснить свой визит... который, вероятно, вас удивил, да?

— Ну, почему же...

— Скажите, эта квартира чиста?

— В смысле слезки? Надо полагать, — я, во всяком случае, ничего не замечал. Вам нужно пристанище?

— Да, если можно. — на это время.

— Пожалуйста. Я вообще ночую в другом месте, и здесь меня не будет до четверга. Так что располагайтесь и живите. Есть тут, правда, еще один жилец, но он плавает... Если вдруг вернется, скажите, что вы мой приятель, — да вряд ли он и спросит. Это старый пьяница, швед, который ничем не интересуется.

— Спасибо. А если меня здесь схватят?

— В этом случае, — Полунин улыбнулся, — я сошлюсь на Келли. Он ведь знает, что мы с вами знакомы еще по Уругваю...

— Совершенно верно! Так я уже сегодня могу переночевать здесь?

— Ночуйте, Освальдо, я сейчас ухожу. Вот там в шкафу найдете все необходимое.

— Благодарю и надеюсь, что после революции я смогу так же сердечно принять вас у себя в доме, дон Мигель, — церемонно сказал Лагартиха.

— Ладно, не будем загадывать. Маду писал, что вы их проводили на «Бьянкамано»?

— Да, имел удовольствие. Он, между прочим, сказал, что вы еще продолжите сбор материалов о немецких колониях, так что мы попрощались ненадолго... Кстати! Я ведь тоже для вас кое-что узнал...

Лагартиха достал записную книжку и принялся листать, разыскивая нужную страницу.

— Понимаете, уже после их отъезда я виделся с коллегой из

Чили... где же это, дьявол... и он рассказал любопытную вещь, очень любопытную... а, вот! Понимаете, в Чили уже два года немцы скупают через разных подставных лиц участки земли в провинции Линарес — вдоль нашей границы. Большие участки, прямо сотнями гектаров. За всем этим стоят два человека — Уолтер Рауф и... Федерико Свемм — или Чвемм, как это произносится?

— Швемм, вероятно, — сказал Полунин, — Фридрих Швемм.

— Совершенно верно. Про Швемма мало что известно, а другой — Рауф — был... обер-стурм-фюрер, — медленно прочитал Лагартиха. — Кажется, какой-то большой чин? Так вот, они там хотят создать огромную колонию бывших нацистов, своего рода центр...

— Почему именно в Чили, а не в том же, скажем, Парагвае?

— Парагвай, что ни говори, все-таки захолустье, им хочется поближе к цивилизации. А Чили подходит как нельзя лучше хотя бы потому, что чилийское законодательство предусматривает самый короткий срок давности — всего пятнадцать лет. Понимаете? Уже в шестидесятом году любой военный преступник, проживающий в Чили, будет юридически неуязвим.

— Интересно... Где это, вы говорите?

— Как мне объяснили, в районе перевала Гуанако, на границе с южной частью провинции Мендоса. Это примерно на широте Буэнос-Айреса, — проведите отсюда прямую линию на запад, где-то там.

— Странно, что они выбрали такое место — вплотную к аргентинской границе, — задумчиво сказал Полунин.

— Да, я тоже обратил внимание. Очевидно, есть свои соображения и на это. Если будете собирать свои материалы, неплохо бы посетить те места и проверить, не скупают ли они землю и по эту сторону, у нас. Когда вы думаете возобновить работу?

— Маду собирался приехать где-то в сентябре... Проверим для начала Кордову, там много немцев.

— Кордову? — Лагартиха помолчал. — В сентябре вам лучше поработать в другом месте, дон Мигель...

Что-то в его тоне заставило Полунина насторожиться.

— В другом месте? — переспросил он, подумав. — Почему?

— Ну... как вам сказать. Кордова подвержена резким колебаниям климата... особенно весной. В сентябре там может быть довольно... жарко.

— Понятно...

Полунин налил себе остывшего кофе и выпил залпом, поморщившись от горечи.

— А синоптики ваши не ошибаются? — спросил он, закуривая.

Лагартиха улыбнулся, пожал плечами.

— Синоптики всегда могут ошибиться... такая уж у них наука. Но в данном случае прогноз скорее правдоподобен.

Полунин долго наблюдал за стружкой дыма, стекающей с уголька на конце сигареты.

— И когда же примерно можно ожидать наступления жары — в начале месяца, в конце?

— Где-нибудь в середине, я думаю...

...Вот черт, этого еще не хватало. Если они и в самом деле заварят кашу в середине сентября — времени остается совсем немного, можно и не успеть. А потом будет поздно. Перон немцев терпит, а будет ли терпеть новое правительство — неизвестно. Они в таком случае просто разбегутся, как крысы, — в Парагвай, в Чили, куда угодно. И уж в этой суматохе за Дитмаром не уследишь. Тем более что Кривенко сам удерет в первую очередь и следовать за «дедом» будет некому...

— Ладно, Освальдо, — Полунин посмотрел на часы, встал и вытащил из кармана связку ключей на цепочке. — Оставляю вас отдыхать, уже поздно. Вот, это от квартиры... когда будете уезжать — возьмите с собой на всякий случай, у меня есть еще один. Вдруг вам пригодится еще когда-нибудь.

— Спасибо, вы меня просто выручили, — сказал Лагартиха. — На тот же случай запишите и мой адрес — это, кстати, здесь совсем близко — авенида Президента Кинтаны...

Выйдя на улицу, Полунин заметил, что и в самом деле стало как будто теплее. Антарктический холод из Патагонии, принесенный сюда дувшим несколько дней подряд южным памперо, начал отступать под натиском теплого северного ветра, и в воздухе уже ощутительно пахло мягкой весенней сыростью. Завтра днем, вероятно, будет совсем тепло...

До площади Либертад, где жила Дуняша, от его квартиры было пять кварталов — ровно десять минут неспешным прогулочным шагом. За эти десять минут Полунин впервые обдумал план действий, логично вытекающих из всего того, что он только что узнал. Дитмара надо брать немедленно, но до прихода «Лярошели» его придется где-то держать; а «Лярошель» — если у Филиппа верные сведения — прибудет в Буэнос-Айрес не раньше конца сентября. Из Кордовы его, естественно, придется увезти сразу — но куда? Тут, пожалуй, без Морено не обойтись. Либо он укажет подходящее место в Аргентине (мало ли у него здесь знакомых скотоводов), либо Дитмара можно на это время вывезти в Уругвай. Лагартиха сказал однажды, что у старика есть личный самолет, — вряд ли здесь так уж строго охраняется воздушная граница, а ночью это и вовсе не сложно. Кстати, и в нейтральных водах — для передачи на «Лярошель» — его проще будет вывезти с восточного побережья Уругвая, нежели из устья Ла-Платы, где постоянно патрулируют катера Морской префектуры. Да, именно так и нужно действовать. Морено, конечно, в помощи не откажет, только бы он вовремя вернулся из своего европейского вояжа...

Когда Полунин вошел в квартиру, открыв своим ключом, Дуняша в черном тренировочном костюме сидела посреди комнаты на полу в «позе лотоса», выпрямившись и неподвижно глядя перед собой. Последнее время она стала увлекаться какой-то азиатской мистикой — то ли йогой, то ли дзен-буддизмом, Полунин в этом не разбирался. Иногда он заставлял ее стоящей на голове.



Проходя мимо, он нагнулся и щекотнул ее под ребро. Дуняша подскочила и зашипела, как рассерженная кошка:

— Но ты просто с ума сошел, я тебе сколько раз объясняла, нельзя так брутально отвлекать человека, когда он погружен в медитацию! Ты хочешь, чтобы со мной случился один шок?

— Извини, я не знал, что это так опасно. Сиди, сиди...

— Ты уже все равно все испортил, — я только что сумела погрузиться наконец в себя, второй раз не получится. — Дуняша встала и попрыгала, разминая ноги. — Будешь ужинать?

— Нет, не хочу, иди спать, уже второй час. Слушай, где у тебя бумага и конверты?

— Где-то на столе, посмотри. Ты еще не ложишься?

— Сейчас, только напишу письмо. Нужно обязательно отправить его завтра утром, это срочно...

Через десять дней он получил каблогранму от Филиппа: «Смета утверждена встречай шестого сентября аэропорт Пистарини рейс Эр-Франс восемь ноль два».

Теперь, когда план похищения Дитмара был продуман во всех подробностях, когда была уже намечена точная дата — суббота десятого сентября, время словно ускорило свой бег, и пустота ожидания вдруг сменилась для Полунина тревожным ощущением неготовности, — так бывало с ним в давние студенческие времена, когда приближалась сессия или последний срок сдачи курсовой работы, а что-то оставалось еще несделанным, невыученным, ненаписанным...

Он понимал, что сейчас уже нельзя сделать ничего сверх того, что уже сделано, и что некоторые слабые места плана, — в частности, остающийся открытым вопрос, где держать Дитмара до прихода «Лярошели», — все это придется решать потом, на месте, в зависимости от обстоятельств. И все же его не переставало тревожить это ощущение невозможности уложиться в сроки, предчувствие неминуемого опоздания; каждое утро начиналось для него с того, что он бросал взгляд на календарь и пересчитывал остающиеся дни. А их делалось все меньше и меньше.

Филипп и Дино прилетают шестого — это вторник. Если седьмого они выедут в Кордову, у них будет там еще три-четыре дня, чтобы осмотреться на месте и все подготовить. Ближайшая суббота — десятое; ждать следующей уже опасно. Если Лагартиха прав в своих прогнозах, семнадцатого в Кордове может быть «слишком жарко». Значит, десятого.

Наступило утро, когда Полунин сорвал с календаря августовский лист. Это был рекламный календарь «Автомобильного клуба», с яркими фотографиями живописных уголков Аргентины; на сентябрьском листе, под надписью «Cordoba — siempre de temporada», жизнерадостная молодая пара любовалась панорамой лесистых холмов, выйдя из остановленного на обочине горной дороги сверкающего голубого «крайслера». Надо же, усмехнулся Полунин, такое совпадение.

— Ну, вот и сентябрь пришел, — сказала Дуняша, тоже

посмотрев на картинку.— Ужасно рада, что кончилась эта противная зима, надо и нам с тобой съездить как-нибудь в горы. Ты ведь со своими друзьями туда собираешься?

— Да, возможно...

— А мне нельзя с вами?

— Это неинтересно, Дуня, деловая поездка.

— Опять деловая! Я думала, ваша экспедиция уже совсем кончилась?

— Она-то кончилась, просто они хотят еще кое-что там посмотреть, и я обещал с ними съездить.

— Поезжай, конечно, чего тебе здесь сидеть. Они когда прилетают, шестого? Знаешь что, ты привози их из аэропорта прямо сюда. Я вас угощу настоящим русским обедом, хочешь?

— А что, это неплохая мысль. Заодно и познакомитесь, у тебя с Филиппом найдется о чем поговорить.

— Филипп — это француз? Он что, из Парижа?

— Нет, но жил в Париже. Дино тебе тоже понравится, я уверен, сразу начнет за тобой увиваться.

— О-ля-ля, тогда тем более! В субботу съезжу к Брусиловскому, куплю все, что нужно...

Это было в четверг. На другой день Полуниин еще раз позвонил в Монтевидео — секретарь Морено сказал, что дон Хосе еще не вернулся, но будет дома не позже двадцатого. С отсутствием Морено из цепи намеченных действий выпадало очень существенное звено, но времени на пересмотр плана уже не оставалось. Черт с ним, решил Полуниин, на месте что-нибудь придумаем...

В понедельник пятого Кривенко позвонил, как обычно, в половине двенадцатого.

— Перемен никаких? — спросил Полуниин. — Тогда слушай внимательно. В четверг утром я буду в Кордове, — можешь подойти к десяти часам на автобусную станцию? Там рядом есть бар, не помню, как называется, но внутри на стенах висят старые афиши коррид — хозяин, верно, испанец. Я тебя там подожду.

— В десять утра? Попробую, — сказал Кривенко. — Но вот если нужно будет куда-нибудь с ним ехать...

— Ладно, не сможешь — так не сможешь, тогда я тебе вечером позвоню домой. Ты все там же? Добро. Значит, утром я тебя жду в течение часа, и если не придешь — вечером будь у себя. Теперь другое. Он в субботу ездил к своей бабе?

— Ездил, а как же. У немцев все по расписанию, — загоготал Кривенко.

— Ты узнал в гараже, когда он ставит машину?

— По-разному, говорят, когда в час, когда в два. Но обычно не позже трех...

— Ясно. Ключи от машины в одном экземпляре?

— В двух. Он второй заказал на всякий случай — вдруг потеряется. Так что и у него свои, и у меня.

— В котором часу ты его туда привозишь?

— Куда?

— К бабе, едрена мать!

— Ясно, ясно,— заторопился Кривенко.— Туда я его привожу всегда в десять часов. Вечера, то есть.

— Понимаю, что не утра. Машину оставляете возле ее дома?

— Нет, зачем же. Там через одну квадрату тупичок есть такой — без фонаря, и деревья густые. Туда и ставим. Она, верно, не хочет, чтобы соседи видели, что у нее гость каждую субботу...

— Немка?

— Немка, яволь, фамилию не знаю, а зовут фрау Клара. Видел я ее раз — баба ничего, видная, есть за что подержаться.

— У меня все,— сказал Полунин.— В четверг увидимся...

...Следующий день — вторник шестого сентября — был каким-то особенно светлым, насквозь пронизанным сиянием весеннего солнца. С утра Дуняша настезь распахнула окна, теплый ветер ходил по комнате, вздувая занавески и шурша бумагами на столе. Все словно расцвело и распустилось за одну ночь — и раскидистые омб́у в сквере на площади Либертад, и вязы перед Дворцом трибуналов, и эвкалипты вдоль автострады, ведущей к аэропорту Пистарини. Боясь опоздать, Полунин попросил таксиста ехать быстрее, и машина, непрерывно воя сигналом, шла в крайнем левом ряду у разделительной полосы, хищно принадавая на рессорах, словно готовясь взлететь, с ревом разрывая в ключья солнечный и зеленый ветер. В аэропорт они приехали как раз в ту минуту, когда узкий длиннотелый «супер-констеллейшн» шел к земле с выпущенным шасси, нацеливаясь на свою посадочную полосу.

Полунин еще издали увидел их в группе пассажиров — отчаянно жестикулирующего Дино и высокого Филиппа с переброшенным через руку плащом. Он сразу как-то успокоился, напряжение последних недель сменилось вдруг уверенностью, что все будет хорошо. Дино и Филипп тоже были в отличном настроении, в такси они хохотали всю дорогу, вспоминая парагвайские похождения Дино, Кнобльмайера с его квакающим прусским акцентом, поездку в Чако, которая теперь казалась им чуть ли не пикником. С хохотом вывалились из машины на пласа Либертад, с хохотом втискивались в тесную кабинку лифта. — Дуняша встретила их в дверях, услышав веселый гам еще до того, как лифт добрался до пятого этажа.

— Бог мой,— воскликнула она,— я представляла себе вас лысыми и торжественными,— никогда не думала, что этнографы могут производить столько шума, о-о-о, теперь-то я хорошо понимаю, почему Мишелю так нравилось ездить по джунглям! А где же мадемуазель Астреа? Я так жаждала наконец-то ее увидеть...

— Это удовольствие, мадам, от вас не уйдет,— заверил Филипп, целуя ей руку.— Сейчас она просто захотела воспользоваться перерывом в нашей работе, чтобы съездить в Бельгию...

Полунин вышел на кухню открывать консервы. Из комнаты слышались новые взрывы смеха, теперь уже и Дуняшиного,— гости, судя по всему, быстро нашли с хозяйкой общий язык. Он открыл дверь и, перехватив ее взгляд, поманил пальцем.

— Ну как они тебе?

— Все ужасно милые, — с энтузиазмом сказала Дуняша, — а этот Маду — просто эпатантный<sup>1</sup> тип, я хорошо понимаю теперь вашу секретаршу. Бедняжка, как она теперь без него, а впрочем, в Брюсселе ей будет с-кем утешиться. Идем — раздвинете там стол, пора накрывать...

— Месье, — торжественно провозгласила она, когда гости уселись, — сегодня вам будет предоставлена уникальная и незабываемая возможность познакомиться с настоящей русской кухней. Русской по рецептам, хочу я сказать, потому что продукты — увы — местные...

— Одну минутку! — перебил Полуниин. — Если уж на то пошло, у меня есть один не местный продукт, без которого, я чувствую, нам сегодня просто не обойтись...

Он вышел на кухню и принес заиндевелую бутылку.

— Это знаменитая русская водка, о которой вы, черти, столько слышали и которую никогда не пробовали. Думал оставить на потом, — он подмигнул Дино и Филиппу, — но это, говорят, плохая примета, так что разольем ее сейчас... тем более что поводов к этому, насколько я понимаю, больше чем достаточно. А потом, когда все кончится, шеф экспедиции поставит нам бутылку лучшего французского коньяка.

— Слово скаута, — поклялся Филипп, подняв два пальца. — Она, кстати, уже у меня в чемодане. Но скорее, скорее, мы жаждем попробовать русской водки, — я уже заранее чувствую себя таким Распутиным. Подать сюда великую княжну!

— О-ля-ля, вы опасный человек, мсье Филипп, — рассмеялась Дуняша, — что же будет дальше? Наливай, Мишель, и начинайте закусывать, а то борщ перестоятся...

— А, боржче, — радостно закричал Дино, — это я ел в России! Я рассказывал вашему мужу, как одна старая женщина-казак варила нам боржче из дохлого петуха, помнишь, Микеле? Это было в развалинах Тормосино, мы бежали от Сталинграда, а петуха нашли в канаве. Но какой там был холод, мамма миа!

— Бог мой, — изумилась Дуняша, — что вы там делали, под Сталинградом?

— Главным образом, пытался попасть в плен, но из этого ничего не получилось. С румынами у нас было полное взаимопонимание, но боши нам почему-то не доверяли — фельджандармерия шла просто по пятам. Позже, уже на Украине, они нас разоружили как изменников. А тут еще Бадолье, черт его побери, со своим путчем! Тогда-то нас и стали рассылать по лагерям — кого в Германию, кого во Францию...

— Уймись, — сказал Полуниин, наливая его рюмку, — сегодня можно без фронтовых воспоминаний. Итак, друзья, за встречу — и за успех! Предупреждаю: пить нужно до дна, сразу, одним глотком...

Водка всем понравилась и еще больше подняла настроение. Понравился и борщ, и пельмени, которые Дино нашел похожими

---

<sup>1</sup> Epatant — потрясающий, сногшибательный (фр.).

на итальянские ravioli, но вкуснее. Одолеть пирожки уже не смогли, — Филипп сказал извиняющимся тоном, что русская кухня божественна, но тяжеловата, вроде фламандской. Действительно, к концу обеда все немного осоловели и притихли.

— Ничего, — сказал Полунин, — пирожки мы прикончим позже, а сейчас, я думаю, без моциона не обойтись. Давайте-ка сходим в мои апартаменты, устрою вас с ночлегом, и заодно обсудим наши экспедиционные дела.

— Да, — подхватил Филипп, — было бы бессовестно утомлять мадам разговором о скучных материях.

— Мадам все равно займется посудой, так что можете не искать оправданий, — засмеялась Дуняша. — Ступайте, а вечером приходите пить чай, вы еще не все попробовали.

Они отправились на Тальякауано. Свенсона дома не было, но Дино на всякий случай заглянул в его комнату. Потом он пошел принимать душ. Филипп с облегчением стащил пиджак и растянулся на койке.

— Если тебя, старина, так кормят каждый день, то можно только удивляться, почему ты такой тощий...

— Не беспокойся, — крикнул из ванной Дино, — моя Маддалена тоже знает, как кормить мужа и как принимать гостей!

— Если бы она знала, чем ты занимался в Парагвае, она бы тебя вообще не кормила, старый ты павлин. Давай скорее, что ты там возишься...

— Иду, иду...

Когда Дино вышел из ванной, расчесывая мокрые волосы, Полунин достал карту Аргентины и развернул на столе.

— Итак, — сказал он, — Дитмара будем брать в эту субботу. По субботам он ездит к своей любовнице, шофер оставляет ему машину и уходит. Других вариантов я не вижу. Любовница Дитмара живет на окраине Кордовы, в глухом районе. Это, конечно, имеет и свои неудобства — на безлюдной улице труднее организовать слежку. Но выбирать не приходится. Он выходит от нее обычно после полуночи, иногда в час, иногда в два. Там его и нужно накрыть — когда пойдет к машине. Согласны?

Филипп кивнул, Дино тоже сказал, что считает этот вариант разумным.

— Так, с этим ясно, — продолжал Полунин. — Взяв Дитмара, мы возьмем его в заранее подготовленное место, — нужно что-то найти, снять какой-нибудь пустой домишко. Что угодно, хотя бы заброшенное ранчо. Там он должен написать свои показания...

— На кой черт? — спросил Филипп. — Показания он будет давать перед судом.

— Где? В Руане? До Руана его еще нужно довести, — возразил Полунин. — А это будет не так просто.

— Микеле прав, — сказал Дино. — Дитмар должен дать показания в письменном виде, сразу. Мы заверим его подпись как свидетели. И это должно быть сделано немедленно.

— Ну, допустим, — согласился Филипп. — Давайте дальше.

— Дальше его придется где-то держать до прихода «Лярошели». Вот это и есть самая сложная часть плана. Будь Морено на месте, мы могли бы попросить самолет...

— Какой самолет?

— Его, личный. Лагартиха говорил, у Морено небольшой спортивный самолет. Мы бы сразу вывезли Дитмара в Уругвай, а там у Морено достаточно эстансий в глуши, чтобы можно было его держать под замком сколько угодно. Но Морено нет — я звонил в пятницу, он будет только после двадцатого. А до двадцатого мы в Кордове оставаться не можем.

— Из-за прогнозов Лагартихи? — спросил Филипп. — Не знаю, мне они представляются несерьезными. Даже если допустить, что дата восстания действительно намечена, то неужели он станет выбалтывать ее каждому постороннему?

— Во-первых, я для него не совсем посторонний, — возразил Полунин. — Я для него — человек, который предоставил ему убежище, ни о чем не спрашивая, и это убежище оказалось безопасным. У него были достаточные основания мне доверять...

— О том, что убежище окажется безопасным, он в первый вечер еще не знал, — заметил Дино.

— Верно. Ну, значит, поверил заранее. Может такое быть? Может. А во-вторых — не забывайте, речь идет об аргентинце. Их конспиративные методы кажутся нам наивными, но для них это в порядке вещей. Не исключено, что такой Лагартиха стал бы молчать под пыткой, но в беседе с приятелем он может выболтать что угодно...

— Ну, хорошо, — сказал Филипп. — Короче говоря, ты считаешь, что через две недели в Кордове может вспыхнуть восстание?

— Я считаю, эту возможность нужно иметь в виду.

— В таком случае, увезем Дитмара оттуда, как только захватим.

— Да, но куда? Самое удобное место — Энтре-Риос, на границе с Уругваем... вот, смотрите...

Филипп встал и, подойдя к столу, склонился над картой.

— Сколько это километров от Кордовы?

— Около семисот...

— Одна ночь пути, — сказал Дино. — Если выедем в воскресенье вечером — утром в понедельник будем на месте. А до понедельника Дитмара не хватятся. Дороги хорошие?

— От Кордовы до Росарио — да, а вот как тут, не знаю...

Все трое долго молчали, разглядывая карту, потом Филипп сказал:

— Ну, что ж... Вероятно, ничего другого пока не придумать. Ты как, Дино?

— Я — за.

— Тогда будем считать, что договорились. А что с этим твоим шофером?

— Отправим куда подальше, — усмехнулся Полунин. — Пусть едет в Парагвай, там у него найдутся друзья...

— Я что-то не очень понимаю. Выходит, моя работа кончена?  
 — Здесь — да. Дитмар переходит ко мне, а ты получишь другое назначение.

— А... с Келли как же? — неуверенно спросил Кривенко.

Полунин, полуотвернувшись от собеседника и свесив руку за спинку стула, продолжал разглядывать выцветшую афишу с изображением матадора, взмахнувшего мулетой перед самыми рогами быка.

— Ты деньги от кого получаешь, от меня или от Келли?

— Да нет, я просто...

— Короче говоря, пусть это тебя не волнует. Ты сейчас свободен?

— До обеда отпросился.

— Поехали, покажешь мне, где живет эта ваша фрау Клара...

В автобусе Кривенко удрученно молчал — то ли ему не хотелось расставаться с полюбившимся поднадзорным, то ли не давала покоя мысль, не прощтрафился ли чем-нибудь перед строгим начальством. На одной из остановок тронул Полунина за локоть: «Следующая — наша...»

Они вышли на тихой, тенистой от платанов окраинной улочке. Полунин осмотрелся, стараясь запомнить ориентиры — альмасен на углу, дом необычной для здешних мест архитектуры, похожий на швейцарский «шале», незастроенный участок рядом. На следующем квартале Кривенко остановился, показал рукой через улицу.

— Вон тот, белый, со ставнями...

— Пошли, нечего пальцем тыкать, — Полунин, не замедляя шага, окинул дом быстрым взглядом, словно сфотографировал в памяти. — Машину где оставляете?

— Дальше, за углом...

Тупичок действительно был глухой и вечером, вероятно, совсем темный.

— Ясно, — сказал Полунин. — Ну что ж, здесь я с ним и встречу, это удобно...

— Мне его предупредить?

Полунин, закуривая, пожал плечами.

— Да нет, пожалуй... вдруг еще что-нибудь помешает, а он будет ждать. Нет, ничего пока не говори. В субботу, когда оставишь его здесь, приходи сразу в тот бар — возле автобусной станции. С десяти вечера я буду там. Только сразу, никуда не заходя, понял?

— Яволь! Буду как штык.

— Теперь вот еще что. Когда ты последний раз писал Келли?

— Да уж дней двадцать будет, — с виноватым видом сказал Кривенко, — все как-то было не собраться...

— И хорошо, что не собрался. — Полунин достал лист, протянул Кривенко. — Держи! Перепишешь это своей рукой и завтра пошлешь. Почерк разбираешь?

Кривенко, наморщив лоб, стал медленно читать вслух по-испански: «Соратник Келли, в субботу мы с объектом наблюдения едем недели на две в Сан-Луис, так что если что будет надо, то пишите туда до востребования центральный почтамент...»

— Все верно, — кивнул Полунин. — Закончишь там, как у вас принято обычно. «Диос и Патрия»<sup>1</sup> — так, кажется?

— Так точно. А подпись — соратник такой-то.

— Только смотри, завтра же сдашь на почту. Да, пока не забыл...

Он отдал Кривенко деньги — такую же пачку, как прошлый раз в Буэнос-Айресе, новенькую, в банковской оклейке.

— Вот спасибо, Полунин! А то я уж, признаться...

— Иди, иди, на работу опоздаешь.

Обрадованный Кривенко побежал к автобусной остановке. Полунин походил еще по прилегающим улицам, чтобы лучше освоиться с районом действия, даже набросал в записной книжке схематичный план, пометив стрелками улицы с односторонним движением, и вернулся в отель.

— Ну, кажется, все в порядке, — сказал он. — Пришлось дать сукиному сыну еще пять тысяч, но что поделаешь. Пошли пообедаем, и нужно приступить к поиску убежища.

— Кажется, оно найдено, — сказал Филипп. — Дино тут встретил своего земляка...

— Да какой он мне земляк, иди ты! — возмутился Фалаччи. — Я исконный лигуриец, а этот заморыш — из Реджо-Эмилини. С кем они действительно земляки, так это с Бенито, — тот ведь оттуда родом, во время фашизма все реджо-эмильянци ходили гордые, как индюки, — как же, земляки самого дуче, поррка мизерия!

— Ладно, успокойся, дело прошлое. Расскажи лучше, что ты там нашел со своим не-земляком.

— Понимаете, я ему сказал, что нам нужно помещение где-нибудь за городом, чтобы испытать точные геодезические приборы, которые не переносят шума и вибрации. А он говорит: я знаю такое место, у меня брат сторожем работает в старых каменоломнях...

— Интересно. А где это?

— Где-то там, в сторону гор, вечером съездим. Главное, говорит, там так тихо — кричи не докричишься...

Домик сторожа действительно оказался самым подходящим местом. В карьерах уже давно не работали, отвалы щебня поросли бурьяном, оборудования не было; сторож присматривал только за тем, чтобы не воровали камень, — компания, вероятно, все еще не теряла надежды его продать. За триста песо итальянец охотно согласился на недельку переселиться в город.

— Только раньше не возвращайтесь, — предупредил Дино, подняв палец. — У нас крайне опасные научные эксперименты!

---

<sup>1</sup> «Dios y Patria» — «Бог и Родина» (исп.).



— Нет, нет, — сторож замахал руками. — Боже меня упаси! Вы тогда скажите брату, когда закончите. А опасного ничего не оставите?

— Все вывезем до последнего атома, — заверил Дино.

До западной окраины Кордовы отсюда было около десяти километров, до шоссе, по которому ходил автобус, — не больше трех. Словом, лучшего тайника было не придумать.

В субботу они рассчитались в отеле, забрали свои вещи и, отвезя все в каменоломню, вернулись в Кордову послеобеденным автобусом. Полунин зашел в агентство «Аэролинеас Архентинас» и взял билет до Формосы — на самолет, вылетающий в пять утра. Когда поужинали, оказалось, что нет еще восьми.

— Что за черт, — нервно выругался Дино, — совсем оно, что ли, остановилось, это проклятое время!

— Спокойнее, дети мои, спокойнее, — сказал Филипп, — мы ждали этого дня достаточно долго, чтобы потерпеть еще несколько часов...

— В Энтре-Риос тоже придется ждать, — напомнил Полунин. — Еще неизвестно, вернется ли Морено к двадцатому...

Ровно в десять они были в баре у автобусной станции. Вошли порознь — сначала Дино с Филиппом, устроившись за дальним столиком в углу, потом Полунин, севший у входа. Прошло еще около часа, прежде чем в дверях показался запыхавшийся Кривенко.

— Извиняюсь, припоздал, — сказал он, подсаживаясь к Полунину. — Думал уж, не выберется сегодня герр Дитмар к своей крале...

— А что случилось?

— Да приехали там к нему какие-то камрады, мать их... Весь вечер просидел с ними.

— Пили? — поинтересовался Полунин.

— Не, вроде трезвый вышел, и в машине не пахло...

— Кстати, он вообще как насчет выпивки?

— Это Дитмар? Поддает — будь здоров, — с почтением сказал Кривенко. — Но абы что пить не станет, ему виски подавай, коньяк.

— Генеральские, однако, вкусы у твоего шефа. Ну ладно, ключи давай сюда.

— Ключи?

— Да, я подожду в машине — не на улице же стоять. Потом ему отдам. В чем он одет сегодня?

— Светлый плащ, шляпа такая... вроде зеленая. Только как же я без ключей в понедельник машину из гаража заберу?

— А тебя в понедельник здесь не будет, — Полунин достал бумажник, протянул Кривенко билет. — На, держи. Твое новое назначение — Формоса, самолет завтра в пять утра.

У капитана отвисла челюсть.

— Формоса, — обалдело повторил он. — Это что же, к Чан

Кай-ши, что ли, меня посылаете? <sup>1</sup> Да я ведь ни хрена по-китайски не петрую!

— Какой тебе еще к черту Чан Кай-ши? — взорвался Полунин. — Ты что, пьян? Город Формоса, а не остров! Столица 'аргентинской провинции Формоса, на границе с Парагваем!

— А-а... ну, понятно. Только чего я там делать буду?

— Ждать инструкций, вот что ты там будешь делать. Каждый день, начиная со следующего воскресенья, будешь приходить на главный почтамт и спрашивать «до востребования». Вопросы есть? Нет вопросов. И правильно, капитан. Бывают положения, когда умные люди вопросов не задают. Ключи быстро!

Кривенко беспрекословно выложил на стол два ключа, прикрепленных к короткой цепочке с брелоком.

— Тогда все, — сказал Полунин. — Как говорится, до следующей встречи. Инструкции, вероятно, получишь дней через десять, а пока поживи там. Только смотри, Кривенко, — он постучал пальцем по краю стола, — чтобы без фокусов сегодня! За тобой присмотрят, пока ты не сядешь в самолет, так что лучи...

Выждав несколько минут после ухода Кривенко, Полунин щелкнул пальцами, подзывая официанта, расплатился и вышел. На углу его догнали Филипп и Дино.

— На, возьми, — сказал он, отдавая Дино ключи. — Чуть не сорвалось сегодня — к Дитмару неожиданно нагрянули какие-то гости... Скорее, вон наш автобус.

Они без труда нашли нужную улицу, дом фрау Клары (ствяни были закрыты, но сквозь прорези-сердечки был виден свет), притаившийся в темном тупичке большой черный «плимут». Дино, позвякав в темноте ключами, забрался внутрь, запустил двигатель. Машина тронулась и, прокатившись немного вперед, вернулась задним ходом.

— Ну что ж, все в порядке, — возбужденным шепотом сказал Дино, опустив стекло и высунув голову наружу. — Я тут не сразу разобрался с переключением скоростей. Мотор запускается легко, это главное. Сейчас посмотрим, как с бензином... — Пригнувшись к щитку, он стал нащупывать кнопки, на секунду включил освещение приборов. — Есть, три четверти бака...

— Ладно, сиди тут, — сказал Филипп, — мы пошли.

Вдвоем они вышли из тупичка. Под фонарем Полунин посмотрел на часы — было десять минут первого.

— Волнуешься? — спросил он.

— Ты знаешь, нет... Даже странно, а?

— Я тоже. Переволновались заранее, теперь перегорело.

— Наверное... — Филипп помолчал, потом добавил: — В маки тоже так бывало, помнишь? Заранее волнуешься, а потом весь словно каменеешь в последний момент...

Они медленно дошли до угла и повернули обратно. Свет за ставнями продолжал гореть, в соседних домах было уже темно.

— Ты узнал, как он одет? — спросил Филипп.

---

<sup>1</sup> Остров Тайвань на Западе принято называть Формозой.

— В светлом плаще... Да не все ли равно, вряд ли отсюда выйдет другой мужчина...

— Почему знать. А если это конспиративная квартира для встреч?

— Не думаю, — сказал Полуниин. — Они же не в подполье...

Половина первого. Без двадцати час. Пять минут второго. Они по нескольку раз прошлись по одной стороне улицы, по другой, постояли на каждом углу. В двадцать минут второго мужчина в светлом плаще вышел из белого домика, закурил и не спеша направился в сторону тупичка.

— Это он! — сквозь зубы сказал Филипп, ускоряя шаги. — Говори по-испански, громко...

— Я тебе говорю, — подхватил мигмом Полуниин, — на эту кобылу вообще никто не ставил! Дохлый случай, че, ее давно уже хотели списать...

Он сунул руку в карман кожанки, ощупал теплую угловатую тяжесть «люгера» и большим пальцем сдвинул предохранитель.

— Андá, — насмешливо бросил Филипп. Из скороговорки друга он, естественно, ничего не понял, но знал, что это испанское словцо может выражать что угодно и применимо во всех случаях жизни.

— Не веришь? — продолжал Полуниин. — Тогда вот сходи завтра к лысому Пепе, спроси у него — и можешь назвать меня рогносом, если он не скажет то же самое. На третьем круге эта дохлятина обходит на полкорпуса самого Фиц-Роя — и как обходит! Мамочка моя, что тут началось на трибунах... Давай, быстро!

Последние слова он произнес по-французски, вполголоса и, бросившись на Дитмара, который к этому моменту опережал их на каких-нибудь два шага, «полицейским» захватом скрутил ему правую руку и ткнул под ребра стволом пистолета. Одновременно то же самое сделал с левой рукой немца Филипп. Дитмар мгновенно замер, не пытаясь вырваться.

— Э, мучачос<sup>1</sup>, что за глупая шутка, — произнес он с досадой, — немедленно отпустите меня, слышите...

— Спокойно, Дитмар, спокойно, — по-французски сказал Филипп. — Сейчас все объясним, только без глупостей, иначе будем стрелять...

— Нет, это просто... мальчишество какое-то, — брюзгливо сказал немец, шурясь от яркого света стосвечевой лампы под потолком. Он обвел взглядом убогую внутренность сторожки, посмотрел на сидящего напротив Филиппа, пожал плечами. — Конечно, я помню и вас и... того господина, — он указал подбородком на Полунина. — Я помню задание, которое выполнял в вашей... вашем отряде. Но это было в сорок четвертом году, тогда очень многие выполняли то, что им приказывали. Уверю

<sup>1</sup> Muchachos — ребята (исп.)

вас, если бывший макизар приезжает сегодня в Федеративную Республику, никто и не думает мстить ему за то, что во время войны он убивал германских солдат...

Дитмар держался спокойно, но был бледен и курил сигарету за сигаретой, — консервная жестянка между ним и Филиппом была полна окурков, разговор уже шел второй час. По-французски он говорил правильно, хотя и с жестким акцентом, лишь временами запинаясь в поисках нужного слова.

— Правильно, — кивнул Филипп, — но «бывший противник» и «предатель» — понятия разные. Не так ли? И потом, если бы мы просто хотели с вами расчитаться, вы уже давно были бы мертвецом, — куда проще застрелить вас на улице, не устраивая этого похищения. Нам нужно другое. Нам нужно, чтобы вы предстали перед французским судом, чтобы во всеуслышание рассказали историю провала руанской сети весной сорок четвертого года. Прежде всего — чтобы реабилитировать память Анри Фонтэна, который после вашего исчезновения был обвинен в том, что явки провалились по его вине. Во Франции есть люди, пытающиеся задним числом очернить все движение Резистанса в целом. Пишут, что макизары были бандитами, что весь гражданский сектор Резистанса был пронизан предательством и так далее. Мне самому пришлось читать, что именно руанские события служат в этом смысле убедительным примером. Так вот — мы хотим, чтобы хоть это пятно было смыто. Мы хотим доказать, что в Руане не было предательства среди своих, а была самая гнусная, подлая гестаповская провокация...

— Прошу прощения, — надменно сказал Дитмар. — Я протестую против лобовых выражений. Я был офицером и выполнял задание своего командования. В самом задании тоже не вижу ничего подлого и гнусного, это была обычная инфильтрация — метод, которым пользуется любая разведка. Разве ваша секретная служба не засылала к нам своих людей под видом нацистов?

— Ладно, Дитмар, — сказал Филипп. — Пусть будет так. Если вы действительно выполняли задание, от которого не могли отказаться, и если суд найдет, что в ваших действиях не было состава преступления, — тем лучше, тогда вам нечего бояться. У вас будет адвокат, свидетели защиты и все прочее. А пока изложите свою версию тех событий в письменной форме — вот бумага...

— Зачем? — спросил Дитмар. — Я напишу, а потом вы меня пристрелите?

— Я еще раз говорю: нам нужно, чтобы вы выступили перед судом, — терпеливо сказал Филипп. — Ваши письменные показания нужны только как гарантия — вдруг вы потом решите отказаться от своих слов?

— Не откажусь.

— Прекрасно, тогда что вас останавливает? Предварительные показания будут зачтены судом как доказательство искренности, готовности помочь правосудию. Уж поверьте, ваш адвокат сумеет это использовать...

Дитмар задумался, закурил новую сигарету.

— Что ж, не возражаю,— сказал он.— Должен ли я изложить свои показания по-немецки или по-французски?

— По-французски, немецким мы не владеем.

— Пишите тогда сами, я буду диктовать, а то запутаюсь в грамматике.

— Я готов,— Филипп придвинул к себе маленькую дорожную «оливетти», заправил в каретку два листа бумаги, пересланных копиркой, и вопросительно глянул на Дитмара.

— Пишите! В декабре тысяча девятьсот сорок третьего года я был вызван к начальнику разведки Семьдесят четвертого армейского корпуса, полковнику Эрнсту Вольфгангу...

Полунин с Дино вышли из сторожки и стали у окна — так, чтобы видеть, что делается внутри. То, что там делалось, выглядело со стороны вполне мирно: Филипп быстро печатал двумя пальцами, Дитмар сидел в непринужденной позе, закинув ногу на ногу и покачивая носком замшевой туфли.

— Спокойный он, этот роконосец,— заметил Дино,— я думал, начнет скулить...

— Да, в выдержке ему не откажешь. Хотя, в сущности, чего ему бояться? Что мы его не собираемся хлопнуть, он уже понял, а на суде легко отделается.

— О, это уж точно! Я в Италии посмотрелся на эти процессы. Нанимают лучших адвокатов, свидетелей обвинения запугивают, и в результате — пшик. Как отсыревшая хлопущка, знаешь? Впрочем, это уж от нас не зависит. Наше дело — доставить его в Руан, а там уж как получится.

— В Руан... Сначала до Уругвая попробуй добраться.

— Доберемся,— сказал Дино.— Машину только надо хорошо проверить.

— Что-нибудь не в порядке?

— Да нет, я имею в виду обычную профилактику — смазать, почистить карбюратор, установить зажигание. И резину хорошо бы сменить на передке.

— В здешних мастерских это делать опасно,— подумав, сказал Полунин.— Поезжай лучше в Альта-Грасиа — так будет спокойнее.

— Далеко отсюда?

— Километров сорок.

— Прекрасно. Жаль только, придется ждать до понедельника.

Уже рассвело, когда Дитмар кончил диктовать свои показания. Филипп монотонным от усталости голосом прочитал вслух все двенадцать страниц.

— Дитмар, я правильно записал ваши слова?

— Будем считать так...

— Свидетели,— Филипп обернулся к Дино и Полунину,— считаете ли вы нужным добавить что-либо к показаниям Дитмара?

Дино молча пожал плечами.

— Там одно место... насчет Фонтэна,— сказал Полуниин.— То, что улики сложились против него,— это случайно вышло, или вы хотели, чтобы так получилось? — спросил он у Дитмара.

— В общем, конечно, не совсем случайно,— подумав, ответил тот.

— Тогда это надо отметить. Прикинь, Фил, как лучше сформулировать.

— Ну...— Филипп подавил зевок.— Можно написать так: «Также признаю, что улики против Анри Фонтэна были мною подтасованы нарочно, поскольку в мою задачу входило не только установить личности рядовых участников подпольной организации, но и скомпрометировать ее руководство в глазах местного населения». Вы согласны с такой формулировкой, Дитмар? Свидетели тоже?

Он допечатал фразу и передал пачку исписанных листов Дитмару.

— Прочитайте внимательно и подписывайте, если не найдете никаких неточностей. Подписать нужно каждую страницу, оба экземпляра.

Он встал, потянулся и сделал знак Дино и Полуниину. Втроем они вышли из сторожки, оставив Дитмара погруженным в чтение.

— Дело вот в чем,— сказал Филипп.— Нам это тоже нужно будет подписать как свидетелям. Вопрос — подписывать ли и Мишелю?

— А почему нет? — спросил тот.

— Я бы этого не делал. Дитмар ведь не знает твоей настоящей фамилии? Я даже не уверен, что он помнит, как тебя называли в отряде. Тем лучше, старина, пусть он и пребывает в неведении. Когда на суде речь пойдет о том, как происходило похищение...

— Верно,— подхватил Дино.— Твое имя не должно упоминаться, мы с Фелипе ничем не рискуем, а ты и твоя жена — дело другое. Микеле, он прав.

Полуниин почувствовал себя по-мальчишески задетым, но возразить было нечего.

— Как хотите,— он пожал плечами,— можно обойтись и без моей подписи, двух ваших хватит...

Дитмар, когда они вернулись в прокуренную сторожку, заканчивал чтение, аккуратно расписываясь в углу каждой страницы. Дождавшись последней, Филипп снова вставил ее в машинку и напечатал: «Настоящие показания записаны со слов Густава Дитмара и собственноручно подписаны им 11 сентября 1955 года в городе Кордова, Республика Аргентина, в присутствии нижепоименованных свидетелей, бывших членов 6-й группы Сопротивления в департаменте Приморской Сены и бойцов отряда ФФИ «Бертран Дюгеклен»...»

— А теперь — спать,— сказал Дино, расписавшись следом за ним.— Первым дежурю я, через четыре часа разбужу Микеле, Филипп пусть выспится подольше,— не понимаю, как у него пальцы выдержали...

Дитмара заперли в кладовой — надежном каменном помещении без окон, войти в которое можно было только через сторожку. Было уже совсем светло, над Кордовой всходило солнце. «Интересно, не опоздал ли Кривенко на самолет», — подумал Полунин, засыпая.

Воскресенье прошло томительно. Дитмар вел себя тихо, шуршал в кладовой газетами, пообедал вместе со всеми и снова удалился к себе. Когда ему предложили прогулку, он не отказался — чинно вышагивал по усыпанной щебнем площадке перед карьером, держа руки за спиной, как полагается дисциплинированному узнику. «Заранее входит в роль, — шепнул Дино, указывая на него Полунину, — ничего, пусть привыкает». За ужином Филипп предложил ему написать записку в контору, чтобы там не удивлялись его отсутствию в ближайшие дни.

— И отсутствию шофера тоже, — добавил Полунин.

Дитмар криво усмехнулся.

— Алекс, насколько понимаю, работал на вас?

— Естественно, — сказал Полунин. — Обычная инфильтрация, говоря вашими словами.

Дитмар понимающе кивнул и, вырвав из своей записной книжки листок, написал под диктовку: «Сеньорита Флорес, я хочу перевести работы в Эмбальсе. Если будет что-нибудь срочное — передайте через Алекса, он заедет в конце недели».

В понедельник утром Дино довез Полунину до автобусной остановки и свернул на шоссе, идущее в Альта-Грасиа. Отправив один экземпляр показаний заказным экспресс-пакетом в адрес Дуняши, Полунин отнес в «Консэлек» записку Дитмара, потом отправился на переговорный пункт и заказал разговор с Монте-видео.

Ждать пришлось около часа, но ожидание оказалось не напрасным. Услышав знакомый уже голос личного секретаря Морено, Полунин спросил, нет ли новых известий о возможной дате возвращения дон Хосе, и секретарь сказал, что дон Хосе вернулся в пятницу и находится в своей офисине. Их тут же соединили.

— Ола, — хрипло прорычала трубка голосом доктора Морено. — Это вы, молодой человек? Рад вас слышать. Извините, простужен как бестия. Ну, как там ваша охота?

— Полный успех, доктор, — сообщил Полунин.

— Неужто? Ну, поздравляю. Честно говоря, мне не очень верилось, что вы сумеете выследить добычу. Рад за вас! Что-нибудь от меня требуется? Выкладывайте.

— Доктор, у нас проблема с доставкой трофея, здесь не очень удобно его хранить...

— Ну, еще бы. Так что вы предлагаете?

— Освальдо говорил, у вас есть самолет...

— Правильная информация! У меня одномоторный «бичкрафт». Постойте, вы звоните из Кордовы?

— Да.

— Далековато, дон Мигель!

— Нет, об этом речь не идет. Завтра мы будем в Энтре-Риос.  
— Это уже реальнее. Где именно?  
— Ну, хотя бы в Конкордии.  
— Можно и не так близко. Впрочем, вы правы — чем ближе, тем лучше. Теперь слушайте: в Конкордии остановитесь в отеле «Колон» — это на улице Карлос Пеллегрини — на всякий случай запишите телефон, можно заранее заказать номер. Двадцать восемь пятнадцать. Записали?

— Записал...

— Хотя заказывать не обязательно. Если мест не будет — скажете управляющему, что вы от меня. Он все сделает. Там и ждите, мой пилот вас разыщет.

— Когда приблизительно это может быть?

— В среду утром, самое позднее — в четверг. Если бог захочет, как говорится.

Полунин засмеялся.

— У бога, я думаю, не будет оснований морального порядка ставить нам палки в колеса...

— Мне тоже так кажется. Скорее наоборот — что, кстати, уже и подтвердилось. Ну а дальше? Что вы думаете делать с трофеем потом?

— Отправим во Францию. Эта часть плана, доктор, уже обдумана.

— Ну, тем лучше. Значит, договорились.

— Спасибо, доктор. Да, еще одно — самолет на сколько мест?

— Четырехместный. «Бичкрафт-бонанса», если вы знаете.

— Нет, я в этих вещах невежда. Четыре места, не считая пилота?

— Нет, с пилотом. Пилот плюс три пассажира.

— Ах, вот что... — Полунин задумался. — А пятерых, значит, уже не поднимет?

— Исключено. В самом деле — ведь вас трое, не считая...

— Да, не считая трофея.

— Увы, тут уж ничем не могу помочь. Придется вам кинуть кости, кому лететь.

— Ладно, это мы решим. Вы ведь моих друзей знаете, обоих?

— Конечно, мы знакомы еще с мая. Не волнуйтесь, дон Мигель, кто бы ни прилетел, я сделаю все, что нужно...

Еще раз поблагодарив Морено, Полунин повесил трубку. Действительно, непредвиденное осложнение...

Однако делать было нечего. Когда все идет слишком гладко, это тоже нехорошо — чрезмерного везения судьба обычно не прощает. Полунин пообедал, купил свежих газет, позвонил в «Консэлек» и с удовлетворением услышал спокойный ответ секретарши, что дон Густаво уехал по делам фирмы и вернется, вероятно, только на будущей неделе. Уже на автобусной остановке он вспомнил, что забыл купить Дитмару бритву, которую тот просил. Пришлось еще идти покупать сукиному сыну туалетные принадлежности.



Вернувшись в каменоломни, он застал все в полном порядке: «трофей» в своей кладовке слушал радио, Филипп читал журналы, лежа в гамаке под навесом.

— Ну, как дела? — спросил он, откладывая «Пари мэтч».

— Сейчас расскажу. Ты обедал?

— Да, поел сам и накормил господина обер-лейтенанта. И он еще выразил неудовольствие, что нет спиртного! Все-таки нет более похабной профессии, чем тюремщик, — Филипп плюнул. — Не знаю, как мы это выдержим до прихода «Лярошели»...

— Выдержим, теперь уж недолго. Я говорил с Морено...

— Он уже вернулся? — обрадованно спросил Филипп.

— Вернулся и обещает прислать свой самолет, мы должны ждать его в Конкордии. К сожалению, всем нам не улететь — мест только три.

— А, черт, досадно... Неужели никак не поместимся?

— Пилот не позволит. Так что придется решать — кому... Филипп задумался.

— Обсудим еще, когда вернется Дино, — сказал он, — но вообще я считаю, что тебе лететь не нужно.

— Какие у тебя соображения?

— Те же, что я уже приводил вчера, когда мы решали, подписываться тебе как свидетелю или не подписываться. Считаю, что тебе разумнее немедленно вернуться в Буэнос-Айрес — ну, как только мы посадим Дитмара в самолет — и постараться обеспечить себе алиби для Келли. Подумай над этим, Мишель, дело может обернуться серьезно. Предположим, здешние немцы что-то заподозрят... Предположим, они поделятся своими догадками с местными альянсистами — не с Келли, который, может быть, тебе доверяет, а с его начальством. Кстати, и его доверие к тебе, — насколько он искренен, кто знает?

— Я, во всяком случае, на его «доверие» не полагаюсь.

— Тем более. А если они возьмутся расследовать это дело всерьез... В конце концов, все наши расчеты до сих пор строились на временной слепоте противника, и пока это оправдалось. Но согласись, стоит лишь им сопоставить ряд фактов — твое участие в экспедиции, которую они уже расшифровали, твой разговор с Келли насчет Дитмара, наконец исчезновение этого рекомендованного тобой осведомителя...

— Ладно, можешь не продолжать. Прекрасно понимаю, что риск есть, — прервал Полунин, — но мы уже обсуждали этот вопрос два года назад.

— С тех пор кое-что изменилось, не так ли? Тогда ты был одиноким бродягой, который при малейшей опасности мог в двадцать четыре часа покинуть Аргентину с одним чемоданом в руке. А теперь? Что будет с твоей женой в случае чего? Как умеет мстить эта сволочь, уж я-то знаю, хотя бы на примере наших ультра...

— Ладно, — сказал Полунин, — отложим это до приезда Дино. Обсуждать — так уж всем вместе.

Он понимал, что Филипп прав и сейчас, как был прав вчера.

Мысль об опасности, которую он невольно навлекал на Дуняшу, давно уже беспокоила и его самого. То, что она ни о чем не догадывается, усугубляло его чувство вины. Строго говоря, конечно, он обязан был хотя бы намекнуть ей о возможной опасности...

Дино приехал, когда Филипп уже принял за приготовление ужина из консервов. Лихо затормозив перед сторожкой, он выскочил из машины и любовно похлопал по капоту.

— Конфетка! — крикнул он, поцеловав кончики пальцев. — Как я сейчас гнал — сто десять на спидометре, и сама держит дорогу! Да я ее теперь и на «Альфа-Ромео» не променяю! Резина новая, свечи новые, клапана отрегулированы, карбюратор заменили на двухкамерный — можно хоть в гонках участвовать. А тормоза какие: чуть тронул педаль — и намертво!

Узнав последние новости, Дино согласился с Филиппом, что Полунину следует возвращаться домой.

— Тем более, — добавил он, — что кому-то из нас нужно быть на «Лярошели», когда она будет уходить из Буэнос-Айреса. Договоренность договоренностью, но лучше, чтобы на судне находился свой человек. Филипп, ты напиши письмо этому твоему капитану, Мишель явится к нему и обо всем договорится окончательно. Они там тебя где-нибудь спрячут, Микеле, а когда мы передадим Дитмара на борт, Филипп отправится с ним, а мы с тобой вернемся на катере.

— А зачем возвращаться тебе? — спросил Филипп. — Поплывешь с нами до ближайшего французского порта, а там поездом.

— Слишком долго, — возразил Дино. — Полечу самолетом, у меня и без того уже все дела в полном расстройстве...

— Ладно, давайте ужинать, — сказал Полунин, — и надо собираться. Выедем, я думаю, часов в одиннадцать, чтобы поменьше было движения на дорогах...

— Кстати, о дорогах! — Дино прищелкнул пальцами. — В этой мастерской я встретил одного *paesano*<sup>1</sup>...

— Интересно, есть на земле место, где бы ты был застрахован от встреч со своими *paesano*? — поинтересовался Филипп.

— Но согласись, от них всегда польза! Парень работает на дальних перевозках и знает эти места наизусть, и он мне сказал, что отсюда напрямик в Санта-Фе мы не проедем... Дай-ка карту, Микеле. Вот, смотрите, прямая дорога через Эль-Тюи и Сан-Франсиско — там сейчас ремонтные работы, сорок километров сплошных объездов. На легковой машине, да еще с полной нагрузкой и ночью, нечего и думать. Он советует ехать на Росарио, а оттуда по правому берегу вверх до Санта-Фе. Это километров на двести дальше, получается большой крюк, но зато всюду асфальт...

— А в Росарио нельзя переправиться? — спросил Филипп.

— Можно и там, оттуда ходит паром до Виктории, но тогда нам весь остаток пути придется ехать по грунтовым дорогам —

<sup>1</sup> Земляка (итал.).

асфальта в Энтре-Риос практически нигде нет. И если там нас застанет дождь...

— Что ж, поедем через Росарио и Санта-Фе, — сказал Полунин, помолчав. — Только вот как быть с Дитмаром...

— В каком смысле?

— Понимаешь, я не очень доверяю его спокойствию. По моему, сукин сын что-то замыслил.

— А что он мог замыслить?

— Не знаю... Ну хорошо, представим себе такую возможность: нас останавливает патруль дорожной полиции, обычная проверка водительских прав. Что, если он в этот момент заорет, что его увозят насильно?

— Надо его предупредить, — предложил Дино, — что в таком случае он немедленно получит пулю в бок.

— На глазах у полицейских? Чепуха, он прекрасно понимает, что мы не такие идиоты.

— Тоже верно, — озабоченно сказал Филипп.

— А если просто — педаль до полу и смываться?

— От них не смоешься, — возразил Полунин. — Ты видел здешних патрульных? Ездят на «харлеях» с форсированным двигателем, и на каждом мотоцикле — двусторонняя радиосвязь. Так что, даже если тебе удастся оторваться от одного, другие уже будут ждать на ближайшем перекрестке. Нет, это не выход...

— Съездить, что ли, в аптеку за хлороформом? — пошутил Филипп.

— Да, хорошо бы... Впрочем, погоди, — сказал Полунин, вспомнив вдруг последний свой разговор с Кривенко. — Ты, кажется, говорил, у тебя есть коньяк?

— Есть. А что?

— А то, что этот сукин сын, по словам шофера, большой любитель коньяка...

— Слушай, пошел ты к черту! Ты соображаешь, что говоришь? Чтобы эта скотина вылакала двадцатилетний «мартель»!

— Ну, ну, оставь. Не пытайся меня уверить, что это последняя бутылка «мартеля» во Франции. Seriously, Филипп, вот тебе и решение проблемы, — кстати, он у тебя еще в обед требовал выпивки...

— Требовать не требовал, но был недоволен ее отсутствием. Нет, парни, как хотите, а это кошунство...

— Микеле прав, — прикрикнул на него Дино. — Не будь гарпагоном и выдай бедняге арестанту его законную порцию, — пусть упьется до потери сознания и не просыпается до самого Уругвая.

— Ладно, черт с вами, — согласился Филипп. — В конце концов, коньяк можно купить и в Монтевидео, было бы что праздновать...

Они вошли в сторожку, Филипп достал из чемодана заветную бутылку, раскупорил, с сожалением понюхал. Полунин отпер дверь кладовой.

— Ужин подан,— объявил Филипп, ставя на стол коньяк и тарелку разогретого корнед-бифа.— Приятного аппетита, герр Дитмар.

При виде бутылки арестант оживился, внимательно изучил этикетку, сказал «гут, гут», но тут же выразил предположение, что его хотят отравить.

— Есть более дешевые способы это сделать,— огрызнулся Филипп.— Дело ваше, не хотите, не пейте, никто не настаивает — Ладно, поверю на слово...

Замысел удался как нельзя лучше — к одиннадцати часам Дитмар был уже мертвецки пьян. Поначалу он разговаривал сам с собой, что-то бормотал, ругался, обозвал своих похитителей иудейскими свиньями и недочеловеками и, явно желая их позлить, затянул было во весь голос «Die Fahnen hoch»<sup>1</sup> — но не доорал первого куплета, умолк и очень скоро захрапел.

Он продолжал храпеть и в машине, когда его не без труда водворили на заднее сиденье. Вслед за Дитмаром быстро погрузили уже собранные вещи, тщательно уничтожили все следы своего пребывания и даже подмели пол. Полуниин погасил свет, запер дверь и сунул ключ в условленном со сторожем месте под порог. Дино, вытащив из-под рубашки золотой медальончик с изображением святого Христофора — покровителя странствующих и путешествующих, — поцеловал его, потыкал направо и налево рогами из пальцев, дабы отогнать нечистую силу, и взялся за рычаг скоростей. Перегруженная машина тяжело пошла по щебенке, раскачиваясь на ухабах и высвечивая фарами бело-желтые отвалы известняка.

Около полуночи, благополучно проскочив все еще шумные, несмотря на позднее время, центральные кварталы Кордовы, они увидели нужный указатель и выехали на автостраду номер 9. Кончились последние улочки предместья, исчезли фонари, справа отраженно вспыхнул и пропал во мраке большой бело-синий щит: «Вилья-Мариа — 146 км, Росарио — 402 км, Буэнос-Айрес — 768 км».

— Все правильно,— удовлетворенно сказал Дино, прибавив скорости,— четыреста километров — как раз к завтраку и поспеем.

Дино и Филипп сменяли друг друга каждый час. Полуниина, как водителя менее опытного и к тому же не имеющего прав, допускали к рулю только на безопасных участках, свободных от движения и дорожных патрулей. Впрочем, движение было небольшое — автотуристы по ночам не ездят, и навстречу попадались лишь огромные фургоны междугородных перевозок,— просторная кабина, оборудованная спаль-

---

<sup>1</sup> «Выше знамена» (нем.) — начальные слова песни «Хорст Веспель».

ным местом для запасного водителя, обычно позволяет экипажу такой машины быть в пути круглые сутки.

Осталась позади Вилья-Мариа. Шоссе, словно прочерченное по линейке, бежало теперь почти прямо на восток, — к четырем часам небо впереди стало светлеть, прозрачно наливаясь рассветной синью. Вокруг лежала открытая до самого горизонта степь — проволочные изгороди пастбищ, чертополох, кое-где одинокое ранчо с неизменным ветряным насосом на решетчатой мачте, похином на огромную заржавленную ромашку...

Начали протыпаться городки, нанизанные на струну авто-страды, — Армстронг, 92 километра до Росарио, Каньяда-де-Гомес — 73, Каркаранья — 40. Все чаще пролетали навстречу легковые машины с чемоданами на багажниках, многие со столичными номерами, — ночевавшие в Росарио туристы спешили доехать до Кордовы к обеду. И вдруг беззвучной атомной вспышкой полыхнуло из-за горизонта яростное солнце. Филипп притормозил, надел дымчатые очки.

— Вообще я бы уже не прочь перекусить, — сказал он.

Дино, сидевший рядом с ним, сверился с картой.

— Через восемь километров — Ролдан. Впрочем, позавтракать можно и на заправочной станции, лучше не терять времени...

Ролдан промчались без остановки. До Росарио было еще двадцать шесть километров, стрелка указателя уровня стояла почти на нуле; Дитмар начал проявлять признаки жизни.

— Если сукин сын продерет глаза, когда будем заправляться... — Дино озабоченно прищелкнул языком.

— А мы вот что сделаем, — предложил Филипп. — Ты нас высади всех километра за три до станции и поезжай туда один, а мы тем временем погуляем. Возьмешь там каких-нибудь бутербродов и кофе — в оба термоса, не забудь и на его долю.

— В бутылке еще остался коньяк...

— Думаю, что после вчерашнего его скорее потянет на кофе.

— Ну, это кого как, — возразил Дино. — Дед мой, помню, всегда опохмелялся тем же. Самое главное, говорил, это — не перепутать. Скажем, упиться вальполичеллой, а утром хлебнуть кьянти. Тогда вообще конец света...

Движение на шоссе становилось все более оживленным, скоро впереди показались на горизонте дымящие трубы, ажурные опоры высоковольтной электропередачи, очертания гигантских элеваторов. Промелькнул указатель с изображением бензоколонки и цифрой — «5 км». Увидев впереди пересечение с проселочной дорогой, Филипп сбросил газ и остановил машину на обочине.

— Выйдем здесь, — сказал он. — Давай, Мишель, буди пассажира и предложи ему размять ноги...

Дитмара растолкали. Он тоже вышел, постоял, с недоумением огляделся.

— Куда едем? — спросил он хриплым спросонья голосом.

— В Чили, куда же еще, — сказал Филипп.

— Не валяйте дурака. А горы где?

— Будут вам и горы. Пошли, прогуляемся, только без глупостей — мы оба вооружены...

Дитмар пожал плечами и не спеша направился по проселочной дороге. Полуниин с Филиппом шли в нескольких шагах позади.

— Знаете, — сказал пленник, не оборачиваясь, — а ведь вы все-таки идиоты.

— Знаем, — отозвался Филипп, — идиоты, унтерменши и так далее. Только почему «иудейские свиньи»? Вот уж чего нет, того нет.

— Вчера я перебрал, прошу принять мои извинения. Но сейчас давайте поговорим, как разумные люди. Думаете, похищение человека так легко сойдет вам с рук — даже в вашем французском суде?

— Поживем — увидим. Во всяком случае, это уж не ваша забота.

— Ну, как сказать. Разумеется, ваши неприятности меня не волнуют, тут вы правы. Меня волнуют мои. Не думаю, чтобы суд в Руане отнесся ко мне слишком уж сурово, — тут и давность, и изменившаяся политическая ситуация, словом вы меня понимаете. Но суд есть суд — уверенности в благополучном исходе у меня тоже нет. Чем полагаться на волю случая, почему бы нам не прийти заранее к соглашению, как цивилизованным людям?

— Какое соглашение вы имеете в виду?

— А вот какое. В конце концов, чего вы добиваетесь? Реабилитировать память этого... Фонтэна, не так ли? Вы сами об этом сказали, и это вполне понятно — он был вашим товарищем. На суде он будет реабилитирован в любом случае, он реабилитирован уже сейчас — моими показаниями, которые я дал охотно и без принуждения. Кроме этого, надо полагать, вы еще и хотите, чтобы пороқ был наказан — в моем лице. Вот с этим дело обстоит более проблематично. Будет ли он наказан, это еще вопрос...

— Вы что же, хотите, чтобы мы вас отпустили, ограничившись получением вашего признания?

— Нет, нет, зачем считать меня таким уж болваном, — возразил Дитмар. Остановившись, он похлопал себя по карманам и обернулся. — Сигарет у вас нет?

— Берите, — Филипп протянул ему пачку.

— Мерси... Нет, я понимаю, что вы меня не отпустите и суда мне не избежать. Соглашение, которое я вам предлагаю, сводится к следующему: вы отказываетесь от своего второго намерения — покарать злодея. В самом деле, так ли уж это важно, покарают его или не покарают? Я же взамен избавлю вас от возможных неприятностей юридического порядка — как, скажем, обвинение в людокрадстве — тем, что готов признать факт моего похищения не имевшим места...

Филипп переглянулся с Полуниным и пожал плечами.

— То есть как? Вы намерены заявить, что явились в суд добровольно?

— Именно, — покивал Дитмар. — Я могу сказать, что... Ну,

допустим, что мы с вами встретились совершенно случайно,— встретились, узнали друг друга, начали выяснять старые отношения — ну и так далее. И что я, дескать, услышав о прискорбном стечении обстоятельств, жертвой которых стал ни в чем не повинный... э-э-э... Фонтэн, почувствовал, если хотите, укор совести...

— Вы бы хоть это имя не называли,— прервал Полуниин,— совсем, что ли, стыда уже у вас нет, сукин вы сын...

Филипп успокаивающим жестом тронул его за локоть.

— Продолжайте, Дитмар. Итак, в вас проснулась совесть, и вы решили добровольно предстать перед судом. Так, что ли, вы хотите это изобразить?

— Ну,— Дитмар пожал плечами,— в общих чертах. Детали для убедительности можно продумать сообща... если ваш импульсивный молодой друг не станет возражать. А куда, кстати, уехал третий?

— Заправить машину и привезти еды, мы позавтракаем здесь. Надеюсь, вы не против.

— О, несколько! — Дитмар благодушно улыбнулся и всей грудью вдохнул свежий утренний воздух. — «Завтрак на траве»... для полной идиллии не хватает только дам. Тем более приятно, что в ближайшем будущем я, насколько понимаю, на какой-то срок буду лишен подобных маленьких радостей...

Заслонившись рукой от солнца, он с минуту всматривался в пейзаж.

— Если не ошибаюсь, это элеваторы Росарио? Правильно, я должен был бы сообразить — ближайший к Кордове порт, куда заходят океанские суда... Что ж, тогда нам тем более нужно решить этот вопрос сейчас — не будем же мы торговаться на пирсе...

— Я думаю, Дитмар, мы вообще не будем торговаться,— сказал Филипп.— Подождем, конечно, пока вернется наш товарищ, но я думаю, что он скажет то же, что и мы. Идем к шоссе, он должен скоро подъехать...

Они вернулись к шоссе, постояли там, молча глядя на пролетающие в обоих направлениях машины, потом снова повернули обратно.

— А чем, собственно, вас не устраивает мое предложение? — спросил Дитмар.

— Моральной стороны дела касаться не будем,— сказал Филипп.— Но даже чисто практически предлагаемая вами версия никуда не годится, поскольку во Франции вы окажетесь без визы. Кто же поверит в ваш добровольный приезд? Если бы у вас действительно возникло желание предстать перед судом, вы бы попросили визу и приехали в страну легальным способом.

— Вы правы,— согласился Дитмар.— Черт возьми, виза... Об этой детали я и в самом деле не подумал. Ну хорошо, а... почему бы ее и не получить? В Росарио, если я не ошибаюсь, есть французский консул. Я дам телеграмму в Кордову, мне пришлют мой паспорт, и мы вместе побываем в консульстве. Все

это время можете не отпускать меня ни на шаг... и, как говорится, не спускать с меня глаз. Право, подумайте над этим вариантом. Туристскую визу сейчас дают без задержки, а паспорт у меня в порядке.

Филипп улыбнулся.

— Мы уже слышали, Дитмар, что вы считаете нас идиотами, но не до такой же степени!

Оглянувшись, Полунин увидел черный «плимут», съезжающий с шоссе на проселок.

— Ну как, погуляли? — весело спросил Дино, вылезая из машины. — Сейчас устроим пикник. Микеле, помоги-ка мне..

— Из синего термоса не пей, — сказал он Полунину вполголоса, доставая из багажника свернутый брезент. — Я там забежал в аптеку... Сейчас поедим, этот тип заснет, и надо спешить — до Санта-Фе полтораста километров, а паром отходит в одиннадцать с минутами, я узнал расписание. Если не успеем на этот, придется ждать до половины пятого...

Они расстелили брезент, Дино достал пакет с бутербродами, картонные стаканчики, термосы.

— Хотите кофе? — спросил он, ставя перед Дитмаром синий. — Там, правда, еще остался ваш «мартель», — достань бутылку, Фелипе, она в дверном кармане...

— Не надо, — отмахнулся Дитмар и налил себе кофе. — Кофеек с утра...

— Вот и я тоже так думаю. Бутерброды, прошу вас...

За едой Филипп рассказал о предложении Дитмара. Дино выслушал с изумлением и решительно высказался против.

— Что ж, — сказал Дитмар, — как вам угодно. Считаю, что вы делаете еще одну глупость, но... — он пожал плечами и потянулся за очередным бутербродом.

— Еще большей глупостью было бы идти с вами к консулу, — возразил Филипп. — Да вы бы там сразу подняли шум, стали бы орать: «На помощь, меня похищают!» Нет уж, давайте будем придерживаться прежнего плана.

— Придерживайтесь, черт с вами, — безразличным тоном сказал Дитмар, подавив зевок. — Посмотрим, чем это для вас обернется...

Когда они въехали в Росарио, он уже снова храпел.

— Ты не перестарался? — озабоченно спросил Филипп.

— Ерунда, две обычных дозы — ничего с ним не будет...

На полпути перед Санта-Фе погода начала портиться, горизонт заволокло мглой, стал накрапывать дождь. Но Дино не сбавлял скорости, и на одиннадцатичасовой паром они все-таки поспели, — следом за ними приняли еще только две машины, и команда начала отдавать швартовы.

— Потрясающая река, — сказал Филипп, глядя на безбрежную гладь глинистой мутной воды, по которой плыли ветки, листья, даже кое-где целые вывороченные с корнем деревья — в верховьях, видимо, уже начался весенний паводок. — Просто фантастика, ничего подобного не видел...



— Вторая в Южной Америке, что ты хочешь, — отозвался Полунин.

— А в ясную погоду противоположный берег отсюда виден?

— Не знаю, никогда не был в этих местах. Вряд ли, здесь ширина русла около сорока километров...

Дино с тревогой поглядывал на небо, вспоминая рассказы о плохих дорогах Междуречья. Дождь то усиливался, то переставал, потом снова стало разъясняться; к концу второго часа плавания неожиданно проглянуло солнце. Туман быстро рассеялся, и впереди показали зеленые холмистые берега провинции Энтре-Риос.

Остаток пути прошел тоже без происшествий. Дорога Парана — Вильягуай, хотя и грунтовая, была в хорошем состоянии, по ней можно было гнать с семидесятикилометровой скоростью. Да Вильягуая они добрались около пяти вечера, быстро пообедали (ели по очереди — один шел в ресторан, двое стерегли спящего Дитмара) и тронулись дальше, на Конкордию. Здесь уже пошел совсем другой климатический пояс — пампа и пшеничные поля Правобережья, напоминающие Южную Украину, сменились почти субтропическим пейзажем; местность, покрытая буйной растительностью и пересеченная множеством речушек, местами выглядела заболоченной.

— Странно, — заметил Филипп, поглядывая на высокие пальмы, освещенные закатным солнцем, — можно подумать, что мы снова в Парагвае, а ведь эти места несколько не севернее Кордовы...

На последний стокилометровый перегон ушло около трех часов. Когда подъезжали к Конкордии, было уже темно. Дитмар успел проспать и сидел с одурелым видом, явно не понимая, почему его опять куда-то везут, а не переправили контрабандой на борт какого-нибудь французского судна еще в Росарио.

Нужно было решать вопрос с ночлегом. Полунин, как было условлено с Морено, должен был остановиться в городе, а куда девать остальных? Увидев в стороне от дороги какое-то темное строение, он попросил остановить машину и вышел вместе с Дино, взяв электрический фонарик. Они подошли ближе, он похлопал в ладони, вызывая хозяев по местному обыкновению, — ответа не было. Домик — глинобитная лачуга типа ранчо — оказался необитаемым.

— Что ж, — сказал Дино, когда они вошли и осмотрели брошенное жилье, посвечивая вокруг фонариком, — это, конечно, не «Ритц», скажем прямо, но в нашем положении лучшего места не придумать. По крайней мере никаких соседей. Интересно, а куда могли деваться хозяева?

— В город, вероятно. Скорее всего, какой-нибудь арендатор — сейчас многие уходят с земли... Ну что, останетесь тут?

— Конечно, где же еще. Брезент у нас есть — отлично переспим! Пошли, выгрузим их, а потом я отвезу тебя и захвачу чего-нибудь на ужин...

— Купи свечей или керосиновый фонарь, и хорошо бы взять

для Дитмара еще бутылку какого-нибудь поила.. Он не смеется, пока тебя не будет?

— Скажем Филиппу, чтобы не спускал глаз. Да и куда ему, я его так накачал барбитуратом — до сих пор не очухается..

Отель «Колон», к подъезду которого они с Дино подкатили через полчаса, оказался весьма фешенебельным заведением.

— Вот сукин сын этот Морено,— озабоченно сказал Полунин, потирая колючий подбородок,— нашел куда направить. Да меня в таком виде и на порог не пустят..

— Пустят,— возразил Дино,— в случае чего иди прямо к управляющему.

— Ладно, ты только пока не уезжай, подожди здесь.

— Иди, иди, я подожду..

Небритая физиономия приезжего, его джинсы и потертая кожаная куртка и в самом деле вызвали явное недоумение у нескольких кабальеро, сидевших в глубоких клубных креслах в устланном коврами холле. Полунин с независимым видом прошел к стойке полированного красного дерева, за которой читал газету элегантный клерк. Тот окинул его таким же взглядом — медленно, удивленно, с головы до ног. Полунин достал смятую пачку сигарет, выудил из нее последнюю, а пачку скомкал и метко бросил в стоящую поодаль ярко надраенную плевательницу.

— Я из Кордовы,— сказал он, прикурив от настольной зажигалки.— Мне нужно встретить здесь человека от доктора Морено. Если он еще не прибыл, я возьму номер.

Клерк мгновенно заулыбался.

— Дон Мигель, ну как же, как же! Рад вас видеть, администрация предупреждена. Лицо, с которым'вы должны встретиться, уже здесь... Эй, малыш! — Он обернулся и щелчком пальцев подозвал лифтера в куце мундирчике с золотыми пуговицами.— Проводи сеньора в тридцать шестой!

— Одну минуту,— подумав, сказал Полунин, направляясь к двери.

Он вышел на улицу. Дино зевал и потягивался, стоя возле забрызганного грязью «плимута».

— Ну что, все в порядке?

— Идем со мной, летчик уже здесь..

Следом за мальчишкой-лифтером они поднялись на второй этаж. Летчик Морено, молодой парень с набрильянтиненной головой и щегольскими, тонко пробритыми усиками, представился по имени — Рауль.

— Я ждал вас только завтра,— сказал Полунин, пожимая ему руку.— Знакомьтесь, это один из ваших пассажиров.. по-итальянски не говорите?

— Несколько слов,— улыбнулся летчик.

— А сеньор Фалаччи знает несколько слов по-испански, так что вы друг друга поймете. Доктор Морено объяснил вам, что нужно сделать?

— Так точно — взять на борт троих пассажиров и доставить в эстансию «Арройо Секо».

— Это где?

— Возле Такуарембо, сорок минут полета.

— Когда сможете вылететь?

Рауль заулыбался еще шире:

— Да когда угодно, хоть сегодня!

— Сегодня? — переспросил Полунин. — Вы хотите сказать, что могли бы вылететь ночью?

— Сеньор, я пилот первого класса, а на самолете установлено радионавигационное оборудование, какое не часто увидишь и на лайнере. Доктор предпочитает летать по ночам, понимаете?

— Ясно. Минутку, мы сейчас посоветуемся... Слушай, — Полунин обернулся к Дино, — он может забрать вас хоть сейчас. Говорит, привык к ночным полетам. Как ты считаешь?

— А что я? Я в этих делах понимаю столько же, сколько и ты. Если он говорит — можно, значит можно. Не думаю, чтобы Морено доверял свою жизнь неопытному пилоту.

— Нет, это понятно. Я в том смысле, что, может, вам лучше отдохнуть перед полетом? Все-таки почти сутки за рулем...

— Там в этой норе не очень-то и отдохнешь, — с сомнением сказал Дино. — Полет ведь будет недолгий — я правильно понял, сорок минут?

— Так он говорит.

— Тогда летим. Чем скорее, тем лучше...

Полунин снова обернулся к летчику:

— Где ваш самолет?

— Здесь, в ангаре аэроклуба.

— Доктор Морено сказал вам, что пассажиры покидают Аргентину... без соблюдения формальностей?

Пилот опять улыбнулся:

— Пусть это вас не беспокоит. Там сегодня дежурит человек, на которого можно положиться. Так что вы решаете — летим мы или не летим?

— Летим...

— Вы знаете, как проехать в аэроклуб? — спросил Рауль, когда они вышли к машине. — Тогда разрешите, я сяду за руль... Но где же третий пассажир?

— Пассажиров еще двое, я не лечу, — сказал Полунин. — Всем в машине не поместиться, поэтому мы вас оставим на аэродроме, а сами привезем остальных. Они здесь недалеко.

— Ладно, я тем временем все приготовлю. Запоминайте только дорогу, чтобы не заблудиться, когда будете ехать без меня...

Летное поле аэроклуба представляло собой обычный луг, по краю которого тянулся ряд низких ангаров гофрированного металла. Поодаль стояла контрольная будка, над которой возвышалась мачта с полосатым мешком ветроуказателя. Все было тускло освещено редкими фонарями. Рауль затормозил у ворот,

затянутых металлической сеткой, дважды просигналил и вышел. Показался человек в белом комбинезоне.

— Это я, Пабло, — крикнул Рауль, — не узнаешь, что ли? — Он обернулся к Полунину: — Когда сможете подвезти пассажиров?

— Скажем, через час.

— Пабло! Пропустишь потом эту машину, а сейчас пойдём, откроешь мне ангар... Так я вас жду, сеньоры...

— Ну и денек, — пробормотал Дино, отъехав от ворот задним ходом и разворачиваясь. — Я уже вообще ничего не замечаю...

— Не хватает только заблудиться и не найти ту хижину.

— Не говори...

Полунин чувствовал себя не лучше. Две таблетки хениоля, которые он проглотил час назад, несколько не помогли — голову сжимало тупой пульсирующей болью. Он попытался прилечь на спинку сиденья — заболело еще сильнее.

Снова проехали мимо «Колона», нашли указатель поворота на Вильягуай. Удалось найти и брошенное ранчо.

— Ну как? — спросил Филипп, выходя навстречу.

— Давай быстро, — бросил Дино, — сейчас вылетаем, пилот уже здесь!

Не прошло и часа, как они снова были у ограды аэроклуба. Маленький одномоторный самолет, нарядно поблескивающий синим и серебряным лаком, стоял на поле возле контрольной будки. Дино просигналил фарами, человек в белом комбинезоне открыл ворота, и они въехали на летное поле.

— Вовремя, — одобрительно сказал Рауль. — Багажа много?

— Два чемодана, сумка, пишущая машинка...

— Пустяки. Грузите все вон туда, назад!

Вещи погрузили, в машине остался только портфель Полунина. Дитмар, кивнув в ответ на приглашающий жест, молча полез в кабину. Он уже ничему не удивлялся и все воспринимал философски — не потому, что был стоиком по натуре, а просто из осторожности. В первые минуты после похищения его охватил панический страх: когда он увидел, что машина сворачивает к брошенным карьерам (он хорошо знал эту часть окрестностей Кордовы), ему стало ясно, что убивать будут именно там, и он решил бежать — не для того, чтобы спастись, на это-то он и не рассчитывал! — а просто чтобы получить свою пулю в спину быстро и без лишних унижений. Но когда машина остановилась и ему велели выходить, он понял, что просто не сможет бежать, физически не сможет — настолько был обессилён страхом. Этот-то страх его и спас. Лишь позже, когда похитители начали требовать от него показаний и угрожать судом во Франции, — лишь только тогда он понял, какого дурака чуть было не сваял! Он был бы уже мертв, попытайся бежать, его пристрелили бы как паршивого зайца; а так — ему практически ничто не грозило, кроме небольшой отсидки. Конечно, что говорить, французская тюрьма это отнюдь не санаторий, и куда приятнее было бы оставаться в Аргентине, где у него уже так успешно пошли дела, но — увы —

жизнь вообще полна превратностей, важно не падать духом. Дитмар был уверен, что надолго его не упекут, он достаточно внимательно следил все эти годы за процессами «военных преступников» в странах Западной Европы. Сейчас его только немного озадачило, что бандиты отправляют его самолетом, а не засадили в трюм какого-нибудь французского сухогруза еще в Росарио, — но это уж их собачье дело. Во всяком случае, они вполне могли не тратиться ни на коньяк, ни на снотворное, все эти детские хитрости порядком его позабавили, — сам-то он ни о каком побеге уже не помышлял, ему хотелось одного: поскорее очутиться под надежной защитой полиции, хотя бы французской. Бандиты, что ни говори, доверия не внушали, особенно этот молчаливый, в кожаной куртке. Хорошо еще, что он, похоже, лететь не собирается...

— Ну что, парни, кажется, все? — спросил Полуниин. — Держите там сукиного сына, чтобы не вывалился наружу. И не забудьте завтра же дать телеграмму...

— Дадим, не волнуйся. Значит, ты все понял? Как только придет «Лярошель», позвонишь Морено, и мы начнем готовиться...

— Погоди-ка, а письмо? Ты же собирался мне дать письмо для капитана!

— О, черт совсем забыл! Сейчас, одну минуточку...

Достав блокнот, Филипп развернул его на крыле «бичкрафта» и начал быстро писать.

— Пабло, — сказал Рауль, — давай на контроль! Осветишь мне вторую взлетную, а как только увидишь, что я оторвался, сразу гаси.

Выврав страницу, Филипп сложил ее вдвое, написал поперек: «Капитану Р. Керуаку, п/х «Лярошель» — и вручил Полуниину.

— Держи! Договорись с ним о деталях и звони — будем держать связь через секретаря. Итак, до встречи в открытом море...

Они обнялись, и Филипп тоже полез в кабину. Дино, уже попрощавшись с Полуниным, вдруг обернулся:

— Слушай, а ведь машину жалко! Может, оставишь так, пусть кто-нибудь пользуется, а? Я ее прямо полюбил.

— Ты что, спятил? — Полуниин постучал пальцем себя по лбу. — Там наши отпечатки на каждом квадратном сантиметре!

— Тоже верно, — Дино с сожалением покачал головой, вздохнул. — Ну ладно, делай тогда как договорились. Но у меня прямо сердце болит, как подумаю. Ну, счастливо, Микеле, чао!

Рауль занял место пилота, нацепил наушники, Полуниин отошел подальше. Самолетик, словно просыпающаяся птица, пошевелил закрылками, качнулся вправо и влево какие-то щитки на V-образном хвостовом оперении. Неожиданно взвыл и тонко заверещал стартер. Лопасты винта медленно пошли по кругу, потом побежали все быстрее. Филипп за гнутым плексигласом окна улыбался, махал рукой. Оглушительно взревели заработавшие разом цилиндры, из выхлопного патрубка туго ударило корот-

кое бледно-синее пламя, лопасти винта вдруг исчезли — на их месте мерцал теперь прозрачный сектор серебристого тумана. Самолет легко тронулся с места, покачивая крыльями. В ту же секунду на дальнем краю поля вспыхнула двойная цепочка уставленных низко, у самой земли, оранжевых газоразрядных ламп.

Все произошло так быстро, что Полунин не успел опомниться. Только что они были здесь... Оранжевые огни погасли, дежурный в белом комбинезоне вышел из контрольной будки, гул мотора быстро стихал в исколотом звездами ночном небе.

— Хороший взлет, — сказал Пабло, доставая из кармана пачку сигарет. — Парень свое дело знает, ничего не скажешь. Мате пососать не хотите?

— Спасибо, не откажусь...

Они вошли в дежурку, Пабло включил электрический чайник, заварил в тывковке свежий мате, помешал трубочкой и передал Полунину. Тот сделал пару глотков и передал тывковку обратно, соблюдая обычай.

— Занятные у вас в Конкордии порядки, — сказал он. — Вроде пограничный город, а иностранный самолет приземляется и улетает, когда захочет... и с кем хочет.

— Так ведь это чей самолет, — подмигнул Пабло. — Тут вся земля в округе — его, Морено то есть. И здесь, и по ту сторону тоже. Вот и смотрите — неужто пограничники станут портить отношения с таким человеком?.. Им ведь небось тоже есть-пить надо. И потом, что ж, контрабанду он не возит, это ему ни к чему, а другими его делами жандармерия не интересуется. Пусть бы попробовали поинтересоваться!

— Да-а... Иногда, выходит, не так плохо быть богатым.

— По мне, так я бы хоть завтра...

Мате допили молча. Полунин посмотрел на часы — была полночь, ровно сутки назад они выехали из Кордовы.

— Ну что ж, мне пора, — сказал он. — Спасибо, и спокойного вам дежурства...

Миновав мостик километрах в шести от аэроклуба, он оставил машину, достал из багажника сумку с инструментами и снял номера. Бросив их через перила — снизу послышался двойной всплеск, — он проехал еще пару километров, вышел и постоял, безуспешно пытаясь разглядеть что-нибудь в окружающей темноте. Насколько можно было понять, жилья поблизости не было. Фонари на шоссе, ведущем в город, виднелись далеко впереди.

...Черт, вот эту часть плана они не продумали! Днем все было бы просто — найти пустынное место, отогнать машину подальше от дороги... Может, так и сделать? Пусть постоит где-нибудь до утра, а еще лучше — он здесь же в ней и переночует, а завтра все сделает по «дневному варианту»... Нет, нельзя. Утром он должен быть в Буэнос-Айресе, лишние несколько часов могут все погубить. Но как это сделать? Он прислушался, вглядываясь в темные заросли. Если это чей-то сад... слу-

чайно может там кто-нибудь оказаться — увидит человека, убегающего от горящей машины, и позвонит тут же в полицию. Минимальный, но все же риск. Нет, надо что-то придумать. Он с сожалением вспомнил, что в кладовой, где они держали Дитмара, валялся кусок бикфордова шнура. Как это не сообразили прихватить такую полезную вещь...

Голова болела все сильнее — не помогло и мате, обычно хорошо снимающее усталость. Он посидел в машине, закурил еще одну сигарету и, уже вставив на место патрон электрозажигалки, вытащил его обратно и стал разглядывать. Собственно, вот тебе и взрыватель замедленного действия — если удалить выталкивающий механизм...

Он быстро разобрал зажигалку, вынул пружину и поставил на место калильную спираль. Потом взял свой портфель, отнес подальше на обочину, достал из багажника запасную канистру и положил на переднее сиденье. От головной боли путались мысли, он крепко потер виски, достал парабеллум из внутреннего кармана кожанки, — пистолет угрелся там, был теплым, как живое существо. Полунин с сожалением подбросил его на ладони, взялся за удобную, в шероховатой насечке, рукоятку. Почти двенадцать лет назад — в декабре сорок третьего — он взял этот «плюгер 0/8» из кобуры убитого фельдшандарма, и потом по меньшей мере дважды спасала ему жизнь точная безотказная машинка. Впрочем, всему свое время — хватит тешиться подобными сувенирами...

Полунин бросил пистолет на сиденье. Подняв все стекла, он отвинтил на один оборот крышку горловины канистры — сразу резко запахло бензином — двинул прикуриватель доотказа, выскочил из машины и захлопнул дверцу.

Он бежал в темноте, размахивая портфелем, а взрыва все не было — ему уже подумалось, что импровизированный взрыватель так и не сработает. Но он сработал. Полунин едва успел оглянуться в очередной раз и уже замедлил бег, чтобы вернуться и посмотреть, какого черта оно не взрывается, — и вдруг сзади рвануло так, как если бы в «плимут» шарахнули противотанковой гранатой. Полунин спрыгнул в канаву, присел, прислушался. Где-то залаяли собаки, но других признаков тревоги пока не было. Сухо затрещали патроны, рвущиеся в магазине «люгера», потом еще раз ухнуло слепящей вспышкой — огонь, видно, добрался до бензобака. Вокруг черного, осевшего набок каркаса все полыхало в радиусе полусотни метров. Уж теперь-то никаких отпечатков, подумал Полунин с удовлетворением и, выбравшись из канавы, зашагал в сторону шоссе.

Автобусов уже не было, но скоро он заметил приближающийся красный огонек свободного такси и поднял руку.

— Пожар там, что ли, — сказал таксист, включив счетчик.

— Да нет, криков вроде не слышно. Мальчишки, наверное, костер зажгли. Мне на буэнос-айресский поезд — успеем?

— Успеем, — заверил таксист. — До буэнос-айресского еще почти час...



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дуняши не было, когда он вернулся домой, едва волооча ноги, совершенно одуревший от двенадцатичасовой тряски в переполненном вагоне, где были только сидячие места. Вскрытый пакет с показаниями Дитмара лежал на столе, рядом с бланком телеграммы. «Долетели благополучно,— прочитал он,— груз полной сохранности».

У него едва хватило сил, чтобы еще раз попробовать дозвониться Келли,— он уже звонил ему с вокзала, но к телефону никто не подошел. Не было ответа и на этот раз. Странно, подумал он, обычно там всегда кто-то дежурит у телефона. Эта мысль была последней — он только присел на край дивана, чтоб расшнуровать ботинки, и комната поплыла перед его глазами...

Когда он открыл их снова, было уже темно, лишь в углу горел торшер, а Дуняша сидела рядом на стуле, как посетительница в госпитале, и смотрела на него с почтительным обожанием.

— Дуня,— пробормотал он,— это ты...

Она соскользнула на пол и, стоя на коленях, прижалась к его груди.

— Господи,— прошептала она,— что я пережила за вчерашний день, после того как прочитала эти бумаги... Я так за тебя боялась...

— Ну, тогда-то уж чего было бояться.

— Откуда я знала, что произошло потом! А сегодня еще эта телеграмма,— значит, думаю, они считают, что ты уже дома... Где он, этот свинья Дитмар?

— В Уругвае, судя по телеграмме.

— Так «груз» — это он? Вы что, застрелили его? Но почему «в сохранности» — его отправили на льду?

— Не выдумывай ты, он жив и здоров. Его будут судить во Франции.

— А-а,— протянула она с некоторым разочарованием.— Но как я извелась!

— Дуня, приготовь ванну, а?

— Уже готова, милый, я только добавлю горячей. Иди мойся, и будем ужинать. Ты знаешь, который час? Скоро десять.



— Понимаешь, я не спал двое суток...

За ужином он рассказал ей все. Дуняша слушала, не перебивая, потом задумалась.

— Не понимаю одного,— сказала она медленно.— Ты считал, что я такая... ну, как это... в общем, что я слишком глупа или ненадежна, чтобы знать, чем ты занимаешься?

— Не обижайся, Дуня. Во-первых, ты бы все время волновалась...

— А во-вторых?

— Видишь ли, есть вещи, о которых не рассказывают даже женам.

— Женам рассказывают все, если их любят,— упрямо возразила она.

— Ошибаешься, Евдокия. Личные дела — да, но это не было моим личным делом.

— А эта... Астрид? — помолчав, спросила Дуняша.— Ей-то вы, конечно, все рассказали?

— Не сразу. Потом пришлось... она ведь была членом экспедиции.

— О, еще бы! Пожалуйста, раскинь диван, у меня ничего не получается. Не понимаю, кто придумал такую идиотскую мебель... не кровать, а какая-то адская машина! В тот же вечер, когда вы уехали, она укусила меня за руку,— с тех пор я спала так, не раскрывая.

— Да там пружина какая-то заедает, я посмотрю.

— Ты уже миллион раз обещал это сделать!

— Дуня, Дуня,— примирительно сказал он,— ну перестань. Я просто не имел права тебе говорить. Жена Дино, кстати, тоже ничего не знает о нашей охоте за Дитмаром.

— Какое мне дело до жены твоего Дино! Итальянки вообще ничем не интересуются — это гусыни, а не женщины!

Долго сердиться Дуняша не умела. Позже, когда он уже засыпал, она вдруг тихонько рассмеялась и потерялась носом о его плечо.

— Что ты? — спросил он сонным голосом.

— Я просто вспомнила — тогда на балу, помнишь, месяц назад, Игор сказал про этого твоего Кривенко... А ты так небрежно говоришь: «А, ерунда, куда он мог деваться, они все сами придумали...» Просто не знаю, чего теперь от тебя можно ждать. А может быть, ты вообще шпион?

— Спи, спи, никакой я не шпион...

Ему удалось дозвониться до Келли на следующий день, пятнадцатого. Тон у соратника был озабоченный, даже, как показалось Полунину, раздраженный.

— У вас что-нибудь срочное ко мне? — спросил он.

— Да нет, просто давно не виделись. Хотел поинтересоваться, нет ли новостей касательно этого немца из Кордовы,— помните, у нас был о нем разговор...

— Помню, помню. Нет, ничего интересного не поступало. Ваш протеже время от времени сообщает о нем всякую ерунду,

но четкой картины пока нет. Сейчас они, кстати, куда-то из Кордовы выехали, — возможно, после возвращения сообщит что-нибудь заслуживающее внимания.

— Скорее всего, ложная тревога, — сказал Полуниин. — Что ж, случается и такое. Проверить, во всяком случае, не мешало...

— Вы правы, бдительность никогда не бывает излишней. Так вы позвоните мне как-нибудь на будущей неделе, дон Мигель, сейчас мы тут, честно говоря, перегружены всякими делами.

— Я так и понял — звонил вам несколько раз в эти дни, но никто почему-то не отвечал...

— Да, меня не было, — лаконично сказал Келли и, повторив приглашение звонить на будущей неделе, повесил трубку.

Обеспечив себе таким образом некое подобие алиби, Полуниин позвонил в местное представительство французской пароходной компании «Шаржёр Реюни» и поинтересовался датой ожидаемого прибытия «Лярошели».

— Сейчас мы это уточним, — ответили ему. — Минутку... Вы меня слушаете? «Лярошель» вчера вышла из Сантоса. Это значит, здесь мы ее ожидаем... да, восемнадцатого — в воскресенье. Вы по поводу фрахта?

— Нет, нет, у меня там плавает приятель, я просто хотел его повидать.

— Понятно, сеньор. Скорее всего, восемнадцатого — если ничто не задержит. Следите за газетами, в утренних выпусках есть «Бюллетень движения судов» — там сообщается о каждом прибытии.

Вечером он был с Дуняшей в кино, потом ей захотелось потанцевать, и они зашли в небольшой ресторанчик там же на Лавалье. Домой вернулись уже на рассвете. В пятницу шестнадцатого Полуниин проснулся поздно — ветер колебал штору, шевеля на полу размытые солнечные блики, из кухни доносилось невнятное бормотание радио, хорошо пахло свежесваренным кофе и еще чем-то вкусным. Вспомнив о скором прибытии «Лярошели», Полуниин подумал, что пока все идет как по маслу. Он закинул руку за голову, потянулся и вдруг почувствовал волчий голод.

— Евдокия! — заорал он. — Я есть хочу!!

Радио умолкло, по коридору торопливо простучали каблучки. Дуняша появилась в переднике, с напудренными мукой руками.

— Наконец-то проснулся, соня, — она нагнулась и поцеловала его в нос. — Вставай скорее, у меня все готово.

— Что ты там стряпаешь?

— Увидишь! С этого дня начинаю тебя откармливать — я вчера заметила, костью уже висит на тебе, как на виселице...

— На вешалке, Евдокия, на вешалке.

— Боже мой, ну какая разница, скажи на милость, — она отошла к окну, отдернула штору, затопив комнату солнцем, и потащила с Полунина простыню. — Вставайте, сударь. Пока вы изволили спать, тут опять сделалась революция.

— Что случилось?

— Какая-то революция, говорят. Еще одна! Эти-то, ясно, ничего не сказали, но я все утро слушаю Монтевидео — в провинции Коррьентес восстание, в Пуэрто-Бельграно восстание...

Полунин вскочил и, поддернув пижамные штаны, босиком кинулся к приемнику.

— ...А в Кордове,— крикнула Дуняша ему вслед,— так там вообще ужасные бои на улицах! Вы его вовремя оттуда утащили, вашего Дитмара!

Тремя днями позже — девятнадцатого сентября — бригадный генерал дон Хуан Доминго Перон сложил с себя президентские полномочия и поднялся на борт парагвайской канонерки, чтобы отправиться в изгнание. Власть в Аргентине перешла в руки военной хунты.

Буэнос-Айрес был спокоен. Магазины и конторы, закрытые в течение этих трех дней, начали снова открываться, но банки еще не работали. Кое-где на центральных перекрестках стояли танки, по улицам медленно разезжали на джипах патрули морской пехоты. Портреты свергнутого президента и его покойной жены, еще недавно в изобилии украшавшие аргентинскую столицу, были повсюду сорваны, или перечеркнуты крест-накрест черной краской, или заклеены плакатами с текстом воззвания к стране, подписанного военными руководителями переворота — контр-адмиралом Рохасом и генералами Лонарди и Балагэром.

В общем, на этот раз «революция» осуществилась довольно мирно. В Кордове, правда, постреляли всласть — корреспонденты иностранного радио сообщали о жертвах среди населения и о значительных потерях, понесенных участниками штурма полицейской хефатуры. Но до гражданской войны дело не дошло. Генеральная конфедерация труда, которую Перон считал главной своей опорой, осталась нейтральной, армия же была в руках заговорщиков. Население столицы, которому осточертела безстолочь последних двух лет «эры хустисиализма», встретило переворот если не с радостью, то во всяком случае с надеждой на какие-то перемены к лучшему...

Парагвайское радио сообщило о том, что генерал Стресснер предоставил политическое убежище бывшему президенту Аргентины, и передало текст заявления, сделанного Пероном по прибытии в Асунсьон: «Рассказывают, что однажды, когда дьявол гулял по улице, разразилась страшная буря. Не найдя другого укрытия, он вошел в церковь, двери которой были открыты. И говорят, что, находясь в церкви, он вел себя очень хорошо. Я поступаю, как дьявол: пока нахожусь в Парагвае, я буду уважать благородное гостеприимство этой страны...»

Все эти дни, естественно, порт Буэнос-Айреса оставался парализованным и даже подходы к нему были наглухо перекрыты морскими пехотинцами. Двадцать второго, когда наконец возобновилась работа в большинстве учреждений, Полунин позвонил в агентство справиться, не прибыла ли еще «Лярошель».

— Нет, не прибыла, — раздраженно ответил служащий, ему, наверное, звонили по этому поводу уже многие. — И не придёт! «Лярошель» получила приказ взять груз в Монтевидео и идти прямо в Гавр.

Полунин был ошеломлен новостью.

— Скажите, а нельзя ли связаться с капитаном Керуаком? — спросил он торопливо, боясь, что служащий бросит трубку.

— Сожалею, мсье, телефонной связи с Уругваем еще нет.

— Но... я слышал, на судно можно послать радиogramму...

— В открытом море — пожалуйте. А пока судно стоит в порту, радиорубка опечатывается властями. Вот когда «Лярошель» оттуда уйдет, посылайте хоть дюжину...

Тогда уже будет поздно, подумал Полунин, кладя трубку. Вот так штука, черт побери. Недаром слишком уж гладко все шло. Хорошо, если Филипп в курсе, — а если нет? Если они там спокойно сидят в этой эстансии и ждут, пока он передаст через Морено, что все готово? От одной мысли, что Дитмара придется стеречь еще два, а то и три месяца — до следующего прихода «Лярошели», — он застонал, взявшись за голову.

— Что с тобой? — обеспокоенно спросила Дуняша. — Заболел зуб?

— Какой к черту зуб! Эта проклятая посудина пойдет обратно прямо из Монтевидео, — представляешь, если они ее проворонили?

Дуняша подумала и пожалала плечиками.

— Не такой же он идиот, этот твой Маду...

— При чем тут — идиот, не идиот... Он просто может оказаться не в курсе — будет рассчитывать на меня и ждать! Ах ты дьявольщина...

— Моп Dieu<sup>1</sup>, ну дай ему телеграмму или позвони.

— У тебя, Евдокия, советы... Ты что, не знаешь, что международная связь еще не восстановлена?

— Ах да, верно...

Вечером, когда они уже были в постели, Полунин услышал выстрелы: в тишине отчетливо простучала автоматная очередь, потом еще несколько. Он встал, подошел к окну — стреляли в центре и, похоже, не очень далеко.

— Никак мсье Перон вернулся? — заинтересованно спросила Дуняша.

Стрельба утихла, но тут же дом трянуло взрывом, в окнах задребезжали стекла. Еще два громовых удара прокатились над городом, снова пострекотали автоматы, издали донесся вой сирен.

— Непонятно, — сказал Полунин. Включив радио, он настроился на волну правительственного передатчика ЛРА-5 — станция передавала классическую музыку. Они посидели, послушали Генделя и Палестрину; Полунин уже протянул руку, чтобы

---

<sup>1</sup> Боже мой (фр.).

выключить приемник, как музыка вдруг оборвалась и голос диктора объявил:

— Передаем сообщение военной хунты. В центре федеральной столицы была только что проведена операция по обезвреживанию банды террористов. Сторонники свергнутого режима, численностью около четырехсот человек, забаррикадировались в помещении так называемого «Национального антикоммунистического командования» на углу авениды Коррьентес и улицы Сан-Мартин. После того как нарушители порядка отвергли предложение сложить оружие, здание было атаковано силами безопасности. Операция успешно завершена, жителей указанного района просят соблюдать спокойствие.

— Вот так,— сказал Полунин, когда снова зазвучала музыка, и выключил радио.— Доигрались, значит, мои «соратники». Интересно, был ли там Келли...

На следующий день генерал Эдуардо Лонарди, «герой Кордовы», принес присягу в качестве временного президента республики — до выборов, срок которых должна была определить хунта. Огромная толпа собралась на Пласа-де-Майо, чтобы приветствовать нового главу государства. Дуняша тоже хотела пойти — в портреты Лонарди она влюбилась с первого взгляда, решив, что у него одухотворенное лицо и вообще он несколько не похож на всех этих солдафонов,— но Полунин не пустил ее, сказав, что могут быть беспорядки. Беспорядков, однако, не было.

Он не находил себе места. Международных телеграмм почему-то еще не принимали, хотя телефонная связь восстановилась, но только теоретический — дозвониться до секретаря Морено было совершенно невозможно. О том, чтобы поехать туда самому, нечего было и думать — в Управлении речного флота не знали, когда возобновятся пассажирские рейсы в Монтевидео. Полунин решил было вернуться в Конкордию и попробовать пересечь границу с помощью контрабандистов, но вовремя узнал о новом приказе хунты: всякая попытка нелегально покинуть страну каралась в соответствии с декретом об осадном положении, объявленным на всей территории республики.

Единственным, кто мог бы помочь сейчас в этом смысле, был Лагартиха — уж он-то, участник победившего «освободительного движения», наверняка был в фаворе у новых властей. Но разыскать Освальдо Полунину не удалось — он дважды побывал на авениде Президента Кинтаны, и безрезультатно. Словом, неизвестность была полная. Двадцать третьего, как сказали ему в том же агентстве, «Лярошель» ушла из Монтевидео; с Дитмаром или без него, оставалось пока только гадать.

Письмо пришло только на шестой день. Полунин с замершим сердцем вскрыл конверт, пробежал первые строчки и облегченно вздохнул: нет, все-таки не проворонили...

«...Жаль, что так получилось,— писал Филипп,— я хочу сказать — в том смысле, что нам с тобой, старина, не удалось больше встретиться. В остальном все сошло как нельзя более удачно. Непредвиденный заход судна в Монтевидео значительно

упростила завершающую фазу, сделав ненужным хлопотное и небезопасное рандеву в нейтральных водах,— нашего общего друга удалось доставить на борт прямо тут, и среди бела дня, применив испытанный уже прием. Выпить он действительно не дурак. Старина, ты многое потерял, не увидев, как мы его волокли по трапу: обрядили в тельняшку, нахлобучили на голову баскский берет, а Дино синими чернилами разрисовал ему руки до локтей якорями и русалками. Что значит специалист по рекламным делам! Полицейский, который дежурил у трапа, только сочувственно покачал головой: «Ваш приятель, похоже, немного перебрал на берегу...» Так что, старина, операцию «Южный Крест» можно считать успешно завершенной. Дино вылетел в Милан вчера, передает тебе и Эдоксі всяческие приветы и пожелания, я к ним присоединяюсь. Мы отчаливаем сегодня вечером. О дальнейшем буду регулярно информировать. Салют!»

Он чувствовал теперь какую-то странную опустошенность. Казалось бы, нужно было только радоваться — два долгих года мечтал он об этой минуте,— но радости почему-то не было. Было чувство удовлетворения, как от хорошо выполненной работы, но не больше. Радости не было,— была, напротив, какая-то пустота в душе, словно жизнь потеряла вдруг всякий смысл, всякий интерес...

В самом деле — как жить дальше? Продолжать чинить приемники, выполнять заказы богатых меломанов, желающих иметь несерийный проигрыватель высочайшей точности воспроизведения? Можно, конечно, и это хорошо оплачивается: провозишься пару месяцев с какой-нибудь хитрой акустической системой — и можно полгода бить баклуши. От одной мысли становилось тошно.

Иногда он злился сам на себя, чувствовал вину перед Дуняшей за все эти свои тайные переживания. Действительно, что ли, она ничего для него не значит? Да нет, конечно, без нее бы сейчас вообще хоть в петлю... Но, наверное, для мужчины любовь — даже такой женщины, как Дуняша,— это еще не все. Далеко не все. Но тогда какого же еще рожна ему надо — чтобы Дитмар удрал с «Лярошели», что ли, и можно было начать за ним новую охоту, уже в глобальном масштабе? Ерунда, эти два года были только отвлечением от главного, давали иллюзию настоящей жизни. На самом деле ему нужно совсем другое...

Он долго не решался сказать об этом Дуняше. Но рано или поздно сказать было нужно, и однажды после очередной бессонной ночи он наконец решился.

— Послушай, Дуня,— сказал он, когда они сидели за завтраком.— Понимаешь, нужно нам решить, как быть дальше...

— В каком смысле?

— В самом главном. Не знаю... Дело в том, что я думаю возвращаться.

— На Талькауано? — она удивленно подняла брови. — А чем тебе плохо здесь?

— Ты не поняла. Я говорю — возвращаться домой. В Россию.

— А-а. Ну что ж, это, наверное, правильно.

— Правильно-то оно правильно... Но как ты?

— А что я? — Дуняша пожала плечами и ловко поймала языком упавшую с тартинки каплю меда. — Я тебе давно это предлагала — помнишь, зимой ходили на выставку...

— Ну, тогда мы просто болтали, а сейчас я серьезно.

— И я серьезно! Почему ты считаешь, что я отказалась бы поехать в Россию? Жить в доме из дубовых бревен, занесенном снегом, — что может быть лучше? У нас будут лошади — или хотя бы одна лошадь?

— Понимаешь, я никогда не жил в деревне, — сказал Полунин, подавив вздох. — А в городе тебе не хотелось бы?

— Можно и в городе, — согласилась Дуняша. — Пожалуй, это будет привычнее, во всяком случае не такой шок. Ты предпочитаешь Петербург?

— Ленинград, Дуня.

— О, конечно, я просто обмолвилась. А скажи, если я так обмолвлюсь там, меня не арестуют сразу?

Полунин улыбнулся.

— Удивятся, пожалуй. Евдокия! Я все-таки хочу, чтобы ты этот вопрос обдумала очень серьезно.

— Слушай, ты какой-то ужасно глупый. Неужели я никогда об этом не думала? Особенно с тех пор, как мы с тобой. Я ведь всегда знала, что ты рано или поздно соберешься ехать!

— Просто, понимаешь, это очень непривычная для тебя страна...

— Ну и что? Аргентина разве была привычной? И к Франции моим родителям тоже, вероятно, пришлось как-то привыкать. Однако же привыкли! И я привыкну к России. Правда, поехали, Мишель, это ты хорошо придумал. Но, ты думаешь, мне дадут визу?

— Дадут, надо полагать, если наш брак будет зарегистрирован.

— Да, я понимаю... Что ж, в конце концов это логично, если я подам на развод. Хорошо, что Перон успел провести новый закон, иначе пришлось бы ехать за границу. Я разговаривала с одной знакомой адвокатессой, она говорит, что теперь диворсируют в четырех случаях: адюльтер, — Дуняша стала загибать пальцы, — попытка убийства, жестокое обращение и добровольное отсутствие одного из супругов. Это именно мой случай — мсье Новосильцев добровольно отсутствует уже пятый год... Нет, но каков крапюль!

— Она не говорила, долгая это история?

— Развод? Я не спросила, но такие вещи обычно зависят от адвоката... Чем больше заплатишь, тем скорее. Я сегодня же ей позвоню и все узнаю.

Разговор этот, неожиданно оказавшийся таким коротким,

оставил у Полунина двойственное впечатление. Тревожило то, что Дуняша очень слабо представляет себе сегодняшнюю Россию и вряд ли до конца отдаст себе отчет, насколько жизнь там отличается от жизни на Западе. В то же время он поверил, что она действительно обдумывала уже этот вопрос и пришла к твердому решению. Она права в том, что эмигрантам не раз уже приходится привыкать к чужим странам, — неужто труднее окажется привыкнуть к своей собственной?

А вот другого предстоящего разговора Полунин боялся больше. В согласии Дуняши ехать домой он, в общем, особенно не сомневался (хотя не сразу отважился спросить об этом прямо). Он был почти уверен, что она скажет «да». А вот не скажет ли им «нет» товарищ Балмашев...

Решиться на новое свидание с ним было не так просто. Полунин подумал даже, не позондировать ли почву, поговорив сперва с Надеждой Аркадьевной, — но что могла бы сказать ему она, сама уже потерявшая надежду на получение визы? Да и вообще, такие вещи нужно выяснять по-мужски, без посредников.

В тот же день он позвонил Балмашеву, разыскав полученную от него тогда визитную карточку с номером служебного телефона.

— Здравствуйте, Алексей Иванович, — сказал он, — это Полунин вас беспокоит... Помните такого?

— Как же, как же. Приветствую вас, Михаил Сергеевич. Что у вас нового?

— Да есть кое-что! Работа моя — помните, я вам тогда говорил, что мне сейчас не совсем удобно у вас бывать? — так вот, работа эта кончилась, я теперь человек вольный. Дышу, так сказать, полной грудью! Словом, хотелось бы повидаться, Алексей Иванович, если вы не против.

— Я-то не против, — не сразу отозвался Балмашев. — Но только вот — когда? Завтра мне придется выехать на некоторое время в провинцию...

— А-а... И надолго?

— Трудно пока сказать.

— Досадно, — сказал Полунин упавшим голосом. — А сегодня уже не успеть...

— Да, рабочий день на исходе... — Балмашев помолчал, потом сказал тем же ровным голосом: — А впрочем, давайте вот что сделаем. Подъезжайте-ка часикам к семи на Пласа Италия, там напротив памятника Гарибальди есть такая забегаловка, называется бар «Милонга». Посидим, пивка выпьем, заодно и побеседуем.

— «Милонга» на Пласа Италия, в девятнадцать, — обрадованно повторил Полунин. — Договорились!

— До свиданья.

Полунин медленно положил трубку. Дуняша, сидевшая за своим рисунком, спросила, не оборачиваясь:

— Кто этот Алексей Иванович, который назначает тебе свидание в злачном месте?



— Почему «злачным»?

— По-моему, других там нет... Меня специально предупредили — не появляться на Пляс Итали без провожатого, особенно вечером.

— Это дело другое.

— Но все же, кто он? Или это она, а «Алексей Иванович», как это сказать, для конспирасьон?

— Он, он, можешь не волноваться. Алексей Иванович Балмашев, сотрудник консульского отдела нашего посольства.

— Боже, как интересно! — Дуняша крутнулась вместе с вращающимся креслом и еще шире распахнула глаза. — Ты идешь насчет визы?

— Совершенно верно.

— Возьми меня с собой!

— К Балмашеву — зачем?

— Ну... — Дуняша подумала, почесала нос обратным концом кисточки. — Возможно, я его очарую.

— Я тебя сейчас так очарую, что ты три дня не сядешь на свою вертушку.

— А вот это, сударь, уже непристойность!

— Кресло я имею в виду, кресло.

— А-а... Ну, как хочешь, я ведь для пользы дела предложила, — примирительно сказала Дуняша и вернулась к работе.

У бара «Милонга» Полуниин появился за четверть часа до условленного срока. Балмашева еще не было, он постоял на тротуаре, закурил, подошел к журнальному киоску, — за стеклом был выставлен развернутый номер «Аора» с фотографиями каких-то развалин, он пригляделся и узнал здание, где помещался штаб ЦНА. Узнать, правда, было довольно трудно — дом выглядел как после прямого попадания, фасада не осталось, нижний этаж завалило рухнувшими перекрытиями. Полуниину вспомнился первый визит к Келли, как охранник обыскивал его, а он пошутил по поводу бронированной двери. «Если понадобится, выдержим любую осаду», — сказал тогда синерубашечник. Вот тебе и выдержали...

Внезапно его ударила мысль о Кривенко. Черт возьми, забыл ведь совсем про этого дурака! Что, если он все еще торчит в Формосе и со своей эсэсовской верностью ждет инструкций? Вот еще навязал себе соратника, пропади он пропадом... не хватает только, чтобы его сцапали. Подумав немного, Полуниин купил журнал и почтовый конверт, вырвал страницу с фотографиями, написал на полях по-русски: «Немедленно переходи границу, инструкции получишь в Асунсьоне». Вложив послание в конверт, он заклеил его, адресовал на имя Кривенко — Формоса, до востребования, — и бросил в почтовый ящик. Вообще, это была перестраховка, скорее всего бывший адъютант и сам уже соригенировался, но черт его знает, дуракам закон не писан.

Он едва успел получить заказанное пиво, как увидел в дверях Балмашева — в аккуратном и неприметном сером костюме, в светлой шляпе, надетой под точно таким углом, как носят

аргентинцы, тот вошел в бар и, не озираясь, направился прямо к столику Полунина. Вероятно, высмотрел его еще с улицы.

— Присаживайтесь,— сказал Полунин, наливая пиво во второй стакан.— Не очень я нарушил ваши сегодняшние планы?

— Ничего,— сказал Балмашев.— После работы какие же планы.

— Вы извините, что проявил навязчивость, но очень уж не хотелось откладывать разговор до вашего возвращения... Тем более что вы сами не знаете, когда вернетесь.

— Да нет, я ненадолго. А что у вас за дело такое срочное?

— Дела, собственно, никакого,— соврал Полунин.— Просто хотел кое-что рассказать. Помните, я вам тогда сказал, что не могу пока бывать в консульстве?

— Помню,— Балмашев отпил пива, закурил.— И что же?

— Так вот: я тогда находился, по правде сказать, почти на нелегальном положении. Ну, и... не хотел, естественно, чтобы в случае чего связь со мной — пусть даже не связь, а просто хотя бы случайные контакты — могли обернуться для вас неприятностями...

— Простите, я что-то не очень понимаю,— сказал Балмашев уже настроенно.— Как это — «на нелегальном положении»? И почему это могло обернуться неприятностями для меня?

— Да просто если бы я загремел, то эти типы стали бы доискиваться, с кем общался,— это естественно, следствие в таких случаях первым делом проверяет контакты. Еще, чего доброго, заявили бы, что все это советским посольством затеяно...

— Не понимаю,— повторил Балмашев.— Что затеяно-то?

Полунин рассмеялся.

— Да-да, простите, я слишком все это путано излагаю! Поймаете, я тут в такую пинкертоновщину ввязался — сам до сих пор удивляюсь, что благополучно унес ноги. Дело в том, что надо нам было выследить одного человека. В полицию обращаться с этим было бесцельно, поэтому решили проверить всё сами — в порядке, так сказать, самостоятельности. Ну, а когда действуешь в обход властей, то действовать приходится, как вы сами понимаете, не совсем легальными методами...

— Минутку! — прервал Балмашев.— Прежде всего, поясните, пожалуйста, кто это «мы», какого «человечка» вы выслеживали и кто поручил вам его выследить?

— Охотно, Алексей Иванович, охотно все поясню! Мы — это я и два моих друга по отряду маки, француз и итальянец. Могу сообщить их имена, род занятий, домашние адреса — впрочем, сейчас это несущественно. Выслеживали мы одного немца, провокатора и предателя, бывшего обер-лейтенанта вермахта по имени Густав Дитмар. Никто нам этого не поручал, просто мы случайно узнали, что он живет в этих краях, и решили...

— Понятно,— опять прервал Балмашев.— Решили его найти. Нашли?

— Нашли.

.. — И что сделали?

— А мы его... — Полуниин сделал быстрое движение рукой, будто словил над столом муху. — И вывезли!

— Куда — вывезли? — с расстановкой спросил Балмашев, забыв о своей дымящейся на краю пепельницы сигарете.

— Во Францию, куда же еще! Чтобы судить там, понимаете? Дело-то было во Франции, в Руане...

Балмашев быстро оглянулся и, встав, стянул с вешалки шляпу.

— Идемте-ка отсюда, — сказал он негромко.

«Шевроле» с белым номерным знаком дипкорпуса стоял за углом, поодаль. Балмашев отпер для Полуниина правую дверь, обошел машину спереди и сел за руль. Включившись, мягко зашелестел двигатель. Когда по капоту потекли, струясь, разноцветные отражения рекламных огней, Полуниина охватило странное чувство «уже виденного», словно когда-то где-то было с ним точно такое — приглушенное урчание мотора, пестрые блики перед глазами... Он тут же вспомнил: тот вечер в Монте-видео, когда он впервые ехал на свидание с Морено.

— Куда-нибудь за город, не возражаете? — спросил Балмашев.

Выехав на площадь, он обогнул памятник против часовой стрелки и уверенно вогнал машину в поток движения по Санта-Фе. Громыкнул над головой путепровод Тихоокеанской железной дороги, справа промелькнули обложенные мешками с песком зенитки у казарм «Квартель Мальдонадо»; впереди вытянулась убегающая вдаль пунктиром фонарей и фейерверочным мельтешением реклам шестикилометровая стрела Кабильдо. Полуниин рассказывал, прикуривая сигарету от сигареты. Вырвавшись на кольцевую автостраду Хенераль Пас, Балмашев свернул налево от реки и сбавил скорость.

Машина не спеша катилась в правом ряду, но их мало кто обгонял, встречного движения тоже почти не было, теплый, пахнувший травами ветер врвался в открытое окно. Слева от автострады стояло во все небо электрическое зарево, по правую сторону было темно, только кое-где кучками далеких огней мерцали пригороды столицы — Аристубуло-дель-Валье, Хусто, Падилья.

— Что ж, счастливо отделались, — сказал Балмашев, выслушав полуниинский рассказ до конца. — И отделались совершенно случайно. Вы хоть сами-то понимаете, чем бы все это кончилось, если бы не недавние события?

Он вывел машину на обочину, выключил двигатель и закурил.

— Вот так-то, — сказал он. — Не обижайтесь, но ничего более незлепого нарочно не придумать. Ей-богу, это если бы мальчишки затеяли, начитавшись шпионских романов, а то ведь взрослые люди, бывшие партизаны...

Балмашев выбросил в окно окурки, прочертивший в темноте тонкую огненную параболу, побарабанил пальцами по рулю, включил приемник на приборном щите и тут же снова погасил, не дождаввшись, пока прогреются лампы.

— Впрочем,— продолжал он негромко, словно думая вслух,— это, пожалуй, и закономерно... Знаете, дома мне приходилось общаться с некоторыми бывшими эмигрантами... из Франции, из Чехословакии. Они говорили вполне откровенно, рассказывали о своей жизни, о политической деятельности. И меня знаете что всегда поражало? Среди них были умные люди, образованные... настоящие старые русские интеллигенты, каких уже мало осталось. Но то, о чем они рассказывали, все эти их «союзы», «объединения», вся картина эмигрантской общественной жизни в целом — это было нечто удручающее, нечто... настолько несерьезное, настолько оторванное от жизни, что я просто никак не мог увязать воедино вот эти два момента — личные качества этих людей и то, чем они занимались. Тогда не мог и до сих пор не могу. Конечно, есть расхожее объяснение... соблазнительное своей простотой... Дело, мол, в ошибочности идейных предпосылок, в том, что вся деятельность эмигрантов была заведомо обречена ходом истории — ну и так далее. Но тогда, простите, встает вопрос: почему же они-то сами этого не видели, не понимали этой обреченности? Ведь многим из идейных вождей белой эмиграции нельзя отказать в уме, в большой образованности, в знании той же истории и умении разбираться в ее законах... Говорят, ум хорошо, а два лучше, но тут получается наоборот: каждый в отдельности умен, а соберутся вместе — такую начинают городить ахинею, что диву даешься. Нет, тут что-то другое... Поневоле начинаешь думать, что эмиграция дышит отравленным воздухом, ей попросту кислорода не хватает. Я почему сейчас об этом заговорил — только вы, Михаил Сергеевич, поймите меня правильно,— в этой вашей затее с похищением тоже ведь есть что-то от эмигрантщины... этакая, понимаете ли, химеричность. Хотя как раз предпосылки у вас были вполне правильные, побуждения самые благородные — наказать предателя, восстановить справедливость... Чего не было, так это увязки с реальной жизнью.

Полунин почувствовал себя задетым.

— Ну, видите ли... реальная жизнь — понятие обширное. Так или иначе, при всей «химеричности» нашей затеи, мы ее осуществили — Дитмара будут судить. Что касается риска... — Он пожал плечами. — Скажу без всякого желания покрасоваться — об этом не думал. Уже после, задним числом, мне пришлось в голову, что они могли отомстить моей жене... Но когда мы все это начинали, жены у меня еще не было.

— Вы на русской женаты?

— Конечно! Родилась, правда, в Париже...

Он помолчал, не зная, как приступить к главной части разговора.

— Алексей Иванович, я с вами решил встретиться не только для того, чтобы рассказать о поимке Дитмара... Хотя и для этого тоже — раз обещал в свое время. Дело вот в чем: мы с женой хотели бы вернуться на родину. Скажите мне прямо и открыто — пустят нас туда или нет?

— Видите ли, подобные дела решаются не здесь... и не нами,— ответил Балмашев.— Их решает Москва. Что я могу вам сказать? На родину сейчас едут многие — их пускают. Я, со своей стороны, могу только приветствовать ваше желание... ну, и помочь, насколько это будет в моих силах. Вам следует обратиться в консульский отдел с соответствующим заявлением, приложить автобиографию, заполнить анкеты. Жена ваша, помимо этого, должна будет подать прошение о восстановлении в гражданстве,— она, как дочь бывших подданных Российской империи, подпадает под действие Указа от четырнадцатого июня тысяча девятьсот сорок шестого года. Кстати, как ее девичья-то фамилия?

— Ухтомская.

— Княжна?

— Да нет, вроде бы,— улыбнулся Полунин.— Говорит, какая-то боковая ветвь...

— Да-а, уж эти старые роды ветвились. Вы сказали, что женаты меньше двух лет,— значит, брак зарегистрирован в Аргентине?

— Нет, в том-то и дело... Тут, понимаете, какая сложность — она еще официально не разведена, хотя муж бросил ее пять лет назад...

— М-да, это действительно осложнение,— помолчав, сказал Балмашев.

— И... серьезное?

— Да нет, в общем-то. Конечно, было бы лучше...

— Здесь это невероятно долгая процедура — развод, я хочу сказать.

— Я понимаю. Хотя Перон, кажется, это несколько упростил? Словом, давайте сделаем так: подавайте пока свои документы порознь, а там видно будет. Успеете оформить здесь — тем лучше, а если нет — ну что ж, распишетесь дома. Скажите... а жена ваша серьезно все обдумала?

— Уверяет, что серьезно.

— Сколько ей лет?

— Двадцать пять.

— Молоденькая совсем... это хорошо, легче освоится. Впрочем, те эмигранты, о которых я вам говорил, в общем освоились довольно быстро... У нас, конечно, есть еще трудности, после такой войны за десяток лет не оправившись, но это — как бы сказать — те обычные трудности, из которых складывается жизнь. Обычная, нормальная жизнь у себя дома... а не в гостях. Важно, Михаил Сергенч, чтобы ваша жена это поняла. Тут вам уж и книги в руки — провести, так сказать, воспитательную работу... Ну, а бланки анкет и заявлений можете взять хоть завтра. Меня на работе не будет, но это неважно, я скажу, к кому там обратиться. Товарищ вам объяснит, как что заполняется...

— Завтра же зайду,— кивнул Полунин.— Скажите... А как долго обычно рассматривают там эти дела?

— Ну, по-разному, — уклончиво ответил Балмашев, — иногда месяца три-четыре, иногда дольше. Одно могу вам обещать твердо — под сукно не положат...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Его окликнули у соседнего с консульством дома, и первой — мгновенной — реакцией была панически метнувшаяся мысль, что все-таки выследили, увидели! Но он тут же опомнился, перевел остановившееся на долю секунды дыхание. Теперь-то что, вот месяцем раньше это была бы катастрофа...

Он замедлил шаги, оглянулся и увидел Жоржа Разгонова — лет пять назад они работали вместе на строительстве студенческого городка «Президент Перон», монтировали там телефонную сеть.

— Мишка, елки зеленые! А я ведь наугад позвал, глазам своим не поверил... — Разгонов подошел ближе, пялясь с нахальным любопытством. — Что, думаю, за хреновина, никак наш «француз» к товарищам в гости ходит...

— Случается, как видишь, — сдержанно отозвался Полуниин. — Давно тебя не видел, ездил куда-нибудь?

— А, работал в Комодоро-Ривадавиа, на нефти. Хорошо хоть контракт был на полгода, больше меня туда не заманят.

— А я слышал, там можно хорошо заработать.

— Да что с того! Там, понимаешь, этих денег даром не захочешь, я все равно половину пропил без отрыва от производства. А чего еще делать, верно? Единственное что — бардаки там легально, поскольку военная администрация. На ихней территории законы совсем другие. И то не по-людски: приходишь, поликлиника не поликлиника — номерок тебе дают, и первым делом на медосмотр, понял? А баба вышла в белом халатике — я думал, медсестра опять, елки зеленые... Ну ладно, ты-то у товарищей чего делал?

— В консульстве? А, это я... насчет посылки, — сказал Полуниин. — Хочу послать своим кое-чего, вот и зашел узнать, какие у них на этот счет правила.

— Ты ж говорил, у тебя там никого не осталось!

— Ну, как не осталось. Это я родителей имел в виду, а тетка есть, — Полуниин для пушей достоверности уточнил: — Старушка уже, в Гатчине живет.

— Ну и что сказали за посылку?

— А ничего. Посылайте, говорят, что хотите, почта работает нормально. Адрес, сказали, на двух языках надо писать.

— Воображаю, спуют с бабки пошлину. Ты чего посылать-то думаешь, из барахла?

— Нет, пожалуй, — терпеливо ответил Полуниин. — Из продуктов что-нибудь — ну, что отсюда обычно посылают? Кофе там, шоколад. Как раз к празднику и получит гостинец.

— Получит, держи карман. Хрен они ей твой шоколад отда-

дут — сожрут сами, а ее еще заставят письмецо написать: спасибо, мол, сыночек...

— Тогда уж племянничек, — поправил Полунин.

— ...очень все было вкусно, присылай почаще да побольше!

— Ну, попытка не пытка, авось не сожрут. А и сожрут, невелик убыток.

— Да дело не в убытке, понятно, но только зачем же гадюк шоколадом за свой счет откармливать? Мне точно говорили: не доходят посылки, ни продуктовые, ни с барахлом. А письма писать заставляют — в том смысле, что все дошло в целостности-сохранности. Или с барахлом как делают? Придет, допустим, посылка из Штатов, они ее вскроют, хорошие вещи заберут, а напхают рвани на тот же вес. Потом еще и в газете напишут — вот, дескать, американцы вам какое дерьмо присылают...

— Мудрец ты, Жора, — Полунин посмеялся. — Расскажи лучше, какое там в Комодоро обслуживание, это у тебя живее получается.

— Да ну их на фиг, и вспоминать неохота! А я сейчас, понимаешь, смотрю: вроде ты, — елки, думаю, палки, неужто и этого на родину потянуло...

— Почему «тоже», ты еще кого-нибудь видел?

— Видать не видел, среди наших-то, пожалуй, нету таких придурков. Но слышать приходилось. Хохлы эти западные — воляницы и галичане — те сейчас валом валят. Два парохода, говорят, под ихнего брата арендовано, и то за один раз всех не перевезут. Ну, тех еще понять можно... Темные мужики, приехали когда-то из панской Польши на заработки, о советской нашей родной власти никакого представления...

— При чем тут советская власть, люди просто хотят домой, — Полунин посмотрел на часы и перебросил портфель в другую руку. — Ну ладно, гуляй. Мне тут еще в одно место забежать надо...

Уже распрощавшись и отойдя, Разгонов снова окликнул его во всю глотку:

— Мишка, слышь! А ведь про тетку-то в Гатчине выдумал, признайся? Заявление небось ходил подавать, паразит!

— Гуляй, Жора, гуляй. И не надо напрягать мозговые извилины, вредно это тебе...

Ну, теперь растрезвонит на всю колонию, подумал Полунин, ускоряя шаги. И угораздило же нарваться на этого идиота, как нарочно... Балмашев вчера еще посоветовал не особенно пока распространяться о том, что решил подать документы. Прав, конечно, береженого и бог бережет, — так нет же, надо было такому случиться...

Скоро он, впрочем, забыл про некстати встреченного лоботряса, мысли были заняты совсем другим. Придя домой, он достал из портфеля большой, плотной бумаги конверт с надпечаткой по-русски и по-испански: «КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА СССР В АРГЕНТИНЕ», разложил по столу бумаги. Не откладывая дела в долгий ящик, заполнил анкету, написал

короткое заявление по приложенному стандартному образцу. И начал трудиться над автобиографией.

Когда, уже под вечер, вернулась Дуняша, комната была замусорена смятыми обрывками черновиков, а сам автор расхаживал из угла в угол с отсутствующим видом и погасшей сигаретой во рту.

— О-ля-ля, какое вдохновение, — сказала Дуняша. — Похоже, мсье решил завоевать приз Гонкур. Это что, и мне придется столько писать?

— Тебе проще. Какая у тебя биография? На полстраницы. А мне ведь, только чтобы рассказать про все эти шашни с Альянсой, понадобится целый трактат...

— Скажешь тоже — полстраницы, — обиженно возразила Дуняша. — Биографии всегда начинают издавать издавала. У Моруа есть очень интересная книга про лорда Байрона, это был такой английский поэт, так он там пишет даже о том, как одного из его предков — Байрона, а не Моруа — съели сверчки. Вернее, не съели, а просто когда он умер, слуга вошел и увидел, что вся комната полна сверчками. Какой ужас, вообрази, наверное пришли почтить память. А что я могу написать о своих предках? Я только знаю, что дед украл жену из татарского улуса, а еще раньше один Ухтомский...

— Неважно, автобиография пишется иначе. Начинать с себя, этого достаточно.

— Ну если так... — Дуняша присела к столу и стала изучать вопросы анкеты.

— Послушай, — сказала она, — в моих документах так и будет написано, как я здесь отвечу?

— Конечно.

— Тогда, знаешь, я лучше напишу, что мой год рождения — тысяча девятьсот тридцать второй.

— Не дури, Евдокия.

— Боже мой, какая разница — тридцать второй, тридцатый? А потом это пригодится.

— Нет, нельзя, пиши все как есть. И не вздумай врать — проверю.

— Не понимаю просто, откуда в мужчинах столько мелочности... Хорошо, что много запасных бланков, а то ведь я не тверда в русской орфографии.

— Да-да, — рассеянно отозвался Полунин, — заполняй пока, я потом исправлю ошибки, и ты перепишешь набело. По-русски, кстати, говорится «орфография».

— Разве? А-а, ну правильно, там это греческое «тэ-аш».

Пожинав, они довольно быстро покончили с Дуняшиными бумагами, но вот его собственная биография... Сколько уже написано, а добрался только до своего приезда в Аргентину, — самое-то интересное было еще впереди.

— Ладно, — сказал он наконец, — давай-ка спать!

Однако заснуть ему не удалось. Он полежал часа полтора, тщательно пытаясь отключиться от своих творческих проблем, потом



осторожно убрал с плеча Дуняшину руку, встал и отправился на кухню, прихватив неоконченное произведение. Какого черта, в самом деле, что там особенно ломать голову...

Было уже светло, когда он завершил свой труд эпизодом с отправленной в Формосу журнальной страницей, проставил дату — «Буэнос-Айрес, 6 октября 1955 года» — и твердо подписался, едва не пропорвав бумагу шариковой ручкой. В сквере внизу беззаботно перекликались стеклянными голосами птицы, не знающие никаких автобиографий, никаких виз, никаких границ. Полунин позавидовал им, стоя у окна и глядя, как занимается над крышами розовое пламя рассвета. Из-за угла выползла поливальная машина, медленно обогнула площадь, оставляя за собой широкую темную полосу мокрого маслянисто поблескивающего асфальта. Ладно, подумал Полунин, теперь будь что будет...

Вернуться в постель незамеченным не удалось. Едва он вошел в комнату, как Дуняша проснулась — посмотрела на него, потом на часы.

— Нет, вы окончательно рехнулись, сударь, — сказала она. — Мало вам дня?

— Значит, мало. Давай спи, я тоже уже ложусь...

— Завтра мы уезжаем, — объявила она решительно. — Хватит! Сдашь эти бумаги, и я беру билеты в Барилоче.

— Почему именно в Барилоче?

— Потому что дальше некуда! И потом, ты обещал научить меня ходить на лыжах. Как я буду в России без лыж?

— Там дешевле этому научиться, — возразил Полунин, зевнув. — А в Барилоче я не поеду — никогда не бывал на этих модных курортах, ну их к черту.

— Но здесь я тебя все равно не оставлю! Я не могу спокойно сидеть и наблюдать, как ты превращаешься в один фантом, уже и по ночам перестал спать...

— Так ведь ночь у привидений самое рабочее время, про дневных фантомов я что-то не слышал.

— Какой тонкий юмор! — возмущенно фыркнула Дуняша, поворачиваясь к нему спиной. — Отстань, у тебя руки холодные.

— Сейчас согреются...

За завтраком она опять завела разговор о поездке. Полунин подумал, что съездить куда-нибудь было бы и в самом деле неплохо, отдохнуть действительно надо.

— Что ж, я не против, — согласился он. — Только чтобы толпы не было. Слушай, а ты помнишь то местечко, куда мы ездили в мае? Как его — Талар, что ли...

— Это где была такая большая кровать? Да, помню, мне там понравилось, и хозяин такой славный — толстый, меланхолический, и огромные усы. Браво, это у тебя хорошая идея...

Он перечитал на свежую голову все написанное ночью и остался доволен — автобиография получилась хотя и странная, но была изложена ясно, четко, без умолчаний и

ненужных подробностей. Этак и мемуары насобачишься писать, подумал Полунин, вкладывая бумаги в тот же плотный конверт.

Вечером он отнес его Основской.

— Надежда Аркадьевна, — сказал он, — я хочу это отдать Балмашеву, но он сейчас в отъезде. Мы с женой тоже думаем поехать отдохнуть недельку-другую, так что я попрошу вас — передайте это ему, когда вернется. А пока почитайте сами, я нарочно не запечатал — хочу, чтобы вы познакомились с моей автобиографией. Вас там кое-что удивит, но вы поймете, почему я молчал об этом раньше...

В субботу они вышли из поезда на знакомом полустанке, где ничто не изменилось за эти полгода. Не изменился и отель — он стоял такой же пустой и чистый, пахнувший новой мебелью и натертым паркетом. Дон Тибурсио узнал их и приветствовал, как старых клиентов. Они заняли тот же номер, — Полунин подумал, что в тот раз предчувствие его обмануло: он был уверен, что не увидит больше ни этой комнаты, ни лежащей за окном пустынной пампы. В апреле она была бурой, выжженной летним солнцем, а сейчас зеленела свежей травой — цвета надежды...

Днем над пампой стояло огромное безоблачное небо, они уходили подальше, ложились в траву и чувствовали, как становится невесомым все тело, словно медленно растворяясь в солнечном тепле, в запахах земли и полевых цветов. Так же пахло по ночам и в их комнате — они никогда не закрывали окна, тишина звенела и переливалась неумолчным хором цикад, сияющим голубым параллелограммом лежал на полу лунный свет. Они были счастливы. Еще никогда так не влекло их друг к другу, никогда еще близость не бывала такой полной, сокрушительной, исчерпывающей себя до последних пределов...

Весна пятьдесят пятого года была в провинции Буэнос-Айрес ранней и дружной, уже к концу первой декады октября установилась умеренно жаркая погода с короткими обильными ливнями, чаще всего ночными. Пампа буйно цвела, в человеческий рост вымахал чертополох вдоль изгородей, словно торопясь запастись соками на все долгое лето — пока не обрушились на землю подступающие с севера ударные волны зноя. Дуняшу вызвали телеграммой в Буэнос-Айрес, она съездила туда на один день, привезла несколько срочных заказов и по вечерам работала в соседнем пустом номере, откуда дон Тибурсио по ее просьбе убрал кровать, заменив большим кухонным столом. Спать они ложились рано, почти с местными жителями — после захода солнца, — зато вставали на рассвете и, не позавтракав, уходили вдоль полотна железной дороги, километров за десять. На обратном пути их обычно догонял пассажирский поезд, — иногда они нарочно дожидались его на повороте, где он замедлял ход, Полунин с разбегу подсаживал Дуняшу на площадку последнего вагона, вскакивал сам, и они возвращались со всеми удобствами, сидя на ступеньках и обдуваемые упругим ветром.

Двенадцатого в Таларе торжественно отпраздновали День Америки — над дверью школы вывесили украшенный туей и лаврами портрет Колумба, ребяташки читали патриотические стихи, духовой оркестр добровольной пожарной команды сыграл гимн, вечером пускали ракеты, на здании муниципального совета горел транспарант из разноцветных электрических лампочек: «1492—1955».

— В субботу будет неделя, как мы здесь, — сказал Полунин. — Ты хочешь пробыть весь месяц?

— Да нет, пожалуй, — ответила Дуняша. — Месяц будет многовато, и потом, я думаю, что с разводом нужно постараться успеть до конца судебной сессии — иначе все это отложится до осени.

— Ну что, побудем до следующего воскресенья? Это будет двадцать третье, в понедельник ты позвонишь своему адвокату...

— Давай лучше до субботы, тогда я в воскресенье смогу пойти в церковь. Я у обедни не была уже не знаю сколько, совершенно стала язычницей. Недаром говорят — с кем поведешься...

Погода, державшаяся как по заказу все эти две недели, испортилась наконец в день их отъезда. Одетые уже по-городскому, Полунин с Дуняшей стояли под навесом станции, бесшумно моросил дождь, поезд — тот самый, которым они иногда возвращались со своих утренних прогулок, — сегодня опаздывал. Станция была расположена на самом краю поселка, пампа подступила к ней вплотную; Полунин подумал, что трудно найти более типичный для Аргентины вид, чем этот — распахнутая до самого горизонта ширь, линия телеграфных столбов вдоль рельсов, решетчатая мачта ветряка над гальпоном<sup>1</sup> из гофрированного железа...

— Чего ты шмыгаешь носом? — спросил он.

— Так... Ты никогда не замечал, что уезжать — грустно, даже если едешь охотно и с удовольствием? Странно... Впрочем, нет, я глупость сказала, ничего странного. Знаешь, мне так было здесь хорошо...

— Нам будет еще лучше, Евдокия.

— Я понимаю это умом, но...

В Буэнос-Айресе тоже шел дождь, блестели мокрые черные зонты, пахло бензином. После обеда Дуняша занялась уборкой, а Полунин пошел к себе на Талькауано — посмотреть, нет ли писем. Свенсон оказался дома, был против обыкновения трезв и мрачен.

— Сожгли подшивник, желтопузые обезьяны, — объяснил он. — Минимум неделя ремонта! Вшивая страна, вшивые люди, вшивые суда. Я уже десять лет мог бы плавать у Мур-Макормака и получать жалованье в долларах, а не в этих вонючих

---

<sup>1</sup> Galpon — складское помещение (исп.).

песо, которыми скоро можно будет оклеивать стены. Видел сегодняшний курс? Сто песо — пять долларов, вот так-то. И еще, говорят, не сегодня-завтра будет объявлена девальвация...

Храм, который обычно посещала Дуняша, пока не стала язычницей, был расположен в Баррио Пуэйрредон — тихом зеленом пригороде в западной части Буэнос-Айреса. Церковь помещалась в полуподвальном этаже углового дома; огороженного двора, как на Облигадо, здесь не было, и прихожане после окончания обедни толпились в соседнем скверике. Пуэйрредонская церковь, как и другие православные церкви Буэнос-Айреса, была не только храмом, но и своего рода клубом — сюда приезжали повидаться со знакомыми, узнать новости. Хозяин расположенной тут же закусочной давно приспособился к вкусам еженедельной клиентуры, и русские пирожки, которые он в больших количествах выпекал по воскресеньям, были не хуже, чем у Брусиловского.

По обыкновению опоздав на электричку, Дуняша пришла к концу проповеди. В церкви было тесно и душно, она потихоньку пробралась вперед, поставила свечку Михаилу Архангелу и, опустившись на колени, помолилась о том, чтобы с разводом не получилось никаких осложнений и чтобы им поскорее дали визы. Проповедь тем временем кончилась, начали подходить к кресту. Медленно продвигаясь к амвону вместе с очередью, Дуняша поглядывала вокруг, рассеянно кивала знакомым и думала о том, что все они остаются здесь, а она, если не случится задержки, у пасхальной заутрени будет уже в Казанском соборе. Или даже в Исаакиевском. Ей было очень жаль всех окружающих...

Истово крестясь, проковыляла мимо старая княгиня-сплетница, юркнул шалопаистый поручик Яновский, прошествовал длинный как жердь скаутмастер Лукин со своей маленькой шуплой женой. Появилась Мари Тамарцева, — увидев Дуняшу, она сделала большие глаза и стала жестами показывать, что будет ждать ее снаружи. Дуняша кивнула. Подошла ее очередь, она приложилась ко кресту, поцеловала пахнущую ладаном руку батюшки и с чувством исполненного долга направилась к выходу, развязывая под подбородком концы платочка.

На улице солнце ударило ей в глаза, она спрятала платочек в сумку, надела темные очки. Мари Тамарцева тут же налетела как коршун, схватила за плечи, быстро поцеловала — точно клонула — в щеку и зашептала трагически:

— Боже мой, Доди, где ты пропадала? Я тебя уже второе воскресенье здесь ищу, домой звонила несколько раз...

— Я уезжала отдохнуть, а что?

— Боже мой, как что? Да ведь он приехал!

— Кто приехал?

— Но твой муж, Вольдемар!

Дуняша почувствовала, что у нее холодеют щеки. Потом ей вдруг стало очень жарко.

— Ах вот как,— сказала она звонким от ярости голосом,— мсье соизволил вспомнить о своей супруге? Прекрасно, но только мне уже нет до него никакого дела! Если бы он таскался еще пять лет, я должна была его ждать?

— Но, Доди, ты же ничего не знаешь! Отойдем, я тебе все расскажу...

Тамарцева схватила Дуняшу за руку, потащила через улицу. В сквере они отошли на боковую аллею, подальше от соотечественников. Мари все говорила и говорила, а Дуняше казалось, что все это какая-то фантазмагория, наваждение, что вот сейчас она очнется, придет в себя, и ничего этого не будет...

— ...Я его спрашиваю: «Но почему же ты ни разу не написал, ведь можно было сообщить»,— продолжала Тамарцева трагическим полусшепотом,— а он мне сказал — и, знаешь, я в чем-то его понимаю,— он сказал, что не мог себе позволить, думал, что для тебя лучше, если ты ничего не будешь знать, лучше считать себя просто брошенной, чем женой арестанта...

— Очень благородно,— сказала Дуняша,— но это ничего не меняет, в конце концов я тоже человек, у меня тоже могла быть какая-то своя жизнь, не так ли? Я три года ждала его как последняя идиотка, плакала по ночам, со мной могло случиться что угодно,— об этом он подумал, когда пускался в свои авантюры? Ему было скучно, видите ли, он не мог работать, как все люди,— а я могла? Я могла по девять часов в день стоять у мармита с кипящим конфитюром, когда в цехе было сорок градусов жары? Я приезжала домой как дохлая рыба, а он мне говорил: «Слушай, хорошо бы развлечься немного, пойдем в синема», и я улыбалась и делала хорошее лицо, и мы шли и смотрели по три дурацких фильма подряд — то есть это он смотрел, а я ничего не видела, потому что я сидела и думала, сколько мне удастся сегодня поспать,— я вставала в пять утра...

— Доди, милая, я все понимаю и нисколько его не оправдываю, но я все же считаю, что тебе просто необходимо с ним увидеться, в конце концов это твой муж...

— Да какой он мне муж!

— Ну, все-таки. Ты обещалась ему перед алтарем, Доди, вспомни...

— А он помнит свои обещания перед алтарем? Ну хорошо, тогда я ему напомню! Ты думаешь, я боюсь встретиться с ним? По-моему, это он меня боится, если даже не пришел сюда, а тебя подослал!

— Боится,— согласилась Тамарцева.— Доди, я ничего ему не сказала, не могу бить лежащего, пойми... А встретиться с тобой ему действительно страшно.

— Ну, так он встретится,— объявила Дуняша с угрозой.— Он сейчас там, у вас?

— Да, да, поезжай, дома никого нет, вы сможете поговорить спокойно...

Через полчаса Дуняша выскочила из такси перед домиком Тамарцевых в Оливосе. Еще с улицы, глянув поверх низкой ограды из подстриженных кустов бирючины, она увидела Ладушку Новосильцева — крошечный был одет в старый комбинезон и замазывал цементом трещины в бетонной дорожке. Услышав, как звякнула распахнутая калитка, он оглянулся и так и замер — сидя на корточках, с мастерком в руках.

— Салют,— бросила Дуняша, проходя мимо.— Очарована тебя увидеть...

Поднявшись по ступенькам, она толкнула дверь и вошла в маленькую гостиную, полутемную от спущенных жалюзи. Ладушка, помедлив, вошел следом. Дуняша швырнула сумку на стол и, не снимая очков, стала сдергивать с пальцев перчатки.

— Так что же ты хотел мне сказать? — спросила она звенящим голосом и продолжала, машинально перейдя на французский: — Мари уверяет, ты прямо-таки рвался со мной встретиться! Вероятно, чтобы порадовать рассказом о своих захватывающих авантюрах? В общих чертах я с ними уже знакома. Что еще?

Ладушка, стоя у двери, вздохнул и вытер о комбинезон испачканные цементом руки. Высокий блондин скандинавского типа, он был бы красив, если бы не странное несоответствие между мужественными чертами лица — прямым носом, твердым волевым подбородком — и общим выражением какой-то бесхарактерности, неуверенности в себе. Эта бесхарактерность не шла такому лицу, она раздражающе искажала общее впечатление — как может уродовать безобразная шляпа или галстук вульгарной расцветки. Да, подумала Дуняша, характера у него за пять лет явно не прибавилось...

— Доди,— сказал он тихо.— Ты не думай, что я претендую на... прежние отношения. Я бы вообще не приехал, если бы знал. Но я думал... ты понимаешь... я не имел представления, как ты живешь. Думал, тебе трудно и тебе нужна помощь...

— Как трогательно,— сказала Дуняша.— Теперь ты можешь быть в ладу с совестью — помощь мне не нужна.

— Да, я понимаю... Я очень обрадовался, когда Мари сказала, что ты отлично устроилась, много зарабатываешь... Это для меня было самое страшное — там... думать, что ты одна и нуждаешься. Я ужасно рад, Доди, и знаешь — меня не удивляет, я всегда видел, что ты умнее и талантливее меня, впрочем здесь неуместен компаратив, я никогда не был ни умным, ни талантливым...

— Нет, почему же! У тебя есть бесспорный талант — исчезать и появляться в самый удачный момент. Ни днем раньше, ни днем позже. Это ведь тоже надо уметь, согласишься. Дай мне воды...

Ладушка вышел. Раскрыв сумку, Дуняша сорвала очки и торопливо промокнула глаза платком.

— Я ведь появился, Доди, только чтобы тебя увидеть, — сказал Ладушка, входя со стаканом воды. — Я уеду, не бойся, я не такой уж болван, чтобы не понимать простых вещей. Кстати, Мари дала мне понять, что у тебя кто-то есть...

— Естественно, — Дуняша отпила глоток и поставила стакан на стол. — Ты, надеюсь, не думал, что я буду хранить тебе верность еще пять лет?

— О нет, нет, я ведь не в порядке упрека, да и Мари сказала вовсе не для того, чтобы тебя осудить. Напротив, она во всем винит меня, и... я все понимаю, Доди. Я действительно уеду, мне говорили, можно подписать контракт на Фолклендские острова, там эти — ну, которые ловят кашалотов и других морских зверей...

— Потрясающая идея! Ты, конечно, прирожденный ловец кашалотов, прямо капитан Ахав, недостает лишь костяной ноги. Ты хоть когда-нибудь — хоть на старости лет — перестанешь быть недорослем? Конкретно, за что тебя посадили?

— Видишь ли, я в свое время подписал ряд обязательств... ну, там насчет неустоек, погашения гарантийных сумм и всякой такой ерунды. Они мне сказали, что это не имеет ровно никакого значения, чистая формальность...

— Они сказали! С адвокатом ты советовался, прежде чем подписать? И не смей молчать, когда я тебя спрашиваю. Советовался ты с адвокатом?

Ладушка пожал плечами.

— Доди, это ведь не всегда удобно... Ну посуди сама — компаньон просит меня подписать деловые бумаги, а я, по-твоему, должен ему сказать: «Пардон, но я хочу сначала убедить-ся, что вы не жулик...»

— Нет, — Дуняша вздохнула и покачала головой, — ты абсолютно безнадежен. Бог мой, чему тебя учили на этих твоих знаменитых Высших коммерческих курсах?

— Коммерция не мое призвание, я это понял. Если с кашалотами ничего не получится, пойду работать шофером на дальние перевозки... Я ведь уже работал так до всей этой истории, возил вольфрамовую руду из Оруро в Антофагасту — в Чили. Восемьсот километров, но дорога в один конец занимала почти неделю. Все время по горам, представляешь... Здесь ездить гораздо проще — прерия, шоссе гладкое, как стол. Ты не беспокойся за меня, Доди, мне только важно знать, что ты на меня больше не сердишься. Тогда я буду совсем спокоен, потому что в целом это лучше, что так получилось... Я ведь неудачник, ты знаешь, а неудачники — они должны ходить стороной, как прокаженные, и звонить в колокольчик, чтобы никто не приближался...

— Что ты несешь вздор! — взорвалась Дуняша. — Нашел себе оправдание — «неудачник», «прокаженный»! Если ты будешь считать себя неудачником, то уж точно пропадешь.

— Скорее всего, но что же делать, Доди, у каждого своя судьба. Поэтому я и говорю: лучше, что наши судьбы разошлись. Для меня это было там самым страшным все эти годы, — думать, что я и тебя втянул в свою орбиту... Такой человек, как я, должен жить совсем один, понимаешь...

— Такой человек, как ты, — не «неудачник», не смей повторять это идиотское слово! — а просто растяпа и бездельник, — такой нелепый человек дня не проживет один! — крикнула Дуняша. — Потому что ему нужна бонна, а без нее он шагу не сумеет ступить, вот почему! Ты еще, мой дорогой, очень легко отделался — тебя могли убить, искалечить, сослать на каторгу в какую-нибудь Гвиану, куда даже Макар не гонял своих коров!

— Могли, — согласился Ладушка. — Со мной, я давно это понял, может случиться что угодно... поэтому мне и было страшно за тебя. Я не мог простить себе, что привез тебя в Южную Америку. Единственным оправданием было то, что я ведь это ради тебя сделал... Ты не представляешь, Доди, чем ты была для меня там, в Париже. Ты была как луч солнца, и когда я представлял себе, что тебе придется всю жизнь прожить в каком-нибудь Пятнадцатом аррондисмане... как жили все русские — подсчитывая каждый франк... мне это было невыносимо, Доди, я хотел, чтобы у тебя было все: прислуга, бриллианты, серебряный «роллс-ройс», самолет с твоим вензелем на фюзеляже... Я знаю, это звучит ужасно глупо, но что ты хочешь — вспомни, нам было тогда по девятнадцать лет. Не верится, правда, Доди? Я иногда чувствую себя таким старым, таким никому не нужным...

— Ты просто идиот, — сказала Дуняша, шмыгая носом.

— Вероятно... Какое счастье, что у человека есть память, иногда это единственное, что остается. Грустно, конечно, что мы с тобой были счастливы всего каких-нибудь три месяца... это немного, если подумать, но это уже кое-что, не правда ли? Я никогда не забуду, как нам было хорошо здесь, когда мы только приехали... в самые первые дни, помнишь? Какие мы тогда были молодые и свободные, и верили, что все будет так, как мы захотим... Помнишь, как мы сидели вечером в нашем номере в «Альвеаре» — я в тот день купил туристских буклетов — и спорили, где лучше провести следующее лето, в Майами или Акапулько... Кстати, я тебе привез одну вещь...

Ладушка вышел из комнаты. Дуняша, сидя на диване, опустила лицо в ладони и закусил губы, чтобы не разревется в голос. Услышав его возвращающиеся шаги, она быстро выпрямилась и поправила прическу.

— Вот, — робко сказал он, разворачивая бумажку, — возьми на память, а? Я это купил в Потоси... мы там в тюрьме кое-что зарабатывали, деньги мне выдали потом... Как раз хватило на железнодорожный билет и еще вот на это...

Она протянула руку, на ладонь легла маленькая брошка — грушое изделие низкопробного боливийского серебра, что-то



вроде сердечка, украшенного инкаическим орнаментом. Дуняша опустила голову, пытаясь разглядеть узор, но ничего не увидела — подарок дрожал и расплывался в ее глазах...

Полунина еще в Таларе подмывало позвонить Балмашеву — узнать, какое впечатление произвела в консульстве не совсем обычная биография нового кандидата в возвращенцы. Но не позвонил, выдержал характер. Не позвонил и в субботу, — благо, пока вернулись домой, короткий рабочий день уже кончался.

А в воскресенье, когда Дуняша уехала в церковь, он с утра отправился навестить Основскую. Та оказалась дома.

— Ну, голубчик, вы меня действительно удивили! — воскликнула Надежда Аркадьевна. — А я-то, старая дура, и впрямь думала, что он там индейские песни записывает... Честно скажу, сердита на вас ужасно.

— Жена тоже обиделась, когда узнала. Но я ведь действительно не имел права рассказывать...

— Да бог с вами, я не о том вовсе! Что не рассказывали — правильно делали, еще не хватало — с бабами обсуждать подобные вещи. Меня сама эта затея рассердила, безответственность ваша, да, да, голубчик, именно безответственность!

— Перед кем, Надежда Аркадьевна?

— Да прежде всего перед женой! Что собой вздумали рисковать — это, в конце концов, дело ваше. Мужчины в чем-то до старости мальчишками остаются. А о жене вы подумали?

— Когда все это начиналось, мы с ней еще не были знакомы.

— А потом?

— Потом уже было поздно.

— Да-да... — Надежда Аркадьевна выразительно вздохнула. — Прав Алексей Иванович, вы теперь за Лонарди и всю эту их компанию денно и ночно богу должны молиться, что вовремя подоспели со своим переворотом... И с Альянсой еще связался, — да вы знаете, голубчик, что это были за люди?

— Знаю, конечно, — Полунина пожал плечами. — Я с Келли, вот как сейчас с вами, разговаривал. И даже обедал с ним однажды... имел такую честь. Да нет, Надежда Аркадьевна, игра была рискованная, не спорю, но все же не до такой степени, как вам представляется. А свеч она стояла. Ну что, не прав я?

— Бог с вами, победителей и в самом деле не судят... А вообще одно могу сказать: вовремя вы уезжаете, голубчик, во всех отношениях вовремя. Только не рассказывайте никому, что решили возвращаться. Жене, главное, накажите не болтать в церкви.

— Балмашев меня уже на этот счет предупредил.

— Он прав, это и я вам советую. Понимаете, люди ведь есть разные... среди наших «непримиримых» могут найтись такие, что и в полицию дадут знать.

— Какое дело аргентинской полиции до того, кто куда уезжает?

— Казалось бы, никакого. Но уже было несколько случаев, когда людей с советскими паспортами арестовывали по какому-нибудь совершенно дурацкому поводу. То вдруг спровоцируют драку, то явятся ночью с обыском и «найдут» пакетик героина... Не хочу сказать, что это официальная политика, скорее всего просто усердие отдельных чиновников, но от этого не легче.

— Что вообще говорят о новом правительстве? — помолчав, спросил Полуниин. — Скажем, сослуживцы вашего мужа?

— Что говорят... — Основная пожалала плечами, переключая вая на столе карандаши. — Вы же знаете аргентинцев... Тогда ругали Перона, теперь ругают Лонарди и Рохаса. Дело не в том, что говорят о новом правительстве, а в том, какие у этого правительства намерения. Кстати, я — как женщина — заметила уже один довольно безошибочный признак: цены начали расти, да как! Буквально все вздорожало.

— Ну, цены росли и раньше...

— И все-таки не так быстро. Газеты, конечно, уже пишут, что Перон оставил в наследство разваленную экономику, что стране придется подтянуть пояс, и все в таком роде...

— А что собой представляет Рохас?

— О нем мало что известно. Вид самый заурядный — такой обычный морской офицер, маленький, носатый... Но, говорят, настоящая власть у него. Считают, что это ставленник Ватикана, фигура, пожалуй, самая реакционная... Как относится к отъезду Евдокия Георгиевна?

— Не силком же я ее собираюсь увозить.

— Я понимаю. У нас был однажды разговор на эту тему... Вы тогда сказали, что вряд ли она способна решить всерьез.

— Ну, я мог и ошибаться. Сейчас, мне кажется, она вполне понимает, что делает.

— Удачно, что у вас нет пока ребенка, — задумчиво сказала Основная; — иначе бы вам не уехать так просто.

— Детей действительно не выпускают?

— В Советский Союз? Нет, до восемнадцати лет не выпускают. Конечно, можно уехать сначала, скажем, в Италию, а уже оттуда... Но это все невероятно сложно. Я, во всяком случае, знаю несколько семей, которые не смогли вернуться именно из-за этого... в свое время. А теперь дети выросли, но уже сами не хотят уезжать, Аргентина для них стала родной страной...

В два часа Полуниин откланялся. Дуняша должна была вернуться к четырем, они собирались сегодня пойти в кино, в «Гран-Рекс» была премьера французского фильма с только что взошедшей, но уже довольно знаменитой звездой.

В половине четвертого он поставил разогревать обед, намолот кофе, накрыл на стол. Когда обед разогрелся, он выключил газ и выглянул в окно — не видно ли Дуняши, она должна была появиться со стороны станции метро «Трибуналес».

В четверть пятого ее еще не было. В пять Полуниин снова

разогрел обед и поел в одиночестве, решив, что Дуня зашла куда-нибудь к знакомым. Хотя странно — билеты уже куплены, таких вещей она обычно не забывала. Сеанс начинается в шесть, а уже было двадцать пять шестого, — Полунин начал тревожиться.

Он все-таки повязал галстук — на тот случай, если Дуняша прибежит в последний момент (до кинотеатра было пять минут ходу). В шесть, еще раз выглянув в окно и опять ее не увидев, он поинтересовался уже вслух, где в самом деле носят черти эту пустоголовую дуреху, содрал галстук и швырнул его в угол.

Дуняша пришла в девятом часу. Услышав, как щелкнул замок, Полунин выскочил в прихожую.

— Ну что ты, Евдокия, разве так можно — обещала прийти в четыре, я уж собирался всех обзванивать...

— Я задержалась, прости, — ответила она странным голосом. — Погаси, пожалуйста, свет, у меня болят глаза...

Ничего не понимая, он протянул руку, щелкнул выключателем. Дуняша вошла в комнату, слабо освещенную отблеском уличных фонарей на потолке, остановилась у окна.

— Да что случилось, Дуня? — спросил он, совершенно уже перепуганный.

— Сейчас, подожди... — Она помолчала, потом выговорила с усилием: — Понимаешь, Владимир приехал...

— Приехал — кто?

— Господи, Владимир, мой муж...

— Так, — не сразу сказал Полунин. — И что же?

— Я просто не знаю, как тебе сказать...

— Понятно...

Он прошел в темноте к столу, сел, побарабанил пальцами.

— Понятно, — повторил он. — Не ломай голову, Евдокия, объяснения тут... ни к чему.

— Я не могу оставить его, пойми!

— Догадываюсь.

— Только бога ради, не говори со мной таким тоном! Ты ведь ничего не знаешь!

— Я и не хочу ничего знать. Главное ты сказала, а детали меня не интересуют. Если разрешишь, я включу свет, мне надо собрать вещи.

Она обернулась к нему, словно собираясь что-то сказать, но не сказала — выбежала из комнаты и заперлась в ванной. Полунин посидел еще, бездумно глядя на светлеющий широкий прямоугольник окна, потом ему пришла в голову мысль, что завтра ей придется забирать обратно свои заявления и анкеты, — хорошо, если они еще здесь, а если отправлены в Москву? Балмашеву теперь хоть в глаза не смотри. Ничего себе, скажет, провел «воспитательную работу»... А впрочем, сама пусть и объясняется. Еще он подумал о том, что хорошо сделал, не перетасив сюда от Свенсона свои инструменты и детали, — вчера только хотел забрать, но потом решил, что лучше работать там, Дуня не любит запаха расплавленной канифоли...

Думалось обо всем этом как-то замедленно, тупо. А ощущать вообще ничего не ощущалось — словно все чувства были отключены, вся система обесточена, выведена из строя. Упало напряжение и в мозгу, он работал как-то вполнакала, отказывался еще воспринять случившееся во всем его значении, ограничиваясь мелкими, частными деталями. Так всегда и бывает, когда случится беда. Нервная система, надо сказать, устроена на диво рационально — где еще встретишь такую безотказную блокировку...

Включив наконец свет, он постоял, крепко растер лицо ладонями, словно сгоняя сонную одурь, достал из стенового шкафа свой чемодан. Сборы заняли не много времени, он укладывал вещи спокойно и аккуратно — блокировка продолжала действовать. Когда все было готово, он вынес чемодан в прихожую, положил на него туго набитый портфель, пачку перевязанных бечевкой книг. Постояв у двери в ванную, поднял руку, чтобы постучать, но услышал звук приглушенных рыданий и, дернув щекой, отошел.

Уже на площадке, нажав кнопку вызова лифта, он вспомнил про ключ — вернулся, положил его на стол и снова вышел, аккуратно прихлопнув за собой входную дверь.

Свенсон сидел на кухне умеренно пьяный, сосал мате.

— Садись, есть разговор, — буркнул он и подлил кипятку в коричневую выдолбленную тыковку. — Как у тебя с работой?

— Работаю, — неопределенно ответил Полуниин, присев к столу. Свенсон протянул ему мате, он поблагодарил молчаливым кивком и стал тянуть через серебряную витую трубочку горький напиток.

— Судовую телефонию знаешь?

Он пожал плечами и вернул тыковку Свенсону.

— Разберусь, если надо. А что?

— Заболел один парень, а в субботу выходить в рейс. Не хочешь поплавать?

Полуниин долго молчал, разглядывая выщербленные плитки пола. Балмашев говорит, что дела по репатриации разбираются месяца четыре, а то и дольше; с ним — учитывая все обстоятельства — наверняка решится не так скоро. Торчать все это время здесь...

— По контракту или как? — спросил он.

— Можно и без контракта. Спишешься, когда захочешь, но пару-другую рейсов сделать придется. А там видно будет — вдруг прирастешь? «Сантьяго», парень, — и это я тебе говорю честно, — самое вонючее из всех вонючих судов, которые когда-либо оскверняли Атлантику, но команда у нас — первый сорт. Это тебе Свенсон говорит, не кто-нибудь. Словом, подумай.

— Да ладно, что тут думать...

В понедельник он вместе со Свенсоном побывал на судне и осмотрел свое будущее хозяйство. Три дня ушло на формальности — в паровой компании, в полиции, в профсоюзе моряков, у врачей. За всеми этими хлопотами он так и не выбрался

позвонить Балмашеву, вернее, не решился это сделать, предвидя расспросы по поводу Дуняши. В пятницу вечером, снабженный новенькой матросской книжкой и всякого рода справками, свидетельствами и удостоверениями, Полуниин явился со своим чемоданчиком на борт и получил койку в четырехместном кубрике, где кроме него помещались двое радистов и помощник штурманского электрика. В ту же ночь, приняв в трюмы семь тысяч тонн пшеницы, «Сантьяго» взял курс на Кейптаун.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Полуниин позвонил в консульский отдел в конце ноября, вернувшись из первого рейса, который продолжался ровно месяц. Балмашев был на месте; он сказал, что новостей пока нет, да и рановато их ждать — ответ может прийти где-нибудь в марте-апреле, не раньше.

— Как моя автобиография — не испугала вас, когда вы прочитали все это черным по белому?

Балмашев посмеялся в трубку.

— И пострашнее читывали, мы не из пугливых. А вы-то куда опять исчезли, неугомонный вы человек?

— Плаваю, — сказал Полуниин. — Решил вот на прощанье свет посмотреть.

— Мрачновато звучит, Михаил Сергенч. А в общем, правильно, поплавайте, чего вам тут торчать...

Они договорились, что Полуниин даст о себе знать, когда снова вернется в Буэнос-Айрес. Он еще раз позвонил Основской, с которой так и не повидался тогда перед отплытием, но ее не оказалось дома. Больше делать на берегу было нечего, он собрал теплые вещи и вернулся в порт.

Судно стояло в Третьем доке, у элеватора «Бунхе и Борн» — им опять предстояло везти пшеницу. Тонкая пыль клубилась над раскрытыми трюмами, куда были опущены хоботы зернопогрузочных транспортеров. Запах этой пыли напомнил Полуниину далекое довоенное лето, которое он проводил у деда в Новгородской области, — на току грохотала высокая красная молотилка, бежал и хлопал длинный приводной ремень, летела по ветру солова...

Он едва успел переодеться у себя в кубрике, как его позвали к первому помощнику: что-то случилось с временной телефонной линией, связывающей судно с берегом. Полуниин быстро нашел и устранил неисправность, позвонил для проверки на ближайший пост Морской префектуры — телефон действовал исправно, и он уже собирался уйти из каюты, как вдруг что-то заставило его набрать еще один номер. Когда в трубке пропел сигнал вызова, он протянул руку к рычажку, чтобы тут же дать отбой, но услышал совсем не тот голос, который хотел и боялся услышать. Голос был женский, но явно аргентинский — с той особой хрипотцой и резкостью тембра, что отличает голоса испанок и испаноамериканок.

— Ола,— повторила женщина,— вам кого?

— Извините,— сказал Полунин,— я, вероятно, ошибся, но этот телефон был у меня записан — мои знакомые...

— А, это, верно, прежние жильцы! Сеньора с иностранной фамилией? Она съехала в начале ноября, тут ей все звонили из разных ювелирных фирм. Погодите, я вам дам новый адрес, она оставила у портеро,— это какой-то пансион в Бельграно, на улице Крамер,— минутку, сейчас я найду...

— Спасибо, сеньора, не стоит. Простите за беспокойство... Вернувшись в кубрик, он забрался на свою верхнюю койку и пролежал до самого отхода, посовистывая сквозь зубы и пересчитывая заклепки на переборке.

И снова потянулись привычные уже судовые будни: утомительное безделье между вахтами, партии в покер или канасту, бесконечные разговоры соседей по койкам — о женщинах, о футболе, о том, где, что и на какую валюту можно купить или продать. Поначалу Полунин, чувствуя себя чужаком, пытался из вежливости принимать посильное участие в таких беседах, но ничего не вышло: футболом он не болел, о женщинах говорить не любил, а купля-продажа вообще была для него тайной за семью печатями. Жильцы кубрика, судя по всему, скоро пришли к выводу, что молчаливый гринго — парень с заскоком, и оставили его в покое. Теперь он обычно проводил свободные часы где-нибудь наверху, на шлюпочной палубе, загорая на тропическом солнце или глядя, как низкие колючие звезды медленно расквашиваются вокруг топ-блока грузовой стрелы — Сириус, Канопус, Ригель...

Он не жалел, что пошел плавать. Коротать последние — самые трудные — месяцы ожидания в Буэнос-Айресе было бы хуже. Одиночество не тяготило его, к нему он привык и там, давно уже привык. А думалось здесь хорошо — в этой особой корабельной тишине, ничуть не нарушаемой шумом волн, гудением ветра в такелаже и ровным, всепроникающим рокотом механизмов...

Дуняша не раз говорила, что верит в конечную целенаправленность всего происходящего. Что ни делается, утверждала она, все к лучшему. С подобным взглядом на жизнь Полунин встречался и у других и всегда завидовал этой благостной, хотя и не подкрепленной реальным опытом вере в разумность мироздания, проявляющуюся на всех уровнях — от законов небесной механики до судьбы отдельного человека. Сам он, к сожалению, этой верой не обладал.

Сейчас он пытался убедить себя, что в данном случае все получилось именно так, как и должно было. Недаром он так долго не мог сам определить свое отношение к Дуняше — физически им было хорошо друг с другом, а вообще-то... Как знать, что было бы с ними потом, не явись вдруг ее непутевый супруг. У Полунина и раньше были очень серьезные сомнения насчет того, как скоро удастся ей приспособиться к жизни в сегодняшней России, и удастся ли вообще. Строго говоря, он взял бы на себя

огромную ответственность, забрав ее туда с собой. Ему очень хорошо запомнился тот случай — во время их первого посещения советской выставки, — когда он вдруг так остро ощутил Дуняшину «инородность», словно увидев ее глазами человека оттуда... А если бы она так и не смогла вписаться в нашу действительность?

Возможно, именно этого он всегда и боялся — пусть подосзнательно. Возможно, именно это и заставило его сразу отступить, не попытавшись даже ничего выяснить. За это, правда, он себя теперь упрекал. Не за то, что отступил, — за то, что ушел молча. Гордость гордостью, но, вероятно, можно же было расстаться как-то... человечнее. Обиды на Дуняшу у него уже не было, он давно понял, что у нее должны были быть достаточно серьезные причины вернуться к своему Ладушке. В самом деле, он ведь ничего не знает, — что, если тот явился больным, инвалидом? В таком случае она и не могла поступить иначе, это естественно.

Полунин раздумывал обо всем этом, убеждая себя в предпочтительности именно такой развязки, и разум охотно принимал все доводы. С сердцем было труднее, оно не поддавалось на уговоры, оно вообще не рассуждало. Оно просто помнило. Помнило ее большие, всегда словно удивленно распахнутые глаза на треугольном личике, помнило ее низковатый голос и ее смешные галлицизмы, помнило все те слова, что они говорили друг другу весенними ночами в Таларе, когда в комнате пахло травами и серебряная от луны пампа лежала за окном. Сердце — оно помнило все, и этих воспоминаний не заглушить было никакими доводами рассудка...

«Сантьяго» шел на этот раз в Гамбург. На пятнадцатый день плавания температура начала падать, в Бискайском заливе их встретила осенняя непогода — на шлюпочной палубе было уже не позагорать, аргентинские свитеры не спасали от пронизывающего норда. Полунин, чтобы не торчать в кубрике, приходил греться в машинное отделение — любовался обманчиво невесомой пляской многотонных шатунов, бесшумными взмахами кривошипов, жирным блеском надраенной стали и латуни. В старой технике есть своя привлекательность, а машина «Сантьяго» — вертикальная, тройного расширения — была реликтом тех времен, когда еще не знали массового производства, каждый болт вытачивался и шлифовался вручную. Размеры ее устрашали — огромный цилиндр низкого давления, с обшитым деревянными рейками защитным кожухом верхней части, высился как башня, весь опутанный тонкими и толстыми трубами, лесенками, решетчатыми площадками и мостками. Иногда Полунин видел здесь Свенсона — тот бегал по трапам с ловкостью старой обезьяны, быстрый и деловитый, совсем не похожий на вечно пьяного забулдыгу, каким бывал дома.

Они благополучно миновали занавешенный туманом Ла-Манш, где в тусклых сумерках хрипло и угрожающе взывали сирены встречных судов, потом ледяная бутылочно-зеленая вода Северного моря сменилась темной водой Эльбы. Над Гамбургом

тоже стояла мгла, где-то за кранами и пакгаузами глухо рокотал, звенел трамваями и перекликался автомобильными гудками огромный чужой город. Полуниин не стал сходить на берег — у него не было желания видеть Германию даже спустя десять лет, какой бы процветающей и денацифицированной она ни стала. Пшеницу быстро выгрузили, кран принялся снимать с железнодорожных платформ и опускать в трюм огромные ящики, крупно маркированные трехлучевой звездой в круге и отбитой по трафарету надписью «Мерседес Бенц Аргентина». Вероятно, это было оборудование для строящегося под Буэнос-Айресом автозавода. Полуниин слышал об этой стройке, на том скаутском балу, в августе, кто-то ему говорил, что сейчас многие идут на «Мерседес»...

Он стоял, облокотившись на релинг, и неприязненно наблюдал за слаженной работой докеров. Большинство были молодые, но попадались и постарше, — некоторые вместо пластмассовых защитных касок носили традиционные темно-синие фуражки с лакированными козырьками, в какой изображался на портретах Эрнст Тельман. Возможно, это были самые обычные люди, рабочие, знаменитый немецкий пролетариат, когда-то один из самых сознательных в Европе. Тем более — гамбургцы, — город, можно сказать, с революционными традициями. Строго говоря, не было никаких оснований смотреть на докеров с неприязнью — если не считать того, что каждый старше тридцати, вероятно, носил в свое время мундир со свастикой. Но неприязнь оставалась, разумная или неразумная, тут уж Полуниин ничего не мог с собой поделать. Он принадлежал к поколению, для которого не так просто было подчинить доводам трезвого рассудка свое отношение к Германии и к немцам...

Он был рад, когда «Сантьяго» тронулся в обратный путь. Из устья Эльбы выходили утром, — позади, за плоским побережьем земли Шлезвиг-Гольштейн, вставало из тумана багровое студеное солнце. Где-то по этой равнине шел к северо-востоку Кильский канал, за ним лежала Балтика — двое суток ходу до Ленинграда. Впервые за много лет Полуниин думал сейчас о родном городе без привычной тоски — не как изгнанник уже, а просто как человек, который слишком долго не был дома и предвкушает скорое возвращение. Хорошо бы весной, к белым ночам...

Но пока он плыл обратно на юг — к черным, пылающим чужими созвездиями ночам низких широт. На третий день прошли по левому борту желтые скалистые берега Астурии. Южнее Канарских островов сильно штормило при ослепительно ясном небе, старик «Сантьяго» скрипел и стонал всеми переборками, переваливаясь с борта на борт, и то медленно задирая нос, то вдруг тяжело проваливался во внезапно расступившуюся перед форштевнем седловину — сотни тонн атлантического рассола с пушечным грохотом рушились на бак, кипящими водоворотами омывая лебедки, брашпили, протянутые по палубе якорные цепи. Пенные потоки еще низвергались за борт через шпигаты и клюзы, а наперерез судну уже шел, грозно взбухая и набирая



силу, новый водяной холм — мутно-зеленый, с мраморными разводами в основании, стеклянно просвеченный солнцем в своей верхней части, дымящийся срываемой с гребня пеной.

Перед тропиком Рака океан утих, и вторая половина обратного пути была спокойной. К Буэнос-Айресу подходили утром, сквозь голубую дымку медленно проступала, розовея на солнце, панорама порта — батареи элеваторов, серебристые цилиндры нефтехранилищ, мачты, трубы, надстройки, километры причалов и пакгаузов, геометрическое кружево кранов. Здесь лето было в разгаре — около десяти утра, когда Полунин сошел на берег, термометр показывал тридцать два градуса в тени, но сейчас даже эта жара была приятна, после Гамбурга Буэнос-Айрес казался удобным, привычным, обжитым...

Он не стал связываться с транспортом, пошел пешком через Пласа-де-Майо. У подъездов Розового дома, вместо традиционных конногренадеров, пестро одетых в мундиры эпохи Сан-Мартина, стояли в караулах автоматчики морской пехоты в стальных шлемах, счетверенные стволы эрликонов смотрели в небо с крыши дворца, поверх лепнины карнизов; президент Арамбуру (уже второй по счету после сентябрьской «революции»), судя по всему, чувствовал себя не очень уверенно...

Полунин шел по Диагональ Норте, с удовольствием ощущая под ногами прочные плитки тротуара, не подверженные ни бортовой, ни килевой качке. С непривычки даже пошатывало. Жара, однако, давала себя знать — дойдя наконец до улицы Талькауано, он устал и взмок, словно просидел одетым в парилке. Квартира встретила его отрадной прохладой. Он поставил под вешалку свой чемоданчик и еще не успел снять пиджак, как дверь его комнаты с грохотом распахнулась и в прихожую выскочил Лагартиха, держа перед животом автомат.

— Карамба, это вы! — воскликнул он с облегчением. — А я чуть было не засадил очередь через дверь — думал, за мной пришли...

— Ну, знаете, — сказал Полунин, не сразу опомнившись, — и шуточки же у вас, Освальдо...

— Мне не до шуток, че, за мной уже неделю бегают половина федеральной полиции, — Лагартиха щелкнул предохранителем, повесил автомат на вешалку и обнял Полунина. — Дон Мигель, ваша квартира второй раз спасает мне жизнь!

— Так, так. Опять, значит, в активной оппозиции. Ну, а теперешнее правительство чем вас не устраивает?

— Какое «правительство», не смешите меня! Если эти гориллы в адмиральских погонах думают, что мы для них делали революцию...

— А для кого же еще? — спросил Полунин. — Вспомните наш разговор в августе.

Он прошел в комнату. По столу были разбросаны исписанные листы бумаги, стояла портативная пишущая машинка, лежала книга в истрепанной бумажной обложке — «Техника государственного переворота» Курцио Малапарте.

— Я не знал, когда вы вернетесь,— сказал Лагартиха,— по этому и позволил себе это вторжение. Но завтра или послезавтра я все равно уезжаю, так что...

— Опять в Монтевидео? — спросил Полунин, листая книгу.

— Куда же еще...

— Освальдо, должен вас предупредить об одной вещи: недавно я обратился в советское посольство с просьбой о визе. До сих пор я для аргентинских властей был апатридом, но теперь...

— Понимаю,— сказал Лагартиха.— Хорошо, что вы сказали, это существенно меняет положение. Я уйду сегодня.

— Не обязательно сегодня, я вас не выпроваживаю, но просто хочу, чтобы вы знали — на будущее.

— Я все понимаю,— повторил Лагартиха.— Меня точно так же не устраивает обвинение в контактах с советскими гражданами, как советского гражданина — обвинение в контактах с аргентинскими подпольщиками.

— Но у вас есть куда уйти?

— Что за вопрос! Половина Буэнос-Айреса — мои единомышленники. Не беспокойтесь об этом, дон Мигель, у нас десяток конспиративных квартир. Так вы, значит, решили ехать в Советский Союз?

— Решил.

— Ну и правильно, действовать нужно изнутри,— одобрил Лагартиха.— У вас там сейчас складывается интереснейшая ситуация, обозреватели очень многого ожидают от партийного конгресса.

— Посмотрим,— Полунин улыбнулся.— Я, кстати, не собираюсь «действовать», мне просто хочется жить у себя дома.

— Ладно, ладно, я ни о чем не спрашиваю — уж мы-то с вами, дон Мигель, понимаем друг друга с полуслова. Так я тогда сейчас пойду договорюсь насчет запасного убежища...

— А выходить днем не опасно? Вы ведь говорили, за вами следят.

— Ну, не буквально на каждом шагу...— Лагартиха принес из прихожей автомат, быстро разобрал его, отделив приклад, ствол и магазин, и рассовал все это по отделениям объемистого портфеля. Туда же поместилась рукопись, книга Малапарте и скомканная сорочка.

— Оставлю внизу в баре,— объяснил Лагартиха, убирая в футляр пишущую машинку,— вечером зайдет мой человек, заберет. Ну что ж, дон Мигель, если мы больше не увидимся — от души желаю всего самого доброго!

— Взаимно, Освальдо,— сказал Полунин, пожимая ему руку.— В следующий раз постарайтесь лучше выбирать союзников.

— Что значит «лучше выбирать»? Политика, к сожалению, всегда делается методом проб и ошибок, другого пока не придумали. И все же, амиго, прогресс действует, как часовой механизм — медленно, но без обратного хода...

Лагартиха едва успел уйти, как явился Свенсон с чемоданом контрабандного шнапса.

— Мог бы и подождать, помочь, — ворчливо сказал он, отдуваясь и отирая пот с лысины. — А то сорвался на берег, будто его тут молодая жена ждет в постели...

— Я думал, вы задержитесь. Да и потом, мне все равно труднее было бы это пронести — ребята из префектуры меня не знают. Еще отобрали бы все ваше богатство.

— В таких случаях отдают постовому бутылку-другую, и дело сделано. Нет, парень, не выйдет из тебя настоящего моряка. Что, снимем пробу?

— Спасибо, попозже. В такую жару не тянет.

— Меня тянет всегда, но вообще сегодня жарковато, тут ты прав. Ну, ничего, дня за четыре нас обработают, и адью.

Полунин, в трусах, с перекинутым через шею полотенцем, задержался в дверях ванной.

— Куда на этот раз, не слышали?

— Шкипер говорил, вроде в Бордо. Винца, значит, поьем, да и бабы там дервый сорт, — хотя, должен тебе сказать, с хорошей толстозадой баиянкой ни одна французенка по этой части не потягается. Если надумаешь когда-нибудь жениться, парень, держи курс на Бразилию, старый Свенсон знает, что говорит...

Бордо так Бордо, подумал Полунин, открыв краны. Это даже удачно — можно будет повидаться с Филиппом.

Относительно освеженный душем, он долго сидел в своей комнате, распахнув настежь двери и опустив камышовую шторку. Упавшую на пол газету наискось пересекал луч солнца, лезвий-но острый и такой яркий, что казалось, бумага вот-вот задымится. Лениво раскачиваясь в поскрипывающей качалке, Полунин издали пробежал взглядом заголовки и прикрыл глаза, наслаждаясь прохладой.

Нужно было бы позвонить Балмашеву, но не хотелось показаться навязчивым, слишком уж нетерпеливым. Лучше сначала побывать в библиотеке — если есть новости, Надежда Аркадьевна ему скажет. Посмотрев на часы, он заставил себя встать, оделся и вышел на улицу, в спящее полыхание январского полдня.

Основная встретила его обрадованно, усадила обедать. Новостей, как и следовало ожидать, еще не было. За кофе он не утерпел — поинтересовался, говорил ли что-нибудь Алексей Иванович о Дуняше.

— Говорил, — Надежда Аркадьевна вздохнула. — Знаете, голубчик... Не хотелось бы утешать вас банальностями, но, возможно, это и к лучшему... в конечном счете.

— Все, что ни делается... — невесело усмехнулся Полунин. — Ладно, будем исходить из этого. За неимением ничего другого. А как он, в общем, это воспринял?

— Могу вас заверить: с полным пониманием. Он сказал, что было бы куда хуже, если бы это случилось там...

Там-то этого не случилось бы, подумал Полунин.

— Что ж, против судьбы не попрешь, — сказал он, помолчав. — Может, это и в самом деле... оптимальный вариант.

На следующий день они встретились с Алексеем Ивановичем в той же «Милонге», посидели, выпили пива, поговорили о том о сем. Неделю Полунин провел дома: почти никогда не выходил, читал полученные от Балмашева советские газеты и взятую у Основской новинку из последнего поступления — «За правое дело» Гроссмана. Погрузка задерживалась из-за забастовки докеров, в рейс вышли только двадцатого. После Дакара, узнав у штурмана дату прибытия, Полунин послал Филиппу радиogramму, в которой просил приехать в Бордо седьмого февраля.

Вечером шестого «Сантьяго» вошел в Жиронду, простоял несколько часов на траверсе Кордуанского маяка у Руайана и лишь после полуночи, приняв на борт лоцмана, медленно двинулся вверх по реке. До Бордо оставалось около шестидесяти миль. Полунин долго стоял на верхней палубе, глядя на проблески маяков, мерцающие огоньки поселков, отсветы фар какой-то запоздалой машины, бегущей по прибрежному шоссе. Встречным курсом прошло совсем близко небольшое судно под греческим флагом, — на палубе, ярко освещенной подвешенными к грузовым стрелам люстрами, матросы смывали из брандспойтов мусор, заканчивая слепогрузочную уборку. Миновали какой-то островок, русло повернуло к югу и начало заметно сужаться — судя по тому, что огоньки на обоих берегах казались теперь ярче и ближе. Резкий холодный ветер порывами задувал в корму, помогая дряхлой машине «Сантьяго» выгребать против течения. Окончательно продрогнув, Полунин спустился в кубрик и лег спать.

Утром его разбудили к швартовке. Порт был забит судами, впереди, дугой огибая излучину Гаронны, терялись в морозной солнечной дымке фабричные трубы, башни, готические шпили колоколен. На причале, наблюдая за швартовкой аргентинца, стояли докеры в теплых шарфах и натянутых на уши беретах. Они оживленно переговаривались, Полунин попытался вслушаться и ничего не понял — здесь говорили на незнакомом ему диалекте.

Филипп поднялся на борт вместе с представителями портовых властей. Полунин встретил его у трапа, они крепко обнялись, поколотили друг друга по спинам.

— Ну, просто пират, — воскликнул Филипп, любуясь его загаром, — сразу видно, человек из Южного полушария! А у нас собачий холод, давно не было в этих краях такой зимы — бояться даже, что виноградники вымерзнут. Ты скоро освободишься?

— Скоро, — ответил Полунин, — нужно только проверить линию связи с берегом, и больше мне пока делать нечего. Астрид с тобой?

— Астрид я оставил дома — у нее грипп, сидит с вот таким распухшим носом и глотает аспирин. Она шлет тебе большущий привет. Ну давай, беги проверяй свою линию, и поехали. К со-

жалению, у меня мало времени, я вырвался буквально на полдня...

Освободился Полунин только через час. Машина Филиппа — маленький «ситроен-дѣ-шво» с наклеенным на ветровое стекло ярлыком «ПРЕССА» — стояла тут же на причале. Остывший мотор долго не заводился, наконец они тронулись и, прыгая по булыжникам, покатали к выезду из порта.

— Рассказывай, что с Дитмаром, — попросил Полунин.

— Ну, что с Дитмаром... Дитмар сидит, следствие идет, а вот дойдет ли дело до суда — сказать пока трудно. Из Бонна понаехала куча юристов, вопят о незаконности действий, — черт их знает, возможно, формально они и правы: все-таки людокрадство, как ни крути... Так что не исключено, что в конечном итоге на скамье подсудимых окажемся мы с Дино. Да нет, это я, конечно, шучу... Но, во всяком случае, мы хорошо сделали, что твоё имя в этом деле не фигурирует. Пока ты в Аргентине...

— Скоро, надеюсь, меня там не будет. Я тебе не писал — я ведь подал документы на возвращение в Советский Союз...

— Серьезно? Ну, старина, это новость! Что ж, правильно, мне думается. И когда?

Полунин, закуривая, пожал плечами.

— Не знаю... как только придет разрешение. Обещают где-то поближе к весне... Скажи, а почему нельзя поднять против Дитмара шум в печати?

— До суда? Ты спятил, старина, кто же тебе позволит! Пока не закончено следствие, это исключено. Как только суд вынесет решение — неважно какое, допустим его даже оправдают, — тогда можно поднять газетную кампанию, требовать пересмотра дела и так далее. Но любое выступление до окончания следствия рассматривается как попытка повлиять на общественное мнение и, через него, на членов суда...

Машина шла по набережной, впереди распахнулась просторная площадь с каким-то обелиском в глубине и эспланадой, увенчанной двумя ростральными колоннами, — они напомнили Полунину стрелку Васильевского острова.

— Вот тебе и центр, — сказал Филипп, — Плас де Кенконс, на этом месте когда-то был замок времен Столетней войны... Между прочим, построил его Карл Седьмой — тот самый ублюдок, если помнишь, которого короновала Жанна... за что он предположительно позволил моим землякам ее сжечь.

— Я думал, ее англичане сожгли.

— Англичане... Англичане только высказали пожелание, а на костер ее отправил монсеньор Кошон, епископ Бовэ. А добрые горожане Руана спокойно стояли и глазели, как это происходило.

— А там что это за колонна? — поинтересовался Полунин, глядя направо.

— Памятник жирондистам... Ну что, подрулим к какому-нибудь заведению? Надо перекусить, я еще не завтракал.

— Да, неладно все это оборачивается, — сказал Полунин, когда они сели за столик в маленьком, полупустом в этот ранний

час рестораничке и официант принес заказанный кофе.— Дино, как всегда, оказался прав — он мне еще там говорил, что сукин сын выйдет сухим из воды.

— Не это главное, старина,— возразил Филипп, намазывая маслом горячий рогалик.— Даже если он и выкрутится, главное не это. Пусть только начнется суд! Уж там-то я ему обеспечу паблисити, будь спокоен. То, что он подписал в Кордове, прочтает вся Франция... а отголоски будут еще шире. Нет, не стоит смотреть на это так мрачно, мы свое дело сделали. С сыном Фонтэна я уже виделся... ради одного этого — чтобы положить перед ним показания Дитмара — стоило таскаться по Парагваю.

— Ну что ж, посмотрим... Как твоя работа?

Филипп сказал, что из «Эко» думает уходить — ему предлагают сотрудничество в одном парижском иллюстрированном журнале, специализирующемся на международных репортажах.

— Это обещает быть по-настоящему интересным,— добавил он.— Астрид знает испанский и немецкий, я — английский, так что языков нам хватит. Она сейчас, кстати, осваивает фотографию, и довольно успешно, у нее есть чувство кадра, так что может получиться неплохой тандем — мой текст, ее снимки. Выучить бы еще арабский...

— А это зачем? — удивился Полунин.

— Ближний Восток, старина. Если я не окончательно потерял нюх, в течение ближайших десяти лет эти два слова не будут сходить с первых полос, вот увидишь. Там сейчас такой завязывается узел — арабы, израэлиты, проблема Суэцкого канала... Кстати, ходят упорные слухи, что Насер все-таки решил его национализировать.

— Это же, если не ошибаюсь, международная компания?

— В том-то и дело, капитал в основном наш и английский,— Филипп подмигнул.— Можешь себе представить, какой поднимется вой, когда Гамаль даст нам пинка в зад! Так что, если выгорит с новой работой, я летом думаю махнуть в Каир — поближе к событиям. Ну что, пират южных морей, пропустим по рюмочке в честь встречи? Джентльмены, говорят, с утра не пьют, но, во-первых, чертовски сегодня холодно, а во-вторых, мы тогда так и не распили тот «мартель» — споили этой скотине, да сих пор обидно... Эй, гарсон!

— А вы, значит, к тому времени будете уже в России,— продолжал он, когда официант принес коньяк.— Любопытно, любопытно... Послушай, а Эдокси такая перспектива не пугает? Ей ведь, пожалуй, многое там у вас будет непривычным...

Полунин помолчал, грея в ладонях свою рюмку.

— Я еду один,— сказал он наконец, кашлянув.— Мы... расстались. Еще осенью. Ну, салют...

Он проглотил коньяк одним махом, как пьют водку. Филипп смотрел на него недоверчиво.

— Расстались? Но почему, Мишель?

Полунин пожал плечами.

— Вернулся ее муж, и... Она ведь была уже замужем, когда

мы встретились. Просто он... пропадал где-то пять лет. А потом вспомнил, решил вернуться. Словом, вот так.

— Черт побери! Мне очень жаль, старина, — с искренним сочувствием сказал Филипп. — А мы еще с Дино говорили, какая вы отличная пара... Эдокси нам тогда так понравилась, действительно очаровательная женщина. Но он-то что собой представляет, этот ее муж?

— Понятия не имею. Судя по всему, ничтожество. Ладно, что об этом... Такова жизнь, как у вас говорят. У тебя-то хоть с Астрид — прочно?

— Да вроде бы, — Филипп, оглянувшись, легонько постучал по деревянной панели. — Похоже, что прочно.

— Прибавления семейства не ожидаете?

— Старина, ты спятил. В моем возрасте?

— Не прикидывайся мафусаилом, ты всего на шесть лет старше меня. Люди обзаводятся детьми и в пятьдесят.

— Мало ли глупостей делают люди, — Филипп пожал плечами. — И в шестьдесят можно стать отцом. Но — зачем?

— Странный вопрос!

— Вообще не странный. Ребенком есть смысл обзаводиться только в том случае, если ты уверен, что сможешь вложить ему в душу свои убеждения... Или точнее, не убеждения, — убеждения у него могут появиться и свои, дело не в этом. Дело в том, чтобы заложить определенные принципы. Согласен?

— Согласен.

— Ну и хорошо. Остальное поймешь сам. Чтобы твой сын вырос человеком, разделяющим твои принципы, твое понимание жизни, — для этого нужно, чтобы он был тебе другом. А о какой дружбе может идти речь, когда парню пятнадцать, а отцу, допустим, пятьдесят семь... Ты представляешь себе такую дружбу? Я — нет. Слишком хорошо знаю сегодняшнюю молодежь. В ее представлении отец даже среднего возраста — это нечто юмористическое, а уж отец-старик — вообще непристойность. Мальчишке будет стыдно пройти с таким отцом мимо своего коллега... чтобы приятели не подумали, что его заставили вывести на прогулку деда. Увы, седины давно не в почете. Сегодня, если ты хочешь рассчитывать на дружбу с сыном — а иначе на кой черт его иметь? — ты должен быть в состоянии научить его плавать, стрелять, бегать на лыжах...

— Помимо спорта, есть много других вещей, которым отец может научить сына.

— О, еще бы! Но для этого нужно, чтобы сын хотел учиться у отца, чтобы он хотел брать с него пример. Как ты думаешь, за что сегодняшний подросток может уважать старшего? За то, что ты первоклассный инженер? Или что ты написал хорошую книгу? Нет! Пойми, старина, в пятнадцать лет на это плюют. А вот если ты оставишь парня в заплыве на сто метров — тут у тебя, может быть, появится некоторый шанс стать для него авторитетом...

— Ну, отчасти это так, — согласился Полуниин. — Но к чему

обобщать? Бывают сыновья, чьи интересы не ограничиваются спортом. И бывают, наконец, дочери... Уж дочь-то не станет определять свое отношение к отцу его спортивными достижениями.

— Пойми, дело не в спорте как таковом, дело в культуре молодости. А что касается дочерей... Видишь ли, дочь, в сущности, это вообще не твой ребенок — ничего своего, кроме набора хромосом, ты ей не передашь. Дочь ты растишь для какого-то неизвестного тебе человека, который потом будет формировать ее характер, ее взгляды...

Филипп допил свою рюмку, помолчал и знаком попросил гарсона повторить.

— О дочерях, дружище, много говорить не приходится, — сказал он. — Дочь дает тебе каких-нибудь пять лет радости, потом десяток лет огорчений, а потом... потом она просто уходит из твоей жизни. И это уже навсегда. Ну, будет напоминать о себе от случая к случаю — поздравлениями, фотографиями внуков...

— Бывает и иначе, — задумчиво сказал Полунин. — Во всяком случае, это еще не повод, чтобы...

— Чтобы лишать себя «радостей отцовства»? Нет, конечно. Того, кто испытывает в них потребность, это не остановит. Но ведь такие штуки каждый ощущает по-своему, не правда ли? У меня, честно говоря, этой потребности нет. И не только из-за возраста. Тут ты, пожалуй, прав.

— Понимаешь, у тебя это все в каком-то слишком уж эгоистичном плане: дескать, даст мне что-нибудь мой ребенок или не даст...

— Только в смысле морального удовлетворения!

— Да, я понимаю... Но ведь дело не только в этом. Вернее, совсем не в этом. Иначе получается кольцо, замкнутый круг: ты — ребенку, ребенок — тебе. А должна быть прямая...

— Ну да, — покивал Филипп. — Линия преемственности, эстафета! Все правильно. Но ты когда-нибудь задумывался, куда эта линия может привести? Я, к сожалению, не разделяю слишком оптимистичных взглядов на перспективы нашей цивилизации.

— Но если смотреть по-твоему, человечеству вообще пора вымирать.

— Не бойся, не вымрет. Демография показывает скорее обратное. Видишь ли... Помимо пессимистов и оптимистов — в смысле взглядов на перспективы — есть еще около трех миллиардов мужчин и женщин, которые не особенно склонны задумываться не только над судьбами цивилизации, но и над судьбой собственного потомства.

Полунин покачал головой:

— Мрачная у тебя философия.

— Помилуй, разве я философствую? Мы ведь сейчас не о бергсоновском «порыве» толкуем, — я тебе просто пытаюсь объяснить, почему ни я, ни Астрид не испытываем желания обзаводиться детьми... в наше время.

— Так вот в этом объяснении она и содержится, твоя фило-



софия. А что касается перспектив... конечно, их можно оценивать по-разному... Но у тебя, насколько помню, раньше не было этого, м-м-м... — Полунин запнулся и щелкнул пальцами, подыскивая точное слово: — Этой пассивности, скажем так. Вспомни, в Рези-стансе у нас перспективы тоже были не очень обнадеживающие... То есть, разумеется, все мы знали, что шею Адольфу скрутят, но личные шансы каждого из нас дожить до победы были более чем сомнительны. Тебя, однако, это не останавливало...

— Ба! Тогда альтернативой была не просто пассивность, а предательство. Или пассивное предательство — так точнее, но смысл от этого не меняется. И потом, что толку вспоминать! В сорок четвертом году, старина, жизнь казалась нам куда проще. Все ее проблемы были сведены в одну: как раздолбать бошей. Остальное, мы тогда считали, устроится само собой... Слетит на землю фея Победы, взмахнет волшебной палочкой — и мир окрасится в цвета летнего утра... Будем откровенны — этого не случилось. Когда мы с тобой на наших «шерманах» проезжали через немецкие городишки, где из каждого окна болталась белая тряпка, — мог ты себе представить, что через десять лет по этим же улицам пойдут танки бундесвера? Или что американцы будут вооружать новую люфтваффе своими сверхзвуковыми «стратофайтерами»? Жаль, я не захватил с собой, — у меня дома лежит последний номер «Коллирс», как раз вот на эту тему. Там большой очерк про одного сукиного сына... Этаким, понимаешь, трогательный пример дружбы и взаимопонимания между вчерашними противниками! Во время войны при одном из дневных налетов на Германию погиб некий капитан Хартфилд из Восьмой воздушной армии США, командир «летающей крепости». Было это в сорок третьем году. А сегодня, в пятьдесят шестом, сын этого капитана, молодой и талантливый инженер-авиационист — он, кстати, работает как раз в фирме, выпускающей «стратофайтеры», — этот самый подонок Хартфилд-младший управляет в Федеративную Республику, чтобы с другими американскими специалистами помочь немцам освоить производство перехватчика. Какова ситуация, а? Могли мы представить себе что-нибудь подобное еще несколько лет назад? А мог Дино предположить, что в Италии появятся неофашисты? Ну, и так далее. Не стоит продолжать — перечень получился бы слишком длинный. Так что не удивляйся, старина, если у меня поубавилось оптимизма... Ну, выпьем. Салют...

Они выпили, поговорили еще о ходе следствия, а потом разговор стал как-то иссякать. Полунин заметил, что Филипп уже второй раз украдкой поглядел на часы.

— Ты что, торопишься? — спросил он удивленно.

— Ну да, понимаешь, я же тебе говорил — еле вырвался. После обеда должен непременно быть в Тулузе...

— Далеко отсюда?

— До Тулузы? Двести пятьдесят километров. Слушай, а может, махнем вместе? Оттуда я бы тебя свозил в Каркассону — не пожалеешь, даю слово, второго такого города нет. Там цита-

дель тринадцатого века, сто лет назад ее восстановил Виоле ле Дюк — был такой специалист по средневековой архитектуре, тот самый, что реставрировал в Париже Нотр-Дам. В самом деле, съездим? А завтра к вечеру вернешься на свое корыто.

— Не выйдет, служба есть служба. Я ведь на борту один по своей части — вдруг что случится?

— Да, жаль,— сказал Филипп.— В Геную заходить не будете?

— Нет, отсюда прямо в Буэнос-Айрес, насколько я знаю.

— А то мог бы вызвать туда Дино. Я недавно виделся с ним в Марселе — он приезжал по своим рекламным делам...

— Все такой же?

— Такой же,— Филипп рассмеялся.— Прихожу к нему в номер — с ним девка потрясающей анатомии: грудь, ноги — прямо на обложку. Знакомься, говорит, моя новая секретарша. Ну, мы посидели, выпили, по-французски она не умеет связать двух слов, потом выясняется: была манекенщицей, а до этого год околачивалась в Чинечитта — это у них там свой маленький Голливуд... Словом, Дино есть Дино. Ты ему напиши, хорошо?

— Да, сегодня же.

— Напиши, он будет рад узнать твои новости. Ну ладно, старина... Подвезти тебя в порт?

— Нет, я еще тут поброжу...

Они вышли на улицу, Филипп с озабоченным видом заглянул под машину, пошатал переднее колесо, надев перчатки. Потом снова снял их и бросил на сиденье.

— Ну, старина,— сказал он, раскрывая объятия.

— Да, пора прощаться,— Полунин протянул руку.— Всеу свое время, дружище. Сколько это лет мы с тобой... двенадцать? Да, прямо не верится. Астрид от меня привет, и — прощай.

— Но... Черт побери, старина! — шумно запротестовал тот.— Никаких «прощай», это слово не из нашего лексикона, «до свидания» — дело другое. Уверен, мы еще увидимся, вот нагрянем к тебе в гости все втроем... Ты, кстати, немедленно напиши, как только устроишься в Ленинграде,— адрес, телефон, слышишь?

— Да, непременно. Непременно.

— А есть и другой вариант! Зачем мне приезжать как туристу, я еще возьму и аккредитуюсь у вас корреспондентом, а, черт побери? Почем знать!

— Это мысль,— Полунин коротко улыбнулся.— Кстати, и с языком попроще будет — русский наверняка легче арабского...

Они распрощались, Филипп забрался в свою жестянку и укатил, помахав в окошко рукой. Полунин прошелся по площади, осмотрел памятник жирондистам — колонну, увенчанную статуей Свободы, — памятники Монтеню и Монтескье. Потом просто бродил по улицам красивого чужого города, охваченный каким-то странным чувством душевной усталости. Прощальная встреча с другом оказалась неожиданно грустной — дело было не в этом разговоре... Проблема отцов и детей самого Полунина не волно-

вала, не особенно тронули его и рассуждения Филиппа о перспективах цивилизации, — во всяком случае, новизной они не отличались. Разочарование в послевоенном мире стало, как видно, уделом многих западных интеллектуалов, в том числе и тех, кто во время войны не проявлял ни растерянности, ни малодушия. Пока шла открытая вооруженная борьба — они держались как надо; зато потом не выдержали, стали сдавать. Сын Томаса Манна, говорят, покончил с собой именно из-за такого «разочарования». Тоже своего рода болезнь века...

Да, Филипп предстал сегодня перед ним в каком-то совершенно новом, непривычном облике. Пожалуй, лучше и в самом деле не встречаться со старыми друзьями после того, как пути уже разошлись. Всегда остается чувство потери. И грусть. Не прошло и полугодя с того вечера в Конкордии, а Филипп стал каким-то... не то чтобы отчужденным, нет, а просто уже другим, непохожим на прежнего. Раньше — когда они рвали мосты в Нормандии, когда под Кольмаром ходили в танковые атаки под ураганным огнем восьмидесятивосьмимиллиметровок, и даже вот недавно, когда охотились за Дитмаром, — тогда все было иначе. Война вообще всех уравнивает, перед лицом смерти любые различия между людьми теряют смысл, кроме двух главных — между своим и врагом и между мужчиной и трусом; а там, в Парагвае и Аргентине, их уравнивало общее для всех троих положение иностранцев, занимающихся в чужой стране противозаконным и тоже в известной степени небезопасным делом...

А теперь все стало по-другому. Сегодня он впервые увидел Филиппа в обычной, мирной обстановке повседневности, внешне, казалось бы, ничем не изменившегося, — но уже пролегла между ними какая-то невидимая грань, четко отделяющая бездомного бродягу от человека, который живет у себя в стране, занят своей работой, своими планами на будущее. Возможно, у него действительно мало свободного времени — Полунин мог представить себе работу журналиста с ее вечной спешкой, погоней за материалом, — но все-таки, не выкроить хотя бы дня...

Да и так ли уж важно, день или час пробыли они вместе. Хуже то, что говорили на одном языке, вроде бы понимая друг друга, и при этом каждый оставался на своем, обособленном уровне мироощущения, и уровни эти не соприкоснулись. Еще одна грань — «барьер взаимонепонимания», мысль о котором впервые посетила его после той встречи с Филиппом в Асунсьоне, когда они говорили о патриотизме. Еще тогда он подумал, что дружба с иностранцем, даже вот такая, как у них, многократно проверенная и испытанная, — даже она рано или поздно может дать трещинку при ударе об этот труднопреодолимый барьер. Сейчас, к сожалению, это только лишний раз подтвердилось.

Обижаться или расстраиваться из-за этого было глупо — на законы психологии не обижаются. И все же разговор с Филиппом определенно его расстроил, оставив на душе какой-то горький осадок. Как ни странно, мысли то и дело возвращались к спору о «проблеме отцов и детей». Странно — потому что, казалось бы,

какое ему-то дело до этого вопроса? Спор ведь был, если разобратся, пустым: речь шла лишь о мотивировках позиции Филиппа, которые Полунину показались надуманными. Сама же позиция... да многим ли отличается его собственная? Не случайно ведь с Дуняшей никогда не заходил у них разговор о ребенке — они словно придерживались на этот счет какого-то молчаливого соглашения. В чем же тогда разница? В том, что у Филиппа это обдуманно и подкреплено аргументацией, а он просто не задумывался?

Да, видно, за все решительно приходится рано или поздно платить. Будь у них сейчас ребенок — не случилось бы того, что случилось. Эта простая мысль до сих пор не приходила Полунину в голову. Все было бы по-другому. Были бы, правда, дополнительные трудности — уже одно то, что ребенка, родившегося в Аргентине, родители не имеют права вывезти в социалистическую страну, пока ему не исполнится восемнадцать. Но обойти можно любой запрет: уезжает семья, скажем во Францию, а визу в Советский Союз оформляет уже там.хлопотно, но вполне осуществимо. Нет, они об этом просто не думали — ни Дуняша, ни он сам. У Филиппа хоть есть определенная точка зрения, а у него?

У него все эти годы было другое: сознание себя бродягой, ощущение непричастности к окружающему, неукорененности. А бродяги об отцовстве не помышляют. До известного возраста, вероятно. Потом-то начинаются сожаления, но до этого рубежа он еще, слава богу, не дошел. Действительно, чего было спорить...

Странно, что Филипп не задал простого вопроса: мол, а ты-то сам? Нет, не задал. Может быть, потому, что давно уже видит в нем именно бродягу, этакое перекачи-поле. Не случайно он сегодня дважды назвал его пиратом, — в шутку, конечно, и без задней мысли, но как часто мы говорим невзначай вещи, смысл которых куда серьезнее поверхностного значения. Пиратами становились люди, выброшенные из общества, изгой, тоже в некотором роде «апатриды» своего времени...

Полунин остановил прохожего, спросил, каким автобусом проехать в порт. Больше всего хотелось ему сейчас вернуться на «Сантьяго» и чтобы стоянка оказалась недолгой. Чтобы снова был вокруг пустой океан, и чтобы можно было, сменившись с вахты, устроиться где-нибудь в каютке на верхней палубе, следить за медленной качкой чужих созвездий, слушать, как под тугим ветром поют ванты, и подсчитывать мили, остающиеся до устья Ла-Платы, — как будто там его кто-то ждет...

В день прибытия шел дождь, было душно, банная мгла тяжело висела над портом, размывая по воде дым из закопченной трубы буксира. «Сантьяго» ввели во Второй док, на причале стояла маленькая группка встречающих, главным образом жены. Полунина встречать было некому. Наладив телефонную связь с берегом, он подключился к портовому коммутатору, подождал выхода на город и набрал номер Основской. Та обрадовалась, услышав

его голос, поздравила с возвращением и спросила, звонил ли он уже Балмашеву.

— Нет,— ответил Полуниин,— звоню вам первой. А что?

— У него для вас новость. Не догадываетесь какая? Пришли наконец ваши бумаги — все в порядке, голубчик, я так за вас рада! И очень мне приятно, что вы узнали это именно от меня...

— Не может быть,— сказал он,— вы, наверное, меня просто разыгрываете...

Основская обиделась:

— Я, видно, и вовсе какой-то старой дурой вам представляюсь! Впрочем, понимаю вас, я бы тоже не поверила, если бы мне вот так вдруг сказали. Нет-нет, голубчик, не сомневайтесь. Тут сейчас многим пришло разрешение, Алексей Иванович говорил, что наши ведут переговоры о — как это называется — фрахт? — да, о фрахте двух аргентинских пароходов, «Сальта», кажется, и «Санта-Фе», чтобы отправить всех разом. Репатриантов очень много — в основном волынцы, галичане, поедут прямо в Одессу. Впрочем, все это он вам сам расскажет, я уж просто не утерпела...

Закончив разговор, Полуниин медленно повесил на рычаг тяжелую трубку судового телефона и некоторое время стоял в растерянности, еще как-то не до конца осознав услышанное. Его бумаги, фрахт «Сальты» и «Санта-Фе»... неужели в самом деле едет столько народу? Он знал эти суда — однотипные лайнеры среднего тоннажа, примерно по шестьсот — семьсот пассажирских мест. Ого, значит, тысячи полторы наберется... Недоверчивая радость запоздало охватывала его, как медленное опьянение. А что такая большая группа — совсем хорошо. Приехать одному — станут еще разглядывать, как диковинку, а так вроде и проще...

Бегом вернувшись в свой опустевший уже кубрик, он торопливо пошвырял в чемодан вещи и поднялся двумя палубами выше, в каюту Свенсона. Тот тоже укладывался.

— Ну что ж, я списываюсь,— сказал Полуниин.— Три рейса сделал, как договаривались!

— И уже надоело? — проворчал Свенсон, тщательно перекладывая бутылки пестрыми целлофановыми пакетами с какой-то дамской галантереей.— Тебе виднее, конечно, но мог бы поплавать и еще. Первый тобой доволен, а если насчет прибавки, то я всегда поддержу.

— Спасибо, дело не в этом. Личные обстоятельства не позволяют. Кому подать рапорт — здесь или в пароходстве?

— Зайди сейчас к первому, он подпишет что надо, а расчет получишь в компании. Жаль, парень, но что делать... эта жизнь на любителя, я понимаю. А ты, боюсь, сухопутной породы. Моряк из тебя, скажем прямо, вроде как из старого Свенсона — балерина. Ладно, я тебя у трапа обожду — сойдем вместе, поможешь мне дотащить это до такси...

Он умер как мужчина. И именно это польхнувшее в мозг воспоминание о его собственных словах, которые он выкрикнул вчера в последнем споре с Беренгером: «По крайней мере я умру как мужчина!» — было единственным его утешением в тот миг, когда пуля разорвала ему горло и он, захлебываясь кровью, с автоматом в руках упал на горячий бетон загородного шоссе, в десятке шагов от врезавшегося в столб черного адмиральского «паккарда».

Накануне они поспорили всю ночь, так и не сумев убедить друг друга. Они вообще часто спорили и редко приходили к общему мнению, хотя дружили давно, еще с первого курса, и вместе были в эмиграции, где по-братски делили тесную комнатуху в припортовом квартале Монтевидео, вместе штурмовали казармы военно-воздушного училища в Кордове шестнадцатого сентября и обезоруживали сдавшихся курсантов. Тогда, по крайней мере, у них не было еще особых разногласий в вопросах тактики. Разногласия начались позже — когда оба они, как и сотни их сверстников, активно участвовавших в «освободительном движении», слишком поздно разглядели скрытую механику игры, в которой им, молодым и самоотверженным, была отведена роль слепых пешек.

На разных людей прозрение действовало по-разному. Благоразумные отходили от политики вообще, рассудив, что лбом стену не прошибешь. Циники искали лазеек, чтобы рано или поздно самим оказаться по ту сторону стены, поближе к пультам управления. Но были и другие — те, в ком полученный урок лишь укрепил твердую решимость разнести стену вдребезги. Рамон и Освальдо принадлежали к этой последней категории.

И вот тут между ними начались серьезные разногласия. Потому что оба друга были, в сущности, очень разными людьми, их еще в университете так и называли — Санчо и Дон-Кихот. Длинный и тощий Лагартиха, порывистый и легко переходящий от восторженности к глубокой меланхолии, — и коренастый, невысокого роста, всегда спокойный и уравновешенный Беренгер.

Вскоре после сентября, когда было уже ясно, что дни «рыцаря» Лонарди сочтены и к власти не сегодня-завтра вскарабкаются самые что ни на есть густошерстые гориллы, Освальдо стал решительным сторонником «прямого действия». Рамон, впервые услышав рассуждения друга на эту тему, назвал его интегральным кретинном.

— Я думал, ты хоть чему-то научился, — сказал он своим ровным голосом. — Но ты до конца останешься сопляком, не способным к логическому мышлению. Коммунисты были правы, когда предсказывали, чем все это кончится. Прислушались мы к ним? Нет, нам тогда хотелось «действовать». В одиночку, слишком презирая народ, чтобы обеспечить себя его поддержкой или хотя бы пониманием...

— Коммунисты! — кричал Лагартиха. — Нашел на кого ссы-

латься — коммунист не может не быть прагматиком, у них все на холодном расчете! Ты помнишь в Монтевидео ту экспедицию, с которой уехала Астрид, — ну те, что собирали материал о нацистских колониях, — там был один русский, я потом скрывался у него на квартире, так он тоже проповедовал мне осторожность и необходимость рассчитывать последствия...

— Что ж, он был прав.

— Нет, нет и нет! Возможно, он и был прав, со своей; европейской, точки зрения, — но здесь не Европа, здесь Испаноамерика!

— Вот, вот, это все наше проклятое испанское наследие... Не хватайся за пистолет, кретин, во мне тоже течет кастильская кровь, — Беренгер, что с ним случалось редко, повысил голос, — и я имею право говорить так о земле моих предков! Мы полтора века назад сбросили политическое иго Испании, но остались отравлены ее традициями, ее духом, каждый из нас мечтает хоть раз в жизни выйти на арену со сверкающей шпагой матадора, — а народу мы снисходительно предоставляем роль толпы на трибунах, право рукоплескать нашей личной отваге. Но политика, дружище, это не коррида...

Такие споры случались между ними все чаще и чаще. Освальдо доказывал, что власть можно подорвать только индивидуальным террором, беспощадно истребляя наиболее беспощадных. «В конце концов, они только люди, — кричал он, — и каждый из них так же боится смерти, как и все прочие. Когда правительство поймет, что отныне ни одно его преступление не останется безнаказанным, оно из страха за собственную шкуру вынуждено будет считаться с общественным мнением». Рамон хладнокровно возражал, что все это вздор. Представители власти находятся в численном меньшинстве, это верно, но возможностей убивать — и убивать массово, а не индивидуально, — у них куда больше, уж по этой части с ними не потягаешься. А страх за собственную шкуру просто сделает их недостижимыми для любого террориста, только и всего. Какой-нибудь Тачо Сомоса живет в крепости, окруженной минными полями и проволокой под высоким напряжением, — а людей по его приказу убивают без всякой помехи. Или Трухильо, или тот же Стресснер — поди попробуй до них доберись...

— Чтобы борьба с правительством оказалась успешной, — говорил он, — она должна быть массовой, буквально всенародной, и она должна направляться и координироваться партией, опирающейся на поддержку населения. Иначе все это детские игры, но только оплаченные кровью...

Это он сказал вчера, когда Лагартиха поделился с ним своими ближайшими планами.

— Не валяй дурака, Освальдо, — добавил Беренгер, — и оставь своих друзей, пока не поздно. Вы этим ничего не добьетесь. Простая логика говорит, что это не метод — убрать одного лишнего негодяя...

Лагартиха вышел из себя.

— Это логика кастратов! — крикнул он. — А мужчины живут и действуют по другим законам! Ты знал Эрнесто с медицинского

факультета — ну, того астматика, что в позапрошлом году уехал в Гватемалу? Казалось бы, что ему было там делать, да и чего он добился своим личным участием, Арбенса ведь все равно сбросили. По твоей логике, Эрнесто должен был оставаться в Буэнос-Айресе? Однако он поехал! Потому что он настоящая мужчина, а мужчина, когда видит перед собой несправедливость, он не подсчитывает шансы, а хватается за оружие. Ты называешь нашу борьбу игрой, — не спорю, элемент игры есть во всем: неопределенность, азарт, роль случая, — но это мужская игра, а что касается крови, то эта цена никогда меня не останавливала, ты знаешь. Возможно, я завтра умру, но по крайней мере умру как мужчина!

Так он и умер. Вначале все обещало успех. Они прибыли на место за четверть часа до установленного предварительным наблюдением срока, остановили фургон на обочине. Был ясный день ранней осени, отличная видимость; вдалеке, по ту сторону канала, ярко освещенные послеобеденным солнцем, четко серебрились похожие на расставленные по полю детали какого-то великаньего «конструктора» сооружения нефтеперегонного завода ИПФ<sup>1</sup> — ажурные башни, путаница трубопроводов, батареи реакторных колонн, цилиндрические и шарообразные резервуары. Увидев в бинокль стремительно приближающийся по шоссе черный «паккард», Освальдо стукнул кулаком по стенке — знак автоматчикам быть готовыми. Пибе вышел из кабины и нагнулся, делая вид, будто осматривает что-то под днищем, и поставил гранату на боевой взвод. Возможно, он метнул ее секундой раньше, чем следовало, или водитель «паккарда» оказался очень уж хладнокровным, — так или иначе, тяжелый лимузин увернулся от взрыва, пронзительно заверещав покрывками на двойном вираже, и пронесся мимо. Автоматчики открыли огонь с опозданием и слишком низко, от задних колес «паккарда» полетели клочья рваной резины, его занесло, бросив почти поперек дороги, и только тогда он остановился. Правая задняя дверь тут же распахнулась, ослепительно полыхнув отраженным в стекле солнцем. Телохранитель в форме морского пехотинца выскочил на шоссе с ручным пулеметом и, стреляя с бедра — в смелости ему было не отказать, — прошил кузов и кабину фургона длинной гремящей очередью.

Освальдо, сидевший справа от водителя, выпрыгнул наружу сразу после взрыва гранаты и, обегая машину спереди, оказался в этот момент под прикрытием высокого капота. Это продлило его жизнь ровно на полминуты. За эти полминуты он с какой-то необычайной, обостренной яркостью увидел и почувствовал все окружающее — пыльный чертополох у кромки бетона, солнце, запах бензина и масла от разогретого двигателя; он услышал, как страшно закричал в кузове кто-то из автоматчиков, и увидел, как упал Пибе, срезанный той же очередью; и он понял, что конче-

---

<sup>1</sup> Аргентинская государственная компания по добыче и переработке нефти.



но, что опять провал, неудача, и теперь ему осталось только одно: умереть достойно, как подобает умирать мужчинам. Он знал, что сумеет это сделать, и мысль эта была последним его утешением. Ибо жизнь — это сон, сама по себе она не имеет особого значения, в жизни можно и грешить, и ошибаться; все обретает истинную свою цену и озаряется истинным смыслом лишь в самый последний момент — в момент истины, когда ты остаешься один на один со смертью...

И он покинул укрытие и бросился к черному «паккарду», рванув пальцем спусковой крючок автомата.

Полунин прочитал сообщение, сидя за выставленным на тротуар столиком одного из кафе на Авенида-де-Майо. Андрущенко, назначивший ему здесь свидание, опаздывал; соскучившись ждать, он спросил у официанта газету, и тот принес прикрепленный к палке — наподобие флага — номер «Критики».

В сообщениях из-за рубежа много писали о загадочном исчезновении в Нью-Йорке профессора-испанца, который прожил несколько лет в Доминиканской Республике и недавно опубликовал книгу, разоблачающую клан Трухильо. Политический комментатор осторожно намекал, что автор мог быть похищен агентами диктатора, а представитель министерства внешних сношений заявлял, что уполномочен категорически опровергнуть слухи, связывающие с «делом Галиндеса» объявленную вчера отставку аргентинского посланника в Сьюдад-Трухильо доктора Бернардо И. Альварадо; отставка мотивирована состоянием здоровья, а также намерением д-ра А. вернуться к преподавательской деятельности, поскольку университет Ла-Платы предложил ему кафедру истории международного права...

Полунин скептически хмыкнул. В местных новостях не было ничего интересного — обычные дела. Два убийства из ревности, убийство в результате ссоры между компаньонами, сенсационные разоблачения личной секретарши бывшего секретаря по пропаганде Апольда, забастовка на «СИАМ Ди-Телла», пресс-конференция в Розовом доме, попытки урегулировать конфликт между профсоюзом железнодорожников и министерством путей сообщения. На четвертой полосе бросился в глаза заголовок, выделенный более жирным шрифтом:

#### **«Покушение на члена хунты**

14 марта. Как нам сообщили в Управлении федеральной полиции, вчера во второй половине дня была произведена попытка покушения на жизнь одного из руководителей Военной хунты. Автомобиль, в котором следовал вице-адмирал Рудольфо А. Гальван, подвергся обстрелу на 5-м километре шоссе Энсенада — Ла-Плата. Благодаря энергичным действиям охраны преступная попытка не удалась и все злоумышленники погибли в завязавшейся перестрелке.

Среди сопровождавших вице-адмирала жертв нет. Личности убитых террористов устанавливаются следственными органами».

Полунин покачал головой. Все-таки при Пероне такого не было, хотя ругали его все кому не лень. Или просто не сообщалось о подобных делах? Да нет, дело не в этом. Насилие порождает насилие, это уж всегда так.

А страну жаль. Хорошая страна, и народ хороший, только катастрофически не везет с правителями. Перон-то хоть начинал неплохо, а эти...

Он поймал себя на том, что думает теперь об Аргентине совсем не так, как думал все эти годы. Более беспристрастно, пожалуй, и теплее, без привычной неприязни. Но в то же время уже как-то отстраненно, словно наблюдая издали. Пройденный этап, завершившийся период жизни...

— Ну, привет, — послышалось рядом. Игорь Андрущенко бросил на столик щегольскую папку, сел в плетеное кресло и, бесцеремонно забрав у Полунина его стакан, допил одним глотком. — Извини, горло пересохло. Давно ждешь? — Он поднял руку и пощелкал пальцами, подзывая «мосю». — А меня, понимаешь, задержали в редакции. Ну, как вообще жизнь?

— Живу, что мне делается. Ты на эту тему интервью, что ли, решил взять?

— Погоди, сейчас все скажу. — Андрущенко обернулся к подошедшему официанту, который приветствовал его как всегда. — Ола, Карлитос, рад тебя видеть! Тащи-ка нам пару бутылочек «Кристалль», похолоднее, ну и пожарь там чего-нибудь — только поскорее, хоть сэндвичей... Так вот, Полунин, слушай! Тебе никогда не говорили, что ты идиот?

— Говорили, надо полагать. Сейчас разве вспомнишь. А что такое?

— Полунин, ты меня знаешь. Сплетен я не передаю принципиально, — торжественно объявил Андрущенко, разделяя каждый слог таким жестом, словно дергал книзу свисающую над столом веревочку. — Хотя — учти! — знаю решительно все, что происходит в нашей богоспасаемой колонии. Про меня даже говорят, что я всюду вынюхиваю — не отрицаю, это у меня профессиональное, но, так или иначе, я не сплетник!

— Длинная преамбула, Игорек. Журналист должен уметь изъясняться лаконично.

— На бумаге — да, а так они все жуткие трепачи. Но могу и покороче. Я тебе хочу передать один разговор, который шел в моем присутствии и касался тебя. Не в порядке сплетни!

— Это я уже понял, валяй.

— Так вот. Был я в одном доме, русском. Называют твое имя — я уж сейчас не помню, в какой связи. И вдруг один тип — неважно кто, это несущественно, — заявляет: «А вы вообще с ним поосторожнее, он проданся. Его видели, как он в советское кон-

сульство наведывается». Вот я и хотел спросить — брехня это или не совсем?

Полунин нахмурился. Сволочь этот Жорка, растрепал-таки, не утерпел...

— Ну, допустим, не совсем. Что дальше?

— Да то, что ты действительно чистопробный идиот! Не потому, что бываешь в консульстве, — я, если помнишь, сам тебе однажды советовал туда пойти. Но ведь осторожность-то соблюдать можно?

— А чего, собственно, мне бояться? Кому какое собачье дело, наведываюсь я в консульство или не наведываюсь? Кому это не нравится, пусть придет и скажет, объяснимся.

— Нет, ну ты действительно... — Андрущенко развел руками с безнадежным видом. Официант принес пиво и тарелку с бутербродами, с минуту Игорь молчал, занятый едой, потом снова заговорил:

— Послушай, Полунин, все это серьезнее, чем тебе кажется. Объясняться к тебе никто не придет, не такие уж они дураки. А вот устроить так, чтобы ты загремел в Дэвото<sup>1</sup>, — это запросто.

— В чем меня могут обвинить?

— Это и не потребуются! Ты знаешь, что такое превентивный арест? Человек сидит месяц, год, два года, и никакого обвинения ему не предъявляют, потому что юридически это не арест, санкционированный прокуратурой, а всего лишь предупредительная мера. Это практикуется, представь себе. А сейчас, когда в стране осадное положение и, следовательно, все легальные процедуры, мягко говоря, упрощены... Словом, сам понимаешь. Давай ешь, мне одному этого не сожрать. Так ты что, действительно собрался домой?

— Собрался.

— А пустят?

— Уже пустили.

— Ну что ж... Правильно делаешь, вероятно. Не знаю, впрочем... тебе виднее, я-то себе этого не представляю совершенно. Но на твоём месте...

— Поехал бы?

— Скорее всего, — кивнул Андрущенко. — Здесь, конечно, не жизнь... таким, как ты, я хочу сказать. То есть людям, которые помнят родину. Я не из их числа, в этом все дело... Ну, мы с тобой говорили, помнишь? Поэтому я избрал другой путь.

— Денационализироваться?

— Нет! Перенационализироваться, так будет точнее. Понимаешь, Полунин, я просто устал быть эмигрантом. Всю жизнь — сколько себя помню, еще с Загреба, — я ощущаю себя чужим среди окружающих. Некоторым нашим идиотам это даже нравится, видят в этом печать избранничества, что ли... «Блаженны изгнанные за правду» и тому подобная чушь. А я не могу, я нако-

<sup>1</sup> Тюрма в одном из пригородов Буэнос-Айреса.

нец хочу чувствовать себя таким же, как все вокруг меня, я не хочу выделяться...

Внимательно слушавший Полунин усмехнулся, покрутил головой:

— Желание понятное, но не всякий сможет почувствовать себя «как все»... если приходится жить среди чужих.

— Ты-то не сможешь! Именно потому, что ты помнишь Россию, ты сознаешь и ощущаешь себя русским, а вокруг тебя иностранцы. Но у меня-то этого нет, понимаешь? Я сам — я! — вечный «иностранец», для югославов, для австрийцев, для кого угодно... И мне это уже — вот так! — Андрущенко, закинув голову, полоснул пальцем себя по горлу. — Одни только аргентинцы не тычут мне в глаза моего «иностранства» — ну, ты знаешь, для них здесь этого понятия не существует, народ в этом смысле уникальный... Вот почему я и хочу слиться с ними до конца, чтобы уж никаких граней! Черт возьми, мне двадцать шесть лет, я еще успею. А ты поезжай, Полунин, таким, как ты, нечего тут околачиваться, в этом болоте... я про эмигрантский мирок говорю, сам понимаешь. Но только учти, что о тебе уже знают! Ты на «Сальте», вместе с другими?

— Вероятно, — не сразу ответил Полунин.

— Это будет не раньше июля. Мой тебе совет — уматывай раньше. «Сальту» и «Санта-Фе» будут провожать с шумом, можешь мне поверить. Там уже и демонстрации какие-то готовятся, черт знает что еще... Словом, сюрпризов будет много — униаты, я слышал, хотят прийти к отплытию со своими попами, чтобы прямо на пирсе служить панихиду по репатриантам. Представляешь картину — судно отваливает, а с берега ему вслед: «Во блаженном успении вечный покой...» — кошмар, с этих изуверов станется. Это-то чепуха, конечно, но ведь возможны и более серьезные провокации, поэтому я и говорю: если бы ты успел оформить бумаги раньше и отплыть на любом итальянском судне до Генуи...

— Подумаю. Но, вообще, ведь там должно ехать много народу, чуть ли не две тысячи человек... Вряд ли тут что сделаешь в смысле провокаций. Вот разве что панихиду отслужат, — добавил он, усмехнувшись.

— Ну, не знаю. Береженого, как говорится, и бог бережет.

— Тоже верно. А за предупреждение — спасибо.

— Да, ты ведь знаешь наших «непримиримых». Старые-то зубры еще ничего, они больше на словах, а вот те, кто помоложе... «Суворовцы» эти одни чего стоят, там ведь вообще бандит на бандите.

— Адъютант, кстати, не объявился?

— Какой адъютант?

— Ну, генеральский, самого Хольмстона. Ты же мне сам как-то говорил, что он исчез?

— А-а, да, было что-то, припоминаю. Нет, ничего больше про него не слышал. Да они, правда, сейчас как-то присмирели — видимо, не разобрались еще в новой обстановке.

— Ничего, разберутся, сориентируются... Скажи-ка, Игорь, а как другие отнеслись к тому, что я, мол, «продался»? Из наших общих знакомых никого там не было, при том разговоре?

— Из общих, пожалуй, не было никого. Ну, а как отнеслись... да по-разному. Одни не поверили, другие возмущались для порядка, а кто и позлорадствовал: ничего, дескать, пускай едет — ему там мозги живо вправят, где-нибудь на Колыме...

— Ну, понятно. Самый ходкий аргумент.

— Стереотип мышления, что ты хочешь. И ты знаешь, меня это даже удивило: откуда это злорадство? Казалось бы, ну чего злиться — не ты ведь туда едешь. Хочет человек рисковать, пусть рискует, тебе-то что. А тут именно злоба какая-то, понимаешь, как если бы это лично его уязвляло...

— Но ведь так оно и есть, Игорь. Когда не можешь на что-то решиться, а другой рядом с тобой уже решил, то ты почувствуешь себя именно лично уязвленным. Все понятно: я вот не смог, а он — может! Как тут не злиться. Злость, если разобратся, на самого себя — на собственную нерешительность, собственную трусость, только направлена в другую сторону.

— Пожалуй, ты прав, — согласился Андрущенко. — Я вот сейчас подумал: интереснейшая тема для психолога — заглянуть в душу типичного эмигранта... Ведь это страшное дело, Полунин, тут сплошные комплексы — то есть ничего здорового, все извращено, выкручено... У эмигранта даже этот пресловутый патриотизм, с которым вы все так носитесь, и тот оборачивается кликушеством. Это, я помню, ещё в Загребе — я был мальчишкой — соберутся у нас, бывало, мамашины приятельницы и начинают... О чем бы ни зашел разговор! «Да разве здесь яблоки, что вы, вот у нас в имении...» — и пошло, и поехало. И яблоки здесь не те, и вода здесь не та, и люди не люди... В общем-то, понять можно, но — психоз остается психозом. Что меня больше всего бесит, так это проклятая эмигрантская склонность вечно шельмовать все окружающее...

— И это можно понять. Они здесь в клетке, а клетка не может вызывать симпатии.

— Так черт же тебя дерь, поезжай в другую страну, коли эта не по душе!

— А там что изменится? И в Австралии будет то же самое, и в Канаде. Понимаешь, это клетка, которую каждый обречен таскать на себе.

— Кстати, вот иллюстрация к этой теме, — Андрущенко усмехнулся невесело. — Ты не был на последнем «Дне русской культуры»?

— Я в январе плавал.

— Жаль, много потерял. Кока Агеев там отличился — такой скандал учинил, что ты! Я попал случайно, вообще-то я на эти празднества не хожу, а тут редактор попросил дать информацию. С чего это ему ударило в голову и откуда он вообще узнал, что есть на свете Татьянин день, — понятия не имею, но только он меня вызвал и говорит: «Дон Игор, ваши соотечественники отме-

чают национальный праздник, осветите это для газеты». Ну, по мне, так фиг с ним, что освещать, — получил я задание и пошел приобщаться к родной культуре. Сначала все шло чинно-благородно, зал сняли хороший — один католический клуб на Кальяо, присутствовал весь цвет колонии, даже аргентинцев каких-то приволокли. В общем, доклад был прочитан — о вечных ценностях и укрытых от непогоды светочах, — романсы были пропеты, были продекламированы «Пророк» и «Эх, тройка, птица-тройка». Все довольны, аргентинцы сидят в первом ряду, ни хрена не понимают, но из вежливости аплодируют вполне уважительно. И тут вдруг — уже под самый занавес — выпархивает на сцену наш развратный старик. Я, говорит, желаю прочитать стихи об Аргентине! Распорядители в замешательстве, репутация у Коки — ты сам знаешь, однако и отказать вроде неудобно: человек рвется почтить гостеприимную страну... Словом, разрешили. И что ты думаешь? Этот крашенный идиот выходит к рампе и начинает читать с подвывом: «Аргентина! Аргентина! Не страна, а просто тина! Аргентина — земли хвост, и народ здесь — прохвост...»

— Иди ты, — сказал Полунин.

— Да честью клянусь! Спроси у кого хочешь, я там всех знакомых видел. В общем, что тут началось — уму непостижимо! Коку волокут прочь, он во весь голос протестует: да как же не хвост, кричит, вы гляньте на карту — на что оно похоже! Не дай бог, думаю, если аргентинцы приперлись со своим переводчиком... Что, не сумасшедший дом?

— И как же ты это осветил?

— Да какое там «освещение». Дали информацию в пять строчек петитом на двадцатой полосе: «Вчера русская община нашей столицы в торжественной обстановке отметила свой традиционный праздник» — ты же знаешь, как это пишется. Кому мы здесь, к черту, нужны с нашей пронафталиненной культурой. Нет, Полунин, правильно ты делаешь, тут нужно так: или — или. Или становишься аргентинцем, или уматывай домой, пока не рехнулся окончательно...

Полунин почему-то все время ждал, что услышит о Дуняше. Не мог же Игорь ни разу не встретить ее за все это время! Хотя бы на том же «Дне культуры», где он, по его словам, видел всех знакомых. Но Игорь ничего о Дуняше не сказал, а спросить Полунин не решился. Да и что было спрашивать?

Расправившись с бутербродами и допив пиво, Андрущенко глянул на часы и объявил, что ему пора. На прощанье он еще раз повторил совет — «уматывать» отсюда как можно скорее, при первой же возможности. Полунин сказал, что подумает.

Чувствовал он себя немного виноватым: все-таки с Игорем можно было говорить более откровенно. Дело в том, что он и сам не собирался дожидаться массовой отправки репатриантов, намеренной на июль.

Выяснилось это два дня назад, когда Балмашев пригласил его зайти в консульство и спросил, не хочет ли он воспользоваться оказией: сюда вышел из Николаева один из наших новых дизель-

электроходов, будет здесь в начале апреля, а обратным рейсом пойдет прямо на Ленинград. Полуниин, естественно, согласился. «Значит, договорились,— сказал Балмашев,— бронирую вам каюту на «Рионе». Где-то в середине мая будете дома, как раз к белым ночам...»

Полуниин до сих пор не мог освоиться с этой новостью. И от Игоря ее утаил даже не из осторожности, а просто из какого-то суеверного страха — чтобы не сглазить. Не верилось, невозможно было поверить, что еще два месяца — и он увидит невские набережные.

Он попытался представить себе сегодняшний Ленинград, вспомнил Дуняшины слова о бревенчатом доме, занесенном снегом, и еще ниже опустил голову — таким почти физически ощутимым гнетом придавила его вдруг мысль о том, что возвращается он в одиночестве. Даже этого не сумел — сохранить любимую, удержать ее рядом...

Начались предотъездные хлопоты: снова нужно было делать прививки или брать справки о том, что они уже сделаны, бегать по разным «офисинам» — в полицию, в профсоюз, в налоговое управление министерства финансов. Немало хлопот доставило приобретение теплой одежды, которую Балмашев советовал купить здесь. Кое-что удалось достать в фешенебельном магазине «Спортинг», специализировавшемся на снаряжении для горнолыжников; а вот с зимним пальто было труднее, продавцы недоуменно пожимали плечами, явно не понимая, о чем идет речь. Выручила Основская — узнала через своих знакомых адрес портного, который последнее время обшивал главным образом репатриантов. Выглядел пан Лащук диковато, жил в недостроенном домике в одном из пригородов, клиентов принимал босиком и объяснялся с ними на маловразумительном русско-испанско-галицийском диалекте, но мастером оказался настоящим. За одну неделю он соорудил Полуниину отличное пальто на меху, — надев обновку, тот сразу почувствовал себя как в печке.

— Файный вышел собретодо, — со скромной гордостью художника заметил пан Лащук, одергивая и оглаживая на нем свое произведение. — Зараз вы у нем хоть на Сибир можете мандровать, я ж побачьте якый вам мутон поставил, — он отогнул полу и любовно погладил меховую подкладку, — ему двадцать рокив гасту не будет...

Под теплые вещи пришлось купить лишний чемодан, потом еще один — для книг, инструментов и прочего. Всего набралось движимого имущества на три чемодана, и еще кое-что по мелочи, необходимое в пути, предстояло уложить в объемистый трофейный портфель. Полуниин, привыкший жить налегке, только диву давался: откуда, черт побери, столько барахла? Входя теперь в комнату, он всякий раз невольно поглядывал на сложенный в углу багаж — ничего себе, скажут, явился мистер-твистер, еще бы и сундук с собой приволок...

А потом вдруг дел наконец не стало — никаких. Первого апреля Полуниин сорвал очередной лист с висящего в передней красочного рекламного календаря, подаренного Свенсону одним шипшандлером, где из месяца в месяц не спеша и со знанием дела занималась стриптизом какая-то юная, но явно испорченная особа. На апрельском листе, уже избавившись от пальто, жакета и блузки, эта красотка готовилась расстегнуть «молнию» на юбке, и при этом многообещающе поглядывала из-под скромно опущенных ресниц. Невольно заинтересовавшись, Полуниин отогнул еще несколько листов и, заглянув в будущее, только покрутил головой.

Да, наступил апрель, до прихода «Риона» оставалось еще две недели, а занять их было нечем. Он бродил по улицам, прощаясь с городом, где как-никак прошло почти десять лет жизни, вечера проводил обычно у Основской. Возвращаясь домой, делал иногда небольшой крюк через площадь Либертад, садился на низкую каменную скамью, еще теплую от дневного солнца, и выкуривал сигарету-другую, поглядывая на забранную кованой узорной решеткой стеклянную дверь знакомого подъезда, на окна пятого этажа. Два крайних были иногда темны, иногда светились. Там шла какая-то чужая ему жизнь. Да и вообще все вокруг было уже чужим, бесконечно отдалившимся, не имеющим к нему больше никакого отношения. Сейчас трудно было поверить, что именно здесь был их с Дуняшей дом, что через этот сквер она ходила, у этого бассейна останавливалась и, обернувшись, махала ему рукой — он обычно провожал ее взглядом, раскрыв окно.

Теперь, этими теплыми осенними вечерами, сквер на площади был тих и безлюден, неподвижно чернели деревья, в зеркале бассейна отражались окна и огни фонарей. Только тени, только призрачные голоса, — Полуниин знал, что они будут звучать для него еще долго, лишь с каждым годом глуше и призрачнее...

Однажды, покупая сигареты в киоске на вокзале Ретира, он увидел женщину, которая издали чем-то — походкой, манерой нести голову — показалась ему похожей на Дуняшу. Он не сразу опомнился. И тут же, словно давно собирался это сделать, подошел к ближайшей кассе и взял билет до Талара.

День был тихий и теплый, но пасмурный, совсем уже осенний. Выйдя из вагона, Полуниин постоял на платформе, огляделся — ничто здесь не изменилось, время словно обтекало поселок стороной, — и медленно побрел вдоль полотна, по узкой тропке между краем балластной насыпи и бурыми колючими зарослями пыльного, давно уже отцветшего чертополоха.

Пройдя километра два, он свернул к изгороди, оттянул тугую проволоку и пересек пустой выгон, истоптанный копытами, в сухих навозных лепешках. За второй изгородью шла узкая проселочная дорога, так хорошо ему знакомая, и холм был уже недалеко — тот самый, с геодезической вышкой, на котором они сидели тогда с Дуняшей. Год назад. Неужели только год? Ему



казалось, что прошла целая жизнь. «Девятый век у Северной земли стоит печаль о мире и свободе...»

Мало стихов знал он наизусть, а вот эти запомнились. Правда, он потом не раз перечитывал их в старой Дуняшиной тетради, где все было вперемежку — Бунин, Клодель, Аполлинер, Пушкин, какие-то вовсе неизвестные ему Поплавский, Цветаева. «И только ветер над зубцами стен взметает снег и стонет на просторе...» Дойдя до холма, он поднялся по склону и сел у подножия вышки, почувствовав вдруг непреодолимую усталость. Не нужно было сюда приезжать. Глупо, сентиментально, ни к чему. Захотелось на прощание пощекотать нервы?

Полуниин сидел, обхватив руками колени, все было как тогда — пасмурное небо над степью, сухой растрескавшийся суглинок под ногами. Не было лишь закатного солнца — оно в тот вечер прорвало вдруг плотную завесу туч у самого горизонта, подожгло их снизу внезапным и неистовым пожаром, — и не было рядом женщины, которая тогда смотрела не отрываясь на закат, глаза ее были прищурены от бьющего в них огня, а лицо в этом странном тревожном освещении казалось загорелым до медного цвета. И это действительно делало «Евдокию-ханум» какой-то нерусской, похожей на одну из ее давних-давних прародительниц, чьи юрты проделали невообразимо долгий путь, двигаясь за монгольскими туменами через всю Азию — чтобы осесть в излучине Итиля, на землях будущего Казанского царства. «О Днепр, о солнце, кто вас позовет...»

О, если бы мы обладали даром провидения, мгновенной и точной оценки настоящего, если бы мы могли знать — как скажется на нашем завтра то, что происходит сегодня! Наверное, за все последние десять лет жизни Полунина не произошло в ней ничего более для него важного, чем тот случай три года назад, когда он на свадьбе одного приятеля оказался за столом рядом с черноволосой незнакомкой, которая сидела, скучаяще подперев рукой щеку, и рисовала что-то на бумажной салфетке. Он удивился, увидев на ее пальце обручальное кольцо, — такой молоденькой она ему показалась в первый момент; лишь потом, разговорившись с молчаливой соседкой, он понял, что ей уже за двадцать. Тихо, неприметно, без «солнечного удара» вошла в его судьбу Дуняша Новосильцева, — так тихо, что он даже не заметил, насколько это серьезно. И не замечал до самого конца.

Поэтому-то конец и наступил. Поздно, слишком поздно открылась Полунину главная, может быть, черта Дуняшиной натуры: потребность быть необходимой. Неоднократно, и задолго до того разговора в сентябре, когда они решили подать документы, он предлагал узаконить их отношения. Предлагал, но не требовал, и Дуняша всякий раз уклончиво сводила разговор на шутку. Потому и уклонялась, возможно, что была достаточно проницательна, чтобы понять: у него это было проявлением не столько любви, сколько порядочности, он просто не хотел продолжать компрометировать ее незаконной связью. А самое главное — она

чувствовала, что занимает в его жизни случайное, второстепенное место.

Знакомство их состоялось в феврале пятьдесят третьего года, но тогда он даже не спросил номера ее телефона, и до зимы они больше нигде не встречались. А девятого июля Димка Яновский пригласил его идти смотреть парад по случаю Дня независимости — в чью-то квартиру, где с балкона второго этажа якобы можно было увидеть прохождение войск не хуже, чем из президентской ложи. От нечего делать Полунин пошел, сбор был назначен у станции метро «Бульнес», и на место они явились целой компанией. Увидев хозяйку квартиры, он узнал свою новую — и уже почти забытую — знакомую. Впрочем, она оказалась лишь исполняющей обязанности, настоящие хозяева уехали и попросили ее пожить здесь в их отсутствие. На балконе, куда высыпали все любопытствующие, он опять увидел ее рядом и взял за плечи, чтобы продвинуть на более удобное место перед собой, но руки убрать потом забыл, и она, благо было тесно, с какой-то доверчивой готовностью прильнула к нему всем телом. Так и простояли они весь парад, прижатые друг к другу, оглохнув от рева танковых двигателей и ураганного свиста проносящихся низко над крышами реактивных «метеоров»; желто-зеленые машины с солнечной эмблемой на башнях шли внизу рота за ротой, сотрясая балкон и занавесив широкую авениду синеватым дымком выхлопных газов, и этот слишком знакомый ему перегар странно смешивался с ароматом ее блестящих черных волос. Думал ли он за восемь лет до того, что когда-нибудь ему доведется нюхнуть выхлоп «шермана» в столь неожиданной комбинации, — обычно этот приторно-едкий дымок если и мешался, то чаще всего с другими продуктами сгорания: кордита, если в боевом отсеке отказывала вентиляция, или тротила марки «ИГ-Фарбен», а то и человеческой плоти...

Все остальное произошло с ошеломительной простотой. Когда представление окончилось, гости посидели за столом, попытались по российскому обыкновению спеть хором и начали расходиться. Полунин ушел с последней группой, а на углу отстал от попутчиков и, обойдя вокруг квартала, вернулся. «Мсье Полунин! — воскликнула она скорее обрадованно, чем удивленно. — Вы что-нибудь забыли?» — «Нет, вспомнил», — сказал он, прихлестнув за собою дверь.

Но даже и после этого Дуняша осталась для него лишь героиней приятного эпизода, не больше. Дело в том, что месяцем ранее, в начале июня, он встретил снимок Дитмара в старом журнале, и все мысли его были заняты одним — как лучше организовать поиск. Он сообщил о своем открытии Филиппу и Дино, а сам — пока те готовили экспедицию — стал объезжать места расселения послевоенных иммигрантов, русских и немцев, осторожно наводил справки, завязывал на всякий случай знакомства. Первое время Дуняша живо интересовалась его делами — ей он сказал, что собирает некоторые материалы для одного этнографа из Европы, который в скором времени намерен приехать сюда, —

но постепенно прекратила расспросы. Полуниин не придавал этому значения, был даже рад: врать было неловко, а сказать правду он не мог. Уезжая из Буэнос-Айреса, он иногда неделями не вспоминал о своей приятельнице, а вспомнив, бросал в почтовый ящик очередную открытку с видами Мендосы или Тукумана. Однажды, будучи проездом в Санта-Фе, купил в лавке сувениров забавную корзинку для рукоделия, сделанную из панциря армидила, и остался очень доволен собой — шутка ли, такой изысканный знак внимания. Со временем, правда, кое-что изменилось, год назад — в Монтевидео — он уже по-настоящему тосковал по Дуняше. Впрочем, и тогда еще ему самому было не совсем ясно, чего больше хочется — увидеть ее глаза или лечь с нею в постель.

«И лебеди не плещут, и вдали княгиня безутешная не бродит...» Целых три года была она рядом с ним, несбывшаяся его Ярославна, а он не только не мог дать ей утешения, — он вообще ничего не понимал, ничего не видел, ни о чем не догадывался. Ведь ей, наверное, хотелось от него ребенка. Она никогда об этом не говорила, — что ж, естественно, не всякая женщина скажет... Сам же он о ребенке не думал. Не позволял себе думать, подсознательно не позволял. Бродяги отцами не бывают.

Очень ярко вспомнил он вдруг одно свое мимолетное — не чувство даже, а какое-то беглое короткое ощущение, пережитое им однажды здесь, в Таларе. Это было еще в первый их приезд, год назад; он проснулся рано, совсем рано, только-только светало, Дуняша еще крепко спала — лежала обнаженная, зарывшись лицом в подушку. Он встал, чтобы поднять упавшую на пол простыню и укрыть ее, — и вдруг застыл, пронзенный странным ощущением, которое вызвал в нем вид этой детски беззащитной наготы. Не желанием, нет, — только нежностью, бесконечной нежностью, жалостью, рожденной предчувствием утраты, внезапным и безнадежным порывом — сохранить, уберечь... Как будто он и в самом деле видел перед собой не женщину, но ребенка. Не тогда ли — и только тогда, ни разу больше! — шевельнулась в нем непробужденная жажда отцовства? А он не прислушался, так ничего и не понял. И как неукоснительно пришла расплата! В той Дуняшиной тетради были стихи — чьи, он забыл: «Ты уходишь от меня, уходишь, ни окликнуть, ни остановить...»

Полуниин не заметил, как стемнело. Оттянув рукав, он глянул на зеленые огоньки циферблата, встал и обернулся лицом к поселку. В отеле на втором этаже светилось окно — нет, не то, их комната была левее... Ему вспомнилось, что поезд будет только утром. Спустившись с холма — бурьян жестко шуршал, цепляясь колючками за плащ, — он выбрался на проселочную дорогу и пошел по направлению к шоссе, чтобы поймать какую-нибудь попутную машину.

В понедельник девятого его разбудили утром настойчивые телефонные звонки — оказался Балмашев.

— Михаил Сергенч, «Рион» пришел ночью, сейчас под грузкой в Новом порту. Сможете подъехать часикам к одиннадцати? Давайте тогда, я вас познакомлю с товарищами...

Повесив трубку, Полуниин сообразил, что забыл спросить — в котором из шести внутренних бассейнов стоит судно: «Ладно, разыщу», — подумал он, прыгая по комнате с запутавшейся в штанине ногой.

Он с трудом заставил себя зайти в бар внизу — выпить чашку кофе. Был только десятый час, времени оставалось много, но ждать он не мог — конечно, он не станет подниматься на борт без Балмашева, но хотя бы посмотреть пока... Да и найти еще нужно — неизвестно ведь, где ошвартовался!

Искать не пришлось — «Рион» стоял в бассейне «А», первом от въезда в Новый порт, у северной стенки. Полуниин издали увидел эмблему Совморфлота на широкой трубе. Он не стал подходить ближе, смотрел с противоположного пирса. Судно было красиво: длинное, низкобортное, со стремительным выносом форштевня, обводами корпуса оно напоминало эсминец, а далеко разнесенные кормовая и носовая надстройки делали его похожим на небольшой быстроходный танкер — если бы не короткие мачты с мощными грузовыми стрелами. Разгрузка уже шла, из трюма наискось выползал, прогибаясь и раскачиваясь на стропях, длинный поблескивающий металлом пакет — трубы или рельсы, отсюда было не разглядеть.

Время приближалось к одиннадцати. Решив, что лучше подождать Балмашева у судна, Полуниин обошел бассейн и увидел знакомый черный «шевроле», стоящий в тени за углом ангара, — видимо, он проглядел его или Балмашев приехал раньше. Вблизи «Рион» выглядел еще внушительнее и оказался не таким уж низким. С кормы, перевесившись через реллинг, с любопытством смотрел на Полунина вихрастый белокурый парнишка, еще один — с повязкой на рукаве форменки — томился у трапа, поплывавая в щель между бортом и гранитной стенкой причала.

— Михаил Сергенч! — послышалось сверху.

Полуниин поднял голову — Балмашев махал ему с галереи кормовой надстройки:

— Давайте сюда, я вас уже жду!

С забившимся вдруг сердцем Полуниин легко взбежал по сходням, перекинутым через фальшборт, и спрыгнул на стальную палубу «Риона».

В просторном, отделанном полированным деревом салоне двое приехавших с Балмашевым сотрудников торгпредства сидели над разложенными по столу ведомостями, распустив галстуки и повесив пиджаки на спинки кресел. Балмашев тоже был без пиджака, в сорочке с закатанными до локтя рукавами; он казался сейчас совсем другим, чем Полуниин привык его видеть, у него даже

походка изменилась — стала как-то свободнее, размашистее. Полуниин, напротив, чувствовал себя неловко. Балмашев познакомил его со старпомом, представив как первого пассажира и пообещав подкинуть еще нескольких. Старпом сдержанно улыбнулся, подал руку.

— Милости просим, — сказал он. — Походите тут пока, осмотритесь... беспорядок, правда, сейчас всюду...

В салон вошло еще двое моряков, старпом подозвал их, в свою очередь представил друг другу: «Знакомьтесь, это наш пассажир — старший электрик — третий штурман» — и исчез, как показалось Полунину, с облегчением. Штурман и электрик были общительнее, а может, им просто нечем было заняться: стали расспрашивать о Буэнос-Айресе — есть ли достопримечательности, которые стоит посмотреть, и всегда ли тут так жарко, и много ли живет соотечественников. Постепенно Полуниин начал осваиваться, чувствовать себя смелее.

Отмахнув локтем стеклянную дверь, вошел хмурый человек, вытирая тряпкой испачканные маслом руки.

— Анатолевич, — позвал он (электрик оглянулся), — ну шо там, долго еще твои будут чикаться? Нельзя ж так, понимаешь, я ж просил...

— Не кончили еще? — Электрик посмотрел на часы, встал. — Придется пойти сделать им отеческое внушение. Вторая вспомогательная в порядке?

— Да шо вторая, за вторую у меня голова не болит...

— Стармех наш, — объяснил штурман, когда электрик с хмурым ушли. — Грозный мужик! Без чувства юмора, но дело знает. Во время войны на торпедных катерах служил, у нас на Балтике.

— Вы ленинградец? — спросил Полуниин.

— Коренной. Вы тоже? Я почему-то так и подумал. Где в Питере проживали?

— На Мойке, возле Конюшенной. Угол Мошкова переулка.

— Мошков, Мошков... А! Знаю. Только теперь он Запорожский.

— Переименовали? — удивился Полуниин.

— Ну, с этим у нас лихо. Так мы с вами, значит, почти сядем... Я — прямо насупротив, через Петропавловку, на Кронверкском. Да-а, тесен мир, тесен... Нас тут на судне трое ленинградцев: Воля вот этот, что электрикой заворачивает, и еще один. А остальные — кто откуда. Стармех — южанин, из Ставрополя, помполит — москвич... А вот и лекарь пожаловал — эй, доктор! Этот — помор, архангельский, — шепнул штурман. — Подваливайте сюда, доктор, познакомьтесь с пассажиром и доложите сансостояние команды.

Доктор, высокий меланхоличный блондин немногим старше третьего штурмана, вяло пожал Полунину руку и повалился в кресло.

— Какая это команда, — сказал он безнадежным тоном, — одни салаги. Дай, Женя, курнуть... Не тот нонче пошел моряк, не-е, не тот.

— Чем не нравится?

— Мелкий он, понимаешь, — подумав, сказал доктор. — К тому же пузатый, прожорливый до неимоверности. Да еще и сако-витый вдобавок.

— Ладно тебе очернительством заниматься, сам ведь сачок изрядный — всю дорогу медведя давишь.

— Послушайте, штурманец, вы вот когда с мое наплаваете, и когда ваша... извиняюсь, корма обрстет ракушкой по самую ватерлинию, — тогда и вы начнете понимать, как это хорошо, если лекарь весь рейс давит большого медведя. Вот когда у лекаря бессонница начинается — это, Женя, весьма хреновый симптом. Давно вы в этих краях? — неожиданно обратился он к Полунину.

— Почти девять лет.

— Ого! Небось Южную Америку вдоль и поперек изъездили? Я вот на Амазонке мечтаю побывать, с детства еще — пацаном был, прочитал что-то, и втемяшилось. Интереснейший край... Слышь, Женя, водится там такая вредная рыбешка — ростом с леща, а корову вмиг до костей очистит и не поперхнется... Стаей, тварь, ходит.

— Есть такая, — кивнул штурман. — Мы ведь, доктор, тоже не лаптем щи хлебаем, слыхивали и мы кой-чего. И про пиранию, и про электрического угря. Но ведь в Аргентине, — он обернулся к Полунину, — этой пакости нет?

— Это все туда, севернее, ближе к тропикам...

Они еще поговорили о пиранье, о пауках-птицеедах и прочей экзотике. Узнав, что Полунин тоже немного плавал, они принялись расспрашивать его об условиях на аргентинском торговом флоте. За разговорами незаметно бежало время; Полунин удивился, увидев, что настенные часы в салоне показывают уже половину второго. Подошел Балмашев, уже в пиджаке, подтягивая на место узел галстука.

— Ну что ж, я поехал, — вы со мной или побудете здесь?

— Пообедали бы у нас, — предложил штурман.

— Спасибо, не могу. А вы как, Михаил Сергеич, может, и в самом деле останетесь пообедать?

— Только на разносолы не рассчитывайте, — мрачно предупредил доктор. — Кандея нашего утопить мало, совершенно без творческой фантазии человек...

Полунин и не прочь был бы остаться, но не рискнул из опасения показаться навязчивым.

— Нет, — решил он, — мне тоже пора.

— Вообще-то успеем надоесть вам своей травлей, — посмеялся штурман, пожимая ему руку, — до Ленинграда ведь четыре недели топать — озверешь...

Они сошли на причал, постояли у рельсовых путей, пропуская маневровый дизель, который оттаскивал от «Риона» две платформы, груженные пакетами труб.

— Для ИПФ, — сказал Балмашев. — Хотели еще турбобуры наши купить — так американцы, черти, не позволили. А сами продают им буровое оборудование втридорога... Ну что ж, Миха-

ил Сергеич, я свое дело сделал,— продолжал он, направляясь к машине.— Увидимся еще в день отплытия, вручу вам свидетельство — и, как говорится, с богом...

— Когда отплытие?

— В четверг, если управятся с погрузкой. Отсюда шерсть повезут...

Тень за это время переместилась, машина стояла на самом солнцепеке — изнутри, когда Балмашев раскрыл дверцу, пахло жаром, как из духовки.

— Черт, как накалило... Опустите у себя стекло, Михаил Сергеич, пусть немного протянет. Ну, как первое впечатление?

— Хорошее,— сказал Полунин, закуривая.— Я, признаться, побаивался... что будут смотреть как на диковину. С недоверием или с жалостью — не знаю, что хуже. А все оказалось очень просто.

— Вот видите...

Весь вторник Полунин протолкался в таможенном управлении. Гербовая бумага, с которой он переходил от одного чиновника к другому, постепенно украшалась все новыми и новыми печатями, штампами разных форм, подписями, пометками, визами, и к концу рабочего дня превратилась в должным образом оформленное разрешение на вывоз вещей личного пользования в количестве трех мест багажа, подлежащих погрузке на борт д/э «Рион», порт назначения — Ленинград, СССР, не позднее 20 апреля 1956 года. В среду он позвонил в консульство — ему сказали, что отплытие завтра и что пассажиры должны быть на пристани к двенадцати часам, имея на руках все аргентинские документы.

Оставались сутки. Еще не поздно было съездить в Бельграно,— даже если Новосильцевы и перебрались из пансиона, фрау Глокнер должна знать новый адрес. Или просто позвонить? По правде сказать, не хотелось бы встретиться с этим типом,— он ведь, скорее всего, опять нигде не работает, сидит дома и предается мировой скорби. Но и встреча с Дуняшей, ежель здраво рассудить... Действительно, нужно ли? Так она, может быть, уже забыла, успокоилась... А сам он с нею уже попрощался — третьего дня, в Таларе. Нет, не поедет. И звонить тоже не станет. С прошлым если уж рвать, так рвать, а душещипательные сцены под занавес — это ни к чему. В конце концов, выбор сделала она.

Вечером он пришел к Основской с цветами, коробкой конфет и бутылкой сидра, заменяющего в Аргентине шампанское. Они просидели допоздна. Когда пришло время прощаться, Надежда Аркадьевна обняла Полунина и троекратно поцеловала.

— А это — на память об Аргентине,— сказала она, вручив ему небольшого формата томик, переплетенный в коричневую телячью шкуру с выжженным в виде тавра заглавием «Martin Fierro». — Я вам там написала, потом прочтете. И ступайте, не люблю долгих прощаний, ступайте, а то ревег начну...

На улице, остановившись под фонарем, Полунин раскрыл книгу — на фронтиспise было написано бисерным почерком: «Помните, голубчик, — даже годы, прожитые на чужбине, не станут для человека потерянными, если они научили его крепче любить родную землю».

Он убрал в комнате, оставил на столе в передней прощальную записку для Свенсона, деньги за последний месяц и ключ от входной двери. Погрузив чемоданы в плюшево-бордельную кабинку лифта, спустил их вниз, оставил у портеро и пошел за такси. Не прошло и десяти минут, как ему удалось перехватить у Дворца правосудия машину с поднятым на счетчике красным флажком.

— Далеко собрались? — поинтересовался таксист, засовывая чемоданы в багажник.

— Далековато — в Советский Союз...

— О-о,— шофер изумленно свистнул.— Замерзнуть не боитесь?

— Да уж как-нибудь. Сейчас там весна.

— Неужто? Вы смотрите — всё шиворот-навыворот. Весна в апреле, это же надо... А белых медведей у вас там много?

— Как здесь — пингвинов,— Полунин улыбнулся.— Ну, тронулись. Давайте по Санта-Фе — свернете сейчас на Либертад и через площадь...

Утро было ясное и прохладное, но на солнечной стороне курился уже пар над тротуарами, быстро просыхающими после ночного дождя,— день обещал быть жарким. «Бабское лето», сказала бы Дуняша. На площади их остановил затор, таксист пробормотал, что проще было проехать по Коррьентес, но Полунин был рад задержке. Не отрываясь, смотрел он на поредевшие, уже тронутые осенней желтизной кроны деревьев, на раскидистые веера пальм, четко врезанные в неяркое голубое небо, на белую фигурку каменной купальщицы посреди бассейна. Он впервые пожалел вдруг, что у него нет фотоаппарата,— снять бы это на память... Впрочем, и так не забудется.

Пробка впереди рассосалась, таксист добродушно выругался и включил скорость. Верхние этажи «их» дома проплыли в просвете между деревьями и опять скрылись, заслоненные листвой. Полунин, подавив вздох, откинулся на спинку сиденья, закурил и протянул сигареты шоферу.

— Спасибо... Что ж, я бы, пожалуй, тоже уехал от всего этого свинства,— сказал тот, сворачивая на авениду Санта-Фе.— Перона скинули, помните, каких только не было обещаний: «свобода», «процветание», «социальный мир»... Пускай рассказывают про свой социальный мир шлюхе, которая их породила. Выборы обещали провести еще в марте, а теперь уже и разговора про это нету, осадное положение так и не снято, в каждый профсоюз понасовали своих «интервенторов»... ворюги все как один. Или опять же инфляция! Зарабатываешь вроде много, а взять к обеду бутылку простого тинто — уже задумаешься... Генералы, чего



вы хотите, — таксист газанул, обгоняя справа новенький белый «мерседес», и с непостижимой ловкостью плюнул ему на хромированную облицовку радиатора. — Это уж точно, когда военные у власти, добра не жди. Нет, я бы уехал хоть завтра...

— Это ведь, дружище, тоже не выход — уехать...

— А что тогда выход? Сидеть в дерьме?

— Я не аргентинец, — Полунин пожал плечами. — Только посудите сами: если в стране плохо и все кинутся уезжать, лучше от этого не станет... Ни тем, кто едет, ни тем, кто остается. Наверное, нужно что-то делать.

— Сделаешь тут с этими гориллами, держи карман. И так уж чуть не каждый день находят где-нибудь то одного, то двух... Простое дело, че, вывезут ночью на пустырь, и — аднос мучачос. Пулю в затылок, долго ли...

Когда приехали в порт, досмотр уже начался. Таксист помог донести чемоданы до груды багажа, сложенного у трапа; Полунин выгреб из кармана последние аргентинские песо.

— Спасибо, камарада, — сказал таксист, пожимая ему руку. — Счастливого пути, и чтоб у вас все было хорошо...

Досмотр был чистой формальностью. Когда очередь дошла до Полунина, таможенник окинул вещи ленивым взглядом, прихлопнул на разрешение еще одну печать и сделал величественный жест — как епископ, благословляющий паству.

Людей вокруг толпилось порядочно, человек тридцать. Впрочем, многие тут, вероятно, были провожающими. Полунин успел поставить свои чемоданы на багажную сетку, когда ее уже стропили за углы, и налегке, с одним портфелем, поднялся по трапу.

Вахтенный спросил фамилию, поискал в списке, поставил карандашом птичку.

— В салон пройдите, пожалуйста, — сказал он. — Это вон там, в кормовой надстройке...

Проходя мимо раскрытого трюма, Полунин заглянул вниз — свободного места было еще много, вряд ли погрузку кончат засветло; к причалу подкатывали все новые грузовики с тюками шерсти, стивидоры работали не спеша, с ленцой, — ему невольно вспомнились гамбургские докеры. Те, пожалуй, управились бы скорее.

В салоне, рядом с Балмашевым, который приветствовал его молчаливым кивком, сидел набрильянтиненный элегантный аргентинец, тут же помещался сержант Морской префектуры, еще какие-то типы. Полунин выложил на стол удостоверение личности, таможенное разрешение, профсоюзный билет, справки о ненахождении под следствием, о незадолженности по налогам, о прививках, об отсутствии болезней. Аргентинец, беголо просмотрев, смахнул все в портфель. Балмашев раскрыл папку, достал большого формата документ с фотографией Полунина в верхнем углу и крупно напечатанным заголовком «РЕПАТРИАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО» и попросил расписаться в получении. Вся церемония заняла не более пяти минут.

Когда он, бережно складывая бумагу, отошел от стола, чтобы освободить место другому отъезжающему, кто-то крепко взял его за локоть. Он оглянулся — это был давешний третий штурман, Женья.

— Ну что, отряхнули прах? — спросил он, белозубо улыбаясь. — Вот и мы тоже. Два дня бегали с высунутыми языками, — жаль, забастовка какая-нибудь не подгадала, на недельку хотя бы. Уж больно он красив, ваш Буэнос-Айрес.

— Правда? — Полунин искренне удивился. — Не замечал как-то.

— Ну, что вы. Не знаю, как Рио, — кстати, бывали там?

— Бывал.

— Неужто красивее?

Полунин пожал плечами.

— Да как сказать... Бухта замечательная, а сам город... Не знаю, центр хорош, но там трущобы сразу начинаются — отойдешь на два квартала в сторону, и такая рухлядь..

— Вот здесь этого нет. Мы все-таки поездили порядочно, и в метро, и автобусами.

— И здесь есть, только подальше. Было бы время, я бы вас свозил, показал.

— Нет, все равно хорош городишко, хорош. А вчера вечером — вон, гляньте-ка, не узнаете?

Полунин глянул в указанную сторону — в дальнем углу салона, над пианино, сияла глазами и улыбкой большая фотография Лолиты Торрес.

— А-а. Как же, видал...

— Где?

— Да уж не помню сейчас, в каком-то фильме.

— В фильме! А я вот — как вас, — торжествующе объявил штурман. — И на этом самом месте.

— Лолиту? Что она тут делала?

— Как это — что? Укрепляла культурные связи. Визит дружбы, понимаете? Автографы подписывала, я целых два урвал — в Питере покажу, озвереют... А пела как!

— Вы подумайте, — сказал Полунин.

Обмен документов тем временем закончился, аргентинцы встали и направились к выходу. Дежурный матрос распахнул перед ними дверь салона, чиновник величественно кивнул, сержант взял под козырек. Когда пассажиров стали разводить по каютам, к Полунину подошел Балмашев:

— Идемте, покажу вам вашу обитель, да и попрощаемся. Может, если удастся, подъеду еще к вечеру — раньше шести вряд ли кончат, — но на всякий случай...

Он провел его по коридору, устланному ковровой дорожкой, толкнул одну из дверей. Полунин вошел — каютка была маленькая, тоже отделанная полированными деревянными панелями. Столик, привинченный к стене под прямоугольным иллюминатором, диван, две койки в нише, одна над другой.

— С вами тут старичок один поместится, врач, в Ереван

едет, — сказал Балмашев. — Вы уж ему уступите нижнюю. Каюта эта — дайте-ка сориентироваться — по левому борту?

— Вроде бы так. Да, точно, по левому.

— Ну, значит, через месяц увидите Кронштадт в этом окошке. Никогда не приходилось подходить к Ленинграду с моря?

— Только петергофским пароходиком...

Это было летом тридцать восьмого года, в начале июля, он только что сдал экзамены за девятый класс, и отец по такому случаю купил ему «Фотокор». Сам он, как и все мальчишки в классе, мечтал иметь «ФЭД», но узкоплечная камера стоимостью в шестьсот рублей была Полуниным не по карману — отец, скромный инженер-экономист, получал в своем «Ленэнерго» немногим больше. Впрочем, и этот неуклюжий аппарат, который заряжался пластинками 9×12 в металлических кассетах и наводился на фокус с помощью раздвижного меха, доставил ему много радости. В первый же выходной день они с отцом (матери не было в живых уже пять лет) поехали в Петергоф — исходили весь парк, фотографировали друг друга на фоне Большого каскада и Монплезира и даже выпили по кружке пива, закусывая свежими, пахнущими укропом раками, которые торговка предлагала тут же у киоска. Запах этот, в сочетании с медовым духом травы, влянувшей на только что выкошенных газонах, и тем неопределенным и непередаваемым, чем веяло с близкого взморья, навсегда запомнился Полунину. Да, и еще — резковатый, чуть отдающий почему-то касторкой запах нового дерматина от висевшего на плече тяжелого футляра с фотоаппаратом. Вечером, стоя на корме экскурсионного пароходика, отец сказал: «А вон там Кронштадт, видишь?» Далеко на горизонте темнела узкая полоска с круглым возвышением посередине, — отец объяснил, что это купол Морского собора, и он жадно всматривался, ладонью прикрывая глаза от низкого уже солнца...

Кронштадт — в самом звучании этого слова была какая-то необъяснимая притягательность. В детстве его вообще влекло все загадочное и недоступное. Впрочем, как и всех, вероятно. Он собирал марки, особенно любил красочные выпуски французских колоний — Камерун, Того, Реюньон; окружавшая его обыденность казалась скучной. Жили они в довольно унылом на вид новом доме стиля первой пятилетки, который одним крылом выходил на Мойку, а другим — на улицу Халтурина и как-то странно выглядел в этой части города. За Нарвской заставой он никого бы не удивил. Их комната в коммунальной квартире была угловой, вид из окна впереди — за мостиком — ограничивался приземистым полукруглым строением с колоннами, над крышей которого блистали золотой купол и пестрая закрученная луковка Спаса-на-Крови; а справа, если высунуться, можно было увидеть изгиб набережной и дом, где умер Пушкин. Словом, место неплохое, но ему куда больше нравился район Новой Голландии — летом он мог часами просиживать на берегу канала, разглядывая кирпичные стены старинной кладки с просящими кое-где на карнизах молодыми березками и думая

о дальних странах. Некоторые из одноклассников мечтали стать полярниками, в те годы это было модно, но его Арктика не манила — ленинградскому мальчишке, ни разу не побывавшему южнее Новгорода, жадно хотелось солнца. Знать бы тогда, как буквально и опрокинуто сбудутся позже детские его мечты о южных морях!

Тот июльский день в Петергофе навсегда остался для него едва ли не последним безоблачным воспоминанием о мирной жизни. Хотя до войны было еще далеко. Отец умер осенью тридцать девятого, незадолго до событий на Карельском перешейке, умер внезапно и милосердно — упал на улице Халтурина, возвращаясь с работы. Сам он был тогда уже на первом курсе, его вызвали с лекции...

— О чем, Михаил Сергеевич, задумались? — спросил Балмашев.

— Да так, вспомнил... — Полуниин, с трудом заставив себя улыбнуться, полез в карман за сигаретами. — Вы вот сказали — увижу отсюда Кронштадт, а поверить трудно.

— Хорошо, что возвращаетесь на нашем судне, — подумав, заметил Балмашев. — Будет, так сказать, время для адаптации — целый месяц. А представляете, например, самолетом? Сегодня здесь, а послезавтра уже дома — этаким сразу перепад...

— Тоже, наверное, интересно. Но вообще вы правы, лучше осваиваться постепенно.

— Практический вопрос — образование заканчивать намерены?

— Образование? Не знаю... не думал как-то об этом.

— А подумайте. Каким бы хорошим специалистом вы ни были, без диплома у нас трудно. Поэтому не советую терять время. Где вы учились, вы говорили?

— В институте Бонч-Бруевича.

— Ну, вот туда же и поступайте.

Полуниин скептически хмыкнул:

— Легко сказать... Я уж, наверное, все пере забыл.

— Не беда — позанимайтесь, вспомните. Не обязательно в этом же году! А у репатриантов есть льгота, приемная комиссия это учтет. Ну, есть еще вопросы?

— Вопросы, Алексей Иванович, много, — помедлив, сказал Полуниин. — Но я думаю, на них ответит сама жизнь.

Балмашев одобрительно кивнул:

— Вот это верно! Только постарайтесь правильно их формулировать. Понимаете, что я хочу сказать?

— Понимаю... Мне тут на прощанье Надежда Аркадьевна хорошо написала, — он достал коричневый томик из портфеля, раскрыл на странице с дарственной надписью и протянул Балмашеву. — Пожалуй, лучше не скажешь...

Балмашев надел очки, прочитал, задумчиво погладил переплет, обвязанный по краю тонким сыромятным ремешком.

— Ишь ты... Занятно придумали оформить, — так сказать,

единство формы и содержания. А мысль Надежда Аркадьевна высказала мудрую. Очень мудрую...

Вернув книгу Полунину, он встал, прошелся по тесной каютке, посмотрел на часы.

— К тому, что она вам написала, добавить ничего не могу. И если вы сами чувствуете так же — я за вас спокоен, потому что личный опыт поможет вам впредь... находить правильную точку зрения, правильный взгляд на окружающее. Может быть, оно не всегда и не во всем отвечает нашим желаниям... что делать — жизнь есть жизнь... Но нужно уметь видеть ее трезво и мудро. И всегда очень четко отличать главное от второстепенного. Ну что ж, Михаил Сергеевич, мне пора. Счастливого пути — и счастья на родине. Думаю, все у вас будет хорошо...

Проводив Балмашева до трапа, Полунин обошел судно, побывал на корме, поднялся на верхнюю палубу. Стеклопакеты люков были подняты, он заглянул — глубоко вниз, на дне выкрашенной белой эмалью шахты машинного отделения, лежали могучие тела четырех дизель-генераторов и два спаренных тандемом гребных двигателя. Общий ротор, что ли, подумал он, разглядывая сверху непривычную силовую установку.

По трансляционной сети объявили приглашение к обеду. Часть пассажиров вместе с сопровождающими повели куда-то в другое помещение, часть осталась в салоне, где обедал комсостав. Знакомый уже Полунину старший электрик — рыжеватый, с круглым добродушным лицом и облупленным от загара носом, на котором криво сидели модные очки в тонкой золотой оправе, — сделал ему приглашающий жест и хлопнул по сиденью свободного стула рядом с собой.

— Мы, кажется, коллеги, — сказал он, — товарищ из консульства говорил, вы тоже электротехникой занимаетесь?

— Слаботочной, вообще я скорее радист.

— От души завидую. А как насчет шахмат?

— Играл когда-то.

— Завтра можно будет сразиться — сегодня-то уж не выйдет, сегодня меня затаскают. И так еле вырвался пообедать... Судно, понимаете, новое, то в одном месте что-нибудь, то в другом. Если интересуетесь, зайдите потом ко мне, покажу свое хозяйство.

— Спасибо, зайду. Я уже полюбопытствовал — чистота у вас там.

— Чистота, да, — электрик посторонился, пропуская матроса, который поставил перед ними тарелки. — Но уровень шума... И то ведь обычно на двух дизелях идем — два в резерве. Там, знаете, вахту отстоять — это...

Доедая суп, Полунин подумал, что мрачный доктор был явно несправедлив, советуя утопить «кандея». Толстый немолодой пассажир, сидевший в другом конце стола, громко объявил, что уже много лет не ел ничего подобного; в Аргентине, добавил он, людям вообще скармливают всякую гниль. Котлеты с жареным картофелем и зеленым горошком вызвали у него новый взрыв энтузиазма, но он тут же умолк, занявшись едой, — к

облегчению Полунина, который уже начинал испытывать неловкость.

Когда наконец подали компот, электрик закурил и выложил пачку перед Полуниным.

— Воспользуемся отсутствием капитана, — подмигнул он, — тот курение за столом не одобряет... Он, правда, чаще у себя ест, — каюта-то в носовой надстройке, попробуй побегай туда-сюда по открытой палубе — а борт низкий, обратили внимание? Сюда шли в полном грузу, так волна в четыре балла — и уже одни надстройки из воды торчат...

За столом к этому времени стало посвободнее и потише. На другом конце шел сепаратный разговор, в котором участвовали стармех, доктор, толстый пассажир и кто-то из провожающих.

— ...Нет, честное слово, — повысил голос толстяк, — я просто с трудом удержался, чтобы не кинуть этому сеньору в лицо ихнюю седулу<sup>1</sup> — нате, мол, получите, я теперь не ваш!

С этими словами он посмотрел направо и налево, словно ожидая поддержки со стороны слушателей. Но поддержки выражено не было, наступило несколько неловкое молчание.

— Ну, в лицо-то не стоило бы, наверное, — сказал кто-то.

— Нет, я бы, конечно, себе этого не позволил, — загорячился толстяк, — это уже инцидент, я понимаю! Но желание было. И вы, товарищи, должны просто понять, — он приложил к груди растопыренную руку, — после всего, что мы здесь вытерпели за это время, — то есть нет, вам это понять невозможно, советскому человеку просто не представить себе такого! Чтобы тебя ежедневно и ежечасно — на каждом то есть шагу — унижали, оскорбляли твое достоинство, вытирали об тебя ноги...

Он снова оглянулся вокруг себя и, встретившись глазами с Полуниным, протянул руку ораторским жестом.

— Вот товарищ — извиняюсь, не знаю по фамилии — товарищ скажет то же самое!

Взгляды сидевших за столом обратились на Полунина, тут уж было не отмолчаться.

— Не знаю, — сдержанно сказал он. — Мне служить половой тряпкой не приходилось...

— Нет, ну фигурально говоря, конечно, не в буквальном же смысле! Я говорю вообще об отношении — когда тебе всюду тычут в глаза, что ты «экстранжеро»<sup>2</sup>, человек второго сорта, пока действительно не начинаешь себя чувствовать просто, понимаете ли, каким-то отверженным!

Полунин пожал плечами:

— С этим спорить не буду, в чужой стране действительно чувствуешь себя... не очень уютно. А насчет того, чтобы в глаза тыкали... Вы Аргентину имеете в виду?

— Конечно!

---

<sup>1</sup> Cedula de identidad — удостоверение личности (исп.).

<sup>2</sup> Extranjero — иностранец (исп.).

— Тогда это ерунда.

— То есть как это «ерунда», позвольте, — толстяк опять стал горячиться, — если для иностранца всегда самая тяжелая работа, самая низкая зарплата...

— Первый раз слышу, чтобы зарплата зависела от национальности. Какая у вас профессия?

— По образованию я — музыкант, но здесь, конечно, работал не по специальности. Здесь я был плотником. Строительным плотником, на опалубке...

— И вам платили меньше, чем аргентинцам?

— Конечно, меньше!

— За одинаковую работу?

— Да, представьте себе, за ту же самую работу!

Старший электрик, уже поднявшись из-за стола, задержался у двери, видимо заинтересованный этим дурацким спором. Полунин, ругая себя за то, что не отболчался, допил свой компот и тоже встал.

— Может быть, — сказал он примирительно. — Жулья, конечно, хватает всюду. Я только не понимаю, что вас держало в такой фирме, — ушли бы в другую, и дело с концом.

— Интересный вопрос — что держало! — взвизгнул толстяк. — Безработица держала, молодой человек, вот что! Да, представьте себе!

— Побойтесь вы бога, — с изумлением сказал Полунин, — какая, к черту, безработица с вашей специальностью? Да здесь все эти годы не было более дефицитной профессии, чем строительные плотники!

Толстяк пошел пятнами.

— Я... я не понимаю! Вас послушать — просто рай земной, да и только, — нет, в самом деле, товарищи! И отношение прекрасное, и безработицы никакой нет, и платят всем по справедливости! А ведь, между прочим, неувязочка получается! Если там так хорошо, — толстяк патетически указал на открытый в сторону причала иллюминатор, за которым в этот момент с железным гулом медленно проезжал рельсовый кран, — вы-то почему здесь, на советском судне, а?

Задав этот вопрос, толстяк победно оглянулся на доктора и стармеха. Полунину вдруг стало его жаль.

— А вам этого все равно не понять, — сказал он, направляясь к выходу. — Во всяком случае, вопросы труда и зарплаты на мое решение не повлияли...

Электрик вышел из салона вместе с ним, беззвучно посмеиваясь.

— Хорошо вы его напоследок уели, только ведь и в самом деле не поймет. Если дурак, так это надолго...

— Да ну его к черту. Воображаю, будет потом рассказывать, как его тут капиталисты голодом морили...

— Точно, точно. Такое и рассказывают, а что вы думаете! Странно только, никому в голову не придет простой вопрос: ну хорошо, а если бы ему там — за границей — платили больше, то

он бы, выходит, и не вернулся? Вот тут уж действительно «неувязочка», скажем прямо... Так в машинное не хотите со мной?

— Я зайду позже, Владимир Анатольевич.

— Ну давайте, я уж до отхода оттуда не вылезу...

Он вышел на палубу, погрузка за это время продвинулась — уже начали укладывать верхние ряды тюков. Часа через три, пожалуй...

К нему подошел худощавый пожилой человек восточного облика, сказал, что его зовут Тиграном Вартановичем и что они соседи по каюте. Поговорив с ним несколько минут, Полунин понял, что его собственная «одиссея» — небольшая прогулка в сравнении с кругосветными странствиями доктора Оганесяна. Тот, как выяснилось, побывал уже и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Австралии, и в Штатах, а в Аргентину приехал через Бразилию...

— Чего это вас носило? — с изумлением спросил наконец Полунин.

— Судьба, понимаете, так сложилась, — виноватым тоном ответил Тигран Вартанович, — иногда сам удивляюсь, честное слово...

«Рион» был ошвартован левым бортом; они стояли на верхней палубе у правого, наблюдая, как из Северной гавани медленно выдвигается белый многоярусный «Конте Гранде». Оганесян рассказывал о том, как попал в плен в сорок первом году: их транспорт торпедировали между Одессой и Севастополем, два дня он провел в море, потом его подобрал румынский сторожевик — дальше шла какая-то маловразумительная история с участием болгар, греков, чуть ли не турок...

— Я извиняюсь, товарищ Полунин не вы будете? — позвал снизу парнишка-вахтенный. — Там вас гражданка спрашивает, я ее в вашу каюту провел!

— Спасибо, иду, — машинально отозвался он, и только после этого дошел до него смысл услышанного. — Простите, — сказал он Оганесяну и не тронулся с места. Гражданка? Какая гражданка может его спрашивать? Не может быть, чтобы... — Простите, Тигран Вартанович, я сейчас.

Удерживаясь, чтобы не побежать, он спустился на шлюпочную палубу, рванул наотмашь тяжелую дверь. Полгода уже — ровно полгода! — и ни одного звонка... Ну, положим, звонки могли быть, пока он плавал. Но уж написать-то, чего проще... если бы действительно хотела... Да нет, чушь! Молчать полгода, и теперь вдруг — в последний день? Чушь, действительно. Он прошел мимо кают старшего электрика, старпома, помполита, по внутренней лестнице сбежал еще ниже — в огибающий шахту машинного отделения коридор, куда выходили двери салона и пассажирских кают. Чего только себе не навоображаешь, когда ждешь и надеешься... хотя и это вздор: ждать он давно уже ничего не ждал. А надежда — ну, возможно, и была какая-то подсознательная. Сердцу, говорят, не прика-



жешь... вот оно и вообразило сейчас — вопреки всякой логике! — что загадочная посетительница эта не кто иной как Дуняша. Хотя совершенно ясно, что уж ей-то и в голову не могло бы это прийти — после всего случившегося взять и явиться вдруг сюда на судно. А вот Надежда Аркадьевна вполне могла передумать, хотя и сказала вчера, что в порт не приедет... передумать или что-то вспомнить. Может, поручение какое-нибудь? Она, конечно, кто же еще, убежденно сказал себе Полуниин, уже взявшись за ручку своей двери, — сказал просто так, на всякий случай, или как заклинание от сглаза, хотя сам уже знал, что на этот раз сердце оказалось прозорливее разума, а у Дуняши — пусть в самый последний момент — хватило и смелости, и безрассудства сделать то, на что так и не отважился он сам...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он долго стоял ничего не говоря, ни о-чем не думая, только ощущая — тепло ее плеч в своих ладонях, знакомый запах ее волос, тепло ее легкого дыхания на своей шее, долгожданный покой... Потом она отстранилась, снизу вверх — из-под мокрых ресниц — робко заглянула ему в глаза.

— Ты не сердисься?

— Я и тогда не сердился...

— Нет, я хочу сказать — что пришла сейчас?

Он качнул головой, осторожно поцеловал ее в кончик носа.

— Как ты узнала?

— О, это просто удивительно! Ты знаешь, я обычно не читаю газет, и вдруг сегодня утром почему-то беру «Ла-Расон» и вижу информацию: «Аргентинская звезда экрана встречается с советскими моряками». Естественно, я заинтересовалась, — там было написано, что Lolita Торрес посетила советский *motonave*<sup>1</sup> «Рион», который сегодня выходит румбом на Ленинград. И я сразу подумала о тебе! Я немедленно позвонила в консулат, узнать, но они были осторожны и ничего не хотели мне отвечать. О, я понимаю очень хорошо, это ведь могла быть какая-нибудь провокасьон, не правда ли? Тогда я поехала туда и все объяснила, и господин, который меня принял, — такой мсье Горчаков, очень любезный, — он сказал, что ты уже на корабле и что я могу еще успеть до *départ*<sup>2</sup>. Но я долго не знала, что делать.

— Ты хорошо сделала, что приехала. Спасибо, Дуня...

— Тебе не очень тяжело меня видеть?

Он опять прижал ее голову к себе и стал гладить по волосам, закрыв глаза.

— Мишель, я должна объяснить...

— Не надо ничего объяснять, я давно все понял.

— Но я хочу, чтобы ты знал, почему так получилось! Я ведь

<sup>1</sup> Теплоход (исп.).

<sup>2</sup> Отплытия (фр.).

для этого и приехала — нет, вру, приехала я просто потому, что не могла не повидаться с тобой на прощанье, но и это тоже...

Он усадил ее на диванчик, сел рядом, держа ее руки в своих, словно пытаясь отогреть.

— Как у тебя сейчас... вообще? — спросил он. — Ты его все-таки любишь?

Она долго молчала, прикусив губу.

— Не знаю... это трудно объяснить. Не так, как тебя, во всяком случае. Это... это совсем другое, понимаешь. Когда я была с тобой, я... я чувствовала себя как одна пещерная женщина: сидит внутри, а мужчина охраняет вход, и пока он жив, она знает — с ней не случится ничего плохого. Понимаешь? С Ладушкой скорее наоборот — мне приходится быть снаружи...

— Да, это я тоже понял.

— Но ты не думай, он в сущности добрый человек, и он действительно меня любит... Кстати, он не был виноват тогда, что не писал так долго. Просто он опять доверился своим компаньонам, и они его посадили в острог — такие подлецы! Он ведь как ребенок, Мишель, — тебе, наверное, этого и представить себе нельзя, что мужчина может быть таким. Потому что ты совсем другой, ты сильный, а он... если бы я его оставила, он бы просто пропал, — он ведь уже собрался тогда ехать ловить кашалотов на Мальвины. Но боже мой, первый же кашалот просто проглотил бы его, как сардинку, я совершенно уверена! Пойми, Мишель, я бы никогда себе не простила, и потом — не знаю, может быть, ты будешь смеяться, но я не верю, что можно сделать свое счастье на беде другого человека...

— Я над этим не смеюсь, Дуня.

— Тогда ты поймешь, что я хочу сказать. Я просто не могла! Это не принесло бы добра ни мне, ни тебе, потому что такое не прощается, никогда. У меня сердце разрывалось — мы ведь с тобой уже все решили, я так хотела ехать, — а в тот вечер, когда ты ушел, даже не захотев меня выслушать...

Полунин хотел что-то сказать, она проворно закрыла ему рот теплой ладошкой.

— Нет-нет, ничего не объясняй, ты был прав, — мужчина не мог поступить иначе, я понимаю. Но как мне было тяжело! Я даже была такая идиотка, что подумала: зачем мы с тобой встретились, было бы легче жить, не зная друг о друге... Скажи честно, ты так не думаешь?

— По-моему, это счастье, что мы друг друга узнали. Дело ведь не в сроках, Дуня. Можно прожить вместе много лет, ни разу не испытывав... ничего настоящего. И можно за одну неделю пережить такое, что потом хватит тепла на всю жизнь. У нас с тобой это было... помнишь — этой весной, в пампе... И это уже навсегда, Дуня, этого у нас с тобой ничто не отнимет — ни годы, ни расставания...

— Да, да, — она улыбулась, смаргивая слезы, — это навечно, ты прав, и еще знаешь что? Для меня это — особенно, еще

потому, что я через тебя словно прикоснулась к России, милый, тебе не понять, как это много...

Глубоко в недрах судна что-то приглушенно зарокотало, взвыло, повышая тон, и взорвалось вдруг мощным железным ревом, от которого по полу и по переборкам пробежала короткая дрожь вибрации; потом снова стихло. Дуняша посмотрела на Полунина испуганно и вопросительно.

— Двигатель проворачивают, — сказал он. — Здесь дизель-генераторная установка, поэтому такой шум...

— Что, разве уже?

— Наверное нет, не думаю...

Он встал, перегнулся через столик к иллюминатору: погрузка, пожалуй, действительно уже кончилась — машины ушли, причал был пуст, у трапа жестикулировали, столпившись, портовые рабочие рукавицы, пил воду из глиняного поррона, держа двугорлый кувшин над запрокинутой головой и льяв тонкую струю ртом, как это делают галисийцы. Возможно, впрочем, они ждали новых машин.

— Минутку, я сейчас узнаю, — сказал Полунин, — побудь здесь...

Он вышел в салон, передние иллюминаторы которого выходили на палубу, и увидел, что матросы закрывают трюм лючинами.

— Что, погрузка кончена? — спросил он у моряка, решавшего за столиком кроссворд в старом «Огоньке».

— Все уже...

— А когда отходим?

— Да не знаю, как там портовые власти, сейчас у капитана сидят. Слоцманом, что ли, задержка. Вы не подскажете — столица древнего государства в Южной Америке, пять букв, вторая «у»?

— Куско, — ответил Полунин и вышел из салона.

Дуняша встретила его тревожным взглядом.

— Грузить кончили, но пока еще неизвестно, когда уйдем. Ты спешишь?

— Нет-нет, нисколько... Но только выйдем на воздух, здесь душно.

Они поднялись наверх, где стояли огромные изогнутые рупоры вентиляторов машинного отделения. Палубная команда внизу растягивала брезент по крышке закрытого уже среднего трюма. Был шестой час, солнце висело над крышами корпусов Морского госпиталя, ярко освещая косыми лучами белую надстройку танкера, медленно идущего вдоль восточного мола к выходу на внешний рейд. Со стороны гидроаэропорта пролетела с надсадным гулом двухмоторная «каталина» и стала разворачиваться, медленно набирая высоту и волоча за собой изогнутые хвосты дыма.

— На такой штуке я летал зимой в Асунсьон, помнишь?

— Помню... — Дуняша, быстро оглянувшись, на миг прижалась щекой к его плечу. — До сих пор не могу простить себе того случая...

— Какого случая?

— Ну, в тот вечер, когда ты прилетел,— ты мне позвонил в пансион, помнишь, и хотел, чтобы мы поехали к тебе, а я отказалась. Ты еще сказал, что замерз — ты тогда полетел в тонких туфлях,— а я стала читать по телефону какие-то глупые стихи...

— Стихи были ничего,— Полуниин улыбнулся.— Я их, конечно, потом забыл, но тогда они мне понравились.

— Ох, я была такой дрянью тогда... я вообще часто бывала дрянью, но тогда особенно...

Мимо прошел озабоченный старпом, неловко поклонился Дуняше и извиняющимся тоном сказал, что пора бы уже пить чай, но сегодня все расписание сбилось.

— Теперь уж, наверное, только когда выйдем,— добавил он и исчез по своим делам.

— Жаль,— сказала Дуняша,— я бы хотела увидеть всех твоих компаньонов по плаванию. А *gróros*, что значит «волосан»?

— Понятия не имею. Откуда это?

— Слышала от матросов — там, на деке — один сказал другому: «Волосан ты, Федя». Какая-то идиома, вероятно, нужно записать в карнэ... Впрочем, что это я глупости всякие болтаю,— расскажи о себе, милый, как ты жил это время, как тебе плавалось?

— А ты откуда знаешь, что я плавал?

— Княгиня сказала в церкви, откуда же еще! Твой Мишель, говорит, сбежал в Южную Африку, любопытно знать, за кого он — за англичан или за буров... Решительно уже ничего не сообщает, старая химера. О, а потом еще лучше! Звонит мне однажды утром: «Ты уверена, что его не съели зулусы?» Помилуйте, говорю, *ma tante*<sup>1</sup>, какие зулусы? Но что толку — ее разве переубедишь. А ты действительно был в Африке?

— Да, первым рейсом. Потом ходили в Европу — Гамбург, Бордо... Кстати, я виделся там с Филиппом.

— *Vraiment?*<sup>2</sup> Как интересно. И что ты узнал по поводу этого свиньи Дитмара — надеюсь, он уже гильотинирован?

— Черта с два. Еще и не судили, следствие не окончено. Да в любом случае никто его не отправит на гильотину. Даже если признают виновным, отдается несколькими годами тюрьмы, а отсидит и того меньше — до первой амнистии...

— Да, вот тебе и наша французская *жюстис*<sup>3</sup>. Бог с ним, Впрочем, возможно, он уже наказан угрызениями совести — если она у него есть, что тоже вопрос. Скажи, а Маду женился на этой своей ужасной переводчице?

— Женился. Теперь собираются вместе в Египет, его посылают туда какой-то парижский журнал.

— Не знаю, можно ли поздравить Маду, но за нее я рада —

---

<sup>1</sup> Тетушка (фр.).

<sup>2</sup> Правда? (фр.).

<sup>3</sup> Justice — правосудие (фр.).

он такой приятный господин. В тот день, помнишь, когда они у нас обедали...

Голос у нее вдруг прервался, она умолкла, не договорив фразу. Полуниин, тоже глядя в сторону, кашлянул.

— Да, он... отличный парень. Жаль, встреча у нас какая-то получилась скомканная — он торопился...

С расположенной ниже шлюпочной палубы слышались громкие разговоры и смех столпившихся там пассажиров и провожающих; голоса стали приближаться — кто-то поднимался сюда, наверх.

— Идем, посидим еще в твоей кабине, — сказала Дуняша, избегая встретиться с ним глазами. — Там очень мило, ужасно люблю дерево в интересах — оно такое теплое...

В каюте они застали Оганесяна, который распаковывал свой чемодан. Испуганно поздоровавшись с Дуняшей, странствующий доктор пробормотал, что он только на минутку, и скрылся за дверью, взяв бритвенные принадлежности.

— Этот мсье едет с тобой? Какое странное лицо — подозреваю, что он не совсем русский... Когда вы будете в Петербурге?

— Через месяц.

— Никуда не заходя?

— Кажется, в Дакаре будут брать дизельное топливо. Дуня, послушай... Очень хорошо, что ты приехала, что мы можем поговорить. Наверное, я сам должен был это сделать... вчера. Просто не решился. Дело вот какое. Я бы не хотел, чтобы у тебя осталось чувство вины передо мной. Ты говоришь — пришла, чтобы объяснить. Получается так, вроде ты пришла оправдаться, но тебе не в чем оправдываться передо мною. Пожалуйста, пойми это. Если кто и виноват, то это я...

— Ты — виноват? Но в чем?

— Во всем, Дуня. Я тут недавно думал... И еще раньше — после разговора с Филиппом — впрочем, нет, неважно. Я вот что хочу сказать... Когда люди встречаются — вот так, как мы встретились с тобой, — рано или поздно наступает момент, когда мужчина должен принять какое-то решение, взять на себя ответственность. Я этого не сделал. Сделал, вернее, но уже слишком поздно. Не знаю, действительно ли ты чувствовала себя со мной, как пещерная женщина за спиной мужчины, но я-то им не был. Пещерный мужчина в подобной ситуации хватался за камень и разбивал сопернику череп — или, во всяком случае, не подпускал его близко к своей пещере. Если бы я с самого начала внушил тебе уверенность, что именно так и будет, то сейчас здесь, — он указал на койку доктора Оганесяна, — лежали бы твои вещи. Все зависело от меня. А я — я тебя просто упустил, понимаешь, я слишком долго смотрел на наши с тобой отношения как на что-то... Ну, временное, случайное, что ли. Я думаю, ты и сама это заметила...

— О нет, я...

— Погоди, дай мне кончить. Я хочу сказать, что если тебе стало вдруг ясно, что Владимиру ты нужнее, чем мне, то это

не только потому, что я — как ты говоришь — сильный, а он слабый. Тут важнее другое: я сам ни разу не дал тебе почувствовать, что ты мне нужна по-настоящему. Я, видишь ли, сам ничего не понимал, — понял только потом, слишком поздно. А наверное, все-таки, отношения между мужчиной и женщиной именно этим и держатся — сознанием взаимной необходимости...

— Ты хочешь сказать, что недостаточно меня любил? —

— Нет, я хочу сказать не это. Да и потом, что значит — достаточно, недостаточно... тут ведь нет четких параметров, которые можно замерить. Я тебя любил и люблю — уж сейчас-то зачем бы мне притворяться, наверное проще было сказать: «Да, извини, мы оба ошибались...» Мы ни в чем не ошибались, Дуня, но это мое чувство просто не сумело занять того места, которое любовь должна занимать в жизни...

— В чьей жизни, Мишель? Ты рассуждаешь слишком... абстрактно! Для мужчины, я думаю, любовь всегда будет — как это сказать — ну, на втором плане. У женщин иначе, применительно к женщинам ты прав, но... поверь, мы прекрасно понимаем эту разницу, я несколько не была на тебя в обиде. Я, правда, не знала тогда, чем ты занимался, но я хорошо знала другое: у мужчины его дела, какие бы они ни были, всегда на первом плане, а любовь он держит где-то там...

— Ты не понимаешь, — Полунин покачал головой. — Дело было не в погоне за Дитмаром. Это-то я сумел бы совместить. Дело в том, что моя жизнь здесь — вся, в целом, — была для меня чем-то ненастоящим, и я — подсознательно, может быть, — переносил это же ощущение и на нашу любовь. Мне все время казалось, что...

Его прервал оживший внезапно динамик, в котором шелкнуло, пронзительно засвистело. Потом стихло. Окающий поволжски голос произнес: «Товарищи, внимание, провожающих просят сойти на берег...»

— Уже? — выдохнула Дуняша испуганно и встала.

Полунин тоже поднялся. Что ж, главное было сказано. Он положил руки ей на плечи, не в силах оторвать глаз от побледневшего треугольного личика с дрожащими губами. Его ладони медленно скользнули к шее — на ее запрокинутом горле билась тоненькая жилка — поднялись к ушам, зарываясь в шелковистые волосы, он держал ее голову бережно, как держат голову ребенка. Он нагнулся, закрывая глаза, и нашел пересохшими губами ее губы.

— Прощай, — шепнул он, когда вернулось дыхание. — Прощай, моя любовь...

— Прощай, и спасибо тебе за все, любимый... Храни тебя господь, будь счастлив, теперь ты должен быть счастливым за нас обоих... — Она завела руку назад, пошарила по столу, нашла сумочку. — Я тебе привезла образок, возьми с собой...

Она вложила в его ладонь маленький, тяжелый, старинного медного литья складень в лазурной финифти — тот самый, так хорошо ему знакомый, что всегда висел над ее изголовьем.

— ...Я знаю, ты неверующий, но все равно — пусть он для тебя будет хотя бы как память... А я — я даю его тебе как благословение, я буду молиться за тебя, плыви спокойно, любимый... Ты будешь счастлив, я верю, ты ведь едешь домой. Только обещай: когда сойдешь на землю — поклонись от меня России...

— Родная моя...

— Прощай, любимый, пора, я должна идти. Нет, не провожай — простимся здесь, я выйду одна...

Он стоял на корме вместе с другими, палуба мелко дрожала под ногами — уже работали оба дизель-генератора, наполняя весь корпус ровным и мощным гулом. В последнюю минуту показался из-за угла знакомый черный «шевроле» — вместе с Балмашевым вышел еще кто-то и заговорил с Дуняшей, видимо это был тот самый Горчаков, о котором она рассказывала. Над группой провожающих трепетали платочки и шарфы, Балмашев и его спутник махали шляпами; Полунин видел только Дуняшин платок, только ее одну — такую маленькую, такую несгибаемую и мужественную в обманчивом облике нежной хрупкости...

Он не уловил момента, когда двинулись и поплыли назад краны, рельсовые пути, кирпичные стены ангаров с выведенными на них огромными номерами. Буксиры разворачивали судно, отводя от стенки. Где-то глубоко под палубами, в звенящей от бешеного рева дизелей белой шахте, движение пальца на пусковой кнопке послало по проводам электрический импульс — мгновенно сработали целые каскады реле, лягнули сомкнувшиеся контакты главного пускателя и ток ударил в обмотки гребных двигателей. Вода под кормой «Риона» вздулась кипящими буграми, желтыми от поднятого со дна ила.

Через несколько минут уже нельзя было различить лиц в группе уплывающих назад вместе с причалом. Солнце скрылось, огромное алое зарево стояло над портом, над зубчатой осциллограммой городских крыш, где неожиданными всплесками пиков выделялись силуэты редких небоскребов: Каванаг, башня министерства общественных работ, недостроенный Атлас правее центрального почтамта. Толпившиеся на корме пассажиры разошлись по каютам — похолодало, в правый борт все крепче задувал свежий памперо. Выйдя из аванпорта, «Рион» шел по каналу главного фарватера.

Быстро стемнело, через час Буэнос-Айрес уже лежал на горизонте плоской россыпью далеких мерцающих огней. Полунин продолжал стоять, облокотившись о поручни ограждения, над головой у него шумело и гудело хлопало на ветру полотнище кормового флага. Смотреть на жизнь трезво и мудро — что ж, вероятно, к этому и в самом деле можно свести конечный результат нашего земного опыта. Мудро, спокойно, умея без ошибок отличать главное от второстепенного... Но почему-то самые очевидные истины зачастую оказываются и самыми труднодостижимыми, — а какой горькой ценой приходится нам за них платить!

Он перешел к правому борту, запрокинул голову, подставляя лицо ветру. Здесь уже едва угадывались запахи земли — их начало заглушать соленое, крепко приправленное йодом дыхание атлантических просторов. Привычно нашел он острый луч Канопуса, перевел взгляд левее и увидел их — как драгоценную пряжку на опоясавшей небо перевязи Млечного Пути — четыре маленьких ярких алмаза, наклонно расположенных по вершинам ромба. Теперь они каждую ночь будут клониться все ниже и ниже — пока не скроются навсегда, чтобы уступить место другим звездам...

Палуба дрожала под ногами упруго и равномерно — «Рион» прибавил оборотов и шел уже полным ходом. Его острый, плавно выгнутый вперед форштевень резал тяжелую, маслянисто колеблющуюся водную поверхность, с негромким монотонным шипением разваливая ее на два невысоких буруна; а из-под кормы, призрачно белея в отблесках фонаря на флагштоке, широким потоком пены била кильватерная струя — тонны и тонны вскипающей под винтом воды стремительно уносились назад, в непроглядную уже ночь, чтобы снова успокоиться и затихнуть, слившись с вечной стихией океана.

*Буэнос-Айрес, 1956*  
*Всеволожск, 1972—1977*



## СОДЕРЖАНИЕ

КИММЕРИЙСКОЕ ЛЕТО . . . . .	3
ЮЖНЫЙ КРЕСТ . . . . .	305

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ СЛЕПУХИН

КИММЕРИЯСКОЕ ЛЕТО

---

— ЮЖНЫЙ КРЕСТ

Л.-О изд-ва «Советский писатель». 1983 г. 624 стр. План выпуска 1983 г. № 147. Редактор Ф. Г. К а з а с. Худож. редактор А. С. Ор л о в. Техн. редактор Л. П. По л я к о в а. Корректоры И. Г. К л е й н е р и И. И. М о р о з.

ИБ № 3584

Сдано в набор 13.05.82. Подписано к печати 02.12.82. М-33798. Бумага тип. № 3. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Литературная гарнитура Высокая печать Усл. печ. л. 32,76 Уч.-изд. л. 45,38. Тираж 150 000 экз. Заказ № 459. Цена 3 р. Изд-во «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

